This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использовапия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

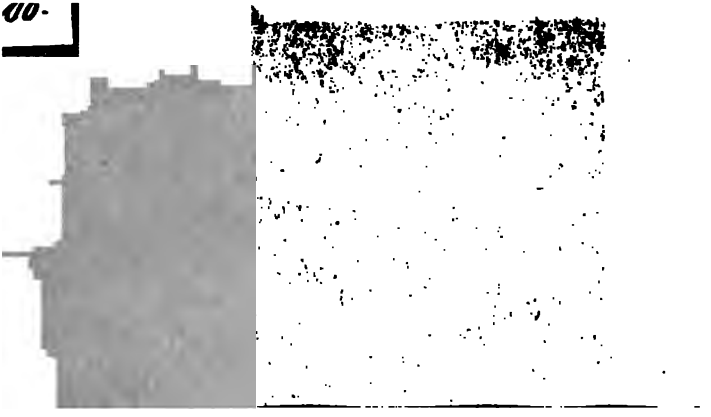
- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск кпиг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`

00-



EX LIBRIS

STANFORD LIBRARIES

Gift of

Mr. and Mrs. Julian J. Meyer

BIBLIOTEKA
206

Saltykov, M.E.

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ

СОЧИНЕНІЙ

М. Е. САЛТЫКОВА

[Н. ЩЕДРИНА].

ИЗДАНІЕ ПЯТОЕ.

Съ «Матеріалами для біографіи М. Е. Салтыкова», К. К. Арсеньева, и съ двумя портретами М. Е. Салтыкова.

ТОМЪ ПЕРВЫЙ.

Приложеніе къ журналу „Нива“ на 1905 г.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Изданіе А. Ф. МАРКСА.
1905. Kg

891.73
S171
ed.5
v.1

Артистическое заведеніе А. Ф. МАРКСА. Измайловскій просп., 29.

МАТЕРІАЛЫ

для

БІОГРАФІИ М. Е. САЛТЫКОВА.

I.

15-го января 1826 г.—12-го февраля 1856 г.

«15-го января 1826 года,—писалъ Салтыковъ 14-го января 1887 г. одному изъ своихъ близкихъ знакомыхъ,—у коллежскаго совѣтника Евграфа Васильевича и жены его Ольги Михайловны Салтыковыхъ родился сынъ Михаилъ. Принимала бабка-повитушка Ульяна Ивановна, калязинская мѣщанка. Крестилъ священникъ села Спасъ-Уголъ Иванъ Яковлевъ Новосельцовъ; воспріемниками были: угличскій мѣщанинъ Дмитрій Михайловъ Курбатовъ и дѣвица Марья Васильевна Салтыкова. При крещеніи Курбатовъ пророчествовалъ: «сей младенецъ будетъ разгонникъ женскій». По этому случаю приглашаетесь вы съ фамиліей завтра въ четвергъ вечеромъ для присутствованія при всенощномъ бдѣніи въ домѣ № 62, на Литейной». Это письмо интересно, между прочимъ, потому, что сообщаемыя въ немъ данныя совпадаютъ съ разсказомъ о рожденіи и крещеніи Никанора Затрапезнаго *). Повитушка, его принимавшая, такъ и именуется Ульяной Ивановой; прозвище крестнаго отца немного измѣнено, онъ названъ Дмитріемъ Никоновымъ Бархатовымъ. Попалъ онъ въ воспріемники къ дворянскому сыну, очевидно, потому, что славился своею набожностью и «прозорливостью». «На вопросъ матушки,—повѣствуетъ Никаноръ Затрапезный,—что у нея родится, сынъ или

*) Нѣкоторую наличность «автобіографическаго элемента» въ «Пошехонской Старинѣ» не отрицалъ, какъ извѣстно, и самъ авторъ.

дочь, онъ запѣлъ пѣтухомъ и сказалъ: «пѣтушокъ, пѣтушокъ, востёръ ноготокъ!» Кромѣ того, онъ предсказалъ и будущую судьбу мою, что я многихъ супостатовъ покорю и буду *дѣвичьимъ разгонникомъ*. Не разъ я видалъ впослѣдствіи моего крестнаго отца, идущаго, съ посохомъ въ рукахъ, въ толпѣ народа, за крестнымъ ходомъ. Но познакомиться мнѣ съ нимъ не удалось, потому что родители мои уже разошлись съ нимъ и называли его шалыганомъ». Этимъ не ограничиваются безспорныя точки соприкосновенія между дѣтствомъ Салтыкова и дѣтствомъ Никанора Затрапезнаго. Въ пятой главѣ «Пошехонской Старины» приведены французскіе стихи, заученные Никаномъ ко дню именинъ отца и матери; между бумагами Салтыкова нашлись эти самые стихи, написанные дѣтскимъ почеркомъ и подписанные такъ: «écrit par votre très humble fils Michel Soltykoff, le 16 octobre 1832» (когда мальчику не было еще, слѣдовательно, и семи лѣтъ). Въ біографическомъ очеркѣ, напечатанномъ, съ вѣдома М. Е. Салтыкова, въ VIII выпускѣ «Русской Библіотеки» (1878 г.), сказано, что первымъ учителемъ Салтыкова былъ крѣпостной человѣкъ его родителей, живописецъ Павелъ, а потомъ съ нимъ занимались, между прочимъ, старшая его сестра (Надежда Евграфовна) и священникъ одного изъ сосѣднихъ селъ (Иванъ Васильевичъ); то же самое разсказываетъ о себѣ и Никаноръ Затрапезный. Едва ли, въ виду всего этого, можно сомнѣваться въ томъ, что «Пошехонская Старина» даетъ вѣрную картину умственнаго и нравственнаго развитія Салтыкова, доведенную, къ сожалѣнію, только до окончанія домашняго воспитанія, т. е. до десятилѣтняго возраста. Значеніе этой картины громадно; она бросаетъ яркій свѣтъ на всю послѣдующую жизнь Салтыкова. Чтобы убѣдиться въ этомъ, достаточно прочесть чудесныя страницы, изображающія первое знакомство ребенка съ евангельскими разсказами. Мы напомнимъ лишь заключительныя ихъ строки: «въ признаніи человѣческаго образа тамъ, гдѣ, по силѣ общеустановившагося убѣжденія, существовалъ только поруганный образъ раба, состоялъ главный и существенный результатъ, вынесенный мною изъ тѣхъ попытокъ самообученія, которымъ я предавался въ теченіе года». Въ связи съ этимъ получаютъ настоящій свой смыслъ и слѣдующія слова Затрапезнаго-Салтыкова: «крѣпостное право сближало меня съ подневольною массой. Это можетъ показаться страннымъ, но я и теперь еще сознаю, что крѣпостное право играло громадную роль въ моей жизни, и что только переживъ всѣ его фазисы, я могъ придти къ полному, сознательному и страстному отрицанію его».

Кромѣ сестры и священника, съ Салтыковымъ занимались

гувернантка Авдотья Петровна Василевская (окончившая курсъ, вмѣстѣ съ Надеждой Евграфовной, въ московскомъ Екатерининскомъ институтѣ) и студентъ московской духовной академіи Матвѣй Петровичъ Салминъ, котораго приглашали на лѣтнія вакаціи два года сряду. Первоначальное обученіе мальчика оказалось настолько удовлѣтворительнымъ, что въ августѣ 1836 г. онъ могъ быть принятъ въ третій классъ шестикласснаго московскаго дворянскаго института. По малолѣтству, однако, онъ оставался въ этомъ классѣ два года. Въ 1838 г. Салтыковъ былъ переведенъ въ царскосельскій лицей, въ силу преимущества, которымъ пользовался московскій дворянскій институтъ опредѣлять, каждые полтора года, двоихъ отличнѣйшихъ учениковъ въ лицей, казеннокоштными воспитанниками. Въ лицеѣ Салтыковъ уже въ младшемъ классѣ почувствовалъ влеченіе къ литературѣ и сталъ писать стихи. За это и за чтеніе книгъ онъ терпѣлъ всевозможныя преслѣдованія какъ со стороны гувернеровъ, такъ и въ особенности со стороны учителя русскаго языка Гроздова. Салтыковъ вынужденъ былъ прятать стихи — особенно тѣ, которые были «неодобрительнаго» содержанія — въ рукава куртки и даже въ сапоги; но контрабанда была находима и тамъ и оказывала сильное вліяніе на отмѣтки «изъ поведенія». Въ теченіе всего времени пребыванія въ лицеѣ онъ почти не получалъ, при полныхъ 12 баллахъ, свыше девяти. Въ аттестатѣ, данномъ Салтыкову по окончаніи курса, поведеніе его названо *довольно* хорошимъ; а это значитъ, что средній баллъ въ поведеніи за послѣдніе годы былъ ниже восьми. И все это началось со стиховъ, къ которымъ впослѣдствіи присоединялись «грубости», т. е. разстегнутая пуговица на курткѣ или мундирѣ, ношеніе треуголки съ поля, а не по формѣ (что было необыкновенно трудно и составляло цѣлую науку), куреніе табаку и иныя школьныя преступленія. Какое воспоминаніе Салтыковъ сохранилъ о своихъ лицейскихъ годахъ, объ этомъ даютъ понятіе слѣдующія слова, написанныя имъ лѣтъ десять спустя послѣ выпуска: «помню я школу, но какъ-то угрюмо и непривѣтливо воскресаетъ она въ моемъ воображеніи... Нѣтъ, я сегодня настроенъ такъ мягко, что все хочу видѣть въ розовомъ свѣтѣ... прочь школу!» («Скука», въ «Губернскихъ Очеркахъ»).

Начиная со второго класса въ лицеѣ дозволялось воспитанникамъ выписывать журналы на свой счетъ. При Салтыковѣ получались, такимъ образомъ, «Отечественныя Записки», «Библіотека для Чтенія», «Сынъ Отечества», «Маякъ», «Revue Étrangère». Журналы читались воспитанниками съ жадностью; въ особенности сильно было вліяніе «Отечественныхъ Записокъ»,

благодаря критикѣ Бѣлинскаго, повѣстямъ Панаева, Кудрявцева и друг. Вліяніе литературы было тогда вообще очень сильно въ лицеѣ; воспоминаніе о Пушкинѣ какъ-будто обязывало, и въ каждомъ курсѣ предполагался продолжатель Пушкина. Такъ, въ XI курсѣ (1841 г.) товарищи указывали на В. Р. Зотова, помѣщавшаго стихи въ «Маякѣ»; редакторъ котораго, Бурачекъ, провозгласилъ его вторымъ Пушкинымъ *). Въ XII курсѣ на пушкинскую вакансію помѣщали Н. П. Семенова (сенаторъ, бывшій членъ редакціонныхъ комиссій по крестьянскому дѣлу, авторъ сочиненія объ этой эпохѣ, сотрудникъ «Русскаго Вѣстника»); въ XIII — Салтыкова; въ XIV — Виктора Павловича Гаевскаго (недавно умершаго, автора статей о Дельвигѣ и Пушкинѣ, много лѣтъ бывшаго предсѣдателемъ литературнаго фонда). Первое стихотвореніе Салтыкова «Лира», было напечатано въ «Библіотекѣ для Чтенія» 1841 года (т. 45-й, стр. 105—6), за подписью: С—въ. Въ слѣдующемъ 1842 году появилась въ томъ же журналѣ (т. 50, стр. 10) другая его пьеса: «Двѣ жизни», помѣченная только первой буквой его фамиліи. Приводимъ обѣ пьесы вполнѣ, какъ матеріалъ для характеристики молодого, пятнадцати-или шестнадцатилѣтняго автора:

ЛИРА.

На русскомъ Парнасѣ есть лира
Струнами ей—солнца лучи,
Ихъ звукамъ внимаетъ полміра:
Предъ ними самъ громъ замолчи!
И въ черную тучу главою
Небрежно уперлась она;
Могучій утесъ—подъ стопою,
У ногъ его стонетъ волна.
Два мужа на лирѣ гремѣли,
Гремѣли могучей рукой;
Къ нимъ звуки отъ неба слетѣли
И приняли образъ земной.
Одинъ былъ старикъ величавый;
Онъ мощно на лирѣ бряцалъ.
Вѣнцомъ немерцающей славы
Поэта міръ хладный вѣнчалъ.
Другой былъ любимый сынъ Феба;

*) Одиннадцатому курсу принадлежалъ и другой «продолжатель Пушкина», имѣвшій гораздо больше правъ на этотъ титулъ—Л. А. Мей (переведенный въ лицей, подобно Салтыкову, изъ московскаго дворянскаго института). Изъ біографіи его, написанной В. Р. Зотовымъ, мы узнаемъ, что онъ писалъ стихи и до вступленія въ лицей, и въ лицеѣ. Какъ и Салтыковъ, онъ былъ постояннымъ нарушителемъ лицейскихъ правилъ и получалъ дурные баллы «изъ поведенія».

Онъ пѣсни допѣть не успѣлъ,
И въ свѣтлой обители неба
Ужъ исповѣдь сердца допѣлъ.
Пѣвецъ тотъ былъ славенъ и молодъ,
Онъ пѣснею смертныхъ увлекъ
И міра безжизненный холодъ
Въ волшебные звуки облекъ.
Угасли! въ святыя селенья
Умчавшись, съ собой унесли
И лиру, одно утѣшенье
Средь бурь и волненій земли!..

ДВѢ ЖИЗНИ.

Жизнь сладостна и даръ небесъ безцѣнный
Тому, кто вѣровалъ въ Зиждителя вселенной;
Кто юности и счастью прошлыхъ дней
Возможетъ отслужить съ улыбкой ясной тризну;
Поднять покровъ съ картинъ весны своей
Кто можетъ смѣлою рукой, безъ укоризны;
Кто, полный мыслію, умѣлъ блаженно жить,
Роскошно чувствовать и истинно любить;
Въ чьемъ духѣ бодрственномъ, не тяжкія страданья,
Остались сладкія еще воспоминанья;
На жизненномъ пути кто безъ горячихъ слезъ,
Безъ боли крестъ заботъ житейскихъ несъ,
И, вѣнчанный вѣнкомъ изъ розановъ душистыхъ,
Спокойно отойдетъ въ обитель тѣней чистыхъ.
Но жизнь безрадостна и тяжела тому,
Кто сердца не нашелъ отвѣтнаго ему;
Кто, символомъ ничтожества покрытый,
Людьми и всѣмъ, что въ мірѣ, позабытый,
Страстей земныхъ измученный борьбой,
Какимъ-то странникомъ блуждая одинокимъ,
Напрасно силится смѣяться надъ судьбой
И сбросить горя цѣпь въ убѣжищѣ далекомъ.
Кто страшную себѣ анаѳему прочтетъ
Въ всеобщемъ, тягостномъ, убійственномъ забвеньи,
И трупомъ проклятымъ, въ отчаяньи, умретъ
Безъ слезъ напутственныхъ, безъ погребенья,
Священнаго лишенъ поминовенья...

Ко времени пребыванія въ лицеѣ относятся и всѣ остальныя стихотворенія Салтыкова, хотя они появились въ «Современникѣ», выходившемъ тогда подъ редакціею Плетнева, — уже послѣ выпуска его изъ лицея, въ 1844 и 1845 гг. Напечатаны они не въ томъ порядкѣ, въ какомъ написаны. Въ 34-мъ томѣ «Современника», за 1844 годъ, помѣщены (стр. 231 и 341) два стихотворенія, написанныя, какъ видно изъ помѣтокъ автора, въ февралѣ и мартѣ того же года *): «Нашъ вѣкъ» и «Весна». Въ 35-мъ томѣ, также 1844 г., помѣщены (стр. 100 и 105)

*) Салтыковъ окончилъ курсъ въ маѣ 1844 г.

два перевода, изъ Гейне («Рыбачкѣ») и Байрона, относящіеся первый—къ 1841 г., второй—къ 1842 г., т. е. одновременные съ стихотвореніями, напечатанными въ «Библіотекѣ для Чтенія». Въ томѣ 37-мъ, за 1845 г., помѣщены (стр. 119 и 377) два стихотворенія: «Зимняя элегія» и «Вечеръ», изъ которыхъ послѣднее помѣчено 1842 г., первое—1843-мъ; въ томѣ 39-мъ, также за 1845 г.—одно стихотвореніе (стр. 212), написанное въ 1843 г. «Музыка» *). Подъ всѣми этими стихотвореніями подпись: «М. Салтыковъ». Приведемъ ихъ въ хронологическомъ порядкѣ.

РЫБАЧКѢ (изъ Гейне).

О, милая дѣвочка! быстро
Челнокъ свой направь ты ко мнѣ!
Сядь рядомъ со мною и тихо
Бесѣдовать будемъ во тьмѣ.
И къ сердцу страдальца ты крѣпко
Головку младую прижми—
Вѣдь морю себя ты ввѣряешь
И въ бурю, и въ ясные дни.
А сердце мое то же море—
Бушуетъ оно и кипитъ.
И много сокровищъ безцѣнныхъ
На днѣ своемъ ясномъ хранитъ **).

ИЗЪ БАЙРОНА.

Разбитъ мой талисманъ, исчезло упоенье!
Такъ вѣчно должно намъ здѣсь плакать и страдать;
Мы жизнь свою влачимъ въ нѣмомъ самозабвеньи
И улыбаемся, когда-бъ должны рыдать.
И всякій свѣтлый мигъ покажетъ, что страданье,
Одно страданіе насъ въ жизни нашей ждетъ,
И тотъ, кто здѣсь живетъ, далекъ земныхъ желаній,—
Какъ мученикъ живетъ***).

---

*) Въ оглавленіи 39-го тома показано еще одно стихотвореніе Салтыкова: «Изъ Байрона», но на стран. 318, на которую сдѣлана ссылка, напечатано совсѣмъ другое стихотвореніе, озаглавленное: «21 іюля 1845» и подписанное Д. Коптевымъ, имя котораго встрѣчается въ тогдашнемъ «Современникѣ» довольно часто.

**) Вотъ, для сравненія, подлинникъ: Du, schönes Fischermädchen, treibe den Kahn an's Land; komm zu mir und setze dich nieder, wir kosen Hand in Hand. Leg'an mein Herz dein Köpfchen, und fürchte dich nicht so sehr; vertraust du dich doch sorglos täglich dem wilden Meer. Mein Herz gleicht ganz dem Meere, hat Sturm und Ebb' und Fluth, und manche schöne Perle in seiner Tiefe ruht.

***) The spell is broke, the charm is flown! thus is it with life's fitful fever: we madly smile when we should groan; delirium is our best deceiver. Each lucid interval of thought recalls the woes of Nature's charter; and he who acts as wise men ought, but lives, as saints have died, a martyr.

ВЕЧЕРЪ.

Заря вечерняя на небѣ догораетъ;
Прохладой дышитъ все, день знойный убѣгаетъ;
Безсонный соловей одинъ вдали поетъ.
Весенній вечеръ тихъ; клубится и встаетъ
Надъ озеромъ туманъ; межъ листьями играя,
Чуть дышитъ майскій вѣтръ, рядъ бѣлыхъ волнъ качая;
Спитъ тихо озеро. Къ крутымъ его брегамъ
Безмолвно прихожу, и тамъ, склонясь къ водамъ,
Сажуся въ тишинѣ, отъ всѣхъ уединенный.
Наяды рѣзвыя играютъ предо мной—
И любо мнѣ смотрѣть на кругъ ихъ оживленный,
Какъ, на поверхности лобзаемы луной,
Наяды рѣзвыя нагія выплываютъ,
И долго хохотъ ихъ утесы повторяютъ.

МУЗЫКА.

Я помню вечеръ: ты играла,
Я звукамъ съ ужасомъ внималъ.
Луна кровавая мерцала,
И мраченъ былъ старинный залъ.
Твой мертвый ликъ, твои страданья,
Могильный блескъ твоихъ очей,
И устъ холодное дыханье,
И трепетаніе грудей—
Все мрачный холодъ навѣвало.
Играла ты... я весь дрожалъ,
А эхо звуки повторяло,
И страшенъ былъ старинный залъ...
Играй, играй: пускай терзанье
Наполнитъ душу мнѣ тоской;
Моя любовь живетъ страданьемъ
И страшенъ ей покой!

ЗИМНЯЯ ЭЛЕГІЯ.

Какъ скучно мнѣ! Безъ жизни, безъ движенья
Лежатъ поля, снѣгъ хлопьями лежитъ;
Безмолвно все; лишь грустно въ отдаленьи
Пѣснь запоздалая звучитъ.
Мнѣ тяжело; уныло потухаетъ
Холодный день за дальнею горой.
Что́ душу мнѣ волнуетъ и смущаетъ?
Мнѣ грустно; боленъ я душой!
Я здѣсь одинъ: тяжелое томленье
Сжимаетъ грудь; ряды нестройныхъ думъ
Меня тѣснятъ; молчитъ воображенье,
Изнемогаетъ слабый умъ!
И мнится мнѣ, что близко, близко время—
И я умру въ разгарѣ юныхъ силъ...
Да! эта мысль мнѣ тягостна, какъ бремя:
Я жизнь такъ нѣкогда любилъ!

Да! тяжело намъ съ жизнью разставаться...
Но близокъ онъ, нашъ грозный, смертный часъ;
Сомнѣнья тяжкія намъ на душу ложатся:
Богъ вѣсть, что́ ждетъ за гробомъ насъ!

НАШЪ ВѢКЪ.

Въ нашъ странный вѣкъ все грустью поражаетъ.
Немудрено: привыкли мы встрѣчать
Работой каждый день; все налагаетъ
Намъ на душу особую печать.
Мы жить спѣшимъ. Безъ цѣли, безъ значенья
Жизнь тянется, проходитъ день за днемъ—
Куда, къ чему? Не знаемъ мы о томъ.
Вся наша жизнь есть смутный рядъ сомнѣнья.
Мы въ тяжкій сонъ живемъ погружены.
Какъ скучно все: младенческія грёзы
Какой-то тайной грустію полны,
И шутка какъ-то сказана сквозь слезы!
И лира наша вслѣдъ за жизнью вѣетъ
Ужасной пустотою: тяжело!
Усталый умъ безвременно коснѣетъ,
И чувство въ немъ молчитъ, усыплено.
Что-жъ въ жизни есть веселаго? Невольно
Нѣмая скорбь на душу набѣжитъ
И тѣнь сомнѣнья сердце омрачитъ...
Нѣтъ, право, жить и грустно, да и больно!..

ВЕСНА.

(Изъ моихъ отрывковъ).

У— ву въ воспоминаніе прошлаго.

Люблю весну я: все благоухаетъ
И смотритъ такъ привѣтливо-свѣтло.
Она нашъ духъ унылый пробуждаетъ;
Блистаетъ солнце—на сердцѣ тепло!
Толпятся мысли быстрой чередою.
Ни облачка на небѣ—чудный день!
Скажите же, ужель печали тѣнь
Васъ омрачитъ? Чудесной тишиною
Объятъ весь міръ; чуть слышно, какъ поетъ
Надъ быстрой рѣчкой иволга уныло...
Весною вновь все дышитъ и живетъ
И чувствуетъ невѣдомыя силы.
И часто мы съ тобой вдвоемъ встрѣчали
Весною солнце раннею порой;
Любили мы смотрѣть, какъ убѣгали
Ночныя тѣни; скоро за горой
И солнце появлялось; видъ прелестный!
Чуть дышитъ тихій вѣтеръ; все молчитъ;
Вдали село объято сномъ лежитъ.
И рѣчка вьется; свѣжестью чудесной
Проникнутъ воздухъ чистый; надъ рѣкой
Станицы птицъ, кружась, летаютъ; поле

Стадами покрывается; душой
Все вновь живетъ и проситъ сердце волн.
А вечера весенніе?..

Таковы стихотворенія Салтыкова. Судя по тому, что гостепріимствомъ «Современника» онъ пользовался раньше—для позднѣйшихъ, позже—для болѣе раннихъ произведеній, нужно предположить, что послѣ выпуска изъ лицея онъ вовсе пересталъ сочинять стихи: въ противномъ случаѣ, онъ отдавалъ бы въ печать вновь написанное, а не залежавшееся въ его портфелѣ. «Въ стѣнахъ лицея,—говоритъ г. Скабичевскій *):—Салтыковъ оставилъ свои мечты сдѣлаться вторымъ Пушкинымъ. Впослѣдствіи онъ даже не любилъ, когда кто-либо напоминалъ ему о стихотворныхъ грѣхахъ его молодости, краснѣя, хмурясь при этомъ случаѣ и стараясь всячески замять разговоръ. Однажды онъ высказалъ даже о поэтахъ парадоксъ, что всѣ они, по его мнѣнію, сумасшедшіе люди.—«Помилуйте,—объяснялъ онъ:—развѣ это не сумасшествіе, по цѣлымъ часамъ ломать голову, чтобы живую, естественную человѣческую рѣчь втискивать, во что бы то ни стало, въ размѣренныя, риѳмованныя строчки! Это все равно, что кто-нибудь вздумалъ бы вдругъ ходить не иначе, какъ по разостланной веревочкѣ, да непремѣнно еще на каждомъ шагу присѣдая».—Конечно, это была не больше какъ одна изъ сатирическихъ гиперболъ великаго юмориста, потому что на самомъ дѣлѣ онъ былъ тонкій знатокъ и цѣнитель хорошихъ стиховъ, и Некрасовъ постоянно ему одному изъ первыхъ читалъ свои новыя стихотворенія». Въ подтвержденіе того, что Салтыковъ рано и безповоротно пересталъ писать стихи, можно привести еще то мѣсто изъ его первой повѣсти «Противорѣчія», гдѣ герой повѣсти, рекомендуемый новому знакомому какъ поэтъ, замѣчаетъ: «эта рекомендація нѣсколько смутила меня, потому что я довольно давно уже не предаюсь никакому разврату». Тотъ же герой пишетъ своему молодому другу: «неужели всю жизнь сочинять стихотворенія, и не пора ли заговорить простою, здоровою прозою?»

Извѣстно, что Тургеневъ также не любилъ вспоминать о своихъ стихотвореніяхъ, хотя писалъ въ стихахъ гораздо больше и дольше, чѣмъ Салтыковъ. Разница между ними, съ этой точки зрѣнія, заключается въ томъ, что Салтыковъ почти вовсе не обладалъ даромъ стихотворной рѣчи, тогда какъ Тургеневъ владѣлъ имъ въ довольно высокой степени. Въ Тургеневѣ стремленіе забыть и заставить забыть о своихъ стихотвореніяхъ вызывалось крайнею требовательностью къ самому себѣ. Сознавая, что

*) «Новости», 1889 г., № 116.

въ прозѣ онъ гораздо сильнѣе, чѣмъ въ стихахъ, что въ одной лишь первой коренится истинная его оригинальность, онъ не хотѣлъ и думать о попыткахъ, наполнявшихъ первые годы его творчества; онѣ казались ему неудачными уже потому, что не были *вполнѣ* удачны. Въ глазахъ Салтыкова лицейскія стихотворенія очень скоро должны были сдѣлаться не чѣмъ инымъ, какъ пробой пера, ищущаго своей дороги. Какъ только отъ него отлетѣли первыя юношескія иллюзіи, онъ не могъ не понять, что у него вовсе нѣтъ поэтическаго таланта. Въ самомъ дѣлѣ, въ формѣ его стихотвореній не замѣтно никакого движенія впередъ; въ восемнадцать лѣтъ онъ писалъ, съ внѣшней стороны, не лучше, чѣмъ въ пятнадцать. Переводъ гейневской «Рыбачки» очень хорошъ и только немногимъ уступаетъ переводу той же пьесы, сдѣланному впослѣдствіи А. Н. Плещеевымъ; переводъ изъ Байрона гораздо слабѣе и менѣе близокъ къ подлиннику. Въ «Нашемъ вѣкѣ» меньше удачныхъ стиховъ, чѣмъ въ «Двухъ жизняхъ». Чѣмъ дальше, тѣмъ больше встрѣчается у Салтыкова словъ, введенныхъ въ пьесу исключительно для соблюденія размѣра. Авторъ не столько описываетъ свои чувства, сколько *называетъ ихъ* («какъ скучно мнѣ! мнѣ тяжело! мнѣ грустно! боленъ я душой!»—всѣ эти восклицанія взяты нами изъ одной только «Зимней элегіи»). Повторяются и мотивы стихотвореній (напримѣръ, тишина—въ «Вечерѣ» и въ «Веснѣ»), и даже самыя выраженія («чуть дышитъ вѣтеръ»). Многія пьесы производятъ впечатлѣніе варіацій на давно знакомыя темы; въ «Музыкѣ» слышится Бенедиктовъ, въ «Вечерѣ»—А. Майковъ, въ «Нашемъ вѣкѣ»—Лермонтовъ. И все-таки стихотворенія Салтыкова интересны, какъ выраженіе душевной жизни молодого лицеиста. Если «Лира», похожа еще на ученическое упражненіе, то въ «Двухъ жизняхъ» чувствуется уже настроеніе автора,—настроеніе, отчасти заимствованное, навѣянное извнѣ, но быстро привившееся къ натурѣ Салтыкова. Меланхолическая нота звучитъ въ немъ искренно и сердечно *). Жизнь кажется ему, по

*) Вотъ что говоритъ о Салтыковѣ-лицеистѣ А. Я. Головачева (см. «Воспоминанія» ея въ «Историческомъ Вѣстникѣ» за 1889 г., № 11, стр. 272—273): «я видѣла его въ началѣ сороковыхъ годовъ, въ домѣ М. А. Языкова. Онъ и тогда не отличался веселымъ выраженіемъ лица. Его большіе сѣрые глаза сурово смотрѣли на всѣхъ и онъ всегда молчалъ. Онъ всегда садился не въ той комнатѣ, гдѣ сидѣли всѣ гости, а помѣщался въ другой, противъ дверей, и оттуда внимательно слушалъ разговоры». Улыбка «мрачнаго лицеиста» считалась чудомъ. По словамъ Языкова, Салтыковъ ходилъ къ нему, «чтобы посмотрѣть на литераторовъ».

временамъ, тяжелымъ бременемъ, хотя ему и страшенъ призракъ смерти. Успокоительно дѣйствуетъ на него только пейзажъ—русскій сѣверный пейзажъ, обаянію котораго поддавались Пушкинъ, Лермонтовъ, Тургеневъ, Некрасовъ. Если, кромѣ природы, все остальное «поражало его грустью», то это не удивительно; въ эпоху, которую переживало тогда русское общество, печальныхъ картинъ на каждомъ шагу представлялось слишкомъ много. Чтобы видѣть и понимать ихъ, не нужно было долго жить на свѣтѣ; достаточно было присмотрѣться поближе къ «пошехонскимъ» порядкамъ и потомъ сравнить ихъ непроглядную тьму съ ослѣпительнымъ свѣтомъ, очагомъ котораго служила тогдашняя Франція. И о томъ, и о другомъ мы имѣемъ подлинныя свѣдѣтельства Салтыкова. Какія чувства заронила въ немъ тьма—это мы уже знаемъ; напомнимъ теперь, что онъ говоритъ объ источникѣ свѣта.

«Съ представленіемъ о Франціи и Парижѣ,—читаемъ мы въ четвертой главѣ «За рубежомъ»,—для меня неразрывно связывается воспоминаніе о моемъ юношествѣ, то-есть о сороковыхъ годахъ. Да и не только для меня лично, но и для всѣхъ насъ, сверстниковъ, въ этихъ двухъ словахъ заключалось нѣчто лучезарное, свѣтоносное, что согрѣвало нашу жизнь и въ извѣстномъ смыслѣ даже опредѣляло ея содержаніе. Какъ извѣстно, въ сороковыхъ годахъ русская литература (а за нею, конечно, и молодая читающая публика) подѣлилась на два лагеря: западниковъ и славянофиловъ. Былъ еще третій лагерь, въ которомъ копошились Булгарины, Бранты, Кукольники и т. п., но этотъ лагерь уже не имѣлъ ни малѣйшаго вліянія на подрастающее поколѣніе, и мы знали его лишь настолько, насколько онъ являлъ себя прикосновеннымъ къ вѣдомству управы благочинія. Я въ то время только что оставилъ школьную скамью и, воспитанный на статьяхъ Бѣлинскаго, естественно примкнулъ къ западникамъ. Но не къ большинству западниковъ (единственно авторитетному тогда въ литературѣ), которое занималось популяризированіемъ положеній нѣмецкой философіи, а къ тому безвѣстному кружку, который инстинктивно прилѣпился къ Франціи. Разумѣется, не къ Франціи Луи-Филиппа и Гизо, а къ Франціи Сенъ-Симона, Кабе, Фурье, Луи-Блана и въ особенности Жоржъ-Занда. Оттуда лилась на насъ вѣра въ человѣчество, оттуда возсіяла намъ увѣренность, что золотой вѣкъ находится не позади, а впереди насъ... Словомъ сказать, все доброе, все желанное и любвеобильное шло оттуда. Въ Россіи,—впрочемъ, не столько въ Россіи, сколько спеціально въ Петербургѣ,—мы существовали лишь фактически или, какъ въ то время говорилось, имѣли

благодаря критикѣ Бѣлинскаго, повѣстямъ Панаева, Кудрявцева и друг. Вліяніе литературы было тогда вообще очень сильно въ лицеѣ; воспоминаніе о Пушкинѣ какъ-будто обязывало, и въ каждомъ курсѣ предполагался продолжатель Пушкина. Такъ, въ XI курсѣ (1841 г.) товарищи указывали на В. Р. Зотова, помѣщавшаго стихи въ «Маякѣ», редакторъ котораго, Бурачекъ, провозгласилъ его вторымъ Пушкинымъ *). Въ XII курсѣ на пушкинскую вакансію помѣщали Н. П. Семенова (сенаторъ, бывшій членъ редакціонныхъ комиссій по крестьянскому дѣлу, авторъ сочиненія объ этой эпохѣ, сотрудникъ «Русскаго Вѣстника»); въ XIII — Салтыкова; въ XIV — Виктора Павловича Гаевскаго (недавно умершаго, автора статей о Дельвигѣ и Пушкинѣ, много лѣтъ бывшаго предсѣдателемъ литературнаго фонда). Первое стихотвореніе Салтыкова «Лира», было напечатано въ «Библіотекѣ для Чтенія» 1841 года (т. 45-й, стр. 105—6), за подписью: С—въ. Въ слѣдующемъ 1842 году появилась въ томъ же журналѣ (т. 50, стр. 10) другая его пьеса: «Двѣ жизни», помѣченная только первой буквой его фамиліи. Приводимъ обѣ пьесы вполнѣ, какъ матеріалъ для характеристики молодого, пятнадцати-или шестнадцатилѣтняго автора:

ЛИРА.

На русскомъ Парнасѣ есть лира
Струнами ей—солнца лучи,
Ихъ звукамъ внимаетъ полміра:
Предъ ними самъ громъ замолчи!
И въ черную тучу главою
Небрежно уперлась она;
Могучій утесъ—подъ стопою,
У ногъ его стонетъ волна.
Два мужа на лирѣ гремѣли,
Гремѣли могучей рукой;
Къ нимъ звуки отъ неба слетѣли
И приняли образъ земной.
Одинъ былъ старикъ величавый;
Онъ мощно на лирѣ бряцалъ.
Вѣнцомъ немерцающей славы
Поэта міръ хладный вѣнчалъ.
Другой былъ любимый сынъ Феба;

*) Одиннадцатому курсу принадлежалъ и другой «продолжатель Пушкина», имѣвшій гораздо больше правъ на этотъ титулъ—Л. А. Мей (переведенный въ лицей, подобно Салтыкову, изъ московскаго дворянскаго института). Изъ біографіи его, написанной В. Р. Зотовымъ, мы узнаемъ, что онъ писалъ стихи и до вступленія въ лицей, и въ лицеѣ. Какъ и Салтыковъ, онъ былъ постояннымъ нарушителемъ лицейскихъ правилъ и получалъ дурные баллы «изъ поведенія».

Онъ пѣсни допѣть не успѣлъ,
И въ свѣтлой обители неба
Ужъ исповѣдь сердца допѣлъ.
Пѣвецъ тотъ былъ славенъ и молодъ,
Онъ пѣснею смертныхъ увлекъ
И міра безжизненный холодъ
Въ волшебные звуки облекъ.
Угасли! въ святыя селенья
Умчавшись, съ собой унесли
И лиру, одно утѣшенье
Средь бурь и волненій земли!..

ДВѢ ЖИЗНИ.

Жизнь сладостна и даръ небесъ безцѣнный
Тому, кто вѣровалъ въ Зиждителя вселенной;
Кто юности и счастью прошлыхъ дней
Возможетъ отслужить съ улыбкой ясной тризну;
Поднять покровъ съ картинъ весны своей
Кто можетъ смѣлою рукой, безъ укоризны;
Кто, полный мыслію, умѣлъ блаженно жить,
Роскошно чувствовать и истинно любить;
Въ чьемъ духѣ бодрственномъ, не тяжкія страданья,
Остались сладкія еще воспоминанья;
На жизненномъ пути кто безъ горячихъ слезъ,
Безъ боли крестъ заботъ житейскихъ несъ,
И, вѣнчанный вѣнкомъ изъ розановъ душистыхъ,
Спокойно отойдетъ въ обитель тѣней чистыхъ.
Но жизнь безрадостна и тяжела тому,
Кто сердца не нашелъ отвѣтнаго ему;
Кто, символомъ ничтожества покрытый,
Людьми и всѣмъ, что въ мірѣ, позабытый,
Страстей земныхъ измученный борьбой,
Какимъ-то странникомъ блуждая одинокимъ,
Напрасно силится смѣяться надъ судьбой
И сбросить горя цѣпь въ убѣжищѣ далекомъ.
Кто страшную себѣ анаѳему прочтетъ
Въ всеобщемъ, тягостномъ, убійственномъ забвеньи,
И трупомъ проклятымъ, въ отчаяньи, умретъ
Безъ слезъ напутственныхъ, безъ погребенья,
Священнаго лишенъ поминовенья...

Ко времени пребыванія въ лицеѣ относятся и всѣ остальныя стихотворенія Салтыкова, хотя они появились въ «Современникѣ», выходившемъ тогда подъ редакціею Плетнева, — уже послѣ выпуска его изъ лицея, въ 1844 и 1845 гг. Напечатаны они не въ томъ порядкѣ, въ какомъ написаны. Въ 34-мъ томѣ «Современника», за 1844 годъ, помѣщены (стр. 231 и 341) два стихотворенія, написанныя, какъ видно изъ помѣтокъ автора, въ февралѣ и мартѣ того же года *): «Нашъ вѣкъ» и «Весна». Въ 35-мъ томѣ, также 1844 г., помѣщены (стр. 100 и 105)

*) Салтыковъ окончилъ курсъ въ маѣ 1844 г.

два перевода, изъ Гейне («Рыбачкѣ») и Байрона, относящіеся первый—къ 1841 г., второй—къ 1842 г., т. е. одновременные съ стихотвореніями, напечатанными въ «Библіотекѣ для Чтенія». Въ томѣ 37-мъ, за 1845 г., помѣщены (стр. 119 и 377) два стихотворенія: «Зимняя элегія» и «Вечеръ», изъ которыхъ послѣднее помѣчено 1842 г., первое—1843-мъ; въ томѣ 39-мъ, также за 1845 г.—одно стихотвореніе (стр. 212), написанное въ 1843 г. «Музыка» *). Подъ всѣми этими стихотвореніями подпись: «М. Салтыковъ». Приведемъ ихъ въ хронологическомъ порядкѣ.

РЫБАЧКѢ (изъ Гейне).

О, милая дѣвочка! быстро
Челнокъ свой направь ты ко мнѣ!
Сядь рядомъ со мною и тихо
Бесѣдовать будемъ во тьмѣ.
И къ сердцу страдальца ты крѣпко
Головку младую прижми—
Вѣдь морю себя ты ввѣряешь
И въ бурю, и въ ясные дни.
А сердце мое то же море—
Бушуетъ оно и кипитъ.
И много сокровищъ безцѣнныхъ
На днѣ своемъ ясномъ хранитъ **).

ИЗЪ БАЙРОНА.

Разбитъ мой талисманъ, исчезло упоенье!
Такъ вѣчно должно намъ здѣсь плакать и страдать;
Мы жизнь свою влачимъ въ нѣмомъ самозабвеньи
И улыбаемся, когда-бъ должны рыдать.
И всякій свѣтлый мигъ покажетъ, что страданье,
Одно страданіе насъ въ жизни нашей ждетъ,
И тотъ, кто здѣсь живетъ, далекъ земныхъ желаній,—
Какъ мученикъ живетъ***).

---

*) Въ оглавленіи 39-го тома показано еще одно стихотвореніе Салтыкова: «Изъ Байрона», но на стран. 318, на которую сдѣлана ссылка, напечатано совсѣмъ другое стихотвореніе, озаглавленное: «21 іюля 1845» и подписанное Д. Коптевымъ, имя котораго встрѣчается въ тогдашнемъ «Современникѣ» довольно часто.

**) Вотъ, для сравненія, подлинникъ: Du, schönes Fischermädchen, treibe den Kahn an's Land; komm zu mir und setze dich nieder, wir kosen Hand in Hand. Leg'an mein Herz dein Köpfchen, und fürchte dich nicht so sehr; vertraust du dich doch sorglos täglich dem wilden Meer. Mein Herz gleicht ganz dem Meere, hat Sturm und Ebb' und Fluth, und manche schöne Perle in seiner Tiefe ruht.

***) The spell is broke, the charm is flown! thus is it with life's fitful fever: we madly smile when we should groan; delirium is our best deceiver. Each lucid interval of thought recalls the woes of Nature's charter; and he who acts as wise men ought, but lives, as saints have died, a martyr.

ВЕЧЕРЪ.

Заря вечерняя на небѣ догораетъ;
Прохладой дышитъ все, день знойный убѣгаетъ;
Безсонный соловей одинъ вдали поетъ.
Весенній вечеръ тихъ; клубится и встаетъ
Надъ озеромъ туманъ; межъ листьями играя,
Чуть дышитъ майскій вѣтръ, рядъ бѣлыхъ волнъ качая;
Спитъ тихо озеро. Къ крутымъ его брегамъ
Безмолвно прихожу, и тамъ, склонясь къ водамъ,
Сажуся въ тишинѣ, отъ всѣхъ уединенный.
Наяды рѣзвыя играютъ предо мной—
И любо мнѣ смотрѣть на кругъ ихъ оживленный,
Какъ, на поверхности лобзаемы луной,
Наяды рѣзвыя нагія выплываютъ,
И долго хохотъ ихъ утесы повторяютъ.

МУЗЫКА.

Я помню вечеръ: ты играла,
Я звукамъ съ ужасомъ внималъ.
Луна кровавая мерцала,
И мраченъ былъ старинный залъ.
Твой мертвый ликъ, твои страданья,
Могильный блескъ твоихъ очей,
И устъ холодное дыханье,
И трепетаніе грудей—
Все мрачный холодъ навѣвало.
Играла ты... я весь дрожалъ,
А эхо звуки повторяло,
И страшенъ былъ старинный залъ...
Играй, играй: пускай терзанье
Наполнитъ душу мнѣ тоской;
Моя любовь живетъ страданьемъ
И страшенъ ей покой!

ЗИМНЯЯ ЭЛЕГІЯ.

Какъ скучно мнѣ! Безъ жизни, безъ движенья
Лежатъ поля, снѣгъ хлопьями лежитъ;
Безмолвно все; лишь грустно въ отдаленьи
Пѣснь запоздалая звучитъ.
Мнѣ тяжело; уныло потухаетъ
Холодный день за дальнею горой.
Что́ душу мнѣ волнуетъ и смущаетъ?
Мнѣ грустно; боленъ я душой!
Я здѣсь одинъ: тяжелое томленье
Сжимаетъ грудь; ряды нестройныхъ думъ
Меня тѣснятъ; молчитъ воображенье,
Изнемогаетъ слабый умъ!
И мнится мнѣ, что близко, близко время—
И я умру въ разгарѣ юныхъ силъ...
Да! эта мысль мнѣ тягостна, какъ бремя:
Я жизнь такъ нѣкогда любилъ!

Да! тяжело намъ съ жизнью разставаться...
Но близокъ онъ, нашъ грозный, смертный часъ;
Сомнѣнья тяжкія намъ на душу ложатся:
Богъ вѣсть, что́ ждетъ за гробомъ насъ!

НАШЪ ВѢКЪ.

Въ нашъ странный вѣкъ все грустью поражаетъ.
Немудрено: привыкли мы встрѣчать
Работой каждый день; все налагаетъ
Намъ на душу особую печать.
Мы жить спѣшимъ. Безъ цѣли, безъ значенья
Жизнь тянется, проходитъ день за днемъ—
Куда, къ чему? Не знаемъ мы о томъ.
Вся наша жизнь есть смутный рядъ сомнѣнья.
Мы въ тяжкій сонъ живемъ погружены.
Какъ скучно все: младенческія грёзы
Какой-то тайной грустію полны,
И шутка какъ-то сказана сквозь слезы!
И лира наша вслѣдъ за жизнью вѣетъ
Ужасной пустотою: тяжело!
Усталый умъ безвременно коснѣетъ,
И чувство въ немъ молчитъ, усыплено.
Что́-жъ въ жизни есть веселаго? Невольно
Нѣмая скорбь на душу набѣжитъ
И тѣнь сомнѣнья сердце омрачитъ...
Нѣтъ, право, жить и грустно, да и больно!..

ВЕСНА.

(Изъ монхъ отрывковъ).

У— ву— въ воспоминаніе прошлаго.

Люблю весну я: все благоухаетъ
И смотритъ такъ привѣтливо-свѣтло.
Она нашъ духъ унылый пробуждаетъ;
Блистаетъ солнце—на́ сердцѣ тепло!
Толпятся мысли быстрой чередою.
Ни облачка на небѣ—чудный день!
Скажите же, ужель печали тѣнь
Васъ омрачитъ? Чудесной тишиною
Объятъ весь міръ; чуть слышно, какъ поетъ
Надъ быстрой рѣчкой иволга уныло...
Весною вновь все дышитъ и живетъ
И чувствуетъ невѣдомыя силы.
И часто мы съ тобой вдвоемъ встрѣчали
Весною солнце раннею порой;
Любили мы смотрѣть, какъ убѣгали
Ночныя тѣни; скоро за горой
И солнце появлялось; видъ прелестный!
Чуть дышитъ тихій вѣтеръ; все молчитъ;
Вдали село объято сномъ лежитъ
И рѣчка вьется; свѣжестью чудесной
Проникнутъ воздухъ чистый; надъ рѣкой
Станицы птицъ, кружась, летаютъ; поле

Стадами покрывается; душой
Все вновь живетъ и проситъ сердце волн.
А вечера весенніе?..

Таковы стихотворенія Салтыкова. Судя по тому, что гостепріимствомъ «Современника» онъ пользовался раньше—для позднѣйшихъ, позже—для болѣе раннихъ произведеній, нужно предположить, что послѣ выпуска изъ лицея онъ вовсе пересталъ сочинять стихи: въ противномъ случаѣ, онъ отдавалъ бы въ печать вновь написанное, а не залежавшееся въ его портфелѣ. «Въ стѣнахъ лицея,—говоритъ г. Скабичевскій *):—Салтыковъ оставилъ свои мечты сдѣлаться вторымъ Пушкинымъ. Впослѣдствіи онъ даже не любилъ, когда кто-либо напоминалъ ему о стихотворныхъ грѣхахъ его молодости, краснѣя, хмурясь при этомъ случаѣ и стараясь всячески замять разговоръ. Однажды онъ высказалъ даже о поэтахъ парадоксъ, что всѣ они, по его мнѣнію, сумасшедшіе люди.—«Помилуйте,—объяснялъ онъ:—развѣ это не сумасшествіе, по цѣлымъ часамъ ломать голову, чтобы живую, естественную человѣческую рѣчь втискивать, во что бы то ни стало, въ размѣренныя, риѳмованныя строчки! Это все равно, что кто-нибудь вздумалъ бы вдругъ ходить не иначе, какъ по разостланной веревочкѣ, да непремѣнно еще на каждомъ шагу присѣдая».—Конечно, это была не больше какъ одна изъ сатирическихъ гиперболъ великаго юмориста, потому что на самомъ дѣлѣ онъ былъ тонкій знатокъ и цѣнитель хорошихъ стиховъ, и Некрасовъ постоянно ему одному изъ первыхъ читалъ свои новыя стихотворенія». Въ подтвержденіе того, что Салтыковъ рано и безповоротно пересталъ писать стихи, можно привести еще то мѣсто изъ его первой повѣсти «Противорѣчія», гдѣ герой повѣсти, рекомендуемый новому знакомому какъ поэтъ, замѣчаетъ: «эта рекомендація нѣсколько смутила меня, потому что я довольно давно уже не предаюсь никакому разврату». Тотъ же герой пишетъ своему молодому другу: «неужели всю жизнь сочинять стихотворенія, и не пора ли заговорить простою, здоровою прозою?»

Извѣстно, что Тургеневъ также не любилъ вспоминать о своихъ стихотвореніяхъ, хотя писалъ въ стихахъ гораздо больше и дольше, чѣмъ Салтыковъ. Разница между ними, съ этой точки зрѣнія, заключается въ томъ, что Салтыковъ почти вовсе не обладалъ даромъ стихотворной рѣчи, тогда какъ Тургеневъ владѣлъ имъ въ довольно высокой степени. Въ Тургеневѣ стремленіе забыть и заставить забыть о своихъ стихотвореніяхъ вызывалось крайнею требовательностью къ самому себѣ. Сознавая, что

*) «Новости», 1889 г., № 116.

въ прозѣ онъ гораздо сильнѣе, чѣмъ въ стихахъ, что въ одной лишь первой коренится истинная его оригинальность, онъ не хотѣлъ и думать о попыткахъ, наполнявшихъ первые годы его творчества; онѣ казались ему неудачными уже потому, что не были *вполнѣ* удачны. Въ глазахъ Салтыкова лицейскія стихотворенія очень скоро должны были сдѣлаться не чѣмъ инымъ, какъ пробой пера, ищущаго своей дороги. Какъ только отъ него отлетѣли первыя юношескія иллюзіи, онъ не могъ не понять, что у него вовсе нѣтъ поэтическаго таланта. Въ самомъ дѣлѣ, въ формѣ его стихотвореній не замѣтно никакого движенія впередъ; въ восемнадцать лѣтъ онъ писалъ, съ внѣшней стороны, не лучше, чѣмъ въ пятнадцать. Переводъ гейневской «Рыбачки» очень хорошъ и только немногимъ уступаетъ переводу той же пьесы, сдѣланному впослѣдствіи А. Н. Плещеевымъ; переводъ изъ Байрона гораздо слабѣе и менѣе близокъ къ подлиннику. Въ «Нашемъ вѣкѣ» меньше удачныхъ стиховъ, чѣмъ въ «Двухъ жизняхъ». Чѣмъ дальше, тѣмъ больше встрѣчается у Салтыкова словъ, введенныхъ въ пьесу исключительно для соблюденія размѣра. Авторъ не столько описываетъ свои чувства, сколько *называетъ ихъ* («какъ скучно мнѣ! мнѣ тяжело! мнѣ грустно! боленъ я душой!»—всѣ эти восклицанія взяты нами изъ одной только «Зимней элегіи»). Повторяются и мотивы стихотвореній (напримѣръ, тишина—въ «Вечерѣ» и въ «Веснѣ»), и даже самыя выраженія («чуть дышитъ вѣтеръ»). Многія пьесы производятъ впечатлѣніе варіацій на давно знакомыя темы; въ «Музыкѣ» слышится Бенедиктовъ, въ «Вечерѣ»—А. Майковъ, въ «Нашемъ вѣкѣ»—Лермонтовъ. И все-таки стихотворенія Салтыкова интересны, какъ выраженіе душевной жизни молодого лицеиста. Если «Лира», похожа еще на ученическое упражненіе, то въ «Двухъ жизняхъ» чувствуется уже настроеніе автора,—настроеніе, отчасти заимствованное, навѣянное извнѣ, но быстро привившееся къ натурѣ Салтыкова. Меланхолическая нота звучитъ въ немъ искренно и сердечно *). Жизнь кажется ему, по

*) Вотъ что говоритъ о Салтыковѣ-лицеистѣ А. Я. Головачева (см. «Воспоминанія» ея въ «Историческомъ Вѣстникѣ» за 1889 г., №11, стр. 272—273): «я видѣла его въ началѣ сороковыхъ годовъ, въ домѣ М. А. Языкова. Онъ и тогда не отличался веселымъ выраженіемъ лица. Его большіе сѣрые глаза сурово смотрѣли на всѣхъ и онъ всегда молчалъ. Онъ всегда садился не въ той комнатѣ, гдѣ сидѣли всѣ гости, а помѣщался въ другой, противъ дверей, и оттуда внимательно слушалъ разговоры». Улыбка «мрачнаго лицеиста» считалась чудомъ. По словамъ Языкова, Салтыковъ ходилъ къ нему, «чтобы посмотрѣть на литераторовъ».

временамъ, тяжелымъ бременемъ, хотя ему и страшенъ призракъ смерти. Успокоительно дѣйствуетъ на него только пейзажъ— русскій сѣверный пейзажъ, обаянію котораго поддавались Пушкинъ, Лермонтовъ, Тургеневъ, Некрасовъ. Если, кромѣ природы, все остальное «поражало его грустью», то это не удивительно; въ эпоху, которую переживало тогда русское общество, печальныхъ картинъ на каждомъ шагу представлялось слишкомъ много. Чтобы видѣть и понимать ихъ, не нужно было долго жить на свѣтѣ; достаточно было присмотрѣться поближе къ «пошехонскимъ» порядкамъ и потомъ сравнить ихъ непроглядную тьму съ ослѣпительнымъ свѣтомъ, очагомъ котораго служила тогдашняя Франція. И о томъ, и о другомъ мы имѣемъ подлинныя свѣдѣтельства Салтыкова. Какія чувства заронила въ немъ тьма— это мы уже знаемъ; напомнимъ теперь, что онъ говоритъ объ источникѣ свѣта.

«Съ представленіемъ о Франціи и Парижѣ,—читаемъ мы въ четвертой главѣ «За рубежомъ»,—для меня неразрывно связывается воспоминаніе о моемъ юношествѣ, то-есть о сороковыхъ годахъ. Да и не только для меня лично, но и для всѣхъ насъ, сверстниковъ, въ этихъ двухъ словахъ заключалось нѣчто лучезарное, свѣтоносное, что согрѣвало нашу жизнь и въ извѣстномъ смыслѣ даже опредѣляло ея содержаніе. Какъ извѣстно, въ сороковыхъ годахъ русская литература (а за нею, конечно, и молодая читающая публика) подѣлилась на два лагеря: западниковъ и славянофиловъ. Былъ еще третій лагерь, въ которомъ копошились Булгарины, Бранты, Кукольники и т. п., но этотъ лагерь уже не имѣлъ ни малѣйшаго вліянія на подрастающее поколѣніе, и мы знали его лишь настолько, насколько онъ являлъ себя прикосновеннымъ къ вѣдомству управы благочинія. Я въ то время только что оставилъ школьную скамью и, воспитанный на статьяхъ Бѣлинскаго, естественно примкнулъ къ западникамъ. Но не къ большинству западниковъ (единственно авторитетному тогда въ литературѣ), которое занималось популяризированіемъ положеній нѣмецкой философіи, а къ тому безвѣстному кружку, который инстинктивно прилѣпился къ Франціи. Разумѣется, не къ Франціи Луи-Филиппа и Гизо, а къ Франціи Сенъ-Симона, Кабе, Фурье, Луи-Блана и въ особенности Жоржъ-Занда. Оттуда лилась на насъ вѣра въ человѣчество, оттуда возсіяла намъ увѣренность, что золотой вѣкъ находится не позади, а впереди насъ... Словомъ сказать, все доброе, все желанное и любвеобильное шло оттуда. Въ Россіи,—впрочемъ, не столько въ Россіи, сколько спеціально въ Петербургѣ,— мы существовали лишь фактически или, какъ въ то время говорилось, имѣли

образъ жизни. Ходили на службу въ соотвѣтствующія канцеляріи, писали письма къ родителямъ, питались въ ресторанахъ, а чаще всего въ кухмистерскихъ, собирались другъ у друга для собесѣдованія и т. д. Но духовно мы жили во Франціи. Россія представляла собой область, какъ бы застланную туманомъ, въ которой даже такое дѣло, какъ опубликованіе «Собранія русскихъ пословицъ», являлось прихотливымъ и предосудительнымъ; напротивъ того, во Франціи все было ясно, какъ день, несмотря на то, что газеты доходили до насъ съ вырѣзками и помарками. Такъ что когда министръ внутреннихъ дѣлъ Перовскій началъ издавать таксы на мясо и хлѣбъ, то и это заинтересовало насъ только въ качествѣ анекдота, о которомъ слѣдуетъ говорить съ осмотрительностью. Напротивъ, всякій эпизодъ изъ общественно-политической жизни Франціи затрагивалъ насъ за живое, заставлялъ и радоваться, и страдать. Въ Россіи все казалось покончепнымъ, запакованнымъ и за пятью печатями сданнымъ на почту для выдачи адресату, котораго зараньше предположено не разыскивать; во Франціи все какъ будто только что начиналось. И не только теперь, въ эту минуту, а больше полустолѣтія сряду все начиналось, и опять, и опять начиналось, и не заявляло ни малѣйшаго желанія кончиться... Въ особенности симпатіи къ Франціи обострились около 1848 г. Мы съ неподдѣльнымъ волненіемъ слѣдили за перипетіями драмы послѣднихъ двухъ лѣтъ царствованія Луи-Филиппа и съ упоеніемъ зачитывались «Исторіей десятилѣтія» Луи-Блана. Луи-Филиппъ, и Гизо, и Дюшатель, и Тьеръ,—все это были какъ бы личные враги (право, даже болѣе опасные, чѣмъ Л. В. Дуббельтъ), успѣхъ которыхъ огорчалъ, неуспѣхъ—радовалъ. Процессъ министра Теста, агитація въ пользу избирательной реформы, высокомѣрныя рѣчи Гизо по этому поводу, февральскіе банкеты,—все это и теперь такъ живо встаетъ въ моей памяти, какъ-будто происходило вчера»... Мы едва ли ошибемся, если скажемъ, что настроеніе, описанное въ этихъ строкахъ, зародилось въ Салтыковѣ еще во время бытности его въ лицеѣ. Даже въ концѣ сороковыхъ, въ началѣ пятидесятыхъ годовъ, послѣ грозы 1848 г., послѣ дѣла петрашевцевъ, въ которомъ не случайно оказались замѣшанными многіе изъ бывшихъ лицеистовъ (Петрашевскій, Спѣшневъ, Кашкинъ, Европеусъ), между воспитанниками лицея бродили еще идеи, вдохновлявшія юношу-Салтыкова. Многіе изъ нихъ читали Фурье, Сенъ-Симона, Луи-Блана и знакомили своихъ младшихъ товарищей съ содержаніемъ запретныхъ книгъ, которыя въ училищѣ правовѣдѣнія (да вѣроятно и въ другихъ закрытыхъ учебныхъ заведеніяхъ того же времени) едва ли были извѣстны даже по

имени.*). Само собою разумѣется, что, ставъ на ноги, освободившись отъ школьнаго контроля, Салтыковъ отдался съ большимъ еще жаромъ изученію французской политической и экономической литературы.

Изъ лицея выходили въ то время—какъ и теперь—съ чиномъ девятаго, десятого или двѣнадцатаго класса, смотря по успѣхамъ въ наукахъ и болѣе или менѣе одобрительному «поведенію». Салтыковъ, какъ мы уже знаемъ, получалъ плохіе баллы «изъ поведенія», и вышелъ поэтому съ чиномъ десятаго класса, семнадцатымъ по списку. Всего выпущено было въ 1844 г. двадцать два ученика: двѣнадцать—девятымъ классомъ, пять—десятымъ, пять—двѣнадцатымъ**). Съ чиномъ десятаго класса вышли изъ лицея, какъ извѣстно, и Пушкинъ, и Дельвигъ, и Мей. Между товарищами Салтыкова никто не составилъ себѣ имени въ литературѣ или въ общественной дѣятельности; высокихъ положеній по службѣ достигли кн. А. Б. Лобановъ-Ростовскій (посолъ въ Вѣнѣ) и гр. А. П. Бобринскій (бывшій московскій губернскій предводитель дворянства, умершій недавно членомъ государственнаго совѣта). Сохранилъ ли Салтыковъ близкія отношенія къ кому-либо изъ своихъ товарищей — не знаемъ; искать между ними того, кому посвящена «Весна», нельзя, потому что ни одинъ изъ нихъ не носилъ фамиліи, начинающейся съ буквы У. О службѣ Салтыкова въ Петербургѣ мы знаемъ только то, что онъ 23-го августа 1844 г. былъ зачисленъ въ канцелярію военнаго министра, а два года спустя, 8-го августа 1846 г., получилъ тамъ мѣсто помощника секретаря. По словамъ г. Скабичевскаго, первые три года по выходѣ изъ лицея Салтыковъ, подобно Пушкину, провелъ очень бурно и разсѣянно справлялъ «праздникъ жизни, молодости годы». «По своей страсти все представлять въ комическомъ видѣ, не щадя и самого себя, Салтыковъ,—продолжаетъ г. Скабичевскій,—разсказывалъ о себѣ нѣсколько анекдотовъ изъ этого періода своей жизни, которые, по своей крайней курьезности, вполнѣ совпадаютъ съ жанромъ его сатиръ». Съ достовѣрностью можно сказать пока только одно: Салтыкова продолжало тянуть къ литературѣ, больше, чѣмъ когда-либо, привле

*) Пишущій эти строки самъ поступилъ въ училище правовѣдѣнія въ 1849 г. и, имѣвъ родственниковъ и знакомыхъ въ лицеѣ, говорить объ этомъ на основаніи собственныхъ воспоминаній.

**) Эти цифры, не вполнѣ совпадающія со свѣдѣніями біографическаго очерка «Русской Библіотеки», заимствованы нами изъ офиціальнаго источника—памятной книжки Александровскаго лицея на 1855—1856 г.

кавшей къ себѣ въ то время всѣхъ лучшихъ представителей нашей интеллигенціи. Оставивъ стихи, онъ скоро сталъ пробовать свои силы въ прозѣ. До сихъ поръ предполагалось, что первымъ прозаическимъ опытомъ Салтыкова была повѣсть: «Противорѣчія», напечатанная въ ноябрьской книжкѣ «Отечественныхъ Записокъ» за 1847 г. Оказывается, однако, что онъ уже раньше сталъ помѣщать въ томъ же журналѣ, въ отдѣлѣ «Библіографической Хроники», рецензіи на нѣкоторыя вновь выходящія русскія книги. До 1846 г. этимъ отдѣломъ завѣдывалъ Бѣлинскій; потомъ, до лѣта 1847 г., главную роль игралъ въ немъ Валеріанъ Майковъ. Послѣ смерти Майкова веденіе «Библіографической Хроники» стало, повидимому, дѣломъ коллективнымъ. Салтыкову приходилось писать бо́льшею частью объ учебникахъ и книгахъ для дѣтскаго чтенія. Изъ рецензій, черновыя которыхъ, собственноручно написанныя Салтыковымъ, находятся передъ нашими глазами, къ этой рубрикѣ относится пять (о семи книгахъ); только одна касается брошюры П. Лебедева: «Нѣсколько словъ о военномъ краснорѣчіи», но эта рецензія, нужно думать, осталась ненапечатанною, потому что во второй части т. 55-го «Отечественныхъ Записокъ» (стр. 103) о брошюрѣ Лебедева имѣется совсѣмъ другая замѣтка, гораздо менѣе благопріятная для автора, чѣмъ составленная Салтыковымъ. Въ томъ же 55-мъ томѣ (стр. 21), но въ другой, первой, его части *) напечатана замѣтка Салтыкова о «Логикѣ» Зубовскаго, профессора могилевской семинаріи. «И въ наше время,—такъ начинается рецензія,—существуютъ еще люди съ наивнымъ убѣжденіемъ, что логика можетъ научить мыслить... Никому не придетъ въ голову назвать смѣшнымъ стремленіе познать самого себя, привесть въ ясное сознаніе тѣ законы, по которымъ человѣкъ мыслитъ; но учить мыслить... трудную задачу вы взяли на себя, г. Зубовскій!» Дальше Салтыковъ возражаетъ противъ преувеличеннаго значенія, придаваемаго, въ заурядной логикѣ, силлогизмамъ; онъ замѣчаетъ, что силлогизмъ—не что иное, какъ «безконечный, безвыходный кругъ, въ которомъ общее предложеніе доказывается частнымъ и потомъ, въ свою очередь, доказываетъ частное». «Намъ случилось слышать, — восклицаетъ рецензентъ: — какъ одинъ господинъ весьма серьезно увѣрялъ другого, весьма почтенной наружности, но посмирнѣе, что тотъ долженъ ему повиноваться, дѣлая слѣдующій силлогизмъ: «я человѣкъ, ты человѣкъ; слѣдовательно ты рабъ мой». И смирный господинъ повѣрилъ (такова оше-

*) Это та самая ноябрьская книжка 1847 г., въ которой напечатана первая повѣсть Салтыкова «Противорѣчія».

ломляющая сила силлогизма!), и отдалъ тому господину все, что у него было: и жену, и дѣтей, и самого себя, и вдобавокъ остался даже очень доволенъ собою». Эти слова направлены, очевидно, не противъ «Логики» Зубовскаго, а противъ модной, по тогдашнему времени, крѣпостнической логики.

Въ разборѣ дѣтскихъ книгъ и учебниковъ, предназначенныхъ для дѣтей—«Географіи въ эстампахъ» Ришома и Вангольда, «Курса физической географіи» Петровскаго, «Руководства къ первоначальному изученію всеобщей исторіи» Фолькера, «Разсказовъ дѣтямъ изъ древняго міра» Беккера, «Потемкина», исторической повѣсти Фурмана, «Альманаха для дѣтей» *),—Салтыковъ возстаетъ съ особенною силой противъ пронисной морали, противъ неуклюжаго подчеркиванья нравственныхъ сентенцій, противъ обремененія памяти массой мелочныхъ подробностей и сухихъ фактовъ. Многія изъ его разсужденій не потеряли своей цѣны и въ наше время. «Странная, право, участь дѣтей!—говоритъ онъ, напримѣръ, въ замѣткѣ о «Руководствѣ къ первоначальному изученію всеобщей исторіи».—«Чему не учатъ ихъ, какіе методы не употребляются при преподаваніи! Одно только забываютъ объяснить дѣтямъ мудрые наставники—именно то, что наиболѣе занимаетъ пытливый умъ ребенка: то, что находится у него безпрестанно подъ руками, тѣ предметы физическаго міра, въ кругу которыхъ онъ вращается. Отъ этого-то именно и происходитъ, что человѣкъ, сошедшій со школьной скамьи, насытившійся вдоволь и греками, и римлянами, узнавшій въ концѣ всѣ свойства души, воли и другихъ невѣсомыхъ, которыми кишитъ жизнь бѣднаго школьника, при первомъ столкновеніи съ дѣйствительностью оказывается совершенно несостоятельнымъ, при первомъ несчастіи упадаетъ духомъ, и если ему по какому-нибудь случаю любезные родители не приготовили ни душъ, которыя могли бы прокормить вѣчнаго младенца, ни сердобольныхъ родственниковъ, нашъ философъ умираетъ съ голоду, именно отъ того, что любезные родители никакъ не могли предвидѣть подобный пассажъ. По-настоящему, слѣдовало бы подстерегать натуру ребенка, уловить его наклонности, не навязывать ему такой науки, которая или антипатична, или не по лѣтамъ ему. Какъ это возможно! а на что же существуютъ возлюбленные родители? Въ ихъ умѣ ужъ заранѣе начертаны всѣ занятія, всѣ судьбы юнаго рожденія ихъ:

*) Рецензія на повѣсть Фурмана напечатана въ январской книжкѣ «Отечественныхъ Записокъ» за 1848 г. (т. 56), рецензія на «Разсказы» Беккера—въ апрѣльской книжкѣ того же года (т. 57), т. е. уже послѣ «Запутаннаго дѣла».

на то онъ ихъ рожденіе, ихъ *собственное* рожденіе, чтобы они могли по произволу располагать имъ. Юноши, въ которыхъ эта *система постепеннаю ошеломленія* (совершенно уже салтыковское «словечко»!) не совсѣмъ еще утушила энергію пытливаго духа, обыкновенно начинаютъ, по выходѣ изъ школы, образованіе совершенно сызнова, но и тутъ, въ борьбѣ съ безпрестанно возстающими недоразумѣніями, бо́льшею частью падаютъ подъ бременемъ своего тяжелаго перевоспитанія. Что касается до остальныхъ,—а этихъ остальныхъ болѣе девяти десятыхъ,—то они, разъ подвергнутые *разслабляющей ваннѣ энциклопедическаго образованія*, уже навсегда пребываютъ въ состояніи совершеннаго нравственнаго одурѣнія». Много мѣткихъ замѣчаній разсѣяно и въ другихъ рецензіяхъ Салтыкова. «Ошибка дѣтскихъ писателей заключается въ томъ, что они непремѣнно хотятъ бесѣдовать съ дѣтьми не какъ съ людми, а какъ съ низшими организмами, немного чѣмъ повыше минераловъ»... «Почему же вы думаете, что если взрослому покажется дикимъ, что десятилѣтній Гриша, не хуже любого сентиментальнаго патріота-офицера, крѣпко жметъ руку матери отъ умиленія при видѣ Москвы, то еще бо́льшею дикостью не покажется это ребенку?...» «Ребенокъ видитъ въ саду цвѣтокъ; онъ хочетъ знать его составныя части, хочетъ добиться до законовъ его питанія. Увы! тутъ стоитъ величавая фигура педагога, гласящая ему, что это все вздоръ, а вотъ поди да возьми въ руки исторію Фолькера; тамъ ты узнаешь, что Кекропсъ, и т. д. (въ наше время на мѣсто учебника исторіи явился бы, по всей вѣроятности, учебникъ латинскаго или греческаго языка). Въ замѣткѣ о «Географіи въ эстампахъ» очень забавно осмѣяна обычная манера правоучительныхъ разсказовъ. Въ одномъ изъ нихъ выведена на сцену дѣвочка, подавшая милостыню тремъ бѣднякамъ; первый, вслѣдъ затѣмъ, защищаетъ ее противъ разбойниковъ; второй предохраняетъ ея имущество отъ пожара; третій спасаетъ ее отъ укушенія бѣшеной собакой. «Мораль этого разсказа,—восклицаетъ рецензентъ,—можетъ быть выражена такъ: быть добрымъ никогда не мѣшаетъ, потому что это даетъ человѣку случай спекулировать на услугу въ сто разъ бо́льшую со стороны облагодѣтельствованнаго субъекта. Впрочемъ, можно, съ равной достовѣрностью, предположить и то, что если благодѣтельная дѣвушка, не давши заранѣе бѣдному мальчику пять су, опять встрѣтится съ бѣшеною собакой, то бѣдный мальчикъ, по смыслу повѣсти, не поспѣшитъ уже къ ней на помощь. Отсюда мораль: не подавши заранѣе пять су бѣдному мальчику, нужно избѣгать встрѣчи съ бѣшеными собаками»...

Въ рецензіи на книгу Беккера: «Разсказы дѣтямъ изъ древняго міра», Салтыковъ преклоняется передъ Гомеромъ, «одинъ стихъ котораго часто даетъ намъ болѣе ясное понятіе о древнемъ мірѣ, нежели цѣлые томы ученыхъ изысканій»; но именно потому онъ протестуетъ противъ искаженій, производимыхъ надъ «Иліадой» и «Одиссеей» подъ предлогомъ приспособленія ихъ къ дѣтскому или юношескому возрасту. Онъ желалъ бы, чтобы въ руки юношества былъ данъ полный гнѣдичевскій переводъ «Иліады», снабженный только дѣльнымъ предисловіемъ, въ которомъ было бы объяснено все необходимое для правильнаго пониманія великой поэмы. Что касается до дѣтей, то для нихъ Гомеръ, въ настоящемъ своемъ видѣ, недоступенъ, а «приноровленіе его къ дѣтскимъ понятіямъ» Салтыковъ считаетъ не только безполезнымъ, но прямо вреднымъ. «Въ основѣ поэмъ Гомера, — говоритъ онъ, — лежитъ чудесное. Поставленное на своемъ мѣстѣ, обставленное извѣстными обстоятельствами, понимаемое какъ выраженіе духа страны и времени, чудесное принимаетъ должные размѣры и, наконецъ, дѣлается весьма и весьма объяснимымъ. Но не такъ бываетъ это съ дѣтьми. Умъ ихъ, по природѣ наклонный къ чудесному, на немъ одномъ только и останавливается съ охотою, и все сверхъестественное принимаетъ за наличную монету, такъ что изъ всей поэмы Гомера, можетъ-быть, одно оно только и привяжетъ къ себѣ ребенка. Отсюда наклонность къ мечтательности, которую надобно было бы сдерживать въ разумныхъ границахъ, пріобрѣтаетъ, напротивъ того, самые гигантскіе размѣры, и ребенокъ, сдѣлавшись впослѣдствіи мужемъ, является человѣкомъ неспособнымъ заниматься интересами близкими и дѣйствительными и цѣлый вѣкъ блуждаетъ мыслью въ мечтательныхъ мірахъ, созданныхъ его больною фантазіей. И пусть не обвиняютъ насъ въ преувеличеніи: зло, о которомъ мы говоримъ, такъ тонко, такъ незамѣтно, что его не увидишь сразу; оно издалека и медленно подкрадывается и сосетъ все существованіе ребенка, но, тѣмъ не менѣе, глубоко пагубны и разрушительны будутъ его результаты».

Мысли, выраженныя Салтыковымъ въ его рецензіяхъ, занимали его, очевидно, чрезвычайно сильно; онѣ встрѣчаются и въ первой повѣсти его: «Противорѣчія», напечатанной, какъ мы уже сказали, въ ноябрьской книжкѣ «Отечественныхъ Записокъ» 1847 г. (т. 55, ч. I, стр. 1—106), подписанной: «М. Непановъ», и не включенной Салтыковымъ ни въ прежніе выпуски его произведеній, ни въ выходящее теперь собраніе ихъ*).

*) Составъ этого изданія съ точностью опредѣленъ самимъ Салтыковымъ, за нѣсколько недѣль до смерти.

«Пожирающая насъ жажда привязанности, — говоритъ герой повѣсти, Нагибинъ: — не имѣетъ предметомъ чего-либо дѣйствительнаго; напротивъ, мы съ какимъ-то презрѣніемъ отворачиваемся отъ той среды, въ которой живемъ, и создаемъ себѣ особый мечтательный міръ, который населяемъ призраками, своего воображенія... Все это объясняется воспитаніемъ, болѣе наклоннымъ къ пустой мечтательности, нежели къ трезвому взгляду на жизнь, и кругомъ занятій нашихъ, которыя ограничиваются только спекулятивными науками, такъ что человѣкъ, вмѣсто того, чтобы изучать науку съ начала, изучаетъ ее съ конца, а потомъ и жалуется, что ничего понять не можетъ въ этомъ вавилонскомъ столпотвореніи. Такое воспитаніе совершенно губитъ насъ; истощенный безпрестаннымъ умственнымъ развратомъ, человѣкъ уже теряетъ смѣлость взглянуть въ глаза дѣйствительности, не имѣетъ довольно энергіи, чтобы обнажить сокровенныя пружины и объяснить себѣ кажущіяся противорѣчія ея». Въ концѣ повѣсти Нагибинъ опять возвращается къ той же темѣ. Жалуясь на нравственную свою дряхлость, съ горечью оглядываясь на «развалины своего безполезнаго прошедшаго», онъ спрашиваетъ себя: отчего все это?—и отвѣчаетъ: «оттого, что мнѣ не дано практическаго пониманія дѣйствительности, оттого, что умъ мой воспитали мечтаніями, не дали ему окрѣпнуть, отрезвиться, и пустили наудачу по столбовой дорогѣ жизни... Что было въ моей прежней жизни?—Сомнѣнія! Что въ настоящемъ моемъ?—Сомнѣнія! Что въ будущемъ?—Сомнѣнія! Что въ томъ, что я много наблюдалъ, многому выучился? Все это знаніе больше ничего, какъ слова, слова, слова!.. Да и вся моя жизнь—не болѣе какъ противорѣчія, противорѣчія, противорѣчія!..» Если Салтыковъ вложилъ, такимъ образомъ, въ уста Нагибина нѣкоторыя изъ своихъ задушевныхъ убѣжденій, то отсюда не слѣдуетъ еще, конечно, чтобы онъ изобразилъ въ немъ самого себя. Внутренняя жизнь Салтыкова отразилась на героѣ «Противорѣчій» развѣ настолько, насколько внутренняя жизнь Гёте — въ Вертерѣ или Клавиго. И тамъ, и тутъ нѣкоторыя черты берутся изъ душевнаго міра самого автора, но такія черты, съ которыми онъ борется, отъ которыхъ хочетъ отрѣшиться. Онѣ доводятся, въ разсказѣ или драмѣ, до своего полнаго развитія, до своего логическаго конца, и въ этомъ объективированіи ихъ авторъ находитъ желанную свободу. Нагибинъ— это одинъ изъ первыхъ, въ хронологическомъ порядкѣ, «лишнихъ людей», «заѣденныхъ рефлексіей»; это—родной братъ героя «Аси», это—«русскій человѣкъ на rendez-vous», десятью годами позже, именно по поводу «Аси», изображенный Черны-

шевскимъ. Героиня «Противорѣчій», Таня, также напоминаетъ Асю—насколько блѣдный абрисъ можетъ напоминать художественно-законченную картину. Таня беретъ на себя инициативу, на которую неспособенъ Нагибинъ; она первая говоритъ ему о любви, первая зоветъ его на свиданье; она упрекаетъ его въ трусости, какъ Рудина Наталья. Нагибинъ безсиленъ идти за нею, безсиленъ и оставить ее, пока гордіевъ узелъ не разсѣкается грубою рукою родителей Тани. Выходъ изъ «противорѣчій», не находимый Нагибинымъ, но безмолвно указываемый авторомъ,—это признаніе правъ жизни и страсти, тѣхъ правъ, за которыя съ такимъ блескомъ, десятью или пятнадцатью годами раньше, ратовала Ж.-Зандъ. На это намекаетъ и эпиграфъ повѣсти, заимствованный изъ Сенеки: «natura duce utendum est; hanc ratio observat, hanc consulit; idem est ergo beate vivere, et secundum naturam» (вождемъ человѣка должна быть природа; ей слѣдуетъ, съ ней совѣтуется разумъ; жить блаженно — значитъ жить согласно съ требованіями природы).

Изложеніе сюжета первой повѣсти Салтыкова, равно какъ и критическая ея оцѣнка, не входитъ въ составъ нашей задачи; мы беремъ изъ нея только то, что имѣетъ сколько-нибудь автобіографическій характеръ. Съ этой точки зрѣнія заслуживаютъ вниманія еще слѣдующія слова Нагибина: «будущее обѣщаетъ мнѣ только горестный рядъ преслѣдованій и лишеній, лишеній ничтожныхъ и мелкихъ, если хотите, но, тѣмъ не менѣе, безпрестанныхъ и безотвязныхъ, съ которыми нельзя бороться— до того они неуловимы, до того ничтожны. Еще если-бъ меня ждало какое-нибудь сильное несчастіе, но нѣтъ, меня ждутъ умѣренность и аккуратность, двѣ большія добродѣтели, коли хотите, но въ которыхъ скорѣе слышится отрицаніе жизни, нежели жизнь». Страхъ передъ «мелочами жизни», боязнь попасть подъ иго «умѣренности и аккуратности» — это первая форма глубокаго отвращенія къ нимъ, проникающаго позднѣйшую дѣятельность Салтыкова. Съ отголосками того же страха мы встрѣчаемся еще разъ много лѣтъ спустя, когда Салтыковъ, уѣзжая изъ Вятки, съ ужасомъ говоритъ объ ожидающихъ его «новыхъ хлопотахъ, новыхъ искательствахъ», когда ему кажется, что «въ сердцѣ его царствуетъ преступная вялость» («Губернскіе Очерки» — «Дорога»). Примиреніе съ будничной «тиной», погруженіе въ омутъ мелкихъ житейскихъ дрязгъ — вотъ, очевидно, кошмаръ, пугавшій Салтыкова, пока въ немъ не окрѣпла вѣра въ самого себя. И здѣсь нѣтъ ничего удивительнаго: на его глазахъ тысячи людей, обезсиленныхъ тепличнымъ воспитаніемъ и беззащитныхъ противъ вліяній среды,

тонули въ этомъ омутѣ, погрязали въ этой тинѣ... Въ другомъ мѣстѣ Нагибинъ сокрушается о томъ, что, познавъ настоящую дѣйствительность и нарисовавъ себѣ образъ иной, будущей дѣйствительности — «не только возможной, но непремѣнно имѣющей быть»,—онъ одинаково неспособенъ найти утѣшеніе какъ въ той, такъ и въ другой. «Не сопоставляй я этихъ двухъ несовмѣстныхъ другъ съ другомъ противоположностей, существуй для меня одно какое-нибудь изъ двухъ представленій дѣйствительности, я былъ бы вполнѣ счастливъ; былъ бы или нелѣпымъ утопистомъ, въ родѣ новѣйшихъ соціалистовъ, или прижимистымъ консерваторомъ—во всякомъ случаѣ я былъ бы доволенъ собою. Но я именно по середкѣ стою между тѣмъ и другимъ пониманіемъ жизни; я не утопистъ, потому что утопію свою вывожу изъ историческаго развитія дѣйствительности, потому что населяю ее не мертвыми призраками, а живыми людьми, и не консерваторъ quand même, потому что не хочу застоя, а требую жизни, требую движенія впередъ». И въ этихъ словахъ, быть-можетъ, отразилась одна изъ сторонъ тогдашняго настроенія Салтыкова. Въ слѣдующей повѣсти его — «Запутанномъ дѣлѣ» — есть дѣйствующія лица (Алексисъ и Беобахтеръ), несомнѣнно похожія на «нелѣпыхъ утопистовъ», а общая мысль повѣсти меньше всего отзывается «консерватизмомъ quand même» или расположеніемъ къ «застою»... Укажемъ, въ заключеніе, на несомнѣнное сходство между супругами Крошиными въ «Противорѣчіяхъ» и родителями Никанора Затрапезнаго въ «Пошехонской Старинѣ»; особенно много общаго между Марьей Ивановной Крошиной и Анной Павловной Затрапезной. Марья Ивановна — «женщина-кулакъ, типъ, встрѣчающійся весьма часто, и особенно въ провинціяхъ, гдѣ жизнь женщины исключительно сосредоточена въ узенькихъ рамкахъ фамильныхъ ея отношеній... Вокругъ нея все тихо, все умерло. Надо же какъ-нибудь доканать, добить это несносно-тянущееся время, потому что праздность душитъ человѣка; вотъ она и погрязаетъ по уши въ своей семейной грязи, и нѣтъ мѣры обвѣшиваньямъ, обмѣриваньямъ, сплетнямъ и тому подобнымъ дрязгамъ! И по совѣсти нельзя сказать, чтобы она на волосъ во всемъ этомъ была виновата. Окружите ее средою, и вся физіономія ея внезапно перемѣнится. Тутъ просто фатумъ, и она безсильна противъ него». Все это можно было бы сказать и объ Аннѣ Павловнѣ Затрапезной.

«Противорѣчія» посвящены В. А. Милютину (родному брату Николая и Дмитрія Алексѣевичей). Это былъ талантливый молодой писатель, такъ же много обѣщавшій въ области полити-

ческихъ и соціальныхъ наукъ, какъ сверстникъ его, Валеріанъ Майковъ—въ области критики. Оба они умерли слишкомъ рано; продолжателемъ ихъ обоихъ явился Н. Г. Чернышевскій. Дружба съ В. А. Милютинымъ служитъ, до извѣстной степени, указаніемъ на то, въ какомъ направленіи работала тогда мысль Салтыкова; еще яснѣе свидѣтельствуютъ о немъ воспоминанія Салтыкова, приведенныя нами выше. Если въ «Противорѣчіяхъ» чувствуется вліяніе первыхъ романовъ Ж.-Занда («Indiana», «Valentine», «Jaques»), то слѣдующая затѣмъ повѣсть Салтыкова: «Запутанное дѣло», напечатанная въ мартовской книжкѣ «Отечественныхъ Записокъ» 1848 г. (т. 57), за подписью «М. С.», внушена отчасти второю—соціалистическою — полосой дѣятельности Ж.-Занда, отчасти прямо чтеніемъ авторовъ, подъ обаяніемъ которыхъ находилась въ то время французская писательница, отчасти, наконецъ, «Шинелью» Гоголя и «Бѣдными людьми» Достоевскаго *). Господствующая нота «Запутаннаго дѣла» — сочувствіе къ униженнымъ и оскорбленнымъ; отсюда только одинъ шагъ до несочувствія къ общественному строю, подъ сѣнью котораго благоденствуютъ унижающіе и оскорбляющіе. На бѣду для Салтыкова, первое сколько-нибудь открытое выраженіе его взглядовъ совпало съ впечатлѣніемъ, произведеннымъ на наши высшія сферы февральской революціей во Франціи и мартовскимъ движеніемъ въ Германіи. «Я былъ утромъ, на масляной, въ итальянской оперѣ, — разсказываетъ Салтыковъ («За рубежомъ», т. VI, стр. 89—90, въ изд. 1889 г.),— какъ вдругъ, словно электрическая искра, всю публику пронизала вѣсть: министерство Гизо пало. Какое-то неясное, но жуткое чувство внезапно овладѣло всѣми. Именно всѣми, потому что хотя тутъ было множество людей самыхъ противоположныхъ воззрѣній, но навѣрно не было такихъ, которые отнеслись бы къ событію съ тѣмъ жвачнымъ равнодушіемъ, которое впослѣдствіи сдѣлалось какъ бы нормальною окраской русской интеллигенціи. Молодежь едва сдерживала безкорыстные восторги. Помнится, къ концу спектакля пало уже и министерство Тьера (тогда подобнаго рода извѣстія доходили до публики какъ-то неправильно и по секрету). Затѣмъ, въ теченіе какихъ-нибудь двухъ-трехъ дней, пало регентство, оказалось несостоятельнымъ эфемерное министерство Одилона Барро и, въ заключеніе, бѣжалъ самъ Луи-Филиппъ. Провозглашена была республика, съ временнымъ правительствомъ во главѣ, по-

*) Эта мысль развита нами болѣе подробно въ нашей статьѣ: «Русская общественная жизнь въ сатирѣ Салтыкова» («В. Европы», 1883 г. янв.—май).

лились рѣчи, какъ изъ рога изобилія... Громадность событія на все набрасывала покровъ волшебства. Франція казалась страною чудесъ. Можно ли было, имѣя въ груди молодое сердце, не плѣняться этою неистощимостью жизненнаго творчества, которое, вдобавокъ, отнюдь не соглашалось сосредоточиться въ опредѣленныхъ границахъ, а рвалось захватить все дальше и дальше? И точно, мы не только плѣнялись, но даже не особенно искусно скрывали свои восторги отъ глазъ бодрствующаго начальства. И вотъ, вслѣдъ за возникновеніемъ движенія во Франціи, произошло соотвѣтствующее движеніе и у насъ: учрежденъ былъ негласный комитетъ для разсмотрѣнія злокозненностей русской литературы». Въ этомъ комитетѣ, по словамъ біографическаго очерка «Русской Библіотеки», «было обращено особое вниманіе на повѣсти Салтыкова, хотя онѣ и были пропущены цензурою». «Въ мартѣ мѣсяцѣ, — читаемъ мы все въ той же главѣ «За рубежомъ»,—я написалъ повѣсть («Запутанное дѣло»), а въ маѣ уже былъ зачисленъ въ штатъ вятскаго губернскаго правленія». Сопоставленіе этихъ отзывовъ, изъ которыхъ одинъ идетъ прямо отъ Салтыкова, а другой имъ просмотрѣнъ и одобренъ, доказываетъ несомнѣнно, что иниціатива административной кары противъ молодого писателя принадлежала, — по крайней мѣрѣ, по убѣжденію самого Салтыкова, — «негласному» (Бутурлинскому) комитету по дѣламъ печати; не совсѣмъ ясно только одно—послужила ли поводомъ къ ней одна вторая повѣсть Салтыкова, или обѣ. Всего вѣроятнѣе, что въ «соображеніе» были приняты обѣ, но главные обвинительные пункты были почерпнуты изъ второй. Нѣсколько иначе разсказанъ ходъ дѣла г. Скабичевскимъ, въ статьѣ, на которую мы уже ссылались. «Надо было случиться, — говоритъ г. Скабичевскій, — чтобы однимъ изъ первыхъ распоряженій Бутурлинскаго комитета было строгое замѣчаніе, данное военному министру, гр. Чернышеву, за цензурныя неисправности въ «Русскомъ Инвалидѣ». Это обстоятельство вооружило гр. Чернышева противъ литераторовъ, и, какъ нарочно, въ то время, какъ гр. Чернышевъ находился еще подъ впечатлѣніемъ полученнаго имъ замѣчанія, явился къ нему Салтыковъ, какъ подчиненный, проситься въ отпускъ. Дѣло было подъ Рождество, и Салтыковъ намѣревался провести праздники на свободѣ, вѣроятно, у родныхъ. Упустивши совершенно изъ виду, что чиновникъ его занимается литературой, гр. Чернышевъ тутъ только вспомнилъ объ этомъ. «Вы, кажется, въ журналахъ пишете?» — спросилъ онъ Салтыкова. На утвердительный отвѣтъ послѣдняго гр. Чернышевъ потребовалъ, чтобы онъ представилъ ему свои сочи-

ненія. «Тогда мы и посмотримъ, можно ли васъ отпустить»,— прибавилъ онъ къ этому. Салтыковъ представилъ министру свои два разсказа; министръ поручилъ Н. Кукольнику написать ему о нихъ докладъ. Заклятый врагъ натуральной школы, Н. Кукольникъ представилъ докладъ министру въ такомъ родѣ, что гр. Чернышевъ только ужаснулся, что такой опасный человѣкъ, какъ Салтыковъ, служитъ въ его министерствѣ,— и тотчасъ же препроводилъ докладъ Кукольника въ Бутурлинскій комитетъ, а Салтыкова уволилъ изъ министерства. Бутурлинскій комитетъ препроводилъ докладъ Кукольника въ третье отдѣленіе — и вотъ, въ одинъ прекрасный день, передъ квартирой Салтыкова остановилась ямская тройка съ жандармомъ и объявлено было ему повелѣніе тотчасъ же ѣхать въ Вятку. Все это было сдѣлано такъ поспѣшно, что Салтыковъ едва успѣлъ сложить въ чемоданъ свои пожитки и долженъ былъ сѣсть на тройку въ легкой шубенкѣ, едва достаточной для петербурскаго обихода. Лишь по снисходительности жандарма брату Салтыкова было дозволено, пріобрѣтя на скорую руку шубу, вполнѣ годную для далекаго путешествія на перекладныхъ, нагнать путешественника уже за шлиссельбургской заставой и избавить его отъ опасности «замерзнуть дорогою». Въ этомъ разсказѣ есть одна явная ошибка или описка: дѣло не могло происходить «подъ Рождество», потому что «Запутанное дѣло» появилось въ печати только въ мартовской книжкѣ «Отечественныхъ Записокъ». Рѣчь идетъ, очевидно, о Пасхѣ, которая, дѣйствительно, была близка. Вынужденный отъѣздъ Салтыкова изъ Петербурга состоялся 28-го апрѣля 1848 г.—ровно за сорокъ одинъ годъ до его смерти.

О служебной дѣятельности Салтыкова въ Вяткѣ извѣстно, до сихъ поръ, очень мало. Онъ былъ зачисленъ сначала (3-го іюля 1848 г.) въ канцелярскіе чиновники при губернскомъ правленіи, т. е. пониженъ по службѣ, поставленъ въ самые послѣдніе ряды губернской административной іерархіи; но уже въ ноябрѣ мѣсяцѣ того же 1848 года служебное положеніе его улучшилось—онъ былъ назначенъ старшимъ чиновникомъ особыхъ порученій при вятскомъ гражданскомъ губернаторѣ. Губернаторомъ въ Вяткѣ былъ тогда Середа, бывшій прежде правителемъ канцеляріи у оренбургскаго военнаго губернатора Перовскаго *). Какъ человѣкъ честный, онъ не могъ не оцѣнить молодого чи-

*) См. статью г. Михайлова: «Щедринъ, какъ чиновникъ», въ «Одесскомъ Листкѣ» (выдержки изъ нея въ № 213 «Новостей», 5-го августа 1889 г.).

новника, рѣзко выдѣлявшагося изъ среды провинціальной бюрократіи. Салтыковъ два раза исправлялъ при немъ должность правителя губернаторской канцеляріи (съ мая по августъ 1849 и въ іюнѣ 1850 г.); сверхъ того, ему было поручено составленіе по городамъ Вятской губерніи инвентарей недвижимыхъ имуществъ, статистическихъ описаній и соображеній о мѣрахъ къ лучшему устройству общественныхъ и хозяйственныхъ городскихъ дѣлъ. 5-го августа 1850 г. Салтыковъ былъ назначенъ совѣтникомъ вятскаго губернскаго правленія. Было ли это при Середѣ, или при его преемникѣ Семеновѣ—не можемъ сказать съ точностью. Въ статьѣ г. Михайлова назначеніе Салтыкова приписывается Семенову, но вмѣстѣ съ тѣмъ авторъ сообщаетъ, что Середа оставилъ Вятку въ 1851 г. (онъ былъ переведенъ, по просьбѣ оренбургскаго генералъ-губернатора Перовскаго, наказнымъ атаманомъ оренбургскаго казачьяго войска), а Салтыковъ, какъ видно изъ формулярнаго его списка, получилъ должность совѣтника въ 1850 г. Какъ бы то ни было, дѣятельность Салтыкова при новомъ губернаторѣ становится еще болѣе разнообразной. Продолжая работы по описанію и изученію городовъ, онъ состоитъ дѣлопроизводителемъ въ трехъ комитетахъ: о рабочемъ и смирительномъ домахъ, о новомъ порядкѣ отдачи въ арендное содержаніе почтовыхъ станцій и о выставкѣ сельскихъ произведеній въ Петербургѣ. На него возлагается также распоряженіе вятской очередной выставкой сельскихъ произведеній (лѣтъ за пятнадцать передъ тѣмъ дѣятельную роль по устройству выставки въ той же Вяткѣ игралъ Герценъ; таковъ, видно, былъ удѣлъ «опальныхъ» или «ссыльныхъ» чиновниковъ, какъ наиболѣе энергичныхъ и интеллигентныхъ). Въ 1853 г. Салтыковъ получаетъ командировку въ Нолинскъ, для обревизованія дѣлопроизводства тамошняго земскаго суда. Всѣ эти порученія, — какъ и многія другія, не оставившія слѣдовъ въ формулярномъ спискѣ Салтыкова,—сослужили большую службу русской литературѣ; они увеличили запасъ матеріала, изъ котораго создались «Губернскіе Очерки». Одной изъ служебныхъ командировокъ Салтыкова мы обязаны, быть-можетъ, нѣкоторыми сценами «Въ острогѣ», другой — разговоромъ: «Что такое коммерція», третьей—«Святочнымъ разсказомъ».

Въ бумагахъ Салтыкова уцѣлѣла, къ счастію, копія съ донесенія, представленнаго имъ губернатору, въ ноябрѣ 1852 г., по весьма интересному дѣлу. Будучи совѣтникомъ губернскаго правленія, Салтыковъ былъ посланъ губернаторомъ, вмѣстѣ съ жандармскимъ офицеромъ, въ Слободской уѣздъ для принятія мѣръ къ прекращенію безпорядковъ, возникшихъ между госу-

дарственными крестьянами двухъ сельскихъ обществъ (Путейскаго и Нелѣсовскаго) Трушниковской волости. Поводъ къ безпорядкамъ былъ слѣдующій: въ сосѣдствѣ съ землей вышеназванныхъ сельскихъ обществъ находилась казенная оброчная статья, носившая наименованіе *камской*. Числилось въ ней 1.846 десятинъ, но съ точностью размѣры ея и границы, при первой сдачѣ ея въ арендное содержаніе (въ 1836 г.), опредѣлены не были. Первый содержатель ея вносилъ за нее въ казну только 120 рублей ассигнаціями въ годъ. Платя столь ничтожную сумму, онъ не имѣлъ надобности стѣснять крестьянъ требованіемъ обременительнаго для нихъ оброка за лѣсныя поляны, которыми они пользовались съ давняго времени безоброчно. Источникомъ дохода для этого арендатора служили только поемные луга по рѣкѣ Камѣ, которые онъ сдавалъ по участкамъ мѣщанамъ заштатнаго города Кая и наиболѣе зажиточнымъ крестьянамъ Трушниковской волости. Въ 1841 году оброчная статья переходитъ въ содержаніе самихъ крестьянъ Путейскаго и Нелѣсовскаго обществъ, платящихъ за нее 320 рублей въ годъ. Въ 1844 г. преемникомъ ихъ становится кайскій мѣщанинъ Дмитрій Гуднинъ, съ платою по 332 рубля. Въ вводномъ листѣ, выданномъ ему въ 1845 г., не было показано ни число дѣсятинъ, входящихъ въ составъ оброчной статьи, ни положеніе ея. Вслѣдъ за этимъ начинаются споры крестьянъ съ содержателемъ камской статьи. Послѣдній предъявляетъ претензію на полученіе съ крестьянъ арендной платы за пользованіе починками (лѣсными полянами); крестьяне обязываются къ тому подпиской, но не исполняютъ обязательства, потому что считаютъ починки не входящими въ составъ оброчной статьи. Пререканія между обѣими сторонами не прекращаются во все время аренды Дмитрія Гуднина, продолжавшейся до 1847 г. При новомъ арендаторѣ, крестьянинѣ Трушниковѣ (платившемъ по 339 рублей въ годъ), наступаетъ затишье; арендаторъ никакихъ требованій къ сосѣдямъ-крестьянамъ не предъявляетъ. Въ контрактѣ, заключенномъ съ Трушниковымъ, пространство оброчной статьи опредѣляется попрежнему въ 1.846 десятинъ, но въ подробной описи, выданной арендатору, количество земли показано только въ 720 десятинъ съ саженями. Въ 1849 г. мѣстный лѣсничій доноситъ палатѣ государственныхъ имуществъ, что камская оброчная статья заросла во многихъ мѣстахъ порослью и не имѣетъ межевыхъ признаковъ. Это не мѣшаетъ тому же лѣсничему выдать новому (съ 1850 г.) арендатору камской статьи, мѣщанину Ивану Гуднину (сыну Дмитрія), опись, существенно отличную отъ

прежней; десятинъ, входящихъ въ составъ оброчной статьи, показано здѣсь уже 991, и въ такихъ, между прочимъ, мѣстахъ, которыя на самомъ дѣлѣ въ пользованіи предшествовавшаго арендатора вовсе не состояли. Крестьяне, очевидно, сохраняютъ за собою фактическое обладаніе землею, которою безпрепятственно пользовались при Трушниковѣ; противъ этого протестуетъ новый арендаторъ, требуя возвращенія хлѣба и сѣна, свезенныхъ крестьянами съ лѣсныхъ полянъ. Между тѣмъ границы оброчной статьи попрежнему остаются неопредѣленными; землемѣръ, еще зимой 1849—50 гг. получившій предписаніе возобновить межевые признаки, отказывается, полтора года спустя, подъ неосновательнымъ предлогомъ, отъ исполненія этого порученія, а другой землемѣръ, прибывъ на мѣсто лѣтомъ 1851 г., ничего не предпринимаетъ, вслѣдствіе нежеланія понятыхъ указать границы оброчной статьи. Крестьяне то даютъ подписку о согласіи своемъ платить Гуднину оброкъ, то берутъ назадъ это согласіе: Гуднинъ отказывается, наконецъ, отъ дальнѣйшаго содержанія камской статьи; палата предписываетъ лѣсничему принять ее въ хозяйственное распоряженіе, но лѣсничій, вмѣсто того, возобновляетъ переписку о взысканіи съ крестьянъ. Въ непокорныя деревни является временное отдѣленіе земскаго суда; крестьяне не только отказываются отъ платежа взыскиваемыхъ денегъ, но вынуждаютъ станового пристава, помощника окружного начальника и самого арендатора дать подписку, оправдывающую ихъ образъ дѣйствій. При такомъ положеніи дѣла пріѣзжаетъ на мѣсто Салтыковъ. Изъ разспроса крестьянъ онъ узнаетъ еще новое обстоятельство, объясняющее ихъ «упорство»: въ 1844 г. спорная земля была нарѣзана имъ землемѣромъ по числу душъ, т. е. предназначена къ включенію въ составъ земельнаго ихъ надѣла. Правда, эта нарѣзка была только предварительною, требовавшею еще утвержденія начальства; но крестьянамъ мало понятны такія юридическія различія, и они настаиваютъ на своемъ, несмотря на всѣ старанія Салтыкова убѣдить ихъ въ необходимости исполненія предъявляемыхъ къ нимъ требованій. Болѣе уступчивыми крестьяне дѣлаются только тогда, когда трехъ изъ нихъ, считавшихся подстрекателями, берутъ подъ стражу и отсылаютъ въ уѣздный городъ. Арендаторъ, съ своей стороны, соглашается разсрочить взысканіе, даже вовсе отказывается отъ своихъ претензій къ бѣднѣйшимъ крестьянамъ. Дѣло, такимъ образомъ, оканчивается миролюбиво, еще до прибытія вытребованной военной команды.

Заурядный чиновникъ тогдашняго — да и не только тогдашняго — времени счелъ бы свою задачу исполненной и спокойно

возвратился бы къ своимъ обычнымъ занятіямъ. Не такъ отнесся къ дѣлу Салтыковъ. Онъ не только раскрылъ всѣ обстоятельства, вызвавшія «неповиновеніе» крестьянъ, но подумалъ и о томъ, какъ предупредить повтореніе подобныхъ явленій. Вотъ что онъ пишетъ въ концѣ рапорта: «Крестьяне (данной мѣстности) всѣ вообще находятся въ самомъ бѣдномъ положеніи, и хотя и есть между ними довольно зажиточные, но и они кажутся таковыми только сравнительно съ другими, которые не имѣютъ почти никакихъ средствъ къ существованію. Землею на число душъ 8-й ревизіи крестьяне до сихъ поръ не надѣлены; нынѣшній надѣлъ произведенъ еще по генеральному межеванію и тогда, конечно, былъ достаточенъ, но въ настоящее время въ нѣкоторыхъ селеніяхъ едва-едва приходится на душу отъ двухъ до трехъ десятинъ удобной земли. Это, вѣроятно, и понудило крестьянъ дѣлать въ свободныхъ казенныхъ земляхъ расчистки, которыя впослѣдствіи были введены въ составъ камской оброчной статьи. Земля, находящаяся во владѣніи крестьянъ, самаго посредственнаго качества; хлѣба родятся едва-едва самъ-третій, а большею частью самъ-другъ и самъ-другъ съ половиной. Сѣнокосовъ хорошихъ нѣтъ вовсе, ибо всѣ крестьянскіе сѣнокосы лежатъ по болотистымъ мѣстамъ, а лучшіе луга, понимаемые весеннимъ разливомъ р. Камы, введены въ составъ оброчной статьи и изъ пользованія крестьянъ изъяты. Само собою разумѣется, что при недостаткѣ луговъ скотоводство крестьянъ находится въ самомъ жалкомъ положеніи, а отъ этого необходимо должно страдать и самое хлѣбопашество. Промыслы, которыми занимаются крестьяне для заработки денегъ, потребныхъ на уплату податей, заключаются въ выработкѣ и поставкѣ угля для сосѣднихъ желѣзодѣлательныхъ заводовъ, въ поставкѣ дровъ для солеваренныхъ заводовъ Пермской губерніи и въ занятіи бурлачествомъ по рѣкѣ Камѣ. Выгоды, пріобрѣтаемыя этими промыслами, такъ незначительны, что вырабатываемыхъ денегъ едва достаточно на уплату государственныхъ податей за семейства, состоящія нерѣдко изъ трехъ и четырехъ душъ при одномъ работникѣ, на прокормленіе самихъ работниковъ во время отсутствія изъ дома и на покупку самыхъ необходимыхъ домашнихъ потребностей, какъ-то соли и пр. Соображая все объясненное выше, я, съ своей стороны, нахожу, что причины, побудившія крестьянъ къ возмущенію, заключаются въ слѣдующемъ: 1) въ самомъ положеніи крестьянъ, которое, дѣйствительно, представляется столь бѣдственнымъ, что съ перваго взгляда обращаетъ на себя особенное вниманіе, и 2) въ томъ недоразумѣніи, которое возникло между крестьянами

отъ неограниченія и неприведенія въ извѣстность камской статьи. Крестьяне, видя, что при одномъ содержателѣ статьи сей въ составъ ея входитъ болѣе, при другомъ — менѣе пространства, легко могли заподозрить въ этомъ дѣлѣ произволъ какъ со стороны содержателя, такъ и со стороны лица, вводившаго его во владѣніе статьею *). Хотя въ настоящее время безпорядки прекращены и бунтовщики приведены въ надлежащее повиновеніе, я не могу, однакоже, не сказать, что, по моему мнѣнію, единственный способъ водворить между крестьянами прочный порядокъ и тишину заключается въ скорѣйшемъ надѣленіи ихъ землею по числу душъ восьмой ревизіи, при чемъ, такъ какъ почти всѣ свободныя казенныя земли этого края таковы, что нарѣзка ихъ крестьянамъ нисколько не послужитъ къ улучшенію ихъ быта, а, напротивъ того, потребуетъ отъ нихъ же значительнаго труда и издержекъ, которые могутъ вознаградиться развѣ черезъ весьма долгое время, то я полагалъ бы въ число земель, предполагаемыхъ къ надѣлу крестьянамъ по восьмой ревизіи, включить и камскую статью, въ полномъ ея составѣ. Тѣмъ болѣе, по мнѣнію моему, предположеніе это заслуживаетъ уваженія, что статья сія составилась изъ лѣсныхъ полянъ, на расчистку которыхъ этими же крестьянами употребленъ не одинъ десятокъ лѣтъ».

Исторія камской оброчной статьи представляетъ прекрасный образчикъ экономическихъ отношеній и служебныхъ нравовъ, съ которыми на каждомъ шагу приходилось встрѣчаться Салтыкову. Съ одной стороны — бѣдность, граничащая съ нищетой, тяжелый трудъ изъ-за насущнаго хлѣба, незнаніе и непониманіе закона; съ другой стороны — бездушное бумагомараніе, игнорированіе самыхъ вопіющихъ народныхъ нуждъ, безконечная канцелярская волокита. Въ продолженіе шестнадцати лѣтъ учрежденія, завѣдующія государственными имуществами, не могутъ установить съ точностью ни пространства, ни границъ земельнаго участка, нѣсколько разъ переходящаго изъ однѣхъ рукъ въ другія. Содержателю оброчной статьи сдается нѣчто неопредѣленное, безпрестанно измѣняющееся въ объемѣ. Крестьянъ точно дразнятъ, то отнимая, то возвращая необходимую

*) Въ первоначальномъ наброскѣ бумаги за этими двумя пунктами слѣдовали еще два, впослѣдствіи зачеркнутые Салтыковымъ. Въ одномъ изъ нихъ указывалось на бездѣйствіе палаты государственныхъ имуществъ, ограничивавшейся «отпиской» и ни разу не потрудившейся серьезно вникнуть въ положеніе крестьянъ, а въ другомъ—на заключеніе палатой съ Гуднинымъ такого контракта, который свидѣтельствовалъ о совершенномъ ея незнакомствѣ съ предметомъ сдѣлки.

имъ землю, многолѣтнимъ ихъ трудомъ отвоеванную изъ-подъ лѣса. Виноватыми являются, очевидно, не одни только лѣнивые или недобросовѣстные исполнители; значительная доля отвѣтственности падаетъ на систему, при которой двѣнадцатирублевая прибавка къ арендной платѣ признается достаточнымъ основаніемъ къ отобранію земли отъ крестьянскихъ обществъ, не могущихъ существовать безъ нея, и къ передачѣ ея частному лицу, дѣлающему изъ нея предметъ аферы. Эта система пережила эпоху реформъ и поколебалась лишь недавно, когда крестьянскимъ обществамъ предоставлено было преимущественное право на арендованіе свободныхъ казенныхъ земель. Настаивая на передачѣ камской оброчной статьи сосѣднимъ крестьянскимъ обществамъ, Салтыковъ предугадалъ тотъ путь, на который наше законодательство вступило, и то не вполнѣ, только по прошествіи трехъ десятилѣтій. Бумага, написанная Салтыковымъ въ 1852 году, составляетъ какъ бы приступъ къ позднѣйшей борьбѣ противъ крестьянскаго малоземелья. Онъ не побоялся предложить отдачу крестьянамъ именно той земли, изъ-за которой возникли безпорядки. Ему могли сказать, что удовлетвореніе «бунтовщиковъ» было бы равносильно поощренію «бунта», а при его положеніи въ губерніи такое толкованіе его словъ было бы далеко не безопасно. Не останавливаясь передъ личными соображеніями, онъ выразилъ свое мнѣніе съ искренностью и силою, необычными въ до-реформенномъ административномъ мірѣ. Само собою разумѣется, что онъ не скрылъ при этомъ многочисленныхъ упущеній, допущенныхъ въ дѣлѣ о камской оброчной статьѣ вѣдомствомъ государственныхъ имуществъ. Чѣмъ было тогда это вѣдомство въ провинціи—живымъ памятникомъ тому служатъ «Губернскіе Очерки» (припомнимъ «озорника» или «чиновниковъ хозяйственнаго управленія» въ «Непріятномъ посѣщеніи»), а также въ «Тяжелый годъ» въ «Благонамѣренныхъ рѣчахъ». Герой послѣдняго разсказа, Владиміръ Онуфріевичъ Удодовъ—второй экземпляръ или продолженіе «озорника»—стоитъ во главѣ губернскаго управленія государственными имуществами.

По словамъ г. Михайлова, на статью котораго мы уже ссылались, между вятскими сослуживцами Салтыкова было нѣсколько хорошихъ людей, съ которыми можно было «по-человѣчески переговорить». Одного изъ нихъ, А. П. Тиховидова, Салтыковъ рекомендовалъ Муравьеву (сыну извѣстнаго министра и генералъ-губернатора), когда послѣдній, уже послѣ возвращенія Салтыкова изъ ссылки, былъ назначенъ вятскимъ губернаторомъ *).

*) Если вѣрить г. Михайлову, указаніямъ Салтыкова слѣдуетъ

Тиховидовъ, окончивъ курсъ въ казанскомъ университетѣ, былъ учителемъ въ вятской гимназіи и преподавалъ, между прочимъ, реторику и піитику. Замѣтивъ въ Тиховидовѣ выдающіяся способности, Салтыковъ посовѣтовалъ ему оставить преподаваніе «искусства, какъ изъ песку веревку вить», и вступить въ гражданскую службу. Тиховидовъ послѣдовалъ этому совѣту и сдѣлался уѣзднымъ судьею, а потомъ совѣтникомъ уголовной палаты. Во всякомъ случаѣ, Тиховидовъ принадлежалъ къ числу исключеній, и исключеній рѣдкихъ. Вятскій чиновный міръ пятидесятыхъ годовъ состоялъ, бо́льшею частью, изъ оригиналовъ портретной галлереи, наполняющей «Губернскіе Очерки». Съ постояннымъ ихъ сосѣдствомъ Салтыковъ примириться никакъ не могъ. Яркую картину настроенія, овладѣвшаго имъ черезъ нѣсколько лѣтъ вятской жизни, мы находимъ въ «Скукѣ» («Губернскіе Очерки»). «Когда я ѣхалъ въ Крутогорскъ (т.-е. въ Вятку), то мнѣ казалось, что я долженъ на дѣлѣ принесть хоть частичку той пользы, которую каждый гражданинъ обязанъ положить на алтарь отечества. Думалось мнѣ, что въ самой случайности, бросившей меня въ этотъ край, скрывается своего рода предопредѣленіе... Юношескія мечты, тщетныя мечты!.. Что же я сдѣлалъ, какіе подвиги совершилъ?.. О, провинція! ты растлѣваешь людей, ты истребляешь всякую самодѣятельность ума, охлаждаешь порывы сердца, уничтожаешь все, даже самую способность желать!.. Какая возможность развиваться, когда горизонтъ мышленія такъ обидно суживается? Какая возможность мыслить, когда кругомъ нѣтъ ничего вызывающаго на мысль?.. Да, жалко, поистинѣ жалко положеніе молодого человѣка, заброшеннаго въ провинцію! Незамѣтно, мало-по-малу, погружается онъ въ тину мелочей и, увлекаясь легкостью этой жизни, которая не имѣетъ ни вчерашняго, ни завтрашняго дня, самъ безсознательно дѣлается молчаливымъ поборникомъ ея. А тамъ подкрадется матушка-лѣнь и такъ крѣпко сожметъ въ своихъ объятіяхъ новобранца, что и очнуться некогда». Эта участь не постигла Салтыкова, но его страшилъ ея призракъ, его мучила мысль о возможности успокоенія и усыпленія. Съ такими будильниками, какъ дѣло о камской оброчной статьѣ, до-реформенный чиновникъ встрѣчался, безъ сомнѣнія, крайне рѣдко; не даромъ же между бумагами Салтыкова нашлась только одна относящаяся къ его вятской службѣ...

Точекъ опоры для того, чтобы устоять противъ засасывающаго дѣйствія провинціальной «тины», Салтыковъ искалъ, по-

приписать большую часть опредѣленій и увольненій, послѣдовавшихъ въ Вятской губерніи при губернаторѣ Муравьевѣ.

видимому, въ своихъ воспоминаніяхъ о прошедшемъ и въ литературно-научныхъ занятіяхъ. О характерѣ первыхъ свидѣтельствуетъ несомнѣнно тотъ же очеркъ («Скука»), на который мы только что ссылались. «Были у меня иныя времена, окружали меня иные люди, все иное! Были глубокія вѣрованія, горячія убѣжденія, была страсть къ добру!.. Гдѣ-то вы, друзья и товарищи моей молодости?.. Помню я долгіе зимніе вечера и наши дружескія, скромныя бесѣды, заходившія далеко за полночь. Какъ легко жилось въ это время, какая глубокая вѣра въ будущее, какое единодушіе надеждъ и мысли оживляло всѣхъ *насъ!* Помню я и тебя, многолюбивый незабвенный другъ и учитель нашъ! Гдѣ ты теперь? Какая желѣзная рука сковала твои уста, изъ которыхъ лились на насъ слова любви и упованія?» Недостатокъ живой бесѣды съ единомышленниками-друзьями Салтыковъ старался пополнить чтеніемъ. Въ его бумагахъ сохранились замѣтки, озаглавленныя: «Объ идеѣ правѣ»; сохранился также приступъ къ біографіи Беккаріи; и то, и другое написано на бланкахъ «совѣтника вятскаго губернскаго правленія». Въ бланкъ, на которомъ начата біографія Беккаріи, вложенъ листъ бумаги съ нѣсколькими выписками изъ этого писателя; къ одной изъ нихъ присоединено возраженіе Салтыкова. «Люди,—говоритъ Беккаріа,—согласились, молчаливымъ контрактомъ, пожертвовать частью своей свободы, чтобы пользоваться остальнымъ спокойно и чтобы воздерживать постоянныя усилія отдѣльныхъ лицъ къ возстановленію полной свободы». Нельзя себѣ представить,—замѣчаетъ по этому поводу Салтыковъ, — «чтобы человѣкъ могъ добровольно отказаться отъ части свободы, да и нѣтъ въ томъ никакой необходимости». Замѣтки «объ идеѣ права» также, повидимому, внушены чтеніемъ Беккаріи; но, судя по нѣкоторымъ выраженіямъ, онѣ принадлежатъ, всецѣло или бо́льшею частью, самому Салтыкову. Мы приведемъ изъ нихъ все болѣе существенное. Начинаются онѣ указаніемъ на важность сравнительнаго изученія уголовныхъ законовъ, въ которыхъ «отражается, со всѣми ея безобразными или симпатическими сторонами, внутренняя и внѣшняя жизнь народовъ. Если нравы народа мягки, если въ сознаніи народномъ живетъ идея правды, то законодатель является не исключительнымъ запретителемъ или равнодушнымъ карателемъ извѣстной категоріи дѣйствій, называемыхъ преступленіями. Спускаясь въ глубочайшіе тайники природы человѣческой, онъ приходитъ если не къ полному признанію ея слабостей и заблужденій, то, по крайней мѣрѣ, къ тому полному любви и снисхожденія взгляду, при которомъ извѣстное дѣйствіе является не столько преступленіемъ, сколько результатомъ не-

нормальнаго, болѣзненнаго состоянія человѣка. Напротивъ того, если дикость и необузданность составляютъ главную черту народнаго характера, уголовный кодексъ его является полнымъ жесткости и исключительности, принимаетъ формы отрицательныя, не хочетъ имѣть дѣла ни съ побудительными причинами дѣйствій, ни съ ихъ послѣдствіями. Рѣдко случается такъ, что уголовный кодексъ является не продуктомъ народной жизни, а чѣмъ-то случайнымъ, внѣшнимъ, примѣненнымъ къ народу безъ всякой живой съ нимъ связи. Такіе факты никогда не проходятъ даромъ; рано или поздно народъ разобьетъ это Прокрустово ложе, которое лишь безполезно мучило его. Какъ бы ни былъ младенчески неразвитъ народъ (а гдѣ же онъ развитъ?), онъ все-таки никогда не хочетъ улечься въ тѣсныя рамки искусственно задуманной административной формы». За этимъ общимъ вступленіемъ,— не лишеннымъ, думается намъ, внутренней связи съ служебнымъ опытомъ Салтыкова *), — идутъ отдѣльныя замѣчанія, изъ которыхъ, повидимому, должно было, впослѣдствіи времени, сложиться нѣчто цѣлое. «Что такое преступленіе? Не есть ли это дѣйствіе воли человѣка, направленное къ увеличенію суммы личнаго благосостоянія, дѣйствіе вполнѣ законное, если оно направлено такъ, что не приноситъ ущерба другимъ, и преступное, если оно влечетъ этотъ ущербъ»... «Причины, имѣющія вліяніе на мѣру наказанія—образованность, чувствительность, предразсудки касты и т. п., — такъ неуловимы, что не могутъ быть принимаемы въ расчетъ. Притомъ въ самой грубой кастѣ могутъ быть исключенія; почему же это исключеніе понесетъ на себѣ инфамію, сопряженную съ идеей всей касты? Поэтому самое лучшее тутъ — обслѣдовать всю жизнь преступника». Чтобы понять мысль Салтыкова объ «инфаміи, сопряженной съ идеей касты», нужно припомнить, что для лицъ непривилегированныхъ сословій наказаніе плетьми и наложеніе клеймъ служило *прибавкой* къ главному наказанію (ссылкѣ въ каторгу или на поселеніе), которому они подвергались наравнѣ съ лицами привилегированными... «Есть преступленія прямо противъ естественнаго права, противъ личности; есть преступленія противъ гражданскаго (искусственнаго) права, но которое такъ срослось съ нами, что принадлежитъ къ первой категоріи (пре-

*) Чиновникъ особыхъ порученій при губернаторѣ и совѣтникъ губернскаго правленія часто являлись, въ до-реформенное время, чѣмъ-то въ родѣ судебныхъ слѣдователей по особенно важнымъ дѣламъ. Что Салтыковъ не избѣгъ этой участи — доказательствъ тому въ «Губернскихъ Очеркахъ» немало. Отсюда неизбѣжно проистекало знакомство съ уложеніемъ о наказаніяхъ.

ступленія противъ собственности, противъ чести и т. д.); наконецъ, есть преступленія, принадлежащія исключительно духу времени (политическія). Первыя для всѣхъ запрещены, вторыя— только для тѣхъ, которые достаточно развиты... *Развить это* *). Первыя не требуютъ подробнаго указанія въ законѣ; вторыя и особенно третьи должны быть указаны до мельчайшей подробности». Несмотря на всю отрывочность всѣхъ этихъ вышеприведенныхъ нами замѣчаній, они показываютъ съ достаточною ясностью, въ какомъ направленіи работала мысль Салтыкова. На другомъ листѣ, относящемся, судя по почерку и бумагѣ, приблизительно къ тому же времени, начато, повидимому, разсужденіе о томъ, имѣетъ ли всякій членъ общества право требовать отъ него насущнаго хлѣба. На этотъ вопросъ дается отрицательный отвѣтъ, но въ такихъ выраженіяхъ, которыя едва ли заключаютъ въ себѣ настоящую мысль автора: «Пусть всякій въ этомъ мірѣ отвѣчаетъ за себя и для себя! Тѣмъ хуже для тѣхъ, которые считаются лишними на землѣ! Слишкомъ много было бы хлопотъ, если бы нужно было давать хлѣба всѣмъ вопіющимъ о голодѣ!.. Такъ какъ населеніе безпрестанно стремится превзойти средства къ существованію, то милосердіе есть безуміе, есть поощреніе къ нищенству». Мы едва ли ошибемся, если скажемъ, что Салтыковъ хотѣлъ выставить въ самомъ яркомъ свѣтѣ крайности мальтузіанства—и затѣмъ перейти къ его опроверженію... Между бумагами Салтыкова оказалось еще нѣсколько страницъ выписокъ, въ русскомъ переводѣ, изъ Токвиля («De la démocratie en Amérique»), Вивьена («Etudes administratives») и Шерюеля («Historie de l'administration monarchique en France»), также, кажется, сдѣланныхъ въ Вяткѣ или вскорѣ послѣ выѣзда оттуда. И здѣсь можно найти нѣкоторыя указанія не только на то, что́ занимало Салтыкова, но и на то, что́ ему нравилось. Вотъ, напримѣръ, что́ онъ выписываетъ изъ Токвиля и Вивьена: «Центральная власть, какъ бы ни была просвѣщенна, не можетъ обнять всѣ подробности жизни великаго народа; когда она хочетъ своими средствами управлять многоразличными пружинами народной жизни, она истощается въ безплодныхъ усиліяхъ»... «Предупредительный элементъ ослабляетъ правительство. Оно дѣлается отвѣтственнымъ за все, дѣлается причиною всѣхъ золъ и порождаетъ къ себѣ ненависть. Съ другой стороны, граждане теряютъ всякую самодѣятельность»...

*) Этой оговоркой объясняется кажущаяся парадоксальность нѣкоторыхъ изъ числа вышеприведенныхъ замѣтокъ. Мы имѣемъ здѣсь дѣло, очевидно, только съ бѣглыми набросками мыслей, занимавшихъ и волновавшихъ Салтыкова.

Къ вятскому періоду жизни Салтыкова относится, наконецъ, составленіе для сестеръ Е. А. и А. А. Болтиныхъ, изъ которыхъ одной суждено было сдѣлаться его женою *), «Краткой исторіи Россіи». Написанная, какъ сказано въ заглавіи, по разнымъ источникамъ и доведенная до Петра Великаго, она заключаетъ въ себѣ сорокъ довольно мелко исписанныхъ листовъ, и стоила Салтыкову, очевидно, не малаго труда. Характеристичнаго въ ней немного, сходнаго съ будущей «Исторіей одного города» — ровно ничего. Это объясняется, конечно, самымъ назначеніемъ рукописи—служить какъ бы учебникомъ для молодыхъ дѣвушекъ, почти дѣвочекъ. Въ самомъ способѣ изложенія ничто не напоминаетъ позднѣйшую манеру автора. Приведемъ нѣсколько выписокъ только для того, чтобы показать, какъ мало Салтыковскаго въ этомъ юношескомъ произведеніи Салтыкова. «Личность сына Василія Темнаго—одна изъ самыхъ замѣчательныхъ въ русской исторіи. Іоаннъ Третій является довершителемъ намѣреній и политики своихъ предковъ, и довершителемъ не только счастливымъ, но и въ высшей степени благоразумнымъ»... «До Ѳедора Іоанновича крестьяне обыкновенно переходили отъ одного помѣщика къ другому. Обыкновеніемъ этимъ болѣе всего пользовались богатые помѣщики, имѣвшіе обширныя земли. Они имѣли всѣ средства принимать крестьянъ на болѣе выгодныхъ условіяхъ, нежели помѣщики бѣдные, и потому земли послѣднихъ почти всегда оставались необработанными. Для пресѣченія этого зла, постановлено было, чтобы крестьяне отнынѣ навсегда оставались на тѣхъ земляхъ, на которыхъ застало ихъ царское повелѣніе» (больше о закрѣпощеніи крестьянъ не сказано ни слова)... «Уложеніе царя Алексѣя Михайловича—сводъ законоположеній по различнымъ частямъ государственнаго управленія, разсмотрѣнный и одобренный выборными чинами изъ всѣхъ сословій. Главнѣйшею мыслью его было равенство суда для всѣхъ лицъ и званій; смягчены были также многія наказанія» (этимъ исчерпывается оцѣнка Уложенія)... «Язвою русскаго государства были старовѣры. Секта эта возникла по случаю исправленія церковныхъ книгъ. Нѣкоторые изъ исправителей издали имѣвшіеся у нихъ въ рукахъ списки не только безъ исправленій, но даже съ ложными толкованіями. Патріархъ Никонъ жестоко преслѣдовалъ

*) Отецъ Е. А. и А. А. Болтиныхъ былъ вятскимъ вице-губернаторомъ; въ его домѣ Салтыковъ скоро сталъ своимъ человѣкомъ. «Краткая исторія Россіи» написана Салтыковымъ въ тверской его деревнѣ, куда онъ получилъ позволеніе съѣздить въ 1853 или 1854 г. Онъ присылалъ ее оттуда листами, чтобы напомнить о себѣ своимъ добрымъ знакомымъ.

такихъ ересіарховъ и высылалъ ихъ изъ Москвы. Возникла ересь, распространившаяся съ необычайной быстротой. Дерзость старовѣровъ дошла до того, что они не усомнились окружить Успенскій соборъ во время патріаршаго служенія и настойчиво требовали публичнаго пренія». Заслуживаетъ вниманія, самъ по себѣ, только взглядъ Салтыкова на Іоанна Грознаго, почти всецѣло совпадающій съ мнѣніемъ Кавелина *). «Ничто не укрывалось отъ взора Іоанна,—говоритъ Салтыковъ, характеризуя лучшую эпоху его царствованія (1548—60);—вездѣ, во всѣхъ принятыхъ мѣрахъ, видно непосредственное участіе его, всѣ онѣ отмѣчены его геніемъ». Грозному царю ставится въ заслугу борьба съ боярствомъ, въ особенности на почвѣ мѣстнаго управленія: упоминается объ учрежденіи судныхъ старостъ и цѣловальниковъ, призванныхъ къ тому, «чтобы лишить областныхъ правителей возможности грабить народъ». Съ этой же точки зрѣнія одобряется значеніе, данное дьякамъ, а также введеніе въ думу «начала личныхъ заслугъ», установленіемъ званія думныхъ дворянъ. Перемѣна, происшедшая въ Іоаннѣ, объясняется «тѣми неудачами, тѣмъ постояннымъ противодѣйствіемъ, которое Іоаннъ встрѣчалъ со стороны всѣхъ окружавшихъ его для приведенія въ исполненіе своихъ реформъ». Упрекъ въ корыстолюбіи, въ «непониманіи государственныхъ интересовъ», распространяется и на тѣхъ «незнатныхъ людей», которыми Іоаннъ думалъ замѣнить бояръ. Россія—таково заключеніе автора—«была еще недовольно развита» для реформъ, задуманныхъ Іоанномъ. Даже учрежденіе опричнины оправдывается тѣмъ, что оно, «повидимому, имѣло цѣлью осуществленіе давней мысли Іоанна: создать служебное дворянство и замѣнить имъ родовое вельможество». Неудачу опричнины Салтыковъ приписываетъ опять-таки «недостаточной развитости» Россіи; «люди, которыхъ Іоаннъ удостоивалъ своею довѣренностью, отнюдь не оправдывали ея, а, напротивъ того, употребляли ее во зло, возмущая душу царя разными навѣтами и клеветами». О злодѣйствахъ Іоанна Салтыковъ не говоритъ почти вовсе, щадя, можетъ-быть, чувствительность своихъ ученицъ, а можетъ-быть—и репутацію своего любимца. Чѣмъ вызывалось снисходительное отношеніе Салтыкова къ Іоанну Грозному—это, въ виду приведенныхъ нами выпи-

*) Мнѣніе Кавелина объ Іоаннѣ Грозномъ было выражено въ статьѣ «Взглядъ на юридическій бытъ древней Россіи». Эта статья, впослѣдствіи вошедшая въ составъ «Сочиненій» Кавелина (изд. 1859 г., т. I; смотри въ особенности стр. 355—363), была напечатана въ «Современникѣ» 1847 г. и, слѣдовательно, была извѣстна Салтыкову, который несомнѣнно руководствовался ею.

сокъ, не требуетъ дальнѣйшихъ объясненій. Салтыкову, какъ и Кавелину, было симпатично общее направленіе внутреннихъ реформъ грознаго царя.

Насталъ, наконецъ, моментъ освобожденія Салтыкова изъ семилѣтняго вятскаго плѣна. Снятіемъ съ него полицейскаго надзора онъ былъ обязанъ, по словамъ г. Михайлова, новому вятскому губернатору, Ланскому. Вскорѣ послѣ того, 12-го февраля 1856 г., онъ былъ уволенъ отъ должности совѣтника вятскаго губернскаго правленія, съ причисленіемъ къ министерству внутреннихъ дѣлъ. Выѣхалъ онъ изъ Вятки еще раньше, въ ноябрѣ, «по первому снѣгу» («Губернскіе Очерки» «Дорога»,). «Я оставляю Крутогорскъ окончательно,—пишетъ Салтыковъ въ той же «Дорогѣ»,—передо мною растворяются двери новой жизни, той полной жизни, о которой я мечталъ, къ которой устремлялся всѣми силами души своей... И между тѣмъ внутри меня совершается странное явленіе. Я слышу, я чувствую, что какое-то неизъяснимое, тайное горе сосетъ мое сердце... Я огорченъ, я подавленъ и уничтоженъ... Мнѣ кажется, что меня тяжело оскорбили, что внезапно погибло все, что я любилъ, чѣмъ былъ счастливъ, что я неожиданно очутился одинъ, отторгнутый отъ всего живого... Ужели я въ Крутогорскѣ оставилъ часть самого себя? Да! не могъ же я жить даромъ столько лѣтъ, не могъ не оставить послѣ себя никакого слѣда! И безсознательная былинка не живетъ даромъ, и та своей жизнью, хоть незамѣтно, но непремѣнно воздѣйствуетъ на окружающую природу... ужели же я ниже, ничтожнѣе этой былинки? Или, быть-можетъ, я сожалѣю о напрасно прожитыхъ лучшихъ годахъ моей жизни? Быть-можетъ, ржавчина привычки до того пронизала мое сердце, что я боюсь перемѣны жизни, которая предстоитъ мнѣ? И въ самомъ дѣлѣ, что ждетъ меня впереди? Новыя борьбы, новыя хлопоты, новыя искательства? А я такъ усталъ уже, такъ разбитъ жизнью, какъ разбита почтовая лошадь сжечасною ѣздою по каменистой дорогѣ! И не то чтобъ я, въ самомъ дѣлѣ, много жилъ, много извѣдалъ, много выстрадалъ... Нѣтъ, я чувствую, что въ этомъ отношеніи я еще свѣжъ и непороченъ, какъ дѣвственница, и между тѣмъ сознаю, что душа моя дѣйствительно огрубѣла, а въ сердцѣ царствуетъ преступная вялость. Ужели же я погибну, не живши?—спрашиваю я себя, и вдругъ чувствую нестерпимый приливъ крови въ жилахъ. Мнѣ хочется бѣжать, бѣжать, кричать, кричать... Но вмѣстѣ съ тѣмъ я, какъ выздоравливающій больной, ощущаю, что мнѣ сильный моціонъ не по силамъ, что одно желаніе моціона порождаетъ уже разслабленіе и усталость во всѣхъ моихъ членахъ»...

«Выздоровленіе» Салтыкова совершилось, какъ извѣстно, весьма быстро—или, лучше сказать, самая болѣзнь его была только кажущаяся. Представимъ себѣ богатыря, много лѣтъ просидѣвшаго со связанными руками, въ небольшой тюремной кельѣ. Внезапно освобожденный, онъ не сразу чувствуетъ въ себѣ присутствіе дремавшей силы; пройдетъ нѣсколько времени, прежде чѣмъ онъ расправитъ могучія руки и опять двинется впередъ исполинскими шагами. У Салтыкова переходный періодъ былъ тѣмъ болѣе неизбѣженъ, что судьба бросила его въ Вятку молодымъ, едва испробовавшимъ свое дарованіе и наклоннымъ, какъ мы уже видѣли, къ сомнѣнію въ самомъ себѣ. Въ центрѣ Россіи, куда онъ возвращался, многое, вдобавокъ, перемѣнилось: наступила другая эпоха, пока заявившая себя, по позднѣйшему выраженію Салтыкова, только «замѣной мундирныхъ франовъ мундирными полукафтанами», но обѣщавшая нѣчто иное, гораздо большее... Салтыкову снилась въ дорогѣ погребальная процессія «прошлыхъ временъ»; но въ голосѣ того, кто объяснялъ ему ея значеніе, слышалась «болѣзненная иронія». Надежды на будущее смѣшивались съ опасеніями, основанными на близкомъ знакомствѣ съ прошедшимъ,—прошедшимъ, олицетвореніемъ котораго служилъ для Салтыкова чиновный Крутогорскъ.

За чиновнымъ, офиціальнымъ Крутогорскомъ разстилался, однако, цѣлый крутогорскій край, «далекій и никѣмъ нетронутый, просторный и простодушный» (см. Введеніе къ «Губернскимъ Очеркамъ»). Этотъ край былъ милъ Салтыкову; о немъ онъ жалѣлъ, даже вырываясь на волю. Здѣсь Салтыковъ въ первый разъ почувствовалъ свою близость къ той «пошехонской *странѣ*», которая оставалась ему «родственной и достолюбезной» до самой смерти. «Дороги мнѣ и зыбучіе ея пески, и болота, и хвойные лѣса; но въ особенности милъ населяющій ее людъ, простодушный, смирный, слегка унылый, или, лучше сказать, какъ бы задумавшійся надъ разрѣшеніемъ какой-то непосильной задачи. Бѣдная эта страна—ее надо любить» *). Эти слова написаны почти тридцать лѣтъ спустя послѣ возвращенія Салтыкова изъ ссылки; но основная ихъ нота звучитъ уже въ «Губернскихъ Очеркахъ». Она запала въ душу Салтыкова еще въ его «Крутогорскѣ».

II.

12-го февраля 1856 г.—28-го апрѣля 1889 г.

Въ 1856 году надворный совѣтникъ Салтыковъ былъ переведенъ изъ Вятки въ Петербургъ, и въ томъ же году «надворный

*) «Пошехонскіе разсказы», т. VII, стр. 454 (изд. 1889 г.).

совѣтникъ Щедринъ» помѣстилъ въ «Русскомъ Вѣстникѣ» первые изъ своихъ «Губернскихъ Очерковъ», сразу доставившихъ ему громкую извѣстность. Къ тому же году относится и женитьба Салтыкова на Е. А. Болтиной, такъ что этотъ годъ во всѣхъ отношеніяхъ представляется поворотнымъ пунктомъ въ жизни нашего писателя.

Сначала причисленный къ министерству внутреннихъ дѣлъ, Салтыковъ вскорѣ (20-го іюня 1856 года) былъ назначенъ, въ томъ же министерствѣ, исправляющимъ должность чиновника особыхъ порученій VI-го класса. Еще раньше (12-го мая) на него было возложено составленіе свода распоряженій министерства внутреннихъ дѣлъ, касающихся войны 1853—56 года. 5-го августа онъ былъ командированъ въ губерніи Тверскую и Владимірскую для обозрѣнія на мѣстѣ письменнаго дѣлопроизводства губернскихъ комитетовъ ополченія. Результатомъ этихъ порученій явилась обширная записка о государственномъ ополченіи, черновая рукопись которой сохранилась въ бумагахъ Салтыкова. Изложивъ, въ главныхъ чертахъ, содержаніе положенія о государственномъ ополченіи, Высочайше утвержденнаго 29-го января 1855 года, Салтыковъ переходитъ къ главной своей задачѣ—къ обозрѣнію распоряженій, состоявшихся въ дополненіе и поясненіе положенія о государственномъ ополченіи, а также способа исполненія этихъ распоряженій. Онъ говоритъ сначала объ инспекторской части (т. е. о численномъ составѣ ополченія и о назначеніи начальствующихъ лицъ), потомъ о хозяйственной части, о врачебной части и, наконецъ, о роспускѣ ополченія. Въ отдѣлѣ, посвященномъ инспекторской части, нѣкоторый интересъ представляютъ, въ настоящее время, лишь немногіе факты, относящіеся къ избранію офицеровъ ополченія. Во Владимірской губерніи допущена была, вопреки закону, замѣна однихъ лицъ другими, по добровольному между ними соглашенію, т. е., какъ выражается Салтыковъ, нѣчто въ родѣ личнаго найма. Въ Московской губерніи половина офицеровъ оказалась избранною изъ отставныхъ военныхъ и гражданскихъ чиновъ зазорнаго поведенія, недостойныхъ офицерскаго званія. Виновниками такого набора были признаны нѣкоторые уѣздные предводители дворянства, оставшіеся вполнѣ равнодушными къ устройству ополченія. Офицеры, избранные въ тверское ополченіе, наполовину не явились къ своимъ мѣстамъ, вслѣдствіе чего пришлось грозить имъ преданіемъ военному суду. О неблагонадежности нѣкоторыхъ офицеровъ ярославскаго и костромского ополченій понадобилось произвести слѣдствіе. Переходя къ обзору хозяйственной части, Салтыковъ замѣчаетъ, прежде всего, что губернскіе комитеты опол-

ченія, въ составъ которыхъ, вмѣстѣ съ высшими должностными лицами губерніи, входили и представители сословій,—обмундировали ополченіе, въ большинствѣ случаевъ, не только весьма дорого, но и весьма недоброкачественно. Покупка сукна и другихъ принадлежностей для незатѣйливаго костюма ополченцевъ производилась, бо́льшею частью, въ отдаленныхъ мѣстностяхъ, особо командированными чиновниками или комиссіонерами, что̀ влекло за собою усиленный расходъ и на прогоны, и на провозъ матеріала. Въ Калужской губерніи обмундировка ратниковъ оказалась дурною, сапоги—сдѣланными изъ конины, а подошвы—изъ лубковъ; нѣчто подобное было найдено и при осмотрѣ костромского ополченія. Вообще слухи о дѣйствіяхъ губернскихъ комитетовъ были таковы, что для ихъ провѣрки министерство внутреннихъ дѣлъ нашло вынужденнымъ командировать въ нѣкоторыя губерніи особыхъ чиновниковъ. Результатомъ этой мѣры явилось обнаруженіе многихъ злоупотребленій или, по меньшей мѣрѣ, крайней нераспорядительности, особенно по Саратовской губерніи. Въ Тверской губерніи комитетъ ополченія постановилъ, въ предупрежденіе возвышенія цѣнъ, неизбѣжнаго при общемъ заподрядѣ произвести заготовку одежды въ каждомъ уѣздѣ отдѣльно, черезъ посредство уѣздныхъ предводителей; но вслѣдъ за этимъ большинство предводителей (участвовавшихъ въ постановленіи комитета), а также тверская палата государственныхъ имуществъ, сдали заготовку одному и тому же лицу—купцу Ветошкину. За обмундированіе каждаго ратника Ветошкину платилось 14 руб. 22 коп., между тѣмъ какъ за тѣ же вещи для кадровыхъ нижнихъ чиновъ тотъ же Ветошкинъ, въ то же самое время, получалъ по 9 р. 95½ к., т. е. почти въ полтора раза меньше. А эта послѣдняя цѣна была назначена комиссаріатскимъ департаментомъ, репутація котораго, какъ охранителя казенныхъ интересовъ, слишкомъ хорошо извѣстна. Затѣмъ губернскій комитетъ вообще—и предсѣдатель его, губернаторъ, въ особенности—являются ревностными защитниками Ветошкина. Для разбора жалобъ на Ветошкина, приносимыхъ начальникомъ осташковской дружины, посылаются губернаторомъ комиссіи, оправдывающія подрядчика; въ концѣ концовъ, губернаторъ отвѣчаетъ начальнику дружины, что назначеніе новой комиссіи, въ виду безрезультатности прежнихъ, представляется ненужнымъ. Начальникъ одной изъ кашинскихъ дружинъ отказывается принять ополченскіе армяки, какъ сдѣланные изъ коровьей шерсти; губернаторъ отвѣчаетъ, что это быть не можетъ, потому что армяки сдѣланы изъ армейскаго сукна (доказаннымъ, другими словами, признается именно то, что̀ еще слѣдовало доказать). Начальникъ бѣжецкой

дружины доноситъ, что полушубки для кадровыхъ нижнихъ чиновъ сдѣланы не изъ русскихъ, а изъ ордынскихъ овчинъ; губернаторъ отвѣчаетъ, что ордынскія овчины—тѣ же русскія. Нѣчто подобное происходитъ и во Владимірской губерніи, гдѣ обмундировку всего ополченія беретъ на себя, безъ торговъ, купецъ Никитинъ, городской голова и членъ губернскаго комитета ополченія. Цѣны, ему платимыя, также превышаютъ въ полтора раза цѣнность обмундированія мѣстныхъ кадровыхъ нижнихъ чиновъ... Въ снаряженіи ополченія злоупотребленій было меньше, потому что максимальныя цѣны были назначены здѣсь комиссаріатскимъ департаментомъ. Вотъ, однако, что мы читаемъ въ запискѣ Салтыкова о подвигахъ все того же тверского купца Ветошкина. Начальникъ новоторжской дружины доноситъ, что поставленные Ветошкинымъ рапцы и патронташи негодны; губернаторъ отвѣчаетъ, что они сдѣланы въ Москвѣ, и подрядчикъ долженъ былъ принять ихъ тамъ въ настоящемъ ихъ видѣ, изъ опасенія ничего не получить. Начальникъ корчевской дружины сообщаетъ, что дерево на патронныхъ ящикахъ дало щели и краска отстала; губернаторъ предлагаетъ начальнику дружины задѣлать щели и окрасить ящики на счетъ экономическихъ суммъ дружины. Начальникъ бѣжецкой дружины доноситъ, что патронные ящики не имѣютъ замковъ и лопасти для штыковыхъ ноженъ сдѣланы изъ горѣлой кожи. Губернаторъ отвѣчаетъ, что замки нужно изготовить на счетъ экономическихъ суммъ дружины, а лопасти слѣдуетъ принять, потому что онѣ были свидѣтельствованы комитетомъ и найдены хорошими... По врачебной части достаточно отмѣтить слѣдующее общее заключеніе Салтыкова: «несмотря на принятыя правительствомъ мѣры, врачебная часть въ ополченіи почти не существовала».

Не подлежитъ никакому сомнѣнію, что съ нѣкоторыми закулисными сторонами снаряженія и обмундированія ополченскихъ дружинъ Салтыковъ имѣлъ случай познакомиться еще въ Вяткѣ. Чтобы убѣдиться въ этомъ, стóитъ только прочесть «Тяжелый годъ», написанный во время послѣдней восточной войны, но относящійся къ эпохѣ крымской кампаніи («Благонамѣренныя рѣчи», т. V, стр. 590, изд. 1889 г.). Мы видимъ здѣсь картину захолустья, въ верхнихъ слояхъ котораго народное бѣдствіе отражается все бóльшимъ и бóльшимъ обостреніемъ хищническихъ аппетитовъ. Пока дѣло ограничивается учащенными рекрутскими наборами, около него хлопочутъ и грѣютъ руки предсѣдатель казенной палаты, управляющій палатой государственныхъ имуществъ, командиръ батальона внутренней стражи, совѣтникъ ревизскаго отдѣленія; когда приходитъ вѣсть о созывѣ государ-

ственнаго ополченія, движеніе захватываетъ самого губернскаго «патріарха», до тѣхъ поръ довольствовавшагося добровольными даяніями, въ видѣ рыбы, икры, миндалю, изюму и т. п. «Патріархъ прозрѣлъ окончательно. Прежде всего его поразила цифра. Всего, всего тутъ было много: и холста, и сукна, и сапожныхъ подметокъ, не говоря уже о людяхъ. Ядреная, вкусная, сочная, эта цифра разомъ разрѣшила связывавшія его узы.—Ни безпокойныхъ людей, ни критиковъ я не потерплю,—сказалъ онъ.—Критики вообще вредны, а у насъ въ особенности. Государство у насъ обширное, а потому и операціи въ немъ обширныя. И притомъ въ самоскорѣйшемъ временн. Слѣдовательно, если выслушивать критики, то для одного разсмотрѣнія ихъ придется учредить особую комиссію (припомнимъ мнѣніе тверского губернатора о безполезности комиссій). А ополченіе тѣмъ временемъ будетъ безъ сапогъ (припомнимъ, почему начальнику новоторжской дружины рекомендовалось принять никуда негодные ранцы и патронташи). Не критиковать надобно, а памятовать, что въ мірѣ все подвержено тлѣнію, а амуничныя вещи въ особенности. Одинъ ратницкій сапогъ дойдетъ до Севастополя, другой—до первой станціи (припомнимъ калужскія подметки изъ лубковъ). Никакая критика въ этомъ не поможетъ, потому что достоинство сапога зависитъ не отъ критики, а отъ сапожника. Законъ это предвидѣлъ, и потому ни въ какомъ вѣдомствѣ критика не установилъ». Правда, вожделѣнія крутогорскаго «патріарха» остались втунѣ, но это произошло совершенно независимо отъ его воли, просто потому, что нашелся другой хищникъ, болѣе смѣлый и болѣе ловкій (управляющій палатой государственныхъ имуществъ). «Неслыханнѣйшая оргія взволновала нашъ скромный городъ. Весь мало-мальски смышленый людъ заволновался. Всякій спѣшилъ какъ-нибудь поближе пріютиться около пирога, чтобы нѣчто урвать, утаить, ушить, укроить и вообще, по силѣ возможности, накласть въ загорбокъ любезному отечеству. Лица вытянулись, глаза помутились, уста оскалились. Нашъ тихій городъ словно ошалѣлъ. Обѣды, балы слѣдовали другъ за другомъ, съ патріотическими тостами, съ пѣніемъ моднаго тогдашняго романса о восводѣ Пальмерстонѣ. Безсознательно, но, тѣмъ не менѣе, безпощадно, отечество продавалось всюду и за всякую цѣну. Кто не могъ ничего урвать, тотъ продавалъ самого себя. Все, что было въ присутственныхъ мѣстахъ пьяненькаго, неспособнаго, лѣниваго,—все потянулось въ ополченіе» (припомнимъ «личный наемъ» — во владимірскомъ ополченіи, составъ офицеровъ — въ московскомъ). Какъ глубоко запало въ душу Салтыкова печальное зрѣлище толпы, эксплоатирующей государственную незгоду, объ

этомъ можно судить и по слѣдующему отрывку изъ «Отголосковъ», также написанному во время послѣдней восточной войны («Въ средѣ умѣренности и аккуратности», т. III, стр. 483, изд. 1889 г.): «Я помню очень многое, и, между прочимъ, 1853 — 55 годы. Помню ликующихъ жуликовъ, помню людей, одолѣваемыхъ простымъ долгоязычіемъ, и людей, пользовавшихся долгоязычіемъ какъ подходящимъ средствомъ, чтобы запускать руку въ карманъ ближняго или казны. Мало того: я помню, что этихъ людей называли тогда благонамѣренными, несмотря на то, что ихъ лганье было шито бѣлыми нитками. И что всего ужаснѣе: не только не представлялось возможности обличить ихъ, но даже устраниться, уйти отъ нихъ было нельзя...» На ловца,—гласитъ поговорка,—и звѣрь бѣжитъ; первое порученіе, данное Салтыкову по возвращеніи его изъ ссылки, показало ему наглядно, что «крутогорскіе» обычаи и нравы существуютъ повсемѣстно; что «дворянскія» губерніи ничѣмъ, въ этомъ отношеніи, не отличаются отъ «не-дворянскихъ». Мы едва ли ошибемся, если скажемъ, что это усилило интенсивность щедринской сатиры. Печатая «Губернскіе Очерки», Салтыковъ не только догадывался — онъ *зналъ*, что ведетъ борьбу съ общимъ всероссійскимъ зломъ, глубоко проникшимъ въ чиновную и сословную почву.

Кромѣ свода распоряженій по призыву государственнаго ополченія, въ послужномъ спискѣ Салтыкова упомянуто только одно занятіе, возложенное на него (въ октябрѣ 1856 года), какъ на чиновника особыхъ порученій при министерствѣ внутреннихъ дѣлъ *): это—составленіе предположеній объ улучшеніи устройства земскихъ повинностей. Въ чемъ состояли эти предположенія—мы не знаемъ. На самомъ дѣлѣ, Салтыковъ исполнялъ, по всей вѣроятности, и другія служебныя работы. Между его бумагами нашлась черновая записка объ устройствѣ православныхъ церквей въ западныхъ губерніяхъ, относящаяся, очевидно, именно ко времени бытности его чиновникомъ особыхъ порученій. Основная мысль этой записки, написанной отъ имени министра внутреннихъ дѣлъ, заключается въ томъ, что понужденіе помѣщиковъ западнаго края къ постройкѣ или исправленію православныхъ храмовъ было бы несовмѣстно съ достоинствомъ правительства и православной церкви; увеличеніе числа храмовъ и приведеніе ихъ въ надлежащій видъ можетъ быть достигнуто только воззваніемъ къ добровольнымъ жертвователямъ изъ среды всего православнаго народа и устройствомъ, для сбора пожертвованій и распоряженія ими, особаго общества, съ центральнымъ управленіемъ въ Петер-

*) Онъ былъ утвержденъ въ этой должности 6-го ноября 1857 г.

бургѣ и отдѣленіями въ Москвѣ и во всѣхъ губернскихъ городахъ имперіи. Гораздо болѣе обширна и болѣе замѣчательна другая служебная записка, также сохранившаяся въ бумагахъ Салтыкова: объ устройствѣ градскихъ и земскихъ полицій. Съ содержаніемъ ея необходимо познакомиться подробно.

«Въ Россіи, — такъ начинаетъ Салтыковъ, — *благотворное* дѣйствіе полиціи почти незамѣтно; что касается до ея злоупотребленій и сопряженныхъ съ всеобщимъ ущербомъ вмѣшательствъ въ частные интересы, то они не только замѣтны, но оставляютъ по себѣ несомнѣнно весьма вредное впечатлѣніе. Всякій, кто не праздно жилъ въ провинціи и вематривался въ окружающія явленія, безъ труда пойметъ справедливость этого замѣчанія. Въ провинціи существуетъ не *дѣйствіе*, а произволъ полицейской власти, совершенно убѣжденной, что не она существуетъ для народа, а народъ для нея». Послѣ этого характеристичнаго вступленія, иллюстраціей которому можетъ служить любая страница «Губернскихъ Очерковъ», Салтыковъ подчеркиваетъ различіе между полиціей въ обширномъ смыслѣ, обнимающей собою всю сумму дѣйствія центральной власти на народъ, и полиціей въ тѣсномъ смыслѣ, составляющей особую отрасль государственной администраціи. Понимаемая въ обширномъ смыслѣ, полиція не поддается точному опредѣленію; она стремится подчинять себѣ всякое проявленіе жизни и не признаетъ законности ни въ чемъ, развивающемся самобытно. Понимаемая въ тѣсномъ смыслѣ, полиція имѣетъ задачей преслѣдованіе правонарушеній, въ сферѣ государственной, общественной и частной; ея характеръ — чисто репрессивный: она не заслоняетъ собою самобытной дѣятельности гражданъ, а, напротивъ, является къ ней на помощь, въ особенности если осуществленіе дѣйствія полиціи возложено на самихъ гражданъ. Область полицейской власти расширяется тамъ, гдѣ господствуетъ централизація, суживается тамъ, гдѣ преобладаетъ противоположное начало. Въ поясненіе этой мысли Салтыковъ ссылается на примѣръ Франціи и Англіи. Во Франціи правительство постоянно стремилось подчинить своему вліянію какъ частные, такъ и общинные интересы народа. «Это не помѣшало ей, однакоже, въ теченіе 60 лѣтъ, волноваться революціями. Мало того: можно безъ преувеличенія сказать, что централизація власти весьма сильно способствовала тому волненію умовъ, которое и донынѣ во Франціи не прекращается. Въ Англіи, гдѣ правительство ограничивается наблюденіемъ народной жизни, государственный организмъ развивается безъ всякихъ потрясеній». Могутъ возразить, что это объясняется развитіемъ въ англій-

скомъ народѣ чувства законности и консерватизма. Но чѣмъ же воспиталось это чувство? Не тѣмъ ли, что народъ всегда сознавалъ свою личность, свое право, что онъ никогда не былъ тѣмъ бездушнымъ и безсмысленнымъ субъектомъ, который правительство могло гнуть въ ту или другую сторону по усмотрѣнію? «Азбука всякой системы администраціи, — продолжаетъ Салтыковъ,—гласитъ, что предметомъ ея должно быть благо народное. Но понятіе объ этомъ благѣ, особливо въ государствахъ обширныхъ, весьма относительно и измѣняется сообразно съ условіями мѣстности, обычаевъ и т. д. Претензія подчинить всѣ мѣстности однимъ и тѣмъ же началамъ не значила ли бы то же, что уложить всѣ личности на Прокрустово ложе?» Въ особенности сильно значеніе мѣстнаго элемента проявляется въ обсужденіи интересовъ «земства» *), составляющихъ плоть и кровь мѣстности, касающихся каждаго ея обитателя. Правительство, по мнѣнію Салтыкова, не имѣетъ надобности навязывать земству такіе-то и такіе-то интересы, а не тѣ, которые стоятъ на первомъ планѣ у самаго земства. Задача правительства ограничивается согласованіемъ мѣстныхъ интересовъ съ общегосударственными. Разительный примѣръ преобладанія центральной власти въ дѣлахъ чисто домашняго свойства представляетъ наше законодательство по вопросу о переложеніи натуральныхъ повинностей въ денежныя. Это переложеніе допускается не иначе, какъ съ разрѣшенія высшей центральной власти. Почему? Потому, что правительству извѣстна наклонность бюрократіи выискивать во всякомъ предписаніи закона такую сторону, которая давала бы пищу для злоупотребленій, а злоупотребленіямъ денежная повинность поддается еще легче, чѣмъ натуральная. Въ бытность Салтыкова, въ 1854 г., въ Пермской губерніи (по дѣламъ службы), онъ имѣлъ случай удостовѣриться, что сборъ съ казенныхъ крестьянъ денегъ на отправленіе ямской гоньбы, взамѣнъ натуральной повинности, простирался, въ нѣкоторыхъ волостяхъ, до ужасной цифры 90 коп. сер. съ души *) — и за

*) Выраженіе *земство* можетъ возбудить мысль, что излагаемая нами записка Салтыкова составлена уже послѣ введенія земскихъ учрежденій. Опроверженіемъ этой мысли служитъ все содержаніе записки. Понятіе о *земствѣ* существовало у насъ и тогда, когда не было еще рѣчи о земскихъ учрежденіяхъ. Въ упомянутой выше запискѣ Салтыкова о православныхъ храмахъ въ западныхъ губерніяхъ идетъ рѣчь о *земствѣ* этихъ губерній, въ которыхъ, какъ извѣстно, земскихъ учрежденій никогда не было и нѣтъ въ настоящее время.

*) Чтобы понять значеніе этой дѣйствительно «ужасной» цифры, необходимо припомнить, что бо́льшею частью ее не превышаетъ

всѣмъ тѣмъ лошади все-таки выставлялись натурой, потому что подрядчикъ, пользуясь покровительствомъ начальства, содержалъ количество лошадей недостаточное. Гдѣ же, однако, источникъ подобныхъ явленій? Не въ томъ ли, что чиновники совершенно чужды интересамъ земства, на которое они смотрятъ какъ на pays conquis, какъ на средство покормиться? Совсѣмъ иной оборотъ приняло бы дѣло, если бы забота о лучшемъ устройствѣ интересовъ земства лежала на немъ самомъ. Оно было бы заинтересовано въ бережливомъ отношеніи къ собственнымъ силамъ, а излишняя бережливость или скупость могла бы быть предупреждена вмѣшательствомъ центральной власти. «Какая, напримѣръ, надобность требовать въ Вятской губерніи, чтобы земскія лошади имѣли не менѣе 2 арш. 2 верш. роста, если мѣстная порода лошадей, славящаяся во всей имперіи своею крѣпостью и выносливостью, представляетъ такой ростъ лишь какъ исключеніе? И отчего сотскій или разсыльный земскаго суда или окружного начальника, и даже сами эти вельможи, не могутъ ѣхать въ легкомъ плетеномъ тарантасикѣ, имѣющемся у каждаго крестьянина, а должны трястись въ обширной телѣгѣ, окрашенной зеленою краскою?.. Какая существенная надобность государству знать, какъ я хозяйствую у себя, дома, если я въ точности исполняю всѣ обязанности, лежащія на мнѣ, какъ на гражданинѣ? То же замѣчаніе въ такой же степени вѣрно и по отношенію къ земству, съ тою только разницей, что хозяйство послѣдняго происходитъ, такъ сказать, при открытыхъ дверяхъ, и слѣдовательно не только правительству, но и всякому частному человѣку представляется полная возможность контроля...» Дальше Салтыковъ перечисляетъ главныя неудобства административной централизаціи. Первое изъ нихъ — солидарность между высшимъ правительствомъ и его агентами, тогда какъ на самомъ дѣлѣ между министромъ внутреннихъ дѣлъ и какимъ-нибудь становымъ приставомъ нѣтъ ничего общаго. Отсюда безпрестанныя жалобы на правительство, которое будто бы не имѣетъ надзора за своими агентами, будто бы не преслѣдуетъ злоупотребленій и не печется объ искорененіи ихъ. Второе неудобство централизаціи заключается въ томъ, что она какъ бы стираетъ всѣ личности, составляющія государство. Вмѣшиваясь во всѣ мелочныя отправленія народной жизни, принимая на себя регламентацію частныхъ интересовъ, правительство тѣмъ самымъ какъ бы освобождаетъ гражданъ отъ

теперешній земскій сборъ, удовлетворяющій столь многочисленнымъ и разнообразнымъ потребностямъ крестьянскаго населенія.

всякой самобытной дѣятельности. Третьимъ неудобствомъ централизаціи Салтыковъ признаетъ обусловливаемое ею «существованіе массы чиновниковъ, чуждыхъ населенію и по духу, и по стремленіямъ, не связанныхъ съ ними никакими общими интересами, безсильныхъ на добро, но въ области зла являющихся страшной, разъѣдающей силой. Гарантіей противъ злоупотребленій не можетъ служить даже матеріальная обезпеченность чиновниковъ. Многіе ли изъ губернаторовъ, напримѣръ, не пользуются такъ-называемыми безгрѣшными доходами? Положительно можно сказать, что такіе губернаторы извѣстны по имени не только правительству, но и всей Россіи. Важно не содержаніе—важенъ произволъ, который слѣдуетъ, но нельзя обуздать, пока въ государствѣ существуетъ особый видъ пролетаріата, носящій официальное имя чиновничествъ». Четвертое зло, производимое централизаціей, есть то невѣдѣніе народныхъ нуждъ, въ которое она погружаетъ правительство. «Рапорты о благополучіи» — необходимая принадлежность чиновничества, чуждаго населенію и равнодушнаго къ его потребностямъ. Исключеніе дѣлается только для тѣхъ предметовъ, которые, какъ извѣстно чиновникамъ, обращаютъ на себя особое вниманіе правительства. Примѣръ: раскольники. Въ отношеніи къ этимъ предметамъ все «неблагополучно». «Пишутся донесенія, отъ чтенія которыхъ становится страшно: подумаешь, что пробилъ послѣдній часъ для государства. А ларчикъ открывается весьма просто: чиновнику нужно отличиться — онъ описываетъ все, какъ ему хочется».

Покончивъ съ централизаціей, «составляющей въ настоящемъ дѣлѣ главный вопросъ», Салтыковъ переходитъ къ слѣдующимъ вопросамъ «второстепенной важности»: 1) должно ли устройство полиціи быть коллегіальнымъ; 2) слѣдуетъ ли подвергать агентовъ полиціи какимъ-либо требованіямъ и испытаніямъ въ отношеніи къ способностямъ ихъ и знанію дѣла; 3) возможно ли допустить въ самомъ духѣ полицейскихъ учрежденій элементъ предупредительный, или же слѣдуетъ дать ихъ дѣйствіямъ исключительно репрессивный характеръ, и 4) какія должны быть самыя формы, въ которыхъ имѣетъ проявляться дѣйствіе полиціи? *По первому вопросу* Салтыковъ находитъ, что и коллегія, и единоличная власть имѣютъ свои выгоды и свои невыгоды. Самая лучшая система—та, которая соединяетъ хорошія стороны обоихъ порядковъ: но такое соединеніе возможно только при децентрализаціи, когда коллегія является принадлежностью земства, а принципъ единаго агента — принадлежностью центральной власти. *По второму вопросу* Салтыковъ признаетъ

необходимымъ и теорическое, и практическое испытаніе полицейскихъ чиновниковъ. Замѣною теоричекаго испытанія служитъ дипломъ учебнаго заведенія; степени образованія, удостовѣряемой дипломомъ, должно соотвѣтствовать и право на полученіе той или другой должности въ административной іерархіи. Обойтись безъ теоретической подготовки могутъ только низшіе полицейскіе чиновники. Практическимъ испытаніемъ должна быть безвозмездная служба, ограниченная опредѣленнымъ срокомъ. Чѣмъ шире роль, предоставленная земству, тѣмъ меньше чиновниковъ — тѣмъ легче, слѣдовательно, для правительства убѣждаться въ ихъ способности и благонадежности. *По третьему вопросу* Салтыковъ высказывается за необходимость предупредительнаго элемента въ полицейской дѣятельности, но лишь подъ условіемъ децентрализаціи. Чиновникъ, живущій въ постоянномъ отдаленіи отъ народа, не имѣетъ ни средствъ, ни даже охоты заботиться о предупрежденіи правонарушеній. Мѣстность, которою онъ завѣдуетъ, извѣстна ему лишь поверхностно, въ общихъ чертахъ; сегодня онъ здѣсь, завтра — тамъ, и чѣмъ онъ способнѣе, тѣмъ быстрѣе переходитъ съ одного мѣста на другое. Расширеніе полицейской дѣятельности, при господствѣ централизаціи, представляется не только непрактичнымъ, но и нежелательнымъ, потому что всякому агенту централизованной власти, даже при полной добросовѣстности его, свойственно стремленіе къ произволу. Здѣсь Салтыковъ затрагиваетъ попутно вопросъ о судѣ и является защитникомъ *суда общиннаго*, разумѣя подъ этимъ именемъ нѣчто весьма похожее на судъ присяжныхъ. Общественнымъ началомъ въ судѣ онъ дорожитъ до такой степени, что высказывается даже противъ предполагавшагося въ то время сліянія уѣздныхъ судовъ съ городовыми магистратами *). *По четвертому вопросу*, наконецъ, Салтыковъ требуетъ возможно большаго ограниченія письменной полицейской процедуры, возможно большаго развитія *матеріальной* дѣятельности, т. е. реальной, а не бумажной охраны интересовъ, ввѣренныхъ заботливости полицейскихъ учрежденій. Въ концѣ этого отдѣла записки авторъ еще разъ предпринимаетъ une charge à fond противъ централизаціи, сравнивая ея идею съ идеей учрежденія іезуитскаго ордена. «И тамъ, и тутъ,— восклицаетъ онъ,—царствуетъ общее недовѣріе и пастырей къ паствѣ, и пастырей между собою. И тамъ, и тутъ все до такой степени искусственно, что не знаешь, чему болѣе удивляться: терпѣнію ли людей, которые придумали призрачную машину, не

*) Уѣзднымъ судамъ, составленнымъ изъ представителей дворянства и крестьянства, было подсудно уѣздное населеніе; городо-

имѣющую никакихъ корней въ природѣ человѣческой, или долговѣчности этой машины, которая, несмотря на всю свою противоестественность, продолжаетъ и до днесь существовать и пользоваться правами гражданственности».

Въ Россіи торжество централизаціи при Петрѣ Великомъ очень скоро принесло горькіе плоды и вызвало реакцію, признаки которой Салтыковъ видитъ уже въ преобразованіяхъ Екатерины. Чтобы смягчить крайности централизаціи, императрица предоставила извѣстныя права купечеству и дворянству, но это не привело къ желанной цѣли. «Дворянство, въ сословномъ его значеніи, уже не существовало: оно слилось съ чиновничествомъ и приняло всѣ его формы». О серьезномъ значеніи купечества тѣмъ болѣе не могло быть и рѣчи. Развитію административныхъ мѣръ Екатерины много препятствовало и то обстоятельство, что онѣ были слишкомъ исключительно сословныя. Преемники Екатерины не продолжали начатаго ею дѣла, и оно заглохло въ тинѣ постепенно расширяющейся централизаціи. «Настоящее положеніе полицейскаго управленія въ Россіи представляетъ поучительную, но крайне грустную картину. Это какое-то странное смѣшеніе произвола и дисциплины, хаоса и регламентаціи». Истинной централизаціи въ Россіи нѣтъ, потому что она предполагаетъ ясно сознанную государственную идею, а у насъ интересы государства непонятны не только для становыхъ приставовъ, но даже и для многихъ губернаторовъ. Въ Россіи существуютъ лишь попытки къ централизаціи, выражающіяся въ преобладаніи произвола и въ невозможности самобытнаго развитія народныхъ силъ. Кругъ дѣйствій полиціи несоразмѣрно великъ и вмѣстѣ съ тѣмъ не опредѣленъ съ достаточною ясностью; общая полиція безпрестано сталкивается съ спеціальными (въ примѣръ этому Салтыковъ приводитъ дорожное дѣло: общая полиція настаиваетъ на немедленномъ исправленіи дороги, не принимая въ расчетъ никакихъ побочныхъ обстоятельствъ; окружной начальникъ, облеченный полицейскою властью по отношенію къ государственнымъ крестьянамъ, противопоставляетъ этому требованію хозяйственныя нужды крестьянъ, въ данную минуту не оставляющія имъ досуга для починки дороги). Наши коллегіальныя присутственныя мѣста (губернскія правленія, земскіе суды) представляютъ собою пародіи на коллегію въ истинномъ смыслѣ этого слова; все зависитъ здѣсь отъ усмотрѣнія одного лица, «наставленія» котораго равносильны предписаніямъ. Отдѣльные агенты правительства сплошь и рядомъ

вымъ магистратамъ, члены которыхъ выбирались горожанами, — городское населеніе.

могутъ быть названы его врагами, потому что ежечасно подрываютъ довѣріе къ нему народа. Въ видѣ иллюстраціи, Салтыковъ ссылается на положеніе слѣдственной части, отличительная черта которой — необузданный произволъ слѣдователя. «Бюрократія,—восклицаетъ онъ,—до того уже охватила всѣ формы русской жизни, что благонамѣренному чиновнику ничего не остается болѣе дѣлать, какъ заняться перепискою бумагъ». Другое зло нашей административной жизни—это крайнее размноженіе переписки. Салтыковъ объясняетъ его двумя главными причинами: раздробленіемъ властей, изъ которыхъ каждая, считая собя чѣмъ-то независимымъ, стремится защищать свой взглядъ и отстаивать свои мнимыя права, и несоразмѣрностью штатовъ съ числомъ и значеніемъ предметовъ, входящихъ въ кругъ дѣйствій извѣстнаго мѣста или лица. Если штатъ слишкомъ великъ, чиновники стараются доказать свою необходимость и напрасно плодятъ переписку; если штатъ слишкомъ малъ, они плодятъ ее для того, чтобы сбросить съ себя часть непосильнаго бремени, зачисливъ какъ можно больше дѣлъ за посторонними вѣдомствомъ. Основываясь на собственномъ опытѣ, Салтыковъ осмѣиваетъ практику ревизіонныхъ столовъ губернскихъ правленій, разсылающихъ ежегодно десятки тысячъ никому не нужныхъ и ни къ чему не ведущихъ подтвержденій. «Что дѣлаютъ совѣтники губернскаго правленія? А если совѣтники дѣльные, то чѣмъ занимаются секретари ихъ отдѣленій? По бо̀льшей части или тѣ, или другіе, а часто и оба вмѣстѣ—люди древніе, доживающіе свой вѣкъ подъ сѣнью коллегіи, дающей имъ возможность, ничего не дѣлая, состоять на службѣ. Надобно прочитать любой журналъ губернскаго правленія, чтобы убѣдиться въ томъ, что весь онъ—результатъ работы писца, его перебѣлявшаго. Работа столоначальника заключается въ томъ только, что онъ на подлинныхъ бумагахъ обозначаетъ, съ которыхъ поръ до которыхъ слѣдуетъ переписать. Изъ этого проистекаетъ галиматья неописанная. Встрѣчаются мѣста, которыхъ никакими силами понять нельзя, а *приказали*, т. е. то мѣсто, въ которомъ должна выразиться самобытныя дѣятельность коллегіи, бываетъ, по выраженію народному, короче утинаго носа и обыкновенно выражается въ словахъ *о содержаніи справки дать знать такому-то;* или: *предписать такому-то, чтобы поступилъ на законномъ основаніи*».

Изъ всѣхъ приведенныхъ выше фактовъ и соображеній Салтыковъ выводитъ заключеніе о необходимости общаго переустройства и губернской, и уѣздной администраціи, но, оставаясь въ предѣлахъ возложенной на него задачи, онъ говоритъ болѣе

подробно только о преобразованіи полиціи. Прежде всего, ему кажется излишнимъ обособленіе полиціи земской (т. е. уѣздной) отъ полиціи городской; отдѣльная городская полиція должна быть оставлена только въ большихъ городахъ. Дальше онъ предлагаетъ совершенно отдѣлить полицію исполнительную отъ судной и слѣдственной и передать первую въ вѣдѣніе земства. Организацію земства Салтыковъ представляетъ себѣ такъ. Образуется уѣздный земскій совѣтъ, изъ девяти членовъ: трехъ—по выбору дворянства, трехъ—по выбору городского сословія, трехъ—по выбору казенныхъ крестьянъ (припомнимъ, что записка Салтыкова относится ко времени, предшествующему отмѣнѣ крѣпостного права). Этотъ сословный составъ совѣта рекомендуется Салтыковымъ не какъ наилучшій (наоборотъ, сословная организація кажется ему противорѣчащей интересамъ массы), а какъ наиболѣе соотвѣтствующій тогдашней дѣйствительности; на этомъ же основаніи предсѣдательство въ совѣтѣ возлагается имъ на уѣзднаго предводителя дворянства. Характеръ занятій совѣта не долженъ быть исключительно полицейскій, а вмѣстѣ съ тѣмъ, и даже преимущественно, административный; совѣтъ долженъ замѣнить собою всѣ нынѣ существующія уѣздныя административныя учрежденія. Ему должно принадлежать обсужденіе всѣхъ мѣръ по общему управленію уѣздомъ и городомъ, по устройству поннностей, развитію торговли и промышленности, наблюденію за правильнымъ ихъ производствомъ, *учрежденію школъ*, охраненію тишины и спокойствія и т. п. Разъѣздовъ члены совѣта не должны предпринимать, и общее присутствіе совѣта должно быть созываемо только извѣстное число разъ въ году, когда это не можетъ быть для членовъ совѣта обременительнымъ. Въ прочее время года совѣтъ можетъ дѣйствовать въ уменьшенномъ составѣ. Содержаніе, низшая цифра котораго должна быть опредѣлена закономъ, члены совѣта получаютъ отъ своихъ сословій. Въ селеніяхъ государственныхъ крестьянъ постановленія совѣта исполняются волостными и сельскими управленіями; что касается до помѣщичьихъ имѣній, то они раздѣляются на группы, и для каждой группы избирается дворянами особый полицейскій начальникъ, исполняющій постановленія совѣта и производящій судно-полицейское разбирательство. Городъ раздѣляется на участки, и въ каждый участокъ опредѣляется полицейскій начальникъ, по выбору городского общества. Правительство, съ своей стороны, назначаетъ въ каждый уѣздъ стряпчаго и нѣсколькихъ его помощниковъ; первый присутствуетъ въ засѣданіяхъ совѣта, послѣдніе производятъ слѣдствія, при участіи депутата отъ сословія, къ которому принадлежитъ обвиняемый. По дѣламъ, касающимся

интересовъ государства, голосъ стряпчаго обязателенъ для совѣта; во всѣхъ остальныхъ случаяхъ его мнѣнія имѣютъ только «руководительное» значеніе. Права и обязанности земскаго совѣта, а также подчиненныхъ ему мѣстъ и лицъ, должны быть со всею точностью опредѣлены закономъ. Протоколы и резолюціи земскаго совѣта (протоколы—по общимъ вопросамъ, резолюціи—по частнымъ дѣламъ) должны быть излагаемы просто и ясно. «Справки должны быть въ головѣ у присутствующихъ, и потому нѣтъ надобности наполнять ими цѣлые десятки листовъ». Сношенія стряпчаго съ совѣтомъ происходятъ на словахъ. У полицейскихъ начальниковъ переписка должна быть самая ничтожная. Заканчивается записка такъ: «Предположенія, высказанныя здѣсь лишь въ общихъ чертахъ, необходимо должны уясниться при болѣе подробномъ развитіи ихъ. Порученіе, возложенное на меня, сопряжено съ большимъ трудомъ и требуетъ много самыхъ разнообразныхъ работъ и разысканій. По мнѣнію моему, оно должно обнять слѣдующія главныя части: 1) Обозрѣніе всѣхъ предположеній, собранныхъ по настоящее время въ министерствѣ внутреннихъ дѣлъ по этому предмету. Эти предположенія составятъ четырнадцать огромныхъ томовъ. 2) Обозрѣніе, по источникамъ, отечественнаго законодательства, какъ по самому устройству полиціи, такъ и по опредѣленію ихъ обязанностей. Обозрѣніе сіе должно быть сдѣлано во всей подробности и снабжено критическимъ взглядомъ. Для достиженія сей послѣдней цѣли представляется необходимымъ изъ ревизіи нѣкоторыхъ земскихъ судовъ и градскихъ полицій убѣдиться практически, какимъ образомъ приводятся въ исполненіе на мѣстахъ предписанія закона. 3) Критическій обзоръ законодательствъ главнѣйшихъ государствъ Европы по этому дѣлу. Эта часть труда необходима не для того, чтобы рабски слѣдовать въ новомъ уставѣ примѣру иностранныхъ государствъ, но для того, чтобы при сообщеніи сему дѣлу дальнѣйшаго хода, оно могло отвѣчать на всѣ вопросы. 4) Наконецъ, самый проектъ полицейскаго устава, который долженъ быть, безъ сомнѣнія, не что иное, какъ логическій результатъ предшествующихъ трехъ частей труда».

Такова любопытная записка, представляющая Салтыкова въ новой для насъ роли административнаго реформатора. Мы предполагали сначала, что она составлена въ 1860 г., когда Салтыковъ, будучи рязанскимъ вице-губернаторомъ (онъ назначенъ на эту должность 6-го марта 1858 г.), участвовалъ, какъ видно изъ формулярнаго его списка, въ занятіяхъ учрежденной при министерствѣ внутреннихъ дѣлъ комиссіи о губернскихъ и уѣздныхъ учрежденіяхъ. Ближайшее знакомство съ запиской при-

зело насъ къ другому заключенію; мы думаемъ, что она написана раньше, еще въ бытность Салтыкова чиновникомъ особыхъ порученій. Въ ней нѣтъ и намека на предстоящее освобожденіе помѣщичьихъ крестьянъ,—а это едва ли было бы возможно въ 1860 г., наканунѣ отмѣны крѣпостного права; нѣтъ также никакихъ указаній на преобразованіе слѣдственной части, состоявшееся въ 1860 г. (учрежденіе судебныхъ слѣдователей). Вездѣ, гдѣ Салтыковъ ссылается на собственный свой служебный опытъ, онъ говоритъ только о Вятской губерніи, только о должности совѣтника губернскаго правленія; о Рязанской губерніи въ запискѣ вовсе нѣтъ рѣчи; о должности вице-губернатора сказано лишь нѣсколько словъ. Работу, предназначенную для комиссіи *о губернскихъ и уѣздныхъ учрежденіяхъ*, Салтыкову незачѣмъ было бы, наконецъ, искусственно замыкать въ тѣсныя рамки вопроса о земскихъ и градскихъ полиціяхъ. Если наша догадка о времени составленія записки основательна, то этимъ объясняется многое въ ея содержаніи—напримѣръ, соединеніе полицейской и судебной власти, по отношенію къ помѣщичьимъ имѣніямъ, въ рукахъ полицейскаго начальника, избираемаго дворянствомъ. При существованіи крѣпостного права такое учрежденіе было бы несомнѣннымъ шагомъ впередъ, потому что замѣнило бы, до извѣстной степени, произволъ помѣщика болѣе или менѣе правомѣрною дѣятельностью должностнаго лица, подчиненнаго всесословному земскому совѣту... Чѣмъ раньше составлена записка, тѣмъ больше она заслуживаетъ удивленія. И въ 1860 году немного было должностныхъ лицъ, способныхъ и готовыхъ говорить, въ формальной служебной бумагѣ, такъ рѣшительно и такъ откровенно, какъ говоритъ авторъ записки. Еще меньше, конечно, ихъ было за два или три года передъ тѣмъ, когда только что начиналась новая эра. Безпощаднаго анализа системы, едва поколебленной и офиціально еще не осужденной, всего труднѣе было ожидать отъ молодого чиновника, только что вернувшагося изъ продолжительной ссылки и занимавшаго весьма скромное положеніе въ административномъ мірѣ. Салтыковъ не остановился передъ соображеніями личной безопасности и личной выгоды; получивъ возможность высказаться, онъ воспользовался ею широко и смѣло. Оружіемъ ему послужили и личный служебный опытъ, и теоретическія знанія, пріобрѣтенныя имъ во время вынужденныхъ вятскихъ досуговъ. Первый помогъ ему нарисовать вѣрную картину дѣйствительности; въ послѣднихъ онъ почерпнулъ масштабъ для критики и исходную точку для преобразовательнаго плана. Разсужденія о вредѣ административной централизаціи, конечно, не составляютъ автор-

ской собственности Салтыкова, но ему принадлежитъ честь примѣненія ихъ къ русской жизни, подтвержденія ихъ данными, взятыми изъ прошедшаго и настоящаго Россіи. Многое въ запискѣ Салтыкова не устарѣло до сихъ поръ, какъ потому, что уцѣлѣли нѣкоторыя изъ тогдашнихъ учрежденій (напримѣръ— губернскія правленія), нѣкоторые изъ тогдашнихъ обычаевъ (канцелярскія отписки, доклады, составляемые съ помощью отмѣтокъ: отъ А до Б), такъ и потому, что далеко не во всемъ измѣнился общій духъ администраціи... Въ самомъ проектѣ реформы, набросанномъ Салтыковымъ, есть, конечно, очевидныя ошибки,— очевидныя *теперь*, при свѣтѣ всего совершившагося въ продолженіе трехъ послѣднихъ десятилѣтій; но въ главномъ, общемъ, цѣли и пути указаны Салтыковымъ совершенно вѣрно, и рано или поздно могутъ осуществиться нѣкоторыя изъ его желаній. Къ ошибкамъ слѣдуетъ отнести, какъ намъ кажется, предположенія Салтыкова о составѣ земскаго совѣта, слишкомъ малочисленномъ для учрежденія обсуждающаго, слишкомъ многочисленномъ для учрежденія исполняющаго. Земскій совѣтъ, проектируемый Салтыковымъ,—это въ одно и то же время и земское собраніе, и земская управа; именно потому онъ не могъ бы быть какъ слѣдуетъ ни тѣмъ, ни другимъ. Не вполнѣ ясно и послѣдовательно установлено также у Салтыкова различіе между полиціей благоустройства и полиціей безопасности. Чрезвычайно плодотворной является зато мысль объ объединеніи всего уѣзднаго управленія, совершенно упущенная изъ виду въ эпоху великихъ реформъ, всплывшая наверхъ въ земскихъ проектахъ восьмидесятыхъ годовъ, но до сихъ поръ не проведенная въ дѣйствительность. Не менѣе цѣнно и то, что это объединеніе пріурочивалось Салтыковымъ къ *земской* почвѣ; отношеніе между земствомъ и центральною властью понималось имъ именно такъ, какъ оно рисуется лучшими представителями современнаго государственнаго права.

Мы уже сказали, что въ мартѣ 1858 г. Салтыковъ былъ назначенъ рязанскимъ вице-губернаторомъ. 3-го апрѣля 1860 г. онъ былъ переведенъ на ту же должность въ Тверь и нѣсколько разъ исполнялъ тамъ обязанности губернатора. Служебная дѣятельность не мѣшала Салтыкову отдавать много времени литературѣ. Въ 1857 г. окончилось появленіе «Губернскихъ Очерковъ» въ «Русскомъ Вѣстникѣ», и вслѣдъ затѣмъ они вышли въ свѣтъ особой книжкой; въ томъ же году Салтыковъ напечаталъ еще нѣсколько произведеній, отчасти вошедшихъ, отчасти не вошедшихъ въ полное собраніе его сочиненій. Къ послѣдней категоріи принадлежатъ: комедія «Смерть Пазухина» («Русскій

Вѣстникъ», № 19) и «Женихъ», картина провинціальныхъ нравовъ («Современникъ», № 10). Въ 1858 и 1859 г. произведенія Салтыкова появлялись въ «Русскомъ Вѣстникѣ», «Атенеѣ», «Современникѣ», «Библіотекѣ для Чтенія» и «Московскомъ Вѣстникѣ»; почти все написанное имъ за это время вошло въ составъ «Невинныхъ разсказовъ». Съ 1860 г. Салтыковъ становится постояннымъ сотрудникомъ «Современника»; изъ другихъ ежемѣсячныхъ журналовъ только «Время» (1862 г., №№ 4 и 9) получаетъ отъ него нѣсколько сценъ и разсказовъ, перепечатанныхъ впослѣдствіи въ «Сатирахъ въ прозѣ». Совершенно забыты, въ настоящее время, небольшія публицистическія статьи, помѣщенныя Салтыковымъ за его подписью въ «Московскихъ Вѣдомостяхъ» 1861 г. (редакторомъ этой газеты былъ въ то время В. Ѳ. Коршъ, двумя годами позже сдѣлавшійся редакторомъ «С.-Петербургскихъ Вѣдомостей»; онѣ не попали въ «Библіографическій очеркъ литературной дѣятельности Салтыкова», напечатанный въ № 7 «Русской Мысли» 1889 г. А между тѣмъ онѣ заслуживаютъ полнѣйшаго вниманія. Мы изложимъ содержаніе ихъ по находящимся въ нашихъ рукахъ черновымъ рукописямъ Салтыкова. Первая изъ нихъ, въ рукописи озаглавленная: «Къ крестьянскому дѣлу», въ печати—«Объ истинномъ значеніи недоразумѣній по крестьянскому дѣлу», появилась въ свѣтъ весьма скоро послѣ обнародованія положеній 19-го февраля. Она имѣетъ двоякую цѣль: раскрыть главный источникъ замѣшательствъ и волненій, неизбѣжныхъ въ началѣ новаго фазиса народной жизни, и указать лучшее средство къ ихъ предупрежденію. «Представьте себѣ,—такъ начинаетъ авторъ:—бѣднаго петербургскаго чиновника, который въ теченіе тридцати и болѣе лѣтъ своей службы ежедневно проѣзживался изъ Галерной Гавани въ тотъ департаментъ, гдѣ имѣлъ честь состоять писцомъ, и который давнымъ-давно забылъ мечтать о томъ, что есть на свѣтѣ мѣста помощниковъ столоначальника, дающія возможность износить въ годъ лишнюю пару сапоговъ; предположите, что этотъ забитый и загнанный судьбою человѣкъ совсѣмъ неожиданно получаетъ извѣстіе о доставшемся ему милліонномъ наслѣдствѣ. Какъ поступитъ, какъ поведетъ себя нашъ труженикъ? Прежде всего, думаю я, онъ не повѣритъ полученному извѣстію, и сомнѣнія его разсѣются уже тогда, когда объявляющій ему эту вѣсть квартальный поручикъ назоветъ его сіятельствомъ и поцѣлуетъ у него руку. Потомъ онъ сочтетъ первымъ долгомъ нагрубить своему столоначальнику и не встать съ мѣста при появленіи начальника отдѣленія. Потомъ онъ приметъ переписывать брошенную ему на столъ бумагу, но работа будетъ идти

худо и не споро, и онъ, не кончивъ ея, обѣжитъ изъ департамента въ свою любезную Гавань. Тамъ опъ закричитъ благимъ матомъ, созоветъ товарищей своего прежняго безотраднаго существованія и учинитъ дебошъ. Я даже не прочь отъ мысли, что онъ напьётся пьянъ и что-нибудь напаскудитъ мимоходомъ». Безспорно, было бы лучше, если бы счастливецъ поступилъ иначе—сходилъ въ храмъ Божій, потомъ въ баню, испросилъ у добрыхъ начальниковъ отпускъ для устройства домашнихъ дѣлъ, и т. д.; но вѣдь въ жилахъ его течетъ кровь, сердце у него заиграло отъ радостной вѣсти, а въ такомъ настроеніи естественно и даже законно «подпрыгнуть до потолка и показать, въ нѣкоторомъ родѣ, языкъ своему прошедшему». Съ положеніемъ внезапно разбогатѣвшаго чиновника имѣетъ много общаго положеніе крестьянъ, только что выслушавшихъ добрую вѣсть о свободѣ. Возможно ли, чтобы эта вѣсть не потрясла ихъ до глубины души, чтобы при полученіи ея они сохранили все благоразуміе, все хладнокровіе? «Конечно, было бы весьма пріятно слышать, что они, одѣвшись въ синіе армяки или праздничные сарафаны, вышли на улицу и стали кроткимъ манеромъ играть хороводы, а потомъ спокойно разошлись по домамъ, съ тѣмъ, чтобы на другой день благонравно приняться за исполненіе старыхъ обязанностей. Но—увы!—какъ ни соблазнительна подобнаго рода идиллія, она едва ли возможна. Всякій благоразумный помѣщикъ пойметъ, что крестьянину, преисполненному новымъ для него чувствомъ свободы и довольства, трудно воздержаться отъ того, чтобы даже не попривередничать малость». А между тѣмъ, выискиваются люди, предъявляющіе къ крестьянамъ неисполнимыя требованія. Они ужасно волнуются при мысли, что душою крестьянина чувство благодарности за дарованныя права владѣетъ не всецѣло. Отсюда тѣ дикіе вопли, которые нерѣдко слышатся въ такъ-называемомъ образованномъ обществѣ; отсюда неистовыя воззванія къ насилію, какъ единственному убѣжищу противъ черной неблагодарности и единственному средству для насажденія надлежащихъ чувствъ въ черствой душѣ крестьянина. Обычнымъ орудіемъ такого насилія являются «полицейскія мѣры»—и именно противъ нихъ съ особенною силой возстаетъ Салтыковъ. Онъ желалъ бы, чтобы въ «недоразумѣнія» между помѣщиками и крестьянами вовсе не вмѣшивалась полиція, предоставляя разрѣшеніе ихъ исключительно новымъ крестьянскимъ учрежденіямъ. Отъ послѣднихъ Салтыковъ ожидаетъ образа дѣйствій, свободнаго отъ старыхъ административныхъ традицій. «Не на завладѣніе ферулой, а на исторженіе ея изъ рукъ прочихъ административныхъ мѣстъ и на преданіе ея всенародно сожженію должно быть обращено

ревнивое вниманіе крестьянскихъ учрежденій». Главная ихъ задача—«толковое и терпѣливое разъясненіе крестьянамъ ихъ правъ и обязанностей»; необходимо также устранять «излишнія и стѣснительныя для крестьянъ требованія помѣщиковъ», запрещенныя закономъ даже во времена крѣпостного права и еще менѣе допустимыя послѣ освобожденія крестьянъ. На степень безпорядка, неповиновенія, противодѣйствія слишкомъ часто притомъ возводятся такіе поступки крестьянъ, которые вовсе не имѣютъ этого характера. «Какая-нибудь ключница Мавра донесетъ барынѣ, что дядя Корнѣй, лежа на печи, бормоталъ: вы-ста, да мы-ста—вотъ ужъ и злоумышленіе. Какой-нибудь староста Акимъ подольстится къ барынѣ, что у насъ-де, сударыня, давеча Васька-скотъ на всю сходку оралъ—а пойдемъ-ка, братцы, къ барынѣ, пускай она водки намъ поднесетъ!—вотъ ужъ и бунтъ. Васька-скотъ летитъ въ становую квартиру, а дядя Корнѣй записывается въ книжечку, какъ будущій зачинщикъ и подстрекатель. Кстати о зачинщикахъ. Одна дама спрашивала нѣкотораго глубокомысленнаго администратора, хвалившагося, что онъ въ такомъ-то случаѣ взялъ столько-то зачинщиковъ и поступилъ съ ними по всей строгости (есть такія плоскодонныя головы, которыя и этимъ хвалятся!): — скажите, пожалуйста, какимъ образомъ вы умѣете отличить зачинщиковъ? — Администраторъ вытаращилъ глаза и, повидимому, изумился, какъ это ему никогда не приходилъ въ голову подобный вопросъ. — Вы, можетъ-быть, отличаете ихъ по волосамъ: одинъ разъ зачинщики—бѣлокурые, другой разъ—брюнеты? — Администраторъ побагровѣлъ отъ злости, но удовлетворительнаго отвѣта не далъ. Увы! я и самъ до сихъ поръ не знаю, какіе отличительные наружные признаки зачинщика. Мнѣ все сдается, что зачинщикъ—время, и что его-то именно и слѣдуетъ подвергнуть полицейскому взысканію. Очень можетъ быть, что я ошибаюсь»... Возможность исключительныхъ случаевъ, вызывающихъ полицейскія мѣры, Салтыковъ признаетъ, но думаетъ, что они почти всегда могли бы быть предупреждены *своевременнымъ* увѣщаніемъ и соглашеніемъ. Въ самомъ своемъ началѣ безпорядокъ можетъ быть прекращенъ гораздо легче, чѣмъ тогда, когда онъ уже успѣлъ, такъ сказать, организоваться. Конечно, услѣдить за чуть примѣтными зачатками безпокойства довольно трудно; но власть не для того существуетъ, чтобы дѣйствовать спустя рукава. Отвѣтственности за безпорядки должны подлежать, поэтому, не только крестьяне, но и учрежденія или лица, допустившія развитіе безпорядковъ. Салтыковъ вполнѣ убѣжденъ, что даже и въ серьезныхъ случаяхъ мѣры, не выходящія изъ предѣловъ законности, принесутъ пользу несравненно

болѣе дѣйствительную и прочную, чѣмъ мѣры «экстренныя». Впечатлѣнія, вызванныя употребленіемъ силы, болѣе интенсивны, но менѣе продолжительны. Самая медленность законной процедуры имѣетъ свою хорошую сторону, потому что даетъ раздраженію время притупиться, и лицу, дѣйствующему противъ этого раздраженія, позволяетъ оглядѣться и приступить къ исправленію зла съ полнымъ знаніемъ его сущности... Въ заключеніе Салтыковъ высказывается за гласность засѣданій губернскихъ по крестьянскимъ дѣламъ присутствій и за допущеніе особыхъ мнѣній, подаваемыхъ членами этихъ присутствій, до свѣдѣнія центральной власти.

Непосредственнымъ продолженіемъ этой статьи является небольшая замѣтка, посвященная спеціально членамъ отъ дворянства въ губернскихъ по крестьянскихъ дѣламъ присутствіяхъ *. На нихъ въ особенности разсчитываетъ Салтыковъ для достиженія цѣлей, указанныхъ имъ раньше—для разъясненія крестьянамъ ихъ правъ и обязанностей и для предупрежденія «недоразумѣній», изъ которыхъ возникаютъ безпорядки». Въ появленіи ихъ на мѣстѣ Салтыковъ видитъ одну изъ гарантій противъ ненавистныхъ ему полицейскихъ мѣръ. «Дѣйствіе полиціи, какъ оно до сихъ поръ представлялось въ понятіяхъ народа, есть нѣчто не успокаивающее, но даже производящее результаты совершенно противоположные... То, въ чемъ полицейская власть видитъ неповиновеніе или сопротивленіе закону, въ глазахъ добросовѣстнаго члена губернскаго правленія можетъ принять характеръ событія, коего основа лежитъ, быть-можетъ, въ неясномъ пониманіи обязанностей съ одной стороны, а быть-можетъ и въ стараніи удержаться на прежней почвѣ произвола—съ другой».

Слѣдующая замѣтка Салтыкова «Объ отвѣтственности мировыхъ посредниковъ», помѣщенная въ № 91 «Московскихъ Вѣдомостей» (все за тотъ же 1861 г.), написана по поводу статьи Ржевскаго (довольно извѣстнаго, въ свое время, сторонника консервативно-дворянской партіи): «Нѣсколько словъ о дворянствѣ», напечатанной въ № 11 «Нашего Времени». Статья Ржевскаго, насколько она касалась мировыхъ посредниковъ, была проникнута полнѣйшимъ, безграничнымъ оптимизмомъ. Авторъ не сомнѣвался въ безусловной пригодности новыхъ должностныхъ лицъ къ возложенному на нихъ дѣлу; онъ не допускалъ даже и мысли, чтобы кто-нибудь изъ нихъ могъ употребить во зло независимое положеніе, предоставленное имъ закономъ. Салтыковъ не раз-

*) Такихъ членовъ въ каждомъ губернскомъ присутствіи было четыре, двое—по назначенію министра внутреннихъ дѣлъ, двое—по выбору собранія губернскаго и уѣздныхъ предводителей.

дѣляетъ этого прекраснодушія. Онъ напоминаетъ, что въ Россіи еще слишкомъ крѣпка привычка смотрѣть на всякую должность не столько съ точки зрѣнія обязанностей, съ нею сопряженныхъ, сколько съ точки зрѣнія доставляемыхъ ею личныхъ выгодъ. Слишкомъ мало распространена въ средѣ дворянства подготовка къ серьезному труду, къ пониманію крестьянскихъ интересовъ. Не даромъ наша литература изображала помѣщиковъ либо самодурами, либо неумѣлыми мечтателями; соединеніе добрыхъ намѣреній съ умѣньемъ проводить ихъ въ жизнь встрѣчается у насъ весьма рѣдко; помѣщики въ родѣ Костанжогло существуютъ только на бумагѣ. Слишкомъ велико, наконецъ, значеніе «рекомендацій», слишкомъ много рекомендующихъ и рекомендуемыхъ. «Не дремлетъ Матрена Ивановна, не дремлетъ статскій совѣтникъ Стрекоза — и та, и другой неустанно строчатъ рекомендательныя письма. Первая рекомендуетъ своего protégé по причинѣ comme il faut, второй своего — за скромность. Матрена Ивановна — хорошая женщина, отличные подаются у нея пироги за обѣдомъ; Стрекоза припоминаетъ въ письмѣ о пріятныхъ минутахъ, тогда-то вмѣстѣ проведенныхъ. Согласитесь, что какъ-то трудно, неловко отвѣчать отказомъ на такое въ душу лѣзущее приставанье». Въ виду всего этого трудно думать, чтобы выборъ въ мировые посредники всегда и вездѣ былъ безупреченъ. И у нихъ могутъ быть слабости, коррективомъ которыхъ должна служить строгая отвѣтственность. Независимому положенію мировыхъ посредниковъ Салтыковъ сочувствуетъ вполнѣ, но протестуетъ противъ смѣшенія независимости съ безотвѣтственностью. Законъ «оградилъ мировыхъ посредниковъ отъ придирчивости вліянія мѣстной власти на дѣйствія ихъ и убѣжденія, но не снялъ съ нихъ отвѣтственности за послѣдствія тѣхъ и другихъ». Иначе въ дѣятельности мировыхъ посредниковъ сталъ бы господствовать тотъ же произволъ, какимъ отличалась у насъ до тѣхъ поръ вся дѣятельность администраціи. Правда, привлечь мирового посредника къ отвѣту можетъ только сенатъ, но возбудить вопросъ о такомъ привлеченіи зависитъ отъ губернскаго начальства, и если оно не пользуется, въ случаѣ надобности, своимъ правомъ, то въ этомъ заключается явное нарушеніе обязанности. Салтыковъ разсчитываетъ, впрочемъ, не на одну только служебную отвѣтственность посредниковъ. Онъ предлагаетъ организацію ежегодныхъ губернскихъ съѣздовъ мировыхъ посредниковъ, замѣчая, что нѣчто подобное было устроено въ одной изъ внутреннихъ губерній (вѣроятно, Тверской) по отношенію къ судебнымъ слѣдователямъ. На съѣздѣ, по его мнѣнію, мировымъ посредникамъ слѣдовало бы не только обмѣниваться мыслями и

совѣщаться о возникающихъ въ ихъ практикѣ вопросахъ, но и представлять отчетъ о всей своей дѣятельности. Журналы посредниковъ одного уѣзда могли быть повѣряемы посредниками другого уѣзда. Кромѣ посредниковъ, участіе въ губернскомъ съѣздѣ должны были бы принимать члены губернскаго крестьянскаго присутствія и правительственные члены уѣздныхъ мировыхъ съѣздовъ. Результаты совѣщаній съѣзда и повѣрки отчетовъ слѣдовало бы публиковать въ мѣстныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ. «Мы убѣждены, — говоритъ Салтыковъ: — что одна мысль о возможности взаимной повѣрки дѣйствій мировыхъ посредниковъ много очиститъ этотъ рождающійся у насъ институтъ. Надъ нею задумается не одинъ изъ сторонниковъ идеи самоуправленія, переложеннаго на русскіе нравы; не одинъ изъ тѣхъ, которые въ юношескомъ восторгѣ повторяли другъ другу: mon cher, nous sommes indépendants! оставитъ свою затѣю и уѣдетъ во-свояси пасти гусей. Но зато тѣ, которые останутся, будутъ дѣйствительно хорошими и полезными мировыми посредниками».

Почти одновременно съ статьей объ отвѣтственности мировыхъ посредниковъ написана Салтыковымъ статья: «Гдѣ истинные интересы дворянства». Она также начинается возраженіемъ Ржевскому. «Покуда г. Ржевскій приглашаетъ дворянъ воспользоваться какимъ-то единственнымъ въ исторіи случаемъ, чтобы утвердить свое политическое преобладаніе надъ прочими сословіями, благоразумнѣйшіе и образованнѣйшіе изъ дворянъ помышляютъ не о преобладаніи и даже не о томъ, чтобы удержаться, такъ сказать, на поверхности возникающаго въ Россіи земства, а о томъ, чтобы просто-на-просто сдѣлаться членами этого земства—членами не случайными, признающими за собой только право, а не обязанности, но дѣйствительными членами, связанными съ земствомъ всей совокупностью условій, налагаемыхъ этимъ званіемъ. И это весьма понятно. Какими бы правами ни пользовалось извѣстное сословіе, дѣйствительная сила свободнаго государства лежитъ въ земствѣ. Тамъ источникъ матеріальнаго его благосостоянія; тамъ же залоги дальнѣйшаго его политическаго и умственнаго развитія. Оторваться отъ всего этого — значило бы оторваться отъ общей жизни государства, значило бы стать въ классъ бобылей, тотъ самый классъ, въ который нѣкоторые благодѣтели человѣческаго рода такъ усердно хлопотали пристроить крестьянъ». Въ Россіи необходимость дружной, сподушной работы всѣхъ общественныхъ силъ понималась до сихъ поръ довольно слабо; помѣхи и преграды такая работа встрѣчала со всѣхъ сторонъ. «Тутъ сословія, тамъ вѣ-

дѣляетъ этого прекраснодушія. Онъ напоминаетъ, что въ Россіи еще слишкомъ крѣпка привычка смотрѣть на всякую должность не столько съ точки зрѣнія обязанностей, съ нею сопряженныхъ, сколько съ точки зрѣнія доставляемыхъ ею личныхъ выгодъ. Слишкомъ мало распространена въ средѣ дворянства подготовка къ серьезному труду, къ пониманію крестьянскихъ интересовъ. Не даромъ наша литература изображала помѣщиковъ либо самодурами, либо неумѣлыми мечтателями; соединеніе добрыхъ намѣреній съ умѣньемъ проводить ихъ въ жизнь встрѣчается у насъ весьма рѣдко; помѣщики въ родѣ Костанжогло существуютъ только на бумагѣ. Слишкомъ велико, наконецъ, значеніе «рекомендацій», слишкомъ много рекомендующихъ и рекомендуемыхъ. «Не дремлетъ Матрена Ивановна, не дремлетъ статскій совѣтникъ Стрекоза — и та, и другой неустанно строчатъ рекомендательныя письма. Первая рекомендуетъ своего protégé по причинѣ comme il faut, второй своего — за скромность. Матрена Ивановна — хорошая женщина, отличные подаются у нея пироги за обѣдомъ; Стрекоза припоминаетъ въ письмѣ о пріятныхъ минутахъ, тогда-то вмѣстѣ проведенныхъ. Согласитесь, что какъ-то трудно, неловко отвѣчать отказомъ на такое въ душу лѣзущее приставанье». Въ виду всего этого трудно думать, чтобы выборъ въ мировые посредники всегда и вездѣ былъ безупреченъ. И у нихъ могутъ быть слабости, коррективомъ которыхъ должна служить строгая отвѣтственность. Независимому положенію мировыхъ посредниковъ Салтыковъ сочувствуетъ вполнѣ, но протестуетъ противъ смѣшенія независимости съ безотвѣтственностью. Законъ «оградилъ мировыхъ посредниковъ отъ придирчивости вліянія мѣстной власти на дѣйствія ихъ и убѣжденія, но не снялъ съ нихъ отвѣтственности за послѣдствія тѣхъ и другихъ». Иначе въ дѣятельности мировыхъ посредниковъ сталъ бы господствовать тотъ же произволъ, какимъ отличалась у насъ до тѣхъ поръ вся дѣятельность администраціи. Правда, привлечь мирового посредника къ отвѣту можетъ только сенатъ, но возбудить вопросъ о такомъ привлеченіи зависитъ отъ губернскаго начальства, и если оно не пользуется, въ случаѣ надобности, своимъ правомъ, то въ этомъ заключается явное нарушеніе обязанности. Салтыковъ разсчитываетъ, впрочемъ, не на одну только служебную отвѣтственность посредниковъ. Онъ предлагаетъ организацію ежегодныхъ губернскихъ съѣздовъ мировыхъ посредниковъ, замѣчая, что нѣчто подобное было устроено въ одной изъ внутреннихъ губерній (вѣроятно, Тверской) по отношенію къ судебнымъ слѣдователямъ. На съѣздѣ, по его мнѣнію, мировымъ посредникамъ слѣдовало бы не только обмѣниваться мыслями и

совѣщаться о возникающихъ въ ихъ практикѣ вопросахъ, но и представлять отчетъ о всей своей дѣятельности. Журналы посредниковъ одного уѣзда могли быть повѣряемы посредниками другого уѣзда. Кромѣ посредниковъ, участіе въ губернскомъ съѣздѣ должны были бы принимать члены губернскаго крестьянскаго присутствія и правительственные члены уѣздныхъ мировыхъ съѣздовъ. Результаты совѣщаній съѣзда и повѣрки отчетовъ слѣдовало бы публиковать въ мѣстныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ. «Мы убѣждены, — говоритъ Салтыковъ: — что одна мысль о возможности взаимной повѣрки дѣйствій мировыхъ посредниковъ много очиститъ этотъ рождающійся у насъ институтъ. Надъ нею задумается не одинъ изъ сторонниковъ идеи самоуправленія, переложеннаго на русскіе нравы; не одинъ изъ тѣхъ, которые въ юношескомъ восторгѣ повторяли другъ другу: mon cher, nous sommes indépendants! оставитъ свою затѣю и уѣдетъ во-свояси пасти гусей. Но зато тѣ, которые останутся, будутъ дѣйствительно хорошими и полезными мировыми посредниками».

Почти одновременно съ статьей объ отвѣтственности мировыхъ посредниковъ написана Салтыковымъ статья: «Гдѣ истинные интересы дворянства». Она также начинается возраженіемъ Ржевскому. «Покуда г. Ржевскій приглашаетъ дворянъ воспользоваться какимъ-то единственнымъ въ исторіи случаемъ, чтобы утвердить свое политическое преобладаніе надъ прочими сословіями, благоразумнѣйшіе и образованнѣйшіе изъ дворянъ помышляютъ не о преобладаніи и даже не о томъ, чтобы удержаться, такъ сказать, на поверхности возникающаго въ Россіи земства, а о томъ, чтобы просто-на-просто сдѣлаться членами этого земства—членами не случайными, признающими за собой только право, а не обязанности, но дѣйствительными членами, связанными съ земствомъ всей совокупностью условій, налагаемыхъ этимъ званіемъ. И это весьма понятно. Какими бы правами ни пользовалось извѣстное сословіе, дѣйствительная сила свободнаго государства лежитъ въ земствѣ. Тамъ источникъ матеріальнаго его благосостоянія; тамъ же залоги дальнѣйшаго его политическаго и умственнаго развитія. Оторваться отъ всего этого — значило бы оторваться отъ общей жизни государства, значило бы стать въ классъ бобылей, тотъ самый классъ, въ который нѣкоторые благодѣтели человѣческаго рода такъ усердно хлопотали пристроить крестьянъ». Въ Россіи необходимость дружной, единодушной работы всѣхъ общественныхъ силъ понималась до сихъ поръ довольно слабо; помѣхи и преграды такая работа встрѣчала со всѣхъ сторонъ. «Тутъ сословія, тамъ вѣ-

домства, тутъ чины, тамъ гильдіи и разряды; все топорщится, все представляетъ свои особенныя права, ни къ чему нельзя приступиться, не сдѣлавши напередъ особеннаго и совершенно безсмысленнаго маневра. Однако, русскій человѣкъ покладистъ, привыкаетъ ко всему. Привыкъ и къ маневрамъ, — такъ привыкъ, что безъ нихъ ему и жизнь не въ жизнь: все равно, что безъ клоповъ спать и безъ таракановъ щи хлебать. И если бы расплодившіяся въ Петербургѣ комиссіи не доказали намъ фактически, что мы ежечасно приносимъ въ жертву наши интересы нѣкоторому чудовищу, именуемому гилью, то мы и до сихъ поръ были бы вполнѣ довольны своей судьбой». Искусственныя дробленія, созданныя администраціей, ею же могутъ быть и уничтожены. Съ этимъ уничтоженіемъ не легко примириться большинству, а между тѣмъ, примиреніе необходимо. Съ отмѣной крѣпостного права сословные интересы дворянства потеряли прежнее значеніе. «Напрасно толпа (увы! въ каждомъ сословіи, какъ бы высоко оно ни было поставлено, есть своя толпа!) старается удержаться за немногія крохи, упавшія съ паскудной трапезы крѣпостного права и несметенныя лишь по недоразумѣнію; напрасно философы и юристы этой толпы усиливаются эскамотировать благодѣтельныя послѣдствія реформы, придумывая новыя, обманывающія только зрѣніе формы для упроченія того же крѣпостного права. Усилія эти останутся безплодными уже потому, что они ставятъ дворянство внѣ общей жизни государства, а ему необходимо войти въ самое сердце этой жизни». Констатировавъ признаки увеличивающагося сближенія между народомъ и дворянствомъ, Салтыковъ указываетъ на единственное средство упрочить это сближеніе, сдѣлать его дѣйствительнымъ и дѣятельнымъ: помѣщикъ долженъ стать членомъ сельскаго общества и волости. Законъ этого не требуетъ, но и не воспрещаетъ, предоставляя разработку вопроса времени и общественному мнѣнію. Разрѣшеніе его въ утвердительномъ смыслѣ было бы одинаково полезно и для помѣщиковъ, и для крестьянъ, подъ однимъ только условіемъ: чтобы сближеніе было искренне. Крестьяне сумѣютъ различить волка отъ сторожевого пса, и дѣло, испорченное однимъ, долго не поправится даже при соединенныхъ усиліяхъ многихъ. Помѣщикъ, желающій вступить въ составъ сельскаго общества и волости, долженъ предварительно окончить, путемъ выкупной сдѣлки, всѣ расчеты съ бывшими своими крестьянами, и затѣмъ участвовать, наравнѣ съ прочими членами общества, въ платежѣ податей и повинностей, лежащихъ на обществѣ.

Статья Салтыкова вызвала возраженіе Ржевскаго (въ «Рус-

скомъ Вѣстникѣ»), на которое, въ свою очередь, отвѣчалъ Салтыковъ. На личной сторонѣ спора, принявшаго довольно желчный характеръ, мы останавливаться не будемъ; для насъ важно въ немъ только то, что̀ способствуетъ разъясненію мысли Салтыкова. Ржевскій назвалъ Салтыкова *бюрократомъ*. «Извѣстно мнѣ,—говоритъ по этому поводу Салтыковъ:—что въ глазахъ Собакевичей и Манилловыхъ это ужасно ругательное слово, все равно, что *моветонъ* въ глазахъ Земляники и Ляпкина-Тяпкина. Слушать, какъ разсуждаютъ эти господа о централизаціи и бюрократіи, бываетъ поистинѣ уморительно. Одинъ доказываетъ, что децентрализація заключается въ учрежденіи сатрапій; другой мнитъ, что децентрализація въ томъ состоитъ, чтобы водку во всякое время пить. Что̀ такое бюрократъ? — спрашиваетъ Мижуевъ.—А вотъ, братецъ,—объясняетъ Ноздревъ:—хочу я, напримѣръ, теперь водки выпить—анъ тутъ бюрократъ: стой, говоритъ, водку велѣно пить въ двѣнадцать часовъ, а не теперь... Меня, однакожъ, это слово отнюдь не пугаетъ; во первыхъ, оно выражаетъ собою принципъ, котораго участіе въ жизненныхъ отправленіяхъ государства столь же необходимо, какъ и участіе земства, а, во-вторыхъ, я сомнѣваюсь, чтобы даже наученѣйшіе изъ Ноздревыхъ могли удовлетворительно объяснить, какое отношеніе имѣетъ понятіе о бюрократіи собственно къ русской почвѣ. Гдѣ взяли, откуда вывели эти господа русскую бюрократію, отдѣльную отъ русскаго дворянства— это тайна, разгадки которой слѣдуетъ искать въ трущобахъ сердецъ ноздревскихъ. Быть-можетъ, ихъ сбило съ толку наше подъячество; но оно представляетъ собою не бюрократію, а скорѣе пародію на адвокатуру, и стоитъ въ самомъ чиновничествѣ (дворянство тожъ) такимъ особнякомъ, что служитъ для него предметомъ постоянныхъ потѣхъ и насмѣшекъ. Называя меня бюрократомъ, г. Ржевскій, очевидно, не сознавалъ, что употребляетъ выраженіе, которому въ русской жизни нѣтъ соотвѣтствующаго понятія. Въ Россіи, какъ между служащимъ дворянствомъ, такъ и между неслужащимъ (но служившимъ) могутъ быть ералашисты, могутъ быть преферансисты, могутъ быть даже люди весьма серьезные и начитанные, но бюрократіи, какъ корпораціи дисциплинированной, служащей опредѣленнымъ цѣлямъ, нѣтъ и быть не можетъ, по той естественной причинѣ, что нѣтъ еще въ виду земства. Ужели гоголевскій губернаторъ, отлично вышивающій по канвѣ, можетъ быть названъ бюрократомъ? Нѣтъ, воля ваша, это совсѣмъ не бюрократъ, это патріархъ, бесѣдующій съ пасомымъ имъ стадомъ въ халатѣ, запросто, и только въ указанные дни натягивающій на

себя досадный мундиръ»... Именуя Салтыкова *адвокатомъ благоусмотрѣнія начальствующихъ лицъ*, Ржевскій обвинялъ его въ томъ, что онъ хлопочетъ о распространеніи на мировыхъ посредниковъ *неделикатныхъ отношеній*, на которыя губернскія власти имѣютъ право во всемъ касающемся исправниковъ и становыхъ. «Отвращеніе, которое я питаю къ неделикатнымъ отношеніямъ,—отвѣчаетъ на это Салтыковъ:—достаточно доказывается всей моей литературной дѣятельностью, которая почти исключительно направлена къ обнаруженію ихъ нелѣпости». Намекалъ Ржевскій и на то, что Салтыковъ «увлекается направленіемъ извѣстной школы реформаторовъ, желающихъ во что бы то они стало благодѣтельствовать низшимъ классамъ». Салтыковъ, приводя эти слова, сопровождаетъ ихъ комментаріемъ: «вотъ оно, истинное-то значеніе слова *бюрократъ!*» Заключеніе отвѣтной статьи Салтыкова посвящено подробному развитію мысли о губернскихъ съѣздахъ мировыхъ посредниковъ. Ржевскій старался осмѣять эту мысль, представляя ее въ такомъ видѣ, что одни мировые посредники, повѣряя другихъ, будутъ просить ихъ «быть старательные, писать четче, не капать чернилами и т. п.». Не смущаясь этими претензіями на остроуміе, Салтыковъ поясняетъ свой проектъ цѣлымъ рядомъ наглядныхъ примѣровъ. «Вообразите себѣ, — говоритъ онъ: — что такой-то посредникъ замѣчается въ излишнемъ пристрастіи къ тѣлеснымъ наказаніямъ. Губернскій съѣздъ, свѣдавъ о подобномъ явленіи, можетъ однимъ молчаніемъ своимъ весьма краснорѣчиво выразить свое неодобреніе подобному пристрастію. Другой посредникъ слишкомъ часто прибѣгаетъ для разрѣшенія недоразумѣній къ вмѣшательству полиціи; губернскій съѣздъ можетъ сдѣлать только: *гм!* и, конечно, посредникъ, о которомъ идетъ рѣчь, хорошо пойметъ значеніе этого *гм!*». Салтыковъ не желаетъ, чтобы мысль о губернскихъ съѣздахъ была осуществлена приказаніемъ свыше; ему хотѣлось бы, чтобы она была принята посредниками motu proprio безъ всякого принужденія.

Послѣдняя замѣтка Салтыкова направлена противъ новаго отвѣта, напечатаннаго Ржевскимъ въ № 30 «Современной Лѣтописи» (такъ называлось тогда еженедѣльное прибавленіе къ «Русскому Вѣстнику»). Въ этомъ отвѣтѣ Ржевскимъ было дано слѣдующее опредѣленіе бюрократіи: «безпрерывная регламентація, безпрерывное вмѣшательство въ частную жизнь, стремленіе замѣнить не только жизнь, но и самую совѣсть предписаніями начальства». «Гораздо справедливѣе и проще было бы сказать,— возражаетъ Салтыковъ: — что бюрократія представляетъ собою въ государствѣ органъ центральной власти, которая, въ свою

очередь, служить представительницей интересовъ и цѣлей государственныхъ... Г. Ржевскій напрасно беретъ на себѣ трудъ формулировать мою мысль такъ: вездѣ, гдѣ нѣтъ земства, господствуетъ бюрократія. Нѣтъ, я сказалъ и желалъ сказать: гдѣ нѣтъ земства, тамъ нѣтъ и бюрократіи, а есть чепуха, есть безконечная путаница понятій и отношеній, при существованіи которыхъ всякій отдѣльный общественный дѣятель получаетъ возможность играть въ свою собственную дудку»... Ржевскій обвинялъ Салтыкова въ неуваженіи къ общественному мнѣнію. Отвергая это обвиненіе, Салтыковъ замѣчаетъ, что и по отношенію къ общественному мнѣнію не всегда подобаетъ играть роль Молчалина. «Бываютъ общества, гдѣ эксплоатація человѣка человѣкомъ, біеніе по зубамъ и пр. считаются не только обыденнымъ дѣломъ, но даже разсматриваются мѣстными философами и юристами съ точки зрѣнія права. Благоговѣть передъ мнѣніями такихъ обществъ было бы не только безразсудно, но и безсмысленно».

Прежде чѣмъ сказать нѣсколько словъ по поводу шести вкратцѣ изложенныхъ нами статей Салтыкова, замѣтимъ, что вопросъ о значеніи административной власти, о ея правахъ и обязанностяхъ, объ отношеніяхъ ея къ обществу и земству не переставалъ интересовать Салтыкова и много лѣтъ спустя, когда онъ окончательно оставилъ службу и всецѣло посвятилъ себя литературѣ. Въ его бумагахъ нашлось нѣсколько нумеровъ «Московскихъ Вѣдомостей» и «Современной лѣтописи» 1870 г., въ которыхъ напечатана замѣтка о губернаторахъ, по поводу тогдашняго проекта административной реформы. Свѣдѣнія, заключавшіяся въ этой замѣткѣ, должны были, очевидно, послужить Салтыкову матеріаломъ для статьи, отъ которой сохранилось въ рукописи только начало вмѣстѣ съ наброскомъ программы дальнѣйшаго изложенія. Основная мысль статьи, предназначавшейся, вѣроятно, для «Отечественныхъ Записокъ», заключалась, повидимому, въ томъ, что губернаторская власть подлежитъ не усиленію (какъ тогда предполагалось), а введенію въ законные предѣлы. «Власть губернаторовъ,—говоритъ Салтыковъ:—въ настоящее время настолько обширна, что усилить ее нѣтъ возможности. Какъ расширить то, что́ уже само по себѣ не имѣетъ точныхъ границъ? Когда все дано, то трудно себѣ представить, чтобы существовало что-нибудь такое, что́ было бы болѣе этого всего».

Публицистическія статьи Салтыкова, напечатанныя въ «Московскихъ Вѣдомостяхъ» 1861 г., замѣчательны, прежде всего, уже тѣмъ, что появились въ свѣтъ за полною его подписью. Онъ

не счелъ нужнымъ скрыться даже подъ прозрачнымъ псевдонимомъ Щедрина, къ которому такъ часто прибѣгалъ въ другихъ случаяхъ. Онъ не могъ не знать, что его статьи многихъ раздражатъ, многихъ испугаютъ, подвергнутся злостнымъ перетолкованіямъ,—и несмотря на то, или именно потому, выступилъ на сцену съ поднятымъ забраломъ. Это было почти равносильно отказу отъ дальнѣйшей административной карьеры *). Въ вѣдомствѣ министерства внутреннихъ дѣлъ, гдѣ служилъ тогда Салтыковъ, охлажденіе къ только что совершившейся реформѣ наступило весьма быстро, и горячая ея защита не могла нравиться власть имущимъ лицамъ. Когда Салтыковъ утверждалъ, что «недоразумѣнія» между помѣщиками и крестьянами почти всегда могутъ быть покончены миролюбиво, путемъ увѣщанія и соглашенія, его слова должны были показаться косвеннымъ осужденіемъ «экстренныхъ мѣропріятій», которыми былъ такъ богатъ 1861 годъ. Когда онъ предлагалъ устройство губернскихъ съѣздовъ мировыхъ посредниковъ, его могли обвинить въ стремленіи поставить общественный контроль на мѣсто или выше правительственнаго надзора. Когда онъ рекомендовалъ дворянамъ вступленіе въ составъ сельскаго общества и волости, его могли заподозрить въ ультра-демократическихъ тенденціяхъ, въ непризнаніи границъ, установленныхъ обычаемъ и закономъ. Не останавливаясь передъ подобными соображеніями, Салтыковъ рѣшился высказать, по возможности, все то, что̀ накопилось у него на душѣ во время службы въ двухъ центральныхъ губерніяхъ. Онъ видѣлъ, какую массу дурныхъ чувствъ возбудило освобожденіе крестьянъ, какими опасностями и затрудненіями окружено новое дѣло. Онъ зналъ, что всѣ огорченные и обиженные реформой стоятъ на стражѣ «недоразумѣній», чтобы тотчасъ же закричать о необходимости экстренныхъ полицейскихъ мѣръ, а потомъ изъ самаго факта принятія этихъ мѣръ вывести заключеніе о преждевременности освобожденія. Настаивая на миролюбивомъ прекращеніи «недоразумѣній», Салтыковъ касался именно того вопроса, который имѣлъ тогда наибольшую важность: онъ указывалъ тотъ единственный путь, на которомъ было возможно безостановочное и безпрепятственное движеніе впередъ. Не подлежитъ никакому сомнѣнію, что многіе изъ крестьянскихъ «бунтовъ», омрачившихъ великій 1861 годъ, могли быть предупреждены своевременнымъ, *терпѣливымъ* разъясненіемъ новыхъ поземельныхъ и личныхъ отношеній, а чѣмъ меньше было бы

*) Комическое впечатлѣніе производитъ, поэтому, намекъ Ржевскаго на желаніе Салтыкова сдѣлаться «крутогорскимъ» губернаторомъ.

бунтовъ, тѣмъ меньше было бы матеріаловъ для реакціи, первые признаки которой замѣчаются уже въ 1862 году.

Обвиненіе Салтыкова въ бюрократизмѣ возбуждаетъ невольную улыбку, въ особенности теперь, когда записка объ устройствѣ полиціи познакомила насъ съ взглядами Салтыкова на задачи и пріемы управленія. И тогда, впрочемъ, не трудно было понять, что защитникъ гласности и общественнаго контроля, систематическій противникъ «экстренныхъ» мѣръ не имѣетъ ничего общаго съ бюрократомъ, въ томъ смыслѣ, въ какомъ понималъ это слово оппонентъ Салтыкова—Ржевскій. Отличительный признакъ истаго бюрократа—это недовѣріе къ суду и къ обществу, а Салтыковъ требовалъ формальной отвѣтственности посредниковъ передъ судомъ, нравственной отвѣтственности ихъ передъ обществомъ. Огражденію мировыхъ посредниковъ отъ административнаго усмотрѣнія онъ сочувствовалъ вполнѣ; онъ хотѣлъ только, чтобы надзоръ сената не былъ пустымъ словомъ и чтобы къ нему присоединялся надзоръ товарищей, соединяемыхъ этимъ самымъ въ одну крѣпко сплоченную корпорацію. Какимъ же образомъ могло случиться, что къ Салтыкову была примѣнена столь мало подходящая къ нему кличка бюрократа? Объясняется это, какъ намъ кажется, довольно просто. Мировые посредники, какъ извѣстно, могли быть избираемы только изъ числа дворянъ-землевладѣльцевъ, т. е. изъ числа бывшихъ помѣщиковъ. Естественно было предполагать, что они будутъ дѣйствовать, большею частью, въ интересахъ своего сословія. Кто желалъ этого, тотъ настаивалъ, подобно Ржевскому, на возможно большей независимости мировыхъ посредниковъ, на возможно большемъ нейтралитетѣ представителей власти, лично не заинтересованныхъ въ дѣлѣ переустройства аграрныхъ отношеній и потому сравнительно безпристрастныхъ. Кто, наоборотъ, опасался односторонняго покровительства помѣщичьихъ интересовъ, тотъ, подобно Салтыкову, искалъ гарантій противъ посредническаго произвола и находилъ ихъ въ разныхъ формахъ отвѣтственности. Открыть свои карты сторонникамъ помѣщичьихъ интересовъ была не совсѣмъ удобно, и вотъ, зная недовѣріе тогдашняго общества къ администраціи, нерасположеніе къ принципу правительственнаго вмѣшательства, они пускаютъ въ ходъ страшное словечко: *бюрократъ*. Бюрократами слыли тогда, въ извѣстныхъ сферахъ, Николай Милютинъ, Яковъ Соловьевъ и другіе дѣятели редакціонныхъ комиссій; не удивительно, что къ тому же сонму оказался сопричисленнымъ и Салтыковъ, и столь же понятно, что онъ отнесся довольно хладнокровно къ этому сопричисленію. Истинный его смыслъ сдѣлается для насъ совершенно понятнымъ, если мы припомнимъ,

что Салтыковъ изобличался одновременно въ бюрократизмѣ и въ сочувствіи «извѣстной школѣ реформаторовъ, желающихъ во что бы то ни стало благодѣтельствовать низшимъ классамъ населенія»... Слабымъ пунктомъ въ полемикѣ Салтыкова противъ Ржевскаго кажется намъ одно лишь теоретическое опредѣленіе бюрократіи и противопоставленіе ея земству. Администрація, предоставляющая земству широкую свободу въ завѣдываніи мѣстными дѣлами и удерживающая за собою, въ общегосударственныхъ интересахъ, только общій контроль надъ дѣятельностью земства, едва ли можетъ быть названа бюрократіей. Характеристическіе признаки бюрократіи совсѣмъ другіе: это—высокомѣрное отношеніе къ «ограниченному уму» простыхъ гражданъ, стремленіе къ вездѣсущію и всевластію чиновничества, безусловная вѣра въ спасительную силу запрещеній и предписаній. Господство бюрократіи, съ этой точки зрѣнія, вполнѣ возможно и тамъ, гдѣ нѣтъ земства. Въ до-реформенной Россіи преобладала бюрократія, грубая, первобытная, неумѣлая, но все-таки бюрократія, къ которой принадлежали, до извѣстной степени, и «даровые полицеймейстеры», т. е. помѣщики, какъ начальники надъ своими крѣпостными. Ошибка Салтыкова заключалась, впрочемъ, исключительно въ неправильномъ выборѣ термина. Въ своихъ газетныхъ статьяхъ, какъ и въ запискѣ о переустройствѣ полиціи, онъ исходилъ изъ совершенно правильнаго пониманія взаимныхъ отношеній администраціи и земства. Мысли его по этому предмету и въ послѣдующее время—можно сказать—сохранили всю свою цѣну и далеко не утратили прежней своей силы.

Намъ могутъ замѣтить, что дѣятельность мировыхъ посредниковъ перваго призыва, въ огромномъ большинствѣ случаевъ, не давала повода къ подозрѣніямъ, съ которыми относился къ ней Салтыковъ. Совершенно справедливо; но изъ того, что мы это видимъ *теперь*, еще не слѣдуетъ, что это должны были видѣть и современники. Надежды крѣпостниковъ оказались тщетными, но это еще не значитъ, что онѣ не существовали. Уже одно то обстоятельство, что за возможно большую безотвѣтственность посредниковъ стояли такіе публицисты, какъ Ржевскій, оправдываетъ недовѣрчивость Салтыкова. Въ первой половинѣ 1861 года, къ которой относятся его статьи, нельзя было еще предугадать общій характеръ дѣятельности новыхъ учрежденій, а отдѣльные случаи злоупотребленій или бездѣйствія власти, подъ вліяніемъ которыхъ, очевидно, писалъ Салтыковъ, позволяли опасаться широкаго развитія подобныхъ явленій. Въ чемъ Салтыковъ былъ правъ безусловно—это въ проповѣди сближенія между помѣщиками и крестьянами и въ указаніи путей, къ нему ведущихъ. Обязатель-

пое включеніе помѣщиковъ въ составъ сельскаго общества и волости, если оно состоялось вслѣдъ за освобожденіемъ крестьянъ, принесло бы болѣе вреда, чѣмъ пользы; крестьяне, привыкшіе повиноваться, слишкомъ легко могли бы подпасть подъ исключительное вліяніе своихъ недавнихъ господъ. Другое дѣло—добровольное присоединеніе помѣщика, покончившаго всѣ расчеты съ бывшими крѣпостными. Оно дало бы сельскимъ обществамъ и волостямъ дружественныхъ совѣтниковъ и руководителей, въ которыхъ они тогда такъ нуждались, и послужило бы естественнымъ переходомъ къ сознанію настоящей всесословной волости, своевременное осуществленіе которой послужило бы залогомъ правильнаго развитія нашей государственной и общественной жизни.

9-го февраля 1862 г. Салтыковъ въ первый разъ вышелъ въ отставку. Сначала онъ хотѣлъ поселиться въ Москвѣ и основать тамъ двухнедѣльный журналъ; но когда ему это, какъ мы увидимъ, не удалось, онъ переѣхалъ въ Петербургъ и съ начала 1863 г. сдѣлался, de facto, однимъ изъ редакторовъ «Современника». Нѣсколько раньше—повидимому, въ концѣ 1862 г.—онъ написалъ «Замѣчанія на проектъ устава о книгопечатаніи», составленный въ это время особой комиссіей при министерствѣ народнаго просвѣщенія, подъ предсѣдательствомъ князя Д. А. Оболенскаго (впослѣдствіи этотъ проектъ былъ пересмотрѣнъ другой комиссіей, учрежденной при министерствѣ внутреннихъ дѣлъ, и послужилъ основаніемъ закона 6-го апрѣля 1865 г.). Замѣчанія на проектъ — черновая рукопись ихъ сохранилась въ бумагахъ Салтыкова—начинаются съ указанія на общіе его недостатки. По мнѣнію Салтыкова, они заключаются въ слѣдующемъ: 1) Проектъ направленъ исключительно къ огражденію отъ злоупотребленія печатнымъ словомъ. Въ этомъ убѣждала его та предусмотрительность, съ которою цензура вооружалась не столько для преслѣдованія преступленій совершившихся, сколько для предупрежденія преступленій воображаемыхъ. Такая предусмотрительность,—писалъ онъ:—можетъ быть умѣстной только во Франціи, гдѣ вся внутренняя политика устремлена исключительно къ охраненію династическихъ интересовъ Наполеона III, или въ странахъ покоренныхъ и потому находящихся на военномъ положеніи. 2) Не представляя ничего существенно новаго, проектъ замѣняетъ лишь произволъ безпорядочный, существовавшій доселѣ, произволомъ систематическимъ и формально узаконеннымъ (право высшей администраціи разрѣшать или не разрѣшать періодическое изданіе, принимать или не принимать мнѣніе главнаго управленія относительно адми-

нистративныхъ взысканій или преданіе суду). Коррективомъ произвола, дѣйствовавшаго безъ правилъ и даже безъ права, могли служить личныя послабленія; на будущее время нельзя разсчитывать даже на этотъ коррективъ. 3) Предварительная цензура, оставляемая въ силѣ для многихъ произведеній печати, будетъ строже, чѣмъ прежде, потому что дозволенная цензурой книга все-таки можетъ быть запрещена, съ отвѣтственностью цензора за убытки, понесенные издателемъ или авторомъ. 4) Проектъ имѣетъ видъ сколка съ французскаго (наполеоновскаго) законодательства о печати. Хотя комиссія изучила даже бразильское законодательство, но сердце ея, очевидно, лежало къ французскому. «При существующемъ въ публикѣ мнѣніи насчетъ зависимыхъ отношеній нашего правительства къ французскому, — говоритъ Салтыковъ: — едва ли было бы желательно, чтобы законодательство о книгопечатаніи представляло подтвержденіе этой мысли» *). 5) Комиссія не должна забывать, что въ публикѣ ожидается законъ, облегчающій свободу слова, а не такой, который регламентируетъ лишь способы стѣсненія ея. Не должно скрывать отъ себя также, что въ публикѣ и безъ того ходятъ преувеличенные слухи о вліяніи правительства на направленіе литературы: не лишнее было бы, чтобы новое законодательство ослабило эту мысль, принявъ за исходный пунктъ возможность существованія въ Россіи самостоятельной литературы. Подобное признаніе произведетъ впечатлѣніе выгодное и для самого правительства, которое не настолько слабо, чтобы публично сознаваться въ неимѣніи другихъ средствъ защиты.

Отъ общихъ замѣчаній на весь проектъ Салтыковъ переходитъ къ разбору отдѣльныхъ его статей, а также нѣкоторыхъ изъ числа соображеній, которыми руководилась составлявшая его комиссія. Необходимость особенно строгихъ предупредительныхъ мѣръ по отношенію къ періодическимъ изданіямъ комиссія мотивировала, между прочимъ, тѣмъ, что эти изданія дѣйствуютъ непрерывно, систематически, образуя цѣлое направленіе, неуловимое для преслѣдованія. «Что это за направленіе, — спрашиваетъ Салтыковъ:—которое всѣ чувствуютъ, но уловить не могутъ? Положительно можно сказать, что такихъ направленій нѣтъ и быть не можетъ, *преимущественно* въ журналахъ и газетахъ. Журналъ и газета имѣютъ дѣло съ *фактомъ*, съ

*) Салтыковъ намекаетъ здѣсь, вѣроятно, на упорно державшійся въ обществѣ, хотя и явно нелѣпый, слухъ о вліяніи французскаго правительства на освобожденіе крестьянъ. Предположеніямъ о «зависимости» положили конецъ знаменитыя апрѣльскія ноты кн. Горчакова *(1863 г.) по польскому вопросу.*

подробностями общественной жизни; связанные этимъ, они волей или неволей должны высказываться опредѣлительно, такъ какъ въ противномъ случаѣ потеряютъ всякое значеніе для публики». Дѣйствовать посредствомъ направленія, выражающагося въ умолчаніи, въ неясныхъ намекахъ, можетъ только подцензурная, несвободная печать; при свободѣ печати кто же станетъ подписываться на изданіе, потчующее *направленіемъ*, тогда какъ рядомъ съ нимъ другой органъ печати обсуждаетъ жизненные факты ясно и безбоязненно?.. Комиссія опасалась далѣе, что журналамъ и газетамъ удастся утомить преслѣдующую власть, выходя за предѣлы дозволеннаго безпрестанно, но не слишкомъ далеко и не слишкомъ замѣтно. «Неужели, — возражаетъ на это Салтыковъ:—наша литература имѣетъ такое громадное развитіе, что можетъ даже утомить силы преслѣдующей власти? И что же такое эта преслѣдующая власть, которая такъ скоро утомляется?» Не имѣетъ никакихъ основаній, по мнѣнію Салтыкова, право администраціи освобождать или не освобождать періодическое изданіе отъ предварительной цензуры. Если и смотрѣть на слово какъ на нѣчто въ родѣ смертоноснаго орудія, «то все-таки нельзя отнимать у писателей право, которымъ обладаетъ всякій разбойникъ: право подвергать себя наказанію за совершенное преступленіе». Право автора и издателя такихъ произведеній, которыя освобождены отъ предварительной цензуры, подчиняться ей добровольно—Салтыкову кажется излишнимъ. «Какая надобность правительству предлагать свою опеку для всѣхъ нищихъ духомъ? Вѣдь не учреждаетъ же оно особой палаты для управленія тѣми имѣніями, владѣльцы которыхъ не умѣютъ извлечь изъ нихъ всѣхъ выгодъ». Во-вторыхъ, благонамѣренные издатели могутъ, если встрѣтятъ сомнѣніе въ своей благонамѣренности, посовѣтоваться съ своими пріятелями, а не затруднять правительства. Въ-третьихъ, наконецъ, проектируемый порядокъ можетъ породить въ литературѣ «дурныя привычки»; могутъ найтись люди, подчиняющіеся цензурѣ съ цѣлью заявить о своей благонамѣренности. Чѣмъ больше наберется такихъ людей, тѣмъ болѣе подозрительными будутъ казаться неслѣдующіе ихъ примѣру... Отъ перехода цензуры въ вѣдѣніе министерства внутреннихъ дѣлъ Салтыковъ не ожидалъ пользы для литературы. Литература — одинъ изъ могущественнѣйшихъ рычаговъ народнаго просвѣщенія; слѣдовательно ей и приличнѣе было бы оставаться въ вѣдомствѣ того министерства, которое завѣдуетъ просвѣщеніемъ. Во всякомъ случаѣ, слѣдуетъ что-нибудь сдѣлать къ огражденію интересовъ науки и литературы. «Что сдѣлано въ этомъ отношеніи проектомъ?—спрашиваетъ Салтыковъ.—Предположено

учредить при министерствѣ внутреннихъ дѣлъ совѣтъ главнаго управленія по дѣламъ печати. Изъ кого онъ долженъ состоять? Изъ предсѣдателя и членовъ, назначаемыхъ министромъ. Какія права членовъ? Право представлять министру свои замѣчанія и видѣть ихъ оставленными безъ вниманія...» Гораздо цѣлесообразнѣе было бы «наблюдательное учрежденіе», пользующееся извѣстною степенью независимости и самостоятельности,—другими словами, избираемое самими литераторами. Противъ такого избранія Салтыковъ предвидитъ два возраженія: *первое* — что литераторы стали судьями въ собственномъ дѣлѣ, *второе*—что нѣтъ литературной корпораціи, которой могло бы быть поручено производство выборовъ. Первое изъ этихъ возраженій Салтыковъ опровергаетъ тѣмъ, что «литература нигдѣ и ни въ какія времена не составляетъ однороднаго цѣлаго; напротивъ, въ ней имѣются самые разнообразные оттѣнки, начиная отъ крайне консервативнаго до крайне оппозиціоннаго. Нѣтъ никакого основанія думать, чтобы изъ выборовъ вышли люди крайностей, по той простой причинѣ, что крайняя партія прежде всего опасается торжества партіи ей противоположной». Отсюда вѣроятность соглашенія на чемъ-либо среднемъ, представляющемъ большія гарантіи безпристрастія. Подтвержденіе этого предположенія Салтыковъ видитъ въ составѣ комитета литературнаго фонда. Что касается до второго возраженія, то Салтыковъ считаетъ вполнѣ возможнымъ созывъ представителей отъ существующихъ органовъ русскаго слова — по два отъ большихъ и по одному отъ менѣе значительныхъ. Составленный такимъ образомъ совѣтъ пользовался бы безусловнымъ довѣріемъ литературы и былъ бы въ то же время соединяющимъ звеномъ между правительствомъ и общественнымъ мнѣніемъ.

Возражая противъ той статьи проекта, которою разрѣшеніе или неразрѣшеніе новыхъ періодическихъ изданій ставилось въ зависимость отъ усмотрѣнія администраціи, Салтыковъ считаетъ ее, прежде всего, излишней, въ виду другихъ предупредительныхъ и репрессивныхъ мѣръ, устанавливаемыхъ проектомъ. Каждое новое изданіе увеличитъ количество труда, лежащаго на министерствѣ; отсюда вѣроятность неосновательныхъ отказовъ, а, между тѣмъ, отказъ равносиленъ сопричисленію просителя къ разряду людей неблагонамѣренныхъ. «Пишущій эти строки,—продолжаетъ Салтыковъ:—на себѣ испыталъ неудобство такого порядка вещей. Въ апрѣлѣ настоящаго (очевидно, 1862) года онъ просилъ, черезъ московскій цензурный комитетъ, разрѣшенія на изданіе въ Москвѣ двухнедѣльнаго журнала, но г. министръ народнаго просвѣщенія не счелъ нужнымъ дать просимое разрѣшеніе на томъ

основаніи, что такъ какъ разсматриваются новыя законоположенія о книгопечатаніи, то и принято за правило до окончанія этого дѣла не разрѣшать новыхъ журналовъ. Законоположенія эти до сихъ поръ не разсмотрѣны, а между тѣмъ съ тѣхъ поръ разрѣшено не мало-таки новыхъ журналовъ. Что означаетъ этотъ фактъ? Не то ли, что просто-на-просто хотѣли отказать въ изданіи журнала именно Салтыкову; но почему же Салтыкову, который четырнадцать лѣтъ служилъ по министерству внутреннихъ дѣлъ, и изъ нихъ четыре года былъ вице-губернаторомъ? Салтыковъ могъ, на общемъ законномъ основаніи, принести жалобу сенату; почему же онъ не воспользовался этимъ правомъ? А потому, просто, что въ то время, когда вышелъ отказъ, онъ думалъ, что и въ самомъ дѣлѣ существуетъ какое-то правило о временномъ неразрѣшеніи журналовъ; когда же онъ впослѣдствіи убѣдился, что такого правила нѣтъ или что оно нарушается, то срокъ на подачу жалобы прошелъ». Возможность такихъ фактовъ заставляетъ Салтыкова отдать предпочтеніе австрійской системѣ, требующей отъ редактора только одного условія: безукоризненной нравственности. Чтобы отказать въ разрѣшеніи на изданіе, правительство, при этой системѣ, должно доказать претенденту на редакторство его безнравственность. «Если оно докажетъ это — ну, и съ Богомъ; по крайней мѣрѣ и то утѣшительно, что въ Австріи разговариваютъ, а то такъ, безъ разговоровъ... Это ужъ слишкомъ легко!..» Остальныя замѣчанія Салтыкова, мотивированныя гораздо короче, направлены противъ требованія залога отъ подцензурныхъ изданій, противъ проектированнаго порядка разрѣшенія типографій и повѣрки производимыхъ въ типографіи работъ и противъ безапелляціонности административныхъ взысканій, налагаемыхъ на органы печати. Были ли представлены кому-либо замѣчанія Салтыкова на проектъ устава о книгопечатаніи, и если были, то кому именно — не знаемъ. По всей вѣроятности, они не были оставлены имъ подъ спудомъ и имѣлись въ виду при дальнѣйшей разработкѣ проекта. Весьма любопытно, что они не содержатъ въ себѣ ни слова противъ личной отвѣтственности писателей, противъ которой такъ сильно ратовалъ Салтыковъ въ 1880 г., когда ожидался пересмотръ законодательства о печати («За рубежомъ»). Замѣну административныхъ каръ, направленныхъ противъ *изданія*, карами судебными, направленными противъ *автора*, Салтыковъ признаетъ здѣсь желательною только подъ слѣдующими условіями: 1) чтобы процедура преданія суду сопровождалась не сверхъестественнымъ, а обыкновеннымъ порядкомъ; 2) чтобы суды были тоже не сверхъестественные, а обыкновенные, такіе

же, какъ для такой, и 3) чтобы «кутузки ни подъ какимъ видомъ по дѣламъ книгопечатанія не полагалось». «Ежели эти мечтанія осуществятся,—прибавляетъ Салтыковъ:—да еще ежели денежными штрафами не слишкомъ донимать будутъ, то будетъ совсѣмъ хорошо».

Въ продолженіе двухъ лѣтъ (1863 и 1864), проведенныхъ имъ въ редакціи «Современника», Салтыковъ писалъ чрезвычайно много. Только небольшая часть напечатаннаго имъ въ это время вошла въ составъ отдѣльныхъ изданій («Невинные разсказы», «Признаки времени», «Помпадуры и помпадурши») и полнаго собранія его сочиненій. Обозрѣніе остальныхъ его статей, относящихся къ самымъ разнообразнымъ предметамъ, сдѣлано было А. Н. Пыпинымъ *).

Вотъ составленный имъ списокъ статей Салтыкова, помѣщенныхъ въ «Современникѣ» за 1863—1864 годы:

—1863. Книги 1-я—2-я.—Невинные разсказы. I. Деревенская тишь. II. Для дѣтскаго возраста. III. Миша и Ваня. Н. Щедрина, стр. 161—208.

— Нѣсколько словъ по поводу замѣтки, помѣщенной въ октябрьской книжкѣ «Русскаго Вѣстника» за 1862 годъ. *Т—на*, стр. 1—16.

— Немного лѣтъ назадъ, романъ Лажечникова, стр. 111—123; Кремуцій Кордъ, Н. Костомарова, стр. 123—126; Приключенія, почерпнутыя изъ моря житейскаго. Воспитанница Сара. А. Вельтмана, стр. 126—129; Стихи Вс. Крестовскаго, стр. 129—136; Гражданскіе мотивы, сборн. современныхъ стихотвореній, изд. подъ редакціей А. П. Пятковскаго; Пѣсни скорбнаго поэта, стр. 136—140; Литературная подпись, А. Скавронскаго («Время» 1862 г., № 12), стр. 140—142; О старомъ и новомъ порядкѣ и объ устроенномъ трудѣ (travail organisé) въ примѣненіи къ нашимъ помѣстнымъ отношеніямъ. Члена вольнаго экономическаго общ. Н. А. Безобразова, стр. 142—146 (разборы книгъ, безъ подписи).

— Московскія письма. I. *К. Гурина*, стр. 163—176.

— Петербургскіе театры (безъ подписи), стр. 177—198.

— Наша общественная жизнь (безъ подписи), стр. 357—376.

Книга 3-я. — Послѣ обѣда въ гостяхъ. *И. Щедрина*, стр. 162—174.

— Московскія письма. II. *К. Гурина*, стр. 12—22.

— Нѣсколько полемическихъ предположеній. Изъ письма въ редакцію (безъ подписи), стр. 1—10.

— Анаѳема или торжество православія и пр. Быстротокова (разборъ книги, безъ подписи), стр. 128—130.

— Наша общественная жизнь (безъ подписи), стр. 175—202.

Книга 4-я.—Нѣсколько серьезныхъ словъ, по поводу новѣй-

*) См. № 10, 11 и 12 «Вѣстника Европы» за 1889 г.

шихъ событій въ С.-Петербургѣ. М. Беницкаго; Замѣтки и отзывы «Русск. Вѣстн.» 1863 г., № 1-й, стр. 285—295; Князь Серебряный. Повѣсть временъ Іоанна Грознаго, гр. А. К. Толстого (разборы книгъ, безъ подписи), стр. 295—306.

— Наша общественная жизнь (безъ подписи), стр. 375—402.

— Свистокъ: Цензоръ впопыхахъ (лесть въ видѣ грубости). *Михаила Зміева-Младенцева*, стр. 12—19; Письма отца къ сыну, стр. 19—32; Московскія пѣсни объ искушеніяхъ и невинности. Гимнъ публицистовъ. Элегія. *Михаила Зміева-Младенцева*, стр. 32—37; Неблаговонный анекдотъ о г. Юркевичѣ или исканіе розы безъ шиповъ (безъ подписи), стр. 37—51; Секретное занятіе, комедія въ четырехъ сценахъ (безъ подписи), стр. 51—54; Пѣснь московскаго дервиша. *Михаила Зміева-Младенцева*, стр. 71 — 72; Сопѣлковцы, стр. 81 — 82; Заявленіе отъ Свистка, стр. 87—88.

—1863. Книга 5-я. — Наша общественная жизнь (безъ подписи), стр. 219—258.

» Книга 8-я.—Какъ кому угодно. Разсказы, сцены, размышленія и афоризмы, стр. 567—610.

— Въ деревнѣ (безъ подписи), стр. 173—198.

» Книга 9-я.—«Прощаюсь, ангелъ мой, съ тобою!» Провинціальный романсъ въ дѣйствіи. *Н. Щедрина*, стр. 292—311.

— Наша общественная жизнь (безъ подписи), стр. 127—148.

» Книга 11-я. Петербургскіе театры. Горькая судьбина. Писемскаго (разборъ, безъ подписи), стр. 90—106.

— Наша общественная жизнь (безъ подписи), стр. 138—164.

» Книга 12-я. — Наша общественная жизнь (безъ подписи), стр. 197—242.

— Воля. Два романа изъ быта бѣглыхъ. А. Скавронскаго, стр. 243—252; Полное собраніе сочиненій Г. Гейне. Въ русскомъ переводѣ, изд. подъ редакціей Ѳ. Берга (разборы книгъ, безъ подписи), стр. 252—253.

—1864. Книга 1-я.— «Здравствуй, милая, хорошая моя!» Провинціальный романсъ въ дѣйствіи. *Н. Щедрина*, стр. 42—64.

— Наша общественная жизнь (безъ подписи) стр. 17—48.

— Новыя стихотворенія А. Плещеева, стр. 79—82; Наши безобразники, сцены Н. Потѣхина, стр. 82—83; Сказки Марко-Вовчка, стр. 83—85 (разборы книгъ, безъ подписи).

» Книга 2-я.—Наша общественная жизнь (безъ подписи), стр. 17—48.

— Новыя стихотворенія А. Н. Майкова, стр. 260—271; Воздушное путешествіе черезъ Африку, Юлія Верна, переводъ съ франц., изданіе Алексѣя Головачева, стр. 289—290 (разборы книгъ, безъ подписи).

» Книга 3-я.—«На зарѣ ты ее не буди». Романсъ. *Н. Щедрина*, стр. 189—224.

— Наша общественная жизнь (безъ подписи), стр. 27—62.

» Книга 4-я.—Записки и письма М. С. Щепкина и проч., стр. 255—258; Моя судьба, М. Камской, стр. 258—261; Разсказы изъ записокъ стараго письмоводителя, Александра Высоты, стр. 261; Сборникъ изъ исторіи старообрядства, изд. Н. И. Попова, стр. 266—267 (разборы книгъ, безъ подписи).

» Книга 5-я. — Литературныя мелочи (безъ подписи), стр. 1—26.

—1864 — Чужая вина, комедія Ѳ. Устрялова (разборъ, безъ подписи), стр. 57—59.
» Книга 8-я.—«Она еще едва умѣетъ лепетать». *Н. Щедрина*, стр. 343—368.
— Ролла, поэма Мюссе (разборъ, безъ подписи), стр. 201—207.
» Книга 10-я. — Въ своемъ краю. Романъ К. Н. Леонтьева, стр. 177—183 (разборъ, безъ подписи).
» Книга 12-я.—Письмо въ редакцію М. Салтыкова, стр. 176.

Къ началу тѣхъ же шестидесятыхъ годовъ относится характеристика Салтыкова, встрѣчающаяся въ «Воспоминаніяхъ» госпожи Головачевой *). «Сумрачное выраженіе лица, — которое госпожа Головачева замѣчала въ Салтыковѣ-лицеистѣ, — еще болѣе усилилось. Я замѣтила, что у него появилось нервное движеніе шеи, точно онъ желалъ высвободить ее отъ туго завязаннаго галстука. Изъ молчаливаго онъ сдѣлался очень говорливъ... Я была однажды свидѣтельницей страшнаго раздраженія Салтыкова противъ литературы. Не могу припомнить названія его очерка или разсказа, запрещеннаго цензоромъ. Это запрещеніе было очень непріятно и Некрасову, потому что нужно было дать набирать вновь что-нибудь другое, отчего нумеръ журнала долженъ былъ очень запоздать. Салтыковъ явился въ редакцію въ страшномъ раздраженіи и нещадно сталъ бранить русскую литературу, говоря, что можно поколѣть съ голоду, если писатель разсчитываетъ жить литературнымъ трудомъ, что одни дураки могутъ посвящать себя литературному труду при такихъ условіяхъ, когда какой-нибудь вислоухій камергеръ имѣетъ власть не только исказить, но запретить печатать умственный трудъ литератора, что чиновничья служба имѣетъ передъ литературой хоть то преимущество, что человѣка не грабятъ. Салтыковъ увѣрялъ, что онъ навсегда прощается съ литературой, и набросился на Некрасова, который, усмѣхнувшись, ему замѣтилъ, что не вѣритъ этому». Весьма можетъ быть, что въ одномъ изъ такихъ настроеній Салтыковъ рѣшился оставить литературу или, по крайней мѣрѣ, журналистику и вновь поступить на службу. Были дѣлаемы попытки объяснить его выходъ изъ «Современника» размолвкой съ редакціею, вызванной, будто бы, нападеніями на Салтыкова со стороны «Эпохи» и въ особенности «Русскаго Слова»; но это опровергается свидѣтельствомъ А. Н. Пыпина **) и самымъ фактомъ продолжавшагося сотрудничества Салтыкова въ «Современникѣ», продолжавшейся близости его къ Некрасову. Какъ бы то ни было, 6-го ноября 1864 г., че-

*) См. «Историческій Вѣстникъ», 1889 г., № 11, стр. 273—4.
**) См. «Вѣстникъ Европы» 1889 г., № 11, стр. 228—228

резъ два года и девять мѣсяцевъ послѣ перваго выхода въ отставку, Салтыковъ былъ назначенъ предсѣдателемъ пензенской казенной палаты. Два года спустя, 2-го ноября 1866 г., онъ былъ переведенъ на ту же должность въ Тулу, а въ октябрѣ 1867 г. — въ Рязань. Время службы Салтыкова въ вѣдомствѣ министерства финансовъ было временемъ наименьшей дѣятельности его въ области литературы. Въ продолженіе трехъ лѣтъ (1865, 1866 и 1867 г.) напечатана, сколько намъ извѣстно, только одна его статья (впослѣдствіи вошедшая въ составъ сборника: «Признаки времени»): «Завѣщаніе моимъ дѣтямъ» («Современникъ» 1866 г., № 1). Очевидно, Салтыковъ хотѣлъ-было порвать съ литературой; но влеченіе его къ ней было слишкомъ сильно. Когда Некрасовъ пригласилъ Салтыкова къ участію въ преобразованныхъ (съ 1-го января 1868 г.) «Отечественныхъ Запискахъ», Салтыковъ сразу сталъ однимъ изъ самыхъ усердныхъ сотрудниковъ этого журнала *), а 14-го іюня 1868 г. окончательно вышелъ въ отставку, поселился въ Петербургѣ и сдѣлался, фактически, однимъ изъ редакторовъ «Отечественныхъ Записокъ». Въ 1877 г., послѣ смерти Некрасова, онъ былъ утвержденъ редакторомъ журнала и руководилъ имъ до самаго его запрещенія (въ апрѣлѣ 1884 г.). По единогласному отзыву бывшихъ его сотрудниковъ (Н. К. Михайловскаго, А. М. Скабичевскаго, Я. В. Абрамова и др.), онъ работалъ, какъ редакторъ, чрезвычайно много. Въ рукописяхъ, особенно беллетристическихъ, онъ часто дѣлалъ большія сокращенія и измѣненія, значительно поднимавшія достоинство произведеній и способствовавшія ихъ успѣху. По свидѣтельству тѣхъ же лицъ, подъ суровою внѣшностью и рѣзкими манерами у него скрывалась величайшая доброта, дѣлавшая его дорогимъ для всѣхъ имѣвшихъ случай узнать его поближе. Понятно, что запрещеніе журнала должно было оставить большой пробѣлъ въ жизни Салтыкова, хотя возможность продолжать литературную дѣятельность представилась для него весьма скоро. Въ бумагахъ его нашлось начало «оправдательной записки» слѣдующаго содержанія: «Я никогда не могъ похвалиться ни хорошимъ здоровьемъ, ни физическою силой, но съ 1875 г. не проходило почти ни одного дня, въ который я могъ бы сказать, что чувствую себя изрядно. Постоянные болѣзненные припадки и мучительная воспріимчивость, съ которою я всегда относился къ современности, положили начало тому

*) Изъ числа шести первыхъ книжекъ «Отечественныхъ Записокъ» 1868 г., вышедшихъ до отставки Салтыкова, его статей нѣтъ только въ двухъ (3-й и 6-й); во второй книжкѣ помѣщены, зато, двѣ его статьи.

злому недугу, съ которымъ я сойду и въ могилу. Не могу также пройти молчаніемъ и непрерывнаго труда: могу сказать смѣло, что до послѣднихъ минутъ вся моя жизнь прошла въ трудѣ, и только когда мнѣ становилось уже очень тяжко, я бросалъ перо и впадалъ въ мучительное забытье. Наконецъ, закрытіе «Отечественныхъ Записокъ» и болѣзнь сына окончательно сломили меня. Недугъ охватилъ меня со всѣхъ сторонъ и сдѣлался главнымъ факторомъ моей жизни»...

Неизданныхъ или мало извѣстныхъ матеріаловъ, которые относились бы къ послѣднимъ двадцати пяти годамъ жизни Салтыкова, въ нашихъ рукахъ нѣтъ почти вовсе. Намъ доставлено лишь нѣсколько писемъ Салтыкова къ его дѣтямъ, и одно письмо, отъ 2-го января 1881 г., къ писателю, только что передъ тѣмъ напечатавшему разборъ одного изъ произведеній Салтыкова («Круглаго года»). Это послѣднее письмо очень интересно, но, къ сожалѣнію, напечатаніе его вполнѣ было бы еще преждевременно, а потому мы ограничимся однимъ отрывкомъ. «Мнѣ кажется,— пишетъ Салтыковъ: — что писатель, имѣющій въ виду не одни интересы минуты, не обязывается выставлять иныхъ идеаловъ, кромѣ тѣхъ, которые изстари волнуютъ человѣчество. А именно: свобода, равноправность и справедливость. Что же касается до практическихъ идеаловъ, то они такъ разнообразны, что останавливаться на этихъ стадіяхъ—значитъ добровольно стѣснять себя. Я положительно увѣренъ, что большее или меньшее совершенство этихъ идеаловъ зависитъ отъ большаго или меньшаго усвоенія человѣкомъ тайнъ природы и происходящаго отсюда успѣха прикладныхъ наукъ... Устраиваться въ подробностяхъ, отстаивать одни и разрушать другія — дѣло публицистовъ. Читая романъ Чернышевскаго: «*Что дѣлать*», я пришелъ къ заключенію, что ошибка его заключалась именно въ томъ, что онъ черезчуръ задался практическими идеалами. Кто знаетъ, будетъ ли оно такъ? И можно ли назвать указываемыя въ романѣ формы жизни окончательными? Вѣдь и Фурье былъ великій мыслитель, а вся прикладная часть его теоріи оказывается болѣе или менѣе несостоятельною и остаются только неумирающія общія положенія. Это дало мнѣ поводъ задаться болѣе скромною миссіей, а именно спасти идеалъ свободнаго изслѣдованія, какъ неотъемлемаго права всякаго человѣка, и обратиться въ тѣмъ современнымъ *основамъ*, во имя которыхъ эта свобода изслѣдованія попирается»...

Письма Салтыкова къ дѣтямъ — сыну Константину и дочери Елизаветѣ—написаны весною и лѣтомъ 1880 и 1881 г., когда семья Салтыкова находилась за границей, а онъ самъ временно оставался въ Петербургѣ. Сыну его было въ 1880 г. около де-

вяти, дочери—около семи лѣтъ. «Доношу вамъ,—пишетъ Салтыковъ въ первомъ письмѣ (12-го мая 1880 г.):—что безъ васъ скучно и пусто. Когда вы были тутъ, то бѣгали и прятались въ моей комнатѣ, а теперь такая тишина, что страшно. И еще доношу, что куклы ваши здоровы и въ цѣлости. Имъ тоже скучно, что никто ихъ не ломаетъ. А еще доношу, что сегодня Арапка (только что оперившаяся канарейка, очевидно—большая любимица маленькихъ Салтыковыхъ), когда я вошелъ въ игральную, сѣлъ сначала мнѣ на плечо, а потомъ забрался на голову, и не успѣлъ я оглянуться, какъ онъ уже сходилъ. Вотъ такъ сюрпризъ! Что же касается до Крылатки (также канарейка), то она еще совсѣмъ голенькая, но мать начинаетъ уже летать отъ нея. Ни конфетъ, ни апельсиновъ послѣ вашего отъѣзда въ Петербургѣ уже нѣтъ; всѣ уѣхали слѣдомъ за вами въ Баденъ. Я думаю, что вы ужъ возобновили съ ними знакомство. Будьте умники и учитесь. Пишите ко мнѣ, что вздумается, но непремѣнно пишите. Я буду прятать ваши письма, и когда вы будете большіе, мы станемъ вмѣстѣ ихъ перечитывать. Цѣлую васъ обоихъ крѣпко-на-крѣпко. Какъ только можно будетъ, прилечу. Не забывайте папу». Это письмо мы привели почти цѣликомъ; изъ другихъ заимствуемъ только отрывки. «Дѣла наши въ томъ же положеніи. Куколка лежитъ въ кроваткѣ и почиваетъ; Арапка летаетъ совсѣмъ какъ большой; Бепка (отецъ канареечнаго семейства) обходится съ нимъ какъ съ товарищемъ... А я все кашляю, и все на старый манеръ, даже новаго ничего выдумать не могу. И скучно мнѣ очень, что не слышу больше вашего дѣтскаго милаго шума» (№ 2, 17-го мая). «Совѣтую тебѣ (дочери) писать по линейкамъ. Ты еще маленькая, и надо привыкать писать прямо. Попроси маму, чтобы она васъ по-нѣмецки говорить пріучала: теперь вы легко научитесь, а потомъ будетъ очень трудно. Я всѣ дни сижу дома и скучаю. И дѣлать ничего не хочется. Птицы тоже скучаютъ безъ васъ и одичали. Арапка совсѣмъ дикій сдѣлался и даже не ночуетъ въ клѣткѣ, а забирается на карнизъ на печку» (№ 3, 20-го мая). «Имѣю честь доложить вамъ, что Крылатка вышелъ изъ гнѣзда, а мадамъ (канарейка-мать) опять начала нести яйца. Крылатка—премилепькій, весь въ Бепку; желтенькій, съ сѣрымъ хохолкомъ и сѣрыми крылушками. Лизина кукла все почиваетъ; никакъ разбудить нельзя» (№ 4, безъ числа)... «Костя! переставъ ли ты вертѣться? Смотри, пріѣду, увижу, что ты вертишься — и запла́чу. Мадамъ уже три дня какъ сидитъ на яйцахъ, но сколько яицъ — не знаю, потому что какъ ни придешь, а она все сидитъ. Скучно она, бѣдная, лѣто проводитъ» (№ 5, безъ числа).

«Сегодня madame вывела одного маленькаго, а другое яйцо еще цѣло. Какъ назвать новорожденнаго? Я предлагаю назвать Милкой или Голубчикомъ. А впрочемъ, какъ прикажете, такъ и будетъ. Коверъ твоей куклы, Лиза, цѣлъ и спрятанъ отъ моли; ты можешь быть спокойна. Я очень радъ, что ты сама, безъ диктовки, пишешь. Такъ и впередъ дѣлай. Мнѣ хочется знать, что ты думаешь» (№ 8, 9-го іюня). «Я скоро пріѣду и буду часа полтора каждый день читать и заниматься съ вами. Вижу, что вы извольничались безъ меня и никто васъ не наказываетъ. А я буду съ вами ходить и покупать ягоды и шоколадъ пить—вотъ и наказанье» (№ 9, безъ числа). «Объ какихъ куклахъ вы мнѣ пишете? Какія я могу вамъ привезти отсюда—не лучше ли купить тамъ или въ Парижѣ, гдѣ куклы и красивѣе, и дешевле. Я думаю, что вы и сами, подумавши, согласитесь съ этимъ. Лиза! ты хоть и не поцѣловала меня въ письмѣ, но я знаю, что это не нарочно случилось и что ты непремѣнно сейчасъ же объ этомъ вспомнила и мысленно поцѣловала меня. И я тебя, дружокъ, крѣпко цѣлую» (№ 10, безъ числа). Другія три письма относятся къ 1881 году. Въ первомъ, отъ 22-го мая, Салтыковъ проситъ сына обратить вниманіе на почеркъ. «Буквы у тебя выходятъ пузатенькія, съ ножками и рожками. Надо получше писать, потому что члену литературнаго фонда безъ этого стыдно глаза въ свѣтъ показать. Лиза гораздо пріятнѣе пишетъ, и надо ее догонять. Очень я радъ, голубчики, что вамъ хорошо живется. Гуляйте и пользуйтесь случаемъ, чтобы по-нѣмецки научиться. Научитесь—будете родителей за границей выручать, потому что родители ваши по-нѣмецки не мастера говорить. А мнѣ здѣсь очень скучно; цѣлые дни на своемъ мѣстѣ сижу и все молчу или кашляю». Въ двухъ другихъ письмахъ разсказывается дѣтямъ сказка объ удивительныхъ похожденіяхъ канареекъ—Бепки, поступившаго въ гимназію, Арапки, вышедшей замужъ за чижа, и т. п. Вся эта переписка не требуетъ комментаріевъ; слишкомъ ясны, сами по себѣ, симпатичныя черты, которыя она прибавляетъ къ образу Салтыкова. Его отношеніе къ семьѣ обрисовывается особенно рельефно въ предсмертномъ письмѣ къ сыну,—столь же рельефно, какъ и отношеніе его къ литературѣ. Вотъ полный текстъ этого письма, отрывки изъ котораго были напечатаны въ газетахъ вскорѣ послѣ смерти Салтыкова: «Милый Костя, такъ какъ я каждый день могу умереть, то вотъ тебѣ мой завѣтъ: люби мать и береги ее; внушай то же и сестрѣ. Помни, что ежели вы не сбережете ее, то вся семья распадется, потому что до совершеннолѣтія вашего еще очень-очень далеко. Старайся хорошо учиться

и будь безусловно честенъ въ жизни. Вотъ все. Любящій тебя отецъ.—Еще: паче всего люби родную литературу, и званіе литератора предпочитай всякому другому.

Еще въ октябрѣ 1887 г., вѣроятно, въ виду усилившихся припадковъ болѣзни, М. Е. Салтыковъ началъ обнаруживать въ первый разъ опасеніе близости смерти и приготовилъ письмо къ В. И. Лихачеву (на конвертѣ написано: «вскрыть по смерти»), «какъ къ будущему попечителю» — говорится въ письмѣ — его несовершеннолѣтнихъ дѣтей. Съ трогательною заботливостью покойный старался тогда предвидѣть все, что, по его мнѣнію, могло бы оградить его дѣтей, въ ихъ нѣжномъ возрастѣ, отъ всякихъ случайностей, и въ своихъ заботахъ онъ доходилъ до такихъ подробностей, что не забылъ упомянуть и о томъ, какъ устроить сыну-лицеисту его праздники-каникулы въ томъ случаѣ, если бы его семьѣ понадобилось лѣтомъ отправиться за границу. «Вообще, я умоляю,—пишетъ онъ въ заключеніе письма:— обратить вниманіе на мою семью». Возвращаясь опять къ заботамъ о сынѣ, М. Е. Салтыковъ прибавляетъ: «Я бы желалъ, чтобы онъ, по выходѣ изъ лицея, поступилъ на службу; будьте такъ великодушны, помогите ему»...

Въ послѣдній годъ жизни покойный, очевидно, подъ вліяніемъ все болѣе и болѣе усиливавшихся припадковъ, началъ дѣлать распоряженія, касавшіяся уже его самого лично; повидимому, онъ дѣлалъ сначала такія распоряженія на клочкахъ бумаги, попадавшихъ ему подъ руки, иногда перомъ, иногда карандашомъ, и складывалъ ихъ въ свой бюваръ на письменномъ столѣ, впослѣдствіи же соединилъ все это вмѣстѣ на отдѣльномъ листкѣ, болѣе тщательно переписанномъ, и озаглавилъ: «Предсмертныя желанія». Въ числѣ такихъ желаній на первомъ мѣстѣ стоитъ ограниченіе суммы расходовъ на его похороны, причемъ онъ не забылъ присоединить: «если не будетъ наличныхъ денегъ, то продать изъ бумагъ»; далѣе слѣдуетъ не только указаніе, въ какихъ именно газетахъ помѣстить объявленіе въ день его смерти, но и самое содержаніе объявленія: «Такого-то числа и мѣсяца, тамъ-то, скончался М. Е. Салтыковъ (Щедринъ); погребеніе тамъ-то». Ниже говорится: «Желаю быть погребеннымъ на Волковомъ кладбищѣ, если можно, около Тургенева; желаю, чтобъ тѣло мое было *непремѣнно* (подчеркнуто авторомъ) вскрыто; на памятникѣ поставить бюстъ Беренштама, бронзовый» (стоявшій въ квартирѣ покойнаго). Въ заключеніе своихъ «предсмертныхъ желаній» М. Е. Салтыковъ говоритъ: «Прошу продать мои сочиненія» — и тутъ же прибавляетъ, что С — овъ давалъ ему

50.000 рублей; «можно согласиться, — пишетъ Салтыковъ:— только чтобы немедленно же печатать: съ капиталомъ за сочиненія поступить, какъ сказано въ завѣщаніи».

Послѣдній пунктъ дастъ возможность нѣсколько болѣе точно опредѣлить время составленія самихъ «предсмертныхъ желаній»: это могло быть не позже декабря 1888 года, когда переговоры между покойнымъ и другими новыми покупателями еще продолжались, и только въ февралѣ 1889 г. были окончательно прерваны, несмотря на то, что, какъ говорятъ, ему предлагали увеличить цѣну до 60.000 рублей, но съ такими условіями, которыя онъ считалъ тяжелыми въ другихъ отношеніяхъ, такъ какъ дорожилъ болѣе литературными, чѣмъ финансовыми выгодами, а именно желали имѣть право издать его сочиненія съ такими сокращеніями, какія найдетъ издатель необходимыми. Это послѣднее обстоятельство и заставило, главнымъ образомъ, М. Е. Салтыкова взять на самого себя изданіе своихъ сочиненій, которое разошлось въ числѣ 6.500 экземпляровъ гораздо прежде, нежели успѣлъ завершиться годъ послѣ кончины автора.

К. К. Арсеньевъ.

ГОСПОДА ГОЛОВЛЕВЫ.

I.—Семейный судъ.

Однажды бурмистръ изъ дальней вотчины, Антонъ Васильевъ, окончивъ барынѣ Аринѣ Петровнѣ Головлевой докладъ о своей поѣздкѣ въ Москву для сбора оброковъ съ проживающихъ по паспортамъ крестьянъ и уже получивъ отъ нея разрѣшеніе идти въ людскую, вдругъ какъ-то таинственно замялся на мѣстѣ, словно бы за нимъ было еще какое-то слово и дѣло, о которомъ онъ и рѣшался, и не рѣшался доложить.

Арина Петровна, которая насквозь понимала не только малѣйшія тѣлодвиженія, но и тайные помыслы своихъ приближенныхъ людей, немедленно обезпокоилась.

— Что еще?—спросила она, смотря на бургомистра въ упоръ.

— Все-съ, — попробовалъ-было отвильнуть Антонъ Васильевъ.

— Не ври, еще есть! По глазамъ вижу!

Антонъ Васильевъ, однакожъ, не рѣшался отвѣтить и продолжалъ переступать съ ноги на ногу.

— Сказывай, какое еще дѣло за тобой есть? — рѣшительнымъ голосомъ прикрикнула на него Арина Петровна.— Говори! не виляй хвостомъ... сума переметная!

Арина Петровна любила давать прозвища людямъ, составлявшимъ ея административный и домашній персоналъ. Антона Васильева она прозвала переметной сумой не за то, чтобъ онъ въ самомъ дѣлѣ былъ когда-нибудь замѣченъ въ предательствѣ, а за то, что былъ слабъ на языкъ. Имѣніе, которымъ онъ управлялъ, имѣло своимъ центромъ значительное торговое село, въ которомъ было большое число трактировъ. Антонъ Васильевъ любилъ попить чайку въ трактирѣ, похвастаться всемогуществомъ своей барыни и во время этого хвастовства незамѣтнымъ образомъ про-

вирался. А такъ какъ у Арины Петровны постоянно были въ ходу различныя тяжбы, то частенько случалось, что болтливость довѣреннаго человѣка выводила наружу барынины военныя хитрости прежде, нежели онѣ могли быть приведены въ исполненіе.

— Есть, дѣйствительно...— пробормоталъ, наконецъ, Антонъ Васильевъ.

— Что? Что такое?—взволновалась Арина Петровна.

Какъ женщина властная и притомъ въ сильной степени одаренная творчествомъ, она въ одну минуту нарисовала себѣ картину всевозможныхъ противорѣчій и противодѣйствій и сразу такъ усвоила себѣ эту мысль, что даже побѣднѣла и вскочила съ кресла.

— Степанъ Владимірычъ домъ-то въ Москвѣ продали...— доложилъ бургомистръ съ разстановкой.

— Ну?

— Продали-съ.

— Почему? Какъ? Не мни, сказывай!

— За долги... такъ нужно полагать! Извѣстно, за хорошія дѣла продавать не станутъ.

— Стало-быть, полиція продала? Судъ?

— Стало-быть, что такъ. Сказываютъ, въ восьми тысячахъ съ аукціона домъ-то пошелъ.

Арина Петровна грузно опустилась въ кресло и уставилась глазами въ окно. Въ первыя минуты извѣстіе это, повидимому, отняло у нея сознаніе. Если-бъ ей сказали, что Степанъ Владимірычъ кого-нибудь убилъ, что головлевскіе мужики взбунтовались и отказываются идти на барщину, или что крѣпостное право рушилось—и тутъ она не была бы до такой степени поражена. Губы ея шевелились, глаза смотрѣли куда-то вдаль, но ничего не видѣли. Она не примѣтила даже, что въ это самое время дѣвчонка Дуняшка ринулась-было съ разбѣга мимо окна, закрывая что-то передникомъ, и вдругъ, завидѣвъ барыню, на мгновеніе закружилась на одномъ мѣстѣ и тихимъ шагомъ поворотила назадъ (въ другое время этотъ поступокъ вызвалъ бы цѣлое слѣдствіе). Наконецъ, она, однако, опамятовалась и произнесла:

— Какова потѣха!

Послѣ чего опять послѣдовало нѣсколько минутъ гробового молчанія.

— Такъ ты говоришь, полиція за восемь тысячъ домъ-то продала?—переспросила она.

— Такъ точно.

— Это—родительское-то благословеніе!.. Хорошъ... мерзавецъ!

Арина Петровна чувствовала, что въ виду полученнаго извѣстія ей необходимо принять немедленное рѣшеніе, но ничего придумать не могла, потому что мысли ея путались въ совершенно противоположныхъ направленіяхъ. Съ одной стороны думалось: «Полиція продала! Вѣдь не въ одну же минуту она продала! Чай, опись была, оцѣнка, вызовы къ торгамъ? Продала за восемь тысячъ, тогда какъ она за этотъ самый домъ, два года тому назадъ, собственными руками двѣнадцать тысячъ, какъ одну копейку, выложила! Кабы знать да вѣдать, можно бы и самой за восемь-то тысячъ съ аукціона пріобрѣсти!» Съ другой стороны приходило на мысль и то: «Полиція за восемь тысячъ продала! Это—родительское-то благословеніе! Мерзавецъ! За восемь тысячъ родительское благословеніе спустилъ!»

— Отъ кого слышалъ?—спросила, наконецъ, она, окончательно остановившись на мысли, что домъ уже проданъ и что, слѣдовательно, надежда пріобрѣсти его за дешевую цѣну утрачена для нея навсегда.

— Иванъ Михайловъ, трактирщикъ, сказывалъ.

— А почему онъ во-время меня не предупредилъ?

— Поопàсился, стало-быть.

— Поопàсился! Вотъ я ему покажу «поопàсился»! Вызвать его изъ Москвы, и какъ явится—сейчасъ же въ рекрутское присутствіе и лобъ забрить! «Поопàсился»!

Хотя крѣпостное право было уже на исходѣ, но еще существовало. Не разъ случалось Антону Васильеву выслушивать отъ барыни самыя своеобразныя приказанія, но настоящее рѣшеніе было до того неожиданно, что даже и ему сдѣлалось не совсѣмъ ловко. Прозвище «сумà переметная» невольно ему при этомъ вспомнилось. Иванъ Михайловъ былъ мужикъ обстоятельный, о которомъ и въ голову не могло придти, чтобъ надъ нимъ могла стрястись какая-нибудь бѣда. Сверхъ того, это былъ его пріятель и кумъ—и вдругъ его въ солдаты, ради того только, что онъ, Антонъ Васильевъ, какъ сумà переметная, не сумѣлъ языкъ за зубами попридержать.

— Простите... Ивана-то Михайлыча! — заступился-было онъ.

— Ступай... потатчикъ! — прикрикнула на него Арина

Петровна, но такимъ голосомъ, что онъ и не подумалъ упорствовать въ дальнѣйшей защитѣ Ивана Михайлова.

Но прежде нежели продолжать мой разсказъ, я попрошу читателя поближе познакомиться съ Ариной Петровной Головлевой и семейнымъ ея положеніемъ.

Арина Петровна—женщина лѣтъ шестидесяти, но еще бодрая и привыкшая жить на всей своей волѣ. Держитъ онъ себя грозно; единолично и безконтрольно управляетъ обширнымъ Головлевскимъ имѣніемъ, живетъ уединенно, расчетливо, почти скупо, съ сосѣдями дружбы не водитъ, мѣстнымъ властямъ доброхотствуетъ, а отъ дѣтей требуетъ чтобъ они были въ такомъ у нея послушаніи, чтобы при каждомъ поступкѣ спрашивали себя: что-то объ этомъ маменька скажетъ? Вообще имѣетъ характеръ самостоятельный, непреклонный и отчасти строптивый, чему, впрочемъ, не мало способствуетъ и то, что во всемъ Головлевскомъ семействѣ нѣтъ ни одного человѣка, со стороны котораго она могла бы встрѣтить себѣ противодѣйствіе. Мужъ у нея—человѣкъ легкомысленный и пьяненькій (Арина Петровна охотно говоритъ о себѣ, что она — ни вдова, ни мужняя жена); дѣти частью служатъ въ Петербургѣ, частью пошли въ отца и, въ качествѣ «постылыхъ», не допускаются ни до какихъ семейныхъ дѣлъ. При этихъ условіяхъ Арина Петровна рано почувствовала себя одинокою, такъ что, говоря по правдѣ, даже отъ семейной жизни совсѣмъ отвыкла, хотя слово «семья» не сходитъ съ ея языка, и, по наружности, всѣми ея дѣйствіями исключительно руководятъ непрестанныя заботы объ устройствѣ семейныхъ дѣлъ.

Глава семейства, Владиміръ Михайлычъ Головлевъ, еще смолоду былъ извѣстенъ своимъ безалабернымъ и озорнымъ характеромъ, и для Арины Петровны, всегда отличавшейся серьезностью и дѣловитостью, никогда ничего симпатичнаго не представлялъ. Онъ велъ жизнь праздную и бездѣльную, чаще всего запирался у себя въ кабинетѣ, подражалъ пѣнію скворцовъ, пѣтуховъ и т. д. и занимался сочиненіемъ такъ-называемыхъ «вольныхъ стиховъ». Въ минуты откровенныхъ изліяній онъ хвастался тѣмъ, что былъ другомъ Баркова и что послѣдній, будто бы, даже благословилъ его на одрѣ смерти. Арина Петровна сразу не залюбила стиховъ своего мужа, называла ихъ паскудствомъ и паясничаньемъ, а такъ какъ Владиміръ Михай-

лычъ собственно для того и женился, чтобы имѣть всегда подъ рукой слушателя для своихъ стиховъ, то понятно, что размолвки не заставили долго ждать себя. Постепенно разрастаясь и ожесточаясь, размолвки эти кончились со стороны жены полнымъ и презрительнымъ равнодушіемъ къ мужу-шуту, со стороны мужа — искреннею ненавистью къ женѣ, ненавистью, въ которую, однакожъ, входила значительная доля трусости. Мужъ называлъ жену «вѣдьмою» и «чортомъ», жена называла мужа «вѣтряною мельницей» и «безструнной балалайкой». Находясь въ такихъ отношеніяхъ, они пользовались совмѣстною жизнью въ продолженіе слишкомъ сорока лѣтъ, и никогда ни тому, ни другой не приходило въ голову, чтобы подобная жизнь заключала въ себѣ что-либо противоестественное. Съ теченіемъ времени озорливость Владиміра Михайлыча не уменьшилась, но даже пріобрѣла еще болѣе злостный характеръ. Независимо отъ стихотворныхъ упражненій въ Барковскомъ духѣ, онъ началъ попивать и охотно подкарауливалъ въ коридорѣ горничныхъ дѣвокъ. Сначала Арина Петровна отнеслась къ этому новому занятію своего мужа брезгливо и даже съ волненіемъ (въ которомъ, однакожъ, больше играла роль привычка властности, нежели прямая ревность), но потомъ махнула рукой и наблюдала только за тѣмъ, чтобъ дѣвки-поганки не носили барину ерофеича. Съ тѣхъ поръ, сказавши себѣ разъ навсегда, что мужъ ей не товарищъ, она все вниманіе свое устремила исключительно на одинъ предметъ:—на округленіе имѣнія, и дѣйствительно, въ теченіе сорокалѣтней супружеской жизни, успѣла удесятерить свое состояніе. Съ изумительнымъ терпѣніемъ и зоркостью подкарауливала она дальнія и ближнія деревни, разузнавала по секрету объ отношеніяхъ ихъ владѣльцевъ къ опекунскому совѣту и всегда, какъ снѣгъ на голову, являлась на аукціонахъ. Въ круговоротѣ этой фантастической погони за благопріобрѣтеніемъ Владиміръ Михайлычъ все дальше и дальше уходилъ на задній планъ, а наконецъ и совсѣмъ одичалъ. Въ минуту, когда начинается этотъ разсказъ, это былъ уже дряхлый старикъ, который почти не оставлялъ постели, а ежели изрѣдка и выходилъ изъ спальной, то единственно для того, чтобъ просунуть голову въ полурастворенную дверь жениной комнаты, крикнуть: «чортъ!»— и опять скрыться.

Немного болѣе счастлива была Арина Петровна и въ дѣтяхъ. У нея была слишкомъ независимая, такъ сказать,

холостая натура, чтобы она могла видѣть въ дѣтяхъ что-нибудь, кромѣ лишней обузы. Она только тогда дышала свободно, когда была одна со своими счетами и хозяйственными предпріятіями, когда никто не мѣшалъ ея дѣловымъ разговорамъ съ бурмистрами, старостами, ключницами и т. д. Въ ея глазахъ дѣти были одною изъ тѣхъ фаталистическихъ жизненныхъ обстановокъ, противъ совокупности которыхъ она не считала себя въ правѣ протестовать, но которыя, тѣмъ не менѣе, не затрагивали ни одной струны ея внутренняго существа, всецѣло отдавшагося безчисленнымъ подробностямъ жизнестроительства. Дѣтей было четверо: три сына и дочь. О старшемъ сынѣ и о дочери она даже говорить не любила; къ младшему сыну была болѣе или менѣе равнодушна и только средняго, Порфишу, не то чтобъ любила, а словно побаивалась.

Степанъ Владимірычъ, старшій сынъ, о которомъ преимущественно идетъ рѣчь въ настоящемъ разсказѣ, слылъ въ семействѣ подъ именемъ Степки-балбеса и Степки-озорника. Онъ очень рано попалъ въ число «постылыхъ» и съ дѣтскихъ лѣтъ игралъ въ домѣ роль не то паріи, не то шута. Къ несчастью, это былъ даровитый малый, слишкомъ охотно и быстро воспринимавшій впечатлѣнія, которыя вырабатывала окружающая среда. Отъ отца онъ перенялъ неистощимую проказливость, отъ матери—способность быстро угадывать слабыя стороны людей. Благодаря первому качеству, онъ скоро сдѣлался любимцемъ отца, что̀ еще больше усилило нелюбовь къ нему матери. Часто, во время отлучекъ Арины Петровны по хозяйству, отецъ и подростокъ-сынъ удалялись въ кабинетъ, украшенный портретомъ Баркова, читали стихи вольнаго содержанія и судачили, при чемъ въ особенности доставалось «вѣдьмѣ», т. е. Аринѣ Петровнѣ. Но «вѣдьма» словно чутьемъ угадывала ихъ занятія; неслышно подъѣзжала она къ крыльцу, подходила на цыпочкахъ къ кабинетной двери и подслушивала веселыя рѣчи. Затѣмъ слѣдовало немедленное и жестокое избіеніе Степки-балбеса. Но Степка не унимался; онъ былъ нечувствителенъ ни къ побоямъ, ни къ увѣщаніямъ и черезъ полчаса опять принимался куралесить. То косынку у дѣвки Анютки изрѣжетъ въ куски, то сонной Васюткѣ мухъ въ ротъ напуститъ, то заберется на кухню и стянетъ тамъ пирогъ (Арина Петровна, изъ экономіи, держала дѣтей впроголодь), который, впрочемъ, тутъ же раздѣлитъ съ братьями.

— Убить тебя надо! — постоянно твердила ему Арина Петровна.—Убью и не отвѣчу! И царь меня не накажетъ за это!

Такое постоянное приниженіе, встрѣчая почву мягкую, легко забывающую, не прошло даромъ. Оно имѣло въ результатѣ не озлобленіе, не протестъ, а образовало характеръ рабскій, повадливый до буфонства, не знающій чувства мѣры и лишенный всякой предусмотрительности. Такія личности охотно поддаются всякому вліянію и могутъ сдѣлаться чѣмъ угодно: пропойцами, попрошайками, шутами и даже преступниками.

Двадцати лѣтъ Степанъ Головлевъ кончилъ курсъ въ одной изъ московскихъ гимназій и поступилъ въ университетъ. Но студенчество его было горькое. Во-первыхъ, мать давала ему денегъ ровно столько, сколько требовалось, чтобъ не пропасть съ голода; во-вторыхъ, въ немъ не оказывалось ни малѣйшаго позыва къ труду, а взамѣнъ того гнѣздилась проклятая талантливость, выражавшаяся преимущественно въ способности къ передразниванью; въ-третьихъ, онъ постоянно страдалъ потребностью общества и ни на минуту не могъ оставаться наединѣ съ самимъ собою. Поэтому онъ остановился на легкой роли приживальщика и pique-assiete'a и, благодаря своей податливости на всякую штуку, скоро сдѣлался фаворитомъ богатенькихъ студентовъ. Но богатенькіе, допуская его въ свою среду, все-таки разумѣли, что онъ имъ не пара, что онъ только шутъ, и въ этомъ именно смыслѣ установилась его репутація. Ставши однажды на эту почву, онъ естественно тяготѣлъ все ниже и ниже, такъ что къ концу четвертаго курса вышутился окончательно. Тѣмъ не менѣе, благодаря способности быстро схватывать и запоминать слышанное, онъ выдержалъ экзаменъ съ успѣхомъ и получилъ степень кандидата.

Когда онъ явился къ матери съ дипломомъ, Арина Петровна только пожала плечами и промолвила: «дивлюсь!» Затѣмъ, продержавъ съ мѣсяцъ въ деревнѣ, отправила его въ Петербургъ, назначивъ на прожитокъ по сту рублей ассигнаціями въ мѣсяцъ. Начались скитанія по департаментамъ и канцеляріямъ. Протекцій у него не было, охоты пробить дорогу личнымъ трудомъ—никакой. Праздная мысль молодого человѣка до того отвыкла сосредотачиваться, что даже бюрократическія испытанія, въ родѣ докладныхъ записокъ и экстрактовъ изъ дѣлъ, оказывались для нея непосильными. Четыре года бился Головлевъ въ Петербургѣ

и, наконецъ, долженъ былъ сказать себѣ, что надежда устроиться когда-нибудь выше канцелярскаго чиновника для него не существуетъ. Въ отвѣтъ на его сѣтованія Арина Петровна написала грозное письмо, начинавшееся словами: «я зараньше въ семъ была увѣрена» и кончавшееся приказаніемъ явиться въ Москву. Тамъ, въ совѣтѣ излюбленныхъ крестьянъ, было рѣшено: опредѣлить Степку-балбеса въ надворный судъ, поручивъ его надзору подъячаго, который изстари ходатайствовалъ по Головлевскимъ дѣламъ. Что дѣлалъ и какъ велъ себя Степанъ Владимірычъ въ надворномъ судѣ—неизвѣстно, но черезъ три года его ужъ тамъ не было. Тогда Арина Петровна рѣшилась на крайнюю мѣру: она «выбросила сыну кусокъ», который, впрочемъ, въ то же время долженъ былъ изображать собою и «родительское благословеніе». Кусокъ этотъ состоялъ изъ дома въ Москвѣ, за который Арина Петровна заплатила двѣнадцать тысячъ рублей.

Въ первый разъ въ жизни Степанъ Головлевъ вздохнулъ свободно. Домъ обѣщалъ давать тысячу рублей серебромъ дохода, и сравнительно съ прежнимъ эта сумма представлялась ему чѣмъ-то въ родѣ заправскаго благосостоянія. Онъ съ увлеченіемъ поцѣловалъ у маменьки ручку («то-то же, смотри у меня, балбесъ! не жди больше ничего!»—молвила при этомъ Арина Петровна) и обѣщалъ оправдать оказанную ему милость. Ну—увы!—онъ такъ мало привыкъ обращаться съ деньгами, такъ нелѣпо понималъ размѣры дѣйствительной жизни, что сказочной годовой тысячи рублей достало очень не надолго. Въ какія-нибудь четыре-пять лѣтъ онъ прогорѣлъ окончательно и былъ радъ-радёхонекъ поступить, въ качествѣ замѣстителя, въ ополченіе, которое въ это время формировалось. Ополченіе, впрочемъ, дошло только до Харькова, какъ былъ заключенъ миръ, и Головлевъ опять вернулся въ Москву. Его домъ былъ уже въ это время проданъ. На немъ былъ ополченскій мундиръ, довольно, однакожъ, потертый, на ногахъ—сапоги на выпускъ и въ карманѣ—сто рублей денегъ. Съ этимъ капиталомъ онъ поднялся-было на спекуляцію, то-есть сталъ играть въ карты, и невдолгѣ проигралъ все. Тогда онъ принялся ходить по зажиточнымъ крестьянамъ матери, жившимъ въ Москвѣ своимъ хозяйствомъ; у кого обѣдалъ, у кого выпрашивалъ четверку табаку, у кого по мелочи занималъ. Но, наконецъ, наступила минута, когда онъ, такъ сказать, очутился лицомъ къ лицу съ глухой стѣной. Ему

было уже подъ сорокъ, и онъ вынужденъ былъ сознаться, что дальнѣйшее бродячее существованіе для него не по силамъ. Оставался одинъ путь—въ Головлево.

Послѣ Степана Владимірыча, старшимъ членомъ Головлевскаго семейства была дочь, Анна Владиміровна, о которой Арина Петровна тоже не любила говорить.

Дѣло въ томъ, что на Аннушку Арина Петровна имѣла виды, а Аннушка не только не оправдала ея надеждъ, но вмѣсто того на весь уѣздъ учинила скандалъ. Когда дочь вышла изъ института, Арина Петровна поселила ее въ деревнѣ, въ чаяніи сдѣлать изъ нея дарового домашняго секретаря и бухгалтера, а вмѣсто того Аннушка, въ одну прекрасную ночь, бѣжала изъ Головлева съ корнетомъ Улановымъ и повѣнчалась съ нимъ.

— Такъ, безъ родительскаго благословенія, какъ собаки, и повѣнчались!—сѣтовала по этому случаю Арина Петровна.—Да хорошо еще, что кругомъ налоя-то муженёкъ обвелъ! Другой бы попользовался—да и былъ таковъ! Ищи его потомъ да свищи!

И съ дочерью Арина Петровна поступила столь же рѣшительно, какъ и съ постылымъ сыномъ: взяла и «выбросила ей кусокъ». Она отдѣлила ей капиталъ въ пять тысячъ и деревнюшку въ тридцать душъ съ упалою усадьбой, въ которой изо всѣхъ оконъ дуло и не было ни одной живой половины. Года черезъ два молодые капиталъ прожили и корнетъ неизвѣстно куда бѣжалъ, оставивъ Анну Владиміровну съ двумя дочерьми-близнецами: Аннинькой и Любинькой. Затѣмъ и сама Анна Владиміровна, черезъ три мѣсяца, скончалась, и Арина Петровна волей-неволей должна была пріютить круглыхъ сиротъ у себя,—что она и исполнила, помѣстивъ малютокъ во флигелѣ и приставивъ къ нимъ кривую старуху Палашку.

— У Бога милостей много,—говорила она при этомъ:—сиротки хлѣба не Богъ знаетъ что съѣдятъ, а мнѣ на старости лѣтъ—утѣшеніе! Одну дочку Богъ взялъ—двухъ далъ!

И въ то же время писала къ сыну Порфирію Владимірычу: «какъ жила твоя сестрица безпутно, такъ и умерла, покинувъ мнѣ на шею своихъ двухъ щенковъ»...

Вообще, какъ ни циничнымъ можетъ показаться это замѣчаніе, но справедливость требуетъ сознаться, что оба эти случая, по поводу которыхъ произошло «выбрасываніе кусковъ», не только не произвели ущерба въ финансахъ Арины Петровны, но косвеннымъ образомъ даже способ-

ствовали округленію Головлевскаго имѣнія, сокращая число пайщиковъ въ немъ. Ибо Арина Петровна была женщина строгихъ правилъ и, разъ «выбросивши кусокъ», уже считала покончеными всѣ свои обязанности относительно постылыхъ дѣтей. Даже при мысли о сиротахъ-внучкахъ ей никогда не представлялось, что со временемъ придется что-нибудь удѣлить имъ. Она старалась только какъ можно больше выжать изъ маленькаго имѣнія, отдѣленнаго покойной Аннѣ Владиміровнѣ, и откладывать выжатое въ опекунскій совѣтъ, при чемъ говорила:

— Вотъ и для сиротъ денежки прикапливаю, а что онѣ прокормленіемъ да уходомъ стоятъ—ничего ужъ съ нихъ не беру! За мою хлѣбъ-соль, видно, Богъ мнѣ заплатитъ!

Наконецъ, младшія дѣти, Порфирій и Павелъ Владимірычи, находились на службѣ въ Петербургѣ: первый—по гражданской части, второй—по военной. Порфирій былъ женатъ. Павелъ холостой.

Порфирій Владимірычъ извѣстенъ былъ въ семействѣ подъ тремя именами: Іудушки, кровопивушки и откровеннаго мальчика, каковыя прозвища еще въ дѣтствѣ были ему даны Степкой-балбесомъ. Съ младенческихъ лѣтъ любилъ онъ приласкаться къ милому другу маменькѣ, украдкой поцѣловалъ ее въ плечико, а иногда и слегка понаушничать. Неслышно отворитъ, бывало, дверь маменькиной комнаты, неслышно прокрадется въ уголокъ, сядетъ и, словно очарованный, не сводитъ глазъ съ маменьки, покуда она пишетъ или возится со счетами. Но Арина Петровна уже и тогда съ какою-то подозрительностью относилась къ этимъ сыновнимъ заискиваньямъ. И тогда этотъ пристально устремленный на нее взглядъ казался ей загадочнымъ, и тогда она не могла опредѣлить себѣ, что именно онъ источаетъ изъ себя: ядъ или сыновнюю почтительность.

— И сама понять не могу, что у него за глаза такіе,— разсуждала она иногда сама съ собою: — взглянетъ — ну, словно вотъ петлю закидываетъ. Такъ вотъ и поливаетъ ядомъ, такъ и подманиваетъ!

И припомнились ей при этомъ многозначительныя подробности того времени, когда она еще была «тяжела» Порфишей. Жилъ у нихъ тогда въ домѣ нѣкоторый благочестивый и прозорливый старикъ, котораго называли Порфишей-блаженненькимъ и къ которому она всегда обращалась, когда желала что-либо провидѣть въ будущемъ. И вотъ этотъ-то самый старецъ, когда она спросила его, скоро ли

послѣдуютъ роды и кого-то Богъ дастъ ей, сына или дочь—ничего прямо ей не отвѣтилъ, но три раза прокричалъ пѣтухомъ и вслѣдъ затѣмъ пробормоталъ:

— Пѣтушокъ, пѣтушокъ, востёръ ноготокъ! Пѣтухъ кричитъ, насѣдкѣ грозитъ; насѣдка — кудахъ-тахъ-тахъ, да поздно будетъ!

И только. Но черезъ три дня (вотъ оно — три раза-то прокричалъ!) она родила сына (вотъ оно—пѣтушокъ-пѣтушокъ!), котораго и назвали Порфиріемъ, въ честь старца-провидца...

Первая половина пророчества исполнилась; но что могли означать таинственныя слова: «насѣдка—кудахъ-тахъ-тахъ, да поздно будетъ?»—вотъ объ этомъ-то и задумывалась Арина Петровна, взглядывая изъ-подъ руки на Порфишу, покуда тотъ сидѣлъ въ своемъ углу и смотрѣлъ на нее своимъ загадочнымъ взглядомъ.

А Порфиша продолжалъ себѣ сидѣть кротко и безшумно и все смотрѣлъ на нее, смотрѣлъ до того пристально, что широко раскрытые и неподвижные глаза его подергивались слезою. Онъ какъ бы провидѣлъ сомнѣнія, шевелившіяся въ душѣ матери, и велъ себя съ такимъ расчетомъ, что самая придирчивая подозрительность—и та должна признать себя безоружною передъ его кротостью. Даже рискуя надоѣсть матери, онъ постоянно вертѣлся у нея на глазахъ, словно говорилъ: «смотри на меня! я ничего не утаиваю! я весь послушливость и преданность, и при томъ послушливость не токмо за страхъ, но и за совѣсть». И какъ ни сильно говорила въ ней увѣренность, что Порфишка-подлецъ только хвостомъ ябезитъ, а глазами все-таки петлю накидываетъ, но въ виду такой беззавѣтности и ея сердце не выдерживало. И невольно рука ея искала лучшаго куска на блюдѣ, чтобъ передать его ласковому сыну, несмотря на то, что одинъ видъ этого сына поднималъ въ ея сердцѣ смутную тревогу чего-то загадочнаго, недобраго.

Совершенную противоположность съ Порфиріемъ Владимірычемъ представлялъ братъ его, Павелъ Владимірычъ. Это было полнѣйшее олицетвореніе человѣка, лишеннаго какихъ бы то ни было поступковъ. Еще мальчикомъ онъ не выказывалъ ни малѣйшей склонности ни къ ученью, ни къ играмъ, ни къ общительности, но любилъ жить особнякомъ, въ отчужденіи отъ людей. Забьется, бывало, въ уголъ, надуется и начнетъ фантазировать. Представляется ему, что онъ голокна наѣлся, что отъ этого ноги у него

топенькія, и онъ не учится. Или—что онъ не Павелъ-дворянскій сынъ, а Давыдка-пастухъ, что на лбу у него выросла болона, какъ у Давыдки, что онъ арапникомъ щелкаетъ, и не учится. Поглядитъ-поглядитъ, бывало, на него Арина Петровна и такъ и раскипятится ея материнское сердце.

— Ты что, какъ мышь на крупу, надулся!—не утерпитъ, прикрикнетъ она на него:—или ужъ съ этихъ поръ въ тебѣ ядъ-то дѣйствуетъ! Нѣтъ того, чтобы къ матери подойти: маменька, молъ, приласкайте меня, душенька!

Павлуша покидалъ свой уголокъ и медленными шагами, словно его въ спину толкали, приближался къ матери.

— Маменька, молъ,—повторялъ онъ какимъ-то неестественнымъ для ребенка басомъ:—приласкайте меня, душенька!

— Пошелъ съ моихъ глазъ... тихоня! Ты думаешь, что забьешься въ уголъ, такъ я и не понимаю—насквозь тебя понимаю, голубчикъ! Всѣ твои планы-прожекты какъ на ладони вижу!

И Павелъ тѣмъ же медленнымъ шагомъ отправлялся назадъ и забивался опять въ свой уголъ.

Шли годы, и изъ Павла Владимірыча постепенно образовывалась та апатичная и загадочно-угрюмая личность, изъ которой, въ конечномъ результатѣ, получается человѣкъ, лишенный поступковъ. Можетъ-быть, онъ былъ добръ, но никому добра не сдѣлалъ; можетъ-быть, былъ и неглупъ, но во всю жизнь ни одного умнаго поступка не совершилъ. Онъ былъ гостепріимецъ, но никто не льстился на его гостепріимство; онъ охотно тратилъ деньги, но ни полезнаго, ни пріятнаго результата отъ этихъ тратъ ни для кого никогда не происходило; онъ никого никогда не обидѣлъ, но никто этого не вмѣнялъ ему въ достоинство; онъ былъ честенъ, но не слыхали, чтобы кто-нибудь сказалъ: «какъ честно поступилъ въ такомъ-то случаѣ Павелъ Головлевъ!» Въ довершеніе всего, онъ нерѣдко огрызался противъ матери и въ то же время боялся ея, какъ огня. Повторяю: это былъ человѣкъ угрюмый, но за его угрюмостью скрывалось отсутствіе поступковъ- и ничего больше.

Въ зрѣломъ возрастѣ различіе характеровъ обоихъ братьевъ всего рѣзче высказалось въ ихъ отношеніяхъ къ матери. Іудушку каждую недѣлю аккуратно слалъ къ маменькѣ обширное посланіе, въ которомъ пространно увѣдомлялъ ее о всѣхъ подробностяхъ петербургской жизни

и въ самыхъ изысканныхъ выраженіяхъ увѣрялъ въ безкорыстной сыновней преданности. Павелъ писалъ рѣдко и кратко, а иногда даже загадочно, словно клещами вытаскивалъ изъ себя каждое слово. «Деньги столько-то и на такой-то срокъ, безцѣнный другъ маменька, отъ довѣреннаго вашего, крестьянина Ерофеева, получилъ, — увѣдомлялъ, напримѣръ, Порфирій Владимірычъ: — а за посылку оныхъ, для употребленія на мое содержаніе, согласно вашему, милая маменька, соизволенію, приношу чувствительнѣйшую благодарность и съ нелицемѣрною сыновнею преданностью цѣлую ваши ручки. Объ одномъ только грущу и сомнѣніемъ мучусь: не слишкомъ ли утруждаете вы драгоцѣнное ваше здоровье непрерывными заботами объ удовлетвореніи не только нуждъ, но и прихотей нашихъ?! Не знаю, какъ братъ, а я»... и т. д. А Павелъ по тому же поводу выражался. «Деньги столько-то на такой-то срокъ, дражайшая родительница, получилъ, и, по моему расчету, слѣдуетъ мнѣ еще шесть съ полтиной дополучить, въ чемъ и прошу васъ меня почтеннѣйше извинить». Когда Арина Петровна посылала дѣтямъ выговоры за мотовство (это случалось нерѣдко, хотя серьезныхъ поводовъ и не было), то Порфиша всегда съ смиреніемъ покорялся этимъ замѣчаніямъ и писалъ: «Знаю, милый дружокъ маменька, что вы несете непосильныя тяготы ради насъ, недостойныхъ дѣтей вашихъ; знаю, что мы очень часто своимъ поведеніемъ не оправдываемъ вашихъ материнскихъ объ насъ попеченій, и, что всего хуже, по свойственному человѣкамъ заблужденію, даже забываемъ о семъ, въ чемъ и приношу вамъ искреннее сыновнее извиненіе, надѣясь со временемъ отъ порока сего избавиться и быть, въ употребленіи присылаемыхъ вами, безцѣнный другъ маменька, на содержаніе и прочіе расходы денегъ, осмотрительнымъ». А Павелъ отвѣчалъ такъ: «Дражайшая родительница! хотя вы долговъ за меня еще не платили, но выговоръ въ названіи меня мотомъ безпрепятственно принимаю, въ чемъ и прошу чувствительнѣйше принять увѣреніе». Даже на письмо Арины Петровны съ извѣщеніемъ о смерти сестрицы Анны Владиміровны оба брата отозвались различно. Порфирій Владимірычъ писалъ: «Извѣстіе о кончинѣ любезной сестрицы и доброй подруги дѣтства Анны Владиміровны поразило мое сердце скорбію, каковая скорбь еще болѣе усилилась при мысли, что вамъ, милый другъ маменька, посылается еще новый крестъ, въ лицѣ

сиротъ-малютокъ. Ужели еще не достаточно, что вы, общая наша благодѣтельница, во всемъ себѣ отказываете и, не щадя своего здоровья, всѣ силы къ тому направляете дабы обезпечить свое семейство не только нужнымъ, но излишнимъ? Право, хоть и грѣшно, но иногда невольно поропщешь. И единственное, по моему мнѣнію, для васъ, родная моя, въ настоящемъ случаѣ убѣжище—это сколь можно чаще припоминать, что̀ вытерпѣлъ Самъ Христосъ». Павелъ же писалъ: «Извѣстіе о кончинѣ сестры, погибшей жертвою, получилъ. Впрочемъ, надѣюсь, что Всевышній успокоитъ ее въ Своихъ сѣняхъ, хотя сіе и неизвѣстно».

Перечитывала Арина Петровна эти письма сыновей и все старалась угадать, который изъ нихъ ей злодѣемъ будетъ. Прочтетъ письмо Порфирія Владимірыча, и кажется, что вотъ онъ-то и есть самый злодѣй.

— Ишь вѣдь какъ пишетъ! ишь какъ языкомъ-то вертитъ!—восклицала она.—Не даромъ Степка-балбесъ Іудушкой его прозвалъ! Ни одного-то вѣдь слова вѣрнаго нѣтъ! Все-то онъ лжетъ: и «милый дружокъ маменька», и про тягости-то мои, и про крестъ-то мой... ничего онъ этого не чувствуетъ!

Потомъ примется за письмо Павла Владимірыча, и опять чудится, что вотъ онъ-то и есть будущій злодѣй.

— Глупъ-глупъ, а смотри, какъ исподтишка мать козыряетъ! «Въ чемъ и прошу чувствительнѣйше принять увѣреніе...» Милости просимъ! Вотъ я тебѣ покажу, что̀ значитъ «чувствительнѣйше принимать увѣреніе»! Выброшу тебѣ кусокъ, какъ Степкѣ-балбесу — вотъ ты и узнаешь тогда, какъ я понимаю твои «увѣренія»!

И въ заключеніе изъ ея материнской груди вырывался поистинѣ трагическій вопль:

— И для кого я всю эту прорву коплю! Для кого я припасаю! Ночей не досыпаю, куска не доѣдаю... Для кого?!

Таково было семейное положеніе Головлевыхъ въ ту минуту, когда бурмистръ Антонъ Васильевъ доложилъ Аринѣ Петровнѣ о промотаніи Степкой-балбесомъ «выброшеннаго куска», который, въ виду дешевой его продажи, получалъ уже сугубое значеніе «родительскаго благословенія».

Арина Петровна сидѣла въ спальной и не могла придти въ себя. Что-то такое шевелилось у нея внутри, въ чемъ она не могла отдать себѣ яснаго отчета. Участвовала ли тутъ какимъ-то чудомъ явившаяся жалость къ постылому,

но все-таки сыну, или говорило одно нагое чувство оскорбленнаго самовластія—этого не могъ бы опредѣлить самый опытный психологъ: до такой степени перепутывались и быстро смѣнялись въ ней всѣ чувства и ощущенія. Наконецъ, изъ общей массы накопившихся представленій яснѣе другихъ выдѣлилось опасеніе, что «постылый» опять сядетъ ей на шею.

«Анютка щенковъ своихъ навязала, да вотъ еще балбесъ»...—разсчитывала она мысленно.

Долго просидѣла она такимъ образомъ, не молвивъ ни слова и смотря въ окно въ одну точку. Принесли обѣдъ, до котораго она почти не коснулась; пришли сказать: «барину водки пожалуйте!»—она, не глядя, швырнула ключъ отъ кладовой. Послѣ обѣда она ушла въ образную, велѣла засвѣтить всѣ лампадки и затворилась, предварительно заказавъ истопить баню. Все это были признаки, которые несомнѣнно доказывали, что барыня «гнѣвается», и потому въ домѣ все вдругъ смолкло, словно умерло. Горничныя ходили на цыпочкахъ; ключница Акулина совалась, какъ помѣшанная: назначено было послѣ обѣда варенье варить, и вотъ пришло время, ягоды вычищены, готовы, а отъ барыни ни приказу, ни отказу нѣтъ; садовникъ Матвѣй пришелъ-было съ вопросомъ, не пора ли персики обирать, но въ дѣвичьей такъ на него цыкнули, что онъ немедленно стретировался.

Помолившись Богу и вымывшись въ банькѣ, Арина Петровна почувствовала себя нѣсколько умиротвореннею и вновь потребовала Антона Васильева къ отвѣту.

— Ну, а что же балбесъ дѣлаетъ?—спросила она.

— Москва велика—и въ годъ ее всю не исходить!

— Да вѣдь, чай, пить-ѣсть надо?

— Около своихъ мужичковъ прокармливаются. У кого пообѣдаютъ, у кого на табакъ гривенничекъ выпросятъ.

— А кто позволилъ давать?

— Помилуйте, сударыня! Мужички развѣ обижаются! Чужимъ неимущимъ подаютъ, а ужъ своимъ господамъ отказать!

— Вотъ я имъ ужо... подавальщикамъ! Сошлю балбеса къ тебѣ въ вотчину и содержите его всѣмъ обществомъ на свой счетъ!

— Вся ваша власть, сударыня.

— Что? что ты такое сказалъ?

— Вся, молъ, ваша власть, сударыня. Прикажете, такъ и прокормимъ!

— То-то... прокормимъ! Ты у меня говори, да не заговаривайся!

Молчаніе. Но Антонъ Васильевъ не даромъ получилъ отъ барыни прозвище переметной сумы. Онъ не вытерпливаетъ и вновь начинаетъ топтаться на мѣстѣ, сгорая желаніемъ нѣчто доложить.

— Да еще какой прокуратъ!—наконецъ, произноситъ онъ:—сказываютъ, какъ изъ похода-то воротился, сто рублей денегъ съ собой принесъ. Не велики деньги сто рублей, а и на нихъ бы сколько-нибудь прожить можно...

— Ну?

— Поправиться, вишь, полагалъ, въ аферу пустился...

— Говори, не мни!

— Въ нѣмецкое, чу, собраніе свезъ. Думалъ дурака найти, въ карты обыграть, анъ, замѣсто того, самъ на умнаго попался. Онъ-было и на-утекъ, да въ прихожей, сказываютъ, задержали. Что было денегъ—все обрали!

— Чай, и бокамъ досталось?

— Было всего. На другой день приходитъ къ Ивану Михайлычу, да самъ же и разсказываетъ. И даже удивительно это: смѣется... веселый, словно бы его по головкѣ погладили!

— Ништо ему! Лишь бы ко мнѣ на глаза не показывался!

— А надо полагать, что такъ будетъ.

— Что ты! да я его на порогъ къ себѣ не пущу!

— Не иначе, что такъ будетъ!—повторяетъ Антонъ Васильевъ.—И Иванъ Михайлычъ сказывалъ, что онъ проговорился: «шабашъ, говоритъ, пойду къ старухѣ хлѣбъ въ сухомятку ѣсть!» Да ему, сударыня, коли по правдѣ сказать, и дѣваться-то, окромѣ здѣшняго мѣста, некуда. По своимъ мужичкамъ долго въ Москвѣ не находится. Одѣжа тоже нужна, спокой...

Вотъ этого-то именно и боялась Арина Петровна; это-то именно и составляло суть того неяснаго представленія, которое безсознательно тревожило ее. «Да, онъ явится, ему некуда больше идти—этого не миновать! Онъ будетъ здѣсь, вѣчно у нея на глазахъ, клятой, постылый, забытый! Для чего же она выбросила ему въ то время «кусокъ»? Она думала, что, получивши «что слѣдуетъ», онъ канулъ въ вѣчность—анъ онъ возрождается! Онъ придетъ, будетъ

требовать, будетъ всѣмъ мозолить глаза своимъ нищенскимъ видомъ. И надо будетъ удовлетворять его требованіямъ, потому что онъ—человѣкъ наглый, готовый на всякое буйство. «Его» не спрячешь подъ замокъ; «онъ» способенъ и при чужихъ явиться въ отребьѣ, способенъ произвести дебошъ, бѣжать къ сосѣдямъ и разсказать имъ вся сокровенная Головлевскихъ дѣлъ. Сослать его развѣ въ Суздальмонастырь? Но кто-жъ его знаетъ, полно, есть ли еще этотъ Суздаль-монастырь, и въ самомъ ли дѣлѣ онъ для того существуетъ, чтобъ освобождать огорченныхъ родителей отъ лицезрѣнія строптивыхъ дѣтей? Сказываютъ еще, что смирительный домъ есть... Да вѣдь смирительный домъ—ну, какъ ты его туда, экого сорокалѣтняго жеребца, приведешь?» Однимъ словомъ, Арина Петровна совсѣмъ растерялась при одной мысли о тѣхъ невзгодахъ, которыя грозятъ взбудоражить ея мирное существованіе съ приходомъ Степки-балбеса.

— Я его къ тебѣ въ вотчину пришлю! Корми на свой счетъ!—пригрозилась она бурмистру:—не на вотчинный счетъ, а на собственный свой!

— За что такъ, сударыня?

— А за то, что не каркай! Кра-кра! «Не иначе, что такъ будетъ»... Пошелъ съ моихъ глазъ долой... ворона!

Антонъ Васильевъ повернулъ-было налѣво кругомъ, но Арина Петровна вновь остановила его.

— Стой! погоди! Такъ это вѣрно, что онъ въ Головлево лыжи навострилъ?—спросила она.

— Стану ли я, сударыня, лгать! Вѣрно говорилъ: «къ старухѣ пойду хлѣбъ въ сухомятку ѣсть!»

— Вотъ я ему покажу ужо, какой для него у старухи хлѣбъ принасенъ!

— Да что, сударыня, не долго онъ у васъ наживетъ!

— А что такое?

— Да кашляетъ очень сильно... за лѣвую грудь все хватается... Не заживется!

— Этакіе-то, любезный, еще дольше живутъ! И насъ всѣхъ переживетъ! Кашляетъ да кашляетъ—что ему, жеребцу долговязому, дѣлается! Ну, да тамъ посмотримъ. Ступай теперь! Мнѣ нужно распоряженіе сдѣлать.

Весь вечеръ Арина Петровна думала и наконецъ-таки надумала: созвать семейный совѣтъ для рѣшенія балбесовой участи. Подобныя конституціонныя замашки не были въ ея нравахъ, но на этотъ разъ она рѣшилась отступить

отъ преданій самовластія, дабы рѣшеніемъ всей семьи оградить себя отъ нареканій добрыхъ людей. Въ исходѣ предстоящаго совѣщанія она, впрочемъ, не сомнѣвалась, и потому съ легкимъ духомъ сѣла за письма, которыми предписывалось Порфирію и Павлу Владимирычамъ немедленно прибыть въ Головлево.

Покуда все это происходило, виновникъ кутерьмы, Степка-балбесъ, ужъ подвигался изъ Москвы по направленію къ Головлеву. Онъ сѣлъ въ Москвѣ, у Рогожской, въ одинъ изъ такъ-называемыхъ «дележановъ», въ которыхъ, въ былое время, ѣзжали, да и теперь еще кое-гдѣ ѣздятъ, мелкіе купцы и торгующіе крестьяне, направляясь въ свое мѣсто въ побывку. «Дележанъ» ѣхалъ по направленію къ Владиміру, и тотъ же сердобольный трактирщикъ Иванъ Михайлычъ везъ на свой счетъ Степана Владимірыча, взявши для него мѣсто и уплачивая за его харчи въ продолженіе всей дороги.

— Такъ ужъ вы, Степанъ Владимірычъ, такъ и сдѣлайте: на поверткѣ слѣзьте, да пѣшкомъ, какъ есть въ костюмѣ—такъ и отъявитесь къ маменькѣ!—условливался съ нимъ Иванъ Михайлычъ.

— Такъ, такъ, такъ!—подтверждалъ и Степанъ Владимірычъ.—Много ли отъ повертки—пятнадцать верстъ пѣшкомъ пройти! Мигомъ отхватаю! Въ пыли, въ навозѣ—такъ и явлюсь!

— Увидитъ маменька въ костюмѣ-то—можетъ, и пожалѣетъ!

— Пожалѣетъ! Какъ не пожалѣть! Мать—вѣдь она старуха добрая!

Степану Головлеву нѣтъ еще сорока лѣтъ, но по наружности ему никакъ нельзя дать меньше пятидесяти. Жизнь до такой степени истрепала его, что не оставила на немъ никакого признака дворянскаго сына, ни малѣйшаго слѣда того, что и онъ былъ когда-то въ университетѣ и что и къ нему тоже было обращено воспитательное слово науки. Это—чрезмѣрно длинный, нечесанный, почти немытый малый, худой отъ недостатка питанія, съ впалою грудью, съ длинными, загребистыми руками. Лицо у него распухшее, волосы на головѣ и бородѣ растрепанные, съ сильною просѣдью, голосъ громкій, но сиплый, простуженный, глаза на выкатѣ и воспаленные, частью отъ неумѣреннаго употребленія водки, частью отъ постояннаго нахожденія на

вѣтру. На немъ ветхая и совершенно затасканная сѣрая ополченка, галуны съ которой содраны и проданы на выжигу; на ногахъ—стоптанные, порыжѣлые и заплатанные сапоги на-вышускъ; изъ-за распахнутой ополченки виднѣется рубашка, почти черная, словно вымазанная сажей,—рубашка, которую онъ съ истинно-ополченскимъ цинизмомъ самъ называетъ «блошницею». Смотритъ онъ исподлобья, угрюмо, но эта угрюмость не выражаетъ внутренняго недовольства, а есть слѣдствіе какого-то смутнаго безпокойства, что вотъ-вотъ еще минута, и онъ, какъ червякъ, подохнетъ съ голоду.

Говоритъ онъ безъ умолку, безъ связи, перескакивая съ одного предмета на другой; говоритъ и тогда, когда Иванъ Михайлычъ слушаетъ его, и тогда, когда послѣдній засыпаетъ подъ музыку его говора. Ему ужасно неловко сидѣть. Въ «дележанѣ» помѣстилось четыре человѣка, а потому приходится сидѣть, скрючивши ноги, что̀ уже на протяженіи трехъ-четырехъ верстъ производитъ невыносимую боль въ колѣнкахъ. Тѣмъ не менѣе, несмотря на боль, онъ постоянно говоритъ. Облака пыли врываются въ боковыя отверстія повозки; по временамъ заползаютъ туда косые лучи солнца, и вдругъ, словно полымемъ, обожгутъ всю внутренность «дележана», а онъ все говоритъ.

— Да, братъ, тяпнулъ-таки я на своемъ вѣку горя,—разсказываетъ онъ:—пора и на боковую! Не объѣмъ же вѣдь я ее, а куска-то хлѣба, чай, какъ не найтись! Ты какъ, Иванъ Михайлычъ, объ этомъ думаешь?

— У маменьки вашей много кусковъ!

— Только не про меня—такъ, что ли, ты хочешь сказать? Да, дружище, деньжищъ у нея—цѣлая прорва, а для меня пятака мѣднаго жаль! И вѣдь всегда-то она меня, вѣдьма, ненавидѣла! За что̀? Ну, да теперь, братъ, шалишь, съ меня взятки-то гладки, я и за горло возьму! Выгнать меня вздумаетъ—не пойду! Ѣсть не дастъ—самъ возьму! Я, братъ, отечеству послужилъ—теперь мнѣ всякій помо̀чь обязанъ! Одного боюсь: табаку не будетъ давать—скверность!

— Да, ужъ съ табачкомъ, видно, проститься придется!

— Такъ я бурмистра за бока! Можетъ, лысый чортъ и подарить барину!

— Подарить отчего не подарить! А ну, какъ она, маменька-то ваша, и бурмистру запретитъ?

— Ну, тогда я ужъ—совсѣмъ матъ; только одна роскошь

у меня и осталась отъ прежняго великолѣпія—это табакъ! Я, братъ, какъ при деньгахъ былъ, въ день по четверткѣ Жукова выкуривалъ!

— Вотъ и съ водочкой тоже проститься придется!

— Тоже скверность. А мнѣ водка даже для здоровья полезна—мокрóту разбиваетъ. Мы, братъ, какъ походомъ подъ Севастополь шли—еще до Серпухова не дошли, а ужъ по ведру на брата вышло!

— Чай, очунѣли?

— Не помню. Кажется, что-то было; я, братъ, вплоть до Харькова дошелъ, а хоть убей—ничего не помню. Помню только, что и деревнями шли, и городами шли, да еще, что въ Тулѣ откупщикъ намъ рѣчь говорилъ. Прослезился, подлецъ! Да, тяпнула-таки въ ту пору горя наша матушка Русь православная! Откупщики, подрядчики, пріемщики—какъ только Богъ спасъ!

— А вотъ маменькѣ вашей такъ и тутъ барышóкъ вышелъ. Изъ нашей вотчины больше половины ратниковъ домой не вернулось, такъ за каждаго, сказываютъ, зачетную рекрутскую квитанцію нынче выдать велятъ. Анъ она, квитанція-то, въ казнѣ слишкомъ четыре ста́ стоитъ.

— Да, братъ, у насъ мать—умница! Ей бы министромъ слѣдовало быть, а не въ Головлевѣ пѣнки съ варенья снимать! Знаешь ли что! Несправедлива она ко мнѣ была, обидѣла она меня, а я ее уважаю! Умна, какъ чортъ—вотъ что́ главное! Кабы не она—что́ бы мы теперь были? Были бы при одномъ Головлевѣ — сто одна душа съ половиной! А она—посмотри, какую чортову пропасть она накупила!

— Будутъ ваши братцы при капиталѣ!

— Будутъ. Вотъ я таки ни при чемъ останусь—это вѣрно! Да, вылетѣлъ, братъ, я въ трубу! А братья будутъ богаты, особливо Кровопивушка. Этотъ безъ мыла въ душу влѣзетъ. А впрочемъ онъ ее, старую вѣдьму, со временемъ порѣшитъ; онъ и имѣнье, и капиталъ изъ нея высосетъ — я на эти дѣла провидецъ! Вотъ Павелъ-братъ—тотъ душа-человѣкъ! Онъ мнѣ табаку потихоньку пришлетъ—вотъ увидишь! Какъ пріѣду въ Головлево — сейчасъ ему цидулу: такъ и такъ, братъ любезный—успокой! Э-э-эхъ, эхма! вотъ кабы я богатъ былъ!

— Что́-жъ бы вы сдѣлали?

— Во-первыхъ, сейчасъ бы тебя озолотилъ...

— Меня зачѣмъ же! Вы объ себѣ, а я и такъ, по милости вашей маменьки, доволенъ.

— Ну, нѣтъ — это братъ, аттѣндо! Я бы тебя главнокомандующимъ надъ всѣми имѣніями сдѣлалъ! Да, другъ, накормилъ, обогрѣлъ ты служиваго — спасибо тебѣ! Кабы не ты, понтировалъ бы я теперь пѣшедраломъ до дома предковъ моихъ! И вольную бы тебѣ сейчасъ въ зубы, и всѣ бы передъ тобой мои сокровища открылъ—пей, ѣшь и веселись! А ты какъ обо мнѣ полагалъ, дружище?

— Нѣтъ, ужъ про меня вы, сударь, оставьте. Что бы еще-то вы сдѣлали, кабы богаты были?

— Во-вторыхъ, сейчасъ бы штучку себѣ завелъ. Въ Курскѣ, ходилъ я къ Владычицѣ молебенъ служить, такъ одну видѣлъ... ахъ, хороша штучка! Вѣришь ли, ни одной минуты не было, чтобъ она спокойно на мѣстѣ постояла!

— А можетъ она бы въ штучки-то и не пошла!

— А деньги на что? Презрѣнный металлъ на что? Мало ста тысячъ—двѣсти бери! Я, братъ, коли при деньгахъ, ничего не пожалѣю, только чтобъ въ свое удовольствіе пожить! Я, признаться сказать, ей въ ту пору черезъ ефрейтора три цѣлковенькихъ посулилъ—пять, бестья, запросила!

— А пяти-то, видно, не случилось?

— И не знаю, братъ, какъ сказать. Говорю тебѣ: все словно какъ во снѣ видѣлъ. Можетъ, она даже и была у меня, да я забылъ. Всю дорогу, цѣлыхъ два мѣсяца—ничего не помню! А съ тобой, видно, этого не случалось?

Но Иванъ Михайлычъ молчитъ. Степанъ Владимірычъ вглядывается и убѣждается, что спутникъ его мѣрно киваетъ головой и по временамъ, когда касается носомъ чуть не до колѣнъ, какъ-то нелѣпо вздрагиваетъ и опять начинаетъ кивать въ тактъ.

— Эхма!—говорилъ онъ:—ужъ укачало тебя! на боковую просишься! Разжирѣлъ ты, братъ, на чаяхъ да на харчахъ-то трактирныхъ! А у меня такъ и сна нѣтъ! Нѣтъ у меня сна—да и шабашъ! Что бы теперь, однакожъ, какую бы штукенцію предпринять? Развѣ вотъ отъ плода сего виноградnаго...

Головлевъ озирается кругомъ и удостовѣряется, что и прочіе пассажиры спятъ. У купца, который рядомъ съ нимъ сидитъ, голову объ перекладину колотитъ, а онъ все спитъ. И лицо у него сдѣлалось глянцевое, словно лакомъ покрыто, и мухи кругомъ ротъ облѣпили.

«А что, если-бъ всѣхъ этихъ мухъ къ нему въ хайло препроводить—то-то бы, чай, небо съ овчинку показалось!»— вдругъ осѣняетъ Головлева счастливая мысль, и онъ уже

начинаетъ подкрадываться къ кушу рукой, чтобы привести свой планъ въ исполненіе, но на половинѣ пути что-то припоминаетъ и останавливается.

— Нѣтъ, полно проказничать — баста! Спите, други, и почивайте! А я покуда... и куда это онъ полштофъ засунулъ? Ба! вотъ онъ, голубчикъ! Полѣзай, полѣзай сюда! Спа-си, Го-о-споди, люди Твоя!—запѣваетъ онъ въ полголоса, вынимая посудину изъ холщевой сумки, прикрѣпленной сбоку кибитки и прикладывая ко рту горлышко.—Ну, вотъ, теперь ладно! тепло сдѣлалось! Или еще? Нѣтъ, ладно... до станціи-то верстъ двадцать еще будетъ, успѣю натенькаться... Или еще? Ахъ, прахъ ее побери, эту водку! Увидишь полштофъ—такъ и подманиваетъ! Пить скверно, да и не пить нельзя—потому сна нѣтъ! Хоть бы она, чортъ ее возьми, сморила меня!

Булькнувъ еще нѣсколько глотковъ изъ горлышка, онъ засовываетъ полштофъ на прежнее мѣсто и начинаетъ набивать трубку.

— Важно, — говоритъ онъ: — сперва выпили, а теперь трубочки покуримъ! Не дастъ, вѣдьма, мнѣ табаку, не дастъ—это онъ вѣрно сказалъ. Ѣсть-то дастъ ли? Объѣдки, чай, какіе-нибудь со стола посылать будетъ! Эхма! были и у насъ денежки—и нѣтъ ихъ! Былъ-человѣкъ—и нѣтъ его! Такъ-то вотъ и все на семъ свѣтѣ: сегодня ты и сытъ, и пьянъ, живешь въ свое удовольствіе, трубочку покуриваешь...

А завтра—гдѣ ты, человѣкъ?

Однако, надо бы и закусить что-нибудь. Пьешь-пьешь, словна бочка съ изъяномъ, а закусить путемъ не закусишь. А доктора сказываютъ, что питье тогда на пользу, когда при немъ и закуска благопотребная есть, какъ говорилъ преосвященный Смарагдъ, когда мы черезъ Обоянь проходили. Черезъ Обоянь ли? А чортъ его знаетъ, можетъ и черезъ Кромы! Не въ томъ, впрочемъ, дѣло, а какъ бы закуски теперь добыть. Помнится, что онъ въ мѣшочекъ колбасу и три французскихъ хлѣба положилъ! Небось, пикорки пожалѣлъ купить! Ишь вѣдь какъ спитъ, какія пѣсни носомъ выводитъ! Чай, и провизію-то подъ себя сгребъ!

Онъ шаритъ кругомъ себя и ничего не нашариваетъ.

— Иванъ Михайлычъ! А, Иванъ Михайлычъ!—окликаетъ онъ.

Иванъ Михайлычъ просыпается и съ минуту словно не

понимаетъ, какимъ образомъ онъ очутился vis-à-vis съ бариномъ.

— А меня только что было сонъ заводить началъ!—наконецъ говоритъ онъ.

— Ничего, другъ, спи! Я только спросить, гдѣ у насъ тутъ мѣшокъ съ провизіей спрятанъ?

— Поѣсть захотѣлось? Да вѣдь прежде, чай, выпить надо!

— И то дѣло! Гдѣ у тебя полштофъ-то?

Выпивши, Степанъ Владимірычъ принимается за колбасу, которая оказывается твердою, какъ камень, соленою, какъ сама соль, и облеченною въ такой прочный пузырь, что нужно прибѣгнуть къ острому концу ножа, чтобы проткнуть его.

— Бѣлорыбицы бы теперь хорошо,—говоритъ онъ.

— Ужъ извините, сударь, совсѣмъ изъ памяти вонъ. Все утро помнилъ, даже женѣ говорилъ: безпремѣнно напомни о бѣлорыбицѣ и—вотъ словно грѣхъ случился!

— Ничего, и колбасы поѣдимъ. Походомъ шли — не то ѣдали. Вотъ папенька разсказывалъ: англичанинъ съ англичаниномъ объ закладъ побился, что дохлую кошку съѣстъ—и съѣлъ!

— Тсс... съѣлъ?

— Съѣлъ. Только тошнило его послѣ. Ромомъ вылѣчился. Двѣ бутылки залпомъ выпилъ—какъ рукой сняло. А то еще одинъ англичанинъ объ закладъ бился, что цѣлый годъ однимъ сахаромъ питаться будетъ.

— Выигралъ?

— Нѣтъ, двухъ сутокъ до году не дожилъ—околѣлъ! Да ты что-жъ самъ-то водочки бы долбанулъ?

— Съ роду не пивалъ.

— Чаемъ однимъ наливаешься? Нехорошо, братъ; оттого и брюхо у тебя растетъ. Съ чаемъ надобно тоже осторожно; чашку выпей, а сверху рюмочкой прикрой. Чай мокроту накопляетъ, а водка разбиваетъ. Такъ, что ли?

— Не знаю; вы—люди ученые, вамъ лучше знать.

— То-то. Мы какъ походомъ шли—съ чаями да съ кофеями намъ некогда было возиться. А водка—святое дѣло: отвинтилъ манерку, налилъ, выпилъ—и шабашъ. Скоро ужъ больно насъ въ ту пору гнали, такъ скоро, что я дней десять не мывшись былъ!

— Много вы, сударь трудовъ приняли!

— Много не много, а попробуй, попонтируй-ко по столбовой! Ну, да впередъ-то идти все-таки нешто было: жер-

твуютъ, обѣдами кормятъ, вина вволю. А вотъ какъ назадъ идти—чествовать-то ужъ и перестали!

Головлевъ съ усиліемъ грызетъ колбасу и наконецъ проковываетъ одинъ кусокъ.

— Солоненька, братъ, колбаса-то!—говоритъ онъ.—Впрочемъ, не прихотливъ! Мать-то вѣдь тоже разносолами потчивать не станетъ: щецъ тарелку да каши чашку — вотъ и все!

— Богъ милостивъ! Можетъ, и пирожка въ праздничекъ пожалуетъ!

— Ни чаю, ни табаку, ни водки — это ты вѣрно сказалъ. Говорятъ, она нынче въ дураки играть любить стала—вотъ развѣ это? Ну, позоветъ играть и напоитъ чайкомъ. А ужъ насчетъ прочаго—ау, братъ!

На станціи остановились часа на четыре кормить лошадей. Головлевъ успѣлъ покончить съ полуштофомъ и его разбиралъ сильный голодъ. Пассажиры ушли въ избу и расположились обѣдать.

Побродивъ по двору, заглянувъ на задворки и въ ясли къ лошадямъ, вспугнувши голубей и даже попробовавши заснуть, Степанъ Владимірычъ, наконецъ, убѣждается, что самое лучшее для него—это послѣдовать за прочими пассажирами въ избу. Тамъ на столѣ уже дымятся щи, а въ сторонкѣ, на деревянномъ лоткѣ, лежитъ большой кусъ говядины, которую Иванъ Михайлычъ крошитъ на мелкіе куски. Головлевъ садится нѣсколько поодаль, закуриваетъ трубку и долгое время не знаетъ, какъ поступить относительно своего насыщенія.

— Хлѣбъ да соль, господа:—наконецъ, говоритъ онъ:—щи-то, кажется, жирныя?

— Ничего щи!—отзывается Иванъ Михайлычъ.—Да вы бы, сударь, и себѣ спросили!

— Нѣтъ, я только къ слову, сытъ я!

— Чего сыты! Колбасы кусокъ съѣли, а съ ея, съ проклятой, еще пуще животъ пучитъ. Кушайте-ка. Вотъ я велю въ сторонкѣ для васъ столикъ накрыть — кушайте на здоровье! Хозяюшка! накрой барину въ сторонкѣ—вотъ такъ!

Пассажиры молча приступаютъ къ ѣдѣ и только загадочно переглядываются между собой. Головлевъ догадывается, что его «проникли», хотя онъ не безъ нахальства всю дорогу разыгрывалъ барина и называлъ Ивана Михайлыча своимъ казначеемъ. Брови у него насуплены,

табачный дымъ такъ и валитъ изо рта. Онъ готовъ отказаться отъ ѣды, но требованія голода до того настоятельны, что онъ какъ-то хищно набрасывается на поставленную передъ нимъ чашку щей и мгновенно опоражниваетъ ее. Вмѣстѣ съ сытостью возвращается къ нему и самоувѣренность, и онъ, какъ ни въ чемъ не бывало, говоритъ, обращаясь къ Ивану Михайлычу:

— Ну, братъ-казначей, ты ужъ и расплачивайся за меня, а я пойду на сѣновалъ съ Храповицкимъ поговорить!

Переваливаясь, отправляется онъ на сѣнникъ, и на этотъ разъ, такъ какъ желудокъ у него обремененъ, засыпаетъ богатырскимъ сномъ. Въ пять часовъ онъ опять уже на ногахъ. Видя, что лошади стоятъ у пустыхъ ясель и чешутся мордами о края ихъ, онъ начинаетъ будить ямщика.

— Дрыхнетъ, каналья!—кричитъ онъ.—Намъ къ спѣху, а онъ пріятные сны видитъ!

Такъ идетъ дѣло до станціи, съ которой дорога повертываетъ на Головлево. Только тутъ Степанъ Владимірычъ нѣсколько остепеняется. Онъ явно упадаетъ духомъ и дѣлается молчаливымъ. На этотъ разъ ужъ Иванъ Михайлычъ ободряетъ его и паче всего убѣждаетъ бросить трубку.

— Вы, сударь, какъ будете къ усадьбѣ подходить, трубку-то въ крапиву бросьте, послѣ найдете!

Наконецъ, лошади, долженствующія везти Ивана Михайлыча дальше, готовы. Наступаетъ моментъ разставанія.

— Прощай, братъ! — говоритъ Головлевъ дрогнувшимъ голосомъ, цѣлуя Ивана Михайлыча:—заѣстъ она меня!

— Богъ милостивъ, вы тоже не слишкомъ пугайтесь!

— Заѣстъ! — повторяетъ Степанъ Владимірычъ такимъ убѣжденнымъ тономъ, что Иванъ Михайлычъ невольно опускаетъ глаза.

Сказавши это, Головлевъ круто поворачиваетъ по направленію проселка и начинаетъ шагать, опираясь на суковатую палку, которую онъ передъ тѣмъ срѣзалъ отъ дерева.

Иванъ Михайлычъ нѣкоторое время слѣдитъ за нимъ и потомъ бросается ему вдогонку.

— Вотъ что, баринъ!—говоритъ онъ, нагоняя его:—дагеча, какъ ополченку вашу чистилъ, такъ три цѣлковенькихъ

кихъ въ боковомъ карманѣ видѣлъ—не оброните какъ-нибудь ненарокомъ!

Степанъ Владимірычъ видимо колеблется и не знаетъ, какъ ему поступить въ этомъ случаѣ. Наконецъ, онъ протягиваетъ Ивану Михайлычу руку и говоритъ сквозь слезы:

— Понимаю... служивому на табакъ... благодарю! А что касается до того... заѣстъ она меня, другъ любезный! Вотъ помяни мое слово—заѣстъ!

Головлевъ окончательно поворачивается лицомъ къ проселку, и черезъ пять минутъ уже далеко мелькаетъ его сѣрый ополченскій картузъ, то исчезая, то вдругъ появляясь изъ-за чащи лѣсной поросли. Время стоитъ еще раннее, шестой часъ въ началѣ; золотистый утренній туманъ вьется надъ проселкомъ, едва пропуская лучи только что показавшагося на горизонтѣ солнца; трава блеститъ; воздухъ напоенъ запахами ели, грибовъ и ягодъ; дорога идетъ зигзагами по низменности, въ которой кишатъ безчисленныя стада птицъ. Но Степанъ Владимірычъ ничего не замѣчаетъ: все легкомысліе вдругъ соскочило съ него, и онъ идетъ словно на страшный судъ. Одна мысль до краевъ переполняетъ все его существо: еще три-четыре часа—и дальше идти уже некуда. Онъ припоминаетъ свою старую Головлевскую жизнь, и ему кажется, что передъ нимъ растворяются двери сырого подвала, что какъ только онъ перешагнетъ за порогъ этихъ дверей, такъ онѣ сейчасъ захлопнутся—и тогда все кончено. Припоминаются и другія подробности, хотя непосредственно до него не касающіяся, но несомнѣнно характеризующія Головлевскіе порядки. Вотъ дяденька Михаилъ Петровичъ (въ просторѣчіи «Мишка-буянъ»), который тоже принадлежитъ къ числу «постылыхъ» и котораго дѣдушка Петръ Иванычъ заточилъ къ дочери въ Головлево, гдѣ онъ жилъ въ людской и ѣлъ изъ одной чашки съ собакой Трезоркой. Вотъ тетенька Вѣра Михайловна, которая изъ милости жила въ Головлевской усадьбѣ у братца Владиміра Михайлыча и которая умерла «отъ умѣренности», потому что Арина Петровна корила ее каждымъ кускомъ, съѣдаемымъ за обѣдомъ, и каждымъ полѣномъ дровъ, употребляемымъ для отопленія ея комнаты. То же самое, приблизительно, предстоитъ пережить и ему. Въ воображеніи его мелькаетъ безконечный рядъ безразсвѣтныхъ дней, утопающихъ въ какой-то зіяющей сѣрой пропасти, и онъ невольно закры-

ваетъ глаза. Отнынѣ онъ будетъ одинъ-на-одинъ съ злою старухою, и даже не злою, а только оцѣпенѣвшею въ апатіи властности. Эта старуха заѣстъ его, заѣстъ не мучительствомъ, а забвеніемъ. Не съ кѣмъ молвить слова, некуда бѣжать—вездѣ она, властная, цѣпенящая, презирающая. Мысль объ этомъ неотразимомъ будущемъ до такой степени всего его наполнила тоской, что онъ остановился около дерева и нѣсколько времени бился о него головой. Вся его жизнь, исполненная кривлянья, бездѣльничества, буфонства, вдругъ словно освѣтилась передъ его умственнымъ окомъ. Онъ идетъ теперь въ Головлево, онъ знаетъ, что ожидаетъ тамъ его — и все-таки идетъ, и не можетъ не идти. Нѣтъ у него другой дороги. Самый послѣдній изъ людей можетъ что-нибудь для себя сдѣлать, можетъ добыть себѣ хлѣба—онъ одинъ ничего не можетъ. Эта мысль словно впервые проснулась въ немъ. И прежде ему случалось думать о будущемъ и рисовать себѣ всякаго рода перспективы, но это были всегда перспективы дарового довольства и никогда — перспективы труда. И вотъ теперь ему предстояла расплата за тотъ угаръ, въ которомъ безслѣдно потонуло его прошлое. Расплата горькая, выражавшаяся въ одномъ ужасномъ словѣ: «заѣстъ!»

Было около девяти часовъ утра, когда изъ-за лѣса показалась бѣлая Головлевская колокольня.

Лицо Степана Владимірыча поблѣднѣло, руки затряслись; онъ снялъ картузъ и перекрестился. Вспомнилась ему евангельская притча о блудномъ сынѣ, возвращающемся домой, но онъ тотчасъ же понялъ, что въ примѣненіи къ нему подобныя воспоминанія составляютъ только одно обольщеніе. Наконецъ, онъ отыскалъ глазами поставленный близъ дороги межевой столбъ и очутился на Головлевской землѣ, на той постылой землѣ, которая родила его постылымъ, вскормила постылымъ, выпустила постылымъ на всѣ четыре стороны и теперь, постылаго же, вновь принимаетъ его въ свое лоно. Солнце стояло уже высоко и безпощадно наливало безконечныя Головлевскія поля. Но онъ блѣднѣлъ все больше и больше и чувствовалъ, что его начинаетъ знобить.

Наконецъ, онъ дошелъ до погоста, и тутъ бодрость окончательно оставила его. Барская усадьба смотрѣла изъ-за деревьевъ такъ мирно, словно въ ней не происходило ничего особеннаго; но на него ея видъ произвелъ дѣйствіе Медузиной головы. Тамъ чудился ему гробъ. «Гробъ! гробъ!

гробъ!»—повторялъ онъ безсознательно про себя. И не рѣшился-таки идти прямо въ усадьбу, а зашелъ прежде къ священнику и послалъ его извѣстить о своемъ приходѣ и узнать, приметъ ли его маменька.

Попадья при видѣ его закручинилась и захлопотала объ яичницѣ; деревенскіе мальчишки столпились вокругъ него и смотрѣли на барина изумленными глазами; мужики, проходя мимо, молча снимали шапки и какъ-то загадочно взглядывали на него; какой-то старикъ-дворовый даже подбѣжалъ и попросилъ у барина ручку поцѣловать. Всѣ понимали, что передъ ними постылый, который пришелъ въ постылое мѣсто, пришелъ навсегда, и нѣтъ для него отсюда выхода, кромѣ какъ ногами впередъ на погостъ. И всѣмъ дѣлалось въ одно и то же время и жалко, и жутко.

Наконецъ, попъ пришелъ и сказалъ, что «маменька готовы принять» Степана Владимірыча. Черезъ десять минутъ онъ былъ уже *тамъ*. Арина Петровна встрѣтила его торжественно-строго и смѣрила съ ногъ до головы ледянымъ взглядомъ, но никакихъ безполезныхъ упрековъ не позволила себѣ. И въ комнаты не допустила, а такъ, на дѣвичьемъ крыльцѣ, свидѣлась и разсталась, приказавъ проводить молодого барина черезъ другое крыльцо къ папенькѣ. Старикъ дремалъ въ постели, покрытой бѣлымъ одѣяломъ, въ бѣломъ колпакѣ, весь бѣлый, словно мертвецъ. Увидѣвши его, онъ проснулся и идіотски захохоталъ.

— Что, голубчикъ, попался къ вѣдьмѣ въ лапы!—крикнулъ онъ, покуда Степанъ Владимірычъ цѣловалъ его руку. Потомъ крикнулъ пѣтухомъ, опять захохоталъ и нѣсколько разъ сряду повторилъ:—Съѣсть! съѣсть! съѣсть!

«Съѣсть!» словно эхо, откликнулось и въ его душѣ.

Предвидѣнія его оправдались. Его помѣстили въ особой комнатѣ того флигеля, въ которомъ помѣщалась и контора. Туда принесли ему бѣлье изъ домашняго холста и старый папенькинъ халатъ, въ который онъ и облачился немедленно. Двери склепа растворились, пропустили его и — захлопнулись.

Потянулся рядъ вялыхъ, безобразныхъ дней, одинъ за другимъ утопающихъ въ сѣрой, зіяющей безднѣ времени. Арина Петровна не принимала его; къ отцу его тоже не допускали. Дня черезъ три бурмистръ Финогей Ипатычъ объявилъ ему отъ маменьки «положеніе», заключавшееся въ томъ, что онъ будетъ получать столъ и одёжу, и сверхъ

того по фунту Фалера *) въ мѣсяцъ. Онъ выслушалъ маменькину волю и только замѣтилъ:

— Ишь, вѣдь, старая! Пронюхала, что Жуковъ два рубля, а Фалеръ рубль девяносто стоитъ — и тутъ десять копеечекъ ассигнаціями въ мѣсяцъ утянула! Вѣрно нищему на мой счетъ подать собиралась!

Признаки нравственнаго отрезвленія, появившіеся-было въ тѣ часы, покуда онъ приближался проселкомъ въ Головлеву, вновь куда-то исчезли. Легкомысліе опять вступило въ свои права, а вмѣстѣ съ тѣмъ послѣдовало и примиреніе съ «маменькинымъ положеніемъ». Будущее, безнадежное и безвыходное, однажды блеснувшее его уму и наполнившее его трепетомъ, съ каждымъ днемъ все больше и больше заволакивалось туманомъ и наконецъ совсѣмъ перестало существовать. На сцену выступилъ насущный день, съ его циничесой наготою, и выступилъ такъ назойливо и нагло, что всецѣло заполонилъ всѣ помыслы, все существо. Да и какую роль можетъ играть мысль о будущемъ, когда теченіе всей жизни безповоротно и въ самыхъ малѣйшихъ подробностяхъ уже рѣшено въ умѣ Арины Петровны?

Цѣлыми днями шагалъ онъ взадъ и впередъ по отведенной комнатѣ, не выпуская трубки изо рта и напѣвая кой-какіе обрывки пѣсенъ, причемъ церковные напѣвы неожиданно смѣнялись разухабистыми, и наоборотъ. Когда въ конторѣ находился на лицо земскій, то онъ заходилъ къ нему и высчитывалъ доходы, получаемые Ариной Петровной.

— И куда она экую прорву деньжищъ дѣваетъ! — удивлялся онъ, досчитываясь до цифры слишковъ въ восемьдесятъ тысячъ на ассигнаціи.—Братьямъ, я знаю, не ахти сколько посылаетъ, сама живетъ скаредно, отца солеными полотками кормитъ... Въ ломбардъ, больше некуда, какъ въ ломбардъ кладетъ!

Иногда въ контору приходилъ и самъ Финогей Ипатычъ съ оброками, и тогда на конторскомъ столѣ раскладывались по пачкамъ тѣ самыя деньги, на которыя такъ разгорались глаза у Степана Владимірыча.

— Ишь, пропасть какая деньжищъ!—восклицалъ онъ:— и всѣ-то къ ней въ хайло уйдутъ! Нѣтъ того, чтобъ сыну

*) Извѣстный въ то время табачный фабрикантъ, конкурировавшій съ Жуковымъ.

пачечку удѣлить! На, молъ, сынъ мой, въ горести находящійся, вотъ тебѣ на вино и на табакъ!

И затѣмъ начинались безконечные и исполненные цинизма разговоры съ Яковомъ-земскимъ о томъ, какими бы средствами сердце матери такъ смягчить, чтобъ она души въ немъ не чаяла.

— Въ Москвѣ у меня мѣщанинъ знакомый былъ,—разсказывалъ Головлевъ:—такъ онъ «слово» зналъ... Бывало, какъ не захочетъ ему мать денегъ дать, онъ это «слово» и скажетъ... И сейчасъ это всю ее корчить начнетъ, руки, ноги—словомъ, все!

— Порчу, стало-быть, какую ни на-есть пущалъ!—догадывался Яковъ-земскій.

— Ну, ужъ тамъ какъ хочешь разумѣй, а только истинная это правда, что такое «слово» есть. А то еще одинъ человѣкъ сказывалъ: возьми, говоритъ, живую лягушку и положи ее въ глухую полночь въ муравейникъ; къ утру муравьи ее всю объѣдятъ, останется одна косточка; вотъ эту косточку ты возьми, и покуда она у тебя въ карманѣ—что хочешь у любой бабы проси, ни въ чемъ тебѣ отказу не будетъ.

— Что-жъ, это хоть сейчасъ сдѣлать можно!

— То-то, братъ, что сперва проклятіе на себя наложить нужно! Кабы не это... то-то бы вѣдьма мелкимъ бѣсомъ передо мной заплясала!

Цѣлые часы проводились въ подобныхъ разговорахъ, но средствъ, все-таки, не обрѣталось. Все—либо проклятіе на себя наложить приходилось, либо душу чорту продать. Въ результатѣ ничего другого не оставалось, какъ жить на «маменькиномъ положеніи», поправляя его нѣкоторыми произвольными поборами съ сельскихъ начальниковъ, которыхъ Степанъ Владимірычъ поголовно обложилъ данью въ свою пользу, въ видѣ табаку, чаю и сахару. Кормили его чрезвычайно плохо. Обыкновенно приносили остатки маменькина обѣда; а такъ какъ Арина Петровна была умѣренна до скупости, то естественно, что на его долю оставалось немного. Это было въ особенности для него мучительно, потому что съ тѣхъ поръ, какъ вино сдѣлалось для него запретнымъ плодомъ, аппетитъ его сильно усилился. Съ утра до вечера онъ голодалъ и только о томъ и думалъ, какъ бы наѣсться. Подкарауливалъ часы, когда маменька отдыхала, бѣгалъ въ кухню, заглядывалъ даже въ людскую, и вездѣ что-нибудь нашаривалъ. По време-

намъ садился у открытаго окна и поджидалъ, не проѣдетъ, ли кто. Ежели проѣзжалъ мужикъ изъ своихъ, то останавливалъ его и облагалъ данью: яйцомъ, ватрушкой и т. д.

Еще при первомъ свиданіи Арина Петровна въ короткихъ словахъ выяснила ему полную программу его житья-бытья.—«Покуда живи!—сказала она:—вотъ тебѣ уголъ въ конторѣ, пить-ѣсть будешь съ моего стола, а на прочее—не погнѣвайся, голубчикъ! Разносословъ у меня отъ роду не бывало, а для тебя и подавно заводить не стану. Вотъ братья ужо пріѣдутъ: какое положеніе они промежду себя для тебя присовѣтуютъ—такъ я съ тобой и поступлю. Сама на душу грѣха брать не хочу—какъ братья рѣшатъ, такъ тому и быть!

И вотъ теперь онъ съ нетерпѣніемъ ждалъ пріѣзда братьевъ. Но при этомъ онъ совсѣмъ не думалъ о томъ, какое вліяніе будетъ имѣть этотъ пріѣздъ на дальнѣйшую его судьбу (повидимому, онъ рѣшилъ, что объ этомъ и думать нечего), а загадывалъ только, привезетъ ли ему братъ Павелъ табаку и сколько именно.

«А можетъ и денегъ отвалитъ! — прибавляетъ онъ мысленно: — Порфишка-кровопивецъ — тотъ не дастъ, а Павелъ... Скажи ему: дай, братъ, служивому на вино—дастъ! Какъ, чай, не дать!»

Время проходило, и онъ не замѣчалъ его. Это была абсолютная праздность, которою онъ, однако, почти не тяготился. Только по вечерамъ было скучно, потому что земскій уходилъ часовъ въ восемь домой, а для него Арина Петровна не отпускала свѣчей, на томъ основаніи, что по комнатѣ взадъ и впередъ шагать и безъ свѣчей можно. Но онъ и къ этому скоро привыкъ и даже полюбилъ темноту, потому что въ темнотѣ сильнѣе разыгрывалось воображеніе и уносило его далеко изъ постылаго Головлева. Одно его тревожило: сердце у него неспокойно было и какъ-то странно трепыхалось въ груди, въ особенности когда онъ ложился спать. Иногда онъ вскакивалъ съ постели, словно ошеломленный, и бѣгалъ по комнатѣ, держась рукой за лѣвую сторону груди.

«Эхъ, кабы околѣть!—думалось ему при этомъ.—Нѣтъ, вѣдь не околѣю! А можетъ-быть...»

Но когда, однажды утромъ, земскій таинственно доложилъ ему, что ночью братцы пріѣхали, онъ невольно вздрогнулъ и измѣнился въ лицѣ. Что-то ребяческое вдругъ въ немъ проснулось: хотѣлось бѣжать поскорѣе въ домъ, взгля-

путь, какъ они одѣты, какія постланы имъ постели и есть ли у нихъ такіе же дорожные несессеры, какіе онъ видѣлъ у одного ополченскаго капитана; хотѣлось послушать, какъ они будутъ говорить съ маменькой, посмотрѣть, что̀ будутъ имъ подавать за обѣдомъ. Словомъ сказать, хотѣлось и еще разъ пріобщиться къ той жизни, которая такъ упорно отметала его отъ себя, броситься къ матери въ ноги, вымолить ея прощеніе, и потомъ, на радостяхъ, пожалуй, съѣсть и упитаннаго тельца. Еще въ домѣ было все тихо, а онъ ужъ сбѣгалъ къ повару на кухню и узналъ, что̀ къ обѣду заказано: на горячее—щи изъ свѣжей капусты, небольшой горшокъ, да вчерашній супъ разогрѣть велѣно, на холодное — полотокъ соленый да сбоку двѣ пары котлеточекъ, на жаркое—баранину да сбоку четыре бекасика, на пирожное—малиновый пирогъ со сливками.

— Вчерашній супъ, полотокъ и баранина — это, братъ, постылому!—сказалъ онъ повару.—Пирога, я полагаю, мнѣ тоже не дадутъ!

— Это—какъ будетъ угодно маменькѣ, сударь.

— Эхма! А было время, что и я дупелей ѣдалъ, ѣдалъ, братецъ! Однажды съ поручикомъ Гремыкинымъ даже на пари побился, что сряду пятнадцать дупелей съѣмъ — и выигралъ! Только послѣ этого цѣлый мѣсяцъ смотрѣть безъ отвращенія на нихъ не могъ!

— А теперь опять бы покушали?

— Не дастъ! А чего бы, кажется, жалѣть! Дупель — птица вольная: ни кормить ее, ни смотрѣть за ней—сама на свой счетъ живетъ! И дупель некупленный, и баранъ некупленный, а вотъ поди-жъ ты! Знаетъ, вѣдьма, что дупель вкуснѣе баранины — ну, и не дастъ! Сгноитъ, а не дастъ! А на завтракъ, что̀ заказано?

— Печёнка заказана, грибы въ сметанѣ, сочни.

— Ты бы хоть соченька мнѣ прислалъ... постарайся, братъ?

— Надо постараться. А вы вотъ что̀, сударь. Ужо̀, какъ завтракать братцы сядутъ, пришлите сюда земскаго: онъ вамъ парочку соченьковъ за пазухой принесетъ.

Все утро прождалъ Степанъ Владимірычъ, не придутъ ли братцы, но братцы не шли. Наконецъ, часовъ около одиннадцати, принесъ земскій два обѣщанныхъ сочня и доложилъ, что братцы сейчасъ отзавтракали и заперлись съ маменькой въ спальной.

Арина Петровна встрѣтила сыновей торжественно, удрученная горемъ. Двѣ дѣвки поддерживали ее подъ руки; сѣдые волосы прядями выбились изъ-подъ бѣлаго чепца, голова понурилась и покачивалась изъ стороны въ сторону, ноги едва волочились. Вообще она любила въ глазахъ дѣтей разыграть роль почтенной и удрученной матери, и въ этихъ случаяхъ съ трудомъ волочила ноги и требовала, чтобъ ее поддерживали подъ руки дѣвки. Степка-балбесъ называлъ такіе торжественные пріемы—архіерейскимъ служеніемъ, мать архіереемъ, а дѣвокъ Польку и Юльку—архіерейскими жезлоносицами. Но такъ какъ былъ уже второй часъ ночи, то свиданіе произошло безъ словъ. Молча подала она дѣтямъ руку для цѣлованія, молча перецѣловала и перекрестила ихъ, и когда Порфирій Владимірычъ изъявилъ готовность хоть весь остатокъ ночи прокалякать съ милымъ другомъ маменькой, то махнула рукой, сказавъ:

— Ступайте, отдохните съ дороги, не до разговоровъ теперь; завтра поговоримъ.

На другой день, утромъ, оба сына отправились къ папенькѣ ручку поцѣловать, но папенька ручки не далъ. Онъ лежалъ на постели съ закрытыми глазами и, когда вошли дѣти, крикнулъ:

— Мытаря судить пріѣхали?.. Вонъ, фарисеи!.. Вонъ!

Тѣмъ не менѣе, Порфирій Владимірычъ вышелъ изъ папенькина кабинета взволнованный и заплаканный, а Павелъ Владимірычъ, какъ «истинно-безчувственный идолъ», только ковырялъ пальцемъ въ носу.

— Нехорошъ онъ у васъ, добрый другъ маменька! Ахъ, какъ не хорошъ! — воскликнулъ Порфирій Владимірычъ, бросаясь на грудь къ матери.

— Развѣ очень сегодня слабъ?

— Ужъ такъ слабъ, такъ слабъ! Не жилецъ онъ у васъ!

— Ну, поскрипитъ еще!

— Нѣтъ, голубушка, нѣтъ! И хотя ваша жизнь никогда не была особенно радостна, но какъ подумаешь, что столько ударовъ за разъ... право, даже удивляешься, какъ это вы силу имѣете переносить эти испытанія!

— Что-жъ, мой другъ, и перенесешь, коли Господу Богу угодно! Знаешь, въ Писаніи-то что сказано: тяготы другъ другу носите—вотъ и выбралъ меня Онъ, Батюшко, чтобъ семейству своему тяготы носить!

Арина Петровна даже глаза зажмурила: такъ это хорошо

ей показалось, что всѣ живутъ на всемъ на готовенькомъ, у всѣхъ-то все припасено, а она одна цѣлый-то день мается да всѣмъ тяготы носитъ.

— Да, мой другъ, — сказала она послѣ минутнаго молчанія:—тяжеленько-таки мнѣ на старости лѣтъ! Припасла я дѣтямъ на свой пай—пора бы и отдохнуть! Шутка сказать—четыре тысячи душъ! Этакой-то махиной управлять въ мои лѣта! За всякимъ погляди, всякаго услѣди, да походи, да побѣгай! Хоть бы эти бурмистры да управители наши: ты не гляди, что онъ тебѣ въ глаза смотритъ: однимъ-то глазомъ онъ на тебя, а другимъ — въ лѣсъ норовитъ! Самый это народъ... маловѣрный! Ну, а ты что?— прервала она вдругъ, обращаясь къ Павлу:—въ носу ковыряешь?

— Мнѣ что-жъ!—огрызнулся Павелъ Владимірычъ, обезпокоенный въ самомъ разгарѣ своего занятія.

— Какъ что! Все же отецъ тебѣ — можно бы и пожалѣть!

— Что-жъ — отецъ! Отецъ какъ отецъ... какъ всегда! Десять лѣтъ онъ такой! Всегда вы меня притѣсняете!

— Зачѣмъ мнѣ тебя притѣснять, другъ мой? Я — мать тебѣ! Вотъ Порфиша! и приласкался, и пожалѣлъ — все какъ слѣдъ доброму сыну сдѣлалъ, а ты и на мать-то путемъ посмотрѣть не хочешь, все исподлобья, да сбоку, словно она — не мать, а ворогъ тебѣ! Не укуси, сдѣлай милость!

— Да что же я...

— Постой! помолчи минуту, дай матери слово сказать! Помнишь ли, что въ заповѣди-то сказано: чти отца твоего и матерь твою — и благо ти будетъ... Стало-быть, ты «блага»-то себѣ не хочешь?

Павелъ Владимірычъ молчалъ и смотрѣлъ на мать недоумѣвающими глазами.

— Вотъ видишь, ты и молчишь! — продолжала Арина Петровна: — стало-быть, самъ чувствуешь, что блохи за тобой есть. Ну, да ужъ Богъ съ тобой! Для радостнаго свиданія оставимъ этотъ разговоръ. Богъ, мой другъ, все видитъ, а я... ахъ, какъ давно я тебя насквозь понимаю! Ахъ, дѣтушки, дѣтушки! вспомните мать, какъ въ могилкѣ лежать будетъ, вспомните—да поздно ужъ будетъ!

— Маменька! — вступился Порфирій Владимірычъ: — оставьте эти черныя мысли, оставьте!

— Умирать, мой другъ, всѣмъ придется!—сентенціозно

произнесла Арина Петровна: — не черныя эти мысли, а самыя, можно сказать... божественныя! Хирѣю я, дѣтушки, ахъ, какъ хирѣю! Ничего-то во мнѣ прежняго не осталось—слабость да хворость одна! Даже дѣвки-поганки замѣтили это—и въ усъ мнѣ не дуютъ! Я слово—онѣ два! я слово — онѣ десять! Одну только угрозу и имѣю на нихъ, что молодымъ господамъ, дескать, пожалуюсь! Ну, иногда и попритихнутъ!

Подали чай, потомъ завтракъ, въ продолженіе которыхъ Арина Петровна все жаловалась и умилялась сама надъ собой. Послѣ завтрака она пригласила сыновей въ свою спальную.

Когда дверь была заперта на ключъ, Арина Петровна немедленно приступила къ дѣлу, по поводу котораго былъ созванъ семейный совѣтъ.

— Балбесъ-то вѣдь явился!—начала она.

— Слышали, маменька, слышали!—отозвался Порфирій Владимірычъ не то съ ироніей, не то съ благодушіемъ человѣка, который только что сытно покушалъ.

— Пришелъ, словно и дѣло сдѣлалъ, словно такъ и слѣдовало: сколько бы, молъ, я ни кутилъ, ни мутилъ, у старухи-матери всегда про меня кусокъ хлѣба найдется! Сколько я въ своей жизни ненависти отъ него видѣла! Сколько отъ однихъ его буфонствъ да каверзовъ мученія вытерпѣла! Что я въ ту пору трудовъ приняла, чтобъ его на службу-то втереть, — и все какъ съ гуся вода! Наконецъ, билась-билась, думаю: Господи! да коли онъ самъ объ себѣ радѣть не хочетъ—неужто я обязана изъ-за него, балбеса долговязаго, жизнь свою убивать! Дай, думаю, выкину ему кусокъ, авось свой грошъ въ руки попадетъ — постепеннѣе будетъ! И выкинула. Сама и домъ-то для него высмотрѣла, сама собственными руками, какъ одну копейку, двѣнадцать тысячекъ серебромъ денегъ выложила! И что-жъ! не прошло послѣ того и трехъ лѣтъ—анъ онъ и опять у меня на шеѣ повисъ! Долго ли мнѣ надругательства-то эти переносить?

Порфища вскинулъ глазами въ потолокъ и грустно покачалъ головою, словно бы говорилъ: «о-о-охъ, дѣла, дѣла! И нужно же милаго друга маменьку такъ безпокоить! Сидѣли бы всѣ смирно, ладкомъ да миркомъ — ничего бы этого не было, и маменька бы не гнѣвалась... а-а-ахъ, дѣла, дѣла!» Но Аринѣ Петровнѣ, какъ женщинѣ, не терпящей

чтобы теченіе ея мыслей было чѣмъ бы то ни было прерываемо, движеніе Порфиши не понравилось.

— Нѣтъ, ты погоди головой-то вертѣть,—сказала она: — ты прежде выслушай! Каково мнѣ было узнать, что онъ родительское-то благословеніе, словно обглоданную кость, въ помойную яму выбросилъ? Каково мнѣ было чувствовать, что я, съ позволенія сказать, ночей не досыпала, куска не доѣдала, а онъ — натко! Словно вотъ взялъ, купилъ на базарѣ бирюльку — не занадобилась, и выкинулъ ее за окно! Это родительское-то благословеніе!

— Ахъ, маменька! Это такой поступокъ, такой поступокъ!—началъ-было Порфирій Владимірычъ, но Арина Петровна опять остановила его.

— Стой! погоди, когда я прикажу, тогда свое мнѣніе скажешь! И хоть бы онъ меня, мерзавецъ, предупредилъ! Виноватъ, молъ, маменька, такъ и такъ—не воздержался! Я вѣдь и сама, когда во-время, сумѣла бы за безцѣнокъ домъ-то пріобрѣсти! Не сумѣлъ недостойный сынъ пользоваться — пусть попользуются достойныя дѣти! Вѣдь онъ, шутя-шутя, домъ-то, пятнадцать процентовъ въ годъ интересу принесетъ! Можетъ-быть, я бы ему за это еще тысячку рублей на бѣдность выкинула! А то — натко! сижу здѣсь, ни сномъ, ни духомъ не вижу, а онъ ужъ и распорядился! Двѣнадцать тысячъ собственными руками за домъ выложила, а онъ его съ аукціона въ восьми тысячахъ спустилъ!

— А главное, маменька, что онъ съ родительскимъ благословеніемъ такъ низко поступилъ! — поспѣшилъ скороговоркой прибавить Порфирій Владимірычъ, словно опасаясь, чтобъ маменька вновь не прервала его.

— И это, мой другъ, да и то. У меня, голубчикъ, деньги-то не шальныя; я не танцами да курантами пріобрѣла ихъ, а хребтомъ да потомъ. Я какъ богатства-то достигала? Какъ за папеньку-то я шла, у него только и было, что Головлево, сто одна душа, да въ дальнихъ мѣстахъ гдѣ двадцать, гдѣ тридцать—душъ съ полтораста набралось! А у меня, у самой-то—и всего ничего! И нутко, при такихъ-то средствахъ, какую махину выстроила! Четыре-то тысячи душъ—ихъ вѣдь не скроешь! И хотѣла бы въ могилку съ собой унести, да нельзя! Какъ ты думаешь, легко мнѣ онѣ, эти четыре тысячи душъ, достались? Нѣтъ, другъ мой любезный, такъ нелегко, такъ нелегко, что, бывало, ночью не спишь—все тебѣ мерещится, какъ бы такъ дѣльце умненько обдѣлать, чтобъ до времени никто и пронюхать объ немъ

не могъ! Да чтобы кто-нибудь не перебилъ, да чтобы копеечки лишненькой не истратить! И чего я ни попробовала: и слякоть-то, и распутицу-то, и гололедицу-то—всего отвѣдала! Это ужъ въ послѣднее время я въ тарантасахъ-то роскошничать начала, а въ первое-то время соберутъ, бывало, телѣжонку крестьянскую, кибитчонку кой-какую на нее навяжутъ, пару лошадей запрягутъ—я и плетусь трюхъ-трюхъ до Москвы! Плетусь, а сама все думаю: а ну, какъ кто-нибудь имѣнье-то у меня перебьетъ! Да и въ Москву пріѣдешь, у Рогожской на постояломъ остановишься, вони да грязи—все я, друзья мои, вытерпѣла! На извозчика, бывало, гривенника жаль — на своихъ на двоихъ отъ Рогожской до Солянки пру! Даже дворники — и тѣ дивятся: «барыня, говорятъ, ты молоденькая и съ достаткомъ, а такіе труды на себя принимаешь!» А я все молчу да терплю. И денегъ-то у меня въ первый разъ всего тридцать тысячъ на ассигнаціи было — папенькины кусочки дальніе, душъ со сто продала,—да съ этою-то суммой и пустилась я, шутка сказать, тысячу душъ покупать! Отслужила у Иверской молебенъ, да и пошла на Солянку счастья попытать. И что-жъ вѣдь! Словно видѣла Заступница мои слезы горькія—оставила-таки имѣніе за мной! И чудо какое: какъ я тридцать тысячъ, окромѣ казеннаго долга, надавала, такъ словно вотъ весь аукціонъ перерѣзала! Прежде и галдѣли, и горячились, а тутъ и надбавлять перестали, и стало вдругъ тихо-тихо кругомъ. Всталъ это присутствующій, поздравляетъ меня, а я ничего не понимаю! Стряпчій тутъ былъ, Иванъ Николаичъ, подошелъ ко мнѣ: «съ покупочкой, говоритъ, сударыня!» а я словно вотъ столбъ деревянный стою! И какъ вѣдь милость-то Божія велика! Подумайте только: если-бъ при такомъ моемъ изступленіи вдругъ кто-нибудь на озорство крикнулъ: «тридцать пять тысячъ даю!»— вѣдь я, пожалуй, въ безпамятствѣ-то и всѣ сорокъ надавала бы! А гдѣ бы я ихъ взяла?!

Арина Петровна много разъ уже разсказывала дѣтямъ эпопею своихъ первыхъ шаговъ на аренѣ благопріобрѣтенія, но, повидимому, она и доднесь не утратила въ ихъ глазахъ интереса новизны. Порфирій Владимірычъ слушалъ маменьку, то улыбаясь, то вздыхая, то закатывая глаза, то опуская ихъ, смотря по свойству перипетій, черезъ которыя она проходила. А Павелъ Владимірычъ даже большіе глаза раскрылъ, словно ребенокъ, которому разсказываютъ знакомую, но никогда не надоѣдающую сказку.

— А вы, чай, думаете, даромъ состояніе-то матери досталось!—продолжала Арина Петровна.—Нѣтъ, друзья мои, даромъ-то и прыщъ на носу не вскочитъ: я послѣ первойто покупки въ горячкѣ шесть недѣль вылежала! Вотъ теперь и судите: каково мнѣ видѣть, что послѣ такихъ-то можно сказать, истязаній, трудовыя мои денежки, ни дай, ни вынеси за что, въ помойную яму выброшены!

Послѣдовало минутное молчаніе. Порфирій Владимірычъ готовъ былъ ризы на себѣ разодрать, но опасался, что въ деревнѣ, пожалуй, некому починить ихъ будетъ; Павелъ Владимірычъ, какъ только кончилась «сказка» о благопріобрѣтеніи, сейчасъ же опустился и лицо его приняло прежнее апатичное выраженіе.

— Такъ вотъ я за тѣмъ васъ и призвала,— вновь начала Арина Петровна: — судите вы меня съ нимъ, со злодѣемъ! Какъ вы скажете, такъ и будетъ! Его осудите—онъ будетъ виноватъ, меня осудите—я виновата буду. Только ужъ я себя злодѣю въ обиду не дамъ!—прибавила она совсѣмъ неожиданно.

Порфирій Владимірычъ почувствовалъ, что праздникъ на его улицѣ наступилъ, и разошелся соловьемъ. Но, какъ истинный кровопивецъ, онъ не приступилъ къ дѣлу прямо, а началъ съ околичностей.

— Если вы позволите мнѣ, милый другъ маменька, выразить мое мнѣніе,—сказалъ онъ:—то вотъ оно въ двухъ словахъ: дѣти обязаны повиноваться родителямъ, слѣпо слѣдовать указаніямъ ихъ, покоить ихъ въ старости—вотъ и все. Что такое дѣти, милая маменька? Дѣти—это любящія существа, въ которыхъ все, начиная отъ нихъ самихъ и кончая послѣдней тряпкой, которую они на себѣ имѣютъ,— все принадлежитъ родителямъ. Поэтому родители могутъ судить дѣтей; дѣти же родителей—никогда. Обязанность дѣтей—чтить, а не судить. Вы говорите: «судите меня съ нимъ!» Это великодушно, милая маменька, велли-ко-лѣпно! Но можемъ ли мы безъ страха даже подумать объ этомъ, мы — отъ перваго дня рожденія облагодѣтельствованные вами съ головы до ногъ? Воля ваша, но это будетъ святотатство, а не судъ! Это будетъ такое святотатство, такое святотатство...

— Стой! погоди! Коли ты говоришь, что не можешь меня судить, такъ оправь меня, а его осуди! — прервала его Арина Петровна, которая вслушивалась и никакъ не могла

разгадать: какой такой подвохъ у Порфишки-кровопивца въ головѣ засѣлъ.

— Нѣтъ, голубушка маменька, и этого не могу! Или, лучше сказать, не смѣю и не имѣю права. Ни оправлять, ни обвинять—вообще судить не могу. Вы — мать; вамъ однѣмъ извѣстно, какъ съ нами, вашими дѣтьми, поступать. Заслужили мы — вознаградите насъ, провинились— накажите. Наше дѣло—повиноваться, а не критиковать. Если-бъ вамъ пришлось даже и переступить, въ минуту родительскаго гнѣва, мѣру справедливости — и тутъ мы не смѣемъ роптать, потому что пути Провидѣнія скрыты отъ насъ. Кто знаетъ? Можетъ-быть, это и нужно такъ! Такъ-то и здѣсь: братъ Степанъ поступилъ низко, даже, можно сказать, чернó, во опредѣлить степень возмездія, которое онъ заслуживаетъ за свой проступокъ, можете вы однѣ!

— Стало-быть, ты отказываешься? Выпутывайтесь, молъ, милая маменька, какъ сами знаете!

— Ахъ, маменька, маменька! И не грѣхъ это вамъ! Ахъ-ахъ-ахъ! Я говорю: какъ вамъ угодно рѣшить участь брата Степана, такъ пусть и будетъ, а вы... ахъ, какія вы черныя мысли во мнѣ предполагаете!

— Хорошо. Ну, а ты какъ?—обратилась Арина Петровна къ Павлу Владимірычу.

— Мнѣ что-жъ! Развѣ вы меня послушаетесь?—заговорилъ Павелъ Владимірычъ словно сквозь сонъ, но потомъ неожиданно захрабрился и продолжалъ:—Извѣстно, виноватъ... на куски рвать, въ ступѣ истолочь... Впередъ извѣстно... Мнѣ что-жъ!

Пробормотавши эти безсвязныя слова, онъ остановился и съ разинутымъ ртомъ смотрѣлъ на мать, словно самъ не вѣрилъ ушамъ своимъ.

— Ну, голубчикъ, съ тобой—послѣ!—холодно оборвала его Арина Петровна.—Ты, я вижу, по Стёпкинымъ слѣдамъ идти хочешь... Ахъ, не ошибись, мой другъ! Покаешься послѣ—да поздно будетъ!

— Я что-жъ! Я ничего!.. Я говорю: какъ хотите! Что же тутъ... непочтительнаго? — спассовалъ Павелъ Владимірычъ.

— Послѣ, мой другъ, послѣ съ тобой поговоримъ! Ты думаешь, что офицеръ, такъ и управы на тебя не найдется! Найдется, голубчикъ, ахъ, какъ найдется! Такъ, значитъ, вы оба отъ судбища отказываетесь?

— Я, милая маменька...

— И я тоже. Мнѣ что! По мнѣ, пожалуй, хоть на куски...

— Да замолчи, Христа ради... недобрый ты сынъ! (Арина Петровна понимала, что имѣла право сказать «негодяй», но ради радостнаго свиданія воздержалась). Ну, ежели вы отказываетесь, то приходится мнѣ ужъ собственнымъ судомъ его судить. И вотъ какое мое рѣшеніе будетъ: попробую и еще разъ добромъ съ нимъ поступить; отдѣлю ему папенькину вологодскую деревнюшку, велю тамъ флигелечекъ небольшой поставить—и пусть себѣ живетъ, въ родѣ какъ убогаго, на прокормленіи у крестьянъ!

Хотя Порфирій Владимірычъ и отказался отъ суда надъ братомъ, но великодушіе маменьки такъ поразило его, что онъ никакъ не рѣшился скрыть отъ нея опасныя послѣдствія, которыя влекла за собой сейчасъ высказанная мѣра.

— Маменька!—воскликнулъ онъ:—вы больше, чѣмъ великодушны! Вы видите передъ собой поступокъ... ну, самый низкій, черный поступокъ... и вдругъ все забыто, все прощено! Велли-ко-лѣпно! Но извините меня... боюсь я, голубушка, за васъ! И какъ хотите меня судите, а на вашемъ мѣстѣ... я бы такъ не поступилъ!

— Это почему?

— Не знаю... Можетъ-быть, во мнѣ нѣтъ этого великодушія... этого, такъ сказать, материнскаго чувства... Но все какъ-то сдается: а что ежели братъ Степанъ, по свойственной ему испорченности, и съ этимъ вторымъ вашимъ родительскимъ благословеніемъ поступитъ точно такъ же, какъ и съ первымъ?

Оказалось, однако, что соображеніе это ужъ было въ виду у Арины Петровны, но что въ то же время существовала и другая сокровенная мысль, которую и пришлось теперь высказать.

— Вологодское-то имѣніе вѣдь папенькино, родовое,— процѣдила она сквозь зубы:—рано или поздно все-таки придется ему изъ папенькина имѣнія часть выдѣлять.

— Понимаю я это, милый другъ маменька...

— А коли понимаешь, такъ, стало-быть, понимаешь и то, что, выдѣливши ему вологодскую-то деревню, можно обязательство съ него стребовать, что онъ отъ папеньки отдѣленъ и всѣмъ доволенъ?

— Понимаю и это, голубушка маменька. Большую вы тогда, по добротѣ вашей, ошибку сдѣлали! Надо было тогда, когда вы домъ покупали, — тогда надо было обяза-

тельство съ него взять, что онъ въ папенькино имѣнье не вступщикъ!

— Что̀ дѣлать, не догадалась!

— Тогда онъ, на радостяхъ-то, какую угодно бумагу бы подписалъ! А вы, по добротѣ вашей... Ахъ, какая это ошибка была! Такая ошибка! Такая ошибка!

— «Ахъ» да «ахъ»—ты бы въ ту пору, ахало, ахалъ, какъ время было. Теперь ты все готовъ матери на голову свалить, а чуть коснется до дѣла — тутъ тебя и нѣтъ! А впрочемъ, не о бумагѣ и рѣчь: бумагу, пожалуй, я и теперь сумѣю отъ него вытребовать. Папенька-то не сейчасъ, чай, умретъ, а до тѣхъ поръ балбесу тоже пить-ѣсть надо. Не выдастъ бумаги—можно и на порогъ ему указать: жди папенькиной смерти! Нѣтъ, я все-таки знать желаю: тебѣ не нравится, что я вологодскую деревнюшку хочу ему отдѣлить?

— Промотаетъ онъ ее, голубушка! Домъ промоталъ — и деревню промотаетъ!

— А промотаетъ, такъ пусть на себя и пеняетъ!

— Къ вамъ же вѣдь онъ тогда придетъ!

— Ну, нѣтъ, это—дудки! И на порогъ къ себѣ его не пущу! Не только хлѣба—воды ему, постылому, не вышлю! И люди меня за это не осудятъ, и Богъ не накажетъ. Натко! домъ прожилъ, имѣніе прожилъ—да развѣ я крѣпостная его, чтобы всю жизнь на него одного припасать? Чай, у меня и другія дѣти есть!

— И все-таки къ вамъ онъ придетъ. Наглый вѣдь онъ, голубушка маменька!

— Говорю тебѣ: на порогъ не пущу! Что̀ ты, какъ сорока, заладилъ: «придетъ» да «придетъ»—не пущу!

Арина Петровна умолкла и уставилась глазами въ окно. Она и сама смутно понимала, что вологодская деревнюшка только временно освободитъ ее отъ «постылаго», что, въ концѣ концовъ, онъ все-таки и ее промотаетъ и опять придетъ къ ней, и что, *какъ мать*, она *не можетъ* отказать ему въ углѣ; но мысль, что ея ненавистникъ останется при ней навсегда, что онъ, даже заточенный въ контору, будетъ, словно привидѣніе, ежемгновенно преслѣдовать ея воображеніе—эта мысль до такой степени давила ее, что она невольно всѣмъ тѣломъ вздрагивала.

— Ни за что!—крикнула она, наконецъ, стукнувъ кулакомъ по столу и вскакивая съ кресла.

А Порфирій Владимірычъ смотрѣлъ на милаго друга маменьку и скорбно покачивалъ въ тактъ головою.

— А вѣдь вы, маменька, гнѣваетесь!—наконецъ, произнесъ онъ такимъ умильнымъ голосомъ, словно собирался у маменьки брюшко пощекотать.

— А по-твоему, въ плясъ, что ли, я пуститься должна?

— А-а-ахъ! а что въ Писаніи насчетъ терпѣнья-то сказано? Въ терпѣніи, сказано, стяжите души ваши! Въ терпѣніи—вотъ какъ! Богъ-то, вы думаете, не видитъ? Нѣтъ, Онъ все видитъ, милый другъ маменька! Мы, можетъ-быть, и не подозрѣваемъ ничего, сидимъ вотъ: и такъ прикинемъ, и этакъ примѣримъ, а Онъ тамъ ужъ и рѣшилъ: дай, молъ, пошлю я сей испытаніе! А-а-ахъ! а я-то думалъ, что вы, маменька, пàинька!

Но Арина Петровна очень хорошо поняла, что Порфишка-кровопивецъ только петлю закидываетъ, и потому окончательно разсердилась.

— Шутовку ты, что ли, изъ меня сдѣлать хочешь!—прикрикнула она на него.—Мать объ дѣлѣ говоритъ, а онъ—скоморошничаетъ! Нечего зубы-то мнѣ заговаривать! Сказывай, какая твоя мысль! Въ Головлевѣ, что ли, его, у матери на шеѣ, оставить хочешь?

— Точно такъ, маменька, если милость ваша будетъ. Оставить его на томъ же положеніи, какъ и теперь, да и бумагу насчетъ наслѣдства отъ него вытребовать.

— Такъ... такъ... знала я, что ты это присовѣтуешь. Ну, хорошо. Положимъ, что сдѣлается по-твоему. Какъ ни несносно мнѣ будетъ ненавистника моего всегда подлѣ себя видѣть,—ну, да видно пожалѣть обо мнѣ некому. Молода была — крестъ несла, а старухѣ и подавно отъ креста отказываться не слѣдъ. Допустимъ это, будемъ теперь о другомъ говорить. Покуда мы съ папенькой живы—ну, и онъ будетъ жить въ Головлевѣ, съ голоду не помретъ. А потомъ какъ?

— Маменька! другъ мой! зачѣмъ же черныя мысли?

— Черныя ли, бѣлыя ли — подумать все-таки надо. Не молоденькіе мы. Поколѣемъ оба—что съ нимъ тогда будетъ.

— Маменька! да неужто-жъ вы на насъ, вашихъ дѣтей, не надѣетесь? Въ такихъ ли мы правилахъ вами были воспитаны?

И Порфирій Владимірычъ взглянулъ на нее однимъ изъ тѣхъ загадочныхъ взглядовъ, которые всегда приводили ее въ смущеніе.

«Захидываетъ!»—откликнулось въ душѣ ея.

— Я, маменька, бѣдному-то еще съ большою радостью помогу! Богатому—что! Христосъ съ нимъ! У богатаго и своего довольно! А бѣдный—знаете ли, что Христосъ про бѣднаго-то сказалъ!

Порфирій Владимірычъ всталъ и поцѣловалъ у маменьки ручку.

— Маменька, позвольте мнѣ брату два фунта табаку подарить!—попросилъ онъ.

Арина Петровна не отвѣчала. Она смотрѣла на него и думала: «неужто онъ въ самомъ дѣлѣ такой кровопивецъ, что брата родного на улицу выгонитъ?»

— Ну, дѣлай какъ знаешь! Въ Головлевѣ—такъ въ Головлевѣ ему жить!—наконецъ сказала она.—Окружилъ ты меня кругомъ, опуталъ! Началъ съ того: какъ вамъ, маменька, будетъ угодно, а подъ конецъ заставилъ-таки меня подъ свою дудку плясать! Ну, только слушай ты меня! Ненавистникъ онъ мнѣ, всю жизнь онъ меня казнилъ да позорилъ, а наконецъ и надъ родительскимъ благословеніемъ моимъ надругался, а все-таки если ты его за порогъ выгонишь или въ люди заставишь идти—нѣтъ тебѣ моего благословенія! Нѣтъ, нѣтъ и нѣтъ! Ступайте теперь оба къ нему! Чай, онъ и буркалы-то свои проглядѣлъ, васъ высматривающи!

Сыновья ушли, а Арина Петровна встала и слѣдила, какъ они, ни слова другъ другу не говоря, переходили черезъ красный дворъ къ конторѣ, Порфиша безпрестанно снималъ картузъ и крестился: то на церковь, бѣлѣвшуюся вдали, то на часовню, то на деревянный столбъ, къ которому была прикрѣплена кружка для подаяній. Павлуша, повидимому, не могъ оторвать глазъ отъ своихъ сапоговъ, на кончикѣ которыхъ такъ и переливались лучи солнца.

— И для кого я припасала? Ночей не досыпала, куска не доѣдала... Для кого?—вырвался изъ груди ея вопль.

Братцы уѣхали; Головлевская усадьба запустѣла. Съ усиленною ревностью принялась Арина Петровна за прерванныя хозяйственныя занятія; притихла стукотня поварскихъ ножей на кухнѣ, но зато удвоилась дѣятельность въ конторѣ, въ амбарахъ, кладовыхъ, погребахъ и т. д. Лѣто-припасуха приближалось къ концу; шло варенье, соленье, приготовленіе впрокъ; отовсюду стекались запасы на зиму, изъ всѣхъ вотчинъ возами привозилась бабья натуральная повинность:

сушеные грибы, ягоды, яйца, овощи и проч. Все это мѣрялось, принималось и присовокуплялось къ запасамъ прежнихъ годовъ. Недаромъ у Головлевской барыни была выстроена цѣлая линія погребовъ, кладовыхъ и амбаровъ; всѣ они были полнымъ-полнёхоньки, и не мало было въ нихъ порченаго матеріала, къ которому приступить нельзя было ради гнилого запаха. Весь этотъ матеріалъ сортировался къ концу лѣта, и та часть его, которая оказывалась ненадежною, сдавалась въ застольную.

— Огурчики-то еще хороши, только сверху немножко словно поослизли, припахиваютъ; ну, да ужъ пусть дворовые полакомятся!—говорила Арина Петровна, приказывая отставить то ту, то другую кадку.

Степанъ Владимірычъ удивительно освоился со своимъ новымъ положеніемъ. По временамъ ему до страсти хотѣлось «дерябнуть», «куликнуть» и вообще «закатиться» (у него, какъ увидимъ дальше, были даже деньги для этого), но онъ съ самоотверженіемъ воздерживался, словно разсчитывая, что «самое время» еще не наступило. Теперь онъ былъ ежеминутно занятъ, ибо принималъ живое и суетливое участіе въ процессѣ припасанія, безкорыстно радуясь и печалясь удачамъ и неудачамъ Головлевскаго скопидомства. Въ какомъ-то азартѣ пробирался онъ отъ конторы къ погребамъ, въ одномъ халатѣ, безъ шапки, хоронясь отъ матери позади деревьевъ и всевозможныхъ клѣтушекъ, загромождавшихъ красный дворъ (Арина Петровна, впрочемъ, не разъ замѣчала его въ этомъ видѣ, и закипало-таки ея родительское сердце, чтобъ Степку-балбеса хорошенько осадить, но, по размышленіи, она махнула на него рукой), и тамъ съ лихорадочнымъ нетерпѣніемъ слѣдилъ, какъ разгружались подводы, приносились съ усадьбы банки, бочонки, кадушки, какъ все это сортировалось и, наконецъ, исчезало въ зіяющей безднѣ погребовъ и кладовыхъ. Въ большей части случаевъ онъ оставался доволенъ.

— Сегодня рыжиковъ изъ Дубровина привезли двѣ телѣги—вотъ, братъ, такъ рыжики!—въ восхищеніи сообщалъ онъ земскому.—А мы ужъ думали, что на зиму безъ рыжиковъ останемся! Спасибо, спасибо дубровинцамъ! Молодцы дубровинцы! Выручили!

Или:

— Сегодня мать карасей въ пруду наловить велѣла — ахъ, хороши старики! Больше чѣмъ въ полъ-аршина есть! Должно-быть, мы всю эту недѣлю карасями питаться будемъ!

Иногда, впрочемъ, и печалился.

— Огурчики-то, братъ, нынче не удались! Корявые да съ пятнами—нѣтъ настоящаго огурца, да и шабашъ! Видно, прошлогодними будемъ питаться, а нынѣшніе въ застольную, больше некуда!

Но вообще хозяйственная система Арины Петровны не удовлетворяла его.

— Сколько, братъ, она добра перегноила—страсть! Таскали нынче, таскали: солонину, рыбу, огурцы—все въ застольную велѣла отдать! Развѣ это дѣло? Развѣ расчетъ такимъ образомъ хозяйство вести? Свѣжаго запасу пропасть, а она и не прикоснется къ нему, покуда всей старой гнили не пріѣстъ!

Увѣренность Арины Петровны, что со Степки-балбеса какую угодно бумагу безъ труда стребовать можно, оправдалась вполнѣ. Онъ не только безъ возраженій подписалъ всѣ присланныя ему матерью бумаги, но даже хвастался въ тотъ же вечеръ земскому:

— Сегодня, братъ, я все бумаги подписывалъ. Отказныя все—чистъ теперь! Ни плошки, ни ложки—ничего теперь у меня нѣтъ, да и впредь не предвидится! Успокоилъ старуху!

Съ братьями онъ разстался мирно и былъ въ восторгѣ, что теперь у него цѣлый запасъ табаку. Конечно, онъ не могъ воздержаться, чтобъ не обозвать Порфишу кровопивушкой и Іудушкой, но выраженія эти совершенно незамѣтно утонули въ цѣломъ потокѣ болтовни, къ которой нельзя было уловить ни одной связной мысли. На прощанье братцы расщедрились и даже дали денегъ, при чемъ Порфирій Владимірычъ сопровождалъ свой даръ слѣдующими словами:

— Маслица въ лампадку занадобится или Богу свѣчечку поставить захочется—анъ, деньги-то и есть. Такъ-то, братъ! Живи-ко, братъ, тихо да смирно—и маменька будетъ тобой довольна, и тебѣ будетъ покойно, и всѣмъ намъ весело и радостно. Мать—вѣдь она добрая, другъ!

— Добрая-то добрая,—согласился и Степанъ Владимірычъ:—только вотъ солониной протухлой кормитъ!

— А кто виноватъ? Кто надъ родительскимъ благословеніемъ надругался? Самъ виноватъ, самъ имѣньице-то спустилъ! А имѣньице-то какое было: кругленькое, превыгодное, пречудесное имѣньице! Вотъ кабы ты повелъ себя скромненько да ладненько, ѣлъ бы ты и говядину, и телятину, а не то такъ и соусцу бы приказалъ. И всего

было бы у тебя довольно: и картофельцу, и капустки, и горошку... Такъ ли, братъ, я говорю?

Если-бъ Арина Петровна слышала этотъ діалогъ, навѣрно она не воздержалась бы, чтобъ не сказать: «ну, затарантила таранта!» Но Степка-балбесъ имѣнно тѣмъ и счастливъ былъ, что слухъ его, такъ сказать, не задерживалъ постороннихъ рѣчей. Іудушка могъ говорить сколько угодно и быть вполнѣ увѣреннымъ, что ни одно его слово не достигнетъ по назначенію.

Однимъ словомъ, Степанъ Владимірычъ проводилъ братьевъ дружелюбно и не безъ самодовольства показалъ Якову-земскому двѣ двадцатипятирублевыя бумажки, очутившіяся въ его рукѣ послѣ прощанія.

— Теперь, братъ, мнѣ надолго станетъ!—сказалъ онъ.— Табакъ у насъ есть, чаемъ и сахаромъ мы обезпечены, только вина недоставало—захотимъ, и вино будетъ! Впрочемъ, покуда еще придержусь—времени теперь нѣтъ, на погребъ бѣжать надо! Не присмотри крошечку — мигомъ растащатъ! А видѣла, братъ, она меня, видѣла, вѣдьма, какъ я однажды около застольной по стѣнкѣ пробирался! Стоитъ это у окна, смотритъ, чай, на меня да думаетъ: «то-то я огурцовъ не досчитываюсь,—анъ вотъ оно что».

Но вотъ, наконецъ, и октябрь на дворѣ; полились дожди; улица почернѣла и сдѣлалась непроходимою. Степану Владимірычу некуда было выйти, потому что на ногахъ у него были заношенные папенькины туфли, на плечахъ старый папенькинъ халатъ. Безвыходно сидѣлъ онъ у окна въ своей комнатѣ и сквозь двойныя рамы смотрѣлъ на крестьянскій поселокъ, утонувшій въ грязи. Тамъ, среди сѣрыхъ испареній осени, словно черныя точки, проворно мелькали люди, которыхъ не успѣла сломить лѣтняя страда. Страда не прекращалась, а только получила новую обстановку, въ которой лѣтніе ликующіе тоны замѣнились непрерывающимися осенними сумерками. Овины курились за полночь; стукъ цѣповъ унылою дробью разносился по всей окрестности. Въ барскихъ ригахъ тоже шла молотьба и въ конторѣ поговаривали, что врядъ ли ближе масляницы управиться со всей массой господскаго хлѣба. Все глядѣло сумрачно, сонно, все говорило объ угнетеніи. Двери конторы уже не были отперты настежь, какъ лѣтомъ, и въ самомъ ея помѣщеніи плавалъ сизый туманъ отъ испареній мокрыхъ полушубковъ.

Трудно сказать, какое впечатлѣніе производила на Сте-

пана Владимірыча картина трудовой деревенской осени, и даже сознавалъ ли онъ въ ней страду, продолжающуюся среди мѣсива грязи, подъ непрерывнымъ ливнемъ дождя; но достовѣрно, что сѣрое, вѣчно слезящееся небо осени давило его. Казалось, что оно виситъ непосредственно надъ его головой и грозитъ утопить его въ развернувшихся хлябяхъ земли. У него не было другого дѣла, какъ смотрѣть въ окно и слѣдить за грузными массами облаковъ. Съ утра, чуть брезжилъ свѣтъ, ужъ весь горизонтъ былъ сплошь обложенъ ими; облака стояли словно застывшія, очарованныя; проходилъ часъ, другой, третій, а они все стояли на одномъ мѣстѣ и даже незамѣтно было ни малѣйшей перемѣны ни въ колерѣ, ни въ очертаніяхъ ихъ. Вотъ это облако, что̀ пониже и почернѣе другихъ: и давеча оно имѣло разорванную форму (точно попъ въ рясѣ съ распростертыми врозь руками), отчетливо выступавшую на бѣлесоватомъ фонѣ верхнихъ облаковъ,—и теперь, въ полдень, сохранило ту же форму. Правая рука, правда, покороче сдѣлалась, зато лѣвая безобразно вытянулась, и льетъ изъ нея, льетъ такъ, что даже на темномъ фонѣ неба обозначилась еще болѣе темная, почти черная полоса. Вонъ и еще облако подальше: и давеча оно громаднымъ косматымъ кòмомъ висѣло надъ сосѣдней деревней Нагловкой и, казалось, угрожало задушить ее—и теперь тѣмъ же косматымъ кòмомъ на томъ же мѣстѣ виситъ, а лапы книзу протянуло, словно вотъ-вотъ спрыгнуть хочетъ. Облака, облака и облака—такъ весь день. Часовъ около пяти послѣ обѣда совершается метаморфоза: окрестность постепенно заволакивается, заволакивается и, наконецъ, совсѣмъ пропадаетъ. Сначала облака исчезнутъ и всѣ затянутся безразличной черной пеленою; потомъ куда-то пропадетъ лѣсъ и Нагловка; за нею утонетъ церковь, часовня, ближній крестьянскій поселокъ, фруктовый садъ, и только глазъ, пристально слѣдящій за процессомъ этихъ таинственныхъ исчезновеній, еще можетъ различать стоящую въ нѣсколькихъ саженяхъ барскую усадьбу. Въ комнатѣ ужъ совсѣмъ темно; въ конторѣ еще сумерничаютъ, не зажигаютъ огня; остается только ходить, ходить, ходить безъ конца. Болѣзненная истома сковываетъ умъ; во всемъ организмѣ, несмотря на бездѣятельность, чувствуется безпричинное, невыразимое утомленіе; одна только мысль мечется, сосетъ и давитъ—и эта мысль: гробъ! гробъ! гробъ! Вотъ эти точки, что̀ давеча мелькали на темномъ фонѣ грязи, около деревенскихъ гуменъ,—ихъ

эта мысль не гнететъ, и онѣ не погибнутъ подъ бременемъ унынія и истомы: онѣ ежели и не борются прямо съ небомъ, то по крайней мѣрѣ барахтаются, что-то устраиваютъ, ограждаютъ, ухичиваютъ. Стоитъ ли ограждать и ухичивать то, надъ устройствомъ чего онѣ день и ночь выбиваются изъ силъ—это не приходило ему на умъ; но онъ сознавалъ, что даже и эти безыменныя точки стоятъ неизмѣримо выше его, что онъ и барахтаться не можетъ, что ему нечего ни ограждать, ни ухичивать.

Вечера онъ проводилъ въ конторѣ, потому что Арина Петровна попрежнему не отпускала для него свѣчей. Нѣсколько разъ просилъ онъ черезъ бурмистра, чтобъ прислали ему сапоги и полушубокъ, но получилъ отвѣтъ, что сапоговъ для него не припасено, а вотъ наступятъ заморозки, то будутъ ему выданы валенки. Очевидно, Арина Петровна намѣревалась буквально выполнить свою программу; содержать постылаго въ такой мѣрѣ, чтобъ онъ только не умеръ съ голоду. Сначала онъ ругалъ мать, но потомъ словно забылъ о ней; сначала онъ что-то припоминалъ, потомъ переставалъ и припоминать. Даже свѣтъ свѣчей, зажженныхъ въ конторѣ, и тотъ опостылѣлъ ему, и онъ затворялся въ своей комнатѣ, чтобъ остаться одинъ-на-одинъ съ темнотою. Впереди у него былъ только одинъ рессурсъ, котораго онъ покуда еще боялся, но который съ неудержимою силой тянулъ его къ себѣ. Этотъ рессурсъ—напиться и позабыть. Позабыть глубоко, безвозвратно, окунуться въ волну забвенія до того, чтобъ и выкарабкаться изъ нея было нельзя. Все увлекало его въ эту сторону: и буйныя привычки прошлаго, и насильственная бездѣятельность настоящаго, и больной организмъ съ удушливымъ кашлемъ, съ несносною, ничѣмъ не вызываемою одышкой, съ постоянно усиливающимися колотьями сердца. Наконецъ, онъ не выдержалъ.

— Сегодня, братъ, надо ночью штофъ припасти,—сказалъ онъ однажды земскому голосомъ, не предвѣщавшимъ ничего добраго.

Сегодняшній штофъ привелъ за собой цѣлый послѣдовательный рядъ новыхъ, и съ этихъ поръ онъ аккуратно каждую ночь напивался. Въ девять часовъ, когда въ конторѣ гасили свѣтъ и люди расходились по своимъ логовищамъ, онъ ставилъ на столъ припасенный штофъ съ водкой и ломоть чернаго хлѣба, густо посыпанный солью. Не *сразу* приступалъ онъ къ водкѣ, а словно подкрадывался

къ ней. Кругомъ все засыпало мертвымъ сномъ; только мыши скреблись за отставшими отъ стѣнъ обоями да часы назойливо чикали въ конторѣ. Снявши халатъ, въ одной рубашкѣ, сновалъ онъ взадъ и впередъ по жарко натопленной комнатѣ, по временамъ останавливался, подходилъ къ столу, нашаривалъ въ темнотѣ штофъ и вновь принимался за ходьбу. Первыя рюмки онъ выпивалъ съ прибаутками, сладострастно всасывая въ себя жгучую влагу; но мало-по-малу біеніе сердца учащалось, голова загоралась и языкъ начиналъ бормотать что-то несвязное. Притупленное воображеніе силилось создать какіе-то образы, помертвѣлая память пробовала прорваться въ область прошлаго; но образы выходили разорванные, безсмысленные, а прошлое не откликалось ни единымъ воспоминаніемъ, ни горькимъ, ни свѣтлымъ, словно между нимъ и настоящей минутой разъ навсегда встала плотная стѣна. Передъ нимъ было только настоящее въ формѣ наглухо запертой тюрьмы, въ которой безслѣдно потонула и идея пространства, и идея времени. Комната, печь, три окна въ наружной стѣнѣ, деревянная скрипучая кровать и на ней тонкій, притоптанный тюфякъ, столъ съ стоящимъ на немъ штофомъ—ни до какихъ другихъ горизонтовъ мысль не додумывалась. Но по мѣрѣ того, какъ убывало содержаніе штофа, по мѣрѣ того, какъ голова распалялась, даже и это скудное чувство настоящаго становилось не подъ силу. Бормотанье, имѣвшее вначалѣ хоть какую-нибудь форму, окончательно разлагалось; зрачки глазъ, усиливаясь различить очертанія тьмы, безмѣрно расширялись; самая тьма, наконецъ, исчезала и взамѣнъ ея являлось пространство, наполненное фосфорическимъ блескомъ. Это была безконечная пустота, мертвая, не откликающаяся ни единымъ жизненнымъ звукомъ, зловѣще-лучезарная. Она слѣдовала за нимъ по пятамъ, за каждымъ оборотомъ его шаговъ. Ни стѣнъ, ни оконъ—ничего не существовало; одна безгранично тянущаяся, свѣтящаяся пустота. Ему становилось страшно; ему нужно было заморить въ себѣ чувство дѣйствительности до такой степени, чтобъ даже пустоты этой не было. Еще нѣсколько усилій—и онъ былъ у цѣли. Спотыкающіяся ноги изъ стороны въ сторону носили онѣмѣвшее тѣло, грудь издавала не бормотанье, а крикъ; самое существованіе какъ бы прекращалось. Наступало то странное оцѣпенѣніе, которое, нося на себѣ всѣ признаки отсутствія сознательной жизни, вмѣстѣ съ тѣмъ несомнѣнно

указывало на присутствіе какой-то особенной жизни, развивавшейся независимо отъ какихъ бы то ни было условій. Стоны за стонами вырывались изъ груди, нимало не нарушая сна; органическій недугъ продолжалъ свою разъѣдающую работу, не причиняя, повидимому, физическихъ болей.

Утромъ онъ просыпался со свѣтомъ, и вмѣстѣ съ нимъ просыпались тоска, отвращеніе, ненависть. Ненависть безъ протеста, ничѣмъ необусловленная, ненависть къ чему-то неопредѣленному, не имѣющему образа. Воспаленные глаза безсмысленно останавливаются то на одномъ, то на другомъ предметѣ и долго, и пристально смотрятъ; руки и ноги дрожатъ; сердце то замретъ, словно внизъ покатится, то начнетъ колотить съ такою силой, что рука невольно хватается за грудь. Ни одной мысли, ни одного желанія. Передъ глазами печка, и мысль до того переполняется этимъ представленіемъ, что не принимаетъ никакихъ другихъ впечатлѣній. Потомъ окно замѣнило печку, окно, окно, окно... Не нужно ничего; ничего, ничего не нужно. Трубка набивается и закуривается машинально и недокуренная опять выпадаетъ изъ рукъ; языкъ что-то бормочетъ, но, очевидно, только по привычкѣ. Самое лучшее: сидѣть и молчать и смотрѣть въ одну точку. Хорошо бы опохмелиться въ такую минуту; хорошо бы настолько поднять температуру организма, чтобы хотя на короткое время ощутить присутствіе жизни, но днемъ ни за какія деньги нельзя достать водки. Нужно дожидаться ночи, чтобы опять дорваться до тѣхъ блаженныхъ минутъ, когда земля исчезаетъ изъ-подъ ногъ и вмѣсто четырехъ постылыхъ стѣнъ передъ глазами открывается безпредѣльная свѣтящаяся пустота.

Арина Петровна не имѣла ни малѣйшаго понятія о томъ, какъ «балбесъ» проводитъ время въ конторѣ. Случайный проблескъ чувства, мелькнувшій-было въ разговорѣ съ кровопивцемъ Порфишей, погасъ мгновенно, такъ что она и не замѣтила. Съ ея стороны не было даже систематическаго образа дѣйствія, а было простое забвеніе. Она совсѣмъ потеряла изъ вида, что подлѣ нея, въ конторѣ, живетъ существо, связанное съ нею кровными узами, существо, которое, быть-можетъ, изнываетъ въ тоскѣ по жизни. Какъ сама она, разъ войдя въ колею жизни, почти машинально наполняла ее однимъ и тѣмъ же содержаніемъ, такъ, по мнѣнію ея, должны были поступать и другіе. Ей

не приходило на мысль, что самый характеръ жизненнаго содержанія измѣняется сообразно съ множествомъ условій, такъ или иначе сложившихся, и что, наконецъ, для однихъ (въ томъ числѣ для нея) содержаніе это представляетъ нѣчто излюбленное, а для другихъ — постылое и невольное. Поэтому хотя бурмистръ неоднократно докладывалъ ей, что Степанъ Владиміровичъ «нехорошъ», но доклады эти проскальзывали мимо ушей, не оставляя въ ея умѣ никакого впечатлѣнія. Много-много если она отвѣчала на нихъ стереотипною фразой:

— Небось, отдышится, еще насъ съ тобой переживетъ! Что ему, жеребцу долговязому, дѣлается! Кашляетъ! Иной сряду тридцать лѣтъ кашляетъ, и все равно что съ гуся вода!

Тѣмъ не менѣе, когда ей однажды утромъ доложили, что Степанъ Владимірычъ ночью исчезъ изъ Головлева, она вдругъ пришла въ себя. Немедленно разослала весь домъ на поиски и лично приступила къ слѣдствію, начавъ съ осмотра комнаты, въ которой жилъ постылый. Первое, что поразило ее, это стоящій на столѣ штофъ, на днѣ котораго еще плескалось немного жидкости, и который впопыхахъ не догадались убрать.

— Это что?—спросила она, какъ бы не понимая.

— Стало-быть... занимались!—отвѣчалъ, заминаясь, бурмистръ.

— Кто доставалъ?—начала-было она, но потомъ спохватилась и, затаивъ свой гнѣвъ, продолжала осмотръ.

Комната была грязна, черна, заслякощена такъ, что даже ей, не знавшей и не признававшей никакихъ требованій комфорта, сдѣлалось неловко. Потолокъ былъ закопченъ, обои на стѣнахъ треснули и во многихъ мѣстахъ висѣли клочьями; подоконники чернѣли подъ густымъ слоемъ табачной золы; подушки валялись на полу, покрытомъ липкою грязью; на кровати лежала скомканная простыня, вся сѣрая отъ насѣвшихъ на нее нечистотъ. Въ одномъ окнѣ зимняя рама была выставлена или, лучше сказать, выдрана, и самое окно оставлено пріотвореннымъ: этимъ путемъ, очевидно, и исчезъ постылый. Арина Петровна инстинктивно взглянула на улицу и перепугалась еще больше. На дворѣ стоялъ уже ноябрь въ началѣ, но осень въ этотъ годъ была особенно продолжительна, и морозы еще не наступали. И дорога, и поля—все стояло черное, размокшее, невылазное. Какъ онъ прошелъ? Куда? И тутъ же ей вспомнилось, что на немъ ничего не было, кромѣ ха-

лата да туфель, изъ которыхъ одна была найдена подъ окномъ, и что всю прошлую ночь, какъ на грѣхъ, не переставаючи шелъ дождь.

— Давненько-таки я у васъ здѣсь, голубчики, не бывала! — молвила она, вдыхая въ себя вмѣсто воздуха какую-то отвратительную смѣсь сивухи, тютюна и прокислыхъ овчинъ.

Весь день, покуда люди шарили по лѣсу, она простояла у окна, съ тупымъ вниманіемъ вглядываясь въ обнаженную даль. Изъ-за балбеса да такая кутерьма! Ей казалось, что это какой-то нелѣпый сонъ. Говорила тогда, что надо его въ вологодскую деревню сослать—такъ нѣтъ, лебезитъ проклятый Іудушка: «оставьте, маменька, въ Головлевѣ!» — вотъ и купайся теперь съ нимъ! Жилъ бы онъ тамъ заглазно, какъ хотѣлъ—и Христосъ бы съ нимъ! Свое дѣло сдѣлала: одинъ кусокъ промоталъ — другой выбросила! А другой бы промоталъ — ну, и не погнѣвайся, батюшка! Богъ—и тотъ на несытую утробу не напасется! И все бы у насъ было смирно да мирно, а теперь—лёгко ли штуку какую удралъ! Ищи его по лѣсу да свищи! Хорошо еще, какъ живого въ домъ привезутъ — вѣдь съ пьяныхъ-то глазъ и въ петлю угодить недолго! Взялъ веревку, зацѣпилъ за сукъ, обмоталъ кругомъ шеи, да и былъ таковъ! Мать ночей не досыпала, куска не доѣдала, а онъ, натко, какую моду выдумалъ — вѣшаться вздумалъ! И добро бы худо ему было, ѣсть-пить бы не давали, работой бы изнуряли, а то слонялся цѣлый день взадъ и впередъ по комнатѣ, какъ оглашенный, ѣлъ да пилъ, ѣлъ да пилъ! Другой бы не зналъ, чѣмъ мать отблагодарить, а онъ вѣшаться вздумалъ — вотъ такъ одолжилъ сынокъ любезный!

Но на этотъ разъ предположенія Арины Петровны относительно насильственной смерти балбеса не оправдались. Къ вечеру въ виду Головлева показалась кибитка, запряженная парой крестьянскихъ лошадей, и подвезла бѣглеца къ конторѣ. Онъ находился въ полубезчувственномъ состояніи, весь избитый, порѣзанный, съ посинѣлымъ и распухшимъ лицомъ. Оказалось, что за ночь онъ дошелъ до Дубровинской усадьбы, отстоявшей въ двадцати верстахъ отъ Головлева.

Цѣлыя сутки послѣ того онъ проспалъ, на другія- проснулся. По обыкновенію онъ началъ шагать взадъ и впередъ по комнатѣ, но къ трубкѣ не прикоснулся, словно

позабылъ, и на всѣ вопросы не проронилъ ни одного слова. Съ своей стороны Арина Петровна настолько восчувствовала, что чуть было не приказала перевести его изъ конторы въ барскій домъ, но потомъ успокоилась и опять оставила балбеса въ конторѣ, приказавши вымыть и почистить его комнату, перемѣнить постельное бѣлье, повѣсить на окнахъ шторы и проч. На другой день, вечеромъ, когда ей доложили, что Степанъ Владимірычъ проснулся, она велѣла позвать его въ домъ къ чаю и даже отыскала ласковые тоны для объясненія съ нимъ:

— Ты куда-жъ это отъ матери уходилъ?—начала она.— Знаешь ли, какъ ты мать-то обезпокоилъ? Хорошо еще, что папенька ни объ чемъ не узналъ—каково бы ему было при его-то положеніи?

Но Степанъ Владимірычъ, повидимому, остался равнодушнымъ къ материнской ласкѣ и уставился неподвижными, стеклянными глазами на сальную свѣчку, какъ бы слѣдя за нагаромъ, который постепенно образовывался на фитилѣ.

— Ахъ, дурачокъ, дурачокъ!— продолжала Арина Петровна все ласковѣе и ласковѣе.—Хотя бы ты подумалъ, какая черезъ тебя про мать слава пойдетъ! Вѣдь завистниковъ-то у ней — слава Богу! И нивѣсть что наплетутъ! Скажутъ, что и не кормила-то, и не одѣвала-то... Ахъ, дурачокъ, дурачокъ!

То же молчаніе и тотъ же неподвижный, безсмысленно-устремленный въ одну точку взоръ.

— И чѣмъ тебѣ худо у матери стало? Одѣтъ ты и сытъ— слава Богу! И теплѣхонько тебѣ, и хорошохонько... Чего бы, кажется, искать! Скучно тебѣ, такъ не прогнѣвайся, другъ мой,—на то и деревня! Веселіевъ да баловъ у насъ нѣтъ — и всѣ сидимъ по угламъ да скучаемъ! Вотъ я и рада была бы поплясать да пѣсни попѣть, анъ, посмотришь на улицу—и въ церковь-то Божію въ этакую мокреть ѣхать охоты нѣтъ!

Арина Петровна остановилась, въ ожиданіи, что балбесъ хоть что-нибудь промычитъ; но балбесъ словно окаменѣлъ. Сердце мало-по-малу закипаетъ въ ней, но она все еще сдерживается.

— А ежели ты чѣмъ недоволенъ былъ — кушанья, можетъ-быть, недостало, или изъ бѣлья тамъ—развѣ не могъ ты матери откровенно объяснить? Маменька, молъ, душенька, прикажите печеночки или тамъ ватрушечки изго-

товить- неужто мать въ кускѣ-то отказала бы тебѣ? Или вотъ хоть бы и винца — ну, захотѣлось тебѣ винца, ну, и Христосъ съ тобой! Рюмка, двѣ рюмки — неужто матери жалко? А то натко: у раба попросить не стыдно, а матери слово молвить тяжело!

Но напрасны были всѣ льстивыя слова: Степанъ Владимірычъ не только не расчувствовался (Арина Петровна надѣялась, что онъ ручку у нея поцѣлуетъ) и не обнаружилъ раскаянія, но даже какъ-будто ничего не слыхалъ.

Съ этихъ поръ онъ безусловно замолчалъ. По цѣлымъ днямъ ходилъ по комнатѣ, наморщивъ угрюмо лобъ, шевеля губами и не чувствуя усталости. Временами останавливался, какъ бы желая что-то выразить, но не находилъ слова. Повидимому, онъ не утратилъ способности мыслить; но впечатлѣнія такъ слабо задерживались въ его мозгу, что онъ тотчасъ же забывалъ ихъ. Поэтому неудача въ отысканіи нужнаго слова не вызывала въ немъ даже нетерпѣнія. Арина Петровна съ своей стороны думала, что онъ непремѣнно подожжетъ усадьбу.

— Цѣлый день молчитъ!—говорила она.—Вѣдь думаетъ же, балбесъ, объ чемъ-нибудь, покуда молчитъ! Вотъ помяните мое слово, ежели онъ усадьбы не спалитъ!

Но балбесъ просто совсѣмъ не думалъ. Казалось, онъ весь погрузился въ безразсвѣтную мглу, въ которой нѣтъ мѣста не только для дѣйствительности, но и для фантазіи. Мозгъ его вырабатывалъ нѣчто, но это нѣчто не имѣло отношенія ни къ прошедшему, ни къ настоящему, ни къ будущему. Словно черное облако окутало его съ головы до ногъ, и онъ всматривался въ него, въ него одного, слѣдилъ за его воображаемыми колебаніями и по временамъ вздрагивалъ и словно оборонялся отъ него. Въ этомъ загадочномъ облакѣ потонулъ для него весь физическій и умственный міръ...

Въ декабрѣ того же года Порфирій Владимірычъ получилъ отъ Арины Петровны письмо слѣдующаго содержанія:

«Вчера утромъ постигло насъ новое, ниспосланное отъ Господа, испытаніе: сынъ мой, а твой братъ, Степанъ, скончался. Еще съ вечера наканунѣ былъ здоровъ совершенно и даже поужиналъ, а на утро найденъ въ постели мертвымъ — такова сей жизни скоротечность! И что всего для материнскаго сердца прискорбнѣе: такъ, безъ напутствія, и оставилъ сей суетный міръ, дабы устремиться въ область неизвѣстнаго.

«Сіе да послужитъ намъ всѣмъ урокомъ: кто семейными узами небрежетъ—всегда долженъ для себя такового конца ожидать. И неудачи въ сей жизни, и напрасная смерть, и вѣчныя мученія въ жизни слѣдующей—все изъ сего источника происходитъ. Ибо, какъ бы мы ни были высокоумны и даже знатны, но ежели родителей не почитаемъ, то оные какъ разъ и высокоуміе и знатность нашу въ ничто обратятъ. Таковы правила, кои всякій живущій въ семъ мірѣ человѣкъ затвердить долженъ, а рабы, сверхъ того, обязаны почитать господъ.

«Впрочемъ, несмотря на сіе, всѣ почести отшедшему въ вѣчность были отданы сполна, яко сыну. Покровъ изъ Москвы выписали, а погребеніе совершалъ извѣстный тебѣ отецъ-архимандритъ соборне. Сорокоусты же и поминовенія и по днесь совершаются, какъ слѣдуетъ, по-христіанскому обычаю. Жаль сына, но роптать не смѣю, и вамъ, дѣти мои, не совѣтую. Ибо кто можетъ сіе знать? — мы здѣсь ропщемъ, а его душа въ горнихъ увеселяется!»

II.—По-родственному.

Жаркій іюльскій полдень. На Дубровинской барской усадьбѣ словно все вымерло. Не только досужіе, но рабочіе люди разбрелись по угламъ и улеглись въ тѣнь. Собаки раскинулись подъ навѣсомъ громадной ивы, стоящей посреди краснаго двора, и слышно, какъ онѣ хлопаютъ зубами, ловя въ полуснѣ мухъ. Даже деревья стоятъ понурыя и неподвижныя, точно замученныя. Всѣ окна, какъ въ барскомъ домѣ, такъ и въ людскихъ, отворены настежь. Жаръ такъ и окачиваетъ сверху горячей волной; земля, покрытая коротенькой, опаленной травою, пылаетъ; нестерпимый свѣтъ, словно золотистою дымкой, задернулъ окрестность, такъ что съ трудомъ можно различать предметы. И барскій домъ, когда-то выкрашенный сѣрой краской, а теперь побѣлѣвшій, и маленькій палисадникъ передъ домомъ, и березовая роща, отдѣленная отъ усадьбы проѣзжей дорогой, и прудъ, и крестьянскій поселокъ, и ржаное поле, начинающееся сейчасъ за околицей,—все тонетъ въ свѣтящейся мглѣ. Всякіе запахи, начиная съ благоуханій цвѣтущихъ липъ и кончая міазмами скотнаго двора, густою массой стоятъ въ воздухѣ. Ни звука. Только съ кухни доносится дробное отбиваніе поварскихъ ножей, предвѣщающее неизмѣнную окрошку и битки за обѣдомъ.

Внутри господскаго дома царствуетъ безшумная тревога.

Старуха-барыня и двѣ молодыя дѣвушки сидятъ въ столовой и, не притрогиваясь къ вязанью, брошенному на столѣ, словно застыли въ ожиданіи. Въ дѣвичьей двѣ женщины занимаются приготовленіемъ горчичниковъ и примочекъ, и мѣрное звяканье ложекъ, подобно крику сверчка, прорѣзывается сквозь общее оцѣпенѣніе. Въ коридорѣ осторожно двигаются дѣвчонки на босу ногу, перебѣгая по лѣстницѣ изъ антресолей въ дѣвичью и обратно. По временамъ сверху раздается крикъ: «что-жъ горчичники! Заснули? а?» — и вслѣдъ затѣмъ стрѣлой промчится дѣвчонка изъ дѣвичьей. Наконецъ, слышится скрипъ тяжелыхъ шаговъ по лѣстницѣ, и въ столовую входитъ полковой докторъ. Докторъ—человѣкъ высокій, широкоплечій, съ крѣпкими, румяными щеками, которыя такъ и прыщутъ здоровьемъ. Голосъ у него звонкій, походка твердая, глаза свѣтлые и веселые, губы полныя, сочныя, видъ открытый. Это — жуиръ въ полномъ смыслѣ слова, несмотря на свои пятьдесятъ лѣтъ,—жуиръ, который и прежде не отступалъ, и долго еще не отступитъ ни передъ какой попойкой, ни передъ какимъ объяденіемъ. Одѣтъ по-лѣтнему, щеголемъ, въ пикейный сюртучокъ необычайной бѣлизны, украшенный свѣтлыми гербовыми пуговицами. Онъ входитъ, причмокивая губами и присасывая языкомъ.

— Вотъ что, голубушка, принеси-ка ты намъ водочки да закусить что-нибудь!—отдаетъ онъ приказаніе, останавливаясь въ дверяхъ, ведущихъ въ коридоръ.

— Ну, что? какъ?—тревожно спрашиваетъ старуха-барыня.

— У Бога милостей безъ конца, Арина Петровна!—отвѣчаетъ докторъ.

— Какъ же это? Стало-быть...

— Да такъ же. Денька два-три протянетъ, а потомъ—шабашъ!

Докторъ дѣлаетъ многозначительный жестъ рукою и въ полголоса мурлыкаетъ: — «*Кувыркомъ, кувыркомъ, ку-выр-комъ по-ле-титъ*».

— Какъ же это такъ? Лѣчили-лѣчили доктора—и вдругъ!

— Какіе доктора?

— Земскій нашъ да вотъ городовой пріѣзжалъ.

— Доктора! Кабы ему мѣсяцъ назадъ заволоку здоровенную соорудить—былъ бы живъ!

— Неужто-жъ такъ-таки ничего и нельзя?

— Сказалъ: у Бога милостей много, а больше ничего прибавить не могу.

— А можетъ-быть, и подѣйствуетъ?

— Что подѣйствуетъ?

— А вотъ, что теперь... горчичники эти...

— Можетъ быть-съ.

Женщина въ черномъ платьѣ и въ черномъ платкѣ приноситъ подносъ, на которомъ стоитъ графинъ съ водкой и двѣ тарелки—съ колбасой и икрой. При появленіи ея разговоръ смолкаетъ. Докторъ наливаетъ рюмку, высматриваетъ ее на свѣтъ и щелкаетъ языкомъ.

— За ваше здоровье, маменька! — говоритъ онъ, обращаясь къ старухѣ-барынѣ и проглатывая водку.

— На здоровье, батюшка!

— Вотъ отъ этого самаго Павелъ Владимірычъ и погибаетъ въ цвѣтѣ лѣтъ—отъ водки отъ этой!—говоритъ докторъ, пріятно морщась и тыкая вилкой въ кружокъ колбасы.

— Да, много черезъ нее людей пропадаетъ.

— Не всякій эту жидкость вмѣстить можетъ—оттого! А такъ какъ мы вмѣстить можемъ, то и повторимъ! Ваше здоровье, сударыня!

— Кушайте, кушайте! Вамъ—ничего!

— Мнѣ—ничего! У меня и легкія, и почки, и печенка, и селезенка—все въ исправности! Да, бишь, вотъ что! — обращается онъ къ женщинѣ въ черномъ платьѣ, которая пріостановилась у дверей, словно прислушиваясь къ барскому разговору.—Что у васъ нынче къ обѣду готовлено?

— Окрошка, да битки, да цыплята на жаркое, — отвѣчаетъ женщина, какъ-то кисло улыбаясь.

— А рыба соленая у васъ есть?

— Какъ, сударь, рыбы не быть! Осетрина есть, севрюжина... Найдется рыбы довольно!

— Такъ скомандуй ты намъ къ обѣду ботвиньи съ осетринкой... звенышко, знаешь, да пожирнѣе! Какъ тебя: Улитушкой, что ли, звать?

— Улитой, сударь, люди зовутъ.

— Ну, такъ живо, Улитушка, живо!

Улитушка уходитъ; на минуту водворяется тяжелое молчаніе. Арина Петровна встаетъ съ своего мѣста и высматриваетъ въ дверь, точно ли Улитушка ушла.

— Насчетъ сиротокъ-то говорили ли вы ему, Андрей Осипычъ?—спрашиваетъ она доктора.

— Разговаривалъ-съ.

— Ну, и что-жъ?

— Все одно и то же-съ. «Вотъ какъ выздоровѣю, говоритъ, непремѣнно и духовную, и векселя напишу».

Молчаніе, еще болѣе тяжелое, водворяется въ комнатѣ. Дѣвицы берутъ со стола канвовыя работы, и руки ихъ съ замѣтной дрожью выдѣлываютъ шовъ за швомъ; Арина Петровна какъ-то безнадежно вздыхаетъ; докторъ ходитъ по комнатѣ и насвистываетъ «*кувыркомъ, ку-вы-ы-ркомъ*».

— Да вы бы хорошенько ему сказали!

— Чего еще лучше: подлецъ, говорю, будешь, ежели сиротъ не обезпечишь. Да, мамашечка, опростоволосились вы! Кабы мѣсяцъ тому назадъ вы меня позвали, я бы и заволоку ему соорудилъ, да и насчетъ духовной постарался бы... А теперь все Іудушкѣ, законному наслѣднику, достанется... Непремѣнно!

— Бабушка! что-жъ это такое будетъ! — почти сквозь слезы жалуется старшая изъ дѣвицъ. — Что-жъ это дядя съ нами дѣлаетъ!

— Не знаю, милая, не знаю. Вотъ даже насчетъ себя не знаю. Сегодня—здѣсь, а завтра—ужъ и не знаю гдѣ... Можетъ-быть, Богъ приведетъ гдѣ-нибудь въ сарайчикѣ ноневать, а можетъ-быть, и у мужичка въ избѣ!

— Господи, какой этотъ дядя глупый!—восклицаетъ младшая изъ дѣвицъ.

— А вы бы, молодая особа, язычокъ-то на привязи придержали!—замѣчаетъ докторъ и, обращаясь къ Аринѣ Петровнѣ, прибавляетъ: — Да что же вы сами, мамашечка? Сами бы уговорить его попробовали!

— Нѣтъ, нѣтъ, нѣтъ! Не хочетъ! Даже видѣть меня не хочетъ! Намеднись сунулась-было я къ нему: «напутствовать, что ли, меня пришли?» говоритъ.

— Я думаю, что это все больше Улитушка... Она его противъ васъ настраиваетъ.

— Она! именно она! И все Порфишкѣ-кровопивцу передаетъ! Сказываютъ, что у него и лошади въ хомутахъ цѣлый день стоятъ, на случай, ежели братъ отходить начнетъ! И представьте, на-дняхъ она даже мебель, вещи, посуду—все переписала: на случай, дескать, чтобы не пропало чего! Это она насъ-то, насъ-то воровками представить хочетъ!

— А вы бы ее по-военному... Кувыркомъ, знаете, кувыркомъ...

Но не успѣлъ докторъ развить свою мысль, какъ въ

комнату вбѣжала вся запыхавшаяся дѣвчонка и испуганнымъ голосомъ крикнула:

— Къ барину! Доктора баринъ требуетъ!

Семейство, которое выступаетъ на сцену въ настоящемъ разсказѣ, уже знакомо намъ. Старуха-барыня—не кто иная, какъ Арина Петровна Головлева; умирающій владѣлецъ Дубровинской усадьбы—ея сынъ, Павелъ Владимірычъ; наконецъ, двѣ дѣвушки: Аннинька и Любинька—дочери покойной Анны Владиміровны Улановой, той самой, которой нѣкогда Арина Петровна «выбросила кусокъ». Прошло не больше десяти лѣтъ съ тѣхъ поръ, какъ мы видѣли ихъ, а положеніе дѣйствующихъ лицъ до того измѣнились, что не осталось и слѣда тѣхъ искусственныхъ связей, благодаря которымъ Головлевская семья представлялась чѣмъ-то въ родѣ неприступной крѣпости. Семейная твердыня, воздвигнутая неутомимыми руками Арины Петровны, рухнула, но рухнула до того незамѣтно, что она сама, не понимая, какъ это случилось, сдѣлалась соучастницею и даже явнымъ двигателемъ этого разрушенія, настоящею душою котораго былъ, разумѣется, Порфишка-кровопивецъ.

Изъ безконтрольной и бранчивой обладательницы Головлевскихъ имѣній Арина Петровна сдѣлалась скромною приживалкою въ домѣ младшаго сына, приживалкою праздною и не имѣющею никакого голоса въ хозяйственныхъ распоряженіямъ. Голова ея поникла, спина сгорбилась, глаза потухли, поступь сдѣлалась вялою, порывистость движеній пропала. Отъ нечего-дѣлать она научилась, на старости лѣтъ, вязанію, но и оно не спорится у ней, потому что мысль ея постоянно гдѣ-то витаетъ. Гдѣ?—она и сама не всегда разберетъ, но, во всякомъ случаѣ, не около вязальныхъ спицъ. Посидитъ, повяжетъ нѣсколько минутъ — и вдругъ руки сами собою опустятся, голова откинется на спинку креселъ, и начнетъ она припоминать... Припоминаетъ-припоминаетъ, покуда старческая дремота не охватитъ всего старческаго существа. Или встанетъ и начнетъ бродить по комнатамъ, и все чего-то ищетъ, куда-то заглядываетъ, словно женщина, которая всю жизнь была въ ключахъ и не понимаетъ, гдѣ и какъ она ихъ потеряла.

Первый ударъ властности Арины Петровны былъ нанесенъ не столько отмѣной крѣпостного права, сколько тѣми приготовленіями, которыя предшествовали этой отмѣнѣ. Сначала простые слухи, потомъ дворянскія собранія съ ихъ

адресами, потомъ губернскіе комитеты, потомъ редакціонныя комиссіи—все это изнуряло, поселяло смуту. Воображеніе Арины Петровны, и безъ того богатое творчествомъ, рисовало ей цѣлыя массы пустяковъ. То вдругъ вопросъ представится: «Какъ это я Агашку звать буду? Чай, Агаѳьюшкой... а можетъ и Агаѳьей Ѳедоровной величать придется!» То представится: ходитъ она по пустому дому, а людишки въ людской забрались и жрутъ! Жрать надоѣстъ — подъ столъ бросаютъ! То покажется, что заглянула она въ погребъ, а тамъ Юлька съ Ѳешкой такъ-то за обѣ щеки уписываютъ, такъ-то уписываютъ! Хотѣла-было она репримандъ имъ сдѣлать и поперхнулась. «Какъ ты имъ что-нибудь скажешь, теперь онѣ вольныя — на нихъ, поди, и суда нѣтъ!»

Какъ ни ничтожны такіе пустяки, но изъ нихъ постепенно созидается цѣлая фантастическая дѣйствительность, которая втягиваетъ въ себя человѣка и совершенно парализуетъ его дѣятельность. Арина Петровна какъ-то вдругъ выпустила изъ рукъ бразды правленія и въ теченіе двухъ лѣтъ только и дѣлала, что съ утра до вечера восклицала:

— Хоть бы одно что-нибудь—панъ или пропалъ! А то: первый призывъ! второй призывъ! Ни Богу свѣча, ни чорту кочерга!

Въ это время, въ самый развалъ комитетовъ, умеръ и Владиміръ Михайлычъ. Умеръ примиренный, умиротворенный, отрекшись отъ Баркова и всѣхъ дѣлъ его. Послѣднія слова его были:

— Благодарю моего Бога, что не допустилъ меня, на ряду съ холопами, предстать передъ лицо Свое!

Слова эти глубоко запечатлѣлись въ воспріимчивой душѣ Арины Петровны, и смерть мужа, вмѣстѣ съ фантасмагоріями будущаго, наложила какой-то безнадежный колоритъ на весь Головлевскій обиходъ. Какъ-будто и старый Головлевскій домъ, и все живущее въ немъ—все разомъ собралось умереть.

Порфирій Владимірычъ, по немногимъ жалобамъ, вылившимся въ письмахъ Арины Петровны, съ изумительною чуткостью отгадалъ сумятицу, овладѣвшую ея помыслами. Арина Петровна уже не выговаривала и не учительствовала въ письмахъ, но больше всего уповала на Божію помощь, «которая, по нынѣшнему легковѣрному времени, и рабовъ не оставляетъ, а тѣмъ паче тѣхъ, кои, по достаткамъ своимъ, надежнѣйшей опорой для церкви и ея укра-

шенія были». Іудушка инстинктомъ понялъ, что ежели маменька начинаетъ уповать на Бога, то это значитъ, что въ ея существованіи кроется нѣкоторый изъянъ. И онъ воспользовался этимъ изъяномъ съ свойственною ему лукавою ловкостью.

Передъ самымъ концомъ эмансипаціоннаго дѣла онъ совсѣмъ неожиданно посѣтилъ Головлево и нашелъ Арину Петровну унывающею, почти измученною.

— Что? какъ? что въ Петербургѣ поговариваютъ?—былъ первый ея вопросъ по окончаніи взаимныхъ привѣтствій.

Порфиша потупился и сидѣлъ молча.

— Нѣтъ, ты въ мое положеніе войди!—продолжала Арина Петровна, понявъ изъ молчанія сына, что хорошаго ждать нечего.—Теперь у меня однѣхъ поганокъ въ дѣвичьей тридцать штукъ сидитъ—какъ съ ними поступить? Ежели онѣ на моемъ иждивеніи останутся—чѣмъ я ихъ кормить стану? Теперь у меня и капустки, и картофельцу, и хлѣбца—всего довольно, ну, и нитаемся понемногу? Картофельцу нѣтъ—велишь капустки сварить; капустки нѣтъ—огурчиками извернешься! А вѣдь тогда я сама за всѣмъ на базаръ побѣги, да за все денежки заплати, да купи, да подай — гдѣ на этакую ораву напасешься!

Порфиша глядѣлъ милому другу маменькѣ въ глаза и горько улыбался въ знакъ сочувствія.

— Ежели же ихъ на всѣ четыре стороны выпустятъ: бѣгите-молъ, милыя, вытаращивши глаза, ну, ужъ не знаю, не знаю, не знаю, что изъ этого выйдетъ!

Порфиша ухмыльнулся, какъ-будто ему и самому очень ужъ смѣшно показалось, «что изъ этого выйдетъ».

— Нѣтъ, ты не смѣйся, мой другъ! Это дѣло такъ серьезно, такъ серьезно, что развѣ ужъ Господь имъ разуму прибавитъ—ну, тогда... Скажу хоть бы про себя: вѣдь и я не огрызокъ; какъ-ни-какъ, а и меня пристроить вѣдь надобно. Какъ тутъ поступить? Вѣдь мы какое воспитаніе-то получили? Потанцовать, да попѣть, да гостей принять—что я безъ поганокъ-то безъ своихъ дѣлать буду? Ни я подать, ни принять, ни сготовить для себя — ничего вѣдь я, мой другъ, не могу!

— Богъ милостивъ, маменька!

— Былъ милостивъ, мой другъ, а нынче нѣтъ! Были мы хороши — и насъ Царь Небесный жаловалъ; стали дурны — ну, и не прогнѣвайтесь! Ужъ я что думаю: не бросить ли все за добра-ума. Право! Выстрою себѣ на-

бушку около папенькиной могилки, да и буду жить да поживать!

Порфирій Владимірычъ навострилъ уши; на губахъ его показалась слюна.

— А имѣніями кто же распоряжаться будетъ? — возразилъ онъ осторожно, словно закидывая удочку.

— Не погнѣвайтесь, и сами распорядитесь! Слава Богу, припасла! Не все мнѣ одной тяготы носить...

Арина Петровна вдругъ словно споткнулась и подняла голову. Въ глаза ея бросилось осклабляющееся, слюнявое лицо Іудушки, все словно масломъ подернутое, все проникнутое какимъ-то плотояднымъ внутреннимъ сіяніемъ.

— Да ты никакъ ужъ хоронить меня собрался! — сухо замѣтила она.—Не рано ли, голубчикъ? Не ошибись!

Такимъ образомъ на первый разъ дѣло кончилось ничѣмъ. Но есть разговоры, которые, разъ начавшись, уже не прекращаются. Черезъ нѣсколько часовъ Арина Петровна вновь возвратилась къ прерванной бесѣдѣ.

— Уѣду къ Сергію-Троицѣ, — мечтала она: — раздѣлю имѣніе, куплю на посадѣ домичекъ—и заживу!

Но Порфирій Владимірычъ, искушенный давешнимъ опытомъ, на этотъ разъ смолчалъ.

— Прошлаго года, какъ еще покойникъ папенька былъ живъ,—продолжала мечтать Арина Петровна:—сидѣла я у себя въ спаленкѣ одна и вдругъ слышу, словно мнѣ кто шепчетъ: «Съѣзди къ чудотворцу!.. съѣзди къ чудотворцу!.. съѣзди къ чудотворцу!» Да вѣдь до трехъ разъ! Я этакъ, знаешь, обернулась, — нѣтъ никого! Однако, думаю: вѣдь это—видѣніе мнѣ! Что-жъ, говорю, коли моя вѣра угодна Богу — я готова! И только что я это выговорила, какъ вдругъ это въ комнатѣ... такое благоуханіе, такое благоуханіе разлилось! Разумѣется, сейчасъ же велѣла укладываться, а къ вечеру ужъ въ дорогѣ была!

У Арины Петровны даже слезы на глазахъ выступили. Іудушка воспользовался этимъ, чтобъ поцѣловать у маменьки ручку, при чемъ позволилъ себѣ даже обнять ее за талію.

— Вотъ теперь вы—папинька!—сказалъ онъ.—Ахъ, хорошо, голубушка, коли кто съ Богомъ въ ладу живетъ! И онъ къ Богу съ молитвой, и Богъ къ нему съ помощью. Такъ-то, добрый другъ маменька!

— Постой! Я еще не все досказала! Пріѣзжаю я на другой день вечеромъ въ посадъ, и прямо — къ угоднику. А тамъ всенощная; поютъ, свѣчки горятъ, благоуханіе отъ

кадилъ: и не знаю, гдѣ я—на землѣ или на небеси! Пошла я отъ всенощной къ іеромонаху Іонѣ и говорю: чтой-то, ваше высокопренодобіе, больно у васъ сегодня хорошо въ храмѣ? А онъ мнѣ: «Чего, сударыня! вѣдь нынче отцу Аввакуму видѣніе за всенощной было! Только что началъ онъ руки на молитву заводить—смотритъ, анъ, въ самомъ кумполѣ свѣтъ, и голубь на него смотритъ!» Вотъ съ этихъ поръ я себѣ и положила: какова пора ни мѣра, а конецъ жизни у Сергія-Троицы пожить!

— А объ насъ-то кто позаботится? Объ дѣтяхъ-то вашихъ кто похлопочетъ? Ахъ, маменька, маменька!

— Ну, не маленькіе, и сами объ себѣ промыслите! А я... удалюсь я съ Аннушкиными сиротками къ чудотворцу и заживу у него подъ крылышкомъ! Можетъ-быть, и изъ нихъ у которой-нибудь явится желаніе Богу послужить, такъ тутъ и Хотьковъ рукой подать! Куплю себѣ домичекъ, огородецъ вскопаю; капустки, картофельцу — всего у меня довольно будетъ!

Нѣсколько дней сряду велся этотъ праздный разговоръ; нѣсколько разъ дѣлала Арина Петровна самыя смѣлыя предположенія, брала ихъ назадъ и опять дѣлала, но, наконецъ, довела дѣло до такой точки, что и отступить ужъ было нельзя. Не далѣе, какъ черезъ полгода послѣ Іудушкиной побывки, положеніе дѣлъ было слѣдующее: Арина Петровна не уѣхала ни къ Сергію-Троицѣ, ни въ домикъ у могилки мужа, а имѣніе раздѣлила, оставивъ при себѣ только капиталъ. При этомъ Порфирію Владимірычу была выдѣлена лучшая часть, а Павлу Владимірычу—похуже.

Арина Петровна осталась попрежнему въ Головлевѣ, причемъ, разумѣется, не обошлось безъ семейной комедіи. Іудушка пролилъ слезы и умолилъ добраго друга маменьку управлять его имѣніемъ безотчетно, получать съ него доходы и употреблять по своему усмотрѣнію: «а что вы мнѣ, голубушка, изъ доходовъ удѣлите—я всѣмъ, даже малостью, буду доволенъ». Напротивъ того, Павелъ поблагодарилъ мать холодно («точно укусить хотѣлъ»), тотчасъ же вышелъ въ отставку («такъ, безъ материнскаго благословенія, какъ оглашенный, и выскочилъ на волю!») и поселился въ Дубровинѣ.

Съ этихъ поръ на Арину Петровну нашло затменіе. Тотъ внутренній образъ Порфишки-кровопивца, который она когда-то съ такою рѣдкою проницательностью угады-

вала, вдругъ словно туманомъ задернулся. Казалось, она ничего больше не понимала, кромѣ того, что, несмотря на раздѣлъ имѣнія и освобожденіе крестьянъ, она попрежнему живетъ въ Головлевѣ и попрежнему ни передъ кѣмъ не отчитывается. Тутъ же, подъ бокомъ, живетъ другой сынъ, но какая разница! Тогда какъ Порфиша и себя, и семью—все ввѣрилъ маменькиному усмотрѣнію, Павелъ не только ни объ чемъ съ ней не совѣтуется, но даже при встрѣчахъ какъ-то сквозь зубы говоритъ!

И чѣмъ больше затмевался ея разсудокъ, тѣмъ больше раскипалось въ ней сердце ревностью къ ласковому сыну. Порфирій Владимірычъ ничего у нея не просилъ—она сама шла навстрѣчу его желаніямъ. Мало-по-малу она начала находить недостатки въ фигурѣ Головлевскихъ дачъ. Въ такомъ-то мѣстѣ чужая земля врѣзывалась въ дачу — хорошо было бы эту землю прикупить; въ такомъ-то мѣстѣ можно бы хуторокъ отдѣльный устроить да покосцу мало, а тутъ, по смежности, и покосецъ продажный есть — ахъ, хорошъ покосъ! Арина Петровна увлекалась и какъ мать, и какъ хозяйка, желающая выставить во всемъ блескѣ свои способности передъ ласковымъ сыномъ. Но Порфирій Владимірычъ словно въ непроницаемую скорлупу схоронился. Напрасно Арина Петровна соблазняла его покупками—на всѣ ея предложенія пріобрѣсти такой-то лѣсокъ или такой-то покосецъ, онъ неизмѣнно отвѣчалъ:—«Я, добрый другъ маменька, и тѣмъ доволенъ, что̀ вы, по милости вашей, мнѣ пожаловали».

Отвѣты эти только разжигали Арину Петровну. Увлекаясь, съ одной стороны, хозяйственными задачами, съ другой — полемическими соображеніями относительно «подлеца Павлушки», который жилъ подлѣ и знать ее не хотѣлъ, она совершенно утратила представленіе о своихъ дѣйствительныхъ отношеніяхъ къ Головлеву. Прежняя горячка пріобрѣтенія съ новою силою овладѣла всѣмъ ея существомъ, но пріобрѣтенія уже не за свой собственный счетъ, а за счетъ любимаго сына. Головлевское имѣніе разрослось, округлилось и зацвѣло.

И вотъ въ ту самую минуту, когда капиталъ Арины Петровны до того умалился, что сдѣлалось почти невозможнымъ самостоятельное существованіе на проценты съ него, Іудушка, при самомъ почтительномъ письмѣ, прислалъ ей цѣлый тюкъ формъ счетоводства, которыя должны были служить для нея руководствомъ на будущее время при

составленіи годовой отчетности. Тутъ, рядомъ съ главными предметами хозяйства, стояли: малина, крыжовникъ, грибы и т. д. По всякой статьѣ былъ особенный счетъ, приблизительно слѣдующаго содержанія:

Къ 18** году состояло кустовъ малины 00
Къ сему поступило вновь посаженныхъ 00
Съ наличнаго числа кустовъ собрано ягодъ . . . . . 00 п. 00 ф. 00 зол.
Изъ сего числа:
Вами, милый другъ маменька, употреблено . . . . . 00 » 00 » 00 »
Израсходовано на варенье для дома Его Превосходительства Порфирія Владимірыча Головлева . . . . . 00 » 00 » 00 »
Дано мальчику N въ награду за добронравіе . . . . . — » 1 » — »
Продано простому народу на лакомство 00 » 00 » 00 »
Сгнило, по неимѣнію въ виду покупщиковъ, а равно и отъ другихъ причинъ . . . . . 00 » 00 » 00 »
И т. д., и т. д.

Примѣчаніе. Въ случаѣ, ежели урожай отчетнаго года менѣе противъ прошлаго года, то здѣсь должны быть объясняемы причины сего, какъ-то: засуха, дожди, градъ и проч.

Арина Петровна такъ и ахнула. Во-первыхъ, ее поразила скупость Іудушки: она никогда и не слыхивала, чтобъ крыжовникъ могъ составлять въ Головлевѣ предметъ отчетности, а онъ, повидимому, на этомъ предметѣ всего больше и настаивалъ; во-вторыхъ, она очень хорошо поняла, что всѣ эти формы — не что иное, какъ конституція, связывающая ее по рукамъ и по ногамъ.

Кончилось дѣло тѣмъ, что послѣ продолжительной полемической переписки Арина Петровна, оскорбленная и негодующая, перебралась въ Дубровино, а вслѣдъ затѣмъ и Порфирій Владимірычъ вышелъ въ отставку и поселился въ Головлевѣ.

Съ этихъ поръ для старухи начался рядъ мутныхъ дней, посвященныхъ насильственному покою. Павелъ Владимірычъ, какъ человѣкъ, лишенный поступковъ, былъ какъ-то особенно придирчивъ въ отношеніи къ матери. Онъ принялъ ее довольно сносно, т. е. обѣщался кормить и поить ее и сиротъ-племянницъ, но подъ двумя условіями: во-пер-

выхъ, не ходить къ нему на антресоли, а во-вторыхъ— не вмѣшиваться въ распоряженія по хозяйству. Послѣднее условіе въ особенности волновало Арину Петровну. Всѣмъ въ домѣ Павла Владимірыча заправляли: во-первыхъ, ключница Улитушка, женщина ехидная и уличенная въ секретной перепискѣ съ кровопивцемъ Порфишкой, и, во-вторыхъ—бывшій папенькинъ камердинеръ Кирюшка, ничего не смыслившій въ полеводствѣ и ежедневно читавшій Павлу Владимірычу халуйскаго свойства поученія. Оба крали немилосердно. Сколько разъ болѣло сердце Арины Петровны при видѣ господствовавшаго въ домѣ расхищенія, сколько разъ порывалась она предупредить, раскрыть сыну глаза насчетъ чая, сахара, масла! Всего этого выходили массы, и неоднократно Улитушка, нимало не стѣсняясь присутствіемъ старухи-барыни, даже въ глазахъ ея, прятала въ карманъ цѣлыя пригоршни сахара. Арина Петровна видѣла все, но должна была оставаться безмолвной свидѣтельницей расхищенія. Потому что едва разѣвала она ротъ, чтобы замѣтить что-нибудь, какъ Павелъ Владимірычъ въ ту же минуту ее осаживалъ.

— Маменька! — говорилъ онъ: — надобно, чтобъ кто-нибудь одинъ въ домѣ распоряжался! Это не я говорю— всѣ такъ поступаютъ. Я знаю, что мои распоряженія глупыя — ну, и пусть будутъ глупыя. А ваши распоряженія умныя — ну, и пусть будутъ умныя! Умны вы, даже очень умны, а Іудушка, все-таки, безъ угла васъ оставилъ!

Къ довершенію всего, Арина Петровна сдѣлала ужасное открытіе: Павелъ Владимірычъ пилъ. Страсть эта въѣлась въ него крадучись, благодаря деревенскому одиночеству, и, наконецъ, получила то страшное развитіе, которое должно было привести къ неизбѣжному концу. Въ первое время, когда въ домѣ поселилась мать, онъ какъ будто еще совѣстился, довольно часто сходилъ съ антресолей внизъ и разговаривалъ съ матерью. Замѣчая, какъ путается его языкъ, Арина Петровна долго думала, что это происходитъ отъ глупости. Она не любила, когда онъ приходилъ «разговаривать», и считала эти разговоры большимъ для себя притѣсненіемъ. Въ самомъ дѣлѣ, онъ постоянно и какъ-то нелѣпо ропталъ. То дождя по цѣлымъ недѣлямъ нѣтъ, то вдругъ такой зарядитъ, словно съ цѣпи сорвется; то жукъ одолѣлъ, всѣ деревья въ саду обглодалъ; то кротъ появился, всѣ луга изрылъ. Все это представляло неистощимый источ-

никъ для ропота. Сойдетъ, бывало, съ антресолей, сядетъ противъ матери и начнетъ:

— Кругомъ тучи ходятъ—Головлево далеко ли? У кровопивца вчера проливной былъ, а у насъ нѣтъ да и нѣтъ! Ходятъ тучки, похаживаютъ кругомъ—и хоть бы те капля на нашъ пай!

Или:

— Ишь льетъ-поливаетъ! Рожь только что зацвѣла, а онъ знай поливаетъ! Половину сѣна ужъ сгноили, а онъ прыскаетъ да попрыскиваетъ! Головлево далеко ли? Кровопивецъ давно съ поля убрался, а мы сиди-посиди! Придется скотину зимой гнилымъ сѣномъ кормить!

Молчитъ-молчитъ Арина Петровна, слушая глупыя рѣчи, но иногда не вытерпитъ и молвитъ:

— Ты бы побольше руки сложа сидѣлъ!

Не успѣетъ она это вымолвить, какъ Павелъ Владимірычъ ужъ и взбеленился.

— А вы что-жъ мнѣ прикажете дѣлать? Въ Головлево дождикъ, что ли, перевести?

— Не дождикъ, а вообще...

— Нѣтъ, вы скажите, что, по-вашему, дѣлать мнѣ нужно? Не «вообще», а прямо... Климатъ, что ли, я для васъ перемѣнить долженъ? Вотъ въ Головлевѣ: нуженъ былъ дождикъ—и былъ дождикъ; не нужно дождя—и нѣтъ его! Ну, и растетъ тамъ все... А у насъ все напротивъ! Вотъ посмотримъ, какъ-то вы станете разговаривать, какъ ѣсть нечего будетъ!

— Стало-быть, Божья воля такова...

— Такъ вы такъ и говорите, что Божья воля! А то «вообще»—вотъ какое объясненье нашли!

Иногда дѣло доходило до того, что онъ даже собственностью отягощался.

— И зачѣмъ только это Дубровино мнѣ досталось?—жаловался онъ.—Что въ немъ?

— Чѣмъ же Дубровино — не усадьба! Земля хорошая, всего довольно... И что тебѣ вдругъ вздумалось!

— А то и вздумалось, что по нынѣшнему времени совсѣмъ собственности имѣть не надо! Деньги — это такъ! Деньги взялъ, положилъ въ карманъ и удралъ съ ними! А недвижимость эта...

— Да что-жъ это за время такое за особенное, что ужъ и собственности имѣть нельзя?

— А такое время, что вы вотъ газетъ не читаете, а я

читаю. Нынче адвокаты вездѣ пошли—вотъ и понимайте. Узнаетъ адвокатъ, что у тебя собственность есть, и почнетъ кружить!

— Какъ же онъ тебя кружить будетъ, коль скоро у тебя праведные документы есть?

— Такъ и будетъ кружить, какъ кружатъ. Или, вотъ, Порфишка-кровопивецъ: наймется адвоката, а тотъ и будетъ тебѣ повѣстку за повѣсткой присылать!

— Что ты! Не безсудная, чай, земля!

— Оттого и будутъ повѣстки присылать, что не безсудная. Кабы безсудная была, безъ повѣстокъ бы отняли, а теперь съ повѣстками. Вонъ у товарища моего, у Горлопятова, дядя умеръ, а онъ возьми да сдуру и прими послѣ него наслѣдство! Наслѣдства-то оказалось грошъ, а долговъ—на сто тысячъ: векселя, да все фальшивые. Вотъ и судятъ его третій годъ сряду: сперва дядино имѣніе обрали, а потомъ и его собственное съ аукціону продали! Вотъ тебѣ и собственность!

— Неужто такой законъ есть?

— Кабы не было закона—не продали бы. Стало-быть, всякій законъ есть. У кого совѣсти нѣтъ, для того всѣ законы открыты; а у кого есть совѣсть, для того и законъ закрытъ. Поди, отыскивай его въ книгѣ-то!

Арина Петровна всегда уступала въ этихъ спорахъ. Не разъ ее подмывало крикнуть: «вонъ съ моихъ глазъ, подлецъ!» но подумаетъ-подумаетъ да и смолчитъ. Только развѣ про себя пропищетъ:

— Господи! и въ кого я этакихъ изверговъ уродила? Одинъ — кровопивецъ, другой — блаженный какой-то! Для кого я припасала, ночей не досыпала, куска не доѣдала... Для кого?

И чѣмъ больше овладѣвалъ Павломъ Владимірычемъ запой, тѣмъ фантастичнѣе и, такъ сказать, внезапнѣе становились его разговоры. Наконецъ, Арина Петровна начала замѣчать, что тутъ есть что-то неладное. Напримѣръ: съ утра въ шкапчикъ, въ столовой, ставится полный графинъ водки, а къ обѣду ужъ ни капли въ немъ нѣтъ. Или: сидитъ она въ гостиной и слышитъ какой-то таинственный скрипъ, происходящій въ столовой, около завѣтнаго шкапчика; крикнетъ: «кто тамъ?» — и слышитъ, что чьи-то шаги быстро, но осторожно удаляются по направленію къ антресолямъ.

— Матушки! да никакъ онъ у васъ пьетъ? — спросила она однажды Улитушку.

— Занимаются-съ,—отвѣтила та, язвительно улыбаясь.

Убѣдившись, что мать отгадала его, Павелъ Владимірычъ окончательно пересталъ церемониться. Въ одно прекрасное утро шкапчикъ совсѣмъ исчезъ изъ столовой, и на вопросъ Арины Петровны, куда онъ дѣвался, Улитушка отвѣчала:

— На антресоли перенести приказали; тамъ имъ свободнѣе заниматься будетъ.

Дѣйствительно, на антресоляхъ графинчики слѣдовали другъ за другомъ съ изумительной быстротой. Уединившись съ самимъ собой, Павелъ Владимірычъ возненавидѣлъ общество живыхъ людей и создалъ для себя особенную, фантастическую дѣйствительность. Это былъ цѣлый глупогероическій романъ, въ которомъ главными героями были: онъ самъ и кровопивецъ Порфишка. Онъ самъ не сознавалъ вполнѣ, какъ глубоко залегла въ немъ ненависть къ Порфишкѣ. Онъ ненавидѣлъ его всѣми помыслами, всѣми внутренностями, ненавидѣлъ безпрестанно, ежеминутно. Словно живой, метался передъ нимъ этотъ паскудный образъ, а въ ушахъ раздавалось слезнолицемѣрное пустословіе Іудушки—пустословіе, въ которомъ звучала какая-то сухая, почти отвлеченная злоба ко всему живому, не подчиняющемуся кодексу, созданному преданіемъ лицемѣрія. Павелъ Владимірычъ пилъ и припоминалъ. Припоминалъ всѣ обиды и униженія, которыя ему приходилось вытерпѣть, благодаря претензіи Іудушки на главенство въ домѣ. Въ особенности же припоминалъ раздѣлъ имѣнія, разсчитывалъ каждую копейку, сравнивалъ каждый клочокъ земли — и ненавидѣлъ. Въ разгоряченномъ виномъ воображеніи создавались цѣлыя драмы, въ которыхъ вымещались всѣ обиды и въ которыхъ обидчикомъ являлся уже онъ, а не Іудушка. То будто выигралъ онъ двѣсти тысячъ и пріѣзжаетъ сообщить объ этомъ Порфишкѣ (цѣлая сцена съ разговорами), у котораго отъ зависти даже перекосило лицо. То будто умеръ дѣдушка (опять сцена съ разговорами, хотя никакого дѣдушки не было), ему оставилъ милліонъ, а Порфишкѣ-кровопивцу—шишъ. То будто онъ изобрѣлъ средство дѣлаться невидимкой и черезъ это получилъ возможность творить Порфишкѣ такія пакости, отъ которыхъ тотъ начинаетъ стонать. Въ изобрѣтеніи этихъ проказъ онъ былъ неистощимъ, и долго нелѣпый

хохотъ оглашалъ антресоли, къ удовольствію Улитушки, спѣшившей увѣдомить о происходящемъ братца Порфирія Владимірыча.

Онъ ненавидѣлъ Іудушку и въ то же время боялся его. Онъ зналъ, что глаза Іудушки источаютъ чарующій ядъ, что голосъ его, словно змѣй, заползаетъ въ душу и парализуетъ волю человѣка. Поэтому онъ рѣшительно отказался отъ свиданій съ нимъ. Иногда кровопивецъ пріѣзжалъ въ Дубровино, чтобы поцѣловать ручку у добраго друга маменьки (онъ выгналъ ее изъ дома, но почтительности не прекращалъ) — тогда Павелъ Владимірычъ запиралъ антресоли на ключъ и сидѣлъ взаперти все время, покуда Іудушка калякалъ съ маменькой.

Такимъ образомъ шли дни за днями, покуда, наконецъ, Павелъ Владимірычъ не очутился лицомъ къ лицу съ смертнымъ недугомъ.

Докторъ переночевалъ «для формы» и на другой день рано утромъ уѣхалъ въ городъ. Оставляя Дубровино, онъ высказалъ прямо, что больному остается жить не больше двухъ дней и что теперь поздно думать о какихъ-нибудь «распоряженіяхъ», потому что онъ и фамиліи путемъ подписать не можетъ.

— Подпишетъ онъ вамъ «обмокни» — потомъ и съ судомъ, пожалуй, не раздѣлаетесь, — прибавилъ онъ. — Вѣдь Іудушка хоть и очень маменьку уважаетъ, а дѣло о подлогѣ все-таки начнетъ, и ежели по закону мамашеньку въ мѣста не столь отдаленныя ушлютъ, такъ вѣдь онъ только молебенъ въ путь шествующимъ отслужитъ!

Арина Петровна цѣлое утро ходила какъ въ отупѣніи. Попробовала-было встать на молитву—не внушитъ ли что Богъ?—но и молитва на умъ не шла, даже языкъ какъ-то не слушался. Начнетъ: «*Помилуй мя, Боже, по великей милости Твоей*»—и вдругъ, сама не знаетъ какъ, съѣдетъ на «*отъ лукаваго*». «Очисти! очисти!»—машинально лепечетъ языкъ, а мысль такъ и летаетъ: то на антресоли заглянетъ, то на погребъ зайдетъ («сколько добра по осени было—все растащили!»), то начнетъ что-то припоминать—далекое-далекое. Все сумерки какія-то, и въ этихъ сумеркахъ люди, много людей, и всѣ они копошатся, стараются, припасаютъ. «*Блаженъ мужъ... блаженъ мужъ... яко кадило... научи мя... научи мя...* Но вотъ и языкъ мало-помалу смякъ, глаза смотрятъ на образа и не видятъ; ротъ

раскрыть широко, руки сложены на поясѣ, и вся она стоитъ неподвижно, словно застыла.

Наконецъ, она сѣла и заплакала. Слезы такъ и лились изъ потухшихъ глазъ по старческимъ, засохшимъ щекамъ, задерживаясь въ углубленіяхъ морщинъ и капая на замасленный воротъ старой ситцевой блузы. Это было что-то горькое, полное безнадежности и вмѣстѣ съ тѣмъ безсильно-строптивое. И старость, и немощи, и безпомощность положенія — все, казалось, призывало ее къ смерти, какъ къ единственному примиряющему исходу; но въ то же время замѣшивалось и прошлое съ его властностью, довольствомъ и просторомъ, и воспоминанія этого прошлаго такъ и вились въ нее, такъ и притягивали ее къ землѣ. «Умереть бы!» мелькало въ ея головѣ, а черезъ мгновенье то же слово смѣнялось другимъ: «пожить бы!» Она не вспоминала ни объ Іудушкѣ, ни объ умирающемъ сынѣ—оба они словно перестали существовать для нея. Ни о комъ она не думала, ни на кого не негодовала, никого не обвиняла; она даже забыла, есть ли у нея капиталъ и достаточенъ ли онъ, чтобъ обезпечить ея старость. Тоска, смертная тоска охватила все ея существо. Тошно! горько! — вотъ единственное объясненіе, которое она могла бы дать своимъ слезамъ. Эти слезы пришли издалека; капля по каплѣ копились онѣ съ той самой минуты, какъ она выѣхала изъ Головлева и поселилась въ Дубровинѣ. Ко всему, что теперь предстояло, она была ужъ приготовлена; все она ожидала и предвидѣла; но ей никогда какъ-то не представлялось съ такою ясностью, что этому ожиданному и предвидѣнному долженъ наступить конецъ. И вотъ, теперь, этотъ конецъ наступилъ, конецъ, полный тоски и безнадежнаго одиночества. Всю-то жизнь она что-то устраивала, надъ чѣмъ-то убивалась, а оказывается, что убивалась надъ призракомъ. Всю жизнь слово «семья» не сходило у нея съ языка; во имя семьи она однихъ казнила, другихъ награждала; во имя семьи она подвергала себя лишеніямъ, истязала себя, изуродовала всю свою жизнь — и вдругъ выходитъ, что семьи-то именно у нея и нѣтъ!

— Господи! Да неужто-жъ у всѣхъ такъ?—вертѣлось у нея въ головѣ.

Она сидѣла, опершись головой на руку и обративъ обмоченное слезами лицо навстрѣчу поднимающемуся солнцу, какъ будто говорила ему: «видь!» Она не стонала и не кляла, а только потихоньку всхлипывала, словно захлебы-

валась слезами. И въ то же время на душѣ у нея такъ и горѣло:

— Нѣтъ никого! нѣтъ никого! Нѣтъ! нѣтъ! нѣтъ!

Но вотъ изсякли и слезы. Умывши лицо, она безъ цѣли побрела въ столовую, но тутъ дѣвицы осадили ее новыми жалобами, которыя на этотъ разъ показались ей какъ-то особенно назойливыми.

— Что же это, бабушка, будетъ? Неужто-жъ мы такъ безъ ничего и останемся?—роптала Аннинька.

— Какой этотъ дядя глупый!—вторила ей Любинька.

Около полудня Арина Петровна рѣшилась проникнуть къ умирающему сыну. Осторожно, чуть ступая, взошла она по лѣстницѣ и ощупью отыскала впотьмахъ двери, ведущія въ комнаты. На антресоляхъ царствовали сумерки, окна занавѣшены были зелеными шторами, сквозь которыя чуть-чуть пробивался свѣтъ; давно не возобновляемая атмосфера комнатъ пропиталась противною смѣсью разнородныхъ запаховъ, въ составленіи которой участвовали и ягоды, и пластыри, и лампадное масло, и тѣ особенные міазмы, присутствіе которыхъ прямо говоритъ о болѣзни и смерти. Комнатъ было всего двѣ: въ первой сидѣла Улитушка, чистила ягоды и съ ожесточеніемъ сдувала мухъ, которыя тучнымъ роемъ вились надъ ворохами крыжовника и назойливо садились ей на носъ и на губы. Сквозь полуотворенную дверь, изъ сосѣдней комнаты, не переставая, доносился сухой и короткій кашель, отъ времени до времени разрѣшающійся мучительной экспекораціей. Арина Петровна остановилась въ нерѣшительной позѣ, вглядываясь въ сумерки и какъ бы выжидая, что предприметъ Улитушка въ виду ея прихода. Но Улитушка даже не шевельнулась, словно была уже слишкомъ увѣрена, что всякая попытка подѣйствовать на больного останется безплодною. Только сердитое движеніе скользнуло по ея губамъ, и Аринѣ Петровнѣ послышалось произнесенное шопотомъ слово: «чортъ!»

— Ты бы, голубушка, внизъ пошла!—обратилась Арина Петровна къ Улитушкѣ.

— Это еще что за новости?—огрызнулась послѣдняя.

— Мнѣ съ Павломъ Владимірычемъ говорить нужно. Ступай!

— Помилуйте, сударыня! Какъ же я ихъ оставлю? А ежели что вдругъ случится—ни подать, ни принять.

— Что тамъ?—раздалось глухо изъ спальной.

— Прикажи, мой другъ, Улитѣ уйти. Мнѣ съ тобой переговорить нужно.

На этотъ разъ Арина Петровна дѣйствовала настолько настойчиво, что осталась побѣдительницей. Она перекрестилась и вошла въ комнату. Около внутренней стѣны, подальше отъ оконъ, стояла постель больного. Онъ лежалъ на спинѣ, покрытый бѣлымъ одѣяломъ, и почти безсознательно дымилъ папироской. Несмотря на табачный дымъ, мухи съ какимъ-то ожесточеніемъ нападали на него, такъ что онъ безпрестанно то той, то другой рукой проводилъ около лица. Это были руки до такой степени безсильныя, лишенныя мускуловъ, что ясно представляли очертанія кости, почти одинаково узкой отъ кисти до плеча. Голова его какъ-то безнадежно прильнула къ подушкѣ; лицо и все тѣло горѣли въ сухомъ жару. Большіе, круглые глаза ввалились и смотрѣли безпредметно, какъ бы чего-то искали; носъ вытянулся и заострился, ротъ былъ полуоткрытъ. Онъ не кашлялъ, но дышалъ съ такою силой, что, казалось, вся жизненная энергія сосредоточилась въ его груди.

— Ну, что? Какъ ты сегодня себя чувствуешь?—спросила Арина Петровна, опускаясь въ кресло у его ногъ.

— Ничего... завтра... то-бишь, сегодня... когда это лѣкарь у насъ былъ?

— Сегодня былъ лѣкарь.

— Ну, значитъ, завтра...

Больной заметался, какъ бы силясь припомнить слово.

— Встать можно будетъ?—подсказала Арина Петровна.— Дай Богъ, мой другъ, дай Богъ.

Оба замолкли на минуту. Аринѣ Петровнѣ хотѣлось сказать что-то, но для того, чтобъ сказать, нужно было разговаривать. Вотъ этого-то именно разговора и не могла она никогда найти, когда была съ глазу на глазъ съ Павломъ Владимірычемъ.

— Іудушка... живетъ?—спросилъ, наконецъ, самъ больной.

— Что ему дѣлается, живетъ да поживаетъ!

— Чай, думаетъ: «вотъ братецъ Павелъ умретъ—и еще, по милости Божіей, имѣньице мнѣ достанется!»

— И всѣ когда-нибудь умремъ, и послѣ всѣхъ имѣнья пойдутъ... законнымъ наслѣдникамъ...

— Только не кровопивцу! Собакамъ выброшу, а не ему!

Случай выходилъ отличный: самъ Павелъ Владимірычъ заговаривалъ. Арина Петровна не преминула воспользоваться этимъ.

— Надо бы подумать объ этомъ, мой другъ! — сказала она словно мимоходомъ, не глядя на сына и разсматривая на свѣтъ руки, точно онѣ составляли въ эту минуту главный предметъ ея вниманія.

— Объ чемъ «объ этомъ»?

— А вотъ хоть бы насчетъ того, если ты не желаешь, чтобъ брату имѣнье твое осталось...

Больной молчалъ. Только глаза его неестественно расширились, и лицо все больше и больше рдѣло.

— Можно бы, другъ мой, и то въ соображеніе взять, что у тебя племянницы-сироты есть—какой у нихъ капиталъ? Ну, и мать тоже!..—продолжала Арина Петровна.

— Все Іудушкѣ спустить успѣли?

— Какъ бы то ни было... знаю, что сама виновата... Да вѣдь и не Богъ знаетъ, какой грѣхъ... Думала тоже, что сынъ... Да и тебѣ бы можно не попомнить этого матери.

Молчаніе.

— Что же! Скажи хоть что-нибудь!

— А вы какъ скоро сбираетесь меня хоронить?

— Не хоронить, а все-таки... И прочіе христіане... Не всѣ сейчасъ умираютъ, а вообще...

— То-то «вообще»! Вы всегда «вообще»! Думаете, что я не вижу!

— Что же ты видишь, мой другъ?

— А то и вижу, что вы меня за дурака считаете! Ну, и положимъ, что я дуракъ, и пусть буду дуракъ! Зачѣмъ же приходите къ дураку? И не приходите, и не безпокойтесь!

— Я и не безпокоюсь; я только вообще... что всякому человѣку предѣлъ жизни положенъ...

— Ну, и ждите!

Арина Петровна понурила голову и раздумывала. Она очень хорошо видѣла, что дѣло ея стоитъ плохо, но безнадежность будущаго до того терзала ее, что даже очевидность не могла убѣдить въ безплодности дальнѣйшихъ попытокъ.

— Не знаю, за что ты меня ненавидишь! — произнесла она, наконецъ.

— Нисколько... я васъ... нисколько! Я даже очень... Помилуйте! вы насъ такъ вели... всѣхъ ровно!

Онъ говорилъ это порывисто, захлебываясь; въ звукахъ голоса слышался какой-то надорванный и въ то же время торжествующій хохотъ; въ глазахъ показались искры; плечи и ноги безпокойно вздрагивали.

— Можетъ, и я въ самомъ дѣлѣ чѣмъ-нибудь провинилась, такъ ужъ прости, Христа ради!

Арина Петровна встала и поклонилась, коснувшись рукой до земли. Павелъ Владимірычъ закрылъ глаза и не отвѣчалъ.

— Положимъ, что насчетъ недвижимости... это точно что въ теперешнемъ твоемъ положеніи нечего и думать, чтобы распоряженіе дѣлать... Порфирій — законный наслѣдникъ; ну, пускай ему недвижимость и достается. А движимость, а капиталъ какъ? — рѣшилась прямо объясниться Арина Петровна.

Павелъ Владимірычъ вздрогнулъ, но молчалъ. Очень возможно, что при словѣ «капиталъ» онъ совсѣмъ не объ инсинуаціяхъ Арины Петровны помышлялъ, а просто ему подумалось: «вотъ и сентябрь на дворѣ, проценты получать надобно... шестьдесятъ семь тысячъ шестьсотъ на пять помножить, да на два потомъ раздѣлить—сколько это будетъ?»

— Ты, можетъ-быть, думаешь, что я смерти твоей желаю, такъ разувѣрься, мой другъ! Ты только живи, а мнѣ, старухѣ, и горюшка мало! Что мнѣ! Мнѣ и тепленько, и сытенько у тебя, и даже ежели изъ сладенькаго чего-нибудь захочется — все у меня есть! Я только насчетъ того говорю, что у христіанъ обычай такой есть, чтобы въ ожиданіи предбудущей жизни...

Арина Петровна остановилась, словно искала подходящаго слова.

— Присныхъ своихъ обезпечивать, — докончила она, смотря въ окно.

Павелъ Владимірычъ лежалъ неподвижно и потихоньку откашливался, ни однимъ движеніемъ не выказывая, слушаетъ онъ или нѣтъ. Повидимому, причитанія матери надоѣли ему.

— Капиталъ-то можно бы при жизни изъ рукъ въ руки передать, — молвила Арина Петровна, какъ бы вскользь бросая предположеніе и вновь принимаясь разсматривать на свѣтъ свои руки.

Больной чуть-чуть дрогнулъ, но Арина Петровна не замѣтила этого и продолжала:

— Капиталъ, мой другъ, и по закону къ перемѣщенію допускается. Потому это—вещь наживная: вчера онъ былъ, сегодня — нѣтъ его. И никто въ немъ отчета не можетъ спрашивать—кому хочу, тому и отдаю.

Павелъ Владимірычъ вдругъ какъ-то зло засмѣялся.

— Палочкина исторію, должно-быть, вспомнили!—зашипѣлъ онъ.—Тотъ тоже *изъ рукъ въ руки* женѣ капиталъ отдалъ, а она съ любовникомъ убѣжала!

— У меня, мой другъ, любовниковъ нѣтъ!

— Такъ безъ любовника убѣжите... съ капиталомъ!

— Какъ ты, однако, меня понимаешь!

— Никакъ я васъ не понимаю... Вы на весь свѣтъ меня дуракомъ прославили — ну, и дуракъ я. И пусть буду дуракъ! Смотрите, какія штуки-фигуры придумали — капиталъ имъ изъ рукъ въ руки передай! А самъ что? Въ монастырь, что ли, прикажете мнѣ спасаться идти, да оттуда глядѣть, какъ вы моимъ капиталомъ распоряжаться будете?

Онъ выговорилъ все это залпомъ, злобствуя и волнуясь, и затѣмъ совсѣмъ изнемогъ. Въ продолженіе по крайней мѣрѣ четверти часа послѣ того онъ кашлялъ во всю мочь, такъ что было даже удивительно, что этотъ жалкій человѣческій остовъ еще заключаетъ въ себѣ столько силы. Наконецъ, онъ отдышался и закрылъ глаза.

Арина Петровна потерянно оглядывалась кругомъ. До сихъ поръ ей все какъ-то не вѣрилось; теперь она окончательно убѣдилась, что всякая новая попытка убѣдить умирающаго можетъ только приблизить день торжества Іудушки. Іудушка такъ и мелькалъ передъ ея глазами. Вотъ онъ идетъ за гробомъ, вотъ отдаетъ брату послѣднее Іудино лобзаніе и двѣ паскудныя слезинки вытекли изъ его глазъ. Вотъ и гробъ опустили въ землю: «прррощай, братъ!» восклицаетъ Іудушка, подергивая губами, закатывая глаза и стараясь придать своему голосу ноту горести, и вслѣдъ затѣмъ обращается въ полъ-оборота къ Улитушкѣ и говоритъ: «кутью-то, кутью-то не забудьте въ домъ взять! Да на чистенькую скатертцу поставьте... братца опять въ домѣ помянуть!» Вотъ кончился и поминальный обѣдъ, во время котораго Іудушка безъ устали говоритъ съ батюшкой о добродѣтеляхъ покойнаго и встрѣчаетъ со стороны батюшки полное подтвержденіе этихъ похвалъ. «Ахъ, братъ, братъ! не захотѣлъ ты съ нами пожить!»— восклицаетъ онъ, выходя изъ-за стола и протягивая руку ладонью вверхъ подъ благословеніе батюшки. Вотъ, наконецъ, всѣ, слава Богу, наѣлись и даже выспались послѣ обѣда; Іудушка расхаживаетъ хозяиномъ по комнатамъ *дома,* принимаетъ вещи, заноситъ въ опись и по врéме-

намъ подозрительно взглядываетъ на мать, ежели въ чемъ-нибудь встрѣчаетъ сомнѣніе.

Всѣ эти неизбѣжныя сцены будущаго такъ и метались передъ глазами Арины Петровны. И какъ живой звенѣлъ въ ея ушахъ маслянисто-пронзительный голосъ Іудушки, обращенный къ ней:

— А помните, маменька, у брата золотенькія запоночки были... хорошенькія такія, еще онъ ихъ по праздникамъ надѣвалъ... И куда только эти запоночки дѣвались — ума приложить не могу!

Не успѣла Арина Петровна сойти внизъ, какъ на бугрѣ у дубровинской церкви показалась коляска, запряженная четверней. Въ коляскѣ, на почетномъ мѣстѣ, возсѣдалъ Порфирій Головлевъ безъ шапки и крестился на церковь; противъ него сидѣли два его сына, Петенька и Володенька. У Арины Петровны такъ и захолонуло сердце. «Почуяла Лиса Патрикѣевна, что мертвечиной пахнетъ!»—подумалось ей. Дѣвицы тоже струсили и какъ-то безпомощно жались къ бабушкѣ. Въ домѣ, до сихъ поръ тихомъ, вдругъ поднялась тревога: захлопали двери, забѣгали люди, раздались крики: «Баринъ ѣдетъ! баринъ ѣдетъ!» — и все населеніе усадьбы разомъ высыпало на крыльцо. Одни крестились, другіе просто стояли въ выжидательномъ положеніи, но всѣ, очевидно, сознавали, что то, что до сихъ поръ происходило въ Дубровинѣ, было лишь временное, что только теперь наступаетъ настоящее, заправское, съ заправскимъ хозяиномъ во главѣ. Многимъ изъ старыхъ, заслуженныхъ дворовыхъ выдавалась при «прежнемъ» баринѣ мѣсячина; многіе держали коровъ на барскомъ сѣнѣ, имѣли огороды и вообще жили «свободно»; всѣхъ, естественно, интересовалъ вопросъ, оставитъ ли «новый» баринъ старые порядки, или замѣнитъ ихъ новыми, головлевскими.

Іудушка, между тѣмъ, подъѣхалъ и по сдѣланной ему встрѣчѣ уже заключилъ, что въ Дубровинѣ дѣло идетъ къ концу. Не торопясь, вышелъ онъ изъ коляски, замахалъ руками на дворовыхъ, бросившихся барину къ ручкѣ, потомъ сложилъ обѣ руки ладонями внутрь и началъ медленно взбираться по лѣстницѣ, шопотомъ произнося молитву. Лицо его въ одно и то же время выражало и скорбь, и твердую покорность. Какъ человѣкъ — онъ скорбѣлъ; какъ христіанинъ — роптать не осмѣливался. Онъ молился «о ниспосланіи», но больше всего уповалъ и покорялся волѣ

Провидѣнія. Сыновья, въ парѣ, шли сзади него. Володенька передразнивалъ отца, т.-е. складывалъ руки, закатывалъ глаза и шевелилъ губами; Петенька наслаждался представленіемъ, которое давалъ братъ. За ними безмолвной гурьбой слѣдовалъ кортежъ дворовыхъ.

Іудушка поцѣловалъ маменьку въ ручку, потомъ въ губы, потомъ опять въ ручку, потомъ потрепалъ милаго друга за талію и, грустно покачавъ головою, произнесъ:

— А вы все унываете! Нехорошо это, другъ мой, охъ, какъ нехорошо! А вы бы спросили себя: что, молъ, Богъ на это скажетъ? Скажетъ: вотъ Я въ премудрости Своей все къ лучшему устрояю, а она ропщетъ! Ахъ, маменька, маменька!

Потомъ перецѣловалъ обѣихъ племянницъ и съ тою же плѣнительною родственностью въ голосѣ сказалъ:

— И вы, стрекозы, туда же въ слезы! Чтобъ у меня этого не было! Извольте сейчасъ улыбаться—и дѣло съ концомъ!

И онъ затопалъ на нихъ ногами или, лучше сказать, дѣлалъ видъ, что топаетъ, но въ сущности только благосклонно шутилъ.

— Посмотрите на меня,—продолжалъ онъ:—какъ братъ—я скорблю! Не разъ, можетъ-быть, и всплакнулъ... Жаль брата, очень, даже до слезъ жаль... Всплакнешь, да и опомнишься: а Богъ-то на что? Неужто Богъ хуже нашего знаетъ, какъ и что? Поразмыслишь этакъ—и ободришься. Такъ-то и всѣмъ поступать надо! И вамъ, маменька, и вамъ, племяннушки, и вамъ... всѣмъ! — обратился онъ къ прислугѣ.—Посмотрите на меня, какимъ я молодцомъ хожу!

И онъ съ тою же плѣнительностью представилъ изъ себя «молодца», то-есть выпрямился, отставилъ одну ногу, выпятилъ грудь и откинулъ назадъ голову. Всѣ улыбнулись, но кисло какъ-то, словно всякій говорилъ себѣ: «Ну, пошелъ теперь паукъ паутину ткать!»

Окончивъ представленіе въ залѣ, Іудушка перешелъ въ гостиную и вновь поцѣловалъ у маменьки ручку.

— Такъ такъ-то, милый другъ маменька!—сказалъ онъ, усаживаясь на диванъ.—Вотъ и братъ Павелъ...

— Да, и Павелъ... — потихоньку отозвалась Арина Петровна.

— Да, да, да... раненько бы! раненько! Вѣдь я, маменька, хоть бодрюсь, а въ душѣ тоже... очень, очень о братѣ скорблю! Не любилъ меня братъ, крѣпко не любилъ—можетъ, за это Богъ и посылаетъ ему!

— Въ этакую минуту можно бы и забыть про это! Старыя-то дрязги оставить надо...

— Я, маменька, давно позабылъ! Я только къ слову говорю: не любилъ меня братъ, а за что — не знаю! Ужъ я ли, кажется... и такъ, и сякъ, и прямо, и стороной, и «голубчикъ», и «братецъ» — пятится отъ меня, да и шабашъ! Анъ Богъ-то взялъ, да невидимо къ своему предѣлу и пріурочилъ!

— Говорю тебѣ: нечего поминать объ этомъ! Человѣкъ на ладанъ ужъ дышитъ!

— Да, маменька, великая это тайна — смерть! Не вѣсте ни дня, ни часа — вотъ это какая тайна! Вотъ онъ все планы планировалъ, думалъ — ужъ такъ высоко, такъ высоко стоитъ, что и рукой до него не достанешь, а Богъ-то разомъ, въ одно мгновеніе, всѣ его мечтанія опровергъ. Теперь бы онъ, можетъ, и радъ грѣшки свои поприкрыть — анъ, они ужъ въ книгѣ живота записаны значатся. А изъ этой, маменька, книги, что тамъ записано, не скоро выскоблишь!

— Чай, раскаянье-то пріемлется!

— Желаю, отъ души брату желаю! Не любилъ онъ меня, а я — желаю! Я всѣмъ добра желаю: и ненавидящимъ, и обидящимъ — всѣмъ! Несправедливъ онъ былъ ко мнѣ — вотъ Богъ болѣзнь ему и послалъ, не я, а Богъ! И много онъ, маменька, страдаетъ?

— Такъ себѣ... Ничего. Докторъ былъ, даже надежду подалъ, — солгала Арина Петровна.

— Ну, вотъ какъ хорошо! Ничего, мой другъ, не огорчайтесь, можетъ-быть, и отдышится! Мы-то здѣсь объ немъ сокрушаемся, да на Создателя ропщемъ, а онъ, можетъ-быть, сидитъ себѣ тихохонько на постелькѣ да Бога за исцѣленье благодаритъ!

Эта мысль до того понравилась Іудушкѣ, что онъ даже полегоньку хихикнулъ.

— А вѣдь я къ вамъ, маменька, погостить пріѣхалъ, — продолжалъ онъ, словно дѣлая маменькѣ пріятный сюрпризъ. — Нельзя, голубушка... по-родственному! Неровенъ случай — все же, какъ братъ... и утѣшить, и посовѣтовать, и распорядиться... Вѣдь вы позволите?

— Какія я позволенія могу давать, сама здѣсь — гостья!

— Ну, такъ вотъ что, голубушка. Такъ какъ сегодня у насъ пятница, такъ ужъ вы прикажите, если ваша такая милость будетъ, мнѣ постненькаго къ обѣду изготовить.

Рыбки тамъ, что ли, солененькой, грибковъ, капустки— мнѣ вѣдь немного нужно! А я, между тѣмъ, по-родственному... на антресоли къ брату поплетусь—можетъ-быть, и успѣю. Не для тѣла, такъ для души что-нибудь полезное сдѣлаю. А въ его положеніи душа-то, пожалуй, поважнѣе. Тѣло-то мы, маменька, микстурками да припарочками подправить можемъ, а для души лѣкарства поосновательнѣе нужны.

Арина Петровна не возражала. Мысль о непредотвратимости «конца» до такой степени охватила все ея существо, что она въ какомъ-то оцѣпенѣніи присматривалась и прислушивалась ко всему, что происходило кругомъ нея. Она видѣла, какъ Іудушка, покрякивая, всталъ съ дивана, какъ онъ сгорбился, зашаркалъ ногами (онъ любилъ иногда притвориться немощнымъ: ему казалось, что такъ почтеннѣе); она понимала, что внезапное появленіе кровопивца на антресоляхъ должно глубоко взволновать больного и, можетъ-быть, даже ускорить развязку; но послѣ волненій этого дня на нее напала такая усталость, что она чувствовала себя точно во снѣ.

Покуда это происходило, Павелъ Владимірычъ находился въ неописанной тревогѣ. Онъ лежалъ на антресоляхъ совсѣмъ одинъ и въ то же время слышалъ, что въ домѣ происходитъ какое-то необычное движеніе. Всякое хлопанье дверьми, всякій шагъ въ коридорѣ отзывались чѣмъ-то таинственнымъ. Нѣкоторое время онъ звалъ и кричалъ во всю мочь, но, убѣдившись, что крики безполезны, собралъ всѣ силы, приподнялся на постели и началъ прислушиваться. Послѣ общей бѣготни, послѣ громкаго говора голосовъ, вдругъ наступила мертвая тишина. Что-то неизвѣстное, страшное обступило его со всѣхъ сторонъ. Дневной свѣтъ сквозь опущенныя гардины лился скупо, и такъ какъ въ углу передъ образомъ теплилась лампадка, то сумерки, наполнявшія комнату, казались еще темнѣе и гуще. Въ этотъ таинственный уголъ онъ и уставился глазами, точно въ первый разъ его поразило нѣчто въ этой глубинѣ. Образъ въ золоченомъ окладѣ, въ который непосредственно ударяли лучи лампадки, съ какою-то изумительной яркостью, словно что-то живое, выступалъ изъ тьмы; на потолкѣ колебался свѣтящійся кружокъ, то вспыхивая, то блѣднѣя, по мѣрѣ того, какъ усиливалось или слабѣло пламя лампадки. Внизу господствовалъ полусвѣтъ, на общемъ *фонѣ* котораго дрожали тѣни. На той же стѣнѣ, около освѣ-

щеннаго угла, висѣлъ халатъ, на которомъ тоже колебались полосы свѣта и тѣни, вслѣдствіе чего казалось, что онъ движется. Павелъ Владимірычъ всматривался-всматривался, и ему почудилось, что тамъ, въ этомъ углу, все вдругъ задвигалось. Одиночество, безпомощность, мертвая тишина — и посреди этого тѣни, цѣлый рой тѣней. Ему казалось, что эти тѣни идутъ, идутъ, идутъ... Въ неописанномъ ужасѣ, раскрывъ глаза и ротъ, онъ глядѣлъ въ таинственный уголъ и не кричалъ, а стоналъ. Стоналъ глухо, порывисто, точно лаялъ. Онъ не слыхалъ ни скрипа лѣстницы, ни осторожнаго шарканья шаговъ въ первой комнатѣ — какъ вдругъ у его постели выросла ненавистная фигура Іудушки. Ему померещилось, что онъ вышелъ оттуда, изъ этой тьмы, которая сейчасъ въ его глазахъ такъ таинственно шевелилась; что тамъ есть и еще, и еще... тѣни, тѣни, тѣни безъ конца! Идутъ, идутъ...

— Зачѣмъ? откуда? кто пустилъ? — инстинктивно крикнулъ онъ, безсильно опускаясь на подушку.

Іудушка стоялъ у постели, всматривался въ больного и скорбно покачивалъ головой.

— Больно? — спросилъ онъ, сообщая своему голосу ту степень елейности, какая только была въ его средствахъ.

Павелъ Владимірычъ молчалъ и безсмысленными глазами уставился въ него, словно усиливался понять. А Іудушка тѣмъ временемъ приблизился къ образу, всталъ на колѣни, умилился, сотворилъ три земныхъ поклона, всталъ и вновь очутился у постели.

— Ну, братъ, вставай! Богъ милости прислалъ!—сказалъ онъ, садясь въ кресло, такимъ радостнымъ тономъ, словно и въ самомъ дѣлѣ «милость» у него въ карманѣ была.

Павелъ Владимірычъ, наконецъ, понялъ, что передъ нимъ не тѣнь, а самъ кровопивецъ во плоти. Онъ какъ-то вдругъ съёжился, какъ будто знобить его начало. Глаза Іудушки смотрѣли свѣтло, по-родственному, но больной очень хорошо видѣлъ, что въ этихъ глазахъ скрывается «петля», которая вотъ-вотъ сейчасъ выскочитъ и захлеснетъ ему горло.

— Ахъ, братъ, братъ, какая ты бяка сдѣлался! — продолжалъ подшучивать по-родственному Іудушка. — А ты возьми да и прибодрись! Встань да и побѣги! Трускомъ-трускомъ — пусть-ка, молъ, маменька полюбуется, какими мы молодцами стали! Фу-ты, ну-ты!

— Иди, кровопивецъ, вонъ!—отчаянно крикнулъ больной.

— А-а-ахъ, братъ, братъ! Я къ тебѣ съ лаской да съ утѣшеніемъ, а ты... какое ты слово сказалъ! А-а-ахъ, грѣхъ какой! И какъ это языкъ у тебя, дружокъ, повернулся, чтобъ этакое слово родному брату сказать! Стыдно, голубчикъ, даже очень стыдно! Постой-ка, я лучше подушечку тебѣ поправлю!

Іудушка всталъ и ткнулъ въ подушку пальцемъ.

— Вотъ такъ!—продолжалъ онъ:—вотъ теперь славно! Лежи себѣ хорошохонько—хоть до завтрева поправлять не нужно!

— Уйди... ты!

— Ахъ, какъ болѣзнь-то, однако, тебя испортила! Даже характеръ въ тебѣ — и тотъ какой-то строптивый сталъ! Уйди да уйди—ну, какъ я уйду! Вотъ тебѣ испить захочется — я водички подамъ; вонъ лампадна не въ исправности—я лампадочку поправлю, маслица деревянненькаго подолью. Ты полежишь, я посижу; тихо да смирно—и не видимъ, какъ время пройдетъ!

— Уйди, кровопивецъ!

— Вотъ ты меня бранишь, а я за тебя Богу помолюсь. Я вѣдь знаю, что ты это не отъ себя, а болѣзнь въ тебѣ говоритъ. Я, братъ, привыкъ прощать — я всѣмъ прощаю. Вотъ и сегодня — ѣду къ тебѣ, встрѣтился по дорогѣ мужичокъ и что-то сказалъ. Ну, и что-жъ, и Христосъ съ нимъ! Онъ же свой языкъ осквернилъ! А я... да не только я не разсердился, а даже перекрестилъ его—право!

— Ограбилъ... мужика?..

— Кто? я-то! Нѣтъ, мой другъ, я не граблю; это разбойники по большимъ дорогамъ грабятъ, а я — по закону дѣйствую. Лошадь его въ своемъ лугу поймалъ — ну, и ступай, голубчикъ, къ мировому! Коли скажетъ мировой, что травить чужіе луга дозволяется — и Богъ съ нимъ! А скажетъ, что травить не дозволяется—нечего дѣлать, штрафъ пожалуйте! По закону я, голубчикъ, по закону!

— Іуда предатель, мать по-міру пустилъ!

— И опять-таки скажу: хочешь сердись, хочешь не сердись, а не дѣло ты говоришь! И если-бъ я не былъ христіанинъ, я бы тоже... попретендовать за это на тебя могъ!

— Пустилъ, пустилъ, пустилъ... мать по-міру!

— Ну, перестань же, перестань! Вотъ я Богу помолюсь: можетъ-быть, ты и попокойнѣе будешь...

Какъ ни сдерживалъ себя Іудушка, но ругательства умирающаго до того его проняли, что даже губы у него искри-

вились и побѣлѣли. Тѣмъ не менѣе, лицемѣріе было до такой степени потребностью его натуры, что онъ никакъ не могъ прервать разъ начатую комедію. Съ послѣдними словами онъ дѣйствительно всталъ на колѣни и съ четверть часа воздѣвалъ руки и шепталъ. Исполнивши это, онъ возвратился къ постели умирающаго съ лицомъ успокоеннымъ, почти яснымъ.

— А вѣдь я, братъ, о дѣлѣ съ тобой поговорить пріѣхалъ, — сказалъ онъ, усаживаясь въ кресло. — Ты меня вотъ бранишь, а я о душѣ твоей думаю. Скажи, пожалуйста, когда ты въ послѣдній разъ утѣшеніе принялъ?

— Господи! да что-жъ это... уведите его! Улитка! Агашка! Кто тутъ есть?—стоналъ больной.

— Ну, ну, ну, успокойся, голубчикъ! Знаю, что ты объ этомъ говорить не любишь! Да, братъ, всегда ты дурнымъ христіаниномъ былъ и теперь такимъ же остаешься. А не худо бы, ахъ, какъ бы не худо въ такую минуту объ душѣ-то подумать! Вѣдь душа-то наша... ахъ, какъ съ ней осторожно обращаться нужно, мой другъ! Церковь-то что намъ предписываетъ? Приносите, говоритъ, моленія, благодаренія... А еще: христіанскія кончины живота нашего безболѣзненны, непостыдны, мирны — вотъ что, мой другъ! Послать бы тебѣ теперь за батюшкой, да искренно, съ раскаяніемъ... Ну, ну! не буду, не буду! А право бы такъ...

Павелъ Владимірычъ лежалъ весь багровый и чуть не задыхался. Если-бъ онъ могъ въ эту минуту разбить себѣ голову, онъ несомнѣнно сдѣлалъ бы это.

— Вотъ и насчетъ имѣнія — можетъ-быть, ты ужъ и распорядился?—продолжалъ Іудушка.—Хорошенькое, очень хорошенькое имѣньице у тебя—нечего сказать. Земля даже лучше, чѣмъ въ Головлевѣ: съ песочкомъ суглиночекъ-то! Ну, и капиталъ у тебя... Я вѣдь, братъ, ничего не знаю. Знаю только, что ты крестьянъ на выкупъ отдалъ, а что и какъ—никогда я этимъ не интересовался. Вотъ и сегодня, ѣду къ тебѣ и говорю про себя: должно-быть, у брата Павла капиталъ есть! А, впрочемъ, думаю, если и есть у него капиталъ, такъ ужъ навѣрное онъ насчетъ его распоряженіе сдѣлалъ!

Больной отвернулся и тяжело вздыхалъ.

— Не сдѣлалъ? Ну, и тѣмъ лучше: мой другъ! По закону—оно даже справедливѣе. Вѣдь не чужимъ, а своимъ же приснымъ достанется. Я, вотъ, на что ужъ хилъ—одной ногой въ могилѣ стою, а все-таки думаю: зачѣмъ же мнѣ

распоряженіе дѣлать, коль скоро законъ за меня распорядиться можетъ. И вѣдь какъ это хорошо, голубчикъ! Ни свары, ни зависти, ни кляузъ... Законъ!

Это было ужасно. Павлу Владимірычу почудилось, что онъ заживо уложенъ въ гробъ, что онъ лежитъ словно скованный, въ летаргическомъ снѣ, не можетъ ни единымъ членомъ пошевельнуть и выслушиваетъ, какъ кровопивецъ ругается надъ тѣломъ его.

— Уйди... ради Христа... уйди!—началъ онъ, наконецъ, молить своего мучителя.

— Ну, ну, ну, успокойся, уйду! Знаю, что ты меня не любишь... Стыдно, мой другъ, очень стыдно родного брата не любить! Вотъ я такъ тебя люблю! И дѣтямъ всегда говорю: хоть братъ Павелъ и виноватъ передо мной, а я его все-таки люблю! Такъ ты, значитъ, не дѣлалъ распоряженій — и прекрасно, мой другъ! Бываетъ, впрочемъ, иногда, что и при жизни капиталъ растащатъ, особенно кто безъ родныхъ, одинъ... Ну, да ужъ я поприсмотрю... А? что? надоѣлъ я тебѣ? Ну, ну, такъ и быть, уйду! Дай, только Богу помолюсь!

Онъ всталъ, сложилъ ладони и наскоро пошепталъ.

— Прощай, другъ, не безпокойся! Почивай себѣ хорошохонько—можетъ, и дастъ Богъ! А мы съ маменькой потолкуемъ да поговоримъ — можетъ-быть, что и попридумаемъ! Я, братъ, постненькаго себѣ къ обѣду изготовить просилъ... рыбки солененькой, да грибковъ, да капустки— такъ ты ужъ меня извини! Что? или опять надоѣлъ? Ахъ, братъ, братъ!.. Ну, ну, уйду, уйду! Главное, мой другъ, не тревожься, не волнуй себя — спи себѣ да почивай! Хрр... хрр...—шутливо поддразнилъ онъ въ заключеніе, рѣшаясь, наконецъ, уйти.

— Кровопивецъ!—раздалось ему вслѣдъ такимъ пронзительнымъ крикомъ, что даже онъ почувствовалъ, что его словно обожгло.

Покуда Порфирій Владимірычъ растабарываетъ на антресоляхъ, внизу бабушка Арина Петровна собрала вокругъ себя молодежь (не безъ цѣли что-нибудь вывѣдать) и бесѣдуетъ съ нею.

— Ну, ты какъ?—обращается она къ старшему внучку, Петенькѣ.

— Ничего, бабушка; вотъ на будущій годъ въ офицеры выйду.

— Выйдешь ли? Который ужъ ты годъ обѣщаешь! Экзамены, что ли, у васъ трудные—Богъ тебя знаетъ!

— Онъ, бабушка, на послѣднихъ экзаменахъ изъ «Начатковъ» срѣзался. Батюшка спрашиваетъ: «что̀ есть Богъ?» а онъ: «Богъ есть духъ... и есть духъ... и святому духу»...

— Ахъ, бѣдный ты, бѣдный! Какъ же это ты такъ? Вотъ онѣ, сироты—и то, чай, знаютъ!

— Еще бы! Богъ есть духъ невидимый... — спѣшитъ блеснуть своими познаніями Аннинька.

— Его же никто же не видѣ нигдѣ же, — перебиваетъ Любинька.

— Всевѣдущій, всеблагій, всемогущій, вездѣсущій,—продолжаетъ Аннинька.

— Камо пойду отъ духа Твоего и отъ лица Твоего камо бѣжу? Аще взыду на небо—тамо еси, аще сниду во адъ—тамо еси...

— Вотъ и ты бы такъ отвѣчалъ—съ эполетами теперь былъ бы. А ты, Володя, что̀ съ собой думаешь?

Володя багровѣетъ и молчитъ.

— Тоже, видно: «и святому духу!» Ахъ, дѣтки, дѣтки! На видъ какіе вы шустрые, а никакъ науку преодолѣть не можете. И добро бы отецъ у васъ баловникъ былъ... Что̀, какъ онъ теперь съ вами?

— Все то же, бабушка.

— Колотитъ? А я вѣдь слышала, что онъ пересталъ драться-то?

— Меньшѐ, а все-таки... А главное, надоѣдаетъ ужъ очень.

— Этого я что-то ужъ и не понимаю. Какъ это отецъ надоѣдать можетъ?

— Очень, бабушка, надоѣдаетъ. Ни уйти безъ спросу нельзя, ни взять что-нибудь... Совсѣмъ подлость!

— А вы бы спрашивались, языкъ-то, чай, не отвалится!

— Нѣтъ ужъ. Съ нимъ только заговори — онъ потомъ и не отвяжется. Постой да погоди, потихоньку да полегоньку... Ужъ очень, бабушка, скучно онъ разговариваетъ!

— Онъ, бабушка, за нами у дверей подслушиваетъ. Только на-дняхъ его Петенька и накрылъ...

— Ахъ вы проказники! Что̀-жъ онъ?

— Ничего. Я ему говорю: это — не дѣло, папенька, у дверей подслушивать; пожалуй, недолго и носъ вамъ расквасить! А онъ: «Ну, ну! ничего, ничего! Я, братъ, яко тать въ нощи!»

— Онъ. бабушка. на-дняхъ яблоко въ саду поднялъ да

къ себѣ въ шкапикъ и положилъ, а я взялъ да и съѣлъ. Такъ онъ потомъ искалъ его, искалъ, всѣхъ людей къ допросу требовалъ...

— Что это, скупъ, что ли, онъ очень сдѣлался?

— Нѣтъ, и не скупъ, а такъ какъ-то... пустяками все занимается. Бумажки прячетъ, паданцевъ ищетъ...

— Онъ всякое утро проскомидію у себя въ кабинетѣ служитъ, а потомъ намъ по кусочку просвиры даетъ... черствой-пречерствой! Только мы однажды съ нимъ штуку сдѣлали: подсмотрѣли, гдѣ у него просвиры лежатъ, надрѣзали въ просвирѣ дно, вынули мякишъ да чухонскаго масла и положили!..

— Однакожъ, вы тоже... головорѣзы!

— Нѣтъ, вы представьте на другой день его удивленье! Просвира да еще съ масломъ!

— Чай, на порядкахъ досталось вамъ?

— Ничего... Только цѣлый день плевался и все словно про себя говорилъ: «тельмы!» Ну, мы, разумѣется, на свой счетъ не приняли. А вѣдь онъ, бабушка, васъ боится!

— Чего бояться... не пугало, чай!

— Боится—это вѣрно; думаетъ, что вы проклянете его. Онъ этихъ проклятіевъ—страхъ какъ труситъ!

Арина Петровна задумывается. Сначала ей приходитъ на мысль: «а что, ежели и въ самомъ дѣлѣ... прокляну? такъ-таки возьму да и прокляну... проклинаю!» Потомъ, на смѣну этой мысли, поступаетъ другой, болѣе насущный вопросъ: «что-то Іудушка? какія-то продѣлки онъ тамъ, наверху, продѣлываетъ? Такъ, чай, и извивается!» Наконецъ, ее осѣняетъ счастливая мысль.

— Володя, — говоритъ она: — ты, голубчикъ, легонькій! Сходилъ бы потихоньку да подслушалъ бы, что у нихъ *тамъ*?

— Съ удовольствіемъ бабушка.

Володенька на цыпочкахъ направляется къ дверямъ и исчезаетъ въ нихъ.

— Какъ это вы къ намъ сегодня надумали?— начинаетъ Арина Петровна допрашивать Петеньку.

— Мы, бабушка, давно собирались, а сегодня Улитушка прислала съ нарочнымъ сказать, что докторъ былъ и что не нынче, такъ завтра дядя непремѣнно умереть долженъ.

— Ну, а насчетъ наслѣдства... былъ у васъ разговоръ?

— Мы, бабушка, цѣлый день все объ наслѣдствахъ говоримъ. Онъ все разсказываетъ, какъ прежде, еще до дѣ-

душки было... даже Горюшкино, бабушка, помнитъ. «Вотъ, говоритъ, кабы у тетеньки Варвары Михайловны дѣтей не было—намъ бы Горюшкино-то принадлежало! И дѣти-то, говоритъ, Богъ знаетъ отъ кого—ну, да не намъ другихъ судить! У ближняго сучокъ въ глазу видимъ, а у себя бревна не замѣчаемъ... Такъ-то, братъ!»

— Ишь вѣдь какой! Замужемъ, чай, тетенька-то была; коли что и было—все мужъ прикрылъ!

— Право, бабушка. И всякій разъ, какъ мы мимо Горюшкина ѣдемъ, всякій-то разъ онъ эту исторію поднимаетъ! «И бабушка Наталья Владиміровна, говоритъ, изъ Горюшкина взята была—по всѣмъ бы правамъ ему въ Головлевскомъ родѣ быть должно; анъ, папенька-покойникъ за сестрою въ приданое отдалъ! А дыни, говоритъ, какія въ Горюшкинѣ росли! По двадцати фунтовъ вѣсу—вотъ какія дыни!»

— Ужъ въ двадцать фунтовъ! Чтой-то я объ такихъ не слыхивала! Ну, а насчетъ Дубровина какія его предположенія?

— Тоже въ этомъ родѣ. Арбузы да дыни... пустяки все! Въ послѣднее время, впрочемъ, все спрашивалъ: «А какъ вы, дѣтки, думаете — великъ у брата Павла капиталъ?» Онъ, бабушка, ужъ давно все вычислилъ: и выкупной ссуды сколько, и когда имѣніе въ опекунскій совѣтъ заложено, и сколько долгу уплачено... Мы и бумажку видѣли, на которой онъ вычисленія дѣлалъ, только мы ее, бабушка, унесли... Мы его, бабушка, этой бумажкой чуть съ ума не свели! Онъ ее въ столъ положитъ, а мы возьмемъ да въ шкапъ переложимъ; онъ въ шкапу на ключъ запретъ, а мы подберемъ ключъ, да въ просвиры засунемъ... Разъ онъ въ баню мыться пошелъ — смотритъ, а на полкѣ бумажка лежитъ!

— Веселье у васъ тамъ!

Возвращается Володенька; всѣ глаза устремляются на него.

— Ничего не слыхать, — сообщаетъ онъ шопотомъ: — только и слышно, что отецъ говоритъ: «безболѣзненны, непостыдны, мирны», а дядя ему: «уйди, кровопивецъ!»

— А насчетъ «распоряженія»... не слыхалъ?

— Кажется, было что-то, да не разобралъ.. Очень ужъ, бабушка, плотно отецъ дверь захлопнулъ. Жужжитъ — и только. А потомъ дядя вдругъ какъ крикнетъ: «у-уй-ддя!» Ну, я поскорѣй-поскорѣй, да и сюда!

— Хоть бы сиротамъ... — тоскуетъ въ раздумьи Арина Петровна.

— Ужъ если отцу достанется, онъ, бабушка, никому ничего не дастъ,—удостовѣряетъ Петенька.—Я даже такъ думаю, что онъ и насъ-то наслѣдства лишитъ.

— Не въ могилу же съ собой унесетъ!

— Нѣтъ, а какое-нибудь средство выдумаетъ. Онъ намеднись недаромъ съ попомъ поговаривалъ: «А что, говоритъ, батюшка, если бы вавилонскую башню выстроить—много на это денегъ потребуется!»

— Ну, это онъ такъ... можетъ, изъ любопытства...

— Нѣтъ, бабушка, проектъ у него какой-то есть. Не на вавилонскую башню, такъ въ Аѳонъ пожертвуетъ, а ужъ намъ не дастъ!

— А большое, бабушка, у отца имѣніе будетъ, когда дядя умретъ?—любопытствуетъ Володенька.

— Ну, это еще Богу извѣстно, кто прежде кого умретъ.

— Нѣтъ, бабушка, отецъ навѣрное разсчитываетъ. Давеча, только мы до дубровинской ямы доѣхали, онъ даже картузъ снялъ, перекрестился: «Слава Богу, говоритъ, опять по своей землѣ поѣдемъ!»

— Онъ, бабушка, все ужъ распредѣлилъ. Лѣсокъ увидалъ: «Вотъ, говоритъ, кабы на хозяина—ахъ, хорошъ бы былъ лѣсокъ!» Потомъ на покосецъ посмотрѣлъ: «Ай-да покосецъ! Смотри-ка, смотри-ка, стоговъ-то что наставлено! Тутъ прежде конный заводецъ былъ».

— Да, да... и лѣсокъ, и покосецъ—все ваше, голубчики, будетъ!—вздыхаетъ Арина Петровна.—Батюшка! да никакъ на лѣстницѣ-то скрипнуло!

— Тише, бабушка, тише! Это онъ... яко тать въ нощи... у дверей подслушиваетъ.

Наступаетъ молчаніе; но тревога оказывается ложною. Арина Петровна вздыхаетъ и шепчетъ про себя: «Ахъ, дѣтки, дѣтки!» Молодые люди въ упоръ глядятъ на сиротокъ, словно пожрать ихъ хотятъ; сиротки молчатъ и завидуютъ.

— А вы, кузина, мамзель Лотаръ видѣли? — заговариваетъ Петенька.

Аннинька и Любинька взглядываютъ другъ на друга точно спрашиваютъ, изъ исторіи это или изъ географіи.

— Въ «Прекрасной Еленѣ»... она на театрѣ Елену играетъ.

— Ахъ, да... Елена... это Парисъ? «Будучи прекрасенъ

и молодъ, онъ разжегъ сердца богинь»... Знаемъ, знаемъ!— обрадовалась Любинька.

— Это, это самое и есть. А какъ она «cas-ca-ader, ca-as-cader» выдѣлываетъ... Прелесть!

— У насъ давеча докторъ все «кувыркомъ» пѣлъ.

— «Кувыркомъ»—эта покойная Лядова... Вотъ, кузина, прелесть-то была! Когда умерла, такъ тысячи двѣ человѣкъ за гробомъ шли... думали, что революція будетъ!

— Да ты объ театрахъ, что ли, болтаешь!—вмѣшивается Арина Петровна: — такъ имъ, мой другъ, не по театрамъ ѣздить, а въ монастырь...

— Вы, бабушка, все насъ въ монастырѣ похоронить хотите!—жалуется Аннинька.

— А вы, кузина, вмѣсто монастыря-то въ Петербургъ укатите! Мы вамъ тамъ все покажемъ!

— У нихъ, мой другъ, не удовольствія на умѣ должны быть, а божественное,—продолжаетъ наставительно Арина Петровна.

— Мы ихъ, бабушка, въ Сергіеву пустынь на лихачѣ прокатимъ—вотъ и божественное будетъ.

У сиротокъ даже глазки разгорѣлись и кончики носиковъ покраснѣли при этихъ словахъ.

— А какъ, говорятъ, поютъ у Сергія! — восклицаетъ Аннинька.

— Съ тѣмъ ужъ, кузина, возьмите. *Трисвятую тьснь припьвающе*—даже отецъ такъ не споетъ. А потомъ мы бы васъ по всѣмъ тремъ Подъяческимъ покатали.

— Мы бы васъ, кузина, всему-всему научили! Въ Петербургѣ вѣдь такихъ, какъ вы, барышень очень много: ходятъ да каблучками постукиваютъ.

— Развѣ что этому научите! — вступается Арина Петровна.—Ужъ оставьте вы ихъ, Христа ради... учители! Тоже учить собрались... наукамъ, должно-быть! Вотъ я съ ними, какъ Павелъ умретъ, въ Хотьковъ уѣду... и такъ-то мы тамъ заживемъ!

— А вы все сквернословите?—вдругъ раздалось въ дверяхъ.

Посреди разговора никто и не слыхалъ, какъ подкрался Іудушка, яко тать въ нощи! Онъ весь въ слезахъ, голова поникла, лицо блѣдно, руки сложены на груди, губы шепчутъ. Нѣкоторое время онъ ищетъ глазами образа, наконецъ находитъ и съ минуту возноситъ свой духъ.

— Плохъ! ахъ, какъ плохъ!—наконецъ восклицаетъ онъ, обнимая милаго друга маменьку.

— Неужто ужъ такъ?

— Очень, очень дуренъ, голубушка... А помните, какимъ онъ прежде молодцомъ былъ!

— Ну, когда же молодцомъ?.. Что-то я этого не помню!

— Ахъ, нѣтъ, маменька, не говорите! Всегда онъ... я какъ сейчасъ помню, какъ онъ изъ корпуса вышелъ: стройный такой, широкоплечій, кровь съ молокомъ... Да, да! Такъ-то, мой другъ маменька! Всѣ мы подъ Богомъ ходимъ! Сегодня и здоровы, и сильны, и пожить бы, и пожуировать бы, и сладенькаго скушать, а завтра...

Онъ махнулъ рукой и умилился.

— Поговорилъ ли онъ, по крайней мѣрѣ?

— Мало, голубушка; только молвилъ: «прощай, братъ!» А вѣдь онъ, маменька, чувствуетъ! Чувствуетъ, что ему плохо приходится!

— Будешь, батюшка, чувствовать, какъ грудь-то ходуномъ ходитъ!

— Нѣтъ, маменька, я не объ томъ. Я объ прозорливости; прозорливость, говорятъ, человѣку дана; который человѣкъ умираетъ—всегда тотъ зараньше чувствуетъ. Вотъ грѣшникамъ—тѣмъ въ этомъ утѣшеньи отказано.

— Ну, ну! Объ «распоряженіи» не говорилъ ли чего?

— Нѣтъ, маменька. Хотѣлъ онъ, что-то сказать, да я остановилъ. Нѣтъ говорю, нечего объ распоряженіяхъ разговаривать! Что ты мнѣ, братъ, по милости своей, оставишь—я всѣмъ буду доволенъ, а ежели и ничего не оставишь—и даромъ за упокой помяну! А какъ ему, маменька, пожить-то хочется! Такъ хочется, такъ хочется!

— И всякому пожить хочется!

— Нѣтъ, маменька, вотъ я объ себѣ скажу. Ежели Господу Богу угодно призвать меня къ себѣ—хоть сейчасъ готовъ.

— Хорошо, какъ къ Богу, а ежели къ сатанѣ угодишь?

Въ такомъ духѣ разговоръ длится и до обѣда, и во время обѣда, и послѣ обѣда. Аринѣ Петровнѣ даже на стулѣ не сидится отъ нетерпѣнія. По мѣрѣ того, какъ Іудушка растабариваетъ, ей все чаще и чаще приходитъ на мысль: «а что ежели... прокляну?» Но Іудушка даже и не подозрѣваетъ того, что въ душѣ матери происходитъ цѣлая буря, онъ смотритъ такъ ясно и продолжаетъ себѣ потихоньку да полегоньку притѣснять милаго друга маменьку своей *безнадежною* канителью.

«Прокляну! прокляну! прокляну!»—все рѣшительнѣе да рѣшительнѣе повторяетъ про себя Арина Петровна.

Въ комнатахъ пахнетъ ладаномъ: по дому раздается протяжное пѣніе; двери отворены настежь: желающіе поклониться покойному приходятъ и уходятъ. При жизни никто не обращалъ вниманія на Павла Владимірыча, со смертью его — всѣмъ сдѣлалось жалко. Припоминали, что онъ «никого не обидѣлъ», «никому грубаго слова не сказалъ», «ни на кого не взглянулъ косо». Всѣ эти качества, казавшіяся прежде отрицательными, теперь представлялись чѣмъ-то положительнымъ, и изъ неясныхъ обрывковъ обычнаго похороннаго празднословія вырисовывался типъ «добраго барина». Многіе въ чемъ-то раскаивались, что по временамъ пользовались простотою покойнаго въ ущербъ ему—да вѣдь кто-же зналъ, что этой простотѣ такъ скоро конецъ настанетъ! Жила-жила простота, думали, что ей и вѣку не будетъ, а она вдругъ... А была бы жива простота— и теперь бы ее накаливали: накаливай ребята! что дуракамъ въ зубы смотрѣть! Одинъ мужичокъ принесъ Іудушкѣ три цѣлковыхъ и сказалъ:

— Должокъ за мной покойному Павлу Владимірычу былъ. Записокъ промежду насъ не было—такъ вотъ!

Іудушка взялъ деньги, похвалилъ мужика и сказалъ, что онъ эти три цѣлковыхъ на маслицо для «неугасимой» отдастъ.

— И ты, дружокъ, будешь видѣть, и всѣ будутъ видѣть, а душа покойнаго радоваться будетъ. Можетъ, онъ что-нибудь и вымолитъ *тамъ* для тебя! Ты и не ждешь—анъ, вдругъ тебѣ Богъ счастья пошлетъ!

Очень возможно, что въ мірской оцѣнкѣ качествъ покойнаго неясно участвовало и сравненіе. Іудушку не любили. Не-то чтобъ его нельзя было обойти, а очень ужъ онъ пустяки любилъ, надоѣдалъ да приставалъ. Даже земельные участки немногіе рѣшились у него кортомить, потому что онъ сдастъ участокъ, да за каждый лишній запаханный или закошенный вершокъ, за каждую пропущенную минуту въ уплатѣ долга сейчасъ начнетъ съемщика по судамъ таскать. Многихъ онъ такъ-то затаскалъ и самъ ничего не выигралъ (его привычку кляузничать такъ вездѣ знали, что, почти не разбирая дѣлъ, отказывали въ его претензіяхъ), и народъ волокитами да прогулами разорилъ. «Не купи двора, а купи сосѣда», говоритъ пословица, а у всѣхъ

на знати, каковъ сосѣдъ—головлевскій баринъ. Нужды нѣтъ, что мировой тебя оправитъ,—онъ тебя своимъ судомъ, сатанинскимъ, изведетъ. И такъ какъ злость (даже не злость а скорѣе нравственное окостенѣніе), прикрытая лицемѣріемъ, всегда наводитъ какой-то суевѣрный страхъ, то новые «сосѣди» (Іудушка очень привѣтливо называетъ ихъ «сосѣдушками») боязливо кланялись въ поясъ, проходя мимо кровопивца, который, весь въ черномъ, стоялъ у гроба съ сложенными ладонями и воздѣтыми вверхъ глазами.

Покуда покойникъ лежалъ въ домѣ, домашніе ходили на цыпочкахъ, заглядывали въ столовую (тамъ, на обѣденномъ столѣ, былъ поставленъ гробъ), качали головами, шептались. Іудушка притворялся чуть живымъ, шаркалъ по коридору, заходилъ къ «покойничку», умилялся, поправлялъ на гробѣ покровъ и шептался съ становымъ приставомъ, который составлялъ описи и прикладывалъ печати. Петенька и Володенька суетились около гроба, ставили и зажигали свѣчки, подавали кадило и проч. Аннинька и Любинька плакали и сквозь слезы тоненькими голосами подпѣвали дьячкамъ на панихидахъ! Дворовыя женщины, въ черныхъ коленкоровыхъ платьяхъ, утирали передниками раскраснѣвшіеся отъ слезъ носы.

Арина Петровна тотчасъ же, какъ послѣдовала смерть Павла Владимірыча, ушла въ свою комнату и заперлась тамъ. Ей было не до слезъ, потому что она сознавала, что сейчасъ же должна была на что-нибудь рѣшиться. Оставаться въ Дубровинѣ она и не думала... «Ни за что!»—слѣдовательно предстояло одно: ѣхать въ Погорѣлку, имѣніе сиротъ, то самое, которое нѣкогда представляло «кусокъ», выброшенный ею непочтительной дочери Аннѣ Владиміровнѣ. Принявши это рѣшеніе, она почувствовала себя облегченною, какъ будто Іудушка вдругъ и навсегда потерялъ всякую власть надъ нею. Спокойно пересчитала пяти-процентные билеты (капиталу оказалось: своего пятнадцать тысячъ, да столько же сиротскаго, ею накопленнаго), и спокойно же сообразила, сколько нужно истратить денегъ, чтобы привести погорѣлковскій домъ въ порядокъ. Затѣмъ немедленно послала за погорѣлковскимъ старостой, отдала нужныя приказанія насчетъ найма плотниковъ и присылки въ Дубровино подводъ за ея и сиротскими пожитками, велѣла готовить тарантасъ (въ Дубровинѣ стоялъ ея *собственный* тарантасъ, и она имѣла *доказательства,* что онъ ея *собственный)* и начала укладываться. Къ Іудушкѣ она не чув-

ствовала ни ненависти, ни расположенія: ей просто сдѣлалось противно съ нимъ дѣло имѣть. Даже ѣла она неохотно и мало, потому что съ нынѣшняго дня приходилось ѣсть уже не Павлово, а Іудушкино. Нѣсколько разъ Порфирій Владимірычъ заглядывалъ въ ея комнату, чтобъ покалякать съ милымъ другомъ маменькой (онъ очень хорошо понималъ ея приготовленія къ отъѣзду, но дѣлалъ видъ, что ничего не замѣчаетъ), но Арина Петровна не допускала его.

— Ступай, мой другъ, ступай,—говорила она:—мнѣ некогда.

Черезъ три дня у Арины Петровны все было уже готово къ отъѣзду. Отстояли обѣдню, отпѣли и схоронили Павла Владимірыча. На похоронахъ все произошло точно такъ, какъ представляла себѣ Арина Петровна въ то утро, какъ Іудушкѣ пріѣхать въ Дубровино. Именно такъ крикнулъ Іудушка: «прощай братъ!» когда опускали гробъ въ могилу, именно такъ же обратился онъ вслѣдъ затѣмъ къ Улитушкѣ и торопливо сказалъ:

— Кутью-то, кутью-то не позабудьте взять, да въ столовой на чистенькую скатертцу поставьте... Чай, и въ домѣ братца помянуть придется!

Къ обѣду, который по обычаю былъ поданъ сейчасъ, какъ пришли съ похоронъ, были приглашены три священника (въ томъ числѣ отецъ благочинный) и дьяконъ. Дьячкамъ была устроена особая трапеза въ прихожей. Арина Петровна и сироты вышли въ дорожномъ платьѣ, но Іудушка и тутъ сдѣлалъ видъ, что не замѣчаетъ. Подойдя къ закускѣ, Порфирій Владимірычъ попросилъ отца благочиннаго благословить яствіе и питіе, затѣмъ налилъ себѣ и духовнымъ отцамъ по рюмкѣ водки, умилился и произнесъ:

— Новопреставленному, вѣчная память! Ахъ, братъ, братъ, оставилъ ты насъ! А кому бы, кажется, и пожить, какъ не тебѣ. Дурной ты, братъ, нехорошій!

Сказалъ перекрестился и выпилъ. Потомъ опять перекрестился и проглотилъ кусочекъ искры, опять перекрестился— и балычка отвѣдалъ.

— Кушайте, батюшка!—убѣждалъ онъ отца благочиннаго.—Все это—запасы покойнаго братца! Любилъ покойникъ покушать! И самъ хорошо кушалъ, а еще больше другихъ любилъ угостить! Ахъ, братъ, братъ! оставилъ ты насъ! Нехорошій ты, братъ, недобрый!

Словомъ сказать, такъ зарапортовался, что даже позабылъ объ маменькѣ. Только тогда вспомнилъ, какъ ужъ рыжій-

ковъ зачерпнулъ и совсѣмъ-было собрался ложку въ ротъ отправить.

— Маменька! голубчикъ!—всполошился онъ.—А я-то, простофиля, уписываю—ахъ, грѣхъ какой! Маменька! закусочки! рыжичковъ! Дубровинскіе вѣдь рыжички-то! Знаменитые!

Но Арина Петровна только безмолвно кивнула головой въ отвѣтъ и не двинулась. Казалось, она съ любопытствомъ къ чему-то прислушивалась. Какъ будто какой-то свѣтъ пролился у нея передъ глазами, и вся эта комедія, къ повторенію которой она съ малолѣтства привыкла, въ которой сама всегда участвовала, вдругъ показалось ей совсѣмъ новой, невиданною.

Обѣдъ начался съ родственныхъ пререканій. Іудушка настаивалъ, чтобы маменька на хозяйское мѣсто сѣла; Арина Петровна отказывалась.

— Нѣтъ, ты здѣсь хозяинъ, ты и садись, куда тебѣ хочется!—сухо проговорила она.

— Вы—хозяйка! Вы, маменька, вездѣ хозяйка: и въ Головлевѣ, и въ Дубровинѣ—вездѣ!—убѣждалъ Іудушка.

— Нѣтъ ужъ, садись! Гдѣ мнѣ хозяйкой Богъ приведетъ быть, такъ я и сама сяду, гдѣ вздумается. А здѣсь ты хозяинъ—ты и садись!

— Такъ мы вотъ что сдѣлаемъ,—умилился Іудушка:— мы хозяйскій-то приборъ незанятымъ оставимъ! Какъ будто братъ здѣсь невидимо съ нами сотрапезуетъ... Онъ—хозяинъ, а мы гостями будемъ!

Такъ и сдѣлали. Покуда разливали супъ, Іудушка, выбравъ приличный сюжетъ, начинаетъ бесѣду съ батюшками, преимущественно, впрочемъ, обращая рѣчь къ отцу благочинному.

— Вотъ многіе нынче въ безсмертіе души не вѣрятъ... а я вѣрю!—говоритъ онъ.

— Ужъ это развѣ отчаянные какіе-нибудь!—отвѣтилъ отецъ благочинный.

— Нѣтъ, и не отчаянные, а наука такая есть. Будто бы человѣкъ самъ собою... Живетъ, это, и вдругъ—умеръ.

— Очень ужъ много этихъ наукъ нынче развелось—поубавить бы! Наукамъ вѣрятъ, а въ Бога не вѣрятъ. Даже мужики—и тѣ въ ученые норовятъ.

— Да, батюшка, правда ваша. Хотятъ, хотятъ въ ученые попасть. У меня вотъ нагловскіе: ѣсть нечего, а намеднись приговоръ написали—училище открывать хотятъ... Ученые!

— Противъ всего нынче науки пошли. Противъ дождя—наука, противъ вёдра—наука. Прежде, бывало, попросту:

придутъ да молебенъ отслужатъ—и дастъ Богъ. Вёдро нужно—вёдро Господь пошлетъ; дождя нужно—и дождя у Бога не занимать стать. Всего у Бога довольно. А съ тёхъ поръ какъ по наукѣ начали жить—словно вотъ отрѣзало: все пошло безо времени. Сѣять нужно—засуха, косить нужно—дождикъ!

— Правда, ваша, батюшка, святая ваша правда. Прежде какъ Богу-то чаще молились, и земля лучше родила. Урожаи-то были не нынѣшніе, самъ-четвертъ да самъ-пятъ—сторицею давала земля. Вотъ, маменька, чай, помнитъ? Помните, маменька?—обращается Іудушка къ Аринѣ Петровнѣ съ намѣреніемъ и ее вовлечь въ разговоръ.

— Не слыхала, чтобъ въ нашей сторонѣ... Ты, можетъ, объ ханаанской землѣ читалъ—тамъ, сказываютъ, дѣйствительно это бывало,—сухо отзывается Арина Петровна.

— Да, да, да,—говоритъ Іудушка, какъ бы не слыша замѣчанія матери:—въ Бога не вѣрятъ, безсмертія души не признаютъ... а жрать хотятъ!

— Именно—только бы жрать бы, да пить бы!—вторилъ отецъ благочинный, засучивая рукава своей рясы, чтобы положить на тарелку кусокъ поминальнаго пирога.

Всѣ принимаются за супъ; нѣкоторое время только и слышится, какъ лязгаютъ ложки о тарелки да фыркаютъ попы, дуя на горячую жидкость.

— А вотъ католики,—продолжаетъ Іудушка, переставая ѣсть:—такъ тѣ хотя безсмертія души и не отвергаютъ, но взамѣнъ того говорятъ, будто бы душа не прямо въ адъ или въ рай попадаетъ, а на нѣкоторое время... въ среднее какое-то мѣсто поступаетъ.

— И это опять неосновательно.

— Какъ бы вамъ сказать, батюшка...—задумывается Порфирій Владимірычъ.—Коли начать говорить съ точки зрѣнія...

— Нечего объ пустякахъ говорить. Святая церковь какъ поетъ? Поетъ: «Въ мѣстѣ злачномъ, въ мѣстѣ прохладномъ, идѣ же нѣсть ни печали, ни воздыханія»... Объ какомъ же тутъ «среднемъ» мѣстѣ еще разговаривать!

Іудушка, однакожъ, не вполнѣ соглашается и хочетъ кой-что возразить, но Арина Петровна, которую начинаетъ ужъ коробить отъ этихъ разговоровъ, останавливаетъ его.

— Ну, ужъ ѣшь, ѣшь... богословъ! И супъ, чай, давно простылъ!—говоритъ она и, чтобы перемѣнить разговоръ,

обращается къ отцу благочинному:—Съ рожью-то, батюшка, убрались?

— Убрался, сударыня; нынче рожь хороша, а вотъ яровые—не обѣщаютъ! Овсы зерна не успѣли порядкомъ налить, а ужъ мѣшаться начали. Ни зерна, ни соломы ожидать нельзя.

— Вездѣ нынче на овсы жалуются!—вздыхаетъ Арина Петровна, слѣдя за Іудушкой, какъ онъ вычерпываетъ ложкой остатки супа.

Подаютъ другое кушанье: ветчину съ горошкомъ. Іудушка пользуется этимъ случаемъ, чтобъ возобновить прерванный разговоръ.

— Вотъ жиды этого кушанья не ѣдятъ,—говоритъ онъ.

— Жиды — пакостники, — отзывается отецъ благочинный:—ихъ за это свинымъ ухомъ дразнятъ.

— Однакожъ, вотъ и татары... Какая-нибудь причина этому да есть.

— И татары тоже пакостники—вотъ и причина.

— Мы конины не ѣдимъ, а татары—свининой брезгаютъ. Вотъ въ Парижѣ, сказываютъ, крысъ во время осады ѣли.

— Ну, тѣ—французы!

Такимъ образомъ идетъ весь обѣдъ. Подаютъ карасей въ сметанѣ—Іудушка объясняетъ:

— Кушайте, батюшка! Это караси особенные: покойный братецъ ихъ очень любилъ!

Подаютъ спаржу—Іудушка говоритъ:

— Вотъ это такъ спаржа! Въ Петербургѣ за этакую спаржу рубликъ серебрецомъ платить надо. Покойный братецъ самъ за нею ухаживалъ! Вотъ она, Богъ съ ней, толстая какая!

У Арины Петровны такъ и кипитъ сердце: цѣлый часъ прошелъ, а обѣдъ только въ половинѣ. Іудушка словно нарочно медлитъ: поѣстъ, потомъ положитъ ножикъ и вилку, покалякаетъ, потомъ опять поѣстъ, и опять покалякаетъ. Сколько разъ, въ бывалое время, Арина Петровна крикивала за это на него: «да ѣшь же, прости Господи, сатана!»—да, видно, онъ позабылъ маменькины наставленія. А можетъ-быть, и не позабылъ, а нарочно дѣлаетъ, мститъ. А можетъ-быть, даже и не мститъ сознательно, а такъ нутро его, отъ природы ехидное, играетъ. Наконецъ, подали жаркое: въ ту самую минуту, какъ всѣ встали и отецъ *дьяконъ* затянулъ «о блаженномъ успеніи», въ коридорѣ

поднялась возня, послышались крики, которые совсѣмъ уничтожили эффектъ заупокойнаго возгласа.

— Что тамъ за шумъ?—крикнулъ Порфирій Владимірычъ.—Въ кабакъ, что ли, забрались?

— Не кричи, сдѣлай милость! Это я... это мои сундуки перетаскиваютъ,—отозвалась Арина Петровна и не безъ ироніи прибавила:—Будешь, что ли, осматривать?

Всѣ вдругъ смолкли; даже Іудушка не нашелся и поблѣднѣлъ. Онъ, впрочемъ, сейчасъ же сообразилъ, что надо какъ-нибудь замять непріятную апострофу матери, и, обратясь къ отцу благочинному, началъ:

— Вотъ тетеревъ, напримѣръ... Въ Россіи ихъ множество, а въ другихъ странахъ...

— Да ѣшь, Христа ради; намъ вѣдь двадцать пять верстъ ѣхать; надо засвѣтло поспѣвать,—прервала его Арина Петровна.—Петенька! поторопи тамъ, голубчикъ, чтобъ пирожное подавали!

Нѣсколько минутъ длилось молчаніе. Порфирій Владимірычъ живо доѣлъ свой кусокъ тетерьки и сидѣлъ блѣдный, постукивая ногой въ полъ и вздрагивая губами.

— Обижаете вы меня, добрый другъ маменька! Крѣпко вы меня обижаете!—наконецъ, произноситъ онъ, не глядя, впрочемъ, на мать.

— Кто тебя обидитъ! И чѣмъ это я такъ... крѣпко тебя обидѣла?

— Очень, очень обидно... Такъ обидно! такъ обидно! Въ такую минуту... уѣзжать!.. Все жили да жили... и вдругъ... И, наконецъ, эти сундуки... осмотръ... Обидно!

— Ужъ коли ты хочешь все знать, такъ я могу и отвѣтъ дать. Жила я тутъ, покуда сынъ Павелъ былъ живъ; умеръ онъ—я и уѣзжаю. А что касается до сундуковъ, такъ Улитка давно за мной, по твоему приказанью, слѣдитъ. А по мнѣ, лучше прямо сказать матери, что она въ подозрѣніи состоитъ, нежели, какъ змѣя, изъ-за чужой спины на нее шипѣть.

— Маменька! другъ мой! да вы... да я...—простоналъ Іудушка.

— Будетъ!—не дала ему продолжать Арина Петровна.—Я высказалась.

— Но чѣмъ же, другъ мой, я могъ...

— Говорю тебѣ: я высказалась—и оставь. Отпусти меня, ради Христа, съ миромъ. Тарантасъ, чу, готовъ.

Дѣйствительно, на дворѣ раздались бубенчики и стукъ

подъѣзжающаго экипажа. Арина Петровна первая встала изъ-за стола; за ней поднялись и прочіе.

— Ну, теперь присядемте на минутку, да и въ путь!— сказала она, направляясь въ гостиную.

Посидѣли, помолчали, а тѣмъ временемъ Іудушка совсѣмъ ужъ успѣлъ оправиться.

— А не то пожили бы, маменька, въ Дубровинѣ... Посмотрите-ка, какъ здѣсь хорошо! — сказалъ онъ, глядя матери въ глаза съ ласковостью провинившагося пса.

— Нѣтъ, мой другъ, будетъ! Не хочу я тебѣ, на прощаніе, непріятнаго слова сказать... а нельзя мнѣ здѣсь оставаться! Нѣ у чего! Батюшка, помолимтесь!

Всѣ встали и помолились; затѣмъ Арина Петровна со всѣми перецѣловалась, всѣхъ благословила, по-родственному, и, тяжело ступая ногами, направилась къ двери. Порфирій Владимірычъ, во главѣ всѣхъ домашнихъ, проводилъ ее до крыльца, но тутъ, при видѣ тарантаса, его смутилъ бѣсъ любомудрія. «А тарантасъ-то вѣдь братцевъ!»— блеснуло у него въ головѣ.

— Такъ увидимся, добрый другъ маменька! — сказалъ онъ, подсаживая мать и искоса поглядывая на тарантасъ.

— Коли Богъ велитъ... отчего же не увидѣться!

— Ахъ, маменька, маменька, проказница вы — право! Велите-ка тарантасъ-то отложить, да съ Богомъ на старое гнѣздышко... Право!—лебезилъ Іудушка.

Арина Петровна не отвѣчала; она совсѣмъ ужъ усѣлась и крестное знаменіе даже сотворила, но сиротки что-то медлили.

А Іудушка, между тѣмъ, поглядывалъ да поглядывалъ на тарантасъ.

— Такъ тарантасъ-то, маменька, какъ же? Вы сами доставите или прислать за нимъ прикажете?—наконецъ, не выдержалъ онъ.

Арина Петровна даже затряслась вся отъ негодованія.

— Тарантасъ—мой!—крикнула она такимъ болѣзненнымъ крикомъ, что всѣмъ сдѣлалось и неловко, и совѣстно.—Мой! мой! Мой тарантасъ! Я его... у меня доказательства... свидѣтели есть! А ты... а тебя... ну, да ужъ подожду... посмотрю, что дальше отъ тебя будетъ! Дѣти! долго ли?

— Помилуйте, маменька! я вѣдь не въ претензіи... Если-бъ даже тарантасъ былъ дубровинскій...

— Мой тарантасъ, мой! Не дубровинскій, а мой! Не смѣй говорить... Слышишь!

— Слушаю, маменька... Такъ вы, голубушка, не забывайте насъ... попросту, знаете, безъ затѣй! Мы къ вамъ, вы къ намъ... по-родственному!

— Сѣли, что ли? Трогай!—крикнула Арина Петровна, едва сдерживая себя.

Тарантасъ дрогнулъ и покатился мелкой рысцой по дорогѣ. Іудушка стоялъ на крыльцѣ, махалъ платкомъ и, покуда тарантасъ не скрылся совсѣмъ изъ виду, кричалъ ему вслѣдъ:

— По-родственному! Мы къ вамъ, вы къ намъ!.. По-родственному!

III.—Семейные итоги.

Никогда не приходило Аринѣ Петровнѣ на мысль, что можетъ наступить минута, когда она будетъ представлять собой «лишній ротъ»—и вотъ эта минута подкралась именно въ такую пору, когда она въ первый разъ въ жизни практически убѣдилась, что нравственныя и физическія ея силы подорваны. Такія минуты всегда приходятъ внезапно; хотя человѣкъ, быть-можетъ, ужъ давно надломленъ, но все-таки еще перемогается и стоитъ—и вдругъ откуда-то сбоку наносится послѣдній ударъ. Подстеречь этотъ ударъ, сознать его приближеніе очень трудно; приходится просто и безмолвно покориться ему, ибо это—тотъ самый ударъ, который недавняго бодраго человѣка мгновенно и безапеляціонно превращаетъ въ развалину.

Тяжело было положеніе Арины Петровны, когда она, разорвавши съ Іудушкой, поселилась въ Дубровинѣ; но тогда она, по крайней мѣрѣ, знала, что Павелъ Владимірычъ хоть и косо смотритъ на ея вторженіе, но все-таки онъ человѣкъ достаточный, для котораго лишній кусокъ не много значитъ. Теперь дѣло приняло совсѣмъ иной оборотъ: она стояла во главѣ такого хозяйства, гдѣ всѣ «куски» были на счету. А она знала цѣну этимъ «кускамъ», ибо, проведя всю жизнь въ деревнѣ, въ общеніи съ крестьянскимъ людомъ, вполнѣ усвоила себѣ крестьянское представленіе объ ущербѣ, который наноситъ «лишній ротъ» хозяйству, и безъ того уже скудному.

Тѣмъ не менѣе, первое время по переселеніи въ Погорѣлку она еще бодрилась, хлопотливо устраивалась на новомъ мѣстѣ и выказывала прежнюю ясность хозяйствен-

ныхъ соображеній. Но хозяйство въ Погорѣлкѣ было суетливое, мелочное, требовало ежеминутнаго личнаго присмотра, и хотя сгоряча ей показалось, что достигнуть точнаго учета тамъ, гдѣ изъ полушекъ составляются гроши, а изъ грошей гривенники, не составляетъ никакой мудрости, однако, скоро она должна была сознаться, что это—убѣжденіе ошибочное. Мудрости, дѣйствительно, не было, но и не было ни прежней охоты, ни прежнихъ силъ. Къ тому же, дѣло происходило осенью, въ самый разгаръ хозяйственныхъ итоговъ, а между тѣмъ время стояло ненастное и полагало невольный предѣлъ усердію Арины Петровны. Явились старческія немощи, не дозволявшія выходить изъ дома: настали длинные, тоскливые осенніе вечера, осуждавшіе на фаталистическую праздность. Старуха волновалась и рвалась, но ничего не могла сдѣлать.

Съ другой стороны, она не могла не замѣтить, что и съ сиротами дѣлается что-то неладное. Онѣ вдругъ заскучали и опустили головы. Какіе-то смутные планы будущаго волновали ихъ,—планы, въ которыхъ представленія о трудѣ шли вперемежку съ представленіями объ удовольствіяхъ, конечно, самаго невиннаго свойства. Тутъ были и воспоминанія объ институтѣ, въ которомъ онѣ воспитывались, и вычитанныя урывками мысли о людяхъ труда, и робкая надежда, съ помощью институтскихъ связей, ухватиться за какую-то нить и при ея пособіи войти въ свѣтлое царство человѣческой жизни. Надъ всей этой смутностью, тѣмъ не менѣе, господствовала одна щемящая и очень опредѣленная мысль: во что бы то ни стало уйти изъ постылой Погорѣлки. И вотъ, въ одно прекрасное утро, Аннинька и Любинька объявили бабушкѣ, что долѣе оставаться въ Погорѣлкѣ не могутъ и не хотятъ. Что это ни на что не похоже, что онѣ въ Погорѣлкѣ никого не видятъ, кромѣ попа, который къ тому же постоянно, при свиданіи съ ними, почему-то заговариваетъ о дѣвахъ, погасившихъ свои свѣтильники, и что вообще—«такъ нельзя». Дѣвицы говорили рѣзко, ибо боялись бабушки, и тѣмъ больше напускали на себя храбрости, чѣмъ больше ждали съ ея стороны гнѣвной вспышки и отпора. Но, къ удивленію, Арина Петровна выслушала ихъ сѣтованія не только безъ гнѣва, но даже не выказавъ поползновенія къ безплоднымъ поученіямъ, на которыя такъ таровата безсильная старость. Увы! это была ужъ не та властная женщина, которая во времена оны съ увѣренностью говаривала: «Уѣду въ Хоть-

ковъ и внучатъ съ собой возьму». И не одно старческое безсиліе участвовало въ этой перемѣнѣ, но и пониманіе чего-то лучшаго, болѣе справедливаго. Послѣдніе удары судьбы не просто смирили ее, но еще освѣтили въ ея умственномъ кругозорѣ нѣкоторые уголки, въ которые мысль ея, повидимому, никогда дотолѣ не заглядывала. Она поняла, что въ человѣческомъ существѣ кроются извѣстныя стремленія, которыя могутъ только дремать, но, разъ проснувшись, уже неотразимо влекутъ человѣка туда, гдѣ прорѣзывается лучъ жизни, тотъ отрадный лучъ, появленіе котораго такъ давно подстерегали глаза среди безнадежной мглы настоящаго. И, разъ понявъ законность подобнаго стремленія, она ужъ была безсильна противодѣйствовать ему. Правда, она отговаривала внучекъ отъ ихъ намѣренія, но слабо, безъ убѣжденія; она безпокоилась насчетъ ожидающаго ихъ будущаго, тѣмъ болѣе, что сама не имѣла никакихъ связей въ такъ-называемомъ свѣтѣ, но въ то же время чувствовала, что разлука съ дѣвушками есть дѣло должное, неизбѣжное. Что съ ними будетъ?—этотъ вопросъ вставалъ передъ ней назойливо и ежеминутно; но вѣдь ни этимъ вопросомъ, ни даже болѣе страшными—не удержишь того, кто рвется на волю. А дѣвушки только о томъ и твердили, чтобъ вырваться изъ Погорѣлки. И дѣйствительно, послѣ немногихъ колебаній и отсрочекъ, сдѣланныхъ въ угоду бабушкѣ, уѣхали.

Съ отъѣздомъ сиротъ погорѣлковскій домъ окунулся въ какую-то безнадежную тишину. Какъ ни сосредоточенна была Арина Петровна по природѣ, но близость человѣческаго дыханія производила и на нее успокоительное дѣйствіе. Проводивши внучекъ, она, можетъ-быть, въ первый разъ почувствовала, что отъ ея существа что-то оторвалось и что она разомъ получила какую-то безграничную свободу, до того безграничную, что она уже ничего не видѣла передъ собой, кромѣ пустого пространства. Чтобъ какъ-нибудь скрыть въ собственныхъ глазахъ эту пустоту, она распорядилась немедленно заколотить парадныя комнаты и мезонинъ, въ которомъ жили сироты («кстати и дровъ меньше выходить будетъ»,—думала она при этомъ), а для себя отдѣлила всего двѣ комнаты, изъ которыхъ въ одной помѣщался большой кіотъ съ образами, а другая представляла въ одно и то же время спальную, кабинетъ и столовую. Прислугу тоже, ради экономіи, распустила, оставивъ при себѣ только старую, едва таскающую ноги ключницу

Афимьюшку, да одноглазую солдатку Марковну, которая готовила кушанье и стирала бѣлье. Но всѣ эти предосторожности помогли мало: ощущеніе пустоты не замедлило проникнуть и въ тѣ двѣ комнаты, въ которыхъ она думала отгородиться отъ него. Безпомощное одиночество и унылая праздность — вотъ два врага, съ которыми она очутилась лицомъ къ лицу и съ которыми отнынѣ обязывалась коротать свою старость. И вслѣдъ за ними не заставила себя ждать и работа физическаго и нравственнаго разрушенія, работа тѣмъ болѣе жестокая, чѣмъ меньше отпора даетъ ей праздная жизнь.

Дни чередовались днями съ тѣмъ удручающимъ однообразіемъ, которымъ такъ богата деревенская жизнь, если она не обставлена ни комфортомъ, ни хозяйственнымъ трудомъ, ни матеріаломъ, дающимъ пищу для ума. Независимо отъ внѣшнихъ причинъ, дѣлавшихъ личный хозяйственный трудъ недоступнымъ, Аринѣ Петровнѣ и внутренно сдѣлалась противною та грошовая суета, которая застигла ее подъ конецъ жизни. Можетъ-быть, она бы и перемогла свое отвращеніе, если-бъ была въ виду цѣль, которая оправдывала бы ея усилія, но именно цѣли-то и не было. Всѣмъ она опостылѣла, надоѣла, и ей все и всѣ опостылѣли, надоѣли. Прежняя лихорадочная дѣятельность вдругъ уступила мѣсто сонливой праздности, а праздность мало-по-малу развратила волю и привела за собой такія наклонности, о которыхъ, конечно, и во снѣ не снилось Аринѣ Петровнѣ за нѣсколько мѣсяцевъ тому назадъ. Изъ крѣпкой и сдержанной женщины, которую никто не рѣшался даже назвать старухой, получилась развалина, для которой не существовало ни прошлаго, ни будущаго, а существовала только минута, которую предстояло прожить.

Днемъ она большею частью дремала. Сядетъ въ кресло передъ столомъ, на которомъ разложены вонючія карты, и дремлетъ. Потомъ вздрогнетъ, проснется, взглянетъ въ окно и долго, безъ всякой сознательной мысли, не отрываетъ глазъ отъ разстилающейся безъ конца дали. Погорѣлка была печальная усадьба. Она стояла, какъ говорится, на тычкѣ, безъ сада, безъ тѣни, безъ всякихъ признаковъ какого бы то ни было комфорта. Даже палисадника впереди не было. Домъ былъ одноэтажный, словно придавленный, и весь почернѣвшій отъ времени и непогодъ; сзади расположены были многочисленныя службы, тоже приходившія въ ветхость, а кругомъ стлались поля, поля безъ конца;

даже лѣсу на горизонтѣ не было видно. Но такъ какъ Арина Петровна съ дѣтства почти безвыѣздно жила въ деревнѣ, то эта бѣдная природа не только не казалась ей унылою, но даже говорила ея сердцу и пробуждала остатки чувствъ, которыя въ ней теплились. Лучшая часть ея существа жила въ этихъ нагихъ и безконечныхъ поляхъ, и взоры инстинктивно искали ихъ во всякое время. Она вглядывалась въ полевую даль; вглядывалась въ эти измокшія деревни, которыя въ видѣ черныхъ точекъ пестрѣли тамъ и сямъ на горизонтѣ; вглядывалась въ бѣлыя церкви сельскихъ погостовъ; вглядывалась въ пестрыя пятна, которыя бродячія въ лучахъ солнца облака рисовали на равнинѣ полей; вглядывалась въ этого неизвѣстнаго мужика, который шелъ между полевыхъ бороздъ, а ей казалось, что онъ словно застылъ на одномъ мѣстѣ. Но при этомъ она ни о чемъ не думала или, лучше сказать, у нея были мысли до того разорванныя, что ни на чемъ не могли остановиться на болѣе или менѣе продолжительное время. Она только глядѣла, глядѣла до тѣхъ поръ, пока старческая дремота не начинала вновь гудѣть въ ушахъ и не заволакивала туманомъ и поля, и церкви, и деревни, и бредущаго вдали мужика.

Иногда она, повидимому, припоминала, но память прошлаго возвращалась безъ связи, въ формѣ обрывковъ. Вниманіе ни на чемъ не могло сосредоточиться и безпрерывно перебѣгало отъ одного далекаго воспоминанія къ другому. По временамъ, однакожъ, ее поражало что-нибудь особенное, не радость—на радости прошлое ея было до жестокости скупо,—а обида какая-нибудь, горькая, не переносная. Тогда внутри ея словно загоралось, тоска заползала въ сердце и слезы подступали къ глазамъ. Она начинала плакать, плакала тяжко, съ болью, плакала такъ, какъ плачетъ жалкая старость, у которой слезы льются точно подъ тяжестью кошмара. Но покуда слезы лились, безсознательная мысль продолжала свое дѣло и незамѣтно для Арины Петровны отвлекала ее отъ источника, породившаго печальное настроеніе, такъ что черезъ нѣсколько минутъ старуха и сама съ удивленіемъ спрашивала себя, что такое случилось съ нею.

Вообще она жила, какъ бы не участвуя лично въ жизни, а единственно въ силу того, что въ этой развалинѣ еще хоронились какіе-то забытые концы, которые надлежало собрать, учесть и подвести итоги. Покуда эти концы были

еще на-лицо, жизнь шла своимъ чередомъ, заставляя развалину производить всѣ внѣшнія отправленія, какія необходимы для того, чтобъ это полусонное существованіе не разсыпалось въ прахъ.

Но ежели дни проходили въ безсознательной дремотѣ, то ночи были положительно мучительны. Ночью Арина Петровна *боялась:* боялась воровъ, привидѣній, чертей, словомъ—всего, что составляло продуктъ ея воспитанія и жизни. А защита противъ всего этого была плохая, потому что, кромѣ ветхой прислуги, о которой было сказано выше, ночной погорѣлковскій штатъ весь воплощался въ лицѣ хроменькаго мужичка Ѳедосѣюшки, который за два рубля въ мѣсяцъ приходилъ съ села сторожить по ночамъ господскую усадьбу и обыкновенно дремалъ въ сѣнцахъ, выходя въ урочные часы, чтобъ сдѣлать нѣсколько ударовъ въ чугунную доску. Хотя на скотномъ дворѣ и жило нѣсколько работниковъ и работницъ, но скотная изба отстояла отъ дома саженяхъ въ двадцати, и вызвать оттуда кого-нибудь было дѣломъ далеко не легкимъ.

Есть что-то тяжелое, удручающее въ безсонной деревенской ночи. Часовъ съ девяти или много-много съ десяти жизнь словно прекращается и наступаетъ тишина, наводящая страхъ. И дѣлать нечего, да и свѣчей жаль — поневолѣ приходится лечь спать. Афимьюшка, какъ только сняли со стола самоваръ, по привычкѣ, пріобрѣтенной еще при крѣпостномъ правѣ, постелила войлокъ поперекъ двери, ведущей въ барынину спальную; затѣмъ почесалась, позѣвала, и какъ только повалилась на полъ, такъ и замерла. Марковна возилась въ дѣвичьей нѣсколько долѣе и все что-то бормотала, кого-то ругала; но вотъ, наконецъ, и она притихла, и черезъ минуту ужъ слышно, какъ она поочередно то храпитъ, то бредитъ. Сторожъ нѣсколько разъ звякнулъ въ доску, чтобы заявить о своемъ присутствіи, и умолкъ надолго. Арина Петровна сидитъ передъ нагорѣвшей сальной свѣчой и пробуетъ разогнать сонъ пасьянсомъ; но едва принимается она за раскладываніе картъ, какъ дремота начинаетъ одолѣвать ее. «Того и гляди, еще пожаръ со сна надѣлаешь!» — говоритъ она сама съ собой и рѣшается лечь въ кровать. Но едва успѣла она утонуть въ пуховикахъ, какъ приходитъ другая бѣда: сонъ, который цѣлый вечеръ такъ и манилъ, такъ и ломалъ, вдругъ совсѣмъ исчезъ. Въ комнатѣ и безъ того натоплено, изъ открытаго душника жаръ такъ и валитъ, а отъ пуховиковъ

атмосфера дѣлается просто нестерпимою. Арина Петровна ворочается съ боку на бокъ, и хочется ей покликать кого-нибудь, и знаетъ она, что на ея кличъ никто не придетъ. Загадочная тишина царитъ вокругъ,—тишина, въ которой настороженное ухо умѣетъ отличить цѣлую массу звуковъ. То хлопнуло гдѣ-то, то раздался вдругъ вой, то словно кто-то прошелъ по коридору, то пролетѣло по комнатѣ какое-то дуновеніе и даже по лицу задѣло. Лампадка горитъ передъ образомъ и свѣтомъ своимъ сообщаетъ предметамъ какой-то обманчивый характеръ — точно это не предметы, а только очертанія предметовъ. Рядомъ съ этимъ сомнительнымъ свѣтомъ является другой, выходящій изъ растворенной двери сосѣдней комнаты, гдѣ передъ кіотомъ зажжены четыре или пять лампадъ. Этотъ свѣтъ желтымъ четыреугольникомъ легъ на полу, словно врѣзался въ мракъ спальной, не сливаясь съ нимъ. Всюду тѣни, колеблющіяся, беззвучно движущіяся. Вотъ мышь заскреблась за обоями. «Шт... паскудная!»—крикнетъ на нее Арина Петровна—и опять все смолкнетъ. Опять тѣни, опять неизвѣстно откуда берущійся шопотъ. Въ чуткой, болѣзненной дремотѣ проходитъ бо́льшая часть ночи, и только къ утру сонъ настоящимъ образомъ вступаетъ въ свои права. А въ шесть часовъ утра Арина Петровна ужъ на ногахъ, измученная безсонной ночью.

Ко всѣмъ этимъ причинамъ, достаточно обрисовывающимъ жалкое существованіе, которое вела Арина Петровна, присоединялись еще двѣ: скудость питанія и неудобства помѣщенія. Ѣла она мало и дурно, вѣроятно думая этимъ наверстать ущербъ, производимый въ хозяйствѣ недостаточностью надзора. Что же касается до помѣщенія, то погорѣлковскій домъ былъ ветхъ и сыръ, а комната, въ которой заперлась Арина Петровна, никогда не освѣжалась и по цѣлымъ недѣлямъ оставалась неубранною. И вотъ, среди этой полной безпомощности, среди отсутствія всякаго комфорта и ухода, приближалась дряхлость.

Но чѣмъ больше она дряхлѣла, тѣмъ сильнѣе сказывалось въ ней желаніе жизни. Или, лучше сказать, не столько желаніе жизни, сколько желаніе «полакомиться», сопряженное съ совершеннымъ отсутствіемъ идеи смерти. Прежде она боялась смерти, теперь—какъ будто совсѣмъ позабыла о ней. И такъ какъ ея жизненные идеалы немногимъ разнились отъ идеаловъ любого крестьянина, то и представленіе о «хорошемъ житьѣ», которымъ она себя обольщала,

было довольно низменнаго свойства. Все, въ чемъ она отказывала себѣ въ теченіе жизни—хорошій кусокъ, покой, бесѣда съ живыми людьми,—все это сдѣлалось предметомъ самыхъ упорныхъ помышленій. Всѣ наклонности завзятой приживалки—празднословіе, льстивая угодливость ради подачки, прожорливость — росли съ изумительной быстротой. Она питалась дома людскими щами съ несвѣжей солониной—и въ это время мечтала о головлевскихъ запасахъ, о карасяхъ, которые водились въ дубровинскихъ прудахъ, о грибахъ, которыми полны были головлевскіе лѣса, о птицѣ, которая откармливалась въ Головлевѣ на скотномъ дворѣ. «Сущу бы теперь съ гусинымъ потрохомъ или рыжичковъ бы въ сметанѣ»,—мелькало въ ея головѣ, мелькало до того живо, что даже углы губъ у нея опускались. Ночью она ворочалась съ боку на бокъ, замирала отъ страха при каждомъ шорохѣ и думала:—«Вотъ въ Головлевѣ и запоры крѣпкіе, и сторожа вѣрные, стучатъ себѣ да постукиваютъ въ доску, не уставаючи—спи себѣ, какъ у Христа за пазушкой!» Днемъ ей по цѣлымъ часамъ не приходилось ни съ кѣмъ вымолвить слова, и во время этого невольнаго молчанія само собой приходило на умъ: «Вотъ въ Головлевѣ—тамъ людно, тамъ есть и душу съ кѣмъ отвести!» Словомъ сказать, ежеминутно припоминалось Головлево, и по мѣрѣ этихъ припоминаній оно дѣлалось чѣмъ-то въ родѣ свѣтозарнаго пункта, въ которомъ сосредоточивалось «хорошее житье».

И чѣмъ чаще смущалось воображеніе представленіемъ о Головлевѣ, тѣмъ сильнѣе возвращалась воля и тѣмъ дальше уходили въ глубь недавнія кровныя обиды. Русская женщина, по самому складу ея воспитанія и жизни, слишкомъ легко мирится съ участью приживалки, а потому и Арина Петровна не минула этой участи, хотя, казалось, все ея прошлое предостерегало и оберегало ее отъ этого ига. Не сдѣлай она «въ то время» ошибки, не отдѣли сыновей, не довѣрься Іудушкѣ, она бы была и теперь брюзгливой и требовательной старухой, которая заставила бы всѣхъ смотрѣть изъ ея рукъ. Но такъ какъ ошибка была сдѣлана безповоротно, то переходъ отъ брюзжаній самодурства къ покорности и льстивости приживалки составлялъ только вопросъ времени. Покуда силы сохраняли остатки прежней крѣпости, переходъ не выказывался наружу, но какъ только она себя сознала безвозвратно осужденною на безпомощность и одиночество, такъ тотчасъ

же въ душу начали заползать всѣ поползновенія малодушія и мало-по-малу окончательно развратили и безъ того уже расшатанную волю. Іудушка, который въ первое время, пріѣзжая въ Погорѣлку, встрѣчалъ тамъ лишь самый холодный пріемъ, вдругъ пересталъ быть ненавистнымъ. Старыя обиды забылись какъ-то само собой, и Арина Петровна первая сдѣлала шагъ къ сближенію.

Началось съ выпрашиваній. Изъ Погорѣлки являлись къ Іудушкѣ гонцы сначала рѣдко, потомъ чаще и чаще. То рыжичковъ въ Погорѣлкѣ не родилось, то огурчики отъ дождей вышли съ пятнышками, то индюшки, по нынѣшнему вольному времени, переколѣли, «да приказалъ бы ты, сердечный другъ, карасиковъ въ Дубровинѣ половить, въ коихъ и покойный сынъ Павелъ старухѣ-матери никогда не отказывалъ». Іудушка морщился, но открыто выражать неудовольствіе не рѣшался. Жаль ему было карасей, но онъ пуще всего боялся, что мать его проклянетъ. Онъ помнилъ, какъ она разъ говорила: «Пріѣду въ Головлево, прикажу открыть церковь, позову попа и закричу: проклинаю!»—и это воспоминаніе останавливало его отъ многихъ пакостей, на которыя онъ былъ великій мастеръ. Но, выполняя волю «добраго друга маменьки», онъ все-таки вскользь намекалъ своимъ окружающимъ, что всякому человѣку положено нести отъ Бога крестъ, и что это дѣлается не безъ цѣли, ибо, не имѣя креста, человѣкъ забывается и впадаетъ въ развратъ. Матери же писалъ такъ: «Огурчиковъ, добрый другъ маменька, по силѣ возможности посылаю; что же касается до индюшекъ, то, сверхъ вышущенныхъ на племя, остались одни только пѣтухи, кои для васъ, по огромности ихъ и ограниченности вашего стола, будутъ безполезны. А не угодно ли вамъ будетъ пожаловать въ Головлево раздѣлить со мною убогую трапезу: тогда мы одного изъ сихъ тунеядцевъ (именно тунеядцы, ибо мой поваръ Матвѣй преискусно оныхъ каплунитъ) велимъ зажарить и всласть съ вами, дражайшій другъ, покушаемъ».

Съ этихъ поръ Арина Петровна зачастила въ Головлево. Отвѣдывала съ Іудушкой и индюшекъ, и утокъ; спала всласть и ночью, и послѣ обѣда, и отводила душу въ безконечныхъ разговорахъ о пустякахъ, на которые Іудушка былъ тароватъ по природѣ, а она сдѣлалась тароватою вслѣдствіе старости. Даже и тогда не прекратила посѣщеній, когда до нея дошло, что Іудушка, наскучивъ

продолжительнымъ вдовствомъ, взялъ къ себѣ въ экономки дѣвицу изъ духовнаго званія, именемъ Евпраксію. Напротивъ того, узнавъ объ этомъ, она тотчасъ же поѣхала въ Головлево и, не успѣвъ еще вылѣзти изъ экипажа, съ какимъ-то ребяческимъ нетерпѣніемъ кричала Іудушкѣ: «А ну-ка, ну, старый грѣховодникъ! кажи мнѣ, кажи свою кралю!» Цѣлый этотъ день она провела въ полномъ удовольствіи, потому что Евпраксеюшка сама служила ей за обѣдомъ, сама постелила для нея постель послѣ обѣда, а вечеромъ она играла съ Іудушкой и его кралей въ дураки. Іудушка тоже былъ доволенъ такой развязкой и, въ знакъ сыновней благодарности, велѣлъ, при отъѣздѣ Арины Петровны въ Погорѣлку, положить ей въ тарантасъ, между прочимъ, фунтъ икры, что было уже высшимъ знакомъ уваженія, ибо икра—предметъ не свой, а купленный. Этотъ поступокъ такъ тронулъ старуху, что она не вытерпѣла и сказала:

— Ну, вотъ за это спасибо. И Богъ тебя, милый дружокъ, будетъ любить за то, что мать, на старости лѣтъ, покоишь да холишь. По крайности, пріѣду ужо въ Погорѣлку—не скучно будетъ. Всегда я икорку любила—вотъ и теперь, по милости твоей, полакомлюсь!

Прошло лѣтъ пять со времени переселенія Арины Петровны въ Погорѣлку. Іудушка, какъ засѣлъ въ своемъ родовомъ Головлевѣ, такъ и не двигается оттуда. Онъ значительно постарѣлъ, вылинялъ и потускнѣлъ, но шильничаетъ, лжетъ и пустословитъ еще пуще прежняго, потому что теперь у него почти постоянно подъ руками добрый другъ маменька, которая ради сладкаго старушечьяго куска сдѣлалась обязательной слушательницей его пустословія.

Не надо думать, что Іудушка былъ лицемѣръ въ смыслѣ, напримѣръ, Тартюфа или любого современнаго французскаго буржуа, соловьемъ разсыпающагося по части общественныхъ основъ. Нѣтъ, ежели онъ и былъ лицемѣръ, то лицемѣръ чисто-русскаго пошиба, то-есть просто человѣкъ, лишенный всякаго нравственнаго мѣрила и не знающій иной истины, кромѣ той, которая значится въ азбучныхъ прописяхъ. Онъ былъ невѣжественъ безъ границъ, сутяга, лгунъ, пустословъ и, въ довершеніе всего, боялся чорта. Все это—такія отрицательныя качества, которыя отнюдь не могутъ дать прочнаго матеріала для дѣйствительнаго лицемѣрія.

Во Франціи лицемѣріе вырабатывается воспитаніемъ, составляетъ, такъ сказать, принадлежность «хорошихъ манеръ» и почти всегда имѣетъ яркую политическую или соціальную окраску. Есть лицемѣры религіи, лицемѣры общественныхъ основъ, собственности, семейства, государственности, а въ послѣднее время народились даже лицемѣры «порядка». Ежели этого рода лицемѣріе и нельзя назвать убѣжденіемъ, то, во всякомъ случаѣ, это—знамя, кругомъ котораго собираются люди, которые находятъ расчетъ полицемѣрить именно тѣмъ, а не инымъ способомъ. Они лицемѣрятъ сознательно, въ смыслѣ своего знамени, то-есть и сами знаютъ, что они лицемѣры, да сверхъ того, знаютъ, что это и другимъ небезызвѣстно. Въ понятіяхъ француза-буржуа вселенная есть не что иное, какъ обширная сцена, гдѣ дается безконечное театральное представленіе, въ которомъ одинъ лицемѣръ подаетъ реплику другому. Лицемѣріе, это—приглашеніе къ приличію, къ декоруму, къ красивой внѣшней обстановкѣ, и что всего важнѣе: лицемѣріе—это узда. Не для тѣхъ, конечно, которые лицемѣрятъ, плавая въ высотахъ общественныхъ эмпиреевъ, а для тѣхъ, которые нелицемѣрно кишатъ на днѣ общественнаго котла. Лицемѣріе удерживаетъ общество отъ разнузданности страстей и дѣлаетъ послѣднюю привилегіей лишь самаго ограниченнаго меньшинства. Пока разнузданность страстей не выходитъ изъ предѣловъ небольшой и плотно организованной корпораціи—она не только безопасна, но даже поддерживаетъ и питаетъ традиціи изящества. Изящное погибло бы, если-бъ не существовало извѣстнаго числа cabinets particuliers, въ которыхъ оно культивируется въ минуты, свободныя отъ культа офиціальнаго лицемѣрія. Но разнузданность становится положительно опасною, какъ только она дѣлается общедоступною и соединяется съ предоставленіемъ каждому свободы предъявлять свои требованія и доказывать ихъ законность и естественность. Тогда возникаютъ новыя общественныя наслоенія, которыя стремятся ежели не совѣмъ вытѣснить старыя, то, по крайней мѣрѣ, въ значительной степени ограничить ихъ. Спросъ на cabinets particuliers до того увеличивается, что, наконецъ, возникаетъ вопросъ: не проще ли, на будущее время, совсѣмъ обходиться безъ нихъ? Вотъ отъ этихъ-то нежелательныхъ возникновеній и вопросовъ и оберегаетъ дирижирующіе классы французскаго общества то систематическое лицемѣріе, которое, не довольствуясь почвою обычая, не

реходитъ на почву легальности и изъ простой черты нравовъ становится закономъ, имѣющимъ характеръ принудительный.

На этомъ законѣ уваженія къ лицемѣрію основанъ, за рѣдкими исключеніями, весь современный французскій театръ. Герои лучшихъ французскихъ драматическихъ произведеній, то-есть тѣхъ, которыя пользуются наибольшимъ успѣхомъ именно за необыкновенную реальность изображаемыхъ въ нихъ житейскихъ пакостей, всегда улучатъ подъ конецъ нѣсколько свободныхъ минутъ, чтобъ подправить эти пакости громкими фразами, въ которыхъ объявляется святость и сладость добродѣтели. Адель можетъ въ продолженіе четырехъ актовъ всячески осквернять супружеское ложе; но въ пятомъ она непремѣнно во всеуслышаніе заявитъ, что семейный очагъ есть единственное убѣжище, въ которомъ французскую женщину ожидаетъ счастье. Спросите себя: что было бы съ Аделью, если-бъ авторамъ вздумалось продолжить свою пьесу еще на пять такихъ же актовъ, и вы можете безошибочно отвѣтить на этотъ вопросъ, что въ продолженіе слѣдующихъ четырехъ актовъ Адель опять будетъ осквернять супружеское ложе, а въ пятомъ опять обратится къ публикѣ съ тѣмъ же заявленіемъ. Да и нѣтъ надобности дѣлать предположенія, а слѣдуетъ только изъ Théâtre Français отправиться въ Gymnase, оттуда въ Vaudeville или въ Variétés, чтобъ убѣдиться, что Адель вездѣ одинаково оскверняетъ супружеское ложе и вездѣ же подъ конецъ объявляетъ, что это-то ложе и есть единственный алтарь, въ которомъ можетъ священнодѣйствовать честная француженка. Это до такой степени вѣлось въ нравы, что никто даже не замѣчаетъ, что тутъ кроется самое дурацкое противорѣчіе, что правда жизни является рядомъ съ правдою лицемѣрія и обѣ идутъ рука объ руку, до того перепутываясь между собой, что становится затруднительнымъ сказать, которая изъ этихъ двухъ правдъ имѣетъ болѣе правъ на признаніе.

Мы, русскіе, не имѣемъ сильно окрашенныхъ системъ воспитанія. Насъ не муштруютъ, изъ насъ не вырабатываютъ будущихъ поборниковъ и пропагандистовъ тѣхъ или другихъ общественныхъ основъ, а просто оставляютъ расти, какъ крапива растетъ у забора. Поэтому между нами очень мало лицемѣровъ и очень много лгуновъ, пустосвятовъ и пустослововъ. Мы не имѣемъ надобности лицемѣрить ради какихъ-нибудь общественныхъ основъ, ибо никакихъ та-

кихъ основъ не знаемъ, и ни одна изъ нихъ не прикрываетъ насъ. Мы существуемъ совсѣмъ свободно, т. е. прозябаемъ, лжемъ и пустословимъ сами по себѣ, безъ всякихъ основъ.

Слѣдуетъ ли по этому случаю радоваться или соболѣзновать—судить объ этомъ не мое дѣло. Думаю, однакожъ, что если лицемѣріе можетъ внушить негодованіе и страхъ, то безпредметное лганье способно возбудить докуку и омерзѣніе. А потому самое лучшее—это, оставивъ въ сторонѣ вопросъ о преимуществахъ лицемѣрія сознательнаго передъ безсознательнымъ или наоборотъ,—запереться и отъ лицемѣровъ, и отъ лгуновъ.

Итакъ, Іудушка—не столько лицемѣръ, сколько пакостникъ, лгунъ и пустословъ. Запершись въ деревнѣ, онъ сразу почувствовалъ себя на свободѣ, ибо нигдѣ, ни въ какой иной сферѣ, его наклонности не могли бы найти себѣ такого простора, какъ здѣсь. Въ Головлевѣ онъ ни откуда не встрѣчалъ не только прямого отпора, но даже малѣйшаго косвеннаго ограниченія, которое заставило бы его подумать: вотъ, дескать, и напакостилъ бы, да людей совѣстно. Ничье сужденіе не безпокоило, ничей нескромный взглядъ не тревожилъ—слѣдовательно не было повода и самому себя контролировать. Безграничная неряшливость сдѣлалась господствующею чертою его отношеній къ самому себѣ. Давнымъ-давно влекла его къ себѣ эта полная свобода отъ какихъ-либо нравственныхъ ограниченій, и ежели онъ еще раньше не переѣхалъ на житье въ деревню, то единственно потому, что боялся праздности. Проведя болѣе тридцати лѣтъ въ тусклой атмосферѣ департамента, онъ пріобрѣлъ всѣ привычки и вожделѣнія закоренѣлаго чиновника, не допускающаго, чтобы хотя одна минута его жизни оставалась свободною отъ переливанія изъ пустого въ порожнее. Но, вглядѣвшись въ дѣло пристальнѣе, онъ легко пришелъ къ убѣжденію, что міръ дѣлового бездѣльничества настолько подвиженъ, что нѣтъ ни малѣйшаго труда перенести его куда угодно, въ какую угодно сферу. И дѣйствительно, какъ только онъ поселился въ Головлевѣ, такъ тотчасъ же создалъ себѣ такую массу пустяковъ и мелочей, которую можно было, не переставая, переворачивать, безъ всякаго опасенія когда-нибудь исчерпать ее. Съ утра онъ садился за письменный столъ и принимался за занятія; во-первыхъ, усчитывалъ скотницу, ключницу, приказчика, сперва на одинъ манеръ, потомъ на другой, во-

вторыхъ, завелъ очень сложную отчетность, денежную и матеріальную: каждую копейку, каждую вещь заносилъ въ двадцати книгахъ, подводилъ итоги, то терялъ полкопейки, то цѣлую копейку лишнюю находилъ. Наконецъ, брался за перо и писалъ жалобы къ мировому судьѣ и къ посреднику. Все это не только не оставляло ни одной минуты праздной, но даже имѣло всѣ внѣшнія формы усидчиваго, непосильнаго труда. Не на праздность жаловался Іудушка, а на то, что не успѣвалъ всего передѣлать, хотя цѣлый день корпѣлъ въ кабинетѣ, не выходя изъ халата. Груды тщательно подшитыхъ, но не обревизованныхъ рапортичекъ постоянно валялись на его письменномъ столѣ, и въ томъ числѣ цѣлая годовая отчетность скотницы Ѳеклы, дѣятельность которой съ перваго раза показалась ему подозрительной и которую онъ, тѣмъ не менѣе, никакъ не могъ найти свободную минуту учесть.

Всякая связь съ внѣшнимъ міромъ была окончательно порвана. Онъ не получалъ ни книгъ, ни газетъ, ни даже писемъ. Одинъ сынъ его, Володенька, кончилъ самоубійствомъ; съ другимъ, Петенькой, онъ переписывался коротко и лишь тогда, когда посылалъ деньги. Густая атмосфера невѣжественности, предразсудковъ и кропотливаго переливанія изъ пустого въ порожнее царила кругомъ него, и онъ не ощущалъ ни малѣйшаго поползновенія освободиться отъ нея. Даже о томъ, что Наполеонъ III уже не царствуетъ, онъ узналъ лишь черезъ годъ послѣ его смерти, отъ станового пристава, но и тутъ не выразилъ никакого особеннаго ощущенія, а только перекрестился, пошепталъ: «царство небесное!» и сказалъ:

— А какъ былъ гордъ! Фу-ты, ну-ты! И то нехорошо, и другое неладно! Цари на поклонъ къ нему ѣздили, принцы въ передней дежурили! Анъ, Богъ-то взялъ, да въ одну минуту всѣ его мечтанія ниспровергъ!

Собственно говоря, онъ не зналъ даже, что дѣлается у него въ хозяйствѣ, хотя съ утра до вечера только и дѣлалъ, что считалъ да учитывалъ. Въ этомъ отношеніи онъ имѣлъ всѣ качества закоренѣлаго департаментскаго чиновника. Представьте себѣ столоначальника, которому директоръ, подъ веселую руку, сказалъ бы: «Любезный другъ! для моихъ соображеній необходимо знать, сколько Россія можетъ ежегодно производить картофеля—такъ потрудитесь сдѣлать подробное вычисленіе!» Всталъ ли бы втупикъ столоначальникъ передъ подобнымъ вопросомъ? Задумался

ли бы онъ, по крайней мѣрѣ, надъ пріемами, которые предстоитъ употребить для выполненія заказанной ему работы?— Нѣтъ, онъ поступилъ бы гораздо проще: начертилъ бы карту Россіи, разлиновалъ бы ее на совершенно равные квадратики, доискался бы, какое количество десятинъ представляетъ собой каждый квадратикъ, потомъ зашелъ бы въ мелочную лавочку, узналъ, сколько сѣется на каждую десятину картофеля и сколько *среднимъ числомъ* получается, и въ заключеніе, при помощи Божіей и первыхъ четырехъ правилъ ариѳметики, пришелъ бы къ результату, что Россія, *при благопріятныхъ условіяхъ*, можетъ производить картофелю столько-то, а *при неблагопріятныхъ условіяхъ*,— столько-то. И работа эта не только удовлетворила бы его начальника, но навѣрное была бы помѣщена въ сто-второмъ томѣ какихъ-нибудь «Трудовъ».

Даже экономку онъ выбралъ себѣ какъ разъ подходящую къ той обстановкѣ, которую создалъ. Дѣвица Евпраксія была дочь дьячка при церкви Николы-въ-Капелькахъ и представляла во всѣхъ отношеніяхъ чистѣйшій кладъ. Она не обладала ни быстротой соображенія, ни находчивостью, ни даже расторопностью, но взамѣнъ того была работяща, безотвѣтна и не предъявляла почти никакихъ требованій. Даже тогда, когда онъ «приблизилъ» ее къ себѣ—и тутъ она спросила только: можно ли ей, когда захочется, кваску холодненькаго безъ спросу испить?—такъ что самъ Іудушка умилился ея безкорыстію и немедленно отдалъ въ ея распоряженіе, сверхъ кваса, двѣ кадушки моченыхъ яблоковъ, уволивъ ее отъ всякой по этимъ статьямъ отчетности. Наружность ея тоже не представляла особенной привлекательности для любителя, но въ глазахъ человѣка неприхотливаго и знающаго, что̀ ему нужно, была вполнѣ удовлетворительна. Лицо широкое, бѣлое, лобъ узкій, обрамленный желтоватыми, негустыми волосами, глаза крупные, тусклые, носъ совершенно прямой, ротъ стертый, подернутый той загадочною, словно куда-то убѣгающею улыбкой, какую можно встрѣтить на портретахъ, писанныхъ доморощенными живописцами. Вообще, ничего выдающагося, кромѣ развѣ спины, которая была до того широка и могуча, что у человѣка самаго равнодушнаго невольно поднималась рука, чтобы, какъ говорится, «дать дѣвкѣ раза» между лопатокъ. И она знала это и не обижалась, такъ что когда Іудушка въ первый разъ слегка потрепалъ ее по жирному загривку, то она только лопатками передернула.

Среди этой тусклой обстановки дни проходили за днями, одинъ какъ другой, безъ всякихъ перемѣнъ, безъ всякой надежды на вторженіе свѣжей струи. Только пріѣздъ Арины Петровны нѣсколько оживлялъ эту жизнь, и надо сказать, правду, что ежели Порфирій Владимірычъ по началу морщился, завидѣвъ вдали маменькину повозку, то съ теченіемъ времени онъ не только привыкъ къ ея посѣщеніямъ, но и полюбилъ ихъ. Они удовлетворяли его страсть къ пустословію, ибо ежели онъ находилъ возможнымъ пустословить одинъ на одинъ съ самимъ собою, по поводу разнообразныхъ счетовъ и отчетовъ, то пустословить съ добрымъ другомъ маменькой было для него еще повадніе. Собравшись вмѣстѣ, они съ утра до вечера говорили и не могли наговориться. Говорили обо всемъ: о томъ, какіе прежде бывали урожаи и какіе нынче бываютъ; о томъ, какъ прежде живали помѣщики и какъ нынче живутъ; о томъ, что соль, что ли, прежде лучше была, а только нѣтъ нынче прежняго огурца.

Эти разговоры имѣли то преимущество, что текли какъ вода и безъ труда забывались; слѣдовательно ихъ можно было возобновлять безъ конца съ такимъ же интересомъ, какъ будто они только сейчасъ въ первый разъ пущены въ ходъ. При этихъ разговорахъ присутствовала и Евпраксеюшка, которую Арина Петровна такъ полюбила, что ни на шагъ не отпускала отъ себя. Иногда, наскучивъ бесѣдою, всѣ трое садились за карты и засиживались до поздней ночи, играя въ дураки. Пробовали учить Евпраксеюшку въ вистъ съ болваномъ, но она не поняла. Громадный головлевскій домъ словно оживалъ въ такіе вечера. Во всѣхъ окнахъ свѣтились огни, мелькали тѣни, такъ что проѣзжій могъ думать, что тутъ и не вѣсть какое веселье затѣялось. Самовары, кофейники, закуски цѣлый день не сходили со стола. И сердце Арины Петровны веселилось и играло, и загащивалась она, вмѣсто одного дня, дня на три и на четыре. И даже, уѣзжая въ Погорѣлку, уже заранѣе придумывала поводъ, чтобъ какъ-нибудь поскорѣе вернуться къ соблазнамъ головлевскаго «хорошаго житья».

Ноябрь въ исходѣ; земля на неоглядное пространство покрыта бѣлымъ саваномъ. На дворѣ ночь и метелица; рѣзкій, холодный вѣтеръ буровитъ снѣгъ, въ одно мгновеніе наметаетъ сугробы, захлестываетъ все, что попадется по пути, и всю окружность наполняетъ воплемъ. Село,

церковь, ближній лѣсъ—все исчезло въ снѣжной мглѣ, крутящейся въ воздухѣ; старинный головлевскій садъ могуче гудитъ. Но въ барскомъ домѣ свѣтло, тепло и уютно. Въ столовой стоитъ самоваръ, вокругъ котораго собрались Арина Петровна, Порфирій Владимірычъ и Евпраксеюшка. Въ сторонѣ поставленъ ломберный столъ, на которомъ брошены истрепанныя карты. Изъ столовой открытыя двери ведутъ, съ одной стороны, въ образную, всю залитую огнемъ зажженыхъ лампадъ; съ другой — въ кабинетъ барина, въ которомъ тоже теплится лампадка передъ образомъ. Въ жарко натопленныхъ комнатахъ душно, пахнетъ деревяннымъ масломъ и чадомъ самоварнаго угля. Евпраксея, усѣвшись противъ самовара, перемываетъ чашки и вытираетъ ихъ полотенцемъ. Самоваръ такъ и заливается: то загудитъ во всю мочь, то словно засыпать начнетъ и прозительно засопитъ. Клубы пара вырываются изъ-подъ крышки и окутываютъ туманомъ чайникъ, ужъ съ четверть часа стоящій на конфоркѣ. Сидящіе бесѣдуютъ.

— А ну-ко сколько ты разъ сегодня дурой осталась?— спрашиваетъ Арина Петровна Евпраксеюшку.

— Не осталась бы, кабы сама не поддалась. Вамъ же удовольствіе сдѣлать хочу,—отвѣчаетъ Евпраксеюшка.

— Сказывай! Видѣла я, какое ты удовольствіе чувствовала, какъ я давеча подъ тебя тройками да пятерками подваливала. Я вѣдь не Порфирій Владимірычъ: тотъ тебя балуетъ, все съ одной да съ одной ходитъ, а мнѣ, матушка, не изъ чего.

— Да еще бы, вы плутовали!

— Вотъ ужъ этого грѣха за мной не водится!

— А кого я давеча поймала? Кто семерку трефъ съ восьмеркой червей за пару спустить хотѣлъ? Ужъ это я сама видала, сама уличила!

Говоря это, Евпраксеюшка встаетъ, чтобъ снять съ самовара чайникъ, и поворачивается къ Аринѣ Петровнѣ спиной.

— Экъ у тебя спина какая... Богъ съ ней! — невольно вырывается у Арины Петровны.

— Да, у нея спина...—машинально отзывается Іудушка.

— Спина да спина... безстыдники! И что моя спина вамъ сдѣлала!

Евпраксеюшка смотритъ направо и налѣво и улыбается. Спина — это ея конекъ. Давеча даже старикъ Савельичъ, поваръ, и тотъ заглядѣлся и сказалъ: «Ишь ты спина!

ровно плита!» И она не пожаловалась на него Порфирію Владимірычу.

Чашки поочередно наливаются чаемъ и самоваръ начинаетъ утихать.

А метель разыгрывается пуще и пуще: то цѣлымъ снѣжнымъ ливнемъ ударитъ въ стекла оконъ, то какимъ-то невыразимымъ плачемъ прокатится вдоль печного борова.

— Метель-то, видно, взаправду взялась, — замѣчаетъ Арина Петровна:—визжитъ да повизгиваетъ!

— Ну, и пущай повизгиваетъ. Она повизгиваетъ, а мы здѣсь чаекъ попиваемъ — такъ-то, другъ мой маменька!— отзывается Порфирій Владимірычъ.

— Ахъ, нехорошо теперь въ полѣ, коли кого этакая милость Божья застанетъ!

— Кому нехорошо, а намъ горюшка мало. Кому темненько да холодненько, а намъ и свѣтлехонько, и теплехонько. Сидимъ да чаекъ попиваемъ. И съ сахарцемъ, и со сливочками, и съ лимонцемъ. А захотимъ съ ромцомъ, и съ ромцомъ будемъ пить.

— Да, коли ежели теперича...

— Позвольте, маменька. Я говорю: теперича въ полѣ очень нехорошо. Ни дороги, ни тропочки — все замерло. Опять же волки. А у насъ здѣсь и свѣтленько, и уютненько, и ничего мы не боимся. Сидимъ мы здѣсь да посиживаемъ, ладкомъ да миркомъ. Въ карточки захотѣлось поиграть — въ карточки поиграемъ, чайку захотѣлось попить — чайку попьемъ. Сверхъ нужды пить не станемъ, а сколько нужно, столько и выпьемъ. А отчего это такъ? Оттого, милый другъ маменька, что милость Божья не оставляетъ насъ. Кабы не Онъ, Царь Небесный—можетъ, и мы бы теперь въ полѣ плутали, и было бы намъ и темненько, и холодненько... Въ зипунишечкѣ какомъ-нибудь, кушачокъ плюшонькой, лаптишечки...

— Чтой-то ужъ и лаптишечки! Чай, тоже въ дворянскомъ званьи родились! Какіе ни есть, а все-таки сапожнишки носимъ!

— А знаете ли вы, маменька, отчего мы въ дворянскомъ званьи родились? А все оттого, что милость Божья къ намъ была. Кабы не она, и мы сидѣли бы теперь въ избушечкѣ, да горѣла бы у насъ не свѣчечка, а лучинушка, а ужъ насчетъ чайку да кофейку — объ этомъ и думать бы не смѣли! Сидѣли бы, я бы лаптишечки ковырялъ, вы бы щецъ тамъ какихъ-нибудь пустенькихъ по-

ужинать сбирали, Евпраксеюшка бы краснò ткала... А можетъ-быть, на бѣду, десятскій еще съ подводой бы выгналъ...

— Ну, и десятскій въ этакую пору съ подводой не нарядитъ!

— Какъ знать, милый другъ маменька! А вдругъ полки идутъ! Можетъ-быть, война или возмущеніе — чтобъ были полки въ срокъ на мѣстахъ! Вонъ, намеднись, становой сказывалъ мнѣ, Наполеонъ III померъ — навѣрно теперь французы куралесить начнутъ! Натурально, наши сейчасъ впередъ—ну, и давай, мужичокъ, подводку! Да въ стыть, да въ метель, да въ бездорожицу — ни на что не посмотрятъ: поѣзжай, мужичокъ, коли начальство велитъ! А насъ съ вами покамѣстъ еще поберегутъ, съ подводой не выгонятъ!

— Это что и говорить, велика для насъ милость Божія!

— А я что же говорю? Богъ, маменька,—все. Онъ намъ и дровецъ для тепла, и провизійцы для пропитанія — все Онъ. Мы-то думаемъ, что все сами, на свои деньги пріобрѣтаемъ, какъ посмотримъ, да поглядимъ, да сообразимъ— все Онъ, все Богъ. И коли Онъ не захочетъ, ничего у насъ не будетъ. Я, вотъ, теперь хотѣлъ бы апельсинчиковъ, и самъ бы поѣлъ, и милаго дружка маменьку угостилъ бы, и всѣмъ бы по апельсинчику далъ, и деньги у меня есть, чтобъ апельсинчиковъ купить, взялъ бы вынулъ — давай! Анъ Богъ говоритъ: тпру! вотъ я и сижу: филозòфъ безъ огурцовъ.

Всѣ смѣются.

— Разсказывайте!—отзывается Евпраксеюшка.—Вонъ у меня дяденька пономаремъ у Успенья въ Песочномъ былъ; ужъ какъ, кажется, былъ къ Богу усерденъ—могъ бы Богъ что-нибудь для него сдѣлать,—а какъ застигла его въ полѣ метелица—все равно замерзъ!

— И я про то же говорю. Коли захочетъ Богъ—замерзнетъ человѣкъ, не захочетъ—живъ останется. Опять и про молитву надо сказать: есть молитва угодная и есть молитва неугодная. Угодная—достигаетъ, а неугодная—все равно, что она есть, что ея нѣтъ. Можетъ, дяденькина-то молитва неугодная была—вотъ она и не достигла.

— Помнится, я въ двадцать-четвертомъ году въ Москву ѣздила — еще въ ту пору я Павломъ была тяжела,—такъ ѣхала я въ декабрѣ мѣсяцѣ въ Москву...

— Позвольте, маменька. Вотъ я о молитвѣ кончу. Че-

ловѣкъ обо всѣхъ молится, потому что ему всего нужно. И маслица нужно, и капустки нужно, и огурчиковъ — ну, словомъ, всего. Иногда даже чего и не нужно, а онъ все, по слабости человѣческой, проситъ. Анъ Богу-то сверху виднѣе. Ты у Него маслица просишь, а Онъ тебѣ капустки либо лучку дастъ; ты о вёдрышкѣ да о тепленькой погодкѣ хлопочешь, а Онъ тебѣ дождичка да съ градцемъ пошлетъ. И долженъ ты это понимать и не роптать. Вотъ мы въ прошломъ сентябрѣ все морозцевъ у Бога просили, чтобъ озими у насъ не подопрѣли, анъ Богъ морозцу не далъ— ну, и сопрѣли наши озими.

— Еще какъ сопрѣли-то! — соболѣзнуетъ Арина Петровна: — въ Новинкахъ у мужичковъ все озимое поле хоть брось. Придется весной перепахивать да яровымъ засѣвать.

— То-то вотъ и есть. Мы здѣсь мудрствуемъ да лукавимъ, и такъ прикинемъ, и этакъ примѣримъ, а Богъ разомъ, въ одинъ моментъ, всѣ наши планы-соображенія въ прахъ обратитъ. Вы, маменька, что-то хотѣли разсказать, что съ вами въ двадцать-четвертомъ году было?

— Что такое! ништо ужъ я позабыла! Должно-быть, все о ней же, о милости Божьей. Не помню, мой другъ, не помню.

— Ну, Богъ дастъ, въ другое время вспомните. А покуда тамъ на дворѣ кутитъ да мутитъ, вы бы, милый другъ, вареньица покушали. Это — вишенки, головлевскія! Евпраксеюшка сама варила.

— И то ѣмъ. Вишенки-то мнѣ, признаться, теперь въ рѣдкость. Прежде, бывало, частенько-таки лакомливалась ими, ну, а теперь... Хороши у тебя въ Головлевѣ вишни: сочныя, крупныя! Вотъ въ Дубровинѣ, какъ ни старались разводить—все несладки выходятъ. Да ты, Евпраксеюшка, французской-то водки клала въ варенье?

— Какъ не класть! какъ вы учили, такъ и дѣлала. Да вотъ я о чемъ хотѣла спросить: вы какъ огурцы солите— кладете кардамону?

Арина Петровна на нѣкоторое время задумывается и даже руками разводитъ.

— Не помню, мой другъ; кажется, прежде и кардамону клала. Теперь — не кладу: теперь какое мое соленье! А прежде клала... даже очень хорошо помню, что клала! Да вотъ домой пріѣду, въ рецептахъ порокусь, не найду ли. Я вѣдь, какъ въ силахъ была, все примѣчала да записы-

вала. Гдѣ что понравится, я сейчасъ все выспрошу, запишу на бумажку — да дома и пробую. Я одинъ разъ такой секретъ, такой секретъ достала, что тысячу рублей давали—не открываетъ тотъ человѣкъ, да и дѣло съ концомъ! А я ключницѣ четвертачокъ сунула—она мнѣ все до капли пересказала!

— Да, маменька, въ свое время вы-таки были... министръ!

— Министръ не министръ, а могу Бога благодарить: не растранжирила, а присовокупила. Вотъ и теперь поѣдаю отъ трудовъ своихъ праведныхъ: вишни-то въ Головлевѣ вѣдь я развела!

— И спасибо вамъ за это, маменька, большое спасибо. Вѣчное спасибо и за себя, и за потомковъ—вотъ какъ!

Іудушка встаетъ, подходитъ къ маменькѣ и цѣлуетъ у нея ручку.

— И тебѣ спасибо, что мать покоишь! Да, хороши у тебя запасы, очень хороши!

— Что у насъ за запасы! Вотъ у васъ бывали запасы, такъ это такъ. Сколько однихъ погребовъ было и нигдѣ ни одного мѣстечка пустого!

— Бывали и у меня запасы—не хочу солгать, никогда не была бездомницей. А что касается до того, что погребовъ было много, такъ вѣдь тогда и колесо большое было: ртовъ-то вдесятеро противъ нынѣшняго было. Одной дворни сколько—всякому припаси да всякаго накорми. Тому огурчика, тому кваску; понемножку да помаленьку — анъ, смотришь, и многонько всего изойдетъ.

— Да, хорошее было время. Всего тогда много было. И хлѣба, и фруктовъ—всего въ изобиліи!

— Навозу копили больше—оттого и родилось.

— Нѣтъ, маменька, и не отъ этого. А было Божье благословеніе — вотъ отъ чего. Я помню, однажды папенька изъ саду яблоко апортъ принесъ, такъ всѣ даже удивились: на тарелкѣ нельзя было умѣстить.

— Этого не помню. Вообще знаю, что были яблоки хорошія, а чтобы такія были, въ тарелку величиной—этого не помню. Вотъ карася въ двадцать фунтовъ въ дубровинскомъ прудѣ въ ту коронацію изловили—это точно что было.

— И караси, и фрукты — все тогда крупное было. Я помню, арбузы Иванъ-садовникъ выводилъ—вотъ какіе!

Іудушка сначала оттопыриваетъ руки, потомъ скругляетъ ихъ, при чемъ дѣлаетъ видъ, что никакъ не можетъ обхватить.

— Бывали и арбузы. Арбузы, скажу тебѣ, другъ мой, къ году бываютъ. Иной годъ ихъ много, и они хороши; другой годъ и немного, и невкусны, а въ третій годъ и совсѣмъ ничего нѣтъ. Ну, и то еще надо сказать: что гдѣ поведется. Вонъ у Григорья Александрыча, въ Хлѣбниковѣ, ничего не родилось—ни ягодъ, ни фруктовъ, ничего. Однѣ дыни. Только ужъ и дыни бывали!

— Стало-быть, ему на дыни милость Божья была!

— Да, ужъ, конечно. Безъ Божьей милости нигдѣ не обойдешься, никуда отъ нея не убѣжишь!

Арина Петровна уже выпила двѣ чашки и начинаетъ поглядывать на ломберный столъ. Евпраксеюшка тоже такъ и горитъ нетерпѣніемъ сразиться въ дураки. Но планы эти разстраиваются по милости самой Арины Петровны, потому что она внезапно что-то припоминаетъ.

— А вѣдь у меня новость есть, — объявляетъ она: — письмо вчера отъ сиротокъ получила.

— Молчали-молчали, да и откликнулись! Видно, туго пришлось; денегъ просятъ?

— Нѣтъ, не просятъ. Вотъ полюбуйся.

Арина Петровна достаетъ изъ кармана письмо и отдаетъ Іудушкѣ, который читаетъ:

«Вы, бабушка, больше намъ ни индюшекъ, ни куръ не посылайте. Денегъ тоже не посылайте, а копите на проценты. Мы не въ Москвѣ, а въ Харьковѣ, поступили на сцену въ театръ, а лѣтомъ по ярмаркамъ будемъ ѣздить. Я, Аннинька, въ «Периколѣ» дебютировала, а Любинька— въ «Анютиныхъ глазкахъ». Меня нѣсколько разъ вызывали, особенно послѣ сцены, гдѣ Перикола выходитъ навеселѣ и поетъ: *я гото-о-ва, готова, готоова!* Любинька тоже очень понравилась. Жалованья мнѣ директоръ положилъ по сту рублей въ мѣсяцъ и бенефисъ въ Харьковѣ, а Любинькѣ — по семидесяти пяти въ мѣсяцъ и бенефисъ лѣтомъ, на ярмаркѣ. Кромѣ того, подарки бываютъ отъ офицеровъ и отъ адвокатовъ. Только адвокаты иногда фальшивыя деньги даютъ, такъ нужно быть осторожной. И вы, милая бабушка, всѣмъ въ Погорѣлкѣ пользуйтесь, а мы туда никогда не пріѣдемъ и даже не понимаемъ, какъ тамъ можно жить. Вчера первый снѣгъ выпалъ, и мы съ здѣшними адвокатами на тройкахъ ѣздили; одинъ на Плеваку похожъ — чудо, какъ хорошъ! Поставилъ на голову стаканъ съ шампанскимъ и плясалъ трепака — прелесть, какъ весело! Другой—не очень собой хорошъ, въ родѣ пе-

тербургскаго Языкова. Представьте, разстроилъ себѣ воображеніе чтеніемъ «Собранія лучшихъ русскихъ пѣсенъ и романсовъ», и до того ослабъ, что даже въ судѣ падаетъ въ обморокъ. И такъ почти каждый день проводимъ то съ офицерами, то съ адвокатами. Катаемся, въ лучшихъ ресторанахъ обѣдаемъ, ужинаемъ и ничего не платимъ. А вы, бабушка, ничего въ Погорѣлкѣ не жалѣйте, и что тамъ растетъ: хлѣбъ, цыплята, грибы — все кушайте. Мы бы и капиталъ съ удово...

«Прощайте! пріѣхали наши кавалеры — опять на тройкахъ кататься зовутъ. Милка! божественная! прощайте!

«Аннинька».

«И я тоже— *Любинька»*.

— Тьфу!—отплевывается Іудушка, возвращая письмо.

Арина Петровна сидитъ, задумавшись, и нѣкоторое время не отвѣчаетъ.

— Вы имъ, маменька, ничего еще не отвѣчали?

— Нѣтъ еще, и письмо-то вчера только получила; съ тѣмъ и поѣхала къ вамъ, чтобъ показать, да вотъ за тѣмъ да за сѣмъ чуть было не позабыла.

— Не отвѣчайте. Лучше.

— Какъ же я не отвѣчу? Вѣдь я имъ отчетомъ обязана. Погорѣлка-то—ихняя.

Іудушка тоже задумывается: какой-то зловѣщій планъ мелькаетъ въ его головѣ.

— А я все объ томъ думаю, какъ онѣ себя соблюдутъ въ вертепѣ-то этомъ? — продолжаетъ, между тѣмъ, Арина Петровна.—Вѣдь это такое дѣло, что тутъ только разъ оступись—потомъ ужъ чести-то дѣвичьей и не воротишь! Ищи ее потомъ да свищи!

— Очень имъ она нужна!—огрызается Іудушка.

— Какъ бы то ни было!.. Для дѣвушки это даже можно сказать—первое въ жизни сокровище... Кто потомъ этакую-то за себя возьметъ?

— Нынче, маменька, и безъ мужа все равно, что съ мужемъ живутъ. Нынче надъ предписаніями-то религіи смѣются. Дошли до куста, подъ кустомъ обвѣнчались — и дѣло въ шляпѣ. Это у нихъ гражданскимъ бракомъ называется.

Іудушка вдругъ спохватывается, что вѣдь и онъ находится въ блудномъ сожительствѣ съ дѣвицей духовнаго званія.

— Конечно, иногда, по нуждѣ... — поправляется онъ.—

никакого отчета въ жизненныхъ цѣляхъ, какъ-то инстинктивно тянетъ *въ свое мѣсто*. Но теперь онъ, очевидно, прибылъ по нуждѣ, по принужденію, вслѣдствіе чего онъ не выразилъ даже ни одного изъ тѣхъ знаковъ радостнаго недоумѣнія, которыми обыкновенно ознаменовываетъ всякій блудный дворянскій сынъ свой пріѣздъ въ родное мѣсто.

Петенька былъ неразговорчивъ. На всѣ восклицанія отца: «вотъ такъ сюрпризъ! ну, братъ, одолжилъ! а я-то сижу да думаю: кого, прости Господи, по ночамъ носитъ?— анъ вотъ онъ кто!» и т. д.—онъ отвѣчалъ или молчаніемъ, или принужденною улыбкою. А на вопросъ: «и какъ это тебѣ вдругъ вздумалось?» — отвѣчалъ даже сердито: «Такъ вотъ, вздумалось и пріѣхалъ».

— Ну, спасибо тебѣ, спасибо, вспомнилъ про отца, обрадовалъ! Чай, и про бабушку-старушку вспомнилъ?

— И про бабушку вспомнилъ.

— Стой! да тебѣ, можетъ-быть, вспомнилось, что сегодня годовщина по братѣ Володенькѣ?

— Да, и про это вспомнилось.

Въ такомъ тонѣ разговоръ длился съ полчаса, такъ что нельзя было понять, взаправду ли отвѣчаетъ Петенька, или только отдѣлывается. Поэтому какъ ни выносливъ былъ Іудушка относительно равнодушія своихъ дѣтей, однако, и онъ не выдержалъ и замѣтилъ:

— Да, братъ, неласковъ ты! Нельзя сказать, чтобъ ты ласковый сынъ былъ!

Смолчи на этотъ разъ Петенька, прими папенькино замѣчаніе съ кротостью, а еще лучше—поцѣлуй у папеньки ручку и скажи ему: «извините меня, добренькій папенька, я вѣдь съ дороги усталъ!»—и все бы обошлось благополучно. Но Петенька поступилъ совсѣмъ какъ неблагодарный.

— Каковъ есть!—отвѣтилъ онъ такъ грубо, словно хотѣлъ сказать: отвяжись ты отъ меня, сдѣлай милость!

Тогда Порфирію Владимірычу сдѣлалось такъ больно, такъ больно, что онъ ужъ не нашелъ возможности молчать.

— Кажется, какъ я о васъ заботился!—сказалъ онъ съ горечью.—Даже и здѣсь сидишь, а все думаешь: какъ бы получше, да поскладнѣе, да чтобы всѣмъ хорошенько да уютненько, безъ нужды да безъ горюшка... А вы все отъ меня прочь да прочь?

— Кто же... *вы*?

— Ну, ты... Впрочемъ, и покойникъ, царство ему небесное былъ такой же...

— Что-жъ, я вамъ очень благодаренъ!

— Никакой я отъ васъ благодарности не вижу! Ни благодарности, ни ласки—ничего!

— Характеръ неласковый — вотъ и все. Да вы все во множественномъ говорите? Одинъ уже умеръ...

— Да, умеръ. Богъ наказалъ. Богъ непокорныхъ дѣтей наказываетъ. И все-таки я его помню. Онъ непокоренъ былъ, а я его помню. Вотъ, завтра обѣденку отстоимъ и панихидку отслужимъ. Онъ меня обидѣлъ, а я все-таки свой долгъ помню. Господи ты Боже мой! да что-жъ это нынче дѣлается? Сынъ къ отцу пріѣхалъ, и съ перваго же слова уже фыркаетъ! Такъ ли мы въ наше время поступали! Бывало, ѣдешь въ Головлево-то, да за тридцать верстъ все твердишь: «Помяни, Господи, царя Давида и всю кротость его!» Да вотъ маменька—живой человѣкъ: она скажетъ! А нынче—не понимаю! не понимаю!

— И я не понимаю. Пріѣхалъ я смирно, поздоровался съ вами, руку поцѣловалъ, теперь сижу, васъ не трогаю, пью чай, а коли дадите ужинать — и поужинаю. Съ чего вы всю эту исторію подняли?

Арина Петровна сидитъ въ своемъ креслѣ и вслушивается. И сдается ей, что она все ту же знакомую повѣсть слышитъ, которая давно—и не запомнитъ она когда—началась. Закрылась-было совсѣмъ эта повѣсть, да вотъ и опять, нѣтъ-нѣтъ, возьметъ да и раскроется на той же страницѣ. Тѣмъ не менѣе, она понимаетъ, что подобная встрѣча между отцомъ и сыномъ не обѣщаетъ ничего хорошаго, и потому считаетъ долгомъ вмѣшаться въ распрю и сказать примирительное слово.

— Ну, ну, пѣтухи индѣйскіе!—говоритъ она, стараясь придать своему поученію шутливый тонъ.—Только что свидѣлись, а ужъ и разодрались! Такъ и наскакиваютъ другъ на дружку, такъ и наскакиваютъ! Смотри, сейчасъ перья полетятъ! Ахъ-ахъ-ахъ горе какое! А вы, молодцы, смирненько посидите да ладкомъ между собою поговорите, а я, старуха, послушаю да полюбуюсь на васъ! Ты, Петенька,— уступи! Отцу, мой другъ, всегда нужно уступить, потому что онъ — отецъ. Ежели иной разъ и горьконько что отъ отца покажется, а ты прими съ готовностью, да съ покорностью, да съ почтеніемъ, потому что ты — сынъ! Можетъ, изъ горькаго-то да вдругъ сладкое сдѣлается — вотъ ты и въ выигрышѣ! А ты, Порфирій Владимірычъ, — снизойди! Онъ—сынъ, человѣкъ молодой, нѣженный. Онъ семьдесятъ

пять верстъ по ухабамъ да по сугробамъ проѣхалъ: и усталъ, и иззябъ, и уснуть ему хочется! Вотъ чай-то ужъ кончили, вели-ка подавать ужинать, да и на покой! Такъ-то, другъ мой! Разбредемся всѣ по своимъ мѣстамъ, помолимся, анъ, сердце-то у насъ и пройдетъ. И всѣ, какія у насъ дурныя мысли были—всѣ сномъ Богъ прогонитъ! А завтра ранёхонько встанемъ, да о покойникѣ помолимся. Обѣденку отстоимъ, панихидку отслужимъ, а потомъ, какъ воротимся домой, и побесѣдуемъ. И всякій, отдохнувши, свое дѣло по порядку, какъ слѣдуетъ, разскажетъ. Ты, Петенька, про Петербургъ, а ты, Порфирій,—про деревенское свое житье. А теперь поужинаемъ—и съ Богомъ, на боковую.

Это увѣщаніе оказываетъ свое дѣйствіе не потому, чтобы оно заключало что-нибудь дѣйствительно убѣдительное, а потому, что Іудушка и самъ видитъ, что онъ зарапортовался, что лучше какъ-нибудь миромъ покончить день. Поэтому онъ встаетъ съ своего мѣста, цѣлуетъ у маменьки ручку, благодаритъ «за науку» и приказываетъ подавать ужинать. Ужинъ проходитъ сурово и молчаливо.

Столовая опустѣла; всѣ разошлись по своимъ комнатамъ. Домъ мало-по-малу стихаетъ, мертвая тишина ползетъ изъ комнаты въ комнату и, наконецъ, доползаетъ до послѣдняго убѣжища, въ которомъ дольше прочихъ закоулковъ упорствовала обрядовая жизнь, т. е. до кабинета головлевскаго барина. Іудушка, наконецъ, покончилъ съ поклонами, которые онъ долго-долго отсчитывалъ передъ образами, и тоже улегся въ постель.

Лежитъ Порфирій Владимірычъ въ постели, но не можетъ сомкнуть глазъ. Чуетъ онъ, что пріѣздъ сына предвѣщаетъ что-то не совсѣмъ обыкновенное, и уже заранѣе въ головѣ его зарождаются всевозможныя пустословныя поученія. Поученія эти имѣютъ то достоинство, что они ко всякому случаю пригодны и даже не представляютъ собой послѣдовательнаго сцѣпленія мыслей. Ни грамматической, ни синтаксической формы для нихъ тоже не требуется: они накопляются въ головѣ въ видѣ отрывочныхъ афоризмовъ и появляется на свѣтъ Божій по мѣрѣ того, какъ наползаютъ на языкъ. Тѣмъ не менѣе, какъ только случится въ жизни какой-нибудь казусъ, выходящій изъ ряда обыкновенныхъ, такъ въ головѣ поднимается такая суматоха отъ наплыва афоризмовъ, что даже сонъ не можетъ умиротворить ее.

Не спится Іудушкѣ: цѣлая масса пустяковъ обступила

его изголовье и давитъ его. Собственно говоря, загадочный пріѣздъ Петеньки не особенно волнуетъ его, ибо, что бы ни случилось, Іудушка уже *ко всему* готовъ заранѣе. Онъ знаетъ, что *ничто* не застанетъ его врасплохъ и *ничто* не заставитъ сдѣлать какое-нибудь отступленіе отъ той сѣти пустыхъ и насквозь прогнившихъ афоризмовъ, въ которую онъ запутался съ головы до ногъ. Для него не существуетъ ни горя, ни радости, ни ненависти, ни любви. Весь міръ въ его глазахъ есть гробъ, могущій служить лишь поводомъ для безконечнаго пустословія. Ужъ на что было больше горя, когда Володя покончилъ съ собой, а онъ и тутъ устоялъ. Это была очень грустная исторія, продолжавшаяся цѣлыхъ два года. Цѣлыхъ два года Володя перемогался; сначала выказывалъ гордость и рѣшимость не нуждаться въ помощи отца; потомъ ослабъ, сталъ молить, доказывать, грозить... И всегда встрѣчалъ въ отвѣтъ готовый афоризмъ, который представлялъ собой камень, поданный голодному человѣку. Сознавалъ ли Іудушка, что это камень, а не хлѣбъ, или не сознавалъ—это вопросъ спорный; но во всякомъ случаѣ у него ничего другого не было. и онъ подавалъ свой камень, какъ единственное, что онъ могъ дать. Когда Володя застрѣлился, онъ отслужилъ по немъ панихиду, записалъ въ календарѣ день его смерти и обѣщалъ и на будущее время каждогодно 23-го ноября служить панихиду «и съ литургіею». Но когда по временамъ даже и въ немъ поднимался какой-то тусклый голосъ, который бормоталъ, что все-таки разрѣшеніе семейнаго спора самоубійствомъ—вещь по малой мѣрѣ подозрительная, тогда онъ выводилъ на сцену цѣлую свиту готовыхъ афоризмовъ, въ родѣ: «Богъ непокорныхъ дѣтей наказываетъ», «гордымъ Богъ противится» и проч.—и успокаивался.

Вотъ и теперь. Нѣтъ сомнѣнія, что съ Петенькой случилось что-то недоброе, но, что бы ни случилось — онъ, Порфирій Головлевъ, долженъ быть выше этихъ случайностей. Самъ запутался—самъ и распутывайся; умѣлъ кашу заварить — умѣй и расхлёбывать; любишь кататься—люби и саночки возить. Именно такъ; именно это самое онъ и скажетъ завтра, о чемъ бы ни сообщилъ ему сынъ. А что, ежели и Петенька, подобно Володѣ, откажется принять камень вмѣсто хлѣба? Что, ежели и онъ... Іудушка отплевывается отъ этой мысли и приписываетъ ее навожденію лукаваго. Онъ переворачивается съ боку на бокъ, усиливается

вается уснуть и не можетъ. Только что начнетъ заводить его сонъ — вдругъ: «и радъ бы до неба достать, да руки коротки!» или: «по одежкѣ протягивай ножки... вотъ я... вотъ ты... прытки вы очень, а знаешь пословицу: поспѣшность потребна только блохъ ловить?» Обступили кругомъ пустяки, ползутъ, лѣзутъ, давятъ. И не спитъ Іудушка подъ бременемъ пустословія, которымъ онъ надѣется завтра утолить себѣ душу.

Не спится и Петенькѣ, хотя дорога порядкомъ-таки изломала его. Есть у него дѣло, которое можетъ разрѣшиться только здѣсь, въ Головлевѣ, но такое это дѣло, что и не вѣсть какъ за него взяться. По правдѣ говоря, Петенька отлично понимаетъ, что дѣло его безнадежное, что поѣздка въ Головлево принесетъ только лишнія непріятности, но въ томъ-то и штука, что есть въ человѣкѣ какой-то темный инстинктъ самосохраненія, который пересиливаетъ всякую сознательность и который такъ и подталкиваетъ: испробуй все до послѣдняго! Вотъ онъ и пріѣхалъ, да вмѣсто того, чтобъ закалить себя и быть готовымъ перенести все, чуть-было съ перваго шагу не разругался съ отцомъ. Что-то будетъ изъ этой поѣздки? Совершится ли чудо, которое должно превратить камень въ хлѣбъ, или не совершится?

Не прямѣе ли было бы взять револьверъ и приставить его къ виску: «Господа, я не достоинъ носить вашъ мундиръ! Я растратилъ казенныя деньги, и потому самъ себѣ произношу справедливый и строгій судъ!» Бацъ! — и все кончено. «Исключается изъ списковъ *умершій* поручикъ Головлевъ!» Да, это было бы рѣшительно и... красиво. Товарищи сказали бы: «Ты былъ несчастенъ, ты увлекался, но... ты былъ *благородный* человѣкъ!» Но онъ, вмѣсто того, чтобы сразу поступить *такимъ образомъ*, довелъ дѣло до того, что поступокъ его сталъ всѣмъ извѣстенъ, — и вотъ его отпустили на опредѣленный срокъ, съ тѣмъ, чтобы въ теченіе его растрата была непремѣнно пополнена. А потомъ—вонъ изъ полка. И для достиженія этой-то цѣли, въ концѣ которой стоялъ позорный исходъ только что начатой карьеры, онъ поѣхалъ въ Головлево, поѣхалъ съ полной увѣренностью получить камень вмѣсто хлѣба!

А можетъ-быть, что-нибудь и будетъ? Вѣдь случается же... Вдругъ нынѣшнее Головлево исчезнетъ, и на мѣстѣ его очутится новое Головлево, съ новою обстановкой, въ которой онъ... Не то чтобы отецъ... умретъ — зачѣмъ? — а такъ... вообще, будетъ новая «обстановка»... А можетъ-

быть и бабушка — вѣдь у нея деньги есть! Узнаетъ, что бѣда впереди—и вдругъ дастъ! На, скажетъ, поѣзжай скорѣе, покуда срокъ не прошелъ! И вотъ онъ ѣдетъ, торопитъ ямщиковъ, насилу поспѣваетъ на станцію—и является въ полкъ какъ разъ за два часа до срока! «Молодецъ Головлевъ!—говорятъ товарищи.—Руку, благородный молодой человѣкъ, и пусть отнынѣ все будетъ забыто!» И онъ не только остается въ полку попрежнему, но производится сначала въ штабсъ-капитаны, потомъ въ капитаны, дѣлается полковымъ адъютантомъ (казначеемъ онъ ужъ былъ) и, наконецъ, въ день полкового юбилея...

Ахъ! поскорѣе бы эта ночь прошла! Завтра... ну, завтра пусть будетъ, что будетъ! Но что онъ долженъ будетъ завтра выслушать... ахъ, чего только онъ не выслушаетъ! Завтра... но для чего же завтра? Вѣдь есть еще цѣлый день впереди... Вѣдь онъ выговорилъ себѣ два дня собственно для того, чтобы имѣть время убѣдить, растрогать... Чорта съ два! убѣдишь тутъ, растрогаешь! Нѣтъ ужъ...

Тутъ мысли его окончательно путаются и постепенно, одна за другой, утопаютъ въ сонной мглѣ. Черезъ четверть часа головлевская усадьба всецѣло погружается въ тяжкій сонъ.

На другой день рано утромъ весь домъ на ногахъ. Всѣ поѣхали въ церковь, кромѣ, впрочемъ, Петеньки, который остался дома подъ предлогомъ, что усталъ съ дороги. Наконецъ, отслушали обѣдню и панихиду и воротились домой. Петенька, по обыкновенію, подошелъ къ рукѣ отца, но Іудушка подалъ руку бокомъ, и всѣ замѣтили, что онъ даже не перекрестилъ сына. Напились чаю, поѣли поминальной кутьи; Іудушка ходилъ мрачный, шаркалъ ногами, избѣгалъ разговоровъ, вздыхалъ, безпрестанно складывалъ руки, въ знакъ умной молитвы, и совсѣмъ не глядѣлъ на сына. Съ своей стороны и Петенька ёжился и молча курилъ папироску за папироской. Вчерашнее натянутое положеніе не только не улучшилось за ночь, но приняло такіе рѣзкіе тоны, что Арина Петровна серьезно обезпокоилась и рѣшилась развѣдать у Евпраксеюшки, не случилось ли что-нибудь.

— Что такое сдѣлалось, — спросила она: — что они съ утра словно вороги другъ на друга смотрятъ?

— А я почемъ знаю! Развѣ я въ ихнія дѣла вхожу!— отгрызнулась Евпраксея.

— Ужъ не ты ли? Можетъ, и внучекъ къ тебѣ пристаетъ?

— Чего ко мнѣ приставать! Просто давеча подкараулилъ меня въ коридорѣ, а Порфирій Владимірычъ и увидѣли!

— Н-да, такъ вотъ оно что!

И дѣйствительно, несмотря на крайность своего положенія, Петенька отнюдь не оставилъ присущаго ему легкомыслія. И онъ тоже заглядѣлся на могучую спину Евпраксеюшки и рѣшился ей высказать это. Съ этою собственно цѣлью онъ и въ церковь не поѣхалъ, надѣясь, что и Евпраксея, въ качествѣ экономки, останется дома. И вотъ, когда въ домѣ все стихло, онъ накинулъ на плечи шинель и притаился въ коридорѣ. Прошла минута, другая, хлопнула дверь, ведущая изъ сѣней въ дѣвичью, и въ концѣ коридора показалась Евпраксея, держа въ рукахъ поднось, на которомъ лежалъ теплый сдобный крендель къ чаю. Но не успѣлъ еще Петенька вытянуть ее хорошенько между лопатками, не успѣлъ произнести: «вотъ это такъ спина!» — какъ дверь изъ столовой отворилась и въ ней показался отецъ.

— Ежели ты сюда пакостничать, мерзавецъ, пріѣхалъ, такъ я тебя съ лѣстницы велю сбросить! — произнесъ Іудушка какимъ-то безконечно-злымъ голосомъ.

Разумѣется, Петенька въ одинъ моментъ стушевался.

Онъ не могъ, однакожъ, не понять, что утреннее происшествіе было не изъ такихъ, чтобы благопріятно подѣйствовать на его фонды. Поэтому онъ рѣшился молчать и отложить объясненіе до завтра. Но въ то же время онъ не только ничего не дѣлалъ, чтобъ унять раздраженіе отца, но, напротивъ того, велъ себя самымъ неосмотрительнымъ и дурацкимъ образомъ. Не переставая, курилъ папироски, не обращая никакого вниманія на то, что отецъ усиленно отмахивался отъ облаковъ дыма, которыми онъ наполнилъ комнату. Затѣмъ поминутно кидалъ умильно-дурацкіе взоры на Евпраксеюшку, которая подъ вліяніемъ ихъ какъ-то вкось улыбалась, что тоже замѣчалъ Іудушка.

День потянулся вяло. Пробовала-было Арина Петровна въ дураки съ Евпраксеюшкой сыграть, но ничего изъ этого не вышло. Не игралось, не говорилось, даже пустяки какъ-то не шли на умъ, хотя у всѣхъ были въ запасѣ цѣлые непочатые углы этого добра. Насилу пришелъ обѣдъ, но и за обѣдомъ всѣ молчали. Послѣ обѣда Арина Петровна собралась-было въ Погорѣлку, но Іудушку даже испугало это намѣреніе добраго друга маменьки.

— Христосъ съ вами, голубушка!—воскликнулъ онъ.— Что-жъ, одного, что ли, вы меня оставить хотите съ глазу на глазъ съ этимъ... дурнымъ сыномъ? Нѣтъ, нѣтъ, и не думайте! не пущу!

— Да что такое, случилось, что ли, что-нибудь промежду васъ? Сказывай!—спросила она его.

— Нѣтъ, покамѣстъ еще ничего не случилось, но вы увидите... Нѣтъ, вы ужъ не оставьте меня! Пусть ужъ при васъ... Это—не даромъ, не даромъ онъ прикатилъ... Такъ если что случится—ужъ вы будьте свидѣтельницей!

Арина Петровна покачала головой и рѣшилась остаться.

Послѣ обѣда Порфирій Владимірычъ удалился спать, уславъ предварительно Евпраксеюшку на село къ попу. Арина Петровна, отложивъ отъѣздъ въ Погорѣлку, тоже ушла въ свою комнату и, усѣвшись въ кресло, дремала. Петенька счелъ это время самымъ благопріятнымъ, чтобъ попытать счастья у бабушки, и отправился къ ней.

— Что ты, въ дурачки, что ли, со старухой поиграть пришелъ?—встрѣтила его Арина Петровна.

— Нѣтъ, бабушка, я къ вамъ за дѣломъ.

— Ну, разсказывай, говори.

Петенька съ минуту помялся на мѣстѣ и вдругъ брякнулъ:

— Я, бабушка, казенныя деньги проигралъ.

У Арины Петровны даже въ глазахъ потемнѣло отъ неожиданности.

— И много? — спросила она перепуганнымъ голосомъ, глядя на него остановившимися глазами.

— Три тысячи.

Послѣдовала минута молчанія; Арина Петровна безпокойно смотрѣла изъ стороны въ сторону, точно ждала, не явится ли откуда къ ней помощь.

— А ты знаешь ли, что за это и въ Сибирь недолго попасть?—наконецъ, произнесла она.

— Знаю.

— Ахъ, бѣдный ты, бѣдный!

— Я, бабушка, у васъ хотѣлъ взаймы попросить... Я хорошій процентъ заплачу.

Арина Петровна совсѣмъ испугалась.

— Что ты, что ты!—заметалась она.—Да у меня и денегъ только на гробъ, да на поминовенье осталось! И сыта я только по милости внучекъ, да вотъ чѣмъ у сына полакомлюсь! Нѣтъ, нѣтъ, нѣтъ! Ты ужъ меня оставь! Съѣ-

лай милость, оставь! Знаешь что: ты бы у папеньки попросилъ!

— Нѣтъ, ужъ что, отъ желѣзнаго попа да каменной просвиры ждать! Я, бабушка, на васъ надѣялся!

— Что ты! что ты! да я бы съ радостью, только какія же у меня деньги! И денегъ у меня такихъ нѣтъ! А ты бы къ папенькѣ обратился, да съ лаской, да съ почтеніемъ: вотъ, молъ, папенька, такъ и такъ: виноватъ, молъ, по молодости, проштрафился... Со смѣшкомъ, да съ улыбочкой, да ручку поцѣлуй, да на колѣни встань, да поплачь—онъ это любитъ,—ну, и развяжетъ папенька мошну для милаго сынка.

— А что вы думаете, сдѣлать развѣ? Стойте-ка, стойте! А что, бабушка, если-бъ вы ему сказали: коли не дашь денегъ—прокляну! Вѣдь онъ этого давно боится, проклятьято вашего.

— Ну, ну, зачѣмъ проклинать! Попроси и такъ. Попроси, мой другъ! Вѣдь ежели отцу и лишній разокъ поклонишься, такъ вѣдь голова не отвалится; отецъ онъ! Ну, и онъ съ своей стороны увидитъ... Сдѣлай-ка это! Право!

Петенька ходитъ, подбоченившись, взадъ и впередъ, словно обдумываетъ; наконецъ, останавливается и говоритъ:

— Нѣтъ ужъ. Все равно—не дастъ. Что бы я ни дѣлалъ, хотя бы лобъ себѣ разбилъ, кланявшись,—все одно не дастъ. Вотъ кабы вы проклятіемъ пригрозили... Такъ какъ же мнѣ быть-то, бабушка?

— Не знаю, право. Попробуй — можетъ, и смягчишь. Какъ же ты это, однакожъ, такую себѣ волю далъ: лёгко ли дѣло—казенныя деньги проигралъ! Научилъ тебя, что ли, кто-нибудь?

— Такъ вотъ, взялъ да и проигралъ. Ну, коли у васъ своихъ денегъ нѣтъ, такъ изъ сиротскихъ дайте!

— Что ты, опомнись! Какъ я могу сиротскія деньги давать? Нѣтъ, ужъ сдѣлай милость, уволь ты меня! Не говори ты со мной объ этомъ, ради Христа!

— Такъ не хотите? Жаль. А я бы хорошій процентъ далъ. Пять процентовъ въ мѣсяцъ хотите? нѣтъ? Ну, черезъ годъ капиталъ на капиталъ?

— И не соблазняй ты меня!—замахала на него руками Арина Петровна.—Уйди ты отъ меня, ради Христа! Еще папенька неравно услышитъ, скажетъ, что я же тебя возмутила! Ахъ, ты, Господи! Я, старуха, отдохнуть хотѣла,

даже задремала совсѣмъ, а онъ вонъ съ какимъ дѣломъ пришелъ!

— Ну, хорошо. Я уйду. Стало-быть, нельзя? Прекрасно-съ. По-родственному. Изъ-за трехъ тысячъ рублей внукъ въ Сибирь долженъ пойти! Напутственный-то молебенъ отслужить не забудьте!

Петенька хлопнулъ дверью и ушелъ. Одна изъ его легкомысленныхъ надеждъ лопнула—что теперь предпринять? Остается одно: во всемъ открыться отцу. А можетъ-быть... Можетъ-быть, что-нибудь...

— Пойду сейчасъ и покончу разомъ,—говорилъ онъ себѣ:—или нѣтъ! Нѣтъ, зачѣмъ же сегодня... Можетъ быть, что-нибудь... да впрочемъ, что же такое можетъ быть? Нѣтъ, лучше завтра... Все-таки, хоть нынче день... Да, лучше завтра! Скажу—и уѣду.

На томъ и покончилъ, что завтра—всему конецъ...

Послѣ объясненія съ бабушкой вечеръ потянулся еще вялѣе. Даже Арина Петровна притихла, узнавши дѣйствительную причину пріѣзда Петеньки. Іудушка пробовалъ было заигрывать съ маменькой, но, видя, что она о чемъ-то задумывается, замолчалъ. Петенька тоже ничего не дѣлалъ, только курилъ. За ужиномъ Порфирій Владимірычъ обтатился къ нему съ вопросомъ:

— Да скажешь ли ты, наконецъ, зачѣмъ ты сюда пожаловалъ?

— Завтра скажу,—угрюмо отвѣтилъ Петенька.

Петенька всталъ рано послѣ почти совсѣмъ безсонной ночи. Все та же раздвоенная мысль преслѣдовала его;—мысль, начинавшаяся надеждой: «можетъ-быть, и дастъ!» и неизмѣнно кончавшаяся вопросомъ: «и зачѣмъ я сюда пріѣхалъ?» Можетъ-быть, онъ не понималъ своего отца, но, во всякомъ случаѣ, онъ не зналъ за нимъ ни одного чувства, ни одной слабой струны, за которую предстояла бы возможность ухватиться и, эксплоатируя которую, можно было бы чего-нибудь достигнуть. Онъ чувствовалъ только одно: что въ присутствіи отца онъ находится лицомъ къ лицу съ чѣмъ-то неизъяснимымъ, неуловимымъ. Незнаніе, съ какого конца подойти, съ чего начать рѣчь, порождало ежели не страхъ, то, во всякомъ случаѣ, безпокойство. И такъ шло съ самаго дѣтства. Всегда, съ тѣхъ поръ, какъ онъ началъ себя помнить, дѣло было поставлено такъ, что лучше казалось совсѣмъ отказаться отъ какого-нибудь пред-

положенія, нежели поставить его въ зависимость отъ рѣшенія отца. Такъ было и теперь. Съ чего онъ начнетъ? какъ начнетъ? что скажетъ?.. Ахъ, зачѣмъ только онъ пріѣхалъ!

Имъ овладѣла тоска. Тѣмъ не менѣе, онъ понялъ, что впереди оставалось только нѣсколько часовъ и что, слѣдовательно, надо же что-нибудь дѣлать. Набравшись напускной рѣшимости, застегнувши сюртукъ и пошептавши что-то на ходу, онъ довольно твердымъ шагомъ направился къ отцовскому кабинету.

Іудушка стоялъ на молитвѣ. Онъ былъ набоженъ и каждый день охотно посвящалъ молитвѣ нѣсколько часовъ. Но онъ молился не потому, что любилъ Бога и надѣялся посредствомъ молитвы войти въ общеніе съ Нимъ, а потому, что боялся чорта, и надѣялся, что Богъ избавитъ его отъ лукаваго. Онъ зналъ множество молитвъ, и въ особенности отлично изучилъ технику молитвеннаго стоянія. То-есть зналъ, когда нужно шевелить губами и закатывать глаза, когда слѣдуетъ складывать руки ладонями внутрь и когда держать ихъ воздѣтыми, когда надлежитъ умиляться и когда стоять чинно, творя умѣренныя крестныя знаменія. И глаза, и носъ его краснѣли и увлажнялись въ опредѣленныя минуты, на которыя указывала ему молитвенная практика. Но молитва не обновляла его, не просвѣтляла его чувства, не вносила никакого луча въ его тусклое существованіе. Онъ могъ молиться и продѣлывать всѣ нужныя тѣлодвиженія—и въ то же время смотрѣть въ окно и замѣчать, не идетъ ли кто безъ спросу въ погребъ и т. д. Это была совершенно особенная, частная формула жизни, которая могла существовать и удовлетворять себя совсѣмъ независимо объ общей жизненной формулы.

Когда Петенька вошелъ въ кабинетъ, Порфирій Владимірычъ стоялъ на колѣняхъ съ воздѣтыми руками. Онъ не перемѣнилъ своего положенія, а только подрыгалъ одной рукой въ воздухѣ, въ знакъ того, что еще—не время. Петенька расположился въ столовой, гдѣ ужъ былъ накрытъ чайный приборъ, и сталъ ждать. Эти полчаса показались ему вѣчностью, тѣмъ болѣе, что онъ былъ увѣренъ, что отецъ заставляетъ его ждать нарочно. Напускная твердость, которою онъ вооружился, мало-по-малу стала уступать мѣсто чувству досады. Сначала онъ сидѣлъ смирно, потомъ принялся ходить взадъ и впередъ по комнатѣ и наконецъ сталъ что-то насвистывать. вслѣдствіе чего дверь кабинета

пріотворилась и оттуда послышался раздраженный голосъ Іудушки:

— Кто хочетъ свистать, тотъ можетъ для этого на конюшню идти.

Немного погодя, Порфирій Владимірычъ вышелъ, одѣтый весь въ черномъ, въ чистомъ бѣльѣ, словно приготовленный къ чему-то торжественному. Лицо у него было свѣтлое, умиленное, дышащее смиреніемъ и радостью, какъ будто онъ сейчасъ только «сподобился». Онъ подошелъ къ сыну, перекрестилъ и поцѣловалъ его.

— Здравствуй, другъ!—сказалъ онъ.

— Здравствуйте!

— Каково почивалъ? Постельку хорошо ли постлали? Клопиковъ, блошекъ не чувствовалъ ли?

— Благодарю васъ. Спалъ.

— Ну, спалъ, такъ и слава Богу. У родителей только и можно сластѐнько поспать. Это ужъ я по себѣ знаю: какъ ни хорошо, бывало, устроишься въ Петербургѣ, а никогда такъ сладко не уснешь, какъ въ Головлевѣ. Точно вотъ въ колыбелькѣ тебя покачиваетъ. Такъ какъ же мы съ тобой: попьемъ чайку, что ли, сначала, или ты сейчасъ что-нибудь сказать хочешь?

— Нѣтъ, лучше теперь поговоримъ. Мнѣ черезъ шесть часовъ уѣхать надо, такъ, можетъ-быть, и обдумать кой-что время понадобится.

— Ну, ладно. Только я, братъ, говорю прямо: никогда я не обдумываю. У меня всегда отвѣтъ готовъ. Коли ты правильнаго чего просишь—изволь, никогда я ни въ чемъ правильномъ не откажу. Хоть и трудненько иногда, и не по силамъ, а ежели правильно—не могу отказать! Натура такая. Ну, а ежели просишь неправильно—не прогнѣвайся! Хоть и жалко тебя—а откажу! У меня, братъ, вывертовъ нѣтъ! Я весь тутъ, на ладони. Ну, пойдемъ, пойдемъ въ кабинетъ! Ты поговоришь, а я послушаю! Послушаемъ, послушаемъ, что̀ такое!

Когда оба вошли въ кабинетъ, Порфирій Владимірычъ оставилъ дверь слегка пріотворенною и затѣмъ ни самъ не сѣлъ, ни сына не посадилъ, а началъ ходить взадъ и впередъ по комнатѣ. Словно онъ инстинктивно чувствовалъ, что дѣло будетъ щекотливое и что объясняться о такихъ предметахъ на ходу гораздо свободнѣе. И выраженіе лица скрыть удобнѣе, и прекратить объясненіе, ежели оно приметъ слишкомъ непріятный оборотъ, легче. А съ

помощью пріотворенной двери и на свидѣтелей можно сослаться, потому что маменька съ Евпраксеюшкой навѣрное не замедлятъ явиться къ чаю въ столовую.

— Я, папенька, казенныя деньги проигралъ,—разомъ и какъ-то тупо высказался Петенька.

Іудушка ничего не сказалъ. Только можно было замѣтить, какъ дрогнули у него губы. И вслѣдъ затѣмъ онъ по обыкновенію началъ шептать.

— Я проигралъ три тысячи—пояснилъ Петенька: — и ежели послѣзавтра ихъ не внесу, то могутъ произойти очень непріятныя для меня послѣдствія.

— Что-жъ, внеси!—любезно молвилъ Порфирій Владимірычъ.

Нѣсколько туровъ отецъ и сынъ сдѣлали молча. Петенька хотѣлъ объясняться дальше, но чувствовалъ, что у него захватило горло.

— Откуда же я возьму деньги? — наконецъ выговорилъ онъ.

— Я, любезный другъ, твоихъ источниковъ не знаю. На какіе ты источники разсчитывалъ, когда проигрывалъ въ карты казенныя деньги,—изъ тѣхъ и плати.

— Вы сами хорошо знаете, что въ подобныхъ случаяхъ люди объ источникахъ забываютъ!

— Ничего я, мой другъ, не знаю. Я въ карты никогда не игрывалъ—только вотъ развѣ съ маменькой въ дурачки сыграешь, чтобъ потѣшить старушку. И, пожалуйста, ты меня въ эти грязныя дѣла не впутывай, а пойдемъ-ка лучше чайку попьемъ. Попьемъ да посидимъ, можетъ и поговоримъ о чемъ-нибудь, только ужъ ради Христа, не объ этомъ.

И Іудушка направился-было къ двери, чтобы юркнуть въ столовую, но Петенька остановилъ его.

— Позвольте, однакожъ,—сказалъ онъ: — надобно же мнѣ какъ-нибудь выйти изъ этого положенія!

Іудушка усмѣхнулся и посмотрѣлъ Петенькѣ въ лицо.

— Надо, голубчикъ!—согласился онъ.

— Такъ помогите же!

— А это... это ужъ другой вопросъ. Что надобно какъ-нибудь выйти изъ этого положенія—что такъ, это ты правду сказалъ. А какъ выйти—это ужъ не мое дѣло!

— Но почему же вы не хотите помочь?

— А потому, во-первыхъ, что у меня нѣтъ денегъ для покрытія твоихъ дрянныхъ дѣлъ, а во-вторыхъ—и потому,

что вообще это до меня не касается. Самъ напуталъ—самъ и выпутывайся. Любишь кататься—люби и саночки возить. Такъ-то, другъ. Я вѣдь и давеча съ того началъ, что ежели ты просишь правильно...

— Знаю, знаю. Много у васъ на языкѣ словъ...

— Постой, попридержи свои дерзости, дай мнѣ досказать. Что это не одни слова—это я тебѣ сейчасъ докажу... Итакъ, я тебѣ давеча сказалъ: если ты будешь просить должнаго, дѣльнаго—изволь, другъ, всегда готовъ тебя удовлетворить! Но ежели ты приходишь съ просьбой не-дѣльною—извини, братъ! На дрянныя дѣла у меня денегъ нѣтъ, нѣтъ и нѣтъ! И не будетъ—ты это знай! И не смѣй говорить, что это—одни «слова», а понимай, что эти слова очень близко граничатъ съ дѣломъ.

— Подумайте, однакожъ, что со мной будетъ!

— А что Богу угодно, то и будетъ,—отвѣчалъ Іудушка, слегка воздѣвая руки и искоса поглядывая на образъ.

Отецъ и сынъ опять сдѣлали нѣсколько туровъ по комнатѣ. Іудушка шелъ нехотя, словно жаловался, что сынъ держитъ его въ плѣну. Петенька, подбоченившись, слѣдовалъ за нимъ, кусая усы и нервно усмѣхаясь.

— Я—послѣдній сынъ у васъ,—сказалъ онъ: — не забудьте объ этомъ.

— У Іова, мой другъ, Богъ и все взялъ, да онъ не роптalъ, а только сказалъ: Богъ далъ, Богъ и взялъ—твори, Господи, волю свою! Такъ-то, братъ.

— То Богъ взялъ, а вы сами у себя отнимаете. Володя...

— Ну, ты, кажется, пошлости начинаешь говорить!

— Нѣтъ, это не пошлости, а правда. Всѣмъ извѣстно, что Володя...

— Нѣтъ, нѣтъ, нѣтъ! Не хочу я твои пошлости слушать! Да и вообще—довольно. Что надо было высказать, то ты высказалъ. Я тоже отвѣтъ тебѣ далъ. А теперь пойдемъ и будемъ чай пить. Посидимъ да поговоримъ, потомъ поѣдимъ, выпьемъ на прощанье—и съ Богомъ. Видишь, какъ Богъ для тебя милостивъ! И погодка унялась, и дорожка поглаже стала. Полегоньку да помаленьку, трюхъ да трюхъ—и не увидишь, какъ доплетешься до станціи!

— Послушайте, наконецъ, я прошу васъ! Ежели у васъ есть хоть капля чувства...

— Нѣтъ, нѣтъ, нѣтъ! Не будемъ объ этомъ говорить! Пойдемъ въ столовую: маменька, поди, давно безъ чаю соскучилась. Не годится старушку заставлять ждать.

Но Петенька все продолжаетъ раскачиваться на стулѣ и посматривать на отца.

— Ты что на меня все смотришь, — закипаетъ, наконецъ, Іудушка:—узоры, что ли, видишь?

— Смотрю, жду, что еще отъ васъ будетъ.

— Ничего, братъ, не высмотришь! Какъ сказано, такъ и будетъ. Я своего слова не измѣню!

Наступаетъ минута молчанія, въ продолженіе которой явственно раздается шопотъ:

— Іудушка!

Порфирій Владимірычъ несомнѣнно слышалъ эту апострофу (онъ даже поблѣднѣлъ), но дѣлаетъ видъ, что восклицаніе до него не относится.

— Ахъ, дѣтки, дѣтки!—говоритъ онъ:—и жаль васъ, и хотѣлось бы приласкать да приголубить васъ, да, видно, нечего дѣлать—не судьба! Сами вы отъ родителей бѣжите, свои у васъ завелись друзья-пріятели, которые дороже для васъ и отца съ матерью. Ну, и нечего дѣлать! Подумаешь-подумаешь—и покоришься. Люди вы молодые, а молодому, извѣстно, пріятнѣе съ молодымъ побыть, чѣмъ со старикомъ-ворчуномъ! Вотъ и смиряешь себя, и не ропщешь: только и просишь Отца Небеснаго: твори, Господи, волю свою!

— Убійца! — вновь шепчетъ Петенька, но уже такъ явственно, что Арина Петровна со страхомъ смотритъ на него. Передъ глазами ея что-то вдругъ пронеслось, словно тѣнь Стёпки-балбеса.

— Ты про кого это говоришь? — спрашиваетъ Іудушка, весь дрожа отъ волненія.

— Такъ, про одного знакомаго.

— То-то! такъ ты такъ и говори! Вѣдь Богъ знаетъ, что у тебя на умѣ: можетъ-быть, ты изъ присутствующихъ кого-нибудь такъ честишь!

Всѣ смолкаютъ; стаканы съ чаемъ стоятъ нетронутыми. Іудушка тоже откидывается на спинку стула и нервно покачивается. Петенька, видя, что всякая надежда потеряна, ощущаетъ что-то въ родѣ предсмертной тоски и подъ вліяніемъ ея готовъ идти до крайнихъ предѣловъ. И отецъ, и сынъ съ какою-то неизъяснимою улыбкой смотрятъ другъ другу въ глаза. Какъ ни вышколилъ себя Порфирій Владимірычъ, но близится минута, когда онъ не въ состояніи будетъ сдерживаться.

— Ты бы лучше за добра-ума уѣхалъ!—наконецъ, высказывается онъ.—Да!

— И то уѣду.

— Чего ждать-то! Я вижу, что ты на ссору лѣзешь, а я ни съ кѣмъ ссориться не хочу. Живемъ мы здѣсь тихо да смирно, безъ ссоръ да безъ сваръ; вотъ бабушка-старушка здѣсь сидитъ — хоть бы ея ты посовѣстился! Ну, зачѣмъ ты къ намъ пріѣхалъ?

— Я вамъ говорилъ, зачѣмъ.

— А коли затѣмъ только, такъ напрасно трудился. Уѣзжай, братъ! Эй, кто тамъ, велите-ка для молодого барина кибитку закладывать. Да цыпленочка жаренаго, да икорки, да еще тамъ чего-нибудь... яичекъ, что ли... въ бумажку заверните. На станціи, братъ, и закусишь, покуда лошадей покормятъ. Съ Богомъ!

— Нѣтъ, я еще не поѣду. Я еще въ церковь пойду, попрошу панихидку по убіенномъ рабѣ Божіемъ Владимірѣ отслужить.

— По самоубійцѣ, то-есть...

— Нѣтъ, по убіенномъ.

Отецъ и сынъ смотрятъ другъ на друга во всѣ глаза. Такъ и кажется, что оба сейчасъ вскочатъ. Но Іудушка дѣлаетъ надъ собой нечеловѣческое усиліе и оборачивается со стуломъ лицомъ къ столу.

— Удивительно! — говоритъ онъ надорваннымъ голосомъ:—у-ди-ви-тель-но!

— Да, по убіенномъ!—грубо настаиваетъ Петенька.

— Кто же его убилъ?—любопытствуетъ Іудушка, повидимому, все-таки, надѣясь, что сынъ опомнится.

Но Петенька, нимало не смущаясь, выпаливаетъ какъ изъ пушки:

— Вы!

— Я?!

Порфирій Владимірычъ не можетъ придти въ себя отъ изумленія. Онъ торопливо поднимается со стула, обращается лицомъ къ образу и начинаетъ молиться.

— Вы! вы! вы!—повторяетъ Петенька.

— Ну, вотъ! ну, слава Богу! Вотъ теперь полегче стало, какъ помолился! — говоритъ Іудушка, вновь присаживаясь къ столу.—Ну, постой, погоди, хоть мнѣ, какъ отцу, можно было бы и не входить съ тобой въ объясненія — ну, да ужъ пусть будетъ такъ! Стало-быть, по-твоему, я убилъ Володеньку?

— Да, вы!

— А по-моему, это не такъ. По-моему, онъ самъ себя

застрѣлилъ. Я въ то время былъ здѣсь, въ Головлевѣ, а онъ — въ Петербургѣ. При чемъ же я тутъ могъ быть? Какъ могъ я его за семьсотъ верстъ убить?

— Ужъ будто вы и не понимаете?

— Не понимаю... видитъ Богъ, не понимаю!

— А кто Володю безъ копейки оставилъ? Кто ему жалованье прекратилъ? кто?

— Те-те-те! такъ зачѣмъ онъ женился противъ желанья отца?

— Да вѣдь вы же позволили!

— Кто? я? Христосъ съ тобой! Никогда не позволялъ! Ниникогда!

— Ну, да, то-есть вы и тутъ по своему обыкновенію поступили. У васъ вѣдь каждое слово десять значеній имѣетъ; пойди, угадывай!

— Никогда я не позволялъ! Онъ мнѣ въ то время написалъ: «хочу, папа, жениться на Лидочкѣ». Понимаешь: «хочу», а не «прошу позволенія». Ну, и я ему отвѣтилъ: коли *хочешь* жениться, такъ женись, я препятствовать не могу! Только всего и было.

— Только всего и было!—поддразниваетъ Петенька.—А развѣ это—не позволеніе?

— То-то, что нѣтъ. Я что̀ сказалъ? Я сказалъ: не могу препятствовать — только и всего. А позволяю или не позволяю, это — другой вопросъ. Онъ у меня позволенія не просилъ; онъ прямо написалъ: «*хочу*, папа, жениться на Лидочкѣ»—ну, и я насчетъ позволенія умолчалъ. *Хочешь* жениться—ну, и Христосъ съ тобой, женись, мой другъ, хоть на Лидочкѣ, хоть на разлидочкѣ — я препятствовать не могу!

— А только безъ куска хлѣба оставить можете. Такъ вы бы такъ и писали: не нравится, дескать, мнѣ твое намѣреніе, а потому хоть я тебѣ не препятствую, но все-таки предупреждаю, чтобъ ты больше не разсчитывалъ на денежную помощь отъ меня. По крайней мѣрѣ, тогда было бы ясно.

— Нѣтъ, этого я никогда не позволю себѣ сдѣлать. Чтобъ я сталъ употреблять въ дѣло угрозы совершеннолѣтнему сыну—никогда! У меня такое правило, что я никому не препятствую! Захотѣлъ жениться—женись! Ну, а насчетъ послѣдствій—не прогнѣвайся! Самъ долженъ былъ предусматривать—на то и умъ тебѣ отъ Бога данъ. А я, братъ, въ чужія дѣла не вмѣшиваюсь. И не только самъ

не вмѣшиваюсь, да не прошу, чтобъ и другіе въ мои дѣла вмѣшивались. Да, не прошу, не прошу, не прошу и даже... запрещаю! Слышишь ли, дурной, непочтительный сынъ,— за-пре-щаю!

— Запрещайте, пожалуй, всѣмъ ртовъ не замажете!

— И хоть бы онъ раскаялся! Хоть бы онъ понялъ, что отца обидѣлъ! Ну, сдѣлалъ шалость—ну, и раскайся! Попроси прощенія! Простите, молъ, душенька-папенька, что васъ огорчилъ! А то—натко!

— Да вѣдь онъ писалъ вамъ; онъ объяснилъ, что ему жить нечѣмъ, что дольше ему терпѣть нѣтъ силъ...

— Съ отцомъ не объясняются-съ. У отца прощенія просятъ—вотъ и все.

И это было. Онъ такъ былъ измученъ, что и прощенья просилъ. Все было, все!

— А хоть бы и такъ — опять-таки онъ не правъ. Попросилъ разъ прощенья, видитъ, что папа не прощаетъ,— и въ другой разъ попроси!

— Ахъ, вы!

Сказавши это, Петенька вдругъ перестаетъ качаться на стулѣ, оборачивается къ столу и облокачивается на него обѣими руками.

— Вотъ и я...—чуть слышно произноситъ онъ.

Лицо его постепенно искажается.

— Вотъ и я...—повторяетъ онъ, разражаясь истерическими рыданіями.

— А кто же вино...

Но Іудушкѣ не удалось окончить свое поученіе, ибо въ эту самую минуту случилось нѣчто совершенно неожиданное. Во время описанной сейчасъ перестрѣлки объ Аринѣ Петровнѣ словно позабыли. Но она отнюдь не оставалась равнодушной зрительницей этой семейной сцены. Напротивъ того, съ перваго же взгляда можно было заподозрить, что въ ней происходитъ что-то не совсѣмъ обыкновенное, и что, можетъ-быть, настала минута, когда передъ умственнымъ ея окомъ предстали во всей полнотѣ и наготѣ итоги ея собственной жизни. Лицо ея оживилось, глаза расширились и блестѣли, губы шевелились, какъ будто хотѣли сказать какое-то слово—и не могли. И вдругъ, въ ту самую минуту, когда Петенька огласилъ столовую рыданіями, она грузно поднялась съ своего кресла, протянула впередъ руку, и изъ груди ея вырвался вопль:

— Прро-кли-нааааю!

IV.—Племяннушка.

Іудушка такъ-таки и не далъ Петенькѣ денегъ, хотя, какъ добрый отецъ, приказалъ въ минуту отъѣзда положить ему въ повозку и курочки, и телятинки, и пирожокъ. Затѣмъ онъ, несмотря на стужу и вѣтеръ, самолично вышелъ на крыльцо проводить сына, справился, ловко ли ему сидѣть, хорошо ли онъ закуталъ себѣ ноги, и, возвратившись въ домъ, долго крестилъ окно въ столовой, посылая заочное напутствіе повозкѣ, увозившей Петеньку. Словомъ, весь обрядъ выполнилъ какъ слѣдуетъ, по-родственному.

— Ахъ, Петька, Петька, — говорилъ онъ: — дурной ты сынъ, нехорошій! Вѣдь вотъ что набѣдокурилъ... Ахъ-ахъ-ахъ! И что бы, кажется, жить потихоньку да полегоньку, смирненько да ладненько, съ папкой да съ бабушкой-старушкой—такъ нѣтъ! Фу-ты, ну-ты! У насъ свой царь въ головѣ есть, своимъ умомъ проживемъ! Вотъ и умъ твой! Ахъ, горе какое вышло!

Но ни одинъ мускулъ при этомъ не дрогнулъ на его деревянномъ лицѣ, ни одна нота въ его голосѣ не прозвучала чѣмъ-нибудь похожимъ на призывъ блудному сыну. Да, впрочемъ, никто и не слыхалъ его словъ, потому что въ комнатѣ находилась одна Арина Петровна, которая, подъ вліяніемъ только что испытаннаго потрясенія, какъ-то разомъ потеряла всякую жизненную энергію и сидѣла за самоваромъ, раскрывъ ротъ, ничего не слыша и безъ всякой мысли глядя впередъ.

Затѣмъ жизнь потекла попрежнему, исполненная праздной суеты и безконечнаго пустословія...

Вопреки ожиданіямъ Петеньки, Порфирій Владимірычъ вынесъ материнское проклятіе довольно спокойно и ни на волосъ не отступилъ отъ тѣхъ рѣшеній, которыя, такъ сказать, всегда готовыя сидѣли въ его головѣ. Правда, онъ слегка поблѣднѣлъ и бросился къ матери съ крикомъ:

— Маменька! душенька! Христосъ съ вами! Успокойтесь, голубушка! Богъ милостивъ, все устроится!

Но слова эти были скорѣе выраженіемъ тревоги за мать, нежели за себя. Выходка Арины Петровны была такъ внезапна, что Іудушка не догадался даже притвориться испуганнымъ. Еще наканунѣ маменька была къ нему милостива, шутила, играла съ Евпраксеюшкой въ дурачки — очевидно, стало-быть, что ей только что-нибудь на минуту

помстилось, а предпамѣреннаго, «настоящаго» не было ничего. Дѣйствительно, онъ очень боялся маменькина проклятія, но представлялъ его себѣ совершенно иначе. Въ праздномъ его умѣ на этотъ случай цѣлая обстановка сложилась: образа, зажженныя свѣчи, маменька стоитъ среди комнаты, страшная, съ почернѣвшимъ лицомъ... и проклинаетъ! Потомъ: громъ, свѣчи потухли, завѣса разодралась, тьма покрыла землю, а вверху, среди тучъ, виднѣется разгнѣванный ликъ Іеговы, освѣщенный молніями. Но такъ какъ ничего подобнаго не случилось, то значитъ, что маменька просто сблажила, показалось ей что-нибудь — и больше ничего. Да и не съ чего было ей «настоящимъ образомъ» проклинать, потому что въ послѣднее время у нихъ не было даже предлоговъ для столкновенія. Съ тѣхъ поръ, какъ онъ заявилъ сомнѣніе насчетъ принадлежности маменькѣ тарантаса (Іудушка соглашался внутренно, что *иногда* онъ былъ виноватъ и заслуживалъ проклятія), воды утекло много; Арина Петровна смирилась, а Порфирій Владимірычъ только и думалъ о томъ, какъ бы успокоить добраго друга маменьку.

— Плоха старушка, ахъ, какъ плоха! Временемъ даже забываться ужъ начала!—утѣшалъ онъ себя.— Сядетъ, голубушка, въ дураки играть—смотришь, анъ она дремлетъ!

Справедливость требуетъ сказать, что ветхость Арины Петровны даже тревожила его. Онъ еще не приготовился къ утратѣ, ничего не думалъ, не успѣлъ сдѣлать надлежащія выкладки: сколько было у маменьки капитала при отъѣздѣ изъ Дубровина, сколько капиталъ этотъ могъ приносить въ годъ дохода, сколько она могла изъ этого дохода тратить и сколько присовокупить. Словомъ сказать, не продѣлалъ еще цѣлой массы пустяковъ, безъ которыхъ онъ всегда чувствовалъ себя застигнутымъ врасплохъ.

— Старушка крѣпонька! — мечталось ему иногда. — Не проживетъ она *всего*—гдѣ прожить! Въ то время, какъ она насъ отдѣляла, хорошій у нея капиталъ былъ! Развѣ сироткамъ чего не передала ли — да нѣтъ, и сироткамъ не много дастъ! Есть у старушки деньги, есть!

Но мечтанія эти покуда еще не представляли ничего серьезнаго и улетучивались, не задерживаясь въ его мозгу. Масса обыденныхъ пустяковъ и безъ того была слишкомъ громадна, чтобъ увеличивать ее еще новыми, въ которыхъ покамѣстъ не настояло насущной потребности. Порфирій Владимірычъ все откладывалъ, да откладывалъ, и только

послѣ внезапной сцены проклятія спохватился, что пора начинать.

Катастрофа наступила, впрочемъ, скорѣе, нежели онъ предполагалъ. На другой день послѣ отъѣзда Петеньки Арина Петровна уѣхала въ Погорѣлку и уже не возвращалась въ Головлево. Съ мѣсяцъ она провела въ совершенномъ уединеніи, не выходя изъ комнаты и рѣдко-рѣдко позволяла себѣ промолвить слово даже съ прислугой. Вставши утромъ, она по привычкѣ садилась къ письменному столу, по привычкѣ же начинала раскладывать карты, но никогда почти не доканчивала и словно застывала на мѣстѣ съ вперенными въ окно глазами. Что она думала и даже думала ли о чемъ-нибудь — этого не разглядѣлъ бы самый проницательный знатокъ сокровеннѣйшихъ тайнъ человѣческаго сердца. Казалось, она хотѣла что-то вспомнить, хоть, напримѣръ, то, какимъ образомъ она очутилась здѣсь, въ этихъ стѣнахъ,—и не могла. Встревоженная ея молчаніемъ, Афимьюшка заглядывала въ комнату, поправляла въ креслѣ подушки, которыми она была обложена, пробовала заговорить о чемъ-нибудь, но получала только односложные и нетерпѣливые отвѣты. Раза съ два въ теченіе этого времени пріѣзжалъ въ Погорѣлку Порфирій Владимірычъ, звалъ маменьку въ Головлево, пытался распалить ея воображеніе представленіемъ о рыжичкахъ, карасикахъ и прочихъ головлевскихъ соблазнахъ, но она только загадочно улыбалась на его предложенія.

Однимъ утромъ она по обыкновенію собралась встать съ постели и не могла. Она не ощущала никакой особенной боли, ни на что не жаловалась, а просто не могла встать. Ее даже не встревожило это обстоятельство, какъ будто оно было въ порядкѣ вещей. Вчера сидѣла еще у стола, была въ силахъ бродить—нынче лежитъ въ постели, «неможется». Ей даже покойнѣе чувствовалось. Но Афимьюшка всполошилась и потихоньку отъ барыни послала гонца къ Порфирію Владимірычу.

Іудушка пріѣхалъ рано утромъ на другой день; Аринѣ Петровнѣ было ужъ значительно хуже. Обстоятельно разспросилъ онъ прислугу, что маменька кушала, не позволила ли себѣ чего лишненькаго, но получилъ отвѣтъ, что Арина Петровна ужъ съ мѣсяцъ почти ничего не ѣстъ, а со вчерашняго дня и вовсе отказалась отъ пищи. Потужилъ Іудушка, помахалъ руками и, какъ добрый сынъ, прежде чѣмъ войти къ матери, погрѣлся въ дѣвичьей у

печки, чтобъ не охватило больную холоднымъ воздухомъ. И кстати (у него насчетъ покойниковъ какой-то дьявольскій нюхъ былъ) тутъ же началъ распоряжаться. Разспросилъ насчетъ попа, дома ли онъ, чтобъ, въ случаѣ надобности, можно было сейчасъ же за нимъ послать, справился, гдѣ стоитъ маменькинъ ящикъ съ бумагами, запертъ ли онъ, и, успокоившись насчетъ существеннаго, призвалъ кухарку и велѣлъ приготовить обѣдать для себя.

— Мнѣ немного надо!—говорилъ онъ. — Курочка есть? Ну, супцу изъ курочки сварите! Можетъ-быть, солонинка есть — солонинки кусочекъ приготовьте! Жаркòвца какого-нибудь... вотъ, я и сытъ!

Арина Петровна лежала, распростершись навзничь на постели, съ раскрытымъ ртомъ и тяжело дыша. Глаза ея смотрѣли широко; одна рука выбилась изъ-подъ заячьяго одѣяла и застыла въ воздухѣ. Очевидно, она прислушивалась къ шороху, который произвелъ пріѣздъ сына, а можетъ-быть, до нея долетали и самыя приказанія, отдаваемыя Іудушкой. Благодаря опущеннымъ шторамъ, въ комнатѣ царствовали сумерки. Свѣтильни догорали на днѣ лампадокъ, и слышно было, какъ онѣ трещали отъ прикосновенія съ водой. Воздухъ былъ тяжелъ и смраденъ; духота отъ жарко натопленныхъ печей, отъ чада, распространяемаго лампадками, и отъ міазмовъ стояла невыносимая. Порфирій Владимірычъ, въ валеныхъ сапогахъ, словно змѣй, проскользнулъ къ постели матери; длинная и сухощавая его фигура загадочно колебалась, охваченная сумерками. Арина Петровна слѣдила за нимъ не то испуганными, не то удивленными глазами и жалась подъ одѣяломъ.

— Это я, маменька,— сказалъ онъ. — Чтò это, какъ вы развинтились сегодня! Ахъ-ахъ-ахъ! То-то мнѣ нынче не спалось; всю ночь вотъ такъ и поталкивало: дай, думаю, провѣдаю, какъ-то подгорѣловскіе друзья поживаютъ! Утромъ сегодня всталъ, сейчасъ это кибиточку, парочку лошадушекъ—и вотъ онъ-онъ!

Порфирій Владимірычъ любезно хихикнулъ, но Арина Петровна не отвѣчала и все больше и больше жалась подъ одѣяломъ.

— Ну, Богъ милостивъ, маменька!—продолжалъ Іудушка.—Главное, въ обиду себя не давайте! Плюньте на хворость, встаньте съ постельки да пройдитесь молодцомъ по комнатѣ!.. Вотъ такъ!

Порфирій Владимірычъ всталъ со стула и показалъ, какъ молодцы прохаживаются по комнатѣ.

— Да постойте, дайте-ка я шторку подниму да посмотрю на васъ! Э! да вы молодецъ-молодцомъ, голубушка! Стоитъ только подбодриться, да Богу помолиться, да прифрантиться — хоть сейчасъ на балъ! Дай-ка, вотъ я вамъ святой водицы богоявленской привезъ, откушайте-ка!

Порфирій Владимірычъ вынулъ изъ кармана пузырекъ, отыскалъ на столѣ рюмку, налилъ и поднесъ больной. Арина Петровна сдѣлала было движеніе, чтобъ поднять голову, не могла.

— Сиротъ бы...—простонала она.

— Ну, вотъ, ужъ и сиротки понадобились! Ахъ, маменька, маменька! Какъ это вы вдругъ... натко! Капельку прихворнули—и ужъ духомъ упали! Все будетъ, и къ сироткамъ эстафету пошлемъ, все чередомъ сдѣлаемъ! Не къ спѣху вѣдь; мы съ вами еще поживемъ! Да еще какъ поживемъ-то! Вотъ лѣто настанетъ—въ лѣсъ по грибы вмѣстѣ пойдемъ: по малину, по ягоду, по чёрну смородину! А не то такъ въ Дубровино карасей ловить поѣдемъ: запряжемъ старика-савраску въ длинныя дроги, потихоньку да полегоньку, трюхъ-трюхъ, сядемъ и поѣдемъ!

— Сиротъ бы...—повторила Арина Петровна тоскливо.

— Пріѣдутъ и сиротки. Дайте срокъ—всѣхъ скличемъ, всѣ пріѣдемъ. Пріѣдемъ, да кругомъ васъ и обсядемъ. Вы будете насѣдка, а мы цыплятки... Цыпъ-цыпъ-цыпъ! Все будетъ, коли вы будете паинька. А вотъ за это вы ужъ не паинька, что хворать вздумали. Вѣдь вотъ что, проказница, затѣяли... Ахъ-ахъ-ахъ! Чѣмъ бы другимъ примѣръ подавать, а вы вотъ какъ! Не хорошо, голубушка! Ахъ, не хорошо!

Но какъ ни старался Порфирій Владимірычъ и шуточками, и прибауточками подбодрить милаго друга маменьку, силы ее падали съ каждымъ часомъ. Послали въ городъ нарочнаго за лѣкаремъ, и такъ какъ больная продолжала тосковать и звать сиротокъ, то Іудушка собственноручно написалъ Аннинькѣ и Любинькѣ письмо, въ которомъ сравнивалъ ихъ поведеніе со своимъ, себя называлъ христіаниномъ, ихъ—неблагодарными. Ночью лѣкарь пріѣхалъ, но было уже поздно. Арину Петровну, какъ говорится, въ одинъ день «сварило». Часу въ четвертомъ ночи началась агонія, а въ шесть часовъ утра Порфирій Владимірычъ *стоялъ на* колѣняхъ у постели матери и вопилъ:

— Маменька! другъ мой! благословите!

Но Арина Петровна не слыхала. Открытые глаза ея тускло смотрѣли въ пространство, словно она старалась что-то понять и не понимала.

Іудушка тоже не понималъ. Онъ не понималъ, что открывшаяся передъ его глазами могила уносила послѣднюю связь его съ живымъ міромъ, послѣднее живое существо, съ которымъ онъ могъ дѣлить прахъ, наполнявшій его, и что отнынѣ этотъ прахъ, не находя истока, будетъ накопляться въ немъ до тѣхъ поръ, пока окончательно не задушитъ его.

Съ обычною суетливостью окунулся онъ въ бездну мелочей, сопровождающихъ похоронный обрядъ. Служилъ панихиды, заказывалъ сорокоусты, толковалъ съ попомъ, шаркалъ ногами, переходя изъ комнаты въ комнату, заглядывалъ въ столовую, гдѣ лежала покойница, крестился, воздѣвалъ глаза къ небу, вставалъ по ночамъ, неслышно подходилъ къ двери, вслушивался въ монотонное чтеніе псаломщика и проч. Причемъ былъ пріятно удивленъ, что даже особенныхъ издержекъ для него по этому случаю не предстояло, потому что Арина Петровна еще при жизни отложила сумму на похороны, расписавъ очень подробно, сколько и куда слѣдуетъ употребить.

Схоронивши мать, Порфирій Владимірычъ немедленно занялся приведеніемъ въ извѣстность ея дѣлъ. Разбирая бумаги, онъ нашелъ до десяти разныхъ завѣщаній (въ одномъ изъ нихъ она называла его «непочтительнымъ»); но всѣ они были писаны еще въ то время, когда Арина Петровна была властною барыней, и лежали неоформленными, въ видѣ проектовъ. Поэтому Іудушка остался очень доволенъ, что ему не привелось даже покривить душой, объявляя себя единственнымъ законнымъ наслѣдникомъ оставшагося послѣ матери имущества. Имущество это состояло изъ капитала въ пятнадцать тысячъ рублей и изъ скудной движимости, въ числѣ которой былъ и знаменитый тарантасъ, едва не послужившій яблокомъ раздора между матерью и сыномъ. Арина Петровна тщательно отдѣляла свои счеты отъ опекунскихъ, такъ что сразу можно было выдѣть, что̀ принадлежитъ ей и что̀ — сироткамъ. Іудушка немедленно заявилъ себя гдѣ слѣдуетъ наслѣдникомъ, опечаталъ бумаги, относящіяся до опеки, роздалъ прислугѣ скудный гардеробъ матери; тарантасъ и двухъ коровъ, которыя, по описи Арины Петровны, значились подъ рубри-

кой «мои», отправилъ въ Головлево и затѣмъ, отслуживши послѣднюю панихиду, отправился во-свояси.

— Ждите владѣлицъ, — говорилъ онъ людямъ, собравшимся въ сѣняхъ, чтобъ проводить его: — пріѣдутъ — милости просимъ; не пріѣдутъ, — какъ хотятъ! Я, съ своей стороны, все сдѣлалъ; счеты по опекѣ привелъ въ порядокъ, ничего не скрылъ, не утаилъ — все у всѣхъ на глазахъ дѣлалъ. Капиталъ, который послѣ маменьки остался, принадлежитъ мнѣ, по закону; тарантасъ и двѣ коровы, которыя я въ Головлево отправилъ—тоже мои, по закону. Можетъ-быть, даже кой-что изъ моего *здѣсь* осталось—ну, да Богъ съ нимъ, сироткамъ и Богъ велѣлъ подавать! Жаль маменьку, добрая была старушка, пѣчная! Вотъ и объ васъ, объ прислугѣ, позаботилась, гардеробъ свой вамъ оставила! Ахъ, маменька, маменька! нехорошо вы это, голубушка, сдѣлали, что насъ сиротами покинули! Ну, да ужъ если такъ Богу угодно, то и мы святой Его волѣ покоряться должны! Только бы вашей душѣ было хорошо, а объ насъ... что ужъ объ насъ думать!

За первой могилой скоро послѣдовала и другая.

Къ исторіи сына Порфирія Владимірычъ отнесся довольно загадочно. Газетъ онъ не получалъ, ни съ кѣмъ въ перепискѣ не состоялъ, и потому свѣдѣній о процессѣ, въ которомъ фигурировалъ Петенька, ни откуда имѣть не могъ. Да врядъ ли онъ и желалъ что-нибудь знать объ этомъ предметѣ. Вообще это былъ человѣкъ, который пуще всего сторонился отъ всякихъ тревогъ, который по уши погрязъ въ тину мелочей самаго паскуднаго самосохраненія и котораго существованіе, вслѣдствіе этого, нигдѣ и ни на чемъ не оставило послѣ себя слѣдовъ. Такихъ людей довольно на свѣтѣ, и всѣ они живутъ особнякомъ, не умѣя и не желая къ чему-нибудь пріютиться, не зная, что ожидаетъ ихъ въ слѣдующую минуту, и лопаясь подъ конецъ, какъ лопаются дождевые пузыри. Нѣтъ у нихъ дружескихъ связей, потому что для дружества необходимо существованіе общихъ интересовъ; нѣтъ и дѣловыхъ связей, потому что даже въ мертвомъ дѣлѣ бюрократизма они выказываютъ какую-то ужъ совершенно нестерпимую мертвенность. Тридцать лѣтъ сряду Порфирій Владимірычъ толкался и мелькалъ въ департаментѣ; потомъ въ одно прекрасное утро исчезъ — и никто не замѣтилъ этого. Поэтому онъ узналъ объ участи, постигшей сына, послѣдній, когда вѣсть объ этомъ распространилась уже между дворовыми. Но и тутъ

притворился, что ничего не знаетъ, такъ что когда Евпраксеюшка заикнулась однажды упомянуть о Петенькѣ, то Іудушка замахалъ на нее руками и сказалъ:

— Нѣтъ, нѣтъ, нѣтъ! И не знаю, и не слыхалъ, и слышать не хочу! Не хочу я его грязныхъ дѣлъ знать!

Но, наконецъ, узнать все-таки привелось. Пришло отъ Петеньки письмо, въ которомъ онъ увѣдомлялъ о своемъ предстоящемъ отъѣздѣ въ одну изъ дальнихъ губерній и спрашивалъ, будетъ ли папенька высылать ему содержаніе въ новомъ его положеніи. Весь день послѣ этого Порфирій Владимірычъ находился въ видимомъ недоумѣніи, сновалъ изъ комнаты въ комнату, заглядывалъ въ образную, крестился и охалъ. Къ вечеру, однако-жъ, собрался съ духомъ и написалъ:

«Преступный сынъ Петръ!

«Какъ вѣрный подданный, обязанный чтить законы, я не долженъ былъ бы даже отвѣчать на твое письмо. Но какъ отецъ, причастный человѣческимъ слабостямъ, не могу, изъ чувства состраданія, отказать въ благомъ совѣтѣ дѣтищу, ввергнувшему себя, по собственной винѣ, въ пучину золъ. Итакъ, вотъ вкратцѣ мое мнѣніе по сему предмету. Наказаніе, коему ты подвергся, тяжко, но вполнѣ тобою заслужено—такова первая и самая главная мысль, которая отнынѣ всегда должна тебѣ въ твоей новой жизни сопутствовать. А всѣ остальныя прихоти и даже воспоминанія объ оныхъ ты долженъ оставить, ибо въ твоемъ положеніи все сіе можетъ только раздражать и побуждать къ ропоту. Ты уже вкусилъ отъ горькихъ плодовъ высокоумія—попробуй же вкусить и отъ плодовъ смиренія, тѣмъ болѣе, что ничего другого для тебя въ будущемъ не предстоитъ. Не ропщи на наказаніе, ибо начальство даже не наказываетъ тебя, но преподаетъ лишь средства къ исправленію. Благодарить за сіе и стараться загладить содѣянное—вотъ объ чемъ тебѣ непрестанно думать надлежитъ, а не о роскошномъ препровожденіи времени, коего, впрочемъ, я и самъ, никогда не бывъ подъ судомъ, не имѣю. Послѣдуй же сему совѣту благоразумія и возродись для новой жизни, возродись совершенно, довольствуясь тѣмъ, что начальство по милости своей, сочтетъ нужнымъ тебѣ назначить. А я, съ своей стороны, буду молить Подателя всѣхъ благъ о ниспосланіи тебѣ твердости и смиренія, и даже въ сей самый день, какъ пишу сіи строки, былъ въ церкви и воз-

сылалъ о семъ горячія мольбы. Затѣмъ благословляю тебя на новый путь и остаюсь

«негодующій, но все еще любящій отецъ твой —

Порфирій Головлевъ».

Неизвѣстно, дошло ли до Петеньки это письмо; но не дальше, какъ черезъ мѣсяцъ послѣ его отсылки, Порфирій Владимірычъ получилъ офиціальное увѣдомленіе, что сынъ его, не доѣхавши до мѣста ссылки, слегъ въ одномъ изъ попутныхъ городовъ въ больницу и умеръ.

Іудушка очутился одинъ, но сгоряча, все-таки, еще не понялъ, что съ этой новой утратой онъ уже окончательно пущенъ въ пространство, лицомъ къ лицу съ однимъ своимъ пустословіемъ. Это случилось вскорѣ послѣ смерти Арины Петровны, когда онъ былъ весь поглощенъ въ счеты и выкладки. Онъ перечитывалъ бумаги покойной, усчитывалъ всякій грошъ, отыскивалъ связь этого гроша съ опекунскими грошами, не желая, какъ онъ говорилъ, ни себѣ присвоить чужого, ни своего упустить. Среди этой сутолоки ему даже не представлялся вопросъ, для чего онъ все это дѣлаетъ и кто воспользуется плодами его суеты? Съ утра до вечера корпѣлъ онъ за письменнымъ столомъ, критикуя распоряженія покойной и даже фантазируя, такъ что за хлопотами мало-по-малу запустилъ и счеты по собственному хозяйству.

И все въ домѣ стихло. Прислуга, и прежде предпочитавшая ютиться въ людскихъ, почти совсѣмъ бросила домъ, а являясь въ господскія комнаты, ходила на цыпочкахъ и говорила шопотомъ. Чувствовалось что-то выморочное и въ этомъ домѣ, и въ этомъ человѣкѣ, что-то такое, что́ наводитъ невольный и суевѣрный страхъ. Сумеркамъ, которыя и безъ того окутывали Іудушку, предстояло сгущаться съ каждымъ днемъ все больше и больше.

Постомъ, когда спектакли прекратились, пріѣхала въ Головлево Аннинька и объявила, что Любинька не могла ѣхать вмѣстѣ съ нею, потому что еще раньше законтрактовалась на весь великій постъ, и вслѣдствіе этого отправилась въ Ромны, Изюмъ, Кременчугъ, и проч., гдѣ ей предстояло давать концерты и пропѣть весь каскадный репертуаръ.

Въ теченіе короткой артистической карьеры Аннинька значительно выровнялась. Это была уже не прежняя наивная, малокровная и нѣсколько вялая дѣвушка, которая въ

Дубровинѣ и въ Погорѣлкѣ, неуклюже покачиваясь и потихоньку напѣвая, ходила изъ комнаты въ комнату, словно не зная, гдѣ найти себѣ мѣсто. Нѣтъ, это была дѣвица вполнѣ опредѣлившаяся, съ рѣзкими и даже развязными манерами, по первому взгляду на которую можно было безъ ошибки заключить, что она за словомъ въ карманъ не полѣзетъ. Наружность ея тоже измѣнилась и довольно пріятно поразила Порфирія Владимірыча. Передъ нимъ явилась рослая и статная женщина съ красивымъ румянымъ лицомъ, съ высокою, хорошо развитою грудью, съ сѣрыми глазами навыкатъ и съ отличнѣйшей пепельной косой, которая тяжело опускалась на затылокъ,—женщина, которая, повидимому, проникнута была сознаніемъ, что она-то и есть та самая «Прекрасная Елена», по которой суждено вздыхать господамъ офицерамъ. Раннимъ утромъ пріѣхала она въ Головлево и тотчасъ же уединилась въ особенную комнату, откуда явилась въ столовую къ чаю въ великолѣпномъ шелковомъ платьѣ, шумя трэномъ и очень искусно маневрируя имъ среди стульевъ. Іудушка хотя и любилъ своего Бога паче всего, но это не мѣшало ему имѣть вкусъ къ красивымъ, а въ особенности къ крупнымъ женщинамъ. Поэтому онъ сначала перекрестилъ Аннинькy, потомъ какъ-то особенно отчетливо поцѣловалъ ее въ обѣ щеки и при этомъ такъ странно скосилъ глаза на ея грудь, что Аннинька чуть замѣтно улыбнулась.

Сѣли за чай; Аннинька подняла обѣ руки кверху и потянулась.

— Ахъ, дядя, какъ у васъ скучно здѣсь!—начала она, слегка позѣвывая.

— Вотъ-на! не успѣла повернуться—ужъ и скучно показалось! А ты поживи съ нами—тогда и увидимъ: можетъ, и весело покажется, — отвѣтилъ Порфирій Владимірычъ, котораго глаза вдругъ подернулись масляннымъ отблескомъ.

— Нѣтъ, не интересно! Что у васъ тутъ? Снѣгъ кругомъ, сосѣдей нѣтъ... Полкъ, кажется, у васъ здѣсь стоитъ?

— И полкъ стоитъ, и сосѣди есть, да, признаться, меня это не интересуетъ. А впрочемъ, ежели...

Порфирій Владимірычъ взглянулъ на нее, но не докончилъ, а только крякнулъ. Можетъ-быть, онъ и съ намѣреніемъ остановился, хотѣлъ раззадорить ея женское любопытство; во всякомъ случаѣ, прежняя, едва замѣтная улыбка вновь скользнула на ея лицѣ. Она облокотилась на

столъ и довольно пристально взглянула на Евпраксеюшку, которая, вся раскраснѣвшись, перетирала стаканы и тоже исподлобья взглядывала на нее своими большими, мутными глазами.

— Это—моя новая экономка... усердная!—молвилъ Порфирій Владимірычъ.

Аннинька чуть замѣтно кивнула головой и потихоньку замурлыкала: «Ah! ah! que j'aime... que j'aime... que j'aime... les mili-mili-mili-taires!», при чемъ поясница ея какъ-то сама собой вздрагивала.

Воцарилось молчаніе, въ продолженіе котораго Іудушка, смиренно опустивъ глаза, помаленьку прихлебывалъ чай изъ стакана.

— Скука!—опять зѣвнула Аннинька.

— Скука, да скука, заладила одно! Вотъ погоди, поживи... Ужò велимъ саночки заложить — катайся, сколько душѣ угодно.

— Дядя! отчего вы въ гусары не пошли?

— А оттого, мой другъ, что всякому человѣку свой предѣлъ отъ Бога положенъ. Одному—въ гусарахъ служить, другому—въ чиновникахъ быть, третьему—торговать, четвертому...

— Ахъ, да, четвертому, пятому, шестому... я и забыла! И все это Богъ распредѣляетъ... такъ вѣдь?

— Что-жъ, и Богъ! Надъ этимъ, мой другъ, смѣяться нечего! Ты знаешь ли, что̀ въ Писаніи-то сказано: безъ воли Божіей...

— Это насчетъ волоса? Знаю и это! Но вотъ бѣда: нынче все шиньоны носятъ, а это, кажется, не предусмотрѣно! Кстати, посмотрите-ка, дядя, какая у меня чудесная коса!.. Не правда ли, хороша?

Порфирій Владимірычъ приблизился (почему-то на цыпочкахъ) и подержалъ косу въ рукѣ. Евпраксеюшка тоже потянулась впередъ, не выпуская изъ рукъ блюдечка съ чаемъ, и, сквозь стиснутый въ зубахъ сухарь, процѣдила:

— Шильонъ, чай?..

— Нѣтъ, не шиньонъ, а собственные мои волосы. Я когда-нибудь ихъ передъ вами распущу, дядя!

— Да, хороша коса! — похвалилъ Іудушка и какъ-то погано распустилъ при этомъ губы; но потомъ спохватился, что, по настоящему, отъ подобныхъ соблазновъ надобно отплевываться, и присовокупилъ:—Ахъ, егоза! егоза! все

у тебя косы да шлейфы на умѣ, а объ настоящемъ-то, объ главномъ-то и не догадаешься спросить.

— Да, объ бабушкѣ!.. Вѣдь она умерла?

— Скончалась, мой другъ! И какъ еще сканчалась-то! Мирно, тихо, никто и не слыхалъ! Вотъ ужъ именно непостыдныя кончины живота своего удостоилась! Обо всѣхъ вспомнила, всѣхъ благословила, призвала священника, причастилась... И такъ это вдругъ спокойно, такъ спокойно ей сдѣлалось! Даже сама, голубушка, это высказала—вдругъ начала вздыхать! Вздохнула разъ, другой, третій—смотримъ, ея ужъ и нѣтъ!

Іудушка всталъ, поворотился лицомъ къ образу, сложилъ руки ладонями внутрь и помолился. Даже слезы у него на глазахъ выступили: такъ хорошо онъ солгалъ! Но Аннинька, повидимому, была не изъ чувствительныхъ. Правда, она задумалась на минуту, но совсѣмъ по другому поводу.

— А помните, дядя,—сказала она:—какъ она меня съ сестрой, маленькихъ, кислымъ молокомъ кормила? Не въ послѣднее время... въ послѣднее время она отличная была... а тогда, когда она еще богата была?

— Ну, ну, что старое поминать! Кислымъ молокомъ кормили, а вишь какую, Богъ съ тобой, выпоили! На могилку-то поѣдешь, что ли?

— Поѣдемъ, пожалуй!

— Только знаешь ли что: ты бы сначала очистилась!

— Какъ это... очистилась?

— Ну, все-таки... актриса... Ты думаешь, бабушкѣ это легко было? Такъ прежде, чѣмъ на могилку-то ѣхать, обѣденку бы тебѣ отстоять, очиститься бы! Вотъ я завтра пораньше велю отслужить, а потомъ и съ Богомъ!

Какъ ни нелѣпо было Іудушкино предложеніе, но Аннинька все-таки на минуту смѣшалась. Но вслѣдъ затѣмъ она сдвинула сердито брови и рѣзко сказала:

— Нѣтъ, я такъ... я сейчасъ поѣду!

— Не знаю, какъ хочешь! А мой совѣтъ такой: отстояли бы завтра обѣденку, напились бы чайку, приказали бы пару лошадушекъ въ кибиточку заложить и покатили бы вмѣстѣ. И ты бы очистилась, и бабушкиной бы душѣ...

— Ахъ, дядя, какой вы, однако, глупенькій! Богъ знаетъ, какую чепуху несете, да еще настаиваете!

— Что, не понравилось? Ну, да ужъ не взыщи — я, братъ, прямикъ! Неправды—не люблю, а правду—и другимъ выскажу, и самъ выслушаю! Хотъ и не по шёрсткѣ

иногда правда, хоть и горьконько,—а все ее выслушаешь! И должно выслушать, потому что она—правда. Такъ-то, мой другъ! Ты, вотъ, поживи-ка съ нами, да по-нашему—и сама увидишь, что такъ-то лучше, чѣмъ съ гитарой съ ярмарки на ярмарку переѣзжать.

— Богъ знаетъ, что вы, дядя, говорите! Съ гитарой!

— Ну, не съ гитарой, а около того. Съ торбаномъ, что ли. Впрочемъ, вѣдь ты меня первая обидѣла, глупымъ назвала, а мнѣ, старику, и подавно можно правду тебѣ высказать.

— Хорошо, пусть будетъ правда; не будемъ объ этомъ говорить. Скажите, пожалуйста: послѣ бабушки осталось наслѣдство?

— Какъ не остаться! Только законный наслѣдникъ-то былъ на-лицо!

— То-есть, вы... И тѣмъ лучше. Она у васъ здѣсь, въ Головлевѣ, похоронена?

— Нѣтъ, въ самомъ приходѣ, подлѣ Погорѣлки, у Николы-на-Воплѣ. Сама пожелала.

— Такъ я поѣду. Можно у васъ, дядя, лошадей нанять?

— Зачѣмъ нанимать? Свои лошади есть! Ты, чай, не чужая! Племяннушка... племяннушкой мнѣ приходишься!—всхлопотался Порфирій Владимірычъ, осклабляясь «по-родственному».—Кибиточку... парочку лошадушекъ—слава те, Господи, не пустодомомъ живу! Да не поѣхать ли и мнѣ вмѣстѣ съ тобой? И на могилкѣ бы побывали, и въ Погорѣлку бы заѣхали! И туда бы заглянули, и тамъ бы посмотрѣли, и поговорили бы, и подумали бы—что и какъ... Хорошенькая вѣдь у васъ усадьбица, полезныя въ ней мѣстечки есть!

— Нѣтъ, я ужъ одна... зачѣмъ вамъ? Кстати, вѣдь и Петенька тоже умеръ?

— Умеръ, дружокъ, умеръ и Петенька. И жалко мнѣ его съ одной стороны, даже до слезъ жалко, а съ другой стороны—самъ виноватъ! Всегда онъ былъ къ отцу непочтителенъ—вотъ Богъ за это и наказалъ! А ужъ ежели что Богъ въ премудрости своей устроилъ, такъ намъ съ тобой передѣлывать не приходится.

— Понятное дѣло, не передѣлаемъ. Только я вотъ о чемъ думаю: какъ это вамъ, дядя, жить не страшно?

— А чего мнѣ страшиться? Видишь, сколько у меня благодати кругомъ?—Іудушка обвелъ рукою, указывая на образа.—И тутъ благодать, и въ кабинетѣ благодать, а въ

образной такъ настоящій рай! Вонъ сколько у меня заступниковъ.

— Все-таки... Всегда вы—одинъ... страшно!

— А страшно, такъ встану на колѣни, помолюсь—и все какъ рукой сниметъ! Да и чего бояться: днемъ—свѣтло, а ночью у меня вездѣ, во всѣхъ комнатахъ, лампадки горятъ. Съ улицы, какъ стемнѣетъ, словно балъ кажетъ! А какой у меня балъ! Заступники да угодники Божіи—вотъ и весь мой балъ!

— А знаете ли: вѣдь Петенька-то передъ смертью писалъ къ намъ.

— Что-жъ, какъ родственникъ!.. И за то спасибо, что хоть родственныя чувства не потерялъ!

— Да, писалъ. Ужъ послѣ суда, когда рѣшеніе вышло. Писалъ, что онъ три тысячи проигралъ, и вы ему не дали. Вѣдь вы, дядя, богатый?

— Въ чужомъ карманѣ, мой другъ, легко деньги считать. Иногда намъ кажется, что у человѣка золотыя горы, а поглядѣть да посмотрѣть, такъ у него на маслице да на свѣчечку—и то не его, а Богово!

— Ну, мы, стало-быть, богаче васъ. И отъ себя сложились, и кавалеровъ нашихъ заставили подписаться—шестьсотъ рублей собрали и послали ему.

— Какіе же это «кавалеры»?

— Ахъ, дядя! да вѣдь мы... актрисы! Вы сами же сейчасъ предлагали мнѣ «очиститься»!

— Не люблю я, когда ты такъ говоришь!

— Что-жъ дѣлать! Любите или не любите, а что сдѣлано, того не передѣлаешь. Вѣдь, по-вашему, и тутъ Богъ!

— Не кощунствуй, по крайней мѣрѣ. Все можешь говорить, а кощунствовать... не позволяю! Куда же вы деньги послали?

— Не помню. Въ городокъ какой-то... Онъ самъ назначилъ.

— Не знаю. Кабы были деньги, я долженъ бы послѣ смерти ихъ получить! Не истратилъ же онъ всѣхъ разомъ! Не знаю, ничего я не получилъ. Смотрителишки да конвойные, чай, воспользовались!

— Да вѣдь мы и не требуемъ—это такъ, къ слову сказалось. А все-таки, дядя, страшно: какъ это такъ—изъ-за трехъ тысячъ человѣкъ пропалъ!

— То-то, что не изъ-за трехъ тысячъ. Это намъ такъ кажется, что изъ-за трехъ тысячъ—вотъ мы и твердимъ: три тысячи! три тысячи! А Богъ...

Iудушка совсѣмъ ужъ было расходился, хотѣлъ объяснить во всей подробности, какъ Богъ... Провидѣніе... невидимыми путями... и все такое... Но Аннинька безцеремонно зѣвнула и сказала:

— Ахъ, дядя, скука какая у васъ!

На этотъ разъ Порфирій Владимірычъ серьезно обидѣлся и замолчалъ. Долго ходили они рядомъ взадъ и впередъ по столовой; Аннинька зѣвала, Порфирій Владимірычъ въ каждомъ углу крестился. Наконецъ, доложили, что поданы лошади, и началась обычная комедія родственныхъ проводовъ. Головлевъ надѣлъ шубу, вышелъ на крыльцо, расцѣловался съ Аннинькой, кричалъ на людей: «ноги-то, ноги-то теплѣе закутывайте!» или: «кутейки-то, кутейки-то взяли ли? Ахъ, не забыть бы!» И крестилъ при этомъ воздухъ.

Съѣздила Аннинька на могилку къ бабушкѣ, попросила воплинскаго батюшку панихидку отслужить, и когда дьячки уныло затянули вѣчную память, то поплакала. Картина, среди которой совершалась церемонія, была печальная. Церковь, при которой схоронили Арину Петровну, принадлежала къ числу бѣдныхъ; штукатурка мѣстами обвалилась и обнажила большими заплатами кирпичный остовъ; колоколъ звонилъ слабо и глухо; риза на священникѣ обветшала. Глубокій снѣгъ покрывалъ кладбище, такъ что нужно было разгребать дорогу лопатами, чтобъ дойти до могилы; памятника еще не существовало, а стоялъ простой бѣлый крестъ, на которомъ даже надписи никакой не значилось. Погостъ стоялъ уединенно, въ сторонѣ отъ всякаго селенія; неподалеку отъ церкви ютились почернѣвшія избы священника и причетниковъ, а кругомъ во всѣ стороны стлалась сиротливая снѣжная равнина, на поверхности которой по мѣстамъ торчалъ какой-то хворостъ. Крѣпкій мартовскій вѣтеръ носился надъ кладбищемъ, безпрестанно захлестывая ризу на священникѣ и относя въ сторону пѣніе причетниковъ.

— И кто бы, сударыня, подумалъ, что подъ симъ скромнымъ крестомъ, при бѣдной нашей церкви, нашла себѣ успокоеніе богатѣйшая нѣкогда помѣщица здѣшняго уѣзда! — сказалъ священникъ по окончаніи литіи.

При этихъ словахъ Аннинька и еще поплакала. Ей вспомнилось: *гдѣ столъ былъ яствъ — тамъ гробъ стоитъ*. и слезы такъ и лились. Потомъ она пошла къ батюшкѣ въ хату, напилась чаю, побесѣдовала съ матушкой, опять

вспомнила: *и блѣдна смерть на всѣхъ глядитъ* — и опять много и долго плакала.

Въ Погорѣлку не было дано знать о пріѣздѣ барышни, и потому тамъ даже комнатъ въ домѣ не истопили. Аннинька, не снимая шубы, прошла по всѣмъ комнатамъ и остановилась на минуту только въ спальной бабушки и въ образной. Въ бабушкиной комнатѣ стояла ея постель, на которой такъ и лежала неубранная груда замасленныхъ пуховиковъ и нѣсколько подушекъ безъ наволочекъ. На письменномъ столѣ валялись разбросанные лоскутья бумаги; полъ былъ не метенъ, а густой слой пыли покрывалъ всѣ предметы. Аннинька присѣла въ кресло, въ которомъ сиживала бабушка, и задумалась. Сначала явились воспоминанія прошлаго, потомъ на смѣну имъ пришли представленія настоящаго. Первыя проходили въ видѣ обрывковъ, мимолетно и не задерживаясь; вторыя осѣдали плотнѣе. Давно ли рвалась она на волю, давно ли Погорѣлка казалась ей постылою—и вотъ теперь вдругъ ея сердце переполнило какое-то болѣзненное желаніе пожить въ этомъ постыломъ мѣстѣ. Тихо здѣсь, неуютно, неприглядно, но тихо, такъ тихо, что словно все кругомъ умерло. Воздуху много и простору: вонъ оно, поле—такъ бы и побѣжала. Безъ цѣли, безъ оглядки, только чтобъ дышалось сильнѣе, чтобъ грудь саднило. А *тамъ*, въ этой полукочевой средѣ, изъ которой она только что вырвалась и куда опять *должна* возвратиться,—что̀ ее ждетъ? и что̀ она оттуда вынесла? Воспоминаніе о пропитанныхъ вонью гостиницахъ, о вѣчномъ гвалтѣ, несущемся изъ общей столовой и изъ бильярдной, о нечесанныхъ и немытыхъ половыхъ, о репетиціяхъ среди царствующихъ на сценѣ сумерекъ, среди полотняныхъ, раскрашенныхъ кулисъ, до которыхъ дотронуться гнусно, на сквозномъ вѣтру, на сырости... Вотъ и только! А потомъ: офицеры, адвокаты, циническія рѣчи, пустыя бутылки, скатерти, залитыя виномъ, облака дыма, и гвалтъ, гвалтъ, гвалтъ! И что̀ они говорили ей! Съ какимъ цинизмомъ къ ней прикасались!.. Особливо тотъ, усатый, съ охрипшимъ отъ перепоя голосомъ, съ воспаленными глазами, съ вѣчнымъ запахомъ конюшни... Ахъ, что̀ онъ говорилъ! Аннинька при этомъ воспоминаніи даже вздрогнула и зажмурила глаза. Потомъ, однако-жъ, очнулась, вздохнула и перешла въ образную. Въ кіотѣ стояло уже немного образовъ, только тѣ, которые *несомнѣнно* принадлежали ея матери, а остальные, бабушкины, были вы-

нуты и увезены Іудушкой, въ качествѣ наслѣдника, въ Головлево. Образовавшіяся вслѣдствіе этого пустыя мѣста смотрѣли словно выколотые глаза. И лампадъ не было— все взялъ Іудушка; только одинъ желтаго воска огарокъ сиротливо ютился, забытый въ крохотномъ жестяномъ подсвѣчникѣ.

— Они и кіотку хотѣли-было взять, все доискивались, точно ли она барышнина приданная была! — донесла Афимьюшка.

— Что-жъ, и пусть бы бралъ. А что, Афимьюшка, бабушка долго передъ смертью мучилась?

— Не то чтобъ очень, всего съ небольшимъ сутки лежали. Такъ, словно сами собой извелись. Ни больны настоящимъ манеромъ не были, ничто! Ничего почесть и не говорили, только про васъ съ сестрицей раза съ два помянули.

— Образа-то, стало-быть, Порфирій Владимірычъ увезъ?

— Онъ увезъ. Собственные, говоритъ, маменькины образа. И тарантасъ къ себѣ увезъ, и двухъ коровъ. Все, стало-быть, изъ барынинихъ бумагъ усмотрѣлъ, что не ваши были, а бабенькины. Лошадь тоже одну оттягать хотѣлъ, да Ѳедулычъ не отдалъ. «Наша, говоритъ, это лошадь, старинная погорѣлковская»,—ну, оставилъ, побоялся.

Походила Аннинька и по двору, заглянула въ службы, на гумно, на скотный дворъ. Тамъ, среди навозной топи, стоялъ «оборотный капиталъ»: штукъ двадцать тощихъ коровъ да три лошади. Велѣла принести хлѣба, сказавъ при этомъ: «Я заплачу!» — и каждой коровѣ дала по кусочку. Потомъ скотница попросила барышню въ избу, гдѣ былъ поставленъ на столѣ горшокъ съ молокомъ, а въ углу у печки, за низенькой перегородкой изъ досокъ, ютился новорожденный теленокъ. Аннинька поѣла молочка, побѣжала къ теленочку, сгоряча поцѣловала его въ морду, но сейчасъ же брезгливо вытерла губы, говоря, что морда у теленка противная, вся въ какихъ-то слюняхъ. Наконецъ, вынула изъ портъ-моне три желтенькихъ бумажки, раздала старымъ слугамъ и стала собираться.

— Что-жъ вы будете дѣлать? — спросила она, усаживаясь въ кибитку, старика Ѳедулыча, который, въ качествѣ старосты, слѣдовалъ за барышней съ скрещенными на груди руками.

— А что намъ дѣлать! Жить будемъ,—просто отвѣтилъ Ѳедулычъ.

Аннинькѣ опять взгрустнулось: ей показалось, что слова Ѳедулыча звучатъ ироніей. Она постояла-постояла на мѣстѣ, вздохнула и сказала:

— Ну, прощайте!

— А мы было-думали, что вы къ намъ вернетесь, съ нами поживете!—молвилъ Ѳедулычъ.

— Нѣтъ, ужъ... что! Все равно... живите!

И опять слезы полились у нея изъ глазъ, и всѣ при этомъ тоже заплакали. Какъ-то странно это выходило: вотъ и ничего, казалось, ей не жаль, даже помянуть нечѣмъ—а она плачетъ. Да и они: ничего не было сказано выходящаго изъ ряда будничныхъ вопросовъ и отвѣтовъ, а всѣмъ сдѣлалось тяжело, «жалко». Посадили ее въ кибитку, укутали и всѣ разомъ глубоко вздохнули.

— Счастливо! — раздалось за ней, когда повозка тронулась.

Ѣхавши мимо погоста, она вновь велѣла остановиться и одна, безъ причта, пошла по расчищенной дорогѣ къ могилѣ. Уже порядкомъ стемнѣло, и въ домахъ церковниковъ засвѣтились огни. Она стояла, ухватившись одной рукой за надгробный крестъ, но не плакала, а только пошатывалась. Ничего особеннаго она не думала, никакой опредѣленной мысли не могла формулировать, а горько ей было, всѣмъ существомъ горько. И не надъ бабушкой, а надъ самой собой горько. Безсознательно пошатываясь и наклоняясь, она простояла тутъ съ четверть часа, и вдругъ ей представилась Любинька, которая, быть-можетъ, въ эту самую минуту соловьемъ разливается въ какомъ-нибудь Кременчугѣ среди развеселой компаніи...

Ah! ah! que j'aime, que j'aime!
Que j'aime les mili-mili-mili-taires!

Она чуть не упала. Бѣгомъ добѣжала до повозки, сѣла и велѣла какъ можно скорѣе ѣхать въ Головлево.

Аннинька воротилась къ дядѣ скучная, тихая. Впрочемъ, это не мѣшало ей чувствовать себя нѣсколько голодною (дяденька, впопыхахъ, даже курочки съ ней не отпустилъ), и она была очень рада, что столъ для чая былъ ужъ накрытъ. Разумѣется, Порфирій Владимірычъ не замедлилъ вступить въ разговоръ.

— Ну, что, побывала?

— Побывала?

— И на могилкѣ помолилась? Панихидку отслужила?

— Да, и панихидку.

— Священникъ-то, стало-быть, дома былъ?

— Конечно, былъ; кто же бы панихиду служилъ!

— Да, да... И дьячки оба были? Вѣчную память пропѣли?

— Пропѣли.

— Да. Вѣчная память! вѣчная память покойницѣ! Шéчная старушка, родственная была!

Іудушка всталъ со стула, обратился лицомъ къ образамъ и помолился.

— Ну, а въ Погорѣлкѣ какъ застала, благополучно?

— Право, не знаю. Кажется, все на своемъ мѣстѣ стоитъ.

— То-то «кажется»! Намъ всегда «кажется», а посмотришь да поглядишь—и тутъ кривѣнько, и тамъ гнилѣнько... Вотъ такъ-то мы и объ чужихъ состояніяхъ понятіе себѣ составляемъ: «кажется»! все «кажется»! А впрочемъ, хорошенькая у васъ усадьбица; преудобно васъ покойница-маменька устроила, не мало даже изъ собственныхъ средствъ на усадьбу употребила... Ну, да вѣдь сиротамъ не грѣхъ и помочь!

Слушая эти похвалы, Аннинька не выдержала, чтобъ не подразнить сердобольнаго дяденьку.

— А вы зачѣмъ, дядя, изъ Погорѣлки двухъ коровъ увели?—спросила она.

— Коровъ? Какихъ это коровъ? Это Чернавку да Приведѣнку, что ли? Такъ вѣдь онѣ, мой другъ, маменькины были!

— А вы—ея законный наслѣдникъ? Ну, что-жъ, и владѣйте! Хотите, я вамъ еще теленочка велю прислать?

— Вотъ-вотъ-вотъ! Ты ужъ и раскипятилась! А ты дѣло говори. Какъ, по-твоему, чьи коровы были?

— А я почемъ знаю! Въ Погорѣлкѣ стояли!

— А я знаю; у меня доказательства есть, что коровы маменькины. Собственной ея руки я реестръ отыскалъ; тамъ именно сказано: «мои».

— Ну, оставимъ. Не стóитъ объ этомъ говорить.

— Вотъ лошадь въ Погорѣлкѣ есть, лысенькая такая—ну, объ этой вѣрнаго сказать не могу. Кажется, будто бы маменькина лошадь, а впрочемъ—не знаю! А чего не знаю, объ этомъ и говорить не могу!

— Оставимте это, дядя.

— Нѣтъ, зачѣмъ оставлять! Я, братъ, прямикъ—я вся

кое дѣло на чистоту вести люблю! Да отчего и не поговорить! Своего всякому жалко: и мнѣ жалко, и тебѣ жалко—ну, и поговоримъ! А коли говорить будемъ, такъ скажу тебѣ прямо: мнѣ чужого не надобно, но и своего я не отдамъ. Потому что хоть вы мнѣ и не чужія, а все-таки...

— И образа̀ даже взяли! — опять не воздержалась Аннинька.

— И образа̀ взялъ, и все взялъ, что̀ мнѣ, какъ законному наслѣднику, принадлежитъ.

— Теперь кіотъ-то весь словно въ дырахъ...

— Что-жъ дѣлать! И передъ такимъ помолюсь! Богу вѣдь не кіотъ, а молитва твоя нужна! Коли ты искренно приступаешь, такъ и передъ плохенькими образами молитва твоя дойдетъ! А коли ты только такъ: болты-болты, да по сторонамъ поглядѣть, да книксенъ сдѣлать—такъ и хорошіе образа тебя не спасутъ!

Тѣмъ не менѣе, Іудушка всталъ и возблагодарилъ Бога за то, что у него «хорошіе» образа.

— А ежели не нравится старый кіотъ—новый вели сдѣлать. Или другіе образа на мѣсто вынутыхъ поставь. Прежніе—маменька-покойница наживала да устраивала, а новые ты ужъ сама наживи!

Порфирій Владимірычъ даже хихикнулъ: такъ это разсужденіе казалось ему резо̀нно и просто.

— Скажите, пожалуйста, что̀ же мнѣ теперь дѣлать предстоитъ?—спросила Аннинька.

— А вотъ погоди. Сначала отдохни, да понѣжься, да поспи. Побесѣдуемъ да посудимъ, и такъ посмотримъ, и этакъ прикинемъ—можетъ-быть, вдвоемъ что-нибудь и выдумаемъ!

— Мы—совершеннолѣтнія, кажется?

— Да-съ, совершеннолѣтнія-съ. Можете сами и дѣйствіями своими, и имѣніемъ управлять!

— Слава Богу, хоть это!

— Честь имѣемъ поздравить-съ!

Порфирій Владимірычъ всталъ и полѣзъ цѣловаться.

— Ахъ, дядя, какой вы странный! все цѣлуетесь!

— Отчего же и не поцѣловаться! Не чужая ты мнѣ—племяннушка! Я, мой другъ, по-родственному! Я для родныхъ всегда готовъ! Будь хоть троюродный, хоть четверюродный,—я всегда...

— Вы лучше скажите, что̀ мнѣ дѣлать? Въ городъ, что ли, надобно ѣхать? хлопотать?

порядочною, ни къ чему не приводящею суетою. Вмѣсто лишеній и суровой внѣшней обстановки, съ которыми она когда-то примирялась, ее встрѣтило относительное довольство и роскошь, о которыхъ она, однако-жъ, не могла теперь вспоминать безъ краски на лицѣ. И вся эта перестановка какъ-то незамѣтно для нея самой случилась: шла она куда-то въ хорошее мѣсто, но вмѣсто одной двери попала въ другую. Желанія ея были дѣйствительно очень скромныя. Сколько разъ, бывало, сидя въ Погорѣлкѣ на мезонинѣ, она видѣла себя въ мечтахъ серьезною дѣвушкой, трудящейся, алчущей образовать себя, съ твердостью переносящей нужду и лишенія ради идеи блага (правда, что слово «благо» едва ли имѣло какое-нибудь опредѣленное значеніе); но едва она вышла на широкую дорогу самодѣятельности, какъ сама собою сложилась такая практика, которая сразу разбила въ прахъ всю мечту. Серьезный трудъ не приходитъ самъ собой, а дается только упорному исканію и подготовкѣ, ежели и не полной, то хотя до извѣстной степени помогающей исканію. Но требованіямъ этимъ не отвѣчали ни темпераментъ, ни воспитаніе Аниньки. Темпераментъ ея вовсе не отличался страстностью, а только легко раздражался; матеріалъ же, который дало ей воспитаніе и съ которымъ она собралась войти въ трудовую жизнь, былъ до такой степени несостоятеленъ, что не могъ послужить основаніемъ ни для какой серьезной профессіи. Воспитаніе это было, такъ сказать, институтско-опереточное, въ которомъ перевѣсъ брала едва ли не оперетка. Тутъ въ хаотическомъ безпорядкѣ перемѣшивались и задача о летящемъ стадѣ гусей, и па съ шалью, и проповѣдь Петра Пикардскаго, и продѣлки Елены Прекрасной, и ода къ Фелицѣ, и чувство признательности къ начальникамъ и покровителямъ благородныхъ дѣвицъ. Въ этомъ безпорядочномъ винегретѣ (внѣ котораго она съ полнымъ основаніемъ могла назвать себя tabula rasa) трудно было даже разобраться, а не то что исходную точку найти. Не любовь къ труду побуждала такая подготовка, а любовь къ свѣтскому обществу, желаніе быть окруженной, выслушивать любезности кавалеровъ и вообще погрузиться въ шумъ, блескъ и вихрь такъ-называемой жизни.

Если-бъ она слѣдила за собой пристальнѣе, то даже въ Погорѣлкѣ, въ тѣ минуты, когда въ ней еще только зарождались проекты трудовой жизни, когда она видѣла въ

нихъ нѣчто въ родѣ освобожденія изъ плѣна египетскаго—даже и тогда она могла бы изловить себя въ мечтахъ не столько работающею, сколько окруженною обществомъ единомыслящихъ людей и коротающею время въ длинныхъ разговорахъ. Конечно, и люди этихъ мечтаній были умные, и разговоры ихъ—честные и серьезные, но все-таки на сценѣ первенствовала праздничная сторона жизни. Бѣдность была опрятная, лишенія свидѣтельствовали только объ отсутствіи излишества. Поэтому, когда на дѣлѣ мечта о трудовомъ хлѣбѣ разрѣшилась тѣмъ, что ей предложили занять опереточное амплуа на подмосткахъ одного изъ провинціальныхъ театровъ, то, несмотря на контрастъ, она колебалась недолго. Наскоро освѣжила она институтскія свѣдѣнія объ отношеніяхъ Елены къ Менелаю, дополнила ихъ нѣкоторыми біографическими подробностями изъ жизни великолѣпнаго князя Тавриды, и рѣшила, что этого было совершенно достаточно, чтобы воспроизводить «Прекрасную Елену» и «Отрывки изъ Герцогини Герольштейнской» въ губернскихъ городахъ и на ярмаркахъ. При этомъ, для очистки совѣсти, она припоминала, что одинъ студентъ, съ которымъ она познакомилась въ Москвѣ, на каждомъ шагу восклицалъ: «святое искусство!»—и тѣмъ охотнѣе сдѣлала эти слова девизомъ своей жизни, что онѣ приличнымъ образомъ развязывали ей руки и придавали хоть какой-нибудь наружный декорумъ ея вступленію на стезю, къ которой она инстинктивно рвалась всѣмъ своимъ существомъ.

Жизнь актрисы взбудоражила ее. Одинокая, безъ руководящей подготовки, безъ сознанной цѣли, съ однимъ только темпераментомъ, жаждущимъ шума, блеска и похвалъ, она скоро увидѣла себя кружащеюся въ какомъ-то хаосѣ, въ которомъ толпилось безконечное множество лицъ, безъ всякой связи смѣнявшихъ одно другое. Это были лица разнообразнѣйшихъ характеровъ и убѣжденій, такъ что самые мотивы для сближенія съ тѣмъ или другимъ отнюдь не могли быть одинаковыми. Тѣмъ не менѣе, и тотъ, и другой, и третій равно составляли ея кругъ, изъ чего должно было заключить, что тутъ, собственно говоря, не могло быть и рѣчи о мотивахъ. Ясно, стало-быть, что ея жизнь сдѣлалась чѣмъ-то въ родѣ въѣзжаго дома, въ ворота котораго могъ стучаться каждый, кто сознавалъ себя веселымъ, молодымъ и обладающимъ извѣстными матеріальными средствами. Ясно, что тутъ дѣло шло совсѣмъ не о томъ, чтобы *подбирать* себѣ общество по душѣ, а о томъ,

чтобы примоститься къ какому бы то ни было обществу, лишь бы не изнывать въ одиночествѣ. Въ сущности, «святое искусство» привело ее въ помойную яму, но голова ея сразу такъ закружилась, что она не могла различить этого. Ни немытыя рожи коридорныхъ, ни захватанныя, покрытыя слизью декораціи, ни шумъ, вонь и гвалтъ гостиницъ и постоялыхъ дворовъ, ни циническія выходки поклонниковъ—ничто не отрезвило ее. Она не замѣчала даже, что постоянно находится въ обществѣ однихъ мужчинъ и что между нею и другими женщинами, имѣющими *постоянное положеніе*, легла какая-то непреодолимая преграда...

Отрезвилъ на минуту пріѣздъ въ Головлево.

Съ утра, почти съ самой минуты пріѣзда, ее ужъ что-то мутило. Какъ дѣвушка впечатлительная, она очень быстро прониклась новыми ощущеніями и не менѣе быстро примѣнялась ко всякимъ положеніямъ. Поэтому, съ пріѣздомъ въ Головлево, она вдругъ почувствовала себя «барышней». Припомнила, что у нея есть что-то свое: свой домъ, свои могилы, и захотѣлось ей опять увидѣть прежнюю обстановку, опять подышать тѣмъ воздухомъ, изъ котораго она такъ недавно безъ оглядки бѣжала. Но впечатлѣніе это немедленно же должно было разбиться при столкновеніи съ дѣйствительностью, встрѣтившеюся въ Головлевѣ. Въ этомъ отношеніи ее можно было уподобить тому человѣку, который съ привѣтливымъ выраженіемъ лица входитъ въ общество давно невидѣнныхъ имъ людей—и вдругъ замѣчаетъ, что къ его привѣтливости всѣ относятся какъ-то загадочно. Погано скошенные на ея бюстъ глаза Іудушки сразу напомнили ей, что позади у нея уже образовался своего рода скарбъ, съ которымъ не такъ-то легко разсчитаться. И когда, послѣ наивныхъ вопросовъ погорѣлковской прислуги, послѣ назидательныхъ вздоховъ воплинскаго батюшки и его попадьи и послѣ новыхъ поученій Іудушки, она осталась одна, когда она провѣрила на досугѣ впечатлѣнія дня, то ей сдѣлалось уже совсѣмъ несомнѣнно, что прежняя «барышня» умерла навсегда, что отнынѣ она—только актриса жалкаго провинціальнаго театра и что положеніе русской актрисы очень недалеко отстоитъ отъ положенія публичной женщины.

До сихъ поръ она жила какъ во снѣ. Обнажалась въ «Прекрасной Еленѣ», являлась пьяною въ «Периколѣ», пѣла всевозможныя безстыдства въ «Отрывкахъ изъ Герцогини Герольштейнской» и даже жалѣла, что на театраль-

ныхъ подмосткахъ не принято представлять «la chose» и «l'amour», воображая себѣ, какъ бы она обольстительно вздрагивала поясницей и шикарно вертѣла хвостомъ. Но ей никогда не приходило въ голову вдумываться въ то, что она дѣластъ. Она о томъ только старалась, чтобъ все выходило у нея «мило», съ «шикомъ» и въ то же время нравилось офицерамъ расквартированнаго въ городѣ полка. Но что это такое и какого сорта ощущенія производятъ въ офицерахъ ея вздрагиванья — она объ этомъ себя не спрашивала. Офицеры представляли въ городѣ рѣшающую публику и ей было извѣстно, что отъ нихъ зависѣлъ ея успѣхъ. Они вторгались за кулисы, безцеремонно стучались въ двери ея уборной, когда она была еще полуодѣта, называли ее уменьшительными именами — и она смотрѣла на все это, какъ на простую формальность, родъ неизбѣжной обстановки ремесла, и спрашивала себя только о томъ—«мило» или «не мило» выдерживаетъ она въ этой обстановкѣ свою роль? Но ни тѣла своего, ни души она покуда еще не сознавала публичными. И вотъ теперь, когда она на минуту опять почувствовала себя «барышней», ей вдругъ сдѣлалось какъ-то невыносимо мерзко. Какъ будто съ нея сняли всѣ покровы, до послѣдняго, и всенародно вывели ее обнаженною; какъ будто всѣ эти подлыя дыханія, зараженныя запахами вина и конюшни, разомъ охватили ее; какъ будто она на своемъ тѣлѣ почувствовала прикосновеніе потныхъ рукъ, слюнявыхъ губъ и блужданіе мутныхъ, исполненныхъ плотоядной животненности глазъ, которые безсмысленно скользятъ по кривой линіи ея обнаженнаго тѣла, словно требуютъ отъ него отвѣта: что такое «la chose»?

Куда идти? гдѣ оставить этотъ скарбъ, который надавливалъ ея плечи?—Вопросъ этотъ безнадежно метался въ ея головѣ, но именно только метался, не находя и даже не ища отвѣта. Вѣдь и это былъ своего рода сонъ: и прежняя жизнь была сонъ, и теперешнее пробужденіе — тоже сонъ. Огорчилась дѣвочка, расчувствовалась — вотъ и все. Пройдетъ. Бываютъ минуты хорошія, бываютъ и горькія — это въ порядкѣ вещей. Но и тѣ, и другія только скользятъ, а отнюдь не измѣняютъ однажды сложившагося хода жизни. Чтобъ дать послѣдней другое направленіе, необходимо много усилій, потребна не только нравственная, но и физическая храбрость. Это — почти то же, что самоубійство. Хотя передъ самоубійствомъ человѣкъ про-

клинаетъ свою жизнь, хотя онъ положительно знаетъ, что для него смерть есть свобода, но орудіе смерти все-таки дрожитъ въ его рукахъ, ножъ скользитъ по горлу, пистолетъ вмѣсто того, чтобъ бить прямо въ лобъ, бьетъ ниже, уродуетъ. Такъ-то и тутъ, но еще труднѣе. И тутъ предстоитъ убить свою прежнюю жизнь, но, убивъ ее, самому остаться живымъ. То «ничто», которое въ заправскомъ самоубійствѣ достигается мгновеннымъ спускомъ курка— тутъ, въ этомъ особомъ самоубійствѣ, которое называется «обновленіемъ», достигается цѣлымъ рядомъ суровыхъ, почти аскетическихъ усилій. И достигается все-таки «ничто», потому что нельзя же назвать нормальнымъ существованіе, содержаніе котораго состоитъ изъ однихъ усилій надъ собой, изъ лишеній и воздержаній. У кого воля изнѣжена, кто уже подточенъ привычкою легкаго существованія — у того голова закружится отъ одной перспективы подобнаго «обновленія». И инстиктивно, отворачивая голову и зажмуривая глаза, стыдясь и обвиняя себя въ малодушіи, онъ все-таки опять пойдетъ по утоптанной дорогѣ.

Ахъ! великая вещь—жизнь труда! Но съ нею сживаются только сильные люди, да тѣ, которыхъ осудилъ на нее какой-то проклятый прирожденный грѣхъ. Только такихъ онъ не пугаетъ. Первыхъ—потому, что, сознавая смыслъ и рессурсы труда, они умѣютъ отыскивать въ немъ наслажденіе; вторыхъ — потому, что для нихъ трудъ есть прежде всего прирожденное обязательство, а потомъ и привычка.

Аннинькѣ даже на мысль не приходило основаться въ Погорѣлкѣ или въ Головлевѣ, и въ этомъ отношеніи ей большую помощь оказала та дѣловая почва, на которую ее поставили обстоятельства и которой она инстинктивно не покидала. Ей былъ данъ отпускъ, и она ужъ заранѣе распредѣлила все время его и назначила день отъѣзда изъ Головлева. Для людей слабохарактерныхъ тѣ внѣшнія грани, которыя обставляютъ жизнь, значительно облегчаютъ бремя ея. Въ затруднительныхъ случаяхъ слабые люди инстинктивно жмутся къ этимъ гранямъ и находятъ въ нихъ для себя оправданіе. Такъ именно и поступила Аннинька: она рѣшилась какъ можно скорѣе уѣхать изъ Головлева, и ежели дядя будетъ приставать, то оградить себя отъ этихъ приставаній необходимостью явиться въ назначенный срокъ.

Проснувшись на другой день, утромъ, она прошлась по всѣмъ комнатамъ громаднаго головлевскаго дома. Вездѣ *было* пустынно, непріютно, пахло отчужденіемъ, вымороч-

ностью. Мысль поселиться въ этомъ домѣ безъ срока окончательно испугала ее. «Ни за что! — твердила она въ какомъ-то безотчетномъ волненіи: — ни за что».

Порфирій Владимірычъ и на другой день встрѣтилъ ее съ обычной благосклонностью, въ которой никакъ нельзя было различить—хочетъ ли онъ приласкать человѣка или намѣренъ высосать изъ него кровь.

— Ну, что, торопыга, выспалась? Куда-то теперь торопиться будешь?—пошутилъ онъ.

— И то, дядя, тороплюсь; вѣдь я въ отпуску; надобно на срокъ поспѣвать.

— Это—опять скоморошничать? Не пущу!

— Пускайте или не пускайте—сама уѣду!

Іудушка грустно покачалъ головой.

— А бабушка-покойница что скажетъ? — спросилъ онъ тономъ ласковаго упрека.

— Бабушка и при жизни знала. Да что это, дядя, за выраженіе у васъ? Вчера съ гитарой меня по ярмаркамъ посылали, сегодня о скоморошничествѣ разговоръ завели? Слышите: я не хочу, чтобъ вы такъ говорили!

— Эге! видно, правда-то кусается! А вотъ я такъ люблю правду! По мнѣ, ежели правду...

— Нѣтъ, нѣтъ, не хочу я, не хочу! Ни правды, ни неправды мнѣ вашей не надо! Слышите! не хочу я, чтобъ вы такъ выражались!

— Ну-ну! раскипятилась! Пойдемъ-ка, стрекоза, за добра-ума, чай пить! Самоваръ-то ужъ, чай, давно хр-хр... да зз-зз... на столѣ дѣлаетъ.

Порфирій Владимірычъ шуточкой да смѣшкомъ хотѣлъ изгладить впечатлѣніе, произведенное словомъ: «скоморошничать», и въ знакъ примиренія даже потянулся къ племянницѣ, чтобъ обнять ее за талію; но Аннинькѣ все это показалось до того глупымъ, почти гнуснымъ, что она брезгливо уклонилась отъ ожидавшей ее ласки.

— Я вамъ серьезно повторяю, дядя, что мнѣ надо торопиться!—сказала она.

— А вотъ пойдемъ, сначала чайку попьемъ, а потомъ и поговоримъ!

— Да почему же непремѣнно послѣ чаю? Почему нельзя до чаю поговорить?

— А потому что—потому. Потому, что все чередомъ дѣлать надо. Сперва одно, потомъ другое; сперва чайку по-

клинаетъ свою жизнь, хотя онъ положительно знаетъ, что для него смерть есть свобода, но орудіе смерти все-таки дрожитъ въ его рукахъ, ножъ скользитъ по горлу, пистолетъ вмѣсто того, чтобъ бить прямо въ лобъ, бьетъ ниже, уродуетъ. Такъ-то и тутъ, но еще труднѣе. И тутъ предстоитъ убить свою прежнюю жизнь, но, убивъ ее, самому остаться живымъ. То «ничто», которое въ заправскомъ самоубійствѣ достигается мгновеннымъ спускомъ курка— тутъ, въ этомъ особомъ самоубійствѣ, которое называется «обновленіемъ», достигается цѣлымъ рядомъ суровыхъ, почти аскетическихъ усилій. И достигается все-таки «ничто», потому что нельзя же назвать нормальнымъ существованіе, содержаніе котораго состоитъ изъ однихъ усилій надъ собой, изъ лишеній и воздержаній. У кого воля изнѣжена, кто уже подточенъ привычкою легкаго существованія — у того голова закружится отъ одной перспективы подобнаго «обновленія». И инстиктивно, отворачивая голову и зажмуривая глаза, стыдясь и обвиняя себя въ малодушіи, онъ все-таки опять пойдетъ по утоптанной дорогѣ.

Ахъ! великая вещь—жизнь труда! Но съ нею сживаются только сильные люди, да тѣ, которыхъ осудилъ на нее какой-то проклятый прирожденный грѣхъ. Только такихъ онъ не пугаетъ. Первыхъ—потому, что, сознавая смыслъ и рессурсы труда, они умѣютъ отыскивать въ немъ наслажденіе; вторыхъ — потому, что для нихъ трудъ есть прежде всего прирожденное обязательство, а потомъ и привычка.

Аннинькѣ даже на мысль не приходило основаться въ Погорѣлкѣ или въ Головлевѣ, и въ этомъ отношеніи ей большую помощь оказала та дѣловая почва, на которую ее поставили обстоятельства и которой она инстинктивно не покидала. Ей былъ данъ отпускъ, и она ужъ заранѣе распредѣлила все время его и назначила день отъѣзда изъ Головлева. Для людей слабохарактерныхъ тѣ внѣшнія грани, которыя обставляютъ жизнь, значительно облегчаютъ бремя ея. Въ затруднительныхъ случаяхъ слабые люди инстинктивно жмутся къ этимъ гранямъ и находятъ въ нихъ для себя оправданіе. Такъ именно и поступила Аннинька: она рѣшилась какъ можно скорѣе уѣхать изъ Головлева, и ежели дядя будетъ приставать, то оградить себя отъ этихъ приставаній необходимостью явиться въ назначенный срокъ.

Проснувшись на другой день, утромъ, она прошлась по всѣмъ комнатамъ громаднаго головлевскаго дома. Вездѣ *было* пустынно, непріютно, пахло отчужденіемъ, вымороч-

пьемъ да поболтаемъ, а потомъ и о дѣлѣ переговоримъ. Все успѣемъ.

Передъ такимъ непреоборимымъ пустословіемъ оставалось только покориться. Стали пить чай, при чемъ Іудушка самымъ злостнымъ образомъ длилъ время, помаленьку прихлебывая изъ стакана, крестясь, похлопывая себя по ляжкѣ, калякая о покойницѣ-маменькѣ и проч.

— Ну, вотъ, теперь и поговоримъ,—сказалъ онъ, наконецъ:—ты долго ли намѣрена у меня погостить?

— Да больше недѣли мнѣ нельзя. Въ Москвѣ еще побывать надо.

— Недѣля, мой другъ, — большое дѣло; и много дѣла можно въ недѣлю сдѣлать, и мало дѣла—какъ взяться.

— Мы, дядя, лучше больше сдѣлаемъ.

— О томъ-то я и говорю. И много можно сдѣлать, и мало. Иногда много хочешь сдѣлать, а выходитъ мало; а иногда будто и мало дѣлается, анъ, смотришь, съ Божьею помощью, всѣ дѣла незамѣтно прикончилъ. Вотъ ты спѣшишь, въ Москвѣ тебѣ побывать, вишь, надо; а зачѣмъ, коли тебя спросить—ты и сама путёмъ не сумѣешь отвѣтить. А по-моему, вмѣсто Москвы-то лучше бы это время на дѣло употребить.

— Въ Москву мнѣ необходимо, потому что я хочу попытать, нельзя ли намъ на тамошнюю сцену поступить. А что касается до дѣла, такъ вѣдь вы сами же говорите, что въ недѣлю можно много дѣла надѣлать.

— Смотря по тому, какъ возьмешься, мой другъ. Ежели возьмешься какъ слѣдуетъ—все у тебя пойдетъ и ладно, и плавно; а возьмешься не такъ, какъ слѣдуетъ — ну, и застрянетъ дѣло, въ долгій ящикъ оттянется.

— Такъ вы меня поруководите, дядя!

— То-то вотъ и есть. Какъ нужно, такъ «вы меня поруководите, дядя», а ненужно — такъ и скучно у дяди, и поскорѣе бы отъ него уѣхать! Что, небось, неправда?

— Да вы только скажите, что мнѣ дѣлать нужно?

— Стой, погоди! Такъ вотъ я и говорю: какъ нуженъ дядя—онъ и голубчикъ, и миленькій, и душенька; а ненуженъ—сейчасъ ему хвостъ покажутъ! А нѣтъ того, чтобъ спроситься у дяди: какъ, молъ, вы, дяденька-голубчикъ, полагаете—можно мнѣ въ Москву съѣздить?

— Какой вы, дядя, странный! Вѣдь мнѣ въ Москвѣ необходимо быть, а вы вдругъ скажете, что нельзя?

— А скажу: нельзя - и посиди! Не посторонній сказалъ,

дядя сказалъ—можно и послушаться дядю. Ахъ, мой другъ, могъ другъ! Еще хорошо, что у васъ дядя есть—все же и пожалѣть о васъ, и остановить васъ — есть кому! А вотъ какъ у другихъ—нѣтъ никого! Ни ихъ пожалѣть, ни остановить — однѣ растутъ! Ну, и бываетъ съ ними... всякія случайности въ жизни бываютъ, мой другъ!

Аннинька хотѣла-было возразить, однако поняла, что это значило бы только подливать масла въ огонь, и смолчала. Она сидѣла и безнадежно смотрѣла на расходившагося Порфирія Владимирыча.

— Вотъ, я давно хотѣлъ тебѣ сказать, — продолжалъ между тѣмъ Іудушка: — не нравится мнѣ, куда какъ не нравится, что вы по этимъ... по ярмаркамъ ѣздите! Хоть тебѣ и нелюбо, что я объ гитарахъ говорилъ, а все-таки...

— Да вѣдь мало сказать: не нравится! Надобно на какой-нибудь выходъ указать!

— Живи у меня—вотъ тебѣ и выходъ!

— Ну, нѣтъ... это... ни за что!

— Что такъ?

— А то, что нечего мнѣ здѣсь дѣлать. Что у васъ дѣлать? Утромъ встать—чай пить идти; за чаемъ думать: вотъ завтракать подадутъ; за завтракомъ—вотъ обѣдать накрывать будутъ; за обѣдомъ—скоро ли опять чай? А потомъ—ужинать и спать... Умрешь у васъ!

— И всѣ, мой другъ, такъ дѣлаютъ. Сперва чай пьютъ, потомъ—кто привыкъ завтракать — завтракаютъ, а я вотъ не привыкъ завтракать—и не завтракаю; потомъ обѣдаютъ. потомъ вечерній чай пьютъ, а наконецъ и спать ложатся. Что же! кажется, въ этомъ ни смѣшного, ни предосудительнаго нѣтъ! Вотъ, если-бъ я...

— Ничего предосудительнаго, только не по мнѣ.

— Вотъ, если-бъ я кого-нибудь обидѣлъ, или осудилъ, или дурно о комъ-нибудь высказался — ну, тогда точно, можно бы и самого себя за это осудить! А то чай пить, завтракать, обѣдать... Христосъ съ тобой! Да и ты, какъ ни прытка, а безъ пищи не проживешь!

— Ну, да, все это хорошо, да только не по мнѣ!

— А ты не все на свой аршинъ мѣряй—и о старшихъ подумай! «По мнѣ» да «не по мнѣ» — развѣ можно такъ говорить! А ты говори: «по-божьему» или «не по-божьему»— вотъ это будетъ дѣльно, вотъ это будетъ такъ! Коли ежели у насъ въ Головлевѣ не по-божьему, ежели мы противъ Бога поступаемъ, грѣшимъ или ропщемъ, или завидуемъ,

или другія дурныя дѣла дѣлаемъ — ну, тогда мы дѣйствительно виноваты и заслуживаемъ, чтобъ насъ осуждали. Только и тутъ еще надобно доказать, что мы точно не по-божьему поступаемъ. А то натко! «не по мнѣ!» Да скажу теперича хоть про себя — мало ли что не по мнѣ. Не по мнѣ вотъ, что ты такъ со мной разговариваешь да родственную мою хлѣбъ-соль хаешь — однако, я сижу, молчу! Дай, думаю, я ей тихимъ манеромъ почувствовать дамъ — можетъ-быть, она и сама собой образумится! Можетъ-быть, покуда я шуточкой да усмѣшечкой на твои выходки отвѣчаю, анъ ангелъ-то твой хранитель и наставитъ тебя на путь истинный! Вѣдь мнѣ не за себя, а за тебя обидно! А-а-ахъ, мой другъ, какъ это нехорошо! И хоть бы я что-нибудь тебѣ дурное сказалъ, или дурно противъ тебя поступилъ, или обиду бы какую-нибудь ты отъ меня видѣла — ну, тогда Богъ бы съ тобой! Хоть и велитъ Богъ отъ старшаго даже поученіе принять, ну, да ужъ если я тебя обидѣлъ — Богъ съ тобой! Сердись на меня! А то сижу я смирнёхонько да тихохонько, сижу, ничего не говорю, только думаю, какъ бы получше да поудобнѣе, чтобы всѣмъ на радость да на утѣшеніе — а ты: фу-ты, ну-ты! — вотъ ты на мои ласки какой отвѣтъ даешь! А ты не сразу все выговаривай, другъ мой, а сначала подумай, да Богу помолись, да попроси его вразумить себя! И вотъ, коли ежели...

Порфирій Владимірычъ разглагольствовалъ долго, не переставая. Слова безконечно тянулись одно за другимъ, какъ густая слюна. Аннинька съ безотчетнымъ страхомъ глядѣла на него и думала: «Какъ это онъ не захлебнется?» Однако, такъ-таки и не сказалъ дяденька, что ей предстоитъ дѣлать по случаю смерти Арины Петровны. И за обѣдомъ пробовала она ставить этотъ вопросъ, и за вечернимъ чаемъ; но всякій разъ Іудушка начиналъ тянуть какую-то постороннюю канитель, такъ что Аннинька не рада была, что и возбудила разговоръ, и объ одномъ только думала: «Когда же все это кончится?»

Послѣ обѣда, когда Порфирій Владимірычъ отправился спать, Аннинька осталась одинъ на одинъ съ Евпраксеюшкой, и ей вдругъ припала охота вступить въ разговоръ съ дяденькиной экономкой. Ей захотѣлось узнать, почему Евпраксеюшкѣ не страшно въ Головлевѣ и что даетъ ей силу выдерживать потоки пустопорожнихъ словъ, которыя съ утра до вечера извергали дяденькины уста.

— *Скучно вамъ, Евпраксеюшка*, въ Головлевѣ?

— Чего намъ скучать? Мы—не господа!

— Все же... всегда вы однѣ... ни развлеченій, ни удовольствій у васъ—ничего!

— Какихъ намъ удовольствій надо! Скучно — такъ въ окошко погляжу. Я и у папеньки, у Николы-въ-Капелькахъ, жила—немного веселости-то видѣла!

— Все-таки, дома, я полагаю, вамъ было лучше. Товарки были, другъ къ другу въ гости ходили, играли...

— Что ужъ!

— А съ дядей... Говоритъ онъ все что-то скучное и долго какъ-то. Всегда онъ такъ?

— Всегда, цѣльный день такъ говорятъ.

— И вамъ не скучно?

— Мнѣ что! Я вѣдь не слушаю!

— Нельзя же совсѣмъ не слушать. Онъ можетъ замѣтить это, обидѣться!

— А почемъ онъ знаетъ? Я вѣдь смотрю на него. Онъ говоритъ, а я смотрю да этимъ временемъ про свое думаю.

— О чемъ же вы думаете?

— Обо всемъ думаю. Огурцы солить надо—объ огурцахъ думаю; въ городъ за чѣмъ посылать надо—объ этомъ думаю. Что по домашности требуется—обо всемъ думаю.

— Стало-быть, вы хоть и вмѣстѣ живете, а на самомъ-то дѣлѣ, все-таки, однѣ?

— Да почѐсть что одна. Иногда развѣ вечеромъ вздумаетъ въ дураки играть — ну, играемъ. Да и тутъ: середь самой игры остановятся, сложатъ карты и начнутъ говорить. А я смотрю. При покойницѣ Аринѣ Петровнѣ веселѣе было. При ней онъ лишнее-то говорить побаивался: нѣтъ-нѣтъ да и остановитъ старуха. А нынче ни на что не похоже, какую волю надъ собою взялъ!

— Вотъ, видите ли, вѣдь это, Евпраксеюшка, страшно! Страшно, когда человѣкъ говоритъ и не знаетъ, зачѣмъ онъ говоритъ, что говоритъ и кончитъ ли когда-нибудь. Вѣдь страшно? неловко вѣдь?

Евпраксеюшка взглянула на нее, словно ее впервые озарила какая-то удивительная мысль.

— Не вы однѣ, — сказала она: — многіе у насъ ихъ за это не любятъ.

— Вотъ какъ!

— Да. Хоть бы лакеи—ни одинъ долго ужиться у насъ не можетъ; почѐсть каждый мѣсяцъ мѣняемъ. Приказчики—тоже. И все изъ-за этого.

— Надоѣдаетъ?

— Тиранитъ. Пьяницы—тѣ живутъ, потому что пьяница не слышитъ. Ему хоть въ трубу труби—у него все равно голова какъ горшкомъ прикрыта. Такъ опять бѣда: *они* пьяницъ не любятъ.

— Ахъ, Евпраксеюшка, Евпраксеюшка; а онъ еще меня въ Головлевѣ жить уговариваетъ!

— А что-жъ, барышня, вы бы и заправду съ ними пожили! Можетъ-быть, они бы и посовѣстились при васъ!

— Ну, нѣтъ! слуга покорная! Вѣдь у меня терпѣнья недостанетъ въ глаза ему смотрѣть!

— Что и говорить! вы — господа! у васъ своя воля! Однако, чай, воля-воля, а тоже и по чужой дудочкѣ подплясывать приходится!

— Еще какъ часто-то!

— То-то и я думала. А я вотъ еще что хотѣла васъ спросить: хорошо въ актрисахъ служить?

— Свой хлѣбъ—и то хорошо.

— А правда ли, Порфирій Владимірычъ мнѣ сказывали: будто бы актрисъ чужіе мужчины завсе за талію держатъ?

Аннинка на минуту вспыхнула.

— Порфирій Владимірычъ не понимаетъ,—отвѣтила она раздражительно: — оттого и несетъ чепуху. Онъ даже того различить не можетъ, что на сценѣ происходитъ игра, а не дѣйствительность.

— Ну, однако! То-то и онъ, Порфирій-то Владимірычъ... Какъ увидѣлъ васъ, даже губы распустилъ! «Племяннушка» да «племяннушка!»—какъ и путный! А у самого безстыжіе глаза такъ и бѣгаютъ!

— Евпраксеюшка! зачѣмъ вы глупости говорите!

— Я-то? мнѣ—что! Поживете—сами увидите! А мнѣ—что! Откажутъ отъ мѣста—я опять къ батюшкѣ уйду. И то вѣдь скучно здѣсь; вправду вы это сказали.

— Чтобъ я могла здѣсь остаться, это вы напрасно даже предполагаете. А вотъ что скучно въ Головлевѣ—это такъ. И чѣмъ дольше вы будете здѣсь жить, тѣмъ будетъ скучнѣе.

Евпраксеюшка слегка задумалась, потомъ зѣвнула и сказала:

— Я когда у батюшки жила—тощая-претощая была. А теперь—ишь какая! печь-печью сдѣлалась! Скука-то, сталобыть, въ прокъ идетъ!

— Все равно долго не выдержите. Вотъ помяните мое слово, не выдержите.

На этомъ разговоръ кончился. Къ счастію, Порфирій Владимірычъ не слышалъ его—иначе онъ получилъ бы новую и благодарную тему, которая несомнѣнно освѣжила бы безконечную канитель его нравоучительныхъ разговоровъ.

Цѣлыхъ два дня еще мучилъ Порфирій Владимірычъ Аннинькy. Все говорилъ: вотъ потерпи да погоди! потихоньку да полегоньку! благословясь да Богу помолясь! и проч. Совсѣмъ ее истомилъ. Наконецъ, на пятый день собрался-таки въ городъ, хотя и тутъ нашелъ средство истерзать племянницу. Она ужъ стояла въ передней въ шубѣ, а онъ, словно на зло, цѣлый часъ проклажался. Одѣвался, умывался, хлопалъ себя по ляжкамъ, крестился, ходилъ, сидѣлъ, отдавалъ приказанія въ родѣ: «такъ такъ-то, братъ!» или: «такъ ты ужъ тово... смотри, братъ, какъ бы чего не было!» Вообще, поступалъ такъ, какъ бы оставлялъ Головлево не на нѣсколько часовъ, а навсегда. Замаявши всѣхъ—и людей, и лошадей, полтора часа стоявшихъ у подъѣзда, онъ, наконецъ, убѣдился, что у него самого пересохло въ горлѣ отъ пустяковъ, и рѣшился ѣхать.

Въ городѣ все дѣло покончилось, покуда лошади ѣли овесъ на постояломъ дворѣ. Порфирій Владимірычъ представилъ отчетъ, по которому оказалось, что сиротскаго капитала по день смерти Арины Петровны состояло безъ малаго двадцать тысячъ рублей въ пяти-процентныхъ бумагахъ. Затѣмъ просьба о снятіи опеки, вмѣстѣ съ бумагами, свидѣтельствовавшими о совершеннолѣтіи сироты, была принята, и тутъ же послѣдовало распоряженіе объ упраздненіи опекунскаго управленія и о сдачѣ имѣнія и капиталовъ владѣлицамъ. Въ тотъ же день, вечеромъ, Аннинька подписала всѣ бумаги и описи, изготовленныя Порфиріемъ Владимірычемъ, и наконецъ свободно вздохнула.

Остальные дни Аннинька провела въ величайшей ажитаціи. Ей хотѣлось уѣхать изъ Головлева немедленно, сейчасъ же, но дядя на всѣ ея порыванія отвѣчалъ шуточками, которыя, несмотря на добродушный тонъ, скрывали за собой такое дурацкое упорство, какого никакая человѣческая сила сломить не въ состояніи.

— Сама сказала, что недѣлю поживешь—ну, и поживи! — говорилъ онъ.—Что тебѣ! Не за квартиру платить—и безъ платы милости просимъ! И чайку попить, и покушать — все, чего тебѣ вздумается, все будетъ!

— Да вѣдь мнѣ, дядя, необходимо! — отпрашивалась Аннинька.

— Тебѣ не сидится, а я лошадокъ не дамъ! — шутилъ Іудушка: — не дамъ лошадокъ, и сиди у меня въ плѣну! Вотъ недѣля пройдетъ—ни слова не скажу! Отстоимъ обѣденку, поѣдимъ на дорожку, чайку попьемъ, побесѣдуемъ... наглядимся другъ на друга — и съ Богомъ! Да вотъ что! Не съѣздить ли тебѣ опять на могилку въ Воплино! Все бы съ бабушкой простилась—можетъ, покойница и благой бы совѣтъ тебѣ подала!

— Пожалуй,—согласилась Аннинька.

— Такъ мы вотъ какъ сдѣлаемъ: въ среду раненько здѣсь обѣденку отслушаемъ, да на дорожку пообѣдаемъ, а потомъ мои лошадки довезутъ тебя до Погорѣлки, а оттуда до Двориковъ ужъ на своихъ, на погорѣловскихъ лошадкахъ поѣдешь. Сама помѣщица! Свои лошадки есть!

Приходилось смириться. Пошлость имѣетъ громадную силу; она всегда застаетъ свѣжаго человѣка врасплохъ, и въ то время, какъ онъ удивляется и осматривается, она быстро опутываетъ его и забираетъ въ свои тиски. Всякому, вѣроятно, случалось, проходя мимо клоаки, не только зажимать носъ, но и стараться не дышать; точно такое же насиліе долженъ дѣлать надъ собой человѣкъ, когда вступаетъ въ область, насыщенную празднословіемъ и пошлостью. Онъ долженъ притушить въ себѣ зрѣніе, слухъ, обоняніе, вкусъ; долженъ побѣдить всякую воспріимчивость, одеревенѣть. Только тогда міазмы пошлости не задушатъ его. Аннинька поняла это, хотя и поздно; во всякомъ случаѣ она рѣшилась предоставить дѣло своего освобожденія изъ Головлева естественному ходу вещей. Іудушка до того побѣдилъ ее непреоборимостью своего празднословія, что она не смѣла даже уклониться, когда онъ обнималъ ее и породственному гладилъ по спинѣ, приговаривая: «Вотъ теперь ты — паинька!» Она невольно каждый разъ вздрагивала, когда чувствовала, что костлявая и слегка трепещущая рука его ползетъ по ея спинѣ, но отъ дальнѣйшихъ выраженій гадливости ее удерживала мысль: «Господи! хоть бы черезъ недѣлю-то отпустилъ!» Къ счастью для нея, Іудушка былъ малый небрезгливый, и хотя, быть-можетъ, замѣчалъ ея нетерпѣливыя движенія, но помалчивалъ. Очевидно, онъ придерживался той теоріи взаимныхъ отношеній половъ, которая выражается пословицей: люби не люби, да почаще взглядывай!

Наконецъ, наступилъ нетерпѣливо-ожиданный день отъѣзда. Аннинька поднялась чуть не въ шесть часовъ утра,

но Іудушка все-таки упредилъ ее. Онъ уже совершилъ обычное молитвенное стояніе и въ ожиданіи перваго удара церковнаго колокола, въ туфляхъ и халатномъ сюртукѣ, слонялся по комнатамъ, заглядывалъ, подслушивалъ и проч. Очевидно, онъ былъ ажитированъ и при встрѣчѣ съ Аннинькой какъ-то искоса взглянулъ на нее. На дворѣ уже было совсѣмъ свѣтло, но время стояло скверное. Все небо было покрыто сплошными темными облаками, изъ которыхъ сыпалась весенняя изморозь — не то дождь, не то снѣгъ; на почернѣвшей дорогѣ поселка виднѣлись лужи, предвѣщавшія зажоры въ полѣ; сильный вѣтеръ дулъ съ юга, обѣщая гнилую оттепель; деревья обнажились отъ снѣга и безпорядочно покачивали изъ стороны въ сторону своими намокшими голыми вершинами; господскія службы почернѣли и словно ослизли. Порфирій Владимірычъ подвелъ Аннинькy къ окну и указалъ рукой на картину весенняго возрожденія.

— Ужъ ѣхать ли, пòлно?—спросилъ онъ:—не остаться ли?

— Ахъ, нѣтъ, нѣтъ!—испуганно вскрикнула она:—это... это... пройдетъ!

— Врядъ ли. Ежели ты въ часъ выѣдешь, то врядъ ли раньше семи до Погорѣлки доѣдешь. А ночью развѣ можно въ теперешнюю ростепель ѣхать—все равно, придется въ Погорѣлкѣ ночевать.

— Ахъ, нѣтъ, я и ночью, я сейчасъ же поѣду... я вѣдь, дядя, храбрая! Да и зачѣмъ же дожидаться до часу? Дядя! голубчикъ! позвольте мнѣ теперь уѣхать!

— А бабенька что̀ скажетъ? Скажетъ: вотъ такъ внучка! пріѣхала, попрыгала и даже благословиться у меня не захотѣла!

Порфирій Владимірычъ остановился и замолчалъ. Нѣкоторое время онъ сѣменилъ ногами на одномъ мѣстѣ и то взглядывалъ на Аннинькy, то опускалъ глаза. Очевидно, онъ рѣшался и не рѣшался что-то высказать.

— Постой-ка, я тебѣ что-то покажу!—наконецъ, рѣшился онъ и, вынувъ изъ кармана свернутый листокъ почтовой бумаги, подалъ его Аннинькѣ:—натко, прочти!

Аннинька прочла:

«Сегодня я молился и просилъ Боженьку, чтобъ онъ оставилъ мнѣ мою Аннинькy. И Боженька мнѣ сказалъ: возьми Аннинькy за полненькую тальицу и прижми ее къ своему сердцу».

— Такъ, что ли?—спросилъ онъ, слегка поблѣднѣвъ.

— Фу, дядя, какія гадости!—отвѣтила она, растерянно смотря на него.

Порфирій Владимірычъ поблѣднѣлъ еще больше и, произнеся сквозь зубы: «видно, намъ гусаровъ нужно!»—перекрестился и, шаркая туфлями, вышелъ изъ комнаты.

Черезъ четверть часа онъ, однакожъ, возвратился какъ ни въ чемъ не бывало и ужъ шутилъ съ Аннинькой.

— Такъ какъ же?—говорилъ онъ:—въ Воплино отсюда заѣдешь? Съ старушкой-бабенькой проститься хочешь? Простись, простись, мой другъ! Это ты хорошее дѣло затѣяла, что про бабеньку вспомнила! Никогда не нужно родныхъ забывать, а особливо такихъ родныхъ, которые, можно сказать, душу за насъ полагали!

Отслушали обѣдню съ панихидой, поѣли въ церкви кутьи, потомъ домой пріѣхали, опять кутьи поѣли и сѣли за чай. Порфирій Владимірычъ, словно на зло, медленнѣе обыкновеннаго прихлебывалъ чай изъ стакана и мучительно растягивалъ слова, разглагольствуя въ промежуткѣ двухъ глотковъ. Къ десяти часамъ, однакожъ, чай кончился, и Аннинька взмолилась:

— Дядя, теперь мнѣ можно ѣхать?

— А покушать? Отобѣдать-то на дорожку? Неужто-жъ ты думала, что дядя такъ тебя и отпуститъ! И ни-ни! И не думай! Этого и въ заводѣ въ Головлевѣ не бывало! Да маменька-покойница на глаза бы меня къ себѣ не пустила, если-бъ знала, что я родную племянницу безъ хлѣба-соли въ дорогу отпустилъ! И не думай этого, и не воображай!

Опять пришлось смириться. Прошло, однакожъ, полтора часа, а на столъ и не думали накрывать. Всѣ разбрелись; Евпраксеюшка, гремя ключами, мелькала на дворѣ, между кладовой и погребомъ; Порфирій Владимірычъ толковалъ съ приказчикомъ, изнуряя его безпутными приказаніями, хлопая себя по ляжкамъ и вообще ухищряясь какъ-нибудь затянуть время. Аннинька ходила одна взадъ и впередъ по столовой, поглядывая на часы, считая свои шаги, а потомъ секунды: разъ, два, три... По временамъ она смотрѣла на улицу и убѣдилась, что лужи дѣлаются все больше и больше.

Наконецъ, застучали ложки, ножи, тарелки; лакей Степанъ пришелъ въ столовую и кинулъ скатерть на столъ. Но, казалось, частица праха, наполнявшая Іудушку, перешла и въ него. Еле-еле онъ передвигалъ тарелками, дулъ

въ стаканы, смотрѣлъ черезъ нихъ на свѣтъ. Ровно въ часъ сѣли за столъ.

— Вотъ ты и ѣдешь! — началъ Порфирій Владимірычъ разговоръ, приличествующій проводамъ.

Передъ нимъ стояла тарелка съ супомъ, но онъ не прикасался къ ней и до того умильно смотрѣлъ на Аннинку, что даже кончикъ носа у него покраснѣлъ. Аннинка торопливо глотала ложку за ложкой. Онъ тоже взялся за ложку и ужъ совсѣмъ-было погрузилъ ее въ супъ, но сейчасъ же опять положилъ на столъ.

— Ужъ ты меня, старика, прости! — зудилъ онъ: — ты вотъ на почтовыхъ супъ скушала, а я — на долгихъ ѣмъ. Не люблю я съ божьимъ даромъ небрежно обращаться. Намъ хлѣбъ для поддержанія нашего данъ, а мы его зря разбрасываемъ—видишь, ты сколько накрошила! Да и вообще я все люблю основательно да осмотрѣвшись дѣлать—крѣпче выходитъ. Можетъ-быть, тебя это сердитъ, что я за столомъ черезъ обручъ, — или какъ это тамъ у васъ называется,—не прыгаю; ну, да что-жъ дѣлать! И посердись, ежели тебѣ такъ хочется! Посердишься, посердишься, да и простишь! И ты не все молода будешь, не все черезъ обручи будешь скакать, и въ тебѣ когда-нибудь опытцу прибавится—вотъ тогда ты и скажешь: а дядя-то, пожалуй, правъ былъ! Такъ-то, мой другъ. Теперь, можетъ-быть, ты слушаешь меня да думаешь: фяка—дядя! старый ворчунъ—дядя! А какъ поживешь съ мое—другое запоешь, скажешь: най дядя! добру меня училъ!

Порфирій Владимірычъ перекрестился и проглотилъ двѣ ложки супу. Сдѣлавши это, онъ опять положилъ ложку въ тарелку и опрокинулся на спинку стула въ знакъ предстоящаго разговора.

«Кровопійца!»—такъ и вертѣлось на языкѣ у Аннинки. Но она сдержалась, быстро налила себѣ стаканъ воды и залпомъ его выпила. Іудушка словно нюхомъ отгадывалъ, что въ ней происходитъ.

— Что? не нравится! Что-жъ, хоть и не нравится, а ты, все-таки, дядю послушай! Вотъ я ужъ давно съ тобой насчетъ этой твоей поспѣшности поговорить хотѣлъ, да все недосужно было. Не люблю я въ тебѣ эту поспѣшность: легкомысліе въ ней видно, неразсудительность. Вотъ и въ ту пору вы зря отъ бабушки уѣхали—и огорчить старушку не посовѣстились!—а зачѣмъ?

— Ахъ, дядя, зачѣмъ вы объ этомъ вспоминаете! вѣдь это ужъ сдѣлано! Съ вашей стороны это даже нехорошо!

— Постой! Я не о томъ, хорошо или нехорошо, а о томъ, что хотя дѣло и сдѣлано, но вѣдь его и передѣлать можно. Не только мы, грѣшные, а и Богъ свои дѣйствія перемѣняетъ: сегодня пошлетъ дождичка, а завтра — вёдрышка дастъ! А нутко! вѣдь не Богъ же знаетъ какое сокровище— театръ! Нутко! рѣшись-ка!

— Нѣтъ, дядя, оставьте это! прошу васъ!

— А еще тебѣ вотъ что скажу: нехорошо въ тебѣ твое легкомысліе; но еще больше мнѣ не нравится то, что ты такъ легко къ замѣчаніямъ старшихъ относишься. Дядя добра тебѣ желаетъ, а ты говоришь: оставьте! Дядя къ тебѣ съ лаской да съ привѣтомъ, а ты на него фыркаешь! А между тѣмъ, знаешь ли ты, кто тебѣ дядю далъ? Ну-ко, скажи, кто тебѣ дядю далъ?

Аннинька взглянула на него съ недоумѣніемъ.

— Богъ тебѣ дядю далъ—вотъ кто! Богъ! Кабы не Богъ, была бы ты теперь одна, не знала бы, какъ съ собою поступить и какую просьбу подать, и куда подать, и чего на эту просьбу ожидать. Была бы ты словно въ лѣсу; одинъ бы тебя обидѣлъ, другой бы обманулъ, а третій и просто-на-просто посмѣялся бы надъ тобой! А какъ дядя-то у тебя есть, такъ мы, съ Божьей помощью, въ одинъ день все твое дѣло вокругъ пальца повернули. И въ городъ съѣздили, и въ опекѣ побывали, и просьбу подали, и резолюцію получили! Такъ вотъ оно, мой другъ, что дядя-то значитъ!

— Да я благодарна вамъ, дядя!

— А коли благодарна дядѣ, такъ не фыркай на него, а слушайся. Добра тебѣ дядя желаетъ, хоть иногда тебѣ и кажется...

Аннинька едва могла владѣть собой. Оставалось еще одно средство отдѣлаться отъ дядиныхъ поученій: притвориться, что она хоть въ принципѣ принимаетъ его предложеніе остаться въ Головлевѣ.

— Хорошо, дядя, — сказала она: — я подумаю. Я сама понимаю, что жить одной, вдали отъ родныхъ, не совсѣмъ удобно... Но во всякомъ случаѣ теперь я рѣшиться ни на что не могу. Надо подумать.

— Ну, видишь ли, вотъ ты и поняла. Да чего же тутъ думать! Велимъ лошадей распрячь, чемоданы твои изъ кибитки вынуть—вотъ и думанье все!

— Нѣтъ, дядя, вы забываете, что у меня есть сестра!

Неизвѣстно, убѣдилъ ли этотъ аргументъ Порфирія Владимирыча, или вся сцена эта была ведена имъ только для прилику, и онъ самъ хорошенько не зналъ, точно ли ему нужно, чтобъ Аннинька осталась въ Головлевѣ, или совсѣмъ это не нужно, а просто блажь въ голову на минуту забрела. Но всякомъ случаѣ обѣдъ послѣ этого пошелъ поживѣе. Аннинька со всѣмъ соглашалась, на все давала такіе отвѣты, которые не допускали никакой придирки для пустословія. Тѣмъ не менѣе, часы показывали ужъ половину третьяго, когда обѣдъ кончился. Аннинька выскочила изъ-за стола, словно все время въ паровой ваннѣ высидѣла, и подбѣжала къ дядѣ, чтобъ попрощаться съ нимъ.

Черезъ десять минутъ Іудушка, въ шубѣ и въ медвѣжьихъ сапогахъ, провожалъ ужъ ее на крыльцо и самолично наблюдалъ, какъ усаживали барышню въ кибитку.

— Съ горы-то полегче — слышишь? Да и въ Сенькинѣ на косогорѣ—смотри, не вывали!—приказывалъ онъ кучеру.

Наконецъ, Анниньку укутали, усадили и застегнули фартукъ у кибитки.

— А то бы осталась!—еще разъ крикнулъ ей Іудушка, желая, чтобъ и при собравшихся челядинцахъ все обошлось какъ слѣдуетъ, по-родственному. — По крайней мѣрѣ, пріѣдешь, что ли? Говори!

Но Аннинька чувствовала себя уже свободною, и ей вдругъ захотѣлось пошкольничать. Она высунулась изъ кибитки и, отчеканивая каждое слово, отвѣчала:

— Нѣтъ, дядя, не пріѣду! Страшно съ вами!

Іудушка сдѣлалъ видъ, что не слышитъ, но губы у него побѣлѣли.

Освобожденіе изъ головлевскаго плѣна до такой степени обрадовало Анниньку, что она ни разу даже не остановилась на мысли, что позади нея въ безсрочномъ плѣну остается человѣкъ, для котораго, съ ея отъѣздомъ, порвалась всякая связь съ міромъ живыхъ. Она думала только о себѣ: что она вырвалась и что теперь ей хорошо. Вліяніе этого ощущенія свободы было такъ сильно, что когда она вновь посѣтила воплинское кладбище, то въ ней уже не замѣчалось и слѣда той нервной чувствительности, которую она обнаружила при первомъ посѣщеніи бабушкиной могилы. Спокойно отслушала она панихиду, безъ слезъ поклонилась могилѣ и довольно охотно приняла предложеніе священника откушать у него въ хатѣ чашку чая.

Обстановка, въ которой жилъ воплинскій батюшка, была очень убогая. Въ единственной чистой комнатѣ дома, которая служила пріемною, царствовала какая-то унылая нагота; по стѣнамъ было разставлено съ дюжину крашеныхъ стульевъ, обитыхъ волосяной матеріей, мѣстами значительно продранной, и стоялъ такой же диванъ съ выпяченной спинкой, словно грудь у генерала до-реформенной школы; въ одномъ изъ простѣнковъ виднѣлся простой столъ, покрытый загаженнымъ сукномъ, на которомъ лежали исповѣдныя книги прихода, и изъ-за нихъ выглядывала чернильница съ воткнутымъ въ нее перомъ; въ восточномъ углу висѣлъ кіотъ съ родительскимъ благословеніемъ и съ зажженною лампадкой; подъ нимъ стояли два сундука съ матушкинымъ приданымъ, покрытые сѣрымъ, выцвѣтшимъ сукномъ. Обоевъ на стѣнахъ не было; по серединѣ одной стѣны висѣло нѣсколько полинявшихъ дагерротипныхъ портретовъ преосвященныхъ. Въ комнатѣ пахло какъ-то странно: словно она издавна служила кладбищемъ для таракановъ и мухъ. Самъ священникъ, хотя человѣкъ еще молодой, значительно потускнѣлъ въ этой обстановкѣ. Жидкіе бѣловатые волосы повисли на его головѣ прямыми прядями, какъ вѣтви на плакучей ивѣ; глаза, когда-то голубые, смотрѣли убито; голосъ вздрагивалъ, бородка обострилась; шалановая ряска худо запахивалась спереди и висѣла, какъ на вѣшалкѣ. Попадья, женщина тоже молодая, отъ ежегодныхъ родовъ казалась еще болѣе изнуренною, нежели мужъ.

Тѣмъ не менѣе Аннинька не могла не замѣтить, что даже эти забитые, изнуренные и бѣдные люди относятся къ ней не такъ, какъ къ настоящей прихожанкѣ, а скорѣе съ сожалѣніемъ, какъ къ заблудшей овцѣ.

— У дяденьки побывали?—началъ батюшка, осторожно принимая чашку чая съ подноса у попадьи.

— Да, почти съ недѣлю прожила.

— Теперь Порфирій Владимірычъ главный помѣщикъ по всей нашей округѣ сдѣлались—нѣтъ ихъ сильнѣе. Только удачи имъ въ жизни какъ будто не видится. Сперва одинъ сынокъ померъ, потомъ и другой, а наконецъ и родительница. Удивительно, какъ это они васъ не упросили въ Головлевѣ поселиться.

— Дядя предлагалъ, да я сама не осталась.

— Что-жъ такъ?

— Да лучше, какъ на свободѣ живешь.

— Свобода, сударыня, конечно — дѣло не худое, но и она не безъ опасности бываетъ. А ежели при этомъ имѣть въ предметѣ, что вы Порфирію Владимірычу ближайшей родственницей, а слѣдственно и прямой всѣхъ его имѣній наслѣдницей доводитесь, то можно бы, мнится, насчетъ свободы нѣсколько и постѣснить себя.

— Нѣтъ, батюшка, свой хлѣбъ лучше. Какъ-то легче живется, какъ чувствуешь, что никому не обязанъ.

Батюшка тускло взглянулъ на нее, какъ будто хотѣлъ спросить: да ты, полно, знаешь ли, что̀ такое «свой хлѣбъ»?—но посовѣстился и только робко запахнулъ полы своей ряски.

— А много ли вы жалованья въ актрисахъ-то получаете?— вступила въ разговоръ попадья.

Батюшка окончательно оробѣлъ и даже заморгалъ въ сторону попадьи. Онъ такъ и ждалъ, что Аннинька обидится. Но Аннинька не обидѣлась и безъ всякой ужимки отвѣтила:

— Теперь я получаю полтораста рублей въ мѣсяцъ, а сестра—сто. Да бенефисы намъ даютъ. Въ годъ-то тысячъ шесть обѣ получимъ.

— Что-жъ такъ сестрицѣ меньше даютъ? Достоинствомъ, что ли, онѣ хуже? — продолжала любопытствовать матушка.

— Нѣтъ, а жанръ у сестры другой. У меня голосъ есть, я пою—это публикѣ больше нравится, а у сестры голосъ послабѣе—она въ водевиляхъ играетъ.

— Стало-быть, и тамъ тоже: кто попомъ, кто дьякономъ, а кто и въ дьячкахъ служитъ?

— Впрочемъ, мы поровну дѣлимся; у насъ ужъ сначала такъ было условлено, чтобъ деньги пополамъ дѣлить.

— По-родственному? Чего же лучше, коли по-родственному! А сколько это, попъ, будетъ? Шесть тысячъ рублей, ежели на мѣсяца̀ раздѣлить, сколько это будетъ?

— По пятисотъ цѣлковыхъ въ мѣсяцъ, а на двухъ раздѣлить—по двѣсти по пятидесяти.

— Вона что̀ денегъ-то! Намъ бы и въ годъ не прожить. А что я еще хотѣла васъ спросить: правда ли, что съ актрисами обращаются, словно бы онѣ — не настоящія женщины?

Попъ совсѣмъ-было всполошился и даже полы рясы распустилъ; но, увидѣвъ, что Аннинька относится къ вопросу довольно равнодушно, подумалъ:

у одной актрисы въ услуженіи была. Хорошо, говоритъ, въ актрисахъ житье, только билетъ каждый мѣсяцъ выправлять надо... правда ли это?

Аннинька смотрѣла во всѣ глаза и не понимала.

— Это для свободности,—пояснилъ батюшка:—а впрочемъ, думается,—что она неправду говоритъ. Напротивъ, я слышалъ, что многія актрисы даже пенсіи отъ казны за службу удостаиваются.

Аннинька убѣдилась, что чѣмъ дальше въ лѣсъ, тѣмъ больше дровъ, и стала окончательно прощаться.

— А мы-было думали, что вы теперь изъ актрисъ-то выйдете?—продолжала приставать попадья.

— Зачѣмъ же?

— Все-таки. Вы—барышня. Теперь совершенныя лѣта получили, имѣніе свое есть—чего лучше!

— Ну, и послѣ дяденьки вы же—прямая наслѣдница,—присовокупилъ батюшка.

— Нѣтъ, я здѣсь жить не буду.

— А мы-то какъ надѣялись! Все промежду себя говорили: непремѣнно наши барышни въ Погорѣлкѣ жить будутъ! А лѣтомъ у насъ здѣсь даже очень хорошо: въ лѣсъ по грибы ходить можно!—соблазняла матушка.

— У насъ грибовъ и не въ дождливое лѣто—очень довольно,—вторилъ ей батюшка.

Наконецъ Аннинька уѣхала. По пріѣздѣ въ Погорѣлку первымъ ея словомъ было: «Лошадей! Пожалуйста, поскорѣе лошадей!» Но Ѳедулычъ только плечами передернулъ въ отвѣтъ на эту просьбу.

— Чего «лошадей»! Мы еще и не кормили ихъ!—брюзжалъ онъ.

— Да отчего же, наконецъ? Ахъ, Боже мой! Точно всѣ сговорились!

— Сговорились и есть. Какъ не сговориться, коли всякому видимо, что въ ростепель ночью ѣхать нельзя. Все равно, въ полѣ, въ зажорѣ просидите—такъ, по-нашему, лучше ужъ дома!

Бабенькины аппартаменты были вытоплены. Въ спальной стояла совсѣмъ приготовленная постель, а на письменномъ столѣ пыхтѣлъ самоваръ; Афимьюшка оскребла на днѣ старинной бабенькиной шкатулочки остатки чая, сохранившіеся послѣ Арины Петровны. Покуда настанвался чай, Ѳедулычъ, скрестивши руки, лицомъ къ барышнѣ, держался у двери, а по обѣимъ сторонамъ стояли скотница и Мар-

ковна въ такихъ позахъ, какъ-будто сейчасъ, по первому манію руки, готовы были бѣжать, куда глаза глядятъ.

— Чай-то еще бабенькинъ, — первый началъ разговоръ Ѳедулычъ:—отъ покойницы на донышкѣ остался. Порфирій Владимірычъ и шкатулочку собрались-было увезти, да я не согласился. Можетъ-быть, барышни, говорю, пріѣдутъ, такъ чайку испить захочется, покуда своимъ разживутся. Ну, ничего, еще пошутилъ: «Ты, говоритъ, старый плутъ, самъ вышьешь! Смотри, говоритъ, шкатулочку-то послѣ въ Головлево доставь!» Гляди, завтра же за нею пришлетъ!

— Напрасно вы ему тогда не отдали.

— Зачѣмъ отдавать—у него и своего чаю много. А теперь, по крайности, мы послѣ васъ выпьемъ. Да вотъ что, барышня: вы насъ Порфирію Владимірычу, что ли, препоручите?

— И не думала.

— Такъ-съ. А мы было давеча бунтовать собрались. Коли ежели, думаемъ, насъ къ головлевскому барину подъ начало отдадутъ, такъ всѣ въ отставку проситься будемъ.

— Что такъ? Неужто дядя такъ страшенъ?

— Не очень страшенъ, а тиранитъ, словъ не жалѣетъ. Словами-то онъ сгноить человѣка можетъ.

Аннинька невольно улыбнулась. Именно гной какой-то просачивался сквозь разглагольствія Іудушки! Не простое пустословіе это было, а язва смердящая, которая непрестанно точила изъ себя гной.

— Ну, а съ собой-то вы какъ же, барышня, рѣшили?— продолжалъ допытываться Ѳедулычъ.

— То-есть, что же я должна съ собой «рѣшить»?—слегка смѣшалась Аннинька, предчувствуя, что ей и здѣсь придется выдержать разглагольствія о «сокровищѣ».

— Такъ неужто же вы изъ ахтёрокъ не выйдете?

— Нѣтъ... то-есть, я еще объ этомъ не думала... Но что же дурного въ томъ, что я, какъ могу, свой хлѣбъ достаю?

— Что хорошаго, по ярмаркамъ съ торбаномъ ѣздить, пьяницъ утѣшать! Чай, вы—барышня!

Аннинька ничего не отвѣтила, только брови насупила. Въ головѣ ея мучительно стучалъ вопросъ: «Господи! да когда же я отсюда уѣду?»

— Разумѣется вамъ лучше знать, какъ надъ собой поступить, а только мы было-думали, что вы къ намъ возвороти тесь. Домъ у насъ теплый, просторный — хоть въ горѣлки играй! Очень хорошо покойница-бабенька его устроила.

Скучно сдѣлалось—санки запряжемъ, а лѣтомъ—въ лѣсъ по грибы ходить можно.

— У насъ здѣсь всякіе грибы есть: и рыжички, и волнушечки, и груздочки, и подосиннички—страсть сколько!—соблазнительно прошамкала Афимьюшка.

Аннинька облокотилась обѣими руками на столъ и старалась не слушать.

— Сказывала тутъ дѣвка одна, — безчеловѣчно настаивалъ Ѳедулычъ:—въ Петербургѣ она въ услуженьи жила, такъ говорила, будто всѣ ахтёрки—белетныя. Каждый мѣсяцъ должны въ части белетъ представлять!

Аннинькѵ словно обожгло: цѣлый день она все эти слова слышитъ!

— Ѳедулычъ!—съ крикомъ вырвалось у нея:—что я вамъ сдѣлала? Неужели вамъ доставляетъ удовольствіе оскорблять меня?!

Съ нея было довольно. Она чувствовала, что ее душитъ, что еще одно слово—и она не выдержитъ...

V.—Недозволенныя семейныя радости.

Однажды, незадолго до катастрофы съ Петенькой, Арина Петровна, гостя въ Головлевѣ, замѣтила что Евпраксеюшка словно бы поприпухнула. Воспитанная въ практикѣ крѣпостного права, при которомъ беременность дворовыхъ дѣвокъ служила предметомъ подробныхъ и не лишенныхъ занимательности изслѣдованій и считалось чуть не доходною статьею, Арина Петровна имѣла на этотъ счетъ взглядъ острый и безошибочный, такъ что для нея достаточно было остановить глаза на туловищѣ Евпраксеюшки, чтобы послѣдняя, безъ словъ и въ полномъ сознаніи виновности, отвернула отъ нея свое загорѣвшееся полымемъ лицо.

— Нутка, нутка, сударка, смотри на меня! Тяжела?—допрашивала опытная старушка провинившуюся голубицу; но въ голосѣ ея не слышалось укоризны, а, напротивъ, онъ звучалъ шутливо, почти весело, словно пахнѵло на нее старымъ, хорошимъ времечкомъ.

Евпраксеюшка не то стыдливо, не то самодовольно безмолвствовала, и только пуще и пуще алѣли ея щеки подъ испытующимъ взглядомъ Арины Петровны.

— То-то еще вчера я смотрю—поджимаешься ты! Ходитъ, хвостомъ вертитъ—словно и путёвая! Да вѣдь меня, братъ, хвостами-то не обманешь! Я на пять верстъ впе-

редъ ваши дѣвичьи штуки вижу! Вѣтромъ, что ли, надуло? Съ которыхъ поръ? Признавайся! Сказывай!

Послѣдовалъ подробный допросъ и не менѣе подробное объясненіе. Когда замѣчены первые признаки? имѣется ли на примѣтѣ бабушка-повитушка? знаетъ ли Порфирій Владимірычъ объ ожидающей его радости? бережетъ ли себя Евпраксеюшка, не поднимаетъ ли чего тяжелаго? и т. д. Оказалось, что Евпраксеюшка беременна ужъ пятый мѣсяцъ; что бабушки-повитушки на примѣтѣ покуда еще нѣтъ; что Порфирію Владимірычу хотя и было докладывано, но онъ ничего не сказалъ, а только сложилъ руки ладонями внутрь, пошепталъ губами и посмотрѣлъ на образъ, въ знакъ того, что все отъ Бога, и онъ, Царь Небесный, Самъ обо всемъ промыслитъ; что, наконецъ, Евпраксеюшка однажды не остереглась, подняла самоваръ и въ ту же минуту почувствовала, что внутри у нея что-то словно оборвалось.

— Однако, оглашенные вы, какъ я на васъ посмотрю!— тужила Арина Петровна, выслушивая эти признанія.—Придется, видно, мнѣ самой въ это дѣло взойти! Натко, пятый мѣсяцъ беременна, а у нихъ даже бабушки-повитушки на примѣтѣ нѣтъ! Да ты хоть бы Улиткѣ, глупая, показалась!

— И то собиралась, да баринъ Улитку-то не очень...

— Вздоръ, сударыня, вздоръ! Тамъ, провинилась ли, нѣтъ ли Улитка передъ бариномъ—это само собой, а тутъ этакой случай—а онъ на-поди! Что намъ, цѣловаться, что ли, съ ней? Нѣтъ, неминучее дѣло, что мнѣ самой придется въ это дѣло вступиться!

Арина Петровна хотѣла-было взгрустнуть, пользуясь этимъ случаемъ, что вотъ и до сихъ поръ, даже на старости лѣтъ, ей приходится тяготы носить, но предметъ разговора былъ такъ привлекателенъ, что она только губами чмокнула и продолжала:

— Ну, сударка, теперь только распоясывайся! Любо было кататься—попробуй-ка саночки повозить! Попробуй, попробуй! Я вотъ трехъ сыновъ да дочку вырастила, да пятерыхъ дѣтей маленькими схоронила—я знаю! Вотъ они гдѣ у насъ, мужчинки-то, сидятъ!—прибавила она, ударяя себя кулакомъ по затылку.

И вдругъ ее словно озарило.

— Батюшки! да никакъ еще подъ постный день! Постой, погоди, сосчитаю!

Начали по пальцамъ считать; сочли разъ, другой, третій—выходило именно какъ разъ подъ постный день.

Скучно сдѣлалось—санки запряжемъ, а лѣтомъ—въ лѣсъ по грибы ходить можно.

— У насъ здѣсь всякіе грибы есть: и рыжички, и волнушечки, и груздочки, и подосиннички—страсть сколько!—соблазнительно прошамкала Афимьюшка.

Анниньку облокотилась обѣими руками на столъ и старалась не слушать.

— Сказывала тутъ дѣвка одна, — безчеловѣчно настаивалъ Ѳедулычъ:—въ Петербургѣ она въ услуженьи жила, такъ говорила, будто всѣ ахтёрки—белетныя. Каждый мѣсяцъ должны въ части белетъ представлять!

Анниньку словно обожгло: цѣлый день она все эти слова слышитъ!

— Ѳедулычъ!—съ крикомъ вырвалось у нея:—что̀ я вамъ сдѣлала? Неужели вамъ доставляетъ удовольствіе оскорблять меня?!

Съ нея было довольно. Она чувствовала, что ее душитъ, что еще одно слово—и она не выдержитъ...

V.—Недозволенныя семейныя радости.

Однажды, незадолго до катастрофы съ Петенькой, Арина Петровна, гостя въ Головлевѣ, замѣтила что Евпраксеюшка словно бы поприпухнула. Воспитанная въ практикѣ крѣпостного права, при которомъ беременность дворовыхъ дѣвокъ служила предметомъ подробныхъ и не лишенныхъ занимательности изслѣдованій и считалось чуть не доходною статьею, Арина Петровна имѣла на этотъ счетъ взглядъ острый и безошибочный, такъ что для нея достаточно было остановить глаза на туловищѣ Евпраксеюшки, чтобы послѣдняя, безъ словъ и въ полномъ сознаніи виновности, отвернула отъ нея свое загорѣвшееся полымемъ лицо.

— Нутка, нутка, сударка, смотри на меня! Тяжела?—допрашивала опытная старушка провинившуюся голубицу; но въ голосѣ ея не слышалось укоризны, а, напротивъ, онъ звучалъ шутливо, почти весело, словно пахну̀ло на нее старымъ, хорошимъ времечкомъ.

Евпраксеюшка не то стыдливо, не то самодовольно безмолвствовала, и только пуще и пуще алѣли ея щеки подъ испытующимъ взглядомъ Арины Петровны.

— То-то еще вчера я смотрю—поджимаешься ты! Ходитъ, хвостомъ вертитъ—словно и путёвая! Да вѣдь меня, братъ, хвостами-то не обманешь! Я на пять верстъ впе-

редъ ваши дѣвичьи штуки вижу! Вѣтромъ, что ли, надуло? Съ которыхъ поръ? Признавайся! Сказывай!

Послѣдовалъ подробный допросъ и не менѣе подробное объясненіе. Когда замѣчены первые признаки? имѣется ли на примѣтѣ бабушка-повитушка? знаетъ ли Порфирій Владимірычъ объ ожидающей его радости? бережетъ ли себя Евпраксеюшка, не поднимаетъ ли чего тяжелаго? и т. д. Оказалось, что Евпраксеюшка беременна ужъ пятый мѣсяцъ; что бабушки-повитушки на примѣтѣ покуда еще нѣтъ; что Порфирію Владимірычу хотя и было докладывано, но онъ ничего не сказалъ, а только сложилъ руки ладонями внутрь, пошепталъ губами и посмотрѣлъ на образъ, въ знакъ того, что все отъ Бога, и онъ, Царь Небесный, Самъ обо всемъ промыслитъ; что, наконецъ, Евпраксеюшка однажды не остереглась, подняла самоваръ и въ ту же минуту почувствовала, что внутри у нея что-то словно оборвалось.

— Однако, оглашенные вы, какъ я на васъ посмотрю!— тужила Арина Петровна, выслушивая эти признанія.—Придется, видно, мнѣ самой въ это дѣло взойти! Натко, пятый мѣсяцъ беременна, а у нихъ даже бабушки-повитушки на примѣтѣ нѣтъ! Да ты хоть бы Улиткѣ, глупая, показалась!

— И то собиралась, да баринъ Улитку-то не очень...

— Вздоръ, сударыня, вздоръ! Тамъ, провинилась ли, нѣтъ ли Улитка передъ бариномъ—это само собой, а тутъ этакой случай—а онъ на-поди! Что намъ, цѣловаться, что ли, съ ней? Нѣтъ, неминучее дѣло, что мнѣ самой придется въ это дѣло вступиться!

Арина Петровна хотѣла-было взгрустнуть, пользуясь этимъ случаемъ, что вотъ и до сихъ поръ, даже на старости лѣтъ, ей приходится тяготы носить, но предметъ разговора былъ такъ привлекателенъ, что она только губами чмокнула и продолжала:

— Ну, сударка, теперь только распоясывайся! Любо было кататься—попробуй-ка саночки повозить! Попробуй, попробуй! Я вотъ трехъ сыновъ да дочку вырастила, да пятерыхъ дѣтей маленькими схоронила—я знаю! Вотъ они гдѣ у насъ, мужчинки-то, сидятъ!—прибавила она, ударяя себя кулакомъ по затылку.

И вдругъ ее словно озарило.

— Батюшки! да никакъ еще подъ постный день! Постой, погоди, сосчитаю!

Начали по пальцамъ считать; сочли разъ, другой, третій—выходило именно какъ разъ подъ постный день.

— Ну, такъ, такъ! Это святой-то человѣкъ! Ужѡ, погоди, подразню его! Молитвенникъ-то нашъ, въ какую рюху попалъ! Подразню! Не я буду, если не подразню! — шутила старушка.

Дѣйствительно, въ тотъ же день, за вечернимъ чаемъ, Арина Петровна въ присутствіи Евпраксеюшки подшучивала надъ Іудушкой.

— Смиренникъ-то нашъ, смотри, какую штуку удралъ! Ужъ и взаправду не вѣтромъ ли кралѣ-то твоей надуло? Ну, братъ, удивилъ!

Іудушка сначала брезгливо пожимался при маменькиныхъ шуточкахъ, но, убѣдившись, что Арина Петровна говоритъ «по-родственному», «всей душой»—и самъ мало-по-малу повеселѣлъ.

— Проказница вы, маменька, право, проказница!—шутилъ и онъ въ свою очередь; но, впрочемъ, по своему обыкновенію, отнесся къ предмету семейнаго разговора уклончиво.

— Чего «проказница», серьезно объ этомъ переговорить надо! Вѣдь это—какое дѣло-то! «Тайна» тутъ—вотъ я тебѣ что̀ скажу! Хоть и не настоящимъ манеромъ, а все-таки... Нѣтъ, надо очень, да и какъ еще очень объ этомъ дѣлѣ поразмыслить! Ты ка̀къ думаешь: здѣсь, что ли, ей рожать велишь, или въ городъ повезешь?

— Не знаю я, маменька, ничего я, душенька, не знаю!—уклонялся Порфирій Владимірычъ.—Проказница вы, право, проказница!

— Ну, такъ постой же, сударка! Ужѡ мы съ тобой на прохладѣ объ этомъ дѣлѣ потолкуемъ! И ка̀къ, и что̀—все подробно опредѣлимъ! А то вѣдь эти мужчинки—имъ бы только прихоть свою исполнить, а потомъ отдувайся наша сестра за нихъ, какъ знаетъ!

Сдѣлавши свое открытіе, Арина Петровна почувствовала себя какъ рыба въ водѣ. Цѣлый вечеръ проговорила она съ Евпраксеюшкой и наговориться не могла. Даже щеки у нея разгорѣлись и глаза какъ-то по-юношески заблестѣли.

— Вѣдь это, сударка, какъ бы ты думала? Вѣдь это... божественное!—настаивала она.—Потому что хоть и не тѣмъ порядкомъ, а все-таки настоящимъ манеромъ... Только ты у меня смотри! Ежели да подъ постный день—Боже тебя сохрани: и засмѣю тебя, и со свѣту сгоню!

Призвали на совѣтъ и Улитушку. Сначала о настоящемъ дѣлѣ поговорили, что̀ и ка̀къ, не нужно ли промы-

вательное поставить, или моренковой мазью животъ потереть, потомъ опять обратились къ излюбленной темѣ и начали по пальцамъ разсчитывать—и все выходило именно какъ разъ на постный день. Евпраксеюшка алѣла, какъ маковъ цвѣтъ, но не отнѣкивалась, а ссылалась на подневольное свое положеніе.

— Мнѣ что-жъ,—говорила она:—мое дѣло—какъ «они» хотятъ! Коли ежели барынъ прикажутъ—можетъ ли наша сестра противъ ихъ приказаньевъ идти!

— Ну, ну, тихоня, не лебези хвостомъ!—шутила Арина Петровна:—сама, чай...

Словомъ сказать, женщины занялись этимъ дѣломъ всласть. Арина Петровна цѣлый рядъ случаевъ изъ своего прошлаго вспоминала и, разумѣется, не преминула повѣствовать о нихъ. Сначала разсказывала про свои личныя беременности. Какъ она Степкой-балбесомъ мучилась, какъ, будучи беременной Павломъ Владимірычемъ, ѣздила на перекладной въ Москву, чтобъ дубровинскаго аукціона не упустить, да потомъ изъ-за этого на тотъ свѣтъ чуть-чуть не отправилась, и т. д., и т. д. Всѣ роды были чѣмъ-нибудь замѣчательны; одни только достались легко—это были роды Іудушки.

— Просто даже вотъ не на эстолько тягости не чувствовала!—говорила она.—Сижу, бывало, и думаю: Господи! да неужто я тяжела! И какъ настало время, прилегла я этакъ на минуточку на кровать, и ужъ сама не знаю, какъ—вдругъ разрѣшилась! Самый это легкій для меня сынъ былъ! Самый, самый легкій!

Потомъ начались разсказы про дворовыхъ дѣвокъ: сколькихъ она сама «заставала», сколькихъ выслѣживала при помощи довѣренныхъ лицъ, и преимущественно Улитушки. Старческая память съ изумительною отчетливостью хранила эти воспоминанія. Во всемъ ея прошломъ, сѣромъ, всецѣло поглощенномъ мелкимъ и крупнымъ скопидомствомъ, сослѣживаніе вожделѣющихъ дворовыхъ дѣвокъ было единственнымъ романическимъ элементомъ, затрогивавшимъ какую-то живую струну.

Это была своего рода беллетристика въ скучномъ журналѣ, въ которомъ читатель ожидаетъ встрѣтиться съ изслѣдованіями о сухихъ туманахъ и о мѣстѣ погребенія Овидія—и вдругъ, вмѣсто того, читаетъ: *Вотъ мчится тройка уда. ая...* Развязки нехитрыхъ романовъ дѣвичьей обыкновенно бывали очень строгія и даже безчеловѣчныя (виновъ-

ную выдавали замужъ въ дальнюю деревню, непремѣнно за мужика-вдовца, съ большимъ семействомъ; виновнаго, разжаловывали въ скотники или отдавали въ солдаты); но воспоминанія объ этихъ развязкахъ какъ-то стерлись (память культурныхъ людей относительно прошлаго ихъ поведенія вообще снисходительна), а самый процессъ сослѣживанія «амурной интриги» такъ и мелькалъ до сихъ поръ передъ глазами, словно живой. Да и немудрено! Этотъ процессъ, во времена оны, велся съ такимъ же захватывающимъ интересомъ, съ какимъ нынѣ читается фельетонный романъ, въ которомъ авторъ, вмѣсто того, чтобъ сразу увѣнчать взаимное вожделѣніе героевъ, на самомъ патетическомъ мѣстѣ ставитъ точку и пишетъ: *продолженіе впредь*.

— Не мало я-таки съ ними мученьевъ приняла! — повѣствовала Арина Петровна.—Иная до послѣдней минуты перемогается, лебезитъ — все надѣется обмануть! Ну, да меня, голубушка, не перехитришь, я сама на этихъ дѣлахъ зубы съѣла!—прибавляла она почти сурово, словно грозясь кому-то.

Наконецъ, слѣдовали разсказы изъ области беременностей, такъ сказать, политическихъ, относительно которыхъ Арина Петровна являлась уже не карательницей, а укрывательницей и потаковщицей.

Такъ, напримѣръ, у папеньки Петра Иваныча, дряхлаго семидесятилѣтняго старика, тоже «сударка» была и тоже оказалась вдругъ съ прибылью, и нужно было, по высшимъ соображеніямъ, эту прибыль отъ старика утаить. А она, Арина Петровна, какъ на грѣхъ, была въ ту пору въ ссорѣ съ братцемъ Петромъ Петровичемъ, который, тоже ради какихъ-то политическихъ соображеній, беременность эту сослѣживалъ и хотѣлъ старику глаза насчетъ «сударки» открыть.

— И какъ бы ты думала: почти на глазахъ у папеньки мы всю эту механику выполнили! Спитъ, голубчикъ, у себя въ спаленкѣ, а мы рядышкомъ орудуемъ! Да шопоткомъ, да на цыпочкахъ! Сама я, собственными руками, и ротъ-то ей зажимала, чтобъ не кричала, и бѣлье-то собственными руками убирала, а сынка-то ея — прехорошенькій, здоровенькій такой родился!—и того, сѣла на извозчика, да въ воспитательный спровадила! Такъ что братецъ, какъ черезъ недѣлю узналъ, только ахнулъ: «Ну, сестра!»

Была и еще политическая беременность: съ сестрицей

Варварой Михайловной дѣло случилось. Мужъ у нея въ походъ подъ турка уѣхалъ, а она возьми да и не остерегись. Прискакала, какъ угорѣлая, въ Головлево: «Спасай, сестра!»

— Ну, мы хоть въ то время въ контрахъ промежду себя были, однако, я и виду ей не подала: честь-честью ее приняла, утѣшила, успокоила, да подъ видомъ гощенья такъ это дѣло кругленько обдѣлала, что мужъ и въ могилу ушелъ—ничего не зналъ!

Такъ повѣствовала Арина Петровна, и, надо сказать правду, рѣдкій разсказчикъ находилъ себѣ такихъ внимательныхъ слушателей. Евпраксеюшка старалась не проронить слова, какъ будто бы передъ ней проходили во-очію перипетіи какой-то удивительной волшебной сказки; что же касается до Улитушки, то она, какъ соучастница бо́льшей части разсказываемаго, только углами губъ причмокивала.

Улитушка тоже расцвѣла и отдохнула. Тревожная была ея жизнь. Съ юныхъ лѣтъ сгорала она холопскимъ честолюбіемъ и во снѣ, и наяву бредила, какъ бы господамъ послужить да надъ своимъ братомъ покомандовать, и все неудачно. Только что занесетъ, бывало, ногу на ступеньку повыше, анъ, ее оттуда словно невидимая сила какая шарахнетъ и опять втопчетъ въ самую преисподнюю. Всѣми качествами полезной барской слуги обладала она въ совершенствѣ: была ехидна, злоязычна и всегда готова на всякое предательство, но въ то же время страдала какою-то неудержимою повадливостью, которая всю ея ехидность обращала въ ничто. Въ былое время Арина Петровна охотно пользовалась ея услугой, когда нужно было секретное разслѣдованіе по дѣвичьей сдѣлать или вообще сомнительное дѣло какое-нибудь округлить, но никогда не цѣнила ея заслуги и не допускала ни до какой солидной должности. Вслѣдствіе этого Улитка и жаловалась, и языкомъ язвила; но на жалобы ея не обращалось вниманія, потому что всѣмъ было вѣдомо, что Улитка — дѣвка злая, сейчасъ себя въ преисподнюю проклянетъ, а черезъ минуту—помани ее только пальцемъ—опять прибѣжитъ, станетъ на заднихъ лапкахъ служить. Такъ и промыкалась она, куда-то все выбиваясь и никогда ничего не успѣвая достигнуть, до тѣхъ поръ, пока исчезновеніе крѣпостного права окончательно не положило предѣла ея холопскому честолюбію.

Въ молодости ея былъ даже случай, который подавалъ

ей надежды очень серьезныя. Въ одну изъ своихъ побывокъ въ Головлевѣ Порфирій Владимірычъ свелъ съ ней связь и даже, какъ гласило головлевское преданіе, имѣлъ отъ нея ребенка, за что̀ и состоялъ долгое время подъ гнѣвомъ у маменьки Арины Петровны. Поддерживалась ли эта связь впослѣдствіи, при дальнѣйшихъ наѣздахъ Іудушки въ отчій домъ—неизвѣстно, но, во всякомъ случаѣ, когда Порфирій Владимірычъ собрался въ Головлево совсѣмъ на жительство, мечтаніямъ Улитушки пришлось рухнуть самымъ обиднымъ образомъ. Немедленно по пріѣздѣ Іудушки она кинулась къ нему съ цѣлыхъ ворохомъ сплетенъ, въ которыхъ Арина Петровна обвинялась чуть не въ мошенничествѣ; но «баринъ» сплетни выслушалъ благосклонно. а на Улитку взглянулъ все-таки холодно и прежней ея «заслуги» не попомнилъ. Обманутая въ расчетахъ и обиженная, Улитушка перекинулась въ Дубровино, гдѣ братецъ Павелъ Владимірычъ, изъ ненависти къ братцу Порфирію Владимірычу, охотно принялъ ее и даже сдѣлалъ экономкою. Тутъ ея фонды какъ будто поправились. Павелъ Владимірычъ сидѣлъ на антресоляхъ и выпивалъ рюмку за рюмкой, а она съ утра до вечера бойко бѣгала по кладовымъ и погребамъ, гремѣла ключами, громко язычничала и даже завела какіе-то контры съ Ариной Петровной, которую чуть не сжила со свѣту.

Но Улитушка слишкомъ любила всякія предательства, чтобы въ тишинѣ пользоваться выпавшимъ на ея долю хорошимъ житьемъ. Это было то самое время, когда Павелъ Владимірычъ испивалъ уже настолько, что можно было съ извѣстными надеждами относиться къ исходу этого непробуднаго пьянства. Порфирій Владимірычъ понялъ, что въ такомъ положеніи дѣла Улитушка представляетъ неоцѣненный кладъ—и вновь поманилъ ее пальцемъ. Ей было дано изъ Головлева приказаніе—не отходить ни на шагъ отъ облюбованной жертвы, ни въ чемъ ей не противорѣчить, даже въ ненависти къ братцу Порфирію Владимірычу, а только всѣми мѣрами устранять вмѣшательство Арины Петровны. Это было одно изъ тѣхъ родственныхъ злодѣйствъ, на которыя Іудушка не то чтобъ рѣшился по зрѣломъ размышленіи, а какъ-то само собой продѣлывалъ, какъ самую обыкновенную затѣю. Излишне было бы говорить, что Улитушка выполнила порученіе въ точности. Павелъ Владимірычъ не переставалъ ненавидѣть брата, но чѣмъ больше онъ ненавидѣлъ, тѣмъ больше пилъ и тѣмъ

меньше становился способенъ выслушивать какія-либо замѣчанія Арины Петровны насчетъ «распоряженія». Каждое движеніе умирающаго, каждое слово немедленно дѣлались извѣстными въ Головлевѣ, такъ что Іудушка могъ съ полнымъ знаніемъ дѣла опредѣлить минуту, когда ему слѣдуетъ выйти изъ-за кулисъ и появиться на сцену настоящимъ господиномъ созданнаго имъ положенія. И онъ воспользовался этимъ, т. е. нагрянулъ въ Дубровино именно тогда, когда оно, такъ сказать, само отдалось ему въ руки.

За эту услугу Порфирій Владимірычъ подарилъ Улитушкѣ шерстяной матеріи на платье, но до себя все-таки не допустилъ. Опять шарахнулась Улитушка съ высоты величія въ прислоднюю, и на этотъ разъ, казалось, такъ, что ужъ никто на свѣтѣ ее никогда не поманитъ пальцемъ.

Въ видѣ особенной милости за то, что она «за братцемъ послѣднія минуты ходила», Іудушка отдѣлилъ ей уголъ въ избѣ, гдѣ вообще ютились оставшіеся, по упраздненіи крѣпостного права, заслуженные дворовые. Тамъ Улитушка окончательно смирилась, такъ что когда Порфирій Владимірычъ облюбовалъ Евпраксеюшку, то она не только не выказала никакой строптивости, но даже первая пришла къ «бариновой сударкѣ» на поклонъ и поцѣловала ее въ плечико.

И вдругъ, въ ту минуту, когда она уже сама сознавала себя забытою и заброшенною,—ей опять посчастливилось: Евпраксеюшка забеременѣла. Вспомнили, что гдѣ-то въ людской избѣ ютится «золотой человѣкъ» и поманили его пальцемъ. Правда, не самъ «баринъ» поманилъ, но и того ужъ достаточно, что онъ не попрепятствовалъ. Улитушка ознаменовала свое вступленіе въ господскій домъ тѣмъ, что взяла у Евпраксеюшки изъ рукъ самоваръ и съ форсомъ и нѣсколько озабочась принесла его въ столовую, гдѣ въ то время сидѣлъ и Порфирій Владимірычъ. И «баринъ»— не сказалъ ни слова. Ей показалось, что онъ даже улыбнулся, когда въ другой разъ, съ тѣмъ же самоваромъ въ рукахъ, она встрѣтила его въ коридорѣ и еще издали закричала:

— Баринъ, посторонись—ожгу!

Призванная Ариной Петровной на семейный совѣтъ, Улитушка нѣкоторое время кобянилась и не хотѣла сѣсть. Но когда Арина Петровна ласково на нее прикрикнула:— «Садись-ко, садись! нечего штуки-фигуры выкидывать! Царь

всѣхъ насъ равными сдѣлалъ — садись!» — то и она сѣла, сначала смирнёхонько, а потомъ и языкъ распустила.

Эта женщина тоже припоминала. Много всякаго гною скопилось въ ея памяти изъ прежней крѣпостной практики. Независимо отъ выполненія деликатныхъ порученій по предмету сослѣживанія дѣвичьихъ вожделѣній, Улитушка состояла въ головлевскомъ домѣ въ качествѣ аптекарши и лѣкарки. Сколько она поставила въ своей жизни горчичниковъ, рожковъ и въ особенности клистировъ! Ставила она клистиры и старому барину Владиміру Михайлычу, и старой барынѣ Аринѣ Петровнѣ, и молодымъ барчукамъ всѣмъ до единаго — и сохранила объ этомъ самыя благодарныя воспоминанія. И вотъ теперь для этихъ воспоминаній представилось почти неоглядное поле...

Головлевскій домъ какъ-то таинственно оживился. Арина Петровна то и дѣло наѣзжала изъ Погорѣлки къ «доброму сыну», и подъ ея надзоромъ дѣятельно шли приготовленія, которымъ покуда не давалось еще названія. Послѣ вечерняго чая всѣ три женщины забирались въ Евпраксеюшкину комнату, лакомились домашнимъ вареньемъ, играли въ дураки и до позднихъ пѣтуховъ предавались воспоминаніямъ, отъ которыхъ «сударка» по временамъ шибко алѣла. Всякій самый ничтожный случай служилъ поводомъ къ новымъ и новымъ разсказамъ. Подастъ Евпраксеюшка вареньица малиноваго—Арина Петровна разскажетъ, какъ она будучи беременна дочкой Сонькой, даже запаху малины выносить не могла.

— Только въ домъ принесутъ—я ужъ и слышу, что ее принесли! Такъ вотъ благимъ матомъ и кричу: вонъ! вонъ ее, проклятую, несите! А послѣ, какъ выпросталась—и опять ничего, и опять полюбила!

Принесетъ Евпраксеюшка икорки закусить—Арина Петровна и насчетъ икорки случай вспомнитъ.

— А вотъ съ икоркой у меня случай былъ—такъ именно диковинный! Въ ту пору я — съ мѣсяцъ ли, съ два ли я только что замужъ вышла — и вдругъ такъ ли мнѣ этой икры захотѣлось, вынь да положь! Заберусь это, бывало, потихоньку въ кладовую и все ѣмъ, все ѣмъ! Только и говорю я своему благовѣрному: что, молъ, это, Владиміръ Михайлычъ, значитъ, что я все икру ѣмъ? А онъ этакъ улыбнулся и говоритъ: «Да вѣдь ты, мой другъ, тяжела!» И точно, ровно черезъ девять мѣсяцевъ послѣ того я и выпросталась, Степку-балбеса родила!

Порфирій Владимірычъ, между тѣмъ, продолжалъ съ прежнею загадочностью относиться къ беременности Евпраксеюшки и даже ни разу не высказался опредѣленно относительно своей прикосновенности къ этому дѣлу. Весьма естественно, что это стѣсняло женщинъ, мѣшало ихъ излія-ніямъ, и потому Іудушку почти совсѣмъ обросили и безъ церемоніи гнали вонъ, когда онъ заходилъ вечеромъ на огонекъ въ Евпраксеюшкину комнату.

— Ступай-ка, ступай, молодецъ!—весело говорила Арина Петровна. — Ты свое дѣло сдѣлалъ; теперь наше, женское дѣло наступило! На нашей улицѣ праздникъ!

Іудушка смиренно удалялся, и хотя при этомъ не упускалъ случая попенять доброму другу маменькѣ, что она сдѣлалась къ нему немилостива, но въ глубинѣ души былъ очень доволенъ, что его не тревожатъ, и что Арина Петровна приняла горячее участіе въ затруднительномъ для него обстоятельствѣ. Если-бъ этого участія не было—Богъ знаетъ, что̀ бы ему пришлось предпринять, чтобы смять это пакостное дѣло, при одномъ воспоминаніи о которомъ онъ ёжился и отплевывался. А теперь, благодаря опытности Арины Петровны и ловкости Улитушки, онъ надѣялся, что «бѣда» пройдетъ безъ огласки, и что ему самому, быть-можетъ, придется узнать о результатѣ ея, когда уже все будетъ кончено.

Расчеты Порфирія Владимірыча, однакожъ, не оправдались. Сначала случилась катастрофа съ Петенькой, а невдолгѣ за нею послѣдовала и смерть Арины Петровны. Приходилось расплачиваться самолично, и притомъ безъ всякой надежды на какую-нибудь паскудную комбинацію. Нельзя было отослать Евпраксеюшку, яко непотребную, къ роднымъ, потому что, благодаря вмѣшательству Арины Петровны, дѣло зашло слишкомъ далеко и было у всѣхъ на знати. На усердіе Улитушки тоже надежда была плоха, потому что хоть она и ловкая дѣвка, но ежели ей довѣриться, то, пожалуй, и отъ судебнаго слѣдователя потомъ не убережешься. Въ первый разъ въ жизни Іудушка серьезно и искренно возроптaлъ на свое одиночество, въ первый разъ смутно понялъ, что окружающіе люди — не просто пѣшки, годныя только на то, чтобъ морочить ихъ.

— И что̀ бы ей сто̀ило крошечку погодить! — сѣтовалъ онъ втихомолку на милаго друга маменьку.—Устроила бы все какъ слѣдуетъ, умнёхонько да смирнёхонько — и Хри-

стосъ бы съ ней! Пришло время умирать — дѣлать нечего! Жалко старушку, да коли такъ Богу угодно, и слезы наши, и доктора, и лѣкарства наши, и мы всѣ—все противъ воли Божіей безсильно! Пожила старушка, попользовалась! И сама барыней вѣкъ прожила, и дѣтей господами оставила! Пожила и будетъ!

И по обыкновенію суетливая его мысль, не любившая задерживаться на предметѣ, представляющемъ какія-нибудь практическія затрудненія, сейчасъ же перекидывалась въ сторону, къ предмету болѣе легкому, по поводу котораго можно было празднословить безсрочно и безпрепятственно.

— И какъ вѣдь скончалась-то, именно только праведники такой кончины удостаиваются! — лгалъ онъ самому себѣ, самъ, впрочемъ, не понимая, лжетъ онъ или говоритъ правду. — Безъ болѣзни, безъ смуты... такъ! Вздохнула — смотримъ, а ея ужъ и нѣтъ! Ахъ, маменька, маменька! И улыбочка на лицѣ, и румянчикъ... И ручка сложена, какъ будто благословить хочетъ, и глазки закрыла... адьё!

И вдругъ, въ самомъ разгарѣ жалостливыхъ словъ, опять словно кольнетъ его. Опять эта пакость... тьфу! тьфу! тьфу! Ну, что бы стоило маменькѣ крошечку повременить! И всего-то съ мѣсяцъ, а можетъ-быть, и меньше осталось — такъ вотъ на-поди!

Нѣкоторое время пробовалъ-было онъ и на вопросы Улитушки такъ же отнѣкиваться, какъ отнѣкивался передъ милымъ другомъ маменькой: «Не знаю! ничего я не знаю!» Но къ Улитушкѣ, какъ бабѣ наглой и притомъ же почувствовавшей свою силу, не такъ-то легко было подойти съ подобными пріемами.

— Я, что ли, знаю! я, что ли, кузовъ-то стропла! — на первыхъ же порахъ обрѣзала она его, такъ что онъ понялъ, что отнынѣ расчеты на счастливое соединеніе роли прелюбодѣя съ ролью посторонняго наблюдателя результатовъ собственнаго прелюбодѣянія окончательно рухнули для него.

Бѣда надвигалась все ближе и ближе, бѣда неминучая, почти осязаемая! Она преслѣдовала его ежеминутно и—что всего хуже — парализовала его пустомысліе. Онъ употреблялъ всевозможныя усилія, чтобъ смять представленіе о ней, утопить его въ потокѣ праздныхъ словъ, но это удавалось ему только отчасти. Пробовалъ онъ какъ-нибудь спрятаться за непререкаемостью законовъ высшаго произ-

воленія, и по обыкновенію дѣлалъ изъ этой темы цѣлый клубокъ, который безконечно разматывалъ, припутывая сюда и притчу о волосѣ, съ человѣческой головы не падающемъ, и легенду о зданіи, на песцѣ строимомъ; но въ ту самую минуту, когда праздныя мысли безпрепятственно скатывались одна за другой въ какую-то загадочную бездну, когда безконечное разматываніе клубка ужъ казалось вполнѣ обезпеченнымъ—вдругъ, словно изъ-за угла, врывалось одно слово и сразу обрывало нитку. Увы! это слово было: «прелюбодѣяніе» и обозначало такое дѣйствіе, въ которомъ Іудушка и передъ самимъ собой сознаться не хотѣлъ.

И вотъ, когда, послѣ тщетныхъ попытокъ забыть и убить, дѣлалось, наконецъ, яснымъ, что онъ пойманъ—на него нападала тоска. Онъ принимался ходить по комнатѣ, ни о чемъ не думая, а только ощущая, что внутри у него сосетъ и дрожитъ.

Это была совсѣмъ новая узда, которую въ первый разъ въ жизни узнало его праздномыслiе. До сихъ поръ, въ какую бы сторону ни шла его пустопорожняя фантазія, повсюду она встрѣчала лишенное границъ пространство, на протяженіи котораго складывались всевозможныя комбинаціи. Даже погибель Володьки, Петьки, даже смерть Арины Петровны не затрудняли его праздномыслія. Это были факты обыкновенные, общепризнанные, для оцѣнки которыхъ существовала и обстановка общепризнанная, искони обусловленная. Панихиды, сорокоусты, поминальные обѣды и проч.—все это онъ, по обычаю, отбылъ какъ слѣдуетъ и всѣмъ этимъ, такъ сказать, оправдалъ себя и передъ людьми, и передъ Провидѣніемъ. Но прелюбодѣяніе... это что же такое? Вѣдь это—обличеніе цѣлой жизни, это—обнаруженіе ея внутренней лжи! Хотя и прежде его разумѣли кляузникомъ, положимъ даже—«кровопивцемъ», но во всей этой людской молвѣ было такъ мало юридической подкладки, что онъ могъ съ полнымъ основаніемъ возразить: докажи! И вдругъ теперь... прелюбодѣй! Прелюбодѣй уличенный, несомнѣнный (онъ даже *мѣръ* никакихъ, по милости Арины Петровны—«ахъ, маменька, маменька!»—не принялъ, даже солгать не успѣлъ), да еще и «подъ постный день»... тьфу! тьфу! тьфу!

Въ этихъ внутреннихъ собесѣдованіяхъ съ самимъ собою, какъ ни запутано было ихъ содержаніе, замѣчалось даже что-то похожее на пробужденіе совѣсти. Но представлялся вопросъ: пойдетъ ли Іудушка дальше по этому пути, или же

пустомысліе и тутъ сослужитъ ему обычную службу и представитъ новую лазейку, благодаря которой онъ, какъ и всегда, успѣетъ выйти сухимъ изъ воды?

Покуда Іудушка изнывалъ такимъ образомъ подъ бременемъ пустоутробія, въ Евпраксеюшкѣ мало-по-малу совершался совсѣмъ неожиданный внутренній переворотъ. Ожиданіе материнства, повидимому, разрѣшило умственныя узы, связывавшія ее. До сихъ поръ она ко всему относилась безучастно, а на Порфирія Владимірыча смотрѣла какъ на «барина», къ которому у нея существовали подневольныя отношенія. Теперь она впервые что-то поняла, нѣчто въ родѣ того, что у нея свое дѣло есть, въ которомъ она— «сама большая», и гдѣ помыкать ею безвозбранно нельзя. Вслѣдствіе этого даже выраженіе ея лица, обыкновенно тупое и нескладное, какъ-то осмыслилось и засвѣтилось.

Смерть Арины Петровны была первымъ фактомъ въ ея полубезсознательной жизни, который подѣйствовалъ на нее отрезвляющимъ образомъ. Какъ ни своеобразны были отношенія старой барыни къ предстоящему материнству Евпраксеюшки, но все-таки въ нихъ просвѣчивало несомнѣнное участіе, а не одна паскудно-гадливая уклончивость, которая встрѣчалась со стороны Іудушки. Поэтому Евпраксеюшка начала видѣть въ Аринѣ Петровнѣ что-то въ родѣ заступы, какъ бы подозрѣвая, что впереди готовится на нее какое-то нападеніе. Предчувствіе этого нападенія преслѣдовало ее тѣмъ упорнѣе, что оно не было освѣщено сознаніемъ, а только наполняло все ея существо постоянною тоскливою смутой. Мысль была недостаточно сильна, чтобъ указать прямо, откуда придетъ нападеніе и въ чемъ оно будетъ состоять; но инстинкты уже были настолько взбудоражены, что при видѣ Іудушки чувствовался безотчетный страхъ. Да, оно придетъ оттуда! — отзывалось во всѣхъ сердечныхъ ея тайникахъ:—оттуда, изъ этого наполненнаго прахомъ гроба, къ которому она доселѣ была приставлена, какъ простая наймитка, и который какимъ-то чудомъ сдѣлался отцомъ и властелиномъ *ел* ребенка! Чувство, которое пробуждалось въ ней при этой послѣдней мысли, было похоже на ненависть и даже непремѣнно перешло бы въ ненависть, если-бъ не находило для себя отвлеченія въ участіи Арины Петровны, которая добродушной своей болтовней не давала ей времени задуматься.

Но вотъ Арина Петровна сначала удалилась въ Погорѣлку, а наконецъ и совсѣмъ угасла. Евпраксеюшкѣ сдѣ-

лалось совсѣмъ жутко. Тишина, въ которую погрузился головлевскій домъ, нарушалась только шуршаньемъ, возвѣщавшимъ, что Іудушка, крадучись и подобравши полы халата, бродитъ по коридору и подслушиваетъ у дверей. Изрѣдка кто-нибудь изъ челядинцевъ набѣжитъ со двора, хлопнетъ дверью въ дѣвичьей, и опять изо всѣхъ угловъ такъ и ползетъ тишина. Тишина мертвая, наполняющая существо суевѣрною, саднящею тоской. А такъ какъ Евпраксеюшка въ это время была уже на сносяхъ, то для нея не существовало даже рессурса хозяйственныхъ хлопотъ, которыя въ былое время настолько утомляли ее физически, что она къ вечеру ходила уже какъ сонная. Пробовала-было она приласкаться къ Порфирію Владимірычу, но попытки эти каждый разъ вызывали краткія, но злобныя сцены, которыя даже на ея неразвитую натуру дѣйствовали мучительно. Поэтому приходилось сидѣть сложа руки и думать, то-есть тревожиться. А поводы для тревоги съ каждымъ днемъ становились больше и больше, потому что смерть Арины Петровны развязала руки Улитушкѣ и ввела въ головлевскій домъ новый элементъ сплетенъ, сдѣлавшихся отнынѣ единственнымъ живымъ дѣломъ, на которомъ отдыхала душа Іудушки.

Улитушка поняла, что Порфирій Владимірычъ труситъ и что въ этой пустоутробной и изолгавшейся натурѣ трусость очень близко граничитъ съ ненавистью. Сверхъ того она отлично знала, что Порфирій Владимірычъ неспособенъ не только на привязанность, но даже и на простое жалѣнье, что онъ держитъ Евпраксеюшку лишь потому, что, благодаря ей, домашній обиходъ идетъ не сбиваясь съ однажды намѣченной колеи. Заручившись этими несложными данными, Улитушка имѣла полную возможность ежеминутно питать и лелѣять то чувство ненависти, которое закипало въ душѣ Іудушки каждый разъ, когда что-нибудь напоминало ему о предстоящей «бѣдѣ».

Въ скоромъ времени цѣлая сѣть сплетенъ опутала Евпраксеюшку со всѣхъ сторонъ. Улитушка то и дѣло «докладывала» барину. То придетъ, пожалуется на безразсудное распоряженіе домашнею провизіей.

— Чтой-то, баринъ, какъ у васъ добра много выходитъ! Давеча пошла я на погребъ за солониной; думаю, давно ли другую кадку зачали — смотрю, анъ ее тамъ куска съ два ли, съ три ли на донышкѣ лежитъ!

— Неужто? — уставлялся въ нее глазами Іудушка.

— Кабы не сама своими глазами видѣла—не повѣрила бы! Даже удивительно, куда этакая прорва идетъ! Масла, крупъ, огурцовъ—всего! У другихъ господъ кашу-то людямъ съ гусинымъ жиромъ даютъ—таковскіе!—а у насъ—все съ масломъ, да все съ чухонскіимъ!

— Неужто?—почти пугался Порфирій Владимірычъ.

То придетъ и невзначай о барскомъ бѣльѣ доложитъ.

— Вы бы, баринушка, остановили Евпраксеюшку-то. Конечно, дѣло ея дѣвичье, непривычное, а вотъ хоть бы насчетъ бѣлья... Цѣлые вороха она этого бѣлья извела на простыни да на пелёнки, а бѣлье-то все тонкое!

Порфирій Владимірычъ только сверкнетъ глазами въ отвѣтъ, но вся его пустая утроба такъ и повернется при этихъ словахъ.

— Извѣстно, младенца своего жалѣетъ!—продолжаетъ Улитушка медоточивымъ голосомъ.—Думаетъ, и ни вѣсть что случилось... прынецъ народится! А между прочіимъ могъ бы онъ, младенецъ-то, и на посконныхъ простынькахъ уснуть... въ ихнемъ званіи!

Иногда она даже попросту поддразнивала Іудушку.

— А что я васъ хотѣла, баринушка, спросить,—начинала она:—какъ вы насчетъ младенца-то располагаете? Сынкомъ, что ли, своимъ его сдѣлаете, или, по примѣру прочіихъ, въ воспитательный?..

Но Порфирій Владимірычъ въ самомъ началѣ прерывалъ вопросъ такимъ мрачнымъ взглядомъ, что Улитушка умолкала.

И вотъ, посреди закипавшей со всѣхъ сторонъ ненависти, все ближе и ближе надвигалась минута, когда появленіе на свѣтъ крошечнаго, плачущаго «раба божія» должно было разрѣшить чѣмъ-нибудь царствовавшую въ головлевскомъ домѣ нравственную сумятицу и въ то же время увеличить собой число прочихъ плачущихъ «рабовъ божіихъ», населяющихъ вселенную.

Седьмой часъ вечера. Порфирій Владимірычъ успѣлъ уже выспаться послѣ обѣда и сидитъ у себя въ кабинетѣ, исписывая цифирными выкладками листы бумаги. На этотъ разъ его занимаетъ вопросъ: сколько было бы у него теперь денегъ, если-бъ маменька Арина Петровна подаренные ему при рожденіи дѣдушкой Петромъ Иванычемъ, на зубокъ, сто рублей ассигнаціями не присвоила себѣ, а положила бы вкладомъ въ ломбардъ на имя малолѣтняго Пор-

фирія? Выходитъ, однако, немного: всего восемьсотъ рублей ассигнаціями.

«Положимъ, что капиталъ и небольшой, — праздномыслитъ Іудушка: — а все-таки хорошо, когда знаешь, что про черный день есть. Занадобилось—и взялъ. Ни у кого не попросилъ, никому не поклонился — самъ взялъ, свое, кровное, дѣдушкой подаренное! Ахъ, маменька, маменька! и какъ это вы, другъ мой, такъ, очертя голову, дѣйствовали!»

Увы, Порфирій Владимірычъ уже успокоился отъ тревогъ, которыя еще такъ недавно парализовали его праздномысліе. Своеобразные проблески совѣсти, пробужденные затрудненіями, въ которыя его поставили беременность Евпраксеюшки и неожиданная смерть Арины Петровны, мало-по-малу затихли. Пустомысліе сослужило и тутъ свою обычную службу, и Іудушкѣ, въ концѣ концовъ, удалось-таки, съ помощью неимовѣрныхъ усилій, утопить представленіе о «бѣдѣ» въ безднѣ праздныхъ словъ. Нельзя сказать, чтобъ онъ сознательно на что-нибудь рѣшился, но какъ-то само собой вдругъ вспомнилась старая излюбленная формула: «ничего я не знаю! ничего я не позволяю и ничего не разрѣшаю!»—къ которой онъ всегда прибѣгалъ въ затруднительныхъ обстоятельствахъ, и очень скоро положила конецъ внутренней сумятицѣ, временно взволновавшей его. Теперь онъ ужъ смотрѣлъ на предстоящіе роды какъ на дѣло, до него не относящееся, а потому и самому лицу своему постарался сообщить выраженіе безстрастное и непроницаемое. Онъ почти игнорировалъ Евпраксеюшку и даже не называлъ ее по имени, а ежели случалось иногда спросить о ней, то выражался такъ: «а что *та*... все еще больна?» Словомъ сказать, оказался настолько сильнымъ, что даже Улитушка, которая въ школѣ крѣпостного права довольно-таки понаторѣла въ наукѣ сердцевѣдѣнія, поняла, что бороться съ такимъ человѣкомъ, который на все согласенъ—совершенно нельзя.

Головлевскій домъ погруженъ въ тьму; только въ кабинетѣ у барина да еще въ дальней боковушкѣ у Евпраксеюшки мерцаетъ свѣтъ. На Іудушкиной половинѣ царствуетъ тишина, прерываемая щелканьемъ на счетахъ да шуршаньемъ карандаша, которымъ Порфирій Владимірычъ дѣлаетъ на бумагѣ цифирныя выкладки. И вдругъ, среди общаго безмолвія, въ кабинетъ врывается отдаленный, но раздирающій стонъ. Іудушка вздрагиваетъ; губы его мо-

ментально трясутся; карандашъ дѣлаетъ неподлежащій жтрихъ.

«Сто двадцать одинъ рубль да двѣнадцать рублей десять копеекъ...»—шепчетъ Порфирій Владимірычъ, усиливаясь заглушить непріятное впечатлѣніе, произведенное стономъ.

Но стоны повторяются чаще и чаще, и дѣлаются, наконецъ, безпокойными. Работа становится настолько неудобною, что Іудушка оставляетъ письменный столъ. Сначала онъ ходитъ по комнатѣ, стараясь не слышать; но любопытство мало-по-малу беретъ верхъ надъ пустоутробіемъ. Потихоньку пріотворяетъ онъ дверь кабинета, просовываетъ голову въ тьму сосѣдней комнаты и въ выжидательной позѣ прислушивается.

— Ахти! никакъ и лампадку передъ иконой «Утоли моя печали» засвѣтить позабыли!—мелькаетъ у него въ головѣ.

Но вотъ послышались въ коридорѣ чьи-то ускоренные, тревожные шаги. Порфирій Владимірычъ поспѣшно юркнулъ головой опять въ кабинетъ, осторожно притворилъ дверь и на цыпочкахъ рысцой подошелъ къ образу. Черезъ секунду онъ уже былъ «при всей формѣ», такъ что, когда дверь распахнулась и Улитушка вбѣжала въ комнату, то она застала его стоящимъ на молитвѣ, со сложенными руками.

— Какъ бы Евпраксеюшка-то у насъ Богу душу не отдала!—сказала Улитушка, не побоявшись нарушить молитвенное стояніе Іудушки.

Но Порфирій Владимірычъ даже не обернулся къ ней, а только поспѣшнѣе обыкновеннаго зашевелилъ губами и вмѣсто отвѣта помахалъ одной рукой въ воздухѣ, словно отмахиваясь отъ назойливой мухи.

— Что рукою-то дрыгаете! Плоха, говорю, Евпраксеюшка,—того и гляди помретъ!—грубо настаивала Улитушка.

На сей разъ Іудушка обернулся, но лицо у него было такое спокойное, елейное, какъ будто онъ только что, въ созерцаніи божества, отложилъ всякое житейское попеченіе и даже не понимаетъ, по какому случаю могутъ тревожить его.

— Хоть и грѣхъ по молитвѣ бранить, но, какъ человѣкъ, не могу не попенять: сколько разъ я просилъ не тревожить меня, когда я на молитвѣ стою!—сказалъ онъ приличествующимъ молитвенному настроенію голосомъ, по-

зволивъ себѣ, однако, покачать головой въ знакъ христіанской укоризны.—Ну, что еще такое у васъ тамъ?

— Чему больше быть: Евпраксеюшка мучится, разродиться не можетъ! Точно въ первый разъ слышите... ахъ, вы! Хоть бы взглянули!

— Что же смотрѣть! Докторъ я, что ли? Совѣтъ, что ли, дать могу? Да и не знаю я, никакихъ я вашихъ дѣлъ не знаю! Знаю, что въ домѣ больная есть, а чѣмъ больна и отчего больна—объ этомъ и узнавать, признаться, не любопытствовалъ! Вотъ за батюшкой послать, коли больная трудна—это я присовѣтовать могу! Пошлите за батюшкой, вмѣстѣ помолитесь, лампадочки у образовъ засвѣтите... а послѣ мы съ батюшкой чайку попьемъ!

Порфирій Владимірычъ былъ очень доволенъ, что онъ въ эту рѣшительную минуту такъ категорически выразился. Онъ смотрѣлъ на Улитушку свѣтло и увѣренно, словно говорилъ: а, нутка опровергни теперь меня! Даже Улитушка не нашлась въ виду этого благодушія.

— Пришли бы! взглянули бы!—повторила она въ другой разъ.

— Не приду, потому что ходить незачѣмъ. Кабы за дѣломъ, я бы и безъ зова твоего пошелъ. За пять верстъ нужно по дѣлу идти—за пять верстъ пойду; за десять верстъ нужно—и за десять верстъ пойду! И морозецъ на дворѣ, и мятелица, а я все иду да иду! Потому знаю: дѣло есть, нельзя не идти!

Улитушкѣ думалось, что она спитъ, и въ сонномъ видѣніи самъ сатана предсталъ передъ нею и разглагольствуетъ.

— Вотъ за попомъ послать, это—такъ. Это дѣльно будетъ. Молитва—ты знаешь ли, что объ молитвѣ-то въ писаніи сказано? Молитва—*недужныхъ исцѣленіе*—вотъ что сказано! Такъ ты такъ и распорядись! Пошлите за батюшкой, помолитесь вмѣстѣ... и я въ это же время помолюсь! Вы тамъ, въ образной, помолитесь, а я здѣсь, у себя, въ кабинетѣ, у Бога милости попрошу... Общими силами: вы тамъ, я тутъ—смотришь, анъ молитва-то и дошла!

Послали за батюшкой, но прежде, нежели онъ успѣлъ придти, Евпраксеюшка, въ терзаніяхъ и мукахъ, ужъ разрѣшилась. Порфирій Владимірычъ могъ догадаться по бѣготнѣ и хлопанью дверьми, которыя вдругъ поднялись въ сторонѣ дѣвичьей, что случилось что-нибудь рѣшительное. И дѣйствительно, черезъ нѣсколько минутъ въ коридорѣ

вновь послышались торопливые шаги и вслѣдъ затѣмъ въ кабинетъ на всѣхъ парусахъ влетѣла Улитушка, держа въ рукахъ крохотное существо, завернутое въ бѣлье.

— Натко-те! Погляднтко-те!—возгласила она торжественнымъ голосомъ, поднося ребенка къ самому лицу Порфирія Владимірыча.

Іудушку на мгновеніе словно бы поколебало; даже корпусъ его пошатнулся впередъ и въ глазахъ блеснула какая-то искорка. Но это было именно только на одно мгновеніе, потому что вслѣдъ затѣмъ онъ уже брезгливо отвернулъ свое лицо отъ младенца и обѣими руками замахалъ въ его сторону.

— Нѣтъ, нѣтъ! боюсь я ихъ... не люблю! Ступай... ступай!—лепеталъ онъ, выражая всѣмъ лицомъ своимъ безконечную гадливость.

— Да вы хоть бы спросили: мальчикъ или дѣвочка!—увѣщевала его Улитушка.

— Нѣтъ, нѣтъ... и не зачѣмъ... и не мое это дѣло! Ваши это дѣла, а я не знаю... Ничего я не знаю и знать мнѣ не нужно... Уйди отъ меня, ради Христа, уйди!

Опять сонное видѣніе, и опять сатана... Улитушку даже взорвало.

— А вотъ я возьму да на диванъ вамъ и брошу... няньчитесь съ нимъ!—пригрозила она.

Но Іудушка былъ не такой человѣкъ, котораго можно было пронять. Въ то время, когда Улитушка произносила свою угрозу, онъ уже повернулся лицомъ къ образамъ и скромно воздѣвалъ руками. Очевидно, онъ просилъ Бога простить всѣмъ: и тѣмъ, «иже вѣдѣніемъ и невѣдѣніемъ», и тѣмъ, «иже словомъ, или дѣломъ, или помышленіемъ», а за себя благодарилъ, что онъ—не тать, и не мздоимецъ, и не прелюбодѣй, и что Богъ, по милости своей, укрѣпилъ его на стезѣ праведныхъ. Даже носъ у него вздрагивалъ отъ умиленія, такъ что Улитушка, наблюдавшая за нимъ, плюнула и ушла.

«Вотъ одного Володьку Богъ взялъ—другого Володьку далъ!»—какъ-то совсѣмъ некстати сорвалось у него съ мысли; но онъ тотчасъ же подмѣтилъ эту неожиданную игру ума и мысленно проговорилъ:—«тьфу! тьфу! тьфу!»

Пришелъ и батюшка, попѣлъ и покадилъ. Іудушка слышалъ, какъ дьячокъ тянулъ: «Заступница усердная!» и самъ разохотился—подтянулъ дьячку. Опять прибѣжала Улитушка, крикнула въ дверь:

— Володимеромъ назвали!

Странное совпаденіе этого обстоятельства съ недавнею аберраціей мысли, тоже напоминавшей о погибшемъ Володькѣ, умилило Іудушку. Онъ увидѣлъ въ этомъ божеское произволеніе и, на этотъ разъ уже не отплевываясь, сказалъ самому себѣ:

«Вотъ и слава Богу! Одного Володьку Богъ взялъ, другого—далъ! Вотъ оно, Богъ-то! Въ одномъ мѣстѣ теряешь, думаешь, что и не найдешь—анъ Богъ-то возьметъ да въ другомъ мѣстѣ сторицей вознаградитъ!»

Наконецъ, доложили, что самоваръ поданъ и батюшка ожидаетъ въ столовой. Порфирій Владимірычъ окончательно стихъ и умилился. Отецъ Александръ, дѣйствительно, уже сидѣлъ въ столовой, въ ожиданіи Порфирія Владимірыча. Головлевскій батюшка былъ человѣкъ политичный и старавшійся придерживаться въ сношеніяхъ съ Іудушкой свѣтскаго тона; но онъ очень хорошо понималъ, что въ господской усадьбѣ еженедѣльно и подъ большіе праздники совершаются всенощныя бдѣнія, а сверхъ того каждое 1-е число служится молебенъ, и что все это доставляетъ причту не менѣе ста рублей въ годъ дохода. Кромѣ того, ему не безызвѣстно было, что церковная земля еще не была надлежащимъ образомъ отмежевана, и что Іудушка не разъ, проѣзжая мимо поповскаго луга, говаривалъ: «Ахъ, хорошъ лужокъ!» Поэтому въ свѣтское обращеніе батюшки примѣшивалась и немалая доля «страха іудейска», который выражался въ томъ, что батюшка, при свиданіяхъ съ Порфиріемъ Владимірычемъ, старался приводить себя въ свѣтлое и радостное настроеніе, хотя бы и не имѣлъ повода таковое ощущать, и когда послѣдній, въ разговорѣ, позволялъ себѣ развивать нѣкоторыя ереси относительно путей Провидѣнія, предбудущей жизни и прочаго, то, не одобряя ихъ прямо, видѣлъ, однако, въ нихъ не кощунство или богохульство, но лишь свойственное дворянскому званію дерзновеніе ума.

Когда Іудушка вошелъ, батюшка торопливо благословилъ его и еще торопливѣе отдернулъ руку, словно боялся, что кровопивецъ укуситъ ее. Хотѣлъ-было онъ поздравить своего духовнаго сына съ новорожденнымъ Владиміромъ, но подумалъ, какъ-то еще отнесется къ этому обстоятельству самъ Іудушка, и остерегся.

— Мѣшка на дворѣ нынѣ,—началъ батюшка:—по народнымъ примѣтамъ, въ коихъ, впрочемъ, частицею и сіе-

вѣріе примѣчается, оттепель таковая погода предзнаменуетъ.

— А можетъ-быть, и морозъ. мы загадываемъ про оттепель, а Богъ возьметъ да морозцу пошлетъ!—возразилъ Iудушка, хлопотливо и даже почти весело присаживаясь къ чайному столу, за которымъ на сей разъ хозяйничалъ лакей Прохоръ.

— Это точно, что человѣкъ нерѣдко, въ мечтаніи своемъ, стремится недосягаемая досягнуть и къ недоступному доступъ найти. А вслѣдствіе того или поводъ для раскаянія, или и самую скорбь для себя обрѣтаетъ.

— А потому и надо намъ отъ гаданій да отъ заглядываній подальше себя держать, а быть довольными тѣмъ, что̀ Богъ пошлетъ. Пошлетъ Богъ тепла—мы теплу будемъ рады; пошлетъ Богъ морозцу—и морозцу милости просимъ! Велимъ пожарче печечки натопить, а которые въ путь шествуютъ, тѣ въ шубки покрѣпче завернутся—вотъ и тепленько намъ будетъ!

— Справедливо!

— Многіе нынче любятъ кругомъ да около ходить: и то не такъ, и другое не по ихнему, и третье вотъ этакъ бы сдѣлать, а я этого не люблю. И самъ не загадываю, и въ другихъ не похвалю. Высокоуміе это—вотъ я какой взглядъ на такія попытки имѣю!

— И это справедливо.

— Мы всѣ здѣсь—странники; я такъ на себя и смотрю! Вотъ чайку попить, закусить что-нибудь легонькое... это намъ дозволено! Потому что Богъ намъ тѣло и прочія части далъ... Этого и правительство намъ не воспрещаетъ: кушать—кушайте, а языкъ за зубами держите!

— И опять-таки вполнѣ справедливо! — крякнулъ батюшка и отъ внутренняго ликованія стукнулъ о блюдечко донышкомъ опорожненнаго стакана.

— Я такъ разсуждаю, что умъ данъ человѣку не для того, чтобъ испытывать неизвѣстное, а для того, чтобъ воздерживаться отъ грѣховъ. Вотъ ежели я, напримѣръ, чувствую плотскую немощь или смущеніе и призываю на помощь умъ: укажи, молъ, пути, какъ мнѣ ту немощь побороть—вотъ тогда я поступаю правильно! Потому что въ этихъ случаяхъ умъ дѣйствительно пользу оказать можетъ.

— А больше, все-таки, вѣра,—слегка поправилъ батюшка.

— Вѣра—сама по себѣ, а умъ—самъ по себѣ. Вѣра на

цѣль указываетъ, а умъ—пути изыскиваетъ. Туда толкнется, тамъ постучится... блуждаетъ, а между тѣмъ и полезное что-нибудь отыщетъ. Вотъ лѣкарства разныя, травы цѣлебныя, пластыри, декокты—все это умъ изобрѣтаетъ и открываетъ. Но надобно, чтобъ все было согласно съ вѣрою—на пользу, а не на вредъ.

— И противъ этого возразить ничего не могу!

— Я, батя, книжку одну читалъ, такъ тамъ именно сказано: услугами ума, ежели оный вѣрою направляется, отнюдь не слѣдуетъ пренебрегать, ибо человѣкъ безъ ума въ скоромъ времени дѣлается игралищемъ страстей. А я даже такъ думаю, что и первое грѣхопаденіе человѣческое оттого произошло, что дьяволъ, въ образѣ змія, разсужденіе человѣческое затмилъ.

Батюшка на это не возражалъ, но и отъ похвалы воздержался, потому что не могъ себѣ еще уяснить, къ чему склоняется Іудушкина рѣчь.

— Часто мы видимъ, что люди не только впадаютъ въ грѣхъ мысленный, но и преступленія совершаютъ—и все черезъ недостатокъ ума. Плоть искушаетъ, а ума нѣтъ—вотъ человѣкъ и летитъ въ пропасть. И сладенькаго-то хочется, и веселенькаго, и пріятненькаго, и въ особенности ежели женскій полъ... какъ тутъ безъ ума уберечись? А коли ежели у меня есть умъ, я взялъ камфарки или маслица: тамъ потеръ, въ другомъ мѣстѣ подсыпалъ—смотришь, искушеніе-то съ меня какъ рукой сняло!

Іудушка замолчалъ, какъ бы выжидая, что̀ скажетъ на это батюшка, но батюшка все еще недоумѣвалъ, къ чему клонится Іудушкина рѣчь, и потому только крякнулъ и безъ всякаго резона сказалъ:

— Вотъ у меня на дворѣ куры... суетятся по случаю солноворота: бѣгаютъ, мечутся, мѣста нигдѣ сыскать не могутъ...

— И все оттого, что ни у птицъ, ни у звѣрей, ни у пресмыкающихъ—ума нѣтъ. Птица—это что̀ такое? Ни у ней горя, ни заботушки—летаетъ себѣ! Вотъ давеча, смотрю въ окно: копаются воробьи носами въ навозѣ—и будетъ съ нихъ! А человѣку—этого мало!

— Однако, въ иныхъ случаяхъ, и Писаніе на птицъ небесныхъ указываетъ!

— Въ иныхъ случаяхъ—это такъ. Въ тѣхъ случаяхъ, когда и безъ ума вѣра спасаетъ—тогда птицамъ подражать нужно. Вотъ Богу молиться, стихи сочинять...

Порфирій Владимірычъ умолкъ. Онъ былъ болтливъ по природѣ и, въ сущности, у него такъ и вертѣлось на языкѣ происшествіе дня. Но очевидно, не созрѣла еще форма, въ которой приличнымъ образомъ могли быть выражены разглагольствія по этому предмету.

— Птицамъ умъ не нуженъ,—наконецъ сказалъ онъ:— потому что у нихъ соблазновъ нѣтъ. Или, лучше сказать, есть соблазны, да никто съ нихъ за это не взыскиваетъ. У нихъ все натуральное: ни собственности нѣтъ, за которой нужно присмотрѣть, ни законныхъ браковъ нѣтъ, а слѣдовательно, нѣтъ и вдовства. Ни передъ Богомъ, ни передъ начальствомъ онѣ въ отвѣтѣ не состоятъ: одинъ у нихъ начальникъ—пѣтухъ!

— Пѣтухъ! пѣтухъ! Это такъ точно. Онъ у нихъ—въ родѣ какъ султанъ турецкій!

— А человѣкъ все такъ самъ для себя устроилъ, что ничего у него натуральнаго нѣтъ, а потому ему и ума много нужно. И самому чтобы въ грѣхъ не впасть, и другихъ бы въ соблазнъ не ввести. Такъ ли, батя?

— Истинная это правда. И писаніе совѣтуетъ соблазняющее око истребить.

— Это ежели буквально понимать, а можно и не истребляя ока, такъ устроить, чтобы оно не соблазнялось. Къ молитвѣ чаще обращаться, озлобленіе тѣлесное усмирять. Вотъ я, напримѣръ: и въ порѣ, и нельзя сказать, чтобъ хилъ... Ну, и прислуга у меня женская есть... а мнѣ и горюшка мало! Знаю, что безъ прислуги нельзя—ну, и держу! И мужскую прислугу держу, и женскую—всякую! Женская прислуга тоже въ хозяйствѣ нужна. На погребъ сходить, чайку налить, насчетъ закусочки распорядиться... ну, и Христосъ съ ней! Она свое дѣло дѣлаетъ, а я—свое... Вотъ мы и поживаемъ!

Говоря это, Іудушка старался смотрѣть батюшкѣ въ глаза; батюшка тоже, съ своей стороны, старался смотрѣть въ глаза Іудушкѣ. Но, къ счастью, между ними стояла свѣчка, такъ что они могли вволю смотрѣть другъ на друга и видѣть только пламя свѣчи.

— А притомъ я и такъ еще разсуждаю: ежели съ прислугой въ короткія отношенія войти — непремѣнно она командовать въ домѣ начнетъ. Пойдутъ это дрязги, да непорядки, перекоры да грубости: ты слово, а она—два... А я отъ этого устраняюсь.

У батюшки даже въ глазахъ зарябило: до того пристально

онъ смотрѣлъ на Іудушку. Поэтому и чувствуя, что свѣтскія приличія требуютъ, чтобы собесѣдникъ хоть отъ времени до времени вставлялъ слово въ общій разговоръ, онъ покачалъ головой и произнесъ:

— Тсс...

— А ежели при этомъ еще такъ поступать, какъ другіе... вотъ какъ сосѣдушка мой, господинъ Аннетовъ, напримѣръ, или другой сосѣдушка, господинъ Утробинъ... такъ и до грѣха недалеко. Вонъ у господина Утробина никакъ съ шесть человѣкъ этой пакости во дворѣ копается... А я этого не хочу. Я говорю такъ: коли Богъ у меня моего ангела-хранителя отнялъ—стало-быть, такъ Его святой волѣ угодно, чтобъ я вдовцомъ былъ. А ежели я, по милости Божіей,—вдовецъ, то, стало-быть, долженъ вдовѣть честно и ложе свое нескверно содержать. Такъ ли, батя?

— Тяжко, сударь!

— Самъ знаю, что тяжко, и все-таки исполняю. Кто говоритъ тяжко!—а я говорю: чѣмъ тяжче, тѣмъ лучше, только бы Богъ укрѣпилъ! Не всѣмъ сладенькаго да легонькаго—надо кому-нибудь и для Бога потрудиться! *Здѣсь* себя сократишь—*тамъ* получишь! *Здѣсь*—«трудомъ» это называется, а *тамъ*—заслугой зовется! Справедливо ли я говорю?

— Ужъ на что же справедливѣе!

— Тоже и объ заслугахъ надо сказать. И онѣ неравныя бываютъ. Одна заслуга большая, а другая заслуга—малая! А ты какъ бы думалъ?

— Какъ же возможно! Большая ли заслуга, или малая!

— Такъ вотъ оно на мое и выходитъ. Коли человѣкъ держитъ себя аккуратно: не срамословитъ, не суесловитъ, другихъ не осуждаетъ, коли онъ притомъ никого не огорчилъ, ни у кого ничего не отнялъ... ну, и насчетъ соблазновъ этихъ велъ себя осторожно—такъ и совѣсть у того человѣка завсегда покойна будетъ. И ничто къ нему не пристанетъ, никакая грязь! А ежели кто изъ-за угла и осудитъ его, такъ, по моему мнѣнію, такія осужденія даже въ расчетъ принимать не слѣдуетъ. Плюнуть на нихъ—и вся недолга!

— Въ сихъ случаяхъ христіанскія правила прощеніе преимущественнѣе рекомендуютъ!

— Ну, или простить! Я всегда такъ и дѣлаю: коли меня кто осуждаетъ, я его прощу да еще Богу за него помо-

люсь! И ему хорошо, что за него молитва до Бога дошла, да и мнѣ хорошо: помолился, да и забылъ!

— Вотъ это правило: ничто такъ не облегчаетъ души, какъ молитва. И скорби, и гнѣвъ, и даже болѣзнь—все отъ нея, какъ тьма нощная отъ солнца, бѣжитъ!

— Ну, вотъ и слава Богу! И всегда такъ вести себя нужно, чтобы жизнь наша, словно свѣча въ фонарѣ, вся со всѣхъ сторонъ видна была... и осуждать меньше будутъ—потому не за что! Вотъ хоть бы мы: посидѣли, поговорили, побесѣдовали—кто же можетъ насъ за это осудить? А теперь пойдемъ да Богу помолимся, а потомъ и баиньки. А завтра опять встанемъ... такъ ли, батюшка?

Іудушка всталъ и съ шумомъ отодвинулъ свой стулъ, въ знакъ окончанія собесѣдованія. Батюшка, съ своей стороны, тоже поднялся и занесъ-было руку для благословенія; но Порфирій Владимірычъ, въ видѣ особаго на сей разъ расположенія, поймалъ его руку и сжалъ ее въ обѣихъ своихъ.

— Такъ Владиміромъ, батюшка, назвали?—сказалъ онъ, печально качая головой въ сторону Евпраксеюшкиной комнаты.

— Въ честь святого и равноапостольнаго князя Владиміра, сударь.

— Ну, и слава Богу! Прислуга она усердная, вѣрная, а вотъ насчетъ ума—не взыщите! Оттого и впадаютъ онѣ... въ пре-лю-бо-дѣ-яніе!

Весь слѣдующій день Порфирій Владимірычъ не выходилъ изъ кабинета и молился, прося себѣ у Бога вразумленія. На третій день онъ вышелъ къ утреннему чаю не въ халатѣ, какъ обыкновенно, а одѣтый, по-праздничному, въ сюртукъ, какъ онъ всегда дѣлалъ, когда намѣревался приступить къ чему-нибудь рѣшительному. Лицо у него было блѣдно, но дышало душевнымъ просвѣтленіемъ: на губахъ играла блаженная улыбка; глаза смотрѣли ласково, какъ бы всепрощающе; кончикъ носа, вслѣдствіе молитвеннаго угобженія, слегка покраснѣлъ. Онъ молча выпилъ еще три стакана чаю и въ промежуткахъ, между глотками, шевелилъ губами, складывалъ руки и смотрѣлъ на образъ, какъ будто все еще, несмотря на вчерашній молитвенный трудъ, ожидалъ отъ него скорой помощи и предстательства. Наконецъ, пропустивъ послѣдній глотокъ, потребовалъ къ себѣ Улитушку и всталъ передъ образомъ, дабы еще разъ подкрѣпить себя божественнымъ собесѣдо-

ваніемъ, а въ то же время и Улитѣ наглядно показать, что тò, что имѣетъ произойти вслѣдъ за симъ—дѣло не его, а Богово. Улитушка, впрочемъ, съ перваго же взгляда на лицо Іудушки поняла, что въ глубинѣ его души рѣшено предательство.

— Вотъ я и Богу помолился!—началъ Порфирій Владимірычъ, и въ знакъ покорности его святой волѣ опустилъ голову и развелъ руками.

— И распрекрасное дѣло!—отвѣтила Улитушка, но въ голосѣ ея звучала такая несомнѣнная проницательность, что Іудушка невольно поднялъ на нее глаза.

Она стояла передъ нимъ въ обыкновенной своей позѣ, одну руку положивъ поперекъ груди, другую—уперши въ подбородокъ; но по лицу ея такъ и свѣтились искорки смѣха. Порфирій Владимірычъ слегка покачалъ головой, въ знакъ христіанской укоризны.

— Небось, Богъ милости прислалъ?—продолжала Улитушка, не смущаясь предостерегательнымъ движеніемъ своего собесѣдника.

— Все-то ты кощунствуешь!—не выдержалъ Іудушка.—Сколько разъ я и лаской, и шуточкой старался тебя отъ этого остеречь, а ты все свое! Злой у тебя языкъ... ехидный!

— Ничего я, кажется... Обыкновенно, коли Богу помолились—значитъ, Богъ милости прислалъ!

— То-то вотъ «кажется»! А ты не все, что тебѣ «кажется», зря болтай; иной разъ и помолчать умѣй! Я объ дѣлѣ, а она «кажется»!

Улитушка только переступила съ ноги на ногу, вмѣсто отвѣта, какъ бы выражая этимъ движеніемъ, что все, что Порфирій Владимірычъ имѣетъ сказать ей, давнымъ-давно ей извѣстно и переизвѣстно.

— Ну, такъ слушай же ты меня!—началъ Іудушка.—Молился я Богу, и вчера молился, и сегодня, и все выходитъ, что какъ-никакъ, а надо намъ Володьку пристроить.

— Извѣстно, надо пристроить! Не щенокъ—въ болото не бросишь!

— Стой, погоди! Дай мнѣ слово сказать... язва ты, язва! Ну, такъ вотъ я и говорю: какъ-никакъ, а надо Володьку пристроить. Первое дѣло, Евпраксеюшку пожалѣть нужно, а второе дѣло—и его человѣкомъ сдѣлать.

Порфирій Владимірычъ взглянулъ на Улитушку, вѣроятно, ожидая, что вотъ-вотъ она всласть съ нимъ пока-

лякаетъ, но она отнеслась къ дѣлу совершенно просто и даже цинически.

— Мнѣ, что ли, въ воспитательный-то везти?—спросила она, смотря на него въ упоръ.

— Ахъ-ахъ!—вступился Іудушка:—ужъ ты и рѣшила... Тарантà Егоровна! Ахъ, Улитка, Улитка! все-то у тебя на умѣ прыгъ да шмыгъ! все бы тебѣ поболтать да поегозить! А почему ты знаешь: можетъ, я и не думаю объ воспитательномъ? Можетъ, я такъ... другое что-нибудь для Володьки придумалъ?

— Что-жъ, и другое чтò—и въ этомъ худого нѣтъ!

— Вотъ я и говорю: хоть, съ одной стороны, и жалко Володьку, а съ другой стороны, коли поразсудить да поразмыслить—анъ выходитъ, что дома его держать намъ не приходится!

— Извѣстное дѣло! чтò люди скажутъ? Скажутъ: откуда, молъ, въ головлевскомъ домѣ чужой мальчишечка проявился?

— И это, да еще и то: пользы для него никакой дома не будетъ. Мать молода—баловать будетъ; я, старый, хотя и съ боку-припёку, а за вѣрную службу матери... туда же, пожалуй! Нѣтъ-нѣтъ—да и снизойдешь. Гдѣ бы за проступокъ посѣчь малаго, а тутъ, за тѣмъ да за сѣмъ... Да и слёзъ бабьихъ да крику не оберешься—ну, и махнешь рукой! Такъ ли?

— Справедливо это. Надоѣстъ.

— А мнѣ хочется, чтобъ все у насъ хорошохонько было. Чтобъ изъ него, изъ Володьки-то, со временемъ настоящій человѣкъ вышелъ. И Богу слуга, и царю—подданный. Коли ежели Богъ его крестьянствомъ благословитъ, такъ чтобы землю работать умѣлъ... Косить тамъ, пахать, дрова рубить—всего чтобы понемножку. А ежели ему въ другое званіе судьба будетъ, такъ чтобы ремесло зналъ, науку... Оттуда, слышь, и въ учителя нѣкоторые попадаютъ!

— Изъ воспитательнаго-то? прямо генералами дѣлаютъ?

— Генералами не генералами, а все-таки... Можетъ, и знаменитый какой-нибудь человѣкъ изъ Володьки выйдетъ! А воспитываютъ ихъ тамъ—отлично! Это ужъ я самъ знаю! Кроватки чистенькія, мамки здоровенькія, рубашечки на дѣтушкахъ бѣленькія, рожочки, сосочки, пеленочки... словомъ, все!

— Чего лучше... для незаконныхъ!

— А ежели онъ и въ деревню въ питомцы попадетъ—что-жъ, и Христосъ съ нимъ! Къ трудамъ пріучаться съ

малолѣтства будетъ; а вѣдь трудъ—та же молитва! Вотъ мы—мы настоящимъ манеромъ молимся. Встанемъ передъ образомъ, крестное знаменіе творимъ, и ежели наша молитва угодна Богу, то онъ намъ подаетъ за нее! А мужичокъ—тотъ трудится! Иной и радъ бы настоящимъ манеромъ помолиться, да ему врядъ и въ праздникъ поспѣть. А Богъ, все-таки, видитъ его труды—за труды ему подаетъ, какъ намъ за молитву. Не всѣмъ въ палатахъ жить да по баламъ прыгать—надо кому-нибудь и въ избеночкѣ курненькой пожить, за землицей-матушкой походить да похолить ее! А счастье-то—еще бабушка на-двое сказала—гдѣ оно! Иной и въ палатахъ, и въ нѣженьи живетъ, да черезъ золото слезы льетъ, а другой и въ соломку зароется, хлѣбца съ кваскомъ покушаетъ, а на душѣ-то у него рай! Такъ, что ли, я говорю?

— Чего лучше, какъ рай на душѣ!

— Такъ мы вотъ какъ съ тобой, голубушка, сдѣлаемъ. Возьми-ка ты проказника Володьку, заверни его тепленько да уютненько, да и скатай съ нимъ живымъ манеромъ въ Москву. Кибиточку я распоряжусь снарядить для васъ крытенькую, лошадочекъ парочку прикажу заложить, а дорога у насъ теперь гладкая, ровная: ни ухабовъ, ни выбоинъ—кати да покатывай! Только ты у меня смотри, чтобъ все честь-честью было. По-моему, по-головлевски... какъ я люблю! Сосочка чтобы чистенькая, рожочекъ... рубашеночекъ, простынекъ, свивальничковъ, пеленочекъ, одѣяльцевъ—всего чтобы вдоволь было. Бери! командуй! А не дадутъ, такъ меня, стараго, за бока бери—мнѣ жалуйся! А въ Москву пріѣдешь—на постояломъ остановись. Харчи тамъ, самоварчикъ, чайку—требуй! Ахъ, Володька, Володька! Вотъ грѣхъ какой случился! И жаль разстаться съ тобой, а дѣлать, братъ, нечего! Самъ послѣ пользу. увидишь, самъ будешь благодарить!

Іудушка слегка воздѣлъ руками и потрепеталъ губами, въ знакъ умной молитвы. Но это не мѣшало ему исподлобья взглядывать на Улитушку и подмѣчать язвительныя мелканія, которыми подергивалось лицо ея.

— Ты что? Сказать что-нибудь хочешь? — спросилъ онъ ее.

— Ничего я. Извѣстно-молъ: будетъ благодарить, коли благодѣтелевъ своихъ отыщетъ.

— Ахъ, ты, дурная, дурная! Да развѣ мы безъ билета его туда отдадимъ! А ты билетецъ возьми! По билетцу-то

мы и сами его какъ разъ отыщемъ! Вотъ выхолятъ, выкормятъ, уму-разуму научатъ, а мы съ билетцемъ и тутъ какъ тутъ: пожалуйте молодца нашего, Володьку-проказника, назадъ! Съ билетцемъ-то мы его со дна морского выудимъ... Такъ ли я говорю?

Но Улитушка ничего не отвѣтила на вопросъ; только язвительныя мельканія на лицѣ ея выступили еще рѣзче прежняго. Порфирій Владимірычъ не выдержалъ.

— Язва ты, язва!—сказалъ онъ.—Дьяволъ въ тебѣ сидитъ, чортъ... тьфу! тьфу! тьфу! Ну, будетъ. Завтра, чуть свѣтъ, возьмешь ты Володьку, да скорехонько, чтобъ Евпраксеюшка не слыхала, и отправляйтесь съ Богомъ въ Москву. Воспитательный-то знаешь?

— Важивала,—однословно отвѣтила Улитушка, какъ бы намекая на что-то въ прошломъ.

— А важивала—такъ тебѣ и книги въ руки. Стало-быть, и входы, и выходы—все должно быть тебѣ извѣстно. Смотри же, помѣсти его, да начальниковъ низенько попроси—вотъ такъ.

Порфирій Владимірычъ всталъ и поклонился, коснувшись рукою земли.

— Чтобъ ему хорошо тамъ было! Не какъ-нибудь, а настоящимъ бы манеромъ! Да билетецъ, билетецъ-то выправь. Не забудь! По билету мы его послѣ вездѣ отыщемъ! А на расходы я тебѣ двѣ двадцатипяти-рублевенькихъ отпущу. Знаю вѣдь я, все знаю! И тамъ сунуть придется, и въ другомъ мѣстѣ барашка въ бумажкѣ подарить... Ахти, грѣхи наши, грѣхи! Всѣ мы люди, всѣ человѣки, всѣ сладенькаго да хорошенькаго хотимъ! Вотъ и Володька нашъ! Кажется, великъ ли, и всего съ ноготокъ, а поди-ка, сколько ужъ денегъ стоитъ!

Сказавши это, Іудушка перекрестился и низенько поклонился Улитушкѣ, молчаливо рекомендуя ей не оставить проказника-Володьку своими попеченіями. Будущее приблудной семьи было устроено самымъ простымъ способомъ.

На другое утро послѣ этого разговора, покуда молодая мать металась въ жару и бреду, Порфирій Владимірычъ стоялъ передъ окномъ, въ столовой, шевелилъ губами и крестилъ стекло. Съ краснаго двора выѣзжала рогожная кибитка, увозившая Володьку. Вотъ она поднялась на горку, поровнялась съ церковью, повернула налѣво и скрылась въ

деревнѣ. Іудушка сотворилъ послѣднее крестное знаменіе и вздохнулъ:

«Вотъ батя намеднись про оттепель говорилъ,—сказалъ онъ самому себѣ:—анъ Богъ-то морозцу вмѣсто оттепели послалъ! Морозцу, да еще какого! Такъ-то и всегда съ нами бываетъ! Мечтаемъ мы, воздушные замки строимъ, умствуемъ, думаемъ и Бога самого перемудрить—а Богъ возьметъ да въ одну минуту все наше высокоуміе въ ничто обратитъ!»

VI.—Выморочный.

Агонія Іудушки началась съ того, что рессурсъ празднословія, которымъ онъ до сихъ поръ такъ охотно злоупотреблялъ, сталъ видимо сокращаться. Все вокругъ него опустѣло: одни—перемерли, другіе—ушли. Даже Аннинька, несмотря на жалкую будущность кочующей актрисы, не соблазнилась головлевскими привольями. Оставалась одна Евпраксеюшка, но независимо отъ того, что это былъ рессурсъ очень ограниченный, и въ ней произошла какая-то порча, которая не замедлила пробиться наружу и разъ навсегда убѣдить Іудушку, что красные дни прошли для него безвозвратно.

До сихъ поръ Евпраксеюшка была до такой степени беззащитна, что Порфирій Владимірычъ могъ угнетать ее безъ малѣйшихъ опасеній. Благодаря крайней неразвитости ума и врожденной дряблости характера, она даже не чувствовала этого угнетенія. Покуда Іудушка срамословилъ, она безучастно смотрѣла ему въ глаза и думала совсѣмъ о другомъ. Но теперь она вдругъ нѣчто поняла, и ближайшимъ результатомъ пробудившейся способности пониманія явилось внезапное, еще несознанное, но злое и непобѣдимое отвращеніе.

Очевидно, пребываніе въ Головлевѣ погорѣлковской барышни не прошло безслѣдно для Евпраксеюшки. Хотя послѣдняя и не могла дать себѣ отчета, какого рода боли вызвали въ ней случайные разговоры съ Аннинькой, но внутренно она почувствовала себя совершенно взбудораженною. Прежде ей никогда не приходило въ голову спросить себя, зачѣмъ Порфирій Владимірычъ, какъ только встрѣтитъ живого человѣка, такъ тотчасъ же начинаетъ опутывать его цѣлою сѣтью словесныхъ обрывковъ, въ которыхъ ни за что уцѣпиться невозможно, но отъ которыхъ дѣлается невыносимо тяжело; теперь ей стало ясно,

что Іудушка, въ строгомъ смыслѣ не разговариваетъ, а «тиранитъ», и что, слѣдовательно, нелишне его «осадить», дать почувствовать, что и ему пришла пора «честь знать». И вотъ она начала вслушиваться въ его безконечныя словоизліянія, и дѣйствительно только одно въ нихъ и поняла: что Іудушка пристаетъ, досаждаетъ, зудитъ.

«Вотъ барышня говорила, будто онъ и самъ не знаетъ, зачѣмъ говоритъ,—разсуждала она сама съ собою:—нѣтъ, въ немъ это злость дѣйствуетъ! Знаетъ онъ, который человѣкъ противъ него защиты не имѣетъ—ну, и вертитъ имъ, какъ ему любо!»

Впрочемъ, это было еще второстепенное обстоятельство. Главнымъ образомъ дѣйствіе пріѣзда Аннинъки въ Головлево выразилось въ томъ, что онъ взбунтовалъ въ Евпраксеюшкѣ инстинкты ея молодости. До сихъ поръ эти инстинкты какъ-то тупо тлѣли въ ней; теперь—они горячо и привязчиво вспыхнули. Многое она поняла изъ того, къ чему прежде относилась совсѣмъ безучастно. Вотъ, напримѣръ: почему же нибудь да не согласилась Аннинька остаться въ Головлевѣ, такъ-таки напрямикъ и сказала: «страшно!» Почему такъ? А потому просто, что она молода, что ей «жить хочется». Вотъ и она, Евпраксеюшка, тоже молода... Да, молода! Это только такъ кажется, будто молодость въ ней жиромъ заплыла—нѣтъ, временемъ куда тоже шибко она сказывается. И зоветъ, и манитъ; то замретъ, то опять вспыхнетъ. Думала она, что и съ Іудушкой дѣло обойдется, а теперь вотъ... «Ахъ, ты, гнилушка старая! Ишь вѣдь, какъ обошелъ!» Хорошо бы теперича съ дружкомъ пожить, да съ настоящимъ, съ молоденькимъ! Обнялися бы, завалилися! Сталъ бы милый дружокъ цѣловать-миловать, ласковыя слова на ушко говорить: ишь, молъ, ты бѣлая да разсыпчатая! «Ахъ, кикимора проклятая, нашелъ вѣдь чѣмъ—костями своими старыми—прельстить! Смотри, чай, и у погорѣлковской барышни молодчикъ есть! Безпремѣнно есть! То-то она подобрала хвосты да удрала. А тутъ вотъ сиди въ четырехъ стѣнахъ, жди, пока ему, старому, въ голову вступитъ!..»

Разумѣется, Евпраксеюшка не сразу заявила о своемъ бунтѣ, но, однажды вступивши на этотъ путь, уже не останавливалась. Отыскивала прицѣпки, припоминала прошлое, и между тѣмъ, какъ Іудушка даже не подозрѣвалъ, что внутри ея зрѣетъ какая-то темная работа, она молчаливо, *но ежеминутно* разжигала себя до ненависти. Сперва явп-

лись общія жалобы, въ родѣ: «чужой вѣкъ заѣлъ»; потомъ наступила очередь для сравненій. «Вотъ въ Мазулинѣ Палагеюшка у барина въ экономкахъ живетъ: сидитъ руки скламши да въ шелковыхъ платьяхъ ходитъ. Ни она на скотный, ни на погребъ—сидитъ у себя въ покойчикѣ да бисеромъ вяжетъ!» И всѣ эти обиды и протесты заканчивались однимъ общимъ воплемъ:

«Ужъ какъ же у меня теперича противъ тебя, распостылаго, сердце разожглось! Ну, такъ разожглось! такъ разожглось!»

Къ этому главному поводу присоединился и еще одинъ, который былъ въ особенности тѣмъ дорогъ, что могъ послужить отличнѣйшею прицѣпкою для вступленія въ борьбу. А именно, воспоминаніе о родахъ и объ исчезновеніи сына Володьки.

Въ то время, когда произошло это исчезновеніе, Евпраксеюшка отнеслась къ этому факту какъ-то тупо. Порфирій Владимірычъ ограничился тѣмъ, что объявилъ ей объ отдачѣ новорожденнаго въ добрыя руки, а чтобъ утѣшить—подарилъ ей новый шалевый платокъ. Затѣмъ все опять заплыло и пошло по-старому. Евпраксеюшка даже рьянѣе прежняго окунулась въ тину хозяйственныхъ мелочей, словно хотѣла на нихъ сорвать неудавшееся свое материнство. Но продолжало ли потихоньку теплиться материнское чувство въ Евпраксеюшкѣ, или просто ей блажь въ голову вступила, во всякомъ случаѣ, воспоминаніе о Володькѣ вдругъ воскресло. И воскресло въ ту самую минуту, когда на Евпраксеюшку повѣяло чѣмъ-то новымъ, свободнымъ, вольнымъ, когда она почувствовала, что есть иная жизнь, сложившаяся совсѣмъ иначе, нежели въ стѣнахъ головлевскаго дома. Понятно, что придирка была слишкомъ хороша, чтобъ не воспользоваться ею.

«Ишь вѣдь что сдѣлалъ!—разжигала она себя:—робёнка огнялъ! Словно щенка въ омутѣ утопилъ!»

Мало-по-малу мысль эта овладѣла ею всецѣло. Она и сама повѣрила какому-то страстному желанію вновь соединиться съ ребенкомъ, и чѣмъ назойливѣе разгоралось это желаніе, тѣмъ больше и больше силы пріобрѣтала ея досада противъ Порфирія Владимірыча.

«По крайности, теперь хоть забава бы у меня была! Володя! Володюшка! рождной мой! Гдѣ-то ты? Чай, къ напевницѣ въ деревню спихнули! Ахъ, прднасти на васъ нѣтъ, господа вы проклятые! Надѣлаютъ робятъ, да и за-

бросятъ, какъ щенятъ, въ яму: никто, молъ, не спроситъ съ насъ! Лучше бы мнѣ въ ту пору ножомъ себя по горлу полыхнуть, нечѣмъ ему, охаверннку, надъ собой надругаться давать!»

Явилась ненависть, желаніе досадить, изгадить жизнь, извести: началась несноснѣйшая изъ всѣхъ войнъ — война придирокъ, поддразниваній, мелкихъ уколовъ. Но именно только такая война и могла сломить Порфирія Владимірыча.

Однажды, за утреннимъ чаемъ, Порфирій Владимірычъ былъ очень непріятно изумленъ. Обыкновенно онъ въ то время источалъ изъ себя цѣлыя массы словеснаго гноя, а Евпраксеюшка, съ блюдечкомъ чая въ рукѣ, молча внимала ему, зажавъ зубами кусокъ сахара и отъ времени до времени фыркая. И вдругъ, только что началъ онъ развивать мысль (къ чаю въ этотъ день былъ поданъ теплый, свѣжеиспеченный хлѣбъ), что хлѣбъ бываетъ разный: видимый, который мы *ѣдимъ* и черезъ это тѣло свое поддерживаемъ, и невидимый, духовный, который мы *вкушаемъ* и тѣмъ стяжаемъ себѣ душу, какъ Евпраксеюшка самымъ безцеремоннымъ образомъ перебила его разглагольствія.

— Сказываютъ, въ Мазулинѣ Палагеюшка хорошо живетъ! — начала она, обернувшись всѣмъ корпусомъ къ окну и развязно покачивая ногами, сложенными одна на другую.

Іудушка слегка вздрогнулъ отъ неожиданности, но на первый разъ, однако, не придалъ этому случаю особеннаго значенія.

— И ежели мы долго не ѣдимъ хлѣба видимаго,—продолжалъ онъ:—то чувствуемъ голодъ тѣлесный; если же продолжительное время не вкушаемъ хлѣба духовнаго...

— Палагеюшка, слышь, въ Мазулинѣ хорошо живетъ!— вновь перебила его Евпраксеюшка, и на этотъ разъ уже, очевидно, не-спроста.

Порфирій Владимірычъ вскинулъ на нее изумленные глаза, но все-таки воздержался отъ выговора, словно бы почуялъ что-то недоброе.

— А хорошо живетъ Палагеюшка—такъ и Христосъ съ ней!—кротко молвилъ онъ въ отвѣтъ.

Ейный-то господинъ,—продолжала колобродить Евпраксеюшка:—*никакихъ* непріятностевъ ей не дѣлаетъ, ни

работой не принуждаетъ, а между прочимъ зàвсе въ шолковыхъ платьяхъ водитъ.

Изумленіе Порфирія Владимірыча росло. Рѣчи Евпраксеюшки были до такой степени ни съ чѣмъ несообразны, что онъ даже не нашелся, что̀ предпринять въ данномъ случаѣ.

— И на всякій день у нея платья разныя,— словно во снѣ бредила Евпраксеюшка:—на-сегодня — одно, на-завтра — другое, а на праздникъ—особенное. И въ церкву въ коляскѣ четверней ѣздятъ: сперва она, потомъ господинъ. А попъ, какъ увидитъ коляску, трезвонить начинаетъ. А потомъ она у себя въ своей комнатѣ сидитъ. Коли господину желательно съ ней время провести — господина у себя принимаетъ, а не то такъ съ дѣвушкой, съ горничной ейной, разговариваетъ или бисеромъ вяжетъ!

— Ну, такъ что-жъ?—очнулся, наконецъ, Порфирій Владимірычъ.

— Объ томъ-то я и говорю, что Палагеюшкино житье очень ужъ хорошо!

— А твое, небось, хуже житье? Ахъ-ахъ-ахъ, какая ты, однакожъ... ненасытная!

Смолчи на этотъ разъ Евпраксеюшка — Порфирій Владимірычъ, конечно, разразился бы цѣлымъ потокомъ бездѣльныхъ словъ, въ которомъ безслѣдно потонули бы всѣ дурацкіе намеки, возмутившіе правильное теченіе его празднословія. Но Евпраксеюшка, повидимому, и намѣренія не имѣла молчать.

— Что говорить! — огрызнулась она: — и мое житье не худое! Въ затрапезахъ не хожу, и то слава те, Господи! Въ прошломъ году за два ситцевыхъ платья по пяти рублей отдали... расшиблись!

— А шерстяное-то платье позабыла? А платокъ-то недавно кому купили? Ахъ-ахъ-ахъ!

Вмѣсто отвѣта Евпраксеюшка уперлась въ столъ рукой, въ которой держала блюдечко, и метнула въ сторону Іудушки косой взглядъ, исполненный такого глубокаго презрѣнія, что ему съ непривычки сдѣлалось жутко.

— А ты знаешь ли, какъ Богъ за неблагодарность-то наказываетъ?—какъ-то нерѣшительно залепеталъ онъ, надѣясь, что хоть напоминаніе о Богѣ сколько-нибудь образумитъ неизвѣстно съ чего взбаломутившуюся бабу. Но Евпраксеюшка не только не пронялась этимъ напоминаніемъ, но тутъ же на первыхъ словахъ оборвала его.

— Нечего, нечего зубы-то заговаривать! Нечего на Бога указывать!—сказала она:—не маленькая! Будетъ! Повластвовали! потиранили!

Порфирій Владимірычъ замолчалъ. Налитой стаканъ съ чаемъ стоялъ передъ нимъ почти остывшій, но онъ даже не притрогивался къ нему. Лицо его поблѣднѣло, губы слегка вздрагивали, какъ бы усиливаясь сложиться въ усмѣшку, но безъ успѣха.

— А вѣдь это—Анюткины штуки! Это она, ехидная, натравила тебя! — наконецъ, произнесъ онъ, самъ, впрочемъ, не отдавая себѣ яснаго отчета въ томъ, что говоритъ.

— Какія же это штуки?

— Да вотъ, что ты разговаривать-то со мной начала... Она, она научила! Некому другому, какъ ей!—волновался Порфирій Владимірычъ.—Смотритка-те, ни съ того, ни съ сего, вдругъ шолковыхъ платьевъ захотѣлось! Да ты знаешь ли, безстыдница, кто изъ вашего званья въ шолковыхъ-то платьяхъ ходитъ?

— Скажите, такъ буду знать!

— Да просто самыя... ну, самыя безпутныя—тѣ только ходятъ!

Но Евпраксеюшка даже этимъ не усовѣстилась, но, напротивъ того, съ какою-то наглою резонностью отвѣтила:

— Не знаю, почему онѣ безпутныя... Извѣстно, господа требуютъ... Который господинъ нашу сестру на любовь съ собой склонилъ... ну, и живетъ она, значитъ... съ имъ! И мы съ вами не молебны, чай, служимъ, а тѣмъ же, чѣмъ и мазулинскій баринъ, занимаемся.

— Ахъ, ты... тьфу! тьфу! тьфу!

Порфирій Владимірычъ даже помертвѣлъ отъ неожиданности. Онъ смотрѣлъ во всѣ глаза на взбунтовавшуюся наперсницу, и цѣлая масса праздныхъ словъ такъ и закипала у него въ груди. Но въ первый разъ въ жизни онъ смутно заподозрилъ, что бываютъ случаи, когда и праздными словомъ убить человѣка нельзя.

— Ну, голубушка, съ тобой, я вижу, сегодня не сговорить!—сказалъ онъ, вставая изъ-за стола.

— И сегодня не сговорите, и завтра не сговорите... никогда! Будетъ! Повластвовали! Наслушалась я довольно; послушайте теперь вы, каковы мои слова будутъ!

Порфирій Владимірычъ бросился-было на нее съ сжатыми кулаками, но она такъ рѣшительно выпятила впередъ свою грудь, что онъ внезапно опѣшилъ. Оборотился лицомъ

къ образу, воздѣлъ руки, потрепеталъ губами и тихимъ шагомъ побрелъ въ кабинетъ.

Весь этотъ день ему было не по себѣ. Онъ еще не имѣлъ опредѣленныхъ опасеній за будущее, но уже одно то волновало его, что случился такой фактъ, который совсѣмъ не входилъ въ обычное распредѣленіе его дня, и что фактъ этотъ прошелъ безнаказанно. Даже къ обѣду онъ не вышелъ, а притворился больнымъ и скромненько, притворно ослабѣвшимъ голосомъ, попросилъ принести ему поѣсть въ кабинетъ.

Вечеромъ, послѣ чаю, который, въ первый разъ въ жизни, прошелъ совершенно безмолвно, онъ всталъ, по обыкновенію, на молитву; но напрасно губы его шептали обычное послѣдованіе на сонъ грядущимъ: возбужденная мысль даже внѣшнимъ образомъ отказывалась слѣдить за молитвой. Какое-то дрянное, но неотступное безпокойство овладѣло всѣмъ его существомъ, а ухо невольно прислушивалось къ слабѣющимъ отголоскамъ дня, еще раздававшимся то тамъ, то сямъ, въ разныхъ углахъ головлевскаго дома. Наконецъ, когда пронесся гдѣ-то за стѣной послѣдній отчаянный зѣвокъ и вслѣдъ затѣмъ все вдругъ стихло, словно окунулось куда-то глубоко на дно, онъ не выдержалъ. Безшумно крадучись, побрелъ онъ вдоль коридора и, подойдя къ Евпраксеюшкиной комнатѣ, приложилъ къ двери ухо, чтобъ подслушать. Евпраксеюшка была одна, и слышно было только, какъ она, зѣвая, произноситъ: «Господи! Спасъ милостивый! Усопенья Матушка!» и въ то же время горстью чешетъ себѣ поясницу. Порфирій Владимірычъ попробовалъ взяться за ручку двери замка́, но дверь была заперта.

— Евпраксеюшка, ты здѣсь?—окликнулъ онъ.

— Здѣсь, да не про васъ!—огрызнулась она такъ грубо, что Іудушкѣ оставалось молча отретироваться въ кабинетъ.

На другой день послѣдовалъ другой разговоръ. Евпраксеюшка, какъ нарочно, выбирала время утренняго чая для уязвленія Порфирія Владимірыча. Словно она чутьемъ чуяла, что всѣ его бездѣльничества распредѣлены съ такою точностью, что нарушенное утро причиняло безпокойство и боль уже на цѣлый день.

— Посмотрѣла бы я, хоть бы глазкомъ бы полюбовалась, какъ нѣкоторые люди живутъ! — начала она какъ-то загадочно.

Порфирія Владимірыча всего передернуло.

«Начинается!» — подумалъ онъ, но смолчалъ и ждалъ, что дальше будетъ.

— Право, съ дружкомъ съ милымъ да съ молоденькимъ! Ходятъ по комнатамъ парочкой да другъ на дружку любуются! Ни онъ словомъ браннымъ ее не попрекнетъ, ни она противъ его. «Душенька моя» да «другъ мой»—только и разговора у нихъ! Мило, благородно!

Эта матерія была особенно ненавистна для Порфирія Владимірыча. Хотя онъ и допускалъ прелюбодѣяніе въ размѣрахъ строгой необходимости, но все-таки считалъ любовное времяпровожденіе бѣсовскимъ искушеніемъ. Однако, онъ и на этотъ разъ смалодушничалъ, тѣмъ больше, что ему хотѣлось чаю, который ужъ нѣсколько минутъ прѣлъ на канфоркѣ, а Евпраксеюшка и не думала наливать его.

— Конечно, изъ нашей сестры много глупыхъ бываетъ,— продолжала она, нахально раскачиваясь на стулѣ и барабаня рукой по столу:—иную такъ осѣтитъ, что она изъ-за ситцеваго платья на все готова, а другая и просто, безо всего, себя потеряетъ!.. Квасу, говоритъ, огурцовъ, пей-ѣшь сколько хочется! Нашли, чѣмъ прельстить!

— Такъ неужто-жъ изъ-за интереса одного...—рискнулъ робко замѣтить Порфирій Владимірычъ, слѣдя глазами за чайникомъ, изъ котораго уже начиналъ валить паръ.

— Кто говоритъ: изъ-за интереса изъ-за одного? Ужъ не я ли интересанкой сдѣлалась!—вдругъ кинулась въ сторону Евпраксеюшка:—куска, видно, стало жалко! Кускомъ попрекать стали!

— Я не попрекаю, а такъ говорю: не изъ одного, говорю, интереса люди...

— То-то «говорю»! Вы говорите, да не заговаривайтесь! Ишь ты, изъ интересу я служу! А позвольте спросить, какой такой интересъ я у васъ нашла? Окромя квасу да огурцовъ...

— Ну, не одинъ квасъ да огурцы... — не удержался, увлекся, въ свою очередь, Порфирій Владимірычъ.

— Что-жъ, сказывайте, сказывайте, что еще?

— А кто къ Николѣ каждый мѣсяцъ четыре мѣшка муки посылаетъ?

— Ну-съ, четыре мѣшка? Еще чего нѣтъ ли?

— Крупъ, масла постнаго... словомъ, всего...

— Ну, крупъ, масла постнаго... ужъ для родителевъ-то жалко стало! Ахъ, вы!

— Я не говорю, что жалко, а вотъ ты...

— Я же виновата сдѣлалась! Мнѣ куска безъ попрёковъ съѣсть не дадутъ, да я же виновата состою!

Евпраксеюшка не выдержала и залилась слезами. А чай между тѣмъ прѣлъ да прѣлъ на канфоркѣ, такъ что Порфирій Владимірычъ не на шутку встревожился. Поэтому онъ перемогъ себя, тихонько подсѣлъ къ Евпраксеюшкѣ и потрепалъ ее по спинѣ.

— Ну, добро, наливай-ка чай... чего разрюмилась!

Но Евпраксеюшка еще раза два-три всхлипнула, надула губы и уперлась мутными глазами въ пространство.

— Вотъ ты сейчасъ объ молоденькихъ говорила,—продолжалъ онъ, стараясь придать своему голосу ласкающую интонацію: — что-жъ, вѣдь и мы тово... не перестарки, чай, тоже!

— Нашли чего! Отстаньте отъ меня!

— Право-ну! Да я... знаешь ли ты... когда я въ департаментѣ служилъ, такъ за меня директоръ дочь свою выдать хотѣлъ!

— Протухлая, видно, была... кособокая какая-нибудь!

— Нѣтъ, какъ слѣдуетъ дѣвица... А какъ она «*Не шей ты мнѣ, матушка*» пѣла! Такъ пѣла! такъ пѣла!

— Она-то пѣла, да подшѣватель-то былъ плохой!

— Нѣтъ, я, кажется...

Порфирій Владимірычъ недоумѣвалъ. Онъ не прочь былъ даже поподличать, показать, что и онъ можетъ въ парочкѣ пройтись. Въ этихъ видахъ онъ началъ какъ-то нелѣпо раскачиваться всѣмъ корпусомъ и даже покусился обнять Евпраксеюшку за талію; но она грубо уклонилась отъ его протянутыхъ рукъ и сердито крикнула:

— Говорю честью: уйди, домовой! Не то кипяткомъ ошпарю! И чаю мнѣ вашего не надо! Ничего не надо! Ишь что вздумали — кускомъ попрекать начали! Уйду я отсюда! вотъ те Христосъ, уйду!

И она дѣйствительно ушла, хлопнувъ дверью и оставивъ Порфирія Владимірыча одного въ столовой.

Іудушка былъ совсѣмъ озадаченъ. Онъ началъ-было самъ наливать себѣ чай, но руки его до того дрожали, что потребовалась помощь лакея.

«Нѣтъ, этакъ нельзя! Надо какъ-нибудь это устроить... сообразить!»—шепталъ онъ, въ волненіи расхаживая взадъ и впередъ по столовой.

Но именно ни «устроить», ни «сообразить» онъ ничего не былъ въ состояніи. Мысль его до того привыкла пере-

скакивать отъ одного фантастическаго предмета къ другому, нигдѣ не встрѣчая затрудненій, что самый простой фактъ обыденной дѣятельности заставалъ его врасплохъ. Едва начиналъ онъ «соображать», какъ цѣлая масса пустяковъ обступала его со всѣхъ сторонъ и закрывала для мысли всякій просвѣтъ на дѣйствительную жизнь. Лѣнь какая-то обуяла его, общая умственная и нравственная анемія. Такъ и тянуло его прочь отъ дѣйствительной жизни на мягкое ложе призраковъ, которые онъ могъ переставливать съ мѣста на мѣсто, одни пропускать, другіе выдвигать, словомъ,—распоряжаться, какъ ему хочется.

И опять цѣлый день провелъ онъ въ полномъ одиночествѣ, потому что Евпраксеюшка на этотъ разъ уже ни къ обѣду, ни къ вечернему чаю не явилась, а ушла на цѣлый день на село къ попу въ гости и возвратилась только поздно вечеромъ. Даже заняться ничѣмъ онъ не могъ, потому что и пустяки на время какъ будто оставили его. Одна безвыходная мысль тиранила: «надо какъ-нибудь устроить, надо!» Ни праздныхъ выкладокъ онъ не могъ дѣлать, ни стоять на молитвѣ. Онъ чувствовалъ, что къ нему приступаетъ какой-то недугъ, котораго онъ покуда еще не можетъ опредѣлить. Не разъ останавливался онъ передъ окномъ, думая къ чему-нибудь приковать колеблющуюся мысль, чѣмъ-нибудь развлечь себя, и все напрасно. На дворѣ начиналась весна, но деревья стояли голыя, даже свѣжей травы еще не показывалось. Вдали виднѣлись черныя поля, по мѣстамъ испещренныя бѣлыми пятнами снѣга, еще державшагося въ низкихъ мѣстахъ и ложбинахъ. Дорога сплошь чернѣла грязью и сверкала лужами. Но все это представлялось ему словно сквозь сѣтку. Около мокрыхъ службъ царствовало полнѣйшее безлюдье, хотя вездѣ всѣ двери были настежь; въ домѣ тоже никого докликаться было нельзя, хотя до слуха безпрестанно долетали какіе-то звуки, въ родѣ отдаленнаго хлопанья дверьми. Вотъ бы теперь невидимкой оборотиться хорошо, да подслушать, что о немъ хамово отродье говоритъ! Понимаютъ ли подлецы его милости, или, можетъ-быть, за его же добро да его же судачатъ? Вѣдь имъ хоть съ утра до вечера въ хайло-то пихай—все мало, все какъ съ гуся вода! Давно ли, кажется, новую кадку съ огурцами начали, а ужъ... Но только что онъ началъ забываться на этой мысли, только что начиналъ соображать, сколько въ кадкѣ можетъ быть огурцовъ и сколько слѣдуетъ, при самомъ широкомъ

расчетѣ, положить огурцовъ на человѣка, какъ опять въ головѣ мелькнулъ лучъ дѣйствительности и разомъ перевернулъ вверхъ дномъ всѣ его расчеты.

«Ишь ты, вѣдь! даже не спросилась—ушла!»—думалось ему, покуда глаза бродили въ пространствѣ, усиливаясь различить поповскій домъ, въ которомъ, по всѣмъ вѣроятіямъ, въ эту минуту соловьемъ разливалась Евпраксеюшка.

Но вотъ и обѣдъ подали; Порфирій Владимірычъ сидитъ за столомъ одинъ и какъ-то вяло хлебаетъ пустой супъ (онъ терпѣть не могъ супъ безъ ничего, но *она* сегодня нарочно велѣла именно такой сварить).

«Чай, и попу-то до смерти тошно, что она къ нему напросилась!—думается ему:—все же лишній кусокъ подать надо! И щецъ, и кашки... а для гостьи, пожалуй, и жарковца какого-нибудь»...

Опять фантазія его разыгрывается; опять онъ начинаетъ забываться, словно его сонъ заводитъ. Сколько лишнихъ ложекъ щецъ пойдетъ? сколько кашки? и что попъ съ попадьей говорятъ по случаю прихода Евпраксеюшки? какъ они промежду себя ругаютъ ее... Все это — и кушанья, и рѣчи—такъ и мечется у него, словно живое передъ глазами.

«Поди, изъ чашки такъ всѣ вмѣстѣ и хлебаютъ!.. Ушла! сумѣла, гдѣ себѣ найти лакомство! На дворѣ слякоть, грязь—долго ли до бѣды! Придетъ ужо, хвосты обтрепанные принесетъ... Ахъ, ты, гадина! именно гадина! Да, надо, надобно какъ-нибудь»...

На этой фразѣ мысль неизмѣнно обрывалась. Послѣ обѣда легъ онъ по обыкновенію заснуть, но только измучился, проворочавшись съ боку на бокъ. Евпраксеюшка пришла домой ужъ тогда, когда стемнѣло, и такъ прокралась въ свой уголъ, что онъ и не замѣтилъ. Приказывалъ онъ людямъ, чтобъ непремѣнно его предупредили, когда она воротится; но и люди, словно стакнулись, смолчали. Попробовалъ онъ опять толкнуться къ ней въ комнату, но и на этотъ разъ нашелъ дверь запертою.

На третій день, утромъ, Евпраксеюшка хотя и явилась къ чаю, но заговорила еще грознѣе и шибче.

— Гдѣ-то Володюшка мой теперь? — начала она, притворно давая своему голосу слезливый тонъ.

Порфирій Владимірычъ совсѣмъ помертвѣлъ при этомъ вопросѣ.

— Хоть бы глазкомъ на него взглянула, какъ онъ, ре-

димый, тамъ мается! А то, пожалуй, и померъ ужъ... право!

Iудушка трепетно шевелилъ губами, шепча молитву.

— У насъ все не какъ у людей! Вотъ у мазулинскаго господина Палагеюшка дочку родила — сейчасъ ее въ батистъ-дикосъ нарядили, постельку розовенькую для нея устроили... Одной мамки сколько сарафановъ да кокошниковъ надарили! А у насъ... э-эхъ... вы!

Евпраксеюшка круто повернула голову къ окну и шумно вздохнула.

— Правду говорятъ, что всѣ господа проклятые! Народятъ дѣтей—и забросятъ въ болото, словно щенятъ! И горюшка имъ мало! И отвѣта ни передъ кѣмъ не дадутъ, словно и Бога на нихъ нѣтъ! Волкъ—и тотъ этого не сдѣлаетъ!

У Порфирія Владимірыча такъ и вертѣлось все нутро. Онъ долго перемогалъ себя, но, наконецъ, не выдержалъ и процѣдилъ сквозь зубы:

— Однако... новыя моды у тебя завелись! Ужъ третій день сряду я твои разговоры слушаю!

— Что-жъ, и моды! Моды — такъ моды, не все вамъ однимъ говорить—можно, чай, и другимъ слово вымолвить! Право-ну! Ребенка прижили—и что съ нимъ сдѣлали! Въ деревнѣ, чай, у бабы въ избѣ сгноили! Ни призору за за нимъ, ни пищи, ни одежи... лежитъ, поди, въ грязи да сѣску прокислую сосетъ!

Она прослезилась и концомъ шейнаго платка утерла глаза.

— Вотъ ужъ правду погорѣловская барышня сказала что страшно съ вами. Страшно и есть. Ни удовольствія, ни радости, однѣ только каверзы... Въ тюрьмѣ арестанты лучше живутъ. По крайности, если-бъ у меня теперича ребенокъ былъ—все бы я забаву какую-ни-на-есть видѣла. А то натко! былъ ребенокъ—и того отняли.

Порфирій Владимірычъ сидѣлъ на мѣстѣ и какъ-то мучительно моталъ головой, точно его и въ самомъ дѣлѣ къ стѣнѣ прижали. По временамъ изъ груди его даже вырывались стоны.

— Ахъ, тяжело!—наконецъ, произнесъ онъ.

— Нечего «тяжело»! Сама себя раба бьетъ, коли плохо жнетъ! Право, съѣзжу я въ Москву, хоть глазкомъ на Володьку взгляну! Володька! Володенька! ми-и-и-лый! Баринъ! съѣзжу-ка, что ли, я въ Москву?

— Не зачѣмъ!—глухо отозвался Порфирій Владимірычъ.

— Анъ, съѣзжу! и не спрошусь ни у кого, и никто запретить мнѣ не можетъ! Потому я—мать!

— Какая ты мать! Ты дѣвка гулящая—вотъ ты кто!— разразился, наконецъ, Порфирій Владимірычъ.—Сказывай, что тебѣ отъ меня надобно?

Къ этому вопросу Евпраксеюшка, повидимому, не приготовилась. Она уставилась въ Іудушку глазами и молчала, словно размышляя, что ей въ самомъ дѣлѣ надобно.

— Вотъ какъ, ужъ дѣвкой гулящей звать стали! — вскрикнула она, заливаясь слезами.

— Да! дѣвка гулящая! дѣвка, дѣвка! тьфу! тьфу! тьфу!

Порфирій Владимірычъ окончательно вышелъ изъ себя. вскочилъ съ мѣста и почти бѣгомъ выбѣжалъ изъ столовой.

Это была послѣдняя вспышка энергіи, которую онъ позволилъ себѣ. Затѣмъ онъ какъ-то быстро осунулся, отупѣлъ и струсилъ, тогда какъ приставаньямъ Евпраксеюшки и конца не было видно. У нея была въ распоряженіи громадная сила — упорство тупоумія, и такъ какъ эта сила постоянно била въ одну точку: досадить, изгадить, то по временамъ она являлась чѣмъ-то страшнымъ. Мало-помалу арена столовой сдѣлалась недостаточною для нея; она врывалась въ кабинетъ и тамъ настигала Іудушку (прежде она и подумать не посмѣла бы войти туда, когда баринъ «занятъ»). Придетъ, сядетъ къ окну, упрется посоловѣлыми глазами въ пространство, почешется лопатками о косякъ и начнетъ колобродить. Въ особенности же пришлась ей по сердцу одна тема для разговоровъ—тема, въ основаніи которой лежала угроза оставить Головлево. Въ сущности она никогда серьезно объ этомъ не думала и даже была бы очень изумлена, если-бъ ей вдругъ предложили возвратиться въ родительскій домъ; но она догадывалась, что Порфирій Владимірычъ пуще всего боится, чтобъ она не ушла. Приговаривалась она къ этому предмету всегда помаленьку, окольными путями. Помолчитъ, почешетъ въ ухѣ и вдругъ словно бы что вспомнитъ.

— Сегодня, у Николы, поди, блины пекутъ!

Порфирій Владимірычъ при этомъ вступленіи зеленѣетъ отъ злости. Передъ этимъ онъ только что началъ очень сложное вычисленіе—на какую сумму онъ можетъ продать въ годъ молока, ежели всѣ коровы въ округѣ примрутъ, а у него одного, съ Божьею помощью, не только останутся невредимы, но даже будутъ давать молока противъ прежняго вдвое. Однако, въ виду прихода Евпраксеюшки и во-

ставленнаго ею вопроса о блинахъ, онъ оставляетъ свою работу и даже усиливается улыбнуться.

— Отчего же тамъ блины пекутъ? — спрашиваетъ онъ, осклабляясь всѣмъ лицомъ своимъ.—Ахъ, батюшки, да вѣдь и въ самомъ дѣлѣ родительская сегодня! А я-то, ротозѣй, и позабылъ! Ахъ, грѣхъ какой, маменьку-то покойницу и помянуть будетъ нечѣмъ!

— Поѣла бы я блинковъ... родительскихъ!

— А кто-жъ тебѣ не велитъ! распорядись! Кухарку Марьюшку за бока, а не то такъ Улитушку! Ахъ, хорошо Улита блины печетъ!

— Можетъ, она и другимъ чѣмъ на васъ потрафила?— язвитъ Евпраксеюшка.

— Нѣтъ, грѣхъ сказать, хорошо, даже очень хорошо Улитка блины печетъ! Легкіе, мягкіе—ай, поѣшь!

Порфирій Владимірычъ хочетъ шуточкой да смѣшкомъ развлечь Евпраксеюшку

— Поѣла бы я блиновъ, да не головлевскихъ, а родительскихъ!—кобянится она.

— И за этимъ у насъ дѣло не станетъ! Архипушку-кучера за бока, вели парочку лошадушекъ заложить, кати себѣ да покатывай!

— Нѣтъ ужъ! что ужъ! попалась птица въ западню... сама глупа была! Кому меня, этакую-то, нужно? Сами гулящей дѣвкой недавно назвали... чего ужъ!

— Ахъ-ахъ-ахъ! и не стыдно тебѣ напраслину на меня говорить! А ты знаешь ли, какъ Богъ-то за напраслину наказываетъ?

— Назвали! прямо-таки гулящей и назвали! Вотъ и образъ тутъ: при немъ, при Батюшкѣ! Ахъ, распотылое мнѣ это Головлево! Сбѣгу я отсюда, право, сбѣгу!

Говоря это, Евпраксеюшка ведетъ себя совершенно непринужденно: раскачивается на стулѣ, копается въ носу, почесывается. Очевидно, она разыгрываетъ комедію, дразнитъ.

— Я, Порфирій Владимірычъ, вамъ что-то хотѣла сказать,—продолжаетъ она колобродить:—вѣдь мнѣ домой надобно!

— Погостить, что ли, къ отцу съ матерью собралась?

— Нѣтъ, я совсѣмъ. Останусь, значитъ, у Николы.

— Что такъ? Обидѣлась чѣмъ-нибудь?

— Нѣтъ, не обидѣлась, а такъ... надо же когда-нибудь... Да и скучно у васъ... инда страшно! Въ домѣ-то словно все вымерло! Людишки — вольница, все по кухнямъ да по

людскимъ прячутся; сиди въ цѣломъ домѣ одна: еще зарѣжутъ, того гляди! Почью спать ляжешь — изо всѣхъ угловъ шопоты ползутъ!

Однако, проходили дни за днями, а Евпраксеюшка и не думала приводить въ исполненіе свою угрозу. Тѣмъ не менѣе, дѣйствіе этой угрозы на Порфирія Владимірыча было очень рѣшительное. Онъ вдругъ какъ-то понялъ, что, несмотря на то, что съ утра до вечера изнывалъ въ такъ-называемыхъ трудахъ, онъ, собственно говоря, ровно ничего не дѣлалъ и могъ бы остаться безъ обѣда, не имѣть ни чистаго бѣлья, ни исправнаго платья, если-бъ не было чьего-то глаза, который смотрѣлъ за тѣмъ, чтобъ его домашній обиходъ не прерывался. До сихъ поръ онъ какъ бы не чувствовалъ жизни, не понималъ, что она имѣетъ какую-то обстановку, которая созидается не сама собой. Весь его день шелъ однажды заведенныхъ порядкомъ: все въ домѣ группировалось лично около него и ради него; все дѣлалось въ свое время, всякая вещь находилась на своемъ мѣстѣ—словомъ сказать, вездѣ царствовала такая неизмѣнная точность, что онъ даже не придавалъ ей никакого значенія. Благодаря тому порядку вещей, онъ могъ на всей своей волѣ предаваться и празднословію, и праздномыслію, не опасаясь, чтобы уколы дѣйствительной жизни когда-нибудь вывели его на свѣжую воду. Правда, что вся эта искусственная махинація держалась на волоскѣ; но человѣку, постоянно погруженному въ самого себя, не могло и въ голову придти, что этотъ волосокъ есть нѣчто очень тонкое, легко рвущееся. Ему казалось, что жизнь установилась прочно, навсегда... И вдругъ все это должно рушиться въ одинъ мигъ, по одному дурацкому слову: «нѣтъ ужъ! что ужъ! уйду!» Іудушка совершенно растерялся. «Что, ежели она въ самомъ дѣлѣ уйдетъ?»—думалось ему. И онъ мысленно начиналъ строить всевозможныя нелѣпыя комбинаціи, съ цѣлью какъ-нибудь удержать ее, и даже рѣшался на такія уступки въ пользу бунтующей Евпраксеюшкиной младости, которыя ему никогда бы прежде и въ голову не пришли.

— Тьфу! тьфу! тьфу!—отплевывался онъ, когда возможность столкновенія съ кучеромъ Архипушкой или съ конторщикомъ Игнатомъ представлялась ему во всей обидной наготѣ своей.

Скоро, однакожъ, онъ убѣдился, что страхъ его насчетъ ухода Евпраксеюшки былъ по малой мѣрѣ неоснователенъ.

и вслѣдъ затѣмъ существованіе его какъ-то круто вступило въ новый и совершенно для него неожиданный фазисъ. Евпраксеюшка не уходила, но даже замѣтно пріутихла съ своими приставаніями. Взамѣнъ того, она совершенно бросила Порфирія Владимірыча. Наступалъ май, пришли красные дни, и она ужъ почти совсѣмъ не являлась въ домъ. Только по постоянному хлопанью дверей Іудушка догадывался, что она за чѣмъ-нибудь прибѣжала къ себѣ въ комнату, съ тѣмъ, чтобы вслѣдъ затѣмъ опять исчезнуть. Вставая утромъ, онъ не находилъ на обычномъ мѣстѣ своего платья и долженъ былъ вести продолжительные переговоры, чтобы получить чистое бѣлье, чай и обѣдъ ему подавали то спозаранку, то слишкомъ поздно, при чемъ прислуживалъ полупьяный лакей Прохоръ, который являлся къ столу въ запятнанномъ сюртукѣ и отъ котораго вѣчно воняло какою-то противною смѣсью рыбы и водки.

Тѣмъ не менѣе, Порфирій Владимірычъ ужъ и тому былъ радъ, что Евпраксеюшка оставляла его въ покоѣ. Онъ примирялся даже съ безпорядкомъ, лишь бы знать, что въ домѣ все-таки есть нѣкто, кто этотъ безпорядокъ держитъ въ своихъ рукахъ. Его страшила не столько безурядица, сколько мысль о необходимости личнаго вмѣшательства въ обстановку жизни. Съ ужасомъ представлялъ онъ себѣ, что можетъ наступить минута, когда ему самому придется распоряжаться, приказывать, надсматривать. Въ предвидѣніи этой минуты онъ старался подавить въ себѣ всякій протестъ, закрывалъ глаза на наступавшее въ домѣ безначаліе, стушевывался, молчалъ. А на барскомъ дворѣ, между тѣмъ, шла ежедневная открытая гульба. Съ наступленіемъ тепла головлевская усадьба, дотолѣ степенная и даже угрюмая, оживилась. Вечеромъ все населеніе дворовыхъ, и заштатные, и состоящіе на дѣйствительной службѣ, и старъ, и младъ — все высыпало на улицу. Пѣли пѣсни, играли на гармоникѣ, хохотали, взвизгивали, бѣгали въ горѣлки. На Игнатѣ-конторщикѣ появилась ярко-красная рубаха и какая-то неслаханно-узенькая жакетка, борты которой совсѣмъ не закрывали его молодецки-выпяченной груди. Архипъ-кучеръ самовольно завладѣлъ выѣздною шелковой рубашкой и плисовой безрукавкой и очевидно соперничалъ съ Игнатомъ въ планахъ насчетъ сердца Евпраксеюшки. Евпраксеюшка бѣгала между ними и, словно шальная, кидалась *то къ одному*, то къ другому. Порфирій Влади-

мірычъ боялся взглянуть въ окно, чтобъ не сдѣлаться свидѣтелемъ любовной сцены, но не слышать не могъ. По временамъ въ ушахъ его раздавался звукъ полновѣснаго удара: это кучеръ Архипушка всей пятерней далъ раза Евпраксеюшкѣ, гоняясь за нею въ горѣлкахъ (и она не разсердилась, а только присѣла слегка); по временамъ до него доносился разговоръ.

— Евпраксея Никитишна! а Евпраксея Никитишка! — взываетъ пьяненькій Прохоръ съ барскаго крыльца.

— Чего надобно?

— Ключъ отъ чаю пожалуйте, баринъ чаю просятъ!

— Подождетъ... кикимора!

Въ короткое время Порфирій Владимірычъ совсѣмъ одичалъ. Весь обычный ходъ его жизни былъ взбудораженъ и извращенъ, но онъ какъ-то уже пересталъ обращать на это вниманіе. Онъ ничего не требовалъ отъ жизни, кромѣ того, чтобъ его не тревожили въ его послѣднемъ убѣжищѣ — въ кабинетѣ. Насколько онъ прежде былъ придирчивъ и надоѣдливъ въ отношеніяхъ къ окружающимъ, настолько же теперь сдѣлался боязливъ и угрюмо-покоренъ. Казалось, всякое общеніе съ дѣйствительною жизнью прекратилось для него. Ничего бы не слышать, никого бы не видѣть — вотъ чего онъ желалъ. Евпраксеюшка могла цѣлыми днями не показываться въ домѣ; людишки могли сколько хотѣли вольничать и бездѣльничать на дворѣ — онъ ко всему относился безучастно, какъ будто ничего не было. Прежде, если-бъ конторщикъ позволилъ себѣ хотя малѣйшую неаккуратность въ доставленіи рапортичекъ о состояніи различныхъ отраслей хозяйственнаго управленія, онъ навѣрное истиранилъ бы его поученіями; теперь ему по цѣлымъ недѣлямъ приходилось сидѣть безъ рапортичекъ, и онъ только изрѣдка тяготился этимъ, а именно, когда ему нужна была цифра для подкрѣпленія какихъ-нибудь фантастическихъ расчетовъ. Зато, въ кабинетѣ, одинъ на одинъ съ самимъ собою, онъ чувствовалъ себя полнымъ хозяиномъ, имѣющимъ возможность праздномыслить сколько душѣ угодно. Подобно тому, какъ оба брата его умерли, одержимые запоемъ, такъ точно и онъ страдалъ тою же болѣзнью. Только это былъ запой иного рода — запой праздномыслія. Запершись въ кабинетѣ и засѣвши за письменный столъ, онъ съ утра до вечера изнывалъ надъ фантастической работой: строилъ всевозможныя

несбыточныя предположенія, учитывалъ самого себя, разговаривалъ съ воображаемыми собесѣдниками и создавалъ цѣлыя сцены, въ которыхъ первая случайно взбредшая на умъ личность являлась дѣйствующимъ лицомъ.

Въ этомъ омутѣ фантастическихъ дѣйствій и образовъ главную роль играла какая-то болѣзненная жажда стяжанія. Хотя Порфирій Владимірычъ и всегда вообще былъ мелоченъ и наклоненъ къ кляузѣ, но, благодаря его практической нелѣпости, никакихъ прямыхъ выгодъ лично для него отъ этихъ наклонностей не получалось. Онъ надоѣдалъ, томилъ, тиранилъ (преимущественно самыхъ беззащитныхъ людей, которые, такъ сказать, сами напрашивались на обиду), но и самъ чаще всего терялъ отъ своей затѣйливости. Теперь эти свойства всецѣло перенеслись на отвлеченную, фантастическую почву, гдѣ ужъ не имѣлось мѣста ни для отпора, ни для оправданій, гдѣ не было ни сильныхъ, ни слабыхъ, гдѣ не существовало ни полиціи, ни мировыхъ судовъ (или, лучше сказать, существовали, но единственно въ видахъ огражденія его, Іудушкиныхъ, интересовъ), и гдѣ, слѣдовательно, онъ могъ свободно опутывать цѣлый міръ сѣтью кляузъ, притѣсненій и обидъ.

Онъ любилъ мысленно вымучить, разорить, обездолить, высосать кровь. Перебиралъ одну за другой всѣ отрасли своего хозяйства: лѣсъ, скотный дворъ, хлѣбъ, луга и проч., и на каждой созидалъ узорчатое зданіе фантастическихъ притѣсненій, сопровождаемыхъ самыми сложными расчетами, куда входили и штрафы, и ростовщичество, и общія бѣдствія, и пріобрѣтеніе цѣнныхъ бумагъ—словомъ сказать, цѣлый запутанный міръ праздныхъ помѣщичьихъ идеаловъ. А такъ какъ тутъ все зависѣло отъ произвольно предполагаемыхъ переплатъ и недоплатъ, то каждая переплаченная или недоплаченная копейка служила поводомъ для передѣлки всего зданія, которое такимъ образомъ видоизмѣнялось до безконечности. Затѣмъ, когда утомленная мысль уже не въ силахъ была слѣдить съ должнымъ вниманіемъ за всѣми подробностями спутанныхъ выкладокъ по операціямъ стяженія, онъ переносилъ арену своей фантазіи на вымыслы болѣе растяжимые. Припоминалъ всѣ столкновенія и пререканія, какія случались у него съ людьми не только въ недавнее время, но и въ самой отдаленной молодости, и разрабатывалъ ихъ съ такимъ расчетомъ, что всегда изъ всякаго столкновенія выходилъ побѣдителемъ. Онъ *мстилъ мысленно* своимъ бывшимъ сослуживцемъ по департ-

таменту, которые опредѣлили его по службѣ и растравили его самолюбіе настолько, что заставили отказаться отъ служебной карьеры; мстилъ однокашникамъ по школѣ, которые нѣкогда пользовались своею физической силой, чтобъ дразнить и притѣснять его; мстилъ сосѣдямъ по имѣнію, которые давали отпоръ его притязаніямъ и отстаивали свои права; мстилъ слугамъ, которые когда-нибудь сказали ему грубое слово или просто не оказали достаточной почтительности; мстилъ маменькѣ Аринѣ Петровнѣ за то, что она просадила много денегъ на устройство Погорѣлки,—денегъ, которыя, «по всѣмъ правамъ», слѣдовали ему; мстилъ братцу Стёпкѣ-балбесу за то, что онъ прозвалъ его Іудушкой; мстилъ тетенькѣ Варварѣ Михайловны за то, что она, въ то время, когда ужъ никто этого не ждалъ, вдругъ народила дѣтей «съ бо́ру да съ сосенки», вслѣдствіе чего сельцо Гаврюшкино навсегда ускользнуло изъ Головлевскаго рода. Мстилъ живымъ, мстилъ мертвымъ.

Фантазируя такимъ образомъ, онъ незамѣтно доходилъ до опьяненія: земля исчезала у него изъ-подъ ногъ, за спиной словно вырастали крылья. Глаза блестѣли, губы тряслись и покрывались пѣной, лицо блѣднѣло и принимало угрожающее выраженіе. И по мѣрѣ того, какъ росла фантазія, весь воздухъ кругомъ него населялся призраками, съ которыми онъ вступалъ въ воображаемую борьбу.

Существованіе его получило такую полноту и независимость, что ему ничего не оставалось желать. Весь міръ былъ у его ногъ,—разумѣется, тотъ немудреный міръ, который былъ доступенъ его скудному міросозерцанію. Каждый простѣйшій мотивъ онъ могъ варьировать безконечно, за каждый могъ по нѣскольку разъ приниматься сызнова, разрабатывая всякій разъ на новый манеръ. Это былъ своего рода экстазъ, ясновидѣніе, нѣчто подобное тому, что́ происходитъ на спиритическихъ сеансахъ. Ничѣмъ не ограничиваемое воображеніе создаетъ мнимую дѣйствительность, которая, вслѣдствіе постояннаго возбужденія умственныхъ силъ, претворяется въ конкретную, почти осязаемую. Это—не вѣра, не убѣжденіе, а именно умственное распутство, экстазъ. Люди обезчеловѣчиваются, ихъ лица искажаются, глаза горятъ, языкъ произноситъ непроизвольныя рѣчи, тѣло производитъ непроизвольныя движенія.

Порфирій Владимирычъ былъ счастливъ. Онъ плотно запиралъ окна и двери, чтобъ не слышать, спускалъ шторы, чтобъ не видѣть. Всѣ обычныя жизненныя отправленія, ко-

торыя прямо не соприкасались съ міромъ его фантазіи, онъ дѣлалъ на скорую руку, почти съ отвращеніемъ. Когда пьяненькій Прохоръ стучался въ дверь его комнаты, докладывая, что подано кушать, онъ нетерпѣливо вбѣгалъ въ столовую, наперекоръ всѣмъ прежнимъ привычкамъ, спѣша съѣдалъ свои три перемѣны кушанья и опять скрывался въ кабинетъ. Даже въ манерахъ у него, при столкновеніи съ живыми людьми, явилось что-то отчасти робкое, отчасти глупо-насмѣшливое, какъ будто онъ, въ одно и то же время, и боялся, и вызывалъ. Утромъ онъ спѣшилъ встать какъ можно раньше, чтобы сейчасъ же приняться за работу. Молитвенное стояніе сократилъ; слова молитвы произносилъ безучастно, не вникая въ ихъ смыслъ; крестныя знаменія и воздѣянія рукъ творилъ машинально, неотчетливо. Даже представленіе объ адѣ и его мучительныхъ возмездіяхъ (за каждый грѣхъ—возмездіе особенное), повидимому, покинуло его.

А Евпраксеюшка, между тѣмъ, млѣла въ чаду плотскаго вожделѣнія. Гарцуя въ нерѣшимости между конторщикомъ Игнатомъ и кучеромъ Архипушкой, и въ то же время кося глазами на краснорожаго плотника Илюшу, который съ цѣлой артелью подрядился вывѣсить господскій погребъ, она ничего не замѣчала, что дѣлается въ барскомъ домѣ. Она думала, что баринъ какую-нибудь «новую комедію» разыгрываетъ, и не мало веселыхъ словъ было произнесено по этому поводу въ дружеской компаніи почувствовавшихъ себя на свободѣ людишекъ. Но однажды, какъ-то случайно, зашла она въ столовую въ то время, какъ Іудушка наскоро доѣдалъ кусокъ жаренаго гуся, и вдругъ ей сдѣлалось жутко.

Порфирій Владимірычъ сидѣлъ въ засаленномъ халатѣ, изъ котораго мѣстами выбивалась уже вата; онъ былъ блѣденъ, нечесанъ, оброслъ какой-то щетиной вмѣсто бороды.

— Баринушка! Что такое? что случилось?—бросилась она къ нему въ испугѣ.

Но Порфирій Владимірычъ только глупо-язвительно улыбнулся въ отвѣтъ на ея восклицаніе, словно хотѣлъ сказать: а ну-ка, попробуй теперь меня чѣмъ-нибудь уязвить!

— Баринушка! да что такое? Говорите, что случилось?— повторила она.

Онъ всталъ, уставилъ въ нее исполненный ненависти взглядъ и съ разстановкой произнесъ:

— Если ты, дѣвка распутная, еще когда-нибудь... въ кабинетъ ко мнѣ... Убью!

Благодаря этой случайности, существованіе Порфирія Владимірыча съ внѣшней стороны измѣнилось къ лучшему. Не чувствуя никакихъ матеріальныхъ помѣхъ, онъ свободно отдался своему одиночеству, такъ что даже не видалъ, какъ прошло лѣто. Августъ ужъ перевалилъ на вторую половину; дни сократились; на дворѣ непрерывно сѣялъ мелкій дождь; земля взмокла; деревья стояли понуро, роняя на землю пожелтѣвшіе листья. На дворѣ и около людской царствовала невозмутимая тишина; дворовые ютились по своимъ угламъ, частью вслѣдствіе хмурой погоды, частью вслѣдствіе того, что догадались, что съ бариномъ происходитъ что-то неладное. Евпраксеюшка окончательно очнулась, забыла и о шелковыхъ платьяхъ, и о милыхъ дружкахъ, и по цѣлымъ часамъ сидѣла въ дѣвичьей на ларѣ, не зная, какъ ей быть и что̀ предпринять. Пьяненькій Прохоръ дразнилъ ее, что она извела барина, опоила его, и что не миновать ей за это по владиміркѣ погулять.

А Іудушка, между тѣмъ, сидитъ, запершись, у себя въ кабинетѣ и мечтаетъ. Ему еще лучше, что на дворѣ свѣжѣе сдѣлалось: дождь, безъ устали дребезжащій въ окна его кабинета, наводитъ на него полудремоту, въ которой еще свободнѣе, шире развертывается его фантазія. Онъ представляетъ себя невидимкою и въ этомъ видѣ мысленно инспектируетъ свои владѣнія, въ сопровожденіи стараго Ильи, который еще при папенькѣ, Владимірѣ Михайловичѣ, старостой служилъ и давнымъ-давно на кладбищѣ схороненъ.

— Умный мужикъ Илья! Старинный слуга! Нынче такіе-то люди выводятся. Нынче что̀: поюлить да потарантить, а чуть до дѣла коснется—и нѣтъ никого!—разсуждаетъ самъ съ собой Порфирій Владимірычъ, очень довольный, что Илья изъ мертвыхъ воскресъ.

Не торопясь да Богу помолясь, никѣмъ невидимые, черезъ поля и овраги, черезъ долы и луга, пробираются они въ пустошь Уховщину—и долго не вѣрятъ глазамъ своимъ. Стоитъ передъ ними лѣсище стѣна-стѣной, стоитъ да только вершинами въ вышинѣ гудѣтъ. Деревья все одно къ одному, красныя — соснякъ, которыя въ два, а которыя и въ три обхвата; стволы у нихъ прямые, обнаженные, а вершины могучія, пушистыя: долго, значитъ, еще этому лѣсу стоять можно!

— Вотъ, братъ, такъ лѣсокъ!—въ восхищеніи восклицаетъ Іудушка.

— Заказничокъ!—объясняетъ старикъ Илья:—еще при

покойномъ дѣдушкѣ вашемъ, при Михайлѣ Васильевичѣ, съ образами обошли—вонъ онъ какой выросъ!

— Сколько, по-твоему, тутъ десятинъ будетъ?

— Да въ ту пору ровно семьдесять десятинъ мѣрили, ну, а нынче... тогда десятина-то хозяйственная была, противъ нынѣшней въ полтора раза побольше!

— Ну, а какъ ты думаешь, сколько на каждой десятинѣ, примѣрно, деревъ сидитъ?

— Кто ихъ знаетъ! у Бога они сосчитаны!

— А я такъ думаю, что непремѣнно шестьсотъ-семьсотъ на десятину будетъ. Да не на старую десятину, а на нынѣшнюю, на тридцатку. Постой! погоди! ежели по шестисотъ... ну, по шестисотъ по пятидесяти положить—сколько же на ста пяти десятинахъ деревъ будетъ?

Порфирій Владимірычъ беретъ листъ бумаги и умножаетъ 105 на 650: оказывается 68.250 деревъ.

— Теперича, ежели весь этотъ лѣсъ продать... по разнотѣ... какъ ты думаешь, можно по десяти рублей за дерево взять?

Старикъ Илья трясетъ головой.

— Мало!—говоритъ онъ:—вѣдь это такой лѣсъ! Изъ каждаго дерева два мельничныхъ вала выйдетъ, да еще строевое бревно, хоть въ какую угодно стройку, да семеричекъ, да товарничку, да сучья... По-вашему, мельничный-то валъ—сколько онъ стоитъ?

Порфирій Владимірычъ притворяется, что не знаетъ, хотя онъ давно ужъ все до послѣдней копейки опредѣлилъ и установилъ.

— По здѣшнему мѣсту одинъ валъ десяти рублей стоитъ, а кабы въ Москву, такъ и цѣны бы ему, кажется, не было! Вѣдь это—какой валъ! Его на тройкѣ только-только увезти! Да еще другой валъ, потоньше, да бревно, да семеричекъ, да дровъ, да сучьевъ... Анъ, дерево-то, бѣдно-бѣдно, въ двадцати рубляхъ пойдетъ.

Слушаетъ Порфирій Владимірычъ Ильины рѣчи и не наслушается ихъ. Умный, вѣрный мужикъ—этотъ Илья! Да и все вообще управленіе ему какъ-то необыкновенно удачно привелъ Богъ сладить! Въ помощникахъ у Ильи старый Вавило служитъ (тоже давно на кладбищѣ лежитъ)—вотъ, братъ, такъ крякъ! Въ конторщикахъ—маменькинъ земскій Филишъ-перевезенецъ (изъ вологодскихъ деревень его, лѣтъ шестьдесятъ тому назадъ, перевезли); полѣсовщики все испытанные, неутомимые; псы у амбаровъ—злые! И люди,

и псы—всѣ готовы за барское добро хоть чорту горло перегрызть!

— А путка, братъ, давай прикинемъ: сколько это будетъ, ежели всю пустошь по разнотѣ распродать?

Порфирій Владимірычъ снова разсчитываетъ мысленно, сколько стоитъ большой валъ, сколько валъ поменьше, сколько строевое бревно, семерикъ, дрова, сучья. Потомъ складываетъ, умножаетъ, въ иномъ мѣстѣ отсѣкаетъ дроби, въ въ другомъ прибавляетъ. Листъ бумаги наполняется столбцомъ цифръ.

— Натко, братъ, смотри, что вышло! — показываетъ Іудушка воображаемому Ильѣ какую-то совсѣмъ неслыханную цифру, такъ что даже Илья, который и со своей стороны не прочь отъ пріумноженія барскаго добра, и тотъ словно съёжился.

— Что-то какъ будто и многовато!—говорилъ онъ, въ раздумьи поводя лопатками.

Но Порфирій Владимірычъ уже откинулъ всѣ сомнѣнія и только веселенько хихикаетъ.

— Чудакъ, братецъ, ты! Это ужъ не я, а цифра говоритъ... Наука, братецъ, такая есть, ариѳметикой называется... ужъ она братъ, не солжетъ! Ну, хорошо, съ Уховщиной теперь покончили; пойдемъ-ка, братъ, въ Лисьи-Ямы, давно я тамъ не бывалъ! Сдается мнѣ, что мужики тамъ пошаливаютъ, ой, пошаливаютъ мужики! Да и Гаранька-сторожъ... Знаю, знаю! Хорошій Гаранька, усердный сторожъ, вѣрный—это что говоритъ! а все-таки... Маленько онъ какъ будто спибаться сталъ!

Идутъ они неслышно, невидимо, сквозь чащу березовую едва пробираются и вдругъ останавливаются, притаивши дыханіе. На самой дороги лежитъ на боку мужицкій возъ, а мужикъ стоитъ и тужитъ, глядючи на сломанную ось. Потужилъ-потужилъ, выругалъ ось, да и себя кстати ругнулъ, вытянулъ лошадь кнутомъ по спинѣ («ишь, ворона»), однако, дѣлать что-нибудь надо—не стоять же на одномъ мѣстѣ до завтра! Озирается воръ-мужичонко, прислушивается: не ѣдетъ ли кто, потомъ выбираетъ подходящую березку, вынимаетъ топоръ... А Іудушка все стоитъ, не шелохнется... Дрогнула березка, зашаталася и вдругъ, словно сноп, повалилась на-земь. Хочетъ мужикъ отрубить отъ комля, сколько на ось надобно, но Іудушка ужъ рѣшилъ, что настоящій моментъ наступилъ. Крадучись, подползаетъ онъ къ мужику и мигомъ выхватываетъ изъ рукъ его топоръ...

— Ахъ!—успѣваетъ только крикнуть застигнутый врасплохъ воръ.

— «Ахъ!» — передразниваетъ его Порфирій Владимірычъ:—а чужой лѣсъ воровать дозволяется? «Ахъ!»—а чью березку-то, свою, что ли, срубилъ?

— Простите, батюшка!

— Я, братецъ, давно всѣмъ простилъ! Самъ Богу грѣшенъ и другихъ осуждать не смѣю! Не я, а законъ осуждаетъ. Ось-то, которую ты срубилъ, на усадьбу привези, да и рубликъ штрафу кстати ужъ захвати; а покуда пускай топорикъ у меня полежитъ! Небось, братъ, сохранно будетъ!

Довольный тѣмъ, что успѣлъ на самомъ дѣлѣ доказать Ильѣ справедливость своего мнѣнія насчетъ Гараньки, Порфирій Владимірычъ съ мѣста преступленія заходитъ мысленно въ избу полѣсовщика и дѣлаетъ приличное поученіе. Потомъ онъ отправляется домой и по дорогѣ ловитъ въ господскомъ овсѣ трехъ крестьянскихъ куръ. Воротившись въ кабинетъ онъ опять принимается за работу, и цѣлая особенная хозяйственная система вдругъ зарождается въ его умѣ. Все растущее и прозябающее на его землѣ, сѣянное и несѣянное, обращается въ деньги по разнотѣ, и притомъ со штрафомъ. Всѣ люди вдругъ сдѣлались порубщиками и потравщиками. А Іудушка не только не скорбитъ объ этомъ, но, напротивъ, даже руки себѣ потираетъ отъ удовольствія.

— Травите, батюшки, рубите, мнѣ же лучше!—повторяетъ онъ, совершенно довольный.

И тутъ же беретъ новый листъ бумаги и принимается за выкладки и вычисленія.

Сколько на десятинѣ овса растетъ и сколько этотъ овесъ можетъ денегъ принести, ежели его куры мужицкія помнутъ и за все помятое штрафъ уплатятъ?

«А овесъ-то хоть и помятъ, ан, послѣ дождичка и опять понравился!»—мысленно присовокупляетъ Іудушка.

Сколько въ Лисьихъ-Ямахъ березокъ растетъ и сколько за нихъ можно денегъ взять, ежели ихъ мужики воровскимъ манеромъ порубятъ и за все порубленное штрафъ заплатятъ?

«А березка-то, хоть она и срублена, ко мнѣ же въ домъ на протопленье пойдетъ; стало-быть, дровъ самому пилить не надо»,—опять присовокупляетъ Іудушка мысленно.

Громадныя колонны цифръ испещряютъ бумагу; сперва рубли, потомъ десятки, сотни, тысячи... Іудушка до того

устаетъ за работой и, главное, такъ волнуется ею, что весь въ поту встаетъ изъ-за стола и ложится отдыхать на диванъ. Но взбунтовавшееся воображеніе и тутъ не укрощаетъ своей дѣятельности, а только избираетъ другую, болѣе легкую тему.

— Умная женщина была маменька Арина Петровна,— фантазируетъ Порфирій Владимірычъ:—умѣла и спросить, да и приласкать умѣла— оттого и служили ей всѣ съ удовольствіемъ! Однако и за ней грѣшки водились! Ой, много было за покойницей блохъ!

Не успѣлъ Іудушка помянуть объ Аринѣ Петровнѣ, а она ужъ и тутъ какъ тутъ; словно чуетъ ея сердце, что она отвѣтъ должна дать: сама къ милому сыну изъ могилы явилась.

— Не знаю, мой другъ, не знаю, чѣмъ я передъ тобой провинилась!—какъ-то уныло говоритъ она.—Кажется, я...

— Те-те-те, голубушка! лучше ужъ не грѣшите!—безъ церемоніи обличаетъ ее Іудушка.—Коли на то пошло, такъ я все передъ вами сейчасъ выложу! Почему вы, напримѣръ, тетеньку Варвару Михайловну въ ту пору не остановили?

— Какъ же ее останавливать! Она и сама въ полныхъ лѣтахъ была, сама имѣла право распоряжаться собою!

— Ну, нѣтъ-съ, позвольте-съ! Мужъ-то какой у нея былъ? Старенькій да пьяненькій—ну, самый, самый, значитъ... безплодный! А между тѣмъ у нея четверо дѣтей проявилось... Откуда—спрашиваю я васъ—эти дѣти взялись?

— Что это, другъ мой, какъ ты странно говоришь! Какъ будто я въ этомъ причинна!

— Причинны не причинны, а все-таки повліять могли! Смѣшкомъ бы да шуточкой, «голубушка» да «душенька»— смотришь, она бы и посовѣстилась! А вы все напротивъ! На дыбы да съ кандачка! Варька да Варька, да подлая, да безстыжая! Чуть не со всей округой ее перевѣнчали! Вотъ она и того... и она тоже на дыбы встала! Жаль! Горюшкино-то наше бы теперь было!

— Далось тебѣ это Горюшкино!—говоритъ Арина Петровна, очевидно становясь втупикъ передъ обвиненіемъ сына.

— Мнѣ что Горюшкино! Мнѣ, пожалуй, и ничего не надо! Было бы на свѣчку да на маслице—вотъ я и доволенъ! А вообще, по справедливости... Да, маменька, и радъ бы смолчать, а не сказать не могу: большой грѣхъ на вашей душѣ лежитъ, очень, очень большой!

Арина Петровна уже ничего не отвѣчаетъ, а только руками разводитъ, не то подавленная, не то недоумѣвающая.

— Или бы вотъ, напримѣръ, другое дѣло,—продолжаетъ, между прочимъ, Іудушка, любуясь смущеніемъ маменьки:— зачѣмъ вы для брата Степана въ ту пору домъ въ Москвѣ покупали?

— Надо было, мой другъ; надо же было и ему какой-нибудь кусокъ выбросить,—оправдывается Арина Петровна.

— А онъ взялъ да и промоталъ его! И добро бы вы его не знали: и буянъ-то онъ былъ, и сквернословъ, и непочтительный—нѣтъ-таки. Да еще папенькину вологодскую деревеньку хотѣли ему отдать! А деревенька-то какая! Вся въ одной межѣ: ни сосѣдей, ни черезполосицы; лѣсокъ хорошенькій, озерцо... стоитъ какъ облупленное яичко, Христосъ съ ней! Хорошо, что я въ то время случился да воспрепятствовалъ... Ахъ, маменька, маменька, и не грѣхъ это вамъ!

— Да вѣдь сынъ онъ... пойми, все-таки—сынъ!

— Знаю я, и даже очень хорошо понимаю! И все-таки не нужно было этого дѣлать, не слѣдовало! Домъ-то двѣнадцать тысячъ серебромъ заплаченъ—а гдѣ онѣ? Вотъ тутъ двѣнадцать тысячъ плакали, да Горюшкино тетеньки Варвары Михайловны, бѣдно-бѣдно, тысячъ на пятнадцать оцѣнить нужно... Анъ денегъ-то и многонько выйдетъ!

— Ну, ну, полно, ужъ перестань, не сердись, Христа ради!

— Я, маменька, не сержусь, я только по справедливости сужу... что̀ правда, то̀ правда—терпѣть не могу лжи! Съ правдой родился, съ правдой жилъ, съ правдой и умру! Правду и Богъ любитъ, да и намъ велитъ любить! Вотъ хоть бы про Погорѣлку—всегда скажу: много, ахъ, какъ много денегъ вы извели на устройство ея.

— Да вѣдь я сама въ ней жила...

Іудушка очень хорошо читаетъ на лицѣ маменьки слова: «кровопивецъ ты несуразный!»—но дѣлаетъ видъ, что не замѣчаетъ ихъ.

— Нужды нѣтъ, что жили, а все-таки... Кіотка-то и до сихъ поръ въ Погорѣлкѣ стоитъ, а чья она? Лошадь маленькая—тоже; шкатулочка чайная... самъ собственными глазами еще при папенькѣ въ Головлевѣ ее видѣлъ! А вещичка-то хорошенькая!

— Ну, что̀ ужъ!

— Нѣтъ, маменька, не говорите! Оно, конечно, сразу не

видно, однако, какъ тутъ рубль, въ другомъ мѣстѣ—полтина, да въ третьемъ—четвертачокъ... Какъ посмотришь да поглядишь... А впрочемъ, позвольте, я лучше сейчасъ все на цифрахъ прикину! Цифра—святое дѣло; она ужъ не солжетъ.

Порфирій Владимірычъ опять устремляется къ столу, чтобъ привести, наконецъ, въ полную ясность, какіе убытки ему нанесла добрый другъ маменька. Онъ стучитъ на счетахъ, выводитъ на бумагѣ столбцы цифръ—словомъ, готовитъ все, чтобъ изобличить Арину Петровну. Но, къ счастью для послѣдней, колеблющаяся его мысль не можетъ долго удержаться на одномъ и томъ же предметѣ. Незамѣтно для него самого къ нему подкрадывается новый предметъ стяжанія и словно какимъ волшебствомъ даетъ его мысли совсѣмъ иное направленіе. Фигура Арины Петровны, еще за минуту передъ тѣмъ такъ живо мелькавшая у него въ глазахъ, вдругъ окунулась въ омутъ забвенія. Цифры смѣшались...

Давно ужъ собирался Порфирій Владимірычъ высчитать, что̀ можетъ принести ему полеводство, и вотъ теперь наступилъ самый удобный для этого моментъ. Онъ знаетъ, что мужикъ всегда нуждается, всегда ищетъ занять и всегда же отдаетъ безъ обмана, съ лихвой. Въ особенности щедръ мужикъ на свой трудъ, который «ничего не стоитъ», и на этомъ основаніи всегда при расчетахъ принимается ни во что̀, въ знакъ любви. Много-таки на Руси нуждающагося народа, ахъ, какъ много! Много людей, не могущихъ опредѣлить сегодня, что̀ ждетъ ихъ завтра; много такихъ, которые куда бы ни обратили тоскливые взоры—вездѣ видятъ только безнадежную пустоту, вездѣ слышатъ только одно слово: «отдай! отдай!» И вотъ вокругъ этихъ-то безнадежныхъ людей, около этой-то перекатной голи стелетъ Іудушка свою безконечную паутину, по временамъ переходя въ какую-то неистовую фантастическую оргію.

На дворѣ апрѣль, и мужику по обыкновенію нечего есть. «Проѣлись, голубчики, зиму-то пропраздновали, а къ веснѣ животы подвело!»—разсуждаетъ Порфирій Владимірычъ самъ съ собою, а онъ, какъ нарочно, только-только всѣ счеты по прошлогоднему полеводству въ ясность привелъ. Въ февралѣ были обломлены послѣднія скирды хлѣба, въ мартѣ зерно лежало ссыпанное въ закромà, а на-дняхъ вся наличность уже разнесена по книгамъ въ соотвѣтствующія графы. Іудушка стоитъ у окна и поджидаетъ. Вотъ вдали,

на мосту, показался въ телѣжкѣ мужикъ Фока. На поверткѣ къ Головлево онъ какъ-то торопливо задергалъ вожжами и, за неимѣніемъ кнута, пугнулъ рукой лошадь, еле передвигающую ноги.

— Сюда!—шепчетъ Іудушка.—Ишь у него лошадь-то, какъ только жива! А кормитъ ее съ мѣсяцъ-другой—ничего, животокъ будетъ! Рубликовъ двадцать пять, а не то и всѣ тридцать отдашь за нее.

Между тѣмъ Фока подъѣхалъ къ людской избѣ, привязалъ къ изгороди лошадь, подкинулъ ей охапку сѣнной трухи и черезъ минуту уже переминается съ ноги на ногу въ дѣвичьей, гдѣ Порфирій Владимірычъ имѣетъ обыкновеніе принимать подобныхъ просителей.

— Ну, другъ, что скажешь хорошенькаго?—начинаетъ Порфирій Владимірычъ.

— Да вотъ, сударь, ржицы бы...

— Что такъ! Свою-то, видно, ужъ съѣли? Ахъ, ахъ, грѣхъ какой! Вотъ кабы вы поменьше водки пили, да побольше трудились, да Богу молились, и землица-то чувствовала бы! Гдѣ нынче зерно—смотришь, анъ въ ту пору два или три получилось бы. Занимать-то бы и не надо!

Фока какъ-то нерѣшительно улыбается, вмѣсто отвѣта.

— Ты думаешь, Богъ-то далеко, такъ Онъ и не видитъ? — продолжаетъ морализировать Порфирій Владимірычъ.—Анъ Богъ-то—вотъ онъ-онъ. И тамъ, и тутъ, и вотъ съ нами, покуда мы съ тобой говоримъ—вездѣ Онъ! И все Онъ видитъ, все слышитъ, только дѣлаетъ видъ, будто не замѣчаетъ. Пускай, молъ, люди своимъ умомъ поживутъ; посмотримъ, будутъ ли они Меня помнить! А мы этимъ пользуемся, да вмѣсто того, чтобъ Богу на свѣчку изъ достатковъ своихъ удѣлить, мы въ кабакъ да въ кабакъ! Вотъ за это за самое и не подастъ Богъ ржицы—такъ ли, другъ?

— Это ужъ что говорить! Это такъ точно!

— Ну, такъ вотъ видишь ли, и ты теперь понялъ. А почему понялъ? Потому что Богъ милость свою отъ тебя отвратилъ. Уродись у тебя ржица, ты бы и опять фордыбачить сталъ, а вотъ какъ Богъ-то...

— Справедливо это, и кабы еже ли мы...

— Постой, дай я скажу! И всегда такъ бываетъ, другъ, что Богъ забывающимъ Его напоминаетъ о себѣ. И роптать мы на это не должны, а должны понимать, что это для нашей же пользы дѣлается. Кабы мы Бога помнили,

и Онъ бы объ насъ не забывалъ. Всего бы намъ подалъ: и ржицы, и овсеца, и картофельцу—на, кушай! И за скотинкой бы за твоей наблюлъ—вишь, лошадь-то у тебя, въ чемъ только духъ держится! И птицѣ, ежели у тебя есть, и той бы настоящее направленіе далъ!

— И это вся ваша правда, Порфирій Владимірычъ.

— Бога чтить, это—первое, а потомъ—старшихъ, которые отъ самихъ царей отличіе получили... помѣщиковъ, напримѣръ...

— Да мы, Порфирій Владимірычъ, и то, кажется...

— Тебѣ вотъ «кажется», а поразмысли да посуди—анъ, можетъ, и не такъ на повѣрку выйдетъ. Теперь, какъ ты за ржицей ко мнѣ пришелъ—грѣхъ сказать! очень ты ко мнѣ почтителенъ и ласковъ; а въ позапрошломъ году, помнишь, когда жнеи мнѣ понадобились, а я къ вамъ, къ мужичкамъ, на поклонъ пришелъ, помогите, молъ, братцы, вызвольте, вы что на мою просьбу отвѣтили? Самимъ, говорятъ, жать надо! Нынче, говорятъ, не прежнее время, чтобъ на господъ работать, нынче—воля! Воля, а ржицы нѣтъ!

Порфирій Владимірычъ учительно взглядываетъ на Фоку; но тотъ не шелохнется, словно оцѣпенѣлъ.

— Горды вы очень, отъ этого самаго вамъ и счастья нѣтъ. Вотъ я, напримѣръ: кажется, и Богъ меня благословилъ, и царь пожаловалъ, а я—не горжусь! Какъ я могу гордиться! Что я такое? червь! козявка! тьфу! А Богъ-то взялъ, да за смиренство за мое и благословилъ меня! И самъ милостію своею взыскалъ, да и царю внушилъ, чтобы меня пожаловалъ!

— Я такъ, Порфирій Владимірычъ, мекаю, что прежде, при помѣщикахъ, не въ примѣръ лучше было!—льститъ Фока.

— Да, братъ, было ваше времечко, попраздновали, пожили! Всего было у васъ: и ржицы, и сѣнца, и картофельцу! Ну, да что ужъ старое поминать, я не злопамятенъ: я, братъ, давно объ жнеяхъ позабылъ, только такъ, къ слову вспомнилось! Такъ же какъ ты говоришь: ржицы тебѣ понадобилось?

— Да, ржицы бы...

— Купить, что ли, собрался?

— Гдѣ купить! Въ одолженіе, значитъ, до новой!

— Ахти-хти! Ржица-то, другъ, нынче кусается! Не знаю ужъ, какъ и быть мнѣ съ тобой...

Порфирій Владимірычъ впадаетъ въ минутное раздумье, словно и дѣйствительно не знаетъ, какъ ему поступить: «и помочь человѣку хочется, да и ржица кусается»...

— Можно, мой другъ, можно и въ одолженіе ржицы дать,—наконецъ говоритъ онъ:—да, признаться сказать, и нѣтъ у меня продажной ржи: терпѣть не могу Божьимъ даромъ торговать! Вотъ въ одолженіе—это такъ, это я съ удовольствіемъ. Я, братъ, вѣдь помню: сегодня я тебя одолжу, а завтра—ты меня одолжишь! Сегодня у меня избытокъ—бери, одолжайся! Четверть хочешь взять—четверть бери! Осьминка понадобилась—осьминку отсыпай. А завтра, можетъ-быть, такъ дѣло повернетъ, что и мнѣ у тебя подъ окошкомъ постучать придется: одолжи, молъ, Фокушка, ржицы осьминку—ѣсть нечего!

— Гдѣ ужъ, пойдете ли, сударь, вы!..

— Я-то не пойду, а къ примѣру... И не такіе, другъ, повороты на свѣтѣ бываютъ! Вонъ въ газетахъ пишутъ: какой столбъ Наполеонъ былъ, да и тотъ прогадалъ, не потрафилъ. Такъ-то, братъ. Сколько же тебѣ требуется ржицы-то?

— Четвертцу бы, коли милость ваша будетъ.

— Можно и четвертцу. Только зараньше я тебѣ говорю: кусается, другъ, нынче рожь, куда какъ кусается! Такъ вотъ какъ мы съ тобой сдѣлаемъ: я тебѣ шесть четвериковъ отмѣрить велю, а ты мнѣ черезъ восемь мѣсяцевъ два четверичка приполнцу отдашь—такъ оно четвертца въ аккуратъ и будетъ! Процентовъ я не беру, а отъ избытка ржицей...

У Фоки даже духъ занялся отъ Іудушкина предложенія; нѣкоторое время онъ ничего не говоритъ, только лопатками пошевеливаетъ.

— Не многовато ли будетъ, сударь?—наконецъ, произноситъ онъ, очевидно робѣя.

— А много—такъ къ другимъ обратись! Я, другъ, не неволю, а отъ души предлагаю. Не я за тобой посылалъ, самъ ты меня нашелъ. Ты—съ запросцемъ, я—съ отвѣтцемъ. Такъ-то, другъ!

— Такъ-то такъ, да словно бы приполнцу-то ужъ много?

— Ахъ-ахъ-ахъ! А я еще думалъ, что ты—справедливый мужикъ, степенный! Ну, а мнѣ-то, скажи, чѣмъ мнѣ-то жить прикажешь? Я-то откуда расходы свои долженъ удовлетворять? Вѣдь у меня сколько расходовъ—знаешь ли ты? Конца-краю, голубчикъ, расходамъ у меня

не видно. Я и тому дай, и другого удовлетвори, и третьему вынь да положь! Всѣмъ надо, всѣ Порфирія Владимірыча теребятъ, а Порфирій Владимірычъ отдувайся за всѣхъ! Онятъ и то: кабы я купцу рожь продалъ — я бы денежки сейчасъ на столъ получилъ. Деньги, братъ,—святое дѣло. Съ деньгами накуплю я себѣ билетовъ, положу въ вѣрное мѣсто и стану пользоваться процентами! Ни заботушки мнѣ, ни горюшка; отрѣзалъ купончикъ—пожалуйте денежки. А за рожью-то я еще походи, да похлопочи около нея, да постарайся! Сколько ея усохнетъ, сколько на розсыпь пойдетъ, сколько мышь съѣстъ! Нѣтъ, братъ, деньги—какъ можно! И давно бы мнѣ за умъ взяться пора, давно бы въ деньги все обратить, да и уѣхать отъ васъ!

— А вы съ нами, Порфирій Владимірычъ, поживите.

— И радъ бы, голубчикъ, да силъ моихъ нѣтъ. Кабы прежнія силы, конечно, еще пожилъ бы, повоевалъ бы. Нѣтъ, пора, пора на покой! Уѣду отсюда къ Троицѣ-Сергію, укроюсь подъ крылышко угоднику—никто и не услышитъ меня. А ужъ мнѣ-то какъ хорошо будетъ: мирно, честно, тихо, ни гвалту, ни свары, ни шума—точно на небеси!

Словомъ сказать, какъ ни вертится Фока, а дѣло слаживается, какъ хочется Парфирію Владимірычу. Но этого мало: въ самый моментъ, когда Фока ужъ согласился на условія займа, является на сцену какая-то Шелепиха. Такъ, пустошонка ледящая, съ десятинку покосцу, да и то врядъ ли... Такъ вотъ бы...

— Я тебѣ одолженіе дѣлаю—и ты меня одолжи,—говоритъ Порфирій Владимірычъ:—это ужъ не за проценты, а такъ, въ одолженіе! Богъ за всѣхъ, а мы другъ по дружкѣ! Ты десятинку-то шутя скосишь, а я тебя напредки помню! Я, братъ, вѣдь простъ! Ты мнѣ на рублик послужишь, а я...

Порфирій Владимірычъ встаетъ и въ знакъ окончанія дѣла молится на церковь. Фока, слѣдуя его примѣру, тоже крестится.

Фока исчезъ. Порфирій Владимірычъ беретъ листъ бумаги, вооружается счетами, а костяшки такъ и прыгаютъ подъ его проворными руками... Мало-по-малу начинается цѣлая оргія цифръ. Весь міръ застилается въ глазахъ Іудушки словно дымкой: съ лихорадочною торопливостью переходитъ онъ отъ счетовъ къ бумагѣ, отъ бумаги къ счетамъ. Цифры растутъ, растутъ...

VII.—Расчетъ.

На дворѣ декабрь въ половинѣ; схваченная неоглядным снѣжнымъ саваномъ окрестность тихо цѣпенѣетъ, за ночь намело на дорогѣ столько сугробовъ, что крестьянскія лошади тяжко барахтаются въ снѣгу, вывозя пустыя дровнишки. А къ головлевской усадьбѣ и слѣда почти нѣтъ. Порфирій Владимірычъ до того отвыкъ отъ посѣщеній, что и главныя ворота, ведущія къ дому, и парадное крыльцо, съ наступленіемъ осени, наглухо заколотилъ, предоставивъ домочадцамъ сообщаться съ внѣшнимъ міромъ посредствомъ дѣвичьяго крыльца и боковыхъ воротъ.

Утро; бьетъ одиннадцать. Іудушка, одѣтый въ халатъ, стоитъ у окна и безцѣльно поглядываетъ впередъ. Спозаранку бродилъ онъ взадъ и впередъ по кабинету и все о чемъ-то думалъ и высчитывалъ воображаемые доходы, такъ что, наконецъ, запутался въ цифрахъ и усталъ. И плодовитый садъ, раскинутый противъ главнаго фасада господскаго дома, и поселокъ, пріютившійся на задахъ сада,—все утонуло въ снѣжныхъ сувояхъ. Послѣ вчерашней вьюги день выдался морозный, и снѣжная пелена сплошь блеститъ на солнцѣ милліонами искръ, такъ что Порфирій Владимірычъ невольно щуритъ глаза. На дворѣ пустынно и тихо; ни малѣйшаго движенія ни у людской, ни около скотнаго двора; даже крестьянскій поселокъ угомонился, словно умеръ. Только надъ поповымъ домомъ вьется сизый дымокъ и останавливаетъ на себѣ вниманіе Іудушки.

— Одиннадцать часовъ било, а попадья еще не отстряпалась,—думается ему:—вѣчно эти попы трескаютъ!

Выйдя изъ этого пункта, онъ начинаетъ соображать: будни или праздникъ сегодня, постный или скоромный день, и что̀ должна стряпать попадья—какъ вдругъ вниманіе его отвлекается въ сторону. На горькѣ, при самомъ выѣздѣ изъ деревни Нагловки, показывается черная точка, которая постепенно придвигается и растетъ. Порфирій Владимірычъ вглядывается и, разумѣется, прежде всего задается цѣлой массой праздныхъ вопросовъ. Кто ѣдетъ, мужикъ или другой кто? Другому, впрочемъ, некому—стало-быть, мужикъ... да, мужикъ и есть! Зачѣмъ ѣдетъ? Ежели за дровами, такъ вѣдь нагловскій лѣсъ по ту сторону деревни... навѣрное, шельма, въ барскій лѣсъ воровать собрался! Ежели на мельницу, такъ тоже, выѣхавши изъ Нагловки, надо взять вправо... Можетъ-быть, за попомъ? Кто-нибудь умираетъ

или ужъ умеръ?.. А можетъ-быть, и родился кто? Какая же это баба родила? Ненила по осени съ прибылью ходила, да той, кажется, еще рано... Ежели уродился мальчикъ, такъ въ ревизію со временемъ попадетъ—сколько, бишь, въ Нагловкѣ, по послѣдней ревизіи, душъ?.. А ежели дѣвочка, такъ тѣхъ въ ревизію не записываютъ, да и вообще... А все-таки и безъ женскаго пола нельзя... тьфу!

Іудушка отплевывается и смотритъ на образъ, какъ бы ища у него защиты отъ лукаваго.

Очень вѣроятно, что онъ долго блуждалъ бы такимъ образомъ мыслью, если-бъ показавшаяся у Нагловки черная точка обыкновеннымъ порядкомъ помелькала и исчезла; но она все росла и, наконецъ, повернула на гать, ведущую къ церкви. Тогда Іудушка совершенно отчетливо увидѣлъ, что ѣдетъ небольшая рогоженная кибитка, запряженная парой гусемъ. Вотъ она поднялась на взлобокъ и поровнялась съ церковью («не благочинный ли? —мелькнуло у него:— то-то у попа не отстряпались о-сю пору!»), вотъ повернула вправо и направилась прямо къ усадьбѣ: «такъ и есть, сюда!» Порфирій Владимірычъ инстинктивно запахнулъ халатъ и отпрянулъ отъ окна, словно боясь, чтобъ проѣзжій не замѣтилъ его.

Онъ отгадалъ: повозка подъѣхала къ усадьбѣ и остановилась у боковыхъ воротъ. Изъ нея поспѣшно выскочила молодая женщина. Одѣта она была совсѣмъ не по сезону, въ городское ватное пальто, больше для вида, нежели для тепла, отороченное барашкомъ, и видимо закоченѣла. Особа эта, никѣмъ не встрѣченная, вприскочку побѣжала на дѣвичье крыльцо и черезъ нѣсколько секундъ ужъ слышно было, какъ хлопнула въ дѣвичьей дверь, а слѣдомъ за этимъ опять хлопнула другая дверь, а затѣмъ во всѣхъ ближайшихъ къ выходу комнатахъ началась ходьба, хлопанье и суета.

Порфирій Владимірычъ стоялъ у двери кабинета и прислушивался. Онъ такъ давно не видалъ никого посторонняго и вообще такъ отвыкъ отъ общества людей, что его взяла оторопь. Прошло съ четверть часа; ходьба и хлопанье дверью не перемежались, а ему все еще не докладывали. Это еще больше взволновало его. Ясно, что пріѣзжая принадлежала къ числу лицъ, которыя, въ качествѣ «приснымъ», не даютъ никакого повода сомнѣваться относительно своихъ правъ на гостепріимство. Кто же у него «присные»? Онъ началъ припоминать, но память какъ-то

тупо ему служила. Былъ у него сынъ Володька, да сынъ Петька, была маменька Арина Петровна... давно, ахъ, давно это было! Вотъ въ Горюшкинѣ, съ прошлой осени, поселилась Надька Галкина, покойной тетеньки Варвары Михайловны дочь—неужто же она? Да нѣтъ, та ужъ однажды пыталась ворваться въ головлевское капище, да шишъ съѣла! «Не смѣетъ она! не посмѣетъ!»—твердилъ Іудушка, приходя въ негодованіе при одной мысли о возможности пріѣзда Галкиной. Но кто же можетъ быть еще?

Покуда онъ такимъ образомъ припоминалъ, Евпраксеюшка осторожно подошла къ двери и доложила:

— Погорѣлковская барышня, Анна Семеновна, пріѣхала.

Дѣйствительно, это была Аннинька. Но она до такой степени измѣнилась, что почти не было возможности узнать ее. Въ Головлево явилась на этотъ разъ уже не та красивая, бойкая и кипящая молодостью дѣвушка, съ румянымъ лицомъ, сѣрыми глазами на-выкатъ, съ высокой грудью и тяжелой пепельной косой на головѣ, которая пріѣзжала сюда вскорѣ послѣ смерти Арины Петровны, а какое-то слабое, тщедушное существо съ впалою грудью, вдавленными щеками, нездоровымъ румянцемъ, съ вялыми тѣлодвиженіями,—существо сутулое, почти сгорбленное. Даже великолѣпная ея коса выглядѣла какъ-то мизерно, и только глаза, вслѣдствіе общей худобы лица, казались еще больше, нежели прежде, и горѣли лихорадочнымъ блескомъ. Евпраксеюшка долгое время взглядывалась въ нее, какъ въ незнакомую, но наконецъ-таки узнала.

— Барышня! вы ли?—вскрикнула она, всплеснувъ руками.

— Я. А что?

Сказавши это, Аннинька тихо засмѣялась, точно хотѣла прибавить: да, вотъ какъ! отдѣлали-таки меня!

— Дядя здоровъ?—спросила она.

— Что дяденька! такъ ни́што... Только слава, что живутъ, а то и не видимъ ихъ почесть никогда!

— Что же съ нимъ?

— Да такъ... отъ скуки, видно, съ ними сдѣлалось...

— Неужто и на бобахъ разводить пересталъ?

— Нынче они, барышня, молчатъ. Все говорили—и вдругъ замолчали. Слышимъ иногда, какъ промежду себя въ кабинетѣ что-то разговариваютъ, и даже смѣются будто, а выдутъ изъ комнаты—и опять замолчатъ. Сказываютъ, съ покойнымъ ихнимъ братцемъ, Степаномъ Владимірычемъ.

чемъ, то же было... Все были веселы—и вдругъ замолчали. Вы-то, барышня, все ли здоровы?

Аннинька только махнула рукою въ отвѣтъ.

— Сестрица все ли здорова?

— Ужъ цѣлый годъ, какъ въ Кречетовѣ при большой дорогѣ въ могилѣ лежитъ.

— Чтой-то, спаси Господи, ужъ и при дорогѣ!

— Извѣстно, какъ самоубійцъ хоронятъ.

— Господи! все барышни были—и вдругъ сами на себя ручку наложили... Какъ же это такъ?

— Да, сперва «были барышни», а потомъ отравились—только и всего. А я вотъ струсила, жить захотѣла, къ вамъ вотъ пріѣхала! Не надолго, не пугайтесь... умру!

Евпраксеюшка глядѣла на нее во всѣ глаза, словно не понимала.

— Что на меня глядите? хороша? Ну, какова есть... А впрочемъ, послѣ объ этомъ... послѣ... Теперь велите-ка ямщика разсчитать да дядю предупредите.

Говоря это, она вынула изъ кармана старенькій портмонэ и достала оттуда двѣ желтенькихъ бумажки.

— А вотъ и имущество мое!—прибавила она, указывая на жиденькій чемоданъ. — Тутъ все: и родовое, и благопріобрѣтенное! Иззябла я, Евпраксеюшка, очень иззябла! Вся я больна, ни одной косточки во мнѣ небольной нѣтъ, а тутъ, какъ нарочно, холодище... Ѣду, да объ одномъ только думаю: вотъ доберусь до Головлева, такъ хоть умру въ теплѣ! Водки бы мнѣ... Есть у васъ?

— Да вы бы, барышня, чайку лучше, самоваръ сейчасъ будетъ готовъ.

— Нѣтъ, чай потомъ, а теперь водки бы... Вы дядѣ, впрочемъ, не сказывайте о водкѣ-то покуда... Все само собой послѣ увидится.

Покамѣстъ въ столовой накрывали къ чаю, явился и Порфирій Владимірычъ. Въ свою очередь, и Аннинька съ изумленіемъ встрѣтилась съ нимъ: до такой степени онъ похудѣлъ, выцвѣлъ и задичалъ. Онъ обошелся съ Аннинькой какъ-то странно: не то чтобы холодно, а какъ будто ему до нея совсѣмъ дѣла нѣтъ. Говорилъ мало, вынужденно, точно актеръ, съ трудомъ припоминающій фразы изъ давнишнихъ ролей. Вообще, былъ разсѣянъ, какъ будто въ головѣ его въ это время шла совсѣмъ другая и очень важная работа, отъ которой его досаднымъ образомъ оторвали по пустякамъ.

— Ну, вотъ ты и пріѣхала!—сказалъ онъ.—Чего хочешь, чаю? кофею? Распорядись!

Въ прежнее время, при родственныхъ свиданіяхъ, роль чувствительнаго человѣка обыкновенно разыгрывалъ Іудушка, но на этотъ разъ расчувствовалась Аннинька, и расчувствовалась взаправду. Должно-быть, очень у нея наболѣло внутри, потому что она бросилась къ Порфирію Владимірычу на грудь и крѣпко его обняла.

— Дядя, я къ вамъ!—крикнула она и вдругъ залилась слезами.

— Ну, что-жъ, милости просимъ! Комнатъ у меня довольно—живи!

— Больна я, дяденька! Очень, очень больна!

— А больна, такъ Богу молиться надо! Я и самъ, когда боленъ—все молитвой лѣчусь!

— Умирать я пріѣхала къ вамъ, дядя!

Порфирій Владимірычъ испытующимъ окомъ взглянулъ на нее, и чуть замѣтная усмѣшка скользнула по его губамъ.

— Доигралась!—произнесъ онъ чуть слышно, почти про себя.

— Да, доигралась. Любинька—та «доигралась» и умерла, а я вотъ... живу!

При извѣстіи о смерти Любиньки Іудушка набожно перекрестился и молитвенно пошепталъ. Аннинька, между тѣмъ, сѣла къ столу, облокотилась и, смотря въ сторону церкви, продолжала горько плакать.

— Вотъ плакать и отчаиваться—это грѣхъ!—учительно замѣтилъ Порфирій Владимірычъ.—По-христіански знаешь ли какъ надо? Не плакать, а покоряться и уповать—вотъ какъ по-христіянски надлежитъ!

Но Аннинька откинулась на спинку стула и, тоскливо повѣсивъ руки, повторяла:

— Ахъ, ужъ и не знаю! Не знаю, не знаю, не знаю!

— Ежели ты объ сестрицѣ такъ убиваешься—такъ и это грѣхъ!—продолжалъ, между тѣмъ, поучать Іудушка.—Потому что хотя и похвально любить сестрицъ и братцевъ, однако, если Богу угодно одного изъ нихъ или даже и нѣсколькихъ призвать къ себѣ...

— Ахъ, нѣтъ, нѣтъ! Вы, дядя, добрый? Добрый вы? Скажите!

Аннинька опять бросилась къ нему и обняла.

— Ну, добрый, добрый! Ну, говори, хочется чего-нибудь? Закусочки, чайку, кофейку? Требуй, распорядись!

Аннинькѣ вдругъ вспомнилось, какъ въ первый пріѣздъ ея въ Головлево дяденька спрашивалъ: «телятинки хочется? поросеночка? картофельцу?» — и она поняла, что никакого другого утѣшенія ей здѣсь не сыскать.

— Благодарю васъ, дядя,—сказала она, снова присаживаясь къ столу:—ничего особеннаго мнѣ не нужно. Я заранѣе увѣрена, что буду всѣмъ довольна.

— А будешь довольна, такъ и слава Богу! Въ Погорѣлку-то поѣдешь, что ли?

— Нѣтъ, дядя, я покамѣстъ у васъ поживу. Вѣдь вы ничего не имѣете противъ этого?

— Христосъ съ тобой, живи! Ежели я и спросилъ про Погорѣлку, такъ потому, что на случай поѣздки распоряженіе нужно сдѣлать: кибиточку, лошадушекъ.

— Нѣтъ, послѣ, послѣ!

— И прекрасно. Когда-нибудь послѣ съѣздишь, а покудова съ нами поживи. По хозяйству поможешь—я вѣдь одинъ! Краля-то эта,—Іудушка почти съ ненавистью указалъ на Евпраксеюшку, разливавшую чай: — все по людскимъ рыскаетъ, такъ иной разъ и не докличешься никого, весь домъ пустой! Ну, а покамѣстъ прощай. Я къ себѣ пойду. И помолюсь, и дѣломъ займусь, и опять помолюсь... Такъ-то, другъ! Давно ли Любинька-то скончалась?

— Да съ мѣсяцъ, дядя.

— Такъ мы завтра ранехонько къ обѣденкѣ сходимъ, да кстати и панихидку по новопреставившейся рабѣ Божіей Любви отслужимъ... Такъ прощай покуда! Кушай-ко чай-то; а ежели закусочки захочется съ дорожки, и закусочки подать вели. А въ обѣдъ опять увидимся. Поговоримъ, побесѣдуемъ; коли нужно что-нибудь — распорядимся, а не нужно—и такъ посидимъ!

Такъ произошло это первое родственное свиданіе. Съ окончаніемъ его Аннинька вступила въ новую жизнь въ томъ самомъ постылomъ Головлевѣ, изъ котораго она ужъ дважды въ теченіе своей недолгой жизни не знала, какъ вырваться.

Аннинька пошла подъ гору очень быстро. Вызванное головлевской поѣздкой (послѣ смерти бабушки Арины Петровны) сознаніе, что она «барышня», что у нея есть свое гнѣздо и свои могилы, что не все въ ея жизни исчерпывается вонью и гвалтомъ гостиницъ и постоялыхъ дворовъ, что есть, наконецъ, убѣжище, въ которомъ ее не настигнутъ подлыя дыханья, зараженныя запахомъ вина и конюшни,

куда не ворвется тотъ «усатый», съ охрипшимъ отъ перепоя голосомъ, воспаленными глазами (ахъ, что онъ ей говорилъ! какіе жесты въ ея присутствіи дѣлалъ!),—это сознаніе улетучилось почти сейчасъ вслѣдъ за тѣмъ, какъ только пропало изъ вида Головлево.

Аннинька отправилась въ ту пору изъ Головлева прямо въ Москву и начала хлопотать, чтобъ ее и сестру приняли на казенную сцену. Съ этой цѣлью она обращалась и къ maman, директрисѣ института, въ которомъ она воспитывалась, и къ нѣкоторымъ институтскимъ товаркамъ. Но вездѣ ее приняли какъ-то странно. Maman, отнесшаяся къ ней въ первую минуту довольно радушно, какъ только узнала, что она играетъ въ провинціальномъ театрѣ, вдругъ перемѣнила благосклонное выраженіе лица на важное и строгое, а товарки, бо́льшею частью замужнія женщины, взглянули на нее съ такимъ нахальнымъ изумленіемъ, что она просто-на-просто струсила. Только одна, болѣе добродушная, нежели другія, желая показать участіе, спросила:

— А скажи, душка, правда ли, что когда вы, актрисы, одѣваетесь въ уборныхъ, то вамъ стягиваютъ корсеты офицеры?

Однимъ словомъ, ея попытки утвердиться въ Москвѣ такъ и остались попытками. Надо, впрочемъ, сказать правду, что и настоящихъ задатковъ она для успѣха на столичной сценѣ не имѣла. И она, и Любинька принадлежали къ числу тѣхъ бойкихъ, но не особенно даровитыхъ актрисъ, которыя всю жизнь играютъ одну и ту же роль. Аннинькѣ удалась «Перикола», Любинькѣ — «Анютины глазки» и «Полковникъ старыхъ временъ». И затѣмъ, за что́ бы онѣ ни принимались—вездѣ выходили «Периколы» и «Анютины глазки», а въ большинствѣ случаевъ, пожалуй, и совсѣмъ ничего не выходило. Приходилось Аннинькѣ играть и «Прекрасную Елену» (по обязанностямъ службы даже и часто); она накладывала на свои пепельные волосы совершенно огненный парикъ, дѣлала въ туникѣ разрѣзъ до самаго пояса, но за всѣмъ тѣмъ выходило посредственно, вяло, даже неципично. Отъ «Елены» она перешла къ «Отрывкамъ изъ Герцогини Герольштейнской», и такъ какъ тутъ къ безцвѣтной игрѣ прибавилась еще совершенно безсмысленная постановка, то вышло уже что-то совсѣмъ глупое. Наконецъ, взялась играть Клеретту въ «Дочери рынка»; но здѣсь, стараясь наэлектризовать публику, до такой степени переиграла, что и неприхотливымъ провин-

ціальнымъ зрителямъ показалось, что по сценѣ мечется даже не актриса, желающая «угодить», а просто какая-то непристойная лохань. Вообще объ Аннинькѣ составилась репутація, что она актриса проворная, обладающая недурнымъ голосомъ, а такъ какъ при этомъ у нея была красивая внѣшность, то въ провинціи она могла, пожалуй, дѣлать сборы. Но и только. Заставить говорить о себѣ она не могла и никакой опредѣленной физіономіи не имѣла. Даже въ средѣ провинціальной публики ея партію составляли исключительно служители всѣхъ родовъ оружія, главная претензія которыхъ заключалась въ томъ, чтобы имѣть свободный входъ за кулисы. Въ столицѣ же она была мыслима не иначе, какъ навязанная очень сильнымъ покровительствомъ, но и за всѣмъ тѣмъ отъ публики она навѣрное заслужила бы только незавидное прозвище «арфистки».

Приходилось возвращаться въ провинцію. Въ Москвѣ Аннинька получила отъ Любиньки письмо, изъ котораго узнала, что ихъ труппа перекочевала изъ Кречетова въ губернскій городъ Самоварновъ, чему она, Любинька, очень рада, потому что подружилась съ однимъ самоварновскимъ земскимъ дѣятелемъ, который до того увлекся ею, что «готовъ, кажется, земскія деньги украсть», лишь бы выполнить все, что она ни пожелаетъ. И дѣйствительно, пріѣхавши въ Самоварновъ, Аннинька застала сестру среди роскошной сравнительно обстановки и легкомысленно рѣшившею бросить сцену. Въ минуту пріѣзда у Любиньки находился и «другъ» ея, земскій дѣятель Гаврило Степанычъ Люлькинъ. Это былъ отставной гусарскій штабсъ-ротмистръ, еще недавно bel homme, но теперь уже слегка отяжелѣвшій. Лицо у него было благородное, манеры благородныя, образъ мыслей благородный, но въ то же время все вмѣстѣ взятое внушало увѣренность, что человѣкъ этотъ отнюдь не обратится въ бѣгство передъ земскимъ ящикомъ. Любинька приняла сестру съ распростертыми объятіями и объявила, что въ ея квартирѣ для нея приготовлена комната.

Но подъ вліяніемъ недавней поѣздки въ «свое мѣсто» Аннинька разсердилась. Между сестрами завязался горячій разговоръ, а потомъ произошла и размолвка. Невольно вспомнилось, при этомъ Аннинькѣ, какъ воплинскій батюшка говорилъ, что трудно въ актерскомъ званіи «сокровище» соблюсти.

Аннинька поселилась въ гостиницѣ и прекратила всякія

сношенія съ сестрой. Прошла Святая; на Ѳоминой начались спектакли, и Аннинька узнала, что на мѣсто сестры уже выписана изъ Казани дѣвица Палимова, актриса неважная, но зато совершенно безпрепятственная въ смыслѣ тѣлодвиженій. По обыкновенію Аннинька вышла передъ публикой въ «Периколѣ» и привела самоварновскихъ обывателей въ восторгъ. Возвратившись въ гостиницу, она нашла въ своемъ номерѣ пакетъ, въ которомъ оказались сторублевая бумажка и коротенькая записка, гласившая: «А въ случаѣ чего, и еще столько же. Купецъ, торгующій модными товаромъ, Кукишевъ». Аннинька разсердилась и пошла жаловаться хозяину гостиницы; но хозяинъ объявилъ, что у Кукишева такое ужъ «обнаковеніе», чтобъ всѣхъ актрисъ съ пріѣздомъ поздравлять, а впрочемъ-де онъ человѣкъ смирный и обижаться на него не стоитъ. Слѣдуя этому совѣту, Аннинька запечатала въ конвертъ письмо и деньги и, возвративъ на другой день все по принадлежности, успокоилась.

Но Кукишевъ оказался болѣе упорнымъ, нежели какъ о немъ отозвался хозяинъ гостиницы. Онъ считалъ себя въ числѣ друзей Люлькина и находился въ пріятельскихъ отношеніяхъ къ Любинькѣ. Человѣкъ онъ былъ состоятельный и, сверхъ того, подобно Люлькину, въ качествѣ члена городской управы, состоялъ въ самыхъ благопріятныхъ условіяхъ относительно городского ящика. И при семъ, подобно тому же Люлькину, обладалъ неустрашимостью. Наружность онъ имѣлъ, съ гостинодворской точки зрѣнія, обольстительную. А именно, напоминалъ того жука, котораго, по словамъ пѣсни, вмѣсто ягодъ, нашла въ полѣ Маша:

Жука чернаго съ усами
И съ курчавой головой,
Съ чернобурыми бровями—
Настоящій милый мой!

Затѣмъ, заручившись такою наружностью, онъ тѣмъ болѣе считалъ себя въ правѣ дерзать, что Любинька прямо обѣщала ему свое содѣйствіе.

Вообще Любинька, повидимому, окончательно сожгла свои корабли, и о ней ходили самыя непріятныя для сестрина самолюбія слухи. Говорили, что каждый вечеръ у нея собирается кутежная ватага, которая ужинаетъ съ полуночи до утра. Что Любинька предсѣдаетъ въ этой компаніи и, представляя изъ себя «цыганку», полураздѣтая (при этомъ

Люлькинъ, обращаясь къ пьянымъ друзьямъ, восклицалъ: «посмотрите, вотъ это такъ грудь!»), съ распущенными волосами и съ гитарой въ рукахъ, поетъ:

Ахъ, какъ было мнѣ пріятно
Съ этимъ милымъ усачомъ!

Аннинька слушала эти разсказы и волновалась. И что̀ всего болѣе изумляло ее—это то, что Любинька поетъ романсъ объ усачѣ на цыганскій манеръ; точь въ точь какъ московская Матреша! Аннинька всегда отдавала полную справедливость Любинькѣ, и если-бъ ей сказали, напримѣръ, что Любинька «неподражаемо» поетъ куплеты изъ «Полковника старыхъ временъ» — она, разумѣется, нашла бы это совершенно натуральнымъ и охотно повѣрила бы. Да этому нельзя было и не вѣрить, потому что и курская, и тамбовская, и пензенская публика до сихъ поръ помнитъ, съ какою неподражаемою наивностью Любинька своимъ маленькимъ голоскомъ заявляла о желаніи быть *под*полковникомъ... Но чтобы Любинька могла пѣть по-цыгански, на манеръ Матреши—это извините-съ! это — ложь-съ! Вотъ она, Аннинька, *можетъ* такъ пѣть—это несомнѣнно. Это ея жанръ, это ея амплуа, и весь Курскъ, видѣвшій ее въ пьесѣ «Русскіе романсы въ лицахъ», охотно засвидѣтельствуетъ, что она «можетъ».

И Аннинька брала въ руки гитару, перекидывала черезъ плечо полосатую перевязь, садилась на стулъ, клала ногу на ногу и начинала: «и-эхъ, и-ахъ!» И дѣйствительно, выходило именно, точка въ точку, такъ, какъ у цыганки Матреши.

Какъ бы то ни было, но Любинька роскошничала, а Люлькинъ, чтобы не омрачить картины хмельного блаженства какими-нибудь отказами, повидимому, уже приступилъ къ позаимствованіямъ изъ земскаго ящика. Не говоря о массѣ шампанскаго, которое всякую ночь выпивалось и выливалось на полъ въ квартирѣ Любиньки, она сама дѣлалась съ каждымъ днемъ капризнѣе и требовательнѣе. Явились на сцену сперва выписанныя изъ Москвы платья отъ **m-me** Минангуа̀, а потомъ и брильянты отъ Фульда. Любинька была расчетлива и не пренебрегала цѣнностями. Пьяная жизнь—сама по себѣ, а золото и камешки, въ особенности выигрышные билеты—сами по себѣ. Во всякомъ случаѣ, жилось не то чтобы весело, а буйно, безпардонно, изъ угара въ угаръ. Одно было непріятно: оказывалось нужнымъ заслуживать благосклонное вниманіе господина

полицеймейстера, который хотя и принадлежалъ къ числу друзей Люлькина, но иногда любилъ дать почувствовать, что онъ въ нѣкоторомъ родѣ власть. Любинька всегда угадывала, когда полицеймейстеръ бывалъ недоволенъ ея угощеніемъ, потому что въ такихъ случаяхъ къ ней являлся на другой день утромъ частный приставъ и требовалъ паспортъ. И она покорялась: утромъ подавала частному приставу закуску и водку, а вечеромъ собственноручно дѣлала для господина полицеймейстера какой-то «шведскій» пуншъ, до котораго онъ былъ большой охотникъ.

Кукишевъ видѣлъ это разливное море и сгоралъ отъ зависти. Ему захотѣлось, во что бы ни стало, имѣть точно такой же выѣзжій домъ и точь въ точь такую же «крали». Тогда можно было бы и время разнообразнѣе проводить: сегодня ночь — у Люлькинской «крали», завтра ночь — у его, Кукишева, «крали». Это была его завѣтная мечта, мечта глупаго человѣка, который чѣмъ глупѣе, тѣмъ упорнѣе въ достиженіи своихъ цѣлей. И самою подходящею личностью для осуществленія этой мечты представлялась Аннинька.

Однакожъ, Аннинька не сдавалась. До сихъ поръ кровь еще не говорила въ ней, хотя она имѣла много поклонниковъ и не стѣснялась въ обращеніи съ ними. Была одна минута, когда ей казалось, что она готова полюбить мѣстнаго трагика, Милославскаго 10-го, который и въ свою очередь, повидимому, сгоралъ къ ней страстью. Но Милославскій 10-й былъ такъ глупъ и притомъ такъ упорно нетрезвъ, что ни разу ничего ей не высказалъ, а только таращилъ глаза и какъ-то нелѣпо икалъ, когда она проходила мимо. Такъ эта любовь и заглохла въ самомъ зачаткѣ. На всѣхъ же остальныхъ поклонниковъ Аннинька просто смотрѣла какъ на неизбѣжную обстановку, на которую провинціальная актриса осуждена самыми условіями своего ремесла. Она покорялась этимъ условіямъ, пользовалась тѣми маленькими льготами (рукоплесканія, букеты, катанья на тройкахъ, пикники и проч.), которыя они ей предоставляли, но дальше этого, такъ сказать, внѣшняго распутства не шла.

Такъ поступила она и теперь. Въ продолженіе цѣлаго лѣта она неуклонно пребывала на стези добродѣтели, ревниво ограждая свое «сокровище» и какъ бы желая заочно доказать воплинскому батюшкѣ, что и въ средѣ актрисъ встрѣчаются личности, которымъ не чуждо геройство.

Однажды она даже рѣшилась пожаловаться на Кукишева начальнику края, который благосклонно ее выслушалъ и за геройство похвалилъ, рекомендовавъ и на будущее время пребывать въ оном. Но вмѣстѣ съ нимъ, увидѣвъ въ ея жалобѣ лишь предлогъ для косвеннаго нападенія на его собственную, начальника края, персону, изволилъ присовокупить, что, истративъ силы въ борьбѣ съ внутренними врагами, не имѣетъ твердаго основанія полагать, чтобы онъ могъ быть въ требуемомъ смыслѣ полезнымъ. Выслушавъ это, Аннинька покраснѣла и ушла.

Между тѣмъ Кукишевъ дѣйствовалъ такъ ловко, что успѣлъ заинтересовать въ своихъ домогательствахъ и публику. Публика какъ-то вдругъ догадалась, что Кукишевъ правъ, и что дѣвица Погорѣльская 1-я (такъ она печаталась въ афишахъ) не Богъ вѣсть какая «фря», чтобы разыгрывать изъ себя недотрогу. Образовалась цѣлая партія, которая поставила себѣ задачей обуздать строптивую выскочку. Началось съ того, что закулисные завсегдатаи стали обѣгать ея уборную и свили себѣ гнѣздо по сосѣдству, въ уборной дѣвицы Налимовой. Потомъ—не высказывая, впрочемъ, прямо враждебныхъ дѣйствій — начали принимать дѣвицу Погорѣльскую, при ея выходахъ, съ такою убійственною воздержностью, какъ будто на сцену появился не первый сюжетъ, а какой-нибудь оглашенный статистъ. Наконецъ, настояли на томъ, чтобы антрепренеръ отобралъ у Аннинькн нѣкоторыя роли и отдалъ ихъ Налимовой. И что еще любопытнѣе—во всей этой подпольной интригѣ самое дѣятельное участіе принимала Любинька, у которой Налимова состояла на правахъ наперсницы.

Къ осени Аннинька съ изумленіемъ увидѣла, что ее заставляютъ играть Ореста въ «Прекрасной Еленѣ», и что изъ прежнихъ первыхъ ролей за ней оставлена только Периколa, да и то потому, что сама дѣвица Налимова не рѣшилась соперничать съ нею въ этой пьесѣ. Сверхъ того, антрепренеръ объявилъ ей, что, въ виду охлажденія къ ней публики, жалованье ея сокращается до 75 рублей въ мѣсяцъ съ однимъ полубенефисомъ въ теченіе года.

Аннинька струсила, потому что при такомъ жалованьи ей приходилось переходить изъ гостиницы на постоялый дворъ. Она написала письма къ двумъ-тремъ антрепренерамъ, предлагая свои услуги, но отовсюду получила отвѣтъ, что нынче и безъ того отъ Периколъ отбою нѣтъ, а такъ какъ, сверхъ того, изъ достовѣрныхъ источниковъ сдѣлалось

извѣстно объ ея строптивости, то и тѣмъ больше надеждъ на успѣхъ не предвидится.

Анниньку проживала послѣднія запасныя деньги. Еще недѣля—и ей не миновать было постоялаго двора, наравнѣ съ дѣвицей Хорошавиной, игравшей Парѳенисъ и пользовавшейся покровительствомъ квартальнаго надзирателя. На нее начало находить что-то въ родѣ отчаянія, тѣмъ больше, что въ ея номеръ каждый день таинственная рука подбрасывала записку одного и того же содержанія: «Перикола, покорись! Твой Кукишевъ». И вотъ, въ эту тяжелую минуту къ ней совсѣмъ неожиданно ворвалась Любинька.

— Скажи на милость, для какого принца ты свое сокровище бережешь?—спросила она кратко.

Аннинька оторопѣла. Прежде всего ее поразило, что и воплинскій батюшка, и Любинька въ одинаковомъ смыслѣ употребляютъ слово «сокровище». Только батюшка видитъ въ сокровищѣ «основу», а Любинька смотритъ на него, какъ на пустое дѣло, отъ котораго, впрочемъ, «подлецы-мужчины» способны доходить до одурѣнія.

Затѣмъ она невольно спросила себя: что̀ такое, въ самомъ дѣлѣ, это сокровище? дѣйствительно ли оно сокровище и стоитъ ли беречь его?—и увы!—не нашла на этотъ вопросъ удовлетворительнаго отвѣта. Съ одной стороны, какъ будто совѣстно остаться безъ сокровища, а съ другой... ахъ, чортъ побери! да неужели же весь смыслъ, вся заслуга жизни въ томъ только и должна выразиться, чтобы каждую минуту вести борьбу за сокровище?

— Я въ полгода успѣла тридцать выигрышныхъ билетовъ скопить, — продолжала, между тѣмъ, Любинька: — да вещей сколько... Посмотри, какое на мнѣ платье!

Любинька повернулась кругомъ, обдернулась сперва спереди, потомъ сзади и дала себя осмотрѣть со всѣхъ сторонъ. Платье было дѣйствительно и дорогое, и изумительно сшитое: прямо отъ Минангуа̀ изъ Москвы.

— Кукишевъ—добрый,—опять начала Любинька: — онъ тебя, какъ куколку, вырядитъ, да и денегъ дастъ. Театръ-то можно будетъ и по-боку... Достаточно!

— Никогда!—горячо вскрикнула Аннинька, которая еще не забыла словъ: «святое искусство!»

— Можно и остаться, если хочешь. Старшій окладъ опять получишь, впереди Налимовой пойдешь.

Аннинька молчала.

— Ну, прощай. Меня внизу ждутъ наши. И Кукишевъ тамъ. Ѣдемъ?

Но Аннинька продолжала молчать.

— Ну, подумай, коли есть надъ чѣмъ думать... А когда надумаешь—приходи. Прощай!

17-го сентября, въ день Любинькиныхъ именинъ, афиша самоварновскаго театра возвѣщала *экстраординарное* представленіе. Аннинька явилась вновь въ роли «Прекрасной Елены», и въ тотъ же вечеръ, «на сей только разъ», роль Ореста выполнила дѣвица Погорѣльская 2-я, то-есть Любинька. Къ довершенію торжества, и тоже «на сей только разъ», дѣвицу Налимову одѣли въ трико и коротенькую визитку, слегка тронули лицо сажей, вооружили желѣзнымъ листомъ и выпустили на сцену въ роли кузнеца Клеона. Въ виду всего этого и публика была какъ-то восторженно настроена. Едва показалась изъ-за кулисъ Аннинька, какъ ее встрѣтилъ такой гвалтъ, что она, совсѣмъ уже отвыкшая отъ овацій, почувствовала, что къ ея горлу подступаютъ рыданія. А когда, въ третьемъ актѣ, въ сценѣ ночного пробужденія, она встала съ кушетки почти обнаженная, то въ залѣ поднялся въ полномъ смыслѣ слова стонъ, такъ что одинъ черезчуръ наэлектризованный зритель крикнулъ появившемуся въ дверяхъ Менелаю: «Да уйди ты, постылый человѣкъ, вонъ!» Аннинька поняла, что публика простила ее. Съ своей стороны, Кукишевъ, во фракѣ, въ бѣломъ галстукѣ и бѣлыхъ перчаткахъ, съ достоинствомъ заявлялъ о своемъ торжествѣ и въ антрактахъ поилъ въ буфетѣ шампанскимъ знакомыхъ и незнакомыхъ. Наконецъ, и антрепренеръ театра, преисполненный ликованія, явился въ уборную Аннинькн и, вставъ на колѣна, сказалъ:

— Ну, вотъ, барышня, теперь вы — паинька! И потому съ нынѣшняго же вечера, попрежнему, переводитесь на высшій окладъ съ соотвѣтствующимъ числомъ бенефисовъ-съ!

Однимъ словомъ, всѣ ее хвалили, всѣ поздравляли и заявляли о сочувствіи, такъ что она и сама, сначала робѣвшая и какъ бы не находившая мѣста отъ гнетущей тоски, совершенно неожиданно прониклась убѣжденіемъ, что она... выполнила свою миссію!

Послѣ спектакля всѣ отправились къ именинницѣ, и тутъ поздравленія усугубились. Въ квартирѣ Любиньки собралась такая толпа и сразу такъ надымила табакомъ, что трудно было дышать. Сейчасъ сѣли за ужинъ и полилось шампанское. Кукишевъ ни на шагъ не отходилъ отъ

Аннинькн, которая, повидимому, была слегка смущена, но въ то же время уже не тяготилась этимъ ухаживаніемъ. Ей казалось немножко смѣшно, но и лестно, что она такъ легко пріобрѣла себѣ этого рослаго и сильнаго купчину, который шутя можетъ подкову согнуть и разогнуть, и которому она можетъ все приказать, и что захочетъ, то съ нимъ и сдѣлаетъ. За ужиномъ началось общее веселье, то пьяное, безпорядочное веселье, въ которомъ не принимаютъ участія ни умъ, ни сердце и отъ котораго на другой день болитъ голова и ощущаются позывы на тошноту. Только одинъ изъ присутствующихъ, трагикъ Милославскій 10-й, глядѣлъ угрюмо и, уклоняясь отъ шампанскаго, рюмка за рюмкой хлопалъ водку-простеца. Что касается до Аннинькн, то она нѣкоторое время воздерживалась отъ «упоенія»; но Кукишевъ былъ такъ настоятеленъ и такъ жалко умолялъ на колѣняхъ: «Анна Семеновна! за вами дюбѣтъ-съ (debet)! Позвольте просить-съ! За ваше блаженство-съ, совѣтъ да любовь-съ! Сдѣлайте ваше одолженіе-съ!»—что ей хоть и досадно было видѣть его глупую фигуру и слушать его глупыя рѣчи, но она все-таки не могла отказаться, и не успѣла опомниться, какъ у нея закружилась голова. Любинька, съ своей стороны, была такъ великодушна, что сама предложила Аннинькѣ спѣть: «Ахъ, какъ было мнѣ пріятно съ этимъ милымъ усачомъ», что послѣдняя и выполнила съ такимъ совершенствомъ, что всѣ воскликнули: «Вотъ это такъ ужъ точно... по-Матрешиному!» Взамѣнъ того Любинька мастерски спѣла куплеты о томъ, какъ пріятно быть *под*полковникомъ, и всѣхъ сразу убѣдила, что это настоящій ея жанръ, въ которомъ у нея точно такъ же нѣтъ соперницъ, какъ у Аннинькн—въ пѣсняхъ съ цыганскимъ пошибомъ. Въ заключеніе Милославскій 10-й и дѣвица Налимова представили «сценку маскарадъ», въ которой трагикъ декламировалъ отрывки изъ «Уголино» («Уголино», трагедія въ 5-ти дѣйствіяхъ, соч. Н. Полевого), а Налимова подавала ему реплики изъ неизданной трагедіи Баркова. Выходило нѣчто до такой степени неожиданное, что дѣвица Налимова чуть-чуть не затмила дѣвицъ Погорѣльскихъ и не сдѣлалась героинею вечера.

Было уже почти свѣтло, когда Кукишевъ, оставивши дорогую именинницу, усаживалъ Аннинькн въ коляску. Благочестивые мѣщане возвращались отъ заутрени и, глядя на расфранченную и слегка пошатывавшуюся дѣвицу Погорѣльскую 1-ю, угрюмо ворчали:

— Люди изъ церкви идутъ, а они вино жрутъ... пропасти на васъ нѣтъ!

Отъ сестры Аннинька отправилась уже не въ гостиницу, а на *свою* квартиру, маленькую, но уютную и очень мило отдѣланную. Туда же, слѣдомъ за ней, вошелъ и Кукишевъ.

Вся зима прошла въ какомъ-то неслыханномъ чаду. Аннинька окончательно закружилась, и ежели по временамъ вспоминала о «сокровищѣ», то только для того, чтобы сейчасъ же мысленно присовокупить: «какая я, однакожъ, была дура!» Кукишевъ подъ вліяніемъ гордаго сознанія, что его идея насчетъ «крали» равнаго достоинства съ Любинькой осуществилась, не только не жалѣлъ денегъ, но, подстрекаемый соревнованіемъ, выписывалъ непремѣнно два наряда, когда Люлькинъ выписывалъ только одинъ, и ставилъ двѣ дюжины шампанскаго, когда Люлькинъ ставилъ одну. Даже Любинька начала завидовать сестрѣ, потому что послѣдняя успѣла за зиму накопить сорокъ выигрышныхъ билетовъ, кромѣ порядочнаго количества золотыхъ бездѣлушекъ съ камешками и безъ камешковъ. Онѣ, впрочемъ, опять сдружились и рѣшили все накопленіе хранить сообща. При этомъ Аннинька все еще о чемъ-то мечтала и въ интимной бесѣдѣ съ сестрой говорила:

— Когда *все это* кончится, то мы поѣдемъ въ Погорѣлку. У насъ будутъ деньги, и мы начнемъ хозяйничать.

На что Любинька очень цинично возражала:

— А ты думаешь, что *это* когда-нибудь кончится... дура!

На несчастье Анниньки, у Кукишева явилась новая «идея», которую онъ началъ преслѣдовать съ обычнымъ упорствомъ. Какъ человѣку неразвитому и при томъ несомнѣнно неумному, ему казалось, что онъ очутился наверху блаженства, если его «краля» будетъ «дѣлать ему акомпаниментъ», т. е. вмѣстѣ съ нимъ станетъ пить водку.

— Хлопнемте-съ, вмѣстѣ-съ, по одной-съ! — приставалъ онъ къ ней безпрестанно (онъ всегда говорилъ Аннинькѣ «вы», во-первыхъ, цѣня въ ней дворянское званіе, и, во-вторыхъ, желая показать, что и онъ не даромъ жилъ «въ мальчикахъ» въ московскомъ гостиномъ дворѣ).

Аннинька нѣкоторое время отнѣкивалась, ссылаясь на то, что и Люлькинъ никогда не заставлялъ Любиньку пить водку.

— Однакожъ, онѣ изъ любви къ господину Люлькину, все-таки, кушаютъ-съ! — возразилъ Кукишевъ. — Да и позвольте вамъ доложить, кралечка-съ, развѣ намъ господа

Люлькины образецъ-съ? Они — Люлькины-съ, а мы съ вами—Кукишевы-съ! Оттого мы и хлопнемъ по-нашему-съ, по-кукишевски-съ!

Однимъ словомъ, Кукишевъ настоялъ. Однажды Аннинька приняла изъ рукъ своего возлюбленнаго рюмку, наполненную зеленой жидкостью, и разомъ опрокинула ее въ горло. Разумѣется, не взвидѣла свѣта, поперхнулась, закашлялась, закружилась и этимъ привела Кукишева въ неистовый восторгъ.

— Позвольте вамъ доложить, кралечка, вы не такъ кушаете-съ! Вы слишкомъ ужъ скоро-съ! — поучалъ онъ ее, когда она немного успокоилась. — Пакальчикъ (такъ называлъ онъ рюмку) слѣдуетъ держать въ ручкахъ вотъ какъ-съ! Потомъ поднести къ устамъ и не торопясь: разъ, два, три... Господи благослови!

И онъ спокойно и серьезно опрокинулъ рюмку въ горло, точно вылилъ содержаніе ея въ лоханъ. Даже не поморщился, а только взялъ съ тарелки миніатюрный кусочекъ чернаго хлѣба, обмакнулъ въ солонку и пожевалъ.

Такимъ образомъ, Кукишевъ добился осуществленія и второй своей «идеи», и началъ ужъ помышлять о томъ, какую бы такую новую «идею» выдумать, чтобы господамъ Люлькинымъ въ носъ бросилось. И, разумѣется, выдумалъ.

— Знаете ли что-съ,—вдругъ объявилъ онъ:—ужо, какъ лѣто наступитъ, отправимтесь-ка мы съ господами Люлькиными за кампанію ко мнѣ на мельницу-съ, возьмемъ съ собой сакваяжъ-съ (такъ называлъ онъ коробокъ съ виномъ и закуской) и искупаемся въ рѣчкѣ-съ, съ обоюднаго промежду себя согласія-съ!

— Ну, ужъ этому-то никогда не бывать!— возражала съ негодованіемъ Аннинька.

— Отчего такъ-съ? Сначала искупаемся-съ, потомъ чуточку хлопнемъ-съ, а потомъ немного проклаже и опять искупаемся-съ! Расчудесное будетъ дѣло-съ!

Неизвѣстно, осуществилась ли эта новая «идея» Кукишева, но извѣстно, что цѣлый годъ длился этотъ пьяный угаръ, и въ продолженіе этого времени ни городская управа, ни земская таковая-жъ не обнаружили ни малѣйшаго безпокойства относительно господъ Кукишева и Люлькина. Люлькинъ, впрочемъ, ѣздилъ, для вида, въ Москву и, воротившись, сказывалъ, что продалъ на срубъ лѣсъ; а когда ему напомнили, что онъ уже четыре года тому назадъ,

когда жилъ съ цыганкой Домашкой, продалъ лѣсъ, то онъ возражалъ, что тогда онъ сбылъ урочище Дрыгаловское, а теперь пустошь Дашкину-Стыдобышку. Причемъ, для приданія своему разсказу бо́льшаго вѣроятія, присовокупилъ, что проданная пустошь была такъ названа потому, что при крѣпостномъ правѣ въ этомъ лѣсу «застали» дѣвку Дашку и тутъ же на мѣстѣ наказывали за это розгами. Что касается Кукишева, то онъ, для отвода глазъ, распускалъ подъ рукой слухъ, что безпошлинно привезъ изъ-за границы въ карандашахъ партію кружевъ, и этою операціей нажилъ хорошій барышъ.

Тѣмъ не менѣе, въ сентябрѣ слѣдующаго года полицеймейстеръ попросилъ у Кукишева заимообразно тысячу рублей, и Кукишевъ имѣлъ неблагоразуміе отказать. Тогда полицеймейстеръ началъ о чемъ-то перешептываться съ товарищемъ прокурора («оба у меня шампанское каждый вечеръ лакали!»—показывалъ впослѣдствіи на судѣ Кукишевъ). И вотъ, 17-го сентября, въ годовщину Кукишевскихъ «любвей», когда онъ, вмѣстѣ съ прочими, вновь праздновалъ именины Любиньки, прибѣжалъ гласный изъ городской управы и объявилъ Кукишеву, что въ управѣ собралось присутствіе и составляется протоколъ.

— Стало-быть, «дюбе́тъ» нашли? — довольно развязно воскликнулъ Кукишевъ и безъ дальнихъ разговоровъ послѣдовалъ за посланнымъ въ управу, а оттуда въ острогъ.

На другой день всполошилась и земская управа. Собрались члены, послали въ казначейство за денежнымъ ящикомъ, считали, пересчитывали, но какъ ни хлопали на счетахъ, а въ концѣ концовъ оказалось, что и тутъ «дюбе́тъ». Люлькинъ присутствовалъ при ревизіи, блѣдный, угрюмый, но... благородный! Когда «дюбе́тъ» обнаружился вполнѣ осязательно и члены, каждый про себя, обсуждали, какое Дрыгаловское урочище придется каждому изъ нихъ продавать для пополненія растраты, Люлькинъ подошелъ къ окну, вынулъ изъ кармана револьверъ и тутъ же всадилъ себѣ пулю въ високъ.

Много говору надѣлало въ городѣ это происшествіе. Судили и сравнивали. Люлькина жалѣли, говорили: «По крайней мѣрѣ благородно покончилъ!» О Кукишевѣ отзывались: «Аршинникомъ родился, аршинникомъ и умретъ». А объ Аннинькѣ и Любинькѣ говорили прямо, что это — «онѣ», что это — «изъ-за нихъ», и что ихъ тоже не мѣшало бы

засадить въ острогъ, чтобы подобнымъ прощалыгамъ впредь неповадно было.

Слѣдователь, однакожъ, не засадилъ ихъ въ острогъ, но зато такъ настращалъ, что онѣ совсѣмъ растерялись. Нашлись, конечно, люди, которые пріятельски совѣтовали припрятать что̀ поцѣннѣе, но онѣ слушали и ничего не понимали. Благодаря этому, адвокатъ истцовъ (объ управы наняли одного и того же адвоката), отважный малый, въ видахъ обезпеченія исковъ, явился, въ сопровожденіи судебнаго пристава, къ сестрамъ, и все, что̀ нашелъ, описалъ и опечаталъ, оставивъ въ ихъ распоряженіи только платья и тѣ золотыя и серебряныя вещи, которыя, судя по выгравированнымъ надписямъ, оказывались приношеніями восхищенной публики. Любинька успѣла, однакожъ, при этомъ захватить пачку бумажекъ, подаренную ей наканунѣ, и спрятать за корсетъ. Въ этой пачкѣ оказалась тысяча рублей—все, чѣмъ сестры должны были неопредѣленное время существовать.

Въ ожиданіи суда ихъ держали въ Самоварномъ мѣсяца четыре. Затѣмъ начался судъ, на которомъ онѣ, а въ особенности Аннинька, выдержали цѣлую пытку. Кукишевъ былъ циниченъ до мерзости; даже надобности не было въ тѣхъ подробностяхъ, которыя онъ выложилъ; но онъ, очевидно, хотѣлъ порисоваться передъ самоварновскими дамами и излагалъ рѣшительно все. Прокуроръ и частный обвинитель, люди молодые и тоже желавшіе доставить самоварновскимъ дамамъ удовольствіе, воспользовались этимъ, чтобъ сообщить процессу игривый характеръ, въ чемъ, конечно, и успѣли. Аннинька нѣсколько разъ падала въ обморокъ, но частный обвинитель, озабочиваясь обезпеченіемъ иска, рѣшительно не обращалъ на это вниманія и ставилъ вопросы за вопросами. Наконецъ, слѣдствіе кончилось и предоставлено было слово заинтересованнымъ сторонамъ. Ужъ поздно ночью присяжные вынесли Кукишеву обвинительный приговоръ съ смягчающими, впрочемъ, обстоятельствами, вслѣдствіе чего онъ былъ тутъ же присужденъ къ ссылкѣ на житье въ западную Сибирь, въ мѣста не столь отдаленныя.

Съ окончаніемъ дѣла сестры получили возможность уѣхать изъ Самоварнаго. Да и время было, потому что спрятанная тысяча рублей подходила подъ исходъ. А сверхъ того и антрепренеръ кречетовскаго театра, съ которымъ онѣ предварительно сошлись, требовалъ, чтобы онѣ явились въ

Кречетовъ немедленно, грозя въ противномъ случаѣ прервать переговоры. О деньгахъ, вещахъ и бумагахъ, опечатанныхъ по требованію частнаго обвинителя, не было ни слуха, ни духа...

Таковы были послѣдствія небрежнаго обращенія съ «сокровищемъ». Измученныя, истерзанныя, подавленныя общимъ презрѣніемъ, сестры утратили всякую вѣру въ свои силы, всякую надежду на просвѣтъ въ будущемъ. Онѣ похудѣли, опустились, струсили. И къ довершенію всего, Аннинька, побывавши въ школѣ Кукишева, пріучилась пить.

Дальше пошло еще хуже. Въ Кречетовѣ, едва успѣли сестры выйти изъ вагона, какъ ихъ тотчасъ же разобрали по рукамъ. Любинку принялъ ротмистръ Папковъ, Аниньку—купецъ Забвенный. Но прежнихъ приволій уже не было. И Папковъ, и Забвенный были люди грубые, драчуны, но тратились умѣренно (Забвенный выражался: «глядя по товару»), а черезъ три-четыре мѣсяца и значительно охладѣли. Къ довершенію, рядомъ съ умѣренными любовными успѣхами, шли и черезчуръ умѣренные успѣхи сценическіе. Антрепренеръ, выписавшій сестеръ въ расчетѣ на скандалъ, произведенный ими въ Самоварновѣ, совсѣмъ неожиданно просчитался. На первомъ же представленіи, когда обѣ дѣвицы Погорѣльскія были на сценѣ, кто-то изъ райка крикнулъ: «Эхъ, вы, подсудимыя!»—и кличка эта такъ и осталась за сестрами, сразу рѣшивъ ихъ сценическую судьбу.

Потянулась вялая, глухая, лишенная всякаго умственнаго интереса жизнь. Публика была холодна, антрепренеръ дулся, покровители—не заступались. Забвенный, который, подобно Кукишеву, мечталъ, какъ онъ будетъ «понуждать» свою кралю прохаживаться съ нимъ по маленькой, какъ она будетъ сначала жеманиться, а потомъ мало-по-малу уступитъ, былъ очень обиженъ, когда увидѣлъ, что школа уже пройдена сполна, и что ему остается только одна утѣха: собирать пріятелей и смотрѣть, какъ Анютка «водку жретъ». Съ своей стороны и Папковъ былъ недоволенъ и находилъ, что Любинька похудѣла, или, какъ онъ выражался, «постервѣла».

— У тебя прежде тѣлеса были,—допрашивалъ онъ ее:—сказывай, куда ты ихъ дѣвала?

И вслѣдствіе этого не только не церемонился съ нею, но даже не разъ, подъ пьяную руку, бивалъ.

Къ концу зимы сестры не имѣли ни покровителей «настоящихъ», ни «постояннаго положенія». Онѣ еще держались кое-какъ около театра, но о «Периколахъ» и «Полковникахъ старыхъ временъ» не было ужъ и рѣчи. Любинька, впрочемъ, выглядѣла нѣсколько бодрѣе; Аннинька же, какъ болѣе нервная, совсѣмъ опустилась и, казалось, позабыла о прошломъ и не сознавала настоящаго. Сверхъ того, она начинала подозрительно кашлять: навстрѣчу ей, видимо, шелъ какой-то загадочный недугъ...

Слѣдующее лѣто было ужасно. Мало-по-малу сестеръ начали возить по гостиницамъ къ пріѣзжающимъ господамъ и на нихъ установилась умѣренная такса. Скандалы слѣдовали за скандалами, побоища за побоищами, но сестры были живучи, какъ кошки, и все льнули, все желали жить. Онѣ напоминали тѣхъ жалкихъ собачонокъ, которыя, несмотря на ошпариванія, израненныя, съ перешибленными ногами, все-таки лѣзутъ въ облюбованное мѣсто, визжатъ и лѣзутъ. Держать при театрѣ подобныхъ личностей оказалось неудобнымъ.

Въ эту мрачную годину только однажды лучъ свѣта ворвался въ существованіе Аннинькн. А именно: трагикъ Милославскій 10-й прислалъ изъ Самоварнова письмо, въ которомъ настоятельно предлагалъ ей руку и сердце. Аннинька прочла письмо и заплакала. Цѣлую ночь она металась, была, какъ говорится, сама не своя, но на утро послала короткій отвѣтъ: «Для чего? Для того, что ли, чтобъ вмѣстѣ водку пить?» Затѣмъ мракъ сгустился пуще прежняго и снова начался безконечный подлый угаръ.

Любинька первая очнулась, или, лучше сказать, не очнулась, а инстинктивно почувствовала, что жить довольно. Работы впереди уже не предвидѣлось: и молодость, и красота, и зачатки дарованія — все какъ-то вдругъ пропало. О томъ, что есть у нихъ пріютъ въ Погорѣлкѣ, ей ни разу даже не вспомнилось. Это было что-то далекое, смутное, совсѣмъ забытое. Если ихъ прежде не манило въ Погорѣлку, то теперь и подавно. Да, именно теперь, когда приходилось почти умирать съ голода, теперь-то меньше всего и манило туда. Съ какимъ лицомъ она явится? Съ лицомъ, на которомъ всевозможныя пьяныя дыханія выжгли тавро: «подлая!» Вездѣ они легли, эти проклятыя дыханія; вездѣ они чувствуются, на всякомъ мѣстѣ. И что всего ужаснѣе — и она, и Аннинька настолько освоились съ этими дыханіями, что незамѣтно сдѣлали ихъ неразрыв-

ною частью своего существованія. Имъ не омерзительны ни трактирная вонь, ни гвалтъ постоялыхъ дворовъ, ни цинизмъ пьяныхъ рѣчей, такъ что если-бъ онѣ ушли въ Погорѣлку, то имъ навѣрное всего этого будетъ недоставать. Но, кромѣ того, вѣдь и въ Погорѣлкѣ надо чѣмъ-нибудь существовать. Сколько ужъ лѣтъ онѣ мыкаются по бѣлу свѣту, а о доходахъ съ Погорѣлки что-то не слыхать. Не миоъ ли она? не вымерли ли тамъ всѣ? Всѣ эти свидѣтели далекаго и вѣчно памятнаго дѣтства, когда ихъ, сиротокъ, бабенька Арина Петровна воспитывала на кисломъ молокѣ и попорченной солонинѣ... Ахъ, что это было за дѣтство! Что это за жизнь... вся вообще! Вся жизнь... вся, вся, вся жизнь!

Ясно, что надо умереть. Разъ эта мысль освѣтила совѣсть, она дѣлается ужъ неотвязною. Обѣ сестры нерѣдко пробуждались отъ угара; но у Аннинъки эти пробужденія сопровождались истериками, рыданіями, слезами и проходили быстрѣе. Любинька была холоднѣе по природѣ, а потому не плакала, не проклинала, а только упорно помнила, что она «подлая». Сверхъ того, Любинька была разсудительна и какъ-то совершенно ясно сообразила, что жить даже и расчета нѣтъ. Совсѣмъ ничего не видится впереди, кромѣ позора, нищеты и улицы. Позоръ — дѣло привычки, его можно перенести, но нищеты — никогда! Лучше покончить разомъ, со всѣмъ.

— Надо умереть, — сказала она однажды Аннинькѣ тѣмъ же холодно-разсудительнымъ тономъ, которымъ, два года тому назадъ, спрашивала ее, для кого она бережетъ свое сокровище.

— Зачѣмъ?—какъ-то испуганно возразила Аннинька.

— Я тебѣ серьезно говорю: надо умереть! — повторила Любинька.—Пойми, очнись, постарайся!

— Что-жъ... умремъ! — согласилась Аннинька, едва ли, однакоже, сознавая то суровое значеніе, которое заключало въ себѣ это рѣшеніе.

Въ тотъ же день Любинька наломала головокъ отъ фосфорныхъ спичекъ и приготовила два стакана настоя. Одинъ изъ нихъ выпила сама, другой подала сестрѣ. Но Аннинька мгновенно струсила и не хотѣла пить.

— Пей... подлая! — кричала на нее Любинька: — Сестрица, милая, голубушка, пей!

Аннинька, почти обезумѣвъ отъ страха, кричала к ме-

талась по комнатѣ, и въ то же время инстинктивно хваталась руками за горло, словно пыталась задавиться.

— Пей, пей... подлая!

Артистическая карьера дѣвицъ Погорѣльскихъ кончилась. Въ тотъ же день вечеромъ Любинькинъ трупъ вывезли въ поле и зарыли. Аннинька осталась жива.

По пріѣздѣ въ Головлево, Аннинька очень быстро внесла въ старое Іудушкино гнѣздо атмосферу самаго безпардоннаго кочеванья. Вставала поздно; затѣмъ, неодѣтая, нечесанная, съ отяжелѣвшей головой, слонялась вплоть до обѣда изъ угла въ уголъ, и до того вымученно кашляла, что Порфирій Владимірычъ, сидя у себя въ кабинетѣ, всякій разъ пугался и вздрагивалъ. Комната ея вѣчно оставалась неприбранною; постель стояла въ безпорядкѣ; принадлежности бѣлья и туалета валялись разбросанныя по стульямъ и полу. Въ первое время она видѣлась съ дядей только во время обѣда и за вечернимъ чаемъ. Головлевскій владыка выходилъ изъ кабинета весь одѣтый въ черное, говорилъ мало и только попрежнему изнурительно-долго ѣлъ. Повидимому, онъ присматривался, и Аннинька, по скошеннымъ въ ея сторону глазамъ его, догадывалась, что онъ присматривался именно къ ней.

Вслѣдъ за обѣдомъ наступали раннія декабрьскія сумерки и начиналась тоскливая ходьба по длинной анфиладѣ парадныхъ комнатъ. Аннинька любила слѣдить, какъ постепенно потухаютъ мерцанія сѣраго зимняго дня, какъ меркнетъ окрестность и комнаты наполняются тѣнями и какъ потомъ вдругъ весь домъ окунется въ непроницаемую мглу. Она чувствовала себя легче среди этого мрака, и потому почти никогда не зажигала свѣчей. Только въ концѣ длинной залы стрекотала и оплывала дешевенькая пальмовая свѣчка, образуя своимъ пламенемъ небольшой свѣтящійся кругъ. Нѣкоторое время въ домѣ происходило обычное послѣобѣденное движеніе: слышалось лязганье перемываемой посуды, раздавался стукъ выдвигаемыхъ и задвигаемыхъ ящиковъ, но вскорѣ доносилось топанье удаляющихся шаговъ, и затѣмъ наступала мертвая тишина. Порфирій Владимірычъ ложился на послѣобѣденный отдыхъ. Евпраксюшка зарывалась въ своей комнатѣ въ перину. Прохоръ уходилъ въ людскую, и Аннинька оставалась совершенно одна. Она ходила взадъ и впередъ, напѣвая въ полголоса и стараясь утомить себя и, главное, ни о чемъ не думать. Идя по на-

правленію къ залѣ, вглядывалась въ свѣтящійся кругъ, образуемый пламенемъ свѣчи; возвращаясь назадъ, усиливалась различить какую-нибудь точку въ сгустившейся мглѣ. Но на зло усиліямъ, воспоминанія такъ и плыли ей навстрѣчу. Вотъ уборная, оклеенная дешевенькими обоями по дощатой перегородкѣ, съ неизбѣжнымъ трюмо и не менѣе неизбѣжнымъ букетомъ отъ подпоручика Панкова 2-го; вотъ сцена съ закопченными, захватанными и скользкими отъ сырости декораціями; вотъ и она сама вертится на сценѣ,—именно только вертится, воображая, что играетъ; вотъ театральный залъ, со сцены кажущійся такимъ нарядным, почти блестящимъ, а въ дѣйствительности убогій, темный, съ сборною мебелью и съ ложами, обитыми обшарпаннымъ малиновымъ плисомъ. И въ заключеніе — оберъ-офицеры, оберъ-офицеры, оберъ-офицеры безъ конца. Потомъ гостиница съ вонючимъ коридоромъ, слабо освѣщеннымъ коптящею керосиновой лампой; номеръ, въ который она, по окончаніи спектакля, впопыхахъ забѣгаетъ, чтобъ переодѣться для дальнѣйшихъ торжествъ, номеръ съ неприбранною съ утра постелью, съ умывальникомъ, наполненнымъ грязной водой, съ валяющеюся на полу простыней и забытыми на спинкѣ кресла кальсонами; потомъ общая зала, полная кухоннаго чада, съ накрытымъ посрединѣ столомъ; ужинъ, котлеты подъ горошкомъ, табачный дымъ, гвалтъ, толкотня, пьянство, разгулъ... И опять оберъ-офицеры, оберъ-офицеры, оберъ-офицеры безъ конца...

Таковы были воспоминанія, относившіяся къ тому времени, которое она когда-то называла временемъ своихъ успѣховъ, своихъ побѣдъ, своего благополучія...

За этими воспоминаніями начинался рядъ другихъ. Въ нихъ выдающуюся роль игралъ постоялый дворъ, уже совсѣмъ вонючій, съ промерзающими зимой стѣнами, съ колеблющимися полами, дощатою перегородкой, изъ щелей которой выглядывали глянцовитые животы клоповъ. Пьяныя и драчливыя ночи; проѣзжіе помѣщики торопливо вынимающіе изъ тощихъ бумажниковъ зелененькую; хваты-купцы, подбадривающіе «актерокъ» чуть не съ нагайкой въ рукахъ. А на утро — головная боль, тошнота и тоска, тоска безъ конца. Въ заключеніе—Головлево...

Головлево—это сама смерть, злобная, пустоутробная; это смерть, вѣчно подстерегающая новую жертву. Двое дядей тутъ умерли; двое двоюродныхъ братьевъ здѣсь получили «особенно тяжкія» раны, послѣдствіемъ которыхъ была

смерть; наконецъ и Любинька... Хоть и кажется, что она умерла гдѣ-то въ Кречетовѣ «по своимъ дѣламъ», но начало «особенно тяжкихъ» ранъ несомнѣнно положено здѣсь, въ Головлевѣ. Всѣ смерти, всѣ отравы, всѣ язвы — все идетъ отсюда. Здѣсь происходило кормленіе протухлой солониной; здѣсь впервые раздались въ ушахъ сиротъ слова: постылые, нищіе, дармоѣды, ненасытныя утробы и проч.; здѣсь ничто не проходило имъ даромъ, ничто не укрывалось отъ проницательнаго взора черствой и блажной старухи: ни лишній кусокъ, ни изломанная грошовая кукла, ни изорванная тряпка, ни стоптанный башмакъ. Всякое правонарушеніе немедленно возстановлялось или укоризной, или шлепкомъ. И вотъ, когда онѣ получили возможность располагать собой и поняли, что можно бѣжать отъ этого паскудства, онѣ и бѣжали... *туда!* И никто не удержалъ ихъ отъ бѣгства, — да и нельзя было удержать, потому что хуже, постылѣе Головлева не предвидѣлось ничего.

Ахъ, если-бъ все это забыть, если-бъ можно было хоть въ мечтѣ создать что-нибудь иное, какой-нибудь волшебный міръ, который заслонилъ бы собою и прошедшее, и настоящее. Но,—увы!—дѣйствительность, которую она пережила, была одарена такою желѣзною живучестью, что подъ гнетомъ ея сами собой потухли всѣ проблески воображенія. Напрасно мечта усиливается создать ангельчиковъ съ серебряными крылышками—изъ-за этихъ ангельчиковъ неумолимо выглядываютъ Кукишевы, Люлькины, Забвенные, Папковы... Господи! да неужто же все утрачено? неужто даже способность лгать, обманывать себя — и та потонула въ почныхъ кутежахъ, въ винѣ и развратѣ? Надо, однакожъ, какъ-нибудь убить это прошлое, чтобъ оно не отравляло крови, не рвало на куски сердца! Надо, чтобъ налегло что-нибудь тяжелое, которое раздавило бы его, уничтожило бы совсѣмъ, до тла!

И какъ все это странно и жестоко сложилось! Нельзя даже вообразить себѣ, что возможно какое-нибудь будущее, что существуетъ дверь, черезъ которую можно какъ-нибудь выйти, что можетъ хоть что-нибудь случиться. Ничего случиться не можетъ. И что всего несноснѣе: въ сущности, она уже умерла, а между тѣмъ внѣшніе признаки жизни — на-лицо. Надо было *тогда* кончать, вмѣстѣ съ Любинькой, а она зачѣмъ-то осталась. Какъ не раздавила ее та масса срама, которая въ то время со всѣхъ сторонъ надвинулась на нее? И какимъ ничтожнымъ червемъ нужно

быть, чтобы выползти изъ-подъ такой груды разомъ налетѣвшихъ камней?

Вопросы эти заставляли ее стонать. Она бѣгала и кружилась по залѣ, стараясь угомонить взбудораженныя воспоминанія. А навстрѣчу такъ и плыли: и Герцогиня Гольштейнская, потрясающая гусарскимъ ментикомъ, и Клеретта Ангò, въ подвѣнечномъ платьѣ, съ разрѣзомъ спереди до самаго пояса, и Прекрасная Елена, съ разрѣзами спереди, сзади и со всѣхъ боковъ... Ничего, кромѣ безстыдства и наготы... вотъ въ чемъ прошла вся жизнь. Неужели все это было?

Около семи часовъ домъ начиналъ вновь пробуждаться. Слышались приготовленія къ предстоящему чаю, а наконецъ раздавался и голосъ Порфирія Владимірыча. Дядя и племянница садились у чайнаго стола, размѣнивались замѣчаніями о проходящемъ днѣ; но такъ какъ содержаніе этого дня было скудное, то и разговоръ оказывался скудный же. Напившись чаю и выполнивъ обрядъ родственнаго цѣлованія на сонъ грядущій, Іудушка окончательно заползалъ въ свою нору, а Аннинька отправлялась въ комнату къ Евпраксеюшкѣ и играла съ ней въ мельники.

Съ 11-ти часовъ начинался разгулъ. Предварительно удостовѣрившись, что Порфирій Владимірычъ угомонился, Евпраксеюшка ставила на столъ разное деревенское соленье и графинъ съ водкой. Припоминались безсмысленныя и безстыжія пѣсни, раздавались звуки гитары, и въ промежуткахъ между пѣснями и подлымъ разговоромъ Аннинька выпивала. Пила она сначала «по-кукишевски», хладнокровно, «Господи баслави!», но потомъ постепенно переходила въ мрачный тонъ, начинала стонать, проклинать...

Евпраксеюшка смотрѣла на нее и «жалѣла».

— Посмотрю я на васъ, барышня, — говорила она: — и такъ мнѣ васъ жалко, такъ жалко!

— А вы выпейте вмѣстѣ — вотъ и не жалко будетъ! — возражала Аннинька.

— Нѣтъ, мнѣ какъ возможно! Меня и то ужъ изъ-за дяденьки вашего чуть изъ духовнаго званія не исключили, а ежели да при этомъ...

— Ну, нечего, стало-быть, и разговаривать. Давайте-ка лучше я вамъ «Усача» спою.

Опять раздавалось брянчанье гитары, опять поднимался гикъ: «и-ахъ! и-охъ!» Далеко за-полночь на Анниньку, словно камень, сваливался сонъ. Этотъ желанный камень

на нѣсколько часовъ убивалъ ея прошедшее и даже угомонялъ недугъ. А на другой день, разбитая, полуобезумѣвшая, она опять выползала изъ-подъ него и опять начинала жить.

И вотъ, въ одну изъ такихъ паскудныхъ ночей, когда Аннинька лихо распѣвала передъ Евпраксеюшкой репертуаръ своихъ паскудныхъ пѣсенъ, въ дверяхъ комнаты вдругъ показалась изнуренная, мертвенно-блѣдная фигура Іудушки. Губы его дрожали; глаза ввалились и при тусклом мерцаніи пальмовой свѣчи казались какъ бы незрящими впадинами; руки были сложены ладонями внутрь. Онъ постоялъ нѣсколько секундъ передъ обомлѣвшими женщинами и затѣмъ, медленно повернувшись, вышелъ.

Бываютъ семьи, надъ которыми тяготѣетъ какъ бы обязательное предопредѣленіе. Особливо это замѣчается въ средѣ той мелкой дворянской сошки, которая, безъ дѣла, безъ связи съ общею жизнью и безъ правящаго значенія, сначала ютилась, подъ защитой крѣпостного права, разсѣянная по лицу земли русской, а нынѣ, уже безъ всякой защиты, доживаетъ свой вѣкъ въ разрушающихся усадьбахъ. Въ жизни этихъ жалкихъ семей и удача, и неудача—все какъ-то слѣпо, не гадано, не думано.

Иногда надъ подобной семьей вдругъ прольется какъ бы струя счастья. У захудалыхъ корнета и корнетши, смирно хирѣющихъ въ деревенскомъ захолустьи, внезапно появляется цѣлый выводокъ молодыхъ людей, крѣпонькихъ, чистенькихъ, проворныхъ и чрезвычайно быстро усвояющихъ жизненную суть. Однимъ словомъ, «умницъ». Всѣ сплошь умницы — и юноши, и юницы. Юноши — отлично кончаютъ курсъ въ «заведеніяхъ» и уже на школьныхъ скамьяхъ устраиваютъ себѣ связи и покровительства. Во-время умѣютъ выказать себя скромными (j'aime cette modestie!—говорятъ про нихъ начальники) и во-время же — самостоятельными (j'aime cette indépendance!); чутко угадываютъ всякаго рода вѣянія, и ни съ однимъ изъ нихъ не порываютъ, не оставивъ назади надежной лазейки. Благодаря этому, они на всю жизнь обезпечиваютъ для себя возможность безъ скандала и во всякое время сбросить старую шкуру и облечься въ новую, а въ случаѣ чего и опять надѣть старую шкуру. Словомъ сказать, это истинные дѣлатели вѣка сего, которые всегда начинаютъ искательствомъ и *почти всегда* кончаютъ предательствомъ. Что

же касается до юницъ, то и онѣ, въ мѣрѣ своей спеціальности, содѣйствуютъ возрожденію семьи, т. е. удачно выходятъ замужъ, и затѣмъ обнаруживаютъ столько такта въ распоряженіи своими атурами, что безъ труда завоевываютъ видныя мѣста въ такъ-называемомъ обществѣ.

Благодаря этимъ случайно сложившимся условіямъ, удача такъ и плыветъ навстрѣчу захудалой семьи. Первые удачники, бодро выдержавши борьбу, въ свою очередь воспитываютъ новое чистенькое поколѣніе, которому живется уже легче, потому что главные пути не только намѣчены, но и проторены. За этимъ поколѣніемъ вырастутъ еще поколѣнія, покуда, наконецъ, семья естественнымъ путемъ не войдетъ въ число тѣхъ, которыя, ужъ безъ всякой предварительной борьбы, прямо считаютъ себя имѣющими прирожденное право на пожизненное ликованіе.

Въ послѣднее время, по случаю возникновенія запроса на такъ-называемыхъ «свѣжихъ людей»,—запроса, обусловленнаго постепеннымъ вырожденіемъ людей «не-свѣжихъ»,—примѣры подобныхъ удачливыхъ семей начали прорываться довольно часто. И прежде бывало, что отъ времени до времени на горизонтѣ появлялась звѣзда съ «косицей», но это случалось рѣдко, во-первыхъ, потому, что стѣна, окружавшая ту безпечальную область, на вратахъ которой написано: «здѣсь во всякое время ѣдятъ пироги съ начинкой», почти не представляла трещинъ, а во-вторыхъ, и потому, что для того, чтобы, въ сопровожденіи «косицы», проникнуть въ эту область, нужно было воистину имѣть за душой что-либо солидное. Ну, а нынче и трещинъ порядочно прибавилось, да и самое дѣло проникновенія упростилось, такъ какъ отъ пришельца солидныхъ качествъ не спрашивается, а требуется лишь «свѣжесть» и больше ничего.

Но на ряду съ удачливыми семьями существуетъ великое множество и такихъ, представителямъ которыхъ домашніе пенаты съ самой колыбели ничего, повидимому, не дарятъ, кромѣ безвыходнаго злополучія. Вдругъ, словно вша, нападаетъ на семью не то невзгода, не то порокъ, и начинаетъ со всѣхъ сторонъ ѣсть. Расползается по всему организму, прокрадывается въ самую сердцевину и точитъ поколѣніе за поколѣніемъ. Появляются коллекціи слабосильныхъ людишекъ, пьяницъ, мелкихъ развратниковъ, безсмысленныхъ праздношатцевъ и вообще неудачниковъ. И чѣмъ дальше, тѣмъ мельче вырабатываются людишки, пока, наконецъ, на сцену не выходятъ худосочные заморыши,

въ родѣ однажды уже изображенныхъ мною Головлятъ*),— зауморыши, которые при первомъ же натискѣ жизни не выдерживаютъ и гибнутъ.

Именно такого рода злополучный фатумъ тяготѣлъ надъ Головлевской семьей. Въ теченіе нѣсколькихъ поколѣній три характеристическія черты проходили черезъ исторію этого семейства: праздность, непригодность къ какому бы то ни было дѣлу и запой. Первыя двѣ приводили за собой пустословіе, пустомысліе и пустоутробіе; послѣдній являлся какъ бы обязательнымъ заключеніемъ общей жизненной неурядицы. На глазахъ у Порфирія Владимірыча сгорѣло нѣсколько жертвъ этого фатума, а кромѣ того преданіе гласило еще о дѣдахъ и прадѣдахъ. Все это были озорливые, пустомысленные и никуда непригодные пьянчуги, такъ что Головлевская семья навѣрное захудала бы окончательно, если бы посреди этой пьяной неурядицы случайнымъ метеоромъ не блеснула Арина Петровна. Эта женщина, благодаря своей личной энергіи, довела уровень благосостоянія семьи до высшей точки, но и за всѣмъ тѣмъ ея трудъ пропалъ даромъ, потому что она не только не передала своихъ качествъ никому изъ дѣтей, а, напротивъ, сама умерла, опутанная со всѣхъ сторонъ праздностью, пустословіемъ и пустоутробіемъ.

До сихъ поръ Порфирій Владимірычъ, однакожъ, крѣпился. Можетъ-быть, онъ сознательно оберегался пьянства, въ виду бывшихъ примѣровъ, но, можетъ-быть, его покуда еще удовлетворялъ запой пустомыслія. Однакожъ, окрестная молва не даромъ обрекала Іудушку заправскому, «пьяному» запою. Да онъ и самъ по временамъ какъ бы чувствовалъ, что въ существованіи его есть какой-то пробѣлъ, что пустомысліе даетъ многое, но не все. А именно: недостаетъ чего-то оглушающаго, остраго, которое окончательно упразднило бы представленіе о жизни и разъ навсегда выбросило бы его въ пустоту.

И вотъ вожделѣнный моментъ подвернулся самъ собою. Долгое время, съ самаго пріѣзда Анниньки, Порфирій Владимірычъ, запершись въ кабинетѣ, прислушивался къ смутному шуму, доносившемуся до него съ другого конца дома; долгое время онъ отгадывалъ и недоумѣвалъ... И наконецъ учуялъ.

На другой день Аннинька ожидала поученій, но тако-

*) См. «Семейные итоги».

выхъ не послѣдовало. По обычаю, Порфирій Владимірычъ цѣлое утро просидѣлъ, запершись въ кабинетѣ, но когда вышелъ къ обѣду, то вмѣсто одной рюмки водки (для себя) налилъ двѣ и молча, съ глуповатой улыбкой, указалъ рукой на одну изъ нихъ Аннинькѣ. Это было, такъ сказать, молчаливое приглашеніе, которому Аннинька и послѣдовала.

— Такъ ты говоришь, что Любинька умерла? — спохватился Іудушка въ серединѣ обѣда.

— Умерла, дядя.

— Ну, царство небесное! Роптать — грѣхъ, а помянуть — слѣдуетъ. Помянемъ, что ли?

— Помянемте, дядя.

Выпили еще по одной, и затѣмъ Іудушка умолкъ: очевидно, онъ еще не вполнѣ оправился послѣ своей продолжительной одичалости. Только послѣ обѣда, когда Аннинька, выполняя родственный обрядъ, пошла поблагодарить дяденьку поцѣлуемъ въ щеку, онъ въ свою очередь потрепалъ ее по щекѣ и вымолвилъ:

— Вотъ ты какая!

Вечеромъ въ тотъ же день, во время чая, который на сей разъ длился продолжительнѣе обыкновеннаго, Порфирій Владимірычъ нѣкоторое время съ той же загадочной улыбкой посматривалъ на Анниньку, но, наконецъ, предложилъ:

— Закусочки, что ли, велѣть поставить?

— Что-жъ... велите!

— То-то; лучше ужъ у дяди на глазахъ, чѣмъ по закоулкамъ... По крайней мѣрѣ дядя...

Іудушка не договорилъ. Вѣроятно, онъ хотѣлъ сказать, что дядя по крайней мѣрѣ «удержитъ», но слово какъ-то не выговорилось.

Съ этихъ поръ каждый вечеръ въ столовой появлялась закуска. Наружныя ставни оконъ затворялись, прислуга удалялась спать, и племянница съ дядей оставались глазъ на глазъ. Первое время Іудушка какъ бы не поспѣвалъ, но достаточно было недолговременной практики, чтобъ онъ вполнѣ сравнялся съ Аннинькой. Оба сидѣли, не торопясь выпивали и между рюмками припоминали и бесѣдовали. Разговоръ, сначала безразличный и вялый, по мѣрѣ того, какъ головы разгорячались, становился живѣе и живѣе, и, наконецъ, неизмѣнно переходилъ въ безпорядочную ссору, основу которой составляли воспоминанія о головлевскихъ умертвіяхъ и увѣчіяхъ.

Зачинщицею этихъ ссоръ всегда являлась Аннинька. Она съ безпощадною назойливостью раскапывала головлевскій архивъ и въ особенности любила дразнить Іудушку, доказывая, что главная роль во всѣхъ увѣчіяхъ, на ряду съ покойной бабушкой, принадлежала ему. При этомъ каждое слово ея дышало такою циническою ненавистью, что трудно было себѣ представить, какимъ образомъ въ этомъ измученномъ, полупотухшемъ организмѣ могло еще сохраняться столько жизненнаго огня. Эти поддразниванія уязвляли Іудушку до безконечности; но онъ возражалъ слабо и больше сердился; а когда Аннинька, въ своемъ озорливомъ наускиваньи, заходила слишкомъ далеко, то кричалъ крикомъ и проклиналъ.

Такого рода сцены повторялись изо дня въ день, безъ измѣненія. Хотя всѣ подробности скорбнаго семейнаго синодика были исчерпаны очень быстро, но синодикъ этотъ до такой степени неотступно стоялъ передъ этими подавленными существами, что всѣ мыслительныя ихъ способности были какъ бы прикованы къ нему. Всякій эпизодъ, всякое воспоминаніе прошлаго растравляли какую-нибудь язву, и всякая язва напоминала о новой свитѣ головлевскихъ увѣчій. Какое-то горькое, мстительное наслажденіе чувствовалось въ разоблаченіи этихъ отравъ, въ ихъ расцѣнкѣ и даже въ преувеличеніяхъ. Ни въ прошломъ, ни въ настоящемъ не оказывалось ни одного нравственнаго устоя, за который можно бы удержаться. Ничего, кромѣ жалкаго скопидомства съ одной стороны, и безсмысленнаго пустоутробія — съ другой. Вмѣсто хлѣба — камень, вмѣсто поученія—колотушка. И въ качествѣ варіанта—паскудное напоминаніе о дармоѣдствѣ, хлѣбогадствѣ, о милостынѣ, объ утаенныхъ кускахъ... Вотъ отвѣтъ, который получало молодое сердце, жаждавшее привѣта, тепла, любви. И что-жъ! по какой-то горькой насмѣшкѣ судьбы, въ результатѣ этой жестокой школы оказалось не суровое отношеніе къ жизни, а страстное желаніе насладиться ея отравами. Молодость сотворила чудо забвенія; она не дала сердцу окаменѣть, не дала сразу развиться въ немъ начаткамъ ненависти, а, напротивъ, опьянила его жаждой жизни. Отсюда безшабашный, закулисный угаръ, который въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ не далъ придти въ себя и далеко отодвинулъ вглубь все головлевское. Только теперь, когда ужъ почуялся конецъ, въ сердцѣ вспыхнула сосущая боль; только теперь Аннинька настоящимъ образомъ по-

няла свое прошлое и начала настоящимъ образомъ ненавидѣть.

Хмельныя бесѣды продолжались далеко за полночь, и если-бъ ихъ не смягчала хмельная же безпорядочность мыслей и рѣчей, то онѣ на первыхъ же порахъ могли бы разрѣшиться чѣмъ-нибудь ужаснымъ. Но, къ счастью, ежели вино открывало неистощимые родники болей въ этихъ замученныхъ сердцахъ, то оно же и умиротворяло ихъ. Чѣмъ глубже надвигалась надъ собесѣдниками ночь, тѣмъ безсвязнѣе становились рѣчи и безсильнѣе обуревавшая ихъ ненависть. Подъ конецъ не только не чувствовалось боли, но вся насущная обстановка исчезала изъ глазъ и замѣнялась свѣтящеюся пустотой. Языки запутывались, глаза закрывались, тѣлодвиженія коснѣли. И дядя, и племянница тяжело поднимались съ мѣстъ и, пошатываясь, расходились по своимъ логовищамъ.

Само собой разумѣется, что въ домѣ эти ночныя похожденія не могли оставаться тайной. Напротивъ того, характеръ ихъ сразу опредѣлился настолько ясно, что никому не показалось страннымъ, когда кто-то изъ домочадцевъ, по поводу этихъ похожденій, произнесъ слово: «уголовщина». Головлевскія хоромы окончательно оцѣпенѣли; даже по утрамъ не видно было никакого движенія. Господа просыпались поздно, и затѣмъ до самаго обѣда изъ конца въ конецъ дома раздавался надрывающій душу кашель Анниньки, сопровождаемый непрерывными проклятіями. Іудушка со страхомъ прислушивался къ этимъ раздирающимъ звукамъ и угадывалъ, что и къ нему тоже идетъ навстрѣчу бѣда, которая окончательно раздавитъ его.

Отовсюду, изъ всѣхъ угловъ этого постылаго дома, казалось, выползали «умертвія». Куда ни пойдешь, въ какую сторону ни повернешься, вездѣ шевелятся сѣрые призраки. Вотъ папенька Владиміръ Михайловичъ, въ бѣломъ колпакѣ, дразнящійся языкомъ и цитирующій Баркова; вотъ братецъ Степка-балбесъ и рядомъ съ нимъ братецъ Пашка-тихоня; вотъ Любинька, а вотъ и послѣдніе отпрыски Головлевскаго рода: Володька и Петька. И все это хмельное, блудное, измученное, истекающее кровью... И надъ всѣми этими призраками витаетъ живой призракъ, и этотъ живой призракъ — не кто иной, какъ самъ онъ, Порфирій Владимірычъ Головлевъ, послѣдній представитель выморочнаго рода.

Въ концѣ концовъ, постоянныя припоминанія старыхъ

умертвій должны были оказать свое дѣйствіе. Прошлое до того выяснилось, что малѣйшее прикосновеніе къ нему производило боль. Естественнымъ послѣдствіемъ этого былъ не то испугъ, не то пробужденіе совѣсти, — скорѣе даже послѣднее, нежели первое. Къ удивленію, оказывалось, что совѣсть не вовсе отсутствовала, а только была загнана и какъ бы позабыта, и вслѣдствіе этого утратила ту дѣятельную чуткость, которая обязательно напоминаетъ человѣку о ея существованіи.

Такія пробужденія одичалой совѣсти бываютъ необыкновенно мучительны. Лишенная воспитательнаго ухода, не видя никакого просвѣта впереди, совѣсть не даетъ примиренія, не указываетъ на возможность новой жизни, а только безконечно и безплодно терзаетъ. Человѣкъ видитъ себя въ каменномъ мѣшкѣ, безжалостно отданнымъ въ жертву агоніи раскаянія, именно одной агоніи, безъ надежды на возвратъ къ жизни. И никакого иного средства утишить эту безплодно разъѣдающую боль, кромѣ шанса воспользоваться минутою мрачной рѣшимости, чтобы разбить себѣ голову о камни мѣшка...

Іудушка, въ теченіе долгой пустоутробной жизни, никогда даже въ мысляхъ не допускалъ, что тутъ же, о бокъ съ его существованіемъ, происходитъ процессъ умертвія. Онъ жилъ себѣ потихоньку, да помаленьку, не торопясь да Богу помолясь, и отнюдь не предполагалъ, что именно изъ этого-то и выходитъ болѣе или менѣе тяжелое увѣчье. А слѣдовательно тѣмъ меньше могъ допустить, что онъ самъ и есть виновникъ этихъ увѣчій.

И вдругъ ужасная правда освѣтила его совѣсть, но освѣтила поздно, безъ пользы, уже тогда, когда передъ глазами стоялъ лишь безповоротный и непоправимый фактъ. Вотъ онъ состарѣлся, одичалъ, одной ногой въ могилѣ стоитъ, а нѣтъ на свѣтѣ существа, которое приблизилось бы къ нему, «пожалѣло» бы его. Зачѣмъ онъ одинъ? зачѣмъ видитъ кругомъ не только равнодушіе, но и ненависть? отчего все, что ни прикасалось къ нему, — все погибло? Вотъ тутъ въ этомъ самомъ Головлевѣ, было когда-то цѣлое человѣчье гнѣздо — какимъ образомъ случилось, что и пера не осталось отъ этого гнѣзда. Изъ всѣхъ выпѣстованныхъ въ немъ птенцовъ уцѣлѣла только племянница, но и та явилась, чтобъ надругаться надъ нимъ и доканать его. Даже Евпраксеюшка ужъ на что простодушна — и та ненавидитъ. Она живетъ въ Головлевѣ, потому что отцу ея, пономарю, еже-

мѣсячно посылается отсюда домашній запасъ, но живетъ, несомнѣнно, ненавидя. И ей онъ, Іуда, нанесъ тягчайшее увѣчье, и у нея онъ сумѣлъ отнять свѣтъ жизни, отнявъ сына и бросивъ его въ какую-то безыменную яму. Къ чему привела вся его жизнь? Зачѣмъ онъ лгалъ, пустословилъ, притѣснялъ, скопидомствовалъ? Даже съ матеріальной точки зрѣнія, съ точки зрѣнія «наслѣдства» — кто воспользуется результатами этой жизни? кто?

Повторяю: совѣсть проснулась, но безплодно. Іудушка стоналъ, злился, метался и съ лихорадочнымъ озлобленіемъ ждалъ вечера не для того только, чтобы бестіально упиться, а для того, чтобы утопить въ винѣ совѣсть. Онъ ненавидѣлъ «распутную дѣвку», которая съ такою холодною наглостью бередила его язвы, и въ то же время неудержимо влекся къ ней, какъ будто еще не все между ними было высказано, а оставались еще и еще язвы, которыя тоже необходимо было растравить. Каждый вечеръ онъ заставлялъ Аннинькy повторять разсказъ о Любинькиной смерти, и каждый вечеръ въ умѣ его больше созрѣвала идея о саморазрушеніи. Сначала эта мысль мелькнула случайно, но по мѣрѣ того, какъ процессъ умертвій выяснялся, она прокрадывалась глубже и глубже и, наконецъ, сдѣлалась единственною свѣтящеюся точкой во мглѣ будущаго.

Къ тому же и физическое его здоровье рѣзко пошатнулось. Онъ уже серьезно кашлялъ и по временамъ чувствовалъ невыносимые приступы удушья, которые, независимо отъ нравственныхъ терзаній, сами по себѣ въ состояніи наполнить жизнь сплошной агоніей. Всѣ внѣшніе признаки спеціальнаго головлевскаго отравленія были налицо, и въ ушахъ его уже раздавались стоны братца Павлушки-тихони, задохшагося на антресоляхъ дубровинскаго дома. Однакожъ, эта впалая, худая грудь, которая, казалось, ежеминутно готова была треснуть, оказывалась удивительно живучею. Съ каждымъ днемъ вмѣщала она все бо́льшую и бо́льшую массу физическихъ мукъ, а все-таки держалась, не уступала. Какъ будто и организмъ, своею неожиданною устойчивостью, мстилъ за старыя умертвія. «Неужто-жъ это не конецъ?»—каждый разъ съ надеждой говорилъ Іудушка, чувствуя приближеніе припадка; а конецъ все не приходилъ. Очевидно, требовалось насиліе, чтобы ускорить его.

Однимъ словомъ, съ какой стороны ни подойди, всѣ расчеты съ жизнью покончены. Жить и мучительно, и не

нужно; всего нужнѣе было бы умереть; но бѣда въ томъ, что смерть не идетъ. Есть что-то измѣнически-подлое въ этомъ озорливомъ замедленіи умиранія, когда смерть призывается всѣми силами души, а она только обольщаетъ и дразнитъ...

. . . . . .

Дѣло было въ исходѣ марта, и Страстная недѣля подходила къ концу. Какъ ни опустился въ послѣдніе годы Порфирій Владимірычъ, но установившееся еще съ дѣтства отношеніе къ святости этихъ дней подѣйствовало и на него. Мысли сами собой настраивались на серьезный ладъ; въ сердцѣ не чувствовалось никакого иного желанія, кромѣ жажды безусловной тишины. Согласно съ этимъ настроеніемъ, и вечера утратили свой безобразно-пьяный характеръ и проводились молчаливо, въ тоскливомъ воздержаніи.

Іудушка и Аннинька сидѣли вдвоемъ въ столовой. Не далѣе, какъ часъ тому назадъ, кончилась всенощная, сопровождаемая чтеніемъ двѣнадцати евангелій, и въ комнатѣ еще слышался сильный запахъ ладана. Часы пробили десять; домашніе разошлись по угламъ, и въ домѣ водворилось глубокое, сосредоточенное молчаніе. Аннинька, взявши голову въ обѣ руки, облокотилась на столъ и задумалась; Порфирій Владимірычъ сидѣлъ супротивъ, молчаливый и печальный.

На Анниньку эта служба всегда производила глубокопотрясающее впечатлѣніе. Еще будучи ребенкомъ, она горько плакала, когда батюшка произносилъ: «И сплетше вѣнецъ изъ тернія, возложиша на главу Его, и трость въ десницу Его», и всхлипывающимъ дискантикомъ подпѣвала дьячку: «Слава долготерпѣнію Твоему, Господи! слава Тебѣ!» А послѣ всенощной, вся взволнованная, прибѣгала въ дѣвичью, и тамъ, среди сгустившихся сумерекъ (Арина Петровна не давала въ дѣвичью свѣчей, когда не было работы), разсказывала рабынямъ «Страсти Господни». Лились тихія рабьи слезы, слышались глубокія рабьи воздыханія. Рабыни чуяли сердцами своего Господина и Искупителя, вѣрили, что Онъ воскреснетъ, воистину воскреснетъ. И Аннинька тоже чуяла и вѣрила. За глубокой ночью истязаній, подлыхъ издѣвокъ и покиваній—для всѣхъ этихъ нищихъ духомъ виднѣлось царство лучей и свободы. Сама старая барыня, Арина Петровна, обыкновенно грозная, дѣлалась въ эти дни тихою, не брюзжала, не попрекала Аннинькусиротствомъ, а гладила ее по го-

ловкѣ и уговаривала не волноваться. Но Аннинька даже въ постели долго не могла успокоиться, вздрагивала, металась по нѣсколько разъ въ теченіе ночи, вскакивала и разговаривала сама съ собой.

Потомъ наступили годы ученія, а затѣмъ и годы странствованія. Первые были безсодержательны, вторые—мучительно-пошлы. Но и тутъ, среди безобразій актерскаго кочевья, Аннинька ревниво выдѣляла «святые дни» и отыскивала въ душѣ отголоски прошлаго, которые помогали ей по-дѣтски умиляться и вздыхать. Теперь же, когда жизнь выяснялась вся, до послѣдней подробности, когда прошлое проклялось само собою, а въ будущемъ не предвидѣлось ни раскаянія, ни прощенія, когда изсякъ источникъ умиленія, а вмѣстѣ съ нимъ изсякли и слезы — впечатлѣніе, произведенное только что выслушаннымъ сказаніемъ о скорбномъ пути, было поистинѣ подавляющимъ. И тогда, въ дѣтствѣ, надъ нею тяготѣла глубокая ночь, но за тьмою, все-таки, предчувствовались лучи. Теперь—ничего не предчувствовалось, ничего не предвидѣлось: ночь, вѣчная, безсмѣнная ночь—и ничего больше. Аннинька не вздыхала, не волновалась и, кажется, даже ни о чемъ не думала, а только вцала въ глубокое оцѣпенѣніе.

Съ своей стороны, и Порфирій Владимірычъ, съ неменьшею аккуратностью, съ молодыхъ ногтей чтилъ «святые дни», но чтилъ исключительно съ обрядной стороны, какъ истый идолопоклонникъ. Каждогодно, наканунѣ великой пятницы, онъ приглашалъ батюшку, выслушивалъ евангельское сказаніе, вздыхалъ, воздѣвалъ руки, стукался лбомъ въ землю, отмѣчалъ на свѣчѣ восковыми катышками число прочитанныхъ евангелій, и все-таки ровно ничего не понималъ. И только теперь, когда Аннинька разбудила въ немъ сознаніе «умертвій», онъ понялъ впервые, что въ этомъ сказаніи идетъ рѣчь о какой-то неслыханной неправдѣ, совершившей кровавый судъ надъ Истиной...

Конечно, было бы преувеличеніемъ сказать, что по поводу этого открытія въ душѣ его возникли какія-либо жизненныя сопоставленія, но несомнѣнно что въ ней произошла какая-то смута, почти граничащая съ отчаяніемъ. Эта смута была тѣмъ мучительнѣе, чѣмъ безсознательнѣе прожилось то прошлое, которое послужило ей источникомъ. Было что-то страшное въ этомъ прошломъ, а что именно—въ массѣ невозможно припомнить. Но и позабыть нельзя. Что-то громадное, которое до сихъ поръ неподвижно стояло

прикрытое непроницаемою завѣсою, и только теперь двинулось навстрѣчу, каждоминутно угрожая раздавить. Если-бъ еще оно взаправду раздавило — это было бы самое лучшее; но вѣдь онъ живучъ—пожалуй, и выползетъ. Нѣтъ, ждать развязки отъ естественнаго хода вещей — слишкомъ гадательно; надо самому создать развязку, чтобы покончить съ непосильною смутою. Есть такая развязка, есть. Онъ уже съ мѣсяцъ приглядывался къ ней, и теперь, кажется, не проминётъ. «Въ субботу пріобщаться будемъ — надо на могилку къ покойной маменькѣ проститься сходить!»—вдругъ мелькнуло у него въ головѣ.

— Сходимъ, что ли? — обратился онъ къ Аннинькѣ, сообщая ей вслухъ о своемъ предположеніи.

— Пожалуй... съѣздимте...

— Нѣтъ, не съѣздимте, а... — началъ-было Порфирій Владимірычъ и вдругъ оборвалъ, словно сообразилъ, что Аннинька можетъ помѣшать.

«А вѣдь я передъ покойницей-маменькой... вѣдь я ее замучилъ... я!»—бродило между тѣмъ, въ его мысляхъ, и жажда «проститься» съ каждой минутой сильнѣе и сильнѣе разгоралась въ его сердцѣ. Но «проститься» не такъ, какъ обыкновенно прощаются, а пасть на могилу и застыть въ воплях смертельной агоніи.

— Такъ ты говоришь, что Любинька сама отъ себя умерла?—вдругъ спросилъ онъ, видимо съ цѣлью подбодрить себя.

Сначала Аннинька словно не разслышала вопроса дяди, но, очевидно, онъ дошелъ до нея, потому что черезъ двѣ-три минуты она сама ощутила непреодолимую потребность возвратиться къ этой смерти, измучить себя ею.

— Такъ и сказала: «ней... подлая!»—переспросилъ онъ, когда она подробно повторила свой разсказъ.

— Да... сказала.

— А ты осталась?.. не выпила?

— Да... вотъ живу...

Онъ всталъ и нѣсколько разъ въ видимомъ волненіи прошелся взадъ и впередъ по комнатѣ. Наконецъ, подошелъ къ Аннинькѣ и погладилъ ее по головѣ.

— Бѣдная ты, бѣдная ты моя!—произнесъ онъ тихо.

При этомъ прикосновеніи въ ней произошло что-то неожиданное. Сначала она изумилась, но постепенно лицо ея начало искажаться, искажаться, и вдругъ цѣлый потокъ *истерическихъ*, ужасныхъ рыданій вырвался изъ ея груди.

— Дядя, вы добрый? Скажите, вы добрый? почти крикомъ кричала она.

Прерывающимся голосомъ, среди слезъ и рыданій, твердила она свой вопросъ, тотъ самый, который она предложила еще въ тотъ день, когда, послѣ «странствія», окончательно воротилась для водворенія въ Головлевѣ, и на который онъ въ то время далъ такой нелѣпый отвѣтъ.

— Вы добрый? Скажите, отвѣтьте, вы добрый?

— Слышала ты, что̀ за всенощной сегодня читали? — спросилъ онъ, когда она, наконецъ, затихла.— Ахъ, какія это были страданія! Вѣдь только этакими страданіями и можно... И простилъ, всѣхъ навсегда простилъ!

Онъ опять началъ большими шагами ходить по комнатѣ, убиваясь, страдая и не чувствуя, какъ лицо его покрывается каплями пота.

— Всѣхъ простилъ!—вслухъ говорилъ онъ самъ съ собою.—Не только тѣхъ, которые *тогда* напоили Его оцтомъ съ желчью, но и тѣхъ, которые и послѣ, вотъ теперь, и впредь, во вѣки вѣковъ, будутъ подносить къ Его губамъ оцтъ, смѣшанный съ желчью... Ужасно! ахъ, это ужасно!

И вдругъ, остановившись передъ ней, спросилъ:

— А ты... простила?

Вмѣсто отвѣта, она бросилась къ нему и крѣпко его обняла.

— Надо меня простить!—продолжалъ онъ.— За всѣхъ... И за себя... и за тѣхъ, которыхъ ужъ нѣтъ... Что̀ такое! что̀ такое сдѣлалось!?— почти растерянно восклицалъ онъ, озираясь кругомъ.—Гдѣ... *всѣ?*..

. . . . . .

Измученные, потрясенные, разошлись они по комнатамъ. Но Порфирію Владимірычу не спалось. Онъ ворочался съ боку на бокъ въ своей постели и все припоминалъ, какое еще обязательство лежитъ на немъ. И вдругъ въ его памяти совершенно отчетливо возстановились тѣ слова, которыя случайно мелькнули въ его головѣ часа за два передъ тѣмъ: «Надо на могилку къ покойницѣ-маменькѣ проститься сходить»... При этомъ напоминаніи ужасное, томительное безпокойство овладѣло всѣмъ существомъ его...

Наконецъ, онъ не выдержалъ, всталъ съ постели и надѣлъ халатъ. На дворѣ было еще темно, и ни откуда не доносилось ни малѣйшаго шороха. Порфирій Владимірычъ нѣкоторое время ходилъ по комнатѣ, останавливался передъ освѣщеннымъ лампадкой образомъ Искупителя въ терно-

вомъ вѣнцѣ и вглядывался въ него. Наконецъ, онъ рѣшился. Трудно сказать, насколько онъ самъ сознавалъ свое рѣшеніе, но черезъ нѣсколько минутъ онъ, крадучись, добрался до передней и щелкнулъ крючкомъ, замыкавшимъ входную дверь.

На дворѣ выл ъ вѣтеръ и крутилась мартовская мокрая метелица, посылая въ глаза цѣлые ливни талаго снѣга. Но Порфирій Владимірычъ шелъ по дорогѣ, шагая по лужамъ, не чувствуя ни снѣга, ни вѣтра и только инстинктивно запахивая полы халата.

На другой день, рано утромъ, изъ деревни, ближайшей къ погосту, на которомъ была схоронена Арина Петровна, прискакалъ верховой съ извѣстіемъ, что въ нѣсколькихъ шагахъ отъ дороги найденъ закоченѣвшій трупъ головлевскаго барина. Бросились къ Аннинькѣ, но она лежала въ постели въ безсознательномъ положеніи со всѣми признаками горячки. Тогда снарядили новаго верхового и отправили его въ Горюшкино къ «сестрицѣ» Надеждѣ Ивановнѣ Галкиной (дочкѣ тетеньки Варвары Михайловны), которая уже съ прошлой осени зорко слѣдила за всѣмъ, происходившимъ въ Головлевѣ.

НЕВИННЫЕ РАЗСКАЗЫ.

I.—Гегемоніевъ.

Молодой коллежскій регистраторъ Потанчиковъ получилъ мѣсто станового пристава. Произошло это радостное въ лѣтописяхъ русской администраціи событіе слѣдующимъ необычайнымъ образомъ.

Однажды, одѣвшись чистенько, явился онъ на дежурство къ его превосходительству, генералу Зубатову. Генералъ, кромѣ другихъ добродѣтелей имѣвшій даръ съ перваго взгляда угадывать людей, угадалъ и Потанчикова. Проходя мимо юнаго коллежскаго регистратора, онъ окинулъ его быстрымъ и проницательнымъ взоромъ, и тутъ же въ полголоса сказалъ сопровождавшему его вице-губернатору:

— А какъ вы думаете... этотъ молодой человѣкъ... вѣдь изъ него можетъ выйти молодецъ-становой?

— Мо... мо... — промычалъ-было вице-губернаторъ, желая, вѣроятно, высказать, что Потанчиковъ молодъ, но на первомъ же слогѣ запнулся, вспомнивъ, что ему отъ начальства строго-на-строго было наказано всего болѣе о томъ печись, чтобъ съ губернаторомъ жить въ ладу.

— А стань-ко, любезный, ближе къ свѣту,—продолжалъ его превосходительство, обращаясь къ Потанчикову.

Потанчиковъ повиновался. Генералъ, заложивъ руки за спину, снова окинулъ его испытующимъ взглядомъ, и, произведя довольно подробный наружный осмотръ, видимо остался доволенъ своею способностью угадывать людей.

— Гм!.. да, въ этомъ прокъ будетъ! — проговорилъ онъ.—Я, знаете, всю эту реформу въ исполненіе привесть хочу... чтобъ этихъ законопротивныхъ физіономій у меня не было... А ты желаешь въ становые, мой милый?

Потанчиковъ сначала помертвѣлъ, потомъ застыдился, потомъ опять помертвѣлъ. Горло у него пополамъ перехватило, и одна нога, неизвѣстно отчего, начала присѣдать.

— Ну, хорошо, хорошо... вижу!—сказалъ генералъ, любуясь смущеніемъ молодого человѣка, и, обращаясь къ вице-губернатору, прибавилъ: — Такъ потрудитесь сдѣлать распоряженіе.

Въ этотъ же достопамятный день, вечеромъ, новоиспеченный становой соорудилъ въ трактирѣ такую попойку, послѣ которой выборные люди отъ всѣхъ отдѣленій губернскаго правленія слонялись цѣлую недѣлю, словно влюбленные.

Тутъ были всѣ, отъ которыхъ болѣе или менѣе зависѣли будущія судьбы Потанчикова. Былъ и несокрушимый въ пунштахъ. Псалмопѣвцевъ, и цѣломудренный Матѳій Скорбященскій, были Подгоняйчиковъ и Трясучкинъ, было двое Воскресенскихъ, трое Богоявленскихъ и проч.

— Просто, братъ, волшебная панорама! — ораторствовалъ Потанчиковъ, повѣствуя объ утреннемъ происшествіи. — Показываетъ, это, показываетъ... Какъ только пережилъ!

— Да, братъ, изъ простыхъ рыбарей! — благодушно замѣтилъ Матѳій Скорбященскій.

— Ужъ и не говори! Думалъ жизнь, по обычаю предковъ, въ званіи писца скончать...

— А теперь вотъ будешь вселенную перомъ уловлять!— прервалъ, вздохнувъ, одинъ изъ Богоявленскихъ.

— Нѣтъ, это что, это все пустое!—скороговоркой вступился Трясучкинъ.—А ты возьми, станище-то, станище-то какой: сплавы, братъ, конокрады, раскольники... Вотъ ты что вообрази!

— Да, при умѣ статьи хоронія! — отозвался Псалмопѣвцевъ.

— Ты больше натискомъ... натискомъ больше дѣйствуй.

— Да въ губернію чаще навѣдывайся...

— Да ребятишекъ нашихъ не забывай...

— Ты, братъ, не оскорбись, коли иной разъ по моему столу тебѣ замѣчаніе будетъ... Я, братъ, тебѣ другъ — ты это знай!—изъяснялся Скорбященскій.

— Безъ замѣчанія иной разъ нельзя...

— Безъ замѣчаній какъ же можно!

— Иной разъ, братъ, самъ губернаторъ тово... да что тутъ говорить, отстоимъ!

— Такъ ты больше натискомъ... натискомъ больше дѣйствуй!—повторилъ Трясучкинъ.

— А по-моему, такъ прежде всего къ Зиновею Захарычу сходить слѣдуетъ,—отозвался Псалмопѣвцевъ.

— Сходи, братъ, не человѣкъ, а душа!

— Сходить, отчего не сходить, сходить можно! — отвѣчалъ Потанчиковъ, улыбаясь всѣмъ лицомъ отъ полноты внутренняго счастья.

— Нѣтъ, ты не говори: «сходить можно!» — наставительно замѣтилъ Псалмопѣвцевъ:—потому ты еще не понимаешь! Ты думаешь, въ чемъ существо веществъ состоитъ? Напримѣръ, назовемъ хоть часы, или вотъ стаканъ... Ты развѣ понимаешь?

— Да, братъ, именно надо у Зиновея Захарыча поучиться, надо!

— Или возьмемъ примѣромъ, хоть то: развѣ ты можешь угадать, какое тебя впереди поношеніе ожидаетъ? Спрашиваю тебя, можешь ли угадать?

— Да я, Разумникъ Семенычъ, схожу-съ... я, Разумникъ Семенычъ, еще пуншитику прикажу-съ...

— Можно. А Зиновей Захарычъ всему тебя научитъ и весь тебѣ кругъ дѣйствія совершитъ. Такъ ты къ нему сходи, да не легковѣрно, а со страхомъ и трепетомъ приступи! Вспомни ты это мое слово: въ отчаянности утѣшеніе найдешь, преткновенія разсѣешь и побѣдишь, въ дѣлахъ откровеніе получишь, коли заповѣдь его твердо хранить будешь!

Вѣрный данному слову, Потанчиковъ дѣйствительно отправился на другой день къ Зиновею Захарычу.

Зиновей Захарычъ былъ выгнанный изъ службы подьячій, видомъ худенькій, маленькій, весь изъѣденный желчью. Въ старину величали его весельчакомъ, и онъ дѣйствительно былъ всегда веселъ, но веселъ по-своему, съ какимъ-то мрачнымъ оттѣнкомъ, какъ будто радовался и увеселялся собственно тѣмъ, что удачно лишилъ жизни своего ближняго. Вся фигура его была каверзна и безобразна и до такой степени представляла собой образецъ ломаной линіи, что, при распространившихся въ послѣднее время понятіяхъ о линіи кривой, онъ не могъ быть терпимъ на службѣ даже въ земскомъ судѣ, гдѣ, какъ извѣстно, находится самое мѣсторожденіе ломаной линіи. Поэтому Зиновей Захарычъ долженъ былъ кончить земное свое странствіе, подобно фіалкѣ, въ тѣни того широковѣтвистаго древа, которое въ просторѣчіи именуется кляузой и лбедой.

— Отъ тебя, любезный, и на подчиненныхъ уныніе! — сказалъ ему генералъ Зубатовъ, первый изъ русскихъ адми-

нистраторовъ, который серьезно потребовалъ, чтобъ чиновники имѣли манеру благородную и видъ, при исполненіи обязанностей, безстрастный.—Нѣтъ, ты подай, непремѣнно подай въ отставку!

Но общественное мнѣніе рѣшительно приняло сторону Гегемоніева. Разсказывали истинныя происшествія о томъ, какъ гнуснаго вида офицеры оказывались впослѣдствіи прекрасными полковыми командирами и даже геніальными военачальниками. Говорили о премудрости Провидѣнія, которое одному даетъ въ удѣлъ красоту, другому богатство, третьему острый умъ, а четвертому ничего. Пророцали, что никакое несправедливое дѣйствіе не останется безъ возмездія въ будущемъ, и вообще на генерала негодовали, а Гегемоніева восхваляли. А все-таки Зиновей Захарычъ долженъ былъ повиноваться персту указующему...

Но въ особенности неслись къ Гегемоніеву сердца канцеляристовъ всѣхъ возможныхъ родовъ и видовъ. Они любили, въ часы досуга, внимать разсказамъ этого новаго Улисса и выслушивали ихъ въ веселіи сердца своего. И слава, которою пользовался Зиновей Захарычъ въ этомъ отношеніи, была вполнѣ имъ заслужена. Никто, конечно, не могъ подать столь благого совѣта, никто не могъ такъ утѣшить, обнадежить и умудрить, какъ дѣлалъ это Гегемоніевъ. Гонимые судьбой возвращались отъ него бодрыми, недугующіе — исцѣленными, печальные — радостными, слѣпые—прозрѣвшими, безнадежные—утѣшенными и просвѣтленными.

На бѣду Потанчикова, хозяйка квартиры, въ которой жилъ Гегемоніевъ, объявила ему, что Зиновей Захарычъ со вчерашняго дня слегъ въ постель и въ настоящую минуту находится чуть ли не при смерти.

— Въ подпитіи, конечно-съ? — робко замѣтилъ Потанчиковъ.

Но хозяйка положительно завѣрила, что баринъ цѣлыя сутки маковой росинки въ ротъ не бралъ и умираетъ безъ всякой аллегоріи. Потанчиковъ уже хотѣлъ удалиться, какъ изъ сосѣдней комнаты послышался дребезжащій голосъ самого Гегемоніева, призывавшій хозяйку.

— Пожалуйте!—сказала она, возвращаясь чрезъ минуту къ Потанчикову.

— Больны, Зиновей Захарычъ?—спросилъ Потанчиковъ, садясь у изголовья Гегемоніева.

— Да... перепустилъ, видно... на именинахъ третьяго

дня у Разумника Семеныча былъ... ну, и поплясалъ тоже...

— Это пройдетъ, Зиновей Захарычъ; отъ радости худо не бываетъ-съ.

— Да, въ наше время это точно, что люди отъ веселья не хворывали, а нынче, братъ, и радость-то словно не на пользу: вездѣ ровно тѣмнеть какая обстоитъ... Ты зачѣмъ?

— А вотъ-съ становымъ на всю жизнь осчастливили... желательно было бы отъ васъ позаимствоваться-съ...

— Спасибо, спасибо тебѣ, что меня, старика, вспомнилъ. Это точно, что я напутствовать могу, потому я произошелъ... я много, братъ, въ жизни произошелъ! Плохо вотъ только мнѣ; даже словно душитъ въ груди... однако, ничего, попробую...

«— Вертоградъ этотъ, — началъ Гегемоніевъ, по временамъ прерывая разсказъ свой удушливымъ кашлемъ:—вертоградъ, о которомъ мы будемъ бесѣдовать, весьма необыкновенный. Въ самое короткое время, съ небольшимъ въ какихъ-нибудь сто лѣтъ, разросся, пріумножился и изукрасился онъ преестественно.

«Говоришь ты мнѣ: «становымъ на всю жизнь осчастливленъ», а знаешь ли, что̀ есть «становой»? Думаешь ты, можетъ-быть, что становой есть Потанчиковъ, есть Овчинниковъ, есть Преображенскій? А я тебѣ скажу, что все это одна только видимость, что и Потанчиковъ, и Овчинниковъ тутъ только на прикладъ даны, въ существѣ же веществъ становой есть, ни мало, ни много, невещественныхъ отношеній вещественное изображеніе... Шутка!

«Скажу я тебѣ по этому самому случаю аллегорію.

«Въ младыхъ моихъ лѣтахъ, хаживалъ я, сударь, въ школу, и немало-таки розгачей и мученическихъ вѣнцовъ, просвѣщенія ради, принялъ. И сказывали намъ тогда, какъ въ старые годы отцы наши варяговъ изъ-за моря призывали, и какъ варяги порядокъ у насъ производили, и не обошлось тутъ безъ того, чтобъ гости хозяевъ легонько не постегали.

«И всему этому я, по невинности своей, въ ту пору вѣрилъ, и все это вышла, однакожъ, одна новѣйшаго произведенія аллегорія. Разберемъ это дѣло по пунктамъ.

«Ну, скажи ты мнѣ на милость, зачѣмъ было отцамъ нашимъ изъ-за моря варяговъ призывать, когда у насъ и

свои завсегда налицо? И скажи ты мнѣ еще, какимъ бы родомъ эти варяги, если бы это не была аллегорія, могли и доселѣ все въ томъ же видѣ остаться, безъ всякихъ въ нравахъ и обычаяхъ перемѣнъ? Это пунктъ первый.

«Второй пунктъ: «земля наша велика и обильна»... Если бы это не былъ вымыселъ, развѣ могъ бы лѣтописецъ такимъ образомъ выразиться? Развѣ не было ему извѣстно, что за тысячу-то лѣтъ всю матушку Русь на одну ладонку посадить, а другою прикрыть было можно? Что-жъ это значитъ? Не то ли, что нѣкто, взирая на нынѣшнее пространство Россіи, увлекся восторженностью своей до того, что даже забылъ, что пишетъ о временахъ давно прошедшихъ? Ясно?

«Третій пунктъ: «а порядку въ ней нѣтъ»... Что сей сонъ значитъ? А значитъ это, что вообще порядку нѣтъ и не можетъ быть, пока три брата въ надлежащую ясность дѣла не приведутъ. Стало-быть: «приходите княжить и володѣть нами»... Ну, и пришли. Пришли, сударь, три брата: первый-то братъ капитанъ-исправникъ, второй-то братъ стряпчій, а третій братецъ, маленькій да востренькій, — самъ мусье окружной!

«Они же бояхусь звѣринаго ихъ обычая и нрава»... Это значитъ, что точно спервоначалу было имъ будто робостно, а послѣ, однако, ничего: сжились да начали володѣть и взаправду!

«Ну-съ, сударь мой, пришли, значитъ, три брата, а какъ земля наша велика и обильна, то и выходитъ, что имъ втроемъ управиться въ этомъ изобиліи стало совсѣмъ неспособно. И пошли у нихъ братцы меньшіе, примѣрно хоть ты или я: чѣмъ больше порядку, тѣмъ больше братцевъ, и до того, сударь, дошло, что, кромѣ порядка, ничего у хозяевъ-то и не осталось. Гдѣ было жито — тамъ порядокъ; гдѣ худоба всякая была — тамъ порядокъ; гдѣ даже рощицы росли—и тамъ завелся порядокъ. И стало, сударь мой, хозяевамъ куда какъ радостно: земля, говоритъ, наша хоть и не изобильна, да порядокъ въ ней есть... Резонъ!

«Вотъ и выходитъ, что вся эта исторія одно инословіе изображаетъ, и если примѣрно тебя опредѣляютъ теперь въ становые, то ты такъ и знай, что ты тотъ самый Труворъ и есть, о которомъ сказано, что для порядку призванъ.

«А порядокъ что такое? А порядокъ есть такое всѣхъ частей вертограда сего соотвѣтствіе, въ силу котораго всякому дѣйству человѣческому свой небуйственный ходъ за-

раньше опредѣляется. А небуйственность что? А небуйственность есть такое качество, въ силу котораго ты, человѣкъ простой, шагу безъ того сдѣлать не можешь, чтобъ *перметте* не сказать. Въ этомъ-то *перметте* и заключается вся сущность и сила, такъ какъ оно простираетъ свое домогательство ко всѣмъ дѣйствіямъ человѣческимъ безъ изъятія. И такъ какъ обладатели его мы, три брата: Рюрикъ, Синеусъ и Труворъ, то и выходитъ, что жизнь человѣческая вся въ нашихъ рукахъ совершается.

«Въ былыя времена, когда я къ служебнымъ сладостямъ еще пріобщенъ былъ, дѣйствовали мы на этомъ полѣ очень удачно. Главное тутъ—воображеніе имѣть, чтобъ оно тебѣ на всякій часъ пищу для дѣйствія доставляло. Воображаю я, напримѣръ, что ты фальшивую монету дѣлаешь; воображаю я это не потому, чтобъ ты въ самомъ дѣлѣ монету дѣлалъ, а просто потому, что воображеніе у меня есть и никто для него предѣла не заказалъ. Хорошо. Вотъ беру я бѣлый листъ бумаги и изображаю на немъ тако: «По дошедшимъ слухамъ, имѣется подозрѣніе, что такой-то Потанчиковъ занимается якобы дѣланіемъ фальшивой монеты. Подтверждаются эти слухи частью необыкновеннымъ образомъ жизни, который ведетъ Потанчиковъ (ибо въ домѣ его по почамъ весьма часто усматривается выходящій какъ бы изъ подполья тусклый свѣтъ), частью чрезвычайнымъ появленіемъ въ сей мѣстности фальшивыхъ денегъ, преимущественно же тѣмъ, что жена Потанчикова, будучи такого-то числа на базарѣ, купила бѣличій салопъ, причемъ похвалялась, говоря: скоро и не такой еще куплю! А потому и т. д.» Все это, сударь мой, это я себѣ вообразилъ, и никакого огня, ни фальшивыхъ денегъ не бывало. Однако, тебѣ, Потанчикову, отъ этого не легче. Призываю я меньшого своего братца, который хоть и весь въ меня, а считается будто твоимъ депутатомъ, и идемъ мы вмѣстѣ къ тебѣ съ обыскомъ. Супруга у тебя стонетъ, ребятушки зѣваютъ, собаки на дворѣ воютъ... ну, и одаряешь ты, сударь, насъ по силѣ-возможности: только, молъ, отвяжитесь, ради Христа!

«Ты, дружище, пойми это, что въ тебѣ и начало, и средина, и конецъ человѣческаго существованія заключается. Ты, сударь, истинную вѣру охраняешь, ты уваженіе къ властямъ посѣваешь, ты здравіе, благоденствіе и продовольствіе всюду распространяешь, ты отъ глада и града, отъ труса и наводненія, отъ мора и повѣтрія сирыхъ и

безпомощныхъ освобождаешь! И все ты одинъ, становой приставъ Никаноръ Перегриновъ Потанчиковъ, у котораго подъ началомъ единый писецъ состоитъ да десятка два-три сотскихъ! Мало того: потребуется начальству птицу Феникъ сыскать — ты и птицу сыщешь; потребуется статистику сочинить — ты и статистику сочинишь. Ты всѣми добродѣтелями и науками отъ Бога награжденъ долженъ быть; ты и хозяинъ добрый, и сыщикъ злохитрый, и химикъ изрядный, и статистикъ урожденный! А такъ какъ ты всего этого, по ограниченности природы человѣческой, исполнить не въ силахъ и такъ какъ про эту твою ограниченность и начальству, яко изъ человѣковъ же состоящему, не безызвѣстно, то какое изъ сего прямое слѣдствіе истекать должно? А то слѣдствіе, что ты если не дѣло дѣлать, такъ, по крайности, выгоды свои долженъ соблюсти!

«Это тебѣ философія, а вотъ и практика. Прежде всего помнить ты долженъ, что всякая статья должна, по силѣ-возможности, сокъ дать, чтобъ жажду твою утолить и гладнаго тебя накормить. По началу оно будто робостно, а по времени въ такой вкусъ и азартъ войдешь, что словно вотъ соловей: поешь и самъ себя даже не чувствуешь... Пробовалъ я тоже и зарокъ на себя класть: буду, молъ, сидѣть смирно,—такъ нѣтъ, никогда больше двухъ сутокъ воздержаться не могъ! Потому, во-первыхъ, что я своему тѣлу развѣ врагъ? А во-вторыхъ, и потому, что есть, сударь, въ нашемъ ремеслѣ притягательная сила, противъ которой, хоть будь ты семи пядей во лбу, не устоишь! И томитъ тебя, и душитъ, и подымаетъ всего... покуда свой натуральный кругъ дѣйствія не совершишь!

«Одно нашего брата губитъ — это питіе безмѣрное. Залѣзешь-это въ трущобу, театровъ нѣтъ, баловъ не имѣется, и пошелъ курить! Слоняешься иной разъ по дорогамъ и въ слякоть, и въ стыть; и въ глаза-то тебѣ хлещетъ, и сквозь-то тебя пронимаетъ, — ну, и воскликнешь: жажду! Иной разъ сутки цѣлыя слова путемъ не вымолвишь: все или молчишь, или ругаешься — ничего для души нѣтъ!.. Другіе, женившись, думаютъ себя соблюсти, такъ слушай ты меня: не вѣрь тѣмъ, кто тебя этимъ предметомъ соблазнять будетъ! Нашъ братъ, опричникъ, на все долженъ быть готовъ: и въ болотѣ увязнуть, и отъ меча погибнуть, и отъ пламени огненнаго сгорѣть. Стало-быть, зачѣмъ тутъ жена? Затѣмъ развѣ, чтобъ руки тебѣ связать да трусостью сердце твое обуять? Ты пойми это, что въ нашемъ

ремеслѣ ты осторожностью да выжиданіемъ ничего не возьмешь; а ты коли хочешь пользу имѣть, такъ жестъ у тебя долженъ быть вольный, широкій, чтобъ и вдоль забиралъ, и поперекъ захватывалъ, да и вглубь, и ввысь и рвалъ, и металъ... Зачѣмъ тутъ жена?

«А все-таки надо правду сказать: хоть ты бойся, хоть не бойся, а какъ придется концы съ концами сводить—въ результатѣ все ничего и очень мало выходитъ... Вотъ и я, напримѣръ... я ли, кажется, не поревновалъ, а все подъ старость голову приклонить негдѣ! Хоть и сказалъ въ ту пору его превосходительство, хлопнувши меня по животу, что тутъ, молъ, все курочки да гусочки хапанные сидятъ, а вѣдь, коли по совѣсти-то сказать, какія же это курочки? Наши, братъ, курочки русскія: худенькія, маленькія да жиденькія—въ силу ими насытиться. Вотъ тѣхъ бы индюшекъ попробовать, которыя къ его превосходительству на столъ отъ откупщика подаются, ну, тогда точно: вышли бы мы и тѣломъ побѣлѣе, и ростомъ поавантажнѣе... Такъ вотъ и смекай ты, какъ въ свѣтѣ жить, безпечальну быть!

«Однако, сытымъ быть можно. Главное, мнѣніе надо въ себѣ побѣдить, кичливость плотскую смиренномудрію духовному покорить, а пуще всего подъ судъ не попадать, потому что въ уголовную хоть и однажды попадешь, однако послѣ того всю жизнь будешь счастливъ, все равно какъ бы на затылкѣ тебѣ кожу вырѣзали, или на лбу клеймо напечатали. А нашъ братъ какъ дорвется до теплаго мѣстечка, такъ не то чтобъ смѣлостью, а больше озорствомъ дѣйствуетъ: я-ста да мы-ста,—ну, и разбросаетъ все зря: того ему не надо, то для него презрительно... А ты, коли хочешь невредимымъ быть, все бери, ничѣмъ не брезгай, да не плюй въ бороду-то, не плюй, а пуще ее погладь, потому что и жизнь-то твоя вся въ бородѣ заключается.

«И еще: его сивушество іерусалимскаго князя Полугарова паче звѣздъ уважай. Помни: онъ по всей землѣ, всѣхъ кабаковъ, выставокъ всерадостный обладатель и повелитель... кто-жъ ему равенъ?

«Итакъ, сударь, ты отъ меня напутствованъ. Иди же ты съ миромъ и не сомнѣвайся... А меня оставь... потому что я умирать хочу!»

II.—Зубатовъ.

Генералъ Зубатовъ, Богъ ему судья, не очень-таки по-

любливалъ меня. «У васъ, говоритъ, бывало, слишкомъ голова горяча, милостивый государь,—вы діалектикѣ, милостивый государь, предаетесь!.. Служба требуетъ дѣла, а не соображеній, милостивый государь!.. Она требуетъ фактовъ, фактовъ и фактовъ!»

И все этакъ строгимъ манеромъ.

И держалъ онъ меня, по случаю діалектики, въ великомъ загонѣ; пройти, бывало, по улицѣ совѣстно; словно и заборы-то улыбаются и шепчутъ тебѣ вслѣдъ: діалектикъ, діалектикъ, діалектикъ!

А подъ діалектикомъ разумѣлъ Семенъ Семенычъ отчасти такого человѣка, который перомъ побаловать любитъ, отчасти такого, который на какой-нибудь офиціальный вопросъ осмѣливается откликнуться: «не могу знать», а отчасти и такого, который не бѣжитъ сломя голову на всякій рожонъ, на который ему указываютъ.

Къ балующимъ перомъ Семенъ Семенычъ адресовался обыкновенно слѣдующимъ образомъ:

— Что вы мнѣ, милостивый государь, такъ разсказываете? Какія вы тамъ нашли еще препятствія? Развѣ вамъ велѣно вникать въ препятствія? Развѣ васъ объ этомъ спрашиваютъ? Я, милостивый государь, тридцать пять лѣтъ служу, и благодареніе Богу, никогда никакихъ препятствій не видалъ!

— Помилуйте, ваше превосходительство, вѣдь это все равно, что на камнѣ рожь сѣять...

— Ну, что же-съ... и посѣмъ-съ!..

— Да вѣдь рожь-то не вырастетъ!

— Вырастетъ-съ, а не вырастетъ, такъ будемъ камень сѣчь-съ!

— А она и отъ этого не вырастетъ!

— И опять будемъ сѣчь-съ! Намъ до этого дѣла нѣтъ, что можно и что нельзя... а мы будемъ сѣчь-съ!

Къ «немогузнайкамъ» Семенъ Семенычъ обращался такъ:

— Что вы мнѣ тамъ доносите и два, и три? Вы должны сказать мнѣ прямо: или два, или три... Служба не терпитъ этой неопредѣленности...

— Осмѣлюсь доложить вашему превосходительству, что...

— Знаю я это, милостивый государь, очень знаю... Но вѣдь мнѣ нужны не «или» ваши, а настоящая цифра, потому что я эту цифру долженъ въ вѣдомости показать, и итогъ... да, и итогъ, сударь, подвесть... Въ какую же силу *я ваше* «или» тутъ сосчитаю?..

Но всего болѣе антипатиченъ былъ для него третій сортъ діалектиковъ.

— Я вамъ приказалъ, сударь... почему вы не исполнили?—говорилъ онъ имъ, принимая самые суровые тоны.

— Такъ и такъ, ваше превосходительство, я былъ на мѣстѣ и убѣдился, что указываемый вами рожонъ совсѣмъ не рожонъ...

— А развѣ объ этомъ васъ спрашивали? А знаете ли вы, милостивый государь, что за подобныя разсужденія въ военные время разстрѣливаютъ?

И такъ далѣе, въ томъ же тонѣ и духѣ. Однимъ словомъ, генералъ любилъ, чтобъ чиновникъ смотрѣлъ у него весело, не разсуждалъ и тѣмъ менѣе противорѣчилъ, не сомнѣвался, не провидѣлъ и на ногу былъ легокъ.

И вдругъ, въ одно прекрасное утро, онъ задумался. Долго онъ думалъ и сначала, повидимому, скорбѣлъ и вздыхалъ, но, наконецъ, пріятная улыбка озарила уста его.

— А что-жъ,—сказалъ онъ:—въ самомъ дѣлѣ! Надо же и имъ дать вздохнуть... трудненько оно будетъ... правда... а впрочемъ, что за вздоръ—не боги же горшки обжигали!

Въ этотъ же день я былъ приглашенъ къ его превосходительству и удивленъ слѣдующею рѣчью:

— Вотъ, любезный другъ,—сказалъ онъ мнѣ ласково:—оказывается теперь, что мы съ вами до сихъ поръ спали, то-есть не то чтобъ совсѣмъ спали, а такъ, знаете, скользили по поверхности... составляли тамъ вѣдомости... наблюдали, чтобъ входящія и исходящія не были закапаны... Выходитъ, что все это было ненужно... Д-да!

— Д-да!—повторилъ я въ изумленіи.

— Выходитъ, что отъ этого у насъ и торговля не развивается... и фабрикъ нѣтъ... и богатство народное... тово...

Я видѣлъ по его лицу, какъ всѣ эти непривычныя выраженія мучительно зарождались въ его головѣ и еще мучительнѣе сходили съ языка.

— Выходитъ, намъ надо теперича заняться настоящимъ дѣломъ,—сказалъ онъ рѣшительно.

— Слушаю-съ, ваше превосходительство!

— Да; теперь это нужно... теперь вотъ и Европа на насъ посматриваетъ... ну, да и время совсѣмъ не то! Вѣдь, въ самомъ дѣлѣ, какъ подумаешь, что значитъ время-то!

Генералъ улыбнулся и началъ загонять ногою въ уголъ валявшуюся на полу бумажку.

— Вотъ хоть бы вчера,—продолжалъ онъ:—вѣдь какъ

казалось все гладко, все прекрасно... плыли мы, можно сказать, по океану и воды даже подъ собой не слышали... а нынче...

— Отчего же, однако, вашему превосходительству, кажется, что нынче все измѣнилось?

— Да нѣтъ! неужто-жъ вы этого не чувствуете? Вѣдь пора же, пора намъ, наконецъ, сбросить съ себя это скиѳство!.. Надо же и намъ когда-нибудь стать въ уровень съ Европой... Вѣдь этакъ мы того дождемся, что насъ помѣстятъ въ число пастушескихъ народовъ!.. И дождались бы!

Глаза Семена Семеныча сверкнули гнѣвомъ.

— Развѣ ваше превосходительство получили какія-нибудь извѣстія изъ Петербурга?—спросилъ я робко.

— Нѣтъ, вы меня не понимаете! Я просто убѣдился, что не можетъ это такъ оставаться, и потому на первый разъ призывалъ ужъ нынче частнаго пристава Рогулю и сказалъ ему, чтобъ онъ отнюдь не смѣлъ волю рукамъ давать... потому что вѣдь это, наконецъ, нальзя же: все въ рыло да въ рыло!

При этихъ словахъ я вспомнилъ, что дѣйствительно Рогуля еще утромъ пріѣзжалъ ко мнѣ весь встревоженный и объявилъ, что его превосходительство находится въ восторженномъ состояніи.

— А что?—спросилъ я.

— Да помилуйте,—отвѣчалъ онъ:—чуть свѣтъ меня поднялъ... Я думалъ, что какое-нибудь упущеніе или пожаръ... скачу, и что же-съ? «Я, говоритъ, за тѣмъ тебя призвалъ, чтобъ напомнить, чтобъ ты не дрался, а дѣйствовалъ кротостью и собственнымъ примѣромъ; если-жъ ты будешь драться, такъ я тебя, подлеца, самого такимъ образомъ откатаю, что ты три дня садиться не будешь»... Посудите сами, ваше высокоблагородіе!

Въ ту минуту я не разобралъ хорошенько этого обстоятельства и даже утѣшилъ Рогулю, что, должно-быть, его превосходительству во снѣ что-нибудь нехорошее привидѣлось; но теперь... теперь я самъ начиналъ догадываться, что тутъ дѣйствительно есть какой-то пунктикъ, который не далѣе какъ въ прошедшую ночь зародился въ головѣ его превосходительства, но къ утру выросъ и распространился вширь съ погибельною быстротой.

— Я и прежде всегда утверждалъ, — ораторствовалъ, *между тѣмъ*, его превосходительство:—что не нужно слиш-

комъ натягивать струны... потому что, вы понимаете, мы, наконецъ, отупѣли съ этимъ натягиваніемъ.

Семенъ Семенычъ взглянулъ на меня, какъ бы вызывая на размышленія; но я стоялъ сконфуженный и подавленный; мой носъ инстинктивно нюхалъ въ воздухѣ, глаза сами собой устремлялись на барометръ, какъ бы ища опоры для объясненія этой внезапной перемѣны.

— Такъ вы, пожалуйста, займитесь,—продолжалъ генералъ:—надо намъ... тово... идти рядомъ съ вѣкомъ...

— Что же прикажете, ваше превосходительство?

— Ну, да вы меня понимаете... я бы хотѣлъ, чтобъ этакъ тово... новенькое что-нибудь... Знаете ли что?—прибавилъ онъ весело, какъ бы озаренный внезапной мыслью:—устроимте-ка здѣсь биржу!

— То-есть, какъ-же биржу?

— Ну, да, биржу... какъ въ Петербургѣ или вотъ въ Москвѣ... Теперь у насъ все это въ младенчествѣ... они всѣ сдѣлки свои въ трактирѣ за парой чая дѣлаютъ... Ну, а если мы заведемъ биржу, торговля-то, знаете ли, какъ двинется впередъ!..

— А если купцы на биржу не станутъ ходить?

— Надобно, mon cher, на первое время сдѣлать для нихъ обязательнымъ, чтобъ ходили... потому что иначе какія же могутъ быть у насъ усовершенствованія?

— Это точно, ваше превосходительство!

— Ну, такъ вы, стало-быть, займетесь этимъ? Кстати! Анна Ивановна жалуется мнѣ, что васъ давно не видать у насъ... такъ приходите сегодня обѣдать... запросто!

Само собою разумѣется, что я не позабылъ о приглашеніи, и ровно въ три часа былъ въ гостиной Зубатовыхъ.

Но, къ величайшему моему удивленію, я нашелъ Анну Ивановну въ столь же восторженномъ настроеніи духа, какъ и Семена Семеныча. Въ то время, какъ я вошелъ въ гостиную, она вела оживленную бесѣду съ товарищемъ предсѣдателя уголовной палаты Семіоновичемъ.

— Согласитесь, однакожъ, со мной, что тутъ еще многое остается сдѣлать,—говорила она.—Мсьё Щедринъ! вы, я надѣюсь, поддержите меня...

— Но позвольте, Анна Ивановна,—вступился Семіоновичъ:—вы напрасно думаете, что я принадлежу къ числу отсталыхъ. Я полагаю, что намъ слѣдуетъ только объясниться, и всѣ недоразумѣнія устранятся сами собою...

— C'est inoui ce que nous avons souffert!—продолжала

Анна Ивановна, обращаясь ко мнѣ. — Изумительно даже, какъ могли мы дышать!

«Кроткая Annette! что съ тобой сдѣлалось! что съ тобой сдѣлалось! — подумалъ я, переходя отъ изумленія къ совершенному остолбенѣнію. — Ты, которая до сихъ поръ позволяла себѣ думать только о наслажденіяхъ предстоящей минуты, ты, которая смотрѣла на жизнь какъ на рядъ милыхъ и граціозныхъ сценъ, въ родѣ пословицъ Альфреда Мюссе, ты ожесточена, ты говоришь о какой-то духотѣ, о какихъ-то прошедшихъ страданіяхъ... Боже!»

— Вотъ это-то именно и есть единственный пунктъ, насчетъ котораго я нѣсколько расхожусь съ вами, Анна Ивановна,—возразилъ, между тѣмъ, Семіоновичъ.—Я нахожу, что страданіе—самая лучшая школа жизни... Не даромъ великій поэтъ сказалъ:

Но не хочу, о, други! умереть,
Я жить хочу, чтобъ мыслить и страдать...

Стало-быть, страданіе не совсѣмъ-то дурная вещь... стало-быть, въ страданіи возможно даже своего рода наслажденіе, которое высоко цѣнится знатоками!..

— Не знаю; быть-можетъ, я не принадлежу къ числу знатоковъ, но, признаюсь вамъ, я не охотница до страданія... Мнѣ кажется такъ пріятно, такъ легко, когда меня никто не безпокоитъ, si l'on me laisse jouir en paix de mon existence... n'est-ce pas, мсьё Щедринъ?

— Нѣтъ сомнѣнія, что жить спокойно гораздо пріятнѣе, нежели пользоваться тревогами,—отвѣчалъ я.

— Но я и не утверждаю, что страданіе должно быть нормальнымъ состояніемъ человѣка, — возразилъ Семіоновичъ.—Я говорю только, что страданіе—школа, и надѣюсь. что самое это слово доказываетъ, что здѣсь идетъ о немъ рѣчь, какъ о мѣрѣ, про которую говоритъ поэтъ:

Вѣдь въ наши дни спасительно страданье...

— Я надѣюсь, что мы съ честью выйдемъ изъ этой школы,—сказала Анна Ивановна:—хотя, признаюсь вамъ, въ первый разъ это будетъ ужасно трудно... nous sommes encore si peu habitués de jouir des bienfaits de la civilisation... Я сегодня утромъ говорила съ мужемъ: это ужасъ, сколько надобно сдѣлать... il faut faire ceci et cela... Вездѣ, куда ни обернитесь, вездѣ надобно снова начинать...

— Да, это такъ, — отвѣчалъ Семіоновичъ задумчиво. — Не знаю... я какъ-то опасаюсь... мнѣ кажется... que nous

n'avons pas assez de forces... que nous succombrons à la tâche, en un mot!

— О, это опасеніе совершенно напрасное! Puisque au fond le peuple russe est avant tout un grand peuple... C'est une justice, que l'Europe entière se plait à lui rendre...

— А! здравствуйте! О чемъ это вы такъ горячо тутъ спорите?—прервалъ Семенъ Семенычъ, входя въ это время въ гостиную и подавая поочередно всѣмъ намъ руку, чего прежде никогда съ нимъ не случалось.

— Продолженіе давешняго разговора, ваше превосходительство,—отвѣчалъ я.

— А! это любопытно!

— Вотъ мсьё Семіоновичъ находитъ, что мы недостаточно созрѣли,—отозвалась Анна Ивановна.

— То-есть, для чего?—спросилъ генералъ.

Анна Ивановна затруднилась; она была вполнѣ увѣрена, qu'il s'agit d'une très bonne chose, но какъ называется эта chose—не знала. А впрочемъ, что мудренаго: можетъ-быть, такъ она и называется... chose! Семіоновичъ, однакожъ, вывелъ ее изъ затрудненія.

— Мы не поняли другъ друга, Анна Ивановна! — сказалъ онъ нѣсколько обиженнымъ тономъ.—Мое воспитаніе... мое прошедшее, наконецъ... все это достаточно говоритъ въ мою пользу... Повѣрьте, я не принадлежу къ числу отсталыхъ!

— Ну, да, ну, да!—сказалъ Семенъ Семенычъ:—нынче ужъ оно и не ко времени!

— Я говорю только, что наше перерожденіе достанется намъ не безъ труда!

— О, насчетъ этого я совершенно съ вами согласенъ... Я, напримѣръ, придумалъ теперь одну штучку. Конечно, это будетъ очень полезно... однако и за всѣмъ тѣмъ не могу поручиться, чтобъ она принялась такъ, какъ было бы желательно!

— Позволено ли будетъ узнать, ваше превосходительство, въ чемъ заключается ваше намѣреніе? — спросилъ Семіоновичъ.

— Такъ... я хочу... биржу здѣсь устроить! — отвѣчалъ генералъ съ тою поспѣшностью и вмѣстѣ усиліемъ, которыми всегда сопровождается желаніе высказаться какъ-нибудь понебрежнѣе. При этомъ онъ, неизвѣстно отъ какихъ причинъ, застыдился и покраснѣлъ.

— Vous n'avez pas l'idée, comme ils nous trompent, ces

marchands!—вступилась Анна Ивановна.—А тогда мы будемъ все на биржѣ покупать.

— Ты мнѣ, мамаша, на биржѣ новую курточку купишь!—пролепеталъ маленькій сынокъ Анны Ивановны, прислушавшись къ разговору.

— Извините меня, Анна Ивановна,—замѣтилъ Семіоновичъ, пользуясь случаемъ, чтобъ отмстить генеральшѣ за предположеніе о его отсталости:—но мнѣ кажется, что вы не совсѣмъ вѣрно смотрите на значеніе биржи...

— Ну, да, ну, да, — сказалъ генералъ, снисходительно улыбаясь:—эти дамы только и думаютъ, что о нарядахъ... Онѣ даже на переворотъ готовы смотрѣть съ точки зрѣнія тряпокъ... Ха-ха!

— А впрочемъ, мысль Анны Ивановны объ устроеніи такого магазина, который представлялъ бы всѣ ручательства относительно добросовѣстности и дешевизны, тоже весьма счастливая мысль,—возразилъ Семіоновичъ, спѣша на помощь подломившейся на льду либерализма генеральшѣ и такимъ образомъ умѣряя язвительность великодушіемъ.

— Mais... n'est-ce pas! — сказала Анна Ивановна, отдыхая.

Извѣстіе, что готово кушать, прекратило на время разговоръ, но за обѣдомъ онъ возобновился съ новою силою. И генералъ, и генеральша такъ увлекательно доказывали необходимость оставить рутину и идти новыми, неизвѣданными доселѣ путями, что даже суровый Семіоновичъ согласился qu'au fait il y a quelque chose à faire. Я и самъ чувствовалъ, что въ воздухѣ была разлита какая-то непривычная теплота, что по временамъ моего обонянія касались живительные ароматы, что кровь съ усиленною быстротой приливала къ головѣ и сердцу...

Но не могу не сознаться, что все это происходило какъ будто во снѣ и, что самые звуки говорившихъ кругомъ меня голосовъ ложились въ мой слухъ какъ-то смутно, неопредѣленно.

— Прежде всего надо позаботиться о торговлѣ, — говорилъ генералъ:—потому что торговля—это нервъ...

— Да... и желѣзныя дороги, — сказалъ Семіоновичъ: — вотъ гдѣ для насъ предметъ первой важности! Пространство насъ одолѣваетъ, ваше превосходительство, наша собственная карта насъ давитъ!

— Ну, съ этимъ какъ-нибудь справимся, съ Божьей помощью!—разсудилъ генералъ.

— Однакожъ... это ужасно... сколько приходится сдѣлать!—задумчиво продолжалъ Семіоновичъ, внезапно всѣмъ тѣломъ вздрогнувъ.

— Еще бы!—замѣтила генеральша.

— Вы забыли еще о грамотности,—отозвался генералъ и, обращаясь ко мнѣ, присовокупилъ: — Кстати, чтобъ не забыть! Не худо бы намъ съ вами и насчетъ этого что-нибудь... знаете, въ такомъ же родѣ...

— Позвольте, однакожъ, ваше превосходительство,—возразилъ Семіоновичъ: — мнѣ кажется, что грамотность... я думаю, что для этого у насъ еще почва недостаточно, такъ сказать, взрыхлена?

— Да, признаюсь вамъ, я и самъ такъ думалъ прежде... но теперь... я скорѣе склоняюсь въ пользу того мнѣнія, что тутъ совсѣмъ никакой почвы не надобно.

— Однакожъ, ваше превосходительство, спеціалисты на основаніи достовѣрныхъ фактовъ утверждаютъ, что на пятьсотъ грамотеевъ двѣсти непремѣнно оказываются негодяями... Какъ хотите, а эта пропорція...

— Мамаша! Я не хочу учиться... Я не хочу сдѣлаться негодяйкой! — неожиданно закричалъ сынокъ Семенъ Семеныча.

— Полно, душечка, это о мужичкахъ говорятъ!—утѣшала его Анна Ивановна.

— Коли хотите, и я въ душѣ съ вами согласенъ,—продолжалъ, между тѣмъ, Семенъ Семенычъ:—но...

Генералъ развелъ руками, какъ будто хотѣлъ сказать: que voulez-vous que je fasse!

Много и еще было говорено разныхъ умныхъ рѣчей, и всякій разъ, когда кому-либо изъ собесѣдниковъ приходила счастливая мысль, генералъ обращался ко мнѣ и говорилъ: «Кстати, чтобъ не забыть! Не мѣшаетъ и на это обратить серьезное вниманіе!»

Читателю, быть-можетъ, страннымъ и невѣроподобнымъ покажется, что бо̀льшая часть моихъ героевъ словно во снѣ или въ туманѣ дѣйствуютъ. Въ справедливости этого замѣчанія долженъ сознаться я и самъ; но что̀ же мнѣ дѣлать, если таково вообще свойство всѣхъ умирающихъ людей? Отъ умирающаго нельзя требовать ни послѣдовательности въ сужденіяхъ, ни даже совершенно округленныхъ періодовъ для выраженія послѣднихъ; всѣ ихъ мысли, всѣ ихъ чувства представляются въ видѣ какихъ-то клочковъ, въ видѣ ничѣмъ не связанныхъ отрывковъ, въ ко-

торыхъ мысль и чувство являются въ состояніи почти эмбріоническомъ. Къ сожалѣнію, я долженъ сказать здѣсь, что міръ полонъ такого рода умирающихъ; между ними очень мало злыхъ и очень много недальновидныхъ. Вообще я убѣжденъ, что на свѣтѣ злые люди встрѣчаются лишь случайно; въ существѣ, они тѣ же добряки, только кожу у нихъ судьба-индѣйка стянула, рыло перекосила и губы помазала желчью. Да и то, по бо́льшей части, отъ своей собственной глупости люди дѣлаются злыми, потому что умный человѣкъ сразу пойметъ, что злиться не изъ чего да и не расчетъ. Что же касается до недальновидныхъ людей, то это точно, что ходятъ въ народѣ слухи, будто ихъ не мало по бѣлу свѣту шатается; однако, не могу скрыть, что я очень рѣдко встрѣчалъ такихъ, которые бы откровенно признавали себя дураками. Напротивъ того, обыкновенно случается такъ, что, напримѣръ, Петръ Иванычъ, встрѣтивши друга своего, Ивана Петровича, и поговоривъ съ нимъ немного, уже восклицаетъ мысленно: «Господи! да какъ же глупъ Иванъ Петровичъ!.. Неужто онъ этого не знаетъ!» А Иванъ Петровичъ въ это самое время, въ свою очередь, тоже мысленно восклицаетъ: «Господи! да какъ же глупъ Петръ Иванычъ... Неужто онъ этого не знаетъ!» И выходитъ тутъ въ нѣкоторомъ смыслѣ таинственно-духовный маскарадъ. Но, прося у читателя извиненія за такое отступленіе, спѣшу продолжать разсказъ мой.

На другой день я получилъ отъ Семена Семеныча записку. Очевидно, мысль о новомъ характерѣ, который должна была принять его дѣятельность, до такой степени жгла его, что онъ не могъ выносить даже малѣйшую медленность въ этомъ отношеніи. Казалось, онъ въ одну минуту хотѣлъ облагодѣтельствовать всѣхъ и каждаго и преисполнить край плодами цивилизаціи. Въ запискѣ было изображено:

«Виды и предположенія:

«1) Биржа. Правильность торговли. Огромные запросы и такъ далѣе. Развить.

«2) Грамотность. Смягченіе нравовъ. Уменьшеніе преступленій. Облегченіе обязанностей полиціи и т. д. Развить.

«3) Пути сообщенія, *а буде можно, то и желѣзныя дороги*. Сколько среднимъ числомъ провозится ежегодно товаровъ до Н. пристани? Развить.

«4) Фабрики и заводы. Польза отъ нихъ. Средства къ

достиженію сего: поощренія и награды. (Извѣстно, что русскіе купцы и т. д.). Развить.

«Весьма обяжете, ежели все сіе исполните въ возможно непродолжительномъ времени».

Прочитавъ эту записку, я струсилъ. Съ одной стороны, меня, конечно, соблазняла красивая сторона предпріятія; съ другой — я не могъ не испугаться его огромности. Но напрасны были мои опасенія. Генералъ былъ такъ добросовѣстенъ, что счелъ необходимымъ, предварительно принятія рѣшительныхъ мѣръ относительно развитія торговли и промышленности, посовѣтоваться объ этомъ съ почетнѣйшими лицами торгующаго сословія. Эта добросовѣстность испортила, однакожъ, все дѣло. При первомъ намекѣ на возможность учрежденія биржи, купцы попадали въ обморокъ, несмотря на то, что всѣ они были тѣлосложенія необыкновенно крѣпкаго и съ честью выдерживали самые побои.

— Что-о? — сказалъ Семенъ Семенычъ грозно. — Стало-быть, вы сопротивляться задумали?

— Помилуйте, ваша милость, ужъ очень это будетъ для насъ обидно,—отвѣчалъ одинъ изъ купцовъ, прежде всѣхъ очнувшійся.—Нельзя ли замѣсто биржи-то просто чѣмъ-нина-есть обложить насъ на общеполезное устройство?

— Что-о? Ты что за выскочка? И какъ ты смѣешь за всѣхъ говорить?.. Николай Иванычъ, запишите его фамилію!

Между торговцами воцарилось молчаніе; передняя шеренга держала руки по швамъ.

— Такъ вотъ, друзья мои, — продолжалъ Семенъ Семенычъ: — вы слышали мои слова, знаете мои желанія... остается, слѣдовательно, изыскать средства къ приведенію ихъ въ исполненіе... Конечно, нѣкоторые изъ васъ, какъ видно, еще не понимаютъ намѣреній, которыя клонятся единственно къ вашей же пользѣ, но само собой разумѣется, что это не должно останавливать ни меня въ моихъ предположеніяхъ, ни васъ въ содѣйствіи къ выполненію ихъ.

Сказавъ это, Семенъ Семенычъ удалился, и долгъ справедливости заставляетъ меня сказать, что онъ не только не дрался въ этомъ случаѣ, но даже и за бороду никого не вытрясъ.

Но дѣло не удалось. Купцы, оставленные на произволъ судебъ, безъ кормила и весла, объявили, что для нихъ затѣя Семена Семеныча слишкомъ обидна, чтобъ они рѣшились сами на себя руку наложить.

— Ну, что, какъ наше дѣло?—спросилъ меня генералъ, когда я, послѣ продолжительнаго совѣщанія съ обществомъ, явился къ нему съ отчетомъ.

— Не соглашаются, ваше превосходительство!

— Гм!..

Глубоко опечаленный генералъ сталъ лицомъ къ окну и долго безмолвствовалъ. По временамъ, до слуха моего долетали звуки, несомнѣнно доказывавшіе, что его превосходительство барабанилъ въ это время пальцами по стеклу.

— Напрасно, ваше превосходительство, совѣщались съ ними,—сказалъ я, сгорая желаніемъ утѣшить Семена Семеныча:—эти вещи надо дѣлать секретно отъ нихъ, такъ, чтобъ они не опомнились...

Семенъ Семенычъ повернулся ко мнѣ и съ чувствомъ пожалъ мнѣ руку.

— Вы правы,—сказалъ онъ взволнованнымъ голосомъ.

— Они, ваше превосходительство, своей пользы понимать не могутъ, — продолжалъ я, увлекаясь преданностью къ особѣ моего начальника.

— Вы правы,—повторилъ генералъ.

— Такого рода предположенія всего удобнѣе приводить въ исполненіе посредствомъ полиціи,—снова началъ я.

— Вы правы... да, къ несчастію, вы совершенно правы!

— Если они не понимаютъ своихъ выгодъ, то весьма естественно, что нужно дѣлать имъ добро противъ ихъ желанія...

— Это совершенно справедливо... но... Къ сожалѣнію, я долженъ сказать вамъ, mon cher, что время нынче такое... велѣно все кротостью да благоразумными мѣрами распорядительности... Ахъ, другъ мой, ремесло администратора становится слишкомъ тяжело, и если бы я не любилъ мое отечество (Семенъ Семенычъ махнулъ рукой)... давно бы пора на покой старыя кости сложить!..

— Прикажете продолжать настаивать?—спросилъ я.

— Нѣтъ, ужъ зачѣмъ... оставимте ихъ въ покоѣ... пусть дѣлаютъ, какъ знаютъ!.. Горько, Николай Иванычъ!

Разговоръ на этотъ разъ прекратился, но не прекратилась благонамѣренная дѣятельность Семена Семеныча. Проекты слѣдовали за проектами, и въ нашей маленькой канцеляріи закипѣла непривычная и небывалая дотолѣ жизнь.

Но—увы! ни проектъ о распространеніи грамотности, ни проектъ о путяхъ сообщенія—ничто не удавалось, не-

смотря на таинственность и тишину, среди которыхъ они вырабатывались. Проекты эти похожи были на тѣ объявленія о новоизобрѣтенныхъ средствахъ противъ моли и клоповъ, которыя (т. е. средства) такъ удачно дѣйствуютъ на бумагѣ, въ дѣйствительности же безсильны убить самаго тощаго и изможденнаго клопа.

Семенъ Семенычъ сдѣлался скученъ. Уныло ходилъ онъ цѣлые дни по кабинету, заложивъ руки за спину и грустно покачивая головой. Съ ужасомъ сознавалъ онъ, что мѣсяцъ тому назадъ онъ былъ совершенно бодръ и дѣятеленъ, былъ распорядителенъ и исполнителенъ въ одно и то же время, однимъ словомъ, способенъ и достоинъ, а теперь... теперь, когда наступило, повидимому, «благораствореніе воздуховъ и изобиліе плодовъ земныхъ», онъ вдругъ, безъ всякой видимой причины, оказывается чуть-чуть не злостнымъ банкротомъ... Ужасно! Все, что онъ ни придумаетъ, звучитъ пусто, словно лукошко, у котораго вышибли дно; все, за что онъ ни возьмется, отзывается мертвечиной. И ему внезапно стало такъ тошно и несносно жить на свѣтѣ, что не мила казалась Анна Ивановна, не радовалъ милый сынокъ Сережа, а меня не могъ онъ даже видѣть безъ нѣкотораго озлобленія, потому что я являлся хотя и неумышленнымъ, но, тѣмъ не менѣе, горькимъ и постояннымъ свидѣтелемъ его неудачъ.

Однажды утромъ я получилъ отъ Анны Ивановны приглашеніе пожаловать къ ней какъ можно скорѣе. Я засталъ ее заплаканною и разстроенную.

— Вы не знаете, какое насъ постигло несчастіе,—сказала она:—Simon! бѣдный Simon!

— Что такое, Анна Ивановна?—спросилъ я встревоженный.

— Ah! mais voyez plutôt vous-même, cher Николай Иванычъ!

Съ этимъ словомъ она отворила дверь въ кабинетъ Семена Семеныча, и странное зрѣлище представилось глазамъ нашимъ. Семенъ Семенычъ сидѣлъ за письменнымъ столомъ и чертилъ на бумагѣ чудовищный пароходъ; волосы его были растрепаны, въ глазахъ блуждалъ дикій огонь.

Я тотчасъ же понялъ ужасную истину: нѣтъ сомнѣнія... генералъ лишился разсудка!

— А!—воскликнулъ онъ, увидѣвъ меня:—ну, теперь, кажется, они не отвертятся отъ меня... Я все обдумалъ!

— Simon! успокойся, другъ мой!—убѣждала Анна Ивановна.

Семенъ Семенычъ сдѣлалъ рукой движеніе, какъ будто хотѣлъ отогнать докучную муху.

— Я надѣюсь, что начальство оцѣнитъ труды мои,—сказалъ онъ съ какой-то блаженной улыбкой:—скоро будетъ Святая, и тогда...

Онъ показалъ на лѣвую сторону груди.

— Это несомнѣнно, ваше превосходительство; въ настоящее время вамъ больше всего нуженъ отдыхъ,—замѣтилъ я.

— Убѣдите, убѣдите его, Николай Иванычъ! — умоляла Анна Ивановна:—Simon! тебѣ слѣдуетъ почивать!

Генералъ снова сдѣлалъ движеніе рукой.

— А не правда ли, что я много на свою долю потрудился?—сказалъ онъ.—Вы, Николай Иванычъ, видѣли, вы можете засвидѣтельствовать передъ всѣми, что я именно былъ неусыпенъ!

Анна Ивановна всхлипывала; Семенъ Семенычъ, глядя на нее, тоже не выдержалъ и залился цѣлымъ потокомъ слезъ. Положеніе мое было весьма тяжко.

— Друзья мои!— сказалъ генералъ, рыдая:— я умираю! Я умираю, потому что много трудился! Если-бъ я меньше заботился, а больше гулялъ, меньше вникалъ и больше кушалъ, я остался бы живъ!

III.—Пріѣздъ ревизора.

I.

Въ 18** году, декабря 9-го числа, статскій совѣтникъ Фурначевъ получилъ изъ Петербурга, отъ благопріятеля своего, столоначальника NN департамента, письмо слѣдующаго содержанія:

«Милостивый Государь!

«Семенъ Семенычъ!

«Поспѣшаю почтеннѣйше извѣстить васъ, что въ непродолжительномъ времени имѣетъ быть къ вамъ на губернію статскій совѣтникъ Максимъ Ѳедоровичъ Голынцевъ. Будетъ у васъ подъ предлогомъ освидѣтельствованія богоугодныхъ заведеній, въ дѣйствительности же для доскональныхъ разузнаній о нравственномъ состояніи служащихъ *въ вашей* губерніи чиновниковъ. Качества Максима

Ѳедоровича таковы: словоохотливъ и добросердеченъ; любитъ женскій полъ и тонкое вино; выпивши, откровененъ и шутливъ безъ мѣры; въ особенности уважаетъ людей, которые говорятъ по-французски, хотя бы то были даже молокососы; въ карты играетъ, но насчетъ рукъ и такъ далѣе—ни-ни! За симъ, ввѣряя себя и свое семейство вашему неоставленію, прошу васъ принять увѣреніе въ совершенномъ почтеніи уважающаго васъ

Филиппа Вертявкина.

«PS. Милостивой государынѣ Настасьѣ Ивановнѣ отъ меня, отъ жены и отъ всѣхъ дѣтей нижайшее почтеніе.

«NB. Еще любитъ Г., чтобъ его называли «вашимъ превосходительствомъ». Чуть не забылъ».

— Однако, это скверно! — говоритъ статскій совѣтникъ Фурначевъ, прочитавши письмо. — Что бы такое значило: «насчетъ рукъ ни-ни»? Вѣдь это выходитъ, что онъ... ни-ни!

Семенъ Семенычъ въ волненіи ходитъ по комнатѣ и, наконецъ, кричитъ въ дверь:

— Настасья Ивановна! Настасья Ивановна!

Входитъ Настасья Ивановна, облаченная въ глубокій неглиже.

Глаза ея нѣсколько опухли и вообще выраженіе лица сердито, потому что она только что часокъ-другой соснула. Семенъ Семенычъ посмотрѣлъ на ея измятое лицо и съ досадою плюнулъ.

— Опять ты спала!—сказалъ онъ, глядя на нее съ глубокимъ омерзѣніемъ.—Хоть бы ты въ зеркало, сударыня, посмотрѣла, на что ты сдѣлалась похожа! И откуда только сонъ у тебя берется!

— Если вы только за тѣмъ меня позвали, чтобъ ругаться, такъ напрасно трудились!

Настасья Ивановна хочетъ удалиться.

— Да постой, постой же, сударыня! Получилъ я сегодня письмо... ѣдетъ къ намъ ревизоръ... и, какъ видно, неблагонамѣренный... потому что тово... ни-ни...

Семенъ Семенычъ топчется на мѣстѣ и не знаетъ, какъ выразиться. Онъ убѣжденъ, что ревизоръ человѣкъ неблагонамѣренный, но почему-то не умѣетъ сформулировать основаній, на которыхъ зиждется это убѣжденіе.

— Такъ вы тово... попріодѣньтесь немного! — продолдолжаетъ онъ, совсѣмъ спутавшись.

— Вотъ какъ вы испугались, что ужъ и Богъ знаетъ что̀ говорите!—замѣчаетъ Настасья Ивановна, читая письмо Вертявкина. — Точно ужъ и пріѣхалъ вашъ ревизоръ! Однако, я по всему вижу, что онъ долженъ быть очень милый человѣкъ, этотъ ревизоръ, потому что любитъ дамское общество...

— Да, только не наше съ вами... Эй, человѣкъ, лошадь!

Семенъ Семенычъ отправляется къ генералу Голубовицкому и застаетъ его въ большомъ безпокойствѣ. До свѣдѣнія его превосходительства дошло, что одинъ изъ важнѣйшихъ въ городѣ чиновниковъ, будучи на собственномъ своемъ сговорѣ, происходившемъ по случаю предстоящаго бракосочетанія его съ дочерью потомственнаго гражданина Хрептюгина, внезапно вскочилъ изъ-за стола и началъ бить стекла въ окнахъ бѣломраморнаго зала нареченнаго тестя.

— Ты это что̀, ваше высокородіе, дѣлаешь? — спросилъ его изумленный хозяинъ. — «А вотъ я такимъ манеромъ всѣхъ противляющихся мнѣ сокрушаю!»—отвѣчалъ женихъ, и съ этими словами вышелъ изъ дома.

Встревоженный генералъ большими шагами ходитъ по комнатѣ. Онъ справедливо разсуждаетъ, что если высшіе сановники, эти, такъ сказать, административные дупельшнепы, въ порывахъ горячности допускаютъ себя до подобнаго малодушества, то какимъ же образомъ должны поступать зуйки, поручейники, кулички и прочая мелкая болотная дичь?

— А мы еще какъ радовались за Павла Тимоѳеича, что они такую прекрасную партію дѣлаютъ! — замѣчаетъ стоящій въ углу маленькій чиновничекъ, занимающій должность довѣреннаго лица при особѣ его превосходительства.

— Что-жъ, пьянъ, что ли онъ былъ?

— Должно-быть, не безъ того-съ, ваше превосходительство; они, смѣю вамъ доложить, довольно-таки этому привержены... только все больше въ одиночествѣ занимаются-съ и велятъ себя въ этихъ случаяхъ запирать... Ну, а тутъ и при народѣ случилось...

Генералъ продолжаетъ ходить и волноваться.

— И еще случай есть, ваше превосходительство,—робко говоритъ чиновникъ.

— Ну, что̀ тамъ еще?

— Въ Песчанолѣсьѣ стряпчій съ городничимъ-съ... тоже *на именинахъ* дѣло было-съ...

— Нельзя ли докладывать скорѣе, безъ мазанья!

— И стряпчій городничему животъ укусилъ-съ!—оканчиваетъ скороговоркой чиновникъ.

— Господинъ Фурначевъ пріѣхали,—докладываетъ лакей.

— Ну, этого зачѣмъ еще чортъ принесъ!—восклицаетъ взволнованный генералъ.—Просить!

Семенъ Семенычъ входитъ и улыбается. Съ одной стороны, онъ очень радъ видѣть его превосходительство въ добромъ здоровьѣ; съ другой стороны — ему весьма прискорбно, что имѣетъ сообщить извѣстіе, котораго послѣдствій никто, даже самый проницательный человѣкъ, предугадать не въ силахъ.

— Да что же такое? Неужто еще кто-нибудь подрался?— спрашиваетъ генералъ.

— Никакъ нѣтъ-съ, ваше превосходительство, но наша губернія... впрочемъ, можетъ-быть, это и къ лучшему-съ...

— Да говорите же! Что вы душу-то мнѣ тянете!

— Ревизоръ, ваше превосходительство, ревизоръ къ намъ въ скоромъ времени прибыть долженъ!

При словѣ «ревизоръ» съ генераломъ едва не дѣлается дурно.

— Кто сказалъ «ревизоръ»? какой ревизоръ? откуда ревизоръ?—спрашиваетъ онъ, вдругъ весь вспыхнувъ и уже застегивая машинально пальто на всѣ пуговицы.

— Успокойтесь, ваше превосходительство,—продолжаетъ Семенъ Семенычъ:—ревизоръ, сказываютъ, охотникъ больше до дамскаго общества...

— Гм!.. отъ кого же вы получили это извѣстіе?

— Есть въ Петербургѣ одинъ облагодѣтельствованный мною столоначальникъ-съ...

— Это непріятно! это тѣмъ болѣе непріятно, что тутъ же разомъ случились двѣ пасквильныя исторіи... Скажите, пожалуйста, вы были у Хрептюгина въ то время, какъ Павелъ Тимоѳеичъ стекла билъ?

— Какъ же-съ, я былъ въ числѣ приглашенныхъ...

— Что же такое съ нимъ сдѣлалось? Вотъ чего я понять не могу!

— Съ Павломъ Тимоѳеичемъ это нерѣдко бываетъ, ваше превосходительство, только онъ до сихъ поръ умѣлъ это скрыть-съ. Сидѣли мы цѣлый вечеръ, и все какъ будто ничего; и онъ тоже тутъ былъ — ну, и тоже ничего-съ... Только за ужиномъ, — должно-быть, не присмотрѣли за нимъ,—вотъ онъ сначала хереску-съ, потомъ мадерцы-съ,

да вдругъ и всталъ изъ-за стола: «Музыканты! комаринскую!» говоритъ. Я, видѣвши, что онъ ужъ внѣ себя, подозвалъ Хрептюгина и говорю ему: «Вѣдь Павла-то Тимоѳеича надобно убрать!» Не успѣлъ я это сказать, какъ ужъ и пошелъ по залѣ набатъ-съ... Впрочемъ, это еще, ваше превосходительство, уладится: Павелъ Тимоѳеичъ ужъ объяснился съ нареченнымъ тестемъ...

— Ну, а слышали вы другую исторію—это еще почище будетъ: въ Песчанолѣсьѣ стряпчій городничему животъ прокусилъ!

— Ахъ, страмъ какой!

— Разскажи-ка, братецъ, разскажи!—обращается генералъ къ довѣренному чиновнику.—Нечего сказать, хорошъ сюрпризъ для ревизора будетъ!

— Были они,—начинаетъ чиновникъ:—на именинномъ вечерѣ; только и началъ стряпчій хвастаться: «Я, говоритъ, здѣсь все могу сдѣлать!» Ну, городничему это будто обидно показалось; онъ возьми да и ударь стряпчаго по лицу: «что-то, молъ, ты противъ этого сдѣлаешь!» А стряпчій, какъ ростомъ противъ городничаго не вышелъ, вцѣпился ему зубами въ животъ-съ...

— Ахъ, страмъ какой!—повторяетъ господинъ Фурначевъ.

— И вотъ, послѣ этого милости просимъ тутъ пользу какую-нибудь для края принести! — говоритъ генералъ, разводя руками.

II.

Вѣсть объ ожидаемомъ пріѣздѣ ревизора мгновенно разнеслась по городу. У тѣхъ изъ чиновниковъ, у которыхъ всякое душевное волненіе выражается трясеніемъ поджилокъ, таковое совершилось благополучно. Городъ оживился, но это оживленіе было какое-то бездушное, похожее на ту суету, которая начинается во всякомъ губернскомъ городѣ съ утра каждаго высокоторжественнаго праздника и продолжается ни болѣе, ни менѣе, какъ до извѣстнаго, судьбой опредѣленнаго срока. Петръ Борисычъ Лепехинъ, охотникъ поиграть въ двухкопѣечный преферансъ, внезапно вспомнилъ, что высшее начальство непоощрительно смотритъ на такое невинное препровожденіе времени и призадумался. Онъ почелъ долгомъ немедленно справиться объ этомъ въ Сводѣ Законовъ, и хотя ничего похожаго на угрозу тамъ не нашелъ, но на всякій случай, пришедши

вечеромъ въ клубъ, не только самъ не торопился составить партію, но даже отказался наотрѣзъ отъ карточки, которую предлагалъ ему Порфирій Петровичъ.

Ѳедоръ Герасимычъ Крестовоздвиженскій, пришедши въ присутствіе, потребовалъ немедленно къ себѣ какія-то четыре дѣла («знаете: тѣ дѣла, по которымъ...») и, обнюхавши ихъ, вдругъ пришелъ въ восторженность, замахалъ руками и закричалъ: «Завтра же! сегодня же! катать ихъ! подъ судъ ихъ!»

Иванъ Павлычъ Вологжанинъ неутомимо началъ разъѣзжать по всѣмъ знакомымъ и собирать полезныя свѣдѣнія о житьѣ-бытьѣ крутогорскихъ обывателей, дабы, въ случаѣ надобности, приподнесть этотъ букетъ господину ревизору и чрезъ то заявить свою дѣятельность и преданность.

Въ будку, которая съ самой постройки своей никогда не видала будочника и оставлена была безъ стеколъ, поставили перваго и вставили послѣднія.

Пожарныхъ лошадей выкормили, какъ индѣекъ Ивана Ивановича *).

Словомъ, всякій готовился къ принятію ревизора по-своему. Только частный приставъ Рогуля оказалъ при этомъ твердость духа, достойную лучшей участи. Когда ему сказали, что будетъ, дескать, ревизоръ, и не мѣшало бы, по этому случаю, поболѣе бодрствовать и поменьше спать, то онъ только поковырялъ въ носу, испилъ квасу, до котораго былъ большой охотникъ, и молвилъ:

— Знаемъ мы этихъ ревизоровъ! Не первый годъ на свѣтѣ живемъ!

Но самая хлопотливая и трудная часть дѣятельности выпала на долю генеральши Голубовицкой. Она кстати вспомнила, что бѣдные города Крутогорска что-то давно не получали никакого пособія, и что такое благодѣтельное дѣло всего приличнѣе могло быть устроено въ глазахъ ревизора. Поэтому на совѣтѣ, составленномъ изъ лицъ приближенныхъ и извѣстныхъ своею преданностью, было рѣшено: немедленно устроить благородный спектакль, а если окажется возможнымъ, то и живыя картины.

— Помилуйте, Дарья Михайловна, какія же могутъ быть у насъ живыя картины? Вы посмотрите на нашихъ дамъ!—

---

*) См. «Вечера на хуторѣ» Гоголя: «Иванъ Ѳедоровичъ Шпонька» и т. д.

возражаетъ старинный нашъ знакомый, Леонидъ Сергѣичъ Разбитной *).

Но Дарья Михайловна, которая имѣетъ весьма развитой станъ и вообще удачно сложена, настаиваетъ на необходимости живыхъ картинъ. Выборъ останавливается на четырехъ картинахъ: «Рахиль, утоляющая жажду Іакова», «Любимая одалиска», «Молодой грекъ съ ружьемъ», «Донъ-Жуанъ и Гайдѣ».

— Я могу взять на себя фигуру Іакова!—говоритъ молодой товарищъ предсѣдателя уголовной палаты, Семіоновичъ, и поспѣшно прибавляетъ:—А если угодно, то и Донъ-Жуана...

Дарья Михайловна въ недоумѣніи. Семіоновичъ, безъ сомнѣнія, очень достойный молодой человѣкъ и отлично знаетъ уголовные законы, но, во-первыхъ, онъ имѣетъ привычку постоянно издавать носомъ какой-то непріятный свистъ, а во-вторыхъ, и фигура у него какая-то странная, угловатая... очень будетъ нехорошо! Дарьѣ Михайловнѣ хотѣлось бы отдать эти двѣ фигуры учителю гимназіи Линкину, который имѣетъ и всѣ нужныя для того качества и къ которому она чувствуетъ родъ тихой дружбы.

— Вы, мсьё Семіоновичъ, будете слишкомъ утомлены спектаклемъ,—говорила она.

— Это ничего,—отвѣчалъ Семіоновичъ:—я работаю скоро и легко...

— Ну, Гайдѣ, Одалиска и Рахиль—объ этихъ фигурахъ нечего и говорить! — вступается кругленькій помѣщикъ Загржембовичъ:—эти фигуры по праву принадлежатъ Дарьѣ Михайловнѣ; но кому отдать Ламбро?

— Архиваріусу губернскаго правленія!—предлагаетъ Разбитной.

— Вы всегда съ вашими шутками, мсьё Разбитной!—говоритъ Дарья Михайловна.—Messieurs, кто желаетъ взять на себя Ламбро?

— Я бы охотно ее взялъ,—вступается Семіоновичъ:—но у меня Донъ-Жуанъ!

— Такъ вы Донъ-Жуана уступите... хоть мсьё Линкину!

— Признаюсь вамъ, для меня положеніе Донъ-Жуана болѣе симпатично... тутъ есть страсть, есть жизнь.

---

*) О Разбитномъ можно справиться въ «Губернскихъ очеркахъ,» ч. 3-я: *Просители*.

— Зато Ламбро можетъ одѣться въ красный плащъ,— замѣчаетъ весьма основательно Разбитной:—и тутъ можетъ быть великолѣпное effet de lumière.

— Итакъ, Донъ-Жуанъ—мсьё Линкинъ, Ламбро—мсьё Семіоновичъ,—говоритъ Загржембовичъ:—но здѣсь возникаетъ вопросъ, на счетъ какихъ суммъ сдѣлать костюмъ для Донъ-Жуана, потому что мсьё Линкинъ не имѣетъ даже достаточно бѣлья, чтобы ежедневно пользоваться чистою рубашкою?

— Можно какъ-нибудь изъ благотворительныхъ суммъ,— отвѣчаетъ Дарья Михайловна.

— Да кстати бы ужъ и рубашку ему чистую сшить,— прибавляетъ Разбитной, которому досадно, что Донъ-Жуаномъ будетъ не онъ, а Линкинъ.

— Вы опять съ вашими шутками!—сухо замѣчаетъ Дарья Михайловна.

— Ну-съ, хорошо-съ; эта статья устроена; теперь кто же будетъ «Молодой грекъ съ ружьемъ»?

Молодого грека должна взять на себя особа женскаго пола—это несомнѣнно; ружье можно достать изъ гарнизоннаго батальона—съ этой стороны тоже нѣтъ препятствія. Но кто же изъ крутогорскихъ дамъ согласится изобразить фигуру, которая, въ нѣкоторомъ смыслѣ, дѣлаетъ ущербъ общественной нравственности? Первое благо, которымъ долженъ обладать Молодой грекъ, заключается въ большомъ и остромъ носѣ—кто изъ дамъ таковымъ обладаетъ? Судили-судили, и наконецъ гласъ народный указалъ на коллежскую ассесоршу Катерину Осиповну Неміолковскую, которая, имѣя точь въ точь требуемый носъ, охотно согласится облачиться и въ противоестественный мужской костюмъ. Постановлено: отправить завтрашній день къ Катеринѣ Осиповнѣ депутацію и усерднѣйше просить ее пожертвовать собой на пользу общую.

— Стало-быть, живыя картины улажены... Что же касается до спектакля, messieurs,—говоритъ Дарья Михайловна:—то онъ будетъ составленъ изъ слѣдующихъ пьесъ:

ВЪ ЛЮДЯХЪ АНГЕЛЪ НЕ ЖЕНА,
ДОМА СЪ МУЖЕМЪ САТАНА.
КОМЕДІЯ ВЪ 3-ХЪ ДѢЙСТВІЯХЪ.

—

ДѢЙСТВУЮЩІЯ ЛИЦА:

Г. Славскій . . . Мечиславъ Владиславовичъ Семіоновичъ.
Г-жа Славская . . Аглаида Алексѣевна Размановская.

Г-жа Трефкина. .	Анфиса Петровна Луковицына.
Г-жа Небосклонова.	Анна Семеновна Спиласъ.
Размазня. . . .	Ѳедоръ Ѳедоровичъ Шомполовъ (самородный комикъ, процвѣтающій въ палатѣ государственныхъ имуществъ въ должности помощника чего-то или кого-то).
Прындикъ . . .	Леонидъ Сергѣичъ Разбитной.
Лакей 1-й . . .	Экзекуторъ губернскаго правленія Стуколкинъ.
Лакей 2-й . . .	

ЧИНОВНИКЪ.

КОМЕДІЯ ВЪ 1-МЪ ДѢЙСТВІИ.

ДѢЙСТВУЮЩІЯ ЛИЦА:

Княгиня	Дарья Михайловна Голубовицкая.
Полковникъ . . .	Леонидъ Сергѣичъ Разбитной.
Мисхоринъ . . .	Семенъ Семеновичъ Липкинъ.
Надимовъ . . .	Мечиславъ Владиславовичъ Семіоновичъ.
Дробинкинъ . . .	Ѳедоръ Ѳедоровичъ Шомполовъ.

— Кажется, messieurs, такимъ образомъ, будетъ хорошо?—прибавляетъ Дарья Михайловна, прочитавъ списокъ ролей.

Всѣ находятъ, что отлично.

— Теперь, господа,—вступается Семіоновичъ: — необходимо выбрать намъ режиссера... Я предлагаю возложить эту обязанность на Алоизія Целестиныча Загржембовича.

— Аксіосъ!—возглашаютъ преданные.

Алоизій Целестинычъ кланяется и благодаритъ за довѣріе. Онъ даетъ слово, что употребитъ всѣ усилія, чтобъ оправдать столь лестное порученіе.

— Алоизій Целестинычъ!—говоритъ Разбитной:—вы не забудьте, что для Шомполова необходимо, чтобъ на репетиціяхъ былъ ерофеичъ и колбаса.

Всѣ берутся за шляпы и намѣреваются разойтись.

— Господа! господа, — возглашаетъ Загржембовичъ: — какъ режиссеръ, я долженъ васъ остановить, потому что не рѣшенъ еще одинъ важный пунктъ: кто будетъ суфлеромъ?

— Мамаса! — говоритъ старшій сынокъ Дарьи Михайловны:—я хочу быть суфьёмъ.

— Нѣтъ, душечка, ты будешь казачкомъ.

— Я узъ бый казачкомъ, я хочу быть суфьёмъ!

— Ну, полно, душечка, ты будешь шоколадъ подавать!

— Я, господа, предлагаю выбрать суфлера изъ учени-

ковъ гимназіи: имъ часто приходится суфлировать другъ другу!

— Великолѣпная мысль! вы золотой человѣкъ, Алоизій Целестинычъ!

— L'incident est vidé!—воскликнулъ Разбитной.

Всѣ уходятъ, и Семіоновичъ, заранѣе предвкушая доставшуюся ему роль и искрививши судорожно ротъ, декламируетъ на лѣстницѣ: «И къ горю моего званія, я долженъ сказать, что я и обижаться не въ правѣ, пока у насъ будутъ взяточники». Въ швейцарской онъ уже полонъ негодованія. «Надо крикнуть на всю Россію,—превозглашаетъ онъ: — что пришла пора, и она дѣйствительно пришла, — искоренить зло съ корнями»,—и вмѣстѣ съ тѣмъ дѣлаетъ рукою жестъ, какъ будто дѣйствительно копается ею въ землѣ.

По всему видно, что Семіоновичу пришлась очень кстати роль Надимова. Онъ человѣкъ молодой и горячій, и потому надѣется помѣстить въ этой роли, какъ въ ломбардѣ, весь внутренній жаръ, безпредметно накипѣвшій въ его груди.

Что касается до Разбитного, то онъ хотя тоже не совсѣмъ равнодушенъ къ ожидающимъ его впереди сценическимъ тревогамъ, но выражаетъ свои чувства нѣсколько иначе, а именно: на каждой площадкѣ лѣстницы производитъ по одному въ высшей степени козлообразному антраша и отправляется откушать рюмку водки къ доброй знакомой своей, Вѣрѣ Готлибовнѣ Пройминой.

III.

Наступилъ, наконецъ, и день первой репетиціи. Въ провинціи благородные спектакли всегда составляютъ эпоху и на долгое время оставляютъ за собой отрадныя воспоминанія. Особливо любятъ ихъ дамы, для которыхъ эпоха спектакля какъ-то фаталистически совпадаетъ съ порою возрожденія и любви. Статистическія изслѣдованія съ послѣднею очевидностью доказываютъ, что потребность въ благородныхъ спектакляхъ обнаруживается преимущественно послѣ десятаго декабря, то-есть въ то время, когда солнце, какъ извѣстно, поворачивается на лѣто. Хотя на дворѣ и гвоздятъ еще крещенскіе морозы, но въ теплыхъ гостиныхъ уже чувствуются запахи весны; появляются цвѣточки на окнахъ и вмѣстѣ съ тѣмъ начинаютъ расцвѣтать и сердца. И вотъ, мало-по-малу, въ четырехъ закопченыхъ стѣнахъ провинціальнаго театра полагается первоначальная закваска той интимной, крохотной драмы, которая

исчерпываетъ собою весь провинціальный карнавалъ. Сценическое искусство служитъ здѣсь только предлогомъ или, лучше сказать, кулисами, за которыми развиваются домашнія интриги, устраиваются свиданія, разыгрываются сцены ревности и т. д. Съ одной стороны, мечутся въ глаза, лица совершенно счастливыя и довольныя; съ другой, печально выступаютъ впередъ ипохондрики, снѣдаемыя завистью и злобой при взглядѣ на чужое счастье; съ одной стороны, слышится тотъ мягкій, какъ будто дѣтскій смѣхъ, который самое счастье озаряетъ еще новымъ и болѣе яркимъ свѣтомъ, и рядомъ съ нимъ раздаются болѣзненные вздохи, сосредоточенно вылетающіе изъ груди какого-нибудь отвергнутаго трезора. Здѣсь же, какъ будто бы для того, чтобъ лучше оттѣнить картину, явится передъ вами какой-нибудь Шомполовъ, который смотритъ на предстоящій спектакль, какъ на подвигъ всей своей жизни, и добродушная физіономія режиссера, который обыкновенно избирается изъ такъ-называемыхъ «мышиныхъ жеребчиковъ», обладающихъ любовнымъ жаромъ въ самой умѣренной степени, и потому способныхъ сохранять постоянный нейтралитетъ. Иногда картина разнообразится наѣздомъ слишкомъ ревнивыхъ мужей, желающихъ собственными глазами удостовѣриться, въ какомъ положеніи находится супружеская вѣрность; но и это какъ-то не огорчаетъ, а, напротивъ того, умиляетъ, потому что если ужъ признавать силу солнечнаго поворота на лѣто, то это признаніе должно быть равносильно и для мужей, и для женъ. Впрочемъ, наѣзды подобнаго рода весьма рѣдки, потому что провинціальные мужья — народъ вообще добродушный и, при объявленіи имъ о нарядѣ ихъ женъ для предстоящаго спектакля, высказываютъ досаду свою отрывисто и невинно головой. «Ну, пошла пильня въ ходъ!— говорятъ они.— Семь безъ козырей! Порфирій Петровичъ—вы что?»

Часы бьютъ семь, и Шомполовъ достаточно ужъ увлажилъ свои внутренности изъ графинчика, содержащаго въ себѣ настойку, извѣстную подъ именемъ ерофеича. Онъ ходитъ по сценѣ и груститъ, что случается съ нимъ всегда, когда Ерошка-маляръ намалюетъ баканомъ на лицѣ его итальянскій пейзажъ съ надписью: «изверженіе Везувія». Отъ нечего-дѣлать, онъ обращается къ сторожу.

— Меня, братъ Михеичъ, здѣсь понимать не могутъ! — говоритъ онъ уныло.—Здѣсь и люди-то, братъ, не люди, а такъ, какія-то сирены, только навыворотъ: хвостъ человѣ-

чій, а станъ рыбій... Ну, скажи ты самъ: какой же я комикъ: и сложеніе, и голосъ—все во мнѣ трагическое... Тутъ пахнетъ убійствомъ, братъ, злодѣяніями—вотъ что!

Михеичъ слушаетъ и искоса посматриваетъ на водку.

— Что, видно, водочки захотѣлось? Ну, выпьемъ, братъ, выпьемъ... я добрый!... Намеднись вотъ заставили меня Падчерицына играть... теперь Дробинкина! А Надимова небось не дали, а дали его Семіоновичу—онъ, дескать, товарищъ предсѣдателя! Гдѣ-жъ тутъ справедливость, Михеичъ? ну, какой я Падчерицынъ.

— Мое, сударь, дѣло занавѣсъ опустить, или вотъ садъ на мѣсто поставить,—отвѣчаетъ Михеичъ.

— Что-жъ это, наконецъ, будетъ! вѣдь я, наконецъ, къ публикѣ прибѣгну!.. я актеръ, я настоящій актеръ!.. Такъ вотъ нѣтъ же, Михеичъ! не могу, братъ, я къ публикѣ прибѣгнуть, руки у меня связаны: жена, братъ, шестеро дѣтей! Откажись я играть, такъ завтра и отъ должности, пожалуй, отрѣшатъ... Вотъ что горько-то!

Входятъ Загржембовичъ и Разбитной. Послѣдній въ весьма пріятномъ расположеніи духа, скачетъ вдругъ обѣими ногами на лѣстницу и мурлыкаетъ куплетцы изъ роли Прындика.

— Алоизій Целестиныч! — обращается Шомполовъ къ Загржембовичу: — вы справедливый человѣкъ! За что они меня обидѣли? За что мнѣ Размазню дали, а Надимова отдали Семіоновичу?

— Вы пьяны, Шомполовъ,—замѣчаетъ Разбитной, живописно раскидываясь на диванѣ.

— Нѣтъ, я не пьянъ, Леонидъ Сергѣичъ! Я выпилъ, потому что обиженъ, а я не пьянъ! Нѣтъ, я далеко не пьянъ... Я хочу сказать, что я актеръ, настоящій актеръ, а не затычка!

— Ха-ха! «Затычка»! Нѣтъ, это безподобно: mais vous êtes impayable, mon cher Chompoloff!

— Кто меня затычкой зоветъ? — кричитъ Шомполовъ, уже забывъ, что онъ самъ наградилъ себя этимъ прозвищемъ.—Кто надо мной смѣяться смѣетъ?

— Ха-ха! impayable! impayable!

— Кто меня затычкой зоветъ? — продолжаетъ Шомполовъ.—Не хочу я играть Размазню... Я Гамлетъ, я Чацкій, я Надимовъ, а не Размазня!

Пріѣздъ Дарьи Михайловны и Аглаиды Алексѣевны Размановской полагаетъ конецъ спору.

IV.

Между тѣмъ статскій совѣтникъ Голынцевъ уже приближался къ Крутогорску. Ѣхалъ онъ довольно медленно, потому что на всякой станціи собиралъ подъ рукою, отъ станціонныхъ писарей и ямщиковъ, свѣдѣнія о генералѣ Голубовицкомъ. Свѣдѣнія оказывались, впрочемъ, весьма удовлетворительныя.

— Извѣстно, генералъ-съ! — отвѣчали писаря въ одно слово, будто сговорившись.—На то они и начальники, чтобъ взыскивать!

«Гм!.. стало-быть, строгъ и распорядителенъ — это хорошо!»—подумалъ Голынцевъ.

— Шибко ужъ оченно ѣздятъ,—отвѣчали, въ свою очередь, ямщики.

«Гм!.. стало-быть, дѣятеленъ—это похвально!»—зарубилъ себѣ на носъ Голынцевъ.

Наконецъ, декабря 20-го числа 18** года, въ восемь часовъ пополудни, возокъ Максима Ѳедорыча въѣхалъ въ Крутогорскъ. На заставѣ встрѣтилъ полицеймейстеръ.

— Ва... вашему пре-е-восходительству...

— Вы, должно-быть, озябли?—прервалъ Максимъ Ѳедорычъ, видя, что полицеймейстеръ, вмѣсто того, чтобъ рапортовать, только щелкаетъ зубами. — Вы можете простудиться, мой любезный!

Возокъ помчался на отводную квартиру, а полицеймейстеръ съ своей стороны поспѣшилъ доложить генералу, что Максимъ Ѳедорычъ не человѣкъ, а ангелъ.

Максимъ Ѳедорычъ, пріѣхавъ на квартиру, спросилъ самоваръ и позвалъ къ себѣ хозяина, потому что и тутъ, несмотря на утомленіе, первою его мыслью было не спать лечь, а, напротивъ того, узнать что-нибудь подъ рукою. Вообще, онъ понималъ свою обязанность весьма серьезно и зналъ, что осторожность въ полицейскомъ чиновникѣ есть мать всѣхъ добродѣтелей. Хозяинъ явился въ кругломъ фракѣ и оказался весьма милымъ негоціантомъ, чему Голынцевъ очень пріятно изумился и выразилъ при этомъ надежду, что и въ прочихъ городахъ Россіи со временемъ купцы послѣдуютъ примѣру этихъ aimables Krоutogoriens.

— Ну, скажите, что вашъ добрый генералъ? — началъ испытывать Максимъ Ѳедорычъ стороною.

— Слава Богу-съ, ваше превосходительство!

«Ваше превосходительство» подѣйствовало на Максима Ѳедорыча успокоительно.

«Mais ils sont très bien élevées ici!» — подумалъ онъ и вслухъ прибавилъ:

— Да, да! онъ у васъ такой дѣятельный!

— Попеченіе большое имѣютъ, ваше превосходительство!

— Ну, и генеральша тоже, она вѣдь милая?

— Дарья Михайловна-съ?.. Смѣю доложить вашему превосходительству, что такихъ дамъ по нашему мѣсту-съ... наше мѣсто, сами изволите знать какое, ваше превосходительство!

— Гм!.. это хорошо! Ну, и веселятся у васъ: бываютъ собранія, театры, балы?

— Какъ же-съ, ваше превосходительство, благороднымъ манеромъ тоже собираются-съ... въ карты поиграть-съ, или въ клубѣ-съ... все больше Дарья Михайловна попеченіе имѣютъ...

— Это хорошо! Я такъ скажу, что это одинъ изъ главныхъ рычаговъ администраціи, чтобъ всѣмъ было весело! Если всѣмъ весело, значитъ всѣ довольны—это ясно, какъ дважды-два! Къ сожалѣнію, не всѣ администраторы обращаютъ на этотъ предметъ должное вниманіе!

— Ужъ, что же хорошаго будетъ, ваше превосходительство, какъ всѣ, насупившись, по угламъ сидѣть будутъ.

— Ну, да, ну, да, очень радъ, очень радъ познакомиться съ такимъ милымъ и образованнымъ негоціантомъ.

Максимъ Ѳедорычъ замѣтилъ, однако, что ужъ довольно поздно, и потому рѣшился отдохнуть. Но прежде чѣмъ отойти ко сну — до такой степени серьезенъ былъ его взглядъ на служебныя обязанности — онъ вынулъ свою записную книжку, въ которой уже были начертаны слова: «строгъ, но справедливъ», «дѣятеленъ, распорядителенъ», и собственноручно сдѣлалъ въ ней слѣдующую отмѣтку: «общежителенъ и заботится о соединеніи общества, въ чемъ не мало ему помогаетъ любезная его супруга, о которой существуютъ въ губерніи самые лестные отзывы».

V.

На другой день у генерала Голубовицкаго былъ обѣдъ. За обѣдомъ присутствовали: Змѣищевъ, Фурначевъ, Порфирьевъ, Крестовоздвиженскій и прочіе сильные міра; кушали также и нѣкоторые молодые люди, но исключительно изъ числа тѣхъ, отъ которыхъ ничѣмъ не пахнетъ.

IV.

Между тѣмъ статскій совѣтникъ Голынцевъ уже приближался къ Крутогорску. Ѣхалъ онъ довольно медленно, потому что на всякой станціи собиралъ подъ рукою, отъ станціонныхъ писарей и ямщиковъ, свѣдѣнія о генералѣ Голубовицкомъ. Свѣдѣнія оказывались, впрочемъ, весьма удовлетворительныя.

— Извѣстно, генералъ-съ! — отвѣчали писаря въ одно слово, будто сговорившись.—На то они и начальники, чтобъ взыскивать!

«Гм!.. стало-быть, строгъ и распорядителенъ — это хорошо!»—подумалъ Голынцевъ.

— Шибко ужъ оченно ѣздятъ,—отвѣчали, въ свою очередь, ямщики.

«Гм!.. стало-быть, дѣятеленъ—это похвально!»—зарубилъ себѣ на носъ Голынцевъ.

Наконецъ, декабря 20-го числа 18** года, въ восемь часовъ пополудни, возокъ Максима Ѳедорыча въѣхалъ въ Крутогорскъ. На заставѣ встрѣтилъ полицеймейстеръ.

— Ва... вашему пре-е-восходительству...

— Вы, должно-быть, озябли?—прервалъ Максимъ Ѳедорычъ, видя, что полицеймейстеръ, вмѣсто того, чтобъ рапортовать, только щелкаетъ зубами. — Вы можете простудиться, мой любезный!

Возокъ помчался на отводную квартиру, а полицеймейстеръ съ своей стороны поспѣшилъ доложить генералу, что Максимъ Ѳедорычъ не человѣкъ, а ангелъ.

Максимъ Ѳедорычъ, пріѣхавъ на квартиру, спросилъ самоваръ и позвалъ къ себѣ хозяина, потому что и тутъ, несмотря на утомленіе, первою его мыслью было не спать лечь, а, напротивъ того, узнать что-нибудь подъ рукою. Вообще, онъ понималъ свою обязанность весьма серьезно и зналъ, что осторожность въ полицейскомъ чиновникѣ есть мать всѣхъ добродѣтелей. Хозяинъ явился въ кругломъ фракѣ и оказался весьма милымъ негоціантомъ, чему Голынцевъ очень пріятно изумился и выразилъ при этомъ надежду, что и въ прочихъ городахъ Россіи со временемъ купцы послѣдуютъ примѣру этихъ aimables Krоutogoriens.

— Ну, скажите, что вашъ добрый генералъ? — началъ испытывать Максимъ Ѳедорычъ стороною.

— Слава Богу-съ, ваше превосходительство!

«Ваше превосходительство» подѣйствовало на Максима Ѳедорыча успокоительно.

«Mais ils sont très bien élevées ici!» — подумалъ онъ и вслухъ прибавилъ:

— Да, да! онъ у васъ такой дѣятельный!

— Попеченіе большое имѣютъ, ваше превосходительство!

— Ну, и генеральша тоже, она вѣдь милая?

— Дарья Михайловна-съ?.. Смѣю доложить вашему превосходительству, что такихъ дамъ по нашему мѣсту-съ... наше мѣсто, сами изволите знать какое, ваше превосходительство!

— Гм!.. это хорошо! Ну, и веселятся у васъ: бываютъ собранія, театры, балы?

— Какъ же-съ, ваше превосходительство, благороднымъ манеромъ тоже собираются-съ... въ карты поиграть-съ, или въ клубѣ-съ... все больше Дарья Михайловна попеченіе имѣютъ...

— Это хорошо! Я такъ скажу, что это одинъ изъ главныхъ рычаговъ администраціи, чтобъ всѣмъ было весело! Если всѣмъ весело, значитъ всѣ довольны—это ясно, какъ дважды-два! Къ сожалѣнію, не всѣ администраторы обращаютъ на этотъ предметъ должное вниманіе!

— Ужъ, что же хорошаго будетъ, ваше превосходительство, какъ всѣ, насупившись, по угламъ сидѣть будутъ.

— Ну, да, ну, да, очень радъ, очень радъ познакомиться съ такимъ милымъ и образованнымъ негоціантомъ.

Максимъ Ѳедорычъ замѣтилъ, однако, что ужъ довольно поздно, и потому рѣшился отдохнуть. Но прежде чѣмъ отойти ко сну — до такой степени серьезенъ былъ его взглядъ на служебныя обязанности — онъ вынулъ свою записную книжку, въ которой уже были начертаны слова: «строгъ, но справедливъ», «дѣятеленъ, распорядителенъ», и собственноручно сдѣлалъ въ ней слѣдующую отмѣтку: «общежителенъ и заботится о соединеніи общества, въ чемъ не мало ему помогаетъ любезная его супруга, о которой существуютъ въ губерніи самые лестные отзывы».

V.

На другой день у генерала Голубовицкаго былъ обѣдъ. За обѣдомъ присутствовали: Змѣищевъ, Фурначевъ, Порфирьевъ, Крестовоздвиженскій и прочіе сильные міра; кушали также и нѣкоторые молодые люди, но исключительно изъ числа тѣхъ, отъ которыхъ ничѣмъ не пахнетъ, а

именно: Разбитной, Семіоновичъ и Загржембовичъ. Изъ дамъ присутствовала одна хозяйка дома.

Еще наканунѣ Степанъ Степанычъ призвалъ къ себѣ повара и имѣлъ съ нимъ серьезное объясненіе.

— Завтра у меня гость обѣдать будетъ, ты пойми это!— сказалъ онъ повару.

— Это понять можно, ваше превосходительство; не въ первый разъ столы готовимъ!

— Ну, что же ты сдѣлаешь?

— Горячее супъ съ кнелью изготовить можно.

— Господи! просто, братецъ, воображенія у тебя никакого нѣтъ!..

— А то можно и уху сварить.

— Супъ съ кнелью да уха, только и словъ! Ну, чортъ съ тобой, дѣлай что хочешь!

Тѣмъ и кончилось совѣщаніе, но обѣдъ все-таки вышелъ хорошій. Подавали супъ съ кнелью (поваръ поставилъ-таки на своемъ), на холодное котлеты и ветчину съ горошкомъ, на соусъ фрикасе изъ мозговъ и мелкой дичи, въ которую воткнуты были оловянныя стрѣлы, потомъ пуншъ глясе, на жаркое индѣйку и въ заключеніе малиновое желе, въ видѣ развалинъ Колизея, внутри которыхъ горѣла стеариновая свѣчка, производя весьма пріятный эффектъ для глазъ.

Максимъ Ѳедорычъ, какъ дамскій поклонникъ, садится поближе къ Дарьѣ Михайловнѣ, и между ними завязывается очень живой разговоръ.

— И вы не скучаете? — спрашиваетъ Максимъ Ѳедорычъ.

— Иногда... а впрочемъ, нѣтъ! Я такъ всегда занята, что некогда и подумать о скукѣ!

— Ахъ, да, я и забылъ, что у васъ есть дѣти... chers petits anges! ils sont bien heureux d'avoir une mère comme vous, madame!

— Mais... oui! je les aime...

Дарья Михайловна треплетъ старшаго сына по щечкѣ.

— Ей, Максимъ Ѳедорычъ, скучать некогда: она даже и теперь устраиваетъ благородный спектакль,—отзывается съ другого конца генералъ, внимательно слѣдящій за всѣми движеніями Голынцева.

— Vraiment? mais savez-vous, мнѣ ужасно покровительствуетъ счастіе... я безъ ума отъ спектаклей, особенно отъ

благородныхъ... и я васъ заранѣе предупреждаю, что вы найдете во мнѣ самаго строгаго критика.

— Мы таки частенько здѣсь веселимся, — снова вступается генералъ.

— Это хорошо! Удовольствія, а особливо невинныя... это, я вамъ скажу, даже полезно: это нравы очищаетъ, не даетъ, знаете, имъ зачерствѣть...

— Это несомнѣнно!

— А позволено ли будетъ узнать, si ce n'est pas une indiscrétion toutefois, какія пьесы будутъ играть?

— «Чиновника»,—отвѣчаетъ Дарья Михайловна.

— Ah! c'est sérieux! c'est très sérieux! Только, я вамъ скажу, тутъ надо актеру... par ce que c'est très sérteux!

Дарья Михайловна рекомендуетъ Семіоновича.

— Вы, конечно, поняли эту роль? — спрашиваетъ его Максимъ Ѳедорычъ.—Вы извините меня, что я дѣлаю такой вопросъ: дѣло въ томъ, что это вѣдь очень серьезно!

Семіоновичъ вертитъ головою въ знакъ согласія.

— Я видѣлъ въ этой роли первоклассныхъ нашихъ актеровъ, и признаюсь, не совсѣмъ удовлетворенъ ими. Нѣтъ, знаете, этого жару, этого негодованія... ну, и манеры не тѣ,.. Вы вѣдь вообразите, что Надимовъ старинный дворянинъ, que c'est un homme de bonne famille, и вдругъ этотъ человѣкъ рѣшился не только принести себя въ жертву отечеству, но и разорвать всякую связь съ «старинным» русскимъ развратомъ»... Mais il est presque révolutionnaire, cet homme!

— Я именно такъ и понялъ это, ваше превосходительство!—отвѣчаетъ Семіоновичъ.

— Да, тутъ надо много, очень много жару, чтобъ передать эту роль... О княгинѣ я не спрашиваю: эта роль по всѣмъ правамъ должна принадлежать вамъ, — обращается Голынцевъ къ Дарьѣ Михайловнѣ.

— А еще будутъ играть комедію, гдѣ Аглинька звонки рветъ!—перебиваетъ старшій сынъ Голубовицкихъ.

— А я буду сакалядъ подавать,—продолжаетъ младшій сынъ.

— «Сакалядъ», душечка? Oh, le charmant enfant!.. Я понимаю, что вы не должны, не можете скучать, Дарья Михайловна!

Дарья Михайловна треплетъ по щечкѣ и младшаго сына.

— Мамаша, Сеничка хочетъ въ Аглинькинъ шоколадъ песку насыпать,—докладываетъ старшій сынъ.

— Фи, душечка!

— Oh, le charmant enfant... quel âge a-t-il, madame?

— Sept ans.

— Mais savez-vous, madame, qu'il est très développé pour son âge? Тебѣ, душечка, куда хочется: въ военную или штатскую?

— Я хочу въ кьясномъ мундирѣ ходить!

Всѣ смѣются и съ нѣжностью смотрятъ на маленькаго пичугу, который уже желаетъ краснаго мундира.

— Нынѣшнее молодое поколѣніе удивительно какъ быстро развивается! — замѣчаетъ Голынцевъ. — Я увѣренъ, что Надимову всего какихъ-нибудь шестнадцать лѣтъ, въ то время, когда онъ вступаетъ на сцену... Notez bien cela,—прибавляетъ Голынцевъ, обращаясь къ Семіоновичу.

— Извините меня, ваше превосходительство,—возражаетъ Семіоновичъ:—но, Надимовъ передъ этимъ путешествовалъ, былъ на Нилѣ...

— Это такъ, но развѣ онъ не могъ путешествовать съ своими родителями или съ гувернеромъ?

— Путешествовать—такъ, но быть на Нилѣ—согласитесь сами, что это довольно трудно!

— Можетъ-быть, можетъ-быть... Au fond, vous êtes peut-être, dans le vrai... но, все-таки, вопросъ заключается въ томъ, что молодые люди нынче чрезвычайно какъ быстро развиваются... qu'en pensez-vous, madame?

— Mais... je pense que oui...

— Я, впрочемъ, отнюдь не противъ этого... Конечно, опытность, l'expérience n'est pas à dédaigner, et nous autres, vieux galopins, nous en savons quelque chose...

— Опытность великая вещь, ваше превосходительство,—замѣчаетъ генералъ, который по временамъ тоже не прочь преждевременно произвести Максима Ѳедорыча въ слѣдующій чинъ.

Порфирій Петровичъ покрякиваетъ въ знакъ сочувствія.

— Я противъ этого не спорю, ваше превосходительство: есть вещи, противъ которыхъ нельзя спорить, потому что онѣ освящены исторіей... Но все-таки жаръ, энергія... все это такія вещи, которыхъ намъ съ вами недостаетъ... mais n'est-ce pas, madame?

Дарья Михайловна очень мило улыбается; присутствующіе также смѣются, и даже довольно шумно, но, тѣмъ не менѣе, благовоспитанно и добродушно, какъ будто хотятъ

сказать генералу: «А что, попались, ваше превосходительство!» Генералъ самъ признаетъ себя побѣжденнымъ и ставитъ себя въ уровень съ общимъ веселымъ настроеніемъ общества.

— Зачѣмъ же вы, однакожъ, себя включаете въ число стариковъ?—очень любезно замѣчаетъ Дарья Михайловна Голынцеву.

— Vous êtes bien aimable, madame, — отвѣчаетъ Максимъ Ѳедорычъ:—но—увы!—я долженъ сознаться, что время мое прошло!

— Должно-быть, тоже изволили развиваться быстро? — шутливо замѣчаетъ генералъ.

— А что вы думаете? Вѣдь это правда! Въ бывалые годы я тоже недурно проводилъ время... mais que voulez-vous! la jeunesse—c'est comme les vagues de l'océan: cela s'en va et ne se retourne plus!

Въ это время желе съ стеариновою свѣчкой отвлекаетъ общее вниманіе. Максимъ Ѳедорычъ съ любопытствомъ слѣдитъ за блюдомъ, пока обносятъ имъ всѣхъ гостей, и въ заключеніе находитъ que c'est joli. Встаютъ изъ-за стола и отправляются въ гостиную, гдѣ опять возобновляется живой и интересный разговоръ.

— Я никакъ не ожидалъ, чтобъ въ такомъ отдаленномъ городкѣ можно было такъ пріятно проводить время... Vraiment!—замѣчаетъ Максимъ Ѳедорычъ.

— Если бы вашему превосходительству угодно было удостоить меня посѣщеніемъ сегодня вечеромъ на чашку чаю...—говоритъ Порфирій Петровичъ, подходя къ Голынцеву и переминаясь съ ноги на ногу.

— Съ величайшимъ удовольствіемъ... Вы меня извините, что я не былъ у васъ съ визитомъ...

— Помилуйте, ваше превосходительство!..

И Порфирій Петровичъ, сдѣлавъ полуоборотъ на одномъ каблучкѣ, кашлянувъ и нѣсколько покраснѣвъ, удаляется.

— Et demain, nous allons en piquenique; j'espère, que vous en serez?—спрашиваетъ Дарья Михайловна.

— Madame, vous pouvez disposer de mon temps et de ma personne selon votre bon vouloir...

— Въ такомъ случаѣ, я сама за вами заѣду,—любезно продолжаетъ генеральша.

— Ah, madame! vous êtes d'une bonté!

Наконецъ, всѣ начинаютъ чувствовать нѣкоторое обремененіе желудка и мало-по-малу раскланиваются съ хо-

зяевами. Голынцевъ замѣчаетъ это и также спѣшитъ отретироваться.

Всѣ очень довольны.

— Ахъ, какой пріятный человѣкъ!—говоритъ Порфирій Петровичъ, обращаясь къ Крестовоздвиженскому.

— Просто именно добрѣйшій человѣкъ, — отвѣчаетъ Крестовоздвиженскій и внезапно начинаетъ размахивать руками, какъ человѣкъ, который не въ состояніи овладѣть своими чувствами.

Семіоновичъ уходитъ, обдумывая замѣчанія Голынцева по поводу роли Надимова, и рѣшается припустить еще болѣе жару въ выраженіи того спасительнаго негодованія, которымъ проникнута эта роль. Леонидъ Сергѣевичъ Разбитной выражаетъ свое удовольствіе тѣмъ, что скачетъ съ одной ступеньки на другую обѣими ногами вдругъ, и на одной ступенькѣ говоритъ: «pique», а на другой: «nique».

VI.

На другой день, часу въ третьемъ пополудни, огромный поѣздъ останавливается передъ домомъ, въ которомъ имѣетъ резиденцію Максимъ Ѳедорычъ. Впереди всего поѣзда ѣдетъ полицеймейстеръ на лихой тройкѣ, подобранной волосъ въ волосъ изъ числа пожарныхъ лошадей. За полицеймейстеромъ слѣдуютъ четвероместныя сани, въ которыхъ обрѣтаются генералъ и генеральша Голубовицкіе и двое дѣтей. Тутъ же садится и Максимъ Ѳедорычъ.

Поѣздъ трогается; ямщикамъ приказано быть веселыми, вслѣдствіе чего они поютъ пѣсни и помахиваютъ кнутами. Максимъ Ѳедорычъ замѣчаетъ, что такого рода загородныя поѣздки, кромѣ того, что представляютъ много удовольствія, весьма полезны для здоровья.

— Et regardez, comme c'est joli! — обращается онъ къ Дарьѣ Михайловнѣ, указывая на длинную вереницу саней, растянувшуюся на полверсты.—Какъ это напоминаетъ запоздалыхъ путниковъ, которые спѣшатъ на ночлегъ!

И дѣйствительно, картина очень милая, потому что день ясный, и лучи солнца, упадая на бѣлую снѣговую равнину, обливаютъ ее сверкающимъ, почти нестерпимымъ блескомъ; сани быстро скользятъ по едва пробитой дорогѣ, а пристяжныя лошади, взрывая копытами снѣгъ, одѣваютъ экипажи серебристымъ облакомъ пыли, что также очень недурно.

— У насъ удивительно здоровый климатъ, — говоритъ

генералъ:—повѣрите ли, ваше превосходительство, странно сказать, а даже въ простомъ народѣ никогда никакихъ болѣзней не происходитъ!

— Да? Стало-быть, состояніе народнаго здоровья можно назвать удовлетворительнымъ!

— Больше чѣмъ удовлетворительнымъ!

— Ну, а народная нравственность?

— Насчетъ народной нравственности тоже могу сказать, что довольно удовлетворительна... Конечно, бываютъ тамъ между ними... Ну, да это домашними средствами!

— Гм!.. это хорошо, это очень утѣшительно, что народная нравственность въ удовлетворительномъ состояніи... Потому что народъ, ваше превосходительство... это его, можно сказать, единственная забота, чтобъ быть нравственнымъ... Если ужъ и въ народѣ нѣтъ нравственности, что же такое будетъ?

— Это справедливо, ваше превосходительство... въ этомъ отношеніи, я могу сказать... я очень счастливъ... Народъ здѣсь очень нравственень! Одно только обстоятельство меня огорчаетъ; ябедниковъ здѣсь очень много.

— Д-да?

— Точно такъ-съ. Я, конечно, не сталъ бы жаловаться вамъ на это, если бы не имѣлъ удовольствія такъ близко познакомиться съ вами и не убѣдился вполнѣ, что вы не заподозрите меня... Но теперь могу сказать прямо: да, ябедничество слишкомъ укоренилось здѣсь!

— Скажите пожалуйста!.. Но чѣмъ же вы объясните такое явленіе? Вѣроятно, оно откуда-нибудь занесено сюда, потому что не можетъ же быть, чтобъ здѣсь были какія-нибудь причины жаловаться... Вездѣ, гдѣ я былъ, передо мной проходили все лица совершенно довольныя.

— Изъ Новгорода, Максимъ Ѳедорычъ, изъ Новгорода... Повѣрьте, что это все старая новгородская кляуза дѣйствуетъ!..

— Гм!.. стало-быть, здѣшній народъ стоитъ на довольно высокой степени развитія? — замѣчаетъ Голынцевъ, вспомнивъ о Марѳѣ Посадницѣ.

— О, да! съ этой стороны я могу почесть себя совершенно счастливымъ! Я могу сказать, что имѣю дѣло съ людьми развитыми, и если бы не ябедничество...

— Однакожъ, надо бы принять мѣры противъ распространенія этого зла, ваше превосходительство... Я, съ своей стороны, готовъ содѣйствовать!

— Я, съ своей стороны, полагаю, ваше превосходительство, что для уничтоженія этого зла необходимо между народомъ распространить «истинное просвѣщеніе»...

— То-есть, какъ это истинное просвѣщеніе... грамотность, хотите вы сказать?

— О, нѣтъ, упаси Боже! Грамотность-то именно и распространяетъ у насъ ябедниковъ...

— Гм!.. да! я понимаю васъ! Вы хотите сказать, что если бы не было грамотныхъ, то некому было бы просьбы писать? Такъ, кажется?

— Точно такъ, ваше превосходительство!

— А что вы думаете: вѣдь въ этомъ много правды! Несомнѣнно, что тогда административная машина упростилась бы чрезвычайно... Ну, и сокращеніе переписки... Однако, мнѣ весьма бы любопытно было знать, что вы разумѣете подъ «истиннымъ просвѣщеніемъ»?

Генералъ задумывается; онъ хочетъ выразиться какъ-нибудь аллегорически, упомянуть про невинность души, про довѣрчивость, про веселое и безгорестное выраженіе физіономіи и другіе несомнѣнные признаки «истиннаго просвѣщенія», но такъ какъ въ ораторскомъ искусствѣ онъ никогда не имѣлъ случая упражняться (потому что и вообще въ Россіи искусство это находится въ младенчествѣ), то весьма естественно, что мысли его путаются, и въ головѣ его поднимается такой сумбуръ, для приведенія котораго въ порядокъ необходимо было бы учредить цѣлое временное отдѣленіе съ тремя столами, изъ коихъ одинъ завѣдывалъ бы невинностью души, другой—довѣрчивостью и т. д. Дарья Михайловна замѣчаетъ это и спѣшитъ выручить супруга своего изъ бѣды.

— Ah, messieurs, vous aurez encore tout le temps de causer affaire!—замѣчаетъ она, очаровательно улыбаясь.

— Это правда. Мы, ваше превосходительство, были очень неучтивы передъ Дарьей Михайловной!—говоритъ Максимъ Ѳедорычъ и потомъ снова прибавляетъ, указывая на поѣздъ:—Mais regardez, comme c'est joli!

Однако, виднѣется уже и цѣль поѣздки: одноэтажный сѣренькій домикъ, въ которомъ устроено все нужное для принятія гостей. Неподалеку отъ дома генеральскую тройку обгоняютъ сани, въ которыхъ сидятъ Загржембовичъ, Семіоновичъ и Разбитной, т. е. сокъ крутогорской молодежи. Разбитной возсѣдаетъ на облучкѣ, и въ то время, какъ тройка равняется съ санями Дарьи Михайловны, онъ ста-

рается держать себя какъ можно лише и вмѣстѣ съ тѣмъ усиливается смотрѣть по сторонамъ и разговариваетъ съ своими спутниками, чтобъ показать, что онъ лихой и все ему ни по чемъ.

Въ небольшой залѣ уже накрытъ столъ и батальонная музыка играетъ весьма усердно. Хотя это дѣло обыкновенное и всѣмъ давно извѣстно, что батальонъ, вмѣстѣ съ кузницей и швальной, непремѣнно обладаетъ и полнымъ бальнымъ оркестромъ музыки, но Максимъ Ѳедорычъ считаетъ долгомъ пріятно изумиться.

— Да у васъ тутъ цѣлый окрестъ!—говоритъ онъ Дарьѣ Михайловнѣ.—Mais... c'est très joli!

За обѣдомъ начинается тотъ же милый, легучій разговоръ, котораго образчики приведены въ предыдущей главѣ, съ тою разницею, что теперь онъ непринужденнѣе и вслѣдствіе этого еще милѣе. Дарья Михайловна ни на шагъ не отпускаетъ отъ себя дорогого гостя. За общимъ шумомъ и говоромъ между ними заводится интимная бесѣда, въ которой Дарья Михайловна открываетъ Максиму Ѳедорычу всѣ тайныя сокровища своего ума и сердца. Бесѣда, разумѣется, ведется на томъ миломъ французскомъ діалектѣ, о которомъ наши провинціальныя барыни такъ справедливо выражаются: «этотъ душка французскій языкъ».

— Если кто хочетъ найти доступъ къ сердцу женщины, тотъ долженъ постучаться въ двери ея воображенія, — утверждаетъ Максимъ Ѳедорычъ.

— Вы думаете?

— Я совершенно въ этомъ увѣренъ... Кто произноситъ при мнѣ слово «воображеніе», тотъ вмѣстѣ съ тѣмъ произноситъ и слово «женщина», и наоборотъ...

— А я думаю, что на бѣдныхъ женщинъ клевещутъ, говоря, что у нихъ воображеніе развито насчетъ сердца... Возьмите, напримѣръ, чувство матери!

— О, чувство матери — это такъ! C'est sublime, il n'y a rien à dire! Но я не о немъ и говорю... Мы возьмемъ женщину, свободную отъ всякихъ такого рода отношеній, женщину, созданную, такъ сказать, для того, чтобъ только любить... madame Beauséant *), напримѣръ?

— Но я вамъ могу указать противъ этого на Марту, на Лукрецію Флоріани **)...

— И все-таки я утверждаю, что всѣ эти героини именно

*) Героиня романовъ Бальзака.
**) Героини романовъ Ж. Санда.

потому и оказались слабы сердцемъ, что въ нихъ слишкомъ развито было воображеніе.

Дарья Михайловна задумывается.

— Нѣтъ, вы не знаете женщинъ! — говоритъ она положительно.

— Oh, mais je vous demande pardon, madame!..

— Нѣтъ, потому что вы отнимаете у женщины ея лучшее сокровище—сердце!.. А впрочемъ, я и забыла, что вы мужчина...

— А все-таки главное въ женщинѣ — это ея воображеніе...

— Вы странный человѣкъ, мсьё Голынцевъ: вы хотите увѣрить меня, что постигнули женщину... то-есть постигли то, что само себя иногда постигнуть не въ состояніи...

— Oh, quant à cela, vous avez parfaitement raison, madame!

— Читали ли вы Гётевы «Wahlverwandtschaften»?

— О, какъ же!

— Помните ли вы тамъ одно мѣсто... ту минуту, когда Шарлотта, отдаваясь своему мужу, вдругъ чувствуетъ... Скажите: сердце ли это, или воображеніе?

Максимъ Ѳедорычъ безмолвствуетъ, потому что, признаться сказать, онъ въ первый разъ слышитъ о Шарлоттѣ, да сверхъ того и вопросъ Дарьи Михайловны слишкомъ ужъ отзывается метафизикой.

— Вы потому ошибаетесь въ женщинѣ, — продолжаетъ Дарья Михайловна томно: — что ищете чувства въ одномъ ея сердцѣ... Но вѣдь оно вездѣ, это чувство, оно во всемъ ея существѣ!

Максимъ Ѳедорычъ рѣшительно побѣжденъ.

— О, если вы берете вопросъ съ этой точки зрѣнія, — говоритъ онъ:—то, конечно, противъ этого я ничего не имѣю сказать.

Такимъ образомъ побѣда остается за Дарьей Михайловной, но, какъ женщина умная, она очень хорошо понимаетъ, что одолжена своимъ торжествомъ не столько самой себѣ, сколько великодушію своего противника.

Послѣ обѣда время проводится очень пріятно; въ залѣ устраиваются танцы, въ сосѣдней комнатѣ раскладываются карточные столы. Слѣдовательно, и юность, увѣнчанная розами, и маститая старость, украшенная благолѣпными сѣдинами, равно находятъ удовлетвореніе своимъ законнымъ потребностямъ.

Максимъ Ѳедорычъ играетъ въ карты легко и чрезвычайно пріятно. Онъ не кряхтитъ, не подмигиваетъ, не говоритъ: «такъ-съ», и вообще не выказываетъ никакихъ признаковъ душевнаго волненія. Партію его составляютъ: генералъ Голубовицкій, Порфирій Петровичъ Порфирьевъ и Семенъ Семеновичъ Фурначевъ. Занятіе картами не мѣшаетъ Максиму Ѳедорычу вести вмѣстѣ съ тѣмъ весьма пріятный и оживленный разговоръ; во время сдачи онъ постоянно находитъ какую-нибудь новую тему и развиваетъ ее со свойственнымъ ему увлеченіемъ. Такъ, напримѣръ, онъ находитъ, что Англія сдѣлала въ послѣднее время на промышленномъ поприщѣ гигантскіе успѣхи, а что во Франціи, напротивъ того, l'ère des révolutions n'est pas close...

— Ахъ, какой пріятный человѣкъ!—замѣчаетъ Порфирій Петровичъ, когда Голынцевъ оставляетъ на минуту своихъ партнеровъ, чтобы посмотрѣть на танцующихъ.

— И, кажется, много начитанъ!—прибавляетъ отъ себя Семенъ Семенычъ.

Но вотъ начинается мазурка, и Максимъ Ѳедорычъ, по необходимости, долженъ кончить игру, потому что дамы единодушно сговорились выбирать его для фигуръ. Само собою разумѣется, что Максимъ Ѳедорычъ въ восторгѣ; онъ забываетъ почтенный свой возрастъ и рѣзвится, какъ дитя: хлопаетъ въ ладони во время шэновъ и рондовъ, придумываетъ новыя фигуры и съ необыкновенною граціею ловитъ платки, которые бросаются, впрочемъ, дамами именно въ сторону, гдѣ находится Голынцевъ.

Однимъ словомъ, день проходитъ незамѣтно и весело. Во время сборовъ въ обратный путь Максимъ Ѳедорычъ очень суетится и хлопочетъ. Онъ лично наблюдаетъ, чтобъ дамы закутывались теплѣе, и до тѣхъ поръ не успокаивается, покуда не убѣждается, что попечительныя его настоянія возымѣли надлежащее дѣйствіе.

VII.

Я не стану говорить объ обѣдахъ и вечеринкахъ, данныхъ по случаю пріѣзда Максима Ѳедорыча сильными міра сего; пройду даже молчаніемъ и великолѣпный балъ, устроенный въ залѣ клуба... Во все время своего пребыванія въ Крутогорскѣ Максимъ Ѳедорычъ былъ положительно разрываемъ на части, и за всѣмъ тѣмъ не только не показывалъ ни малѣйшаго утомленія или упадка душевныхъ силъ,

— Все идетъ отлично,—говорилъ онъ въ партерѣ окружавшимъ его губернскимъ аристократамъ:—но Надимовъ... признаюсь вамъ, я опасаюсь, я сильно опасаюсь за Надимова... Какая жалость!

И дѣйствительно, вмѣсто того, чтобъ представить человѣка по наружности холоднаго, насквозь проникнутаго безподобнѣйшимъ comme il faut и только въ глубинѣ души горящаго огнемъ безкорыстія, человѣка, собирающагося высказать свою тоску по безкорыстію на всю Россію, однакожъ, по чувству врожденной ему стыдливости, высказывающаго ее только княгинѣ, Мисхорину, полковнику и Дробинкину, Семіоновичъ выходилъ изъ себя, дралъ свои волосы и въ одномъ мѣстѣ дошелъ до того, что прибилъ себя по щекамъ. Даже крутогорская публика какъ-то странно охнула при такомъ явномъ нарушеніи законовъ естественныхъ и человѣческихъ, а Порфирій Петровичъ весь сгорѣлъ отъ стыда.

Наконецъ, представленіе кончилось. Слово «joli» слышалось во всѣхъ углахъ—только канцелярскіе чиновники, обитатели горнихъ и страшные зоилы, остались не совсѣмъ довольны, да и то потому, что ихъ завѣрили, что будетъ непремѣнно представленъ становой, да и не какой-нибудь другой становой, а именно второго стана Полорѣцкаго уѣзда—Благоволенскій.

На другой день въ губернскихъ вѣдомостяхъ была напечатана въ видѣ письма къ редактору слѣдующая статья:

«Позвольте и мнѣ, скромному обитателю нашего мирнаго города, поговорить о прекрасномъ торжествѣ, котораго мы были свидѣтелями. Извѣстно вамъ, милостивый государь, какое благодѣтельное вліяніе имѣютъ зрѣлища (а въ особенности благородныя) на нравственность народную. Съ одной стороны, примѣромъ наказаннаго порока смягчая преступныя наклонности, зрѣлища, съ другой стороны, несомнѣнно возвышаютъ въ человѣчествѣ эстетическое чувство; эстетическое же чувство, въ свою очередь, пройдя сквозь горнило нравственности, возвышаетъ сію послѣднюю, и черезъ то ставитъ ее на ту ступень, гдѣ она дѣлается основою всякаго благоустроеннаго гражданскаго общества. Съ этой точки зрѣнія намѣренъ я обозрѣть критически вчерашнее торжество.

«Первое, что представляется при этомъ моему умственному взору,—это цѣль, которой служили благородные жрецы искусства. Не одна слеза будетъ отерта, не одинъ вздохъ

благодарности вознесется, въ видѣ теплой молитвы, за благородныхъ благотворителей... Одинъ французскій ученый сказалъ, что дама, которая покупаетъ шаль, подаетъ съ тѣмъ вмѣстѣ милостыню бѣдному... Святая и глубокая истина! И наши добрые крутогорцы вполнѣ ее поняли. Но не стану больше распространяться объ этомъ предметѣ; я знаю, что скромность, и даже нѣкоторая стыдливость, есть нераздѣльная принадлежность всякаго благотворительнаго дѣянія, и потому... умолкну.

«По не могу умолчать о благотворной мысли, присутствовавшей при выборѣ пьесъ. Въ настоящее время, когда умственное око Россіи должно быть обращено, по преимуществу, внутрь ея самой, наши добрые крутогорцы вполнѣ доказали, что они стоятъ въ уровень съ обстоятельствами. Выборъ такой пьесы, какъ «Чиновникъ», положительно доказываетъ это. Мы сами были свидѣтелями потрясающаго дѣйствія этой пьесы, которое, въ соединеніи съ истинно-пластической игрой исполнявшаго роль Надимова члена благороднаго крутогорскаго общества, останется навсегда незабвеннымъ на страницахъ нашей лѣтописи. Да! мы можемъ смѣло давать на нашей сценѣ «Чиновника»! мы можемъ безъ горечи выслушивать страстныя и благонамѣренныя филиппики г. Надимова! Эти укоры, эти филиппики не до насъ относятся! Благодареніе Богу, мы уже поняли свой долгъ относительно любезнаго нашего отечества и, положа руку на сердце, можемъ сказать: г. Надимовъ! въ вашихъ словахъ заключается горькая правда, но этой правдѣ нѣтъ мѣста въ Крутогорской губерніи!

«Скажу нѣсколько словъ и объ исполненіи, но, не желая оскорбить прекрасное чувство скромности, которымъ одушевлены наши благородные благотворители, вынужденъ умолчать о многомъ, что̀ накипѣло на днѣ благодарной души. Прежде всего, долженъ я упомянуть о трудахъ ея превосходительства Дарьи Михайловны, по мысли и наставленіямъ которой было устроено настоящее торжество. Затѣмъ всѣ исполнители, принявшіе участіе въ дѣлѣ благотворенія, были безукоризненны. Какъ хороша была княгиня! Какъ увлекательно-наивна была Славская! Какъ... но нѣтъ, я чувствую, что перо мое начинаетъ переходить само собою за предѣлы той скромности, о которой я говорилъ... Итакъ, умолкну!

«Мужайтесь, благородные труженики! Боритесь съ препятствіями и преодолѣвайте ихъ! Не смотрите на то, что

на пути вашемъ иногда растутъ не розы, а терніи—таковъ ужъ удѣлъ всѣхъ дѣйствій человѣческихъ! Помните всегда, что за вашими невинными занятіями стоятъ толпы иныхъ тружениковъ, которые посылаютъ къ небу горячія мольбы о ниспосланіи вамъ сугубыхъ силъ на новые подвиги!»

Сочинитель этой статьи, коллежскій секретарь Пѣснопѣвцевъ, удостоился въ этотъ же день чести быть приглашеннымъ къ обѣденному столу его превосходительства Семена Семеныча.

VIII.

Наконецъ, въ одно прекрасное утро, Максимъ Ѳедорычъ спохватился, что пора ужъ ѣхать, тѣмъ болѣе, что репертуаръ увеселеній начиналъ истощаться. Онъ собралъ свои воспоминанія, посовѣтовался съ записною книжкой и нашелъ, что матеріаловъ для будущаго донесенія предостаточно. О генералѣ Голубовицкомъ и преимущественно о генеральшѣ предположилъ онъ высказаться съ особенною теплотою. Въ пользу ихъ можно, пожалуй, даже пожертвовать двумя-тремя субъектами, чтобъ лучше и явственнѣе оттѣнить картину. Само собою разумѣется, что нельзя же всѣхъ чиновниковъ найти добродѣтельными; это невозможно, во-первыхъ, потому, что сама природа въ своихъ проявленіяхъ разнообразна до безконечности; а во-вторыхъ, потому, что и начальство не повѣритъ этой эпидеміи добродѣтели и, чего добраго, заподозритъ еще способности ревизора. Поэтому выбраны были въ жертву такъ-называемые пререкатели и безпокойные, которыхъ и оказалось двое: совѣтникъ губернскаго правленія Евфратскій и членъ приказа Семибашенный. Евфратскій жилъ весьма уединенно, ни къ кому не ѣздилъ, и вслѣдствіе того былъ заподозрѣнъ въ вольнодумствѣ и въ намѣреніи возстановить въ Россіи патріаршеское достоинство, о чемъ будто бы онъ и выражался стороною тамъ-то и тогда-то. Семибашенный же хотя и не мечталъ о возстановленіи патріаршескаго достоинства, но, взамѣнъ того, неоднократно предъявлялъ пагубную наклонность къ исламизму и даже публично называлъ турокъ счастливчиками, приводя въ основаніе такого мнѣнія лишь грубыя поползновенія своей чувственности. Само собою разумѣется, что такія лица не заслуживали ни малѣйшаго снисхожденія.

Прощаніе было очень трогательно. На обѣдѣ, данномъ

по этому случаю генераломъ Голубовицкимъ, было сказано много теплыхъ словъ и выпито не мало тостовъ за здоровье дорогого гостя.

— Скажу вамъ откровенно,—выразился при этомъ генералъ, съ чувствомъ пожимая руку Максима Ѳедорыча:— я давно, очень давно не имѣлъ такого пріятнаго гостя!

— Позвольте и мнѣ, въ свою очередь, удостовѣрить, ваше превосходительство, что давно, очень давно я не имѣлъ такихъ пріятныхъ минутъ, какія провелъ здѣсь, въ вашемъ любезномъ обществѣ,—отвѣчалъ Максимъ Ѳедорычъ взволнованный.

— Mais revenez nous voir, — любезно сказала Дарья Михайловна.

— Impossible, madame! Мы, люди службы, люди дѣятельности, не всегда можемъ слѣдовать влеченіямъ сердца...

Всѣ присутствовавшіе были растроганы. Когда же, послѣ обѣда, наступилъ часъ разставанія, и Максимъ Ѳедорычъ долго, въ какомъ-то безмолвіи, держалъ въ своихъ рукахъ руку Дарьи Михайловны, то его превосходительство Семенъ Семенычъ не могъ долѣе выдержать. Онъ какъ-то восторженно замахалъ руками и бросился обнимать Голынцева, а Семіоновичъ, стоя въ это время въ сторонѣ, шопотомъ декламировалъ:

When we two parted
In silence und tears...

Вечеромъ, часу въ десятомъ, ровно черезъ мѣсяцъ по пріѣздѣ въ Крутогорскъ, Максимъ Ѳедорычъ уже выѣзжалъ за заставу этого города. Частный приставъ Рогуля, сопровождавшій его превосходительство до городской черты, пожелалъ ему счастливаго пути и тутъ же, обратившись къ будочнику, сказалъ:

— Ну, вотъ и ревизоръ! что-жъ что ревизоръ! Нѣтъ, кабы вотъ Павла Трофимыча Перегоренскаго къ ревизіи допустили—этотъ, надо думать, обревизировалъ бы!

Въ эту же ночь послалъ Богъ снѣжку, который въ какихъ-нибудь два часа закрылъ самый слѣдъ повозки Максима Ѳедорыча.

IV.—Утро у Хрептюгина.

ДРАМАТИЧЕСКІЙ ОЧЕРКЪ.

ДѢЙСТВУЮЩІЯ ЛИЦА.

Иванъ Онуфричъ Хрептюгинъ, 55 лѣтъ, негоціантъ.
Дмитрій Иванычъ, иначе Démétrius, сынъ его, 20 лѣтъ, служитъ при губернаторѣ.
Статскій совѣтникъ Семенъ Семенычъ Фурначевъ, 50 лѣтъ, имѣетъ къ Хрептюгину начальственныя отношенія.
Маіоръ Станиславъ Ѳаддеичъ Понжперховскій, 40 лѣтъ, ремесломъ проходимецъ.
Иванъ Петровичъ Доброзраковъ, отставной штабъ-лѣкарь, 55 лѣтъ.
Леонидъ Сергѣичъ Разбитной, чиновникъ особыхъ порученій при губернаторѣ, молодой человѣкъ.
Отставной подпоручикъ Живновскій, 50 лѣтъ.
Титулярная совѣтница Степанида Карповна Гнусова, 45 лѣтъ, экономка Хрептюгиныхъ.

Дѣйствіе происходитъ въ губернскомъ городѣ.

СЦЕНА I.

Театръ представляетъ богато-убранную гостиную въ домѣ Хрептюгина. Въ серединѣ и направо отъ зрителя двери. На столѣ передъ диваномъ поставлена закуска и водка.

Гнусова *(пожилая женщина, одѣтая въ черное шелковое платье; на плечахъ у нея желтая шаль, на головѣ чепецъ; при открытіи занавѣса она занимается приготовленіемъ закуски).*

Шутка сказать, скоро одиннадцатый часъ, а онъ еще дрыхнетъ! и не убьетъ же Богъ громомъ такого аспида! По естеству-то, ему бы теперь на босу ногу бѣгать да печки затоплять, а онъ, вотъ, валяется... Да и спать вѣдь не спитъ, а именно валяется, потому, дескать, что въ Питерѣ благородные люди такимъ манеромъ дѣлаютъ. *(Задумывается).* Вотъ я и благородная, и мужъ титулярнымъ совѣтникомъ былъ... такъ хоть бы за столъ съ собой посадили—и того нѣтъ!

СЦЕНА II.

Гнусова и Понжперховскій *(видный мужчина, въ военномъ сюртукѣ; усы нафабрены и тщательно завиты, волосы на головѣ приглажены; вертлявъ и занятъ собой; говоритъ съ сильнымъ акцентомъ).*

Понжперховскій. Иванъ Онуфричъ не вставали?
Гнусова. Гдѣ же ему встать, батюшка!

Понжперховскій. Это лучше-съ; я, признаюсь вамъ, даже не люблю, когда вашъ Онуфричъ передъ глазами торчитъ... Поговорить можно и безъ него, вышить и закусить тоже-съ...

Гнусова. Конечно, сударь!

Понжперховскій. Я вамъ доложу, почтеннѣйшая Степанида Карповна, что на этихъ людей нужно смотрѣть съ философической точки зрѣнія... Вотъ я, напримѣръ: люблю и въ карточки перекинуть, и хорошую сигару выкурить, и пообѣдать изящно, и побесѣдовать... все это у Хрептюгина я нахожу-съ. Слѣдственно, что-жъ мнѣ за дѣло до того, что онъ еще вчерашняго числа не-вѣсть въ какой родословной записанъ былъ? Возьмемъ хоть бы теперь: закуска, я вижу, на столѣ приготовлена, водка есть... ну, и ваша пріятная бесѣда тоже-съ... За ваше здоровье, Степанида Карповна! *(Пьетъ и закусываетъ).*

Гнусова. На здоровье, сударь. Оно точно, вы люди наѣзжіе... вамъ оно ничего, какъ онъ колобродитъ, да и колобродить-то при васъ онъ еще не больно осмѣлится...

Понжперховскій. Это всеконечно-съ... потому что мы иногда можемъ и до лица коснуться...

Гнусова. А каково-то намъ, грѣшнымъ? Бѣднякъ, сударь, что муха: гдѣ заборъ, тамъ дворъ; гдѣ щель, тамъ постель! Намеднись вотъ чуть со двора меня не согналъ: «хочу, говоритъ, чтобъ у меня нѣмка въ экономкахъ была!» Ну, разсудите вы сами, Станиславъ Ѳаддеичъ, хуже, что ли, я нѣмки-то!

Понжперховскій. Сс!.. да онъ долженъ былъ бы радоваться, что ему дворянка служитъ!

Гнусова. То же и я говорю... Насилу ужъ его Аксинья Ивановна уняла.

Понжперховскій. Д-да-съ... такъ вотъ видите: стало-быть, Аксинья-то Ивановна добрая!

Гнусова. И, сударь, не говорите! тоже озорница выросла!

Понжперховскій. Это можно измѣнить-съ... Будетъ не только шелковая, а даже бархатная: на это манера есть-съ... А вы исполнили порученьице-то, моя почтенная?

Гнусова. Говорила, сударь... только она все чтой-то мнется... сначала было-подалась, а потомъ и опять на попятную.

Понжперховскій. Да что же такое-съ

Гнусова. Да говоритъ, что ты больно по гостямъ шататься любишь, а я, говоритъ, желаю, чтобъ мужъ у меня безсмѣнно при мнѣ сидѣлъ...

Понжперховскій. Ну, скажите, пожалуйста! Вѣдь вотъ жадность какая! Да вы бы внушили ей, моя почтеннѣйшая, что и безъ того ей ужъ подъ-тридцать!

Гнусова. Говорила я, такъ она все свое: папаша, говоритъ, коли захочетъ, такъ для брака и изъ Петербурга генералы пріѣдутъ!

Понжперховскій. Д-да... а какъ хотите, это вѣдь правда, что дрянная-то кровь, какъ ты тамъ ее ни перегоняй сквозь кубъ, а все скажется... Мнѣ не ея-съ, а вотъ приложеній-то жалко!

Гнусова. Что и говорить, сударь!

СЦЕНА III.

Тѣ же и Доброзраковъ *(роста большого и нѣсколько при этомъ сутуловатъ; смотритъ угрюмо; въ военномъ сюртукѣ).*

Доброзраковъ *(становясь въ дверяхъ).* Пану полковнику здравія желаемъ! Чи добрже маешь, пане?

Понжперховскій. Что намъ дѣлается, докторъ! Отъ насъ вамъ пожива плохая.

Доброзраковъ. Ну, это еще бабушка на-двое сказала... объ этомъ будетъ у насъ въ то время разговоръ, какъ ноги, дружище, протягивать станешь! *(Устремляетъ взоръ на водку).* А! и водка на столѣ; это добрже! А ну, полковникъ, испытаемъ-ка цѣлебныя свойства этой жидкости! Мнѣ, я вамъ скажу, что-то сегодня не здоровится; стара стала, слаба стала... потуда и живъ, покуда внутри водкой сполоснешь! Да и та нынче измѣнять стала. *(Пьетъ).* Было, было и наше времечко! Выпьешь, бывало, сколько подымешь, а нынче... сколько глазомъ окинешь! *(Всѣ смѣются).*

Понжперховскій. А что вы думаете, докторъ: можетъ-быть, отъ этого-то всполаскиванія оно и не дѣйствуетъ. Вотъ въ нашихъ сторонахъ помѣщикъ былъ, тоже занимался этимъ, такъ, повѣрите ли, внутренности-то у него даже выгорѣли всѣ—такъ и скончался-съ!

Доброзраковъ. Вздоръ, сударь! *(Ударяетъ себя по животу).* Эта печка такого сорта, что какъ ее ни топи—все къ дальнѣйшей топкѣ достойна и способна... Я вотъ шестой десятокъ на свѣтѣ живу, и могу сказать—бывалатаки у насъ топка... да, изрядная! А все хоть сейчасъ въ походъ готовъ!.. *(Гнусовой).* Иванъ Онуфричъ всталъ?

Гнусова. Никакъ нѣтъ еще, Иванъ Петровичъ, какъ можно!

Доброзраковъ. То-есть, онъ и проснулся, пожалуй, да тотъ

еще часъ, видно, не пробилъ, въ который дуракамъ просыпаться прилично... Э-э-эхъ! то-то вотъ и есть: мужика сколько ни вари, все сыростью пахнетъ! Издали-то онъ ни то, ни сё, а что ближе, то гаже!

Гнусова *(иронически)*. Ну, какъ, сударь! Извѣстно, возвысилъ Богъ куликовъ родъ — какъ же и не покуражиться ему!

Доброзраковъ. Люблю за то, что по крайней мѣрѣ, не говоря худого слова, ноги на столъ задралъ! Повторимъ, полковникъ. *(Подноситъ Понжперховскому рюмку; оба пьютъ)*.

Понжперховскій. Это вы истинную правду, докторъ, сказали: человѣкъ, покуда въ дикомъ состояніи находится— ничего... даже можно сказать, что это именно почтенный человѣкъ-съ! Но коль скоро повезла ему фортуна или успѣлъ онъ, такъ сказать, надуть себѣ подобнаго, то это именно даже удивительно, какой вдругъ переворотъ въ немъ бываетъ!

Доброзраковъ. Какой тутъ переворотъ! Первымъ долгомъ— ноги на столъ... Этотъ переворотъ и хавронья сдѣлать можетъ!

Понжперховскій. Правда, докторъ! Я самъ иногда, глядя на него, думаю, зачѣмъ онъ, напримѣръ, бороду брѣетъ?

Доброзраковъ. Съ бородой-то, по-моему, еще лучше. Борода глазамъ замѣна: кто бы плюнулъ въ глаза—плюнетъ въ бороду! *(Всѣ смѣются)*.

Понжперховскій. Или, напримѣръ, зачѣмъ ему такой домъ? Онъ еще не знаетъ, какъ и ходить-то по паркету... Кабы этакія средства да человѣку образованному, сколько бы можно добра тутъ сдѣлать!

Доброзраковъ. Нѣтъ, вы лучше скажите, зачѣмъ ему годовой врачъ? Вотъ вы что скажите! Вѣдь у него, кромѣ прыщей на носу, и болѣзней-то никакихъ не бываетъ!

Гнусова *(иронически)*. Чтой-то ужъ и не бываетъ! Вы, Иванъ Петровичъ, ужъ, кажется, не въ мѣру его конфузите!

Доброзраковъ *(смотритъ на часы)*. Однако, надо ему сказать, что пора бы и перестать валяться-то... Ужъ и султанъ турецкій давно, поди, всталъ?

СЦЕНА IV.

Тѣ же и Дмитрій Иванычъ *(вбѣгаетъ стремительно; одинъ франтомъ и завитъ)*.

Дмитрій Иванычъ. Гдѣ папаша? гдѣ папаша? Двѣнадца-

тый часъ, а онъ тамъ проклажается! Вы-то чего-жъ смотрите, Степанида Карповна!

Гнусова *(оскорбляясь)*. Помилуйте, Дмитрій Иванычъ, я вѣдь дама... развѣ могу я въ опочивальню къ вашему папашѣ входить?

Дмитрій Иванычъ *(останавливаясь въ изумленіи передъ Гнусовой)*. Дама?!.. А кто же вамъ сказалъ, что вы дама?

Гнусова. Все же, чай, не мужчина, сударь!

Дмитрій Иванычъ. Такъ вы говорите: «женщина», а то «дама»!

Доброзраковъ. Да что-жъ такое случилось, Дмитрій Иванычъ?

Дмитрій Иванычъ *(размахивая рукамй)*. Князь... князь... желаетъ узнать о папашиномъ здоровьи... Поняли, что ли? *(Гнусова, всплеснувъ руками, стремительно убѣгаетъ)*.

Доброзраковъ *(начиная застегиваться)*. Ахъ ты, Господи! самъ его сіятельство ѣдетъ!

Дмитрій Иванычъ. Кто вамъ говоритъ про его сіятельство! Поѣдетъ къ вамъ его сіятельство! Будетъ съ васъ и того, если и Леонида Сергѣича пришлетъ!

Доброзраковъ *(разстегиваясь)*. А! Разбитной! Ну, при этомъ и въ рубашкѣ быть предостаточно!

Дмитрій Иванычъ. Вы, докторъ, кажется, забываетесь! Вы не понимаете, въ какомъ домѣ находитесь!

Доброзраковъ *(озираясь кругомъ)*. А въ какомъ?—въ каменномъ!.. Ну, да полноте, Дмитрій Иванычъ, я вѣдь это такъ, шутки ради... Извѣстно ужъ, Леонидъ Сергѣичъ—особа не простая... гдѣ-жъ намъ противъ нихъ! Я вамъ такъ даже скажу, что я и купаться-то бы передъ нимъ въ одной рубашкѣ не осмѣлился, а такъ бы вотъ въ мундирѣ и полѣзъ въ воду...

Дмитрій Иванычъ. Вы все съ своими шутками!

Доброзраковъ. Старикъ вѣдь я, Дмитрій Иванычъ,—кому же и пошутить-то!

Понжперховскій. А мнѣ, видно, уйти покудова... не люблю я этого Разбитного!

Доброзраковъ. Что такъ?

Понжперховскій. Гордишка-съ!

СЦЕНА V.

Дмитрій Иванычъ и Доброзраковъ.

Дмитрій Иванычъ. Ну, скажите, докторъ, зачѣмъ, напримѣръ, этотъ выходецъ сюда таскается?

Доброзраковъ. А такъ вотъ, просто потому, что есть умокъ сладенько поѣсть... Вы ужъ очень строги, Дмитрій Иванычъ.

Дмитрій Иванычъ. Нѣтъ, я не строгъ, докторъ, я только желаю, чтобъ въ этомъ домѣ чистый воздухъ былъ... Понимаете? Знаете ли, какъ у меня здѣсь наболѣло, докторъ? *(Указываетъ на сердце).* Вѣдь на улицу выйти нельзя: свинья тамъ въ грязи валяется, такъ и та, чего добраго, тебѣ родственница!

Доброзраковъ. Да, это зрѣлище, тово... нельзя сказать, чтобъ пейзажъ живописенъ былъ!

Дмитрій Иванычъ. Нѣтъ, вы войдите въ мое положеніе, докторъ! Намеднись, вотъ, иду я въ хорошей компаніи мимо рядовъ: ну, и княжна тутъ... Только откуда ни возьмись — бабушкинъ братъ, весь въ кубовой краскѣ выпачканъ. «А это, говоритъ, кажется, нашъ Митюха съ барами-то ходитъ!» Вы поймите, что я тутъ долженъ былъ вытерпѣть!

Доброзраковъ. А вы бы, Дмитрій Иванычъ, дѣдушку-то подъ салазки! Знаете, и пословица гласитъ: Еремѣя потчуютъ умѣя, за воротъ да въ три шеи! Ну, и вы бы такъ-съ!

Дмитрій Иванычъ. Вы все шутите, докторъ, а мнѣ ужъ не до шутокъ, право! *(Подходитъ къ закускѣ).* Господи! даже закуски порядочной подать не могутъ: грибы, да рыжики, да ветчина! Эй, кто тутъ есть! *(Является горничная).* Да позови ты лакея, варвары вы этакіе! Вѣдь ты и при гостяхъ, пожалуй, сюда вломишься! Возьми поднось, да вели приготовить закуску — генеральскую, слышишь? *(Горничная беретъ поднось и уходитъ. За дверьми слышенъ шорохъ).* А! да вотъ, кажется, и папаша идетъ!

Доброзраковъ *(въ полголоса).* Раздайся грязь, навозъ ползетъ!

СЦЕНА VI.

Тѣ же и Хрептюгинъ *(въ пестрыхъ брюкахъ и коротенькомъ сюртукѣ; на шеѣ повязанъ неглиже желтый батистовый платочекъ; въ рукахъ трубка, изъ которой онъ полегоньку покуриваетъ; ходитъ съ маленькимъ развальцемъ и шаркаетъ ногами).*

Хрептюгинъ. А! Démétrius! видно, его сіятельство стосковался по насъ? Леонидъ Сергѣичъ, что ли, изволитъ жаловать? Ну, что-жъ, милости просимъ! Приготовленій не дѣлаемъ, а запросто—милости просимъ!

Доброзраковъ. Что вамъ, Иванъ Онуфричъ? Разумѣется,

вы люди сильные, вамъ не въ диковинку высокихъ гостей принимать!

Хрептюгинъ. Какіе, братецъ, это гости! Между нами, просто шавера! Вотъ въ Петербургѣ... это точно... тамъ я ча своемъ мѣстѣ...

Доброзраковъ. Что и говорить! Я вотъ насчетъ здоровья узнать пріѣхалъ...

Хрептюгинъ. Да что, братецъ! ни шатко, ни валко, ни на сторону! Желудокъ все... чуть, знаешь, съѣшь что-нибудь этакое... не совсѣмъ легкое... просто, братецъ, дѣло дрянь выходитъ!

Доброзраковъ. Да вы бы поберегли себя. Вѣдь ваше здоровье не то, что, напримѣръ, наше. Мы и помремъ, такъ никто не замѣтитъ: все равно что муха померла; ну, а вы совсѣмъ другое дѣло...

Хрептюгинъ. Знаю, братецъ, знаю, да что прикажешь дѣлать? Съ волками жить, по-волчьи выть — иногда и перепустишь!.. Démétrius! ты бы, дружокъ, закуску велѣлъ приготовить; скажи Гнусовой, что тамъ, на третьей полкѣ, жестянка непочатая стоитъ.

Дмитрій Иванычъ. Я ужъ сказалъ... Да что это у васъ, рара, съ утра до вечера точно кабакъ! Только и дѣлаютъ, что водку пьютъ... Вѣдь это свинство!

Доброзраковъ. Ахъ, Дмитрій Иванычъ! да вѣдь папенька вамъ сказывали, что съ волками жить, по-волчьи выть... ну, и водка, стало-быть, поставлена тутъ правильно!

СЦЕНА VII.

Тѣ же и Живновскій *(входитъ изъ среднихъ дверей).*

Живновскій. Благодѣтелю Ивану Онуфричу нижайше кланяюсь! Дмитрій Иванычъ! Иванъ Петровичъ!

Хрептюгинъ. Откуда Богъ принесъ?

Живновскій. Все хлопоталъ-съ... Кто что, а я все на пользу общую-съ... На вчерашнемъ пожарищѣ былъ-съ.

Хрептюгинъ. Потухъ, что ли?

Живновскій. Дымится, благодѣтель, дымится! По этому-то случаю я и былъ. Распорядиться, знаете, некому! Полицей-мейстеришка дрянь, пожарные тоже-съ,—вотъ и пришлось за нихъ работать! Всю ночь провозились, да и утро такъ между пальцевъ ушло!

Доброзраковъ. Ишь тебя нелегкая носитъ: точно тебѣ тысячи за это даютъ!

Живновскій. Помилуйте, Иванъ Петровичъ! вѣдь человѣчество погибаетъ!

Доброзраковъ. А я такъ думаю, что пожаръ-то тебѣ замѣсто праздника?

Живновскій. Нельзя же-съ! *(Озираясь).* А водочка-то, видно, «ау» сказала?

Доброзраковъ. Ау, братъ!

Живновскій. Эхма! а не худо бы послѣ трудовъ выпить!

Хрептюгинъ. Ну, и подождешь—не умрешь. Разсказывай, кого же ты на пожарищѣ видѣлъ?

Живновскій. Сама княжна Анна Львовна тамъ была, и съ Леонидомъ Сергѣичемъ... Пожелали тоже о подробностяхъ узнать,—ну, я имъ все это въ живой картинѣ представилъ... Вдова, говорю, пятеро дѣтей... все это, знаете, въ необходимомъ лишь, по ночному времени, ношебномъ платьѣ. Да, не дай Богъ никому,—вотъ я какъ скажу! Бывалъ я, конечно, въ передѣлахъ: и тонулъ-съ, и со второго этажа прыгивалъ... ну, а отъ огня Богъ избавилъ! А впрочемъ, Леонидъ-то Сергѣичъ къ вамъ вѣдь ѣдетъ.

Хрептюгинъ. Развѣ говорили что-нибудь?

Живновскій. Говорили, благодѣтель, какъ не говорить! Какъ я, знаете, пересказалъ имъ все это, такъ княжна тутъ же къ Леониду Сергѣичу обратились: иль фо, говорятъ, Khreptioughine.

Дмитрій Иванычъ *(озабоченно).* Деньги при васъ, папаша?

Хрептюгинъ. Небось, вотъ у него *(показываетъ на Живновскаго)* взаймы попрошу... Ха-ха! А какъ ты думаешь, Иванъ Петровичъ, четвертной довольно?

Дмитрій Иванычъ. Что вы, что вы, папаша! да Леонидъ Сергѣичъ и не возьметъ! Нѣтъ, ужъ жертвовать, такъ жертвовать—меньше сторублевой нельзя!

Хрептюгинъ. Ну, можно и сторублевую... Конечно, и то сказать: у нихъ только и надежды, что на меня!

Доброзраковъ. Что и говорить, Иванъ Онуфричъ: на насъ, грѣшныхъ, какая же надежда! Мы люди простые: живемъ богато, со двора покато, чего ни хватись, за всѣмъ въ люди покатись!

Хрептюгинъ. Только, братецъ ты мой, одолѣли ужъ они меня очень—даже словно вотъ мухи: и въ глаза, и въ носъ, и въ уши такъ и лѣзутъ! Намеднись вотъ на пріютъ: отъ князя полиція пріѣзжала,—нельзя, говоритъ, меньше тысячи; черезъ часъ мѣста, предсѣдатель чиновника присылаетъ—ну,

пятьсотъ; потомъ управляющій... Какъ-то оно ужъ и надоѣло, братецъ!

Доброзраковъ. Зато честь большая, Иванъ Онуфричъ!

Хрептюгинъ. Ну, конечно...

Живновскій. Ужъ тамъ честь ли, не честь ли, а отдать все-таки придется... Такъ по-моему ужъ лучше честью...

Хрептюгинъ *(величественно).* Ну, ты что еще!

Дмитрій Иванычъ. Я удивляюсь, папаша, какъ вы говорите о такихъ пустякахъ... это все прежнее сквалыжничество въ васъ дѣйствуетъ! А вы вспомните, что князь въ надворные совѣтники васъ представилъ!

Хрептюгинъ. Ну, конечно... А впрочемъ, мы здѣсь промежду себя, такъ я вамъ могу по секрету сказать, что этотъ господинъ надворный совѣтникъ ужъ давно меня измаялъ! Можетъ, и желудокъ-то отъ этого безпокойства разстроился.

Живновскій. Это сущая правда, Иванъ Онуфричъ! Всякое огорченіе прежде всего на желудокъ кидается.

Хрептюгинъ *(Доброзракову).* Да, братъ, могу сказать, что я эти пожертвованія именно знаю! Еще княжой предмѣстникъ эту исторію-то поднялъ: «Пожертвуй да пожертвуй на общеполезное устройство!» Ну, и пожертвовалъ: въ саду бесѣдокъ на мои денежки настроили, рѣшетку чугунную вывели... ну, и прислали въ ту пору признательность...

Живновскій. Поди, чай, какъ сердцу-то прискорбно было!

Хрептюгинъ. Я къ его превосходительству: такъ, молъ, и такъ, говорю, что-жъ это за мода! А онъ мнѣ: «Ну, говоритъ, видно еще жертвовать приходится,—давай, говоритъ, пловучій мостъ черезъ рѣку строить!» Дѣлать нече, позатянулся ужъ я въ это болото маленько, сталъ и мостъ строить!.. Ну, и прислали медаль... И что-жъ бы ты, сударь, думалъ: мнѣ же его превосходительство по этому случаю пиръ задать велѣлъ!

Дмитрій Иванычъ. Ахъ, папаша! право, васъ даже тошно слушать, что вы говорите!

Доброзраковъ. А что, Иванъ Онуфричъ, вѣдь коли по правдѣ-то сказать, въ ту пору и медаль-то для васъ, чай, куда лестно было получить: вѣдь вы тогда только-только развѣ не въ мужикахъ были!

Живновскій. Правильно.

Хрептюгинъ *(смущаясь, Живновскому).* Ну, ты чего еще!

Дмитрій Иванычъ *(смотря въ окно).* Ѣдетъ, ѣдетъ. Ахъ ты, Господи! А эта безтолковая Степанида Карповна и закуски не даетъ! Голова кругомъ идетъ!

СЦЕНА VIII.

Тѣ же и Разбитной *(входитъ гордо и даже съ нѣкоторою осмотрительностью).*

Разбитной. Здравствуйте, Иванъ Онуфричъ, здравствуйте! Ну, какъ ваше здоровье? *(Жметъ ему руку).*

Хрептюгинъ *(развязно).* Милости просимъ, Леонидъ Сергѣичъ... Слава Богу-съ... Очень благодаренъ его сіятельству.

Разбитной. Да, я отъ князя. Князь сегодня всталъ въ очень веселомъ расположеніи духа... Ночью, знаете, пожаръ этотъ былъ, и это очень старика развлекло. Князь поручилъ мнѣ освѣдомиться о вашемъ здоровьи, любезнѣйшій Иванъ Онуфричъ, — право! Сегодня, знаете, кушаетъ онъ чай и говоритъ мнѣ: «А не худо бы, mon cher, тебѣ провѣдать, какъ поживаетъ мой добрый Иванъ Онуфричъ».

Хрептюгинъ. Премного благодарны его сіятельству... Démétrius!

Дмитрій Иванычъ. Сейчасъ, папаша! *(Выходитъ на короткое время и потомъ возвращается).*

Разбитной. Онъ очень часто о васъ вспоминаетъ—такой, право, памятливый старикашка! Я вамъ скажу, что если бы этому человѣку руки развязать, онъ, я не знаю, что бы надѣлалъ!

Хрептюгинъ. Попеченіе имѣютъ большое; я сколько начальниковъ зналъ, а такихъ заботливыхъ именно не бывало у насъ!

Доброзраковъ. Взглядъ просвѣщенный, Иванъ Онуфричъ!

Разбитной. Д-да; онъ вѣдь у насъ въ молодости либераломъ былъ, какъ же! И теперь еще любитъ объ этомъ времени вспоминать: «Я, говоритъ, mon cher, смолоду-то сорвиголова былъ!» Преуморительный старикашка. *(Входитъ лакей во фракѣ съ подносомъ, на которомъ поставлены разныя закуски; въ дверяхъ показывается Гнусова; въ теченіе всей сцены она стоитъ за дверьми и по временамъ выглядываетъ).*

Хрептюгинъ. Милости просимъ, Леонидъ Сергѣичъ, закусить!

Разбитной. Э... я охотно съѣмъ этого страсбургскаго пирога. *(Подходитъ къ столу и ѣстъ).* Да вы гастрономъ, почтеннѣйшій Иванъ Онуфричъ!

Хрептюгинъ. Ужъ куда намъ, Леонидъ Сергѣичъ!.. Вотъ здоровье мое все плохо... все, знаете, желудокъ! Иной разъ

и готовъ бы просить его сіятельство сдѣлать мнѣ честь хлѣба-соли откушать...

Дмитрій Иванычъ. А что, въ самомъ дѣлѣ, папаша! Князь къ намъ такъ милостивъ, что съ нашей стороны даже свинство, что мы не покажемъ ему нашей признательности.

Хрептюгинъ. Если его сіятельству угодно, то я завсегда готовъ... Для насъ, Леонидъ Сергѣичъ, это большого счета не составляетъ.

Разбитной. Хорошо-съ... я скажу князю: онъ, вѣроятно, назначитъ вамъ день, когда вы можете принять его. Однако, пирогъ этотъ такъ хорошъ, что я рѣшаюсь съѣсть еще кусочекъ... Ma foi, tant pis pour le dîner du prince! А вы, докторъ?

Доброзраковъ. А вотъ сейчасъ-съ. Мы, признаться, ко всѣмъ этимъ тонкостямъ не привыкли; по-нашему, этакъ колбасы кусокъ, чтобъ, знаете, жевать было что.

Разбитной. Вы добрый, докторъ!

Доброзраковъ *(наливаетъ рюмку водки, кланяется).* За здоровье его сіятельства, князя Льва Михайлыча!

Живновскій. А мнѣ, видно, безъ потчиванья выпить! *(Подходитъ къ столу).*

Хрептюгинъ *(Доброзракову).* Что ты, что ты, Иванъ Петровичъ! кто-жъ пьетъ здоровье водкой... Démétrius, что-жъ?

Дмитрій Иванычъ. Сейчасъ, папаша! *(Убѣгаетъ).*

Разбитной *(вслѣдъ ему).* Mais dites, mon cher, qu'on donne des verres et que le champagne soit frappé! *(Хрептюгину).* Мы вашего сына-таки вышколимъ, Иванъ Онуфричъ. *(Лакей вноситъ поднос съ стаканами и бутылку шампанскаго; Дмитрій Иванычъ наливаетъ всѣмъ, кромѣ Живновскаго).* За здоровье его сіятельства, князя Льва Михайлыча! *(Выпиваетъ).*

Дмитрій Иванычъ. Ура! *(Выпиваетъ).*

Доброзраковъ. Желаю здравствовать! *(Выпиваетъ).*

Живновскій. Что-жъ, и мнѣ, видно, выпить! Я, признаться, не охотникъ до виноградnаго! Ну, ужъ для его сіятельства! *(Наливаетъ самъ себѣ стаканъ и пьетъ).*

Хрептюгинъ. Сто лѣтъ жить да богатѣть! Вотъ это я вино люблю, Леонидъ Сергѣичъ, потому что оно вино легкое... тонкое...

Разбитной. Господа! я требую слова!

Дмитрій Иванычъ. Шш!.. *(Всѣ умолкаютъ).*

Разбитной. Господа! мнѣ пріятно будетъ засвидѣтельствовать передъ княземъ о тѣхъ чувствахъ искренней предан-

ности, которыя я нашелъ въ васъ. Повѣрьте, господа, что для сердца начальника дороже всякихъ почестей, дороже всѣхъ богатствъ сердечное расположеніе подчиненныхъ. Нѣтъ сомнѣнія—и исторія намъ доказываетъ это съ послѣднею очевидностью, что всѣ сильныя государства до тѣхъ поръ держались, покуда въ сердцахъ подчиненныхъ жили чувства любви и преданности. Какъ скоро эти истинныя, основныя начала благоустроенныхъ обществъ исчезали, самыя общества переставали быть благоустроенными. Я говорю это, господа, здѣсь, въ этомъ домѣ, потому что нигдѣ въ другомъ мѣстѣ слова мои не могутъ имѣть такого смысла. Здѣсь я вижу почтеннаго отца семейства, жертвующаго всею жизнью на пользу общую *(указываетъ на Хрептюгина)*, вижу старыхъ воиновъ, принявшихъ грудью не одинъ ударъ во имя любви къ отечеству *(указываетъ на Доброзракова и Живновскаго; послѣдній крутитъ усы)*, и, наконецъ, вижу юношу, полнаго надеждъ и вѣры въ будущее... И всѣ эти лица: и маститая старость, и увѣнчанная розами юность соединяются въ одномъ общемъ чувствѣ преданности къ любимому начальнику... Господа! мнѣ пріятно отъ лица князя изъявить вамъ полную его признательность! Господа! я пью за здоровье любезнѣйшаго нашего хозяина! *(Подходитъ съ стаканомъ къ Хрептюгину и жметъ ему руку)*. Иванъ Онуфричъ! да продлитъ Богъ вашъ вѣкъ для того, чтобъ вы могли на долгія времена слѣдовать влеченію вашего добраго сердца и отирать слезы сирыхъ, лишенныхъ крова... *(Выпиваетъ)*.

Дмитрій Иванычъ. Ура! *(Пьетъ)*.

Доброзраковъ *(въ сторону)*. Ловко подпустилъ!..

Живновскій *(въ сторону)*. А по-русски это значитъ: пермете... ле бурсъ *(показываетъ руками)*. Молодецъ!

Хрептюгинъ. Очень, очень вамъ благодаренъ, Леонидъ Сергѣичъ! утѣшили вы меня... Именно это правда, что на пользу общую! Вчера былъ пожаръ, Леонидъ Сергѣичъ, остались тамъ вдовы... смѣю просить васъ принять отъ трудовъ моихъ двѣсти рублей на общественное устройство! *(Вынимаетъ изъ бумажника деньги и отдаетъ Разбитному)*.

Живновскій. Молодецъ Иванъ Онуфричъ!

Хрептюгинъ. Мало жертвовать, Леонидъ Сергѣичъ, не стоитъ-съ, такъ, по крайности, пущай хоть Богу за насъ помолятъ! А деньги что-съ—деньги дѣло наживное-съ!

Живновскій. Разумѣется, благодѣтель, разумѣется... Вотъ

въ вино вассервейнцу малую толику подпустите—анъ пожертвованіе-то въ тотъ же карманъ и возвратится.

Хрептюгинъ. Я, Леонидъ Сергѣичъ, люблю благодѣтельствовать... Я коли деньги имѣю, такъ желаю, чтобъ всякій, можно сказать, отъ лозы виноградной вкусилъ!

Разбитной *(кладя деньги въ карманъ).* Повѣрьте, Иванъ Онуфричъ, князь сумѣетъ оцѣнить...

СЦЕНА IX.

Тѣ же и Фурначевъ.

Фурначевъ *(останавливается въ дверяхъ и говоритъ за кулисы).* Скажи, братецъ, моему кучеру, чтобъ онъ ѣхалъ домой и доложилъ Настасьѣ Ивановнѣ, что я прибылъ въ домъ Ивана Онуфрича благополучно, да сейчасъ же чтобъ и воротился... Иванъ Онуфричъ! Леонидъ Сергѣичъ! Докторъ! *(Жметъ всѣмъ руки, кромѣ Живновскаго).* Вы, господа, кажется, съ утра за дѣломъ!..

Доброзраковъ. По благотворительной части, Семенъ Семенычъ!

Живновскій. Призираемъ этакъ вдовъ и сиротъ-съ... А больше насчетъ вдовъ-съ...

Хрептюгинъ. Да не угодно ли присѣсть вашему высокородію! *(Суетится около Фурначева).*

Фурначевъ. Не трудитесь, любезный, я сяду самъ!... Такъ вы, господа, по благотворительной части? Что-жъ, это хорошо! всякій изъ насъ долженъ удѣлять отъ избытковъ своихъ!

Разбитной. Скажите, пожалуйста, Семенъ Семенычъ, вы не были сегодня у князя?

Фурначевъ. Не былъ, Леонидъ Сергѣичъ, не былъ, потому что не имѣлъ чести быть приглашеннымъ.

Разбитной. Странно! а онъ хотѣлъ васъ просить!.. Знаете, вчера былъ пожаръ, погорѣла вдова съ дѣтьми... что-то много ихъ тамъ... княжна очень интересуется положеніемъ этихъ сиротъ.

Фурначевъ. Это нашъ долгъ, Леонидъ Сергѣичъ, отирать слезы вдовыхъ и сиротъ; это, можно сказать, наша священная обязанность... Я не о себѣ это говорю, Леонидъ Сергѣичъ, потому что у меня правая рука не знаетъ, что дѣлаетъ лѣвая, а вообще... *(Вносятъ стаканы съ шампанскимъ).*

Разбитной. Такъ вы заѣзжайте къ князю: ему будетъ

очень пріятно. *(Вертитъ стаканъ и намѣревается пить безъ тоста).*

Хрептюгинъ. Нѣтъ, Леонидъ Сергѣичъ, позвольте! *(Беретъ стаканъ).* Господа! за здоровье Леонида Сергѣича! *(Доброзраковъ дѣлаетъ Хрептюгину знаки, указывая на Фурначева; Хрептюгинъ спохватывается, подбѣгаетъ къ Фурначеву и говоритъ въ полголоса).* Извините, ваше высокородіе, обмолвился... мы ваше здоровье послѣ-съ... на прохладѣ выпьемъ.

Фурначевъ *(тоже въ полголоса).* Что разъ уже сдѣлано, того воротить нельзя, любезный! Все воротить можно, а сдѣланное воротить невозможно.

Разбитной. Господа! я не нахожу словъ выразить всю мою признательность! Почтенный хозяинъ, предложившій этотъ тостъ, почтилъ не меня самого, а въ лицѣ моемъ упорный трудъ и непоколебимое безкорыстіе на высокомъ поприщѣ общественнаго служенія. Господа! не подъ вліяніемъ винныхъ паровъ, но подъ вліяніемъ благотворныхъ движеній моего сердца говорю я: девизомъ нашимъ долженъ быть трудъ скромный, но упорный трудъ, никѣмъ не замѣчаемый, но честный трудъ, сегодня оканчивающійся, а завтра снова начинающійся. Господа! настала для насъ пора обратить наше умственное око внутрь насъ самихъ, ознакомиться съ нашими собственными язвами и изыскать средства къ уврачеванію ихъ. Не блестящая эта участь, и не розами, но терніями усыпанъ путь безвѣстнаго труженика, въ потѣ лица воздѣлывающаго землю, плодами которой воспользуются потомки! Но благословимъ его скромный, невидный трудъ, пошлемъ ему во слѣдъ самыя искреннія пожеланія нашего сердца... Вспомнимъ, что только они могутъ освѣтить лучомъ радости безотрадную пустыню, предъ нимъ разстилающуюся,—вспомнимъ это и не пожалѣемъ ни добрыхъ словъ, ни теплаго участія, ни одобреній... Я сказалъ, господа! *(Пьетъ).*

Дмитрій Иванычъ. Ура! *(Пьетъ).*

Фурначевъ *(жметъ Разбитному руку).* Вы благородный человѣкъ, Леонидъ Сергѣичъ! *(Отпиваетъ немного и ставитъ стаканъ).*

Живновскій *(въ сторону).* И чортъ его знаетъ, гдѣ онъ говорить научился!

Хрептюгинъ *(Фурначеву).* Сдѣлайте ваше одолженіе, ваше высокородіе, опростайте стаканчикъ-то!

Фурначевъ. Не могу. Иванъ Онуфричъ, не могу. Здоровья

я пожелалъ Леониду Сергѣичу отъ глубины души, а пить не могу. Утромъ, знаете, натура не принимаетъ.

Разбитной. Господа! я не могу больше! Сердце мое совершенно переполнено... Будьте увѣрены, мой любезнѣйшій Иванъ Онуфричъ, что я со всею подробностью передамъ князю тѣ пріятныя впечатлѣнія, которыя доставило мнѣ утро, проведенное у васъ... Прощайте, господа! *(Уходитъ. Дмитрій Иванычъ провожаетъ его за двери).*

СЦЕНА X.

Тѣ же, кромѣ Разбитного.

Фурначевъ *(Хрептюгину).* А за что же ты, любезный, меня обидѣлъ?

Хрептюгинъ. Помилуйте, ваше высокородіе, извините!

Фурначевъ. Нѣтъ, ты скажи: кто статскій совѣтникъ и кто титулярный совѣтникъ?

Живновскій *(въ сторону).* Да, братъ, далъ ты маху, Хрептюга!

Хрептюгинъ. Да ужъ помилуйте, ваше высокородіе! Языкъ просто сдуру, по теченію рѣчи, сказалъ.

Фурначевъ. А языкъ надо сдерживать... на то, братецъ, голова человѣку дана, чтобъ языкъ сдерживать!

Доброзраковъ. Это правда, Семенъ Семенычъ! только я вамъ именно доложу, что Иванъ Онуфричъ сневѣжничалъ больше отъ необразованности... не привыкъ еще, знаете, въ хорошемъ обществѣ жить... все ему и кажется, что кругомъ-то свиньи!

Живновскій *(въ сторону).* Заступился!

Хрептюгинъ *(насильственно улыбаясь).* Все шутитъ... ахъ, Иванъ Петровичъ, Иванъ Петровичъ! *(Фурначеву).* Мы вашему высокородію за нашу провинность послѣ трикраты послужимъ!

Фурначевъ. То-то «послужимъ»! Ты смотри же, этого слова не забудь!

Дмитрій Иванычъ *(возвращаясь).* Нѣтъ, каково говоритъ-то Леонидъ Сергѣичъ, каково говоритъ! А еще удивляются, что княжна имъ интересуется! Да я вамъ скажу: будь я женщиной, да начни онъ меня убѣждать, такъ я и Богъ знаетъ чего бы ни сдѣлалъ.

Фурначевъ *(съ разстановкой).* Мягко стелетъ, но жестко спать.

Живновскій. Это правильно!

Фурначевъ. Въ головѣ-то у него вѣтеръ ходитъ! Ему, конечно, еще незнакома наука жизни, а вѣдь куда корни ученія горьки!

Хрептюгинъ. Истинная правда, ваше высокородіе, истинная правда!

Фурначевъ. Тоже приглашаетъ къ пожертвованію! А почемъ онъ знаетъ: можетъ-быть, тотъ, котораго онъ, по легковѣрности своей, считаетъ Лазаремъ богатымъ, и есть тотъ самый убогій Лазарь, о которомъ въ Писаніи сказано! *(Краснѣетъ и на секунду умолкаетъ).* Въ чужомъ карманѣ денегъ никто не считалъ... Про то только Владыко Небесный можетъ знать, что у кого есть и чего нѣтъ! А если и подлинно деньги есть, такъ онѣ, быть-можетъ, чрезъ великій жизненный искусъ пріобрѣтены! *(Умолкаетъ. Наступаетъ нѣсколько минутъ тяжстнаго безмолвія, въ продолженіе котораго Живновскій выпиваетъ двѣ рюмки водки).*

Хрептюгинъ *(осторожно возобновляя разговоръ).* Что новаго въ городу дѣлается, ваше высокородіе?

Фурначевъ. По палатѣ у насъ, слава Богу, благополучно. Вчерашняго числа совершился заподрядъ... Слава Всевышнему, благополучно!

Хрептюгинъ. По чемъ же за ведро-съ?

Фурначевъ. По пятидесяти пяти копеекъ. Цѣна настоящая.

Живновскій. Ну, и на нищую братію, чай, пришлось... Это правильно!

Хрептюгинъ. Молчи, сударь, молчи! Ваше высокородіе, прикажите его съ лѣстницы спустить!

Фурначевъ. Оставь!

Хрептюгинъ *(Живновскому).* Ничтожный ты человѣкъ! Вотъ какъ его высокородіе про тебя разумѣетъ!

Фурначевъ. Оставь! *(Вновь наступаетъ нѣсколько секундъ молчанія, въ продолженіе которыхъ Фурначевъ величественно барабанитъ объ ручку дивана, а Хрептюгинъ нѣсколько разъ порывается возобновить разговоръ, но не можетъ).*

Хрептюгинъ *(рѣшительно).* Не прикажете ли холоднень-каго, ваше высокородіе?

Фурначевъ. Не нужно!

Хрептюгинъ. Или изъ закусокъ чего-нибудь?

Фурначевъ. Это... можно.

СЦЕНА XI.

Тѣ же и лакей.

Лакей *(подавая Хрептюгину письмо).* Съ почты-съ.

Хрептюгинъ *(разсматривая письмо)*. Отъ кого бы? А! отъ Антоніонаки! *(Къ Фурначеву)*. Позволите, ваше высокородіе?

Фурначевъ. Можешь.

Доброзраковъ. Ишь, вѣдь и знакомые-то у него какіе: все *аки* да *ндросы!*

Живновскій. Питейная часть-съ... греки, римляне, финикіяне... вавилонъ-съ! *(Фурначевъ снисходительно смѣется)*.

Хрептюгинъ *(читаетъ)*. «Спѣшу увѣдомить тебя, любезный другъ Иванъ Онуфричъ, что дѣло о твоемъ чинѣ приняло самую непріятную турнюру. Извѣстный тебѣ и облагодѣтельствованный тобой столоначальникъ оказался величайшимъ вертопрахомъ, ибо не только не употребилъ врученныхъ тобою денегъ по назначенію, но, напротивъ того, истратилъ ихъ всѣ сполна на покупку картинъ непристойнаго содержанія»... *(Останавливается совершенно растерянный)*. Гм!.. да... эта штука... могу сказать... ловкая, чортъ побери! *(Усмѣхается и вздрагиваетъ)*.

Дмитрій Иванычъ *(подбѣгая къ отцу)*. Ну, что-жъ за бѣда! надо еще жертвовать — вотъ и все! Есть отъ чего приходить въ отчаяніе!

Живновскій. Правильно! это значитъ только, что карьеръ нужно сызнова начинать!

Доброзраковъ. Можетъ, вы не доложили сколько-нибудь, Иванъ Онуфричъ?

Хрептюгинъ *(въ раздумьи)*. Нѣтъ, да что-жъ это такое? Жизни, что ли, они меня хотятъ лишить? *(Къ Фурначеву)*. Ваше высокородіе!..

Фурначевъ. Жаль мнѣ тебя, Иванъ Онуфричъ! Пострадалъ, братъ, ты... это именно, что пострадалъ! Однако, ты еще въ томъ можешь утѣшеніе для себя сыскать, что совѣсть у тебя спокойна... А много ли, скажи ты мнѣ, найдешь ты на свѣтѣ людей, которые съ чистымъ сердцемъ могутъ взирать на своего ближняго? Ты вотъ что въ соображеніе, другъ мой, возьми... и утѣшься!

Живновскій. Позвольте, благодѣтель, я стишки вамъ на этотъ случай скажу... я вѣдь въ молодыхъ-то лѣтахъ на всѣ руки былъ, даже и стихи сочинялъ... *(Припоминаетъ)*. Какъ бишь? «Не унывай»... «Не унывай»... «Не унывай»... Эхъ, позабылъ, канальство! Ну, да все равно... главное-то «не унывай»... стало-быть, и вамъ унывать не слѣдуетъ.

Хрептюгинъ *(тоскливо)*. Господи! денегъ-то что̀ изведено!

(Занавѣсъ опускается).

V.—Для дѣтскаго возраста.

Вечеръ. Юный поэтъ Кобыльниковъ (онъ же и столоначальникъ губернскаго правленія) корпитъ надъ мелко исписаннымъ листомъ бумаги въ убогой своей квартирѣ и съ неслыханнымъ озлобленіемъ грызетъ перо, и кусаетъ ногти. Уже седьмой часъ; еще часъ — и квартира совѣтника Лопатникова озарится веселыми огнями рождественской елки; еще часъ — и *она* выйдетъ въ залу, въ коротенькомъ бѣленькомъ платьицѣ (увы! ей еще только пятнадцать лѣтъ!), выйдетъ свѣженькая и улыбающаяся, выйдетъ вся благоухающая ароматомъ невинности.

— А что, мсьё Кобыльниковъ, вы исполнили свое обѣщаніе?—спроситъ она его.

При этой мысли Кобыльниковъ вскочилъ со стула, какъ ужаленный, и схватилъ себя за голову. Онъ начиналъ сознавать, что заложилъ слишкомъ большой фундаментъ своему стихотворенію. Ужъ двѣ строфы, каждая въ восемь стиховъ, готовы и переписаны, но, судя по развитію, которое принимала основная мысль, нельзя было даже приблизительно предвидѣть, какой будетъ исходъ ея. Онъ уже принесъ достаточную дань восторговъ возникающимъ красотамъ молодой дѣвочки; упомянулъ и о платьицѣ, и о шейкѣ лилейной, и о щекахъ «словно персикъ пушистыхъ»...

И о томъ, о чемъ хотѣлъ бы,
Да не смѣю говорить...

Теперь онъ задалъ себѣ вопросъ: кому суждено обладать всѣми этими сокровищами — старцу ли безсильному, или поэту чернокудрому? Ужъ онъ начерталъ два первыхъ стиха:

О, скажи-жъ, чей мощный образъ
Эту грудь воспламенитъ?
Эти перси...

Но тутъ воображеніе окончательно отказывалось служить. Риѳма на «образъ» рѣшительно не приходила; то-есть, коли хотите, и приходило кое-что въ голову, но все какая-то чушь: «вобразъ», «нобразъ» — чортъ знаетъ, какая дребедень!

— Нѣтъ, да каково же! каково же! — вопіялъ онъ въ отчаяніи:—каково это съ перваго же раза подлецомъ себя выставить!

А время, между тѣмъ, равнодушно смотрѣло на его мо-

рость и подвигало да подвигало впередъ часовую стрѣлку. Кобыльниковъ тоскливо взглянулъ на часы и увидѣлъ, что до семи остается только пять минутъ.

— Нѣтъ, ни за что на свѣтѣ не поѣду! — воскликнулъ онъ, бросаясь въ изнеможеніи на стулъ. — Лучше одинъ просижу, лучше безъ ужина останусь, нежели подлецомъ себя выставлю!

«Нобразъ!»—насмѣшливо шептало, между тѣмъ, воображеніе.

— Фуй, мерзость! и прилѣзутъ же въ голову такія пошлости, что ни складу, ни ладу нѣтъ.

Кобыльниковъ плюнулъ съ досады.

— Ни за что не поѣду!—повторилъ онъ, но вслѣдъ за этимъ ни съ того, ни съ сего раздумался.

Молодость вдругъ заговорила въ немъ ласкающими голосами. Передъ глазами его рисуется залитая свѣтомъ зала; посреди ея стоитъ елка, вся изукрашенная разными лентами и фольгой; елка, которой вѣтви гнутся подъ бременемъ пастилы и другихъ соблазнительныхъ сластей. А вонъ и бѣленькое платьице, вонъ и головка, обрамленная темными кудрями! Господи! что за грація въ очертаніяхъ этой головки! что за свѣжесть, что за сокровища въ этой едва-едва начинающей развиваться груди! И что за веселые звуки пролетаютъ по комнатѣ, когда эта милая дѣвочка засмѣется! Точно вотъ солнышко выглянетъ изъ-за хмурыхъ тучъ, и все вдругъ кругомъ улыбнется: и рѣчка, которая до тѣхъ поръ лѣниво катила сѣрыя волны, и ближняя лужайка, скрывавшая свой цвѣтной коверъ отъ дождей и холодовъ угрюмаго ненастья, и статскій совѣтникъ Поплавковъ, который сидитъ за карточнымъ столомъ и двадцатый разъ сряду озлобленно произноситъ: «пассъ!» Вотъ она пошла танцовать — и все-то выходитъ у нея не такъ, какъ у другихъ. Посмотрите, напримѣръ, или, лучше сказать, прислушайтесь, какъ танцуютъ Настя Поплавкова, Нюта Смущенская! «Конь бѣжитъ, земля дрожитъ!» А она! Неслышно, почти незримо летаетъ она по крашеному полу, нимало не задѣвая крошечными ножками за землю и вся какъ будто уносясь и исчезая вверхъ!

Но, кромѣ того, и ужинъ не лишенъ своей прелести. Уже накрывается длинный столъ въ задней комнатѣ, и хотя руки двороваго офиціанта Андрея не совсѣмъ чисты, но, судя по хлѣбосольнымъ привычкамъ хозяина, нельзя сомнѣваться, что на столѣ будетъ и свѣжая осетрина, и

жирный зажаренный лещъ, и все, однимъ словомъ, что приличествуютъ кануну такого великаго праздника, какъ Рождество Христово.

— И надо же быть такому несчастію!—разсуждаетъ самъ съ собою Кобыльниковъ, но разсуждаетъ какъ-то вяло, безъ прежнихъ порывовъ. Вообще видно, что картины, которыя нарисовало ему воображеніе, произвели замѣтное разслабленіе во всемъ его организмѣ.

Въ это время часы прошипѣли семь. Кобыльниковъ машинально всталъ со стула и направился къ платяному шкапу.

«Нобрзъ! нобразъ!»—шепнулъ вдругъ враждебный голосъ и остановилъ его на половинѣ дороги.

Съ минуту еще длилась борьба его съ самимъ собою, но, наконецъ, молодость взяла-таки свое. Кобыльниковъ поспѣшно натянулъ на себя фракъ и, взглянувши на переписанныя двѣ строфы, покусился-было попытать счастья, нельзя ли сбыть ихъ съ рукъ въ томъ видѣ, въ какомъ онѣ были, но, по внимательномъ прочтеніи, стихотвореніе показалось ему еще болѣе недостаточнымъ, нежели когда-либо. Съ досадою отшвырнулъ онъ его отъ себя и выбѣжалъ изъ квартиры.

На дворѣ стояла ночь, та слѣпая, досадная ночь, которая можетъ случиться только въ далекомъ, провинціальномъ городкѣ, гдѣ откупщикъ еще не доведенъ кроткими мѣрами до сознанія своей обязанности жертвовать достаточное количество спирта для освѣщенія улицъ. Злой и рѣзкій вѣтеръ несся по улицѣ, поднимая и крутя въ воздухѣ цѣлые столбы снѣжной пыли, и взвизгивалъ, и завывалъ, ударяясь объ углы домовъ. Хорошо, что Кобыльникову предстояло пройти не болѣе тридцати шаговъ, а не то пришлось бы ему, бѣдному, воротиться въ квартиру и опять сѣсть за сочиненіе распроклятыхъ стиховъ.

«Нобразъ!» — взвизгнулъ вдругъ вѣтеръ въ самыя уши поэта.

— Фу, ты, чортъ! — пробормоталъ Кобыльниковъ и, плотнѣе завернувшись въ шинель, съ усиліемъ началъ карабкаться впередъ, утопая въ сугробахъ снѣга, завалившихъ тротуаръ.

Но вотъ ужъ брезжитъ свѣтъ сквозь снѣжный туманъ; сначала онъ мелькаетъ въ видѣ крошечнаго круга, но мало-по-малу кругъ разрастается, и освѣщенныя окна совѣтничьей квартиры представляются взору во всемъ ихъ заманчивомъ великолѣпіи. Издрогшій и измученный, вры-

вается Кобыльниковъ въ переднюю желаннаго дома и долгое время поправляетъ потерпѣвшія отъ снѣга части своего туалета.

— А! молодой человѣкъ! милости просимъ!—встрѣчаетъ его хозяинъ дома, Иванъ Кузьмичъ Лопатниковъ. — Ну, что, одолѣли Капустниковское дѣло?

— Кончилъ-съ, — отвѣчаетъ Кобыльниковъ и мысленно говоритъ самому себѣ: «что, если-бъ ты зналъ, что я, вмѣсто Капустниковскаго дѣла, цѣлые три часа корпѣлъ надъ сочиненіемъ стиховъ?»

— То-то, а не то насъ съ вами новый генералъ совсѣмъ съѣстъ!

Но, разговаривая съ хозяиномъ, Кобыльниковъ улучаетъ, однакожъ, минуту, чтобъ бросить взглядъ въ сторону, и съ удовольствіемъ примѣчаетъ, что точно такой же взглядъ выглядываетъ изъ-за ёлки и на него. Онъ спѣшитъ оставить гостепріимнаго хозяина и всѣми силами души устремляется туда, откуда блеснулъ ему теплый лучъ привѣта и дѣтской привязанности.

Читатель! не знаю, живали ли вы въ провинціи, но я, который благоденствовалъ въ Вяткѣ и процвѣталъ въ Перми, жуировалъ жизнью въ Рязани и наслаждался душевнымъ спокойствіемъ въ Твери, я смѣю васъ удостовѣрить, что воспоминанія о видѣнныхъ мною елкахъ навсегда останутся самыми свѣтлыми воспоминаніями пройденной жизни! Во-первыхъ, какая-то умиротворяющая, праздничная струя носится въ это время въ воздухѣ, какая-то свѣтлая, радостная мысль просится въ душу при видѣ этихъ зажженныхъ свѣчей, этихъ полныхъ, румяныхъ лицъ, при звукахъ этого говора и смѣха; а во-вторыхъ, что за прелестныя созданія эти дѣти, какъ пытливо озираются ихъ умненькіе глазки, и какъ мало похожи они на своихъ отцовъ, тутъ же предстоящихъ и съ томленіемъ выжидающихъ момента, когда можно засѣсть за зеленый столъ или пріударить по питейной части! Иной родитель расползся поперекъ себя толще, лицо у него на кругъ швейцарскаго сыру похоже, даже носа словно совсѣмъ нѣтъ, а сынокъ у него, смотришь, шустренькій, черномазенькій, глазки такъ и прыгаютъ, а носикъ римскій, тоненькій, словно выточенный; иной родитель похожъ на артиста, черноволосый, худощавый, блѣдный и вообще, что называется, интересный jeune homme, а сынокъ у него похожъ на губернатора, который, въ свою очередь, похожъ на копну. Вотъ и поди ты! Смо-

тришь, бывало, на этихъ улыбающихся, кудрявыхъ дѣтей, смотришь и думаешь: неужели Ваня будетъ когда-нибудь совѣтникомъ питейнаго отдѣленія? неужели эта рѣзвая, быстроглазая Ляля будетъ когда-нибудь вице-губернаторшей? И подумавши, взгрустнешь потихоньку.

Коля, мой другъ! не отплясывай такъ бойко казачка, ибо ты не будешь совѣтникомъ питейнаго отдѣленія! Скоро придетъ бука и всѣхъ совѣтниковъ оставитъ безъ пирожнаго!

Ляля, милый мой ребенокъ! Не скругляй такъ своихъ маленькихъ ручекъ, не склоняй такъ кокетливо головушку на правую сторонушку, не мани такъ мило Митю Прорѣхина, ибо Митя не будетъ вице-губернаторомъ! Скоро придетъ бука и всѣхъ вице-губернаторовъ упразднить за ненадобностью!

— Принесли? — спрашиваетъ, между тѣмъ, Наденька у Кобыльникова, который, пунцовый какъ вишня, стоитъ передъ нею, переминая въ рукахъ шляпу.

— Я-съ, Надежда Ивановна... я-съ... я началъ, но еще не окончилъ,—заикается Кобыльниковъ.

— А я такъ думаю, что вы только похвастались, что умѣете стихи писать!

И Наденька порхнула отъ него, какъ птичка.

— Я, Надежда Ивановна, много ужъ написалъ, — умолялъ вслѣдъ ей Кобыльниковъ.

Но Наденька была уже далеко и щебетала, окруженная своими подругами.

— Ахъ, дай поскорѣе!—умоляла Нюта Смущенская.

— Mesdames! мы уйдемъ читать въ спальную! — говорила Настя Поплавкова.

— Нечего читать, онъ только похвастался! онъ совсѣмъ и не умѣетъ писать стихи!—отвѣчала Наденька голосомъ, которому она усиливалась сообщить равнодушный тонъ, въ которомъ слышалась, однакожъ, досада.—Mesdames, мы его не будемъ принимать сегодня въ наше общество!

Въ это время Кобыльниковъ приблизился.

— Наденька!—сказалъ онъ умоляющимъ голосомъ.

Наденька вскинула головку и взглянула на него такъ гордо, что бѣдный поэтъ внезапно почувствовалъ себя глупымъ.

— Вотъ еще новости! — сказала Наденька и при томъ такъ громко, что Кобыльниковъ осмотрѣлся во всѣ стороны и не на шутку струсилъ, чтобъ восклицанія этого не услышалъ папа Лопатниковъ.

Послѣ того вся юная компанія порхнула въ другую комнату, оставивъ Кобыльникова окончательно убитымъ.

— Какой онъ, однакожъ, жалкій!—замѣтила при этомъ Нюта Смущенская.

— Вотъ еще, жалкій! Хвастунъ — и больше ничего! — хладнокровно отвѣтила жестокосердая Наденька.

Кобыльниковъ стоялъ словно обданный холодной водой. На душѣ у него было смутно и пусто, и какъ на смѣхъ еще подвернулись тутъ два скверные и глупые стиха:

Ничто меня не утѣшаетъ,
Ничто меня не веселитъ...

которые такъ и жужжали, словно неотвязный комаръ, въ ушахъ его.

«Что за проклятый вечеръ! Сначала эта ринма подлѣйшая, а теперь вотъ и еще какая-то мерзость лѣзетъ!»— подумалъ Кобыльниковъ и даже сгорѣлъ весь отъ стыда.

А вечеръ, между тѣмъ, шелъ своимъ чередомъ.

Папа-Лопатниковъ безъ трехъ обремизилъ статскаго совѣтника Поплавкова, несчастіе котораго до такой степени поразило присутствующихъ, что всѣ, даже играющіе, какъ-то сжались и притихли, какъ бы свидѣтельствуя этимъ скорбнымъ молчаніемъ о своемъ сочувствіи къ великому горю угнетеннаго многочисленнымъ семействомъ мужа. Поплавковъ сидѣлъ красный, какъ ракъ, и какъ бы не понималъ, что вокругъ него происходитъ; даже ремиза не ставилъ, а безсознательно чертилъ пальцемъ по столу какую-то необыкновенную цифру. Супруга же его, заглянувъ въ комнату играющихъ, тотчасъ повернула налѣво кругомъ и сказала во всеуслышаніе:

— А мой дуракъ только и дѣла, что проигрываетъ.

Дѣти шумѣли и волновались: Митя Прорѣхинъ доказательно убѣждалъ Васю Затиркина отдать ему свою долю орѣховъ, приводя въ основаніе такой резонъ, что у того, кто кушаетъ много лакомства, дѣлаются со временемъ соломенныя ножки. Маня Кулагина упрашивала братца Сашу представить, какъ у нихъ на дворѣ индѣйскіе пѣтухи кричатъ: «здравіе желаемъ, ваше благородіе!» Сеня Порубинъ, мальчикъ горбатенькій и злющій, какъ бы провидя, что происходитъ въ душѣ Кобыльникова, подбѣгалъ къ нему и начиналъ задирать насчетъ отношеній его къ Наденькѣ, при чемъ позволялъ себѣ даже темные намеки относительно какихъ-то интимностей, будто бы существовавшихъ между *Наденькой* и первоклассникомъ-гимназистомъ Прохоровымъ,

который въ это самое время забился въ уголъ и, видимо, наслаждался, ковыряя въ носу. И Кобыльниковъ никакъ не могъ поймать Порубина, чтобъ надрать ему хорошенько уши, потому что скверный чертёнокъ, произведя схидство, ускользалъ изъ рукъ его, какъ змѣя.

Наденька то и дѣло порхала по комнатѣ и, какъ нарочно, смѣялась и болтала съ особеннымъ увлеченіемъ именно въ то время, когда проходила мимо огорченнаго поэта. Злую мысль внушилъ Кобыльникову Сеня Порубинъ.

— Еще бы не быть веселой, когда душка-Прохоровъ здѣсь! — процѣдилъ онъ сквозь зубы въ одну изъ минутъ когда Наденька была близко отъ него.

Наденька вспыхнула и какъ будто оступилась.

— Вы это что говорите?—спросила она, останавливаясь передъ нимъ.

— Ничего; я говорю, что не мудрено, что нѣкоторымъ людямъ весело: душка-Прохоровъ здѣсь!—глупѣйшимъ образомъ настаивалъ Кобыльниковъ, поигрывая ключикомъ отъ часовъ.

— Я надѣюсь, однако, что отъ этой минуты между нами все кончено? — сказала Наденька и тотчасъ же удалилась.

— Это какъ вамъ угодно-съ,—говорилъ вслѣдъ Кобыльниковъ. — Конечно, со мной разстаться что же значитъ, когда есть въ запасѣ душка-Прохоровъ!

Обида эта глубоко уязвила крошечное сердце Наденьки, тѣмъ болѣе уязвила, что въ упрекѣ Кобыльникова была нѣкоторая доля правды. Дѣйствительно, былъ короткій промежутокъ времени, но очень, впрочемъ, короткій, когда Наденька увлекалась Прохоровымъ. Слишкомъ рано развитой ребенокъ, она уже мечтала о чемъ-то; она украшала Прохорова различными достоинствами и добродѣтелями, которыя создавало ея дѣтское воображеніе; она любила уединяться съ нимъ и съ большою важностью говорила ему: «Теперь, Прохоровъ, потолкуемте о вашемъ будущемъ!»

Но Прохоровъ любилъ только ковырять въ носу и говорилъ съ увлеченіемъ единственно о лакомствахъ, потому что въ душѣ былъ великій и страстный обжора. Увлеченіе Наденьки скоро прошло; она была даже убѣждена, что никто ничего не замѣтилъ... и вдругъ! Наденька бѣгала около ёлки, суетилась и болтала безъ умолку, но сердце ея работало. Среди начатой фразы, она вдругъ почувствовала, что нѣчто тѣснитъ ея грудь, что нѣчто жгучее подступаетъ къ ея глазамъ. Она вырвалась изъ толпы и убѣжала во внутреннія комнаты.

Кобыльниковъ все это видѣлъ, но ничего не понялъ. Онъ видѣлъ, что Наденька весела, и понялъ только то, что у Наденьки, должно-быть, башмачокъ развязался, если она такъ стремительно убѣжала.

А Наденька, между тѣмъ, уткнувшись въ подушку, обливала ее горячими слезами. И чѣмъ обильнѣе лились эти слезы, тѣмъ мягче и легче становилась самая обида, вызвавшая ихъ, тѣмъ назойливѣе смотрѣлось въ душу иное чувство, чувство, которое, въ одно и то же время, и заставляло ныть ея бѣдное сердце, и проливало въ него цѣлые потоки радости и успокоенія.

— Гадкій Кобыльниковъ! — сказала она съ послѣднимъ всхлипываніемъ.—Бѣдный Митенька!—повторила она вслѣдъ затѣмъ, сладко задумавшись.

Елка, между тѣмъ, догорѣла; по данному знаку, дѣти кинулись на нее всей толпою и тотчасъ же повалили на землю; произошло всеобщее замѣшательство; слышался визгъ, смѣшанный съ кликами торжества; Сеня Порубинъ, несмотря на свою хилость и многочисленные изъяны, какъ-то такъ изловчился, что успѣлъ запихать въ свои карманы чуть не половину гостинцевъ. Прохоровъ тоже полѣзъ-было на фуражировку вмѣстѣ съ прочими, но ему не удалось достать ни одной палочки пастилы, потому что дѣти подкатывались ему подъ ноги и рѣшительно не давали приняться за дѣло какъ слѣдуетъ; да къ тому же и няня маленькихъ Поплавковыхъ безъ церемоніи поймала его за руку и вывела изъ толпы, сказавъ при этомъ строго: «Стыдись, сударь! такой большой выросъ, а съ дѣтьми баловаться хочешь! Еще Машенькѣ ручку отдавишь!»

Какъ было бы совѣстно Наденькѣ, если бы она видѣла эту сцену!

Но о ней вспомнили только тогда, когда елки уже не существовало. Папа-Лопатниковъ серьезно обезпокоился и собрался-было на поискъ за своею дѣвочкой, какъ она появилась сама въ дверяхъ залы.

Наденька была нѣсколько блѣдна, но на вопросъ папаши: «не болитъ ли головка?» отвѣчала: «не болитъ», а на вопросъ: «не болитъ ли животикъ?» отвѣчала: «ахъ, что вы, папаша!» и, вся вспыхнувши, спрятала свое личико на отцовской груди.

— Что же съ тобой, душенька?—допрашивалъ папаша.

— Ахъ, папаша, какой вы!—отвѣчала Наденька и порхнула отъ него въ сторону.

Во время этого допроса у Кобыльникова какъ-то все выше и выше поднималось сердце, и вдругъ сдѣлалось для него ясно, что онъ прескверную штуку сыгралъ, сказавши Наденькѣ такую пошлость. Со злобою, почти съ ненавистью взглянулъ онъ на Сеню Порубина и началъ-было показывать золоченый орѣхъ, чтобъ подманить его къ себѣ; но Сеня словно провидѣлъ, что дѣлается въ душѣ его, и, самъ показывая ему цѣлую кучу золоченыхъ орѣховъ, только смѣялся, а съ мѣста не трогался.

«Ну, чортъ съ тобой! когда-нибудь послѣ раздѣлаемся!»— подумалъ Кобыльниковъ и въ ту же самую минуту какъ бы инстинктивно взглянулъ въ ту сторону, гдѣ была Наденька.

Оттуда глядѣли на него два сѣрыхъ глаза, и глядѣли съ тѣмъ же безграничнымъ простодушіемъ, съ тою же беззавѣтною нѣжностью, съ какою они привѣтствовали его изъ-за ёлки въ минуту прихода. Точно приросли къ нему эти глубокіе, большіе глаза, точно не въ силахъ были они смотрѣть никуда въ другую сторону. Кобыльникову почуялось, словно кровь брызнула у него изъ сердца и вотъ источается капля по каплѣ и наполняетъ грудь его. Горячо и бодро вдругъ стало ему.

— Посмотрите-ка, Надька-то!—шептала змѣище-Поплавкова горынчищу-Порубиной: — глазъ не можетъ отъ этого молокососа отвести, словно съѣсть его хочетъ!

— Влюблена, Анна Петровна, какъ кошка влюблена!— отвѣчала maman Порубина и какъ-то злобно дрогнула при этомъ плечами.

— Удивляюсь, однако, чего этотъ старый дуралей смотритъ!

— А чѣмъ же онъ не партія? Для безприданницы и этакой хоть куда!

— Ну, да все же...

— Вы что же ко мнѣ не идете? — спрашивала, между тѣмъ, Наденька Кобыльникова тѣмъ полушопотомъ, въ который невольно переходитъ голосъ, когда идетъ рѣчь о дѣлѣ, затрагивающемъ всѣ живыя струны существа.

Кобыльниковъ не отвѣчалъ; онъ просто-на-просто задыхался.

— Вы что ко мнѣ не идете?—повторила Наденька.

Онъ продолжалъ молчать, хотя сердце въ немъ умирало отъ жажды высказаться. Онъ чувствовалъ, что если вымолвитъ хоть одно слово, то не въ силахъ будетъ выдержать. Можетъ-быть, онъ бросится къ Наденькѣ и стиснетъ

въ своихъ рукахъ это доброе, любящее созданіе; можетъ-быть, онъ не бросится, но зальется слезами и зарыдаетъ...

— Вы отчего мнѣ руки не даете?—настаивала Наденька.

— Наденька!—вырвалось изъ груди Кобыльникова.

— Вы зачѣмъ глупости говорите?

— Голубчикъ!- простоналъ Кобыльниковъ.

— А когда будутъ стихи?

Кобыльниковъ ужъ совсѣмъ было собрался отвѣчать, что стихи не миоъ, что стихи почти совсѣмъ готовы, что не только одно стихотвореніе, но десять, двадцать, сто стихотвореній готовъ онъ настрочить на прославленіе своей милой, безцѣнной Наденьки, какъ вдругъ скверный мальчишка Порубинъ испортилъ все дѣло.

— Вобразъ! — пискнулъ онъ, едва-едва не проскакивая между ногъ Кобыльникова.

Кобыльникову показалось, что самъ злой духъ говоритъ устами мальчишки.

— Ты почему знаешь? — сказалъ онъ, рванувшись въ погоню за мальчикомъ и поймавъ-таки его.—Нѣтъ, ты говори, почему ты знаешь?

— Мамаша, меня Кобыльниковъ деретъ!—завизжалъ во всю мочь Сеня.

При этомъ восклицаніи Кобыльниковъ невольно выпустилъ изъ рукъ свою добычу и даже началъ гладить Сеню по головѣ.

— Нечего, нечего гладить по головѣ! — шипѣлъ юный змѣёнышъ. — Мамаша! онъ меня деретъ за то, что я его поймалъ съ Наденькой!

Началось слѣдствіе.

— Позвольте узнать, Дмитрій Николаичъ, что вамъ сдѣлало невинное дитя? — допрашивала Кобыльникова оскорбленная maman Порубина.

— Вашъ сынъ мнѣ сказалъ дерзость!—отвѣчалъ совершенно растерявшійся Кобыльниковъ.

— Мамаша! Я ничего ему не говорилъ!—съ своей стороны жаловался Сеня, искусно всхлипывая.

— Вашъ сынъ сказалъ мнѣ: «вобразъ»!—внезапно бряknулъ Кобыльниковъ.

— «Вобразъ»! Что такое «вобразъ»? И чѣмъ же это слово для васъ обидно?

Говоря это, maman Порубина сомнительно покачивала головой и разводила руками.

— Ну, да! вобразъ, нобразъ, собразъ, побразъ!—дразнилъ обозлившійся Сеня, приплясывая передъ Кобыльниковымъ.

— Изволите видѣть?—сказалъ Кобыльниковъ.

— Вижу! все вижу! Стыдно вамъ, молодой человѣкъ! Сеня! отойди прочь отъ нихъ и не смѣй никогда съ ними разговаривать!

Порубина величественно удалилась, уводя за руку Сеню и безпрестанно оглядываясь, какъ бы въ опасеніи, что за ней бѣжитъ по пятамъ сама чума.

Кобыльникову сдѣлалось скверно; онъ вдругъ почувствовалъ, что не только скомпрометировалъ Наденьку, но и самъ сдѣлался смѣшнымъ въ ея глазахъ. Сколько онъ сдѣлалъ въ этотъ вечеръ глупостей! Онъ сдѣлалъ ихъ три: во-первыхъ, увлекся нелѣпой риѳмой, которая помѣшала ему кончить стихи, между тѣмъ какъ можно было бы одинъ стихъ и нериѳмованный вставить (самые лучшіе поэты это дѣлаютъ); во-вторыхъ, сказалъ Наденькѣ какую-то пошлость насчетъ ея отношеній къ Прохорову; въ-третьихъ, связался съ пакостнѣйшимъ мальчишкой, который навѣрно произведетъ скандалъ на весь городъ. Кобыльникову показалось, что всѣ глаза обращены на него, что всѣ лица проникнуты строгостью, и что даже служитель Андрей намѣривается взять въ руки метлу, чтобъ вымести сю изъ честнаго дома гнуснаго соблазнителя пятнадцатилѣтнихъ дѣвицъ. Кобыльникова бросило въ жаръ; чтобъ оправиться отъ своего смущенія, онъ поспѣшилъ юркнуть въ хозяйскій кабинетъ.

Тамъ за нѣсколькими столами шла игра. Игралъ въ ералашъ предсѣдатель казенной палаты съ губернскимъ прокуроромъ противъ совѣтника казенной палаты и батальоннаго командира. Предсѣдатель казенной палаты былъ не въ духѣ: къ нему пришло двѣнадцать пикъ безъ туза и двойка червей; онъ сходилъ съ двойки пикъ — тузъ оказался у партнера, который, однако, отвѣчать не могъ.

— Сижу на капиталахъ! — жаловался предсѣдатель. — Вѣдь это все франки, все франки!

Прокуроръ былъ смущенъ: онъ понялъ игру и старался только угадать, какая же у предсѣдателя тринадцатая карта. Предсѣдатель, какъ бы провидя его думу, поспѣшилъ разсѣять всѣ сомнѣнія и откровенно показалъ свою двойку червей, убѣждая только, чтобъ прокуроръ игралъ скорѣе.

Напротивъ того, къ совѣтнику валило: во всемъ у него

была и игра, и поддержка, но самое счастіе не радовало его, ибо онъ чувствовалъ, что оно огорчаетъ его начальника. Поэтому онъ всячески старался оправдаться; разбирая карты, пожималъ плечами, какъ бы говоря: «вѣдь лѣзетъ жо такое дурацкое счастье!» Дѣлая ходъ, не клалъ карту на столъ, а какъ-то презрительно швырялъ ее, какъ бы говоря: «вотъ и еще сукинъ сынъ тузъ!» Но предсѣдатель не принималъ ничего въ уваженіе, а напротивъ того— взъѣлся на своего подчиненнаго.

— Вы зачѣмъ же игру-то свою раскрываете?—присталъ онъ къ нему.

Совѣтникъ сдѣлалъ ренонсъ.

— У васъ трефъ нѣтъ? — строго спросилъ батальонный командиръ.

— Нѣтъ-съ... есть-съ,—заикался совѣтникъ.

«И солгать-то не умѣлъ!»—подумалъ предсѣдатель.

А Кобыльниковъ смотрѣлъ на играющихъ и все думалъ, какъ бы чѣмъ-нибудь такимъ увѣнчать этотъ вечеръ, чтобъ за одинъ разъ искупить всѣ три глупости. Ему вдругъ сдѣлалось хорошо и весело; ему представилась большая, освѣщенная комната; посреди комнаты стоитъ Наденька въ бѣломъ тарлатановомъ платьицѣ, а подлѣ Наденьки стоитъ онъ; у нихъ въ рукахъ бокалы съ шампанскимъ; къ нимъ подходятъ гости, тоже съ бокалами въ рукахъ, и поздравляютъ.

— Иванъ Дементьичъ! — сказалъ онъ дрожащимъ голосомъ, подходя, подъ вліяніемъ этихъ радужныхъ мечтаній, къ хозяину дома: — позвольте мнѣ нѣсколько словъ вамъ наединѣ сказать-съ...

Иванъ Дементьичъ посмотрѣлъ на него съ неудовольствіемъ, потому что это неожиданное вмѣшательство отвлекало его отъ игры. Однако, видя, что Кобыльниковъ весь дрожалъ, онъ встревожился.

— Что такое еще? Ужъ не затерялъ ли Капустниковскаго дѣла?—спросилъ онъ.

— Мнѣ-съ... наединѣ!—повторилъ Кобыльниковъ.

Иванъ Дементьичъ отошелъ съ нимъ въ сторону.

— Ну?—сказалъ онъ.

— Мнѣ-съ... я желаю...—заикался Кобыльниковъ, къ которому вдругъ возвратилась вся его робость.

— Да говори же, любезный, не мни!—съ досадой торопилъ Иванъ Дементьичъ.

— Я прошу руки Надежды Ивановны! — скороговоркой проговорилъ Кобыльниковъ.

Иванъ Демонтьичъ повернулъ жениха къ свѣту и на одно мгновеніе посмотрѣлъ на него съ любопытствомъ. Потомъ тотчасъ же пошелъ на старое мѣсто, предварительно отмахнувшись, какъ будто хотѣлъ согнать сѣвшую на носъ муху. Кобыльниковъ остолбенѣлъ и разставилъ не только руки, но и ноги; въ глазахъ у него позеленѣло, комната ходила кругомъ. Онъ понималъ только одно, что эта глупость была четвертая и при томъ самая крупная. Вдругъ онъ почувствовалъ, что промежъ ногъ у него что-то копошится: то былъ Сеня Порубинъ.

— Анъ, это четвертая!—дразнился скверный мальчишка, очевидно схватывая на-лету интимную мысль, терзавшую бѣднаго Кобыльникова.

Кобыльниковъ даже не слыхалъ; онъ былъ уничтоженъ и опозоренъ, хотя папа-Лопатниковъ, возвратясь на мѣсто, точно такъ же равнодушно объявилъ семь въ червяхъ, какъ бы ничего и не случилось. А Порубинъ, между тѣмъ, все подплясываетъ да поддразниваетъ: «анъ, четвертая!» Кобыльниковъ крадется по стѣнкѣ, чтобъ какъ-нибудь незамѣтнымъ образомъ улизнуть въ переднюю. Сеня Порубинъ замѣчаетъ это и распускаетъ слухъ, что у бѣглеца животъ болитъ. Кобыльниковъ слышитъ эту клевету и останавливается; онъ бодро стоитъ у стѣны и бравируетъ; но, несмотря на это, уничтожить дѣйствіе клеветы уже невозможно. Между дѣвицами ходитъ шопотъ: «бѣдняжка!» Наденька краснѣетъ и отворачивается; очевидно, ей стыдно и больно до слезъ.

«Собразъ!»—подсказываетъ проклятая память, и Кобыльниковъ, словно ужаленный, бросается вонъ изъ комнаты, производя своимъ бѣгствомъ игривое шушуканье между дѣвицами . . . . . .

. . . . . .

И вотъ опять Кобыльниковъ сидитъ въ одинокой своей квартирѣ, сидитъ и горько плачетъ! Передъ нимъ лежитъ Капустниковское дѣло, а слезы такъ и текутъ на бумагу; передъ нимъ: *проситъ купецъ Капустниковъ, а о чемъ, тому слѣдуютъ пункты,*—а у него глаза заволокло туманомъ, у него сердце рвется, бѣдное, на части!

Сквозь эти слезы, сквозь эти рыданія сердца, ему мелькаетъ свѣтлый образъ милой дѣвочки, ему чудится ея свѣжее дыханье, ему слышится біеніе ея маленькаго сердца...

— Митенька?—говоритъ она, вся застыдившись и склоняя на его плечо свою кудрявую головку.

— Mesdames,—шепчутъ кругомъ дѣвицы:—mesdames! у Кобыльникова животъ болитъ!

Кобыльниковъ вскакиваетъ и начинаетъ ходить по комнатѣ, схватывая себя за голову и вообще дѣлая всѣ жесты, какіе приличны человѣку, пришедшему въ отчаяніе.

«Вобразъ!»—кричитъ вдругъ неотвязчивая память.

Кобыльниковъ закусываетъ себѣ въ кровь губу отъ злости: онъ опять садится къ столу и опять принимается за Капустниковское дѣло, въ надеждѣ заглушить въ себѣ воспоминанія вечера.

А за перегородкой возятся хозяева-мѣщане. Они тоже—по всему видно—воротились изъ гостей и собираются спать. Слышны вздохи, слышно выниманіе ящиковъ изъ комодовъ, слышенъ шелестъ какой-то, который всегда сопровождаетъ раздѣваніе и укладываніе. Наконецъ, все стихло.

— Дура ты или нѣтъ?—допрашиваетъ хозяинъ свою хозяйку:—дура ты или нѣтъ?

— Ты проспись, пьяница! Ты опомнись, какой завтра праздникъ-то!—усовѣщиваетъ хозяйка.

— Нѣтъ, ты мнѣ скажи: дура ты или нѣтъ? — настаиваетъ хозяинъ.

За перегородкой слышится потрясающее зѣванье. Голова Кобыльникова мало-по-малу склоняется и, наконецъ, совсѣмъ упадаетъ на Капустниковское дѣло. Ему снится ёлка, ему снится, что онъ стоитъ посреди освѣщенной залы и что рядомъ съ нимъ, вмѣсто Наденьки, стоитъ купецъ Капустниковъ *и проситъ, а о чемъ, тому слѣдуютъ пункты...*

VI.—Миша и Ваня.

Забытая исторія.

Въ передней сидятъ два мальчика, Ваня и Миша, и ждутъ барыню изъ гостей. Скоро полночь, а барыня все не ѣдетъ; сальный огарокъ оплылъ и нагорѣлъ; тусклый и мелькающій свѣтъ его освѣщаетъ только лица двухъ собесѣдниковъ, да столъ, передъ которымъ они сидятъ; вверху и по угламъ темно. Въ домѣ тихо, словно въ гробу; горничныя дѣвки давно ужъ поужинали, воротились изъ кухни и улеглись спать, гдѣ попало, наказавши мальчикамъ разбудить ихъ, какъ только пріѣдетъ барыня. Въ окна, по временамъ, показывается что-то бѣлое: мелькнетъ-мелькнетъ и опять скроется; это сыплетъ снѣгъ, но мальчики думаютъ, что выглядываетъ голова мертвеца, и вздрагиваютъ.

Ваня мальчикъ крѣпкій, быстрый, черноволосый и черно-

глазый; онъ увѣряетъ Мишу, что ничего не боится, что однажды онъ видѣлъ настоящаго, заправскаго мертвеца — и того не струсилъ.

— Я ничего не боюсь, — говоритъ онъ, невольно, впрочемъ, блѣднѣя, когда морозъ вдругъ, ни съ того, ни съ сего, стукнетъ въ стѣны барскаго дома:—мнѣ только скучно, да и то съ тобой ничего!

— А ну, какъ мы сгоримъ?—робко спрашиваетъ Миша.

— Сгорѣть мы не можемъ,—отвѣчаетъ Ваня такимъ увѣреннымъ тономъ, что Миша тотчасъ же успокаивается.

Миша, въ противоположность Ванѣ, мальчикъ слабенькій, нервный, бѣленькій, съ бѣлокурою головкой и большими синими глазами. Онъ часто посматриваетъ на потолокъ и, увидѣвши, какой тамъ сгустился мракъ, вздрагиваетъ и пожимается.

Въ ту минуту, какъ мы съ ними знакомимся, они ведутъ оживленный, но нѣсколько странный разговоръ.

— Холоднымъ-то ножомъ, чай, больно? — спрашиваетъ Миша, пристально глядя Ванѣ въ глаза.

— Это только разъ больно, а потомъ ничего!—отвѣчаетъ Ваня и покровительственно гладитъ Мишу по головѣ.

— А помнишь, какъ поваръ Михей рѣзался! Тоже сначала все хвастался: зарѣжусь да зарѣжусь! а какъ полыснулъ ножомъ-то по горлу, да какъ потекла кровь-то...

— Ну, что-жъ, что поваръ Михей! Михейка и вышелъ дуракъ! Потомъ, небось, вылѣчился, а для чего вылѣчился? все одно наказали дурака; а мы ужъ такъ полыснемъ, чтобъ не вылѣчиться!

— Ты ножи-то приготовилъ ли, Ваня?

— Когда не приготовилъ! еще съ утра выточилъ! Только ты у меня смотри, чуръ, не отступаться!

Миша вздохнулъ потихоньку; глаза его остановились на нагорѣвшей свѣчкѣ.

— Что, развѣ снять со свѣчки... въ послѣдній разъ!— сказалъ онъ слегка взволнованнымъ голосомъ.

— Что съ нея снимать-то? А я тебѣ вотъ что скажу, Мишутка: коли мы это теперича сдѣлаемъ, такъ безпремѣнно въ рай попадемъ, потому теперь мы маленькіе и грѣховъ у насъ нѣтъ! А замѣсто насъ попадетъ въ адъ Катерина Аѳанасьевна!

— А Ивану Васильичу будетъ за насъ что-нибудь?

— Ну, Ивану Васильичу, можетъ, и проститъ Богъ, потому онъ не самъ собою дѣйствуетъ!

— Катерину-то Аѳанасьевну, стало-быть, мучить будутъ?

— Еще какъ, братъ, мучить-то, не роди ты, мать-земля! Первымъ дѣломъ на желѣзный крюкъ за ребро повѣсятъ, вторымъ дѣломъ заставятъ голыми ногами по горячей плитѣ ходить, потомъ сковороду раскаленную языкомъ лизать, потомъ желѣзными кнутьями по голой спинѣ бить... да столько, братъ, мученіевъ, что и сказать страсти!

— А вѣдь она не стерпитъ, Катерина-то Аѳанасьевна?

— Что̀ ей, чорту экому, сдѣлается! стерпитъ! Да тамъ, братъ, Мишутка, на это не посмотрятъ! Тамъ, братъ, терпи! а не можешь терпѣть—все-таки терпи!

Разговоръ на минуту смолкъ. Вдругъ на улицѣ завыла собака, завыла жалобно и тоскливо, какъ умѣютъ выть только собаки.

— Ишь ты, это Трезорка покойника почуялъ!—сказалъ Миша измѣнившимся голосомъ.

— Ну, что-жъ что почуялъ! Извѣстно, почуялъ! А ты, небось, ужъ и трусу спраздновалъ!

— Нѣтъ, Ваня, я не боюсь, я такъ только... я только думаю, отчего это собака всегда покойника чувствуетъ?

— А оттого, что собака—другъ человѣка! Вотъ лошадь тоже другъ человѣка, только она понятія не имѣетъ, а собака—она все понимаетъ, оттого и покойника чувствуетъ!

— А что, Ваня, кабы утопнуть?—спросилъ вдругъ Миша.

— Чудакъ ты, Мишутка! Ты мнѣ разскажи сперва, какая нынче вода? Ты скажи, лѣто нынче, что ли?

— Да, нынче вода холодная... чай, въ воду-то бултыхнешься, такъ и не стерпишь!

— Вотъ то-то же и есть! Утопнуть-то—надо въ прорубь лѣзти, да еще барахтаться станешь, вылѣзешь, пожалуй; что̀ однихъ мученіевъ тутъ примешь—поймешь ты! А съ ножомъ ловко! ножомъ какъ полыснулъ себя разъ—тутъ тебѣ и конецъ! Разумѣется, надо крѣпче!

— И бить никто больше не будетъ!—прошепталъ Миша.

— И бить не будетъ! Возьмутъ твою душу ангелы и понесутъ къ престолу Божьему!

— А Богъ—ничего?

— А Богъ—спроситъ: зачѣмъ вы, рабы Божіи, предѣла не дождались? зачѣмъ, скажетъ, вы смертную муку безо времени приняли? А мы Ему все и скажемъ!

— Мы все скажемъ, какъ насъ Катерина Аѳанасьевна мучила, какъ намъ жить тошнѣхонько стало, какъ насъ *день-денской* все били... все-то били, все-то тиранили!

Миша потупился; накипѣвшія на сердцѣ слезы горячимъ ключомъ хлынули изъ глазъ. И текли эти слезы, текли свободно, безъ усилій, безъ гримасъ, какъ течетъ созрѣвшій источникъ изъ переполненной груди земли-матери. Ваня сталъ утѣшать расплакавшагося.

— А мы ловко ее завтра надуемъ, Катерину-то Аѳанасьевну,—сказалъ онъ:—завтра гости у нея за столомъ соберутся, анъ служить-то будетъ и некому!

Миша вздохнулъ въ отвѣтъ.

— Я и ножи-то всѣ попряталъ,—продолжалъ Ваня:—и ѣсть-то нечѣмъ будетъ.

А Миша все-таки никакъ не могъ уняться; Ваня все возможное дѣлалъ, чтобъ какъ-нибудь развлечь его; сначала со свѣчи снялъ, потомъ глянулъ въ окно и сказалъ: «А сиверъ-то, сиверъ-то какой разыгрался! Ишь ты! ишь ты!»; наконецъ тоненькимъ голоскомъ запѣлъ: «Ахъ вы, ночки, ночки наши темныя!»—но Миша не только продолжалъ плакать, но при звукахъ пѣсни еще болѣе растужился.

— Нюня ты!—сказалъ Ваня съ нетерпѣніемъ.

Въ залѣ загудѣли часы. Заслышавши эти шипящіе звуки, Миша вздрогнулъ, въ послѣдній разъ глубоко вздохнулъ и пересталъ плакать.

— Скоро барыня пріѣдетъ,—робко сказалъ онъ, насчитавши двѣнадцать часовъ.

— Дожидайся—скоро!—отвѣчаетъ Ваня.—Эхъ, теперь бы вотъ соснуть лихо!

— Нѣтъ, ужъ ты не спи, Ваня, Христа-ради!

— Небось, боишься?

— Боюсь!—признался Миша и весь съёжился.

— Ну, дуракъ и есть! Сколько разъ я тебѣ говорилъ, что тамъ ничего нѣтъ!—поучалъ Ваня, указывая на двери, которыя вели въ неосвѣщенный коридоръ.—Хочешь, я сейчасъ туда пойду?

Однако, угрозы своей не исполнилъ. Водворилось молчаніе, а съ нимъ вмѣстѣ водворилась и тишина, тоскливая, надрывающая сердце тишина... Мальчики пристально вглядывались въ трепещущее пламя свѣчи; Ваня водилъ по столу большимъ пальцемъ, нажимая его, отчего палецъ сначала двигался плотно, а потомъ начиналъ подпрыгивать. На дворѣ опять завыла собака.

— Ишь ее! ишь ее!—вымолвилъ Ваня и вслѣдъ затѣмъ прибавилъ:—А что, Миша, гдѣ-то теперь Оля?

Оля была сестра Миши. Это была хорошенькая, бѣло-

курая и бѣленькая дѣвушка, очень похожая на своего брата; ей было осьмнадцать лѣтъ. Съ полгода тому назадъ она неизвѣстно куда пропала, и разсказовъ объ этомъ внезапномъ исчезновеніи ходило между дворней множество. Говорили, что она отъ дурного житья скрылась, но говорили также, что и отъ стыда. Достовѣрно было то, что однимъ утромъ она пошла на рѣчку стирать и не возвращалась; на берегу была найдена корзина съ невыстираннымъ бѣльемъ, но ни одежды прачки, ни даже тѣла ея нигдѣ найдено не было. Достовѣрно также, что за два дня передъ тѣмъ она была острижена и что по этому случаю плакала, рвалась и убивалась. Барыня клялась и надсаживала себѣ грудь, завѣряя, что поганка Ольгушка утопилась не отъ дурного обращенія, а для того, чтобъ скрыть свой стыдъ. Тѣмъ не менѣе, на всемъ этомъ происшествіи лежала какая-то горькая тайна, и неизвѣстно было даже, дѣйствительно ли утопилась Ольга, или только бѣжала. При слѣдствіи нѣкоторые дворовые люди показали было, что житье Ольги было «нехорошее»; но исправникъ, производившій слѣдствіе (такъ какъ происшествіе случилось въ подгородней деревнѣ Катерины Аѳанасьевны), ничему этому не повѣрилъ.

— Ну, вы это все врете! Вы говорите правду, а не врите! — сказалъ онъ показателямъ и тутъ же приказалъ пригласить Катерину Аѳанасьевну.

Катерина Аѳанасьевна ахала и ссылалась на то, что у нея людей говядиной кормятъ. Позвали людей и спросили, дѣйствительно ли ихъ кормятъ говядиной; отвѣтъ былъ, что кормятъ. Исправникъ подумалъ, посопѣлъ и записалъ: «Помѣщики содержатъ людей хорошо и даже говядиной кормятъ».

— Что же вы, бестіи, врали?—обратился онъ къ дворовымъ.

Дворовые стояли блѣдные и переминаясь съ ноги на ногу; у нѣкоторыхъ искусаны были до крови губы. Катерина Аѳанасьевна замѣтила эту нераскаянность и сочла справедливымъ упасть въ обморокъ. Исправникъ бросился утѣшать ее,ославъ оторопѣвшаго Ивана Васильевича за спиртомъ. Результатомъ всего этого было краткое, но сильное объявленіе, написанное рукою самого исправника. Оно гласило:

«Утромъ 24-го сего іюня изъ сельца Полянокъ неизвѣстно куда скрылась принадлежащая отставному штабсъ-ротмистру Ивану Васильевичу Балящеву дѣвка Ольга Никандрова. При-

мѣтами та дѣвка: роста высокаго, бѣлокура, волосы стрижены, лицомъ бѣла, глаза синіе, носъ и ротъ умѣренные, особая примѣта: надъ лѣвой ноздрей небольшое родимое пятнышко; есть подозрѣніе въ беременности. Унесла съ собой данное ей помѣщикомъ пестрядинное платье, въ которое и была въ тотъ день одѣта. Полицейскія начальства, въ вѣдомствѣ коихъ та бѣглая дѣвка окажется, благоволятъ препроводить оную въ р—ій земскій судъ, для отдачи по принадлежности».

Тѣмъ это дѣло и закончилось. Катерина Аѳанасьевна на нѣкоторое время присмирѣла, но мѣсяца черезъ два совсѣмъ забыла о происшествіи и начала жуировать жизнью попрежнему.

Катерина Аѳанасьевна была глубоко развращенная женщина, но не знаю, имѣю ли я право называть ее злою. По крайней мѣрѣ, весь городъ къ ней ѣздилъ, и цѣлый день въ ея домѣ было, что называется, разливанное море; весь городъ зналъ, какіе она *фарсы* выдѣлываетъ надъ Машками и Ольгушками, и, тѣмъ не менѣе, никто не рѣшался отозваться объ этихъ фарсахъ не только строго, но даже и уклончиво. Напротивъ того, ее всѣ любили, потому что въ своемъ кругу она была барыня веселая и даже добрая, многимъ изъ своихъ друзей дѣлала разныя одолженія и всѣхъ равно отлично принимала и кормила.

— Сегодня у Катерины Аѳанасьевны за обѣдомъ, въ супѣ, т. ракана подали, — говорили про нее въ городѣ: — что-же бы вы думали? Она преспокойно-себѣ позвала повара и приказала ему таракана съѣсть!

— Лихая баба!

— Бѣдовая!

Нѣкоторые, конечно, дѣлали изрѣдка предположеніе, «какъ бы, дескать, не попасться Катеринѣ Аѳанасьевнѣ за эти *фарсы*», но очевидно, что въ этомъ случаѣ сомнѣніе заползало совсѣмъ не по поводу самыхъ *фарсовъ*, а по поводу глагола «попасться». Самые же фарсы служили какъ бы осѣлкомъ для обнаруженія своего рода остроумія, котораго кровавости никто не замѣчалъ, своего рода изобрѣтательности, которой ехидства никто не подозрѣвалъ.

— Сенька, поди, лизни печку!—говорили Сенькѣ.

Сенька лизалъ печку и обжигалъ языкъ; онъ возвращался весь красный, лицо его какъ-то неестественно напыжилось, изъ глазъ выжимались слезы.

— Ну, дуракъ, еще ревѣть вздумалъ!—говорили они.

— Рожа-то, рожа-то какая!—восклицали другіе.

И затѣмъ слѣдовалъ взрывъ общаго, веселаго хохота.

Хохотъ—и больше ничего...

Не ясно ли, что все это безъ злорадства дѣлалось, что при этомъ главный расчетъ совсѣмъ не въ томъ состоялъ, чтобъ причинить Сенькѣ мучительную боль, а въ томъ, чтобъ посмотрѣть, какую Сенька рожу уморительную скорчитъ, какъ онъ напыжится... Самые кроткіе люди молчали, когда Сеньку посылали лизать пылающую печь; самые кроткіе люди не могли слегка не фыркнуть, когда Сенька возвращался, по совершеніи своего подвига, весь красный и пыхтящій... Они молчали и фыркали не потому, чтобъ одобряли подобнаго рода увеселенія, но просто потому, что такое ужъ время юмористическое было.

Теперь все это какой-то тяжкій и страшный кошмаръ; это кошмаръ, отъ котораго освободило Россію прекрасное, великодушное слово царя-освободителя... Да, оно одно. Ибо кто же можетъ ручаться, не лизалъ ли бы — безъ этого слова — Сенька горячую печку и до сей минуты? Не ходила ли бы дѣвка Ольга Никандрова и до сей минуты стриженная и оплеванная гостями своей барыни? Гдѣ гарантіи противнаго? Въ нравахъ, что ли? Но развѣ не извѣстно, что славяне имѣютъ нравъ веселый, легкій и мало углубляющійся? Въ слезахъ, что ли? Но развѣ не извѣстно, что слезы, которыя при этомъ капаютъ, капаютъ внутрь, капаютъ кровавыми каплями на сердце и все накипаютъ, все накипаютъ тамъ, покуда не перекипятъ совершенно?

Никогда не бываетъ зло такъ сильно, какъ въ то время, когда оно не чувствуется, когда оно, такъ сказать, разлито въ воздухѣ.—«Что это за зло?—говорятъ тогда добросовѣстные изслѣдователи, которые имѣютъ привычку разсматривать предметы не съ одной, а со всѣхъ сторонъ:—это не зло, а просто порядокъ вещей!»—И на этомъ успокаиваются.

Кто же можетъ утверждать, что такому порядку вещей не суждено было продлиться и еще на многія лѣта, если бы сильная воля не вызвала насъ изъ тьмы кроваваго добродушія и бездны ехидной веселости?

Повторяю: это былъ тяжкій и страшный кошмаръ, въ которомъ и давящіе, и давимые были равно ужасны.

Напоминаніе о сестрѣ подѣйствовало на Мишу болѣзненно. Онъ вдругъ, словно подъ тяжестью какой, пригнулся; блѣдное его личико сдѣлалось бѣлѣе полотна и на необсохшихъ еще глазахъ опять сверкнуло слезообильное облако.

— А вѣдь она барынѣ являлась!—продолжалъ Ваня.

— Врешь ты!—всхлипывалъ Миша чуть слышно.

— Являлась—это вѣрно! Ключница Матрена сказывала, что барыня-то, словно мертвая, изъ спальни въ ту пору выскочила, ни кровинки въ лицѣ нѣтъ!

— Врешь ты, она жива!—настаивалъ Миша, совершенно захлебываясь слезами.

— Ну, братъ, нѣтъ, это погоди! Она утопла — это ужъ какъ дважды-два! Изъ-за чего-жъ бы ей тогда барынѣ являться, кабы она не утопла!

— Врешь ты! врешь все!—кричалъ Миша, съ которымъ чуть не сдѣлалась истерика.

— Ну, и опять-таки ты дуракъ! Изъ-за чего ты нюни-то распустилъ! Извѣстно, намъ одинъ конецъ!

Миша смолкъ; онъ, повидимому, что-то припоминалъ. Припоминалъ онъ, какъ Оля, проходя мимо него, наскоро трепала его по щекѣ и приговаривала: «Дурашка ты мой!»; припоминалъ онъ, какъ Оля однажды надѣвала на него чистенькую новенькую рубашечку и сказала при этомъ: «Ну, носи теперь на здоровье, Мишутка ты мой!»; припоминалъ онъ, какъ однажды Оля выбѣжала въ лакейскую вся блѣдная, и изъ глазъ ея ручьями текли слезы; припоминалъ онъ голосъ, молившій о пощадѣ, голосъ искаженный, вымученный, кричавшій: «Матушка, Катерина Аѳанасьевна, не буду! батюшка, Иванъ Васильевичъ, не буду!»; припоминалъ онъ, какъ упала изъ-подъ ножницъ длинная русая коса Оленькина, какъ Оля билась и рвалась...

«Ахъ, не надо! не рѣжьте!»—раздавался въ ушахъ Миши знакомый молящій голосъ, раздавался съ такою ясностью и отчетливостью, что онъ вдругъ повѣрилъ... Онъ повѣрилъ, что Оля умерла дѣйствительно, и что это она, именно она является къ барынѣ и мучитъ ее по ночамъ. Ему показалось даже, что она и теперь съ ними, что она зоветъ его.

— Оля-то здѣсь вѣдь! — сказалъ онъ испуганнымъ голосомъ.

— Ну, вотъ это ты ужъ врешь! — отвѣтилъ Ваня, и между тѣмъ самъ вздрогнулъ и инстинктивно озирался кругомъ.

— Ей-Богу здѣсь!—настаивалъ Миша.

— Дуракъ ты! говорятъ тебѣ, нѣтъ никого! И изъ-за чего ей являться-то къ намъ? Ты пойми, зачѣмъ покойникъ является? Покойникъ является зачѣмъ, чтобъ мучить, а

насъ за что мучить она будетъ? Мы вѣдь Олю не трогали, Оля была добрая... да, она добрая была дѣвка!

— Оля была добрая! — машинально повторилъ Миша и ласково взглянулъ на своего товарища.

— Постой-ка, я по угламъ посмотрю!—продолжалъ Ваня, какъ будто съ единственною цѣлью успокоить Мишу; но очевидно было, что онъ и самого себя не прочь былъ успокоить.

Ваня всталъ съ лавки и сначала посмотрѣлъ подъ столъ; потомъ обошелъ всю комнату и въ углахъ, даже пошарилъ по стѣнѣ; потомъ заглянулъ въ дверь, ведущую въ коридоръ. Никакого видѣнья нигдѣ не оказалось.

— Ну, вотъ, и нѣтъ ничего!—сказалъ онъ, усаживаясь на старое мѣсто.

— Оля была добрая!—задумчиво повторилъ Миша.

— За доброту-то и въ дворнѣ ее всѣ любили! Помнишь, Степка какъ убивался, какъ она пропала-то? Степка-то, говорятъ, жениться на ней хотѣлъ!

— Стало, его за это въ ту пору въ часть посылали?

— За это, за самое... Степка-то барынѣ говоритъ: «Лучше, говоритъ, Катерина Аѳанасьевна, вы меня теперича въ солдаты отдайте, а служить, говоритъ, я вамъ не желаю!»

— Ишь ты!

— А барыня говоритъ: «Нѣтъ, говоритъ, Степушка, въ солдаты я тебя не отдамъ, а вотъ въ пастухахъ ты у меня сгніешь!» И гніетъ!

— И для чего только это она его въ солдаты не отдала!

— А потому, братецъ, такой у ней нравъ!

— А вѣдь въ солдатахъ, Ваня, хорошо?

— Ну... кто-жъ его знаетъ! Однако, все лучше, чѣмъ у насъ; у насъ ужъ какая жизнь!

Миша опять задумался; онъ хотѣлъ сказать Ванѣ, что лучше было бы въ солдаты пойти, чѣмъ... но на этомъ мысль его оборвалась; очевидно, онъ боялся разсердить Ваню и выставить себя въ глазахъ его трусомъ.

— А знаешь ли что, Мишутка?—вдругъ спросилъ Ваня.

— Что тебѣ?

— Пойдемъ-ка мы, обойдемъ комнаты... посмотримъ!

Мишѣ тотчасъ же мелькнуло: въ послѣдній разъ!

— Пойдемъ, Ваня,—сказалъ онъ.

Ваня снялъ со свѣчи и пошелъ впередъ.

— Вотъ это, братъ, зала!—сказалъ онъ, когда пришли въ первую комнату.

— Зала!—проговорилъ за нимъ Миша.

— Кланяйся, братъ, теперь на всѣ четыре стороны! — наставлялъ Ваня.

Миша поклонился на всѣ четыре стороны; Ваня исполнилъ вмѣстѣ съ нимъ то же самое.

Такимъ образомъ обошли они всѣ комнаты и вездѣ простились; дошли, наконецъ, до крайней комнаты, гдѣ стояла широкая двуспальная кровать.

— Ишь ихъ!—сказалъ Ваня и не только не поклонился на всѣ четыре стороны, но плюнулъ.

— Знаешь ли что, — продолжалъ онъ:— зажжемъ-ка теперь лиминацію! Вѣдь колдовка-то еще, чай, долго не пріѣдетъ!

— Зажжемъ! — согласился Миша, и на лицѣ его сверкнула дѣтски-радостная улыбка.

По всему видно было, что натура Миши была натура нѣжная, женственная, артистическая; онъ любилъ, когда въ комнатѣ бывало свѣтло и свѣжо, и, напротивъ того, куксился въ мракѣ и спертомъ воздухѣ передней. По всему видно также, что Ваня зналъ про это свойство Миши и желалъ чѣмъ-нибудь угодить ему.

Зажгли иллюминацію дѣйствительно блестящую; Миша пожелалъ быть хозяиномъ, Ваня изъявилъ согласіе быть гостемъ. Но едва успѣли хозяинъ и гость усѣсться съ ногами на диванъ, едва успѣлъ хозяинъ предложить своему гостю обычный вопросъ о здоровьѣ, какъ въ передней раздался сильнѣйшій трезвонъ. Хозяинъ и гость бросились тушить свѣчи, но впопыхахъ дѣло не спорилось; раздался еще трезвонъ, болѣе сильный и болѣе нетерпѣливый.

Наконецъ, свѣчи кое-какъ затушили и бросились въ переднюю. Черезъ дверь еще Ваня слышалъ, какъ барыня сердиться изволили.

— Это все мальчишки-мерзавцы! — говорила она въ величайшемъ гнѣвѣ.—Вотъ ужо погоди!

— Успокойся, душенька, — уговаривалъ Иванъ Васильичъ:—можетъ-быть, это братецъ Никаноръ Аѳанасьичъ пріѣхалъ!

Въ это время Ваня отперъ наружную дверь.

— Братецъ Никаноръ Аѳанасьичъ здѣсь?—былъ первый вопросъ барыни.

— Никакъ нѣтъ-съ.

— Кто же свѣчи въ залѣ зажигалъ?

— Никто не зажигалъ-съ.

— Мерзавецъ!

Сильный ударъ свалилъ Ваню съ ногъ.

— Кто зажигалъ свѣчи въ залѣ? — накинулась барыня на Мишу, который стоялъ ни живъ, ни мертвъ.

— Никакъ нѣтъ-съ,—едва-едва прошепталъ Миша.

— Долго ли вы мучить-то насъ будете?—какимъ-то неестественнымъ голосомъ закричалъ Ваня, вскочивъ съ полу, и не успѣлъ никто моргнуть глазомъ, какъ онъ уже впился ногтями въ ротъ и носъ Катерины Аѳанасьевны.

Катеринѣ Аѳанасьевнѣ сдѣлалось дурно; Ваню насилу отняли отъ нея, потому что онъ словно замеръ и закоченѣлъ весь. Катерину Аѳанасьевну повели подъ руки въ спальню, при чемъ Иванъ Васильичъ приговаривалъ: «И какъ это тебѣ, матушка, не стыдно безпокоить себя изъ-за этихъ хамовъ!» Ваню тоже увели на кухню; онъ не плакалъ, а только кричалъ; очевидно, что все существо его было глубоко и рѣшительно потрясено, что онъ не обладалъ собою, и этотъ рѣзкій неестественный крикъ вылеталъ изъ его груди помимо его воли. Вся дворня страшно переполошилась и сбѣжалась кругомъ Вани; начали его оттирать и насилу уняли. Когда крики унялись, Ваня мгновенно и крѣпко заснулъ.

Потому ли, что Катерина Аѳанасьевна дѣйствительно заболѣла, или потому, что дворовые доложили объ изступленіи, въ которомъ находился Ваня, но распоряженія насчетъ мальчиковъ въ ту ночь никакого сдѣлано не было. Сказано было только держать обоихъ въ кухнѣ. Миша легъ подлѣ Вани, но долго не могъ сомкнуть глазъ; завтрашній день представлялся его возбужденному воображенію со всѣми подробностями, со всѣми ужасающими истязаніями. Мерещились ему пуки розогъ, мерещилась ему Катерина Аѳанасьевна; лицо ея словно пылало, на головѣ словно змѣи вились, разѣвая рты, и высовывались оттуда огненныя жала. Ваня по временамъ стоналъ; дворовые кругомъ безмятежно спали; Мишѣ сдѣлалось страшно...

«Ахъ, не надо! ахъ, не рѣжьте!» — раздавалось у него въ ушахъ, и образъ сестры носился передъ его глазами, какъ живой, но не въ затрапезномъ, истасканномъ платьѣ, а весь бѣлый, прозрачный, весь словно озаренный чуднымъ блескомъ...

Наконецъ, часовъ около трехъ онъ заснулъ.

Въ четыре часа Ваня разбудилъ его. Долго смотрѣлъ на

него Миша изумленными, слипающимися глазами, долго не могъ понять, гдѣ онъ и что съ нимъ...

— Пора!—шепталъ Ваня.

Миша вздрогнулъ, но все еще не понималъ.

— Вставай!—настаивалъ Ваня.

Миша машинально всталъ и машинально же одѣлся. Они вышли въ сѣни; холодный воздухъ охватилъ ихъ со всѣхъ сторонъ и нѣсколько отрезвилъ Мишу. Въ рукахъ у Вани были ножницы; онъ проворно скинулъ съ себя казакинъ и началъ рѣзать его на куски.

— Не доставайся никому!—шепталъ онъ какъ-то злобно и сосредоточенно.

Потомъ онъ снялъ съ себя сапоги и проткнулъ въ нѣсколькихъ мѣстахъ головки.

Миша смотрѣлъ на это, и вдругъ въ немъ вспыхнула какая-то страстная жажда жизни. Онъ ухватилъ себя обѣими ручонками за горло, началъ метаться и заплакалъ.

— Нюня! ступай спать!—произнесъ Ваня.

— Нѣтъ, нѣтъ!—заикался Миша:—нѣтъ, нѣтъ!.. я пойду! я право, пойду!

— Что-жъ ты ревешь? Развѣ вчера не видѣлъ?

Они вышли на дворъ и перелѣзли черезъ заборъ. Улица была пуста, и непробудная тишина царствовала по всему городу. Дворовая собака Трезорка бросилась-было къ нимъ съ ласковымъ визгомъ, но Ваня показалъ ей кулакъ, вслѣдствіе чего она вильнула раза два хвостомъ и юркнула въ свою конуру. Утро было не столько холодное, сколько сырое и туманное; словно облако какое-то висѣло надъ улицей, словно мгла, наполненная иглистыми атомами, застилала воздухъ. Ваня былъ въ одной рубашкѣ; ему сдѣлалось холодно.

— Ну, братъ,—сказалъ онъ:—это я напрасно... Напрасно, значитъ, я теперича казакинъ свой изрѣзалъ!

Миша не отвѣчалъ ему: вообще онъ дѣйствовалъ какъ-то страдательно, словно горѣла, и упорно горѣла, въ немъ непорванная струя жизни, но не знала, какъ ей высказаться, какъ прорваться наружу.

И вотъ передъ ними оврагъ; въ этомъ оврагѣ условились они исполнить свое намѣреніе; Ваня разсчитывалъ, что тамъ никто имъ не помѣшаетъ, никто не можетъ придти скоро на помощь.

Ваня спустился и пошелъ впередъ; онъ былъ бодръ, а между тѣмъ манящіе, сладкіе голоса жизни говорили и въ немъ; онъ смѣялся, а между тѣмъ въ груди его закипала

какая-то страстная жажда; онъ шелъ и точилъ другъ объ друга ножи; но звукъ, который отъ этого происходилъ, былъ какой то невеселый, отрывистый звукъ; онъ чувствовалъ, что внутри его все горитъ, а между тѣмъ блѣдное, исхудалое тѣло ходенемъ ходило отъ проницающей сырости и холода... Миша шелъ за нимъ слѣдомъ и попрежнему былъ въ какомъ-то забытьи.

На свѣту, будочникъ, спокойно спавшій въ своей будкѣ, былъ разбуженъ проѣзжими мужиками. Мужики слышали стонъ въ оврагѣ и почтительно докладывали о томъ дремлющему блюстителю общественной тишины.

— Батюшки! помогите!—прозвенѣло въ эту самую минуту въ воздухѣ.

Спустились въ оврагъ и нашли двухъ мальчиковъ, изъ которыхъ одинъ былъ одѣтъ въ казакинѣ, другой—въ одной рубашкѣ. Ваня былъ бездыханенъ, но Миша еще былъ живъ. Невѣрная, трепещущая рука въ нѣсколько пріемовъ полоснула ножомъ по горлу, но робко и нерѣшительно.

Жажда жизни сказалась и восторжествовала.

VII.—Нашъ дружескій хламъ.

Когда мы, губернскіе аристократы, собираемся другъ у друга по вечерамъ, какого рода можетъ быть у насъ между собою бесѣда? Перемываемъ ли мы косточки своихъ ближнихъ, бесѣдуемъ ли о существѣ лежащихъ на насъ обязанностей, сообщаемъ ли другъ другу о нашихъ служебныхъ и сердечныхъ bonnes fortunes, о томъ, напримѣръ, что сегодня утромъ былъ у насъ подрядчикъ Скопищевъ, а завтра мы ждемъ заводчика Бѣлугина, и проч., и проч.?

На всѣ эти вопросы я съ гордостью могу отвѣчать, что обыденная, будничная жизнь не составляетъ и не можетъ составлять достойной канвы для нашихъ салонныхъ разговоровъ. Утромъ, запершись въ своихъ жилыхъ комнатахъ, мы можемъ, à la rigueur, переворачивать наше грязное бѣлье, бесѣдовать съ нашими секретарями и принимать различнаго рода антрепренеровъ; но съ той минуты, какъ мы покидаемъ жилыя комнаты и являемся въ наши салоны, всѣ эти неопрятности мгновенно исчезаютъ, подобно тому, какъ исчезаютъ клопы и другія насѣкомыя, гонимыя свѣтомъ дня. Какъ люди благовоспитанные, мы являемся въ наши салоны не иначе, какъ во фракахъ, и очень хорошо понимаемъ, что, находясь въ обществѣ, не имѣемъ

права тревожить чье-либо обоняніе эманаціями нашего задняго двора.

Да и какой интересъ могло бы представлять для насъ это переворачиванье домашняго хлама, когда намъ до такой степени извѣстны и переизвѣстны всѣ наши маленькія дѣлишки, наши карманныя скорби и любостяжательныя радости, что мы, какъ древніе авгуры, взглянуть другъ на друга безъ того не можемъ, чтобъ не расхохотаться?

Если я, напримѣръ, встрѣчаю на улицѣ его превосходительство Ивана Ѳомича и вижу, что въ очахъ его плаваетъ маслянистая влага, а самъ онъ, при встрѣчѣ со мной, покрывается пурпуромъ стыдливости и смотритъ на меня съ какимъ-то дѣтскимъ простодушіемъ, какъ будто хочетъ сказать: «посмотри, какъ я невиненъ! и посмотри, какъ хороша природа и какъ легка жизнь для чистыхъ сердцемъ!»—то я положительно знаю, что и этотъ пурпуръ, и эта ясность души происходятъ совсѣмъ не отъ того, что его превосходительство былъ на секретномъ любовномъ свиданіи, а отъ того, что въ томъ заведеніи, въ которомъ онъ состоитъ аристократомъ, происходили сего числа торги. И по степени влажности глазъ, и по бо́льшей или мѣньшей невинности ихъ выраженія я безошибочно заключаю о степени успѣшности торговъ... Къ чему, скажите на милость, были бы тутъ вопросы, въ родѣ: «какъ поживаете, каково прижимаете?» Къ чему тутъ ласки, коварства и увѣренія, если я опредѣлительно вижу, что сей человѣкъ счастливъ, что душа его полна музыки и что весь онъ погруженъ въ какія-то сладкія, неземныя созерцанія? И дѣйствительно, встрѣчи наши происходятъ въ молчаніи; онъ посмотритъ на меня ласково и признательно, я взгляну на него симпатически; онъ скажетъ: «гм!» и я скажу: «гм!»... и мы расходимся каждый по своему дѣлу.

Или, напримѣръ, когда я вижу другого аристократа, генерала Голубчикова, пробирающагося, часовъ въ шесть пополудни, бочкомъ по темному переулку и робко при этомъ озирающагося, то положительно могу сказать, что генералъ пробирается не къ кому другому, а именно къ привилегированной бабкѣ Шарлоттѣ Ивановнѣ. Хотя же его превосходительство, замѣтивъ меня, и начинаетъ помахивать тросточкой, дѣлая видъ, что онъ гуляетъ, но я отнюдь не отважусь предложить ему пройтись вмѣстѣ со мною, потому что твердо знаю, что такого рода предложеніе въ конецъ уязвитъ его пылающее сердце. Руководясь этою мыслью, я

прикасаюсь слегка къ полямъ моей шляпы и говорю: «гм!». Генералъ, который въ другое время тоже отвѣтилъ бы мнѣ à la militaire, въ настоящемъ случаѣ считаетъ неизлишнимъ снять съ головы своей шляпу совершенно (не погуби, дескать), и тоже говоритъ: «гм!»... и мы расходимся. А между тѣмъ дорогой воображеніе уже рисуетъ передо мной образы. Съ одной стороны я вижу маленькаго генералика, совершенно пропадающаго въ объятіяхъ дебелой привилегированной бабки, а съ другой стороны—величественную и не менѣе дебелую генеральшу, спокойно предающуюся дома послѣобѣденному сну и вовсе не подозрѣвающую, что ея крошечный Юпитерикъ нашелъ въ захолустьи какую-то вольнаго поведенія Іо и воспитываетъ ее въ явный ущербъ своей Юнонѣ.

И еще, напримѣръ, если я вижу въ восемь часовъ утра извѣстнаго подрядчика Скопищева, стучащагося въ двери дома, занимаемаго капитаномъ Малаховичемъ, то отнюдь не думаю, что Скопищевъ очутился здѣсь ни свѣтъ ни заря затѣмъ только, чтобъ узнать о здоровьи супруги и дѣтей пана Малаховича, но съ полною достовѣрностью заключаю, что ранній визитъ этотъ имѣетъ тѣсную связь съ постройкой земляной дамбы въ городѣ ***. При этомъ въ умѣ моемъ естественно возникаетъ вопросъ: «если отъ пятнадцати тысячъ отдѣлить двадцать процентовъ, то какая составится изъ этого сумма?» И въ это самое время, поровнявшись съ капитанскою квартирой, я усматриваю въ одномъ изъ оконъ толстенькую фигуру, къ чему-то канальски прислушивающуюся. Замѣтивъ меня, капитанъ нѣсколько краснѣетъ (вѣроятно, оттого, что я увидѣлъ его въ утреннемъ неглиже), произноситъ: «гм!» и поспѣшно удаляется отъ окна.

— То-то «гм!»—произношу и я въ свою очередь, и продолжаю идти своею дорогой.

Скажите на милость: къ чему же было намъ бесѣдовать о томъ, для уразумѣнія чего достаточно одного движенія губъ, одной мимолетной искры въ глазахъ, одного помаванія головы?

И дѣйствительно, канвою для нашихъ разговоровъ служатъ предметы несравненно болѣе возвышенные. Надо вамъ сказать, благосклонный читатель, что хотя мы и называемся «губернскими аристократами», но, къ великому прискорбію, аристократичность наша довольно сомнительная. Мы, что называется, аристократы съ подлинцою. Отечествомъ бо́льшей части изъ насъ служили четвертые этажи

тѣхъ поражающихъ опрятностью казенныхъ зданій, которыя во множествѣ украшаютъ Петербургъ и въ которыхъ благополучно процвѣтаютъ всѣхъ возможныхъ видовъ и цвѣтовъ экзекуторы и экспедиторы. Тамъ мы увидѣли свѣтъ, тамъ возросли и воспитались, и если самъ Петербургъ способенъ производить только чиновниковъ и болотныя испаренія, то можно себѣ вообразить, на производство какого рода издѣлій способны упомянутые выше четвертые этажи? И дѣйствительно, мы вполнѣ прошли всю суровую школу безгласности и смиреномудрія; мы были по очереди и секретарями, и приказчиками у имѣющихъ власть людей, и поставщиками духовъ, собачекъ и румянъ у ихъ женъ, и забавою у ихъ гостей. Мы безмѣрно радовались и безобразію нашихъ носовъ, и геморроидальному цвѣту нашихъ лицъ, потому что все это составляло предметъ забавы и увеселенія для нашихъ благодѣтелей и вмѣстѣ съ тѣмъ заключало въ себѣ источникъ нашего будущаго благополучія—нашу фортуну и нашу карьеру! Наконецъ, послѣ долгихъ лѣтъ терпѣнія и томныхъ искательствъ, мы получили дипломы на званіе губернскихъ аристократовъ, съ правомъ володѣть сколько душѣ угодно. По началу свѣжій воздухъ провинціи сшибъ-было насъ съ ногъ; однако, свыкшись съ малолѣтства со всякаго рода огнепостоянностями, мы устояли и здѣсь, и мало того, что устояли, но даже озаботились устроить вокругъ себя ту самую атмосферу, которая всечасно напоминаетъ нашимъ носамъ переднія нашихъ благодѣтелей. Очевидно, что при такомъ направленіи умовъ всѣ наши симпатіи, всѣ вздохи и порыванія должны стремиться къ нему, къ этому милому Петербургу, гдѣ проведена была наша золотушная молодость и гдѣ у каждаго изъ насъ имѣется, по крайней мѣрѣ, по двадцати пяти штукъ пріятельски-знакомыхъ начальниковъ отдѣленія.

Дни прихода петербургской почты бываютъ въ нашемъ обществѣ днями какой-то тревожной и вмѣстѣ съ тѣмъ восторженной дѣятельности. Это и понятно, потому что въ эти дни мы получаемъ письма отъ нашихъ пріятелей—начальниковъ отдѣленія. Мы поспѣшаемъ другъ къ другу, чтобъ подѣлиться свѣжими вѣстями, и вотъ образуется между нами живая и интимная бесѣда.

— Ну, что, ваше превосходительство,—спрашиваю я у генерала Голубчикова:—получили что-нибудь изъ столицы?

— Какъ же-съ, какъ же-съ, ваше превосходительство!—отвѣчалъ генералъ, потирая руки:—графъ Петръ Василье-

вичъ не оставляетъ-таки меня безъ пріятныхъ извѣстій о себѣ...

— Такъ вы получили письмо отъ самого графа?—спрашиваю я, нѣсколько подзадоренный.

— Мм... да,—отвѣчаетъ генералъ такимъ тономъ, какъ будто ему на все наплевать:—графъ частенько-таки изволитъ переписываться со мной!

— Мм... да,—произношу я и въ свою очередь, не желая уступить генералу Голубчикову, еще съ бо́льшимъ равнодушіемъ прибавляю:—а я такъ получилъ письмо отъ князя Николая Андреича... Каждую почту пишетъ! даже надоѣлъ старикъ!

И если при этомъ я положительно убѣжденъ, что генералъ Голубчиковъ совралъ постыднѣйшимъ образомъ, то генералъ, съ своей стороны, столь же положительно убѣжденъ, что и я совралъ не менѣе постыдно, что не мѣшаетъ намъ, однако, остаться совершенно довольными нашимъ разговоромъ.

— Скажите, пожалуйста! — удивляется въ другомъ углу его превосходительство Иванъ Ѳомичъ, слушающій чтеніе какого-то письма.

— «... внушили себѣ, будто на лбу ихнемъ фиговое дерево произрастаетъ, и никто сей горькой мысли изъ ума ихъ сіятельства изгнать не можетъ»,—раздается звучный голосъ статскаго совѣтника Генералова, читающаго вслухъ упомянутое письмо.

— Да правда ли это? Отъ кого вы получили это письмо?— сыплются съ разныхъ сторонъ вопросы.

— Отъ экзе... отъ директора, — скороговоркой поправляется статскій совѣтникъ Генераловъ, поспѣшно пряча письмо въ карманъ.

— А крѣпкій былъ старикъ!—говоритъ генералъ Голубчиковъ, котораго, какъ неслужащаго подъ начальствомъ таинственнаго «ихъ сіятельства», описанное выше происшествіе интересуетъ только съ психической точки зрѣнія.

— Н-да... крѣпкій...—въ раздумьи и словно машинально повторяетъ недавно опредѣленный молодой предсѣдатель Курилкинъ, при чтеніи письма какъ будто струсившій и поблѣднѣвшій.

— Я съ княземъ еще въ то время познакомился,—ораторствуетъ генералъ Голубчиковъ: — когда столоначальникомъ въ департаментѣ служилъ. И представьте себѣ, какой однажды со мной случай былъ...

— Н-да, случай!.. — повторяетъ Курилкинъ, у котораго уже помутились взоры отъ полученнаго извѣстія.

— Вы какъ будто нездоровы, Иванъ Павлычъ? — обращается съ участіемъ къ Курилкину Иванъ Ѳомичъ.

— Нѣтъ... я ничего, — скороговоркой отвѣчаетъ Курилкинъ:—au fait, что мнѣ князь?

— «Что онъ Гекубѣ, что она ему?» — раздается сзади шопотъ титулярнаго совѣтника Корепанова, принимаемаго, несмотря на свой чинъ, въ нашемъ маленькомъ аристократическомъ кружкѣ за comme il faut, но, къ сожалѣнію, разыгрывающаго непріятную роль какого-то губернскаго Мефистофеля.

— Да-съ, такъ вотъ какой у насъ съ княземъ случай былъ,—продолжаетъ генералъ Голубчиковъ:—вхожу я однажды въ пріемную къ князю, только вижу—сидитъ дежурный чиновникъ, а лицо незнакомое. Признаюсь, я еще въ то время подумалъ: «что это за чиновникъ такой? какъ будто бы дежурный, а лицо незнакомое?» Ну-съ, хорошо, подхожу я къ этому чиновнику и говорю: «Доложите ихъ сіятельству, что явился такой-то».—«Не принимаютъ, говоритъ, ихъ сіятельство нездоровы». Ну, а я съ графомъ былъ всегда въ короткихъ отношеніяхъ, слѣдственно для меня слово «не принимаютъ» не существовало... Вотъ и пришла мнѣ въ голову мысль: дай-ка, думаю, подтруню надъ молодымъ человѣкомъ, и, знаете, пресерьезно этакъ говорю ему: «Жаль, говорю, очень жаль, что не принимаютъ».—«Да-съ, говоритъ, не принимаютъ». Только, можете себѣ представить, въ это самое время распахивается дверь кабинета, и выходитъ оттуда камердинеръ князя, Павелъ Дороѳеичъ... Знаете Павла Дороѳеича?

— Знаемъ, знаемъ! Павла Дороѳеича цѣлый Петербургъ знаетъ!—кричимъ мы какъ-то особенно радостно.

— А изъ-за Павла Дороѳеича выглядываетъ и самъ князь. «А, говоритъ, это ты, Гаврилъ Петровичъ! а меня, братъ, сегодня «прохлады» совсѣмъ замучили (онъ «это» прохладами называлъ), такъ я не велѣлъ никого принимать... Ну, а тебя можно!..» Только, можете себѣ представить, какую изумленную физіономію скорчилъ при этомъ дежурный чиновникъ!

— Да, интересный случай! — замѣчаетъ статскій совѣтникъ Генераловъ, сладко вздыхая.

— Случай съ запахомъ,—перебиваетъ Корепановъ.

— Предобрый старикъ! — говоритъ его превосходитель-

ство Иванъ Ѳомичъ, поспѣшая заглушить своимъ голосомъ непріятную замѣтку Корепанова.

— Добрый, именно добрый!—не смущаясь, продолжаетъ генералъ Голубчиковъ: — и какое довѣріе ко мнѣ имѣлъ, такъ это даже непостижимо! Бывало, сидимъ мы съ глазу на глазъ: я бумаги докладываю, онъ слушаетъ. «А что, Гаврилъ Петровичъ, вдругъ скажетъ, прикажи-ка, братъ, мнѣ трубку подать!» Ну, я, разумѣется, сейчасъ брошусь: самъ все это сдѣлаю, самъ набью, самъ бумажку зажгу, самъ подамъ... И что-жъ вы думаете, господа, даже никакой я въ это время робости не чувствовалъ:—точно вотъ со своимъ братомъ, начальникомъ отдѣленія, бесѣдуешь! Онъ трубочку покуриваетъ, а я бумаги продолжаю докладывать... Просто какъ будто ничего не́ бывало!

— Жаль, очень жаль будетъ, если этакаго человѣка лишится отечество!—говоритъ Иванъ Ѳомичъ.

— Н-да... отечество! — повторяетъ Курилкинъ, повидимому возвратившійся къ прежнему раздумью.

— А еще говорятъ, что вельможи всѣ горды да неприступны!—продолжаетъ Иванъ Ѳомичъ.—Ничуть не бывало!

— Это говорятъ тѣ, ваше превосходительство, — весьма основательно замѣчаетъ генералъ Голубчиковъ: — которые настоящихъ-то вельможъ и въ глаза не видали. А вотъ какъ мы съ вами и въ халатикѣ съ ними посиживали, трубочки покуривали, такъ дѣйствительно можемъ удостовѣрить, что вся разница между вельможей и обыкновеннымъ человѣкомъ только въ томъ состоитъ, что у вельможи въ обхожденіи ароматъ какой-то есть...

— «Прохлады»!—ворчитъ сквозь зубы Корепановъ.

— Нашъ князь, — вступается статскій совѣтникъ Генераловъ: — такъ тотъ больше все лѣвой рукой дѣйствуетъ. И на стулъ лѣвой рукой указываетъ, и подаетъ все лѣвую руку.

— А что́ вы думаете?—говоритъ генералъ Голубчиковъ:— вѣдь это именно правда, что у вельможъ лѣвая рука всегда какъ-то болѣе развита!

— И полагаю, что въ этомъ свой расчетъ есть, — глубокомысленно замѣчаетъ Иванъ Ѳомичъ.

— То-есть не столько расчетъ, сколько грація,—возражаетъ Голубчиковъ.

— Никакъ нѣтъ-съ, ваше превосходительство: не грація, а именно расчетъ-съ.

— Нѣтъ... зачѣмъ же непремѣнно «расчетъ»! Я, на-

противъ того, положительно убѣжденъ, что грація, — говоритъ Голубчиковъ, задѣтый за живое настойчивостью Ивана Ѳомича.

— А я, *напротивъ того, положительно убѣжденъ,* что расчетъ, я имѣю на это доказательства.

— Это очень любопытно!

— И именно я полагаю, что всякій вельможа хочетъ этимъ дать понять, что правая рука у него занята государственными соображеніями.

— Ну-съ... а лѣвая рука тутъ зачѣмъ-съ?

— А лѣвая рука, какъ свободная отъ занятій, предлагается посѣтителямъ-съ...

— Ну-съ... а дальше что-съ?

— Ну-съ, а дальше то же самое!

— Та-а-къ-съ!

Съ прискорбіемъ мы замѣчаемъ, что генералы наши не прочь посчитаться другъ съ другомъ. Извѣстно намъ, что между ними издревле существуетъ худо скрытая вражда, основаніемъ которой служитъ взаимное соперничество по части знакомства съ вельможами. Поэтому, хотя мы и питаемъ надежды на деликатность генерала Голубчикова, но вмѣстѣ съ тѣмъ чувствуемъ, что еще одна маленькая капелька, и генеральское сердце безвозвратно преисполнится скорбью. Дѣйствительно, онъ взираетъ на Ивана Ѳомича съ кроткимъ, но горестнымъ изумленіемъ; Иванъ же Ѳомичъ не только не тронутъ этимъ, но, напротивъ того, устроилъ руки свои фертомъ, и въ этомъ положеніи какъ будто посмѣивается надъ всѣми громами и молніями. Положеніе дѣлается до такой степени натянутымъ, что статскій совѣтникъ Генераловъ считаетъ своею обязанностью немедленно вмѣшаться въ это дѣло.

— Я думаю, ваше превосходительство,— обращается онъ къ генералу Голубчикову:—что и въ самой граціи можетъ быть расчетъ, точно такъ же, какъ въ расчетѣ можетъ быть грація...

— Дѣло возможное!—отвѣчаетъ генералъ холодно, явно показывая, что онъ старый воробей, котораго никакими компромиссами не надуешь.

Разговоръ снова заминается, и всѣ мы чувствуемъ себя нѣсколько сконфуженными. Холодность генерала свинцовой тучей легла на наше общество, и нѣтъ, кажется, столь сильнаго солнечнаго луча, который могъ бы съ успѣхомъ разбить эту тучу. Мы всѣ знаемъ, что Голубчиковъ пре-

амбиціозный старикъ, и что едва ли онъ не единственный изъ нашихъ аристократовъ, о которомъ мы съ увѣренностью можемъ сказать, что онъ въ одинъ платокъ съ вельможами сморкается. Всѣ мы, прочіе, въ этихъ случаяхъ болѣе или менѣе прилыгаемъ, и если увѣряемъ иногда, что при такихъ-то обстоятельствахъ такой-то князь сказалъ намъ «ты» и назвалъ «любезнѣйшимъ», то этому можно вѣрить и не вѣрить. Но генералъ Голубчиковъ дѣйствительно вполнѣ чистъ въ этомъ отношеніи, и если ужъ скажетъ, напримѣръ, что однажды въ его присутствіи князь Петръ Алексѣичъ учинилъ декольтѐ, то никто не имѣетъ повода усомниться, что это именно такъ и было. «И для чего бы Ивану Ѳомичу не уступить! — думаемъ мы, внутренно соболѣзнуя о происшедшемъ. — Съ одной стороны, Ивану Ѳомичу слѣдовало бы сдѣлать небольшую уступочку, а съ другой, и генералу не мѣшало бы взглянуть на дѣло снисходительнѣе... и все было бы ладно, все было бы смирно, и мирно, и очень хорошо — такъ-то! А то вотъ дернула нелегкая — ахти-хти-хти!» По покуда мы только разсуждаемъ, статскій совѣтникъ Генераловъ уже принимаетъ дѣйствительныя мѣры къ замиренію враждующихъ сторонъ. Онъ прежде всего начинаетъ заигрывать съ генераломъ Голубчиковымъ, какъ наиболѣе неподатливымъ.

— Не получили ли чего-нибудь отъ графа насчетъ «этого» (крестьянскаго) дѣла, ваше превосходительство?—спрашиваетъ онъ.

— Получилъ-съ, — упорствуетъ генералъ въ холодности.

— Ваше превосходительство всегда самыя вѣрныя свѣдѣнія имѣть изволите, — не менѣе упорно продолжаетъ заигрывать Генераловъ.

— Самъ по себѣ я никакихъ свѣдѣній не имѣю, но конечно... довѣріе его сіятельства... однимъ словомъ, могутаки въ нѣкоторыхъ дѣлахъ посодѣйствовать...

— Какъ же-съ, какъ же-съ, ваше превосходительство! Вѣдь вы съ графомъ-то даже нѣсколько «свои»?

— Даже и не нѣсколько, — отвѣчаетъ генералъ, постепенно смягчаясь:—потому что моя Анна Ѳедоровна положительнымъ образомъ приходится внучатной племянницей Прасковьѣ Ивановнѣ, а Прасковья Ивановна, какъ вамъ извѣстно...

— Да, если кто заслужить у графа желаетъ, такъ это именно что стоитъ только къ Прасковьѣ Ивановнѣ дорогу найти!—восклицаемъ мы хоромъ.

— И представьте, что я открылъ это родство совершенно случайно! Однажды прихожу къ Прасковьѣ Ивановнѣ по хозяйственнымъ ея дѣламъ, а ей вдругъ и приди на мысль спросить меня: «а что, говоритъ, ты женатъ или холостой?»— Женатъ, говорю, ваше сіятельство, на Грѣховой.— «Ахъ, говоритъ, да вѣдь жена-то твоя мнѣ внучатной племянницей приходится!» Начали мы тутъ разбирать да распутывать — анъ и открылось! А не приди ей на мысль спросить меня—такъ бы оно и осталось подъ спудомъ...

Хотя мы неоднократно уже слышали этотъ анекдотъ, но считаемъ долгомъ и на сей разъ выслушать его съ полнымъ благоговѣніемъ. Вообще, ничто такъ не услаждаетъ нашихъ досуговъ, какъ разборъ родства и свойства сильныхъ міра сего. Повидимому, это весьма мало до насъ касается, потому что собственно наши родственники суть экзекуторы и экспедиторы, но таково уже свойство людей происхожденія благороднаго, что они постоянно стремятся къ сферамъ возвышеннымъ, низменности же предоставляютъ низкому классу. Не радостно ли, напримѣръ, услышать, что графъ Алексѣй Николаичъ выдаетъ дочь свою замужъ за сына князя Льва Семеныча? Не интересно ли при этомъ сообразить, что за молодою княгинею дано въ приданое столько-то тысячъ душъ, да у молодого князя съ своей стороны столько-то тысячъ? Не знаю, какъ въ другихъ мѣстахъ, а въ нашемъ городѣ и въ нашемъ обществѣ всякая новая семейная радость нашихъ вельможъ поистинѣ составляетъ семейную радость каждаго изъ насъ.

— Да, господа, геральдика важная вещь!—продолжаетъ, между тѣмъ, Голубчиковъ:—и нельзя не сожалѣть, что въ нашемъ отечествѣ наука эта находится еще въ младенческомъ состояніи...

Подъ вліяніемъ всѣхъ этихъ напоминаній, Иванъ Ѳомичъ, который доселѣ пребываетъ въ закоснѣлости, дѣлаетъ первый шагъ, чтобъ окончательно смягчить неудовольствіе генерала Голубчикова.

— И благопріятныя извѣстія изволили получить, ваше превосходительство? — вопрошаетъ онъ заискивающимъ голосомъ.

— Самыя благопріятныя-съ.

— То-есть, въ какомъ же родѣ?

— Въ самомъ благонадежномъ-съ. Короче сказать: опасеній никакихъ имѣть не слѣдуетъ.

Генералъ окидываетъ насъ торжествующимъ окомъ. Мы

всѣ легко и весело вздрагиваемъ; нѣкоторые изъ насъ произносятъ: «слава Богу!» и крестятся.

И не оттого совсѣмъ мы крестимся, чтобъ отъ «этого» дѣла былъ для насъ ущербъ или посрамленіе, а оттого единственно, что спокойствіе и порядокъ любимъ. Сами по себѣ мы не землевладѣльцы, и хотя у насъ имѣются нѣкоторыя благопріобрѣтенныя маетности, но онѣ заключаются преимущественно въ ломбардныхъ билетахъ, которые мы спѣшимъ въ настоящее время промѣнивать на пятипроцентные. Итакъ, не корысть и не холодный эгоизмъ руководятъ нашими дѣйствіями и побужденіями, а собственно, такъ сказать, патріотизмъ. Сей послѣдній въ различныхъ людяхъ производитъ различныя дѣйствія. Иныхъ побуждаетъ онъ лѣзть на стѣну, иныхъ стулья ломать... насъ же побуждаетъ стоять смирно. Согласитесь, что и это своего рода дѣйствіе. Мы до такой степени любимъ наше отечество въ томъ видѣ, въ какомъ оно существовало и существуетъ издревле (au naturel), что не смѣемъ даже вообразить себѣ, чтобъ могли потребоваться въ фигурѣ его какія-нибудь измѣненія. Конечно, мы не хуже другихъ понимаемъ, что нельзя иногда безъ того, чтобъ фестончикъ какой-нибудь не поправить... ну, тамъ помощника, что ли, къ становому прикинуть, или даже и цѣлый департаментикъ, для пользы общей, сочинить — слова нѣтъ! Но все это такъ, чтобъ величія-то древняго не нарушить, чтобъ гармонію-то прежнюю соблюсти, чтобъ всякое дыханіе Бога хвалило, чтобъ и травка—и та радовалась!

Такой образъ мыслей, по мнѣнію моему, есть самый благонадежный и основанный на истинномъ пониманіи вещей. Чтобъ сдѣлать мысль мою осязательнѣе, прибѣгну къ сравненію. Благоразумно ли было бы съ моей стороны, если бы я, напримѣръ, заявилъ желаніе, чтобъ у генерала Голубчикова былъ римскій носъ? Нѣтъ, неблагоразумно. Во-первыхъ, потому, что онъ и нынѣ состоящимъ у него на лицѣ учтиво вздернутымъ башмачкомъ приводитъ въ трепетъ сердца всѣхъ повивальныхъ бабокъ, а во-вторыхъ, потому, что мѣсторожденіе римскихъ носовъ — Римъ, а не Россія (самое названіе достаточно о томъ свидѣтельствуетъ). Другой вопросъ: благоразумно ли было бы, если бы я пожелалъ, чтобъ на скотномъ дворѣ пахло фіалкой, а не навозомъ? Нѣтъ, неблагоразумно, ибо запахъ фіалки приличествуетъ гостинымъ, а не скотнымъ дворамъ. Примѣровъ подобнаго рода безумныхъ желаній можно привести

множество, но и приведенныхъ двухъ, кажется, вполнѣ достаточно, чтобъ убѣдить всѣхъ и каждаго, что въ иныхъ случаяхъ желаніе нововведеній и какихъ-то тамъ перемѣнъ совершенно равносильно тому, какъ бы кто настаивалъ, чтобъ у отечества нашего выросъ римскій носъ.

— Итакъ, это дѣльце въ архивъ можно сдать? — говоритъ Иванъ Ѳомичъ, весело потирая руки.

— Какъ видно-съ.

— Да-съ; это, что называется...

— Всегда должно было ожидать.

— А вѣдь сначала-то оно было-пошло... тово...

— Да, бойко, бойко было-пошло.

— Политика—и больше ничего!

— Конечно, политика! Да оно и натурально, — продолжаетъ ораторствовать Голубчиковъ: — мы только тѣмъ и крѣпки, господа, что никогда никакихъ вредныхъ нововведеній не принимали, а жили, съ помощью Божіей, какъ завѣщали намъ предки.

— Однако, Петръ Великій, ваше превосходительство?..— учтиво замѣчаетъ Генераловъ.

— Ну, что-жъ... хоть и Петръ Великій! Бороды сбрить приказать изволилъ—и больше ничего!

— Регулярное войско завелъ-съ! — дикимъ голосомъ отзывается изъ отдаленнаго угла батальонный командиръ, который упорно молчалъ, покуда, по его мнѣнію, разговоръ касался гражданской части.

— Ужъ Петръ Михайловичъ не можетъ утерпѣть безъ того, чтобъ за свою часть не заступиться!—говоритъ Иванъ Ѳомичъ, ласково подмигивая.

— Въ гражданскую часть не вступаюсь-съ, а своего дѣла не упущу-съ!— какъ-то особенно исправно скандуетъ командиръ, какъ будто получаетъ за это благодарность по корпусу.

— Ну, что-жъ!.. хоть бы и регулярное войско!—не смущается Голубчиковъ:—это только для спокойствія—и больше ничего! Однако, никакихъ этакихъ машинъ, или, напримѣръ, чтобъ Иванъ назывался Матвѣемъ, а Матвѣй—Сидоромъ (какъ нынче)—ничего этого не бывало!

— А нынче это бываетъ?— любознательно спрашиваетъ Корепановъ.

— Бываетъ-съ,—холодно отвѣчаетъ Голубчиковъ.

Нѣтъ сомнѣнія, что размышленія и соображенія насчетъ величественнаго хода нашей исторіи могли бы завлечь

насъ довольно далеко, но появленіе милой хозяйки дома весьма естественно прерываетъ тонкую нить нашихъ историческихъ разысканій. Анна Ѳедоровна издревле пользуется репутаціей любезности и неотразимой очаровательности. Еще въ Казани, въ домѣ своихъ родителей, она уже умѣла быть самою пріятною и самою занимательною изо всѣхъ туземныхъ дѣвицъ, несмотря на то, что въ этомъ городѣ, при помощи разныхъ учебныхъ заведеній, уровень любезности вообще стоитъ довольно высоко. Потомъ, принявъ къ себѣ въ компанію генерала Голубчикова, Анна Ѳедоровна сдѣлала съ нимъ не столько артистическое, сколько полезное путешествіе по Россіи, успѣла очаровать Пермь, оставила отрадное впечатлѣніе въ Рязани и овладѣла всѣми сердцами въ Симбирскѣ. Въ настоящее время она предсѣдательствуетъ въ нашемъ городѣ, и предсѣдательствуетъ съ тѣмъ тактомъ, который ясно свидѣтельствуетъ, что, и не выходя изъ министерства финансовъ, женщина можетъ оставаться обворожительною. Хотя она является въ нашемъ (мужскомъ) обществѣ на минуту, тѣмъ не менѣе, ни одного изъ насъ не оставитъ безъ того, чтобы не подарить какою-нибудь любезностью, доказывая тѣмъ осязательно, что для умной женщины минута имѣетъ не шестьдесятъ секундъ, а столько, сколько ей захочется. Мнѣ сказывали (не знаю, въ какой степени это достовѣрно), что она даже секретаря своей палаты не оставляетъ безъ вопроса о здоровьи жены и дѣтей его, въ то время, когда этотъ достойный мужъ, посидѣвъ съ утреннимъ визитомъ въ кабинетѣ его превосходительства, съ пустыми руками и красный, какъ ракъ, перебѣгаетъ черезъ залъ въ прихожую.

— Вы, конечно, серьезными дѣлами заняты, messieurs?— обращается она, окидывая всѣхъ насъ ласковымъ взоромъ.

— Нѣтъ, тряпками!—любезно отзывается генералъ, который между дамами нашего общества пользуется репутаціей милаго гроньяра.

— Однако, мужчины имѣютъ о бѣдныхъ женщинахъ самое обидное понятіе, какъ будто мы только и можемъ быть заняты, что тряпками...—говоритъ генеральша, слегка вздыхая.

И затѣмъ, сдѣлавъ каждому изъ насъ пріятный вопросъ («la santé de madame est toujours bonne?» или: «а у вашего Колечки уже прорѣзались зубки, Иванъ Ѳомичъ?»), она удаляется, увлекши за собой во внутренніе покои Корепанова, который, какъ человѣкъ молодой и холостой, мо-

жетъ, конечно, принести больше удовольствія ея demoiselles, нежели намъ.

Послѣ этого изъ внутреннихъ покосвъ къ намъ высылается превосходно сервированный чай, съ превкусными сдобными булками, причемъ генералъ весьма привѣтливо замѣчаетъ: «вотъ это такъ дамское дѣло... хозяйничать... чай разливать»...

— А вѣдь русскій народъ именно добрый народъ!— говоритъ Иванъ Ѳомичъ, который, какъ любитель отечественной старины (онъ въ свое время, служа въ департаментѣ, цѣлый архивъ въ порядокъ привелъ), сгораетъ нетерпѣніемъ навести разговоръ на прежнюю тему.

— Кроткій народъ! — подтверждаетъ генералъ Голубчиковъ.

— И терпѣливъ-съ!—отзывается командиръ.

— Н-да; этакой народъ стоитъ того, чтобъ о немъ позаботиться! — говоритъ генералъ, и въ глаза его внезапно закрадывается какое-то удивительное блаженство, чуть-чуть лишь подернутое меланхоліей, какъ будто онъ въ ту же минуту радъ-радёхонекъ былъ бы озаботиться, но это не отъ него зависитъ.

— Въ нынѣшнемъ году всѣ пайки простилъ-съ! — вмѣшивается командиръ.

— Всѣ?— спрашиваетъ Голубчиковъ, въ концѣ побѣжденный такимъ великодушіемъ.

— Рѣшительно всѣ-съ!

— Какая, однакожъ, похвальная черта!

— Желательно было бы, знасте, изучить его, — предлагаетъ Иванъ Ѳомичъ.

— То-есть, въ какомъ же это смыслѣ?

— Ну, тамъ... нужды... желанія...

— Гм!.. я, однакожъ, не думаю, чтобъ это могло принести ожидаемую пользу...

— Почему же, ваше превосходительство?

— А потому, ваше превосходительство, что тутъ нѣтъ именно того, что мы, люди образованные, привыкли разумѣть подъ именемъ нуждъ и желаній.

— Согласитесь, однакожъ, что нужды и желанія могутъ рождаться не только сами по себѣ, но и посредствомъ возбужденія, ваше превосходительство! Оставьте, напримѣръ, меня въ покоѣ—ну, я, конечно, не буду имѣть ни нуждъ, ни желаній, а предпиши-ка мнѣ кто-нибудь: «ты, любезный, обязанъ имѣть нужды и ощущать желанія»...

повѣрьте, ваше превосходительство, что тѣ и другія явятся непремѣнно!

— Все это очень можетъ быть, но позвольте одинъ нескромный вопросъ: лучше ли будетъ?

— Если, ваше превосходительство, изволите разсматривать вопросъ съ этой точки зрѣнія...

— Не видимъ ли мы примѣровъ, что желанія только отравляютъ жизнь человѣка?

— Этого, конечно, нельзя отрицать-съ...

— Не встрѣчаемъ ли мы на каждомъ шагу, что тѣ люди самые счастливые, у которыхъ желанія ограничены, а нужды не выходятъ изъ предѣловъ благоразумія?

— Это всеконечно-съ...

— Слѣдовательно, ваше превосходительство, на это дѣло надо взглянуть не съ одной, а съ различныхъ точекъ зрѣнія...

Иванъ Ѳомичъ соглашается безусловно, и разговоръ, повидимому, истощается. Сознаюсь откровенно, мы недовольны этимъ. Ужъ давно заглядываемся мы на зеленые столы, разставленные въ залѣ, а искренній пріятель мой, Никита Ѳедорычъ Птицынъ (званіемъ помѣщикъ), еще полчаса тому назадъ, предварительно толкнувъ меня въ бокъ, сказалъ мнѣ по секрету: «что за чушь несутъ наши генералы! давно бы пора за дѣло, а потомъ и водку пить!» И хотя я въ то время старался замять такой странный разговоръ, но внутренно—не смѣю въ томъ не покаяться!—не могъ не пожелать, чтобъ Иванъ Ѳомичъ какъ можно скорѣе согласился съ генераломъ и чтобъ всѣ эти серьезныя дѣла были отложены.

Но и на этотъ разъ надеждамъ нашимъ не суждено сбыться, потому что едва лишь генералъ открываетъ ротъ, чтобъ сказать: «а не пора ли, господа, и за дѣло?» какъ двери съ шумомъ отворяются, и въ комнату влетаетъ генералъ Рылоновъ (въ сущности, онъ не генералъ, но мы его въ шутку такъ прозвали), запыхавшійся и озабоченный.

— Слышали, ваше превосходительство?—обращается онъ къ хозяину дома.—Шалимовъ въ трубу вылетѣлъ!

— Съѣлъ Забулдыгинъ!—восклицаемъ мы хоромъ.

— Скажите, пожалуйста!—отдѣляется голосъ Голубчикова.—И такъ-таки безъ всякихъ онеровъ?

— Безо всего-съ; даже никуда не причисленъ-съ.

— Что называется, умеръ безъ покаянія!—справедливо замѣчаетъ Иванъ Ѳомичъ.

Пѣхотный командиръ дико гогочетъ. Голубчиковъ долго

не можетъ придти въ себя отъ удивленія и время отъ времени повторяетъ: «скажите, пожалуйста!»

— А вѣдь нельзя сказать, чтобъ глупый человѣкъ былъ!— говоритъ Генераловъ.

— Ничего особеннаго,—возражаетъ Рылоновъ.

— Все около свѣчки леталъ!

— А главное, то забавно, что свѣчку-то пашу сальную за солнце принималъ...

— Анъ, и обжогъ крылышки!

— Ахъ, господа, господа! Какъ знать, чего не знаешь! Какъ солнышка-то нѣтъ, такъ и сальную свѣчку поневолѣ за солнце примешь!—говоритъ Голубчиковъ, впадая, по случаю превратности судебъ, въ сугубую сентиментальность.

— Все, знаете, какого-то смысла искалъ...

— Даже въ нашей канцелярской работѣ...

— Смѣшно слушать!

— Всѣхъ столоначальниковъ съ ногъ смоталъ!

— И что, напримѣръ, за расчетъ былъ ссориться съ Забулдыгинымъ, — продолжаетъ Голубчиковъ:—рѣшительно не могу понять! Я самъ вотъ, какъ видите, не разъ ему говорилъ: «да плюньте вы на него, Николай Иванычъ!» Такъ нѣтъ, куда тебѣ. «Плюнуть-то, говоритъ, я на него, пожалуй, плюну, только вѣдь и растереть потомъ надо, ваше превосходительство!»

— Анъ, вонъ и растирай теперь!

— Грани теперь въ Питерѣ мостовую, покуда приличное мѣсто отыщешь...

— Это какъ по-нашему говорится: cherche!—замѣчаетъ командиръ.

— А плюнулъ бы, такъ и все бы ладно!

— Оно, конечно, ваше превосходительство, что лучше плюнуть, но вѣдь, съ другой стороны, и сердце иногда болитъ!—возражаетъ статскій совѣтникъ Генераловъ.

— И ой-ой, еще какъ болитъ!—развиваетъ Иванъ Ѳомичъ.

— И все-таки плюнуть! — упорствуетъ Голубчиковъ.— Да помилуйте, господа, что-жъ это за ребячество! Ну, вы представьте себѣ, напримѣръ, меня: ну, иду я по улицѣ и встрѣчаю на пути своемъ неприличную кучу... Неужели я стану огрызаться на нее за то, что она на пути моемъ легла? Нѣтъ, я плюну на нее и, плюнувши, осторожно обойду.

— Нѣтъ-съ, ваше превосходительство, я насчетъ этого не могу пристать къ вашему мнѣнію,—возражаетъ Иванъ

Ѳомичъ.—Конечно, на кучу, такъ сказать, неодушевленную и, слѣдовательно, не своимъ произволомъ накиданную, сердиться смѣшно, но въ оврагъ ее свалить все-таки слѣдуетъ-съ.

— А если оврагъ ужъ заваленъ.

— И, ваше превосходительство! въ губернскомъ городѣ чтобъ не нашлось мѣста для нечистотъ! Да это Боже упаси!

— А я все-таки продолжаю утверждать, что слѣдуетъ плюнуть и больше ничего!

— Нѣтъ, вы мнѣ объясните, за что они передрались?— спрашиваетъ Генераловъ.

— Да вѣрно ли это?

— Ты, генералъ, не совралъ ли?

— Вѣдь ты, ваше превосходительство, здоровъ врать-то!

— Помилуйте-съ, сейчасъ изъ клуба-съ; Забулдыгинъ самъ всѣмъ разсказываетъ!

— Чай, шампанское на радостяхъ лакаетъ?

— Не безъ того-съ.

— Ну, значитъ, крупно наябедничалъ!

— А жаль молодого человѣка. Еще намеднись говорилъ я ему: «плюньте Николай Иванычъ!» Такъ нѣтъ же!

Для объясненія этой сцены, считаю не излишнимъ сказать нѣсколько словъ о Шалимовѣ и Забулдыгинѣ.

Шалимова мы вообще не любили. Человѣкъ этотъ, будучи поставленъ природою въ равныя къ намъ отношенія, постоянно предъявлялъ наклонности странныя и даже отчасти подлыя. Дружелюбный съ низшимъ сортомъ людей, онъ былъ самонадѣянъ и даже заносчивъ съ равными и высшими. Къ красотамъ природы былъ равнодушенъ, а къ человѣческимъ слабостямъ предосудительно строгъ. Глумился надъ пристрастіемъ генерала Голубчикова къ женскому полу, хотя всякій благомыслящій гражданинъ долженъ понимать, что человѣкъ его лѣтъ (т. е. преклонныхъ) и при томъ имѣющій хорошія средства, не можетъ безъ сего обойтись. Дѣйствія Забулдыгина порицалъ открыто и (что всего важнѣе) позволялъ себѣ разныя колкости насчетъ его дѣйствительно несоотвѣтствующаго своему назначенію носа. Вообще же видѣлъ предметы какъ бы наизнанку и походилъ на человѣка, который, не воздвигнувъ еще новаго зданія, желаетъ подкопаться подъ старое. Желаніе тѣмъ болѣе пагубное, что въ послѣднее время уже неоднократно являлись примѣры исполненія его. Слѣ-

довательно, удаленіе такого человѣка должно было не огорчить, но обрадовать насъ. И думаю, что принесенное Рылоновымъ извѣстіе произвело именно подобнаго рода дѣйствіе; хотя же генералъ Голубчиковъ и заявилъ при этомъ нѣкоторое сожалѣніе, но должно полагать, что это сдѣлано имъ единственно по чувству христіанскаго человѣколюбія.

Что же касается Забулдыгина, то человѣкъ этотъ представляетъ нѣкоторый психическій ребусъ, доселѣ остающійся неразгаданнымъ. Повидимому, и въ мнѣніяхъ о природѣ вещей онъ съ нами не разнствуетъ, и на откупа смотритъ съ разумной точки зрѣнія, и въ гражданскихъ доблестяхъ никому не уступитъ; тѣмъ не менѣе, есть въ немъ нѣчто такое, что заставляетъ насъ избѣгать искреннихъ къ нему отношеній. Это «нѣчто» есть странный нѣкій административный лай, который, какъ бы независимо отъ него самого, природою въ него вложенъ. Иной разъ онъ видимо приласкать человѣка хочетъ, но вдругъ какъ бы чѣмъ-либо поперхнется и, вмѣсто ласки, подниметъ столь озлобленный лай, что даже вчужѣ слышать больно. Такіе люди бываютъ. Иной даже свой собственный носъ въ зеркалѣ увидитъ и тутъ уже думаетъ: «а славно было бы, кабы этотъ поганый носъ откусить или отрѣзать! Но если онъ о своемъ носѣ такъ помышляетъ, то какъ мало долженъ пещись о носахъ, ему не принадлежащихъ! Очевидно, сіи послѣдніе не могутъ озабочивать его нисколько. Многіе полагаютъ, что озлобленіе Забулдыгина происходитъ частью отъ причинъ гастрическихъ (пьянства и обжорства), частью же отъ огорченія, ибо, надо сказать правду, Забулдыгинъ не мало-таки потасовокъ въ жизни претерпѣлъ. Но намъ отъ этого не легче, потому что лай Забулдыгина не только на Шалимова съ компаніей, но и на всѣхъ насъ безъ различія простирается, хотя съ нашей стороны, кромѣ уваженія къ отеческимъ преданіямъ и соблюденія издревле установленныхъ въ палатахъ обрядовъ, ничего противоестественнаго или пасквильнаго не допускается. А потому, въ семъ отношеніи, поступки Забулдыгина я ни съ чѣмъ другимъ сравнить не умѣю, кромѣ злобы ограниченной отъ природы шавки, лающей на собственный свой хвостъ, въ которомъ, отъ ея же неопрятности завелись различныя насѣкомыя.

Пора, однакожъ, кончить съ Шалимовымъ и Забулдыгинымъ, воспоминаніе о которыхъ отравляетъ пріятные часы

нашего существованія. Уже давно ждутъ насъ гостепріимные зеленые столы, и генералъ Голубчиковъ съ любезной улыбкой останавливается передъ каждымъ изъ насъ, предлагая по карточкѣ. Въ продолженіе послѣдующихъ двухъ часовъ со всѣхъ сторонъ раздаются лишь веселые возгласы, и могу сказать смѣло, что даже проигрышъ денегъ, обыкновенно располагающій человѣка къ скорби и унынію, не нарушаетъ общаго пріятнаго настроенія духа.

Въ особенности отличается пѣхотный командиръ, который за картами хочетъ вознаградить себя за нѣсколько часовъ тягостнаго молчанія, наложеннаго имъ на себя въ продолженіе вечера.

— Греческій человѣкъ Трефандосъ!—восклицаетъ онъ, выходя съ трефъ.

Мы всѣ хохочемъ, хотя Трефандосъ этотъ является на сцену аккуратно каждый разъ, какъ мы садимся играть въ карты, а это случается едва ли не всякій вечеръ.

— Фики!—продолжаетъ командиръ, выходя изъ пиковой масти.

— Ой, да перестань же, пострѣлъ!—говоритъ генералъ Голубчиковъ, покатываясь со смѣху.—Вѣдь этакъ я всю игру съ тобой перепутаю.

Такимъ образомъ мы пріятно проводимъ остальную часть вечера, вплоть до самаго ужина.

Кто что ни говори, а карты для служащаго человѣка вещь совершенно необходимая. День-то-деньской слоняясь по правленіямъ да по палатамъ, поневолѣ умаешься и захочешь отдохнуть. А какое отдохновеніе можетъ быть приличнѣе картъ для служащаго человѣка? Вино пить—непристойно; книжки читать—скучно, да и пишутъ нынче все какія-то безнравственности; разговоромъ постоянно заниматься—и нельзя, да и матерію не скоро отыщешь; съ дамами любезничать — для этого въ наши лѣта просторъ требуется; на молодыхъ утѣшаться—утѣшенья-то мало видишь, а все больше озорство одно... Словомъ сказать, вездѣ какъ будто пустыни. А карты—святое дѣло. За картами и время скорѣе уходитъ, и сердцу волю даешь, да и не проболтаешься. Иной разъ и чешется языкъ что-нибудь лишнее сказать, анъ тутъ десять безъ козырей сосѣду придетъ — ну, и промолчишь поневолѣ. Нѣтъ, карты именно благодѣтельная для общества вещь—это я не одинъ скажу.

Но вотъ и ужинъ. Кушанья подаются нѣ роскошныя, но сытныя и здоровыя. Подкрѣпивши себя рюмкой водки, мы

Весело садимся за столъ и съ новою силой возобновляемъ прерванную преферансомъ бесѣду. Вспоминается милое старое время, вспоминаются молодые годы и сопровождавшія ихъ канцелярскія проказы, вспоминаются добрые начальники, охранители нашей юности и благодѣтели нашей старости, и быстро летятъ часы и минуты подъ наплывомъ этихъ веселыхъ воспоминаній!

Такъ проводимъ мы свободные отъ служебныхъ занятій часы, и могу сказать по совѣсти, что наступающій затѣмъ сумракъ ночи не вызываетъ за собой никакихъ видѣній, которыя могли бы возмутить нашъ душевный покой. И въ самомъ дѣлѣ, перелистывая книгу моей жизни (книгу для многихъ столь горькую), я нахожу въ ней лишь слѣдующее:

Такого-то числа, всталъ, умылся, помолился Богу, былъ въ палатѣ, гдѣ пользовался правами и преимуществами, предоставленными мнѣ закономъ и древними обычаями родины; обѣдалъ, послѣ обѣда отдыхалъ, вечеръ же провелъ въ безобидныхъ для ближняго разговорахъ и увеселеніяхъ.

Такого-то числа, всталъ, умылся, помолился Богу, былъ въ палатѣ и т. д., т. е. одно и то же ровно столько разъ, сколько, по благости Провидѣнія, суждено будетъ прожить мнѣ дней въ земной сей юдоли.

VIII.—Деревенская тишь.

Утро. Кондратій Трифонычъ Сидоровъ спалъ ночь скверно и въ величайшей тоскѣ слоняется по опустѣлымъ комнатамъ деревенскаго своего дома. Комнатъ цѣлый длинный рядъ, и слоняться есть гдѣ; нѣкогда онъ гордился этимъ рядомъ залъ, гостиныхъ, диванныхъ и проч., и даже называлъ ихъ анфиладою, произнося *н* нѣсколько въ носъ; теперь онъ относится къ анфиладѣ иронически и, принимая гостей, говоритъ просто: «а вотъ и сараи мои!»

На дворѣ зима и стужа; въ комнатахъ свѣжо, окна слегка запушило снѣгомъ, видъ изъ этихъ оконъ неудовлетворительный: земля покрыта бѣлой пеленою, рѣчка скована, людскія избы занесло сугробами, деревня представляется издали какою-то безобразною кучею почернѣвшей соломы... Бѣло, голо и скучно!

Походитъ-походитъ Кондратій Трифонычъ и остановится. Иногда потретъ себѣ ладонью по животу и слегка постонетъ; иногда подойдетъ къ окну и побарабанитъ въ стекло. Вонъ по дорогѣ ѣдутъ въ одиночку сани, въ саняхъ зава-

лился мужикъ; проѣзжаетъ мимо барскаго дома и шапки не ломаетъ.

«Ладно!»—думаетъ Кондратій Трифонычъ.

И опять начинаетъ ходить по своимъ «сараямъ», и опять остановится. Посмотритъ на сапоги, просторно ли они сидятъ на ногѣ, вытянетъ ногу, чтобъ удостовѣриться, крѣпко ли штрипки пришиты и не морщатъ ли брюки.

— Ванька, квасу!—кричитъ Кондратій Трифонычъ.

Ванька бѣжитъ изъ лакейской и подаетъ на подносѣ стаканъ съ пѣнящимся квасомъ. Но Кондратію Трифонычу кажется, что онъ не подаетъ, а суетъ.

— Что ты суешь? что ты мнѣ суешь? — вскидывается онъ на Ваньку.

— Ничего я не сую!—отвѣчаетъ Ванька.

«Ладно!»—думаетъ Кондратій Трифонычъ.

И опять начинается ходьба. Кондратій Трифонычъ останавливается передъ стѣнными часами и пристально смотритъ на циферблатъ; посрединѣ циферблата крупными буквами изображено: London, а внизу болѣе мелкимъ: Nossoff à Moscou. Все это онъ сто разъ видѣлъ, надъ всѣмъ этимъ сто разъ острилъ, но онъ все-таки смотритъ, какъ будто хочетъ выжать изъ надписи какую-то новую, неслыханную еще остроту. Часы стучатъ мѣрно и однообразно: тикъ-такъ, тикъ-такъ; Кондратій Трифонычъ вторитъ имъ: «тикё-такё, тикё-такё», притопывая въ тактъ ногою. Наконецъ, и это прискучиваетъ; онъ снова подходитъ къ окну и начинаетъ вглядываться въ деревню. Оттуда не слышно ни единаго звука; только сѣрые дымки вьются надъ хижинами добрыхъ поселянъ. Кондратію Трифонычу, неизвѣстно съ чего, приходитъ на мысль слово «антагонизмъ», и онъ начинаетъ пѣть: «антагонизмъ! антагонизмъ!» выговаривая букву *н* въ носъ. Все это заканчивается свистомъ, на который опять вбѣгаетъ Ванька.

— Ты что на меня глаза вытаращилъ? — напускается на него Кондратій Трифонычъ.

— Ничего я не вытаращилъ!—отвѣчаетъ Ванька.

— Ладно! — говоритъ Кондратій Трифонычъ: — пошелъ, позови Агашку!

Черезъ минуту является Ванька и докладываетъ, что Агашка не идетъ.

— Почему-жъ она не идетъ?

— Говоритъ: «не пойду!»

— Только и говоритъ?

— Только и говоритъ!

— Ладно!

Въ головѣ Кондратія Трифоныча зрѣетъ мысль: онъ рѣшается все терпѣть, все выносить до пріѣзда станового. Поэтому, хотя внутри у него и кипитъ, но онъ этого не выражаетъ; онъ даже никому не возражаетъ, только думаетъ про себя: «ладно!» и помалчиваетъ... до пріѣзда станового.

Не дальше какъ вчера на ночь Ванька снималъ съ него сапоги и вдругъ, ни съ того, ни съ сего, прыснулъ.

— Ты чему, шельма, смѣешься? — полюбопытствовалъ Кондратій Трифонычъ.

— Ничего я не смѣюсь!—отвѣчалъ Ванька.

— Этакая бестія! смѣется, да тутъ же въ глаза еще запирается!

— Чего мнѣ запираться? Кабы смѣялся, такъ бы и сказалъ, что смѣялся!—упорствовалъ Ванька.

— Ладно!

Съ этихъ поръ въ немъ засѣла мысль, съ этихъ поръ онъ рѣшился терпѣть. Одно только смущаетъ его: всѣ свои грубости Ванька производитъ наединѣ, то-есть тогда, когда находится съ Кондратьемъ Трифонычемъ съ глазу на глазъ. Выйдетъ Кондратій Трифонычъ на улицу—Ванька бѣжитъ впереди, снѣгъ разгребаетъ, спрашиваетъ, не озябли ли ножки; придетъ къ Кондратію Трифонычу староста—Ванька то и дѣло просовываетъ въ дверь свою голову и спрашиваетъ, не угодно ли квасу.

— Услуга-парень!—замѣчаетъ староста.

— Гм!.. да... услуга!—бормочетъ Кондратій Трифонычъ и обдумываетъ какой-то планъ.

Онъ считаетъ обиды, понесенныя имъ отъ Ваньки, и думаетъ, какъ бы такимъ образомъ его уличить, чтобъ и отвертѣться было нельзя. Намеднись, напримѣръ, Ванька, подавая барину чаю, скорчилъ рожу; если бы можно было устроить, чтобъ эта рожа такъ и застыла до пріѣзда станового, тогда было бы неоспоримо, что Ванька грубилъ. Въ другой разъ, на вопросъ барина, какова на дворѣ погода, Ванька отвѣчалъ: «сиверко-съ», но отвѣчалъ это такимъ тономъ, что если бы можно было, чтобъ тонъ этотъ застылъ въ воздухѣ до пріѣзда станового, то, конечно, никто бы не усомнился, что Ванька грубилъ. И еще разъ, когда баринъ однажды дѣлалъ Ванькѣ репримандъ по поводу нерачительно вычищенныхъ сапоговъ, то Ванька, ничего не отвѣчая, отставилъ ногу; если бы можно было,

чтобъ онъ такъ и застылъ въ этой позѣ до пріѣзда станового, тогда, разумѣется...

— Нѣтъ, хитеръ, бестія, ничего съ нимъ не подѣлаешь! — восклицаетъ Кондратій Трифонычъ, и ходитъ, и ходитъ по своимъ «саряямъ», ходитъ до того, что и полъ-то словно жалуется и стонетъ подъ ногами его: да сядь же ты, ради Христа!

Онъ уже давно замѣтилъ, что между нимъ и Ванькой поселилась какая-то холодность, какая-то натянутость отношеній. Услышавши, что объ этомъ предметѣ весьма подробно объясняется въ книжкѣ, называемой «Русскій Вѣстникъ», онъ съѣздилъ къ сосѣду, взялъ у него книжку и узналъ, что подобная натянутость отношеній называется «сословнымъ антагонизмомъ».

— Ну, а дальше что?—допрашивалъ Кондратій Трифонычъ; но книжка говорила только, что объ этомъ предметѣ подробнѣе объясняется въ другой такой же книжкѣ.

— Оно, конечно,—разсуждалъ по этому поводу Кондратій Трифонычъ: — оно, конечно... Ванька сапоги чиститъ, а я ихъ надѣваю; Ванька печки топитъ, а я около нихъ грѣюсь... Ну, да, это оно!

И съ тѣхъ поръ словцо «антагонизмъ» до такой степени врѣзалось въ его память, что онъ не только положилъ его на музыку, но даже употребляетъ для выраженія всякаго рода чувствъ и мыслей.

И ходитъ Кондратій Трифонычъ по своимъ опустѣлымъ «саряямъ», ходитъ и останавливается, ходитъ и мечтаетъ. Мало-по-малу, мысль его оставляетъ Ваньку-подлеца и обращается къ другимъ предметамъ. Онъ думаетъ о томъ, что вдругъ будущимъ лѣтомъ во всѣхъ окрестныхъ имѣніяхъ засуха, а у него у одного все дожди, все дожди; что окрестные помѣщики не соберутъ и на сѣмена, а онъ все самъ-десятъ, все самъ-десятъ. Онъ думаетъ о томъ, что кругомъ все тихо, а у него въ имѣніи вдругъ землетрясеніе, слышится подземный шумъ, люди въ смятеніи, животныя въ ужасѣ... Вдругъ—вв!.. зз!.. жж!.. и—о! радость!—на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ у него росъ паршивый кустарникъ, въ одну минуту вырастаетъ высокій и частый лѣсъ, за который ему съ перваго слова даютъ по двѣсти рублей за десятину. Онъ думаетъ о томъ, что мужики его расторговались, что они помнятъ его благодѣянія и подносятъ ему соболью шубу въ пятнадцать тысячъ рублей серебромъ. Онъ думаетъ о томъ, что въ Москвѣ сгорѣло все сѣно,

сгорѣли всѣ дрова и неизвѣстно куда дѣвался весь хлѣбъ, что у него, напротивъ того, вслѣдствіе собственной благоразумной экономіи, а также вслѣдствіе различныхъ поощреній природы, всего этого накопилось множество, что онъ возитъ и продаетъ, возитъ и продаетъ... Онъ думаетъ о томъ, что вышло повелѣніе ни у кого ничего не покупать, кромѣ какъ у него, Сидорова, за то, что онъ, Сидоровъ, въ какую-то достопамятную годину пожертвовалъ изъ крестьянскаго запаснаго магазина столько-то четвертей, да потомъ еще столько-то четвертей, и тѣмъ показалъ ревность безпримѣрную и чувствительность подражанія достойную... Онъ думаетъ о томъ, что въ домѣ его собрались окрестные помѣщики и что онъ имъ толкуетъ о превосходствѣ вольнонаемнаго труда надъ крѣпостнымъ. «Конечно, господа,— говоритъ онъ имъ:—въ настоящее время помѣщикъ не можетъ получать дохода, сидя на мѣстѣ сложа руки, какъ это бывало прежде; конечно, онъ прежде всего долженъ употребить свой личный трудъ, свою личную, такъ сказать, распорядительность»...

Но вотъ мысли его, отъ усиленной работы, начинаютъ мѣшаться. Передъ глазами его, отъ безпрерывнаго коловратнаго движенія, показываются зеленые круги; бѣлая колокольня, стоящая передъ барскимъ домомъ, начинаетъ словно подплясывать; дворовая баба, проходящая по двору, словно не идетъ, а на одномъ мѣстѣ пошатывается и что-то у ней подъ фартукомъ, что-то у ней подъ фартукомъ...

— Ѣсть, что ли, мнѣ хочется?—спрашиваетъ самъ себя Кондратій Трифонычъ и съ злобою замѣчаетъ, что часовая стрѣлка показываетъ только десять.

— А вѣдь у ней подъ фартукомъ что-то есть,—продолжаетъ онъ, но не даетъ своимъ предположеніямъ дальнѣйшаго развитія, а только прибавляетъ:—Ладно!

Надоѣло ходить, надоѣло мыслить... Кондратій Трифонычъ садится на диванъ и примѣчаетъ, что пыль со стола не сметена. Въ былое время, т. е. до «антагонизма», онъ вскипѣлъ бы при видѣ такого безпорядка, онъ кликнулъ бы Ваньку и тутъ же задалъ бы ему трёпку. Теперь этотъ безпорядокъ приноситъ ему болѣе удовольствія, нежели огорченія, ибо онъ видитъ въ немъ улику.

— Ванька!—кричитъ Кондратій Трифонычъ, и въ голосѣ его слышится уже торжество побѣды:—это что?

— Столъ-съ,—отвѣчаетъ Ванька съ самымъ невозмутимымъ хладнокровіемъ.

— А на столѣ что?

— Пыль-съ.

— Ну?

Ванька молчитъ.

— Ладно! — говоритъ Кондратій Трифонычъ и черезъ минуту имѣетъ удовольствіе слышать, какъ Ванька хихикаетъ съ кѣмъ-то въ передней.

Кондратій Трифонычъ снова предается мечтаніямъ. Онъ мечтаетъ о томъ, какъ было бы хорошо, если бы онъ былъ живописцемъ; тогда онъ срисовалъ бы нахальную Ванькину рожу въ тотъ моментъ, когда отвѣчаетъ: «пыль-съ», и представилъ бы эту картинку становому. Но съ другой стороны, гдѣ же ручательство, что становой не приметъ этой картинки за вымышленное произведеніе собственной его, Кондратія Трифоныча, фантазіи? гдѣ свидѣтели, которые подтверждали бы, что Ванька, отвѣчая: «пыль-съ», имѣлъ именно такое, а не иное выраженіе лица?

— О, чортъ побери! Эти приказные вѣчно съ своими канцелярскими заковычками!—восклицаетъ Кондратій Трифонычъ и начинаетъ выискивать мечтаній болѣе практическихъ.

Онъ мечтаетъ о томъ, какъ было бы хорошо, если бы становой вдругъ, въ эту самую минуту, выросъ изъ земли такъ, чтобъ Ванька не опомнился и никакъ не успѣлъ стереть пыль со стола. Представляетъ онъ себѣ изумленную, ополоумѣвшую морду Ваньки и невольно и сладко хихикаетъ.

— «Пыль-съ»,—дразнитъ онъ Ваньку, почти подплясывая на мѣстѣ.

— Это что?—грозно спрашиваетъ Ваньку воображаемый становой.

— «Пыль-съ»,—опять дразнится Кондратій Трифонычъ и опять подплясываетъ на мѣстѣ.

Становой, наконецъ, убѣждается; онъ приказываетъ срубить цѣлую березу и вручаетъ ее десятскимъ. Ваньку уводятъ... На другое утро Ванька является шелковый; цѣлый день все что-то чиститъ и стираетъ; цѣлый день мететъ полъ и оправляетъ баринову постель, цѣлый день ставитъ самовары и мѣшаетъ въ печкахъ дрова...

Но, съ другой стороны (о, чортъ возьми!), гдѣ же ручательство, что становой именно велитъ березу срубить? Гдѣ ручательство, что онъ не отвѣтитъ Кондратью Трифонычу, что онъ и самъ могъ бы стереть пыль со стола?

— О, чортъ побери! Эти приказные вѣчно съ своими канцелярскими заковычками!—восклицаетъ Кондратій Трифонычъ и начинаетъ выискивать мечтаній еще болѣе практическихъ.

Онъ мечтаетъ, что никакихъ заковычекъ больше нѣтъ, что онъ призываетъ станового (который нарочно тутъ и стоитъ, чтобъ заковычекъ не было) и говоритъ ему:—«Ванька мнѣ мину сдѣлалъ!»

— Сейчасъ-съ, — говоритъ становой и летитъ во весь духъ распорядиться.

Потомъ онъ опять призываетъ станового и говоритъ ему:—«Ванька пыли со стола не стеръ!»

— Сейчасъ-съ, — говоритъ становой и летитъ распорядиться.

Но вотъ и опять мысли мѣшаются, опять ооразуются зеленые круги, опять подплясываетъ бѣлая длинная колокольня. Надоѣло сидѣть, надоѣло мыслить...

— Чортъ знаетъ, ѣсть, что ли, мнѣ хочется?—опять спрашиваетъ себя Кондратій Трифонычъ и съ тоскою взглядываетъ на часы. Тоска обращается въ ненависть, потому что часовая стрѣлка показываетъ половину одиннадцатаго.

— За поповымъ братомъ, что ли, спосылать?—разсуждаетъ самъ съ собой Кондратій Трифонычъ и тутъ же рѣшаетъ, что спосылать необходимо.

Кондратій Трифонычъ малый не злой и даже покладистый для своихъ домочадцевъ, но съ нѣкотораго времени нравъ у него страннымъ образомъ перемѣнился. Ванька, съ свойственною ему легкомысленностью, отзывался объ этой перемѣнѣ, что Кондратій Трифонычъ спятилъ; ключница Мавра выражалась скромнѣе и говорила, что баринъ задумывается, что на него находитъ. Какъ бы то ни было, но перемѣна существовала и произошла едва ли не въ ту самую минуту, какъ онъ прочиталъ, что есть на свѣтѣ какой-то сословный антагонизмъ. Съ тѣхъ самыхъ поръ онъ вообразилъ себѣ, что онъ—одна сторона, а Ванька—другая сторона, и что они должны бороться. Ванька представлялъ собою интересы всѣхъ чистящихъ сапоги и топящихъ печки Кондратій Трифонычъ—интересы всѣхъ носящихъ сапоги и грѣющихся около истопленныхъ печей. Ясно, что стороны эти не могутъ понимать другъ друга и что изъ этого долженъ произойти антагонизмъ. И вотъ онъ борется утромъ, борется за обѣдомъ, борется до поздней ночи. Но Ванька не понимаетъ, что̀ такое антагонизмъ, и очевидно укло-

няется отъ борьбы. Онъ исправляетъ свои обязанности попрежнему, то-есть попрежнему не стираетъ пыли со столовъ, попрежнему забываетъ закрыть трубы въ печахъ, а Кондратій Трифонычъ видитъ во всемъ грубыя мины, злостныя позы à la неглижѐ съ отвагой и старается Ваньку изобличить. Изъ этого выходитъ, что Ванька, какъ только забьется въ переднюю, первымъ дѣломъ начинаетъ хихикать и представляетъ, какъ баринъ къ нему пристаетъ. Кондратій Трифонычъ слышитъ это и говоритъ: «ишь, шельма, смѣется!» а того никакъ понять не хочетъ, что Ванька даже и не подозрѣваетъ, что ему, Кондратію Трифонычу, хочется борьбы. И такимъ образомъ, умаявшись къ вечеру, оба засыпаютъ. Кондратій Трифонычъ видитъ во снѣ, что онъ сдѣлался медвѣдемъ, что онъ смялъ Ваньку подъ себя и торжествуетъ; Ванька видитъ во снѣ, что онъ третьи сутки все чиститъ одинъ и тотъ же сапогъ и никакъ-таки вычистить не можетъ.

— Что̀ за чудо!—кричитъ онъ во снѣ и, какъ оглашенный, вскакиваетъ съ одра своего.

«Ишь вѣдь, каналья, даже во снѣ не оставляетъ въ покоѣ!»—думаетъ въ это время Кондратій Трифонычъ, пробужденный неестественнымъ крикомъ Ваньки.

И такимъ образомъ проходятъ дни за днями. Выигрываетъ отъ этого положительно одинъ Кондратій Трифонычъ, потому что такое препровожденіе времени, по крайней мѣрѣ, наполняетъ пустые дни его. Съ тѣхъ поръ, какъ завелось «превосходство вольнонаемнаго труда надъ обязательнымъ», съ тѣхъ поръ, какъ, съ другой стороны, опекунскій совѣтъ закрылъ гостепріимныя свои двери, глуповскія веси уныли и запустѣли. Заниматься рѣшительно нечѣмъ да и не для чего: все равно ничего не выйдетъ. Говорятъ, будто это отъ того происходитъ, что кредиту нѣтъ и что Сидоровымъ подняться нечѣмъ; можетъ-быть, жалоба эта и справедлива, однако, до Сидоровыхъ ни въ какомъ случаѣ относиться не можетъ. Недостатокъ кредита не губитъ, а спасаетъ ихъ, потому что, будь у нихъ деньги, они накупили бы себѣ собакъ, а не то чтобъ что-нибудь для души полезное сдѣлать. А то еще подниматься! Повторяю: веси пріуныли и запустѣли, въ весяхъ дѣлать нечего, потому что, все равно, ничего не выйдетъ. Тò, что̀ оживляло ихъ въ бывалыя времена, какъ-то: взаимные банкеты и угощенія, а также распоряженія на конюшнѣ, тò въ настоящее время не можетъ уже имѣть мѣста: первые—

по причинѣ недостатка кредита, вторыя — потому что не дозволены. Какимъ же образомъ убить, какъ издержать распроклятые дни свои? Поневолѣ ухватишься за антагонизмъ, хотя въ сущности никакого антагонизма нѣтъ и не бывало, а было и есть одно: «вы наши кормильцы, а мы ваши дѣти!» Вотъ и Кондратій Трифонычъ ухватился за антагонизмъ, и хотя онъ не сознается въ этомъ, но все-таки жизнь его съ тѣхъ поръ потекла какъ-то полнѣе. По крайней мѣрѣ, теперь у него есть политическій интересъ, есть политическій врагъ, Ванька, противъ котораго онъ направляетъ всю дѣятельность своихъ умственныхъ способностей. Смотришь, анъ день-то и канулъ незамѣтнымъ образомъ въ вѣчность, а тамъ и другой наступилъ, и другой канулъ...

Но вотъ и батюшкинъ братъ пришелъ; Кондратій Трифонычъ слышитъ, какъ онъ сморкается и откашливается въ передней, и въ нетерпѣніи ворчитъ:

— О, чтобъ!.. сморкаться еще выдумалъ!..

Батюшкинъ братъ—человѣкъ маленькій, рыхленькій; онъ уже лѣтъ семь какъ состоитъ въ ожиданіи вакансіи, но по какому-то несчастному случаю мѣста не получаетъ; лицо имѣетъ благостное, но вмѣстѣ съ тѣмъ и угрожающее, какъ будто оно говоритъ: «а вотъ погоди, скажу я тебѣ ужо проповѣдь!» Ходитъ батюшкинъ братъ, словно лебедь плыветъ, рукой дѣйствуетъ размашисто, говоритъ размазисто. Носъ у него, вслѣдствіе внезапнаго перехода со стужи въ тепло, влаженъ; на усахъ висятъ ледяныя сосульки.

— Скука, отче! — говоритъ Кондратій Трифонычъ послѣ взаимныхъ привѣтствій.

— Можно молитвою развлечься,—отвѣчаетъ батюшкинъ братъ, и при этомъ лицо его осклабляется.

— Ну, васъ!

Молчатъ.

— Сидѣлъ-сидѣлъ, молчалъ-молчалъ, — начинаетъ Кондратій Трифонычъ: — индо дурость взяла! Чортъ знаетъ, чего не передумалъ! Хоть бы ты, что ли, отче, паству-то вразумилъ!

— Развѣ предосудительное что замѣтить изволили?— отвѣчаетъ батюшкинъ братъ, и лицо его выражаетъ жалость, смѣшанную съ испугомъ.

— Да что! грубятъ-себѣ поголовно, да и шабашъ!

— Непохвально!

— Просто житья отъ хамовъ нѣтъ!

— Въ комъ же вы наиболѣе такое настроеніе замѣчать изволили, Кондратій Трифонычъ?

— Во всѣхъ! Отъ мала до велика — всѣ грубятъ! Да какъ еще грубитъ-то выучились! Ни слова тебѣ не говоритъ—а грубитъ! служитъ тебѣ, каналья, стаканъ воды подаетъ—а грубитъ!

Батюшкинъ братъ тоскливо помоталъ головой и крякнулъ.

— И во многихъ такое настроеніе замѣчаете? — бряк-нулъ онъ, позабывъ, что повторяетъ свой прежній вопросъ.

— Да говорятъ же тебѣ: во всѣхъ! во всѣхъ! Ну, слы-шишь ли ты: во всѣхъ! во всѣхъ!

Батюшкинъ братъ слегка привскакнулъ и откинулся на-задъ, какъ будто обжогся. Опять молчатъ.

— Что-жъ это за скука такая!—начинаетъ Кондратій Трифонычъ.—Закуску, что ли, велѣть подать?

— Во благовременіи и пища невредительна бываетъ.

— А не во благовременіи какъ?

Батюшкинъ братъ опять привскокиваетъ и откидывается назадъ.

— Ну, и сиди не ѣвши: зачѣмъ пустяки говоришь!

Молчатъ.

— Не люблю я, когда ты пустяки мелешь!

Молчатъ.

— И кого ты этими пустяками удивить хочешь?

Батюшкинъ братъ краснѣетъ. Кондратій Трифонычъ тяжко вздыхаетъ и произноситъ:

— Охъ, скука-то, скука-то какая!

— Время неблагопотребное,—рискуетъ батюшкинъ братъ, но тутъ же обнаруживаетъ безпокойство, потому что Кон-дратій Трифонычъ смотритъ на него сурово.

— И откуда ты этакимъ глупымъ словамъ выучился! Говорилъ бы просто: непотребное время! И не надоѣло тебѣ языкъ-то ломать!—строго говоритъ Кондратій Трифонычъ.

Опять водворяется молчаніе, изрѣдко прерываемое глу-бокими вздохами Кондратія Трифоныча. Батюшкинъ братъ вынимаетъ платокъ изъ кармана и начинаетъ вытирать имъ между пальцами.

— Что это я все вздыхаю! что это я все вздыхаю!— произноситъ Кондратій Трифонычъ.

— О грѣсѣхъ...—началъ-было батюшкинъ братъ, но не окончилъ, а только пискнулъ.

— Тьфу ты!

Молчатъ.

— А ты слышалъ, что Скуракинъ на-дняхъ такого же вотъ, какъ ты, поповскаго брата высѣкъ?—спрашиваетъ внезапно Кондратій Трифонычъ.

— Сс... стало-быть, слѣдствіе наряжено?

— Да, братъ, тоже вотъ все говорилъ: «о грѣсѣхъ» да «благоутробно»—ну, и высѣкъ!

Всю эту исторію Кондратій Трифонычъ сейчасъ только что выдумалъ и никакого поповскаго брата Скуракинъ не сѣкъ. Но ему такъ понравилась его выдумка, что онъ даже повеселѣлъ.

— Да, братъ, права наши еще не кончились! Вотъ вздумалъ высѣчь—и высѣкъ! Ищи на немъ!

— Однако, позвольте, Кондратій Трифонычъ, осмѣливаюсь я думать, что господинъ Скуракинъ поступилъ не по закону!

— Ну, по какому тамъ еще закону! Извѣстно, сѣкутъ не по закону, а по обычаю!

— Позвольте, Кондратій Трифонычъ, я все-таки осмѣливаюсь полагать, что господинъ Скуракинъ не имѣлъ никакого права!

— Высѣкъ—и все тутъ!

— Высѣчь недолго-съ.

— Ну, да... и долго, не недолго... а высѣкъ!

Батюшкинъ братъ крякнулъ; онъ видимо былъ обиженъ. Что-жъ это такое въ самомъ дѣлѣ? И съ какой стати Кондратій Трифонычъ завелъ такую пустую матерію? И не заключаютъ ли слова его фигуры иносказанія?

— Стало-быть, этакъ всѣхъ высѣчь можно?—произнесъ онъ съ видимымъ волненіемъ.

— Всѣхъ!

— Стало-быть, и...—батюшкинъ братъ не договорилъ.

— Стало-быть, и...

Батюшкинъ братъ обидѣлся окончательно. Мало-по-малу, онъ такъ разревновался, что даже всталъ и началъ прощаться.

— Ужъ я, Кондратій Трифонычъ, лучше въ другой разъ приду, когда улучится болѣе благопріятная минута,—сказалъ онъ.

— Ну, да постой! куда ты? Это вѣдь я пошутилъ.

— Неблагообразно шутить изволите!

— Фу, чортъ! опять ты съ своимъ благоутробіемъ! Да говорятъ тебѣ: пошутилъ!

— Нѣтъ, Кондратій Трифонычъ!

— Слышь, говорятъ: пошутилъ!

— Нѣтъ-съ, Кондратій Трифонычъ!

— Ну, и ступай! ну, и пропадай! Только ты у меня смотри: ни всенощныхъ, не молебновъ... ни-ни!

— И не надо-съ! Собственную же свою душу не соблюдете.

Батюшкинъ братъ ушелъ; въ передней опять послышалось откашливаніе и сморканіе; Кондратій Трифонычъ опять почувствовалъ приливъ тоски.

— Эй! воротить его!—крикнулъ онъ.

Ванька побѣжалъ, но воротился съ отвѣтомъ, что батюшкинъ братъ не идетъ...

— Сказать ему, что я умираю!

Батюшкинъ братъ воротился, но сталъ у самой двери.

— Что вамъ, сударь, угодно?—спросилъ онъ съ достоинствомъ.

— Да садись же ты!

— Нѣтъ-съ, и дома посижу!

— Ну, да полно! Благопрости ты меня, поблагобесѣдуй ты со мной! Ну, видишь!

Батюшкинъ братъ колебался.

— А не то, давай почавкаемъ что-нибудь! А если и это не нравится, такъ поблаготрапезуемъ!

Батюшкинъ братъ плавными шагами приблизился къ стулу и сѣлъ. Но онъ все-таки еще не совсѣмъ оправился, потому что опять вынулъ изъ кармана платокъ и началъ вытирать имъ между пальцевъ.

Приносятъ водку; Кондратій Трифонычъ наливаетъ рюмку и подноситъ батюшкину брату; но въ ту минуту, когда батюшкинъ братъ ужъ почти касается рукою рюмки, Кондратій Трифонычъ дѣлаетъ быстрый маневръ и мгновенно выпиваетъ водку самъ. Батюшкинъ братъ крякаетъ и опять косится на шапку. Однако, на этотъ разъ все устраивается благополучно.

— Я думаю на будущій годъ молотилку выписать,—говоритъ Кондратій Трифонычъ, а самъ въ то же время думаетъ: «кукишъ съ масломъ! на какія-то деньги ты выпишешь!»

— Это полезно,—отвѣчаетъ батюшкинъ братъ:—и крестьяне отъ васъ позаняться могутъ.

— Я и сѣноворошилку куплю,—упорствуетъ Кондратій Трифонычъ:—да вотъ еще сѣялка такая есть...

— Сс...—произноситъ батюшкинъ братъ.

Молчатъ. Выпили по другой.

— У меня имѣніе хорошее!—говоритъ Кондратій Трифонычъ.

Батюшкинъ братъ, неизвѣстно съ чего, вдругъ распростираетъ руки, какъ будто хочетъ обнять необъятное.

— Ну, да! Это надо сказать правду, что хорошее, нужно только руки приложить!—продолжаетъ Кондратій Трифонычъ.—Вотъ я съ будущаго года молоко въ Москву возить стану!

— Экипажцы, стало-быть, такіе сдѣлаете

— Ну, да! Положимъ, напримѣръ, что корова даетъ... ну, хоть ведро въ день!

Батюшкинъ братъ крякаетъ и откидывается назадъ.

— Ну, да... ну, хоть ведро въ день! Положимъ, хоть по восьми гривенъ за ведро... сколько это будетъ?

Кондратій Трифонычъ задумывается и въ разсѣянности выпиваетъ третью рюмку. Батюшкинъ братъ съѣдаетъ грибокъ.

— Одного торфу сколько у меня!—вдругъ восклицаетъ Кондратій Трифонычъ.

— Стало-быть, торфомъ торговать будете?—спрашиваетъ батюшкинъ братъ и, приложивъ руку къ сердцу (дабы не распахнулась ряска), крадется къ столу, чтобъ отрѣзать кусочекъ ветчинки.

— Всѣмъ буду торговать: и молокомъ буду торговать, и торфъ буду продавать, и ягоды въ Москву буду возить! Нонче, братъ, глядѣть-то нечего! нонче, братъ, дворянскую-то спѣсь надо по-боку!

— Сс...—удивляется батюшкинъ братъ.—Стало-быть, извольте находить, что непредосудительно?

Вмѣсто отвѣта Кондратій Трифонычъ выпиваетъ четвертую и въ то же время указываетъ на графинъ батюшкину брату, который немедленно слѣдуетъ его примѣру.

— А позвольте узнать,—спрашиваетъ батюшкинъ братъ:—какъ же теперь купцы, мѣщане... стало-быть, имъ возбранено будетъ торговать!

— А мнѣ что за дѣло!

— Стало-быть, это ужъ не будетъ, чтобъ всякому, то-есть, званію предѣлъ былъ положенъ?

— Не будетъ, а что?

— Ничего-съ: конечно, по Писанію, оно не то, чтобъ... потому, есть купующіе, есть и куплю дѣющіе, есть воздѣлывающіе землю, есть и поядающіе...

— Ну, такъ что-жъ?

— Ничего-съ... я къ примѣру-съ...

— И кого только ты этими глупостями удивить хочешь!

Молчатъ.

— А то вотъ еще искусственнымъ разведеніемъ рыбъ заняться можно!—вдругъ изобрѣтаетъ Кондратій Трифонычъ.

— Сс... стало-быть, всякую рыбицу у себя завести можно?

— Всякую!

— Сс... подумаешь, какую, однако, власть надъ собой человѣкъ взялъ!

— Да, братъ, власть!

— Только тверди и звѣздъ небесныхъ еще содѣлать не можетъ.

— А рыбу можетъ всякую!

— И небезвыгодно?

— Какое, къ чорту, безвыгодно! Ты пойми, сколько въ Москвѣ стерлядь-то стоитъ!

— Что-жъ, это дѣло хорошее! Можетъ, и крестьяне около васъ позаймутся.

Молчатъ.

Кондратій Трифонычъ слегка зѣваетъ.

— Я нонче все буду самъ: лѣсъ рубить буду самъ, молоко въ Москву возить—самъ, торфъ продавать—самъ!—говоритъ онъ, приходя внезапно въ восторгъ.

— Доброс, сударь, дѣло!—отвѣчаетъ батюшкинъ братъ.

— Нонче, братъ, не то, что прежде! Нѣтъ, братъ, шалишь! Нонче вездѣ все самъ: и посмотри самъ, и свѣсь самъ, и съѣзди вездѣ самъ, и опять посмотри, и опять свѣсь!

Кондратій Трифонычъ, говоря это, суетится и тыкаетъ руками, какъ будто онъ въ самую эту минуту и смотритъ, и вѣситъ, и куда-то ѣдетъ.

— Это точно; и предки наши говаривали: «свой глазокъ-смотрокъ!»

— Предки-то наши говаривали, а сами одну навозницу соблюдали!

Батюшкинъ братъ снисходительно улыбается. Водворяется молчаніе.

— Хорошо бы машину какую-нибудь выдумать!—говоритъ Кондратій Трифонычъ.

— Про какую-такую машину говорить изволите?

— Ну, да какую-нибудь... чтобъ и жала, и косила, и лѣсъ бы рубила, и масло бы пахтала... и вездѣ бы одинъ приводъ дѣйствовалъ!

— Слышно, англичане много всякихъ машинъ выдумываютъ!

— Сидѣлъ бы я себѣ дома, да дѣлалъ бы, да дѣлалъ бы машины, а потомъ въ Москву продавать возилъ бы.

— Вотъ Богъ англичанамъ на этотъ счетъ большую остроту ума далъ!—настаиваетъ батюшкинъ братъ.

— А нашимъ не далъ!

— Зато нашъ народъ благочестіемъ и благоугодною къ церкви преданностью одарилъ!

— Ну, и опять тебѣ говорю: кого ты своими благоглупостями удивить хочешь?

Батюшкинъ братъ окончательно конфузится и закусываетъ губы. Напротивъ того, Кондратій Трифонычъ воспламеняется и постепенно входитъ въ хозяйственный азартъ. Онъ объясняетъ, что можно налима съ лещомъ совокупить и что изъ этого должна произойти рыба, у которой будутъ печонки и молоки налимьи, а тешка лещиная; онъ объясняетъ, что примѣры подобнаго совокупленія случались и въ природѣ: стерлядь совокупилась съ осетромъ и вышла рыба *шипъ*, которую онъ ѣлъ на обѣдѣ у губернатора.

— Не у теперешняго, — прибавляетъ онъ: — теперь у насъ какой-то гордишка, аристократишка какой-то, а вотъ у прежняго, у генерала Слабомыслова.

Онъ объясняетъ батюшкину брату, какую онъ машину выпишетъ: и дрова таскать будетъ, и пахать будетъ, и воду носить будетъ, и топить ее будетъ не дровами, а землей,—все землей!

— Работниковъ, братъ, мнѣ съ этой машиной совсѣмъ не надо!—прибавляетъ онъ.

Онъ объясняетъ, наконецъ, какихъ онъ коровъ изъ Англіи выпишетъ: костей у нихъ совсѣмъ нѣтъ, а все одно мясо да молоко, все молоко, все молоко!

Онъ объясняетъ, наконецъ, что выстроитъ новую колокольню, такую колокольню: одинъ этажъ каменный, другой деревянный, потомъ опять каменный и опять деревянный.

— Жертва Богу угодная!—замѣчаетъ батюшкинъ братъ:— жертва, сударь, все равно, что кадило благовонное!

— А ты думалъ какъ?

— Впрочемъ, колокольня у насъ еще постоитъ... вотъ насчетъ трапезы, Кондратій Трифонычъ!

— Ужъ ты молчи, я все сдѣлаю: и колокольню сломаю, и трапезу сломаю, я все сломаю! — объясняетъ Кондратій Трифонычъ.

И разговаривая такимъ манеромъ, выпиваетъ рюмку за рюмкой, рюмку за рюмкой!

Батюшкинъ братъ, въ свою очередь, выпиваетъ, и вслѣдствіе этого безпрестанно поправляетъ пальцами глаза, какъ будто хочетъ ихъ разодрать, чтобъ лучше видѣть. Въ то же время онъ радуется, что въ одно утро пріобрѣлъ столько разнообразныхъ свѣдѣній.

— Это вы благополезное дѣло затѣяли, Кондратій Трифонычъ!—говоритъ онъ.

— Тьфу ты!

Наконецъ, изолгавшись въ конецъ и, вѣроятно, найдя, что машины всѣ до одной изобрѣтены, коровы всѣ выписаны, Кондратій Трифонычъ впадаетъ въ истощеніе. Часы бьютъ два.

— Обѣдать! — кричитъ Кондратій Трифонычъ. — Ты со мной, что ли, отче?

— Ужъ очень занятно вы разсказываете, Кондратій Трифонычъ, послушалъ бы и еще-съ.

— Ну, а коли послушалъ бы, такъ оставайся!

Подаютъ обѣдать; но геній хозяйственной распорядительности уже отлетѣлъ отъ Кондратія Трифоныча. Онъ не то чтобъ спитъ, но слегка совѣетъ и только изрѣдка подмигиваетъ батюшкину брату на Ваньку (дескать, посмотри, какъ суетъ!), который, въ свою очередь, не стѣсняясь присутствіемъ этого послѣдняго, показываетъ барину сзади языкъ. Такимъ образомъ, антагонизмъ, о которомъ такъ много говоритъ Кондратій Трифонычъ, представляется батюшкину брату въ лицахъ на самомъ дѣйствіи.

— Ты для чего же рыжиковъ къ жаркому не подалъ?— невѣрнымъ, нѣсколько путающимся языкомъ допрашиваетъ Ваньку Кондратій Трифонычъ.

— А для того и не подалъ, что огурцы есть,—тоже путающимся языкомъ отвѣчаетъ Ванька.

— Ишь ты! дразнится, шельма! — замѣчаетъ Кондратій Трифонычъ и подмигиваетъ батюшкину брату, какъ бы приглашая его быть свидѣтелемъ Ванькиной грубости.

Наконецъ, и сумерки упали. Батюшкинъ братъ давно ушелъ; Кондратій Трифонычъ спитъ и даже во снѣ ничего не видитъ. Какъ повалился онъ на постель, такъ ему голову словно заложило чѣмъ. Въ передней вторитъ ему Ванька.

Въ шесть часовъ Кондратій Трифонычъ уже шагаетъ по своимъ сараямъ и проситъ квасу. Въ средней комнатѣ уныло мерцаетъ стеариновая свѣча; прочія комнаты окутаны мракомъ. Кондратій Трифонычъ шагаетъ и думаетъ, что бы ему сдѣлать такое, чтобы...

— Чтобы что?—спрашиваетъ его внутренній голосъ.

— Господи, какая тоска!—восклицаетъ Кондратій Трифонычъ, не разрѣшая вопроса.

И опять ходитъ, и все о чемъ-то думаетъ, все чего-то ждетъ. Думаетъ о томъ, что завтра, быть-можетъ, будетъ снѣгъ, а быть-можетъ, будетъ и вьюга; ждетъ, что къ Николину дню будутъ морозы.

— О, чортъ побери!—восклицаетъ онъ.

И опять ходитъ, и опять ждетъ—скоро ли чай подадутъ?..

— Ванька! да пошли ты, разбойникъ, Агашку ко мнѣ!—кричитъ онъ отчаяннымъ голосомъ.

Агашка на этотъ разъ является. Это дѣвушка кругленькая, полненькая, бѣлокуренькая, съ измятымъ, но весьма пріятнымъ личикомъ.

— Что вы, Агашенька, ко мнѣ не ходите? — спрашиваетъ ее Кондратій Трифонычъ, сѣменя кругомъ нея ножками, какъ дѣлаютъ влюбленные пѣтухи.

— Вы развѣ спрашивали меня?—отзывается Агашенька, повертываясь на своей оси по тому же направленію, по какому ходитъ Кондратій Трифонычъ.

— Я за вами десять разъ Ваньку посылалъ-съ!

— Ванька ни разу мнѣ не говорилъ!

— Этакой .котъ, подлецъ! А отчего же вы сами никогда ко мнѣ не зайдете-съ?

Агашенька не отвѣчаетъ; она слегка зардѣлась.

— Ну-съ, Агашенька-съ?

— Я, Кондратій Трифонычъ, я-съ... — начинаетъ Агашенька и никакъ не можетъ кончить.

— Ну-съ, что же вы-съ?

— Я-съ... позвольте мнѣ, Кондратій Трифонычъ, замужъ идти-съ! — скороговоркой произноситъ Агашенька и умолкаетъ, словно сама испугалась словъ своихъ. А щечки у нея такъ и пылаютъ, такъ и рдѣютъ отъ стыда и испуга!

Кондратій Трифонычъ озадаченъ; онъ думаетъ, какъ ему поступить, и, разумѣется, какъ всѣ люди, которыхъ самолюбіе неожиданно уязвлено, на первыхъ порахъ надумываетъ глупѣйшую штуку. Онъ какъ-то надувается и устраиваетъ оскорбленную мину; онъ поднимаетъ плечи и, отступя нѣсколько шаговъ назадъ, указываетъ Агашѣ руками на двери.

— Скатертью дорога-съ!—говоритъ онъ.—Ну, такъ что же-съ, и съ Богомъ-съ!

— Душенька! Кондратій Трифонычъ! Ей-Богу, я не

могу!—говоритъ Агашенька и въ то же время стыдится и рдѣетъ, едва выговаривая отъ волненія слова.

— А коли не можете, такъ и съ Богомъ! — отвѣчаетъ Кондратій Трифонычъ, попрежнему глупымъ образомъ уставляя руки по направленію къ двери.

Агашенька закрываетъ лицо платкомъ и быстро выбѣгаетъ.

Кондратій Трифонычъ остается одинъ и опять принимается за ходьбу. Но онъ чувствуетъ, что у него начинаетъ щемить сердце; онъ чувствуетъ, что къ глазамъ что-то подступаетъ.

— Ладно, это ладно!—говоритъ онъ самому себѣ.

— Что «ладно»-то?—спрашиваетъ внутренній голосъ.

«Ну, чортъ съ нею!—думаетъ онъ:—поѣду въ Москву и найду себѣ... А вѣдь она, чай, за повара?»

И опять начинаетъ сосать сердце, и опять начинаетъ что-то подступать къ глазамъ.

— Ваня! позови Агашу! — говоритъ онъ словно измѣнившимся голосомъ, просовывая голову въ переднюю.

Черезъ минуту Ванька возвращается и докладываетъ, что Агашка не идетъ.

— Да ты поди, ты скажи ей, что я... такъ.

Ванька скрывается.

— Вы меня спрашивали, Кондратій Трифонычъ? — раздается въ темнотѣ знакомый голосъ.

— Вы за кого-жъ замужъ выходите, Агашенька-съ? — спрашиваетъ Кондратій Трифонычъ.

— Я-съ... за повара... за Степана-съ!

— Гм!.. за Степана! А въ дѣвушкахъ остаться не хотите?

— Ужъ позвольте, Кондратій Трифонычъ!

— Ну, Богъ съ вами! Кто же у васъ посаженымъ отцомъ будетъ?

Агашенька перебираетъ пальцами концы большого платка, который накинутъ у нея на шею.

— Хочешь, я посаженымъ отцомъ буду?

— Ахъ, нѣтъ... нѣтъ... ужъ оставьте это, Кондратій Трифонычъ!

— Что-жъ, и въ посаженые-то ужъ взять не хотите?

Агашенька видимо тяготится разговоромъ; она переминается съ ноги на ногу; ей хочется уйти. Кондратію Трифонычу кажется, что она неблагодарная.

— Ну, съ Богомъ! Что-жъ... если я... если я... ну, и съ Богомъ!

Кондратій Трифонычъ давится и, чтобъ скрыть охватившее его волненіе, кашляетъ; но въ ту минуту, когда онъ поднимаетъ голову, Агаши ужъ нѣтъ...

— Хоть жить-то у меня останетесь ли? — кричитъ онъ вслѣдъ и, не получивши отвѣта, ворчитъ: — Ишь! даже отвѣта не даетъ! а вѣдь я два года еще право имѣю... Ладно!

Между тѣмъ на дворѣ разыгрывается вьюга; она несетъ снопы снѣга съ рѣки и укладываетъ ихъ буграми и грядками около барскаго дома; она наполняетъ воздухъ какою-то сумятицей и застилаетъ огоньки, которые свѣтятся въ людскихъ избахъ и въ тихую погоду бываютъ видны изъ господскаго дома; она визжитъ и воетъ; она стучится въ стѣны и въ окна, словно просится со стужи въ тепло.

— Нѣтъ тебѣ ни правой, ни лѣвой, нѣтъ тебѣ ни правой, ни лѣвой,—слышится Кондратію Трифонычу въ этомъ заунывномъ голошеніи вьюги.

Дѣлать рѣшительно нечего; что было дѣла—все передѣлалъ, что было мыслей — всѣ передумалъ. Часы тоскливо стучатъ: тикъ-такъ, тикъ-такъ, и Кондратій Трифонычъ чувствуетъ, какъ взмахи маятника, одинъ за другимъ, уносятъ его надежды. Онъ чувствуетъ, что съ каждой минутой все больше и больше дряхлѣетъ, что дерево жизни подточено, что листья одинъ за однимъ все падаютъ, все падаютъ...

— Что-жъ это онъ чаю, подлецъ, не даетъ! — вскрикиваетъ онъ, какъ уязвленный, удостовѣрившись, что часовая стрѣлка стоитъ на половинѣ восьмого.—Ванька! чаю, чаю-то что-жъ не даешь! Не стою я, что ли?

Ванька хочетъ уйти.

— Нѣтъ, ты мнѣ говори: не стою, что ли, я чаю, что ты меня до сихъ поръ моришь?

— Я думалъ, что не надо!—огрызается Ванька.

— Ты думалъ! онъ думалъ! милости просимъ! онъ думалъ! А ты знаешь ли, какъ вашего брата за думанье-то! Онъ думалъ!.. ты!.. ты!.. ахъ, ты! Ну, ступай... ладно!

Кондратій Трифонычъ опять пересчитываетъ свои обиды: тогда-то пыли не стеръ, тогда-то рожу состроилъ, тогда-то прыснулъ въ самое лицо барину, тогда-то безъ чаю намѣревался оставить.

— Агашку взбаламутилъ,—говоритъ онъ, инстинктивно склоняя голову на бокъ, какъ будто сообщаетъ это по секрету становому на ухо.

Но вотъ и чай выпитъ; Кондратій Трифонычъ беретъ засаленныя карты и начинаетъ раскладывать гранъ-пасьянсъ. Онъ гадаетъ, уродится ли у него рожь самъ-десять—не выходитъ; онъ гадаетъ, останется ли Агаша жить у него—не выходитъ; онъ гадаетъ, избавится ли его имѣніе отъ продажи съ публичнаго торга—не выходитъ.

— Нѣтъ тебѣ ни правой, ни лѣвой, нѣтъ тебѣ ни правой, ни лѣвой!—злится на дворѣ вьюга.

. . . . . .

Кондратій Трифонычъ спитъ; въ комнатѣ жарко и душно; онъ разметался; одна рука свѣсилась съ кровати, другая легла на лѣвую сторону груди, какъ будто хочетъ сдержать учащенное біеніе сердца. Онъ видитъ во снѣ, что послѣдовало какое-то новое распоряженіе. Въ чемъ заключается это распоряженіе—сонъ не объясняетъ, но самое слово «распоряженіе» уже вызываетъ капли холоднаго пота на лицо Кондратія Трифоныча. Онъ стонетъ и захлебывается.

По утру, часовъ въ восемь, чуть брезжится, а ужъ его будитъ Ванька.

— Что такое? что такое?—спрашиваетъ онъ, глядя на Ваньку мутными глазами.

— Становой пріѣхалъ!

— А!.. лладно!—произноситъ Кондратій Трифонычъ, и лицо его принимаетъ ироническое выраженіе, которое очень не нравится Ванькѣ.

— Имѣніе описывать пріѣхалъ-съ!—говоритъ Ванька въ самый упоръ, какъ бы желая сразу окатить Кондратія Трифоныча холодной водой.

Занавѣсъ опускается.

IX.—Святочный разсказъ.

(Изъ путевыхъ замѣтокъ чиновника).

I.

Въ 18** году, и именно въ ночь на Рождество Христово, пришлось мнѣ ѣхать по большому коммерческому тракту, ведущему отъ города Срывнаго къ Усть-Дёминской пристани. «Завтра или, лучше сказать, даже сегодня—большой праздникъ,—думалъ я:—нѣтъ того человѣка въ цѣломъ православномъ мірѣ, который бы на этотъ день не успокоился и не предался всѣмъ отрадамъ семейнаго очага; нѣтъ той убогой хижины, которая не освѣтилась бы привѣтнымъ лучомъ радости; нѣтъ того нищаго, бездомнаго и увѣчнаго,

который не испыталъ бы на себѣ благотворное дѣйство великаго праздника! Я одинъ, горькимъ насильствомъ судьбы, вынужденъ ѣхать въ эту зимнюю, морозную ночь, между тѣмъ какъ всѣ мысли такъ естественно и такъ неудержимо стремятся къ теплому углу, ѣхать Богъ вѣсть куда и Богъ вѣсть зачѣмъ, перестать жить и самому мѣшать жить другимъ?» Мысли эти неотступно осаждали мою голову и дѣлали положеніе мое, и безъ того непріятное, почти невыносимымъ. Всѣ воспоминанія дѣтства, съ ихъ безмятежными, озаренными мягкимъ свѣтомъ картинами, всѣ лучшіе часы и даже мгновенія моего прошлаго, какъ нарочно, возставали передо мной самыми симпатическими, ласкающими своими сторонами. «Какъ было тогда хорошо!—отзывался тихій голосъ гдѣ-то далеко, въ самой глубинѣ моей души,—и какъ, напротивъ того, все теперь непріятно и безучастно вокругъ!»

Кибитка, между тѣмъ, быстро катилась, однообразно и мѣрно постукивая передкомъ объ уступы, выбитые копытами возовыхъ лошадей. Дорога узенькою снѣговой лентой бѣжала все вдаль и вдаль; колокольцы, привязанные къ низенькой дугѣ коренника, будили оцѣпенѣвшую окрестность то яснымъ и отчетливымъ звономъ, когда лошади бѣжали рысью, то какимъ-то безпорядочнымъ гуломъ, когда онѣ пускались вскачь; по временамъ этотъ звонъ и гулъ смѣшивался съ визгомъ полозьевъ, когда они врѣзывались въ полосу рыхлаго снѣга, нанесенную внезапнымъ вихремъ; по временамъ впереди кибитки поднималось и нѣсколько мгновеній стояло недвижно въ воздухѣ облако морозной пыли, застилая собой всю окрестность... Горы, рѣчки, овраги—все какъ будто замерло, все сдѣлалось безразличнымъ подъ пушистою пеленою снѣга.

«Зачѣмъ я ѣду?—безпрестанно повторялъ я самъ себѣ, пожимаясь отъ проникавшаго меня холода:—затѣмъ ли, чтобъ безполезно и произвольно впадать въ жизнь и спокойствіе себѣ подобныхъ? затѣмъ ли, чтобъ удовлетворить извѣстной потребности времени или общества? затѣмъ ли, наконецъ, чтобъ преслѣдовать свои личныя цѣли?»

И разныя странныя, противорѣчивыя мысли, одна за другой, отвѣчали мнѣ на этотъ вопросъ. То думалось, что вотъ пріѣду я въ указанную мнѣ мѣстность, пріучусь, съ горемъ пополамъ, въ курной избѣ, буду по цѣлымъ днямъ шататься, плутать въ непроходимыхъ лѣсахъ и искать... «Чего-жъ искать, однако-жъ?»—мелькнула вдругъ въ головѣ

мысль, но, не останавливаясь на этомъ вопросѣ, продолжала прерванную работу. И вотъ я опять среди снѣговъ, среди сувоевъ, среди лѣсной чащи; я хлопочу, я выбиваюсь изъ силъ... и, наконецъ, мое усердіе, то усердіе, которое все превозмогаетъ, увѣнчивается полнымъ успѣхомъ, и я получаю возможность насладиться плодами моего трудолюбія... въ видѣ трехъ-четырехъ бабъ, полуглухихъ, полуслѣпыхъ, полубезногихъ, изъ которыхъ младшей не менѣе семидесяти лѣтъ!.. «Господи! а ну, какъ да онѣ прослышали какъ-нибудь?—шепчетъ мнѣ тотъ же враждебный голосъ, который, очевидно, считаетъ обязанностью всѣ мои мечты отравлять сомнѣніями:—что если Еванѳія... Е-ван-ѳі-я!.. куда-нибудь скрылась?» Но съ другой стороны... зачѣмъ мнѣ Еванѳія? зачѣмъ мнѣ всѣ эти бабы? и кому онѣ нужны, кому отъ того убытокъ, что онѣ ушли куда-то въ глушь, сложить тамъ свои старыя кости? А все-таки хорошо бы, кабы Еванѳію на мѣстѣ застать!.. Привели бы ее ко мнѣ: «ага, голубушка, тебя-то мнѣ и нужно!»—сказалъ бы я. «Позвольте, ваше высокоблагородіе!—шепнулъ бы мнѣ въ это время становой приставъ (тотъ самый, который изловилъ Еванѳію, покуда я сидѣлъ въ курной избѣ и отъ скуки посвистывалъ):—позвольте-съ; я дознался, что въ такой-то мѣстности еще столько-то безногихъ старухъ секретно проживаетъ?»—О, Боже! да это просто подарокъ!—восклицаю я (не потому, чтобъ у меня было злое сердце, а просто потому, что я ужъ зарвался въ порывѣ усердія), и снова спѣшу, и задыхаюсь, и открываю... Господи! что я открываю!.. Что-жъ, однако-жъ, изъ этого, къ какому результату ведутъ эти усилія? Къ тому ли, чтобъ перевернуть вверхъ дномъ жизнь десятка полуистлѣвшихъ старухъ?.. Нѣтъ, видно, въ самой мыслительной моей способности имѣется какой-нибудь порокъ, что я даже не могу найти приличнаго отвѣта на вопросъ, безъ того, чтобъ снова, дѣйствіемъ какого-то досаднаго волшебства, не возвратиться все къ тому же вопросу, изъ котораго первоначально вышелъ.

Между тѣмъ повозка начала все чаще и чаще постукивать передкомъ; полозья, по временамъ раскатываясь, скользили по обледенѣлому черепу дороги; все это составляло несомнѣнный признакъ жилья, и дѣйствительно, высунувшись изъ кибитки, я увидѣлъ, что мы въѣхали въ большое село.

— Вотъ и до мѣста доѣхали!—молвилъ ямщикъ, поворачиваясь ко мнѣ.

Заиндевѣвшая его борода и жалкій бѣлый понитокъ, составлявшій, вмѣстѣ съ дырявымъ и совершенно вытертымъ полушубкомъ, единственную его защиту отъ лютаго мороза, бросились мнѣ въ глаза. Странное ощущеніе испыталъ я въ эту минуту! Хотя и обледенѣлыя бороды, и худые бѣлые понитки до того примелькались мнѣ во время моихъ частыхъ скитаній по дорогамъ, что я почти пересталъ обращать на нихъ вниманіе, но тутъ я совершенно невольнымъ и естественнымъ путемъ поставленъ былъ въ невозможность обойти ихъ.

«Какъ-то придется тебѣ встрѣтить Христовъ праздникъ!— подумалъ я и тутъ же, по какому-то озорному сопряженію идей, прибавилъ:—А я вотъ ѣду въ теплой шубѣ, а не въ пониткѣ... ты сидишь на облучкѣ и безпрестанно вскакиваешь, чтобъ попугать кнутомъ переднюю лошадь, а я сижу себѣ, развалившись, и занимаюсь мечтаніями... ты долженъ будешь, какъ пріѣдешь на станцію, прежде всего лошадей на морозѣ распрячь, а я *велю* ввести себя прямо въ тепло, *велю* поставить самоваръ, *велю* напоить себя чаемъ, *велю* собрать походную кровать и засну сномъ невинныхъ»...

Въ селѣ было пусто; былъ шестой часъ утра, а въ это время, какъ извѣстно, по большимъ праздникамъ, идетъ уже обѣдня въ тѣхъ селахъ, гдѣ нѣтъ помѣщиковъ и гдѣ массу прихожанъ составляетъ сѣрый народъ. И дѣйствительно, хотя мы почти мгновенно промчались мимо церкви, но я успѣлъ, сквозь отворенную ея дверь, разсмотрѣть, что она полна народомъ, что глубина ея горитъ огнями по-праздничному и что густой паръ стоитъ надъ толпою, одѣвая туманомъ и богомольцевъ, и ярко освѣщенный иконостасъ.

Наконецъ, лошади остановились у просторной избы. Это была станція, но не почтовая, гдѣ, хоть съ грѣхомъ пополамъ, путешественникъ можетъ пріютить свою голову безъ опасенія быть ежеминутно встревоженнымъ шумомъ и говоромъ людей, хлопаніемъ дверей и незасыпающею дѣятельностью дня; это была простая изба, назначенная по отводу для отдыха проѣзжающихъ по казенной надобности чиновниковъ, покуда сбираютъ для нихъ свѣжихъ обывательскихъ лошадей. Сверхъ моего ожиданія, горница, въ которую меня ввели, оказалась просторною, теплою и даже чистою; полъ и вдѣланныя по стѣнамъ лавки были наканунѣ выскоблены и вымыты; передъ образами весело теплилась лампадка; четыреугольный столъ, за которымъ обыкновенно трапезуютъ крестьяне, былъ накрытъ чистымъ бѣлымъ пе-

реборомъ, а въ ближайшемъ ко входу углу, около огромной русской печи, возилась баба-денщица, очевидно спѣша окончить свою стряпню къ приходу семейныхъ отъ обѣдни. На одной изъ лавокъ, возлѣ передняго угла, сидѣлъ слѣпой и ветхій дѣдушка, въ родѣ тѣхъ, которыми почти фаталистически снабжается всякая сколько-нибудь многочисленная крестьянская семья, и держалъ въ рукѣ деревянную палку, которою задумчиво чертилъ по полу. Онъ дѣлалъ это дѣло съ необычайнымъ терпѣніемъ, какъ будто оно составляло послѣднюю задачу его жизни, и, нащупавъ палкою какую-нибудь неровность, сердился и ворчалъ.

Пріѣздъ мой не произвелъ, однако-жъ, особеннаго впечатлѣнія, такъ какъ, по случаю отвода избы подъ станцію, хозяева ея скоро свыкаются съ общимъ видомъ чиновника, котораго появленіе составляетъ въ кругу ихъ фактъ почти ежедневный. Денщица,—которая, по разсмотрѣніи, оказалась молодухой,—продолжала усердно дѣлать свое дѣло, а дѣдушка попрежнему водилъ палкой по полу и ворчалъ про себя. На палатяхъ возились и потягивались ребятишки.

— Далеко отсюда становой живетъ?—спросилъ я.

— Да верстъ, чай, съ восемь будетъ,—отвѣчала денщица, дѣйствуя въ то же время ухватомъ, которымъ отправляла въ печь горшокъ съ похлебкой.

— А ты говори дѣло, а не «чай»!—вступился мой спутникъ и камердинеръ Гриша, во всякое другое время очень добрый малый, но теперь сильно озлобившійся вслѣдствіе мороза и другихъ дорожныхъ непріятностей.

— А вотъ мужики придутъ—они тебѣ дѣло и скажутъ... Ишь, больно строгъ: съ бабы спрашиваетъ!

— Эхъ ты! баба такъ баба и есть!—отозвался Гриша, но съ такимъ глубокимъ презрѣніемъ, что я сразу сознялъ глубокую разницу, существующую между привилегированнымъ поломъ и непривилегированнымъ.

— Никакъ кто пришелъ? Съ кѣмъ это ты, Татьяна, разговариваешь?—откликнулся дѣдушка.

— Становой далеко отсюда живетъ?—спросилъ я, обращаясь къ старику.

— Ась?

— Ишь ты! глухіе да глупые—вотъ и жди отъ нихъ толку!—злобно замѣтилъ Гриша.

— Баринъ пріѣхалъ... чиновникъ, дѣдушко!—кричала, между тѣмъ, Татьяна, наклонясь къ самому уху старика.—*Спрашиваютъ*, далече ли до станового будетъ?

— Да версть пятокъ-поболѣ будетъ,—прошамкалъ старикъ. —Выѣдешь ты, сударь, за околицу и поѣзжай все вправо... тамъ три сосенки такія будутъ... древнія, сударь, еще дѣдушко мой ихъ помнилъ—во какія сосны!.. Отъ нихъ повертывай прямо направо, будетъ тебѣ тамъ озеро, и поѣзжай ты черезъ него все прямо, все прямо... Лѣтомъ-то, сударь, здѣся-ко не проѣдешь, а надо кругомъ; такъ въ ту пору вмѣсто пяти-то верстъ и пятнадцать поди будетъ!.. Ну, а за озеромъ прямо и представится тебѣ господинъ становой...: Такъ-то.

— Такъ нельзя ли лошадей поскорѣй заложить?—спросилъ я.

— А у насъ и робятъ-то никого нѣтъ, всѣ въ церкву ушли,—отвѣчала молодуха.—Видно, ужъ тебѣ, баринъ, обождать придется!

— Дѣдушка! какъ бы лошадей заложить?—снова спросилъ я, наклоняясь къ дѣдушкѣ.

— А что-жъ, сударь, для че не заложить! Кони нонѣ дома, мигомъ заложатъ! Татьяна, сбѣгай по мужа-то, скажи, молъ, чиновникъ наѣхалъ!

Но покуда Татьяна сбиралась, семейные ужъ возвратились изъ церкви и гурьбой ввалились въ избу. Прежде всѣхъ, какъ водится, влетѣлъ никѣмъ не прошенный клубъ морознаго воздуха и мигомъ наполнилъ комнату бѣлесоватымъ туманомъ; за нимъ вошелъ старшій сынъ дѣдушки, мужичокъ лѣтъ пятидесяти слишкомъ, очень сановитой и бодрой наружности, одѣтый, по-праздничному, въ синюю сибирку.

— Съ праздникомъ, батюшка!—сказалъ онъ, помолившись напередъ образамъ:—Богъ милости прислалъ!

— Ну, слава Богу, слава Богу!—прошамкалъ старикъ, привставая съ лавки.—Вотъ и опять мы съ праздникомъ! Съ вами, что ли, некрутъ-то?

— Здѣсь, дѣдушко, будь здоровъ!—молвилъ, выступая впередъ молодой парень.

Я вспомнилъ, что по случаю военныхъ обстоятельствъ объявленъ былъ въ то время чрезвычайный наборъ, и невольно полюбопытствовалъ взглянуть на рекрута. Физіономія его была чрезвычайно симпатична: хотя гладко выстриженные волосы нѣсколько портили его лицо, тѣмъ не менѣе, общее его выраженіе было весьма пріятно; то было одно изъ тѣхъ мягкихъ, полустыдливыхъ, полузастѣнчивыхъ выраженій, которыя составляютъ почти общую принадлеж-

ность нашего народнаго типа. Смирно стоялъ онъ передъ старикомъ-дѣдушкой въ своемъ коротенькомъ рекрутскомъ полушубкѣ, засунувъ руку за пазуху и слегка понуривъ голову; въ голубыхъ его глазахъ не видно было огня строптивости или затаеннаго чувства ропота; напротивъ того, вся его любящая, безпредѣльно кроткая душа свѣтилась въ этомъ задумчивомъ и разсѣянно-блуждавшемъ взорѣ, какъ бы свидѣтельствуя о его вѣчной и безпрекословной готовности идти всюду, куда укажетъ судьба.

— Ну, дай Богъ здоровья начальникамъ... отпустили тебя, Петруня... и насъ сдѣлали съ праздникомъ,—сказалъ старикъ.

Покуда старикъ говорилъ, сзади, у печки, послышались сначала вздохи, а потомъ и довольно громкія всхлипыванія. Петруня какъ-то болѣзненно весь сжался, услышавъ ихъ.

— Ну, вотъ, пошла баба голосить! Уйми ты ее, Иванъ!— обратился старикъ къ старшему сыну.—Нѣшто лучше бы было, кабы не отпустили сына-то!.. Такъ ты бы радовалась, не-чѣмъ горевать!

— Такъ неужто-жъ и пожалѣть нельзя! — отозвалась изъ угла баба. — Собирались нонѣ женить въ мясоѣдъ парня, анъ, замѣстъ того, вонъ онъ куда угодилъ... и не чаяли!

Петруня, казалось, еще болѣе сжался при послѣднихъ словахъ матери.

— Ничего, съ Богомъ... не на грѣхъ идетъ! Чай, еще не сколько мученья-то принялъ, Петруня? — спросилъ дѣдушка.

— Мученьевъ, дѣдушко, нѣтъ; а вотъ унтеръ сказывалъ, что черезъ десять дѣнъ въ походъ идти велѣно,—отвѣчалъ Петруня тихо и дрожащимъ голосомъ.

— Ну, что-жъ, и въ походъ пойдешь, коли велѣно! Да ты слушай, голова! И я вѣдь молоденекъ бывалъ, тоже чуть-чуть въ некруты въ ту пору не угодилъ... ужъ и что хлопотъ-то у насъ въ тѣ поры съ батюшкой вышло!

— То-то «чуть-чуть»! — въ сердцахъ ворчала мать:— вотъ не сдали же! А тутъ какъ есть одинъ сынъ, да и тотъ не въ домъ, а изъ дому вонъ бѣжитъ!

— А кто-жъ тебѣ не велѣлъ другого припасти! — сказалъ дѣдушка полушутливо, полудосадливо. — То-то вотъ баба: замѣстъ того, чтобъ потѣшить сыночка о праздникѣ, а она еще пуще его въ разстрой приводитъ! Ты пойми, *глупая*, что онъ у тебя въ гостяхъ здѣсь! Вотъ ужо вели

коней въ саночки запрячь... погуляй покуда, Петруня, съ робятками-то, погуляй, милой!

Иванъ, однако, не принималъ никакого участія въ разговорѣ. Онъ спокойно раздѣвался въ это время и вмѣстѣ съ тѣмъ дѣлалъ обычныя распоряженія по дому. Но это равнодушіе было только кажущееся, а въ сущности онъ не менѣе жены печалился участью сына. Вообще, нашего крестьянина трудно чѣмъ-нибудь расшевелить, удивить или душевно растрогать. Ежеминутно имѣя прямое отношеніе лишь къ самой незамысловатой и неизукрашенной дѣйствительности, ежеминутно встрѣчая лицомъ къ лицу свою насущную жизнь, которая часто представляетъ для него одну безконечную невзгоду и во всякомъ случаѣ многаго никогда ему не даетъ, онъ привыкаетъ смѣло смотрѣть въ глаза этой суровой мачехѣ, которая по временамъ еще осмѣливается заговаривать льстивыми голосами и называть себя родною матерью. Поэтому всякая потеря, всякая неудача, всякое безвременье составляютъ для крестьянина такой простой фактъ, передъ которымъ нечего и задумываться, а только слѣдуетъ терпѣливо и бодро снести. Даже смерть наиболѣе любимаго и почитаемаго лица не подавляетъ его и не производитъ особеннаго переполоха въ душѣ; мало того: я не одинъ разъ видалъ на своемъ вѣку умирающихъ крестьянъ, и всегда (кромѣ, впрочемъ, очень молодыхъ парней, которымъ труднѣе было разставаться съ жизнью) замѣчалъ въ нихъ какое-то твердое и вмѣстѣ съ тѣмъ почти младенческое спокойствіе, которое многіе, конечно, не затруднились бы назвать геройствомъ, если бы оно не выражалось столь просто и неизысканно. Всѣ страданія, всѣ душевныя тревоги крестьянинъ привыкъ сосредоточивать въ самомъ себѣ, и если изъ этого правила имѣются исключенія, то они составляютъ предметъ хотя добродушныхъ, но всегда общихъ насмѣшекъ. Такихъ людей называютъ нюнями, бабами, стрекозами, и никогда разсудливый мужикъ не станетъ говорить съ ними о дѣлѣ. Правда, дрогнетъ иногда у крестьянина голосъ, если обстоятельства уже слишкомъ круто повернутъ его, измѣнится и какъ будто перекосится на мигъ лицо, насупятся брови— и только; но жалоба, суетливость и безплодное аханье никогда не найдутъ мѣста въ его груди. Повторяю: невзгода представляется для крестьянина столь обычнымъ фактомъ, что онъ не только не обороняется отъ него, но даже и не готовится къ принятію удара, ибо и безъ того всегда

къ нему готовъ. Всю чувствительность, всѣ жалобы онъ, кажется, предоставилъ въ удѣлъ бабамъ, которыя и въ крестьянскомъ быту, какъ и вездѣ, по самой природѣ, болѣе склонны представлять себѣ жизнь въ розовомъ цвѣтѣ, и потому не такъ легко примиряются съ ея неудачами.

— Рекрутъ, что ли, у васъ?—спросилъ я Ивана.

— Рекрутъ, сударь, сыномъ мнѣ-ка приходится.

— А велика ли у васъ семья?

— Семья, нечего Бога гнѣвить, большая; четверо насъ братовей, сударь, да дѣтки въ законъ еще не вышли... вотъ Петрунька одинъ и вышелъ.

— Тяжело, чай, разставаться-то?

Иванъ съ изумленіемъ взглянулъ на меня, и я, не безъ внутренней досады, долженъ былъ сознаться, что сдѣланный мною вопросъ совершенно праздный и ни къ чему не ведущій.

— Божья власть, сударь!—отвѣчалъ онъ и, обращаясь къ старику, прибавилъ:—Обѣдать, что ли, собирать, батюшка?

— Вели сбирать! Иванушко, пора! чай, и свѣтъ скоро будетъ!.. Да за конями-то пошли, что ли!

— Давно Васютку услалъ, приведутъ сейчасъ.

Петруня, между тѣмъ, незамѣтно скрылся за дверь. Несмотря на то, что изба была довольно просторная, воздухъ въ ней, отъ множества собравшагося народа, былъ до того спертъ, что непривычному трудно было дышать въ немъ. Кромѣ сыновей стараго дѣдушки съ ихъ женами, тутъ находилось цѣлое поколѣніе подростковъ и малолѣтковъ, которые немилосердно возились и болтали, поѣдая пичкая себя хлѣбомъ и сдобными лепешками.

— Кто-то вотъ насъ кормить на старости лѣтъ будетъ?—промолвила, между тѣмъ, хозяйка Ивана, попрежнему стоя въ углу пригорюнившись.

— Чай, братовья тоже есть, семья не маленькая!—отвѣчалъ дѣдушка, съ трудомъ скрывая досаду.

— Да, дожидайся, пока они накормятъ.., чай, по тѣхъ поръ ихъ и видѣли, поколь ты живъ.

— Не дѣло, Марья, говоришь!—замѣтилъ второй братъ Ивана.

— Ее не переслушаешь!—отозвался третій братъ.

Окончанія разговора я не дослушалъ, потому что не могъ долѣе выносить этого спертаго, насыщеннаго парами разныхъ похлебокъ воздуха, и вышелъ въ сѣнцы. Тамъ было совершенно темно. Глухо доносились до меня голоса ямщиковъ, суетившихся около повозки, и дребезжащее

позвякиваніе колокольцовъ, накрѣпко привязанныхъ къ дугѣ, и еще какіе-то смутные звуки, которые непремѣнно услышишь на каждомъ крестьянскомъ дворѣ, гдѣ хозяинъ живетъ мало-мальски запасливо.

— Какъ же быть-то? — сказалъ неподалеку отъ меня милый и чрезвычайно мягкій женскій голосъ.

— Какъ быть! — повторилъ, повидимому, совершенно безсознательно другой голосъ, который я скоро призналъ за голосъ Петруни.

— Скоро, чай, и сряжаться станете? — снова началъ женскій голосъ послѣ непродолжительнаго молчанія.

Петруня не промолвилъ ни слова и только вздохнулъ.

— Портяночки-то у тебя теплыя есть ли?—вновь заговорилъ женскій голосъ.

— Есть.

— Ахъ, не близкая, чай, дорога!

Снова наступило молчаніе, въ продолженіе котораго я слышалъ только учащенные вздохи разговаривающихъ.

— Ужъ и какъ тяжко-то мнѣ, Петруня, кабы ты только зналъ!—сказалъ женскій голосъ.

— Чего тяжко, чай, замужъ выдешь!—молвилъ Петруня дрожащимъ голосомъ.

— А что станешь дѣлать... и выду!

— То-то... чай, за стараго... за вдовца дѣтнаго...

— За стараго-то лучше бы... по крайности, хоть любить бы не стала, Петруня!

— А молодого, небось, полюбила бы!.. То-то вотъ вы: потоль у васъ и милъ, поколь въ глазахъ! — сказалъ Петруня, котораго загодя мучила ревность.

— Ой, ужъ не говори ты лучше!.. умерла бы я, нечѣмъ съ тобой разставаться—вотъ сколь мнѣ тебя жалко!

— А меня, небось, въ сраженіяхъ убьютъ, покуда ты здѣсь замужъ выходить будешь... дѣтей, чай, народишь... Вотъ унтеръ намеднись сказывалъ, что въ сраженьи какъ есть ни одинъ человѣкъ цѣлъ не будетъ—всѣхъ побьютъ!

Вмѣсто отвѣта, мнѣ послышались тихія, словно дѣтскія, всхлипыванія.

— Ну, что-жъ, и пущай бьютъ!—продолжалъ Петруня, находя какое-то горькое удовольствіе въ страданіяхъ своей собесѣдницы.

Всхлипыванія послышались горче прежняго.

— Ахъ, пропадай моя голова... хочешь, сбѣгу, Мавруша?—внезапно спросилъ Петруня.

— Что ты, что ты, Петруня! что-жъ это будетъ!—отвѣчала Мавруша голосомъ, въ которомъ слышался испугъ.

— Убѣгу да и все тутъ,—продолжалъ Петруня. — Уйду въ лѣса къ старцамъ... Ищи, лови тогда!

— Стариковъ-то твоихъ, чай, въ ту пору такъ и засудятъ!—робко замѣтила Мавруша.

Петруня молчалъ.

— Въ разоренье-поди приведутъ!—продолжала Мавруша, какъ бы разсуждая сама съ собой.

То же молчаніе.

— Нѣтъ, ты ужъ лучше не бѣгай, Петруня, какъ-нибудь, Богъ дастъ, и свидимся.

— То-то «свидимся»! Замужъ, чай, хочется, а не «свидимся»! Ты бы напрямки такъ и говорила... а то «свидимся»! Такъ бѣжать, что ли?

— Куда-жъ бѣжать? Коли для меня ты хочешь бѣжать, такъ я за тобой вѣдь бѣжать не могу!

Петруня заплакалъ.

— Петруня! желанный ты мой!—прошептала Мавруша.

Петруня заплакалъ пуще прежняго.

— Охъ, да хоть бы не плакалъ ты!—сказала Мавруша какимъ-то утомленнымъ, замученнымъ голосомъ.

— Вотъ каково дѣло, что и пособить нечѣмъ!—говорилъ Петруня, обрываясь почти на каждомъ словѣ.—Куда я теперь дѣнусь? Охъ, да подумай же ты, Мавруша, какъ бы намъ хорошо-то было!.. жили бы мы теперь съ тобой... и мясоѣдъ вотъ на дворѣ... И все-то вѣдь прахомъ пошло... точно ничего и не было! Намеднись вотъ унтеръ сказывалъ, верстъ тысячи за двѣ поведутъ... такъ когда же тутъ свидѣться!

— Петруня! гдѣ же ты запропалъ?—раздался сзади меня голосъ женщины.

— Здѣсь! обѣдать, что ли?—откликнулся Петруня.

— Обѣдать дѣдушко зоветъ.

— Сейчасъ. Прощай, Мавруша! нонѣ къ ночи надо опять въ городъ ѣхать... прощай! Можетъ, ужъ и не свидимся!

— Развѣ на село-то не пойдете съ партіей? Хошь бы посмотрѣла я на тебя!

— Нѣтъ, по почтовой пойдемъ; вотъ развѣ что: ужо дѣдушка коней посулилъ... погуляемъ, что ли?

— Не пустятъ, Петруня,—тихо отвѣчала Мавруша:—а ужъ какъ бы не погулять! Старики-то нонѣ у меня больно зорки стали: поди, и теперь, чай, ищутъ меня!

— Ну, такъ инъ Богъ съ тобой! Прощай же, Мавруша!

Голоса стихли; но Петруня нѣсколько времени еще не приходилъ въ избу; минуты съ двѣ слышались мнѣ и глубокіе вздохи, и неясный шопотъ, прерываемый рыданіями, и стало мнѣ самому такъ обидно, тяжко и больно, какъ будто внезапно лишили меня всего, что было дорого моему сердцу. «Вотъ,—думалъ я,—простая, кажется, съ виду штука, а поди-ка переживи ее!» И должно сознаться, что до тѣхъ поръ никогда эта мысль не заходила мнѣ въ голову.

— Иди, что ли! — снова раздался свади меня голосъ денщицы.

— Иду, иду!—отвѣчалъ Петруня.—Прощай, Мавруша!—продолжалъ онъ какимъ-то гортаннымъ, задыхающимся голосомъ:—прощай же, касатка!

И вслѣдъ за тѣмъ онъ бѣгомъ вбѣжалъ на лѣстницу и направился быстрыми шагами въ избу.

Когда я, черезъ четверть часа, снова вошелъ въ избу, вся семья обѣдала, но общій ея видъ былъ нерадошенъ. Какое-то принужденіе носилось надъ ней, и хотя дѣдушка старался завести обычную бесѣду, но усилія его не имѣли успѣха. Иванъ молчалъ и смотрѣлъ угрюмо; Марья потихоньку всхлипывала; Петруня сидѣлъ съ заплаканными глазами и ничего не ѣлъ; прочіе члены семьи, хотя и менѣе заинтересованные въ этомъ дѣлѣ, невольно слѣдовали, однакожъ, за общимъ настроеніемъ чувствъ; даже малолѣтки, обыкновенно столь неугомонные, какъ-то притихли и сжались. Однимъ словомъ, тутъ только и было праздничнаго, что кушанья, которыхъ было перемѣнъ шесть и которыя однообразно слѣдовали одно за другимъ, ни въ комъ не возбуждая веселья. Я тоже невольно задумался, глядя на эту семью... и о чемъ задумался?

«Что-то дѣлается,—думалъ я,—въ томъ далекомъ-далекомъ городѣ, который, какъ червь неусыпающій, никогда не знаетъ ни усталости, ни покоя? Радуются ли, нѣтъ ли тамъ Божьему празднику? и кто радуется? и какъ радуется? Не подпалъ ли тамъ праздникъ подъ общее тлетворное владычество простой обрядности, безъ всякаго внутренняго смысла? не сдѣлался ли онъ тамъ днемъ, къ которому надо особеннымъ образомъ искривить ротъ въ видѣ улыбки, къ которому надо накупить много конфетъ, много нарядовъ, въ который, по условному обычаю, слѣдуетъ призвать въ гостиную дѣтей съ тѣмъ, чтобъ вдоволь натѣшиться ихъ благоприличными манерами и затѣмъ вновь отослать ихъ

въ дѣтскую, считая всѣ обязанности въ отношеніи къ нимъ уже исполненными до слѣдующаго праздника? Сохранилъ ли тамъ праздникъ свое христіанское, братское значеніе, въ силу котораго сама собой обновляется душа человѣка, сами собой отверзаются его объятія, само собой раскрывается его сердце? Вѣдь праздникъ есть такая же потребность человѣческой жизни, какъ радость—потребность человѣческаго сердца: это потребность успокоенія и отдыха, потребность хоть на время сбросить съ себя тяжесть жизненныхъ узъ, съ тѣмъ, чтобъ безусловно предаться одному ликованію!»

И передо мной незамѣтно раскрылся знакомый рядъ картинъ, свидѣтелей моего прошедшаго, картинъ, въ которыхъ много было движенія, много суеты, много даже какихъ-то неясныхъ очертаній и смутныхъ намековъ на жизнь, радость и наслажденіе... Но была ли это радость дѣйствительная, было ли это то чистое наслажденіе, которое не оставляетъ послѣ себя въ сердцѣ никакого осадка горечи? Вотъ онъ, этотъ громадный городъ, въ которомъ воздухъ кажется спертымъ отъ множества людскихъ дыханій; вотъ онъ, городъ скорбей и никогда неудовлетворяемыхъ желаній; городъ желчныхъ честолюбій и ревнивыхъ, завистливыхъ надеждъ; городъ гнусно-искривленныхъ улыбокъ и заражающихъ воздухъ признательностей! Какъ волшебенъ онъ теперь при свѣтѣ своихъ милліоновъ огней, какая страшная струя смерти совершаетъ свой безконечный, разъѣдающій оборотъ среди этого вѣчнаго тумана, среди міазмовъ, безпощадно врывающихся со всѣхъ сторонъ! Сколько мученій, сколько никѣмъ незнаемыхъ и никѣмъ нераздѣленныхъ надеждъ, сколько горькихъ разочарованій, и вновь надеждъ, и вновь разочарованій!

«Господи! надо же было надъ Петруней такой бѣдѣ стрястись! Кабы не это, сидѣлъ бы онъ здѣсь беззаботный и радостный; весело бесѣдовало бы теперь за трапезой честное потомство слѣпенькаго дѣдушки... И надо же было слѣпому случаю пройти безпощаднымъ своимъ плугомъ по этому прекрасному зеленому лугу, чтобъ взбуровить его ровную поверхность и исполосать ее черными, безобразными бороздами!»

Размышленія эти были прерваны докладомъ о томъ, что лошади готовы. Горько мнѣ было садиться одному въ сани, горько было разставаться съ людьми, особливо въ этотъ праздникъ, когда, и вслѣдствіе воспоминаній прошедшаго,

и вслѣдствіе всего склада жизни, необходимость общества людей какъ-то особенно живо чувствуется. Казалось бы, что общаго между мной и этою случайно встрѣченною мною семьею, какое тайное звено можетъ соединить насъ другъ съ другомъ? И между тѣмъ я несомнѣнно сознавалъ присутствіе этой связи, я несомнѣнно ощущалъ, что въ сердцѣ моемъ таится невидимая, но горячая струя, которая, безъ вѣдома для меня самого, пріобщаетъ меня къ первоначальнымъ и вѣчно бьющимъ источникамъ народной жизни.

II.

На дворѣ было еще темно, хотя свѣтъ, очевидно, готовился уже вступить въ права свои; морозъ сдѣлался какъ будто еще лютѣе прежняго; крѣпкій верховой вѣтеръ сильно буровилъ здѣсь и тамъ снѣжную равнину и, поднявъ цѣлые столбы снѣга, направлялъ свой путь далѣе, съ тѣмъ, чтобъ опять черезъ минуту вернуться и, поднявъ новые снѣжные столбы, опять нестись куда-то далеко-далеко. Холодъ и вѣтеръ тѣмъ болѣе были для меня ощутительны, что я ѣхалъ въ открытыхъ саняхъ, потому что долженъ былъ, послѣ необходимыхъ объясненій съ становымъ приставомъ, опять вернуться на станцію, гдѣ, вслѣдствіе всѣхъ этихъ соображеній, я и заблагоразсудилъ оставить свою повозку.

Вотъ и тѣ три сосенки, о которыхъ толковалъ мнѣ старикъ; сквозь мутное облако частаго, тонкаго снѣга я видѣлъ только очертанія ихъ, но, вѣроятно, душа моя была слишкомъ особеннымъ образомъ настроена, что за плавнымъ покачиваніемъ широкихъ ихъ вершинъ мнѣ именно слышалось, будто онѣ жалуются и говорятъ о томъ, какъ надоѣла имъ эта долгая, почти безконечная жизнь, какъ устали онѣ отъ этихъ отовсюду вторгающихся вѣтровъ, которые безпрепятственно и безнаказанно оскорбляютъ ихъ, то обламывая самые крѣпкіе ихъ побѣги, то разбрасывая мохнатыя ихъ вѣтви въ какой-то тоскливой безпорядочности. Вотъ и озеро, которое подало мнѣ о себѣ вѣсть особенностью звука, издаваемаго копытами лошадей, и вѣшками, которыя часто натыканы здѣсь по обѣимъ сторонамъ дороги... Я глянулъ въ даль, и не знаю почему — тамъ, на самомъ концѣ ея, представился мнѣ становой приставъ, въ видѣ страшнаго, лохматаго чудовища, съ семью головами, съ длинными желѣзными когтями и долгимъ

огненнымъ языкомъ. И такъ ясно и отчетливо мелькало передо мной это странное и, къ счастію, совершенно невѣроятное видѣніе, что мнѣ стало жутко, и я поспѣшилъ плотнѣе закутаться въ шубу, чтобъ не видать его кривляній.

Черезъ полчаса я въѣзжалъ въ огромное торговое село, въ которомъ было много домовъ совершенно городской постройки. Въ одномъ изъ нихъ помѣщалась квартира станового пристава, и я еще издали могъ налюбоваться на множество огней, которые, очевидно, были зажжены на дѣтской елкѣ. Огни горѣли весело и, проходя сквозь обледенѣлыя стекла оконъ, принимали самые измѣнчивые и разнообразные цвѣта.

Становой или, какъ его обыкновенно зовутъ крестьяне, «баринъ», былъ дома. Звали его Ермолаемъ Петровичемъ, по фамиліи Бондыревымъ; по наружности же былъ онъ мужчина дюжій, и вслѣдствіе того постоянно отдувался и дышалъ тяжело, словно запаленная лошадь. Лицо его, пухлое и отеклое, было покрыто слоемъ жирнаго вещества, который придавалъ его кожѣ лоскъ почти зеркальный; огромная его лысина, по общему отзыву сослуживцевъ, имѣла свойство испускать изъ себя облако тумана въ слѣдующихъ двухъ случаяхъ: во время губернаторской ревизіи, когда, какъ извѣстно, сердечныя движенія въ уѣздномъ чиновникѣ дѣлаются особенно сильны и остры, и по выпитіи двадцать-пятой рюмки очищенной. Голосъ у него былъ сильный, густой басъ, сопровождаемый легкою хрипотой, и выходилъ изъ гортани какъ бы коломъ. Къ величайшему моему удивленію, это несоразмѣрное преобладаніе матеріи нимало не тяготило его; вообще онъ былъ на службѣ легокъ, какъ пухъ, и когда исполненіе служебныхъ обязанностей требовало съ его стороны уже слишкомъ усиленной дѣятельности, то вся его досада проявлялась въ томъ только, что онъ пыхтѣлъ и ругался пуще обыкновеннаго. Впрочемъ, онъ былъ, въ сущности, малый добродушный, и когда принималъ благодарность, то всегда говорилъ спасибо, и этимъ весьма льстилъ самолюбію доброхотныхъ дателей.

— Милости просимъ побесѣдовать въ комнату, ваше высокоблагородіе! — сказалъ онъ, встрѣтивъ меня въ прихожей. — У меня нынче праздникъ, дѣтки вотъ развозились...

— А мнѣ надо бы скорѣе ѣхать, — отвѣчалъ я не со-

всѣмъ впопадъ, все еще находясь подъ вліяніемъ лохматаго чудовища.

— Что же такъ-съ? Часомъ раньше, часомъ позже — дѣло не волкъ, въ лѣсъ не уйдетъ-съ. Заодно ужъ у насъ покушаете, а послѣ обѣда и въ путь-съ. Мнѣ вѣдь тоже съ вами надо будетъ отправляться, такъ если сейчасъ же и ѣхать—не будетъ ли ужъ очень это обидно? Вѣдь праздникъ-съ...

Я остался и отчасти былъ даже доволенъ этой задержкой, потому что очень усталъ съ дороги. Въ комнатѣ, въ которую ввелъ меня Бондыревъ, было все его семейство и сверхъ того еще нѣсколько постороннихъ лицъ, съ которыми онъ, однакожъ, не заблагоразсудилъ меня познакомить. Онъ только указалъ мнѣ рукой на дѣтей, сказавъ: «а вотъ и потроха мои!» и затѣмъ насильственно усадилъ меня на диванъ. Изъ семейныхъ были тутъ: жена Ермолая Петровича, бабочка лѣтъ двадцати пяти, которая была бы недурна собой, если бы не такъ усердно мазалась свинцовыми бѣлилами и не носила столь туго накрахмаленныхъ юбокъ; мать ея, худенькая, повязанная платкомъ старуха съ фіолетовымъ носомъ, которую Бондыревъ, неизвѣстно почему, величалъ «вашимъ превосходительствомъ», и четверо дѣтей, которыя основательностью своего тѣлосложенія напоминали Ермолая Петровича, и чуть ли даже, подобно ему, не похрипывали.

— Не угодно ли чаю съ дороги?—спросила меня жена.

— Что чай! вотъ мы его высокоблагородіе водочкой попросимъ, — отозвался Бондыревъ. — Я, ваше высокоблагородіе, этой китайской травы въ ротъ не беру — оттого и здоровъ-съ.

— Вы изъ «губерніи» изволите ѣхать? — обратилась ко мнѣ старуха-теща.

— Да, я недавно оттуда.

— Такъ-съ. А какъ, я думаю, тамъ теперича хорошо должно быть! Предсѣдательствующіе, по случаю праздника, въ соборѣ въ мундирахъ стоятъ... самъ генералъ, чай, насупившись...

— Ну, пошла, ваше превосходительство, огородъ городить!—замѣтилъ Бондыревъ.—Ну, скажите на милость, зачѣмъ генералу насупившись стоять! Чай, для праздника-то Христова и имъ бровки свои поразвинуть можно!

— Ахъ, батюшка мой! насупившись стоитъ по той причинѣ, что озабоченъ очень!.. Обуза вѣдь не маленькая!

— А по мнѣ, такъ всего лучше пѣвчіе... Это восхитительно!—вступилась жена.—При слабости нервъ, даже слушать ночти невозможно!

— Нѣтъ, вотъ на моей памяти бывали въ соборѣ пѣвчіе—такъ это именно, что всѣхъ въ слезы приводили!—перебила тещa.—Ужъ на что былъ въ ту пору губернаторъ суровый человѣкъ, а и тотъ воздержаться никакъ не въ силахъ былъ! Особливо былъ тутъ одинъ черноватенькій: запоетъ, бывало, сначала тихонько-тихонько, а потомъ и переливается, и переливается... даже словно журчитъ весь! Авдотья Степановна, второго діакона жена, сказывала, что ему по два дня ѣсть ничего не давывали, чтобъ голосъ чище былъ!

— Вотъ распроклятая-то жизнь!—молвилъ Ермолай Петровичъ, подмигнувъ мнѣ лѣвымъ глазомъ, и потомъ, обращаясь къ тещѣ, прибавилъ:—А какъ посмотрю я на ваше превосходительство, такъ все-то у васъ однѣ глупости да малодушества на умѣ.

Но ея превосходительство, должно-быть, ужъ привыкла къ подобнымъ апострофамъ, потому что, нимало не конфузясь, продолжала:

— Ужъ я, бывало, такъ и не дышу, словно туманъ у меня въ глазахъ, какъ они-это выводить-то зачнутъ! Да, такой ужъ у меня характеръ: коли передъ глазами у меня что-нибудь божественное, такъ я, можно сказать, сама себя не помню... такъ это все тамъ и колышится!

Мадамъ Бондырева глубоко и сосредоточенно вздохнула.

— Да, въ деревнѣ ничего этого не увидишь!—сказала она.

— Гдѣ увидать!—одни выходы у его превосходительства чего стоятъ! Всѣ чиновники, бывало, въ мундирахъ стоятъ, и каждому его превосходительство свой репримандъ сдѣлаетъ! И пойдутъ это потомъ каждый день закуски да обѣды—однѣхъ свиней для колбасъ сколько въ батальонѣ, при солдатской кухнѣ, откармливали!

— Ну, это-то заведенье и доднесь, пожалуй, осталось—скорбѣть объ этомъ нечего!—флегматически-объяснилъ Ермолай Петровичъ.—А что, ваше высокоблагородіе, не угодно ли будетъ повторить отъ скуки? Водка у насъ, осмѣлюсь вамъ доложить, отличная: сразу, что называется, ожжетъ, а потомъ и пойдетъ ползкомъ по суставчикамъ... каждый изноетъ-съ!

— Вотъ у моего покойника,—снова обратилась ко мнѣ *тещa*: —хорошую водку на столъ подавали. Онъ только и

говоритъ, бывало: «лучше ничѣмъ меня откупщикъ не почти, а водкой почти!»

— Ну, это опять неосновательно,—замѣтилъ Бондыревъ:— пословица гласитъ: пей, да ума не пропей—стало-быть, зачѣмъ же я изъ-за водки другія статьи буду неглижировать?

— Да вѣдь и онъ, сударь, не неглижировалъ, а такъ только къ слову это говаривалъ. Онъ водку-то черезъ кубъ, для крѣпости, переганивалъ...

— Ну, а ваши какъ дѣла?—спросилъ я Бондырева.

— Слава Богу, ваше высокоблагородіе, слава Богу! дай Богъ здоровья добрымъ начальникамъ, милостями не оставляютъ... нынѣ вотъ подъ судъ отдали!

— Какъ такъ?

— Да просто-съ. Чтой-то ужъ, ваше высокоблагородіе, будто и не знаете? Чай, и вы тутъ ручку приложили!

— Въ первый разъ слышу.

— Что-жъ-съ, и тутъ мудренаго нѣтъ! Извѣстно, не читать же вашимъ высокоблагородіямъ всего, что подписывать изволите!

— Скажите, по крайней мѣрѣ, за что вы отданы подъ судъ?

— А неизвѣстно-съ. Оно, конечно, довольно тутъ на справку вывели, и жизнь-то, кажется, наизнанку всю выворотили... однѣхъ неисполнительностей штукъ до полсотни подыскали—даже подивился я, откуда весь этотъ соръ выгребли. Да-съ; тяжеленька-таки наша служба; губернское-то правленіе не то чтобъ, какъ мать, по-родительски тебѣ спустило, а пуще считаетъ тебя, какъ бы сказать, за подкидыша: ты, дескать, такой-сякой, все за-разъ сдѣлать долженъ!

— По пословицѣ, Ермолай Петровичъ, по пословицѣ!— «Свекровь снохѣ говорила: сношенька, будетъ молоть; отдохни—потолки!»

Послѣднія слова произнесъ неизвѣстный мнѣ старикъ, стоявшій до сихъ поръ въ углу и не принимавшій никакого участія въ разговорѣ. По всему было видно, что этотъ новый собесѣдникъ принадлежалъ къ числу тѣхъ жалкихъ жертвъ провинціальнаго бюрократизма, которыя преждевременно утрачиваютъ душевныя свои силы, вслѣдствіе неумѣреннаго употребленія водки, и затѣмъ на всю жизнь дѣлаются несособными ни къ какому дѣлу или занятію, требующему умственныхъ соображеній. Онъ былъ одѣтъ въ вицъ-мундиръ стариннаго покроя съ узенькими фалдочками и до такой степени порыжѣлый, что даже самый

глазъ не могъ бы угадать здѣсь признаковъ первобытнаго зеленаго цвѣта. Но всего замѣчательнѣе въ этомъ человѣкѣ былъ необыкновенный, грибовидный его носъ, на которомъ, какъ на палитрѣ, сочетались всевозможные цвѣта, начиная отъ чисто-тѣлеснаго и кончая самымъ темнымъ яхонтовымъ. Носъ этотъ, какъ послѣ оказалось, былъ источникомъ горькихъ несчастій и глубокихъ разочарованій для своего обладателя.

— Это жаль, однакожъ,—сказалъ я Бондыреву, ощущая невольное угрызеніе совѣсти при видѣ человѣка, котораго погибели я самъ нѣкоторымъ образомъ содѣйствовалъ.

— Ничего, ваше высокоблагородіе! мы въ уголовной-то словно въ банькѣ выпаримся... еще бодрѣй послѣ того будемъ!

— Это истинно такъ!—пояснилъ обладатель носа.

— А что, видно, и тебѣ горловину-то прочистить хочется?—обратился къ нему Бондыревъ.—Ваше высокоблагородіе! позвольте представить: Егоръ Павлычъ Абессаломовъ, служитъ у меня въ вольнонаемныхъ; проку-то отъ него, признаться, мало, такъ больше вотъ для забавы, для домашнихъ-съ держу. . Театровъ у насъ нѣтъ, такъ по крайности хоть онъ развлечетъ.

— Ну, ужъ, нашли какую замѣну!—презрительно процѣдила жена.

— А что-жъ! по деревнѣ, лучше и быть не надо!—продолжалъ Ермолай Петровичъ.—Объ ину пору онъ насъ, ваше высокоблагородіе, до слезъ мимикой своей смѣшитъ!

— Если его высокоблагородію не гнусно, такъ я и теперь свое представленіе сдѣлать могу!—отрекомендовался Абессаломовъ, выпрямляясь какъ бы передъ нантіемъ вдохновенія.

— Прикажите, ваше высокоблагородіе! Не-чѣмъ такъ-то сидѣть, такъ хоть на диковинки наши посмотрите... Катай, Абессаломовъ.

— «Іюля пятаго числа»...—началъ Абессаломовъ.

— Нѣтъ, стой, не такъ разсказываешь!—прервалъ его Ермолай Петровичъ.—А ты коли охотишься разсказывать, такъ разсказывай дѣломъ: и въ позицію стань, и начало сдѣлай! Развововъ! маршъ сюда и ты!

Послѣднія слова относились къ молодому человѣку, служившему письмоводителемъ у Бондырева. Какъ оказалось впослѣдствіи, онъ долженъ былъ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ подавать Абессаломову реплику, чрезъ что представленію сообщалась особенная живость и вмѣстѣ съ тѣмъ усугуб-

лялся комизмъ. Очевидно, что кто-то (чуть ли даже не самъ Бондыревъ) съ любовью работалъ надъ этой потѣхой, чтобъ возвести ее отъ простого разсказа до степени драматической пьесы.

Абессаломовъ сталъ въ позицію, то-есть выдвинулъ впередъ одну ногу, правую руку отставилъ наотмашь и, выпрямившись всѣмъ корпусомъ, голову закинулъ назадъ. Всѣ присутствующіе улыбались, а нѣкоторые даже откровенно фыркали, заранѣе предвкушая предстоящее имъ наслажденіе. Абессаломовъ началъ.

НЕВЫГОДНЫЙ НОСЪ.

(Интермедія въ лицахъ).

«Милостивые господа и госпожи! имѣю доложить вамъ о происшествіи, котораго удивительность равняется лишь его необыкновенности! *(Смѣхъ въ аудиторіи).*

«Источникомъ какъ сего происшествія, такъ и другихъ многихъ отъ него золъ текущихъ, есть сей самый носъ *(теребитъ себя за носъ),* который здѣ предстоитъ предъ вами! А въ чемъ сіе происшествіе, тому слѣдуютъ пункты. *(«Ишь ты! по пунктамъ!» раздастся въ аудиторіи. Смѣхъ усиливается).*

«Іюля пятаго числа 18** года, въ девять часовъ утра, слѣдовалъ я, по издревле принятому еще предками нашими обычаю, на службу. Необходимо, однако, предварительно доложить вашимъ благородіямъ, что съ самаго съ Петра и Павла, неизвѣстно отъ какихъ причинъ, подвергнулся я необыкновенной тоскѣ. То-есть, тоска не тоска, а тянетъ-вотъ, тянетъ тебя цѣлый день, да и вся недолга. Даже жена удивлялась. «Чтой-то, говоритъ, душечка (она у меня въ пансіонѣ французскому языку обучалась, такъ нѣжное-то обращеніе знаетъ!),—чтой-то, говоритъ, душечка! на тебя даже смотрѣть словно тошно — ты бы хоть водочки выпилъ!»—Худо, говорю я, худо это, Прасковья Петровна; это большое несчастіе обозначаетъ!.. Однакожъ, выпилъ въ ту пору маленько водочки—оно и поотлегло.

«Вотъ только наступило это пятое число. Не успѣлъ я выйти на улицу, какъ идетъ мнѣ встрѣчу нѣкоторый озорникъ, идетъ и очи на меня пучитъ. «Вотъ, говоритъ, носъ! для двухъ росъ, а одному достался!» *(Взрывъ хохота въ аудиторіи).* Однако, я ничего, пошелъ своей дорогой и даже подумалъ про себя: «погоди, братъ! не больно прыткъ,

можетъ, у тебя и рыло-то все наизнанку выворотить». Не успѣлъ я это, государи мои, подумать, какъ встрѣчается со мной другой озорникъ. «А позвольте, говоритъ, милостивый государь! извѣстно ли вамъ, что у васъ на лицѣ состоитъ феноменъ?» И все это, знаете, съ усмѣшкой, и рожа-то у него поганымъ манеромъ отъ смѣху перекосилась...—Милостивый государь!—сказалъ я, начиная обижаться. — «Да нѣтъ, говоритъ, вы и сами не понимаете, какимъ обладаете сокровищемъ... да господа англичане милліонъ рублей вамъ дадутъ, ежели вы позволите имъ отрѣзать... вашъ носъ!»

«**Развозовъ.** А что-жъ, это вѣдь правда: носъ-то у тебя именно феноменъ!

«**Абессаломовъ.** Отстань ты... дай говорить!.. Ну-съ, отвязался онъ отъ меня коё-какъ, и пришлось мнѣ послѣ того мимо резиденціи ихъ превосходительства идти. А ихъ превосходительство, какъ на грѣхъ, на ту пору чай на балконѣ кушали... Ну, занятіевъ у нихъ никакихъ тогда не случилось, смотрѣли, значитъ, больше по сторонамъ, да смотрѣвши и узрѣли меня, многогрѣшнаго. Вскипѣли. «Что это, говорятъ, за чиновникъ? Какой у него противный носъ!» Не спорю я... не прекословлю! Точно, что носъ мой въ присутственномъ мѣстѣ терпимъ быть не можетъ! Однако, терпѣли же меня двадцать пять лѣтъ, да и ихъ превосходительство, можетъ, отъ праздности только замѣтили... а вышло совсѣмъ наоборотъ-съ. Пересказали, должно-быть, эти слова мои завистники; только сижу я въ этотъ самый день въ присутствіи, приходитъ нашъ предсѣдательствующій, и часа черезъ два—что бы вы думали, я слышу? *(съ разстановкой)*—что о моемъ, государи мои, увольненіи ужъ и постановленіе состоялось!

«**Развозовъ.** Однако, живо же они тебя обработали.

«**Абессаломовъ.** Спѣшнымъ журналомъ-съ! Даже закономъ предписанныхъ формъ не соблюли, потому что въ законахъ именно строжайше повелѣно никакихъ штрафовъ не налагать, а кольми паче насильственному умертвію не предавать, не истребовавъ предварительно объясненія!

«**Развозовъ.** Въ чемъ же, однако, объясненія отъ тебя требовать?

«**Абессаломовъ.** Все же-съ! А если не въ чемъ мнѣ объясняться, такъ тѣмъ паче-съ! Вѣдь это обидно... я не одинъ... тутъ все потомство мое, можно сказать, изъ-за носа страждетъ! Въ законахъ именно сказано, чтобъ на лицо не взирать!

«**Развозовъ.** Ты это оставь. Это не наша инстанція. Такъ даже скажу: если и напредки тебѣ на этотъ счетъ языкомъ побаловать захочется, такъ ты вспомни пословицу: *языкъ мой—врагъ мой*, и вспомнивши плюнь. Я тридцать пять лѣтъ служу *(Развозову было всего лѣтъ двадцать пять)*, и то все кругомъ да около хожу, а въ центру ни въ жизнь еще не попадалъ!

«**Абессаломовъ.** Вотъ-съ, прихожу я послѣ того домой. Человѣкъ я дѣтный, жена у меня золотушная, такъ каждый годъ все либо дочку, либо сынка подаритъ...

«**Развозовъ.** И все, чай, съ такими же носами?

«**Абессаломовъ.** Какъ можно—сохрани Богъ! Старшенькая у меня дочь, Наташенька, совсѣмъ даже схожаго со мной ничего не имѣетъ... красавица!.. Такъ прихожу я-это домой!—Ну, говорю, жена! Богъ милости прислалъ!—«А что такъ?»—Да такъ, говорю, ѣздилъ въ пиръ Кирило, да подаренъ тамъ въ рыло... уволенъ, братъ, въ чистую! *(Общій хохотъ; Абессаломовъ, въ волненіи, не можетъ нѣкоторое время продолжать)*. И вотъ-съ, стали мы послѣ того жить да поживать, да добра наживать; живемъ, нечего сказать, богато, со двора покато, за что ни хватись, за всѣмъ въ люди покатись; запасовъ всякихъ многое множество, а пуще всего всякаго нѣта запасено съ самаго съ лѣта. Жена скоро покойницей стала, бо для насъ время гладно настало, а дочекъ-красотокъ люди пріютили, бо родители имъ продовольствіе прекратили, а затѣмъ остаюсь, безъ дальнѣйшихъ словъ, покорный вашъ слуга Егоръ Павловъ Абессаломовъ». *(Общія рукоплесканія; жена станового презрительно усмѣхается)*.

Окончивъ представленіе, Абессаломовъ немедленно подошелъ къ подносу съ закуской и сряду выпилъ три рюмки водки; послѣ того онъ удалился въ уголъ и, сѣвъ на стулъ, почти мгновенно заснулъ.

— А что, ваше высокоблагородіе!—обратился ко мнѣ Бондыревъ:—вотъ вы и въ столицахъ изволили быть, а этакаго въ своемъ родѣ дарованія и тамъ, чай, со свѣчкой поищешь!

Но я не отвѣчалъ ни слова на этотъ вопросъ, потому что впечатлѣніе, произведенное на меня этимъ страннымъ существомъ и его разсказомъ, было изъ самыхъ тяжелыхъ. Несмотря на грубо-комическій колоритъ разсказа, видно было, что весь тонъ его фальшивый, и что за нимъ слышится нѣчто до того похожее на страданіе, что невозможно

и непозволительно было увлечься этою мнимою веселостью. Вообще, если Ермолай Петровичъ разсчитывалъ на то, чтобъ позабавить меня, то далеко не достигъ своей цѣли, и день мой былъ окончательно испорченъ этимъ представленіемъ. Я ѣхалъ сюда измученный моимъ одиночествомъ; все существо мое было настроено къ принятію тѣхъ благодатныхъ, свѣтлыхъ впечатлѣній, которыя, Богъ вѣсть почему, въ извѣстные дни и эпохи неотразимо и неизмѣнно носятся надъ душой, но странное «представленіе» мигомъ разрушило это свѣтлое, гармоническое настроеніе. Такъ иногда случается, что въ правильное и совершенно плавное теченіе жизни вдругъ врѣзывается обстоятельство въ полномъ смыслѣ слова ей постороннее, и врѣзывается съ такой силой, что не только заставляетъ принять себя, но и деспотически подчиняетъ собѣ весь строй этой жизни.

III.

Начинало уже смеркаться, когда мы пріѣхали на станцію. По селу, и тамъ, и сямъ, бродили группы подгулявшихъ крестьянъ, а передъ станціоннымъ домомъ стояла даже цѣлая толпа народу.

— Вѣрно, что-нибудь случилось!—еще издали замѣтилъ мнѣ Бондыревъ, указывая на толпу.

И дѣйствительно, толпа, казалось, тревожно выжидала нашего пріѣзда. Едва успѣли мы выйти изъ саней, какъ все это вдругъ заговорило и безпорядочно замахало руками. Изъ избы долетали до насъ звуки того унылаго голошенья, услышавъ которое даже самый опытный наблюдатель не въ состояніи бываетъ опредѣлить, что̀ скрывается за этими взвизгиваніями и завываньями; искреннее ли чувство, или простой формализмъ.

— Что̀ случилось?—спросилъ Бондыревъ.

— Петруха... Петруха...—раздалось въ толпѣ.

Сердце мое болѣзненно дрогнуло.

— Племянникъ у насъ бѣжалъ, ваше благородіе!—отвѣчалъ, выступая впередъ, одинъ изъ сыновей дѣдушки.

— Рекрутъ, что ли?

— Рекрутъ, ваше благородіе.

— Ахъ, шельмы вы этакія! И снисхожденія-то вамъ сдѣлать нельзя!

— Имаютъ его, ваше благородіе! Самъ отецъ пошелъ,— робко проговорилъ дядя Петруни.

— Да, изымаютъ, держи карманъ! А не было ли у него

на селѣ любезной?— спросилъ Бондыревъ, чутьемъ угадывая истину.

— Маврушка Савельева, чай, знаетъ!—молвилъ кто-то въ толпѣ.

— Что ты, перекрестись!— почти завопилъ, протискиваясь сквозь толпу, сѣдой старикъ, должно-быть, отецъ Маврушки.—Ничѣмъ моя Маврушка тутотка непричастна, ваше благородіе.

— Ишь ты какое дѣло случилось!—снова началъ дядя Петруни.—Ничѣмъ, мы, кажется, его не изобидѣли, а онъ вотъ что съ нами сдѣлалъ.

— А вотъ мы это послѣ разберемъ!—отвѣчалъ Бондыревъ и, обращаясь къ толпѣ, промолвилъ:—Чтобъ былъ у меня рекрутъ найденъ! Всѣ маршъ въ лѣсъ искать!

И сказавъ это, величественнымъ шагомъ потекъ въ избу порасправить въ теплѣ свое бѣлое тѣло.

X.—Развеселое житье.

Разсказъ.

„Станетъ царь-государь меня спрашивати:
Ты скажи, дѣтинушка, крестьянской сынъ!
Ужъ ты съ кѣмъ воровалъ, съ кѣмъ разбой держалъ?“
Бурлацкая пѣсня.

«Развеселое, братъ, это житье! Ни передъ тобой, ни надъ тобой, ни кругомъ, ни около никакого начальства нѣтъ; никто, значитъ, глаза тебѣ не мозолитъ, никто съ тебя не спрашиваетъ, а при случаѣ всякъ самъ же тебѣ отвѣтъ долженъ дать.

«Такъ скажу: коли нѣтъ у тебя роду-племени, или обидѣлъ-заѣлъ кто ни-на-есть, или сердце въ тебѣ стосковалося,—кинь ты жизнь эту нуждную, кинь заботу эту черную, поклонись ты лѣсу дремучему: «лѣсъ, молъ, государь, дремучій боръ! ты прими меня страннаго, ты прими безчастнаго-безталаннаго. Разутѣшь ты, государь, душу мою горькую, разнеси тоску мою по свѣту вольному! Чтобъ зналъ вольный свѣтъ, какова есть жизнь распрелютая, чтобъ вѣдали люди прохожіе-проѣзжіе, какъ сиротское сердце въ груди встосковалося, въ вольномъ воздухѣ душа разыгралася».

«Народу у насъ предовольно. И изъ Рязани, и изъ Казани, и изъ-подъ самаго Саратова, есть и казенные, есть и барскіе, однако, больше барскіе... Бываютъ и кавалеры: эти больше отъ «зеленыхъ луговъ» въ лѣсу спасаются.

Народъ все тёртый: и въ водѣ тонулъ, и въ огнѣ горѣлъ; стало-быть, какъ зачнетъ тебѣ сказы сказывать—заслушаешься. Иной, братецъ, головы два разъ лишался, а все голова на плечахъ болтается; иной кавалеръ и за отечествіе ровно ужъ слишкомъ отличку показалъ, и въ паратахъ претерпѣніе видѣлъ, а все въ живыхъ стоитъ. Никто какъ Богъ. Одинъ кавалеръ рапортовалъ: пуля ему въ самый лобъ треснула, разлетѣлась-это голова врозь, посинѣли руки-ноги, ну и языкъ тоже: буде врать, говоритъ... Что-жъ, сударь? къ дохтуру—не помогъ; къ командиру—не помогъ; самъ брихадный былъ—не помогъ; а Смоленская помогла! Значитъ—сила!

«Такимъ родомъ живучи, на людяхъ и сиротство свое забываешь. Ну, и другое еще: свычка. Это значитъ: коли къ чему человѣкъ привыкнетъ, лучше съ жизнью ему разстаться, нежели привычку свою покинуть. Сказывалъ одинъ кавалеръ, что по времени и къ палкѣ привычку сдѣлать можно. Ну, это, должно-быть, ужъ слишнимъ, а съ хорошимъ житьемъ точно-что можно слюбиться.

«Да и хорошо вѣдь у насъ въ лѣсу бываетъ. Лѣтомъ, какъ сойдетъ-это снѣгъ, ровно все кругомъ тебя заговоритъ. Зацвѣтутъ-это цвѣты-цвѣтики, прилетитъ птичка-малиновочка, застучитъ дятелъ, закукуетъ кукушечка, муравьи въ землѣ закопошутся—и не вышелъ бы! Травка малая подъ сосной зябетъ,—и та словно родная тебѣ. А почнетъ эта лѣсъ гудѣть, особливо объ ночь; и вѣтру не чуть, и верхи не больно чтобъ шатались,—а гудетъ! Такъ гудетъ, что даже земля многіе десятки верстъ ровно стонетъ! Столь это хорошо, что даже сердце въ тебѣ взыграетъ!

«Бываютъ, однако, и напасти на насъ, а главная напасть—зима. Первое дѣло—работы совсѣмъ нѣтъ: стужа-то не свой братъ, не сядешь ждать на дорогѣ, какъ слезы изъ глазъ морозомъ вышибаетъ; второе дѣло—всякій въ ту пору въ лѣсъ наѣзжаетъ: кому бревешко срубить, кому дровецъ надобно,—ну, и неспособно въ лѣсу жить. Значитъ, въ зимнее время все больше по чужимъ людямъ, аки Іуда, шманаемся: гдѣ хлѣбца подадутъ, а гдѣ и пирожка укусишь. Только чудной, право, нашъ народъ: хлѣбца тебѣ Христовымъ именемъ подастъ, даже убоинкой объ ину пору удовлетворитъ, а въ избу погрѣться не пуститъ: ни-ни, проваливай мимо! Такимъ родомъ, все по гумнамъ и имѣемъ ночлегъ. Иной разъ разнеможешься,—просто смерть! Спину словно перешибетъ, въ головѣ звенитъ, глаза затекутъ,

ноги ровно бревна сдѣлаются,—а все ходи! Еще гдѣ до свѣту, запоютъ-это пѣтухи, потянешь носомъ дымокъ,—ну, и вставай, значитъ, покидай свое логово! А не уйдешь, такъ тебя, раба Божія, силой изъ-подъ соломы выволокутъ, да на сусѣднее поле и положатъ: отдыхай, молъ, тутъ, сколько тебѣ хочется! Звѣрь-народъ!

«Однако, братъ, штука это жизнь! Иной разъ даже тошнехонько, и на свѣтъ бы не глядѣлъ, и руки бы на себя наложилъ—анъ нѣтъ, словно нарочно все такъ подстроится, чтобы быть тебѣ живу,—живъ и есть. Ровно она сама къ себѣ пристаетъ, жизнь-то: живи, молъ, восчувствуй! Ну, и восчувствуешь: пойдешь это въ кабакъ, хватишь косушку разомъ, и простынетъ въ тебѣ зло, благо сердце у насъ отходчиво.

«Случилась однажды со мной оказія. Иду я по Доробину, а на дворѣ стала ночь; только иду я, идучи будто думаю; и холодно-то мнѣ, и голодно-то, и нѣтъ у меня роду-племени, нѣту батюшки, нѣту матушки, и все, знашь, какъ-то на фартуну свою жалуюсь, что ужъ оченно, значитъ, горько мнѣ привелось. Только вижу, у Мысея въ избѣ огонь горитъ. Полюбопытствовалъ я и гляжу въ окошко; ну, извѣстно, что въ избѣ дѣлается. Посередь горницы молодуха прядетъ, въ углу молодякъ за станомъ сидитъ, на земли ребятки валяются, старый лапти на лавкѣ ковыряетъ... то-есть видалъ и перевидалъ я все это. Однако, тутъ, Богъ-е-знаетъ, что со мной сталось: растопилось это во мнѣ сердце, даже затрясся весь. Взошелъ въ избу: «Богъ въ помочь, говорю, господа хозяева! не пустите ли страннаго обогрѣться?»

«—А ты отколь?—спрашиваетъ Мысей и смотритъ на меня старикъ зорко. Ну, самъ, чай, знаешь трудно ли тутъ соврать? Сказалъ, что изъ Гай либо изъ Лыкошева,—и дѣло съ концомъ! Анъ, вотъ те Христосъ, не посмѣлъ солгать, языкъ даже не повернулся; стою да молчу.—Инъ, дай ему, Марьюшка, хлѣбца, Христа-ради!—говоритъ Мысей-то:—а ты, говоритъ, странный, ступай,—Богъ съ тобой!

«Ну, и пошелъ я; только всю эту ночь я промаялся. Горе, что ли, меня больно задавило, а это точно, что глазъ сомкнуть не могъ. Все это будто сквозь туманъ либо Мысей представляется, либо робятки малые, либо молодуха... и ровно рай у нихъ въ избѣ-то!

«Вторая наша напасть—полиція; однако, съ нею больше на деньгахъ дѣло имѣемъ.

«Вздумалъ этта становой насъ ловить, однако мамонѣ спраздновалъ. Вотъ какъ дѣло было. Призвалъ онъ къ себѣ отъ «Разбалуя» цѣловальника:—Ты, говоритъ, всему этому дѣлу голова: ты, стало-быть, и ловить должонъ.

«— Помилуйте, ваше благородіе!—говоритъ Михей Митричъ:—у насъ въ заведеніи, окромѣ какъ тихимъ манеромъ выпить, никакихъ другихъ дѣловъ не бываетъ; одно слово, говоритъ, монастырь... сосновый-съ!—Однако, становой на него затопалъ:—Знать, говоритъ, ничего не хочу!—Ну, Михей Митричъ за Батыгой: такъ и такъ молъ, утекайте пока до бѣды. Затосковалъ Батыга, денно и нощно горькую пилъ, а изъ бѣды-таки выручилъ. Зарядивши себя такимъ родомъ, пошелъ онъ... какъ бы ты думалъ, куда? Къ самому, то-есть, къ становому!

«— Я, говоритъ, есть тотъ самый Батыга, объ которомъ ваше благородіе узнавать изволили...—Такъ становой-то даже обезпамятѣлъ весь отъ злости. Подлетѣлъ это къ нему, вцѣпился смаху въ бороду, и ну волочить. Даже говорить ничего не говоритъ, а только ротъ разѣваетъ да дышитъ. Только Батыга все претерпѣлъ, ни въ чемъ не перечилъ, а какъ увидѣлъ, однако, что его благородію маленько будто полегчило, повелъ и онъ свою рѣчь.—А я, молъ, къ вашему благородію съ лаской, говоритъ.—Ну, и опять обезпамятѣлъ становой:—Сотскихъ!—кричитъ:—кандалы сюда!—И все-таки въ кандалы не заковалъ, а порѣшили наше дѣло промежъ себя полюбовно: отъ насъ ему въ мѣсяцъ пятьдесятъ цѣлковыхъ, а намъ воровать съ осторожностью.

«А по прочему по всему житье намъ хорошее.

«Попалъ я на эту линію постепенно. Человѣкъ я Божій, обшитъ кожей, попросту, по-русски сказать, дворовый господина Ивана Кондратьича Семерикова, на золотѣ не ѣдалъ, медовой сытой не запивалъ, ходилъ больше въ нанкѣ да въ пеструшкѣ, хлебалъ щи, а пилъ воду. На этомъ, братъ, коштѣ не разжирѣешь, а если и разжирѣешь, такъ, значитъ, не отъ себя и не отъ господъ, а никто какъ Богъ. Поступилъ я сперва-на-перво въ барскій домъ въ мальчишки. Должность эта небольшая: на погребъ за квасомъ слетай, въ обѣдъ за стуломъ съ тарелкой постой, ножи вычисти, тарелки перемой, да изъ чулка урокъ свяжи,—только и всего... Такъ-то я и росъ. Помню даже теперь, какъ, бывало, облизываешься, глядя на господъ, какъ они кушать изволятъ. Иной разъ такъ забудешься, что и ротъ по-ихнему разѣвать начнешь,—ну, и сѣчь сейчасъ, потому

что ты лакей и, стало-быть, долженъ за стуломъ стоять смирно.

«Хоть баринъ у насъ и богатый, однако ихній тятенька, еще у всѣхъ дворовыхъ на памяти, въ ближнемъ кабакѣ Михей Митричемъ сидѣлъ... По этому самому случаю, а больше, можетъ, и для того, чтобъ себя передъ благородствомъ оправдать, Иванъ нашъ Кондратьичъ свою честь держалъ очень строго. Не то чтобъ къ кабаку, какъ къ истинному своему отечествію, льнуть, а все наровитъ, бывало, какъ бы въ большія хоромы вгрызться. А съ нашимъ братомъ—никакого я разговору не было.

«Наши дворовые были Иванъ Кондратьичемъ недовольны. Особливо обижался имъ буфетчикъ Петръ Филатовъ. Прежде-то были мы, слышь ты, княжіе (Овчинина князя Сергѣй Ѳедорыча, можетъ, слыхалъ?). Ну, стало-быть, Петру-то Филатычу и точно-что будто обидненько было послѣ князя какой-нибудь, съ позволенія сказать, мрази служить.

«А пріятный для слуги господинъ какой долженъ быть? Тотъ господинъ для слуги пріятенъ, который его слушаетъ, который обиходъ съ нимъ имѣетъ и на совѣтъ слугу своего безпремѣнно зоветъ. Въ старые годы, сказываютъ, на этотъ счетъ просто было: господа съ слугами въ шашки игрывали и завсегда съ ними компанію важивали. Онъ же, Петръ Филатовъ, сказывалъ, что, бывало, господа другъ съ дружкой бесѣду ведутъ, а слуги у дверей сберутся да временемъ и свое словечко въ господскую рѣчь пустятъ. Ну, конечно, что этакъ-то будто лучше, а впрочемъ, это не мое, а Петра Филатова разсужденіе, потому какъ я на это дѣло давно уже плюнулъ и ногой, братецъ ты мой, его растеръ.

«Пречудный былъ этотъ старикъ. Начнетъ, бывало, про князя разсказывать—что твой соловей заливается,—и не заткнешь ничемъ; а вспомнитъ, что вотъ на старости лѣтъ Семерику служить привелось, а пойдетъ-это губами шамкать, даже весь посинѣетъ отъ злости. Такая ужъ, видно, линія на роду человѣку написана.

«На четырнадцатомъ году свезли меня въ Москву къ повару-французу въ ученье; жилъ я въ поваренкахъ четыре года и, хвастать нечего, свѣту большого изъ-за плиты не видалъ. Потомъ, однако, пустили господа по оброку, чтобъ еще больше, значитъ, въ наукѣ своей произойти.

«Про Москву такъ долженъ сказать: множество видѣлъ я городовъ, а супротивъ Москвы не сыщется. Въ Москвѣ всякій въ свое удовольствіе живетъ. господа въ гости другъ

къ дружкѣ ѣздятъ, а простой народъ въ заведеніяхъ—блаженство! Возьмемъ, примѣрно, трактиры одни, чего тамъ нѣтъ? И чай, и водка, и закуски... и все, значитъ, тамъ. Машина «Вѣтерокъ» тебѣ сыграетъ, приказный отъ Иверскихъ воротъ въ-присядку отпляшетъ; въ одномъ углу тысячныя дѣла промежъ себя рѣшатъ, въ другомъ просьбицу строчатъ, въ третьемъ обнимаются, въ четвертомъ слезы проливаютъ... Жизнь! Къ этакому-то житью какъ попривыкнешь, ни на что другое и не смотрѣлъ бы! Такъ тебя и тянетъ съ утра ранняго все въ трактиръ да въ трактиръ.

«Баринъ, къ которому я нанялся (а нанялся я къ нему въ лакеи, а не въ повара), очень меня полюбилъ; смирный, добрый былъ этотъ баринъ, не наругатель и не озорникъ, а къ простому народу особливо былъ жалостливъ. Служить онъ нигдѣ не служилъ и занимался, по своей охотѣ, все больше книжками, а по вечерамъ господа молодые къ нему собирались.

«Однакожъ, недолго я у него жилъ. Въ скорости этотъ баринъ незнамо куда запропалъ, да въ скорости же пришелъ и ко мнѣ отъ нашего бурмистра приказъ въ деревню явиться.

«Ужъ какъ мнѣ эта деревня тошна послѣ Москвы показалась—даже разсказать нельзя! Первое дѣло, призываетъ меня къ себѣ Семерикъ и приказываетъ при конюшнѣ находиться. Снялъ и свое платье московское, нарядился въ старый армякъ.

«Ну, армякъ, такъ армякъ,—и на томъ спасибо.

«Второе дѣло, содержаніе въ деревнѣ больно ужъ безобразное. Настанетъ, бывало, время обѣдать идти, такъ даже сердце въ тебѣ все воротитъ. Щи пустыя, молоко кислое,—только слава одна, что ѣшь, а настоящаго совсѣмъ нѣтъ.

«Однако, хоть и всячески я себя перемогалъ, а по времени невмоготу стало. И сдѣлалось со мною тутъ словно чудо какое. Отъ думы, что ли, или оттого, что, въ Москвѣ живши, себя ужъ очень изнѣжилъ, только сталъ я мучиться да тосковать, даже ровно страхъ на меня отъ всѣхъ этихъ мученьевъ напалъ. «Господи! думаю, бывало, неужто-жъ и взаправду мнѣ въ этой трущобѣ, какъ червю, гнить придется?» А сердце вотъ такъ и рветъ, такъ и ноетъ въ груди.

«Даже работать совсѣмъ пересталъ. Знаю и самъ, что худо это, что другіе, можетъ, и лучше тебя, за тебя работаютъ, однако, принужденія себѣ сдѣлать не въ силахъ. Ну, и давай Богъ нашимъ здоровья—пожалѣли меня, до барина этого не довели.

«Вотъ только одинъ разъ по вечеру господа наши въ гости уѣхали; пошелъ я во дворъ поглядѣть, какъ наши сѣнныя дѣвушки въ горѣлки бѣгаютъ. Только бѣгаютъ-это дѣвки, а во флигелѣ на крылечкѣ какая-то барыня на нихъ смотритъ. Ну, и наши всѣ тутъ въ кучу собрались; идетъ промежъ нихъ хохотъ да балагурство; увидѣли меня, на смѣхъ тоже подняли: — Что, пришелъ, или, молъ, смирился?—Анъ, нѣтъ, говоритъ Филатовъ, онъ къ Марьѣ Сергѣвнѣ на поклонъ явился!—Тутъ только я и узналъ, что эта барыня сама Марья Сергѣвна и есть.

«А Марья Сергѣвна у нашего барина въ родѣ какъ экономка жила. Была она просто-на-просто пастуха нашего дочь; только Семерикъ и въ паневѣ ее облюбовалъ, и по этому самому отца-то изъ пастуховъ въ дальнюю деревню въ старосты произвелъ, а ее въ горницу къ себѣ опредѣлилъ. Ну, взяли сердечную, вымыли, вычесали, въ платье нѣмецкое одѣли и къ Семерику представили; барыня наша сказываютъ, много объ этомъ въ ту пору стужалася.

«Однако, любопытно мнѣ стало поглядѣть на нее. Самъ знаешь, баринова сударка—стало-быть, сила. Коли не настоящее, значитъ, тебѣ начальство, такъ еще хуже того; какъ же тутъ утерпѣть, не посмотрѣть? Подошелъ я къ крылечку и гляжу на нее.

«И вотъ, братецъ ты мой, даже до сей минуты вспомнить я о ней не могу: такъ-это и закипитъ, задрожитъ все во мнѣ! Ровно подняло во мнѣ все нутро, ровно сердце въ груди даже заиграло, какъ взглянула она на меня! И нельзя даже сказать, чтобъ ужъ очень изъ себя пышна или красива была, а такой-это былъ у нея взглядъ мягкій да ласковый, что всякому около нея тепло и радошно становилося. Ну, и усмѣшечка эта на губахъ тихонькая... ровно вотъ зоренька утренняя сквозь облачка поигрываетъ.

«Много видѣлъ я барынь красивыхъ, и изъ нашего званія тоже хороши дѣвушки изъ себя бываютъ, а все-таки Маши другой не встрѣчалъ. Доброта въ ней большая была; а потому, можетъ, самому краса ея силу имѣла, что душа у ней на лицѣ всякому объявлялась. Такъ скажу: не знай я теперя, что давно она въ могилу пошла, жизни бы не пожалѣлъ, въ кабалу бы себя опять отдалъ, только бы на лицо ея насмотрѣться, только бы голоса ея милаго наслушаться!

«Ну, и она, увидѣвши меня будто въ первый разъ, тоже полюбопытствовала.

«— Не вы ли, говоритъ, новый поваръ, что̀ изъ Москвы онамеднись выслали?

«— Я, говорю.

«— Отчего-жъ, говоритъ, вы въ такомъ платьѣ ходите?

«— А оттого, молъ, что на это есть барская воля.

«— Такъ вы барина попросили бы... онъ вѣдь только гордъ очень, а добрый!

«— Нѣтъ, говорю, я просить не буду, потому что впередъ знаю, что если стану съ бариномъ говорить, такъ ужъ это безпремѣнно, что ему нагрублю.

«— Что-жъ такъ?

«— Да такъ, Марья Сергѣвна... за что̀, примѣрно, онъ меня платья моего лишилъ?

«— Вотъ вы какіе! пожили въ Москвѣ, да и стали ужъ слишкомъ спѣсивы! А вы бы глядя на другихъ дѣлали.

«Ну, я противъ этихъ ея словъ ничего сказать не рѣшился: стою да молчу.

«— А хорошее, говоритъ, въ Москвѣ житье?

«И сама, знаешь, тяжеленько этакъ вздыхаетъ.

«— И вездѣ, говорю, хорошо, гдѣ, то-есть, жить намъ мило.

«— А гдѣ, по-вашему, мило?—спрашиваетъ.

«— А тамъ, говорю, мило, гдѣ у насъ милый другъ находится...

«Сказалъ это, да и смотрю на нее, и даже чувствую, какъ меня всего знобитъ. И она со словъ моихъ словно зардѣлась вся, опустила это головоньку и задумалась.

«— Вамъ, можетъ, желательно, чтобъ я за васъ барина попросила, говоритъ.

«— Коли ваше желаніе на то есть, говорю, такъ отъ васъ я принять милость не откажусь.

«Больше въ тотъ вечеръ я съ ней не говорилъ. Только стало мнѣ съ той минуты словно легко и незаботно на свѣтѣ жить. Пошелъ я къ себѣ на сѣновалъ спать, и всю-то ночь вмѣсто спанья только пѣсни пропѣлъ.

«Да и ночь-то на ту пору такая случилась: теплая да звѣздная, ровно даже горитъ-это наверху отъ множества звѣздъ! И все-это кругомъ тебя спитъ; только и слышишь, какъ лошадь около яслей на мякину фыркнула, или въ денникѣ жеребенокъ въ соломѣ спросоньевъ закопошился.

«На утрѣ позвали меня къ барину. Не могу о себѣ сказать, чтобъ изъ робкихъ былъ; однако, на ту пору такъ сробѣлъ, что даже сердце во мнѣ упало. Баринъ принялъ меня въ лакейской предъ всѣми людьми и очень что-то грозно.

«— Ну, что, говоритъ, прочухался?

«Я молчу.

«— Что-жъ ты не отвѣчаешь, звѣрь?

«Я опять молчу. Только слышу, что по-за-дверью ровно зашуршало что̀. Задрожалъ, затрясся я весь.

«— Виноватъ, говорю.

«— То-то, молъ, виноватъ!

«Ну, и простилъ онъ меня, въ кухню опредѣлить велѣлъ.

. . . . . .

«Стали мы послѣ этого чаще видаться, только больше все при людяхъ. Иной разъ и встрѣтишься гдѣ-нибудь одинъ на одинъ, однако, смѣшаешься, обробѣешь,—ну, ничего и не скажешь. Объ одномъ только и въ мысляхъ, бывало, держишь, какъ бы съ ней встрѣтиться, или бы шорохъ отъ платья ея услышать, или бы вотъ хоть издалька на нее полюбоваться. Ну, и она словно замѣтила, что усмѣшечка ея шибко мнѣ нравится: какъ ни пройдетъ мимо меня, всякій разъ безпремѣнно усмѣхнется... Такъ и протянулось наше дѣло до осени.

«По осени, такъ, около Введеньева дня, стали наши господа въ Москву сбираться. Пошелъ-это по дому трескъ да шумъ; возы съ поклажей сряжаютъ, экипажи дорожные излаживаютъ,—ну, какъ у большихъ господъ обыкновенно водится. Слышу я, что и Маша съ господами уѣзжаетъ, а мнѣ приказу ѣхать не объявляютъ. Сталъ я стороной отъ людей узнавать: кто говоритъ—Павлу-повару ѣхать, кто говоритъ—мнѣ ѣхать, а настоящаго нѣту. Времени, межъ тѣмъ, все меньше остается,—смерть, да и полно!

«Порѣшилъ я подъ конецъ, чтобъ мнѣ самому съ Машей объ этомъ переговорить. Выбралъ время, какъ ей изъ дому во флигель на ночь идти, сталъ и жду у крылечка. Только вижу, что вдали огонекъ забрезжилъ и прямо-таки къ флигелю бѣжитъ, словно вотъ искорка, откуда ни взялась, одна, сама собой въ воздухѣ летаетъ.

«— Вы, говорю, Марья Сергѣвна?

«Спервоначалу она было-испугалась, даже оступилась и упала, однако, голосу не дала. Я ее бережненько поднялъ, посадилъ на крылечко и фонарь затушилъ.

«— Вы, я говорю, не опасайтесь меня, Марья Сергѣвна!.. Я съ тѣмъ нарочно и пришелъ, чтобъ васъ видѣть. Мочи моей больше нѣтъ; все у меня сердце отъ тоски изорвалось!

«Подошелъ я поближе къ ней, взялъ ее за рученьку и слышу, что она словно листъ вся трясется.

«— Вы вотъ съ господами въ Москву сбираетесь, говорю, стало-быть, разставанье будетъ намъ долгое... Поэтому я такъ теперь о себѣ понимаю, что самый я безъ васъ буду несчастный человѣкъ, и, стало-быть, ничего мнѣ другого желать не надо, какъ только руки на себя наложить или въ лѣса отъ такихъ мученьевъ бѣжать...

«— Да вѣдь и вы, чай, съ нами въ Москву поѣдете? Чтой-то, ужъ и бѣжать собрались... словно и разуму своего вы лишились!

«— Нѣтъ, говорю, въ Москву я съ вами не поѣду; да и вы, коли меня жалѣете, барина отъ этого намѣренія отклоните. Потому, первое, что въ Москвѣ я надежды на себя не имѣю. А второе дѣло, мнѣ и здѣсь на ваше житье смотрѣть совсѣмъ непереносно стало.

«Какъ выговорилъ я ей это, она словно даже ручьемъ залилась.

«— Такъ, вотъ, говоритъ, чѣмъ вы меня попрекаете, точно сами не знаете, какова моя здѣсь жизнь!

«— Я, говорю, не съ тѣмъ это сказалъ, чтобъ васъ попрекать, а съ тѣмъ, что при моихъ къ вамъ чувствахъ смотрѣть мнѣ на эти дѣла не приходится.

«Только она еще пуще на это заплакала, а меня ровно тутъ духъ какой обуялъ! Бросился я къ ней, поднялъ-это ее къ себѣ на руки... И жалко-то мнѣ ее, и душу-то я бы за нее отдалъ, и злость, однако, за сердце словно вотъ клещами хватаетъ: пропадай, молъ, все, не доставайся она ни мнѣ, ни ему! Даже закоченѣлъ весь, даже не слышу ничего, мну да тираню ее, сердечную, въ рукахъ, будто задушить хочу... А она только потихоньку стонетъ, а рваться отъ меня не рвется.

«— Ваня! говоритъ, что ты надо мною сдѣлать хочешь?

«Опамятовался я подъ конецъ, выпустилъ ее изъ рукъ. Тяжко мнѣ тутъ сдѣлалось, такъ тяжко, что и сказать нельзя. Смотрю-это на барскій дворъ, и самъ Богъ знаетъ что думаю; смотрю тоже и на большую дорогу, и на лѣсъ дальній,—и все это будто перемѣшалось во мнѣ; точно не самъ я, а именно лукавый во мнѣ думаетъ.

«И такова была въ ней душа ангельская, что она не токмà-что тиранства моего не попомнила, а меня же, звѣря лютаго, утѣшать бросилась.

«— Ваня, говоритъ, голубчикъ ты мой! ахъ, да посмотри же, посмотри же ты на меня! пожалѣй ты меня! Легче бы мнѣ въ пропасть теперь сгинуть, чѣмъ сердце твое на себѣ видѣть!

«И вотъ, братецъ ты мой, хоть зима на дворѣ стояла: значитъ и тѣмнеть, и сивиръ, и снѣгъ, однако, краше для меня эта ночь самой теплой лѣтней ночи показалась! Всѣ эти звѣзды, что̀ на небѣ горятъ, словно въ сердцѣ у меня загорѣлися!

«На утро прикинулась къ ней горячка. Доложили объ этомъ барину и послали за дохтуромъ. Дохтуръ обозрилъ ее и сказалъ, что въ Москву ѣхать никакъ нельзя. Сокрушился Семерикъ; однако, такую къ Машѣ привычку взялъ, что даже поѣздку въ Москву хотѣлъ отложить. Только тутъ ихняя супруга, дай Богъ ей здоровья, за наше счастіе вступилася. Семерикъ говоритъ: «не поѣду!» Семеричиха кричитъ: «врешь, поѣдешь!» И опять Семерикъ свое долбитъ, а Семеричиха такъ на него и заливается: «и безъ того я отъ тебя не-вѣсть-что безобразіевъ терплю, чтобъ смѣлъ ты меня на всю жизнь въ деревню запереть!» Много у насъ тутъ сраму на весь домъ было. Однако, Семеричиха, какъ была генеральская дочь, одолѣла. Стали сбираться; вышелъ и мнѣ приказъ быть готовымъ.

«Ну, нѣтъ, думаю, это, видно, подождать придется! И удумалъ я тутъ штуку. Явился къ Семерику и, какъ ни воротило мнѣ сердце, палъ къ нему въ ноги взаправду.

«— Позвольте, говорю, въ деревнѣ остаться!

«— Это еще что̀ за штуки?—говоритъ:—и какъ ты смѣлъ прямо на глаза мои показываться?

«— Я, говорю, по слабости моей, въ Москвѣ надежды на себя не имѣю, потому какъ тамъ и знакомство у насъ большое, и случаевъ больше есть, а въ деревнѣ все одно, что въ монастырѣ...

«Понравилось это Семерику. А пуще всего то̀ по̀-сердцу пришлось, что вотъ, молъ, лютаго звѣря въ смиреніе привелъ.

«— Ну, говоритъ, коли есть твое желаніе, чтобъ въ исправленіи своемъ укрѣпиться, такъ я препятствовать этому не могу... Взять въ Москву Павлушку!

«Уѣхали.

«Остались мы съ Машей въ домѣ почесть-что одни. Молодыхъ всѣхъ господа еще съ обозомъ въ Москву угнали, а въ деревнѣ оставили только стариковъ да конюховъ. Къ Машѣ старуху Матрену Ивановну приставили — золотая это была душа! Стало-быть, очень намъ было свободно! По началу она еще слабость въ себѣ чувствовала, а недѣльки черезъ двѣ и поправляться стала. А Семерикъ то и дѣло, что изъ Москвы гонца за гонцомъ шлетъ, да строго-на-

строго наказываетъ, чтобъ Машу къ нему въ самой скорой скорости выслать. Однако, нѣтъ.

«И словно рай промежъ насъ тогда поселился. По времени, даже смѣлость такая у насъ проявилась, что и людей совсѣмъ опасаться перестали. Заложишь, бывало, объ вечеръ жеребца съ барской конюшни въ охотницкія саночки, укутаешь ее, голубушку, въ шубку, и пошелъ по полянкамъ гулять, — даже духъ занимается! А ночи-то, братъ, лунныя да морозныя, и снѣгомъ-то кругомъ тебя обдаетъ, и вѣтромъ-то жжетъ... Жизнь! У Маши, бывало, даже глазенки заискрятся, столь это хорошо!

«Ну, и домой тоже пріѣдешь, отогрѣвать ее станешь. на рукахъ, словно ребеночка, баюкаешь...

«Да, братъ,—какъ подумаешь да погадаешь, что все это жило да сплыло, да быльемъ поросло, и что всему этому житью Семерикъ на всякъ часъ поперекъ можетъ стать,— даже страхъ тебя какой-то беретъ!

«И скажи ты мнѣ на милость, отчего бы, напримѣръ, мнѣ счастливымъ не быть? И отчего, напримѣръ, вздумалъ я разъ въ жизни радость свою имѣть, и тутъ вышло, что радость та не моя, а чужая? Отъ этой, братъ, думы и ушелъ я въ лѣса, чтобъ больше она меня не тревожила.

«Провѣдалъ, однако, прозналъ онъ—какъ ужъ, не знаю— про нашу любовь. Бурмистръ, что ли, ему отписалъ,—этого доказать не могу; только разъ пріѣзжаемъ мы вечеромъ съ поля, анъ въ барскомъ домѣ огни горятъ. Маша моя такъ и ахнула... Ну, и я тоже маленько будто посумнился.

«— Что, говорю, Машенька! гаркнуть развѣ, и поминай какъ звали?

«Только говорю я это, а самъ вижу, что она ни жива, ни мертва въ саночкахъ сидитъ. «Ну, думаю, плохо, значитъ, наше дѣло, — пришлось въ раздѣлку идти!»... Надѣялся-было я на первыхъ порахъ во флигелѣ ее схоронить, анъ и тотъ запертъ.

«Привели насъ къ Семерику... Ну... кончилось тѣмъ, что Машу черезъ два дня въ деревню за вдовца за дѣтнаго замужъ отдали, а меня приказали въ солдаты сдать...

«Въ эту ночь много я отъ холоду вытерпѣлъ, а пуще того отъ думы да отъ тоски сокрушился. То будто зима-зимская морозная передъ глазами носится, и полянки эти дальныя, и саночки малыя, и Маша, разлюбушка моя, тутъ... И словно свѣтъ голубой мнѣ въ глаза бьетъ, и въ

этомъ свѣтѣ голубомъ она, моя голубушка, ровно въ воздухѣ, дрожитъ и колышится... Залило меня горе всего!

«Порѣшилъ я, однако, бѣжать. Не то чтобъ солдатства крѣпко боялся, а словно дѣло это для насъ необычное, да и съ Машей разстаться жалко; все думаешь: не закопаютъ же ее живую въ могилу,—авось можно свидѣться какъ-нибудь.

«Вотъ на другой день подняли меня ранымъ-ранёхонько. Вывели, всего обшарили. На дворѣ подвода стоитъ, и отдатчикъ съ подводчикомъ наготовѣ ожидаютъ. Пришли родные, пришла дворня вся: бабы воютъ да стонутъ, особливо матушка. Измаяли они меня.

«Привелось намъ мимо скотныхъ дворовъ ѣхать. Не утерпѣлъ я—и сталъ проситься, какъ бы Машу мнѣ повидать. Извѣстно, отдатчикъ, вмѣсто отвѣта, велѣлъ лошадь стегать; однако, я вскочилъ и зачалъ его за горло душить:—Мнѣ, говорю, за одно терпѣть, а тебѣ не быть живу, варвары вы этакіе!—Ну, испугался, пустилъ. Вошелъ я въ избу: избенка-эта темная и смрадная, словно хлѣвъ коровій.

«— Много лѣтъ здравствовать, Марья Сергѣвна!—говорю.

«Только услыхала она мой голосъ, бросилась-это ко мнѣ, уцѣпилась за полушубокъ... даже ровно замерла тутъ.

«— Погубилъ я тебя, Машенька, говорю, не будетъ мнѣ за это счастія въ сей землѣ!

«— Жить... нѣтъ... нѣтъ!—говоритъ, а сама такъ и дрожитъ, такъ и трясется вся, и въ лицѣ ни единой кровиночки нѣтъ.

«Сѣлъ я на лавку, положилъ ее на колѣни къ себѣ и сталъ-это цѣловать да миловать. Только чую, будто слезы у меня горятъ, да и сердце въ груди ровно ширится. Ну, думаю, плакать, такъ плакать... въ остатній разъ! Плачу я-это, даже духъ у меня отъ слезъ словно захлестываетъ... только и могу выговорить: Машенька! Машенька!.. ахъ, да каково-жъ это больше не свидѣться!—А она даже и не отвѣчаетъ ничего; завернулась, голубка, подъ полушубокъ ко мнѣ, да только рукавами обѣими меня удерживаетъ... И сладко-то, и тоскливо-то мнѣ!

«Только, видно, дали во дворъ знать, что двоимъ со мной не сладить; прибѣжало еще человѣкъ съ пять на подмогу. Стали ее отымать отъ меня; ну, и она по началу ровно не поняла, что̀ съ ней дѣлается, даже взять себя допустила... Однако, какъ началъ я скотницѣ Аграфенѣ въ ноги кланяться, чтобъ она ее, сиротку, пригрѣла да приголубила, вдругъ она словно разразилася: взвизгнула-это,

застонала и зачала изъ ихъ рукъ рваться... даже я самъ поскорѣй изъ избы выбѣжалъ.

«Ѣду я дорогой да все думаю: «Уйду я отъ нихъ, безпремѣнно уйду!» Гляжу-это на поле дальнее; вонъ въ сторонѣ вихорикъ закружился, вонъ пеленку снѣжную взбуровилъ... уйду, молъ, отъ нихъ, безпремѣнно уйду! Вонъ мостикъ ветхонькій черезъ рѣчку лежитъ; по краямъ у рѣчки ледокъ, словно хрусталь чистый, скипѣлся, а середочка плещется, ровно живая журчитъ... уйду я отъ нихъ, безпремѣнно уйду!.. Вонъ лѣсокъ впереди засинѣлся: ишь ты, какой лѣсъ частый да береженый!.. вонъ и въ деревню въѣхали... пошли саночки по ступенямъ тукъ-тукъ... Ахъ, да уйду я отъ нихъ, безпремѣнно уйду!

«— Пусти, Потапъ!—говорю отдатчику.

«— Что ты, говоритъ, чай, я не о двухъ головахъ!

«— Пусти, Потапъ! въ могилу за тебя живой лягу, души не пожалѣю... пусти!

«Не пустилъ... Да уйду же я отъ тебя, безпремѣнно уйду!

«Пріѣхали мы на постоялый дворъ ночевать. Сѣли ужинать, а я все одно думаю: «уйду, да уйду». Положили они меня для вѣрности промежъ себя спать, даже полушубокъ съ меня сняли, да подъ головы себѣ сунули. Однако, я не сплю и все въ умѣ одно держу: «уйду, молъ, я отъ нихъ, безпремѣнно уйду!» Вотъ только слышу я—загудѣло мужичьё; были тутъ, кромѣ насъ, извозчики; наѣдятся они на ночь, такъ ровно начнетъ ихъ коробить во снѣ-то. Иной знаешь, не своимъ голосомъ во снѣ зарычитъ, другой даже вскочитъ спросоньевъ, посидитъ-посидитъ словно полоумный, перекрестится, да и опять спать. Ну, и я попытать ихъ сначала хотѣлъ: вскочилъ что есть мочи, не шелохнется ли, молъ, кто?... Однако, никто голосу не далъ; только Потапъ спросоньевъ сталъ около себя шарить, да не на ту сторону, сердечный, попалъ и нащупалъ проѣзжаго извозчика. Только я ползкомъ да ползкомъ... чу! сверчокъ за печкой затрещалъ... чу!—вздохнулъ кто-то,—не Потапъ ли? Чу, кого-то словно душитъ во снѣ... И всего-то до двери пять шаговъ, а сколько я тутъ отъ одной думы измаялся, что лучше бы, кажется, пять верстъ на своихъ ногахъ сдѣлать... А все-таки доползъ подъ конецъ! Тутъ на лавкѣ чей-то полушубокъ порожній обозрилъ, и его про запасъ смахнулъ.

«Вышелъ я на задворки, и вѣришь ты?—кажется, не долго мученія мои тянули—и всего-то съ сутки!—а словно

я тутъ впервой воздухомъ свѣжимъ дохнулъ! Даже ослабъ весь, и ноги подкашиваются, и грудь будто расшаталася... Вышелъ я на задворки; однако, какъ началъ дѣломъ смекать: «плохо, думаю, это я сдѣлалъ; такимъ манеромъ они меня какъ разъ по слѣду накроютъ; лучше на большую дорогу пойти». Вышелъ, да не думая, словно изъ лука стрѣла, пустился въ обратный бѣжать.

«Бѣжалъ я безъ отдыху версты съ три, даже грудь начало саднить. А ночь-то мѣсячная да свѣтлая, и поле кругомъ чистое да ровное,—версты за двѣ человѣка видно! Вижу я: коли дальше идти, первое дѣло—изъ силъ выбьюсь, а второе дѣло—хватиться могутъ, и кто-жъ ихъ знаетъ, въ какую сторону ихъ лѣшій повернетъ! Показалась въ сторонѣ деревушечка, я и повернулъ въ проселокъ. Только она, распроклятая, точно дразнитъ меня: вотъ, кажется, рукой подать, такъ и вертится передъ глазами; однако, за ихними мужицкими ваивлонами, добрыхъ я съ полчаса маялся, доколѣ дошелъ.

«Тутъ я впервой позналъ, что такое бѣглый человѣкъ значитъ. Пришелъ въ деревню, смотрю около себя, а куда идти—не смыслю. Словно ужъ судьба сама за меня промышляла да въ овинъ привела; зарылся я въ солому, да два дня оттоль и не выходилъ,—такъ не ѣвши и лежалъ... Послѣ сказывали мнѣ наши, что и въ этой деревнишкѣ меня отыскивали, однако, стало-быть, не постарались.

«Черезъ два дня вышелъ. Ну, прежде всего ѣсть до смерти хочется. На дворѣ еще тѣмнеть была, только кой-гдѣ огни въ избахъ виднѣлись: значитъ, исправная баба ужъ печку затопила. Подошелъ я къ одной избѣ, вышибъ кулакомъ подворотню, подлѣзъ скрозь нее и прямо въ избу къ бабѣ.

«— Подавай хлѣба! говорю.

«Только она—какъ была съ ухватомъ въ рукахъ, такъ тутъ на мѣстѣ и обмерла. Я къ столу; досталъ хлѣба, взялъ кстати и ножикъ.

«— Только ты пикни у меня, говорю; не нонѣ, такъ завтра—такъ дойму, что на вѣкъ языка лишишься!

«И точно, дай Богъ ей здоровья,—не пикнула.

«Наѣлся и опять въ солому залегъ—сумерекъ дожидаться. Теперь, думаю, хорошо: и сытъ, да и ножикъ при мнѣ есть. И все-то меня къ дому да къ дому тянетъ.

«Вотъ въ сумерки всталъ отъ своего логова и пошелъ-таки прямо въ деревню. Вижу еще издалеча, что въ кучерской у насъ свѣтъ горитъ. Не думавши долго, прямо туда.

застонала и зачала изъ ихъ рукъ рваться... даже я самъ поскорѣй изъ избы выбѣжалъ.

«Ѣду я дорогой да все думаю: «Уйду я отъ нихъ, безпремѣнно уйду!» Гляжу-это на поле дальнее; вонъ въ сторонѣ вихорикъ закружился, вонъ пеленку снѣжную взбуровилъ... уйду, молъ, отъ нихъ, безпремѣнно уйду! Вонъ мостикъ ветхонькій черезъ рѣчку лежитъ; по краямъ у рѣчки ледокъ, словно хрусталь чистый, скипѣлся, а серединка плещется, ровно живая журчитъ... уйду я отъ нихъ, безпремѣнно уйду!.. Вонъ лѣсокъ впереди засинѣлся: ишь ты, какой лѣсъ частый да береженый!.. вонъ и въ деревню въѣхали... пошли саночки по ступенямъ тукъ-тукъ... Ахъ, да уйду я отъ нихъ, безпремѣнно уйду!

«— Пусти, Потапъ!—говорю отдатчику.

«— Что ты, говоритъ, чай, я не о двухъ головахъ!

«— Пусти, Потапъ! въ могилу за тебя живой лягу, души не пожалѣю... пусти!

«Не пустилъ... Да уйду же я отъ тебя, безпремѣнно уйду!

«Пріѣхали мы на постоялый дворъ ночевать. Сѣли ужинать, а я все одно думаю: «уйду, да уйду». Положили они меня для вѣрности промежъ себя спать, даже полушубокъ съ меня сняли, да подъ головы себѣ сунули. Однако, я не сплю и все въ умѣ одно держу: «уйду, молъ, я отъ нихъ, безпремѣнно уйду!» Вотъ только слышу я—загудѣло мужичьё; были тутъ, кромѣ насъ, извозчики; наѣдятся они на ночь, такъ ровно начнетъ ихъ коробить во снѣ-то. Иной знаешь, не своимъ голосомъ во снѣ зарычитъ, другой даже вскочитъ спросоньевъ, посидитъ-посидитъ словно полоумный, перекрестится, да и опять спать. Ну, и я попытать ихъ сначала хотѣлъ: вскочилъ что есть мочи, не шелохнется ли, молъ, кто?... Однако, никто голосу не далъ; только Потапъ спросоньевъ сталъ около себя шарить, да не на ту сторону, сердечный, попалъ и нащупалъ проѣзжаго извозчика. Только я ползкомъ да ползкомъ... чу! сверчокъ за печкой затрещалъ... чу!—вздохнулъ кто-то,—не Потапъ ли? Чу, кого-то словно душитъ во снѣ... И всего-то до двери пять шаговъ, а сколько я тутъ отъ одной думы измаялся, что лучше бы, кажется, пять верстъ на своихъ ногахъ сдѣлать... А все-таки доползъ подъ конецъ! Тутъ на лавкѣ чей-то полушубокъ порожній обозрилъ, и его про запасъ смахнулъ.

«Вышелъ я на задворки, и вѣришь ты?—кажется, не долго мученія мои тянули—и всего-то съ сутки!—а словно

я тутъ впервòй воздухомъ свѣжимъ дохнулъ! Даже ослабъ весь, и ноги подкашиваются, и грудь будто расшаталася... Вышелъ я на задворки; однако, какъ началъ дѣломъ смекать: «плохо, думаю, это я сдѣлалъ; такимъ манеромъ они меня какъ разъ по слѣду накроютъ; лучше на большую дорогу пойти». Вышелъ, да не думая, словно изъ лука стрѣла, пустился въ обратный бѣжать.

«Бѣжалъ я безъ отдыху версты съ три, даже грудь начало саднить. А ночь-то мѣсячная да свѣтлая, и поле кругомъ чистое да ровное,—версты за двѣ человѣка видно! Вижу я: коли дальше идти, первое дѣло—изъ силъ выбьюсь, а второе дѣло—хватиться могутъ, и кто-жъ ихъ знаетъ, въ какую сторону ихъ лѣшій повернетъ! Показалась въ сторонѣ деревушечка, я и повернулъ въ проселокъ. Только она, распроклятая, точно дразнитъ меня: вотъ, кажется, рукой подать, такъ и вертится передъ глазами; однако, за ихними мужицкими ваивлонами, добрыхъ я съ полчаса маялся, доколѣ дошелъ.

«Тутъ я впервòй позналъ, что̀ такое бѣглый человѣкъ значитъ. Пришелъ въ деревню, смотрю около себя, а куда идти—не смыслю. Словно ужъ судьба сама за меня промышляла да въ овинъ привела; зарылся я въ солому, да два дня оттоль и не выходилъ,—такъ не ѣвши и лежалъ... Послѣ сказывали мнѣ наши, что и въ этой деревнишкѣ меня отыскивали, однако, стало-быть, не постарались.

«Черезъ два дня вышелъ. Ну, прежде всего ѣсть до смерти хочется. На дворѣ еще тѣмнеть была, только кой-гдѣ огни въ избахъ виднѣлись: значитъ, исправная баба ужъ печку затопила. Подошелъ я къ одной избѣ, вышибъ кулакомъ подворотню, подлѣзъ скрозь нее и прямо въ избу къ бабѣ.

«— Подавай хлѣба! говорю.

«Только она—какъ была съ ухватомъ въ рукахъ, такъ тутъ на мѣстѣ и обмерла. Я къ столу; досталъ хлѣба, взялъ кстати и ножикъ.

«— Только ты пикни у меня, говорю; не нонѣ, такъ завтра—такъ дойму, что на вѣкъ языка лишишься!

«И точно, дай Богъ ей здоровья,—не пикнула.

«Наѣлся и опять въ солому залегъ—сумерекъ дожидаться. Теперь, думаю, хорошо: и сытъ, да и ножикъ при мнѣ есть. И все-то меня къ дому да къ дому тянетъ.

«Вотъ въ сумерки всталъ отъ своего логова и пошелъ-таки прямо въ деревню. Вижу еще издалеча, что въ кучерской у насъ свѣтъ горитъ. Не думавши долго, прямо туда.

«— Ребята! говорю, кто изъ васъ противъ меня измѣнщикомъ хочетъ быть?

«Только они сидятъ да помалчиваютъ, да промежъ себя переглядываются.

«— Если кто меня выдать хочетъ, говорю, такъ я тутъ весь; а не желаете выдать, такъ обогрѣйте да накормите меня!

«Никто, однако, противъ своего брата измѣнщикомъ быть не согласился. Тутъ я узналъ, что въ тотъ самый день Машу на деревню что-ни-на-есть за гадючаго мужика отдали замужъ; а Семерикъ, какъ ни въ чемъ не бывало, сейчасъ послѣ свадьбы въ Москву укатилъ.

«Загорѣлось во мнѣ: хочу да хочу Машу видѣть! даже ѣсть не могу; такъ всего и поднимаетъ меня.

«Пошелъ на деревню, вижу—стоитъ на краю избенка развалившая; подошелъ къ окошку—думаю, нѣтъ ли гульбы у нихъ? Однако, видно, бѣдность шибко мужика одолѣла, либо совѣсть на народѣ зазрила, только не чуть въ избѣ никого, кромѣ хозяевъ. Горитъ-это посередь горницы лучина, и ровно чадъ да дымъ отъ нея идетъ, а свѣту почесть ничего-таки нѣтъ; въ углу на полу ребята въ-повалку спятъ... ну, одно слово, и голодно-то, и холодно-то въ этой избѣ, совсѣмъ, кажется, и жить-то нельзя. Одно мнѣ чудно показалось, что они ровно какъ вмѣстѣ жили,—сидятъ около свѣтца. Маша бѣльишко кой-какое дѣткамъ починиваетъ, а Трофимъ сапоги на продажу тачаетъ. Долго я такъ смотрѣлъ на нихъ, все думаю: взойти или не взойти? Однако, Маша будто почуяла что: встала съ мѣста и слушаетъ; ну, и Трофимъ къ окошку побрелъ.

«— Это я, говорю, Трофимъ Петровичъ! я, молъ, бѣглый Иванъ! Пустишь, что ли?

«Услышавши меня, онъ по-началу даже отъ окна отшатнулся, однако вскорѣ опять поправился.

«— Пустить, что ли Марьюшка?—спрашиваетъ.

«Только она ровно испугалася: побѣжала-это отъ свѣтца прочь и за печку спряталась.

«— Пусти, говорю, Петровичъ! Вотъ тебѣ Богъ, что только проститься хочу; одной минуты не пробуду больше!

«Взошелъ я въ избу, помолился Богу, сѣлъ на лавку.

«— Богъ въ помочь! говорю.

«Только она вышла ко мнѣ, мертвая-размертвая. Однако, идетъ твердо.

«— Прости меня, Иванушка, говоритъ.

«Я заплакалъ; сижу-это на лавкѣ и, словно баба, мало-

душествую. Господи! какъ мнѣ горько-то, горько-то въ ту пору было! Словно темь кругомъ меня облегла, словно страхъ да ужасъ на меня напалъ, словно тянетъ, сосетъ все мнѣ сердце!

«— Прощай, Иванушка!—опять говоритъ она, а у самой слезиночка въ голосѣ дрожитъ.

«Вскочилъ я; хотѣлъ въ охапку ее схватить, однако, вижу—въ углу Трофимъ стоитъ и словно у него зубъ на зубъ не попадаетъ. И она тоже руки впередъ протянула, будто какъ застыдилася. Ну, думаю, стало-быть, нашему дѣлу и взаправду окончанье пришло!

«— Прощай, говорю, Маша! прощай и ты, Трофимъ!

«Молчатъ оба.

«— Видно, молъ, не свидѣться намъ?

«— Да, видно, не свидѣться!—молвилъ Трофимъ.

«Словно ожгло меня это слово.

«— Звѣрь ты! говорю.

«— Нѣтъ, говоритъ, не я звѣрь... Ты, говоритъ, рукой махнулъ да въ лѣса бѣжалъ, а ей весь вѣкъ со мной въ голодѣ да въ нуждѣ горе мыкать приходится... Такъ инъ лучше не замай ты насъ!

«Смотрю я на нее; все думаю: не скажется ли въ ней хоть на минуточку наше прежнее разлюбовное время-времечко?..

«Ну, и нѣтъ, какъ нѣтъ: стоитъ она какъ безъ чувствъ совсѣмъ, глазами въ землю смотритъ, только верхняя губа будто дрожитъ легонько.

«— Ну, говорю, инъ и взаправду, Маша, прощай! Однако, все-таки, на разстаняхъ, чай, поцѣловаться надо...

«... Такъ наше дѣло и кончилось. Вышелъ я отъ нихъ какъ безъ памяти. Отхваталъ я, братъ, въ эту ночь верстъ тридцать съ лишнимъ. Иду да иду впередъ, а куда иду—даже понятіе потерялъ. Снѣгъ мокрый глаза залѣпляетъ, вѣтеръ въ лицо дуетъ, ноги въ сугрубахъ тонутъ, а я все иду, и все о чемъ-то думаю, хоть истинной думы и нѣтъ во мнѣ. Все это какъ во снѣ—отъ одного къ другому переходитъ: и Маша-то тутъ, и не ѣдалъ-то я, и сѣна вонъ стогъ въ полѣ стоитъ, и ночь-то была въ-пору холодная да темная. Останови да спроси: о чемъ, молъ, сейчасъ думалъ?—ни въ свѣтѣ отвѣта не дашь!

«Однако, на утрѣ уморился, и понятіе это ко мнѣ изморомъ воротилось. Тутъ только догадался я, что замѣсто того, чтобъ къ нашимъ на конный дворъ вернуться, я верстъ тридцать въ сторону шагнулъ. Ну, не судьба, значитъ!

«— Ребята! говорю, кто изъ васъ противъ меня измѣнщикомъ хочетъ быть?

«Только они сидятъ да помалчиваютъ, да промежъ себя переглядываются.

«— Если кто меня выдать хочетъ, говорю, такъ я тутъ весь; а не желаете выдать, такъ обогрѣйте да накормите меня!

«Никто, однако, противъ своего брата измѣнщикомъ быть не согласился. Тутъ я узналъ, что въ тотъ самый день Машу на деревню что-ни-на-есть за гадючаго мужика отдали замужъ; а Семерикъ, какъ ни въ чемъ не бывало, сейчасъ послѣ свадьбы въ Москву укатилъ.

«Загорѣлось во мнѣ: хочу да хочу Машу видѣть! даже ѣсть не могу; такъ всего и поднимаетъ меня.

«Пошелъ на деревню, вижу—стоитъ на краю избенка развалившая; подошелъ къ окошку—думаю, нѣтъ ли гульбы у нихъ? Однако, видно, бѣдность шибко мужика одолѣла, либо совѣсть на народѣ зазрила, только не чуть въ избѣ никого, кромѣ хозяевъ. Горитъ-это посередь горницы лучина, и ровно чадъ да дымъ отъ нея идетъ, а свѣту почесть ничего-таки нѣтъ; въ углу на полу ребята въ-повалку спятъ... ну, одно слово, и голодно-то, и холодно-то въ этой избѣ, совсѣмъ, кажется, и жить-то нельзя. Одно мнѣ чудно показалось, что они ровно какъ вмѣстѣ жили,—сидятъ около свѣтца. Маша бѣльишко кой-какое дѣткамъ починиваетъ, а Трофимъ сапоги на продажу тачаетъ. Долго я такъ смотрѣлъ на нихъ, все думаю: взойти или не взойти? Однако, Маша будто почуяла что: встала съ мѣста и слушаетъ; ну, и Трофимъ къ окошку побрелъ.

«— Это я, говорю, Трофимъ Петровичъ! я, молъ, бѣглый Иванъ! Пустишь, что ли?

«Услышавши меня, онъ по-началу даже отъ окна отшатнулся, однако вскорѣ опять поправился.

«— Пустить, что ли Марьюшка?—спрашиваетъ.

«Только она ровно испугалася: побѣжала-это отъ свѣтца прочь и за печку спряталась.

«— Пусти, говорю, Петровичъ! Вотъ тебѣ Богъ, что только проститься хочу; одной минуты не пробуду больше!

«Взошелъ я въ избу, помолился Богу, сѣлъ на лавку.

«— Богъ въ помочь! говорю.

«Только она вышла ко мнѣ, мертвая-размертвая. Однако, идетъ твердо.

«— Прости меня, Иванушка, говоритъ.

«Я заплакалъ; сижу-это на лавкѣ и, словно баба, мало-

душествую. Господи! какъ мнѣ горько-то, горько-то въ ту пору было! Словно темь кругомъ меня облегла, словно страхъ да ужасъ на меня напалъ, словно тянетъ, сосетъ все мнѣ сердце!

«— Прощай, Иванушка! — опять говоритъ она, а у самой слезиночка въ голосѣ дрожитъ.

«Вскочилъ я; хотѣлъ въ охапку ее схватить, однако, вижу—въ углу Трофимъ стоитъ и словно у него зубъ на зубъ не попадаетъ. И она тоже руки впередъ протянула, будто какъ застыдилася. Ну, думаю, стало-быть, нашему дѣлу и взаправду окончанье пришло!

«— Прощай, говорю, Маша! прощай и ты, Трофимъ!

«Молчатъ оба.

«— Видно, молъ, не свидѣться намъ?

«— Да, видно, не свидѣться!—молвилъ Трофимъ.

«Словно ожгло меня это слово.

«— Звѣрь ты! говорю.

«— Нѣтъ, говоритъ, не я звѣрь... Ты, говоритъ, рукой махнулъ да въ лѣса бѣжалъ, а ей весь вѣкъ со мной въ голодѣ да въ нуждѣ горе мыкать приходится... Такъ инъ лучше не замай ты насъ!

«Смотрю я на нее; все думаю: не скажется ли въ ней хоть на минуточку наше прежнее разлюбовное время-времечко?..

«Ну, и нѣтъ, какъ нѣтъ; стоитъ она какъ безъ чувствъ совсѣмъ, глазами въ землю смотритъ, только верхняя губа будто дрожитъ легонько.

«— Ну, говорю, инъ и взаправду, Маша, прощай! Однако, все-таки, на разстаняхъ, чай, поцѣловаться надо...

«... Такъ наше дѣло и кончилось. Вышелъ я отъ нихъ какъ безъ памяти. Отхваталъ я, братъ, въ эту ночь верстъ тридцать съ лишнимъ. Иду да иду впередъ, а куда иду—даже понятіе потерялъ. Снѣгъ мокрый глаза залѣпляетъ, вѣтеръ въ лицо дуетъ, ноги въ сугрубахъ тонутъ, а я все иду, и все о чемъ-то думаю, хоть истинной думы и нѣтъ во мнѣ. Все это какъ во снѣ—отъ одного къ другому переходитъ: и Маша-то тутъ, и не ѣдалъ-то я, и сѣна вонъ стогъ въ полѣ стоитъ, и ночь-то была въ-пору холодная да темная. Останови да спроси: о чемъ, молъ, сейчасъ думалъ?—ни въ свѣтѣ отвѣта не дашь!

«Однако, на утрѣ уморился, и понятіе это ко мнѣ изморомъ воротилось. Тутъ только догадался я, что замѣсто того, чтобъ къ нашимъ на конный дворъ вернуться, я верстъ тридцать въ сторону шагнулъ. Ну, не судьба, значитъ!

«Вижу, навстрѣчу мнѣ мужичокъ съ дровами ѣдетъ. Мужичоночко этакой худенькой да мозглявенькой; «ну, на что такому мозглецу топоръ?» думаю. Подошелъ къ нему.

«— Продай, молъ, топоръ, дяденька!

«Онъ перепугался.

«— Христосъ, говоритъ, съ тобой, молодецъ! топоръ-отъ, чай, мой!

«— Извѣстно, говорю, что твой; только и для насъ онъ словно надобенъ!

«Ну, онъ столько учтивъ былъ, что больше со мной не разговаривалъ.

«Такимъ манеромъ прошло больше мѣсяца, что я все дальше пробирался.

«Вѣришь ли, даже не обогрѣлся ни разу порядкомъ, ни разу путемъ не поѣлъ. Привычки-то къ ночному рукомеслу еще не было, да и шелъ я все глухимъ мѣстомъ да проселкомъ,—такъ и въ питейный-то зайти не съ чѣмъ. И страхъ тоже одолѣлъ, потому что зима для бѣглаго человѣка—самое некорыстное время; кругомъ-это суметы, ни бѣжать, ни схорониться некуда: того гляди—какъ зайца изымаютъ.

«Однако, около Благовѣщенія, словно потеплило, а въ деревняхъ въ это время на пригревѣ объ ину пору даже жарко бываетъ. Тутъ, братецъ мой, только я восчувствовалъ, какова на свѣтѣ жизнь хороша есть. Сядешь, бывало, въ сторонкѣ около стожка; солнышко прямо въ лицо тебѣ поглядываетъ; вѣтерки, словно бархатные, кругомъ поигрываютъ; въ сторонѣ, чу! вода русло себѣ просасываетъ; наверху всякая птица кишнемъ-кишитъ, и не видать ея въ вышинѣ, а словно стонъ сверху внизъ стелется. Журчитъ-это, шумитъ все, точно и не одинъ ты въ свѣтѣ, точно завсегда кто-ни-на-есть съ тобой присутствуетъ... Самое развеселое это время!

«Тутъ и поживишка у меня порядочная случилась. Иду я разъ сумерками своимъ трактомъ и вижу, что посередь самой большой дороги кибитка стоитъ; лошади, пара, сзади привязаны, ямщика нѣтъ. Подхожу я къ кибиткѣ, слышу—разговоръ тамъ идетъ; одинъ сѣдокъ, должно-быть, заслышалъ меня, всталъ и смотритъ черезъ кибитку... Купецъ.

«— Много лѣтъ здравствовать, господа хозяева! говорю.

«Только онъ думаетъ, что меня, значитъ, ямщикъ помогать имъ прислалъ.

«— Скоро ли же ямщикъ-то вернется? — спрашиваетъ.

«Пошелъ я впередъ, будто кибитку осматриваю, а самъ примѣчаю, какъ бы за дѣло мнѣ половчѣй ваяться. Вижу—впереди зажора, у кибитки одна оглобля напрочь отломлена; значить, ни взадъ, ни впередъ нѣтъ возможности.

— Да ты что за человѣкъ?—спрашиваетъ купецъ.

«А другой его товарищъ, даже не видѣвши еще ничего, забился вглубь, да только знай-стонетъ. Вижу я, что они ребята ласковые, и въ разговоръ съ ними взошелъ.

«— Вы, говорю, хозяева, просто, что-ль, ѣдете?

«— Нѣтъ, говоритъ, безъ топора тоже не ѣздимъ.

«Ну, и топоръ показываетъ.

«— А коли есть топоръ, такъ дайте, значитъ, пять цѣлковыхъ,—и Богъ съ вами! А не то будемъ силу пробовать!

«Заартачился-было купецъ, да товарищъ его, спасибо, на выручку мнѣ подоспѣлъ. Застоналъ-это, заревѣлъ пуще прежняго: «отдай да отдай пять цѣлковыхъ!»

«Разсчитались.

«Пошелъ я послѣ того въ кабакъ, да тамъ и забылся. Объ ину пору хорошо это бываетъ. Придетъ-это тошно да смутно такъ; назади некорыстно, да и вернуться туда ужъ нельзя, а впереди словно туманъ да тѣмнеть виситъ... куда идти? Думаешь-думаешь, даже головой о стѣну шарахнешься. Косушка вина много тутъ помощи дѣлаетъ. Выпьешь одну — въ сердце словно радуга просіяетъ; выпьешь другую—словно по морю по окіяну плывешь; выпьешь третью—ни земли, ни воды подъ тобой нѣтъ, да и люди—ровно точки въ глазахъ мерещатся...

«Въ кабакѣ я человѣка встрѣтилъ. Показалось мнѣ, что онъ на меня съ перваго раза слишкомъ зорко посмотрѣлъ, да и съ цѣловальникомъ словно перемигнулся. Вотъ, выпилъ я свою чарку и сѣлъ въ углу на лавку, будто какъ благодушествую, а у самого даже муравьи по-за-кожей заползали! Все, знаешь, по новости своей думаю, что на лазутчика попалъ. Тогда они промежъ себѣ разговоръ ведутъ съ цѣловальникомъ.

«— Худо, Савва Дементьичъ!—говоритъ человѣкъ:—развѣ вотъ лѣтомъ поправимся, а не то, видно, совсѣмъ отсель откочевывать придется.

«— Что-жъ такъ?

«— Да ровно ужъ слишкомъ много порядковъ здѣсь завелось. Намеднись Сидорку на гумнѣ изловили, отпустить-то отпустили, да ужъ и выкупъ больно несообразный заломили. Надоѣло... Только бы товарищей такихъ подыскать.

чтобъ и въ огонь, и въ воду охочи были идти, такъ, кажется, ни на минуту бы здѣсь не остался.

«— И Дарьюшку ништо не жалко?

«— Что Дарьюшка! только связался я съ ней, а то давно бы намъ это дѣло покинуть надо! Намеднись-вотъ мужъ: «ты, говоритъ, меня въ окаянство ввелъ, ты меня воромъ сдѣлалъ, да и жену теперь отнимаешь!» Какъ будто я задаромъ его воромъ-то сдѣлалъ! И что еще, такъ-это остервенѣлъ, что ухватилъ ножъ да съ ножомъ зря впередъ и лѣзетъ. Даже смотрѣть на него глупо.

«Цѣловальникъ захохоталъ.

«— Однако, надо правду-истину сказать, говоритъ, и ты въ его добрѣ ровно слишкомъ хозяйствуешь!

«— Чего хозяйствовать! Съ ней, братъ, всякій хозяйствовать можетъ,—была бы охота! Намеднись-вотъ офицеръ проѣзжій ночевать у нихъ остановился, такъ мнѣ даже тошно стало, какъ она передъ нимъ привередничала...

«— Такъ вотъ она какова!

«— Да ужъ такъ-то «такова», что опять-таки говорю: найдись у меня теперь товарищъ хорошій, чтобъ вмѣстѣ бѣжать отсель, ни на минуту бы даже не задумался.

«А самъ говоритъ это да на меня поглядываетъ. Однако, я молчу и все это думаю, что онъ меня испытать хочетъ. Долго ли, коротко ли они промежъ себя побесѣдовали, только онъ не утерпѣлъ, подошелъ ко мнѣ.

«— Да ты что, говоритъ, землякъ, въ землю глазами уткнулся да нюни распуститъ?

«— А такъ, молъ.

«— Что такать-то, а ты говори дѣло. Отколь бредешь?

«— Прохожій, молъ; шелъ да зашелъ,—и все тутъ!

«— Прохожій Иванъ стащилъ на селѣ кафтанъ, идетъ на большую дорогу за шубой... Такъ, что ли?

«— Хоть бы и такъ, тебѣ что за дѣло?

«— Больно ты, братъ, гордъ, либо трусливъ ужъ не въ мѣру. Тебя же жалѣючи спрашиваютъ.

«— Да ты самъ-то кто таковъ?

«— А я, говоритъ, человѣкъ небольшой, по прозванію сторожъ ночной; неподалечку бекетъ здѣсь содержимъ да проѣзжающихъ въ страхѣ Божіемъ держимъ!

«Цѣловальникъ засмѣялся.

«— Да и уму-разуму наставляемъ ихъ, потому какъ безъ нашей науки они безпремѣнно забылись бы... Вотъ *еще* онамеднись углицкіе купцы тутъ ѣхали; ну, я точно-

что малую толику отъ нихъ попользовался; однако, за это и притчу имъ сказалъ: «Который, молъ, звѣрь всѣхъ звѣрей лютѣе?—левъ. Кто льва лютѣе?—человѣкъ; потому—человѣкъ человѣка погубляетъ, а левъ льва никогда. Кто человѣковъ лютѣе?—разбойникъ!.. Такъ вы, говорю, ваши здоровья, въ этомъ мѣстѣ поздно ночью не ѣздите, потому—тутъ шалятъ»... Такъ хочешь, что ли, съ нами молодецъ?

«Посумнился я тутъ съ крошечку. Хоть и вижу, что кончанье для меня одно впереди, однако съ непривычки все будто робостно.

«— Что задумался? Или, братъ, по пословицѣ: собака волка деретъ, и драть не умѣетъ, и отстать не смѣетъ? А ты, коли въ тебѣ живая душа есть, говори прямо: хочешь другомъ быть?

«— Ты бы ему поднесъ для куража, Миронычъ,—говоритъ цѣловальникъ:—а то вишь онъ какъ отъ дороги осовѣлъ!

«Стали мы тутъ пить и бражничали такимъ родомъ дня съ три. На четвертый день такіе ли други-пріятели сдѣлались, словно вотъ вѣкъ только другъ о дружкѣ и сокрушалися. Такъ и рѣшилась судьба моя въ кабакѣ.

«Привелъ онъ меня къ своей любезной. Мужъ у нея тутотка на большой дорогѣ въѣзжій дворъ держалъ... такъ, небольно чтобъ очень корыстный. Мѣсто это самое глухое да непріятное; и стоялъ ихній дворъ, словно торчокъ, одинъ-одинёхонокъ; кругомъ верстъ на двѣнадцать лѣсъ дремучій, по дорогѣ песокъ по колѣни; ни воды, ни лужаечки нѣтъ,—такъ, дичь одна. Какъ ѣдетъ, бывало, кто по дорогѣ, такъ издалеча еще слышно, какъ по лѣсу словно щелканье пойдетъ. Стало-быть, польза отъ постояльцевъ была самая пустая; развѣ ужъ больно кто обночаетъ, или кони въ нескахъ шибко замаются, такъ къ Ѳедоту Карпову на часокъ завернетъ, а прочіе норовятъ, бывало, мимо поскорѣй проѣхать. Да и жили они какъ-то сумнительно; у другихъ хозяевъ и работникъ, и работница путные есть, а у нихъ и всего-то одна работница, да и та нѣмая да дурочка была. Ну, для проѣзжихъ господъ оно и неприглядно; который и остановится случаемъ, такъ все по сторонамъ озирается, не хотятъ ли, молъ, рѣзать его.

«А Ѳедотъ Карповъ самый изъ себя паренекъ мизирный да нескладный былъ. Махонькой да тощой такой, борода-это клинушкомъ, глазки маленькіе да врозь разбѣгаются,—даже смотрѣть гнусно. И все-то, бывало, или на палатяхъ проклажается либо въ окошко сонной глядитъ

а начнетъ-это работать, такъ и не глядѣлъ бы на него: только въ навозѣ, словно боровъ, копошится... А со всѣмъ этимъ такой жадай былъ, что какъ увидитъ монету—даже словно обезпамятѣетъ весь: этимъ только и держалъ его Корней въ уздѣ.

«Зато на Дарьюшку точно-что можно залюбоваться было. И высокая-то, и полная-то, и глаза большіе на выкатѣ, а тѣло бѣлое да разбѣлое, словно вотъ пѣна молочная скипѣлася. Одно слово, отдай все да и мало. Пойдетъ-это по горницѣ или даже на мѣстѣ шевельнется,—такъ вся тебѣ кровь въ голову вдругъ и кинется... Пѣсни тоже пѣть мастерица была: что̀ хочетъ надъ тобой своимъ голосомъ сдѣлаетъ! И тоской-то тебя всего зальетъ, и удалью да молодечествомъ сердце разутѣшитъ,—словно вся человѣческая душа въ рукахъ у ней была. Жила, вишь, она прежде у одного молодого купчика, однако, вышелъ ему срокъ жениться,—онъ и выдалъ ее за Ѳедота. Отъ него и пѣсни-то пѣть она выучилась.

«Пришли мы къ нимъ около полдень; смотримъ, Дарьюшка у воротъ сидитъ, на солнышкѣ грѣется. Поздоровались.

«— Жить, что ли, у насъ будете?—спрашиваетъ Дарьюшка, а все на меня исподлобья посматриваетъ.

«— Да,—говоритъ Корней:—покудова до тепла надобно будетъ прожить.

«— А послѣ куда?

«— А куда путь лежать будетъ... Вѣрнаго еще ничего сказать теперь не могу.

«Только она на эти его слова ровно усмѣхнулася; только такъ-то нехорошо да обидно, что разомъ мнѣ Корнеевы слова всѣомнились, которыя онъ цѣловальнику въ кабакѣ говорилъ.

«— Чего смѣешься? правду говорю, что остатніе дни у васъ здѣсь валандаюсь!—говоритъ Корней.

«— Ну, и съ Богомъ!—отвѣчаетъ Дарьюшка, а сама все на меня да на меня поглядываетъ.

«Словно помертвѣлъ Корней.

«— Ишь ты, подлая!—говоритъ.

«Однако, она ничего; сидитъ-себѣ, да знай полегонечку посмѣивается.

«— Такъ неужто-жъ, молъ, мнѣ всѣмъ твоимъ прихотямъ подражать?—говоритъ.—Хочешь идти, такъ иди... плакать по тебѣ, что ли?

«— И уйду; только такъ я тебя на прощаньи приголублю, что вѣкъ ты меня не забудешь... Змѣя ты!

«Чудно мнѣ это показалось. «Будь, думаю, я на Корнеевскомъ мѣстѣ, не посмотрѣлъ бы на косы твои русыя!» Однако, онъ смолчалъ; только все у него нутро, словно у звѣря лѣсного, зарычало.

«Въ тотъ же вечеръ у нихъ съ Ѳедотомъ Карповымъ дѣло чуть не до убивства дошло, и все опять эта Дарьюшка на озорство завела.

«— Слышалъ, говоритъ, Ѳедотъ Карпычъ, что Корней Миронычъ отъ насъ въ дальны стороны сбирается?

«Какъ сказала она это, Ѳедотъ Карповъ даже помертвѣлъ весь. Ну, и Корней словно потупился. А она вмѣсто того, чтобъ смирять ихъ, только пуще другъ на дружку натравливаетъ.

«— Сказываютъ, какъ это тамъ хорошо да привольно, и рѣки-то, слышь, молочныя, и берега-то кисельные, и воруютъ-то всѣ безданно-безпошлинно... инъ и тебѣ за нимъ ужъ бѣжать, Ѳедотъ Карпычъ?

«Слушаетъ это Ѳедотъ, а у самого даже бороденка словно листъ трясется.

«— Правду, что ли, баба лаетъ?—говоритъ.

«Ну, солгать бы тутъ Корнею: пошутилъ, молъ, и вся недолга; однако, онъ или посовѣстился, или не нашелся съ перваго разу: пробормоталъ что-то невнятно въ отвѣтъ и замолчалъ.

«— Анъ, врешь ты!—говоритъ Ѳедотъ.—Не посмѣешь отсель уйти!

«А самъ и заикается-то, и по столу-то кулакомъ бьетъ...

«— Али любъ тебѣ сталъ?—говоритъ Корней.

«— Любъ не любъ, а у меня съ тобой счеты есть... Въ кабалу ты ко мнѣ шелъ!

«Ну, лѣзетъ на Корнея, да и шабашъ, даже на мѣстѣ словно скачетъ; и кулачишкомъ-то, и головой-то ему въ брюхо норовитъ... Удивленіе да и только!

«— Ты, говоритъ, женой у меня завладалъ; такъ задаромъ, что ли, я тебѣ ее отдалъ?

«— Ишь, тебя больно спрашивались...

«А Ѳедотъ все одно:

«— Издохнешь, говоритъ, мнѣ служивши! Убью я тебя и въ отвѣтѣ не буду!.. Потому—ты воръ... Да, говоритъ, воръ, воръ, воръ... разбойникъ ты!

«Корней только знай рукой отмахивается, какъ онъ слишкомъ на него наскакивать начнетъ.

«А Дарьюшка, сдѣлавши свое дѣло, ушла за перегоро-

дочку, словно горя ей мало; только и слышно, какъ она тамъ позѣвываетъ да потягивается.

«— Часто этакъ-то у васъ бываетъ?—спрашиваю я ее.

«— А кто ихъ знаетъ! Каждый день все ссору да драку заводятъ... Что на нихъ смотрѣть-то? Да неужто взаправду Корней на чужую сторону сбирается?

«— Да, взаправду.

«— Куда?

«— А куда глаза глядятъ.

«— Ну, и Богъ съ нимъ!

«— Будто тебѣ его не жалко?

«Такъ она, братецъ мой, не то чтобъ поскучать или хоть бы задуматься—все же чужой человѣкъ передъ ней—даже засмѣялась въ отвѣтъ.

«— Ты, говоритъ, съ Корнеемъ, что ли?

«— Съ Корнеемъ.

«— Напрасно... кабы ты съ нами остался, и Ѳедотъ бы Карпычъ Корнея отпустилъ.

«Говоритъ это, да такъ-таки прямо въ глаза мнѣ и смотритъ.

«— А намеднись, говоритъ, офицеръ проѣзжій у насъ становился, такъ раза съ четыре ворочался: все бѣжать съ собою меня сманивалъ! И опять пріѣхать обѣщался...

«— А Корней чего смотрѣлъ?

«— Что Корней! Извѣстно, въ хлѣву злобствовалъ! Развѣ его въ горницу пущаютъ, когда пріѣзжіе господа есть?

«— Видно, ты-таки охоча гулять-то!

«— А для че не гулять, когда гулять можно... весело гулять! Вотъ у меня баринъ былъ миленькій,—ужъ то-то мы съ нимъ погуливали!.. Хочешь, что ли, пѣсню тебѣ спою?

«Сняла со стѣны гитару, да словно разлилась тутъ вся:

«Ахъ, гдѣ, жена, была-была, гдѣ, сударыня, была?
Я была, сударь, была, у попа въ гостяхъ»...

«И поетъ-то, и плечьми-то подергиваетъ, и каблучками-то пристукиваетъ... всякая словно жилка въ ней вдругъ заговорила!

«А грудь-то бѣлая да полная, тяжеленько-это подъ гитарой мечется, ровно моченьки у ней нѣтъ, ровно истомило ее всю, измаяло! Такъ оно хорошо да сладко, что и Корней съ Ѳедотомъ лаяться перестали, а у меня даже свѣтъ въ глазахъ помутился!.. Какъ легли мы послѣ того съ Корнеемъ на сѣнницѣ спать, долго она мнѣ сквозь сонъ все мерещилась!

«Жили мы у нихъ съ мѣсяцъ-мѣста, ничего не дѣлавши; однако, я укрѣпился, противъ товарища подлецомъ сдѣлаться не хотѣлъ. Подивился я тутъ на Корнея! Ужъ на что, кажется, крѣпкій человѣкъ былъ, а передъ этимъ Ѳедоткой словно овца смирялся: что хотѣли изъ него дѣлали. Она, бывало, и за водой его посылаетъ, и кушанье стряпать велитъ—все справлялъ!

«По времени, и совсѣмъ тепло установилось. Сталъ Ѳедотъ Карповъ намъ докучать, что мы только руки склавши сидимъ да чужой хлѣбъ ѣдимъ. Началъ и я Корнею вспоминать, что не затѣмъ въ товарищи къ нему пошелъ, чтобъ у бабы подъ юбкой прятаться...

«Вотъ вышли мы со двора поздно вечеромъ, на самый Егорьевъ день. За десять верстъ отъ двора и мѣсто у насъ было такое назначено, чтобъ съ товарищами сойтись. Только идемъ мы опушкой, а у меня словно сердце въ груди умираетъ: то, знаешь, робость непереносная всего обхватываетъ, то вдругъ такую въ себѣ силу и мочь почувствуешь, что, кажется, не шелъ, а летѣлъ бы впередъ да впередъ. И чего-чего тутъ не передумаешь: и стоны-то загодя тебѣ слышатся, и кровь будто передъ глазами проливается...

«И ничего-таки этого не бываетъ, и все, братецъ ты мой, это одинъ разговоръ! Настоящій разбойникъ никогда не убиваетъ; убиваетъ больше мелкій воришка, который съ предметомъ своимъ совладать не можетъ. А у насъ всякое дѣло миромъ кончается: одна часть тебѣ, другая часть намъ,—и ступай на всѣ на четыре стороны! Случается, правда, что бабы отъ страха пищатъ,—ну, и Христосъ съ ними, пускай пищатъ!

«Потому, какая для насъ корысть человѣка жизни лишать? Первое дѣло—грѣхъ занапрасно на душу возьмешь, а второе дѣло—слѣдъ безпремѣнно оставишь. Иной, свою часть вручивши, погорюетъ—да и броситъ дѣло такъ, потому дорожному человѣку съ полицейскими связываться тоже не приходится. Ну, а какъ убьешь-то его, онъ волей-неволей на тебя пожалуется; пойдутъ-это шарить да сыскивать, и хоть ничего настоящаго не найдутъ, однако на цѣлый мѣсяцъ все дѣло тебѣ перепакостятъ.

«Въ эту ночь мы барина остановили. Молоденькій такой да нѣженькій, а трясется, сердечный, одинъ на телѣжечкѣ. Шибко онъ насъ испугался, даже смѣшался совсѣмъ.

«— Что-жъ ты не везешь, каналья ты этакая!—кричитъ ямщику, а самъ почти плачетъ. Ну, денегъ у него мы не

густо нашли, потому—домой на побывку налегкѣ ѣхалъ, а взяли у него чемоданишко, часы золотые да перстенекъ съ руки. Больно мнѣ его жалко было. И то говорилъ Корнею:—что̀, молъ, младостѣ обижать?—Однако, онъ не послушалъ...

«Въ другую ночь видимъ—цѣлый рыдванъ по дорогѣ шестерикомъ ползетъ. Ну, такъ и мерещится мнѣ, что Семериковъ это рыдванъ.

«— Братцы, говорю, голубчики, никакъ это̀ *мой* ѣдетъ!

«Однако, вышелъ не онъ, а баринъ какой-то большой. Растянулся-себѣ на подушкахъ баринъ любезный, спитъ во всю ивановскую, а у самого крестъ на манишкѣ болтается. Ну, мы его разбудили.

«— Ваше благородіе,—говоритъ Корней:—извольте вставать, на станцію пріѣхали!

«Только онъ по-началу высоко̀ было-взялъ.

«— Какъ вы смѣете, говоритъ, да вы знаете ли, говоритъ, что я васъ туда упеку, куда Макаръ телятъ не гоняетъ!..

«Потомъ, однако-жъ, урезонился маленько... Много онъ намъ ласковыхъ словъ говорилъ: что и воровать-то стыдно, что и братья-то мы всѣ, что обижать намъ другъ дружку, стало-быть, не приходится; однако, какъ наше дѣло къ спѣху было, мы вслушаться въ его рѣчи настоящимъ манеромъ не могли, и такъ-таки въ-чистую его обобрали, что даже лошади послѣ того отъ легкости рысцой побѣжали.

«Стащили мы нашу добычу въ лѣсъ, въ самую трущобу, и хворостомъ тамъ ее завалили. Только въ лѣсу долго оставаться еще неспособно было. И по дорогѣ, и въ полѣ ужъ сухо, а въ лѣсу еще земля словно не весь паръ отдала. Приклонишься къ низу, даже видишь, какъ земля на глазахъ твоихъ отходить начинаетъ, а въ иныхъ мѣстахъ, гдѣ поглуше, словно вотъ легкая-легонькая пеленочка еще лежитъ,—ледо̀къ, значитъ. А изъ-подо льду ужъ и травка зелененькая выбивается.

«Воротились мы на постоялый раннимъ утромъ, чуть еще солнышко показалось. Въ горницѣ, видно, еще спали; только нѣмая работница за ворота вышла, позѣвываетъ да на восходъ крестится; да и та, увидѣвши насъ, словно испугалась, и вдругъ, ни съ того, ни съ сего, въ ворота шарахнулась... Что̀ за чудо! Однако, Корней, должно-быть, чутьемъ бѣду свою почуялъ и самъ за ней слѣдомъ ударился...

«Только я ужъ засталъ, какъ онъ Ѳедота допрашивалъ. Вижу, на немъ и званія лица нѣтъ, а Ѳедотъ стоитъ у стѣны въ одной рубашкѣ, волосы-это растрепаны, рожа немытая; стоитъ да подъ рукой его, ровно комаръ, топорщится.

«— Куда убѣгла? Сказывай!—говоритъ Корней.

«И не то чтобъ шибко выкрикиваетъ, однако даже мнѣ отъ его голосу жутко стало.

«Ну, и Ѳедоткѣ, видно, не до разговоровъ пришлось: лепечетъ что-то про себя, да руками разводитъ.

«— Продалъ ты, что-ль, ее?—опять говоритъ Корней.— Сказывай, сказывай же ты мнѣ, аспидъ ты этакой!

«Собралъ онъ его, братецъ ты мой, въ охапку и грянулъ объ полъ. Ужъ топталъ онъ, топталъ, ужъ возилъ онъ его по полу-то, возилъ!.. Давно и душонка-то его смрадная, чай, въ тартарары пошла, а онъ все сытости не чувствуетъ... Возьметъ-это, подниметъ его съ полу, и опять объ земь—какъ шваркнетъ!

«Ну, подъ конецъ и самъ измаялся: грянулся-это на лавку; да какъ завопитъ да застонетъ, ажъ вчужѣ меня холодный потъ прошибъ!

«Часа черезъ два мы этотъ проклятый постоялый дворъ со всѣхъ четырехъ угловъ зажгли. Такъ и сгорѣлъ со всѣми пожитками; даже нѣмая, по глупости своей, выбѣжать не успѣла...

«И пошли мы послѣ того во путь, во дороженьку, отреклись отъ міра прелестнаго, поклонилися бору дремучему, и живемъ, нече сказать, ни худо, ни красно, а хлѣбъ жуемъ не напрасно.

«Странствуемъ мы съ нимъ по русскому царству, православному государству, странствуемъ по горамъ, по долам, по лѣсамъ, по полямъ, по зеленымъ лузямъ, а больше около большой дороги держимся.

«Весело, братъ! это ужъ говорить нечего... т. е. просто у насъ житье-пережитье!.. Однако, идешь-это иной разъ по опушечкѣ, и вдругъ на тебя дурость найдетъ... Растужишься-разгорюешься, и падешь гдѣ-нибудь подъ елочкой, тяжеленько вздыхаючи, горьки слезы роняючи, свою жизнь проклинаючи... И елочка-это словно тебя понимаетъ: такъ-то плавно да заунывно лапами своими надъ тобой помаваетъ: вздохни, молъ, замученный! вздохни, безталанный, безчастный! вздохни, сирота, сиротскій сынъ!

«Видѣлъ я сонъ: прихожу будто я въ градъ нѣкій, и прихожу не одинъ, а съ товарищами: такіе пріятели есть, сотскими прозываются. Подхожу-это къ палатамъ пространнымъ: съ четырехъ концовъ башни высятся, спереду стоятъ батюшки-солдатушки; стоятъ солдатушки, ружьемъ честь отдаютъ, за бѣлы руки меня принимаютъ, принимаючи разутѣшными рѣчами ублажаютъ: «ты войди, молъ, къ намъ, воръ-разбойничекъ! душегубчишка ты окаяннекій! Отдохни ты у насъ въ острогѣ каменномъ, за затворами крѣпкими желѣзными!»

«И еще видѣлъ я сонъ: стою я на мѣстѣ высокіимъ и къ столбу у меня крѣпко-на-крѣпко руки привязаны. Собралось тутъ народу видимо-невидимо; все на меня позѣвать-поглазѣть, на меня, на шельмецкаго-шельмеца, на разбойника!

«И молился я тутъ Спасову образу,
И на всѣ стороны низко кланялся:
Вы простите меня, люди Божіи,
Помолитеся за мои грѣхи,
За мои ли грѣхи тяжкіе!
Не успѣлъ я на народъ возрити,
Какъ отсѣкли мою буйну голову,
Что по самыя плечи могучія...

«Ну, этотъ сонъ нельзя сказать, чтобъ пригожъ былъ... Однако, не лучше ли намъ это бросить—позабыть...

«Ахъ, въ горѣ жить, некручинну быть!
А и горе-горе, гореваньице!
Ахъ, въ горѣ жить, некручинну быть,
Нагому ходить—не стыдитися!»

XI.—Послѣ обѣда въ гостяхъ.

Удивительное дѣло, какъ все это было пригнано, какая во всемъ сказывалась система и гармонія! Потомство рѣшительно не повѣритъ. Поговоримъ хоть о губернскомъ надзорѣ. Всякій согласится, что безъ надзора нельзя: во-первыхъ, обывателямъ некому будетъ жаловаться, во-вторыхъ — куда же дѣнутся всѣ эти лица, которымъ ввѣренъ надзоръ? въ-третьихъ... ну, да вообще какъ-то неловко безъ контроля! Что могли бы сказать о насъ иностранцы, если бы у насъ не было контроля? Могли бы сказать: у нихъ царствуетъ произволъ, потому контроля нѣтъ! Могли бы сказать: удивительно, какъ это люди живутъ въ такой странѣ, въ которой контроля нѣтъ! А теперь, какъ контроль *есть*, то иностранцы должны молчать, и ничего больше.

Главное дѣло, чтобъ контроль былъ безобидный и шелъ, такъ сказать, въ видѣ непрерывнаго перекрестнаго огня. Объяснимъ это примѣромъ. Если меня будетъ контролировать мужикъ, что̀ можетъ изъ этого выйти? Разумѣется, ничего путнаго, потому что и онъ меня не понимаетъ, и я его не понимаю, и станемъ мы цѣлый день разговаривать, я по-русски, онъ по-татарски. Совсѣмъ другое дѣло, когда сойдутся люди просвѣщенные и скажутъ другъ другу: ты надзирай за мной, а я буду надзирать за тобой. Ясно, что здѣсь не можетъ случиться ни раздоровъ, ни недоумѣній; ясно, что просвѣщенные люди поймутъ другъ друга и будутъ объясняться единственно по-русски. Такимъ образомъ, подозрѣніе о произволѣ устраняется; обыватели на каждомъ шагу встрѣчаютъ лицо, которому могутъ принести жалобу; приличія соблюдены, всѣ довольны, а вмѣстѣ съ тѣмъ и раздоровъ никакихъ...

Возьмемъ другой примѣръ, болѣе осязательный.

Нашъ почтенный начальникъ края постоянно находится подъ контролемъ весьма не легкимъ; за нимъ надзираетъ и губернскій штабъ-офицеръ, и губернскій прокуроръ,—а между тѣмъ, спросите его по совѣсти, чувствуетъ ли онъ это? Нѣтъ, онъ не чувствуетъ, ибо, съ другой стороны, штабъ-офицеръ и прокуроръ находятся и подъ его контролемъ. Слѣдовательно, сойдутся вмѣстѣ, переговорятъ между собой ладкомъ, анъ, смотришь, и прекратятся разомъ всѣ недоумѣнія, смотришь—и пошли опять козырять, какъ ни въ чемъ не бывало.

Нашъ добрый и милый пріятель, Семенъ Михайлычъ Булановскій, былъ именно такого мнѣнія о контролѣ. Во-первыхъ, онъ вообще одобрялъ всю систему, а во-вторыхъ, хвалилъ въ особенности то, что контроль именно порученъ ему, а не кому другому. «Это,—говаривалъ онъ:—именно величественное зданіе, въ которомъ всякій находится при томъ кругѣ, гдѣ кому по способностямъ быть слѣдуетъ».

Я знаю, что въ послѣднее время развелось много неблагонамѣренныхъ людей, которые утверждаютъ, будто бы не предстоитъ никакой надобности ни въ штабъ-офицерахъ, ни въ прокурорахъ, ни даже... въ начальникахъ края! Для управленія обывателями, говорятъ они, достаточно однихъ законовъ! Конечно, если разсуждать съ точки зрѣнія теоретической, то нельзя не сознаться, что законы въ своемъ родѣ тоже представляютъ величественное зданіе; но, съ другой стороны, бываютъ случаи, когда они говорить не

могутъ и когда личное искусное вмѣшательство одно можетъ предотвратить величайшія бѣдствія. Въ особенности удобно и необременительно сіе средство въ дѣлахъ свойства, такъ сказать, домашняго (ибо въ нашемъ любезномъ отечествѣ еще встрѣчаются дѣла сего свойства). Приходитъ, напримѣръ, ко мнѣ жена и жалуется, что мужъ ея поступаетъ съ ней не какъ супругъ, а какъ человѣкъ посторонній. Что сдѣлалъ бы законъ? Законъ, во-первыхъ, сказалъ бы: «сударыня, докажите!» Во-вторыхъ, если бы и послѣдовало доказательство, то законъ отвѣчалъ бы: «это, сударыня, не мое дѣло». Напротивъ того, что сдѣлаю я? Во-первыхъ, я призову мужа и скажу ему: «какъ же тебѣ, любезный, не стыдно! Посмотри, какая у тебя жена хорошенькая!» Во-вторыхъ, если онъ этимъ не убѣдится, я пригрожу ему закономъ: «да, скажу, любезный, у насъ на этотъ счетъ и законъ есть!» А такъ какъ онъ законовъ не знаетъ, то и убѣдится навѣрное. Смотришь — анъ дѣло-то и покончено къ общему удовольствію! Другой примѣръ: приходитъ ко мнѣ работникъ и жалуется, что хозяинъ жалованья ему не платитъ. Натурально, я за хозяиномъ: «зачѣмъ ты, любезный другъ, денегъ не платишь?» Ну, онъ мнѣ: такъ и такъ. Отъ хозяина я опять къ работнику: «развѣ ты не можешь, любезный другъ, подождать?» Смотришь — анъ дѣло-то и покончено къ общему удовольствію!

Но важнѣе всего то, что мы, россіяне, отъ рожденія нашего питаемъ къ судамъ нелюбовь. Одаренные отъ природы воображеніемъ впечатлительнымъ и характеромъ живымъ, даже строптивымъ, мы требуемъ, чтобъ дѣла рѣшались немедленно, а желанія наши удовлетворялись безпрепятственно. Что бы это такое было, если бы существовали одни суды и не существовало начальства? Страшно подумать, но предугадать не трудно. Во-первыхъ, обыватели пришли бы въ уныніе; во-вторыхъ, въ дѣлахъ произошелъ бы застой. Результатъ же всего этого—хаосъ, среди котораго люди стремились бы не къ тому, чтобъ сдѣлать себѣ одолженіе, но къ тому, чтобъ поѣдать другъ друга.

Повторяю, нашъ милый Семенъ Михайлычъ вполнѣ раздѣлялъ эти убѣжденія. Онъ находилъ, что въ особенности полезенъ надзоръ негласный, который благодѣтельствуетъ, такъ сказать, въ тишинѣ уединенія. Въ такомъ видѣ, по мнѣнію его, онъ уподобляется Провидѣнію, всегда намъ присутствующему. Обиженный не имѣетъ основанія унывать, ибо знаетъ, что есть рука, которая защититъ его и

покараетъ злодѣя. При такой увѣренности не можетъ не житься легко, ибо жизнь, такъ сказать, сама выноситъ обывателя на крылахъ своихъ. Въ этомъ же, быть-можетъ, заключается и дѣйствительная причина того, что въ государствахъ, гдѣ подобный контроль устроенъ, лица обывателей принимаютъ видъ откровенный и беззаботный, не говоря уже о томъ, какъ это пріятно начальству.

Вообще, Семенъ Михайлычъ чудный малый и слыветъ въ губерніи завиднымъ женихомъ. Онъ очень мило изъясняется по-французски, а благородной изысканности его манеръ удивляются всѣ помѣщики. Онъ нѣсколько сухощавъ и вообще сложенъ, если позволено такъ выразиться, меланхолически; при этомъ строенъ и имѣетъ черты лица не только выразительныя, но даже язвительныя. Правильности его носа еще не такъ давно удивлялась купеческая жена Барабошкина, а пристальнаго взгляда его сѣрыхъ глазъ не могъ вынести самъ губернскій предводитель дворянства, когда его, по поводу ущерба какому-то казенному интересу, велѣно было келейнымъ образомъ допросить. Но человѣкъ чистый и невинный могъ смотрѣть ему въ глаза смѣло и съ увѣренностью всегда встрѣтить въ нихъ теплое участіе. Ко всему этому (какъ бы въ довершеніе общаго очарованія), онъ употребляетъ какіе-то анаѳемскіе духи, которыми умащаетъ себѣ усы и тѣло и отъ которыхъ такъ и разитъ чѣмъ-то таинственнымъ.

Семенъ Михайлычъ человѣкъ холостой, но не прочь жениться. Если онъ до сихъ поръ не принесъ себя въ жертву гименею, то это произошло совсѣмъ не отъ того, чтобъ нашихъ дѣвицъ не плѣняла его обольстительная наружность, но отъ того, что онъ желаетъ сдѣлать партію во всѣхъ отношеніяхъ блестящую. Ему мало того, что дѣвица, на которую онъ обращаетъ свои взоры, пышка, ему надо, чтобъ и отецъ ея былъ пышка, т. е. снабженъ надлежащими капиталами. «Жена должна принести мужу деньги и протекцію», — говоритъ онъ и, совершенно довольный собой, мечетъ жгучіе взоры на сонмище тающихъ дѣвицъ.

Живетъ онъ просто, но мило, въ домѣ той самой купчихи Барабошкиной, которая такъ восхищалась правильностью его носа. Говорятъ, будто бы онъ не платитъ за квартиру, но если это и правда, то, во всякомъ случаѣ, онъ обдѣлываетъ свои дѣла такъ скромно, что никто уличить его ни въ чемъ не можетъ. Въ какое бы время вы

зашли къ нему — всегда можете найти добрый привѣтъ, добрую сигару и добрый стаканъ вина.

Семенъ Михайлычъ очень пріятный собесѣдникъ; онъ проницательный политикъ и умѣренный, но глубокомысленный философъ. Трудно повѣрить, но при всѣхъ своихъ многочисленныхъ занятіяхъ онъ находитъ время даже слѣдить за теченіемъ планетъ и, руководствуясь Брюсовымъ календаремъ, охотно объясняетъ обычнымъ своимъ собесѣдникамъ тайное ихъ значеніе. Такъ, напримѣръ, не далѣе, какъ прошлой зимой, онъ по теченію планетъ очень вѣрно предсказалъ, что въ персидской странѣ произойдутъ козни тайныхъ враговъ, стремящихся огорчить любезное отечество, но что козни эти будутъ открыты нѣкоторымъ царедворцемъ Олоферномъ, который и посрамитъ кознедѣйцевъ. Все точно такъ и сбылось: черезъ двѣ недѣли мы уже читали въ газетахъ, что Олоферъ поймалъ и обличилъ злодѣевъ, которые были посажены въ мѣшокъ и ввержены въ море. Есть у него и библіотека, составленная исключительно изъ книгъ, трактующихъ о разныхъ видахъ любви къ отечеству. По мнѣнію его, только такія книги и могутъ услаждать душу государственнаго человѣка, да еще сочиненія эротическаго содержанія; но сіи послѣднія должны быть читаемы съ умѣренностью и втайнѣ, дабы не породить соблазна въ народѣ, который, по простодушію своему, можетъ, чего добраго, принять преподанныя тамъ правила за руководство въ жизни.

Однимъ словомъ, такіе люди, какъ Семенъ Михайлычъ, составляютъ истинное украшеніе городовъ, въ которыхъ поселяются; а такъ какъ въ Россіи нѣтъ губернскаго города, въ которомъ не было бы своего Семена Михайлыча, то и оказывается, что всѣ они изукрашены въ этомъ отношеніи преестественно.

Имѣя въ виду впереди балъ у губернатора и потомъ ночную пирушку у откупщика, я зашелъ къ Семену Михайлычу, чтобы отвести душу въ умѣренно-либерально-политико-философской бесѣдѣ.

Я засталъ его за чтеніемъ новаго обширнаго трактата о любви къ отечеству; неподалеку, на случай отдохновенія, валялся новый романъ Поль-де-Кока.

Прежде всего мы, разумѣется, разговорились о различныхъ благодѣтельныхъ реформахъ, ожидающихъ наше любезное отечество, потомъ о дѣйствіи, которое онѣ оказываютъ на обывателей. Оказалось, что это дѣйствіе, пока-

мѣстъ, ограничилось тѣмъ, что генералъ Голубчиковъ сошелъ съ ума въ ожиданіи уничтоженія откуповъ, да предсѣдатель уголовной палаты запилъ мертвую въ ожиданіи судебной реформы. Мы, разумѣется, погоревали.

— Удивляться тутъ нечего,—сказалъ мнѣ Семенъ Михайлычъ по поводу непріятнаго происшествія съ генераломъ Голубчиковымъ:—такая вѣсть можетъ поразить и болѣе крѣпкіе организмы.

— Какой, однако, ударъ для всего семейства!

Семенъ Михайлычъ только махнулъ рукой, какъ бы говоря: погоди, то ли еще будетъ!

— Странно одно,—продолжалъ онъ:—какъ это Иванъ Николаичъ до сихъ поръ не приготовился! Посмотрите на меня: я ужъ давнымъ-давно ко всему готовъ!

— Что, развѣ получили что-нибудь?

— Не получилъ, но получу!

Семенъ Михайлычъ сказалъ это съ такимъ дрожаніемъ въ голосѣ, что я не сомнѣвался, что онъ получилъ нѣчто, но до поры до времени скрываетъ. Любопытство задѣло меня за живое.

— Вотъ вы говорите, что генералъ не приготовился,—сказалъ я, желая увлечь его въ откровенную бесѣду:—да помилуйте, какъ же тутъ и приготовиться-то! Вѣдь онъ еще нынче утромъ получилъ радостное для себя извѣстіе.

— И все-таки надо было приготовиться!

— Да какъ же это, однакожъ?

— Повѣрьте мнѣ, что ничего нѣтъ лучше. Нужно только соображеніе и христіанское смиреніе!—возразилъ Семенъ Михайлычъ и, немного помолчавъ, прибавилъ:—Да, главное все-таки христіанское смиреніе, какъ тамъ кто ни говори!— Семенъ Михайлычъ, который курилъ въ это время трубку, сталъ дуть въ нее съ такою силой, что искры цѣлымъ облакомъ посыпались на коверъ.—Я былъ сегодня у обѣдни и молился,—продолжалъ онъ таинственнымъ голосомъ:—только, когда пропѣли херувимскую, я вдругъ почувствовалъ, какъ будто что-то кольнуло меня въ самое сердце... Я, знаете, впалъ въ забвеніе, стою и молюсь, стою и молюсь... Ахъ, что я видѣлъ въ эту сладкую минуту! ахъ, что я видѣлъ! Скажу одно: съ этого мгновенія бремя жизни скатилось съ души моей! съ этого мгновенія я... готовъ!

«Чортъ возьми! а вѣдь дѣло плохо, коль скоро Семену Михайлычу видѣнія являются!»—подумалъ я, невольно при-

помнивъ катастрофу, приключившуюся съ генераломъ Голубчиковымъ.

— И представьте себѣ, другъ мой, едва я возвратился изъ церкви, какъ мнѣ подаютъ письмо отъ одного петербургскаго пріятеля...

— И это письмо?...

— Вотъ, не угодно ли полюбоваться!

Онъ подалъ мнѣ дрожащей рукою письмо, въ которомъ я прочиталъ слѣдующее:

«Мы провалились, любезный другъ Simon, и ты можешь укладывать свои чемоданы, не опасаясь на этотъ разъ быть введеннымъ въ ошибку. На-дняхъ все покончено: насъ не будетъ! Мы должны перестать существовать, превратиться въ дымъ—мы и дѣла наши! Первою мыслью моею было, разумѣется, подумать о тебѣ, и знаешь ли, что̀ я придумалъ? На-дняхъ наши финансисты скомпоновали какой-то невинный проектъ по винной части: не удрать ли намъ съ тобой штуку, пристроившись по части хересовъ и розничной продажи сивухи? Говорятъ, такой состряпали проектецъ, что пальчики оближемъ; слѣдовательно, надежда есть. А я, къ тому же, коротко знакомъ съ самимъ его сивушествомъ княземъ цѣловальниковымъ, слѣдовательно и тутъ надежда есть! Вспомни, дружище, стишки:

«Надежда, кроткая посланница небесъ»...

и еще: «надежда утѣшаетъ царя на тронѣ»—дальше, хоть убей, не помню!—и валяй въ Питеръ! А не то и еще имѣется въ виду убѣжище: поговариваютъ, что учреждается серьезный надзоръ надъ пристанищами праздности и разврата, и что по этому случаю также потребуется много дѣятелей. Что-жъ, можно махнуть и по части клубнички! Конечно, дѣятельность не очень почетная, но нашъ братъ, опричникъ, за толчкомъ не погонится: видали виды! Со мной, дружище, даже на-дняхъ случилось происшествіе въ этомъ родѣ... и т. д.

«Ожидающій тебя съ нетерпѣніемъ
«Никифоръ Малявка».

— Однако, вамъ еще не измѣнила надежда!—сказалъ я, прочитавши письмо.

— Не измѣнила-то не измѣнила, а все-таки больно.

Семенъ Михайлычъ размахнулся и ударилъ чубукомъ объ стѣну.

— Больно, Николай Иванычъ! Больно въ особенности съ

точки зрѣнія благороднаго человѣка!—сказалъ онъ, останавливаясь предо мною.—Поймите, вѣдь наша служба была сама благородная! Вѣдь мы были почти... масоны!

— Ссс...

— Да, масоны! Это я берусь доказать, хоть и знаю, что въ нашемъ отечествѣ масоны не допускаются. Но мы масоны очищенные, мы масоны, у которыхъ, кромѣ любви къ отечеству, ничего въ предметѣ не осталось!

— Да скажите мнѣ, ради Бога, полковникъ: что̀ такое были эти масоны?

— Масоны были и будутъ существовать, покуда стоитъ міръ; масоны—это просто благонамѣренные люди, изъ которыхъ нѣкоторые заблуждаются, а нѣкоторые не заблуждаются!

— Гм!.. это, конечно... всякой вещи бываетъ въ мірѣ по два сорта...

— Заблуждающіеся масоны имѣли между собой разные таинственные знаки, безъ дозволенія начальства называли другъ друга вымышленными именами: Никифора Петромъ, Петра Степаномъ, и тому подобное... Согласитесь, что въ государствѣ этого допустить невозможно?

— Да, оно конечно... какъ-то подозрительно...

— Ну, и вся эта принадлежность перешла отъ масоновъ къ намъ. Мы тѣ же масоны, но масоны очищенные.

— Если я васъ понялъ, любезный Семенъ Михайлычъ, то, стало-быть, цѣль этихъ масоновъ заключается въ томъ, чтобъ покровительствовать несчастнымъ.

— Совершенно такъ. Видишь, напримѣръ, утопающаго, ну, подойдешь, подашь ему руку—и онъ опять пошелъ себѣ жить да поживать. Или, напримѣръ, обыграли васъ въ карты; вы приходите, объясняете... Я съ своей стороны призываю лицо, воспользовавшееся вашею довѣрчивостью, и говорю ему: «отдай деньги, потому что иначе тебѣ можетъ быть худо!»

— Знаете ли что̀, Семенъ Михайлычъ? Чѣмъ больше думаешь, тѣмъ больше убѣждаешься, что такого рода учрежденіе—истинное благодѣяніе для человѣчества. Тихо, смирно, миролюбиво, безъ разговоровъ—сколько тутъ одного сокращенія переписки!

— Да еще то ли мы дѣлывали! Вѣдь на насъ, можно сказать, лежало благоденствіе и спокойствіе цѣлаго отечества—поймите это! Вѣдь, можно сказать, ни одной мысли въ головѣ не зарождалось безъ того, чтобъ эта мысль не была намъ предварительно извѣстна... Вѣдь это цѣлый романъ!

— На вашемъ мѣстѣ, Семенъ Михайлычъ, я непремѣнно писалъ бы свои мемуары.

— Я думалъ объ этомъ.

Семенъ Михайлычъ задумался и улыбнулся. Видно было, что надъ мыслями его пролетали воспоминанія, и что воспоминанія эти улыбались ему.

— Да, были дѣла!—сказалъ онъ, щипля свой надушенный усъ:—были дѣла!

Я зналъ отчасти эти дѣла. То были дѣла чудодѣйственной ловкости, то были дѣла нечаяннѣйшихъ сюпризовъ и таинственнѣйшихъ похищеній. Семенъ Михайлычъ цѣлую жизнь все ловилъ и хватался и, наконецъ, доловился и дохватался до настоящаго скорбнаго положенія. Согласитесь, что это сразитъ хоть кого.

— Не то больно,—сказалъ онъ:—что жалованья тамъ какого-нибудь на время лишусь,—то, больно, что практики-то этой не будетъ!

— Да, привычка—великое дѣло!

— Грудью, вотъ этою самою грудью жертвовалъ! И что-жъ въ результатѣ?—абшидъ!

Семенъ Михайлычъ видимо впадалъ въ лиризмъ, потому что колотилъ себя въ грудь самымъ неестественнымъ образомъ.

— Что мнѣ нужно?—декламировалъ онъ, ставъ въ позицію, какъ это обыкновенно дѣлаютъ благородные, но огорченные люди:—что мнѣ нужно? Добрую сигару и стаканъ добраго вина!

«Добрую сигару я отдамъ пріятелю; стаканъ вина раздѣлю съ нимъ же!

«Теперь у меня нѣтъ ни того, ни другого! Послѣднюю сигару я выкурилъ вчера; послѣдній стаканъ вина выпилъ каналья-денщикъ сегодня, въ то время, какъ я молился Богу!

«Новыхъ я купить не въ состояніи. Я не знаю даже, буду ли въ состояніи сшить себѣ новые сапоги!

«Это горько! это неблагодарно!»

— Яшка!—прибавилъ онъ совершенно неожиданно, кликая денщика:—ступай, подлецъ, къ Барабошкиной и спроси, не осталось ли у нея хоть одной бутылки моего любимаго вина?

Послѣдній возгласъ оживилъ меня нѣсколько. Нѣтъ ничего несноснѣе, какъ присутствовать при посторонней горести. Конечно, эта горесть не могла назваться и для меня совсѣмъ постороннею: ибо и я, наравнѣ съ другими, могъ погибнуть въ стремнинѣ политическаго переворота, но все-таки я страшныхъ писемъ еще не получалъ, слѣдовательно

гибель моя представлялась еще отдаленною, и мысль о ней не портила еще моего аппетита въ такой степени, въ какой портила аппетитъ другихъ моихъ сотрудниковъ по вертограду администраціи. Однимъ словомъ, отъ этихъ унылыхъ стоновъ мною начинало уже овладѣвать нетерпѣніе, и я имѣлъ основаніе думать, что появленіе бутылки вина хоть нѣсколько измѣнитъ направленіе разговора.

— Тутъ была цѣлая система,—приставалъ, между тѣмъ, Семенъ Михайлычъ:—система, могу сказать, строго соображенная во всѣхъ своихъ частяхъ и подробностяхъ. Мы связаны между собой вотъ какъ!

Семенъ Михайлычъ соединилъ обѣ руки и просунулъ пальцы одной изъ нихъ между пальцевъ другой.

— Спрашиваю я васъ теперь: можно ли оставаться безъ системы?—добивался онъ.

— Знаете ли что?—отвѣчалъ я, какъ бы озаренный свыше вдохновеніемъ:—вѣдь я думаю, что безъ системы оставаться рѣшительно никакъ невозможно!

— Стало-быть, можно, коли оно такъ есть: взгляните и судите!—иронически замѣтилъ онъ.

Такого рода разговоры обыкновенно продолжаются до безконечности. Источникомъ имъ служатъ раны человѣческаго сердца, а раны эти, какъ извѣстно, сочатся до тѣхъ поръ, покуда не изсочатъ изъ себя всего гноя обидъ и оскорбленій, въ нихъ накопившихся. Нашъ разговоръ былъ прерванъ появленіемъ подлеца-Яшки, который доложилъ, что купчиха Барабошкина съ дерзостью отозвалась, что у нея никакой бутылки вина для полковника нѣтъ и не было.

— Вотъ видите, даже Барабошкина—и та отвѣчаетъ!—сказалъ мой амфитріонъ, окончательно сраженный.—Подлая! пронюхала, должно-быть!

Семенъ Михайлычъ неистово зашагалъ по комнатѣ.

— Любопытно, любопытно это будетъ, какъ-то они безъ насъ обойдутся! Повѣрите ли, Николай Иванычъ, когда мнѣ въ первый разъ сказали, что насъ не будетъ,—я думалъ, что это насмѣшка; я даже не далекъ былъ отъ мысли, что насмѣшка эта прямо относится къ высшему начальству...

— Да, оно похоже на то.

— Нѣтъ-съ, это была не насмѣшка. Намедни пріѣзжаю я въ Москву, являюсь къ своему старику, и первое слово, которое отъ него слышу: «а мы, братъ, съ тобой въ трубу вылетѣли!»—Кто же теперь слѣдить будетъ?—спра-

шиваю я его:—кто слѣдить будетъ, ваше превосходительство?—И знаете, стою этакъ передъ нимъ, весь внѣ себя отъ изумленія. Только что-жъ бы, вы думали, онъ мнѣ въ отвѣтъ? «Я, братецъ, говоритъ, въ пенсію все свое содержаніе получаю, такъ мнѣ до этого дѣла нѣтъ!!!» Такъ-то вотъ, ни въ комъ, просто ни въ комъ сочувствія нѣтъ!

— Скажите на милость!

— А намеднись, вотъ, у Пеструшкиныхъ на балѣ, мальчишка Шалимовскій, гимназистъ, подходитъ ко мнѣ, мерзавецъ, и говоритъ: «а вы, говоритъ, знаете, Семенъ Михайлычъ, что васъ уничтожаютъ?» Спрашиваю я васъ, каково мнѣ эти плюхи-то ѣсть?

— Даже мальчишки, и тѣ!

— Да въ мальчишкахъ-то и сила вся! Откровенно скажу, что если бы не мальчишки, мы и до сихъ поръ благоденствовали бы! Это они своимъ тявканьемъ... это отъ нихъ все загорѣлось. Господи! жили-жили, и вдругъ напасть!

— Да и старики-то, Семенъ Михайлычъ, хороши!

— И мальчишки, и старики, и Барабошка, и весь міръ заодно!

— Однакожъ, вѣдь вамъ недавно мундиръ перемѣнили: повидимому, это должно бы поощрить!

— Да, и перемѣнили, и поощрили! Ну, да, и перемѣнили, и поощрили! Что-жъ, и поощрили!

— Какъ же это, однако?

— Вотъ видите, Николай Иванычъ, я цѣлый мѣсяцъ объ этомъ знаю... Вы понимаете, что у меня должно *тутъ* происходить!

Онъ указалъ на грудь.

— Все это время я думалъ... все думалъ...

— И что же?

— Я просто пришелъ къ заключенію, что все это не болѣе, какъ страшный сонъ!

— Тсс...

— Да, это страшный сонъ, потому что этого не можетъ быть!

— Однако, вы имѣете письма?

— Имѣю дѣйствительно, но въ то же время питаю увѣренность... что мы возродимся!

— То-есть, какъ же это?.. Вы думаете, значитъ, что вамъ опять дадутъ новый мундиръ!

— Да нѣтъ, не то, не въ мундирѣ тутъ сила: духъ времени не таковъ! Но что мы возродимся—это вѣрно. По-

тому, ненатурально! Опять-таки спрашиваю я васъ, возможно ли существовать безъ системы?

— Нѣтъ, я положительно убѣжденъ, что безъ системы и одного дня пробыть невозможно.

— Ну, а какого же тутъ чорта систему выдумаешь! Слѣдовательно, мы возродимся: въ мундирахъ ли, безъ мундировъ ли, но мы возродимся—это вѣрно! Конечно, сначала все это будетъ какъ будто подъ непломъ, а потомъ оно потеплится-потеплится да и воспрянетъ настоящимъ манеромъ!

— Да вы-то? вы-то? что съ вами будетъ?

— Что обо мнѣ говорить! Я... я могу найти для себя убѣжище въ одномъ изъ новыхъ учрежденій, о которомъ пишетъ Малявка... Но это все равно! Главное все-таки въ томъ, что мы возродимся!

Семенъ Михайлычъ былъ великъ: я понялъ это и позавидовалъ ему. Мнѣ думалось о томъ, какъ сладко и велико должно быть гражданское чувство, въ силу котораго человѣкъ забываетъ о себѣ, чтобъ всѣмъ существомъ своимъ устремиться къ одному предмету—любезному отечеству!

Мы разстались утѣшенные и облегченные. Всю дорогу я твердилъ себѣ:

— Мы возродимся, ибо безъ системы существовать нельзя!

XII.—Запутанное дѣло.

Случай.

I.

«Будь ласковъ со старшими, невысокомѣренъ съ подчиненными, не прекословь, не спорь, смиряйся—и будешь ты вознесенъ премного: ибо ласковое теля двѣ матки сосетъ».

Такого рода напутственный завѣтъ былъ произнесенъ Самойломъ Петровичемъ Мичулинымъ двадцатилѣтнему его дѣтищу, отправлявшемуся изъ дому родительскаго на службу въ Петербургъ.

Самойло Петровичъ, бѣдный мелкопомѣстный дворянинъ, въ простотѣ души своей былъ совершенно увѣренъ, что, снабженный подобными практическими наставленіями, Ваничка его, безъ всякаго сомнѣнія, будетъ принятъ въ столицѣ съ распростертыми объятіями. На всякій случай, старикъ, однакожъ, кромѣ душеспасительнаго слова, вручилъ сыну тысячу рублей денегъ, съ приличнымъ наставленіемъ

носить ихъ всегда при себѣ, не мотать, не мытарствовать, а тратить себѣ помаленьку.

«Дитя оно молодое,—думалъ добродѣтельный старикъ:— и повеселиться, и пожуировать жизнью захочетъ—Богъ съ нимъ! Да при томъ же и объятія-то... кто его знаетъ! прижимистъ, сухосердъ нынче сталъ человѣкъ».

И вотъ уже около года живетъ юноша въ Петербургѣ; около года онъ добронравенъ, не прекословитъ, смиряется и на практикѣ во всей подробности осуществляетъ отцовскій кодексъ житейской мудрости—и не только двухъ, но и одной матки не сосетъ ласковое теля!

А между тѣмъ, онъ ли не уклонялся, онъ ли не угождалъ, онъ ли не нагибался! Кротче сердцемъ, смиреннѣе душою, кажется, въ цѣломъ мірѣ нельзя было сыскать человѣка! И все-таки отъ всей фигуры фортуны видѣлъ онъ одинъ только задъ... Пренепріятное дѣло!

Сунулся-было Иванъ Самойлычъ къ нужному человѣку мѣстечка попросить, да нужный человѣкъ наотрѣзъ сказалъ, что мѣста всѣ заняты; сунулся онъ-было и по коммерческой части, въ контору купеческую, а тамъ все цифры да цифры, въ глазахъ рябитъ, голову ломитъ; пробовалъ-было и стихи писать—да остроумія нѣтъ! Отъ природы ли голова его была такъ скупо устроена, или обстоятельства кой-какія ее сплюснули и стиснули, но оказывалось, что одна только сфера дѣятельности и была для него возможною—сфера механическаго переписыванія, перебѣливанія, да и тамъ ужъ народъ кишмя-кишитъ, яблоку упасть некуда, все занято, все отдано и всякій зубами за свое держится...

Словомъ, вся жизнь господина Мичулина, съ самаго его въѣзда въ Петербургъ, была рядомъ мучительныхъ попытокъ и исканій, и все безъ результата... А отцовскія деньги все уходили да уходили, а желудокъ просилъ ѣсть попрежнему, да и кровь-то еще молода и тепла въ жилахъ... Просто, ни на что не похоже!

Поникнувъ головою, тихимъ шагомъ возвращался Иванъ Самойлычъ домой послѣ одной изъ ежедневныхъ и неудачныхъ своихъ экспедицій.

Дѣло шло ужъ къ десяти часамъ вечера. Печальное и непріятное зрѣлище представляетъ Петербургъ въ десять часовъ вечера и при томъ осенью, глубокою, темною осенью. Разумѣется, если смотрѣть на міръ съ точки зрѣнія кареты, запряженной рьяною четверкою лошадей, съ быстро-

тою молніи мчащихъ его по гладкой, какъ паркетъ, мостовой Невскаго проспекта, то и дождливый осенній вечеръ можетъ имѣть не только сносную, но даже привлекательную физіономію.

Въ самомъ дѣлѣ, и туманъ, который, какъ удушливое бремя, давитъ городъ своею свинцовою тяжестью, и маленькая, острая жидкость—не то дождь, не то снѣгъ,—докучливо и рѣзко дребезжащая въ запертыя окна кареты, и вѣтеръ, который жалобно стонетъ и завываетъ, тщетно силясь вторгнуться въ щегольской экипажъ, чтобъ оскорбить нескромнымъ дуновеніемъ своимъ полныя и самодовольно лоснящіяся щеки сидящаго въ немъ сытаго господина, и гусиныя лапки зажженнаго газа, тамъ и сямъ прорывающіяся сквозь густой слой дождя и тумана, и звонкое, но, тѣмъ не менѣе, какъ смутное эхо долетающее «пади» зоркаго, какъ кошка, форейтора—все это, вмѣстѣ взятое, даетъ городу какую-то поэтически-улетучивающуюся физіономію, какой-то обманчивый колоритъ, дѣлая всѣ окружающіе предметы подобными тѣмъ страннымъ, безразличнымъ существамъ, которыя такъ часто забавляли насъ въ дни нашей юности въ заманчивыхъ картинахъ волшебнаго фонаря.

И покачивается-себѣ сытый господинъ, самодовольно развалившійся на мягкихъ подушкахъ, и сладко жмуритъ глаза, одолѣваемый неопредѣленною, но, тѣмъ не менѣе, мягкою дремотою, необыкновенно вкрадчивымъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ и необыкновенно сладкимъ полузабытьемъ... И напоминаетъ ему оно, это волшебное полузабытье, то блаженное состояніе, которое каждый изъ насъ болѣе или менѣе ощущалъ въ дѣтствѣ, слушая долгимъ зимнимъ вечеромъ безконечно-однообразные и между тѣмъ никогда не утомляющіе, давнымъ-давно прослушанные и между тѣмъ всегда возбуждающіе судорожное любопытство разсказы старой няни о Бабѣ-Ягѣ-костяной-ногѣ, объ избушкѣ на курьихъ ножкахъ и т. п.

Притаились дѣти вокругъ стола въ узкой и низенькой дѣтской; молчатъ они и не пошевельнутся; нѣтъ улыбки на розовыхъ губахъ ихъ; не слышно свѣжаго, звучнаго смѣха, за минуту передъ тѣмъ оглашавшаго комнату; всѣ мускулы на этихъ полныхъ жизни личикахъ выразили какое-то напряженное вниманіе; тусклый и трепещущій свѣтъ разливаетъ кругомъ давно забытая и страшно нагорѣвшая свѣтильня сальной свѣчи; обычно-тихо и мѣрно дрожитъ древній голосъ древней няни, повторяющей старую сказку

о Змѣѣ-Горынычѣ... Люблю я это морщинистое лицо старой няни, люблю ея желтыя, костлявыя руки, люблю ея увѣренность, будто она дѣйствительно вяжетъ чулокъ, между тѣмъ какъ на дѣлѣ только спускаетъ одну петлю за другою; люблю ея воодушевленіе, ея сочувствіе къ высокой добродѣтели Полкана-богатыря, Бовы-королевича; люблю ея движеніе, когда она, внезапно помолодѣвъ и озаренная какою-то юною силою, стучитъ дряхлымъ кулакомъ по столу, приговаривая: «Дернетъ Полканъ-богатырь за руку—рука прочь, схватитъ за голову—голова прочь»...

И сжимается дѣтское сердце страхомъ великимъ, и сочувствуетъ Ильѣ-Муромцу, слѣдитъ за борьбой его съ страшнымъ Соловьемъ-разбойникомъ, и робко вглядываются зоркіе глазки въ темный уголъ комнаты, высматривая, нѣтъ ли тамъ Бабы-Яги, не затаился ли гдѣ-нибудь ехидный Змѣй-Горынычъ, и весело смѣются и хлопаютъ дѣти въ ладоши, когда няня неопровержимыми доводами доказываетъ имъ, что Змѣй-Горынычъ давно околѣлъ и издохъ, гадина, стараніями добродѣтельныхъ витязей... И сладко засыпаютъ они, рѣзвыя дѣти, и самыя розовыя мечты убаюкиваютъ юныя воображенія ихъ, точно такъ же, какъ убаюкиваютъ онѣ и того господина, который сквозь туманъ и вѣтеръ ѣдетъ-себѣ въ уютной каретѣ своей, между прочимъ, твердо увѣренный, что ни туманъ, ни вѣтеръ не огорчатъ пухлыхъ и благовоспитанныхъ щекъ его.

Но не въ каретѣ ѣхалъ, а шелъ-себѣ скромно пѣшкомъ Иванъ Самойлычъ, и потому весьма естественно, что петербургскій осенній вечеръ утрачивалъ въ его глазахъ свой благонамѣренный характеръ. Холодный и рѣзкій вѣтеръ, дувшій ему въ самое лицо, не навѣвалъ на него сладостной дремоты, не убаюкивалъ его воспоминаніями дѣтства, а жалобно и тоскливо стоналъ около него, нагло набрасывалъ ему на глаза капюшонъ его шинели и съ видимымъ недоброжелательствомъ насвистывалъ въ уши одинъ и тотъ же знакомый припѣвъ: «озябъ, бѣдный человѣкъ! хорошо бы бѣдному человѣку у огня, да въ теплой комнатѣ! да нѣтъ у него ни огня, ни теплой комнаты! озябъ, озя-ябъ, бѣдный человѣкъ!»

Конечно, и въ ступающемъ по грязи человѣчествѣ рождались кой-какія мысли по поводу дождя, вѣтра, слякоти и другихъ непріятностей; но это были скорѣе мысли черныя и неблагонамѣренныя, вращавшіяся бо́льшею частью около того пункта, что есть, дескать, въ мірѣ и даже въ

самомъ Петербургѣ, люди сытые, которые ѣдутъ теперь въ каретахъ, которые сидятъ-себѣ покойно въ театрахъ или просто дома, одинъ на одинъ съ нѣжною подругою; но что этотъ господинъ, ѣдущій въ каретѣ, мигающій изъ креселъ смазливенькой и затѣйливо поднимающей ножку актрисѣ, сидящій одинъ на одинъ съ миловидной подругой и прочая—вовсе не оно, странствующее во мракѣ грязи и невѣжества человѣчество, а совсѣмъ иной, совершенно ему незнакомый господинъ...

«Что же за доля моя горькая!—думалъ Иванъ Самойлычъ, всходя по грязной и темной лѣстницѣ въ четвертый этажъ:—ни въ чемъ-то мнѣ счастія нѣтъ... Право, лучше бы не ѣхать сюда, оставаться бы въ деревнѣ! А то и голодно-то, и холодно»...

Въ дверяхъ его встрѣтила хозяйка квартиры, Шарлотта Готлибовна Гётлихъ, у которой онъ нанималъ весьма маленькую комнату съ подслѣповатымъ окномъ, выходившимъ на самую помойную яму. Шарлотта Готлибовна взглянула на него недовѣрчиво и покачала головой; въ первой комнатѣ раздавались шумные голоса собравшихся нахлѣбниковъ; голоса эти непріятно поразили слухъ Ивана Самойлыча. Съ нѣкотораго времени онъ сталъ какъ-то задумчивъ, сдѣлался мизантропомъ, убѣгалъ всякой компаніи и вообще велъ себя довольно странно.

И нынче, какъ всегда, пробрался онъ потихоньку въ свою комнату, молча выпилъ поданный ему стаканъ чая, безсознательно выкурилъ обычную трубку вакштафа и началъ думать... На этотъ разъ мыслей оказалось нестерпимомного, и все такія чудныя, одна другой страннѣе.

Въ сущности, дѣло было чрезвычайно просто и немногосложно. Обстоятельства Ивана Самойлыча были такъ плохи, такъ плохи, что, просто, хоть въ воду. Россія—государство обширное, обильное и богатое, да человѣкъ-то глупъ, мретъ-себѣ съ голоду въ обильномъ государствѣ!

А тутъ, кромѣ безденежья, еще и другія горести завязались и окончательно сбили съ толку героя нашего. Припоминая все, что сдѣлалъ онъ, со времени отбытія изъ дома родительскаго, въ обезпеченіе своего голоднаго желудка, господинъ Мичулинъ впервые усумнился, дѣйствительно ли поступалъ онъ въ этомъ дѣлѣ какъ слѣдуетъ, и не обманывалъ ли себя насчетъ покорности, уклоненія, добронравія и другихъ полезныхъ добродѣтелей.

Впервые, какъ будто бы сквозь сонъ, мелькнуло у него

въ мозгу, что отцовскій кодексъ житейской мудрости требовалъ безотлагательнаго и радикальнаго исправленія, и что въ нѣкоторыхъ случаяхъ скорѣе нуженъ наскокъ и напоръ, нежели безмолвное склоненіе головы.

Но малый-то онъ былъ по преимуществу скромный и безотвѣтный, да при томъ же и оробѣлъ ужасно. Пріѣхалъ онъ въ Петербургъ изъ провинціи; жизнь казалась въ розовомъ цвѣтѣ; люди смотрѣли умильно и добродѣтельно, скидали другъ передъ другомъ шляпы чрезвычайно учтиво, жали другъ другу руки съ большимъ чувствомъ... И вдругъ оказалось, что люди-то они все-таки себѣ на умѣ, такіе люди, что въ ротъ пальца имъ не клади! Ну, куда же тутъ соваться съ системою смиренномудрія, терпѣнія и любви!

И куда ни обернется онъ, за что ни схватится—все вокругъ него глядитъ какъ будто самостоятельно. Шелъ онъ, напримѣръ, давеча по Невскому—навстрѣчу начальникъ отдѣленія идетъ, и крестъ на шеѣ, и видъ такой привлекательный... А вѣдь еще молодой человѣкъ! Конечно, онъ ужъ и полноватъ, и съ брюшкомъ, а все-таки молодой человѣкъ. Вотъ и онъ тоже молодой человѣкъ, а не начальникъ отдѣленія... Что за притча такая!

Встрѣтилъ онъ также щегольскія дрожки; лошади отличныя, пристяжная такъ и подкидываетъ, въ дрожкахъ ѣдетъ господинъ съ орлинымъ носомъ и проницательными глазами смотритъ на міръ, какъ будто взоромъ хочетъ провертѣть дыру во вселенной.

— Смотрите-ка,—говорятъ кругомъ:—это В*** ѣдетъ! Пройдоха, кулакъ, бестія! А вѣдь что за голь, что за голь-то была! Просто, съ позволенія сказать, въ одной рубашкѣ хаживалъ.

И между тѣмъ В*** еще молодой человѣкъ, да вѣдь и онъ, Мичулинъ, молодой человѣкъ, а не ѣздитъ же въ щегольскихъ дрожкахъ!

А вонъ и еще молодой человѣкъ,—этотъ даже совсѣмъ розовый молодой человѣкъ, а вѣдь на немъ одно пальто рублей шестьсотъ стоитъ; онъ и веселъ, и безпеченъ, всѣ движенія его живы и непринужденны, смѣхъ его звонокъ и свободенъ, глаза бодры и свѣтлы, на щекахъ здоровье ключомъ бьетъ. Актриса ли мимо проѣдетъ—улыбнется ему, да и онъ актрисѣ улыбнется; важный человѣкъ встрѣтится—руку ему жметъ, шутитъ съ нимъ, смѣется!.

— Этотъ молодой человѣкъ—князь С****,—говорятъ всѣ кругомъ... Да вѣдь и Иванъ Самойлычъ молодой человѣкъ,

а онъ ужъ и хилъ, и желтъ, и согнутъ, да и актриса ему не улыбается...

Да ужъ что тутъ далеко ходить, въ отвлеченности пускаться! Въ одинаковой съ нимъ сферѣ, подлѣ него, всѣ нахлѣбники пользуются хоть какою-нибудь ролью, какимъ-нибудь значеніемъ, однимъ словомъ, дѣйствуютъ какъ люди взрослые и самостоятельные... Иванъ Макарычъ Пережига, напримѣръ, былъ нѣкогда мирнымъ деревенскимъ жителемъ и затравилъ на своемъ вѣку не одну сотню зайцевъ. Конечно, и зайцы, и деревня—все это было ужъ очень давно; конечно, въ настоящую минуту Иванъ Макарычъ пользовался нѣсколько двусмысленною репутаціей насчетъ способовъ жизни, да вѣдь въ этомъ виновна ужъ собственная его блудная натура, да при томъ хоть какъ-нибудь, а доставалъ-таки онъ себѣ кусокъ хлѣба. Жилъ тутъ же и Вольфгангъ Антонычъ Беобахтеръ, философіи кандидатъ; этотъ служилъ, а въ свободное отъ занятій время игралъ на гитарѣ различныя бравурныя аріи. Вмѣстѣ съ нимъ проживалъ еще Алексисъ Звонскій, чрезвычайно свѣдущій и ученый молодой человѣкъ; этотъ писалъ стихи, ставилъ фельетонъ въ газету. Наконецъ, рядомъ съ Иваномъ Самойлычемъ обитала Наденька Ручкина: и она была дѣвица свѣдущая, хотя только по своей части...

Мысль эта давно ужъ воромъ кралась въ сердце Ивана Самойлыча, и вдругъ зависть, глубокая, но безсильная и робкая, закипѣла въ груди его. Всѣ, рѣшительно всѣ оказывались съ хлѣбомъ, всѣ при мѣстѣ, всѣ увѣрены въ своемъ завтра; одинъ онъ былъ будто лишній на свѣтѣ; никто его не хочетъ, никто въ немъ не нуждается.

— Да что же я въ самомъ дѣлѣ такое?—говорилъ онъ, прогуливаясь мелкимъ шагомъ по комнатѣ.—Отчего же на меня, именно на меня, обрушиваются всѣ несчастія? отчего другіе живутъ, другіе дышатъ, а я и жить, и дышать не смѣю? Какая же моя роль, какое мое назначеніе?..

— Жизнь—лотерея!—началъ-было по привычкѣ отцовскій кодексъ житейской мудрости:—смиряйся и терпи!

— Оно такъ,—подзыкалъ, между тѣмъ, какой-то недоброжелательный голосъ:—да почему же она лотерея, почему-жъ бы не быть ей просто жизнью?

Иванъ Самойлычъ задумался.

«Вѣдь хоть бы этотъ князь,—думалъ онъ:—вотъ, онъ и счастливъ, и веселъ... Отчего-жъ именно онъ, а не я? Отчего бы не мнѣ уродиться княземъ?»

И мысли все росли и росли и принимали самыя странныя формы.

— Да что же я, что же я такое?—повторялъ онъ, съ безсильною злобой ломая себѣ руки.—Вѣдь годенъ же я на что-нибудь, есть же гдѣ-нибудь для меня мѣсто! Гдѣ-жъ это мѣсто: гдѣ оно?

Такъ вотъ какая странная струна задребезжала вдругъ въ сердцѣ Ивана Самойлыча, и задребезжала такъ назойливо и бойко, что онъ уже и самъ, по обычной своей робости, не радъ былъ, что вызвалъ ее.

И всѣ предметы вокругъ него смотрѣли какъ-то подозрительно и странно, принимали такую настойчивую, вопрошающую физіономію, какъ будто тащили его за воротникъ, душили за горло и, приставивъ къ его лбу холодное дуло пистолета, сиплымъ басомъ допрашивали его: отвѣчай же намъ, что же ты въ самомъ дѣлѣ такое?!

Блѣдный, испуганный, упалъ онъ на кресло, закрылъ руками лицо и горько заплакалъ...

Въ головѣ его внезапно отчетливо нарисовался деревенскій его домъ, родитель въ вязанной изъ шерсти ермолкѣ, мать, вѣчно болѣющая зубами и съ вѣчно подвязанною щекою, отецъ-дьяконъ съ дьяконицею, отецъ-іерей съ попадьею... Какъ все тамъ просто, какъ дышитъ все деревенскою, буколическою тишиною, какъ зоветъ все къ отдохновенію и успокоенію!.. И зачѣмъ было оставлять все это? Зачѣмъ было мѣнять извѣстное, полное самыхъ пріятныхъ и вкусныхъ ощущеній, на неизвѣстное, чреватое горестями, огорченіями и другимъ дрязгомъ? Зачѣмъ было соваться съ кротостью и смиреніемъ туда, гдѣ нужны дерзость и упрямое преслѣдованіе цѣли?

А между тѣмъ въ сосѣдней комнатѣ раздался знакомый Ивану Самойлычу голосокъ, напѣвавшій извѣстную арію изъ «Русалки»:

Прійди въ чертогъ ко мнѣ златой,
Прійди, о, князь мой дорогой!..

Голосокъ былъ небольшой, но необыкновенно мягкій и свѣжій. Господинъ Мичулинъ невольно началъ прислушиваться къ пѣнію и задумался... И думалъ онъ много и сладко думалъ, потому что въ знакомомъ маленькомъ голосѣ было что-то юное, какъ будто дающее крылья его утомленному воображенію.

Странное дѣйствіе производятъ на насъ иногда самыя ничтожныя, повидимому, явленія! Часто самаго пустого обстоя-

тельства, просто звуковъ какой-нибудь нелѣпой шарманки или голоса разносчика, тоскливо и протяжно вопіющаго: «игрушки дѣтскія, игрушки продать!» достаточно для того, чтобъ разстроить всю умственную систему какого-нибудь важнаго господина, разбить въ прахъ всѣ эти штуки и экивоки, которыя на пагубу человѣчества въ головѣ его строятся...

Такъ точно было и съ пѣсенкой, вылетавшей изъ сосѣдней комнаты. Пѣсенка была самая простая, лилась-себѣ ровно и безъ претензій, и вдругъ поразила слуховой органъ Ивана Самойлыча, и, сама не зная какъ, совершенно разстроила всѣ его соображенія о смыслѣ и значеніи жизни, о конечныхъ причинахъ, и такъ далѣе. И сталъ-было господинъ Мичулинъ самъ подпѣвать и звать къ себѣ дрожащимъ голосомъ дорогого князя, сталъ бить ногою тактъ и улыбаться и покачивать головой... Но вотъ тихо-тихо замеръ послѣдній звукъ пѣсенки, еще разъ, и ужъ въ послѣдній разъ, стукнула въ тактъ нога Самойлыча, еще разъ ускоренно стукнуло его сердце, и вдругъ ничего не стало слышно, и прежняя темнота опустилась на его душу, прежній холодъ охватилъ сердце...

Потому что не онъ, а другой былъ тотъ дорогой князь, котораго звала пѣсенка въ золотые чертоги; потому что ему наотрѣзъ было сказано, «что ужъ чему не быть, такъ ужъ не бывать, и безпокоиться о томъ не извольте»...

Съ горя, чтобъ хоть сколько-нибудь разсѣять печальныя мысли свои, рѣшился онъ отправиться въ общую комнату.

II.

Тамъ, въ облакахъ табачнаго дыма, бесѣдовала вся обычная компанія Шарлотты Готлибовны.

На первомъ планѣ плотно сидѣлъ Иванъ Макарычъ Пережига. Онъ былъ въ венгеркѣ весьма лихого покроя и въ настоящую минуту курилъ табакъ изъ саженнаго черешневаго чубука. Исторія господина Пережиги весьма проста. Жилъ онъ нѣкогда въ малороссійской своей деревнѣ, травилъ зайцевъ, и вдругъ—кто его знаетъ!—запилъ ли онъ, проигрался ли въ пухъ, или просто другія какія-нибудь, независящія обстоятельства приключились—только въ одно прекрасное утро и зайцы, и деревня какъ-то исчезли, и онъ принужденъ былъ отправиться искать счастія въ Петербургъ. Малый былъ онъ видный, сильный и плотный, несмотря на свои сорокъ лѣтъ, и потому не остался долго

безъ занятія... Вообще, съ тѣхъ поръ, какъ онъ поселился у Шарлотты Готлибовны, благодарная нѣмка стала какъ-то благопріятнѣе смотрѣть на міръ, чаще улыбалась и несравненно больше послабленій и льготъ оказывала нахлѣбникамъ.

Жизнь Иванъ Макарычъ велъ беззаботную и веселую. Вставалъ онъ рано; утромъ ходилъ обыкновенно въ ближайшій трактиръ, выпивалъ рюмку горьчайшей, сыгрывалъ, не переставая, партій двадцать въ бильярдъ, къ которому съ малолѣтства питалъ весьма нѣжную страсть; иногда онъ давалъ и десять, и пятнадцать впередъ, иногда ему давали впередъ пятнадцать и десять...

Доканавъ такимъ образомъ утро, онъ уходилъ домой обѣдать, а вечеромъ обыкновенно передавалъ слушателямъ эпизоды изъ своего безвозвратно минувшаго благоденствія; разсказывалъ разные любопытные случаи, бывшіе съ нимъ во времена его ожесточенныхъ войнъ противъ волковъ, зайцевъ и другихъ животныхъ, которыхъ онъ называлъ общимъ, но нѣсколько темнымъ именемъ «скотовъ» и «подлецовъ».

Изъ этого видно, что жизнь Ивана Макарыча какъ нельзя лучше содѣйствовала его растительнымъ и воспроизводительнымъ силамъ.

Характеръ имѣлъ онъ отъ природы веселый, но не лишенный легкаго сардоническаго оттѣнка. Онъ охотно любилъ подшутить надъ учеными и не пропускалъ никогда случая сказать бѣлокурому Алексису, который въ наукахъ, что называется, собаку съѣлъ и читалъ-таки на своемъ вѣку и Бруно Бауера и Фейербаха:

— Ну, а что, Бинбахеръ-то все на своемъ стоитъ? все говоритъ, что того-то нѣтъ... главнаго-то, набольшаго-то и нѣтъ? Бестія, бестія этотъ Бинбахеръ! Ужъ эти мнѣ нѣмцы!.. Вотъ тутъ они, тутъ у меня сидятъ!

Иванъ Макарычъ ударяетъ себя при этомъ плашмя ладонью по горлу, желая этимъ выразить, что зарѣзали, дескать, его нѣмцы, и не безъ лукавства посматривалъ на Шарлотту Готлибовну, которая и краснѣла, и улыбалась въ одно и то же время, и съ дѣтски-наивнымъ простодушіемъ отвѣчала:

— О, ви очень любезни кавалиръ, Иванъ Макарвичъ!

Но при этомъ оставалось покрытымъ непроницаемою тайной, кого именно разумѣлъ господинъ Пережига подъ неблагозвучнымъ именемъ Бинбахера—Фейербаха или Бруно Бауера.

По лѣвую сторону отъ Пережиги рисовалась сама хо-

зяйка квартиры. Это была длинная, прямая и тощая фигура, какъ будто бы сейчасъ проглотившая аршинъ. Движенія благородной нѣмки отличались какою-то особенною апатичностью и дубоватостью, непріятно поражавшею взоръ. Какъ будто всѣ ея мысли, весь ея организмъ устремились въ одну сторону—къ любезному ея другу, Ивану Макарычу. Она съ нѣмымъ подобострастіемъ смотрѣла ему въ глаза, съ самодовольною улыбкою прислушивалась къ звукамъ его богатырскаго голоса, какъ будто хотѣла всѣмъ и каждому на стѣнѣ зарубить, что это, дескать, все мое; все, что вы тутъ ни видите—принадлежитъ мнѣ, мнѣ безъ раздѣла.

Лицо ея было худощаво и покрыто красными пятнами; глаза маленькіе, выражавшіе какое-то ненасытное нахальство; углы губъ опущены и желудокъ выдавался несоразмѣрно впередъ.

Едва раскрылъ Иванъ Макарычъ ротъ, чтобъ сказать слово, какъ и она, въ свою очередь, спѣшила показать рядъ острыхъ и кривыхъ зубовъ, и начинала улыбаться, смотрѣла ему томно въ глаза и, по окончаніи его рѣчи, гордо окидывала взоромъ все общество.

По всему было видно, что она оставалась совершенно довольна своей судьбою и въ особенности не могла достаточно нахвалиться Пережигою.

Кромѣ хозяйки и Пережиги, въ комнатѣ находились еще два лица: кандидатъ философіи Вольфгангъ Антонычъ Беобахтеръ и недоросль изъ дворянъ Алексисъ Звонскій.

Беобахтеръ, маленькій и приземистый, быстрыми, но мелкими шагами ходилъ по комнатѣ, бормоталъ себѣ подъ носъ какія-то заклинанія, и при этомъ безпрестанно дѣлалъ рукою самое крошечное движеніе сверху внизъ, твердо намѣреваясь изобразить имъ паденіе какой-то фантастической и чудовищно-колоссальной карательной машины.

Алексисъ, вытянутый и сухой, сидѣлъ около стола и, устремивъ влажные глаза въ потолокъ, обрѣтался въ совершенномъ оптимизмѣ. Молодой человѣкъ размышлялъ въ эту минуту о любви къ человѣчеству и по этому случаю сильно облизывалъ себѣ губы, какъ будто послѣ вкуснаго жирнаго обѣда.

По обыкновенію, дѣло шло о вещахъ, вызывающихъ на размышленіе, и таинственный Бинбахеръ оказывался совершеннымъ подлецомъ.

— Я вамъ говорю, все они врутъ, бестіи!—кричалъ Пережига:—ужъ какъ же тутъ безъ «него» обойдешься! Это

въ ихней землѣ—ну, тамъ точно... тамъ оно можно! А у насъ... да вы только сообразите, вы только подумайте!

— О, какъ это правда, о какъ это очень правда!—воскликнула Шарлотта Готлибовна, подобострастно глядя въ самое лицо своему другу и такъ близко наклонившись къ нему, какъ будто хотѣла положить ему въ ротъ длинный и сухой носъ свой.

Господинъ Бообахтеръ самымъ мягкимъ теноромъ поспѣшилъ объявить, что, несмотря на это, онъ «все-таки надѣется», и тутъ же почелъ за долгъ съ необычайной граціей отмахнуть голову какому-то фантастическому, но, тѣмъ не менѣе, закоренѣлому врагу преобразованій,—преобразованій таинственныхъ, но уже заранѣе во всей подробности нарисовавшихся въ его воображеніи.

— Вы матеріалистъ, Иванъ Макарычъ!—отозвался Алексисъ:—вы не понимаете, какая сладость заключается въ словѣ «надежда»! Безъ надежды холодно, сухо, безотрадно! Однимъ словомъ, безъ надежды нѣтъ любви—вотъ искреннее убѣжденіе моего сердца!

Надо сказать разъ навсегда, что Алексисъ въ стихахъ своихъ постоянно изображалъ груди, вспаханныя страданіемъ, чела, взбороненныя горькою мыслью, и щеки, вскопанныя тоскою, но о чемъ были эти «страданіе, горе и тоска»—тайна эта была глубоко скрыта во мракѣ его мозгового вещества.

— Пожалуй-себѣ надѣйся! Вотъ и онъ надѣется,—прервалъ Пережига, указывая на Ивана Самойлыча:—да вѣдь яйцо выѣденное развѣ получитъ!

Всѣ взоры обратились на Мичулина. Онъ стоялъ у печки блѣдный и задумчивый, какъ будто бы самъ глубоко чувствовалъ свое ничтожество. Сначала онъ сталъ-было прислушиваться къ общему разговору, хотѣлъ-было и свое словечко какъ-нибудь ввернуть; но разговоръ былъ сухой и ученый, да при томъ же къ нему и не обращался никто, какъ будто всѣ молчаливо соглашались между собой, что для ученаго разговора онъ не годится.

— Ну, что, какъ дѣлишки?—обратился къ нему Иванъ Макарычъ.

Мичулинъ не отвѣчалъ, но еще унылѣе прежняго окинулъ взоромъ компанію.

— Говорилъ я тебѣ, душа ты горькая,—продолжалъ Пережига:—говорилъ тебѣ: поѣзжай въ деревню! ужъ гдѣ тебѣ тутъ! Сирота-сиротой выглядишь, а туда же лѣзешь!

Шарлотта Готлибовна никакъ не упустила случая, чтобъ тутъ же не удивиться высокой справедливости замѣчаній своего любезнаго друга, а Беобахтеръ все сильнѣе и сильнѣе наяривалъ ручонкою завѣтное движеніе сверху внизъ.

— А по-моему, вы очень хорошо сдѣлали, что остались здѣсь,—сказалъ онъ, быстро остановившись передъ Мичулинымъ и пристально смотря ему въ глаза.

Постоявъ съ полминуты, онъ приложилъ палецъ къ губамъ и самымъ вкрадчивымъ тенoромъ продолжалъ:

— Вѣдь въ наши дни спасительно страданіе!

— Страданіе есть удѣлъ человѣка на землѣ,—началъ было Алексисъ:—страдать и любить...

Беобахтеръ сдѣлалъ отрицательный жестъ головою, давая тѣмъ знать, что Алексисъ совершенно не въ ту сторону перетолковывалъ слова его.

— Страданіе тѣмъ пріятно,—говорилъ онъ такимъ равнодушнымъ тономъ, какъ будто дѣло шло о чрезвычайно вкусномъ обѣдѣ:—тѣмъ пріятно, что вотъ, какъ тутъ прихлопнетъ, да тамъ притиснетъ, да въ другомъ мѣстѣ, тогда...

И онъ съ особеннымъ наслажденіемъ напиралъ на слова «прихлопнетъ» и «притиснетъ».

— Нѣтъ, я съ тобой никакъ не могу согласиться,—возразилъ Алексисъ, вовсе не стараясь доискиваться, что̀ будетъ послѣ таинственнаго «тогда».

Иванъ Самойлычъ рѣшительно не зналъ, къ чьей партіи ему пристать: къ Беобахтеру ли, доказывавшему несомнѣнную полезность страданія, къ Алексису ли, тоже прописывавшему страданіе, какъ лѣкарство отъ всего, но по какому-то странному обстоятельству никакъ не соглашавшемуся съ кандидатомъ философіи, или, наконецъ, къ Пережигѣ, увѣрявшему по чести, что все это вздоръ, а вотъ, дескать, у него спросите, такъ онъ знаетъ.

— Любовь хорошо, отчего-жъ и не любовь? — говорилъ между тѣмъ Беобахтеръ, какъ будто бы обращаясь единственно къ Ивану Самойлычу, а на самомъ дѣлѣ видимо желая уязвить Алексиса:—да любовь послѣ, а прежде-то... Вы меня понимаете? — продолжалъ онъ, еще пристальнѣе смотря въ глаза Ивану Самойлычу.

— Догадываюсь,—отвѣчалъ робко Мичулинъ.

— Отчего же *послѣ* любовь? — приставалъ Алексисъ. — И теперь любовь, и потомъ любовь! Зачѣмъ этотъ ригоризмъ!

И умолкъ, какъ будто бы словомъ «ригоризмъ» онъ насквозь проткнулъ своего противника.

Иванъ Самойлычъ, между тѣмъ, собрался съ мыслями и замѣтилъ компаніи, что, конечно, можетъ-быть, любовь и страданіе—вещи полезныя и спасительныя, да обстоятельства-то его изъ рукъ вонъ плохи, имъ-то какъ помочь? Страданіе, дескать, хлѣба не даетъ, любовь тоже не кормитъ... Такъ нельзя ли ужъ что-нибудь такое придумать, что бы онъ могъ примѣнить къ дѣлу.

На это Бебахтеръ забормоталъ что-то объ индивидуализмѣ; говорилъ, что думать о собѣ подло; что если онъ и погибнетъ, то это ничего не значитъ, и даже въ нѣкоторомъ отношеніи принесетъ несомнѣнную пользу для будущаго, какъ реактивъ.

— Да, какъ ррреактивъ! — повторилъ онъ, метая изъ крошечныхъ глазъ молніи.

Вообще, кандидатъ философіи въ этомъ случаѣ совершенно не пощадилъ личности Ивана Самойлыча; но такъ какъ Алексисъ остался такимъ объясненіемъ совершенно доволенъ, то Бебахтеръ счелъ за нужное тутъ же присовокупить, что все-таки любовь *потомъ*, а прежде...

— Да что ты ихъ слушаешь!—вступился Иванъ Макарычъ.—Нѣтъ, видно, вы и Бинбахера-то только такъ говорите, что читали! По-моему, ты просто ступай въ деревню, да храпи себѣ на боку! Право славное будетъ житье! Такъ, что ли?

Иванъ Самойлычъ робко усмѣхнулся; его самого ужъ давно ласкала эта лакомая перспектива.

— А то, братъ, пропадешь, ей-Богу, пропадешь! — продолжалъ Пережига:—или запьешь съ горя—ужъ я знаю!

Послѣдовало нѣсколько минутъ молчанія.

— Оно, конечно, водка,—снова началъ Пережига: — отчего бы и не выпить: и въ глазахъ свѣтлѣе, и на людей веселѣе смотрѣть, да и горя не чувствуешь... Да вѣдь она водка-то, воръ! она познаніе есть зла и добра!

Мичулинъ стоялъ у печки блѣднѣе прежняго; Бебахтеръ искоса поглядывалъ на него, какъ Бертрамъ на Роберта, и весьма затѣйливо улыбался; Алексисъ не слушалъ: онъ закатилъ глаза подъ лобъ и бесѣдовалъ съ человѣчествомъ.

— Вотъ и у насъ въ трактиръ отставной чиновникъ ходитъ,—продолжалъ Пережига:—весь трясется, такой оборванный да ощипанный, и глаза гноятся, и руки дрожатъ: кажется, въ чемъ душа держится, а все пристаетъ: поднеси, дескать, Емелѣ водочки... Да хоть бы польза какая была, а то отъ водки-то только коробитъ его да жжетъ...

Снова минута напряженнаго молчанія.

— А вотъ вѣдь и чиновникъ былъ, въ службѣ служилъ, мундиръ носилъ, да и не Емелей, а Даніломъ Александрычемъ прозывался, а ужъ Емелей-то это такъ послѣ, трактирные прозвали! Да вотъ выгнанъ былъ изъ казеннаго мѣста, выгналъ его хозяинъ за неплатежъ на улицу — ну, онъ съ горя рюмочку, потомъ другую, а тамъ и пошелъ... Познаніе есть зла и добра!

Послѣдовало опять нѣсколько секундъ тягостнаго молчанія.

— А впрочемъ, по мнѣ, какъ знаешь!—продолжалъ Пережига, обращаясь къ Мичулину.—Оно, конечно, коли хочешь, онъ и счастливъ: дали ему водки — онъ и забылъ, что въ разодранныхъ сапогахъ ходитъ... Право, такъ!

И внезапно, по какому-то непостижимому сцѣпленію идей, на Пережигу напалъ припадокъ сентиментальности, и онъ сталъ восторгаться тѣмъ, что̀ за минуту выставлялъ въ глазахъ Ивана Самойлыча какъ вещь, которой должно всячески остерегаться. Шарлотта Готлибовна тоже круто перемѣнила образъ мыслей и заранѣе глубоко вздохнула.

— Да ещё какъ счастливъ-то,—говорилъ Иванъ Макарычъ:— пуще князя всякаго счастливъ! подитка ты, чай, какіе ему сны видятся! не надо ему ни дворцовъ, ни палатъ! Вотъ она, школа жизни-то, вотъ! А то что̀ вы тутъ съ Бинбахеромъ! въ Сибирь его, Бинбахера, на каторгу его!

Долго еще Иванъ Макарычъ не могъ успокоить своего филантропическаго потока, долго сидѣлъ онъ, покачивая головой и приговаривая: «право, не надобно ему ни дворцовъ, ни бархату; каждая слеза его»...

Наконецъ, всѣ какъ будто бы притихли. Бесбахтеръ попрежнему граціозно двигалъ рукою сверху внизъ, но уже скорѣе безсознательно, нежели съ намѣреніемъ; Алексисъ еще болѣе облизывалъ себѣ губы, бесѣдуя съ человѣчествомъ; Иванъ Самойлычъ конфузился и выводилъ кой-какія заключенія изъ видѣннаго и слышаннаго.

Въ это время часы уныло зазвенѣли одиннадцать. Но и часы били на этотъ разъ какъ-то особенно злонамѣренно. Ивану Самойлычу показалось, будто каждое біеніе часового колокольчика заключало въ себѣ глубокій смыслъ и съ упрекомъ говорило ему: «каждая дуга, которую описываетъ маятникъ, означаетъ канувшую въ вѣчность минуту твоей жизни... Да жизнь-то эту на что̀ ты употребилъ, и что̀ такое все существованіе твое?»

Отчего же прежде никогда не говорилъ ему этого бой

часовъ? отчего прежде окружавшіе его предметы не смотрѣли на него съ такимъ вопросительнымъ, испытующимъ видомъ?

И едва начиналъ онъ въ умѣ своемъ развивать движеніе руки Бесбахтера, какъ въ мозгу его зарождалась другая мысль, совершенно въ pendant къ этому движенію— мысль страшная, давно не дававшая ему покоя, и которая была не что иное, какъ извѣстное уже читателю изъ первой главы: «Кто ты таковъ? Какая твоя роль? Жизнь—лотерея» и проч.

И потомъ все это исчезало, и на сцену являлся полусгнившій, дрожащій старикъ и, указывая на водку, говорилъ: «познаніе есть зла и добра».

— Да вѣдь и не Емеля былъ онъ совсѣмъ, а, слышь ты, Данила Александрычъ, и служилъ нѣкогда, и молодъ былъ нѣкогда, да вотъ выгнали же его изъ службы — и сталъ онъ Емелей, по милости добрыхъ людей.

Съ ужасомъ и содроганіемъ вспоминалъ Иванъ Самойлычъ этотъ странный анекдотъ; въ головѣ его вдругъ пробѣжала мысль: «а ну, какъ и я Емеля?» да тутъ же и примерзла къ мозгу — до такой степени эта мысль испугала его...

Въ такомъ именно настроеніи духа подошелъ онъ къ своей комнатѣ, какъ вдругъ за сосѣднею дверью, ведшей въ уединенное жилище дѣвицы Ручкиной, послышался шорохъ. Сердце его забилось; чудная пѣсенка назойливѣе прежняго зазвучала въ ушахъ, и все звала, все звала... дорогого князя...

«Идти, или не идти?»—думалъ Иванъ Самойлычъ.

А между тѣмъ ужъ стучался.

— Кто тамъ?—раздался за дверью знакомый свѣженькій голосокъ.

— Это я... вы не почиваете, Надежда Николаевна?

— Нѣтъ, не сплю... войдите.

Иванъ Самойлычъ вошелъ; передъ нимъ стояло маленькое, уютное существо, но до того живое и вертлявое, что въ одно и то же время видѣлось во всѣхъ углахъ комнаты; существо, розовое и свѣжее, облеченное только большимъ подъ кашемиръ платкомъ, плохо скрывавшимъ пріятную нѣжность ея формъ и безпрестанно распахивавшимся по причинѣ неимовѣрной живости движеній маленькаго существа.

«У, какая игривая!»—была первая и совершенно есте-

ственная мысль Ивана Самойлыча, но мысль, подобно молніи, промелькнувшая минутно и скрывшаяся, какъ въ тучѣ, въ мозговомъ лабиринтѣ своего владѣльца.

— Что это вы сегодня такъ долго засидѣлись, Иванъ Самойлычъ?—отозвалось, между тѣмъ, маленькое существо, переходя отъ одного комода къ другому, отъ стула къ кровати, подбирая съ полу разныя ниточки, бумажки и все прибирая къ сторонкѣ, чтобы ничего не пропало втунѣ, потому что впередъ на черный день пригодится.

— Да я такъ-съ... я насчетъ того-съ...—бормоталъ сконфуженный Мичулинъ.

— То-есть, какъ же насчетъ того? Ужъ опять не насчетъ ли прежняго? И-и-и не думайте, Иванъ Самойлычъ!

Мичулинъ молчалъ, хоть внутренно и скорбѣлъ, быть-можетъ, о томъ, что ему даже и думать было запрещено.

— А я въ театрѣ была... сегодня «Уголино» давали... до страсти люблю трагедіи... А вы?

Иванъ Самойлычъ съ любовью смотрѣлъ на Наденьку и какъ будто бы соображалъ, какимъ образомъ это крошечное, совершенно водевильное тѣльце могло до такой степени пристраститься къ трагедіи.

— Господинъ Каратыгинъ игралъ... ужъ я плакала-плакала... И какой видный мужчина! Я до смерти люблю плакать...

Господинъ Мичулинъ даже хихикнулъ отъ умиленія.

— Такъ вы весело провели вечеръ? — спросилъ онъ, а глаза его, между тѣмъ, все сильнѣе и сильнѣе разгорались.

— Очень весело! Я вамъ говорю, я ужасти какъ плакала... особливо, когда эта душка Вероника...

— Съ вами былъ кто-нибудь?

— Да, кавалеръ... онъ, видите, былъ прежде мой женихъ, когда я еще у родителей жила... сватался за меня... Такой тоже видный изъ себя мужчина, яблокъ намъ купилъ... Да я все плакала, мнѣ не до яблокъ было...

Мичулинъ вздохнулъ.

— Что вы сегодня такіе скучные?—спросила Наденька.

— Да я такъ-съ...—отвѣчалъ онъ, снова запинаясь:—я ничего-съ...

Но Наденька все-таки поняла, въ чемъ дѣло; она тотчасъ же, по свойственной ей подозрительности, догадалась, что все это по тому дѣлу, по прежнему.

— Нѣтъ, нѣтъ, и не думайте, Иванъ Самойлычъ!—сказала она, волнуясь и махая руками.—Никогда, ни въ жизнь

свою не получите!.. Ужъ я что сказала, такъ ужъ сказала, мое слово свято: и не думайте!

И попрежнему съ невозмутимымъ равнодушіемъ маленькая женщина подбирала съ полу бумажки, перевѣшивала съ одной вѣшалки на другую разныя платья и юбки, безъ всякой, впрочемъ, совершенно надобности, а единственно изъ удовлетворенія живости и бойкости характера.

— Гм! въ жизнь!.. А что такое *жизнь?* — соображалъ, между тѣмъ, господинъ Мичулинъ. — Вотъ въ томъ-то и штука, Надежда Николаевна, что такое *жизнь?*.. Не есть ли это обманъ, мечтаніе пустое?

Наденька на минуту перестала суетиться и въ изумленіи остановилась посреди комнаты.

Передъ нею стоялъ все тотъ же ординарный господинъ Мичулинъ, котораго она аккуратно видала каждое утро и каждый вечеръ; все такъ же гемороидаленъ былъ цвѣтъ его испещреннаго рябинами лица, только на губахъ едва замѣтно играла не лишенная ѣдкости и самодовольствія улыбка, какъ будто бы говорила эта улыбка: «а что, задалъ я тебѣ, голубушка, загвоздку: на-тка, поди, раскуси ее!»

— То-есть, какъ же обманъ?—въ свою очередь, робко и нерѣшительно спросила Наденька, думая, что Иванъ Самойлычъ потому, *вѣроятно,* заговорилъ объ обманахъ, что самъ намѣренъ употребить въ отношеніи къ ней какое-нибудь злостное ухищреніе.

— Да такъ-съ, обманъ, просто обманъ! Посудите сами: вѣдь если бы я въ самомъ дѣлѣ жилъ, я бы занималъ какое-нибудь мѣсто, игралъ бы какую-нибудь роль!

Наденька ужъ совершенно разувѣрилась и обдумывала, что бы ей такое поднять съ полу.

— Такъ вы думаете, — сказала она съ разстановкою:— что тотъ только и живетъ, кто играетъ какія-нибудь роли?

Иванъ Самойлычъ понялъ, что подъ словомъ «роли» Наденька разумѣла исключительно тѣ, которыя играетъ господинъ Каратыгинъ, и поэтому не нашелся, что отвѣчать.

— Гм!—сказала дѣвица Ручкина.

— Такъ я все вотъ насчетъ этого дѣла,—снова началъ Мичулинъ.

— То-есть, насчетъ чего же, Иванъ Самойлычъ? Если насчетъ того, то будьте совершенно покойны: ужъ я что сказала, такъ ужъ сказала; а если насчетъ чего другого, извольте, я съ удовольствіемъ.

Иванъ Самойлычъ не отвѣчалъ; сердце его надрывалось; слова замирали на губахъ, и даже что-то похожее на слезу сверкнуло въ глазахъ его... Въ который разъ получалъ онъ этотъ черствый отказъ!

— Оно не то, Надежда Николаевна,—говорилъ онъ дрожащимъ голосомъ: — все бы еще снести можно! Да вѣдь *другіе!..* Вѣдь другіе-то пьютъ, другіе ѣдятъ, другіе веселятся! Отчего же другіе?

Дѣйствительно ли несчастіе его происходило отъ того, что другіе живутъ, другіе веселы, или просто присутствіе маленькаго существа, къ которому самъ питаешь маленькую слабость, еще горчѣе дѣлаетъ наше горе—какъ бы то ни было, но герою нашему дѣйствительно сдѣлалось тяжко и обидно.

А между тѣмъ Наденька тоже задумалась; она, конечно, замѣтила эту слезу, но все еще какъ-то думалось ей, что Иванъ Самойлычъ хитритъ, что все это онъ насчетъ того дѣла, насчетъ прежняго, а назначеніе и роль были тутъ только предлогомъ, чтобъ пустить ей пыль въ глаза, и, пользуясь ея ослѣпленіемъ, поставить-таки на своемъ.

— Да, оно, конечно, обидно,—сказала она тонко и деликатно, дѣлая видъ, какъ будто не замѣчаетъ, куда клонится рѣчь господина Мичулина: — да знаете ли, Иванъ Самойлычъ, ужъ не пойти ли вамъ спать?

Иванъ Самойлычъ сознался, что дѣйствительно ужъ поздно и что спать пора.

Лежа на одинокой постели своей, долго не могъ заснуть Иванъ Самойлычъ. Все ему чудилось живое, полненькое личико Наденьки, и свѣтло и роскошно рисовалась и суетилась передъ его глазами эта миніатюрная, уютная фигурка, вѣчно хлопочущая, вѣчно бѣгущая... И мерещится ему во мракѣ его комнаты, что вотъ сверкнула ея грудь, вотъ промелькнула около самыхъ его губъ крошечная ножка... и ловитъ онъ ее взглядомъ, и усиливается высмотрѣть въ густой темнотѣ это дорогое, мимолетное видѣніе, но тщетно! Во мглѣ тонетъ взоръ его, во мглѣ, въ глубокой, непроницаемой мглѣ, и не успѣваетъ онъ опомниться, какъ передъ нимъ стоитъ длинный и тощій вопросъ—вопросъ насмѣшливый и недоброжелательный, составляющій все несчастіе и гибель его бѣдной жизни.

И скорѣе закрылъ онъ глаза, чтобъ не видѣть этого больного, изнеможеннаго вопроса, и началъ думать о томъ, какъ бы бы пріятно, если бы Наденька... О, если бы

Наденька!.. если бы она знала, какъ бьется сердце бѣднаго Ивана Самойлыча, несчастнаго Ивана Самойлыча, каждый разъ, какъ долетаетъ до него ея маленькій, незатѣйливый голосокъ, поющій маленькую, незатѣйливую пѣсенку!.. Если бы она видѣла, другими глазами видѣла, какъ судорожно и трепетно сжимается это сердце, какъ прислушивается это ухо, какъ притопываетъ эта нога, какъ преображается и озаряется внезапнымъ свѣтомъ и теплотою все это такъ долго зябнувшее на стужѣ и непогодѣ существо! Если бы она видѣла все это! И какъ смѣла и бойка была его мысль, какое будущее готовилъ онъ ей, этой дорогой, вѣчно незабвенной Наденькѣ! Не то чреватое горестями и лишеніями будущее, которое на самомъ дѣлѣ ждало ее, а будущее ровное и спокойное, гдѣ все такъ удобно и ловко слагалось, гдѣ всякое желаніе дѣлалось правомъ, всякая мысль становилась дѣломъ... Если бы знала она!

Но не видала, не знала она ничего! Обидна и груба казалась ей привязанность господина Мичулина, и тщетно раскрывалось сердце скромнаго юноши, тщетно играло воображеніе его: ему предстояла вѣчная и холодная, холодная мгла!

III.

Ужъ мозговое вещество Ивана Самойлыча подернулось пелсною, сначала мягкою и полупрозрачною, потомъ все болѣе и болѣе плотною и мутною; ужъ слуховой его органъ наполнился тѣмъ однообразнымъ и протяжнымъ дрожаніемъ, составляющимъ нѣчто среднее между отдаленнымъ звучаніемъ колокольчика и неотвязнымъ жужжаніемъ комара; ужъ мимо глазъ пронесся огромный, неохватимый взоромъ городъ, съ своими тысячами куполовъ, съ своими дворцами и съѣзжими дворами, съ своими шпицами, горделиво врѣзывающимися въ самыя облака, съ своею вѣчно шумною, вѣчно хлопочущею и суетящеюся толпою. Но вдругъ городъ смѣнился деревнею съ длиннымъ рядомъ покачнувшихся въ сторону избъ, съ сѣрымъ небомъ, сѣрою грязью и бревенчатою мостовой... Потомъ всѣ эти образы, сначала опредѣленные и различные, смѣшались: деревня украсилась дворцами, городъ обезобразился почернѣвшими бревенчатыми избами; у храмовъ привольно разрослись репейникъ и крапива; на улицахъ и площадяхъ толпились волки, голодные и кровожадные волки... и пожирали другъ друга.

Но вотъ и городъ исчезъ въ туманѣ, и деревня утонула въ синемъ, неизглядномъ озерѣ, и волки скрылись далеко-далеко въ густые лѣса фантазіи Ивана Самойлыча... Но что же вдругъ такъ сладко поразило слухъ его, что защекотало вдругъ, зашевелило бѣдное его сердце? Съ тоскою и трепетомъ вслушивается онъ въ эти вѣчно милые, вѣчно желанные звуки, съ томленіемъ и грустью впиваетъ въ себя чудную гармонію простенькой пѣсенки, ласкающей слухъ его...

— Наденька, Наденька! — молящимъ голосомъ говоритъ Иванъ Самойлычъ.

Но гордо и съ обиднымъ презрѣніемъ смотритъ на него, униженнаго и умоляющаго, маленькая женщина. Крошечная ироническая улыбка молькаетъ на розовыхъ губкахъ; ея миніатюрное негодованьице слегка приподняло ея тонкія ноздри и окрасило нѣжнымъ пурпуромъ упругія щеки...

— Наденька! — говоритъ онъ задыхающимся отъ волненія голосомъ: — я не виноватъ, что люблю васъ... Что же мнѣ дѣлать, если это выше силъ моихъ!..

И онъ съ трепетомъ ждетъ ея слова: онъ не замѣчаетъ, что возлѣ нея стоитъ другое лицо — лицо, принадлежащее ученому другу ея, бѣлокурому Алексису; не замѣчаетъ, какъ томно опирается она на руку юноши, какіе полные нѣги и томленія взоры отъ времени до времени обращаетъ къ нему...

Но вотъ и на него взглянула она, но какъ-то сурово и съ недоумѣніемъ. Обиженнымъ тономъ отвѣчаетъ она ему, что удивляется, какимъ образомъ могъ онъ даже подумать сдѣлать ей такое странное предложеніе; что, конечно, онъ человѣкъ неглупый и даже начитанный человѣкъ, но что и она, съ своей стороны, дѣвушка честная, и хотя не дворянка, но не хуже иной дворянки сумѣетъ подать карету не только ему, Ивану Самойлычу, но и всякому другому, даже получше и почище его, кто осмѣлится подъѣхать къ ней съ подобнымъ предложеніемъ.

И снова все исчезаетъ въ безразличномъ туманѣ: и бѣлокурое, но нѣсколько апатичное лицо Алексиса, и миніатюрная, вѣчно тревожная фигурка Наденьки, и тоскливо звучитъ вдали знакомая пѣсенка о дорогомъ князѣ и золотыхъ чертогахъ...

— Что же я въ самомъ дѣлѣ такое? — спрашиваетъ себя господинъ Мичулинъ: — какое мое назначеніе, какая судьба моя?

Толпами собираются около него блѣдные призраки и насмѣшливо кричатъ ему: «охъ, усталъ, усталъ ты, бѣдный человѣкъ! разломило тебѣ всю голову!»

Блѣдный, трепещущій падаетъ онъ на колѣни, прося пощадить его, объяснить ему это страшное дѣло, не дающее ему ни днемъ, ни ночью покою, но падаетъ такъ неловко и неожиданно, что блѣдные призраки мгновенно исчезаютъ.

Въ комнатѣ темно; старинная кукушка жалобно прокуковала два раза и замолкла.

«Чортъ знаетъ что за дрянь въ голову лѣзетъ! — подумалъ Иванъ Самойлычъ: — а вотъ еще философы утверждаютъ»...

И онъ было-намѣревался, не пускаясь въ дальнѣйшія разсужденія, во снѣ узнать, что утверждаютъ философы, какъ вдругъ за тонкою перегородкою, которая одна отдѣляла его постель отъ завѣтной комнатки, послышались голоса.

Иванъ Самойлычъ началъ прислушиваться.

— Ужъ я вижу, сударь, — щебеталъ знакомый ему голосъ: — ужъ пожалуйста, не приводите мнѣ своихъ резоновъ, ужъ пожалуйста... Я все, все насквозь вижу...

— Нѣтъ, Наденька! ты ошибаешься, другъ мой, ошибаешься, милый ты человѣкъ! — отвѣчалъ Алексисъ, стараясь придать голосу своему льстивый тонъ.

— Ужъ пожалуйста, въ чемъ другомъ, а въ этомъ не ошибусь... Стыдитесь, сударь!

— Да помилуй же, Наденька! право, я нигдѣ не былъ...

— Я вамъ говорю, что все насквозь вижу, всѣ ваши хитрости вижу, Алексѣй Петровичъ! Ужъ какъ вы тамъ меня ни называйте—образованная ли я, или необразованная—а ужъ я все-таки вижу!

Алексисъ молчалъ.

— Зачѣмъ же притворство и коварство? — продолжала, между тѣмъ, Наденька.— Ужъ скажите мнѣ лучше прямо, что я несчастнѣйшая изъ женщинъ!.. Я дѣвушка прямая, Алексѣй Петровичъ; я честная дѣвушка, Алексѣй Петровичъ, и не люблю ходить вокругъ да около... Ужъ скажите мнѣ просто, что я въ слезахъ должна проводить жизнь!

— Отчего же въ слезахъ, Наденька?—отвѣчалъ лаконически Алексисъ и потомъ прибавилъ:—Отчего же въ слезахъ, милый, хорошій ты человѣкъ?

И опять все смолкло вокругъ Ивана Самойлыча, но не въ головѣ его: тамъ, напротивъ, началась страшная дѣя-

тельность, начался шумъ и стукотня; мысли бѣгали по мозговымъ его первамъ, перебивали другъ у друга дорогу, и вдругъ накопилось ихъ такое множество, что онъ ужъ и самъ не радъ былъ, что проснулся и, какъ глупая тварь, поддался грубому и животненному инстинкту любопытства...

Не успѣлъ еще онъ хорошенько сообразить, какъ бы этакъ воспользоваться недоразумѣніемъ, хитро вырыть ближнему яму, какъ ужъ и дѣйствительно какимъ-то образомъ подкопался подъ Алексиса. Въ судьбѣ его внезапно произошла совершенная и неожиданная перемѣна; въ одно мгновеніе ока онъ сдѣлался рѣшительно баловнемъ фортуны; онъ ходитъ по Невскому подъ руку съ молодою женой, въ бекешѣ съ сѣдымъ бобровымъ воротникомъ; на лбу красуется глубокій шрамъ, полученный въ битвѣ за отечество, а на фракѣ—огромная испанская звѣзда съ безчисленнымъ множествомъ угловъ. Онъ мѣняется пріятною улыбкою и поклономъ съ значительными господами; онъ совершенно доволенъ своею судьбою и безпрестанно вынимаетъ изъ кармана необыкновенно массивный хронометръ, какъ будто бы для того, чтобъ узнать, который часъ, а въ самомъ дѣлѣ для того только, чтобъ показать народу: пусть-де видитъ онъ, какіе на свѣтѣ бываютъ удивительные часы и цѣпочки.

Съ презрѣніемъ и иронически улыбаясь, смотритъ онъ на проходящаго мимо и дрожащаго отъ холода, въ изношенномъ до-нельзя темно-вишневомъ съ искрою пальто, Алексиса, и дѣлаетъ видъ, будто не замѣчаетъ его. Но Алексисъ издалека завидѣлъ знакомую ему маленькую фигурку; онъ ужъ спѣшитъ къ ней съ обыкновеннымъ привѣтствіемъ: «здравствуй, Наденька, здравствуй, хорошій ты, милый человѣкъ!»—но вдругъ у самыхъ ушей его раздается грозный голосъ: «Милостивый государь, вы забываете...» и Алексисъ, поджавъ хвостъ, удаляется поспѣшными шагами во-свояси.

Но вотъ и четыре бьетъ на каланчѣ думы: Иванъ Самойлычъ по привычкѣ уже чувствуетъ въ желудкѣ пріятную тоску.

— Не прикажешь ли, душа моя, зайти въ магазинъ купить чего-нибудь къ обѣду?—говоритъ онъ, обращаясь къ Наденькѣ.

— Отчего же и не зайти! — отвѣчаетъ она съ такимъ философскимъ равнодушіемъ, какъ будто бы дѣйствительно такъ и быть должно.

И въ самомъ дѣлѣ, люди богатые—отчего же и не зайти. Ужъ съ четверть часа стоятъ они въ великолѣпномъ магазинѣ.

Наденька, какъ существо живое и по преимуществу прожорливое, бѣгаетъ изъ одного угла въ другой, переходитъ отъ винограда къ великолѣпнымъ бонкретьенамъ, отъ превосходныхъ, подернутыхъ легкимъ пухомъ персиковъ къ не менѣе превосходному ананасу, всего отвѣдываетъ, всего откладываетъ въ свой ридикюль... Но все это въ порядкѣ вещей, все такъ и быть должно; одно только нѣсколько страннымъ кажется Ивану Самойлычу: сѣдой и строгій приказчикъ какъ будто подозрительно, какъ будто исподлобья смотритъ на всѣ эти заборы. Онъ мысленно негодуетъ на такую неумѣстную недовѣрчивость; уже рука его протянута, чтобъ разстегнуть великолѣпное пальто и показать негодяю-корыстолюбцу многоугольную испанскую звѣзду, какъ вдругъ... Но тутъ его руки опускаются, холодный потъ градомъ катитъ съ благороднаго чела; онъ блѣднѣетъ, осматривается, щупаетъ себя... Боже! нѣтъ никакого сомнѣнія, все это было самообольщеніе: и испанская звѣзда, и пальто съ удивительно теплымъ воротникомъ, и одутловатыя щеки, и гордый видъ... все, рѣшительно все исчезло, какъ по волшебному мановенію! Какъ и въ бывалое время, виситъ на немъ, какъ на подлой вѣшалкѣ, его старая и вытертая шинелька, болѣе похожая на капотъ, нежели на шинель; попрежнему желты и изрыты рябинами его щеки; попрежнему согнута его спина и униженъ и скареденъ его видъ.

Тщетно толкаетъ онъ исподтишка неосторожную Наденьку, тщетно мучитъ онъ мозгъ свой, стараясь выжать изъ него что-нибудь похожее на изобрѣтательность: Наденька, нисколько не конфузясь, услаждаетъ свое нёбо дарами юга, и, тоже не конфузясь, снитъ мозгъ Ивана Самойлыча, тупо и равнодушно смотря на неимовѣрныя старанія его выпутаться изъ бѣды и какъ будто посмѣиваясь надъ собственнымъ своимъ безсиліемъ...

— Десять рубликовъ и семь гривенокъ-съ!—звучитъ ему, между тѣмъ, въ самыя уши страшный голосъ приказчика.

— Серебромъ?—лепечетъ въ отвѣтъ, заикаясь и совершенно растерявшись, Иванъ Самойлычъ.

— Да, серебромъ... неужто мѣдными?—рѣшительно и вовсе непоощрительно отвѣчаетъ тотъ же самый досадный голосъ.

Мичулинъ конфузится еще пуще.

— Такъ-съ; серебромъ-съ... — говоритъ онъ, блѣднѣя и, между тѣмъ ощупывая карманы, какъ будто отыскивая бывшія въ нихъ, неизвѣстно куда завалившіяся деньги.— Отчего же-съ, я съ удовольствіемъ... я человѣкъ достаточный... Скажите, пожалуйста, а я и не замѣтилъ!.. Представьте себѣ, мой милый, я и не замѣтилъ, что у меня въ карманѣ дыра, и какая большая—скажите!..

Но приказчикъ только покачиваетъ головой.

— А вѣдь можете себѣ представить,—продолжаетъ Иванъ Самойлычъ тономъ соболѣзнованія:—и пальто совсѣмъ новенькое, только что съ иголочки! Ужасно какъ непрочно шьютъ эти портные! Да и не удивительно! Французы, я вамъ скажу, французы! Ну, а французъ, извѣстно, вѣтромъ подбитъ! ужъ это нація такая... Не то что нашъ братъ русскій: тотъ ужъ за что примется, такъ все на славу сдѣлаетъ—нѣтъ, далеко не то!.. Скажите, пожалуйста, и давно вы торгъ ведете?

— Торгъ-то мы ведемъ давно,—отвѣчаетъ угрюмый приказчикъ:—а деньги вы все-таки отдайте...

— Ахъ, Боже мой! право, какой скверный народъ эти французы! право, только что съ иголочки! О, премошенники эти портные!

— Видно, братъ, мошенникъ-то ты!—неумолимо и рѣзко отвѣчаетъ угрюмый приказчикъ:—знаемъ мы васъ! у васъ у всѣхъ карманы-то съ дырьями, какъ къ расплатѣ приходится! Иванъ Терентьичъ! а сходи-ко, братъ, за Ѳедосѣемъ Лукьянычемъ! Онъ, кажется, тутъ поблизости!

Услышавъ знакомое ему имя Ѳедосѣя Лукьяныча, Иванъ Самойлычъ совершенно упалъ духомъ. Со слезами на глазахъ и униженно кланяясь, показываетъ онъ сѣдому приказчику дырявые карманы своего пальто, тщетно доказывая, что не виноватъ же онъ, что за минуту передъ тѣмъ имѣлъ и бобровый воротникъ, и испанскую звѣзду, и одутловатыя щеки, и что все это, по ухищреніямъ одной злобной волшебницы, которая давно ужъ денно и нощно его преслѣдуетъ, вдругъ пропало, и остался онъ дрянь-дрянью, что называется, голъ какъ соколъ, пушистъ какъ лягушка.

— Мамону-то послужить умѣешь!—говоритъ ему безстрастный голосъ сѣдого приказчика:—тельцу-то поклоняешься, чреву угождаешь! А что въ священномъ Писаніи сказано, забылъ? Грѣхъ, братъ, тебѣ стыдно, любезный!

— Послужилъ, почтеннѣйшій, попуталъ лукавый, точно,

попуталъ!—отвѣчаетъ жалобнымъ голосомъ Иванъ Самойлычъ.—Да вѣдь это въ первый разъ; вѣдь другіе ѣдятъ же...

— Да другіе-то почище! Мало ли что дѣлаютъ другіе! У другихъ въ карманахъ-то не дырья!

И сѣдой приказчикъ строго покачиваетъ головой, приговаривая:

— Ишь, съ чѣмъ подъѣхалъ, анаѳемскій сынъ! ишь ты: и испанская звѣзда у него была! Знаемъ, братъ, васъ, знаемъ, чревоугодники, идолопоклонники!

А между тѣмъ Мичулинъ робко посматриваетъ на Наденьку. Дерзко и съ презрѣніемъ глядитъ она на него, какъ будто хочетъ окончательно доканать и уничтожить несчастнаго.

— Такъ вы вотъ какъ, Иванъ Самойлычъ! — говоритъ она ему, быстро размахивая руками. — Такъ вы изволите на хитростяхъ! вы хотѣли воспользоваться моею къ вамъ откровенностью! Ужъ сдѣлайте одолженіе, я все понимаю! Можетъ-быть, я и не образованная, и не читала книгъ... Ужъ, пожалуйста, не отпирайтесь: я все вижу, все понимаю, очень хорошо понимаю... всѣ ваши коварства... Сдѣлайте одолженіе!

— Да что же я въ самомъ дѣлѣ такое? — бормочетъ, между тѣмъ, Иванъ Самойлычъ, очень кстати вспомнивъ, что затрудненіе именно въ томъ и состоитъ, что онъ до сихъ поръ не можетъ себѣ опредѣлить, что онъ такое:— да чѣмъ же я хуже другихъ!

— Извѣстно чѣмъ!—лаконически отвѣчаетъ сѣдой приказчикъ:—извѣстно чѣмъ! У другихъ-то въ карманахъ-то нѣтъ дырьевъ.

— Другіе ѣдятъ, другіе пьютъ... да я-то что-жъ?

— Извѣстно что!—звучитъ тотъ же самый жесткій голосъ:—можете смотрѣть, какъ другіе кушаютъ!—но такъ иронически звучитъ, какъ будто бы хочетъ сказать недоумѣвающему Мичулину: фу, какой же ты, право, глупый, не можешь никакъ понять самой пустой и обыкновенной вещи!

Иванъ Самойлычъ ужъ-было и смекнулъ, въ чѣмъ дѣло, и началъ-было углубляться въ подробное разсмотрѣніе отвѣта приказчика, какъ вдругъ слухъ его поражаетъ другой, еще страшнѣйшій голосъ—голосъ Ѳедосѣя Лукьяныча.

Важно и не мигнувши, слушаетъ Ѳедосѣй Лукьянычъ жалобу стараго приказчика о томъ, что вотъ, дескать, такіе-то мошенники и пріѣдалы перерыли всю лавку, наѣли на десять рубликовъ и семь гривенокъ, и теперь показываютъ только карманы съ дырьями...

— Гм!—мычитъ Ѳедосѣй Лукьянычъ, оттопыривъ губы и обращаясь всѣмъ корпусомъ къ Мичулину:—ты?

— Да я, тово,—бормочетъ Иванъ Самойлычъ: я шелъ и усталъ... освѣжиться захотѣлось... Вотъ я и зашелъ!

— Гм! ты не оправдывайся, а отвѣчай! основательно возражаетъ Ѳедосѣй Лукьянычъ, окидывая взоромъ всѣхъ присутствующихъ, вѣроятно, для того, чтобъ удостовѣриться, какой эффектъ производитъ на нихъ его соломоновъ судъ.

— За дѣло ему, за дѣло! кричитъ съ своей стороны Наденька: осрамить меня хотѣлъ!.. Ужъ, пожалуйста, подальше съ своими резонами! Я очень хорошо все знаю и вижу!

— Фамилія?—отрывисто вопрошаетъ суровый голосъ Ѳедосѣя Лукьяныча, снова обращаясь къ нашему герою.

— Мичулинъ, отвѣчаетъ Иванъ Самойлычъ, но такъ робко, какъ будто бы и самъ не увѣренъ, точно ли это такъ, и не есть ли это такое же созданіе блуднаго его воображенія, какъ и теплое пальто, испанская звѣзда, одутловатыя щеки и проч.

— Имя?—снова вопрошаетъ Ѳедосѣй Лукьянычъ, весьма, впрочемъ, довольный, что произвелъ робость и страхъ на истязуемомъ субъектѣ.

— Иванъ Самойловъ,—еще тише и робче отвѣчаетъ герой нашъ.

— Эй, любезный, взять его!

Послѣднія слова, очевидно, относились къ одному рослому мужчинѣ, какъ-то случайно тутъ же прогуливавшемуся.

И вотъ уже берутъ Ивана Самойлыча подъ руки, вотъ открываются передъ нимъ двери ада...

— Пощадите! батюшки, пощадите!—кричитъ онъ, задыхаясь отъ трепета.

— Да что это, съ ума, что ли, вы сошли Иванъ Самойлычъ?—раздается вдругъ у самаго его уха знакомый голосъ.—Совсѣмъ спать не даете добрымъ людямъ! Вѣдь я очень хорошо понимаю, къ чему все это клонится, да ужъ не бывать этому! Сказано, такъ ужъ сказано, и напрасно вы безпокоитесь и изъ себя выходите!

Иванъ Самойлычъ открылъ глаза: передъ нимъ, въ заманчивомъ неглиже, стояла миловидная Наденька, та самая Наденька, которая и проч.

IV.

— А, это ты, Наденька! — бормочетъ сквозь сонъ Иванъ Самойлычъ: — что-жъ это ты не спишь, душень-

ка? А можешь себѣ представить, мнѣ привидѣлось, будто Ѳе-до...

Наденька покачала головкой и ушла.

А между тѣмъ Лета, эта услужливая рѣка, снова заливаетъ волнами своими воображеніе господина Мичулина, снова начинаетъ она шумѣть въ ушахъ его, снова бѣснуется и выходитъ изъ береговъ своихъ.

И вдругъ онъ опять очутился на улицѣ; но на немъ уже не прежнее щегольватое пальто, а обыкновенная истертая его шинелька; не благовидна и не горда его осанка, какъ будто скоробился, сморщился онъ весь, какъ будто всѣ члены ему свело отъ холода и голода...

Не заглядываетъ онъ въ окна кондитерскихъ, булочныхъ и фруктовыхъ лавокъ. Сколько соблазновъ лежитъ передъ нимъ въ красиво и симметрически расположенныхъ кучкахъ и заперто подъ замкомъ! И все это заперто, все подъ ключомъ! На все это *можете глядѣть!* какъ выразился недавно съ убійственнымъ хладнокровіемъ строгій приказчикъ...

А дома ждетъ его зрѣлище, полное жгучаго, непереносимаго отчаянія. Въ холодной комнатѣ, въ изорванномъ платьѣ, на изломанномъ стулѣ, сидитъ его жена; около нея, блѣдный, истомленный, стоитъ его сынъ... И все это проситъ хлѣба, но такъ тоскливо, такъ назойливо проситъ...

— Папа, я ѣсть хочу,—стонетъ ребенокъ:—дай хлѣба!..

— Потерпи, дружокъ, — говоритъ мать: — потерпи до завтра, — завтра будетъ! Нынче на рынкѣ все голодные волки поѣли! много волковъ, много волковъ, душенька!

Но какъ говоритъ она это! Твой ли это голосъ, милая маленькая Надя? тотъ ли это мелодическій, сладкій голосокъ, распѣвавшій себѣ беззаботно нехитрую пѣсенку, звавшій князя въ золотые чертоги? Гдѣ твой князь, Надя? Гдѣ твои золотые чертоги? Отчего твой голосокъ сдѣлался жестокъ, отчего въ немъ пробивается какая-то ѣдкая, несвойственная ему желчь? Надя! что сдѣлалось, что сталось съ тобой, граціозное созданіе? гдѣ веселый румянецъ твой? гдѣ беззаботный твой смѣхъ? гдѣ хлопотливость твоя? гдѣ твоя наивная подозрительность? гдѣ ты, прежняя, ненаглядная, миленькая Наденька?

Отчего глаза твои впали? отчего грудь твоя высохла? отчего въ голосѣ твоемъ дрожитъ тайная злоба? отчего сынъ твой не вѣритъ твоимъ словамъ... отчего это?

— Да вѣдь и вчера говорили мнѣ,—отвѣчаетъ ребе-

нокъ:—что все голодные волки поѣли; да вонъ другія же дѣти сыты, другія дѣти играютъ... я ѣсть хочу, мама!

— Это дѣти голодныхъ волковъ играютъ, это они сыты!— отвѣчаешь ты, поникнувъ головою и не зная, какъ увернуться отъ вопросовъ ребенка.

Но напрасно стараешься ты, напрасно хочешь успокоить его: онъ не вѣритъ тебѣ, потому что ему хлѣба, а не словъ надобно.

— Ахъ, отчего же я не сынъ голоднаго волка! — стонетъ дитя:—мама, пусти меня къ волкамъ... я ѣсть хочу!

И ты молчишь, подавленная и уничтоженная! Ты вдвойнѣ несчастна Надя! Ты сама голодна и подлѣ тебя стонетъ еще другое существо, стонетъ сынъ твой, плоть отъ плоти твоей, кость отъ костей твоихъ, который тоже проситъ хлѣба.

Бѣдная Наденька! что же не идетъ онъ, что не спѣшитъ онъ на помощь къ тебѣ, этотъ давно желанный, дорогой князь твоего воображенія? что не зоветъ онъ тебя въ золотой чертогъ свой?

Съ томленіемъ и непереносною тоскою смотритъ Иванъ Самойлычъ на эту сцену, и тоже увѣряетъ маленькаго Сашу, что завтра все будетъ, что сегодня все голодные волки поѣли. Что ему дѣлать? какъ помочь?...

И ты тоже знаешь, бѣдная Наденька, что нѣчѣмъ ему помочь; ты понимаешь, что онъ ни на волосъ не виноватъ во всемъ этомъ; но ты голодна, подлѣ тебя стонетъ любимое дитя твое, и ты упрекаешь мужа, ты дѣлаешься несправедливою...

— Зачѣмъ же вы женились?—говоришь ты ему жестокимъ и оскорбительнымъ голосомъ:—зачѣмъ же вы связали себя другими, когда и себѣ не въ состояніи добыть кусокъ хлѣба? Безъ васъ я была счастлива, безъ васъ я была беззаботна... я была сыта... Стыдно!

Въ свою очередь подавленный и уничтоженный, стоитъ Иванъ Самойлычъ. Онъ чувствуетъ, что въ словахъ Нади страшная правда, что онъ *долженъ былъ* подумать, и много подумать о томъ, прилично ли бѣдному человѣку любовь водить, достаточно ли будетъ на троихъ его скуднаго куска... И неутомимо, неутомимо преслѣдуетъ его это страшное «стыдно!»

А между тѣмъ въ комнатѣ всѣ холоднѣе и холоднѣе; на дворѣ дѣлается темно; ребенокъ все такъ же стонетъ, все такъ же жалобно проситъ хлѣба! Боже! да чѣмъ же все

это кончится? куда же поведетъ это? Хоть бы носкорѣе пришелъ завтрашній день! А завтра что?..

Но ребенокъ ужъ не стонетъ; онъ тихо склонился головкой къ груди матери, но все еще дышитъ!..

— Тише!—едва слышно говоритъ Наденька:—тише! Саша уснулъ...

Но что же за мысль гнѣздится въ головкѣ твоей, Наденька? Зачѣмъ же ты улыбаешься, зачѣмъ въ этой улыбкѣ вдругъ сверкнуло отчаяніе и злобная покорность судьбѣ? Зачѣмъ ты бережно сажаешь ребенка на стулъ и, не говоря ни слова, отворяешь дверь бѣдной комнаты?

— Наденька, Наденька, куда ты идешь! Что хочешь ты дѣлать?

Ты сходишь нѣсколько ступеней и останавливаешься... ты колеблешься, милое дитя! Въ тебѣ вдругъ забилось это маленькое, доброе сердце, забилось быстро и неровно... Но время летитъ... тамъ, въ холодной комнатѣ, въ отчаяніи ломаетъ руки голодный мужъ твой, тамъ умираетъ твой сынъ! И ты не колеблешься, въ отчаяніи ты махнула рукой; ты не сходишь—бѣжишь внизъ по лѣстницѣ... ты въ бэль-этажѣ... ты дернула за звонокъ... Страшно, страшно за тебя, Надя!

А онъ ужъ ждетъ тебя, дряхлый, безсильный волокита; онъ знаетъ, что ты придешь, что ты *должна* придти, и самодовольно потираетъ себѣ руки, и самодовольно улыбается, поглядывая на часы... О, онъ въ подробности изучилъ натуру человѣка и смѣло можетъ разсчитывать на голодъ!

— Я рѣшилась!—говоришь ты ему, и голосъ твой спокоенъ...

Да, спокоенъ, не дрогнулъ твой голосъ, а все-таки спокойствіе-то его какъ будто мертвое, могильное...

И старикъ улыбается, глядя на тебя; онъ ласково треплетъ тебя по щекѣ и дрожащею рукой привлекаетъ къ дряхлой груди своей юный станъ твой...

— Да какъ же ты блѣдна, душенька! — говоритъ онъ ласково: — видно, тебѣ очень кушать хочется...

Э! да онъ просто шутникъ! онъ превеселый малый, этотъ маленькій старичокъ, охотникъ до миленькихъ, молоденькихъ женщинъ!

— Да, я хочу ѣсть!—отвѣчаешь ты.—Мнѣ нужно денегъ.

И ты протягиваешь руку... Стало-быть, ты еще хороша, несмотря на твое страданіе; стало-быть, есть еще въ тебѣ,

несмотря на гнетущую нищету твою, нѣчто зовущее, возбуждающее застывшія силы шутливаго старика, потому что онъ, не считая, кладетъ тебѣ въ руку деньги; онъ не торгуется, хотя и знаетъ, что можетъ купить тебя за самую ничтожную плату...

— Ѣшьте! говоришь ты мужу и сыну, бросая на столъ купленный ужинъ, а сама садишься въ уголъ.

— Это жадные волки дали, мама?—спрашиваетъ тебя ребенокъ, съ жадностью поглощая ужинъ.

— Да, это волкъ прислалъ,—отвѣчаешь ты разсѣянно и задумчиво.

— Мама! когда же убьютъ голодныхъ волковъ?—снова спрашиваетъ ребенокъ.

— Скоро, дружокъ, скоро...

— Всѣхъ убьютъ, мама, ни одного не останется?

— Всѣхъ, душенька, всѣхъ до одного, ни одного не останется...

— И мы будемъ сыты? у насъ будетъ ужинъ?

— Да, скоро мы будемъ сыты, скоро намъ будетъ весело... очень весело, другъ мой!

А между тѣмъ Иванъ Самойлычъ молчитъ, потупивъ голову, съ тайнымъ, но неотступно гложущимъ угрызеніемъ въ сердцѣ, ѣстъ онъ свою долю ужина, и не осмѣливается взглянуть на тебя, боясь увидѣть во взорѣ твоемъ безвозвратное осужденіе свое.

Но онъ ѣстъ, потому что и его мучитъ голодъ, потому что и онъ человѣкъ.

Но онъ думаетъ, горько думаетъ, бѣдный мужъ твой! Страшная мысль жжетъ его мозгъ, неотступное горе сосетъ его грудь! Онъ думаетъ: «сегодня мы сыты, сегодня у насъ есть кусокъ хлѣба, а завтра? а потомъ?..» вотъ о чемъ думаетъ онъ! Вѣдь и завтра ты будешь *должна*... а тамъ опять...

Вотъ эта страшная, гложущая мысль! Наденька, Наденька! правда ли, что ты будешь *должна*?..

Ивану Самойлычу дѣлается душно; глухое рыданіе заливаетъ грудь его; голова его горитъ, глаза открыты и неподвижно устремлены на Наденьку...

— Наденька! Наденька!—стонетъ онъ, собравъ послѣднія силы.

— Да что-жъ это, въ самомъ дѣлѣ, за срамъ такой!—слышится ему знакомый голосъ.—Здѣсь я, здѣсь, сударь! что вамъ угодно? что вы кричите? Цѣлую ночь глазъ со-

мпуть не давали! Вы думаете, что я не понимаю, вы думаете, что я не вижу... Крѣпостная я ваша, что ли, что вы на меня такъ грозно смотрите?

Иванъ Самойлычъ открылъ глаза; въ комнатѣ было свѣтло; у кровати его стояла Наденька въ совершеннѣйшемъ утреннемъ дезабилье.

— Такъ это... былъ сонъ!—сказалъ онъ, едва очнувшись.—Такъ ты, того... не ходила къ старику, Наденька?

Дѣвица Ручкина взглянула на него въ недоумѣніи. Но вскорѣ все сдѣлалось для нее яснымъ, какъ на ладони; ее вдругъ осѣнила свѣтлая мысль, что все это не сиротка и что старикъ-то именно не кто иной, какъ самъ Иванъ Самойлычъ, но ужъ если она разъ сказала: не бывать!—такъ уже и не бывать тому, какъ ни хитри и не изворачивайся волокита.

— Нѣтъ, чортъ возьми! должно же это кончиться!—сказалъ про себя Иванъ Самойлычъ, когда Наденька вышла изъ комнаты:—вѣдь этакъ просто ни за грошъ пропадешь!

Господинъ Мичулинъ взглянулъ въ зеркало и нашелъ въ себѣ большую перемѣну. Щеки его опали и пожелтѣли пуще прежняго, лицо осунулось, глаза сдѣлались мутны; весь онъ сгорбился и изогнулся, какъ олицетворенный вопросительный знакъ.

А между тѣмъ нужно идти, нужно просить, потому что, дѣйствительно, пожалуй, ни за грошъ пропадешь...

Да полно, идти ли, просить ли?

Сколько времени ходилъ ты, сколько разъ просилъ и кланялся—выслушалъ ли кто тебя? Ой, ѣхать бы тебѣ въ деревню къ отцу въ колпакѣ, къ матери съ обвязанной щекой!..

Но, съ другой стороны, тутъ же рядомъ возникаетъ вопросъ, требующій безотлагательнаго объясненія.

«Что же ты такое?—говоритъ этотъ навязчивый вопросъ:—неужели для того только и созданъ ты, чтобъ видѣть передъ собой глупый колпакъ, глупую щеку, солить грибы и пробовать домашнія наливки?»

И среди всего этого хаоса противорѣчащихъ мыслей внезапно возстаетъ въ воображеніи Ивана Самойлыча образъ злосчастнаго Емели... Этотъ образъ такъ ясно и отчетливо рисуется передъ глазами его, какъ будто дѣйствительно стоитъ передъ нимъ согнутый и трясущійся старикъ, и можетъ онъ его ощупать и осязать руками. Все туловище

Емели какъ будто разлѣзается въ разныя стороны, всѣ члены будто развинчены и вывихнуты; въ глазахъ слезы гноятся и голова трясется...

Жалобно протягиваетъ онъ изнеможенную руку, дрожащимъ голосомъ выманиваетъ хоть десять копеечекъ и потомъ указываетъ на штофъ съ водкой и приговариваетъ: «познаніе есть зла и добра!»

Иванъ Самойлычъ стоитъ какъ въ чаду; онъ хочетъ освободиться отъ страшнаго кошмара и не можетъ...

Фигура Емели преслѣдуетъ его, давитъ ему грудь, стѣсняетъ ему дыханіе... Наконецъ, онъ дѣлаетъ надъ собою сверхъестественное усиліе, хватаетъ шляпу и опрометью бѣжитъ изъ комнаты.

Но на порогѣ его останавливаетъ Бесобахтеръ.

— Вы поняли, что я говорилъ вамъ вчера? — спрашиваетъ онъ съ таинственнымъ видомъ.

— То-есть... догадываюсь,—отвѣчаетъ Иванъ Самойлычъ, совершенно смущенный.

— Разумѣется, это были только нѣкоторые намеки,— снова начинаетъ кандидатъ философіи: — вѣдь это дѣло сложное, очень сложное, всего и не перескажешь!

Минутное молчаніе.

— Вотъ, возьмите это,—прерываетъ Бесобахтеръ, подавая Мичулину крохотную книжонку, изъ тѣхъ, которыя въ Парижѣ, какъ грибы въ дождливое лѣто, нарождаются тысячами и продаются чуть ли не по одному сантиму.

Иванъ Самойлычъ въ недоумѣніи беретъ книжку, рѣшительно не зная, что съ нею дѣлать.

— Прочтите, — говоритъ Бесобахтеръ торжественно, но все-таки чрезвычайно мягко и вкрадчиво:—прочтите и увидите... тутъ все!.. Понимаете?

Съ этими словами онъ удаляется, оставивъ господина Мичулина въ совершенномъ изумленіи.

V.

Погода на дворѣ стояла сырая и мутная; какъ и наканунѣ, сыпалось съ облаковъ какое-то неизвѣстное вещество; какъ и тогда, мѣсили по улицамъ грязь ноги усталыхъ пѣшеходовъ; какъ и тогда, ѣхалъ въ каретѣ закутанный въ шубу господинъ съ одутловатыми щеками, и ѣхалъ въ калошахъ другой господинъ, которому насвистывалъ въ-догонку вѣтеръ: «озябъ, озябъ, озя-я-лбъ, бѣдненькій человѣкъ!» Словомъ, все попрежнему, съ тѣмъ не-

значительнымъ прибавленіемъ, что всю эту неблаговидную картину обливалъ какой-то блѣдный, мутный свѣтъ.

Навстрѣчу Ивану Самойлычу ѣхала очень удобная и покойная карета, придуманная въ пользу бѣдныхъ людей, въ которой, какъ извѣстно, за гривенникъ можно полъ-Петербурга объѣхать.

Иванъ Самойлычъ сѣлъ. Въ другое время, «при семъ удобномъ случаѣ», онъ подумалъ бы, можетъ-быть, о промышленномъ направленіи вѣка, и выразилея бы одобрительно насчетъ этого обстоятельства, но въ настоящую минуту голова его была полна самыхъ странныхъ и черныхъ мыслей.

Поэтому кондукторъ не получилъ отъ него ни улыбки, ни поощренія—ничего, чѣмъ такъ щедро любятъ надѣлять иные охотники до чужихъ дѣлъ.

А между тѣмъ въ карету набираются другіе господа; сперва вошла какая-то скромная дѣвушка, потупивъ глазки; вслѣдъ за нею впрыгнулъ бѣлокурый студентъ весьма пріятной наружности и сѣлъ прямо противъ нея.

— Здравія желаемъ-съ! — сказалъ бѣлокурый студентъ, обратясь къ дѣвушкѣ.

Но дѣвушка не отвѣчаетъ, а, посмотрѣвъ исподлобья на юношу, подноситъ ко рту платокъ и отворачиваетъ къ окну свое личико, изрѣдка испуская изъ-подъ платка скромное «ги-ги-ги!»

— Наше почтеніе-съ!—началъ снова студентъ, обращаясь къ веселой дѣвушкѣ.

Но отвѣта и на этотъ разъ не послѣдовало; только скромное «ги-ги-ги!» выразилось какъ-то рѣзче и смѣлѣе.

— А что вы скажете насчетъ этого нововведенія? — ласково спросилъ Ивана Самойлыча очень опрятно одѣтый господинъ съ портфелемъ подъ мышкою.

Господинъ Мичулинъ махнулъ головой въ знакъ согласія.

— Не правда ли, какъ дешево и экономически?—снова и еще ласковѣе обратился портфель, въ особенности нѣжно, хотя и безъ энергіи, напирая на слово: «экономически».

— Да-съ, выгодная спекуляція, — отвѣчалъ Иванъ Самойлычъ, усиливаясь, въ свою очередь, поощрительно улыбнуться.

— О, очень выгодно, очень экономически!—отозвался въ другомъ углу господинъ съ надвинутыми бровями и мыслящей физіономіей.—Ваше замѣчаніе совершенно справедливо, ваше замѣчаніе выхвачено изъ натуры!

— Впрочемъ, это смотря по тому, съ какой точки зрѣнія смотрѣть на предметъ,— глубокомысленно замѣтилъ господинъ съ огромными черными усами, и тутъ же физіономія его приняла такой таинственный видъ, какъ будто спѣшила сказать всякому: знаемъ мы, видали мы!..

— Батюшки, пустите! Да отворяй же, лакей! Батюшки! Вспотѣлъ, измучился!.. Ну, ужъ городъ! Экъ его угораздило!

Разговоръ, принимавшій нѣсколько назидательное направленіе, вдругъ прервался, и взоры всѣхъ пассажировъ обратились на толстаго господина, въ какой-то странной, лиловаго цвѣта, венгеркѣ, который, пыхтя и кряхтя, влѣзъ бокомъ въ карету.

— Ну, ужъ городъ!—говорила венгерка:—истинно вамъ скажу, Божеское наказаніе! Я, изволите видѣть, здѣсь по своему дѣлу—такъ повѣрите ли, просто, то-есть, измучили проклятые! Душу тянутъ, вздохнуть не даютъ! И все этакъ въ бѣлыхъ перчаткахъ: на красную, подлецъ, и смотрѣть не хочетъ—за кого, дескать, вы насъ принимаете, да правосудіе у насъ не продажное! А вотъ какъ сто рублевъ... Эка бестія, эка бестія! Повѣрите ли, даже вспотѣлъ весь!

И венгерка снова начала кряхтѣть и пыхтѣть, со всѣхъ сторонъ обмахиваясь платкомъ, что возбуждало немалую веселость въ скромной дѣвушкѣ, и чуть слышныя «ги-ги-ги!» снова начали вылетать изъ-подъ платка, закрывавшаго ротъ ея.

— То-есть, что же вы разумѣете подъ точкой зрѣнія?— прервалъ портфель, котораго, видимо, конфузилъ санфасонъ лиловой венгерки.—Если вы хотите сказать то, что французы такъ удачно называютъ: поэнь де вю, кудѣль...

— Знаемъ мы! Пожили мы! И французовъ видали, да и нѣмцевъ тоже! — отвѣчали усы, и потомъ, наклонясь съ таинственнымъ видомъ и оглядываясь во всѣ стороны, прошептали въ полголоса:

— Что-то скажутъ объ этомъ извозчики... Вотъ что!

Присутствующіе вздрогнули; дѣйствительно, никому изъ нихъ до тѣхъ поръ и въ голову не приходило, что-то скажутъ о томъ извозчики, а теперь около нихъ, и сзади, и спереди, и по бокамъ, вдругъ заговорили тысячи извозчичьихъ голосовъ, кивали тысячи извозчичьихъ головъ, весь міръ покрылся сплошною массою воображаемыхъ извозчиковъ, тамъ и сямъ прерываемою... опустѣлыми извозчичьими колодами.

— Да; если имѣть такого рода консидерацію,—прошепталъ портфель.

— Да ужъ что тутъ! — говорили, между тѣмъ, усы еще таинственнѣе и ударял себя при этомъ кулаками въ грудь:— ужъ я знаю, ужъ вы *меня* спросите! Мнѣ это дѣло, какъ своя ладонь, извѣстно!

И усы, дѣйствительно, показали немелкаго разбора голую ладонь и, еще болѣе наклонившись и предварительно оглянувшись на всѣ стороны, въ полголоса приговаривали:

— Ужъ мнѣ это дѣло ближе извѣстно... я служу *тамъ*...

— Такъ вы тоже *бюрократъ*?—спросилъ портфель, оправившись отъ перваго ошеломленія и какъ въ каменную стѣну упираясь въ слово: «бюрократъ».

— Да вѣдь это опять-таки съ какой точки зрѣнія посмотрѣть на предметъ!—лаконически отвѣчали усы.

— А я вамъ скажу, господа, что все это вздоръ! Совершенный вздоръ!—загремѣла венгерка.

По сосѣдству чуть слышно раздалось знакомое «ги-ги-ги!» веселой дѣвушки.

— Истинно такъ! — продолжала гремѣть венгерка: — истинно такъ! Что это за народъ, хоть бы извозчики?— дрянь, осмѣлюсь вамъ доложить, просто слякоть!.. Вотъ кабы вы у насъ, въ нашей сторонѣ, побывали — вотъ народъ! Тотъ такъ ужъ дѣйствительно, усахаритъ! Вотъ природа, такъ природа! Это ужъ, истинно вамъ говорю, смотрѣть въ свое удовольствіе можно! А то что это за народъ у васъ, взглянуть не на что! Просто—дрянь, слякоть!

И венгерка тоскливо покачивала головою.

— Да; это если смотрѣть на предметъ съ одной точки,— сказалъ, между тѣмъ, портфель, улыбаясь и не обращая вниманія на пессимистское возраженіе венгерки:—но если взглянуть на дѣло, напримѣръ, со стороны эмансипаціи животныхъ...

Усы жалобно замычали.

— Да вѣдь это все пуфъ:—сказали они:—это все французы привезли! Извозчики—вотъ главное дѣло! Извозчики— вотъ корень причины! Извозчики, извозчики, извозчики!

И снова въ глазахъ всѣхъ присутствующихъ замелькали извозчики, извозчики, извозчики!

— Вотъ оно дѣло-то!—продолжали усы:—вотъ онъ сытъ, наѣлся—его и коломъ съ печи не своротишь! А вотъ какъ хлѣба-то нѣтъ — онъ и пошелъ, и пошелъ... а ужъ какъ пошелъ, такъ, извѣстно, что будетъ!.. Знаемъ мы! Видали мы!

— О, ваше замѣчаніе совсѣмъ справедливо! Ваше замѣчаніе выхвачено изъ природы! — отозвались брови. — Го-

ледъ, голодъ и голодъ—вотъ моя система! Вотъ мой образъ мыслей!

— Такъ вотъ съ какой точки зрѣнія должно смотрѣть на предметъ,—таинственно повторили усы:—а ужъ что тутъ животное! Животное, извѣстно, скотина!

— Однакожъ, читали ли вы въ «Петербургскихъ Вѣдомостяхъ» артикль?—возразилъ портфель, съ необыкновеннымъ усиліемъ напирая на слово: «артикль».

— Знаемъ мы! Читали мы! Вздоръ все это, надувательство! Гога и магога!

— Однакожъ съ большимъ увлеченіемъ написанъ...

— Увлеченіе?—загремѣла венгерка.—Ужъ позвольте, насчетъ увлеченія...

— Гм-гм-гм!—отозвалось по сосѣдству.

— Такъ вотъ, позволите видѣть, я все насчетъ увлеченія-то!—продолжала венгерка.—Да вотъ барышенькѣ все что-то смѣшно... веселая барышенька!.. Такъ вотъ насчетъ того-то... У меня, смѣю вамъ доложить, покойникъ-батюшка, царство ему небесное, предводителемъ былъ, такъ вотъ это увлеченіе! Какъ замахаетъ, бывало, руками... у! Отстаивалъ, нечего сказать! Умѣлъ-таки постоять за своихъ, покойникъ! Нѣтъ, нынче такіе люди повывелись! Съ фонаремъ такихъ не отыщешь! Нынче все разбираютъ: можетъ, дескать, и правъ!.. О-о-хъ, времена тугія пришли!.. А барышенька-то все смѣется!.. Веселая барышенька!

— Когда же можно васъ видѣть?—говорилъ, между тѣмъ, исподтишка студентъ.

— Ахъ, какіе вы, право, странные!—отвѣчала веселая барышенька, еще пуще закрывалась платкомъ.

— Вы находите?—снова началъ студентъ.

— Разумѣется! Гм-гм-гм!

— Отчего же разумѣется?

— Да какъ же это можно?

— Да отчего же это не можно?

— Да нельзя!

— Странно!—сказалъ студентъ, хотя, повидимому, не отчаивался еще въ успѣхѣ своего предпріятія.

— Главное дѣло въ томъ,—соображали вслухъ усы:—чтобъ человѣку цѣль была дана, чтобъ видѣлъ человѣкъ, зачѣмъ онъ существуетъ... Вотъ главное—а прочее все пустяки!

Иванъ Самойлычъ началъ прислушиваться.

— То-есть, вы разумѣете подъ этихъ-то, что у французовъ

зовется проблемою жизни?—спросилъ портфель, сильно напирая на слово: «проблемою».

— Чтò французы! чтò нѣмцы! — лаконически отвѣчали усы.—Ужъ повѣрьте моей опытности, ужъ мнѣ лучше знать это дѣло, ужъ я *тамъ* и служу... все это надуванція, все гòга и магòга! Это дѣло мнѣ вотъ какъ извѣстно!

И снова усы показали обнаженную ладонь чрезвычайно почтеннаго размѣра.

— Однакожъ, согласитесь со мной, вѣдь и французская нація имѣетъ свои неотъемлемыя достоинства... Конечно, это народъ вѣтреный, народъ малодушный — кто же противъ этого споритъ?.. Но, съ другой стороны, гдѣ же найдете столько самоотверженія, того, чтò они сами такъ удачно назвали—разиньясьйонъ? А вѣдь это, я вамъ скажу...

— Знаемъ мы! Видали мы и французовъ, и нѣмцевъ! Пожили-таки на своемъ вѣку! — говорили безчувственные усы.—Все это вздоръ! Главное дѣло — чтобъ человѣкъ видѣлъ, что онъ человѣкъ, зналъ бы цѣль!.. Цѣль-то, цѣль— вотъ она штука, а прочее—чтò? Вздоръ! Все вздоръ!.. Ужъ повѣрьте моей опытности...

— Вотъ вы изволили выразиться насчетъ цѣли нашего существованія, — скромно прервалъ Иванъ Самойлычъ. — Изволите видѣть, я самъ много занимался насчетъ этого предмета, и любопытно бы узнать ваши мысли...

Усы задумались; Мичулинъ ожидалъ съ трепетомъ и волненіемъ разрѣшенія загадки.

— Лакей! Что-жъ ты, братецъ, не остановишь? Ворòнъ считаешь, тунеядецъ! —загремѣла венгерка.

— Такъ и я выйду,—меланхолически сказали усы.

— А какъ же ваши мысли насчетъ этого обстоятельства?—робко замѣтилъ Иванъ Самойлычъ.

— Все зависитъ отъ того, съ какой точки взглянуть на предметъ!—разомъ сообразили усы.

— О, это совершенно справедливо! Ваше замѣчаніе выхвачено изъ натуры!—отозвались надвинутыя брови.—Все, рѣшительно все, зависитъ отъ точки зрѣнія...

Усы и брови вышли изъ кареты. Медленно и неповоротливо поплелся снова экономическій экипажъ по гладкой мостовой.

— Когда же васъ можно видѣть?—попрежнему спрашивалъ студентъ у веселой барышеньки.

— Ахъ, какіе вы странные! — попрежнему отозвалась барышенька, закрывая ротъ платкомъ.

— Отчего же странный?—приставалъ студентъ.

— Да какъ же это возможно?

— Да отчего же это невозможно?

— Да оттого, что нельзя!

— А я такъ думаю совсѣмъ напротивъ,—отвѣчалъ студентъ и дернулъ за шнурокъ.

— Пойдемте!—снова сказалъ юноша.

— Ги-ги-ги!

Карета остановилась; студентъ вышелъ; барышенька немножко подумала, и все-таки пошла за нимъ, сказавъ, однакожъ: «Ахъ, право, какіе вы странные! Ужъ чего не вздумаютъ эти мужчины!» — но сказала она это рѣшительно только для очищенія совѣсти, потому что студентъ ужъ вышелъ и ждалъ ее на улицѣ.

Наконецъ, и Ивану Самойлычу пришлось выходить. На улицѣ, по обыкновенію, сновала взадъ и впередъ толпа, какъ будто искала чего-то, хлопотала о чемъ-то, но вмѣстѣ съ тѣмъ такъ равнодушно сновала, какъ будто сама не сознавала хорошенько, чего ищетъ и изъ чего бьется.

И герой нашъ отправлялся искать и хлопотать, какъ и всѣ прочіе.

Но и на этотъ разъ фортуна, съ обыкновенною своею настойчивостью, продолжала показывать ему нисколько не благовидный задъ свой.

Какъ нарочно, нужный человѣкъ, къ которому ужъ въ несчетный разъ пришелъ Иванъ Самойлычъ просить себѣ мѣста, провелъ цѣлое утро на воздухѣ, по случаю какого-то торжества. Нужный человѣкъ былъ не въ духѣ, безпрестанно дралъ и маралъ находившіяся предъ нимъ бумаги, скрежеталъ зубами и въ сотый разъ обѣщалъ согнуть въ бараній рогъ и упечь «куда еще ты и не думалъ» стоявшаго предъ нимъ въ стрункѣ маленькаго человѣка съ весьма лихо вздернутымъ сѣденькимъ хохолкомъ на головѣ. Лицо нужнаго человѣка было сине отъ свѣжаго еще ощущенія холода и застарѣлой досады, плечи вздернуты, голосъ хриплъ.

Иванъ Самойлычъ робко вошелъ въ кабинетъ и совершенно растерялся.

— Ну, что еще? — спросилъ нужный человѣкъ отрывистымъ и промерзлымъ голосомъ.—Вѣдь вамъ сказано?

Иванъ Самойлычъ робко приблизился къ столу, убѣдительнымъ и мягкимъ голосомъ сталъ разсказывать стѣсненныя свои обстоятельства; просилъ хоть что-нибудь, хоть какое-нибудь, хоть крошечное мѣстечко.

— Я бы не осмѣлился,—говорилъ онъ, заикаясь и робѣя все болѣе и болѣе:—да вѣдь посудите сами, послѣднее издержалъ, ѣсть нечего, войдите въ мое положеніе!

— Ѣсть нечего!—возразилъ нужный человѣкъ, возвышая голосъ: — да развѣ виноватъ я, что вамъ ѣсть нечего? Да что вы ко мнѣ пристаете? Богадѣльня у меня, что ли, что я долженъ съ улицы подбирать всѣхъ оборвышей!.. Ѣсть нечего! Вѣдь какъ нахально говорить! Изволите видѣть, я виноватъ, что ему ѣсть хочется...

Сѣденькій старичокъ съ хохолкомъ тоже не мало удивился.

— Да вѣдь и я не виноватъ въ этомъ, посудите сами, будьто снисходительны,—замѣтилъ Иванъ Самойлычъ.

— Не виноватъ! Вотъ какъ отвѣчаетъ! На отвѣты-то, братъ, всѣ вы мастера... Не виноватъ! Ну, да, положимъ, что вы не виноваты, да я-то тутъ при чемъ?

Нужный человѣкъ въ волненіи заходилъ по комнатѣ.

— Ну, что же вы стоите? — сказалъ онъ, подступая къ господину Мичулину и какъ будто намѣреваясь принять его въ потасовку.—Слышали?

— Да я все насчетъ мѣста, — возразилъ Иванъ Самойлычъ, нѣсколько твердымъ голосомъ, какъ бы рѣшившись во что бы то ни стало добиться своего.

— Говорятъ вамъ, что мѣста нѣтъ! Слышите? Русскимъ языкомъ вамъ говорятъ: нѣтъ, нѣтъ и нѣтъ!.. Поняли вы меня?

— Понять-то я понялъ,—глухимъ голосомъ отвѣчалъ Мичулинъ:—да вѣдь ѣсть-то все-таки нужно!

— Да что вы ко мнѣ привязались? Да вы знаете ли, что я васъ, какъ неблагонамѣреннаго и назойливаго, туда упеку, куда вы и не думаете! Слышите,—ѣсть нужно! Точно я его крѣпостной! Ну, въ богадѣльню, любезный, идите, въ услуженіе идите... хоть къ чорту идите, только не приставайте вы ко мнѣ съ вашимъ «ѣсть нечего»!

И нужный человѣкъ снова началъ разминать по комнатѣ окоченѣвшіе члены.

— Тутъ цѣлое утро на холоду да на сырости... орешь, кричишь на пихъ, на бестій, а они еще и дома покоя не даютъ...

— Да вѣдь я не виноватъ, — снова возразилъ Иванъ Самойлычъ дрожащимъ голосомъ, худо скрывая накипѣвшую въ груди его злобу:—я не виноватъ, что цѣлое утро на холоду да на сырости...

— А я виноватъ?!— съ запальчивостью закричалъ нужный человѣкъ, топнувъ ногою и сильно пошевеливая плечами.—Виноватъ? а? Да ну, отвѣчайте же!

Иванъ Самойлычъ молчалъ.

— Что-жъ вы привязываетесь? Да нѣтъ, вы скажите, что-жъ вы пристаете-то? Виноватъ я, что ли, что вамъ ѣсть нечего? Виноватъ? а?

— Стыдно будетъ, если на улицѣ подымутъ,—замѣтилъ Иванъ Самойлычъ тихо.

— Отвяжитесь вы отъ меня!—вскричалъ нужный человѣкъ, теряя терпѣніе.—Ну, пусть подымутъ на улицѣ! Я вамъ говорю: нѣтъ мѣста, нѣтъ, нѣтъ и нѣтъ.

Иванъ Самойлычъ вспыхнулъ.

— Такъ нѣтъ мѣста!—закричалъ онъ внѣ себя, подступая къ нужному человѣку: — такъ пусть на улицѣ подымутъ! Такъ вотъ вы каковы, а другимъ, небойсь, есть мѣсто, другіе, небойсь, ѣдятъ, другіе пьютъ, а мнѣ и мѣста нѣтъ!..

Но вдругъ онъ помертвѣлъ; малый-то былъ онъ смирный и безотвѣтный, и робкая его натура вдругъ всплыла наружу. Руки его опустились; сердце упало въ груди, колѣни подгибались.

— Не погубите! — говорилъ онъ шопотомъ. — Виноватъ я! Я одинъ во всемъ виноватъ! Пощадите!

Нужный человѣкъ стоялъ какъ оцѣпенѣлый; съ безсознательнымъ изумленіемъ смотрѣлъ онъ на Ивана Самойлыча, какъ будто не догадываясь еще хорошенько, въ чемъ тутъ дѣло.

— Вонъ! — закричалъ онъ, наконецъ, оправившись отъ изумленія: — вонъ отсюда! И если еще разъ осмѣлитесь... понимаете?

Нужный человѣкъ погрозилъ, сверкнулъ глазами и вышелъ изъ комнаты.

VI.

Иванъ Самойлычъ былъ окончательно уничтоженъ. Въ ушахъ его тоскливо и назойливо раздавались страшныя слова нужнаго человѣка:

— Нѣтъ мѣста! нѣтъ, нѣтъ и нѣтъ!

— Да отчего же нѣтъ мѣста? Да гдѣ же, наконецъ, мое мѣсто? Боже мой, гдѣ это мѣсто?

И всѣ прохожіе смотрѣли на Ивана Самойлыча, какъ будто исподлобья и иронически подпѣвали ему: «да гдѣ же, въ самомъ дѣлѣ, это мѣсто? Вѣдь кто-же-нибудь да виноватъ, что нѣтъ его—мѣста-то!»

Мичулинъ рѣшился немедленно обратиться съ этимъ вопросомъ къ людямъ знающимъ, тѣмъ болѣе, что его мучили

ужъ не одни матеріальныя лишенія, не одна надежда умереть съ голода, но и самая душа его требовала успокоенія и отдыха отъ безпрестанныхъ вопросовъ и сомнѣній, ее осаждавшихъ.

Знающіе люди были не кто иные, какъ извѣстные ужъ читателю Вольфгангъ Антонычъ Беобахтеръ, философіи кандидатъ, и Алексисъ Звонскій, недоросль изъ дворянъ.

Оба друга только что пообѣдали и, сидя на диванѣ, покуривали себѣ папироски. У Вольфганга Антоныча была въ рукахъ гитара, на которой онъ самымъ сладкозвучнымъ образомъ тренькалъ какую-то страшную бравуру; у Алексиса плавала въ глазахъ какая-то мутная влага, на которую онъ безпрестанно и горько жаловался, говоря, что она мѣшаетъ ему прямо и бодро взглянуть въ самые глаза *холодной, безстрастной* и *безотрадной* дѣйствительности. Друзья, казалось, были въ хорошемъ расположеніи духа, потому что говорили о будущихъ судьбахъ человѣчества и объ эстетическомъ чувствѣ.

Оба друга равно стояли грудью за страждущее и угнетенное человѣчество; разница состояла только въ томъ, что Беобахтеръ, какъ кандидатъ философіи, непремѣнно требовалъ «ррразррруш енія», а Алексисъ, напротивъ того, готовъ былъ положить голову на плаху, чтобъ доказать, что періодъ разрушенія миновался и что теперь нужно *создавать, создавать* и *создавать*...

— Ну, клади!—говорилъ Беобахтеръ самымъ равнодушнымъ голосомъ, дѣлая при этомъ обычное движеніе разжатою рукою сверху внизъ и ужъ совсѣмъ приготовившись отмахнуть Алексису его легковѣсную голову.

Но Алексисъ головы не клалъ.

— Ужъ ты не коварствуй!—возглашалъ Беобахтеръ мелодическимъ голосомъ въ ту минуту, когда вошелъ Иванъ Самойлычъ: — ты не уклоняйся, а говори прямо: любишь или не любишь? Любишь—такъ прочь ихъ, съ лица земли ихъ—вотъ что! А иначе, не любишь!

— Однакожъ, за что-жъ ихъ съ лица земли?—замѣтилъ съ своей стороны Алексисъ.—Я право никакъ не могу понять этого ригоризма...

И дѣйствительно, по лицу Алексиса можно было угадать, что онъ точно никакъ не могъ понять.

Кандидатъ философіи крошечнымъ сжатымъ кулачкомъ описалъ самую незамѣтную дугу.

— И знать ничего не хочу, и видѣть ничего не хочу!—

говорилъ онъ медовымъ своимъ голоскомъ:—и не представляй ты мнѣ своихъ резоновъ! Все это софизмы, любезный другъ! Не любишь, говорю тебѣ, не любишь—и все тутъ! Такъ бы и сказалъ съ перваго слова! Разрушить, говорю тебѣ, ррразрушить—вотъ что нужно! А прочее все вздоръ!

И господинъ Беобахтеръ сдѣлалъ нѣсколько аккордовъ на гитарѣ и запѣлъ совершенно особенную и крайне затѣйливую бравуру, но запѣлъ такимъ голосомъ, какъ будто гладилъ кого-нибудь по головкѣ, приговаривая: «паинька, душенька! умница, миленькій!»

— Странно, однакожъ!.. — замѣтилъ послѣ нѣкотораго молчанія, собравшись съ мыслями, Алексисъ.

Беобахтеръ сдѣлалъ совершенно незамѣтное движеніе плечами.

Буква *р* снова посыпалась въ страшномъ изобиліи.

— Странно, однакожъ! — не переставалъ возражать съ своей стороны Алексисъ, всякій разъ все болѣе и болѣе собираясь съ мыслями.

— Ужъ я тебя, подлеца, насквозь знаю!—говорилъ Беобахтеръ.—Вѣдь ты «буржуазія», я тебя знаю...

На это Алексисъ отвѣчалъ, что, ей-Богу, онъ не «буржуазія», и что, напротивъ того, для человѣчества готовъ всѣмъ на свѣтѣ пожертвовать, и что если ужъ на то пошло, то, пожалуй, хоть сейчасъ же, среди бѣлаго дня, пойдетъ по Невскому подъ руку съ мужикомъ.

— Ну, ужъ это будетъ не эстетически!—замѣтилъ господинъ Беобахтеръ.

— Нѣтъ, я не думаю, — отвѣчалъ Алексисъ, еще разъ собравшись съ мыслями.

— Что такое эстетическое чувство?—спросилъ господинъ Беобахтеръ, видимо намѣреваясь дать своимъ доказательствамъ вопросительную форму, столь часто употребляемую самыми знаменитыми ораторами.

Алексисъ задумался.

— Эстетическое чувство, — сказалъ онъ, собравшись съ мыслями: — есть то чувство, которымъ въ высшей степени обладаетъ художникъ.

— Что такое художникъ?—столь же отрывисто спросилъ кандидатъ философіи.

Алексисъ снова задумался.

— Художникъ,—сказалъ онъ, въ послѣдній разъ собравшись съ мыслями:—есть тотъ смертный, который въ высшей степени обладаетъ эстетическимъ чувствомъ...

— Гм! — замѣтилъ господинъ Бообахтеръ: — прочь ихъ! съ лица земли ихъ! Нѣтъ имъ пощады!.. Я тебя знаю, всю твою душу насквозь вижу: ты подлецъ, ренегатъ...

— Странно, одинакожъ!—замѣтилъ Алексисъ.

Но Вольфгангъ Антонычъ не слушалъ; онъ сдѣлалъ аккордъ на гитарѣ и сладкимъ теноромъ запѣлъ извѣстную: *Разгулма, свѣтла и любовна*, всячески стараясь выразить что-нибудь удалое, отколоть какое-нибудь отчаянное колѣнцо, но рѣшительно безъ всякаго успѣха, потому что колѣнцо оказывалось самымъ смирнымъ и снисходительнымъ.

— А я къ вамъ, господа, насчетъ одного дѣльца,—приступилъ Иванъ Самойлычъ.

Бообахтеръ и Алексисъ начали вслушиваться.

Мичулинъ вкратцѣ изложилъ имъ свои утреннія похожденія, разсказалъ, какъ онъ былъ у нужнаго человѣка, какъ просилъ о мѣстечкѣ, и какъ нужный человѣкъ отвѣчалъ, что мѣста ему нѣтъ, нѣтъ и нѣтъ... Затѣмъ Иванъ Самойлычъ уныло поникъ головой, какъ бы ожидая рѣшенія знающихъ людей.

Но Бообахтеръ и Алексисъ упорно молчали: первый — потому, что не вдругъ могъ отыскать въ головѣ своей неизвѣстно куда завалившуюся сильную мысль, которую онъ давно уже припасъ и которая могла однимъ разомъ спихнуть съ ногъ вопрошавшаго; второй — потому, что имѣлъ благородную привычку всегда выждать мнѣніе кандидата философіи, чтобъ тутъ же приличнымъ образомъ возразить ему:

— Да вѣдь мнѣ ѣсть нужно,—началъ снова Иванъ Самойлычъ.

— Гм!—сказалъ Бообахтеръ.

Алексисъ началъ собираться съ мыслями.

— Конечно, онъ не виноватъ въ этомъ, — продолжалъ Мичулинъ, съ горечью вспомнивъ полученный утромъ отъ «нужнаго человѣка» жесткій отказъ: — конечно, жизнь лотерея, да въ томъ-то и штука, что вотъ она лотерея, да въ лотереѣ-то этой билета мнѣ нѣтъ...

Бообахтеръ положилъ въ сторону гитару и посмотрѣлъ ему пристально въ глаза.

— Такъ вы меня не поняли?—сказалъ онъ съ укоромъ.— А прочли вы книжку?

Иванъ Самойлычъ отвѣчалъ, что не имѣлъ еще времени. Бообахтеръ грустно покачалъ головой.

— Вы ее прочтите,—убѣждалъ онъ самымъ меланхоли-

ческимъ тономъ: — тамъ вы все узнаете, тамъ обо всѣмъ говорится... Все, что я вамъ ни говорилъ, — все это только предварительныя понятія, намеки; тамъ все полнѣе объяснено... Но ужъ повѣрьте, тутъ иначе и быть не можетъ! Или любишь, или не любишь; тутъ нѣтъ средины, я вамъ говорю!

— Однакожъ, это странно!—тотчасъ же возразилъ Алексисъ, хотя и не развивалъ далѣе своей мысли.

— Такъ вы думаете?—перебилъ Иванъ Самойлычъ.

— Прочь ихъ! съ лица земли ихъ! Вотъ мое мнѣніе! Рррр...

— А вы какъ насчетъ этого дѣла? — спросилъ Мичулинъ, обращаясь къ Алексису.

— Моя грудь равно для всѣхъ отверзта! — отвѣчалъ Алексисъ совершенно невинно.

За симъ водворилось глубокое молчаніе.

— Извините, что обезпокоилъ васъ, господа, — сказалъ Иванъ Самойлычъ, намѣреваясь удалиться по-свояси.

На это пріятели отвѣчали, что это ничего, что, *напротивъ,* они очень рады, и что если впередъ случится какая-нибудь нужда, то смѣло обращался бы прямо къ нимъ. При этомъ съ немалымъ также искусствомъ дано было ему замѣтить, что если между ними и существуетъ нѣкоторое разногласіе, то это только въ подробностяхъ, что въ главномъ они оба держатся однихъ и тѣхъ же принциповъ, что, впрочемъ, и самый прогрессъ есть не что иное, какъ дочь разногласія, и если ихъ мнѣнія не безусловно вѣрны, то, по крайней мѣрѣ, о нихъ можно спорить.

Со всѣмъ этимъ Мичулинъ, конечно, не могъ не согласиться, хотя, съ другой стороны, не могъ и не сознаться внутренно, что все это, однакожъ, чрезвычайно мало подвигало его впередъ.

На столѣ у себя онъ нашелъ тщательно сложенную записку. Записка была слѣдующаго содержанія:

«Иванъ Макарычъ Пережига, *свидѣтельствуя свое совершенное почтеніе* его высокоблагородію Ивану Самойлычу, честь имѣетъ покорнѣйше просить его высокоблагородіе, по случаю дня тезоименитства, пожаловать завтрашній день, въ три часа пополудни, откушать обѣденный столъ».

Съ досадою отбросилъ онъ отъ себя затѣйливую записку и легъ спать на кровать.

Но ему не спалось: кровь его волновалась; злоба кипѣла въ груди, и все нашептывалъ тайный голосъ какую-то вкрадчивую и вмѣстѣ съ тѣмъ страшную легенду.

Вокругъ все тихо; ни шороха не слышно въ комнатѣ сосѣдки. Мичулинъ всталъ съ постели и началъ ходить по комнатѣ—средство, къ которому прибѣгалъ онъ всякій разъ, когда что-нибудь его сильно тревожило.

А между тѣмъ вѣтеръ все шумитъ на улицѣ, все стучится въ окно къ Ивану Самойлычу и совершенно вразумительно свиститъ ему въ самыя уши: «озябъ, бѣдный вѣтеръ! пусти его, добрый человѣкъ! Богъ наградитъ тебя за это!»

И герой нашъ рѣшительно не знаетъ, кому отвѣчать: продрогнувшему ли вѣтру, или комоду подъ красное дерево и картинѣ, изображавшей, въ противорѣчіе свидѣтельству всей исторіи, погребеніе кота мышами, и ужъ не висѣвшей, а какъ будто бѣгавшей по стѣнѣ, потому что и комодъ и картина тоже, въ свою очередь, допекали ужасно и насмѣшливо спрашивали: «а отвѣчай намъ, отчего она лотерея? какое твое назначеніе?»

А Наденька, между тѣмъ, вкушала въ сосѣдней комнатѣ, въ маленькой своей кроваткѣ, то удивительное кушанье, полное разныхъ дессертовъ и неимовѣрно воздушныхъ пирожныхъ, которое называется сномъ. Въ ея позѣ было нѣчто необыкновенно граціозное и дѣвственное; маленькій уютный ротикъ былъ полуоткрытъ; булавочное ея сердечко быстро и усиленно билось въ миніатюрной темницѣ своей.

Но она не обращала вниманія ни на страстное буйство вѣтра, который, смотря на нее изъ окошка, злился и завывалъ, ни на полный томленія взоръ молодого мѣсяца, только что скинувшаго съ себя черную эпанчу изъ тучъ, которая, на досаду, не давала ему до тѣхъ поръ пощеголять передъ людьми своею молодостью и удальствомъ. Она спокойно спала-себѣ, какъ и всякая другая смертная, и надо же какому-то злому недругу безпокоить и будить ее въ эту сладкую минуту; надо же, чтобъ какая-то безобразная бѣлая фигура дернула ее за руку въ самый патетическій моментъ сна!..

Открывъ заспанные глаза, Наденька не мало струхнула. Въ околоткѣ давно уже носились слухи насчетъ какой-то страшной болѣзни, которая ходила будто бы изъ дома въ домъ въ самыхъ странныхъ формахъ, проникала въ самые сокровенные закоулки квартиръ и, наконецъ, очень равнодушно приглашала на тотъ свѣтъ.

Сообразивъ всѣ эти обстоятельства, Наденька сильно встревожилась, потому что была крайне животолюбива и

ни за что въ свѣтѣ не согласилась бы умереть. А привидѣніе, между тѣмъ, не шевелилось и молча устремило на нее глаза свои. Наденька заключила, что дѣло-то плохо, и что конецъ ея пришелъ невозвратно, и потому, простившись мысленно съ ученымъ своимъ другомъ и поручивъ, кому слѣдуетъ, свою крошечную душу, обдумала ужъ, какой дастъ *тамъ* отвѣтъ въ своемъ бренномъ и нѣсколько легкомъ земномъ странствіи, какъ вдругъ молодой и щеголеватый мѣсяцъ взглянулъ прямо въ лицо привидѣнію.

— Такъ вы такъ-то! — вскричала Наденька, оправившись внезапно отъ своего испуга и быстро вскочивъ съ постели, несмотря на очевидную легкость своего костюма:— такъ вы вотъ какъ! Вы не удовлетворяетесь тѣмъ, что по цѣлымъ ночамъ стонете и не даете мнѣ спать, — вы еще подсматривать вздумали! Вы думаете, что я не благородная, не мадамъ; такъ со мною все, дескать, можно! Ошиблись, сударь, очень ошиблись! Конечно, я простая дѣвица; конечно, я русская, да не хуже иной барыни, не хуже нѣмки; вотъ что-съ!

И маленькіе глазки ея горѣли; маленькія ноздри раздувались; маленькія губы дрожали отъ гнѣва и негодованія... Но привидѣніе, которое было не что иное, какъ самъ Иванъ Самойлычъ, вмѣсто отвѣта, издало чрезвычайно простой и односложный звукъ, болѣе похожій на мычанье, нежели на вразумительный отвѣтъ.

— Я все понимаю! — бойко сыпала, между тѣмъ, Наденька: — все понимаю не хуже всякой другой... Безстыдникъ, сударь, срамникъ!

Иванъ Самойлычъ отвѣчалъ, но какъ-то отрывисто и несвязно; и при томъ звукъ его голоса былъ такъ сухъ и беззвучно-безстрастенъ, какъ будто ему и не шутя было больно и тошно жить на свѣтѣ.

Говорилъ онъ все прежнюю исторію, что вотъ, дескать, другіе ѣдятъ, другіе пьютъ... все другіе...

Наденька слушала его въ страхѣ и трепетѣ; никогда она не видѣла его столь рѣшительнымъ; сердце ея упало; голосъ замеръ въ груди; она хотѣла звать на помощь и не могла; умоляя, простирала она свои маленькія ручонки къ лукавому нарушителю ея спокойствія; жалобенъ и безмолвно-краснорѣчивъ былъ ея взоръ, взывавшій о пощадѣ... Привидѣніе остановилось.

— Такъ вамъ очень гадко со мною?...—сказало оно го-

лосомъ, заглушаемымъ накипѣвшими въ груди рыданіями:— такъ я очень противенъ?..

— Оставьте меня!—едва слышно шептала Наденька.

Привидѣніе не трогалось: молча стояло оно у завѣтнаго изголовья, и невольныя слезы непризнанной горести, слезы оскорбленнаго самолюбія крались по впалымъ и блѣднымъ, какъ смерть, щекамъ его.

— Богъ съ вами!—сказало оно шопотомъ и медленно направило къ двери шаги свои.

Наденька вздохнула свободно. Сгоряча, она хотѣла-было закричать и объявить всѣмъ и каждому, что вотъ, дескать, такъ и такъ: но—странное дѣло!—ни съ того, ни съ сего почувствовала она, какъ будто въ груди ея вдругъ зашевелилось что-то такое, что, съ одной стороны, очень и очень намекало на совѣсть, а съ другой—могло навязаться, пожалуй, и жалостью. Грустно взглянула она вслѣдъ удаляющемуся Ивану Самойлычу и даже чуть-чуть не рѣшилась позвать его назадъ, чтобъ объяснить ему, что не виновата же и она, что дѣло такой оборотъ приняло... И все-таки ничего не сказала, а просто посмотрѣла, какъ онъ вышелъ изъ комнаты, заперла плотнѣе дверь, покачала головой, прибрала съ полу двѣ или три завалявшіяся бумажки и снова легла почивать.

VII.

Именинный обѣденный столъ былъ устроенъ на славу. Шарлотта Готлибовна не пожалѣла ни трудовъ, ни издержекъ, чтобъ угодить своему любезному кавалеру. Она истоптала себѣ всѣ ноги, но къ тремъ часамъ все уже было готово. Даже она, сухопарая и продолговатая хозяйка, приличнымъ образомъ подкрасившись, рисовалась въ столовой, производя пріятный для слуха шумъ накрахмаленною, какъ картонъ, юбкою.

Когда Иванъ Самойлычъ явился въ столовую, вся комнатія была уже на-лицо. Впереди всѣхъ торчали черные, какъ смоль, усы хозяина именинника: тутъ же, въ видѣ неизбѣжнаго приложенія, подвернулась и сухощавая и прямая, какъ палка, фигура Шарлотты Готлибовны: по сторонамъ стояли извѣстные читатель: кандидатъ философіи Беобахтеръ и обольстительный, но нѣсколько апатическій недоросль Алексѣй, подъ руку съ дѣвицей Ручкиной.

Казалось, Наденька была совершенно довольна своею судьбой, потому что очень любила порядочную компанію

и вообще чувствовала нѣкоторый недугъ къ людямъ, которые не принадлежали къ такъ-называемой швали—мастеровымъ, лакеямъ, кучерамъ и далѣе до безконечности.

Конечно, разсуждая строго, происхожденіе Шарлотты Готлибовны было покрыто весьма густымъ мракомъ неизвѣстности, но Наденька смотрѣла на этотъ предметъ снисходительно. Она, разумѣется, не могла не допустить, что Шарлотта Готлибовна, дѣйствительно, не-русская...

И теперь, какъ и всегда, Иванъ Макарычъ шутилъ надъ ученымъ Алексисомъ, приговаривая:

— А подлецъ Бинбахеръ-то! Знать ничего не хочетъ! Ничего, говоритъ, не надо, все уничтожу, все съ глазъ долой! Ахъ, эти нѣмцы!

И по обыкновенію, Шарлотта Готлибовна, потупивъ глаза, отвѣчала: «О, ви очень любезни кавалиръ, Иванъ Макарвичъ!» И по обыкновенію, осталось покрыто мракомъ неизвѣстности, кого именно разумѣлъ господинъ Пережига подъ словомъ: «Бинбахеръ».

— А не выпить ли намъ водочки, мадамъ?—возопилъ именинникъ, обращаясь къ Шарлоттѣ Готлибовнѣ.—Вѣдь нынче времена-то опасныя? Слышь ты, холера по свѣту бродитъ! А вотъ мы ее, холеру, вотъ мы ее, по-свойски-то, по-нашему!

И дѣйствительно, холера, вѣроятно, сильно поморщилась, когда господинъ Пережига вытянулъ однимъ глоткомъ огромную рюмку, которую онъ не безъ ѣдкости называлъ стаканчикомъ на ножкѣ.

За обѣдомъ было очень весело: лица всѣхъ смотрѣли какъ-то благопріятно и одобрительно. Алексисъ безпрестанно, и кстати, и некстати, улыбался; Бинбахеръ тоже не дѣлалъ обычнаго движенія рукою сверху внизъ; Пережига же всѣхъ по чести увѣрялъ, что Бинбахеръ ничего не знаетъ, потому что нѣмецъ, а вотъ у него спросите, такъ онъ русскій и знаетъ, да еще такъ знаетъ, что у Шарлотты Готлибовны отъ одной этой мысли закатывались подъ лобъ глаза.

— У, какъ я былъ на своей-то сторонѣ!—гремѣлъ онъ, съ самодовольнымъ видомъ покручивая усы.—У меня былъ дворъ... то-есть, что всѣ эти здѣшніе дворы,—просто дрянь! Однихъ егерей было человѣкъ пятьдесятъ! Музыканты свои были! Театръ домашній былъ! Плясуньи были, комедіи представляли! Вотъ оно, какое житье-то было,—любезное житье!

Конечно, Иванъ Макарычъ бо́льшую половину прихваст-

нулъ, но присутствующіе изъ учтивости почли долгомъ не возражать ему, а Шарлотта Готлибовна даже совершенно была увѣрена въ истинѣ словъ своего любезнаго кавалера и съ непритворнымъ участіемъ вмѣшалась въ разговоръ, сказавъ въ скобкахъ:

— О, это, должно-быть, ужасно чудесно было!

— Ужъ такъ чудесно, что просто невозможно! Ужъ я вамъ скажу, такіе были актеры—просто на славу! Вся губернія съѣзжалась смотрѣть—истинно вамъ говорю!

По поводу актеровъ господина Пережиги разговоръ перешелъ вообще къ оцѣнкѣ эстетическихъ и другихъ способностей человѣка, и при этомъ развивались гостями самыя мудрыя и затѣйливыя мысли.

Беобахтеръ, махая ручонкою сверху внизъ, говорилъ самымъ пріятнымъ и вкрадчивымъ теноромъ, что оно, конечно, ничего, жить можно, а все-таки недурно и даже полезно, если «прихлопнетъ» да «притиснетъ». Буква *р*, по обыкновенію, играла и тутъ весьма немаловажную роль.

Алексисъ болталъ во рту языкомъ и безотчетливо размахивалъ во всѣ стороны руками.

Шарлотта Готлибовна утверждала насчетъ этого предмета что-то столь жестокое и обидное, что Наденька почла за долгъ вступиться и тутъ же колко дать ей почувствовать, что она хотя и благородная нѣмка (о! никто въ этомъ не сомнѣвается!) и хотя «всѣмъ, конечно, извѣстно», что въ *ихней* землѣ водятся дворяне, но вѣдь и въ другихъ земляхъ отнюдь не всѣ же мастеровые или чумички какіенибудь... О, нѣтъ, далеко не всѣ!

Весь этотъ шумъ покрывается густымъ басомъ Пережиги, который смѣло утверждалъ, что все это вздоръ, что тутъ, «иначе» быть нельзя, и что у него, дескать, спросите, такъ онъ знаетъ и мигомъ все объяснитъ.

— А скажите, пожалуйста,—началъ, между тѣмъ, Иванъ Самойлычъ, очевидно, стараясь исподволь дать разговору интересующій его оборотъ:—вотъ ты, Иванъ Макарычъ, вы человѣкъ опытный, бывалый... Вотъ хоть бы у васъ: вѣдь, я думаю, у каждаго изъ нихъ было свое особенное назначеніе, своя особенная, такъ сказать, роль въ жизни?..

— Разумѣется, было; чего на свѣтѣ не бываетъ!—отвѣчалъ Иванъ Макарычъ, отъ частыхъ возліяній одобрительно кивая на всѣ стороны головой.—Извѣстно—одинъ псарь, другой егерь, третій, просто, чумичка! Какъ не быть!

И опять пошли толки о трудности отыскать человѣку въ

бренной его жизни назначеніе. Пережига отзывался, что тутъ вообще «поломаешь-таки себѣ голову», и дѣйствительно, въ то же время началъ съ такимъ рвеніемъ ломать себѣ голову при видѣ безпрестанно возрастающихъ и вновь отвсюду возстающихъ затрудненій, что непремѣнно погибъ бы въ этой борьбѣ, если бы не спасъ его извѣстный стаканчикъ на ножкѣ, которому онъ не переставалъ свидѣтельствовать свое почтеніе.

— Мое тутъ мнѣніе вотъ какое,—вмѣшался господинъ Беобахтеръ:—все это вздоръ, а нужно—вотъ...

И махнулъ рукою сверху внизъ.

Хотя послѣднія слова были сказаны особенно мелодическимъ теноромъ, но Алексисъ не преминулъ возразить своему ученому противнику, сказавъ, что онъ не видитъ, почему непремѣнно—«вотъ», и что гораздо лучше, если для всѣхъ равно отверзты объятія. При этомъ Алексисъ размахивалъ руками и дѣйствительно для всѣхъ отверзалъ объятія.

— Такъ вотъ вы изволили замѣтить,—снова обратился Мичулинъ къ Пережигѣ: — что одинъ чумичка, другой егерь... Ну, это понятно: они ужъ люди такіе—ну, и роли по нихъ... А вообще-то какъ вы понимаете? То-есть, вообще-то человѣку какая роль предстоитъ въ жизни? Вотъ хоть бы мнѣ, напримѣръ?—прибавилъ онъ въ видѣ предположенія.

И умолкъ.

И всѣ гости тоже сурово молчали, какъ будто никто и не предвидѣлъ со стороны господина Мичулина подобнаго философическаго вопроса...

— Мое мнѣніе вотъ какое,—разразился, наконецъ, сладкозвучный Беобахтеръ:—прочь все—вотъ!...

И на этотъ разъ Алексисъ, по обыкновенію, отозвался, что *никакъ не можетъ понять этого ригоризма,* и что гораздо лучше, если для всѣхъ равно отверзты объятія.

Но сомнѣніе все-таки осталось сомнѣніемъ, запутанное дѣло ни на шагъ не подвинулось впередъ.

— Такъ какъ же вы думаете, Иванъ Макарычъ?—снова навязывался Мичулинъ.

— Это ужъ вы вотъ у нихъ спросите,—лаконически отвѣчалъ Пережига, закрывая глаза отъ излишества возліяній.—Это имъ будетъ лучше извѣстно!

Съ этимъ словомъ Иванъ Макарычъ, а за нимъ и всѣ гости вышли изъ-за стола.

Но именинникъ сильно ошибался, если въ числѣ таинственныхъ «ихъ» разумѣлъ и ученаго Алексиса.

Алексисъ, казалось, такъ сильно желалъ всякаго счастія дорогому имениннику, что отъ полноты чувства едва могъ болтать во рту языкомъ.

— Ты не горюй, другъ,—говорилъ онъ, обращаясь къ Ивану Самойлычу:—ты другъ! я тебя знаю! ты смиренный и кроткій — вотъ!.. Вотъ онъ такъ буйный; я знаю, чего онъ хочетъ! Да вотъ не дадутъ же тебѣ ничего! да! Вотъ же, на зло тебѣ, для всѣхъ отверзты объ-я-тія!... да... о-б-ъ-я-т-і-я...

Наденька сѣла возлѣ него, начала усовѣщивать, уговаривала, чтобъ онъ былъ хоть мало-мальски поумнѣе, но Алексисъ ничѣмъ не трогался, потому что въ нетрезвомъ видѣ непремѣнно считалъ долгомъ пускаться въ конфиденціи и обнажать до-гола свою крохотную душу.

— Ты оставь, ты отойди отъ меня, хорошій, милый ты человѣкъ!—говорилъ онъ, вертя головою.—Вѣдь я знаю, что ты про меня думаешь! что и онъ... вотъ тотъ, что отъ философіи-то... Я все знаю, да плевать я... Я самъ знаю, что глупъ, самъ это чувствую, милый ты человѣкъ, самъ вижу... Ну, что-жъ! глупъ такъ глупъ... ужъ такая, видно, слабая моя голова.

И захохоталъ, какъ будто бы и самъ отъ всей души поздравлялъ себя съ тѣмъ, что глупъ и слабоголовъ.

Беобахтеръ съ своей стороны не возражалъ ничего, потому что самъ чувствовалъ въ сердцѣ пріятную веселость и махалъ рукою ужъ не сверху внизъ, а снизу вверхъ.

— Да ужъ ты не скрывайся... ты! философъ!—продолжалъ, между тѣмъ, Алексисъ:—вѣдь я вижу... я внижу, что ты меня презираешь... ну, презирай! Вѣдь я самъ чувствую, что достоинъ презрѣнія... др-у-угъ! Да вѣдь что-жъ дѣлать, коли голова-то слаба! Голова-то, голова, вотъ что!..

— Ну, нализался же ты, братъ!—лаконически замѣтилъ Иванъ Макарычъ.

— А еще баринъ! туда же бариномъ зовется!—подхватила дѣвица Ручкина.

— Ужъ какой же баринъ!—жаловался въ отвѣтъ Алексисъ:—баринъ!.. Самому иногда ѣсть нечего—баринъ! Сапоговъ нѣтъ—баринъ! Пальто на плечишкахъ изорванное—баринъ!.. Вотъ те и баринъ! Да ужъ я вижу, что ты меня презираешь!.. ты! философъ!

И снова воображеніе Алексиса начало рисовать ему самыя горестныя картины, и снова пуще прежняго началъ онъ жаловаться на свою слабую голову, на судьбу, на одного

таинственнаго незнакомца, обсчитывавшаго его по литературной части, и ко всему прибавлялъ:—баринъ!

Наконецъ, дѣвица Ручкина почла долгомъ увести его въ свою комнату.

Уныло посмотрѣлъ Иванъ Самойлычъ вслѣдъ расходящимся гостямъ. Онъ видѣлъ, какъ Иванъ Макарычъ пошелъ подъ руку съ Шарлоттой Готлибовной, какъ Алексисъ, съ своей стороны, пошелъ съ Наденькой—тоже подъ руку... Да и философіи кандидатъ Вольфгангъ Антонычъ Беобахтеръ поспѣшно надѣлъ шинель и отправился на улицу, вѣроятно, съ тѣмъ намѣреніемъ, чтобъ пройтись съ кѣмъ-нибудь—тоже подъ руку!..

И онъ тоже шелъ подъ руку, но не съ Наденькой и даже не съ Шарлоттой Готлибовной, а съ какимъ-то безтѣлеснымъ и чрезвычайно длиннымъ существомъ, называющимся: «что ты такое? какое твое назначеніе?» и такъ далѣе,— существомъ уродливымъ, которое, несмотря на видимую свою безплотность, страшно оттянуло ему обѣ руки.

VIII.

Разгоряченный виномъ и горькими мыслями, вышелъ Иванъ Самойлычъ на улицу. На дворѣ стоялъ трескучій морозъ, который въ Петербургѣ весьма часто слѣдуетъ за самою несносною слякотью; извозчики, съѣжившись въ клубокъ, проминались по укатанной дорогѣ и хлопали въ ладоши. Въ окнахъ высокихъ домовъ мелькали огни... Огни эти такъ гостепріимно манили къ себѣ прозябнувшаго и посинѣвшаго на стужѣ странника, извозчики такъ тоскливо и вмѣстѣ недовѣрчиво смотрѣли на нихъ... Оборванному и оголоданному всегда кажется, что огонекъ какъ будто бы именно *на него* съ особенною привѣтливостью глядитъ изъ окна...

Но Иванъ Самойлычъ не думалъ ни объ огняхъ, ни объ извозчикахъ. Машинально шелъ онъ-себѣ въ легкой шинелишкѣ своей, какъ будто бы вовсе и не чувствовалъ холода; въ головѣ его было совсѣмъ пусто; одна только мысль чудовищно раскинулась въ его воображеніи—та мысль, что у него всего-на-все остался въ карманѣ одинъ цѣлковый, а, между тѣмъ, надо жить, надо ѣсть, надо за квартиру платить.

Но холодъ все-таки дѣлалъ свое дѣло. Какъ ни закованъ былъ Иванъ Самойлычъ въ тройную броню неудачъ и лишеній, но не могъ не почувствовать покалываній и

пощипываній своего привычнаго друга. Очнувшись невольно, онъ увидѣлъ передъ собою огромное снѣговое пространство, болѣе похожее на поле, чѣмъ на городскую площадь. Посрединѣ поля возвышалось великолѣпно освѣщенное каменное зданіе; у подъѣздовъ суетились кареты, сани, возки, кричали кучера и лакеи; тамъ и сямъ подъ навѣсами пылали зажженные костры. А холодъ, между тѣмъ, щипалъ лицо, ломилъ черепъ, рѣзалъ глаза; шинелька защищала плохо и скудно...

Видъ залитаго свѣтомъ зданія сильно расшаталъ вождлѣніе въ окоченѣвшемъ тѣлѣ Ивана Самойлыча; онъ вспомнилъ про цѣлковый, бывшій у него въ карманѣ, и потомъ, по какому-то безотчетному побужденію, взглянулъ на разложенные костры... Костры пылали краснымъ пламенемъ и далеко по площади разстилали густой и ѣдкій дымъ...

«Что-жъ... можно и тутъ обогрѣться!»—подумалъ Иванъ Самойлычъ.

Но странная, искусительная мысль блеснула вдругъ въ головѣ его: секунду, не болѣе какъ секунду, стоялъ онъ въ раздумьи; потомъ вынулъ изъ кармана цѣлковый, съ ожесточеніемъ взглянулъ на него, и въ одно мгновеніе ока былъ уже у кассы театра и покупалъ себѣ билетъ въ пятомъ ярусѣ.

Какъ нарочно, въ этотъ день давали какую-то героическую оперу. Въ театрѣ народу была куча; съ шумомъ растворялись и запирались двери ложъ; смутный и густой говоръ носился по огромной залѣ отъ партера и до райка.

Иванъ Самойлычъ очутился посрединѣ между однимъ бравымъ офицеромъ и какою-то довольно красивою, но сильно намазанною дѣвицей.

Съ злобой смотрѣлъ онъ внизъ, на безпрестанно наполнявшіяся ложи, на дамъ въ кокетливыхъ нарядахъ, которыя влетали въ нихъ подобно легкимъ и призрачнымъ видѣніямъ...

Но вотъ и говоръ утихъ. Посреди всеобщаго безмолвія вдругъ послышался отдаленный горный рожокъ; въ какомъ-то полуснѣ началъ прислушиваться Иванъ Самойлычъ къ простой и жалобной мелодіи его. Въ памяти его вдругъ воскресли давнишніе годы его дѣтства, необозримыя и ровныя поляны, густой сосновый лѣсъ, синее озеро, лѣниво расплескивавшее свои волны, и посреди всего этого самая беззвучная, глубокая тишина, и только рожокъ, именно рожокъ, назойливо звучитъ въ самое ухо и именно ту же самую простую и трезвую мелодію. Но вотъ рожку начи-

настъ вторить флейточка, къ флейточкѣ нерѣшительно присоединяется скрипка, и вдругъ звуки начинаютъ расти, расти, и, наконецъ, цѣлые потоки ихъ вырвались съ шумомъ изъ оркестра и заходили по залѣ.

Загудѣли контрабасы; тоскливо жаловались нѣжныя флейточки; назойливо рвали душу скрипки; отрывисто и сухо командовалъ барабанъ.

Герой нашъ ожилъ; блѣдный, притаивъ дыханіе, упивался онъ жалобнымъ стономъ флейты, отчаяннымъ воплемъ скрипки; всѣ нервы его были въ какомъ-то болѣзненномъ, небываломъ напряженіи, голова горѣла, губы и глаза были сухи, во всемъ существѣ его разыгралась такая же буря, какая происходила въ оркестрѣ.

— Вотъ это такъ хорошо! такъ ихъ! руби ихъ! мо-шенни-ки, хри-сто-про-давцы!—шепталъ онъ, самъ хорошенько не сознавая, почему бравурная музыка напоминала ему мошенниковъ и христопродавцевъ.

— Что-жъ, хлопайте! выражайте же свое удовольствіе!—замѣтилъ на ухо Мичулину сидѣвшій сзади какой-то сынъ природы съ огромными усами и бородой.

Занавѣсъ былъ поднятъ; на сценѣ, неизвѣстно о чемъ, но очень складно, толковала густая толпа; потомъ толпа разступилась, и какой-то господинъ началъ что-то пѣть. У Ивана Самойлыча не было ни либретто, ни обязательнаго сосѣда, поэтому онъ очень немного понялъ изъ всего этого. Однако-жъ, по всему было видно, что господинъ былъ доволенъ собою и не мало сочувствовалъ восходящему солнцу, потому что сильно разводилъ руками.

— Фразы, братъ! вздоръ все это! знаемъ мы!—говорилъ господинъ Мичулинъ, на котораго видимо началъ дѣйствовать образъ мыслей Необахтера.—Знаемъ мы эту природу! Ты намъ давай барабановъ—вотъ что!

И барабанъ не заставилъ себя ждать; музыка снова загремѣла полнымъ оркестромъ, и снова громъ заходилъ и заколыхался волнами по залѣ.

— Выражайте же свое удовольствіе!—приставалъ упомянутый выше сынъ природы.

Ощущеніе, произведенное этой громкой, но вмѣстѣ съ тѣмъ глубоко-стройной музыкой, было какъ-то странно и ново для Ивана Самойлыча. Онъ никакъ не ожидалъ, чтобъ за звуками могла ему слышаться толпа—да и какая еще толпа!—вовсе не та, которую онъ ежедневно привыкъ видѣть на Сѣнной или на Конной, а такая, какой еще онъ не ви-

дывалъ,—и что всего страннѣе—возможность которой онъ вдругъ началъ весьма ясно и отчетливо сознавать.

«Да, дѣло-то было бы лучше!—думалъ онъ, прогуливаясь въ антрактѣ по коридору.—Тогда бы, можетъ-быть, и я»...

И онъ не оканчивалъ своей фразы, потому что и безъ дальнѣйшаго объясненія очень хорошо и отчетливо постигалъ, что было бы тогда.

Но вотъ оркестръ снова заигралъ. Сначала происходили неизбѣжныя объясненія любовниковъ; какая-то тощая госпожа преизрядно передавала смирному и безотвѣтному клеврету свои чувства; клеветъ слушалъ совершенно равнодушно и только ждалъ случая, чтобы дать тягу за кулисы. Потомъ вприпрыжку выбѣжалъ изъ-за кустовъ какъ будто нарочно тутъ же очутившійся господинъ въ бархатной кацавейкѣ...

Мичулинъ все время отрицательно кивалъ головой, находя, повидимому, что все это фразы...

Но вотъ на сцену спустилась ночь; красноватая луна горѣла на холстинномъ небѣ; озеро синѣло вдали; всѣ деревья будто притихли и притаились въ ожиданіи чего-то страшнаго, необыкновеннаго; нигдѣ ни шороха, ни шелеста...

И вдругъ, посреди безмолвія, раздается окликъ, и снова все стихло; вотъ и еще окликъ, и еще, и еще... Деревья какъ будто оживились и выпрямили сонныя верхушки свои; озеро заходило холстинными волнами; луна горитъ все краснѣе и краснѣе...

Снова цѣлый громъ на сценѣ, снова все волнуется и колышится, и слышатся Ивану Самойлычу и выстрѣлы, и стукъ сабель, и чуется ему дымъ...

Съ волненіемъ смотритъ онъ во всѣ глаза на сцену; съ судорожнымъ вниманіемъ слѣдитъ за каждымъ движеніемъ толпы; ему и въ самомъ дѣлѣ кажется, что вотъ, наконецъ, все кончится; онъ хочетъ самъ бѣжать за толпою и понюхать заодно съ нею обаятельнаго дыма... Съ особенною нѣжностью смотритъ онъ на молодого человѣка, раздирающимъ голосомъ молящаго оставить ему его любовь и наивныя мечтанія... Онъ такъ юнъ, такъ свѣжъ еще, молодой человѣкъ! Ему такъ жалко вдругъ разстаться съ своими обаятельными кумирами; ему хотѣлось бы еще долго обманывать свое сердце и убаюкивать себя золотою мечтой. Но тщетны всѣ его усилія: истина на-лицо; она трезво и безъ страха снимаетъ съ души его лишніе покровы... И грустно повторяетъ горное эхо вопль юноши, послѣдній вопль! . .

. . . . . .

Вотъ что говорили звуки душѣ Ивана Самойлыча.

Но барабаны и выпитое за обѣдомъ вино порядочно-таки расшатали его воображеніе. Быстрыми шагами шелъ онъ по улицѣ, напѣвая какой-то вовсе недвусмысленный мотивъ и сильно стараясь поддѣлаться подъ барабанъ. Рядомъ съ нимъ очутился и сынъ природы, который сидѣлъ сзади него въ театрѣ. Съ сыномъ природы шелъ еще какой-то господинъ, который безпрестанно кивалъ утвердительно головой и улыбался.

— Ну, что, какъ вамъ понравилась опера?—приступилъ сынъ природы къ Ивану Самойлычу.—Вѣдь съ перчикомъ опера-то? а? Какъ вы насчетъ этого?

— Да; я думаю, что если бы...—процѣдилъ Иванъ Самойлычъ сквозь зубы.

— Ужъ и не говорите! Я самъ объ этомъ много думалъ, а вотъ насъ-то мало... Вотъ что! А я ужъ думалъ объ этомъ, какъ не думать! Спросите вонъ хоть у него. Антоша! ну, скажи, вѣдь думалъ я объ этомъ?

Антоша поспѣшно закивалъ головой и выставилъ рядъ острыхъ и длинныхъ зубовъ.

— Рекомендую вамъ его!—продолжалъ сынъ природы, подводя къ Ивану Самойлычу Антошу.—Благороднѣйшій человѣкъ! Я вамъ скажу, мы много съ нимъ думаемъ, чортъ возьми! Чудеснѣйшая душа, и какъ сострадаетъ! Право, никто такъ не сострадаетъ! Антоша! другъ! пріятель!

Антоша осклабился.

— Очень радъ!—пробормоталъ Иванъ Самойлычъ, совершенно сконфуженный такою безцеремонностью.

— Вамъ, можетъ-быть, странна такая откровенность?—говорилъ, между тѣмъ, господинъ съ усами и бородой.—Я вамъ скажу, вы не удивляйтесь. Вѣдь я замѣчалъ за вами въ театрѣ-то; я видѣлъ, что подлѣ меня человѣкъ страдаетъ.

Молчаніе.

— Такъ какъ вы думаете, не соединиться ли намъ въ одни общія объятія? а? Вѣдь какъ заживемъ-то! лихо, ей-Богу, лихо заживемъ... Братство—канальство! братство—вотъ моя метода! больше знать ничего не хочу! То-есть, отнимите у меня братство—просто, ничего не останется, просто, дрянь-дрянью сдѣлаюсь!.. Такъ, что ли? братство, что ли? Эхъ, канальство, да отвѣчай же, ракалья, забулдыга ты этакой!

И едва началъ Иванъ Самойлычъ соображать, какимъ

образомъ могъ онъ вдругъ возбудить въ постороннемъ человѣкѣ столько симпатіи къ себѣ, какъ ужъ сынъ природы тискалъ его въ своихъ объятіяхъ и словно жесткою щеткою далъ ему щеки своими усами и бородою, безпрестанно приговаривая: «вотъ такъ люблю! разомъ тебя понялъ! разомъ увидѣлъ, что ты такое! У, да надѣлаемъ же мы имъ теперь вмѣстѣ дѣла!»

— Да ну, полѣзай же!—говорилъ онъ, обращаясь къ пріятелю Антошѣ и сталкивая его съ Иваномъ Самойлычемъ.

Антоша всѣмъ тѣломъ кинулся въ объятія оторопѣвшаго героя нашего.

Путники очутились около одного дома, котораго окна были ярко освѣщены. Сынъ природы остановился.

— А не запечатлѣть ли намъ?—спросилъ онъ съ такимъ видомъ, какъ будто у него вдругъ родилась чрезвычайно свѣтлая и благотворная мысль.—Антоша! пріятель! другъ! запечатлѣть? а?

И онъ мигалъ глазами вычурной вывѣскѣ, на которой въ живописномъ безпорядкѣ красовались бильярдъ, чашки, окорокъ ветчины съ воткнутою въ него вилкою и графины съ водкой.

Антоша три раза улыбнулся и шесть разъ кивнулъ головой.

— Ну, а ты?—обратился сынъ природы къ Ивану Самойлычу.

— Я не знаю,—бормоталъ Мичулинъ:—я забылъ... я бы съ радостью, да вотъ забылъ...

— Антоша! другъ! про что это онъ говоритъ? а? Вѣдь про деньги, кажется, говоритъ, измѣнникъ, прредатель!

— Ка...—заговорилъ Антоша и не кончилъ, а только клюнулъ кончикомъ носа въ стѣну.

Сынъ природы сталъ передъ Иваномъ Самойлычемъ, разставилъ ноги, уперся руками въ бока наподобіе ферта, взглянулъ ему въ глаза съ видомъ горько-уязвленной дружбы и съ упрекомъ замоталъ головой.

— А, такъ вотъ ты каковъ, предатель! Деньги! Развѣ я спрашивалъ у тебя денегъ? спрашивалъ? а? Такъ вотъ я же тебя—деньги! Антоша, другъ!

И оба друга мгновенно взяли Ивана Самойлыча подъ руки и быстро потащили его вверхъ по тускло-освѣщенной лѣстницѣ.

Мичулинъ совсѣмъ растерялся. Онъ еще въ первый разъ видѣлъ къ себѣ столько сочувствія, столько горячей симпатіи. И въ комъ?—въ людяхъ совершенно ему чужихъ, въ лю-

дяхъ, которыхъ ему довелось разъ только видѣть, и то мимоходомъ.

Половые засуетились. Машина заиграла.

— Эй, малый!—кричалъ сынъ природы:—да что это она, братецъ, тамъ у васъ размазню какую-то играетъ! Ты намъ давай барабановъ—вотъ что! Э? съ барабанами есть?

— Никакъ нѣтъ-съ,—отвѣчалъ половой, бодро потряхивая кудрями.

— Отчего-жъ нѣтъ?

— Да не требуется,—отвѣчалъ половой.

— Не требуется? Э, братъ, видно, къ вамъ народъ-то такой, людишки-то все такіе — размазня—ходятъ! Нѣтъ, братъ, мы вотъ втроемъ, мы души крѣпкія, закаленныя... Антоша, а, Антоша! другъ! закаленныя души, а?

— О-о-охъ!—жаловался сынъ природы, покручивая усы:—времена-то наши еще не пришли, а то бы чего-чего мы втроемъ ни надѣлали. Слышь ты, оселъ! слышишь, олухъ?—продолжалъ онъ, обращаясь къ половому.—Вотъ мы втроемъ какіе люди! Такъ ты давай намъ барабановъ, бравуру давай—вотъ что, понимаешь? Ну, проваливай, да неси скорѣе, что̀ тамъ у васъ есть!

Черезъ минуту столъ былъ уставленъ бутылками, графинами и стаканами. Въ сторонѣ скромно стояла закуска.

— Ужъ я таковъ есть!—говорилъ сынъ природы, наливая стаканы.—Я вотъ весь тутъ на ладони, что̀ хочешь со мною дѣлай! Любишь—другъ! не любишь—Богъ съ тобою! А я ужъ тутъ весь, какъ есть сынъ природы! Ни лукавства, ни хитрости!

Иванъ Самойлычъ выпилъ—горько.

— Да ну, пей же! она, водка, откровенная! Вотъ и я откровенный! Вотъ и постегали меня разъ, а я все-таки откровенный — не могу, нельзя мнѣ иначе! Антоша, Антоша!—продолжалъ онъ съ укоромъ:—и ты другъ послѣ этого? и тебѣ не стыдно, а? Даръ природы стоитъ передъ тобою, и тебѣ не совѣстно? Ай-да другъ! Ну, осрамилъ, братъ!

Антоша выпилъ однимъ разомъ...

И пили они много и долго пили. Иванъ Самойлычъ и не помнилъ счета; едва опоражнивалъ онъ стаканъ, какъ передъ нимъ вырасталъ новый и совершенно полный. Смутно, какъ будто во снѣ, мерещились ему тосты, предлагаемые зычнымъ голосомъ сына природы.

Иванъ Самойлычъ потерялъ всякое чувство. Онъ видѣлъ, правда, что сынъ природы какъ будто собрался куда-то

выйти съ Антошей и что-то указывалъ на него половому, но ничего не понялъ изъ всѣхъ этихъ жестовъ и разговоровъ.

Когда онъ проснулся, на дворѣ было ужъ свѣтло. На столѣ лежали объѣдки вчерашней закуски, стояли графины съ недопитой водкой. Въ головѣ его было тяжело; руки и ноги дрожали.

Онъ началъ припоминать себѣ происшедшее, искалъ глазами своихъ товарищей, но въ комнатѣ не было никого. Внезапно въ душу его закралось тревожное сомнѣніе. «Что, если это мошенники! — подумалъ онъ: — что, если они завели меня, чтобъ поужинать, да потомъ, напоивши, и оставили меня подъ залогъ?»

Эта мысль мучила его; на цыпочкахъ подошелъ онъ къ двери и приложилъ ухо къ замочной скважинѣ. Въ сосѣдней комнатѣ слышались ругающіеся голоса заспанныхъ половыхъ. Онъ вышелъ изъ засады и спросилъ шинель.

Начали искать шинель—шинели не оказалось; Ивана Самойлыча точно варомъ обдало. Половые засуетились; поднялась бѣготня, но ничто не помогало: шинель никакъ не отыскивалась.

— Да вы съ кѣмъ приходили?—спросилъ буфетчикъ.

— Я не знаю; я въ первый разъ ихъ видѣлъ.

— Мошенники! Лизуны какіе-нибудь!

— Да какъ же я безъ шинели?

— Не знаю,—отвѣчалъ буфетчикъ съ разстановкой:— ужъ, видно, такъ, безъ шинели, придется... ночью-то оттеплило... Да вотъ еще счетецъ не заплатили...

Языкъ Ивана Самойлыча прилипъ къ нёбу.

«Сонъ въ руку!»—подумалъ онъ и всѣмъ тѣломъ затрясся.

— Такъ прощайте... я ужъ такъ,—сказалъ онъ, направляясь за двери.

— А какъ же счетецъ-то?—возразилъ буфетчикъ.

— Да я не знаю... это они!—бормоталъ Иванъ Самойлычъ и все шелъ къ двери.

Но его не пустили; Мичулинъ вздумалъ-было силой прорваться на лѣстницу, но два дюжіе парня крѣпко держали его за руки и не хотѣли никакъ выпустить. Началась борьба; отчаяніе, казалось, удесятерило его силы; онъ уже заносилъ ногу за порогъ, онъ былъ ужъ на лѣстницѣ, какъ вдругъ у самаго его носа, неизвѣстно откуда, выросъ удивительнаго размѣра городовой, а въ ушахъ непріятно зазвучало: «а куда ты, шарамыга, лѣзешь?»

На такую апострофу Иванъ Самойлычъ почелъ за нужное отвѣчать, что онъ вовсе не шарамыга, а привыкъ, дескать, къ обращенію деликатному и тонкому; но городовой, повидимому, и знать не хотѣлъ деликатнаго обращенія. Ему вдругъ очень ясно представилось, что шарамыга-то вѣдь грубитъ, тогда какъ на самомъ дѣлѣ Иванъ Самойлычъ только оправдывался и объяснялъ, что вотъ, дескать, такъ и такъ и больше ничего...

— А! ты еще грубить, ты еще разсуждать! Эй, кто тамъ! Взять его и распорядиться!

Не успѣлъ господинъ Мичулинъ оглянуться, какъ подлѣ него очутилось три помощника, хотя и гораздо меньшихъ размѣровъ, нежели городовой. Всѣ четверо схватили его и повели на улицу.

Тщетно умолялъ Иванъ Самойлычъ городового отпустить, тщетно соблазнялъ онъ его, показывая въ рукѣ уцѣлѣвшіе у него два двугривенныхъ... тщетно! Городовой безстрастно шелъ возлѣ, и не только понуждалъ его за рукавъ, но даже для того, чтобъ публично выразить свое безкорыстіе, оралъ во все горло:

— И, что ты! Богъ съ тобой! Да я тебя за сто рублевъ не выпущу! Ты, братъ, знай свои порядки! ты, братъ, слушайся, коли начальство приказываетъ—вотъ что!

А народу собралась цѣлая толпа, а въ толпѣ-то смѣхъ, въ толпѣ-то веселье: взяли, дескать, барина въ нѣмецкомъ платьѣ!

— Эвося!—говоритъ бородатый молодецъ, уже поднявшій было полу своего бараньяго тулупа, чтобъ утереть носъ, и оставшійся въ положеніи совершеннаго изумленія:—глянь-ка, братъ, Ванюха, глянь-ка,—кургузаго ведутъ!..

— Что, видно, ваша милость прогуливаться изволите?—подхватываетъ другой, тоже, повидимому, очень бойкій молодецъ.

— Ги-ги-ги! — отозвался извѣстный Ивану Самойлычу голосъ дѣвушки, жившей своими трудами.

— Наше вамъ почтеніе!—подхватилъ близъ стоявшій бѣлокурый студентъ.

— Ха-ха-ха!—раздалось въ толпѣ.

Мичулинъ былъ ни живъ, ни мертвъ. Что скажутъ о немъ знакомые? А знакомые непремѣнно всѣ тутъ, стоятъ-себѣ рядомъ и смотрятъ ему прямо въ лицо... Что скажетъ Наденька? А Наденька непремѣнно здѣсь, и ужъ навѣрное думаетъ, что онъ, позабывшись, сходилъ за платкомъ, вмѣсто

своего, въ чужой карманъ... О! это очень горестно!.. И онъ снова вынималъ изъ кармана завѣтные двугривенные, снова перевертывалъ ихъ въ глазахъ городового, стараясь, чтобъ на нихъ ударилъ какъ-нибудь солнечный лучъ и сообщилъ имъ ослѣпительный, неотразимый блескъ.

Наконецъ, его втолкнули въ какую-то темную, преисполненную тараканами каморку; но и тутъ заклятые гонители не оставили его.

— Отпустите меня!—жалобнымъ голосомъ вопіялъ Иванъ Самойлычъ одному изъ приставниковъ своихъ, называвшемуся Мазулей:—голубчикъ! почтеннѣйшій! отпустите меня! Ужъ я послѣ отблагодарю вамъ, почтеннѣйшій! Вѣчно, всю жизнь буду вамъ благодаренъ, голубчикъ!.. Посудите сами: вѣдь я не какой-нибудь...

— Ахъ, другъ ты, право, дру-угъ!—отвѣчалъ Мазуля тономъ, впрочемъ, довольно мягкимъ:—ну, чего ты просишь, душа ты безпардонная! Порядковъ ты не знаешь, дру-угъ! Ты сади-ись! ты на народъ посмотри! Вѣдь тебя потреплютъ-потреплютъ—да и маршъ! Вотъ что, дру-угъ! то-то, другъ ты! душа безпардонная! А вѣдь мнѣ...

И сердобольный наставникъ обратился къ окошку.

— Бородàукинъ! а Бородàукинъ — кричалъ онъ стоявшему снаружи товарищу:—куда, братъ, рожокъ-то спряталъ? Смерть хочется—носъ совсѣмъ свело! То-то, дру-угъ, порядковъ-то ты не знаешь! Ахти-хти!

Дверь отворилась, и просунутая дружелюбною рукой Бородавкина тавлинка открыла дары свои охотнику до сильныхъ ощущеній Мазулѣ.

— Да чѣмъ же все это кончится?—спрашивалъ сквозь слезы Иванъ Самойлычъ.

— Извѣстно чѣмъ!—отвѣтилъ Мазуля флегматически:—извѣстно чѣмъ! Нàбольшій разъ-два стукнетъ, да и отпуститъ—вотъ чѣмъ!

Наступило молчаніе.

— А можетъ, и три стукнетъ, какъ ему вздумается!—сказалъ наставникъ, подумавъ немного.

Новое молчаніе.

Иванъ Самойлычъ былъ въ самомъ мучительномъ положеніи. Что же онъ въ самомъ дѣлѣ такое, что его судьба такъ неумолимо преслѣдуетъ? Ужъ не принцъ ли онъ какой-нибудь, свергнутый съ престола посредствомъ крамолы властолюбиваго царедворца и скитающійся теперь инкогнито? Но въ такомъ случаѣ онъ былъ готовъ сейчасъ же, и за себя,

и за своихъ наслѣдниковъ, отказаться отъ всякихъ претензій на всевозможныя блага, только оставили бы его въ покоѣ въ эту минуту.

А между тѣмъ вошелъ и Бородавкинъ. О, какъ жестокъ онъ былъ съ Иваномъ Самойлычемъ! какъ презрительно и обидно обращался онъ съ нимъ! И первымъ оскорбленіемъ было то, что онъ, безъ всякихъ церемоній, сталъ скидать передъ нимъ свое платье, и въ сотый разъ не узналъ своей шинели, хотя въ сотый разъ ужъ держалъ ее у себя въ рукахъ; въ сотый разъ оглядывалъ и перевертывалъ ее на всѣ стороны—и все-таки никакъ не могъ узнать, и снова искалъ, и снова не находилъ.

— Да гдѣ же она?—спрашивалъ онъ самъ себя, прибавивъ къ этому нѣсколько рѣзкое выраженіе:—да куда-жъ она подѣвалась, распроклятая?

— Да она у васъ въ рукахъ!—осмѣлился замѣтить Иванъ Самойлычъ, но осмѣлился чрезвычайно робко и мягко, какъ будто бы дѣлалъ страшное преступленіе.

— Въ рукахъ,—ворчалъ Бородавкинъ себѣ подъ носъ, какъ будто и не слыхалъ, что замѣчаніе исходило со стороны Ивана Самойлыча:—а кто ее знаетъ, можетъ, и въ рукахъ! Вотъ какъ не нужно ее, распроклятую,—такъ и лѣзетъ, такъ и лѣзетъ, глаза колетъ! А какъ нужда—тутъ се и нѣтъ! Право! такъ! Хитеръ, лукавъ нынче сдѣлался народъ! Ну, полѣзай! да полѣзай же, тебѣ говорятъ!

— Да когда же все это кончится?—спросилъ Мичулинъ.

Бородавкинъ пристально взглянулъ на него и отвернулся.

— Чѣмъ же я виноватъ? Посудите сами! Вѣдь я ничего, право, ничего...

Бородавкинъ не отвѣчалъ.

— Да чѣмъ же все это кончится?—снова вопіялъ Иванъ Самойлычъ.

— Ты садись! — проговорилъ Бородавкинъ лаконически.

— Посудите сами, почтеннѣйшій! Вѣдь я, просто, такъ... за что-жъ?

— Ты, братъ, совсѣмъ какъ малый ребенокъ! — возразилъ Бородавкинъ: — ничего ты не понимаешь, никакого порядка! Ну, чего ты хнычешь? Садись!

— Да посудите же сами, голубчикъ... вѣдь я человѣкъ образованный...

— Образованный! ну, какой же ты образованный, коли порядковъ не знаешь, начальству согрубилъ? А образо-

ванный! Да ты садись, а я съ тобой и говорить-то не буду, и слушать-то тебя не хочу!

И Бородавкинъ погрузился въ размышленія.

— Вѣдь мнѣ, братъ, — вотъ что! — сказалъ онъ подобно Мазулѣ, подумавъ нѣсколько времени.

Наконецъ, Ивана Самойлыча повели; проводники снова шли по сторонамъ. Вели его что-то долго, очень долго, и на дорогѣ встрѣчались разныя лица, которыя оборачивались и насмѣшливо поглядывали на блѣднаго и чуть живого отъ стыда героя этой повѣсти.

— Должно-быть — мошенникъ! — говорилъ франтъ въ коричневомъ пальто и съ столь же коричневымъ носомъ.

— А можетъ-быть и государственный преступникъ, — отвѣчалъ господинъ съ подозрительной физіономіей, безпрестанно оглядывавшійся назадъ.

— Мошенникъ, я вамъ говорю — мошенникъ! — возразило съ жаромъ коричневое пальто.—Просто, платки воровалъ! Посмотрите, что за рожа! За ничто, изъ одного удовольствія, готовъ зарѣзать человѣка...

Но подозрительный господинъ не угомонился и все-таки стоялъ на своемъ, что это долженъ быть важный государственный преступникъ.

Много мудрыхъ рѣчей слыхалъ Иванъ Самойлычъ во время земного странствія своего; много полезныхъ житейскихъ совѣтовъ прошло черезъ слуховой его органъ; но, поистинѣ, ничего подобнаго не могло даже и представить себѣ не совсѣмъ бойкое его воображеніе тому, что изрекли уста нàбольшаго. Рѣчь его была проста и безыскусственна, какъ сама истина, а между тѣмъ не лишена и нѣкоторой соли, и съ этой стороны походила на вымыселъ, такъ что представляла собою одинъ величественный синтезъ, соединеніе истины и басни, простоты и украшеннаго блестками поэзіи вымысла.

— Ахъ, молодой человѣкъ, молодой человѣкъ! — говорилъ нàбольшій: — ты подумай, что ты сдѣлалъ! Ты вникни въ свой поступокъ, да не по поверхности скользи, а сойди въ самую глубину своей совѣсти! Ахъ, молодой человѣкъ, молодой человѣкъ!

И дѣйствительно, Иванъ Самойлычъ вникнулъ, и какъ-то вдругъ ему представилось, что онъ и въ самомъ дѣлѣ сдѣлалъ ужасно гнусное преступленіе.

— Да ужъ что-жъ дѣлать! — отвѣчалъ онъ, внезапно подавленный могучею силою угрызеній совѣсти: — ужъ это

грѣхъ такой случился! ужъ вы меня простите великодушно! право, простите!

Но набольшій быстрыми шагами заходилъ по комнатѣ, вѣроятно придумывая, какъ бы этакъ вновь еще болѣе убѣдить своего подсудимаго и окончательно вызвать въ немъ пробужденіе закоснѣвшей совѣсти.

— Ахъ, молодой человѣкъ, молодой человѣкъ!—сказалъ онъ, спустя нѣсколько минутъ.

И снова зашагалъ по комнатѣ.

— Вы извольте сами милостиво разсудить, — началъ, между тѣмъ, Иванъ Самойлычъ: — вѣдь я человѣкъ благовоспитанный и одѣтъ, кажется, какъ слѣдуетъ благовоспитанному человѣку, а не то чтобъ какой-нибудь мужикъ!

— Ахъ, молодой человѣкъ, молодой человѣкъ! — возразилъ набольшій таинственнымъ голосомъ и покачивая головой, какъ будто въ одно и то же время и удивлялся неопытности Мичулина, и хотѣлъ ему сообщить что-то чрезвычайно секретное. — То-то вотъ неопытность! Да вы не знаете, какія дѣла на свѣтѣ дѣлаются! да иной съ бобромъ, сударь, ходитъ, по-французски, по-нѣмецки и чортъ его знаетъ еще по-каковски — а плутъ, мошенникъ, сударь! естественнѣйшій мошенникъ! Ахъ, молодой человѣкъ, молодой человѣкъ!

Иванъ Самойлычъ снова понурилъ голову, и снова набольшій зашагалъ по комнатѣ.

— Что же мнѣ съ вами дѣлать? — спросилъ набольшій послѣ краткаго размышленія.

— Да ужъ будьте великодушны, простите! — замѣтилъ Иванъ Самойлычъ.

— Право, не знаю; истинно вамъ говорю — въ презатруднительное поставили вы меня положеніе! Съ одной стороны, и васъ жаль: думаешь, ни за грошъ пропадетъ, по неопытности своей, молодой человѣкъ! А съ другой стороны—примѣръ нуженъ, долгъ повелѣваетъ... наша обязанность... О, вы не знаете, что такое наша обязанность!

Мичулинъ согласился, что обязанность, дѣйствительно, отвѣтственная, но все-таки просилъ великодушно отпустить его.

— Ужъ развѣ для такого дня? — сказалъ набольшій въ видѣ предположенія (день былъ, повидимому, торжественный).

— Да, ужъ хоть для дня-то!

— Право, не знаю... дѣло-то оно такое затруднительное...

И нàбольшій снова началъ шагать, все обдумывая, какъ бы ему выйти изъ затруднительнаго положенія.

— Ну, да ужъ Богъ съ вами — была не была, отвѣчу передъ Богомъ; ужъ, видно, дѣлать нечего—нравъ у меня такой... то-есть, повѣрите ли, послѣднюю рубашку готовъ съ себя снять, а ближняго безъ рубашки не оставлю... Нѣтъ!

Иванъ Самойлычъ, съ своей стороны, отвѣчалъ, что и онъ готовъ снять съ себя послѣднюю рубашку, чтобъ выразить господину нàбольшему свою чувствительнѣйшую благодарность, но что ужъ помнить оказанное благодѣяніе станетъ по гробъ, будьте въ томъ увѣрены!

— Что̀ мнѣ ваша память!—отвѣчалъ нàбольшій со вздохомъ:—что̀ мнѣ благодарность ваша! Спокойствіе совѣсти— вотъ гдѣ награда! Ахъ, молодой человѣкъ, молодой человѣкъ!

IX.

Незамѣченный никѣмъ пробрался Иванъ Самойлычъ въ свою уединенную комнату. Не сказавъ никому ни слова о случившемся съ нимъ происшествіи, заперъ онъ дверь и задумался, горько задумался... Происшествіе окончательно доканало его. А тутъ еще и лихорадка бьетъ, и мысли такія въ голову лѣзутъ... Тяжко, совсѣмъ тяжко жить на свѣтѣ!.. А лихорадка все бьетъ! а мысли все лѣзутъ, все лѣзутъ!

И Мичулинъ думалъ, думалъ... пока не пришелъ къ нему рыжій, плечистый мужикъ съ огненною бородою, и не сталъ настоятельно требовать удовлетворенія; за мужикомъ кидалась на него, показывая самые страшные и длинные когти, Наденька и тоже искала удовлетворенія... Иванъ Самойлычъ совсѣмъ растерялся, тѣмъ болѣе, что надъ всѣмъ этимъ хаосомъ возвышалось безконечное на безконечно-маленькихъ ножкахъ, совершенно подгибавшихся подъ огромною, подавлявшею ихъ тяжестью. Но всего обиднѣе то, что, вглядываясь въ это страшное, всепоглощающее безконечное, онъ ясно увидѣлъ, что оно не что̀ иное, какъ воплощеніе того же самаго страшнаго вопроса, который такъ мучительно и настойчиво пыталъ его горькую участь.

И въ самомъ дѣлѣ, безконечное такъ странно и двусмысленно улыбалось, глядя на это конечное существо, которое, подъ фирмою «Иванъ Самойлычъ Мичулинъ» пресмыкалось у ногъ его, что бѣдный человѣкъ оробѣлъ и потерялся вконецъ...

— Погоди же, сыграю я съ тобой штуку! — говорило безконечное, подпрыгивая на упругихъ ножкахъ своихъ:—

ты хочешь знать, что̀ ты такое? Изволь: я подниму завѣсу, скрывающую отъ тебя таинственную дѣйствительность, — смотри и любуйся!

И дѣйствительно, разомъ очутился Иванъ Самойлычъ въ пространствѣ и во времени, въ совершенно неизвѣстномъ ему государствѣ, въ совершенно неизвѣстную эпоху, окруженный густымъ и непроницаемымъ туманомъ. Вглядываясь, однакожъ, пристальнѣе, онъ не безъ удивленія замѣтилъ, что изъ тумана вдругъ начинаетъ отдѣляться безчисленное множество колоннъ, и что колонны эти, принимая кверху все болѣе и болѣе наклонное положеніе, соединяются, наконецъ, въ одной общей вершинѣ и составляютъ совершенно правильную пирамиду. Но каково же было изумленіе бѣднаго смертнаго, когда онъ, подойдя къ этому странному зданію, увидѣлъ, что образующія его колонны сдѣланы вовсе не изъ гранита или какого-нибудь подобнаго минерала, а всѣ составлены изъ такихъ же людей, какъ и онъ, только различныхъ цвѣтовъ и формъ, что̀, впрочемъ, сообщало всей пирамидѣ пріятный для глазъ характеръ разнообразія.

И вдругъ замелькали ему въ глаза различныя знакомыя лица: вотъ и Беобахтеръ, философіи кандидатъ, съ гитарою въ рукахъ, вращающійся безсознательно въ одной изъ колоннъ; вонъ и занимающійся литературою Ваня Мараевъ, мужчина статный и красивый, но съ нѣсколько пьяными глазами; и всѣ эти знакомыя лица такъ низко стоятъ, такъ безсознательно, безлично улыбаются, завидѣвъ Ивана Самойлыча, что ему стало совѣстно и за нихъ, и даже за самого себя, что могъ онъ водить знакомство съ такими ничтожными, не сто̀ящими плевка людьми.

«А что̀, если и я...»,—подумалъ онъ, да и не додумалъ, потому что мысль его замерла на половинѣ пути: такъ испугался онъ, вдругъ вспомнивъ, что этакъ и себя можетъ, пожалуй, увидѣть въ несовсѣмъ затѣйливомъ положеніи...

И какъ нарочно, огромная пирамида, до тѣхъ поръ показывавшая ему, одну за другою, всѣ свои стороны, вдругъ остановилась. Кровь несчастнаго застыла въ жилахъ, дыханіе занялось въ груди, голова закружилась, когда онъ увидѣлъ; въ самомъ низу необыкновенно объемистаго столба, такого же Ивана Самойлыча, какъ и онъ самъ, но въ такомъ бѣдственномъ и странномъ положеніи, что глазамъ не хотѣлось вѣрить. И дѣйствительно, стоявшая передъ нимъ масса представляла любопытное зрѣлище; она вся была со-

ставлена изъ безчисленнаго множества людей, [illegible] другого насаженныхъ, такъ что голова Ивана Са[illegible] была такъ изуродована тяготѣвшею надъ нею [illegible] что лишилась даже признаковъ своего человѣческ[illegible] рактера, а часть, называемая черепомъ, даже обр[illegible] въ совершенное ничтожество и была окончательн[illegible] сана изъ наличности. Вообще, во всей фигурѣ этого [illegible] наго, миѳическаго Мичулина выражался такой уж[illegible] пауперизмъ, такое нравственное нищенство, что [illegible] щему, издали наблюдающему Мичулину сдѣлалось [illegible] и тяжко, и онъ съ силою устремился, чтобъ вырвать страждущаго двойника изъ-подъ гнетущей его тяже[illegible] какая-то страшная сила приковала его къ одному [illegible] онъ со слезами на глазахъ и гложущею тоскою в[illegible] обратилъ взоръ свой выше.

И чѣмъ выше забирался этотъ взоръ, тѣмъ ок[illegible] казались Ивану Самойлычу люди . . . . . .

. . . . . .

Онъ самъ теперь чувствовалъ, какъ страшная тя[illegible] вила его голову; онъ чувствовалъ, какъ, одно за [illegible] пропадали тѣ качества, которыя дѣлали изъ нег[illegible] ческій образъ... Холодный потъ обливалъ его тѣ[illegible] ніе замерло въ груди; волосы, одинъ за другимъ, [illegible] лись и вставали; весь организмъ трепеталъ въ пан[illegible] ожиданіи чего-то неслыханнаго... Онъ сдѣлалъ о[illegible] непомѣрное усиліе и проснулся.

Вокругъ постели его, въ глубокомысленномъ [illegible] стояли всѣ жильцы Шарлотты Готлибовны. Перв[illegible] метомъ, особенно поразившимъ его отяжелѣвшіе глаза, была Наденька Ручкина, та самая гордая колебимая Наденька, которая столько разъ гово[illegible] что ужъ если она что сказала,—такъ ужъ сказала [illegible] своего не перемѣнитъ ни въ жизнь, и которая в[illegible] [illegible] постели и заботли[illegible] вала ему [illegible] явленіе въ одну ми[illegible] поглотило все его вниманіе, что онъ забылъ все [illegible] мелькнуло нѣчто по[illegible] [illegible] незамѣтно начала р[illegible] [illegible] семейная жизнь съ л[illegible] [illegible] дѣтьми... Онъ [illegible] съ постели, [illegible] самыя розовыя, ка[illegible] [illegible] поверхности земн[illegible]

ъ, ловко подмигнувъ однимъ глазомъ и посмотрѣвъ
стель сперва съ одной, а потомъ и съ другой сто-
утъ же сказать, какъ и подобаетъ ласковому отцу
ва: «а куда спрятался этотъ плутъ-мальчикъ Коко
рая дѣвочка Варенька?..»; все это уже мелькнуло-
ъ душѣ Ивана Самойлыча, какъ вдругъ глазамъ его
вилась дѣйствительность — дѣйствительность самая
безотрадная, какую только можно было себѣ во-
ь; однимъ словомъ, дѣйствительность, составленная
ирлотты Готлибовны, Ивана Макарыча, господина
ера и Алексиса Звонскаго.

мы было-думали, что тебѣ ужъ того... карачунъ
ы!—заревѣлъ, какъ изъ бочки, сиплый басъ друга
ля Ивана Макарыча надъ самымъ ухомъ Мичулина.
а, именно ми думаль, што вамъ ужъ совсѣмъ ка-
—отозвалась тощая фигура Шарлотты Готлибовны,
пираясь на мощное плечо Пережиги.

мотря на васъ въ эту минуту, я понялъ, наконецъ,
жизни! Я видѣлъ блѣдную смерть, махающую не-
мъ лезвеемъ косы своей... О, это страшная, тор-
ная минута! Мнѣ представлялась эта блѣдная смерть...
mors... Вы читали Горація, Иванъ Самойлычъ?

проговорилъ свое привѣтствіе господинъ Беобах-
ю проговорилъ его такимъ сладкимъ и пріятнымъ
ъ, какъ будто бы дѣло шло о вещи самой обыкно-

а, мы думали, что вы ужъ совсѣмъ умерли! — отоз-
съ своей стороны, апатически-лаконическій Алексисъ.
ъ Самойлычъ благодарилъ сосѣдей за участіе, гово-
мъ, что онъ еще совершенно живъ, въ доказатель-
го и начиналъ-было подниматься съ постели. Но
могъ; голова его горѣла, въ глазахъ было мутно,
слабли, и какъ ни старался онъ казаться бодрымъ
имъ, а поневолѣ долженъ былъ снова опуститься
шку.

лагодари, братъ, Бога, что ты еще не околѣлъ и
ъ не было квартальнаго надзирателя! — заревѣлъ
Иванъ Макарычъ и протянулъ ужъ руку, чтобъ ударить
о, въ знакъ сочувствія, по плечу, и непремѣнно
бы, если бы не удержала его Наденька.

вартальный надзиратель? — прошепталъ Иванъ Са-
ь едва внятнымъ голосомъ. — А что, развѣ я что-
. того?

— Да, братъ, ужъ извѣстно... того.

— О, ви очень вольна мисль дѣлалъ! — прервала Шарлотта Готлибовна.

— То-есть, просто, донеси я или кто-нибудь другой, просто, найдись какая-нибудь этакая шельма, христопродавецъ — озолотятъ, ей-Богу, озолотятъ. Не будь я Иванъ Пережига!.. Ну, а тебя, извѣстно, на казенную квартиру съ отопленіемъ и освѣщеніемъ... Ха-ха-ха! Такъ ли, Шарлотта Готлибовна?

— О, ви очень любезни кавалиръ, Иванъ Макарвичъ!

— Да, это ужасно! Быть закованнымъ въ тяжелыя цѣпи, осужденнымъ на вѣчную тьму, вѣчно видѣть одно и то же сухое и прозаическое лицо темничнаго стража, слышать, какъ капля по каплѣ вытекаетъ жизнь!.. О, это ужасно!.. — сказалъ господинъ Беобахтеръ, особенно нѣжно напирал на слова: «капля по каплѣ».

— Ужъ какъ пошелъ, братъ, по мечтанію, — снова замѣтилъ Иванъ Макарычъ:—да началъ вывертывать въ головѣ разныя этакія штуки, такъ тутъ ужъ, братъ, адье монъ плезиръ, пиши пропало!.. Вотъ я про себя скажу: я въ жизнь свою никогда не мечталъ, а поди-тко, поищи другого такого молодца...

Шарлотта Готлибовна зардѣлась.

— Ну, такъ что-жъ ты не встаешь?—продолжалъ онъ, обращаясь къ Мичулину и сильно тряся его за руку.—Не спать же въ самомъ дѣлѣ цѣлый день! Небойсь, раскисъ, укачали тебя домовые-то? Эка баба! Просто, даже смотрѣть на тебя противно.

Но Иванъ Самойлычъ молчалъ; блѣдный, какъ полотно, лежалъ онъ безъ всякаго движенія на постели: пульсъ его бился слабо и медленно; во всемъ существѣ своемъ ощущалъ онъ какую-то небывалую, болѣзненную слабость.

Наденька Ручкина наклонилась къ нему и, взявъ его за руку, спросила, не нужно ли ему чего-нибудь, что онъ чувствуетъ, и такъ далѣе, какъ обыкновенно спрашиваютъ сердобольныя молодыя дѣвушки.

— Я не знаю... мнѣ больно, — чуть слышно отвѣчалъ Иванъ Самойлычъ:—мнѣ очень больно...

— А! небойсь, и языкъ развязался! — ревѣлъ, между тѣмъ, Пережига:—небойсь, расшевелился, какъ женскій-то полъ подошелъ!

— Оставьте меня... я боленъ!—шепталъ Иванъ Самойлычъ умоляющимъ голосомъ.

— Да и въ самомъ дѣлѣ, пусть его тутъ бабится! Милости просимъ, господа, ко мнѣ.

Иванъ Самойлычъ остался одинъ на одинъ съ Наденькой; глаза его неподвижно были устремлены на нее; блѣдное, худое лицо выражало непереносное страданіе; медленно взялъ онъ ея руку и долго-долго прижималъ къ губамъ своимъ.

— Наденька, добрая!—сказалъ онъ прерывающимся голосомъ:—поцѣлуй меня... въ первый и въ послѣдній разъ!..

Наденька изумилась. По свойственной ей подозрительности, она начала ужъ было смекать, что все это не даромъ, что все это штука, что онъ хочетъ только усыпить ея бдительность; но когда она взглянула на это изможденное лицо, на эти глаза, обращенные къ ней съ мольбою и ожиданіемъ, ей вдругъ стало какъ-то совѣстно своихъ подозрѣній; маленькому сердцу ея сдѣлалось и тѣсно, и неловко, а при томъ и слеза, самая миньятюрная, крохотная слеза, какъ-то совершенно нечаянно навернулась на глаза и упала съ ея глазъ на раскрытую грудь Мичулина. Дѣлать нечего. Наденька отерла слезу, наклонилась и поцѣловала больного. Лицо Ивана Самойлыча улыбнулось.

— Что это съ вами, Иванъ Самойлычъ?—спросила Наденька:—вѣрно вы простудились?

— Охъ, нѣтъ, это все то... все по тому дѣлу... помните, по которому я къ вамъ приходилъ?

— А что, развѣ оно важное какое-нибудь дѣло, что такъ разстроило васъ?

— Да; оно знаете... дѣло капитальное!.. А какъ мнѣ больно-то, больно-то, если бы вы знали!

Наденька покачала головой.

— Не послать ли за лѣкаремъ, Иванъ Самойлычъ?

— За лѣкаремъ?.. Да, оно бы не худо! Можетъ, что-нибудь и прописалъ бы... А впрочемъ, зачѣмъ? Вѣдь дѣла-то онъ мнѣ все-таки не объяснитъ!.. Нѣтъ, не нужно лѣкаря!

— Да, по крайней мѣрѣ, онъ помогъ бы вамъ, Иванъ Самойлычъ!

— Нѣтъ, ужъ это пустое дѣло, Наденька, самое пустое! Я вамъ говорю, я знаю... Онъ, можетъ статься, и поможетъ, да толку-то въ этомъ что будетъ! Ну, выздоровлю... а потомъ-то?.. Нѣтъ, не надо лѣкаря...

Наденька молчала.

— Да, къ тому же, лѣкарю-то вѣдь нужно денегъ; къ

бѣдному хорошій-то и пойти не захочетъ... вотъ оно что! А какой попадется-то — Христосъ съ нимъ — только измучитъ... лучше ужъ такъ умереть!

Въ это время дверь съ шумомъ отворилась и въ комнату ввалилась дебелая фигура Пережиги со штофомъ въ одной и рюмкою въ другой рукѣ.

— А вотъ, хвати-ко, друже, бальзамчику!—ревѣлъ знакомый Ивану Самойлычу голосъ:—это, братъ, знаешь, какъ душу отведетъ, ей-Богу, отведетъ!.. А умрешь, такъ, видно, такъ ужъ оно быть должно; видно, такъ ужъ и Богу угодно! Ну-ка, выпей. Да не морщись же, баба!

И Мичулинъ съ ужасомъ видѣлъ, какъ дрожащая и невѣрная отъ частыхъ жертвъ Бахусу рука Пережиги наполняла рюмку жгучимъ, какъ огонь, составомъ, заключавшимся въ графинѣ. Онъ началъ-было отказываться, говорилъ, что ему легче, что онъ слава Богу, но тщетно: рюмка была уже налита, да при томъ же и Наденька своимъ мягкимъ голоскомъ убѣждала его попробовать, авось, дескать, отъ этого немного и полегчитъ ему. Не переводя духу, выпилъ Иванъ Самойлычъ поданную водку и почти безъ чувствъ упалъ на постель.

— Эка водка! эка воръ-водка! — говорилъ, между тѣмъ, другъ и пріятель Иванъ Макарычъ, глядя на искаженное конвульсіями лицо Мичулина.—Экъ ее забираетъ, экъ забираетъ! У, бестіанская водка! еще какъ онъ не захлебнулся! Право, такъ живучъ, живучъ! А вѣдь въ чемъ душа держится!

И Пережига съ самодовольною улыбкою любовался изнеможеніемъ и страданіями Ивана Самойлыча, какъ будто хотѣлъ сказать ему: — «а что, братъ! задалъ я тебѣ задачу? Посмотримъ, какъ-то ты изъ нея выпутаешься... А живучъ! живучъ!»

Дѣйствительно, выпутаться было ужъ довольно трудно. Наденька побѣжала за докторомъ и вскорѣ привела какого-то нѣмца нѣсколько навеселѣ, безпрестанно нюхавшаго табакъ и плевавшаго во всѣ стороны. Лѣкарь подошелъ къ больному, долго и съ напряженіемъ щупалъ ему пульсъ, какъ будто хотѣлъ провертѣть у него въ рукѣ дыру, и покачалъ головой; велѣлъ высунуть языкъ, осмотрѣлъ и тоже покачалъ головой: потомъ понюхалъ табаку, снова пощупалъ пульсъ и пристально осмотрѣлъ языкъ.

— Schlecht.—сказалъ докторъ въ раздумьи.

— Что-жъ, есть ли какая-нибудь надежда? — спросила Наденька.

— О, никакой, не полагайте! А впрочемъ, поднимите пацiенту голову...

Голову подняли.

— Гм! никакой надежды! ужъ вы повѣрьте! я ужъ знаю!.. Вы давали ему что-нибудь?

— Да, Иванъ Макарычъ далъ ему водки.

— Водки? Schlecht, sehr schlecht... А есть у васъ водка?

— Не знаю; спрошу у Ивана Макарыча.

— Нѣтъ, не нужно; я такъ, болѣе изъ любопытства... А впрочемъ, ужъ если есть, такъ отчего и не выпить?

Наденька вышла и минутъ черезъ пять воротилась съ графиномъ.

— Водка очень часто здорово, а очень часто и вредно,— глубокомысленно замѣтилъ медикъ.

— Что-жъ, умереть, что ли, надобно? — робко и едва слышно спросилъ Иванъ Самойлычъ.

— Да, ужъ это будьте покойны, умрете, непремѣнно умрете!

— А скоро?—снова спросилъ больной.

— Да этакъ часа черезъ два, черезъ три надо будетъ... Прощайте, почтеннѣйшій: желаю вамъ покойной ночи!

Однако, ночь была неспокойна. По временамъ, больной, дѣйствительно, засыпалъ, но потомъ внезапно вскакивалъ съ постели, хваталъ себя за голову и жалобнымъ голосомъ спрашивалъ у Наденьки, куда дѣвался его мозгъ, зачѣмъ сдавили у него душу, и проч. На это Наденька отвѣчала, что головка его цѣла, слава Богу, а вотъ, молъ, не хочется ли ему выпить ромашки—такъ ромашка есть. И онъ бралъ чашку въ руку и безпрекословно выпивалъ ромашку.

На другой день, къ обѣду, ему сдѣлалось какъ будто и полегче: онъ былъ спокоенъ и хотя очень слабъ, но могъ, однакожъ, говорить. Онъ бралъ у Наденьки руки, прижималъ ихъ къ сердцу, цѣловалъ ихъ, прижималъ къ глазамъ, ко лбу и плакалъ... тихими, сладкими слезами плакалъ.

И Наденькѣ, съ своей стороны, было тоже жаль его. Впервые она какъ будто поняла, что въ ея глазахъ умираетъ человѣкъ, что этотъ человѣкъ любилъ ее, а она жестко и непріязненно оттолкнула его отъ себя. Кто знаетъ, что̀ причиною этой смерти? Кто знаетъ, можетъ-быть, онъ былъ бы и здоровъ, и веселъ, если бы... О, если бы ты

взглянуло. доброе, чудное существо, взглянуло глазами состраданія и сочувствія на это обращенное къ тебѣ лицо! Если бы ты могло уронить хоть одинъ лучъ любви на эту бѣдную, истерзанную горемъ и нуждою душу! О, если бы это было возможно!

— Послушайте!—говорилъ, между тѣмъ, Иванъ Самойлычъ, взявъ ее за руку:—вы забудьте, что я надоѣдалъ вамъ, что я оскорблялъ васъ... Оно, конечно, я много и много виноватъ, да вѣдь что-жъ дѣлать? Вѣдь я одинъ, Наденька, совсѣмъ одинъ... Вѣдь я же не виноватъ, что некрасивъ и неученъ,—что же мнѣ съ этимъ дѣлать? Разумѣется, и вы не виноваты, что не могли любить меня...

Больной съ трудомъ перевелъ дыханіе; грустно посмотрѣлъ онъ въ лицо Наденьки, но Наденька молчала и, опустивъ глаза, смотрѣла въ землю.

— Думается мнѣ, однакожъ,—снова началъ Иванъ Самойлычъ слабымъ голосомъ:—что если бы съ дѣтства... въ то время, когда и кровь-то въ насъ тепла, если бы въ то время не положили меня подъ прессъ да не заковали, такъ, можетъ, и вышло бы что-нибудь изъ меня... Воспитали-то меня такъ, что ни къ чему негоденъ я сдѣлался... съ дѣтства такъ вели, какъ будто и цѣлый вѣкъ долженъ былъ малоумнымъ остаться да на помочахъ ходить... Вотъ какъ пришлось трудомъ кусокъ себѣ добыть—и негдѣ, и нечѣмъ... Да и тутъ, право не знаю, винить ли мнѣ кого-нибудь... Отецъ мой человѣкъ стараго вѣка и необразованный, мать—тоже: они не виноваты, что не вѣдали...

— А можетъ-быть, я и самъ во всемъ виноватъ,—продолжалъ онъ черезъ минуту:—потому что вѣдь Богъ далъ мнѣ волю, а я дѣйствовалъ какъ грубое животное!.. Да, я виноватъ, да и не передъ собою однимъ виноватъ, а еще и Богу отвѣтъ дамъ, что допустилъ такъ насмѣяться надъ собою... А впрочемъ, и тутъ опять-таки еще Богъ знаетъ, могъ ли бы я что-нибудь сдѣлать одинъ.

И снова умолкъ Иванъ Самойлычъ, и снова, потупивъ глазки, ничего не отвѣчала Наденька.

— Такъ вотъ такъ-то, Наденька! — продолжалъ больной: часто мы и сами во всемъ виноваты, а другихъ винимъ!. . . . . .

. . . . . .

Вотъ это-то дѣло, оно-то и сгубило меня, Наденька, въ немъ-то именно и смерть моя, а совсѣмъ не въ томъ, будто бы я простудился... Простудиться можетъ тѣло, про-

студу можно вылѣчить, а вотъ какъ душа-то больна, какъ сердце-то ноетъ да стонетъ, вотъ тогда-то страшно, Наденька! не дай Богъ какъ страшно!..

Онъ замолчалъ; Наденька задумчиво опустила голову и долго о чемъ-то размышляла. Думалось ли ей, что, дѣйствительно, самъ виноватъ Иванъ Самойлычъ въ томъ, что дозволилъ обстоятельствамъ до такой степени лишить себя всякой бодрости, или она оправдывала его тѣмъ, что обстоятельства все-таки обстоятельства, какъ ни борись противъ нихъ... Это ли, другое ли ей думалось, — дѣло въ томъ, что какъ-то грустно, необычайно грустно сдѣлалось бѣдной дѣвушкѣ. Можетъ-быть, къ этимъ мыслямъ присоединилась другая, не менѣе горькая и безвыходная мысль— мысль ея собственнаго безотраднаго, чреватаго лишеніями и трудомъ будущаго, та мысль, что и она находится въ подобномъ же положеніи, и она должна бороться... вѣчно и упорно бороться!.. И она забыла и объ Иванѣ Самойлычѣ, и объ апатически-лаконическомъ Алексисѣ; въ воспоминаніи ея вдругъ мелькнула деревенская избушка, старый господскій домъ, запущенный садъ съ поросшими травою дорожками; рѣка, вяло и какъ будто нехотя катившая свои сонныя волны въ какое-то далекое, невѣдомое государство; стая утокъ, апатически полоскавшаяся въ водѣ; толпа грязныхъ и оборванныхъ ребятишекъ, столь же апатически копавшаяся въ грязи и навозѣ... Но все это такъ живо, такъ быстро воскресло въ ея памяти, такъ быстро одинъ за другими смѣнялись—и сосновый, синѣющій вдали лѣсъ, и вспаханныя борозды полей, и старая деревянная церковь... Лучше ли ей было тогда? лучше ли, чище ли сама она была въ то время?... Лучше ли было бы, если бы вдругъ, по какому-нибудь волшебному случаю, ей снова пришлось воротиться къ этой давно прошедшей, давно ужъ изгладившейся изъ памяти жизни?..

А между тѣмъ на дворѣ ужъ и смерклось; въ комнатѣ тихо, ни шороха, ни звука; Наденька подумала, что Иванъ Самойлычъ заснулъ, и вознамѣрилась идти въ свою комнату. Но передъ уходомъ, чтобы ближе удостовѣриться, дѣйствительно ли спитъ больной, она наклонилась къ нему и начала прислушиваться къ дыханію. Но дыханія не было слышно... Она взяла его за руку — рука была холодна... Наденькѣ сдѣлалось страшно. Въ первый разъ въ жизни была она одинъ на одинъ съ мертвымъ человѣкомъ... а при томъ неподвижные глаза покойника такъ и смотрѣли,

такъ и смотрѣли на нее, какъ будто хотѣли сконфузить бѣдную, будто упрекали ее за какое-то страшное преступленіе... Съ невольнымъ чувствомъ содроганія набросила она поскорѣе на лицо усопшаго одѣяло и выбѣжала изъ комнаты.

Черезъ пять минутъ всѣ нахлѣбники Шарлотты Готлибовны, и въ числѣ ихъ сама она подъ руку съ Иваномъ Макарычемъ, явились на поклонъ къ покойнику. Толковъ было много; нѣкоторые даже сомнѣвались, точно ли умеръ Иванъ Самойлычъ. А Иванъ Макарычъ даже рѣшительно утверждалъ, что это все вздоръ, что господинъ Мичулинъ не можетъ умереть, потому что вчера еще далъ онъ ему такого лѣкарства, отъ котораго и мертвый изъ гроба встанетъ.

— Надо вамъ сказать, господа, — говорилъ онъ, обращаясь къ присутствующимъ:—что на свѣтѣ иногда чудныя бываютъ штуки! Спьяна, что ли, это дѣлается, а вдругъ человѣкъ не пошевельнется, ни моргнетъ, а между тѣмъ живъ и все слышитъ, что вокругъ него дѣлается!.. Я вамъ говорю, господа, что бывали даже примѣры, что и въ землю зарывали живыхъ...

Но для того, чтобъ окончательно убѣдиться, точно ли умеръ Иванъ Самойлычъ, и имѣть право развивать свои познанія насчетъ заживо погребенныхъ, любознательный Пережига подошелъ къ нему поближе, потрясъ его за носъ—носъ былъ холодный, приложилъ руку ко рту—дыханія не оказалось.

— А кто его знаетъ, можетъ-быть и въ самомъ дѣлѣ умеръ!—сказалъ онъ съ убійственнымъ равнодушіемъ, отходя отъ бездушнаго трупа.—И водка не спасла тебя, бабья душа! И хорошо, братъ, сдѣлалъ, что умеръ!

Однакожъ, такъ какъ Мичулинъ не имѣлъ совершенно никакихъ родственниковъ, ни знакомыхъ, то Шарлотта Готлибовна почла нужнымъ послать за полицейскимъ чиновникомъ, наперелъ пересмотрѣть всюду, не имѣется ли чего цѣннаго. Но цѣннаго оказалось всего только поношенный сюртукъ да изъ бѣлья кое-что. Вслѣдствіе такой бѣдности капиталовъ, всѣ нахлѣбники тутъ же рѣшились сдѣлать складчину, чтобъ приличнымъ христіанину образомъ похоронить своего собрата.

Полицейскій чиновникъ не заставилъ долго ждать себя. Малый онъ былъ нрава веселаго и вообще любилъ при удобномъ случаѣ пошутить, не выходя, впрочемъ, изъ предѣловъ благопристойности... О, ни-ни, какъ это возможно!

— Скажите, пожалуйста!—началъ онъ, когда объяснили ему причину его призыва:—такъ вотъ-съ какое странное надъ вами стряслось дѣло! Ну-съ, дѣлать нечего, приступимъ къ освидѣтельствованію; посмотримъ, не окажется ли какихъ боевыхъ и насильственныхъ знаковъ!

Шарлотта Готлибовна знала, что господинъ чиновникъ изволилъ шутить; поэтому нисколько не смутилась, а только сказала ему съ самою очаровательною улыбкою:

— О, ви очень любезный кавалиръ, Деметрій Осипичъ!

— Да-съ! ужъ этого, изволите видѣть, и законъ требуетъ, а я орудіе, ничего, какъ ничтожное орудіе... Да-съ, посмотримъ, посмотримъ... а можетъ-быть его и отравили?.. Ха-ха-ха! Можетъ-быть, у него и деньги были, мильонщикъ былъ... Ха-ха-ха!

И веселый Дмитрій Осипычъ заливался добродушнымъ и звонкимъ хохотомъ.

Осмотрѣвъ тѣло Ивана Самойлыча и удостовѣрившись, что отравы или удавленія тутъ нѣтъ никакихъ, добродушный Дмитрій Осипычъ изъявилъ желаніе освѣдомиться объ имуществѣ покойнаго.

— Ну, давайте же намъ ихъ сюда, давайте намъ мильоны-то!—говорилъ онъ съ обычною своею веселостью. — Вѣдь неравно наслѣдники будутъ, ха-ха-ха!.. Э, — продолжалъ онъ, перебирая пожитки умершаго: — да у него цѣлыхъ шесть рубахъ было, и фуфайка теплая... а умеръ!

— Скажите же, пожалуйста, господа, — обратился онъ къ присутствующимъ:— что-жъ бы это за причина была такая, что вотъ жилъ-жилъ человѣкъ, да вдругъ и умеръ?..

— То-есть, вы хотите узнать философію смерти?—замѣтилъ Беобахтеръ.

— Да-съ, я, знаете, люблю иногда вечеркомъ позаняться этакими разными мыслями, и; признаюсь, есть вещи, которыя сильно интригуютъ меня: напримѣръ, вотъ хоть и это— жилъ-жилъ человѣкъ, да вдругъ и умеръ!... Странное, очень странное дѣло!

— О, это не легко объяснить себѣ! Тутъ цѣлая наука!— отвѣчалъ господинъ Беобахтеръ.—Надъ этимъ многіе философы не мало трудились... Да, это трудно, очень трудно!.. Тутъ безконечное!

— Что тутъ трудно! — прервалъ Пережига: — трудно, трудно! А дѣло-то очень просто объясняется! Извольте видѣть, ужъ какъ пошелъ человѣкъ по мечтанію, какъ пошло въ его головѣ разныя штуки да закорючки выкидывать

такъ ужъ извѣстно—плохо дѣло! Вотъ и смерть приключилась!.. Какое же тутъ безконечное? что за философія? То-то, братъ, все съ своими вывертками лѣзешь? Ужъ я говорю: растянуться и тебѣ, какъ ему! Право такъ, помяни мое слово!

— То-есть, что же вы разумѣете подъ словами: «пошелъ по мечтанію?»—спросилъ Дмитрій Осипычъ.

— Ну, да ужъ извѣстно что: скепцизмъ, батюшка, скепцизмъ одолѣлъ! Вотъ что!

— Гм! скепцизмъ.—соображалъ Дмитрій Осипычъ:—скепцизмъ? То-есть, что же вы подъ этимъ разумѣете?

— А вотъ, примѣрно, человѣкъ съ собакой идетъ: ну, мы съ вами просто такъ и говоримъ, что вотъ, молъ, человѣкъ идетъ и за нимъ собака бѣжитъ, а скепцистъ: нѣтъ, говоритъ, это, извольте видѣть, собака идетъ и человѣка ведетъ.

— Тсс, скажите! Такъ, стало-быть, покойникъ былъ странный человѣкъ?—спросилъ Дмитрій Осипычъ и тутъ же съ упрекомъ покачалъ головою на Ивана Самойлыча.

— Я вамъ говорю: по мечтанію пошелъ! Ужъ какую онъ въ послѣднее время ахинею городилъ, такъ хоть святыхъ вонъ понеси: и то нехорошо, и то дурно...

— Тсс, скажите, пожалуйста!—продолжалъ Дмитрій Осипычъ, строго покачавъ головою: — а вѣдь чѣмъ была не жизнь человѣку: и сытъ былъ, и одѣтъ былъ, званіе, сударь ты мой, имѣлъ, и вотъ не усомнился же возроптать на Создателя своего!.. Честью вамъ доложу, ужъ нѣтъ въ мірѣ животнаго неблагодарнѣе человѣка. Пригрѣй его, накорми его—укуситъ, непремѣнно укуситъ. Ужъ такая, видно, его натура, господа!

Оглавленіе

I ТОМА.

	стр.
Матеріалы для біографіи М. Е. Салтыкова. *К. К. Арсеньева.* .	5

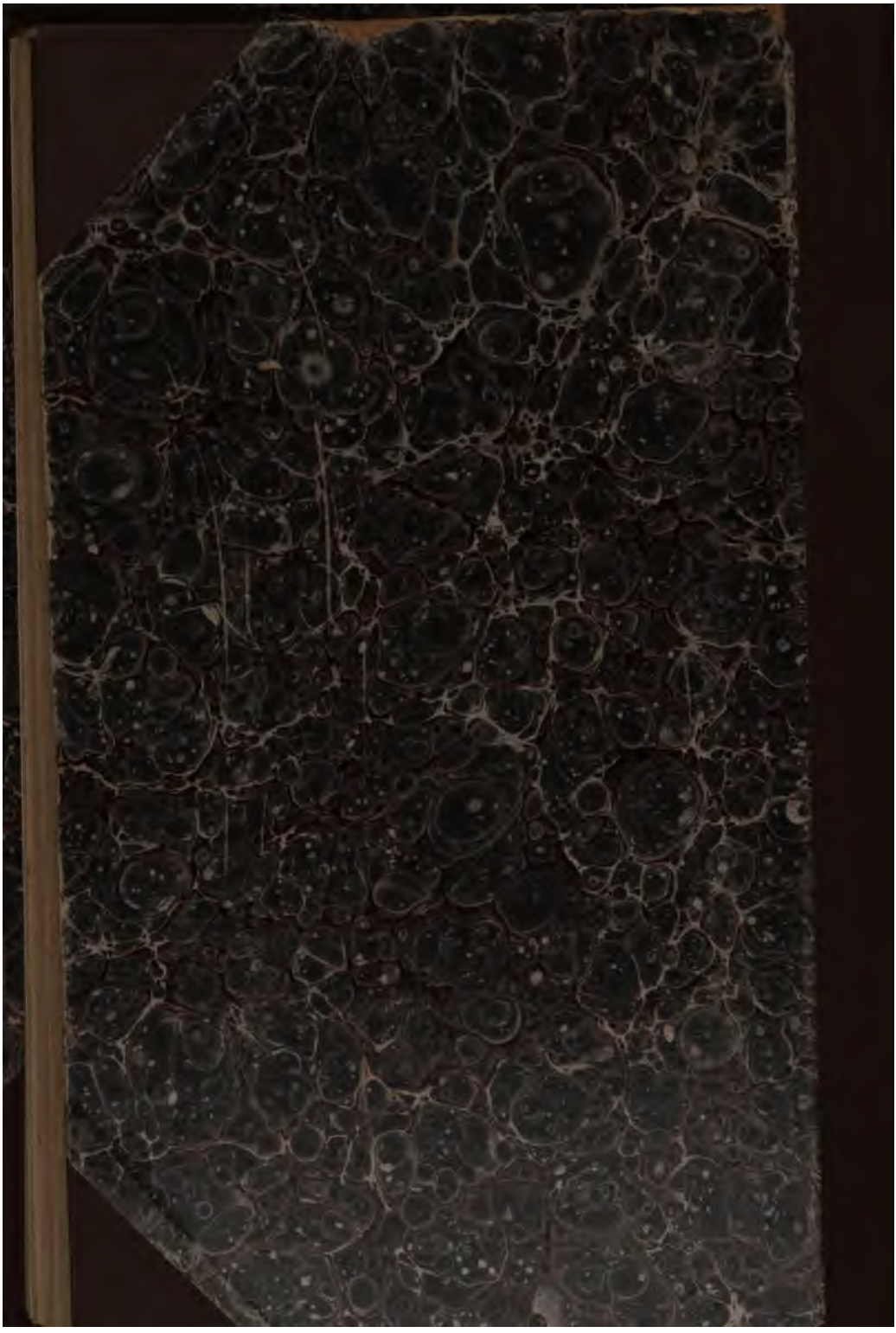
Господа Головлевы.

I. Семейный судъ	85
II. По-родственному	139
III. Семейные итоги.	183
IV. Племяннушка.	230
V. Недозволенныя семейныя радости	276
VI. Выморочный	305
VII. Расчетъ	336

Невинные разсказы.

I. Гегемоніевъ	377
II. Зубатовъ	385
III. Пріѣздъ ревизора	398
IV. Утро у Хрептюгина. Драматическій очеркъ	430
V. Для дѣтскаго возраста	447
VI. Миша и Ваня. Забытая исторія	460
VII. Нашъ дружескій хламъ.	472
VIII. Деревенская тишь.	491
IX. Святочный разсказъ. Изъ путевыхъ замѣтокъ чиновника .	510
X. Развеселое житье. Разсказъ	533
XI. Послѣ обѣда въ гостяхъ	560
XII. Запутанное дѣло. Случай	571

3 6105 013 383 356

Stanford University Library
Stanford, California

In order that others may use this book, please return it as soon as possible, but not later than the date due.